

Annotation

Здесь собрано семнадцать поздних шедевров Льва Толстого, в которых ясно читается ясный православно-христианский смысл.

Философ и богослов Русского Зарубежья Владимир Ильин в своих эссе о Толстом дезавуирует нелепое, но относительно часто встречающееся мнение, что поздний Толстой «исписался»; на самом деле позднее творчество Толстого — закономерное, органическое и не менее гениальное, чем его творчество периода двух великих романов («просто не заметили литературного совершенства и мастерства, проявленного Толстым в этот период»). Поздний Толстой, создав их, перерос саму форму романа — и его поздние шедевры создаются в жанре драм, повестей, рассказов.

Вот какая мысль Ильина кажется необычайно ценной, интересной, нетривиальной. Поздние художественные тексты Толстого представляют собой систему православного богословия (так!) — именно православного, церковного, классического богословия. Великий художник в полном размахе своих сил и в полноте умения их применять создаёт ряд опытов чего-то вроде художественной догматики:

«Большой роман был "измотан" и исчерпан. После "Войны и мира", "Анны Карениной", "Семейного счастья" и неудачного "Воскресения" (претенциозное название которого только подчёркивает неудачу, несмотря на множество восхитительных деталей) идти в этом направлении дальше было невозможно, — во всяком случае, для Толстого. Он и переходит к стилю более или менее мелких или среднего размера произведений, большей частью в народном духе и стиле, или же к театрально-драматическому жанру. Всюду его ждёт полная литературная удача и успех. "Власть тьмы", эта вариация ... на "Преступление и наказание" Достоевского, несомненно произведение с "счастливым", в мистико-трансцендентном смысле, концом: дух тьмы побеждён покаянием виновного и царство сатаны

рассеяно добровольным восшествием преступника на крест Спасителя и рядом со Спасителем. Несмотря на мрачнейшее содержание и несносную фатальную тоску, которыми пропитан "Живой труп" (чего стоит одно название!), слушатель уходит из театра не только глубоко потрясённым, но ещё и очищенным, ибо всё здесь происходит действительно по Аристотелю — "через страх и сострадание идут к очищению от подобного рода страстей"; к тому же самоубийство Феди Каренина есть самоубийство только по форме, а не по содержанию. По содержанию же — это добровольное мученичество. Вообще "Живой труп" — одна из гениальнейших трагедий в мире, особенно если её играть по-настоящему и умело провести все бытовые детали типично русского характера.

Но и дальше такие среднего или мелкого размера произведения, как "Хозяин и работник", "Корней Васильев", "Чем люди живы", "Три старца" и др., представляют в своём роде литературно-идеологическое совершенство. К тому же это настоящие произведения подлинно христианского духа, и даже с проведением в них некоторых важнейших особенностей церковной догматики: например, учение об Ангелах в "Чем люди живы", учение о Пресвятой Троице и молитве в "Трёх старцах", о мистическом значении прощения или непрощения обид — "Корней Васильев", о покаянии и о его положительном значении в загробной жизни ("Хозяин и работник"). Всесторонняя доброкачественность этих безупречно христианских произведений как бы гарантируется восторженным отзывом о них сурового византийского церковника и превосходнейшего, совсем ещё не оценённого стилиста Константина Леонтьева. (Этюд под заглавием "Анализ, стиль и веяние")».

«Автор "Казаков" принадлежит к числу тех, которые по мере повышения в возрасте повышаются и в совершенстве. … Этот период наиболее характерен для последней полосы творчества Толстого; полоса эта не менее грандиозна в своём роде, чем центральная, ибо, повторяем, в чисто литературном отношении она не только не слабее, чем центральный период, но, пожалуй, ещё совершеннее, чем тот. Для подтверждения этого достаточно напомнить о таких вещах, как, напр., "Хаджи Мурат", "Хозяин и

работник", "Чем люди живы", "Корней Васильев" и о многом другом. К этому периоду относятся собственно миросозерцательные, религиозно-нравственные произведения, как, например: "Моя исповедь" (1880); "В чём моя вера" (1884); "Что делать?" (1885); "Царство Божие внутри нас" (1893)».

Покаяние и загробная жизнь, прощение, ангелы, Троица — Толстой был православным (так!) богословом там, где ему это наиболее пристало — в своём литературном творчестве: так, во всяком случае, видит дело Вл. Ильин. Толстой отрицал чудеса, догматическое учение Церкви на чужой для себя территории — теологии и философии, но на своей собственной территории, в художественной литературе, мы находим у него святых, шествующих по воде как посуху, ангела в форме огненного столпа и т. п.

Здесь вы найдете все упомянутые Ильиным поздние тексты Льва Толстого, а также и ещё несколько его текстов, которые общепринято считаются шедеврами: «Смерть Ивана Ильича» — один из величайших шедевров мировой литературы, рассказ о тщете мирской жизни, о вхождении в загробную жизнь; «Записки сумасшедшего» — неоконченный автобиографический рассказ об осознании абсурдности жизни; «Божеское и человеческое» — тоже о предстоянии перед смертью, где один человек обретает Бога, другой же — нет; «Крейцерова соната» — о греховности половой страсти, добродетели безбрачия; «Дьявол» — о зле блудной страсти; «Отец Сергий» — о гордыне и похоти; «После бала» — короткий рассказ об абсурдном соседстве светской жизни и смертной казни; «Фальшивый купон» — о цепочке грехов и цепочке добрых дел; «Холстомер» — рассказ от лица лошади, показывающий тщету, суету, абсурдность мира сего; «Много ли человеку земли нужно?» — о тщете и разрушительности страсти к собственности.

Аннотация и составление — https://predanie.ru/

Большинство составивших этот сборник электронных книг были предуведомлены следующим текстом:

Электронное издание осуществлено компаниями ABBYY и WEXLER в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:
Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY
Подготовлено на основе электронной копии Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой.

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 26-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам report@tolstoy.ru

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные*

произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая

- Власть тьмы
  - Действие первое.
  - Действие второе.
  - Действие третье.
  - Действие четвертое.
  - Действие пятое.
  - Неопубликованное, неотделанное и неоконченное
    - [План драмы.]
    - Варианты.
      - № 1.
      - № 2.
      - № 3.
      - № 4.
      - № 5.
      - № 6.
      - № 7.
      - № 8.
      - № 9.
      - № 10.
      - № 11.
      - № 12.
      - № 13.
      - № 14.
    - Авторские исправления, сделанные в печатном тексте «Власти тьмы».
  - Комментарии Н. К. Гудзия3
    - «Власть тьмы».
      - История писания, печатания и постановки на сцене «Власти тьмы».

                - I.
                - II.
                - III.
                - IV.
            - Описание рукописей и корректур.
    - Предисловие к двадцать шестому тому.
    - Редакционные пояснения к двадцать шестому тому.
- Живой труп
    - Действие I
    - Действие II
    - Действие III
    - Действие IV
    - Действие V
    - Действие VI
    - Планы и варианты
        - «Живой труп»
            - Планы, заметки
                - № 1 (рук. № 1).
                - № 2 (рук. № 2).
                - № 3 (рук. № 3).
                - № 4 (рук. № 3).
                - № 5 (рук. № 4).
        - «Живой труп»
            - Варианты
                - № 1 (рук. № 5).
                    -
                    - Действие первое.
                    - Действие 2.
                    - Действие 3.
                - № 2 (рук. № 7).
                    -
                    - Действие 1.
                    - <Действие 3-ье.
                - № 3 (рук. № 8).
                    - <Действие 1-е.
                - № 4 (рук. №№ 9 и 5).
                    - Действие первое.

- № 5 (рук. № 10).
  - ≤Д[ействие] 1.
- № 6 (рук. № 11).
  - Действие 1.
- № 7 (рук. № 5).
- № 8 (рук. № 14).
  -
  - Действ[ие] 1.

- Комментарии С. Д. Балухатого и В. С. Мишина
  - «Живой труп»
    - История писания и печатания
    - Описание рукописей

- Хозяин и работник
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - Печатные варианты
    - Хозяин и работник
      -
      - Гл. I
      - Гл. II
      - Гл. III
      - Гл. IV
      - Гл. V
      - Гл. VI
      - Гл. VII
      - Гл. VIII
      - Гл. IX
      - Гл. X
  - Планы и варианты

- Хозяин и работник
  -
  - Варианты рукописных редакций
    - № 1 (рук. № 3).
    - № 2 (рук. № 9).
    - № 3 (рук. № 4).
    - № 4 (рук. № 6).
    - № 5 (рук. № 5).
    - № 6 (рук. № 9).
    - № 7 (рук. № 3).
    - № 8 (рук. № 9).
    - № 9 (рук. № 4).
    - № 10 (рук. № 4).
    - № 11 (рук. № 5).
    - № 12 (рук. № 4).
    - № 13 (рук. 5).
    - № 14 (рук. № 9).
    - № 15 (рук. № 5).
    - № 16 (рук. № 9).
    - № 17 (рук. № 3).
    - № 18 (рук. № 4).
    - № 19 (рук. № 5).
    - № 20 (рук. № 6).
    - № 21 (рук. № 9).
    - № 22 (рук. № 5).
    - № 23 (рук. № 6).
    - № 24 (рук. № 8).
    - № 25 (рук. № 8).
    - № 26 (рук. № 5).
    - № 27 (рук. № 9).
    - № 28 (рук. № 9).
    - № 29 (рук. № 5).
    - № 30 (рук. № 10).
    - № 31 (рук. № 14).
    - № 32 (рук. № 10).
    - № 33 (рук. № 11).
- Комментарии А. С. Петровского

        - «Хозяин и работник»
            - История писания и печатания
            - Описание рукописей
    - Предисловие к двадцать девятому тому полного собрания сочинений.
        - I
        - II
        - III
        - IV
    - Редакционные пояснения к двадцать девятому тому полного собрания сочинений.
- Корней Васильев
- Чем люди живы
    -
        - I.
        - II.
        - III.
        - IV.
        - V.
        - VI.
        - VII.
        - VIII.
        - IX.
        - X.
        - XI.
        - XII.
    - Печатные варианты
        - «Чем люди живы».
    - Рукописные варианты
        - [Варианты рассказа «Чем люди живы»].
            - Ангелъ на землѣ.
                - № 1.
                - № 2. Архангелъ.
                - № 3.
                - № 4.
                - № 5.
                - № 6.
                - № 8.

                - № 9.
                - № 10.
                - № 11.
                - № 12.
                - № 13.
                - № 14.
                - № 15.
                - № 16.
                - № 17.
        - Комментарии В. И. Срезневского14
            - «Чем люди живы?»
                - История писания и печатания.
                - Описание рукописей.
        - Предисловие к двадцать пятому тому.
        - Редакционные пояснения.
- Три старца
    - Рукописные варианты
        - [Вариант рассказа «Три старца».]
    - Комментарии В. И. Срезневского1
        - «Три старца».
            - История писания и печатания.
            - Описание рукописей.
- Хаджи-Мурат
    -
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
        - XIII
        - XIV

- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV

- Варианты, конспекты, записи и неоконченное
  - Хаджи-Мурат
    - I. Записи, пометы и конспекты
      - № 1
      - № 2
      - № 3 (рук. № 2).
      - № 4 (рук. № 1).
      - № 5 (рук. № 3).
      - № 6 (рук. № 4).
      - № 7 (рук. № 6).
      - № 8
      - № 9 (рук. № 5).
    - II. Варианты к «Хаджи-Мурату»
      - [Редакция первая — 1896 г.]
        -
        - № 1 (рук. № 7).
      - [Редакция вторая — 1897 г.]
        - № 2 (рук. № 11).
        - № 3 (рук. № 11).
        - № 4 (рук. № 11).
        - № 5 (рук. № 11).
        - № 6 (рук. № 11).
        - № 7 (рук. № 11).
        - № 8 (рук. № 11).
        - № 9 (рук. № 11).
        - № 10 (рук. № 11).

- № 11 (рук. № 13).
  - I
  - II
  - [III]474
  - [IV]496
- [Редакция третья — 1897 г.]
  - № 12 (рук. № 15).
  - № 13 (рук. № 16).
  - № 14 (рук. № 17).
  - № 15 (рук. № 17).
  - № 16 (рук. № 19).
- [Редакция четвертая — 1897 г.]
  - № 17 (рук. № 21).
  - № 18 (рук. № 21).
  - № 19 (рук. № 20)
  - № 20 (рук. № 22).
  - № 21 (рук. № 23).
  - № 22 (рук. № 24).
  - № 23 (рук. № 24).
- [Редакция пятая — 1898 г.]
  - № 24 (рук. № 25).
  - № 25 (рук. № 25).
  - № 26 (рук. № 25).
  - № 27 (рук. № 25).
  - № 28 (рук. № 25).
  - № 29 (рук. № 25).
    -
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - № 30 (рук. № 25).
- [Редакция шестая]
  - № 31 (рук. № 29).
  - № 32 (рук. № 29).
  - № 33 (рук. № 29).

- № 34 (рук. № 29).
- № 35 (рук. № 29).
- № 36 (рук. № 29).
- № 37 (рук. № 29).
- № 38 (рук. № 29).
- № 39 (рук. № 29).
- № 40 (рук. № 29).
- № 41 (рук. № 29).

- [Редакция седьмая — 1901 г.]
  - № 42 (рук. № 30).
- [Редакция восьмая — 1901 г.]
  - № 43 (рук. № 30).
    -
    - I
    - II
  - № 44 (рук. № 31).
    - I
    - II
    - [III]1083
  - № 45 (рук. № 33).
    - I
    - II
  - № 46 (рук. № 34).
    -
    - I1146
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
- [Редакция девятая — конец июля 1902 г.]
  - № 47 (рук. № 35).
    - I
  - № 48 (рук. № 37).
  - № 49 (рук. № 37).
  - № 50 (рук. № 38).
  - № 51 (рук. № 38).

- № 52 (рук. № 38).
- № 53 (рук. № 38).
- № 54 (рук. № 38).
- № 55 (рук. № 39).
- № 56 (рук. № 39).
- № 57 (рук. № 41).
  - V
- № 58 (рук. № 43).
- № 59 (рук. № 44).
- № 60 (рук. № 48).
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
- № 61 (рук. № 48).

- [Редакция десятая]
  - № 62 (рук. № 51, гл. I).
  - № 63 (рук. № 51).
  - № 64 (рук. № 51).
  - № 65 (рук. № 51).
  - № 66 (рук. № 51).
  - № 67 (рук. № 51).
  - № 68 (рук. № 51).
  - № 69 (рук. № 51).
  - № 70 (рук. № 51).
  - № 71 (рук. № 51).
  - № 72 (рук. № 51).
  - № 73 (рук. № 51).
  - № 74 (рук. № 51).
  - № 75 (рук. № 51).
  - № 76 (рук. № 51).

- № 77 (рук. № 54).
- № 78 (рук. № 51, гл. II).
- № 79 (рук. № 51).
- № 80 (рук. № 51).
- № 81 (рук. № 51, гл. IV).
- № 82 (рук. № 51, гл. V).
- № 83 (рук. № 51).
- № 84 (рук. № 51, гл. VII).
- № 85 (рук. № 51, гл. IX).
- № 86 (рук. № 51, гл. X).
- № 87 (рук. № 51, гл. XI).
- № 88 (рук. № 51 гл. XII).
- № 89 (рук. № 51).
- № 90 (рук. № 51, гл. XI).
- № 91 (рук. № 51).
- № 92 (рук. № 51).
- № 93 (рук. № 51).
- № 94 (рук. № 51, гл. XII).
- № 95 (рук. № 51, гл. XIII).
- № 96 (рук. № 51).
- № 97 (рук. № 51).
- № 98 (рук. № 51, гл. XV).
- № 99 (рук. № 51, гл. XVI).
- № 100 (рук. № 51).
- № 101 (рук. № 51).
- № 102 (рук. № 51, гл. XVIII).
- № 103 (рук. 51, гл. XIX).
- № 104 (рук. № 51, гл. XX).
- № 105 (рук. № 51, гл. XXIII).
- № 106 (рук. № 51, гл. XXIV).
- № 107 (рук. № 51).
- № 108 (рук. № 51).
- № 109 (рук. № 51).
- № 110 (рук. № 51, гл. XXV).
- № 111 (рук. № 51).
- № 112 (рук. № 51).
- № 113 (рук. № 51).

- № 114 (рук. № 51).
- № 115 (рук. № 52, гл. I).
- № 116 (рук. № 52).
- № 117 (рук. № 52, гл. IV).
- № 118 (рук. № 52).
- № 119 (рук. № 52, гл. XI).
- № 120 (рук. № 52, гл. XV).
- № 121 (рук. № 52, гл. XVI).
- № 122 (рук. № 53, гл. III).
- № 123 (рук. № 53, гл. V).
- № 124 (рук. №. 53, гл. VI).
- № 125 (рук. № 53, гл. XI).
- № 126 (рук. № 53, гл. VI).
- № 127 (рук. № 53, гл. XVIII).
- № 128 (рук. № 53).
- № 129 (рук. № 54, гл. VIII).
- № 130 (рук. № 54).
- № 131 (рук. № 54, гл. IX).
- № 132 (рук. № 54, гл. XXI).
- № 133 (рук. № 54, гл. XXIII).
- № 134 (рук. № 56, гл. IV).
- № 135 (рук. № 56, гл. I).
- № 136 (рук. № 56, гл. II).
- № 137 (рук. № 58, гл. II).
- № 138 (рук. № 58).
- № 139 (рук. № 58, гл. V).
- № 140 (рук. № 58, гл. XIII).
- № 141 (рук. № 58).
- № 143 (рук. № 58).
- № 143 (рук. № 58).
- № 144 (рук. № 59, гл. XV).
- № 145 (рук. № 60).
- № 146 (рук. № 60).
- № 147 (рук. № 61).
- № 148 (рук. № 62).
- № 149 (рук. № 63).
- № 150 (рук. № 65).

- № 151 (рук. № 68).
- № 152 (рук. № 69).
- № 153 (рук. № 70).
- № 154 (рук. № 70).
- № 155 (рук. № 70).
- № 156 (рук. № 70).
- № 157 (рук. № 70).
- № 158 (рук. № 70).
- № 159 (рук. № 70).
- № 160 (рук. № 70).
- № 161 (рук. № 76).
- № 162 (рук. № 79).
- № 163 (рук. № 80).
- № 164 (рук. № 81).
- № 165 (рук. № 75).
- № 166 (рук. № 75).
- № 167 (рук. № 75).
- № 168 (рук. № 75).
- № 169 (рук. № 82).

- Комментарии А. П. Сергиенко
  - Хаджи-Мурат
    - История писания
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII
      - IX
      - X
      - XI
      - XII
      - XIII
      - XIV
    - История печатания

            - Список источников
            - Примечания
            - Словарь горских слов
            - Описание рукописей
        - Предисловие
            - I
            - II
            - III
        - Редакционные пояснения
- Смерть Ивана Ильича
    - I.
    - II.
    - III.
    - IV.
    - V.
    - VI.
    - VII.
    - VIII.
    - IX.
    - X.
    - XI.
    - XII.
    - Неопубликованное, неотделанное и неоконченное
        - [Варианты к «Смерти Ивана Ильича».]
            - № 1.
            - № 2.
            - № 4.
            - № 5.
            - № 6.
            - № 7.
            - № 8.
            - № 9.
            - № 10.
            - № 11.
    - Комментарии Л. П. Гроссмана122
        - Смерть Ивана Ильича.
            - История писания и печатания.

            - Описание рукописей.
- Записки сумасшедшего
    -
    - Варианты к «Запискам сумасшедшего».
    - Комментарии Б. М. Эйхенбаума9
        - Записки сумасшедшего.10
- Божеское и человеческое
- Крейцерова соната
    -
        - I.
        - II.
        - III.
        - IV.
        - V.
        - VI.
        - VII.
        - VIII.
        - IX.
        - X.
        - XI.
        - XII.
        - XIII.
        - XIV.
        - XV.
        - XVI.
        - XVII.
        - XVIII.
        - XIX.
        - XX.
        - XXI.
        - XXII.
        - XXIII.
        - XXIV.
        - XXV.
        - XXVI.
        - XXVII.
        - XXVIII.

    - Варианты литографированной редакции «Крейцеровой сонаты»
    - Неопубликованное, неотделанное и неоконченное
        - [Первая редакция «Крейцеровой сонаты».]
        - [Третья (незаконченная) редакция «Крейцеровой сонаты».]
        - [Варианты к «Крейцеровой сонате».]
            - № 1.
            - № 2.
            - № 3.
            - № 4.
            - № 5.
            - № 6.
            - № 7.
            - № 8.
            - № 9.
            - № 10.
            - № 11
            - № 12.
            - № 13.
            - № 14.
            - № 15.
            - № 16.
            - № 17.
            - № 18.
            - № 19.
            - № 20.
    - Комментарии Н. К. Гудзия
        - «Крейцерова соната».
            - История писания и печатания «Крейцеровой сонаты»
            - Описание рукописей, относящихся к «Крейцеровой сонате».
    - Предисловие к двадцать седьмому тому.
    - Редакционные пояснения к двадцать седьмому тому.
- Дьявол
- Отец Сергий

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- Планы и варианты
  - Отец Сергий
    - № 1 (рук. № 1).
    - № 2 (рук. № 2).
    - № 3 (рук. № 5).
    - № 4 (рук. № 2).
    - № 5 (рук. № 2).
    - № 6 (рук. № 2).
    - № 7 (рук. № 2).
- Комментарии Л. П. Гроссмана
  - «Отец Сергий»
    - История писания и печатания
    - Описание рукописей
- Предисловие к тридцать первому тому.
  - I
  - II
  - III
  - IV
- Редакционные пояснения к тридцать первому тому.

- После бала
  -
  - Планы и варианты
    - После бала
      - № 1 (рук. № 1).
      - № 2 (рук. № 3).
      - № 3 (рук. № 2).
      - № 4 (рук. № 5).
      - № 5 (рук. № 6).
  - Комментарии Б. М. Эйхенбаума

        - «После бала»
            - История писания и печатания
            - Описание рукописей
    - Предисловие к тридцать четвертому тому.
        - I
        - II
    - Редакционные пояснения к тридцать четвертому тому.
- Фальшивый купон
    - Часть первая.
        - I.
        - II.
        - III.
        - IV.
        - V.
        - VI.
        - VII.
        - VIII.
        - IX.
        - X.
        - XI.
        - XII.
        - XIII.
        - XIV.
        - XV.
        - XVI.
        - XVII.
        - XVIII.
        - XIX.
        - XX.
        - XXI.
        - XXII.
        - XXIII.
    - Часть вторая.
        - I.
        - II.
        - III.
        - IV.

        - V.
        - VI.
        - VII.
        - VIII.
        - IX.
        - X.
        - XI.
        - XII.
        - XIII.
        - XIV.
        - XV.
        - XVI.
        - XVII.
        - XVIII.
        - XIX.
        - XX.
    - Неопубликованное, неотделанное и неоконченное
        - [Варианты к «Фальшивому купону».]
            - № 1.
            - № 2.
            - № 3.
            - № 4.
            - № 5.
    - Комментарии Н. К. Гудзия
        - «Фальшивый купон».
    - Предисловие к тридцать шестому тому.
    - Редакционные пояснения к тридцать шестому тому.
- Холстомер
    - Глава I.
    - Глава II.
    - Глава III.
    - Глава IV.
    - Глава V.
        -
        - ночь 1-я.
    - Глава VI.
        - ночь 2-я.

    - Глава VII.
        - ночь 3-я.
    - Глава VIII.
        - ночь 4-я.
        - ночь 5-я.
    - Глава IX.
    - Глава X.
    - Глава XI.
    - Глава XII.
    - Неопубликованное, неотделанное и неоконченное
        - Варианты к «Холстомеру».
    - Комментарии Б. М. Эйхенбаума43
        - Холстомер.
            - История писания.
            - История печатания.
            - Описание рукописей.
- Много ли человеку земли нужно
    - I.
    - II.
    - III.
    - IV
    - V.
    - VI.
    - VII.
    - VIII.
    - IX.
    - Рукописные варианты
        - [Варианты рассказа «Много ли человеку земли нужно».]
            - № 1.
            - № 2.
    - Комментарии В. И. Срезневского1
        - «Много ли человеку земли нужно?»
            - История писания и печатания.
            - Описание рукописей.
- notes
    - 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38

- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84

- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53

- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80

- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117

- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154

- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191

- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228

- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265

- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302

- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339

- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376

- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413

- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450

- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487

- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524

- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561

- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599

- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636

- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673

- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710

- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747

- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784

- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821

- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858

- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895

- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932

- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969

- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006

- 1007
- 1008
- 1009
- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043

- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080

- 1081
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117

- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154

- 1155
- 1156
- 1157
- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191

- 1192
- 1193
- 1194
- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228

- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265

- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- 1297
- 1298
- 1299
- 1300
- 1301
- 1302

- 1303
- 1304
- 1305
- 1306
- 1307
- 1308
- 1309
- 1310
- 1311
- 1312
- 1313
- 1314
- 1315
- 1316
- 1317
- 1318
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
- 1328
- 1329
- 1330
- 1331
- 1332
- 1333
- 1334
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339

- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1347
- 1348
- 1349
- 1350
- 1351
- 1352
- 1353
- 1354
- 1355
- 1356
- 1357
- 1358
- 1359
- 1360
- 1361
- 1362
- 1363
- 1364
- 1365
- 1366
- 1367
- 1368
- 1369
- 1370
- 1371
- 1372
- 1373
- 1374
- 1375
- 1376

- 1377
- 1378
- 1379
- 1380
- 1381
- 1382
- 1383
- 1384
- 1385
- 1386
- 1387
- 1388
- 1389
- 1390
- 1391
- 1392
- 1393
- 1394
- 1395
- 1396
- 1397
- 1398
- 1399
- 1400
- 1401
- 1402
- 1403
- 1404
- 1405
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- 1412
- 1413

- 1414
- 1415
- 1416
- 1417
- 1418
- 1419
- 1420
- 1421
- 1422
- 1423
- 1424
- 1425
- 1426
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1431
- 1432
- 1433
- 1434
- 1435
- 1436
- 1437
- 1438
- 1439
- 1440
- 1441
- 1442
- 1443
- 1444
- 1445
- 1446
- 1447
- 1448
- 1449
- 1450

- 1451
- 1452
- 1453
- 1454
- 1455
- 1456
- 1457
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- 1467
- 1468
- 1469
- 1470
- 1471
- 1472
- 1473
- 1474
- 1475
- 1476
- 1477
- 1478
- 1479
- 1480
- 1481
- 1482
- 1483
- 1484
- 1485
- 1486
- 1487

- 1488
- 1489
- 1490
- 1491
- 1492
- 1493
- 1494
- 1495
- 1496
- 1497
- 1498
- 1499
- 1500
- 1501
- 1502
- 1503
- 1504
- 1505
- 1506
- 1507
- 1508
- 1509
- 1510
- 1511
- 1512
- 1513
- 1514
- 1515
- 1516
- 1517
- 1518
- 1519
- 1520
- 1521
- 1522
- 1523
- 1524

- 1525
- 1526
- 1527
- 1528
- 1529
- 1530
- 1531
- 1532
- 1533
- 1534
- 1535
- 1536
- 1537
- 1538
- 1539
- 1540
- 1541
- 1542
- 1543
- 1544
- 1545
- 1546
- 1547
- 1548
- 1549
- 1550
- 1551
- 1552
- 1553
- 1554
- 1555
- 1556
- 1557
- 1558
- 1559
- 1560
- 1561

- 1562
- 1563
- 1564
- 1565
- 1566
- 1567
- 1568
- 1569
- 1570
- 1571
- 1572
- 1573
- 1574
- 1575
- 1576
- 1577
- 1578
- 1579
- 1580
- 1581
- 1582
- 1583
- 1584
- 1585
- 1586
- 1587
- 1588
- 1589
- 1590
- 1591
- 1592
- 1593
- 1594
- 1595
- 1596
- 1597
- 1598

- 1599
- 1600
- 1601
- 1602
- 1603
- 1604
- 1605
- 1606
- 1607
- 1608
- 1609
- 1610
- 1611
- 1612
- 1613
- 1614
- 1615
- 1616
- 1617
- 1618
- 1619
- 1620
- 1621
- 1622
- 1623
- 1624
- 1625
- 1626
- 1627
- 1628
- 1629
- 1630
- 1631
- 1632
- 1633
- 1634
- 1635

- 1636
- 1637
- 1638
- 1639
- 1640
- 1641
- 1642
- 1643
- 1644
- 1645
- 1646
- 1647
- 1648
- 1649
- 1650
- 1651
- 1652
- 1653
- 1654
- 1655
- 1656
- 1657
- 1658
- 1659
- 1660
- 1661
- 1662
- 1663
- 1664
- 1665
- 1666
- 1667
- 1668
- 1669
- 1670
- 1671
- 1672

- 1673
- 1674
- 1675
- 1676
- 1677
- 1678
- 1679
- 1680
- 1681
- 1682
- 1683
- 1684
- 1685
- 1686
- 1687
- 1688
- 1689
- 1690
- 1691
- 1692
- 1693
- 1694
- 1695
- 1696
- 1697
- 1698
- 1699
- 1700
- 1701
- 1702
- 1703
- 1704
- 1705
- 1706
- 1707
- 1708
- 1709

- 1710
- 1711
- 1712
- 1713
- 1714
- 1715
- 1716
- 1717
- 1718
- 1719
- 1720
- 1721
- 1722
- 1723
- 1724
- 1725
- 1726
- 1727
- 1728
- 1729
- 1730
- 1731
- 1732
- 1733
- 1734
- 1735
- 1736
- 1737
- 1738
- 1739
- 1740
- 1741
- 1742
- 1743
- 1744
- 1745
- 1746

- 1747
- 1748
- 1749
- 1750
- 1751
- 1752
- 1753
- 1754
- 1755
- 1756
- 1757
- 1758
- 1759
- 1760
- 1761
- 1762
- 1763
- 1764
- 1765
- 1766
- 1767
- 1768
- 1769
- 1770
- 1771
- 1772
- 1773
- 1774
- 1775
- 1776
- 1777
- 1778
- 1779
- 1780
- 1781
- 1782
- 1783

- 1784
- 1785
- 1786
- 1787
- 1788
- 1789
- 1790
- 1791
- 1792
- 1793
- 1794
- 1795
- 1796
- 1797
- 1798
- 1799
- 1800
- 1801
- 1802
- 1803
- 1804
- 1805
- 1806
- 1807
- 1808
- 1809
- 1810
- 1811
- 1812
- 1813
- 1814
- 1815
- 1816
- 1817
- 1818
- 1819
- 1820

- 1821
- 1822
- 1823
- 1824
- 1825
- 1826
- 1827
- 1828
- 1829
- 1830
- 1831
- 1832
- 1833
- 1834
- 1835
- 1836
- 1837
- 1838
- 1839
- 1840
- 1841
- 1842
- 1843
- 1844
- 1845
- 1846
- 1847
- 1848
- 1849
- 1850
- 1851
- 1852
- 1853
- 1854
- 1855
- 1856
- 1857

- 1858
- 1859
- 1860
- 1861
- 1862
- 1863
- 1864
- 1865
- 1866
- 1867
- 1868
- 1869
- 1870
- 1871
- 1872
- 1873
- 1874
- 1875
- 1876
- 1877
- 1878
- 1879
- 1880
- 1881
- 1882
- 1883
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- 1889
- 1890
- 1891
- 1892
- 1893
- 1894

- 1895
- 1896
- 1897
- 1898
- 1899
- 1900
- 1901
- 1902
- 1903
- 1904
- 1905
- 1906
- 1907
- 1908
- 1909
- 1910
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- 1921
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
- 1926
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931

- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- 1938
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968

- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005

- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036
- 2037
- 2038
- 2039
- 2040
- 2041
- 2042

- 2043
- 2044
- 2045
- 2046
- 2047
- 2048
- 2049
- 2050
- 2051
- 2052
- 2053
- 2054
- 2055
- 2056
- 2057
- 2058
- 2059
- 2060
- 2061
- 2062
- 2063
- 2064
- 2065
- 2066
- 2067
- 2068
- 2069
- 2070
- 2071
- 2072
- 2073
- 2074
- 2075
- 2076
- 2077
- 2078
- 2079

- 2080
- 2081
- 2082
- 2083
- 2084
- 2085
- 2086
- 2087
- 2088
- 2089
- 2090
- 2091
- 2092
- 2093
- 2094
- 2095
- 2096
- 2097
- 2098
- 2099
- 2100
- 2101
- 2102
- 2103
- 2104
- 2105
- 2106
- 2107
- 2108
- 2109
- 2110
- 2111
- 2112
- 2113
- 2114
- 2115
- 2116

- 2117
- 2118
- 2119
- 2120
- 2121
- 2122
- 2123
- 2124
- 2125
- 2126
- 2127
- 2128
- 2129
- 2130
- 2131
- 2132
- 2133
- 2134
- 2135
- 2136
- 2137
- 2138
- 2139
- 2140
- 2141
- 2142
- 2143
- 2144
- 2145
- 2146
- 2147
- 2148
- 2149
- 2150
- 2151
- 2152
- 2153

- 2154
- 2155
- 2156
- 2157
- 2158
- 2159
- 2160
- 2161
- 2162
- 2163
- 2164
- 2165
- 2166
- 2167
- 2168
- 2169
- 2170
- 2171
- 2172
- 2173
- 2174
- 2175
- 2176
- 2177
- 2178
- 2179
- 2180
- 2181
- 2182
- 2183
- 2184
- 2185
- 2186
- 2187
- 2188
- 2189
- 2190

- 2191
- 2192
- 2193
- 2194
- 2195
- 2196
- 2197
- 2198
- 2199
- 2200
- 2201
- 2202
- 2203
- 2204
- 2205
- 2206
- 2207
- 2208
- 2209
- 2210
- 2211
- 2212
- 2213
- 2214
- 2215
- 2216
- 2217
- 2218
- 2219
- 2220
- 2221
- 2222
- 2223
- 2224
- 2225
- 2226
- 2227

- 2228
- 2229
- 2230
- 2231
- 2232
- 2233
- 2234
- 2235
- 2236
- 2237
- 2238
- 2239
- 2240
- 2241
- 2242
- 2243
- 2244
- 2245
- 2246
- 2247
- 2248
- 2249
- 2250
- 2251
- 2252
- 2253
- 2254
- 2255
- 2256
- 2257
- 2258
- 2259
- 2260
- 2261
- 2262
- 2263
- 2264

- 2265
- 2266
- 2267
- 2268
- 2269
- 2270
- 2271
- 2272
- 2273
- 2274
- 2275
- 2276
- 2277
- 2278
- 2279
- 2280
- 2281
- 2282
- 2283
- 2284
- 2285
- 2286
- 2287
- 2288
- 2289
- 2290
- 2291
- 2292
- 2293
- 2294
- 2295
- 2296
- 2297
- 2298
- 2299
- 2300
- 2301

- 2302
- 2303
- 2304
- 2305
- 2306
- 2307
- 2308
- 2309
- 2310
- 2311
- 2312
- 2313
- 2314
- 2315
- 2316
- 2317
- 2318
- 2319
- 2320
- 2321
- 2322
- 2323
- 2324
- 2325
- 2326
- 2327
- 2328
- 2329
- 2330
- 2331
- 2332
- 2333
- 2334
- 2335
- 2336
- 2337
- 2338

- 2339
- 2340
- 2341
- 2342
- 2343
- 2344
- 2345
- 2346
- 2347
- 2348
- 2349
- 2350
- 2351
- 2352
- 2353
- 2354
- 2355
- 2356
- 2357
- 2358
- 2359
- 2360
- 2361
- 2362
- 2363
- 2364
- 2365
- 2366
- 2367
- 2368
- 2369
- 2370
- 2371
- 2372
- 2373
- 2374
- 2375

- 2376
- 2377
- 2378
- 2379
- 2380
- 2381
- 2382
- 2383
- 2384
- 2385
- 2386
- 2387
- 2388
- 2389
- 2390
- 2391
- 2392
- 2393
- 2394
- 2395
- 2396
- 2397
- 2398
- 2399
- 2400
- 2401
- 2402
- 2403
- 2404
- 2405
- 2406
- 2407
- 2408
- 2409
- 2410
- 2411
- 2412

- 2413
- 2414
- 2415
- 2416
- 2417
- 2418
- 2419
- 2420
- 2421
- 2422
- 2423
- 2424
- 2425
- 2426
- 2427
- 2428
- 2429
- 2430
- 2431
- 2432
- 2433
- 2434
- 2435
- 2436
- 2437
- 2438
- 2439
- 2440
- 2441
- 2442
- 2443
- 2444
- 2445
- 2446
- 2447
- 2448
- 2449

- 2450
- 2451
- 2452
- 2453
- 2454
- 2455
- 2456
- 2457
- 2458
- 2459
- 2460
- 2461
- 2462
- 2463
- 2464
- 2465
- 2466
- 2467
- 2468
- 2469
- 2470
- 2471
- 2472
- 2473
- 2474
- 2475
- 2476
- 2477
- 2478
- 2479
- 2480
- 2481
- 2482
- 2483
- 2484
- 2485
- 2486

- 2487
- 2488
- 2489
- 2490
- 2491
- 2492
- 2493
- 2494
- 2495
- 2496
- 2497
- 2498
- 2499
- 2500
- 2501
- 2502
- 2503
- 2504
- 2505
- 2506
- 2507
- 2508
- 2509
- 2510
- 2511
- 2512
- 2513
- 2514
- 2515
- 2516
- 2517
- 2518
- 2519
- 2520
- 2521
- 2522
- 2523

- 2524
- 2525
- 2526
- 2527
- 2528
- 2529
- 2530
- 2531
- 2532
- 2533
- 2534
- 2535
- 2536
- 2537
- 2538
- 2539
- 2540
- 2541
- 2542
- 2543
- 2544
- 2545
- 2546
- 2547
- 2548
- 2549
- 2550
- 2551
- 2552
- 2553
- 2554
- 2555
- 2556
- 2557
- 2558
- 2559
- 2560

- 2561
- 2562
- 2563
- 2564
- 2565
- 2566
- 2567
- 2568
- 2569
- 2570
- 2571
- 2572
- 2573
- 2574
- 2575
- 2576
- 2577
- 2578
- 2579
- 2580
- 2581
- 2582
- 2583
- 2584
- 2585
- 2586
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48

- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85

- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122

- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56

- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93

- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130

- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167

- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204

- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

Власть тьмы

ИЛИ „КОГОТОК УВЯЗ, ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ"

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геену.

Мф. V, 28, 29.

ЛИЦА ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ.

Петр — мужик богатый, 42-х лет, женат 2-м браком, болезненный.

Анисья — его жена, 32-х лет, щеголиха.

Акулина — дочь Петра от первого брака, 16-ти лет, крепка на ухо, дурковатая.

Анютка — вторая дочь, 10-ти лет.

Никита — их работник, 25-ти лет, щеголь.

Аким — отец Никиты, 50-ти лет, мужик невзрачный, богобоязненный.

Матрена — его жена, 50-ти лет.

Марина — девка-сирота, 22-х лет.

Действие первое.

Действие происходит осенью в большом селе. Сцена представляет просторную избу Петра. Петр сидит на лавке, чинит хомут. Анисья и Акулина прядут.

ЯВЛЕНИЕ I.

Петр, Анисья и Акулина. (Последние поют в два голоса.)

Петр (выглядывает из окна).

Опять лошади ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита, а Микита! Оглох! *(Прислушивается. На баб:)* Будет вам, не слыхать ничего.

Голос Никиты с надворья.

Чего?

Петр.

Лошадей загони.

Голос Никиты.

Загоню, дай срок.

Петр (качая головой).

Уж эти работники! Был бы здоров, ни в жисть бы не стал держать. Один грех сними... *(Встает и опять садится.)* Микит!.. Не докличешься. Подите, что ль, кто из вас. Акуль, поди загони.

Акулина.

Лошадей-то?

Петр.

А то чего ж?

Акулина.

Сейчас. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ II.

Петр и Анисья.

Петр.

Да и лодырь малый, нехозяйственный. Коли повернется, коли что.

Анисья.

Сам-то ты больно шустер, с печи да на лавку. Только с людей взыскивать.

Петр.

С вас не взыскивать, так в год дома не найдешь. Эх, народ!

Анисья.

Десять делов в руки сунешь, да и ругаешься. На печи лежа приказывать лёгко.

Петр (вздыхая).

Эх, кабы не хворь эта привязалась, и дня бы но стал держать.

За сценой голос Акулины.

Псе, псе псе...

(Слышно, жеребенок ржет, и лошади вбегают в ворота. Ворота скрипят.)

Петр.

Бахарить — вот это его дело. Право, не стал бы держать.

Анисья (передразнивая).

Не стану держать. Ты бы сам поворочал, тогда бы говорил.

ЯВЛЕНИЕ III.

Те же и Акулина.

Акулина (входит).

Насилу загнала. Всё чалый...

Петр.

Микита-то где ж?

Акулина.

Микита-то? На улице стоит.

Петр.

Чего ж он стоит?

Акулина.

Чего стоит-то? Стоит за углом, калякает.

Петр.

Не добьешься от нее толков. Да с кем калякает-то?

Акулина (не расслышав).

Чего?

(Петр махает на Акулину рукой; она садится за пряжу.)

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же и Анютка.

Анютка (вбегает. К матери).

К Микитке отец с матерью пришли. Домой берут жить, однова дыхнуть.

Анисья.

Врешь?

Анютка.

Пра! сейчас умереть! *(Смеется.)* Я мимо иду, Микита и говорит: прощай, говорит, теперь, Анна Петровна. Приходи ужо ко мне на свадьбу гулять. Я, говорит, ухожу от вас. Смеется сам.

Анисья (к мужу).

Не больно тобою нуждаются. Вон он и сам сходить собрался... «Сгоню!», говорит...

Петр.

И пущай идет; разве других не найду?

Анисья.

А деньги-то зададены?..

(Анютка подходит к двери, слушает, что говорят, и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V.

Анисья, Петр и Акулина.

Петр (хмурится).

Деньги, коли что, летом отслужит.

Анисья.

Да ты рад отпустить, — тебе с хлеба долой. Да зиму-то я одна и ворочай, как мерин какой. Девка-то не больно охоча работать, а ты на печи лежать будешь. Знаю я тебя.

Петр.

Да что, ничего не слыхамши, попусту язык трепать.

Анисья.

Полон двор скотины. Не продал корову-то и овец всех на зиму пустил, корму и воды не наготовишься, — а работника отпустить хочешь. Да не стану я мужицкую работу работать!

Лягу, вот как ты же, на печь — пропадай всё; как хочешь, так и делай.

Петр (к Акулине).

Иди за кормом-то, что ли, — пора.

Акулина.

За кормом? Ну, что ж. *(Надевает кафтан и берет веревку.)*

Анисья.

Не буду я тебе работать. Буде уж, не стану. Работай сам.

Петр.

Да буде. Чего взбеленилась? Ровно овца круговая.

Анисья.

Сам ты кобель бешеный! Ни работы от тебя, ни радости. Только поедом ешь. Кобель потрясучий, право.

Петр (плюет и одевается).

Тьфу ты! Прости, Господи! Пойти узнать толком. *(Выходит.)*

Анисья (вдогонку).

Гнилой чорт, носастый!

ЯВЛЕНИЕ VI.

Анисья и Акулина.

Акулина.

Ты за что батю ругаешь?

Анисья.

Ну тебя, дура. Молчи.

Акулина (подходит к двери).

Знаю, чего ругаешь. Сама дура, пес ты. Не боюсь я тебя.

Анисья.

Ты чего? *(Вскакивает и ищет, чем бы ударить.)* Мотри, я тебя рогачем.

Акулина (отворив дверь).

Пес, ты, дьявол, вот ты кто! Дьявол, пес, пес, дьявол! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ VII.

Анисья (одна).

Анисья (задумывается).

На свадьбу, говорит, приходи. Это что ж они вздумали? женить? Мотри, Микитка: коли это твои умыслы, я то сделаю... Нельзя мне без него жить. Не пущу я его.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Анисья и Никита.

Никита (входит оглядываясь. Видя, что Анисья одна, быстро подходит к ней. Шопотом).

Что, братец ты мой, беда. Приехал родитель, снимать хочет, — домой итти велит. Окончательно, говорит, женим тебя, и живи дома.

Анисья.

Что же, женись. Мне-то что?

Никита.

Вот так — так. Я рассчитываю, как получше дело обсудить, а она вон как: жениться велит. Что ж так? *(Подмигивает.)* Аль забыла?..

Анисья.

И женись, очень нужно...

Никита.

Да ты что фыркаешь-то? Вишь ты, и погладиться не дается... Да ты чего?

Анисья.

А того, что бросить хочешь... А хочешь бросить, так и я не нуждаюсь. Вот тебе и сказ!

Никита.

Да буде, Анисья. Разве я тебя забыть хочу? Ни в жисть. Окончательно тебя, значит, не брошу. А я так рассчитываю: что и женят, так к тебе же назад приду; только бы домой не брал.

Анисья.

Очень ты мне нужен женатый-то.

Никита.

Да как же, братец ты мой, — из отцовской воли опять-таки невозможно никак.

Анисья.

На отца сворачиваешь, а умыслы — твои всё. Давно ты подлаживаешь с мазихой своей, с Маринкой. Она тебе это

намазала. Не даром намедни прибегала.

Никита.

Маринка?! Очень она мне нужна!.. Мало их вешаются-то!..

Анисья.

Зачем же отец приехал? Ты велел! Обманывал ты!.. *(Плачет.)*

Никита.

Анисья! веришь ты Богу, аль нет? Ничего-то я и во сне не видал. Окончательно знать не знаю, ведать не ведаю. Всё мой старик с своей головы уздумал.

Анисья.

Сам не захочешь, так кто ж тебя, оселом, что ль, притянет?

Никита.

Тоже, рассчитываю, невозможно супротив родителя будет исделать. А неохота мне.

Анисья.

Упрись, да и всё.

Никита.

Уперся один такой-то, так его в волостной так вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказывают — щекотно..

Анисья.

Буде шутить-то. Ты слушай, Микита: коли ты за себя Марину возьмешь, я не знаю, что над собой сделаю... Жизни решусь! Согрешила я, закон рушила, да уж не ворочаться стать. Коли да ты только уйдешь, я то сделаю...

Никита.

Мне что ж уходить? Кабы я уйти хотел, я бы давно ушел. Меня как намедни Иван Семеныч приглашал в кучера... А уж жизнь какая! Не пошел же. Потому я так рассчитываю, что я всякому хорош. Если бы ты меня не любила, то другой расчет.

Анисья.

То-то и помни. Старик не нынче-завтра помрет, думаю, — все грехи прикроем. Закон приму, думала, будешь хозяином.

Никита.

И, что загадывать. Мне что? Я работаю, как для себя стараюсь. Меня и хозяин любит, и баба его, значит, любит. А что меня бабы любят, так я в этом не причинен, — очень просто.

Анисья.

Будешь меня любить?

Никита (обнимает ее).

Во как! Как была ты у меня в душе...

ЯВЛЕНИЕ IX.

Те же и Матрена (входит и долго крестится на образа; Никита и Анисья отстраняются друг от друга).

Матрена.

А я что и видела, не видала, что и слышала, не слыхала. С бабочкой поиграл, — что ж? И теленок, ведашь, и тот играет. Отчего не поиграть? — дело молодое. А тебя, сынок, хозяин на дворе спрашивает.

Никита.

Я за топором зашел.

Матрена.

Знаю, знаю, родной, за каким топором. Этот топор всё больше около баб.

Никита (нагибается, берет топор).

Что ж, матушка, аль и вправду женить меня? Я рассчитываю, что совсем напрасно. Опять-таки и мне бы неохота.

Матрена.

И-и! Касатик, зачем женить? Живешь да живешь. Это старик всё. Поди, родной, мы и без тебя все дела рассудим.

Никита.

Чудно, право: то женить, а то не надо. Окончательно не разберу ничего. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X.

Анисья и Матрена.

Анисья.

Что ж, тетка Матрена, аль и вправду женить хотите?

Матрена.

С чем женить-то, ягодка! Наш, ведашь, какой достаток? Так себе, старичок мой зря болтает: женить да женить. Да не его ума дело. От овса, ведашь, кони не рыщут, от добра добра не ищут, — так и это дело. Разве я не вижу *(подмигивает),* к чему дело клонит.

Анисья.

Что же мне, тетка Матрена, от тебя хорониться. Ты все дела знаешь. Согрешила я, полюбила сына твоего.

Матрена.

Ну, новости сказала. А тетка Матрена и не знала. Эх, деушка, тетка Матрена терта, терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то на аршин видит. Всё знаю, ягодка! Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надоть. Принесла. *(Развязывает узелок платка, достает в бумаге порошки.)* Чего надо, то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молода была. Тоже с своим дураком, ведашь, умеючи прожить надо. Все 77 уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврел, зачиврел твой-то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на весну похоронить. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик? Не хуже людей. Так что же мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?

Анисья.

Только б не сходил он от нас.

Матрена.

И не сойдет, ласточка. Всё глупость одна. Старика моего ведать. Ум у него вовсе расхожий, а тоже другой раз заберет что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь.

Анисья.

Да с чего взялось-то дело это?

Матрена.

А видишь ли, ягодка, — малый, сама знаешь, до баб какой, да и красик, нечего сказать. Ну жил он, ведашь, на чугунке, а там у них девчонка сирота — в куфарках жила. Ну и стала вязаться за ним девчонка эта.

Анисья.

Маринка?

Матрена.

Она, паралик ее расшиби. Ну и было ли что, нет ли, только и дознайся мой старик. От людей ли, или сама она ему наклявузничала!..

Анисья.

Смелая же какая, подлюга!

Матрена.

Вот и поднялся мой-то, дурья-то голова: женить, говорит, да женить, грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой да женим. Разговаривала всячески. Куды тебе! Ну, думаю, ладно. Дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, всё так-то манить надо. Всё в согласьи, как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведашь, с печи летит, 77 дум передумает, так где ж ему догадаться. Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку да посоветуем с Петром Игнатьичем. Что он скажет? Вот и пришли.

Анисья.

О-ох, тетушка, как же так? Ну как отец-то велит?

Матрена.

Велит? А веленье-то его псу под хвост. Уж ты не сумлевайся, не бывать этому делу, я сейчас с твоим стариком все дела просею, процежу, ничего не останется. Я и пошла с ним — один пример сделать. Как же сынок в счастьи живет, счастья ждет, а я за него потаскуху сватать стану. Что ж, я дура, что ль!

Анисья.

Она и сюда к нему бегала, Маринка-то. Верить ли, тетушка, как сказали мне, что женить его, как ножом по сердцу полоснуло меня. Думаю, в сердце она у него.

Матрена.

И, ягодка! Что ж, он дурак, что ли? Станет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведашь, малый тоже умный. Он знает, кого любить. А ты, ягодка, не сумлевайся. Не снимем его ни в жизнь. И женить не станем. А деньжонок ублаготворите, и пусть живет.

Анисья.

Кажется, уйди Микита, не стану на свете жить.

Матрена.

Дело молодое. Легко ли! Баба ты в соку, с таким осметком жить...

Анисья.

Верить ли, тетушка, постыл, уж постыл мне мой-то, кобель носастый, и не смотрели бы на него глаза.

Матрена.

Да, уж это дело такое. Глянь-ка сюда. *(Шопотом, оглядываясь.)* Была я, ведашь, у старичка этого за порошками, — он мне на две руки дал снадобья. Глянь-ка сюда. Это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один — сон такой возьмет, что хоть ходи по нем. А это, говорит, такое снадобье, если, говорит, давать пить — никакого духа нет, а сила большая. На семь, говорит, разов, по щепоти на раз. До семи разов давай. И слобода, говорит, ей скоро откроется.

Анисья.

О-о-о... Что ж это?

Матрена.

Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит. Потому, ведать, добывать их тоже хитро. Я свою, ягодка, отдала. Думаю, возьмет, не возьмет, Михайловне снесу.

Анисья.

О-о! Да може что худое от них?

Матрена.

Чему худому-то быть, ягодка? Добро бы мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает.

Анисья.

О, ох, головушка моя бедная! Боюсь я, тетенька, как бы греха не было. Нет, это что ж?

Матрена.

Можно и назад снесть.

Анисья.

Что ж их, как и те, в воде распущать?

Матрена.

В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно, ни духу от них нет, ничего. Тоже человек умный.

Анисья (берет порошки).

О, о, головушка моя бедная. Пошла бы разве на такие дела, кабы не жисть каторжная.

Матрена.

А рублевку-то не забудь, я пообещалась старичку занесть. Тоже хлопочет.

Анисья.

Уж известно. *(Идет к сундуку и прячет порошки.)*

Матрена.

А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что, помилуй Бог, коснется, от тараканов мол... *(Берет рубль.)* Тоже от тараканов идет... *(Обрывает речь.)*

ЯВЛЕНИЕ XI.

Те же, Петр и Аким. (Аким входит, крестится на образа.)

Петр (входит и садится).

Так как же, дядя Аким?

Аким.

Получше, Игнатьич, как бы получше, тае, получше... Потому как бы не того. Баловство, значит. Хотелось бы, тае... к делу, значит, хотелось малого-то. А коли ты, значит, тае, можно и того. Получше как...

Петр.

Ладно, ладно. Садись, потолкуем. *(Аким садится.)* Что ж так? Аль женить хочешь?

Матрена.

Женить-то и повременить можно, Петр Игнатьич. Нужда наша, сам знаешь, Игнатьич. Где тут женить. Сами живота не надышим. Где ж женить!..

Петр.

Судите, как лучше.

Матрена.

Женить тоже спешить некуда. Это такое дело. Не малина, не опанет.

Петр.

Что ж, коли женить — дело хорошее.

Аким.

Хотелось бы, значит, тае... Потому мне, значит, тае... работишка в городу, работишка выпала, сходная, значит...

Матрена.

Ну уж работа! Ямы чистить. Приехал намедни, так блевала, блевала, тьфу!

Аким.

Это точно, сперначала она ровно и тае, шибает, значит, дух-то, а обыкнешь — ничего, всё одно, что барда, и значит, тае,

сходно... А что дух, значит, тае... это нашему брату обижаться нельзя. Одежонку сменить тоже можно. Хотелось, значит, Микитку дома. Пущай оправдает, значит. Он пущай дома оправдает. А уж я, тае, в городу добуду.

Петр.

Хочешь сына дома оставить, оно точно. Да забраты деньги-то как?

Аким.

Это верно, верно, Игнатьич, сказал это, значит, тае, правильно, потому нанялся, продался — это пусть доживат, значит, а вот только, тае, женить; на время, значит, отпусти коли что.

Петр.

Что ж, это можно.

Матрена.

Да дело-то у нас несогласное. Я перед тобой, Петр Игнатьич, как перед Богом откроюсь. Ты хоть нас с стариком рассуди. Заладил, что женить да женить. А на ком женить-то, ты спроси! Кабы невеста настоящая, разве я своему детищу враг, а то девка с пороком...

Аким.

Вот это напрасно. Напрасно, тае, наносишь на девку-то. Напрасно. Потому ей, девке этой самой, обида от сына мого, обида, значит, есть. Девке, значит.

Петр.

Какая же такая обида?

Аким.

А выходит, значит, тае, с сыном Никиткою. С Никиткою, значит, тае.

Матрена.

Ты погоди говорить, у меня язык помягче, дай я скажу. Жил это малый-то наш до тебя, сам ведать, на чугунке. И привяжись там к нему девка, так, ведать, немудрящая, Маринкой звать, — куфаркой у них в артели жила. Так вот, показывает она, эта самая девка, на сына на нашего, что примерно, он, Микита, будучи, ее обманул.

Петр.

Хорошего тут нет.

Матрена.

Да она сама непутевая, по людям шляется. Так, потаскуха.

Аким.

Опять ты, значит, старуха, не тае, и всё ты не тае, всё, значит, не тае...

Матрена.

Вот только и речей от орла от моего — тае, тае, тае, а что тае — сам не знаешь. Ты, Петр Игнатьич, не у меня, у людей спроси про девку, всякий то же скажет. Так — шалава бездомовная.

Петр (Акиму).

Что ж, дядя Аким, коли такое дело, тоже женить не-зачем. Ведь не лапоть, с ноги не снимешь, хоть бы сноху.

Аким (разгорячась).

Облыжно, старуха, значит, на девку, тае, облыжно. Потому девка, тае, дюже хороша, дюже хороша девка, значит; жаль мне, жаль, значит, девку-то.

Матрена.

Уж прямо Маремьяна старица, по всем мире печальница, а дома не емши сидят. Жаль девку, а сына не жаль. Навяжи ее себе на шею, да и ходи с ней. Буде пустое-то говорить.

Аким.

Нет, не пустое.

Матрена.

Да ты не залетай, дай я скажу.

Аким (перебивает).

Нет, не пустое. Значит, ты на свое воротить, хоть бы про девку али про себя, — ты на свое воротишь, как тебе лучше, а Бог, значит, тае, на свое поворотит. Так и это.

Матрена.

Эх, только с тобой язык терзать.

Аким.

Девка работящая, важковатая и, значит, тае, вокруг себе... значит. А по нашей бедности нам и тае, рука, значит: и свадьба недорогая. А дороже всего обида есть девке-то, значит, тае, сирота, вот что, девка-то. А обида есть.

Матрена.

Всякая, тоже говорит...

Анисья.

Ты, дядя Аким, больше слушай нашу сестру. Они тебе расскажут!

Аким.

А Бог-то, Бог! Разве она не человек, девка-то? Значит тоже, тае, Богу-то она человек. А ты как думаешь?

Матрена.

А, заладил...

Петр.

А вот что, дядя Аким, тоже ведь этим девкам верить нельзя. А малый-то жив. Ведь он вот он! Послать его да спросить толком, правда ли? Он души не убьет. Покличьте малого-то! *(Анисья встает.)* Скажи ты, отец зовет. *(Анисья уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII.

Те же без Анисьи.

Матрена.

Вот это, родной, рассудил, как водой разлил; пущай сам малый скажет. Ведь тоже по нынешнему времю силòм женить не велят. Тоже спросить малого надо. Не захочет он ни в жисть на ней жениться, себя осрамить. На мой разум, пусть у тебя живет да служит хозяину. И на лето брать не-зачем, принанять можно. А ты нам десяточку дай, пусть живет.

Петр.

Та речь впереди, порядком надо. Одно кончи, тогда другое затевай.

Аким.

Я, значит, к тому говорю, Петр Игнатьич, потому, значит, тае, трафлялось. Ладишь, значит, как себе лучше, да про Бога, тае, и запамятуешь; думашь лучше... на себя воротишь, глядь, ан накошлял на шею себе, значит; думал как лучше, ан хуже много, без Бога-то.

Петр.

Известное дело! Бога помнить надо.

Аким.

Глядь, оно хуже, а как по закону, да по-Божьи, всё как-то, тае, оно тебя веселит. Манится, значит. Так и угадывал себе, значит, женю, значит, малого, от греха, значит. Он дома, значит, тае, как должно по закону, а уж я, значит, тае в городу похлопочу. Работишка-то любезная. Сходно. По-Божью-то, значит, тае, и лучше. Сирота ведь тоже. Примером, летось дрова тож у приказчика взяли таким манером. Думали обмануть; приказчика-то обманули, а Бога-то, значит, тае, не обманули, ну, и того...

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же, Никита и Анютка.

Никита.

Спрашивали? *(Садится, достает табак.)*

Петр (тихо, укоризненно).

Что ж ты, аль порядка не знаешь. Тебя отец спрашивать будет, а ты табаком балуешь да сел. Поди-ка сюда, встань!

(Никита становится у стола, развязно облокачиваясь и улыбаясь.)

Аким.

Выходит, значит, тае, примерно на тебя, Микишка, жалоба, жалоба, значит.

Никита.

От кого жалоба?

Аким.

Жалоба? От девицы, от сироты, значит, жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя, от Марины от этой самой, значит.

Никита (посмеиваясь).

Чудно, право. Какая ж такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал: она, что ли?

Аким.

Я таперь, тае, спрос делаю, а ты, значит, тае, должен ответ произвесть. Обвязался ты с девкой, значит, то есть обвязался ты с ней, значит?

Никита.

И не пойму окончательно, чего спрашиваете.

Аким.

Значит, глупости, тае, глупости, значит, были у тебя с ней, глупости, значит?

Никита.

Мало что было. С куфаркой от скуки и пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?

Петр.

Ты, Микита, не костыляй, а что спрашивает родитель, ты и отвечай толком.

Аким (торжественно).

Микита! От людей утаишь, а от Бога не утаишь. Ты, Микита, значит тае, думай, не моги врать! Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.

Никита.

Да что, говорить-то нечего. Окончательно всё и говорю, потому и говорить нечего. *(Разгорячась.)* Она чего не скажет. Говори, что. хоть, как на мертвого. Чего ж она на Федьку Микишкина не сказывала? А это что ж, по нынешнему времени, значит, и пошутить нельзя? А ей вольно говорить.

Аким.

Ой, Микишка, мотри! Неправда наружу выйдет. Было аль нет?

Никита (в сторону).

Вишь, привязались, право. *(К Акиму.)* Сказываю, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. *(С злобой.)* Вот те Христос, не сойти мне с доски с этой. *(Крестится.)* Ничего знать не знаю. *(Молчание. Никита продолжает еще горячее.)* Что ж это вы меня на ней женить вздумали? Что ж, в самом деле, право, скандал. Нынче и правов таких нет, чтоб силом женить. Очень просто. Да и побожился я — знать не знаю.

Матрена (на мужа).

То-то, глупая твоя башка, дурацкая; что ему наболтают, а он всему и верит. Только напрасно малого оконфузил. А лучше как живет, так пускай и живет у хозяина. Хозяин нам теперь на нужду десяточку даст. А время придет, и женим.

Петр.

Ну, как же, дядя Аким?

Аким (щелкает языком; к сыну).

Мотри, Микита, обижена слеза, тае, мимо не канет, а всё, тае, на человеческу голову. Мотри, как бы не того.

Никита.

Да что смотреть-то, ты сам смотри. *(Садится.)*

Анютка.

Пойти мамушке сказать. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Петр, Аким, Матрена и Никита.

Матрена (к Петру).

Вот так-то всё, Петр Игнатьич. Баламутный он у меня, втемяшит что в башку, не выбьешь никак; только даром тебя потревожили. А как жил малый, так пусть и живет. Держи малого — твой слуга.

Петр.

Так как же, дядя Аким?

Аким.

Что ж, я, тае, воли с малого не снимал, только бы не тае. Хотелось было, значит, тае...

Матрена.

И что путаешь, сам не знаешь. Пусть живет, как жил. Малому и самому сходить неохота. Да и куда нам его, сами управим.

Петр.

Одно, дядя Аким: если ты его на лето сымешь, он мне на зиму не нужен. Уж жить, так в год.

Матрена.

На год и заложится. Мы дома, в рабочую пору, коли что, принаймем, а малый пусть живет, а ты нам теперича десяточку...

Петр.

Так как же, еще на год?

Аким (вздыхает).

Да что ж, уж видно тае, коли так, значит, видно уж тае.

Матрена.

Опять на год, от Митревой субботы. В цене ты не обидишь, а десяточку теперь дай. Вызволь ты нас. *(Встает и кланяется.)*

ЯВЛЕНИЕ XV.

Те же, Анисья и Анютка. (Анисья садится к сторонке.)

Петр.

Что ж? Коли так, так так — до трактира дойти и могарычи. Пойдем, дядя Аким, водочки выпьем.

Аким.

Не пью я ее, вино-то, не пью.

Петр.

Ну, чайку попьешь.

Аким.

Чаем грешен. Чаем, точно.

Петр.

И бабы-то чайку попьют. Ты, Микита, смотри, овец-то перегони да солому подбери.

Никита.

Ладно.

(Все уходят, кроме Никиты. Смеркается.)

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Никита (один).

Никита (закуривает папироску).

Вишь, пристали, скажи да скажи, как с девками гулял. Эти истории рассказывать долго будет. Женись, говорит, на ней. На всех да жениться — это жен много наберется. Нужно мне очень жениться, и так не хуже женатого живу, завидуют люди. И как это меня как толконул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. Всё одна глупость. Ничего, одна речь. Очень просто.

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Никита и Акулина.

Акулина (входит в кафтане, кладет веревку, раздевается и идет в чулан).

Ты бы хоть огонь засветил.

Никита.

На тебя глядеть? Я тебя и так вижу.

Акулина.

Ну тебя!

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Те же и Анютка.

Анютка (вбегает; к Никите шопотом).

Микита, иди скорей, тебя человек один спрашивает, однова дыхнуть.

Никита.

Какой человек?

Анютка.

Маринка с чугунки. За углом стоит.

Никита.

Врешь.

Анютка.

Однова дыхнуть.

Никита.

Чего же ей?

Анютка.

Тебе приходить велела. Мне, говорит, Миките только слово одно сказать надо. Стала я спрашивать, а она не сказывает. Только спросила: правда ли, что он от вас сходит? А я говорю: неправда, его отец хотел снять да женить, да он отказался, у нас

на год еще остался. А она и говорит: пошли ты его ко мне, ради Христа. Мне, говорит, беспременно нужно ему слово сказать. Она уж давно ждет. Иди же к ней.

Никита.

Ну ее к Богу. Куда я пойду?

Анютка.

Она говорит, коль не прийдет, я сама в избу к нему пойду. Однова дыхнуть, приду, говорит.

Никита.

Небось, постоит да уйдет.

Анютка.

Аль, говорит, его на Акулине женить хотят?

Акулина (подходит к Никите за своей прялкой).

Кого на Акулине женить?

Анютка.

Микиту.

Акулина.

Легко ль? Да кто говорит-то?

Никита.

Да видно, люди говорят. *(Смотрит на нее, смеется.)* Акулина, что, пойдешь за меня?

Акулина.

За тебя-то? Може допрежь и пошла бы, а теперь не пойду.

Никита.

Отчего теперь не пойдешь?

Акулина.

А ты меня любить не будешь.

Никита.

Отчего не буду?

Акулина.

Тебе не велят. *(Смеется.)*

Никита.

Кто не велит?

Акулина.

Да мачеха. Она всё ругается, всё за тобой глядит.

Никита (смеется).

Вишь ты! Однако ты приметливая.

Акулина.

Я-то? Что мне примечать? Разве я слепая? Нынче она батю пузырила, пузырила. Ведьма она толстомордая. *(Уходит в чулан.)*

Анютка.

Никита! глянь-ка. *(Глядит в окно.)* Идет. Однова дыхнуть, она. Я уйду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XIX.

Никита, Акулина в чулане и Марина.

Марина (входит).

Что ж это ты со мной делаешь?

Никита.

Что делаю? Ничего не делаю.

Марина.

Отречься хочешь?

Никита (сердито подымаясь).

Ну, к чему подобно, что пришла?

Марина.

Ах, Микита!

Никита.

Чудные вы, право. Зачем пришла?

Марина.

Микита!

Никита.

Ну что Микита? Микита и есть. Чего надо-то? Иди, говорю.

Марина.

Так, вижу, бросить, позабыть хочешь?

Никита.

Что помнить-то? Сами не знают. За углом стояла, Анютку послала, не пришел я к тебе. Значит, не надобна ты мне, очень просто. Ну и уйди.

Марина.

Не надобна! Не надобна теперь стала. Поверила я тебе, что любить будешь. А потерял ты меня, и не надобна стала.

Никита.

И всё ни к чему ты это говорить, всё несообразно. Ты и отцу наговорила. Уйди, сделай милость.

Марина.

Сам знаешь, что никого, кроме тебя, не любила. Взял бы, не взял замуж, я на то бы не обижалась. Не повинна я перед тобой ничем. За что разлюбил? За что?

Никита.

Нечего нам с тобою переливать из пустого в порожнее. Уйди ты. То-то бестолковые!

Марина.

Не то мне больно, что обманул меня, жениться обещал, а что разлюбил. И не то больно, что разлюбил, а на другую променял, — на кого, знаю я!

Никита (злобно идет к ней).

Эх! С вашей сестрой разговаривать, никаких резонов не понимают; уйди, говорю, до худа доведешь.

Марина.

До худа? Что ж, меня бить будешь? Бей, на! Что морду-то отворотил? Эх, Никита.

Никита.

Известно, нехорошо, народ придет. А что ж попусту толковать.

Марина.

Так конец, значит, что было, то уплыло. Позабыть велишь! Ну, Никита, помни. Берегла я свою честь девичью пуще глаза. Погубил ты меня ни за что, обманул. Не пожалел сироту *(плачет),* отрекся от меня. Убил ты меня, да я на тебя зла не держу. Бог с тобой. Лучше найдешь — позабудешь, хуже найдешь — воспомянешь. Воспомянешь, Никита. Прощай, коли так. И любила ж я тебя. Прощай в последний. *(Хочет обнять его и берет за голову.)*

Никита (вырываясь.)

Эх! Разговаривать с вами. Не хочешь уходить, я сам уйду, оставайся тут.

Марина (вскрикивает).

Зверь ты! *(В дверях.)* Не даст тебе Бог счастья! *(Уходит плача.)*

ЯВЛЕНИЕ XX.

Никита и Акулина.

Акулина (выходит из чулана).

А пес ты, Никита.

Никита.

А что?

Акулина.

Как взвыла-то она. *(Плачет.)*

Никита.

Ты-то чего?

Акулина.

Чего? О... би... дел ты ее... Ты так-то и меня обидишь... пес ты. *(Уходит в чулан.)*

ЯВЛЕНИЕ XXI.

Никита (один).

Никита. (Молчание.)

То-то неразбериха. Люблю я этих баб, как сахар; а нагрешишь с ними — беда!

Занавес.

———

Действие второе.

ЛИЦА ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ.

Петр.
Анисья.
Акулина.
Анютка.
Никита.
Матрена.
Кума — соседка.
Народ.

Сцена представляет улицу и избу Петра. Слева от зрителя — изба в две связи, сени, с крыльцом в середине; справа — ворота и край двора. У края двора Анисья треплет пеньку. После первого действия прошло 6 месяцев.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анисья (одна).

Анисья *(останавливается, прислушиваясь).* Опять что-то бурчит. Должно, слез с печи.

ЯВЛЕНИЕ II.

Анисья и Акулина (входит с ведрами на коромысле).

Анисья.

Кличет. Поди погляди, чего ему? Во... орет.

Акулина.

А ты-то что ж?

Анисья.

Иди, говорят. *(Акулина идет в избу.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Анисья (одна).

Анисья.

Измучал он меня. Не открывает, где деньги, да и всё. Намедни в сенях был, должно, там прятал. Теперь и сама не знаю где. Спасибо, расстаться с ними боится. Всё в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не было. Теперь и сама не знаю где. Измучал меня на отделку.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Анисья и Акулина (выходит, повязываясь платком).

Анисья.

Куда ты?

Акулина.

Куды? А велел тетушку Марфу позвать. Позови, говорит, сестру ко мне. Я помру, говорит, нужно мне ей сказать слово.

Анисья (про себя).

Сестру зовет. О, головушка моя! О-о! Должно, ей отдать хочет. Что стану делать! О! *(Акулине.)* Не ходи! Куда ты?

Акулина.

За теткой.

Анисья.

Не ходи, говорю, я сама схожу, а ты с бельем-то иди на речку. А то до вечера не успеешь.

Акулина.

Да он мне велел.

Анисья.

Иди куда посылают. Сама, говорят, схожу за Марфой. Рубахи-то возьми с плетня.

Акулина.

Рубахи? Да ты, мотри, не пойдешь. Он велел.

Анисья.

Сказала, пойду. Анютка где?

Акулина.

Анютка? Она телят стережет.

Анисья.

Пошли ее, авось не разбегутся.

(Акулина собирает белье и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V.

Анисья (одна).

Анисья.

Не пойтить — заругает, а пойтить — отдаст он сестре деньги. Пропадут все мои труды. И что делать, сама не знаю. Расскочилась моя голова. *(Продолжает работать.)*

ЯВЛЕНИЕ VI.

Анисья и Матрена (входит с палочкой и узелком по-дорожному).

Матрена.

Бог помочь, ягодка.

Анисья (оглядывается, бросает работу и всплескивает руками от радости).

Вот не чаяла, тетушка. Лучил же Бог какого гостя ко времени.

Матрена.

Ну, что?

Анисья.

Уж я и в уме смешалась. Беда!

Матрена.

Что ж, жив, сказывают?

Анисья.

И не говори. Жить не живет и помирать не помирает.

Матрена.

Деньги-то не передал кому?

Анисья.

Сейчас за Марфой, за сестрой родной, посылает. Должно, об деньгах.

Матрена.

Видимое дело. Да не передал ли кому помимо?

Анисья.

Некому. Я как ястреб над ним стерегу.

Матрена.

Да где ж они?

Анисья.

Не сказывает. И не дознаюсь никак. Хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от Акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. О, головушка моя! Измучалась я.

Матрена.

Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась, сердечная, век-то свой с немилым, да и вдовой с сумой пойдешь.

Анисья.

И не говори, тетка. Изныло мое сердце, и не знаю, как быть, и посоветовать не с кем. Говорила Миките. А он робеет, не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчерась, что в полу они.

Матрена.

Что ж, лазила?

Анисья.

Нельзя — сам тама. Я примечаю, — он их то на себе носит, то хоронит.

Матрена.

Ты, деушка, помни: раз маху дашь, век не справишься. *(Шопотом.)* Что ж, крепкого чаю-то давала?

Анисья.

О-о! *(Хочет отвечать, видит соседку, замолкает.)*

ЯВЛЕНИЕ VII.

Те же и кума (проходит мимо избы, прислушивается к крику в избе. К Анисье).

Кума.

Кума! Анисья, а Анисья! Твой никак кличет.

Анисья.

Он всё так кашляет, ровно кричит. Плох уж очень.

Кума (подходит к Матрене.)

Здорово, баушка, отколь Бог несет?

Матрена.

А из двора, милая. Сынка проведать пришла. Рубах принесла. Тоже свое детище, ведашь, жалко.

Кума.

Да уж такое дело. *(К Анисье.)* Хотела, кума, красна белить, да, думается, рано. Люди не зачинали.

Анисья.

Куда спешить-то?

Матрена.

Что ж, сообщали?

Анисья.

Как же, вчерась поп был.

Кума.

Поглядела я вчерась тоже, матушка моя, и в чем душа держится. Измадел как. А уж намедни, матушка моя, совсем помирал, под святые положили. Уж и оплакали, омывать собирались.

Анисья.

Ожил — поднялся; опять бродит теперь.

Матрена.

Что ж, соборовать станете?

Анисья.

Люди приглашают. Коли жив будет, хотим завтра за попом посылать.

Кума.

Ох, скучно, чай, тебе, Анисьюшка? Не даром молвится: не тот болен, кто болит, а кто над болью сидит.

Анисья.

Уж как скучно то. Да уж одно бы что.

Кума.

Известно дело, легко ли, год целый помирает. По рукам связал.

Матрена.

Тоже и вдовье дело горькое. Хорошо дело молодое, а на старости лет кто пожалеет. Старость не радость. Хоть бы мое дело. Недалеко прошла, уморилась, ног не слышу. Сынок-то где?

Анисья.

Пашет. Да ты заходи, самовар поставим, чайком душеньку отведешь.

Матрена (садится).

И то уморилась, миленькие. А что соборовать — это беспременно надо. Люди говорят — тоже душе на пользу.

Анисья.

Да завтра пошлем.

Матрена.

То-то, оно лучше. А у нас, деушка, свадьба.

Кума.

Что ж так, весной?

Матрена.

Да, видно, пословица недаром молвится: бедному жениться и ночь коротка. Семен Матвеевич за себя Маринку взял.

Анисья.

Нашла-таки себе счастье!

Кума.

Вдовец, должно, на детей пошла.

Матрена.

Четверо. Какая же путная пойдет! Ну, ее и взял. Она и рада. Вино пили, ведашь, стаканчик не крепкий был, — проливали.

Кума.

Вишь ты! Слух-то был? А с достатком мужик-то?

Матрена.

Живут ничего пока.

Кума.

Оно точно, что на детей кто пойдет. Вот хоть бы у нас Михайло. Мужик-то, матушка моя...

Голос мужика.

Эй, Мавра, куда тебя дьявол носит? Поди корову загони. *(Соседка уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Анисья и Матрена.

Матрена (пока соседка уходит, говорит ровным голосом).

Выдали, деушка, от греха, по крайности мой дурак об Микишке думать не будет. *(Вдруг переменяет голос на шопот.)* Ушла! *(Шопотом.)* Что ж, говорю, чайком-то поила?

Анисья.

И не поминай. Помирал бы лучше сам. Всё одно не помирает, только греха на душу взяла. О-о! головушка моя! И зачем ты мне давала порошки эти?

Матрена.

Что ж порошки? Порошки, деушка, сонные, что ж не дать? От них худа не будет.

Анисья.

Я не про сонные, а про те, про белесые-то.

Матрена.

Что ж, те порошки, ягодка, лекарственные.

Анисья (вздыхает).

Знаю, да боязно. Измучал он меня.

Матрена.

Что ж, много извела?

Анисья.

Два раза давала.

Матрена.

Что ж, не приметно?

Анисья.

Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит: мне и чай-то противен. Я говорю: больному всё горько. Да и жутко же мне стало, тетушка.

Матрена.

А ты не думай. Что думать, то хуже.

Анисья.

И лучше ты мне не давала бы и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребтит. И зачем ты дала мне их?

Матрена.

И, что ты, ягодка! Христос с тобой. Что ж ты на меня-то сворачиваешь? Ты, деушка, мотри, с больной головы на здоровую не сворачивай. Коли чего коснется, мое дело сторона, я знать не знаю, ведать не ведаю, — крест поцелую, никаких порошков не давала и не видала и не слыхала, какие такие порошки бывают. Ты, деушка, сама думай. Мы и то намеднись про тебя разговорились, как она, мол, сердечная, маится. Падчерица — дура, а мужик гнилой — присуха одна. С этой жизни чего не сделаешь.

Анисья.

Да я и то не отрекусь. От моего житья не то что эти дела, а либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь?

Матрена.

То-то и дело. Рот разевать некогда. А как-никак, обыскать деньги да чайком попоить.

Анисья.

О-о, головушка моя бедная! И что делать теперь, сама не знаю, и жутость берет, — помирал бы уж лучше сам. Тоже на душу брать не хочется.

Матрена (с злобой).

А что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он их с собой возьмет, никому не достанутся? Разве это хорошо? Помилуй Бог, такие деньжищи да дурòм пропадут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него и смотреть?

Анисья.

Уже и сама не знаю. Измучал он меня.

Матрена.

Чего не знать-то? Дело на виду. Промашку теперь сделаешь, век каяться будешь. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся.

Анисья.

О-ох, и то посылал ведь за ней, — итти надо.

Матрена.

А ты погоди ходить, а первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим да деньги вдвоем поищем — дощупаемся, небось.

Анисья.

О-о! Как бы чего не было.

Матрена.

А то что ж? Что смотреть-то. Что ж ты деньги-то только глазами поваляешь, а в руки не попадут? Ты делай.

Анисья.

Так я пойду самовар поставлю.

Матрена.

Иди, ягодка, дело делай как надо, чтоб после не тужить. Так-то. *(Анисья отходит, Матрена подзывает.)* Одно дело: Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избави Бог, узнает про порошки. Он Бог знает что сделает. Жалостлив он очень. Он, ведашь, и курицы, бывало, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит. *(Останавливается в ужасе, на пороге показывается Петр.)*

ЯВЛЕНИЕ IX.

Те же и Петр (держась за стенку, выползает на крыльцо и кличет слабым голосом).

Петр.

Что ж вас не дозовешься. О-ох! Анисья, кто здесь? *(Падает на лавку.)*

Анисья (выходит из-за угла).

Чего вылез? Лежал бы, где лежал.

Петр.

Что, за Марфой ходила девка-то?.. Тяжко... Ох, хоть бы смерть скорее!..

Анисья.

Недосуг ей, я ее на речку послала. Дай срок, управлюсь, сама схожу.

Петр.

Анютку пошли. Где она? Ох, тяжко! Ох, смерть моя!

Анисья.

Я и то послала за ней.

Петр.

Ох! Где ж она?

Анисья.

Где она там, пралик ее расшиби?

Петр.

Ох, мочи моей нет. Сожгло нутро. Ровно буравцом сверлит. Что ж меня бросили как собаку... и напиться подать некому... Ох... Анютку пошли ко мне..

Анисья.

Вот она. Анютка, иди к отцу.

ЯВЛЕНИЕ X.

Те же и Анютка (вбегает. Анисья уходит за угол).

Петр.

Поди ты... ох... к тетке Марфе, скажи: отец, мол, зовет, пришла чтоб, нужно мне.

Анютка.

Ну что ж.

Петр.

Постой. Скорее нужно, скажи. Скажи — помирать хочу. О-ох...

Анютка.

Только платок возьму, а я сейчас. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XI.

Петр, Анисья и Матрена

Матрена (подмигивая).

Ну, деушка, дело свое помни. Иди в избу, везде ошарь. Ищи, как собака блох ищет; всё перебери, а я на нем обыщу.

Анисья (к Матрене).

Сейчас. Всё с тобой смелей как будто. *(Подходит к крыльцу. К Петру.)* Самовар не поставить ли тебе? И тетка Матрена к сыну пришла, — с ней попьете.

Петр.

Что ж, поставь.

ЯВЛЕНИЕ XII.

Петр и Матрена. (Матрена подходит к крыльцу.)

Петр.

Здорово.

Матрена.

Здравствуй, благодетель. Здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, всё. И старик мой как жалеет. Поди, говорит, проведай. Поклон прислал. *(Еще раз кланяется.)*

Петр.

Помираю я.

Матрена.

И то, посмотрю на тебя, Игнатьич, не по лесу, видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то.

Петр.

Пришла смерть моя.

Матрена.

Что ж, Петр Игнатьич, Божья воля, сообщили, особoруют, Бог даст; баба у тебя, слава Богу, умная, и похоронят и помянут, всё честь честью. И мой сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет.

Петр.

Приказать некому! Необстоятельна баба, глупостями занимается, ведь всё знаю я... знаю... Девка дурковата, да и млада. Дом собирал, а обдумать некому. Жаль тоже. *(Хнычет.)*

Матрена.

Что ж, коли деньги или что, приказать можно...

Петр (к Анисье в сенцы).

Пошла, что ль, Анютка-то?

Матрена (в сторону).

Ишь, вспомнил.

Анисья (из сеней).

В ту же пору пошла. Иди в избу-то что ль, я проведу.

Петр.

Дай посижу напоследях. Дух тяжкий там. Тяжко мне... Ох, сожгло сердце всё... Хоть бы смерть...

Матрена.

Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе Бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал...

Петр.

Нет. Чую я, что нынче помру, чую. *(Прислоняется и закрывает глаза.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же и Анисья.

Анисья (входит).

Ну что ж, пойдешь, али нет? Тебя не дождешься. Петра? А Петра?

Матрена (отходит и манит к себе пальцем Анисью).

Ну что ж?

Анисья (сходит с крыльца к Матрене).

Нету.

Матрена.

Да ты всё ли обыскала? В полу-то?

Анисья.

И там нету. Нешто в пуньке. Вчера туда лазил.

Матрена.

Ищи, пуще всего ищи. Как языком вылижи. А я примечаю — нынче и так помереть: ноготь синий, и на лицо земля пала. Самовар-то поспел, что ль?

Анисья.

Закипать хочет.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Те же и Никита (приходит с другой стороны, а если можно, приезжает на лошади к воротам; не видит Петра).

Никита (к матери).

Здорово, матушка! Здоровы ли дома?

Матрена.

Слава Господу Богу, живем, пока хлеб жуем.

Никита.

Ну что, хозяин как?

Матрена.

Тише, вон он сидит. *(Показывает на крыльцо.)*

Никита.

Так что же, пущай сидит. Мне чего?

Петр (открывает глаза).

Микита, а Микита, подь-ка сюда. *(Никита подходит, Анисья шепчется с Матреной.)*

Петр.

Что рано приехал?

Никита.

Допахал.

Петр.

За мостом полоску пахал?

Никита.

Туда далече ехать.

Петр.

Далече? Из дома дальше. За нарочным поедешь. Заодно бы. *(Анисья, не показываясь, прислушивается.)*

Матрена (подходит).

Ах, сынок, что ж так хозяину не стараешься? Хозяин хворый, на тебя надеется, ты должен как отцу родному, жилы вытягивай, а служи. Так я тебе приказывала.

Петр.

Так ты того, ох!., картошки повытаскай, бабы... о!.. переберут.

Анисья (про себя).

Как же, и пошла я. Опять от себя всех услать хочет; должно, на нем теперь деньги-то. Куда-нибудь схоронить хочет.

Петр.

А то, о-ох!.. сажать время придет, а они попрели. Ох, мочи нет. *(Поднимается.)*

Матрена (вбегает на крыльцо, поддерживает Петра).

Аль в избу свесть?

Петр.

Сведи. *(Останавливается.)* Микита!

Никита (сердито).

Чего еще?

Петр.

Не увижу тебя... Помру нынче... Прости меня, Христа ради, прости, когда согрешил перед тобой... Словом и делом, согрешил когда... Всего было. Прости.

Никита.

Что ж прощать, мы сами грешные.

Матрена.

Ах, сынок, — ты чувствуй.

Петр.

Прости, Христа ради. *(Плачет.)*

Никита (сопит).

Бог простит, дядя Петр. Что ж, мне на тебя обижаться нечего. Я от тебя худого не видал. Ты меня прости. Может, я виноватее перед тобою. *(Плачет. Петр, хныкая, уходит. Матрена поддерживает его.)*

ЯВЛЕНИЕ XV.

Никита и Анисья.

Анисья.

О, головушка моя бедная! Неспроста он это. Задумал, видно, что. *(Подходит к Никите.)* Что ж, ты сказывал, что деньги в полу, — нету там.

Никита (не отвечает, плачет).

Я от него худого, окромя хорошего, ничего не видал. А я вот что сделал!

Анисья.

Ну, буде. Деньги-то где?

Никита (сердито).

А кто его знает. Ищи сама.

Анисья.

Что больно жалостлив?

Никита.

Жалко мне его. Как жалко его! Заплакал как! Э-эх!

Анисья.

Вишь, жалость напала, есть кого жалеть! Он тебя собачил, собачил, и сейчас приказывал, чтоб согнать тебя со двора долой. Ты бы меня пожалел.

Никита.

Да что тебя жалеть-то?

Анисья.

Помрет, деньги скроет...

Никита.

Небось, не скроет...

Анисья.

Ох, Никитушка! За сестрой ведь послал, ей отдать хочет. Беда наша, как нам жить будет, как он деньги отдаст. Ссунут они меня со двора! Уж ты бы похлопотал. Ты сказывал, в пуньку вечор лазял он?

Никита.

Видел, он оттель идет, а куда сунул, кто его знает.

Анисья.

О, головушка, пойду там поищу.

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Те же и Матрена (выходит из избы, спускается к Анисье и Никите шопотом).

Матрена.

Никуда не ходи, деньги на нем, я ощупала, на гайтане они.

Анисья.

О, головушка моя бедная!

Матрена.

Теперь сморгаешь, ищи тогда на орле — на правом крыле. Сестра придет — и прощайся.

Анисья.

И то придет, отдаст ей. Как быть-то? О, головушка!

Матрена.

Как быть-то? А ты смотри сюда. Самовар-то вскипел, поди ты завари чайкю да налей ему *(шопотом),* да из грамотки-то всю высыпь да попои его. Выпьет чашку, тогда и тащи. Небось, не расскажет.

Анисья.

О, боязно!

Матрена.

Ты это не толкуй, живо делай, а я сестру-то постерегу, коли что. Оплошки не давай. Тащи деньги да и неси сюда, а Микита схоронит.

Анисья.

О, головушка! Как приступиться-то и... и...

Матрена.

Говорю, не толкуй; делай, как велю. Микита!

Никита.

Чего?

Матрена.

Ты тут постой, посиди на завалинке, коли что, дело будет.

Никита (махая рукой).

Уж эти бабы придумают. Окончательно завертят. Ну вас совсем! Пойти и то — картошки повытаскать.

Матрена (останавливает его за руку).

Говорю, постой.

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Те же и Анютка (входит).

Анисья.

Ну, что?

Анютка.

Она у дочери на огороде была, сейчас придет.

Анисья.

Придет она, что делать будем?

Матрена (Анисье).

Поспешь, делай, что велю.

Анисья.

Уж сама не знаю — не знаю ничего, в уме смешалось. Анютка Иди, донюшка, к телятам, разбежались. Ох, не насмелюсь.

Матрена.

Иди, что ль, самовар ушел, я чай.

Анисья.

Ох, головушка моя бедная! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Матрена и Никита.

Матрена (подходит к сыну).

Так-то, сынок. *(Садится рядом с ним на завалинку.)* Дело твое тоже обдумать надо, а не как-нибудь.

Никита.

Да какое дело-то?.

Матрена.

А то дело, как тебе на свете прожить.

Никита.

Как на свете прожить? Люди живут, так и я.

Матрена.

Старик-то, должно, нынче помрет?

Никита.

Помрет, царство небесное. Мне-то что?

Матрена (всё время говорит и поглядывает на крыльцо).

Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты помни, тогда меня не забудь.

Никита.

Да о чем хлопотала-то?

Матрена.

О деле о твоем, об судьбе об твоей. Загодя не похлопотать, ничего и не будет. Иван Мосеича знаешь? Я до него тоже притолчна. Зашла намедни. Я ему, ведашь, тоже дело одно управила. Посидела, к слову разговорились. Как, говорю, Иван Мосеич, рассудить дело одно. Примерно, говорю, мужик вдовый, взял, примерно, за себя другую жену, и, примерно, только и детей, что дочь от той жены да от этой. Что, говорю, как помрет мужик этот, можно ли, я говорю, войти на вдову эту в двор чужому мужику? Можно, я говорю, этому мужику дочерей замуж отдать и самому во дворе остаться? Можно, говорит, да только надо, говорит, старанья тут много. С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать, а без денег, говорит, и соваться нечего.

Никита (смеется).

Да уж это что говорить, только подавай им деньги-то. Денежки всем нужны.

Матрена.

Ну, ягодка, я и открылась ему во всех делах. Первым делом, говорит, надо твоему сыночку в ту деревню приписаться. На это денежки нужно, — стариков попоить. Они, значит, и руки приложат. Всё, говорит, надо с умом делать. Глянь-ка сюда *(достает из платка бумагу).* Вот и бумагу отписал, почитай-ка, ведь ты дошлый. *(Никита читает, Матрена слушает.)*

Никита.

Бумага, известно, приговор значит. Тут мудрости большой нет.

Матрена.

А ты слухай, что Иван Мосеич приказывал. Пуще всего, говорит, тетка, смотри, чтоб денежки не упустить. Не ухватит, говорит, она деньги, не дадут ей на себя зятя принять. Деньги, говорит, всему делу голова. Так мотри. Дело, сынок, доходит.

Никита.

Мне что? Деньги ее, она и хлопочи.

Матрена.

Эка ты, сынок, судишь! Разве баба может обдумать? Если что и возьмет она деньги, где ж ей обдумать, — бабье дело известно, а ты всё мужик. Ты, значит, можешь и спрятать и все такое. У тебя всё-таки ума больше, коли чего коснется.

Никита.

Эх! женское ваше понятие не обстоятельное совсем.

Матрена.

Как же необстоятельно! Ты заграбь денежки-то. Баба-то у тебя в руках будет. Если случаем и похрапывать начнет или что, ей укороту можно сделать.

Никита.

Ну вас совсем, пойду.

ЯВЛЕНИЕ XIX.

Никита, Матрена и Анисья (выбегает бледная из избы за угол к Матрене).

Анисья.

На нем и были. Вот они. *(Показывает под фартуком.)*

Матрена.

Давай Микитке, он схоронит. Микитка, бери, схорони куда.

Никита.

Что ж, давай.

Анисья.

О-ох, головушка, да уж я сама, что ли. *(Идет к воротам.)*

Матрена (хватает ее за руку).

Куда идешь? Хватятся, вон сестра идет, ему давай, он знает. Эка бестолковая!

Анисья (останавливается в нерешительности).

О, головушка!

Никита.

Что ж, давай, что ль, суну куда.

Анисья.

Куда сунешь-то?

Никита.

Аль робеешь? *(Смеется.)*

ЯВЛЕНИЕ XX.

Те же и Акулина (идет с бельем).

Анисья.

О-ох, головушка моя бедная! *(Отдает деньги.)* Микита, мотри.

Никита.

Чего боишься-то? Туда запхаю, что и сам не найду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXI.

Матрена, Анисья и Акулина.

Анисья (стоит в испуге).

О-ох! Что как он...

Матрена.

Что ж, помер?

Анисья.

Да помер никак. Я снимала, он и не почуял.

Матрена.

Иди в избу-то, вон Акулина идет.

Анисья.

Что ж, я нагрешила, а он да что с деньгами...

Матрена.

Буде, иди в избу, вот и Марфа идет.

Анисья.

Ну, поверила я ему. Что-то будет. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XXII.

Марфа, Акулина, Матрена.

Марфа (идет с одной, Акулина с другой стороны. К Акулине).

Я бы даве пришла, да к дочери пошла. Ну, что старик-от? Аль помирать хочет?

Акулина (снимает белье).

А кто его знает. Я на речке была.

Марфа (указывая на Матрену).

Эта чья ж?

Матрена.

А из Зуева, Микиты мать я, из Зуева, родимая. Здравствуйте. Изныл, изныл сердечный, братец-то. Сам выходил. Пошли мне, говорит, сестрицу, потому, говорит.... О! да уж не кончился ли?

ЯВЛЕНИЕ XXIII.

Те же и Анисья (выбегает из избы с криком, хватается за столбик и начинает выть).

О-о-о, и на кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-ого-о-о по-ки-нул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи...

ЯВЛЕНИЕ XXIV.

Те же и кума (Кума и Матрена подхватывают ее под руки. Акулина и Марфа идут в избу. Народ приходит).

Один голос из народа.

Старух позвать, убирать надо.

Матрена (засучивает рукава).

Вода в чугуне-то есть, что ли? А то и в самоваре, я чай, есть. Не вылили. Потружусь и я.

Занавес.

———

Действие третье.

ЛИЦА ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ.

Аким.
Никита.
Акулина.
Анисья.
Анютка.
Митрич — старик-работник, отставной солдат.
Кума Анисьи.

Изба Петра. Зима. После 2-го действия прошло 9 месяцев. Анисья ненарядная сидит за станом, ткет. Анютка на печи. Митрич, старик-работник.

ЯВЛЕНИЕ I.

Митрич (входит медленно, раздевается).

О, Господи помилуй! Что ж, не приезжал хозяин-то?

Анисья.

Чего?

Митрич.

Микита-то из города не бывал?

Анисья.

Нету.

Митрич.

Загулял, видно. О, Господи!

Анисья.

Убрался на гумне-то?

Митрич.

А то как же? Всё как надо убрал, соломкой прикрыл. Я не люблю как-нибудь. О, Господи! Микола милослевый! *(Ковыряет мозоли.)* А то бы пора ему и быть.

Анисья.

Чего ему торопиться. Деньги есть, гуляет с девкой, я чай...

Митрич.

Деньги есть, так чего ж не гулять. Акулина-то почто в город поехала?

Анисья.

А ты спроси ее, зачем туда нелегкая понесла.

Митрич.

В город-то зачем? В городу всего много, только бы было на что. О, Господи!

Анютка.

Я, матушка, сама слышала. Полушальчик, говорит, тебе куплю, однова дыхнуть, куплю, говорит; сама, говорит, выберешь. И убралась она хорошо как: безрукавку плисовую надела и платок французский.

Анисья.

Уж и точно девичий стыд до порога, а переступила — и забыла. То-то бесстыжая!

Митрич.

Вона! Чего стыдиться-то? Деньги есть, так и гуляй. О, Господи! Ужинать-то рано, что ли? *(Анисья молчит.)* Пойти погреться пока что. *(Лезет на печь.)* О, Господи, Матерь пресвятая Богородица, Микола угодник!

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и кума.

Кума (входит).

Не ворочался, видно, твой-то?

Анисья.

Нету.

Кума.

Пора бы. В наш трактир не заехал ли. Сестра Фекла сказывала, матушка моя, стоят там саней много из города.

Анисья.

Анютка! а Анютка!

Анютка.

Чего?

Анисья.

Сбегай ты, донюшка, в трактир, посмотри, уж не туда ли он спьяна заехал?

Анютка (спрыгивает с печи, одевается).

Сейчас.

Кума.

И Акулину с собой взял?

Анисья.

А то бы ехать не-зачем. Из-за нее дела нашлись. В банку, говорит, надо, получка вышла, а всё только она его путает.

Кума (качает головой).

Уж и что говорить. *(Молчание.)*

Анютка (в дверях).

А коли там, сказать что?

Анисья.

Ты посмотри только, там ли?

Анютка.

Ну что ж, я живо слетаю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Анисья, Митрич и кума. (Долгое молчание.)

Митрич (рычит).

О, Господи, Микола милослевый.

Кума (вздрагивая).

Ох, напугал. Это кто ж?

Анисья.

Да Митрич, работник.

Кума.

Ох, натращал как! Я и забыла. А что, кума, сказывали, сватают Акулину-то.

Анисья (вылезает из-за стана к столу).

Посыкнулись было из Дедлова, да видно слушок-то есть и у них, посыкнулись было, да и молчок; так и запало дело. Кому же охота?

Кума.

А из Зуева-то Лизуновы?

Анисья.

Засылка была. Да тоже не сошлось. Он и к себе не примает.

Кума.

А отдавать бы надо.

Анисья.

Уж как надо-то. Не чаю, кума, как со двора спихнуть, да не паит дело-то. Ему неохота. Да и ей тоже. Не нагулялся, видишь, еще с красавой-то с своей.

Кума.

И-и-и! грехи. Чего вздумать нельзя. Вотчим ведь ей.

Анисья.

Эх, кума. Оплели меня, обули так ловко, что и сказать нельзя. Ничего-то я сдуру не примечала, ничего-то я не думала, так и замуж шла. Ничегохонько не угадывала, а у них согласье уж было.

Кума.

О-о, дело-то какое!

Анисья.

Дальше — больше, вижу от меня хорониться стали. Ах, кума, и уж тошно ж мне, тошно житье мое было. Добро б не любила я его.

Кума.

Да что уж и говорить.

Анисья.

И больно ж мне, кума, от него обиду такую терпеть. Ох, больно!

Кума.

Что ж, сказывают и на руку ерзок стал?

Анисья.

Всего есть. Бывало, во хмелю смирен был. Зашибал он и допрежде того, да всё, бывало, хороша я ему была, а нынче как надуется, так и лезет на меня, стоптать ногами хочет. Намедни в косы руками увяз, насилу вырвалась. А уж девка хуже змеи, и как только таких злющих земля родит.

Кума.

О-о-о! Кума, болезная ж ты, погляжу я на тебя! Каково ж терпеть; нищего приняла, да он над тобой так измываться будет. Ты что ж ему укороту не сделаешь?

Анисья.

Ох, кумушка милая! С сердцем своим что сделаю. Покойник на что строг был, а всё ж я как хотела, так и вертела, а тут не могу, кумушка. Как увижу его, так и сердце всё сойдет. Нет у меня против него и смелости никакой. Хожу перед ним как куренок мокрый.

Кума.

О-о, кума! Да это, видно, сделано над тобой что. Матрена-то, сказывают, этими делами занимается. Должно, она.

Анисья.

Да уж я и сама, кума, думаю. Ведь как обидно другой раз. Кажется, разорвала б его. А увижу его, — нет, не поднимается на него сердце.

Кума.

Видимое дело, напущено. Долго ль, матушка моя, испортить человека. То-то погляжу я на тебя, куда что делось.

Анисья.

Вовсе в лутошку ноги сошлись. А на дуру-то, на Акулину, погляди. Ведь растрепа девка, нехалявая, а теперь погляди-ка. Откуда что взялось. Да нарядил он ее. Расфуфырилась, раздулась, как пузырь на воде. Тоже, даром что дура, забрала себе в голову: я, говорит, хозяйка. Дом мой. Батюшка на мне его и женить хотел. А уж зла, Боже упаси. Разозлится, с крыши солому роет.

Кума.

О-ох, житье твое, кума, погляжу. Завидуют тоже люди. Богаты, говорят. Да видно, матушка моя, и через золото слезы льются.

Анисья.

Есть чему завидовать. Да и богатство-то всё так прахом пройдет. Мотает денежки, страсть.

Кума.

Да что ж ты, кума, больно просто пустила? Деньги твои.

Анисья.

Кабы ты всё знала. А то сделала я промашку одну.

Кума.

Я бы, кума, на твоем месте прямо до начальника до большого дошла. Деньги твои. Как же он может мотать? Таких правов нет.

Анисья.

На это нынче не взирают.

Кума.

Эх, кума, посмотрю я на тебя. Ослабла ты.

Анисья.

Ослабла, милая, совсем ослабла. Замотал он меня. И сама ничего не знаю. О-о, головушка моя бедная!

Кума.

Никак идет кто? *(Прислушивается. Отворяется дверь, и входит Аким.)*

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же и Аким.

Аким (крестится, обивает лапти и раздевается).

Мир дому сему. Здорово живете? Здорово, тетинька.

Анисья.

Здорово, батюшка. Из двора, что ль? Проходи, раздевайся.

Аким.

Думал, тае, дай, значит, схожу, тае, к сынку, к сынку пройду. Не рано пошел, пообедал, значит, пошел; ан снежно как, тае, тяжко, итти, тяжко, вот и, тае, запоздал, значит. А сынок дома? Дома сынок то есть?

Анисья.

Нетути; в городу.

Аким (садится на лавку).

Дельце до него, то есть, тае, дельце. Сказывал, значит, ему намедни, тае, значит, об нужде сказывал, лошаденка извелась,

значит, лошаденка-то. Объегорить, тае, надоть, лошаденку-то какую ни на есть, лошаденку-то. Вот и, тае, пришел, значит.

Анисья.

Сказывал Микита. Приедет, потолкуете. *(Встает к печи.)* Поужинай, а он подъедет. Митрич, иди ужинать, а Митрич?

Митрич (рычит, просыпается).

Чего?

Анисья.

Ужинать.

Митрич.

О, Господи, Микола милослевый!

Анисья.

Иди ужинать.

Кума.

Я пойду. Прощавайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V.

Аким, Анисья и Митрич.

Митрич (слезает).

И не видал, как заснул. О, Господи, Микола угодник! Здорово, дядя Аким.

Аким.

Э! Митрич! Ты что же, значит, тае?

Митрич.

Да вот в работниках, у Никиты, у сына у твоего, живу.

Аким.

Ишь ты! Значит, тае, в работниках у сына-то. Ишь ты!

Митрич.

То в городу жил у купца, да пропился там. Вот и пришел в деревню. Причалу у меня нет, ну и нанялся. *(Зевает.)* О, Господи!

Аким.

Что ж, тае, али, тае, Микишка-то что делает? Дело, значит, еще какое, что работника, значит, тае, работника нанял?

Анисья.

Какое ему дело? То управлялся сам, а нынче не то на уме, вот и работника взял.

Митрич.

Деньги есть, так что ж ему...

Аким.

Это, тае, напрасно. Вот ото совсем, тае, напрасно. Напрасно это. Баловство, значит.

Анисья.

Да уж избаловался, избаловался, что и беда.

Аким.

То-то, тае, думается, как бы получше, тае, а оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек, избалуется.

Митрич.

С жиру-то и собака бесится. С жиру как не избаловаться! Я вон с жиру-то как крутил. Три недели пил без просыпу. Последние портки пропил. Не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся. Ну ее.

Аким.

А старуха-то, значит, твоя где же?..

Митрич.

Старуха, брат, моя к своему месту пристроена. В городу по кабакам сидит. Щеголиха тоже — один глаз выдран, другой подбит, и морда на сторону сворочена. А тверезая, в рот ей пирога с горохом, никогда не бывает.

Аким.

О-о! Что же это?!

Митрич.

А куда же солдатской жене место? К делу своему пределена.

(Молчание.)

Аким (к Анисье).

Что ж Никита-то в город, тае, повез что, продавать, значит, повез что?

Анисья (накрывает на стол и подает).

Порожнем поехал. За деньгами поехал, в банке деньги брать.

Аким (ужинает).

Что ж вы их, тае, деньги-то куда еще пределить хотите деньги-то?

Анисья.

Нет, мы не трогаем. Только 20 или 30 рублей; вышло, так взять надо.

Аким.

Взять надо? Что ж их брать-то, тае, деньги-то? Нынче, значит, тае, возьмешь, завтра, значит, возьмешь, — так все их и, тае, переберешь, значит.

Анисья.

Это окромя получай. А деньги все целы.

Аким.

Целы? Как же, тае, целы? Ты бери их, а они, тае, целы. Как же, насыпь, ты, тае, муки, значит, и всё, тае, в рундук, тае, или амбар, да и бери ты оттуда муку-то, — что ж она, тае, цела будет? Это, значит, не тае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты, тае, бери, а они целы.

Анисья.

Уж я и не знаю. Нам тогда Иван Мосеич присудил. Положите, говорит, деньги в байку — и деньги целее, и процент получать будете.

Митрич (кончил есть).

Это верно. Я у купца жил. У них всё так. Положи деньги да и лежи на печи, получай.

Аким.

Чудно, тае, говоришь ты. Как же, тае, получай, ты, тае, получай, а им, значит, тае, с кого же, тае, получать-то? Деньги-то?

Анисья.

Из банки деньги дают.

Митрич.

Это что? Баба, она раздробить не может. А ты гляди сюда, я тебе все толки найду. Ты помни. У тебя, примерно, деньги есть, а у меня, примерно, весна пришла, земля пустует, сеять нечем, али податишки, что ли. Вот я, значит, прихожу к тебе. Аким, говорю, дай красненькую, а я уберусь с поля, тебе к Покрову отдам да десятину уберу за уваженье. Ты, примерно, видишь, что у меня есть с чего потянуть: лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь: два ли, три ли рубля отдай за уваженье, да и всё. У меня òсел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу, а три рубля ты окроме с меня лупишь.

Аким.

Да ведь это, значит, тае, мужики кривье как-то, тае, делают, коля кто, тае, Бога забыл, значит. Это, значит, не к тому.

Митрич.

Ты погоди. Она сейчас к тому же натрафит. Ты помни. Теперича, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит, а у Анисьи деньги, примерно, залежные. Ей девать некуда, да и бабье дело — не знает, куда их пределить. Приходит она к тебе; нельзя ли, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, можно, говоришь. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я с уважением.... Вот ты и смекаешь: коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты и даешь Анисьины деньги. А коли, примерно, нет у меня ни шиша, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь: ступай, брат, к Богу, а изыскиваешь какого другого, опять даешь и свои и Анисьины пределяешь, того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Так она кругом и идет. Штука, брат, умственная.

Аким (разгорячась).

Да это что ж? Это, тае, значит, скверность. Это мужики, тае, делают так, мужики и то, значит, за грех, тае, почитают. Это, тае, не по закону, не по закону, значит. Скверность это. Как же ученые-то, тае...

Митрич.

Это, брат, у них самое любезное дело. А ты помни. Вот кто поглупей, али баба, да не может сам деньги в дело произвесть, он и несет в банку, а они, в рот им ситного пирога с горохом, цапают да этими денежками и облупляют народ-то. Штука умственная!

Аким (вздыхая).

Эх, посмотрю я, тае, и без денег, тае, горе, а с деньгами, тае, вдвое. Как же так. Бог трудиться велел. А ты, значит, тае, положил в банку деньги, да и спи, а деньги тебя, значит, тае, поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это.

Митрич.

Не по закону? Это, брат, нынче не разбирают. А как еще околузывают-то дочиста. То-то и дело-то.

Аким (вздыхает).

Да уж, видно, время, тае, подходит. Тоже сортиры, значит, тае, посмотрел я в городу. Как дошли то есть. Выглажено, выглажено, значит, нарядно. Как трактир исделано. А ни к чему. Всё ни к чему. Ох, Бога забыли. Забыли, значит. Забыли, забыли мы Бога-то, Бога-то. Спасибо, родная, сыт, доволен.

(Вылезают из-за стола; Митрич лезет на печь.)

Анисья (убирает посуду и ест).

Хоть бы отец усовестил, да и сказывать-то стыдно.

Аким.

Чего?

Анисья.

Так, про себя.

ЯВЛЕНИЕ VI.

Те же и Анютка.

(Анютка входит.)

Аким.

А! умница. Всё хлопочешь! Перезябла, я чай?

Анютка.

И то озябла страсть. Здорово, дедушка.

Анисья.

Ну, что? Тама?

Анютка.

Нету. Только Андриян там из города, сказывал, видел их еще в городу, в трактире. Батя, говорит, пьяный-распьяный.

Анисья.

Есть хочешь, что ли? На вот.

Анютка (идет к печи).

Уж и холодно же. И руки зашлись.

(Аким разувается, Анисья перемывает ложки.)

Анисья.

Батюшка!

Аким.

Чего скажешь?

Анисья.

Что ж, Маришка-то хорошо живет?

Аким.

Ничаво. Живет. Бабочка, тае, умная, смирная, живет, значит, тае, старается. Ничаво. Бабочка, значит, истовая, и всё, тае, старательная и, тае, покорлива. Бабочка, значит, ничаво, значит.

Анисья.

А что, сказывали, с вашей деревни, Маринкиному мужу родня, нашу Акулину сватать хотели. Что, не слыхать?

Аким.

Это Мироновы? Болтали бабы чтой-то. Да невдомек, значит. Притаманно, значит, не знаю, тае. Старухи что-то сказывали. Да не памятлив я, не памятлив, значит. А что ж, Мироновы, тае, мужики, значит, тае, ничего.

Анисья.

Уж не чаю, как просватать бы поскорее.

Аким.

А что?

Анютка (прислушивается).

Приехали.

ЯВЛЕНИЕ VII.

Те же и Никита.

(Входит Никита пьяный с мешком и узлом под мышкой и с покупками в бумаге, отворяет дверь и останавливается.)

Анисья.

Ну, не замай их. *(Продолжает мыть ложки и не поворачивает головы, когда отворяется дверь.)*

Никита.

Анисья, жена! Кто приехал?

(Анисья взглядывает и отворачивается. Молчит.)

Никита (грозно).

Кто приехал? Аль забыла?

Анисья.

Будет форсить-то. Иди.

Никита (еще грознее).

Кто приехал?

Анисья (подходит к нему и берет за руку).

Ну, муж приехал. Иди в избу-то.

Никита (упирается).

То-то, муж. А как звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья.

Да ну тебя — Микитой.

Никита.

То-то! Невежа — по отчеству говори.

Анисья.

Акимыч. Ну!

Никита (всё в дверях).

То-то. Нет, ты скажи, фамилия как?

Анисья (смеется и тянет за руку).

Чиликин. Эка надулся!

Никита.

То-то. *(Удерживается за косяк.)* Нет, ты скажи, какой ногой Чиликин в избу ступает?

Анисья.

Ну, буде — настудишь.

Никита.

Говори, какой ногой ступает? Обязательно сказать должна.

Анисья (про себя).

Надоест теперь. Ну, левой. Иди, что ль.

Никита.

То-то.

Анисья.

Ты глянь-ка, в избе-то кто.

Никита.

Родитель? Что ж, я родителем не гнушаюсь. Родителю могу уважение исделать. Здорово, батюшка. *(Кланяется ему и подает руку.)* Наше вам почтение.

Аким (не отвечая).

Вино-то, вино-то, значит, что делает. Скверность!

Никита.

Вино? Что выпил? Это окончательно виноват, выпил с приятелем, проздравил.

Анисья.

Иди ложись, что ль.

Никита.

Жена, где я стою, говори.

Анисья.

Ну, ладно, иди ложись.

Никита.

Я еще самовар с родителем пить буду. Ставь самовар. Акулина, иди, что ль.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Те же и Акулина.

Акулина (нарядная, идет с покупками. К Никите).

Ты что ж всё расшвырял? Пряжа-то где?

Никита.

Пряжа? Пряжа там. Эй, Митрич! Где ты там? Заснул? Иди лошадь убери.

Аким (не видит Акулины и глядит на сына).

Что делает-то! Старик, значит, тае, уморился, значит, молотил, а он, тае, надулся. Лошадь убери. Тьфу! Скверность!

Митрич (слезает с печи, обувает валенки).

О, Господи милослевый! На дворе лошадь-то, что ль? Уморил, я чай. Ишь, дуй его горой, налокался как. Доверху. О, Господи! Микола угодник. *(Надевает шубу и идет на двор.)*

Никита (садится).

Ты меня, батюшка, прости. Выпил, это точно, ну, что ж делать? И курица пьет. Так, что ль? А ты меня прости. Что ж, Митрич — он не обижается, он уберет.

Анисья.

Вправду ставить самовар-то?

Никита.

Ставь. Родитель пришел, я с ним говорить хочу, чай пить буду. *(К Акулине.)* Покупку-то всю вынесла?

Акулина.

Покупку? Свое взяла, а то в санях. Вот это на, не моя. *(Кидает на стол сверток и убирает в сундук покупку. Анютка смотрит, как Акулина укладывает; Аким не глядит на сына и убирает онучи и лапти на печь.)*

Анисья (уходит с самоваром).

И так полон сундук, — еще накупил.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Аким, Акулина, Анютка и Никита.

Никита (берет на себя трезвый вид).

Ты, батюшка, на меня не обижайся. Ты думаешь, я пьян. Я положительно всё могу. Потому пей, да ума не теряй. Я с тобой, батюшка, сейчас разговаривать могу. Все дела помню. Насчет денег приказывал, лошаденка извелась — помню. Это всё возможно. Это всё у нас в руках. Если бы сумма денег требовалась огромадная, тогда можно бы повременить, а то это всё могу! Вот они!

Аким (продолжает возиться с оборками).

Эх, малый, тае, значит, вешний путь, тае, не дорога...

Никита.

Это ты к чему? С пьяным речь не беседа? Да ты не сумлевайся. Чайку попьем. А я всё могу, положительно все дела исправить могу.

Аким (качает головой).

Э, эх-хе-хе!

Никита.

Деньги, вот они. *(Лезет в карман, достает бумажник, вертит бумажки, достает десятирублевую.)* Бери на лошадь. Бери на лошадь, я родителя не могу забыть. Обязательно не оставлю. Потому родитель. На, бери. Очень просто. Не жалею.

(Подходит и сует Акиму деньги. Аким не берет денег.)

Никита (хватает за руку).

Бери, говорят, когда даю, я не жалею.

Аким.

Не могу, значит, тае, брать и не могу, тае, говорить с тобой, значит. Потому в тебе, тае, образа нет, значит.

Никита.

Не пущу. Бери. *(Сует Акиму в руку деньги.)*

ЯВЛЕНИЕ X.

Те же и Анисья.

Анисья (входит и останавливается).

Да ты уж возьми. Ведь не отстанет.

Аким (берет, качая головой).

Эх, вино-то! Не человек, значит...

Никита.

Вот так-то лучше. Отдашь — отдать, а не отдашь — Бог с тобой. Я вот как! *(Видит Акулину.)* Акулина, покажь гостинцы-то.

Акулина.

Чего?

Никита.

Покажь гостинцы.

Акулина.

Гостинцы-то? Что их показывать. Я уж убрала.

Никита.

Достань, говорю: Анютке поглядеть лестно. Покажь, говорю, Анютке. Полушальчик-то развяжи. Подай сюда.

Аким.

О-ох, смотреть тошно! *(Лезет на печь.)*

Акулина (достает и кладет на стол).

Ну на, что их смотреть-то?

Анютка.

Уж хороша же! Эта не хуже Степанидиной.

Акулина.

Степанидиной? Куда Степанидина против этой годится. *(Оживляясь и развертывая.)* Глянь-ка сюда, доброта-то... Французская.

Анютка.

И ситец же нарядный! У Машутки такой, только тот светлее, по лазоревому полю. Эта страсть хороша.

Никита.

То-то!

(Анисья проходит сердито в чулан, возвращается с трубой и столешником и подходит к столу.)

Анисья.

Ну вас, разложили.

Никита.

Ты глянь-ка сюда!

Анисья.

Чего мне глядеть! Не видала я, что ль? Убери ты. *(Смахивает рукой на пол полушальчик.)*

Акулина.

Ты что швыряешься?.. Ты своим швыряй. *(Поднимает.)*

Никита.

Анисья! Мотри!

Анисья.

Чего смотреть-то?

Никита.

Ты думаешь, я тебя забыл. Гляди сюда. *(Показывает сверток и садится на него.)* Тебе гостинец. Только заслужи. Жена, где я сижу?

Анисья.

Будет куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что ж, ты на чьи деньги гуляешь да своей жирехе гостинцы купляешь? На мои.

Акулина.

Как же, твои! Украсть хотела, да не пришлось. Уйди, ты! *(Хочет пройти*, *толкает.)*

Анисья.

Ты что толкаешься-то? Я те толкану.

Акулина.

Толкану? Ну-ка, сунься. *(Напирает на нее.)*

Никита.

Ну, бабы, бабы. Буде! *(Становится между ними.)*

Акулина.

Тоже лезет. Молчала бы, про себя бы знала. Ты думаешь, не знают?

Анисья.

Что знают? Сказывай, сказывай, что знают!

Акулина.

Дело про тебя знаю.

Анисья.

Шлюха ты, с чужим мужем живешь.

Акулина.

А ты своего извела.

Анисья (бросается на Акулину).

Брешешь.

Никита (удерживает).

Анисья! Забыла?

Анисья.

Что стращаешь? Не боюсь я тебя.

Никита.

Вон! *(Поворачивает Анисью и выталкивает.)*

Анисья.

Куда я пойду? Не пойду я из своего дома.

Никита.

Вон, говорю. И ходить не смей.

Анисья.

Не пойду. *(Никита толкает. Анисья плачет, и кричит, цепляясь за дверь.)* Что ж это, из своего дома взашей гонят? Что ж ты, злодей, делаешь? Думаешь, на тебя и суда нет. Погоди ж ты!

Никита.

Ну, ну!

Анисья.

К старосте, к уряднику пойду.

Никита.

Вон! говорю. *(Выталкивает.)*

Анисья (из-за двери).

Удавлюсь!

ЯВЛЕНИЕ XI.

Никита, Акулина, Анютка и Аким.

Никита.

Небось.

Анютка.

О-о-о! Матушка милая, родимая. *(Плачет.)*

Никита.

Как же, испугался я ее очень. Ты чего плачешь? Придет небось! Поди самовар погляди. *(Анютка выходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII.

Никита, Аким и Акулина.

Акулина (собирает покупку, складывает).

Ишь, подлая, загваздала как! Погоди ж ты, я ей безрукавку изрежу. Пра, изрежу.

Никита.

Выгнал я ее, ну чего ж ты?

Акулина.

Новую шаль испачкала. Пра, сука, кабы она не ушла, я бельмы-то бы ей повыдрала.

Никита.

Будет серчать. Тебе что серчать-то? Кабы я ее любил?

Акулина.

Любил? Есть кого любить, толстомордую-то. Бросил бы ее тогда, ничего б не было. Согнал бы ее к чорту. А дом все равно мой и деньги мои. Тоже хозяйка, говорит, хозяйка, какая она мужу хозяйка? Душегубка она, вот кто. С тобой то же сделает.

Никита.

Ох, бабий кадык не заткнешь ничем. Что болтаешь, сама не знаешь.

Акулина.

Нет, знаю. Не стану с ней жить. Сгоню со двора. Не может она со мной жить. Хозяйка тоже. Не хозяйка она, острожная шкура.

Никита.

Да буде. Чего тебе с ней делить? Ты на нее не гляди. На меня гляди. Я хозяин. Что хочу, то и делаю. Ее разлюбил, тебя полюбил. Кого хочу, того люблю. Моя власть. А ей арест. Она у меня вот где. *(Показывает под ноги.)* Эх, гармошки нет!

На печи калачи,
На приступке каша,
А мы жить будем
И гулять будем;
А смерть придет,
Помирать будем.
На печи калачи,
На приступке каша...

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же и Митрич (входит, раздевается и лезет на печь).

Митрич.

Подрались, видно, опять бабы-то! Поцапались. О, Господи! Микола милослевый.

Аким (сидит с краю на печи, достает онучи, лапти и обувается).

Пролезай, пролезай в угол-то.

Митрич (лезет).

Все не разделят, видно. О, Господи!

Никита.

Достань наливку-то. С чаем выпьем.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Те же и Анютка.

Анютка (входит; к Акулине).

Нянька, самовар уходить хочет.

Никита.

А мать где?

Анютка.

Она в сенцах стоит, плачет.

Никита.

То-то. Зови ее, вели самовар несть. Да давай, Акулина, посуду-то.

Акулина.

Посуду-то? Ну что ж. *(Собирает посуду.)*

Никита (достает наливку, баранки, селедки).

Это, значит, себе, это бабе пряжа, карасин там в сенях. А вот и деньги. Постой. *(Берет счеты.)* Сейчас смекну. *(Кидает.)* Мука пшеничная восемь гривен, масло постное... Батюшке 10 рублев. Батюшка! Иди чай пить. *(Молчание. Аким сидит на печи и перевивает оборы.)*

ЯВЛЕНИЕ XV.

Те же и Анисья.

Анисья (вносит самовар).

Куда ставить-то?

Никита.

Ставь на стол. Что, али сходила к старосте? То-то, говори да и откусывай. Ну, будет серчать-то. Садись, пей. *(Наливает ей рюмку.)* А вот и гостинчик тебе. *(Подает сверток, на котором сидел. Анисья берет молча, качая головой.)*

Аким (слезает и надевает шубу; подходит к столу, кладет на него бумажку).

На деньги твои. Прибери.

Никита (не видит бумажку).

Куда собрался одемши-то?

Аким.

А пойду, пойду я, значит, простите Христа ради. *(Берет шапку и кушак.)*

Никита.

Вот-те на! Куда пойдешь-то ночным делом?

Аким.

Не могу я, значит, тае, в вашем доме, тае, не могу, значит, быть, быть не могу, простите.

Никита.

Да куда ж ты от чаю-то?

Аким (подпоясывается).

Уйду, потому, значит, нехорошо, у тебя, значит, тае, нехорошо, Микишка, в доме, тае, нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита.

Ну, буде толковать. Садись чай пить.

Анисья.

Что ж это, батюшка, перед людьми стыдно будет. На что ж ты обижаешься?

Аким.

Обиды мне, тае, никакой нет, обиды нет, значит, а только что, тае, вижу я, значит, что к погибели, значит, сын мой, к погибели сын, значит.

Никита.

Да какая погибель? Ты докажь.

Аким.

Погибель-то, погибель, весь ты в погибели. Я тебе летось что говорил?

Никита.

Да мало ты что говорил.

Аким.

Говорил я тебе, тае, про сироту, что обидел ты сироту, Марину, значит, обидел.

Никита.

Эк помянул. Про старые дрожжи не поминать двожды, то дело прошло...

Аким (разгорячась).

Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.

Никита.

Садись чай пить, вот и разговор весь.

Аким.

Не могу я, значит, тае, чай пить. Потому от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, дюже гнусно. Не могу я, тае, с тобой чай пить.

Никита.

И, канителит. Иди к столу-то.

Аким.

Ты в богатстве, тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа надобна!

Никита.

Какую ты имеешь полную праву в моем доме меня упрекать? Да что ж ты в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дался, за виски драть! Нынче уж это оставили.

Аким.

Это точно, слыхал я нынче, что и тае, что и отцов за бороды трясут, значит, да на погибель это, на погибель, значит.

Никита (сердито).

Живем, у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой.

Аким.

Деньги? Деньги твои вон они. Побираться, значит, пойду, а не тае, не возьму, значит.

Никита.

Да буде. И что серчаешь, кампанию расстраиваешь. *(Удерживает за руку.)*

Аким (взвизгивает).

Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости Господи! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Никита.

Вот на!

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Те же и Аким.

Аким (отворяет дверь).

Опамятуйся, Микита. Душа надобна. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Акулина (берет чашки).

Что ж, наливать, что ль?

(Все молчат.)

Митрич (рычит).

О, Господи, помилуй мя грешного!

(Все вздрагивают.)

Никита (ложится на лавку).

Ох, скучно, скучно, Акулька! Где ж гармошка-то?

Акулина.

Гармошка-то? Ишь, хватился. Да ты ее чинить отдал. Я налила, пей.

Никита.

Не хочу я. Тушите свет... Ох, скучно мне, как скучно! *(Плачет.)*

Занавес.

———

Действие четвертое.

Вместо явлений XII—XIV, XV и XVI, действия четвертого можно читать следующий вариант.

ВАРИАНТ.

———

Занавес.

Что ж это? *(Затыкает уши.)* Всё пищит! Решился я своей жизни. Решился! Что они со мной сделали?! Куда уйду я?! *(Садится на приступки.)*

Никита.

Да где ж пищать-то? Ведь ты его в блин расплющил. Всю головку раздребезжил.

Матрена.

Не зарывай, живой он. Разве не слышишь? Живой! Во... пищит. Во, внятно...

Никита (прислушивается).

Чего, сынок?

Матрена (высовывается из погреба).

Матушка, а матушка?

Никита.

Те же и Никита (выскакивает из сеней к погребу).

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Что, догулялся? Широк ты был, теперь погоди, сам узнаешь каково. Пыху-то сбавишь.

Анисья (на дверь, куда ушел Никита).

Да напугался больно. Напорно уж больно ты налегла на него. Не замай, опамятуется. Бог с ним, уж я сама потружусь. Фонарь-то поставь тут. Я увижу. *(Матрена скрывается в погребе.)*

Матрена.

А он-то что ж?

Анисья.

Иди, иди, ягодка, а уж я потружусь, полезу сама, закопаю. Скребку-то куда он тут бросил? *(Находит скребку, спускается в погреб до половины.)* Анисья, подь-ка сюда, посвети, что ль?

Матрена.

Матрена и Анисья.

ЯВЛЕНИЕ XV.

Вино осталось там? Не запью ли?! *(Уходит. Анисья, стоявшая всё время у сеней, молча сторонится.)*

Никита (встряхивается).

Поди, родной, выпей. Оно, точно, ночным делом жутость берет. А дай срок, ободняет да, ведашь, денек-другой пройдет, и думать забудешь. Дай срок, девку отдадим и думать забудем. А ты выпей, выпей поди. Я уж сама приберу в погребе-то.

Матрена.

Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Что вы со мной сделали? Как захрустят эти косточки, да как запищит!.. Матушка родимая, что вы со мной сделали! *(Отходит и садится на сани.)*

Никита.

Ох, напугался же ты, сердечный. Поди, поди. Винца, что ль, выпей для смелости.

Матрена.

Матушка родимая, не могу я больше. Ничего не могу. Матушка родимая, пожалей ты меня!

Никита.

Что, сынок?

Матрена.

Не слыхать. Приметилось. *(Идет прочь и останавливается.)* И как захрустят подо мной косточки. Кр.... кр.... Что они со мной сделали? *(Опять прислушивается.)* Опять пищит, право, пищит. Что ж это? Матушка, а матушка! *(Подходит к ней.)*

Никита (не отвечая, слушает у погреба).

Идет, видно зарыть хочет. Микита, тебе бы фонарь.

Матрена (к Анисье).

Что ж это они сделали? Что они со мной сделали? Пищал как. Как захрустит подо мной. Что они со мной сделали! И жив, всё, право, жив! *(Молчит и прислушивается.)* Пищит... Во пищит. *(Бежит к погребу.)*

Никита.

С испугу это. Ничего, сойдет это с него.

Матрена.

Уйди ты! Убью я тебя! *(Схватывает ее за руку, она вырывается, он бежит за ней с скребкой. Матрена бросается к нему навстречу, останавливает его. Анисья убегает на крыльцо. Матрена хочет отнять скребку. Никита на мать.)* Убью, и тебя убью, уйди! *(Матрена убегает к Анисье на крыльцо. Никита останавливается.)* Убью. Всех убью!

Никита (бросается на нее).

А жив, так куда ж ты? *(Хочет остановить его.)*

Анисья.

Жив всё! Не могу! Жив!

Никита (вылезает, трясется весь).

О-ох! И рад бы не грешить, а что сделаешь?

Матрена.

Доской прикрыл, на доску сел. Кончил, должно.

Анисья (глядя в погреб).

Жалостлив он. Трудно ему, сердечному. Ну, да что ж! Его грех тоже. *(Анисья стоит над погребом. Матрена садится на приступок крыльца, поглядывает на нее и рассуждает.)* И-и-и как испужался! Ну, да что ж? хоть и трудно, помимо-то нельзя. Куда денешься-то? Тоже, подумаешь, как другой раз просят детей! Ан, глядь, Бог не дает, всё мертвеньких рожают. Вон хоть бы попадья. А тут не надо его, тут и живой. *(Глядит к погребу.)* Должно, покончил. *(К Анисье.)* Ну что?

Матрена (садится на приступку).

Задуши скорей, не будет живой. *(Сталкивает Никиту вниз).* Твое дело, ты и прикончи.

Анисья (выхватывает ребенка у него из рук и кидает в погреб).

Живой! Матушка родимая, шевелится! Живой! Что ж я с ним буду...

Никита (подхватывает).

На, бери, говорю. *(Кидает ему ребенка.)*

Анисья.

Да ты сама снеси.

Никита (не берет).

А то как же? Насилу отняла, — не дает. *(Подходит и подает Никите.)*

Анисья.

Что ж, окрестила?

Матрена.

Те же и Анисья. (Матрена идет к сеням и встречает Анисью. Анисья выходит с ребенком, завернутым в тряпье).

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Чего ж там? Несите, что ль! Что валандаетесь? Делать, так делать.

Никита (вылезает, голова видна).

Тоже острабучилась, как баба. Да и то сказать, обидно. Ну, да слава Богу, дай это дело прикроем, и концы в воду. Спихнем девку без греха. Останется сынок жить покойно. Дом, слава Богу, полная чаша. Тоже и меня не забудет. Без Матрены что б они были? Ничего б им не обдумать. *(В погреб.)* Готово, что ли, сынок?

Матрена.

Матрена (одна) и Никита (в погребе).

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Найду, я знаю как. *(Уходит.)*

Анисья.

Мотри, окрестить не забудь. А то я потружусь. Крестик-то есть?

Матрена.

Постой над ним. А то он, подлый, уйдет. А я пойду вынесу.

Анисья.

Копает. Иди, неси.

Матрена (светит; к Анисье).

Посвети-ка, что ль!

Никита (из погреба).

Ему и задушить велю отродье свое поганое. *(Всё в волнении.)* Измучалась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею!

Анисья.

Ну, ну, распалилась. А ты, деушка, не серчай, а потихоньку да помаленьку, как получше. Иди к девке-то. Он потрудится. *(Идет за ним с фонарем. Никита влезает в погреб.)*

Матрена.

Измывался он надо мной с висюгой своей! Да будет! Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает каково.

Анисья (всё в волнении).

Да, уж дело такое, ягодка: умел гулять, умей и концы хоронить.

Матрена.

Да будет! Эх, народ этот. Да вы живей, что ли. Уж заодно. *(Идет к погребу.)*

Никита.

Сейчас караул закричу.

Анисья.

Что ты! Очумела! Он пойдет... Иди, сынок, иди, роженый.

Матрена (закрывает ей рот).

Не пойдешь? *(Начинает кричать.)* Народ! Э-э!

Анисья.

Да ну же; что пристала? *(Берет скребку, но жмется.)* Не захочу — не пойду.

Никита.

Ишь ты, чистяк какой! Не хочет! Надругался ты надо мной, да будет. Поездил ты на мне, да и мой черед пришел. Иди, говорю, а то я то сделаю!.. На скребку-то, на! Иди!

Анисья.

Да будет. Ты, Микишка, что костричишься? Ну, что ж делать? Потрудиться надо. Иди, ягодка.

Матрена.

Что? Всё скажу! Деньги кто взял? Ты! *(Никита молчит.)* А яду кто давал! Я давала! Да ты знал, знал, знал! С тобой в согласьи была!

Анисья.

Что скажешь-то?

Никита (оторопевши).

Не хочет! А в остроге вшей кормить хочет?! Сейчас пойду, все уряднику скажу. Пропадать за одно. Сейчас всё скажу.

Анисья (выскакивает в бешенстве).

Не хочет!

Матрена.

Веретьем прикрыла. Не слыхать будет. Что ж, он выкопал?

Анисья.

Ты что ж ушла? Куда дела-то его?

Матрена.

Что ж, выкопал он, что ли?

Анисья (из двери).

Те же и Анисья.

ЯВЛЕНИЕ XII.

Запутляете вы меня. Ну вас совсем. Право, уйду. Делайте одни, как знаете.

Никита.

Известно, помер. Только живей надо. А то народ не полегся. Услышат, увидят, — им всё, подлым, надо. А урядник вечор проходил. А ты вот что. *(Подает скребку.)* Слезь в погреб-то. Там в уголку выкопай ямку, землица мягкая, тогда опять заровняешь. Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет. Иди же. Иди, родной.

Матрена.

А что ж, помер он?

Никита.

Ямку выкопай. А тогда вынесем и живо приберем там. Вон она опять кличет. Иди, что ль! А я пойду.

Матрена (шопотом).

Что справлять-то?

Никита.

В своем дому да не сделать дела? Так сделаем, что и не попахнет. Только делай, что велю. А то наше дело бабье, тоже без мужика никак нельзя. На-ка скребочку-то, да слезь, да и справь там. А я посвечу.

Матрена.

А как узнают?

Никита.

Э, живая душа! Чего там, чуть душа держится. А куда его деть-то? Поди, понеси в воспитательный, — всё одно помрет, а помолвка пойдет, сейчас расславят, и сядет у нас девка на руках.

Матрена.

Ведь это какое дело! Живая душа тоже.

Никита.

Ты что ж? Али пятиться думаешь? До чего дошло, ты и пятиться.

Матрена.

Запутляете вы меня.

Никита.

Да мы знаем, что делать. Ты-то свое дело справляй.

Матрена.

Да вы что ж делать-то будете?

Никита.

Ты что ж сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то.

Матрена.

Никита и Матрена (с фонарем и скребкой впопыхах выходит).

ЯВЛЕНИЕ XI.

Ну, дела! Ох, эти бабы. Беда! Ты, говорит, загодя думал бы. Когда загодя думать-то? Когда думать-то? Что ж, летось пристала эта Анисья. Ну, что ж? Разве я монах? Помер хозяин, что ж, я и грех прикрыл, как должно. Тут моей причины нет. Разве мало бывает так-то? А тут порошки эти. Разве я на это склонял ее? Да кабы я знал, я бы ее, суку, убил тогда! Право, убил бы! Участником в этих пакостях сделала, паскудница! И опостылела ж она мне с этого раза. Как мне мать сказала тогда, опостылела, опостылела она мне, не смотрели б на нее глаза. Ну, как с ней жить? И пошло это у нас!.. Стала эта девка вешаться. Что ж мне? Не я, так другой. А оно вон что! Опять-таки моей причины нет никакой. Ох, дела!.. *(Сидит*

задумавшись.) Смелы ж эти бабы, — что придумали. Да не пойду я на это.

Никита.

Никита (один, долго молчит).

ЯВЛЕНИЕ X.

Поди, делай, что говорят. А то смотри! *(Уходит.)*

Анисья (Никите).

(Анютка убегает.)

Я тебя! Чтоб духу твоего не слыхала!

Анисья (замахивается на нее).

Мамушка, милая, пра, ей-Богу...

Анютка.

Что брешешь, пралик тебя расшиби. Котята там пищат. Иди в избу да спи. А то я тебя.

Анисья.

Мамушка! Бабка зовет. Должно, у няньки робеночек, однова дыхнуть, закричал.

Анютка.

Те же и Анютка.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Ах, дела, дела!

Никита.

Так как-нибудь. Нельзя, видно, так-то. А ты бы загодя думал. Иди куда посылают.

Анисья (передразнивая его).

Да вы бы так как-нибудь.

Никита.

Говорю, поди в погреб, яму вырой.

Анисья.

Что делать-то?

Никита.

Возьми да и неси, коли тебе охота. На пакости-то лаком. А на разделку-то слаб, вижу.

Анисья.

Да вы бы в воспитательный, коли что.

Никита.

Я тебе сказывала что. То и делай.

Анисья.

Что ж делать будем?

Никита.

Чего сидишь? Ждать неколи. Сейчас выносить надо.

Анисья.

Здеся.

Никита.

Ты где ж тут?

Анисья (выходит).

Никита и Анисья.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Ну, дела!

Никита.

Никита (долго молчит; садится на сани).

ЯВЛЕНИЕ VII.

А мне что. Заметай след, как знаешь. Эка винищем от тебя разит как. Пойти в избу. *(Уходит зевая.)* О, Господи!

Митрич.

Ты, Митрич, мотри, если что, лишнего не болтай.

Никита.

Эка дерьма! Чего ж тут. На то спитательный. Там кто хошь его выпони, он всё подберет. Давай сколько хошь, не спрашивают. Да еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Нынче это просто.

Митрич.

Проводили, да неладно все. Уж и не знаю, как быть.

Никита.

Ну что ж; ты овцам кинь. Что ж, проводили?

Митрич.

Митрич! иди, что ли, на печку, я подберу.

Никита (входит).

Митрич и Никита.

ЯВЛЕНИЕ VI.

О, Господи, Микола милослевый! Винища-то что выдули. Да и духу же напустили. Аж во дворе воняет. Да нет, не хочу, ну его! Вишь, нашвыряли сено-то! Есть не едят — только копают. Глядишь, вязанка. Дух-то! Ровно под носом. Ну его! *(Зевает.)* Спать время. Да неохота в избу итти. Так вокруг носу и вьется. Духовита ж, проклятая. *(Слышно — уезжают.)* Ну, уехали. О, Господи, Микола милослевый! Тоже хомутаются, друг дружку околпачивают. А пустое всё.

Митрич (один; идет от ворот и принимается подбирать натрушенное сено).

ЯВЛЕНИЕ V.

(Анисья и Анютка уходят.)

Небось, не помрет; а ты не ходи к ней. Иди.

Анисья.

Ох мамушка! Тяжко ей как. Да и серчает. Напрасно, говорит, они меня пропивают. Я, говорит, не пойду замуж, я, говорит,

помру. Мамушка, как бы она не померла! Страсть, я боюсь!

Анютка.

Авось подождет. Дай гостей проводим.

Анисья.

Она в амбар ушла. Что она там делает, страсть! Однова дыхнуть, нет, говорит, мочи терпеть. Закричу, говорит, на весь голос. Однова дыхнуть.

Анютка.

Ну чего? Где Акулина-то?

Анисья.

Мамушка, подь сюда, а то услышат. *(Отходит с ней под сарай.)*

Анютка.

Чего?

Анисья (оттуда).

Матушка!

Анютка (выбегает из сеней и манит к себе Анисью).

Анисья и Анютка.

ЯВЛЕНИЕ IV.

(Толпятся в сенях, уезжают.)

Сейчас. *(Уходит.)*

Сват.

Ехать, так ехать, иди, что ли, Иван.

Голос Бабы из сеней.

То-то, ты уж того, и не пяться. Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Уж ты не оставь...

Матрена.

Да что ж, дело полажено.

Сват.

И, и... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка как литая — не ущипнешь. Да ведь ты намедни видел. А работать страсть. С глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку не покор. А что не вышла-то, это, ведашь, с глазу. Сделано над ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, ведашь, что сговор, ну, и напущено. Да я отговор знаю. Завтра встанет девка. Ты насчет девки не сумлевайся.

Матрена.

Оно так. Мы одно с бабой мекаем насчет девки-то. Что ж не вышла? Думаем, что ж как хворая?

Сват.

И, голубчики белые. В чужих руках ломоть велик; что было, то и дают. Я тебе сказываю, ты все четки брось. Закрепляй тверже. Девка-то какая; как бобочек хорошая.

Матрена.

Народ болтает, денег больше за ней приказано. Малый-то тоже провор.

Сват.

Я тебе, сват, истинно говорю: кабы не я, в жисть бы тебе не найти. У них от Кормилиных тоже засылка была, уж я застояла. А насчет денег — верно сказываю: как покойник, царство небесное, помирал, так и приказывал, чтоб в дом вдова Микиту приняла, потому мне через сына всё известно, а денежки, значит, Акулине. Ведь другой бы покорыствовался, а Микита всё дочиста отдает. Легко ли, деньжищи какие.

Матрена.

Мы и не обижаемся, а свое детище. Всё как получше хочется.

Сват.

А насчет денег не толкуй. Что ей от родителей награждение было, всё при ней. По нонешнему времени, легко ли, три полста.

Матрена.

Оно так, да на счет денег не сморгать бы.

Сват.

А я смотрю: где сват, где сват? А ты, родной, во где... Ну, что ж, родимый, слава те Господи, всё честь честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А как пришли вы за добрым делом, так, даст Бог, и век благодарить будете. А невеста-то, ведашь, на редкость. Такой девки в округе поискать.

Матрена (выходит из сеней же).

Сват и Матрена.

ЯВЛЕНИЕ III.

Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. *(Стоит, отдувается.)* И Бог е знает как... что-то не того, не радует... Ну, да как старуха...

Сват.

Сват (один выходит из сеней, икает).

ЯВЛЕНИЕ II.

(Замолкают и входят в сени.)

Шш... Сват никак.

Кума.

Ну, уж это и деньгам не рад будешь. Срамота такая.

Соседка.

Где ж им дознаться. Пьяные все. Да больше за приданым гонятся. Легко ли, дают за девкой-то две шубы, матушка моя, расстегаев шесть, шаль французскую, холстов тоже много что-то да денег, сказывали, две сотни.

Кума.

Ну? Вот грех-то. А ведь дознаются сваты.

Соседка.

А то что ж. *(Шепчет на ухо.)*

Кума.

Да неужто?!

Соседка.

С глазу, говорит, живот схватило.

Кума.

Да что ж так?

Соседка.

Чего не вышла? И рада бы вышла, да недосуг, слышь. Приехали сваты невесту смотреть, а она, матушка моя, в холодной лежит и глаз не кажет, сердечная.

Кума.

Чего ж Акулина-то не вышла?

Соседка.

Кума и соседка.

ЯВЛЕНИЕ I.

Осень. Вечер. Месяц светит. Внутренность двора. В середине сенцы, направо теплая изба и ворота, налево холодная изба и погреб. В избе слышны говор и пьяные крики. Соседка выходит из сеней, манит к себе Анисьину куму.

Сват — угрюмый мужик.
Кума.
Соседка.
Митрич.
Анютка.
Анисья.

Матрена.
Никита.

ЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ.

СЦЕНА 2-я.

Изба 1-го действия.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анютка раздетая лежит на коннике под кафтаном, Митрич сидит на хорах и курит.

Митрич.

Ишь, духу-то напустили, в рот им ситного пирога с горохом. Мимо лили добро-то. И табаком не заглушишь. Так в носу и вертит. О, Господи! Спать, видно. *(Подходит к лампочке, хочет завернуть.)*

Анютка (вскакивает, садится).

Дедушка, не туши, голубчик!

Митрич.

Чего не тушить?

Анютка.

А на дворе-то гомонили как. *(Прислушивается.)* Слышишь, опять в амбар пошли?

Митрич.

Тебе-то чего? Авось тебя не спрашивают. Ложись, да и спи. А я вот заверну свет. *(Завертывает.)*

Анютка.

Дедушка, золотой! не гаси совсем. Хоть в мышиный глазок оставь, а то жуть.

Митрич (смеется).

Ну, ладно, ладно. *(Присаживается подле нее.)* Чего жутко-то?

Анютка.

Как не жутко, дедушка! Нянька как билась. Об рундук головой билась. *(Шопотом.)* Я ведь знаю... у ней робеночек родиться хочет... Родился уж никак...

Митрич.

Эка егоза, залягай тебя лягушки. Всё тебе знать надо. Ложись, да и спи. *(Анютка ложится.)* Вот так-то. *(Закрывает ее.)* Вот так-то. А то много знать будешь, скоро состаришься.

Анютка.

А ты на печку пойдешь?

Митрич.

А то куды ж? То-то глупая, посмотрю я. Всё ей знать надо. *(Закрывает ее еще и поднимается итти.)* Вот так-то лежи, да и спи. *(Идет к печи.)*

Анютка.

Разочек крикнул, а теперь не слыхать.

Митрич.

О, Господи, Микола милослевый!.. Чего не слыхать-то?

Анютка.

Робеночка.

Митрич.

А нет его, так и не слыхать.

Анютка.

А я слышала, однова дыхнуть, слышала. Тоооненько так.

Митрич.

Много ты слышала. А слышала так, как вот такую-то девчонку, как ты, детосека в мешок посадил, да и ну ее.

Анютка.

Какой такой детосека?

Митрич.

А вот такой самый. *(Лезет на печь.)* И хороша ж печка нынче, тепла. Любо! О Господи, Микола милослевый!

Анютка.

Дедушка! Ты заснешь?

Митрич.

А то что ж ты думала — песни играть буду? *(Молчание.)*

Анютка.

Дедушка, а дедушка! Копают! Ей-Богу, копают, в погребе копают, слышь! Однова дыхнуть, копают!

Митрич.

Чего не вздумает. Ночью копают. Кто копает? Корова чешется, а ты — копают! Спи, говорю, а то сейчас свет потушу.

Анютка.

Голубчик, дедушка, не туши. Не буду. Ей-Богу, не буду, однова дыхнуть, не буду. Страшно мне.

Митрич.

Страшно? Ты не бойся ничего, вот и не будет страшно. А то сама боится и страшно, говорит. Как же не страшно, как ты боишься? Эка девчонка глупая какая. *(Молчание. Сверчок.)*

Анютка (шопотом).

Дедушка! А дедушка! Ты заснул?

Митрич.

Ну, чего еще?

Анютка.

Кака же така детосека?

Митрич.

А вот така. Вот как попадется такая же, как ты, — не спит, он придет с мешком, да девчонку шварк в мешок, да сам туда же с головой, подымет ей рубашонку, да и ну хлестать.

Анютка.

Да чем же он хлестает?

Митрич.

А веник возьмет.

Анютка.

Да он там не увидит, в мешке-то.

Митрич.

Небось увидит.

Анютка.

А я его укушу.

Митрич.

Нет, брат, его не укусишь.

Анютка.

Дедушка, идет кто-то! Кто это? Ай, матушки родимые! Кто это?

Митрич.

Идет, так идет. Чего ж ты? Мать, я чай, идет.

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и Анисья (входит).

Анисья.

Анютка! *(Анютка притворяется, что спит.)* Митрич!

Митрич.

Чего?

Анисья.

Что свет-то жжете? Мы в холодной ляжем.

Митрич.

Да вот только убрался. Я потушу.

Анисья (ищет в сундуке и ворчит).

Как надо, его никак и не найдешь.

Митрич.

Да ты чего ищешь-то?

Анисья.

Крест ищу. Окрестить надо. Помилуй Бог, помрет! Некрещеный-то! Грех, ведь!

Митрич.

А то как же, известно, порядок надо... Что, нашла?

Анисья.

Нашла. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Митрич и Анютка.

Митрич.

То-то, а то бы я свой дал. О, Господи!

Анютка (вскакивает и дрожит).

О-о, дедушка! Не засыпай ты, Христа ради. Страшно как!

Митрич.

Да чего страшно-то?

Анютка.

Помрет, должно, робеночек-то? У тетки Арины так же бабка окрестила, — он и помер.

Митрич.

Помрет — похоронят.

Анютка.

Да, может, он бы и не помер, да бабка Матрена тут. Ведь я слышала, что бабка-то говорила, однова дыхнуть, слышала.

Митрич.

Чего слышала? Спи, говорю. Закройся с головой, да и всё.

Анютка.

А кабы жив был, я б его няньчила.

Митрич (рычит).

О, Господи!

Анютка.

Куды ж они его денут?

Митрич.

Туда и денут, куда надо. Не твоя печаль. Спи, говорю. Вот мать придет — она тебя! *(Молчание.)*

Анютка.

Дедушка! А ту девчонку, ты сказывал, ведь не убили же?

Митрич.

Про ту-то? О, та девчонка в дело вышла.

Анютка.

Как ты, дедушка, сказывал, нашли-то ее?

Митрич.

Да так и нашли.

Анютка.

Да где ж нашли? Ты скажи.

Митрич.

В ихнем доме и нашли. Пришли в деревню, стали солдаты шарить по домам, глядь — эта самая девчонка на пузе лежит. Хотели ее пришибить. Да так мне скучно стало, взял я ее на руки. Так ведь не дается. Отяжелела, как пять пудов в ней сделалось; а руками цапается за что попало, не отдерешь никак. Ну, взял я ее, да по головке, по головке. А шаршавая, как еж. Гладить, гладить — затихла. Помочил сухарика, дал ей. Поняла-таки. Погрызла. Что с ней делать? Взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить, да так привыкла, с собой в поход взяли, так с нами и шла. Хороша девчонка была.

Анютка.

Что ж, а некрещеная?

Митрич.

А кто е знает. Сказывали, что не вполне. Потому народ ненашенский.

Анютка.

Из немцов?

Митрич.

Эка ты: из немцов. Не из немцов, а азиаты. Они всё равно как жиды, а не жиды тоже. Из поляков, а азиаты. Крудлы, круглы прозвище им. Да уж забыл я. Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а хороша была. Ведь вот всё забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом, как сейчас гляжу. Только и помню из службы из всей. Как пороли, помню, да вот девчонка в памяти. Повиснет, бывало, на шее, и несешь ее. Такая девчонка была, что надо лучше, да некуда. Отдали потом. Ротного жена в дочери взяла. И в дело вышла. Жалели как солдаты!

Анютка.

А вот, дедушка, тоже батя, я помню, как помирал. Ты еще не жил у нас. Так он позвал Микиту, да и говорит: прости меня, говорит, Микита... а сам заплакал. *(Вздыхает.)* Тоже как жалостно.

Митрич.

А вот то-то и оно-то...

Анютка.

Дедушка, а дедушка. Вот опять шумят чтой-то в погребе. Ай, матушки, сестрицы-голубушки! Ох, дедушка, сделают они что над ним. Загубят они его. Махонький ведь он... О-о! *(Закрывается с головой и плачет.)*

Митрич (прислушивается).

И впрямь что-то пакостят, дуй их горой. А пакостницы же бабы эти! Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся.

Анютка (поднимается).

Дедушка, а дедушка!

Митрич.

Ну, чего еще?

Анютка.

Намедни прохожий ночевал, сказывал, что младенец помрет, — его душка прямо на небу пойдет. Правда это?

Митрич.

Кто е знает, должно так. А что?

Анютка.

Да хоть бы и я померла. *(Хнычет.)*

Митрич.

Помрешь, из счета вон.

Анютка.

До 10 годов всё младенец, душа к Богу, може, еще пойдет, а то ведь изгадишься.

Митрич.

Еще как изгадишься-то! Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю. Не твердо, а всё не как деревенска баба. Деревенска баба что? Слякоть одна. Вашей сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, — ничего не знаете. Как коровью смерть опахивать, привороты всякие, да как под насест ребят носить к курам — это знают.

Анютка.

Мамушка и то носила.

Митрич.

А то-то и оно-то. Миллионов сколько баб вас да девок, а все как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик — тот хоть в кабаке, а то и в за́мке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что? Она не то что про Бога, она и про пятницу-то не знает толком какая такая. Пятница, пятница, а спроси какая, она и не знает. Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычатся.

Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают...

Анютка.

А я, дедушка, Вотчу до половины знаю.

Митрич.

Знаешь ты много! Да и спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик когда вожжами поучит. Только ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет. За рекрутов так с дядьки или с старшого спросят. А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина, озорная самая, бабы эти. Самое глупое ваше сословие. Пустое самое ваше сословие.

Анютка.

А как же быть-то?

Митрич.

А так и быть. Завернись с головой да и спи. О, Господи!

(Молчание. Сверчок.)

Анютка (вскакивает).

Дедушка! Кричит кто-то, не путем кто-то! Ей-Богу, право, кричит. Дедушка, милый, сюда идет.

Митрич.

Говорю, с головой укройся.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же, Никита и Матрена.

Никита (входит).

Что они со мной сделали? Что они со мною сделали?!

Матрена.

Выпей, выпей, ягодка, винца-то. *(Достает вино и ставит.)* Что ты?

Никита.

Давай. Не запью ли?

Матрена.

Тише! Не спят ведь. На, выпей.

Никита.

Что ж это? Зачем вы это вздумали? Снесли бы куда.

Матрена (шопотом).

Посиди, посиди тут, выпей еще, а то покури. Оно разобьет мысль-то.

Никита.

Матушка родимая, дошло видно до меня. Как запищит, да как захрустят эти косточки — кр... кр..., не человек я стал.

Матрена.

И-и! Что говоришь несуразно совсем. Оно точно — ночным делом жутость берет, а дай ободняет, денек-другой пройдет, и думать забудешь. *(Подходит к Никите, кладет ему руку на плечо.)*

Никита.

Уйди от меня. Что вы со мной сделали?

Матрена.

Да что ты, сынок, в самом деле. *(Берет его за руку.)*

Никита.

Уйди ты от меня! Убью! Мне теперь всё нипочем. Убью!

Матрена.

Ах, ах, напугался как! Да иди, что ль, спать-то.

Никита.

Некуда мне итти. Пропал я!

Матрена (качает головой)

Ох, ох, пойти убрать, а он обсидится, сойдет это с него. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V.

Никита, Митрич, Анютка.

Никита (сидит, закрыв лицо руками. Митрич и Анютка замерли).

Пищит, право пищит, во, во... внятно. Зароет она его, право зароет! *(Бежит в дверь.)* Матушка, не зарывай, живой он...

ЯВЛЕНИЕ VI.

Те же и Матрена.

Матрена (возвращаясь, шопотом).

Да что ты, Христос с тобой! И что не примстится. Где же живому быть! Ведь и косточки-то все раздребезжены.

Никита.

Давай еще вина. *(Пьет.)*

Матрена.

Иди, сынок. Заснешь теперь, ничего.

Никита (стоит, слушает).

Жив всё... во... пищит. Разве не слышишь? Во!

Матрена (шопотом).

Да нет же!

Никита.

Матушка родимая! Решился я своей жизни. Что вы со мной сделали! Куда уйду я? *(Выбегает из избы и Матрена за ним.)*

ЯВЛЕНИЕ VII.

Митрич и Анютка.

Анютка.

Дедушка, милый, голубчик, задушили они его!

Митрич (сердито).

Спи, говорю. Ах ты, лягай тебя лягушки! Вот я тебя веником! Спи, говорю.

Анютка.

Дедушка, золотой! Хватает меня ктой-то за плечушки, хватает ктой-то, лапами хватает. Дедушка, милый, однова дыхнуть, пойду сейчас. Дедушка, золотой, пусти ты меня на печь! Пусти ты меня ради Христа... Хватает... хватает... А-а! *(Бежит к печке.)*

Митрич.

Ишь натращали девчонку как. То-то пакостницы, лягай их лягушки. Ну! пролезай, что ль.

Анютка (лезет на печь).

Да ты не уходи.

Митрич.

Куда я пойду? Лезь, лезь! О, Господи, Микола угодник, Матерь пресвятая Богородица Казанская... Натращали девчонку как. *(Прикрывает ее.)* То-то дурочка, право дурочка... Натращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом.

Занавес.

———

Действие пятое.

ЛИЦА ПЯТОГО ДЕЙСТВИЯ.

Гости, бабы, девки, народ на свадьбе.
Староста.
Жених Акулины.
Сваха.
Дружко.
Извозчик.
Урядник.
2-я девка.
1-я девка.
Муж Марины.
Марина.
Анютка.
Матрена.
Аким.
Акулина.
Анисья.
Никита.

СЦЕНА 1-я.

Гумно. На первом плане одонье, слева ток, справа сарай гуменный. Открыты ворота сарая; в воротах солома; в глубине виден двор и слышны песни и бубенцы. Идут по дорожке мимо сарая к избе две девки.

ЯВЛЕНИЕ I.

Две девки.

1-я девка.

Вот видишь, как прошли, и полусапожек не замарали, а слободой-то беда! — грязно...

(Останавливаются, отирают соломой ноги.)

1-я девка (глядит в солому и видит что-то).

Это что ж тут?

2-я девка (разглядывает).

Митрич это, работник ихний. Вишь, налился как.

1-я девка.

Да он не пил никак?

2-я девка.

До поднесенного дня, видно.

1-я девка.

Глянь-ка, он, видно, сюда за соломой пришел. Вишь, и веревка в руках, да так и заснул.

2-я девка (прислушивается).

Всё еще величают. Должно, еще не благословляли. Акулина-то, сказывали, и выть не выла.

1-я девка.

Мамушка сказывала, неохотой идет. Ей вотчим пригрозил, а то бы в жисть не пошла. Ведь про нее что болтали!

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и Марина (догоняет девок).

Марина.

Здорово, деушки!

Девки.

Здорово, тетенька!

Марина.

На свадьбу, миленькие?

1-я девка.

Да уж отошла. Так, поглядеть.

Марина.

Покличьте вы моего старика, Семена из Зуева. Знаете, я чай?

1-я девка.

Как не знать? Родня он жениху никак.

Марина.

Как же, племянник моему хозяину-то жених-от.

2-я девка.

Что ж сама не идешь? На свадьбу да не итти.

Марина.

Неохота, деушка, да и недосуг. Ехать надо. Мы не на свадьбу и сбирались. Мы с овсом в город. Покормить остановились, а старика-то моего и зазвали.

1-я девка.

Вы к кому же заехали? К Федорочу?

Марина.

У него. Так я здесь постою, а ты покличь, миленькая, старика-то моего. Вызови, касатка. Скажи: баба твоя, Марина, велела ехать; товарищи запрягают.

1-я девка.

Что ж, ладно, коли сама не пойдешь. *(Девки уходят по тропинке ко двору. Слышны песни и бубенцы.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Марина (одна).

Марина (задумывается).

Пойти бы ничего, да неохота, потому не видалась я с ним с той самой поры, как отказался он. Другой год. А взглянула бы глазком, как живет он с своей с Анисьей. Говорят люди — нелады у них. Баба она грубая, характерная. Поминал, я чай, не раз. Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да Бог с ним, я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было! А теперь перетерлось на себе — и забыла. А поглядела б его... *(Смотрит ко двору, видит Никиту.)* Вишь ты! Чего ж это он идет? Али девки ему сказали? Что ж это он от гостей ушел? Уйду я.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Марина и Никита (идет сначала повеся голову и, махая руками, бормочет).

Марина.

Да и сумрачный же какой!

Никита (видит Марину, узнает).

Марина! Друг любезный, Маринушка! Ты чего?

Марина.

Я за стариком за своим.

Никита.

Что ж на свадьбу не пришла? Посмотрела б, посмеялась на меня.

Марина.

Чего ж мне смеяться-то? Я за хозяином пришла.

Никита.

Эх, Маринушка! *(Хочет ее обнять.)*

Марина (сердито отстраняется).

А ты, Микита, эту ухватку оставь. То было, да прошло. За хозяином пришла. У вас он, что ль?

Никита.

Не поминать, значит, старого? Не велишь?

Марина.

Старое нечего поминать. Что было, то прошло.

Никита.

И не воротится, значит?

Марина.

И не воротится. Да ты что ж ушел-то? Хозяин, да со свадьбы ушел.

Никита (садится на солому).

Что ушел-то? Эх, кабы знала ты да ведала!.. Скучно мне, Марина, так скучно, не глядели б мои глаза. Вылез из-за стола и ушел, от людей ушел, только бы не видать никого.

Марина (подходит к нему ближе).

Что ж так?

Никита.

А то, что в еде не заем, в питье не запью, во сне не засплю. Ах, тошно мне, так тошно! А пуще всего тошно мне, Маринушка, что один я, и не с кем мне моего горя размыкать.

Марина.

Без горя, Микита, не проживешь. Да я свое переплакала — и прошло.

Никита.

Это про прежнее, про старинное. Эх, друг, переплакала ты, а мне вот дошло!

Марина.

Да что ж так?

Никита.

А то, что опостылело мне всё мое житье. Сам себе опостылел. Эх, Марина, не умела ты меня держать, погубила ты меня и себя тоже! Что ж, разве это житье?

Марина (стоит у сарая, плачет и удерживается).

Я на свое житье, Никита, не жалюсь. Мое житье — дай Бог всякому. Я не жалюсь. Покаялась я тогда старику моему. Простил он меня. И не попрекает. Я на свою жизнь не обижаюсь. Старик смирный и желанный до меня; я его детей одеваю,

обмываю. Он меня тоже жалеет. Что ж мне жалиться. Так, видно, Бог присудил. А твое житье что ж? В богатстве ты...

Никита.

Мое житье!.. Только свадьбу тревожить не хочется, а вот взял бы веревку, вот эту *(берет в руки веревку с соломы),* да на перемете вот на этом перекинул бы. Да петлю расправил бы хорошенько, да влез на перемет, да головой туда. Вот моя жизнь какая!

Марина.

Полно, Христос с тобой!

Никита.

Ты думаешь, я в шутку? Думаешь, что пьян? Я не пьян. Меня нынче и хмель не берет. А тоска, съела меня тоска наотделку. Так заела, что ничто-то мне не мило! Эх, Маринушка, только я пожил как с тобою, помнишь, на чугунке ночи коротали?

Марина.

Ты, Микита, не вереди, где наболело. Я закон приняла и ты тож. Грех мой прощеный, а старое не вороши...

Никита.

Что ж мне с своим сердцем делать? Куда деваться-то?

Марина.

Чего делать-то? Жена у тебя есть, на других не зарься, а свою береги. Любил ты Анисью, так и люби.

Никита.

Эх, эта мне Анисья — полынь горькая, только она мне как худая трава ноги оплела.

Марина.

Какая ни есть, — жена. Да что толковать! Поди лучше к гостям да мне мужа покличь.

Никита.

Эх, кабы знала ты все дела... Да что говорить!

ЯВЛЕНИЕ V.

Никита, Марина, муж ее и Анютка.

Муж Марины (выходит от двора красный пьяный).

Марина! Хозяйка! Старуха! Здесь ты, что ль?

Никита.

Вот и твой хозяин идет, тебя кличет. Иди.

Марина.

А ты что ж?

Никита.

Я? Я полежу тут. *(Ложится в соломе.)*

Муж Марины.

Где ж она?

Анютка.

А вон она, дяденька, дле сарая.

Муж Марины.

Чего стоить? Иди на свадьбу-то! Хозяева велят тебе итти, честь сделать. Сейчас поедет свадьба, и мы пойдем.

Марина (выходит навстречу мужу).

Да неохота было.

Муж Марины.

Иди, говорю. Выпьешь стаканчик. Петрунькю шельмеца проздравишь. Хозяева обижаются, а мы во все дела поспеем.

(Муж Марины обнимает ее и шатаясь с ней вместе уходит.)

ЯВЛЕНИЕ VI.

Никита и Анютка.

Никита (поднимается и садится на соломе).

Эх, увидал я ее, еще тошней стало. Только и было жизни, что с нею. Ни за что про что загубил свой век; погубил я свою голову! *(Ложится.)* Куда денусь? Ах! Расступись, мать сыра земля!

Анютка (видит Никиту и бежит к нему).

Батюшка, а батюшка! Тебя ищут. Все уже, и крестный, благословили. Однова дыхнуть, благословили. Уж серчают.

Никита (про себя).

Куда денусь?

Анютка.

Ты чего? Чего говоришь-то?

Никита.

Ничего я не говорю. Что пристала?

Анютка.

Батюшка! пойдем, что ль? *(Никита молчит. Анютка тянет за руку.)* Батя, иди благословлять-то! Право слово, серчают, ругаются.

Никита (выдергивает руку).

Оставь!

Анютка.

Да ну же!

Никита (грозит ей вожжами).

Ступай, говорю. Вот я тебя.

Анютка.

Так я ж мамушку пришлю. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ VII.

Никита (один).

Никита (поднимается.)

Ну как я пойду? Как я образ возьму? Как я ей в очи гляну? *(Ложится опять.)* Ох, кабы дыра в землю, ушел бы. Не видали б меня люди, не видал бы никого. *(Опять поднимается.)* Да не пойду я... Пропадай они совсем. Не пойду. *(Снимает сапоги и*

берет веревку; делает из нее петлю, прикидывает на шею.) Так-то вот.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Никита и Матрена. (Никита видит мать, снимает веревку с головы и ложится опять в солому.)

Матрена (подходит впопыхах).

Микита! А Микита? Вишь ты, и голоса не подает. Микита, что ж ты, аль захмелел? Иди, Микитушка, иди, иди, ягодка. Заждался народ.

Никита.

Ах, что вы со мной сделали? Не человек я стал.

Матрена.

Да чего ты? Иди, родной, честь честью благословенье сделай, да и к стороне. Ждет ведь народ-от.

Никита.

Как мне благословлять-то?

Матрена.

Известно как. Разве не знаешь?

Никита.

Знаю я, знаю я. Да кого благословлять-то буду? Что я с ней сделал?

Матрена.

Что сделал? Эка вздумал поминать! Никто не знает: ни кот, ни кошка, ни поп Ерошка. А девка сама идет.

Никита.

Как идет-то?

Матрена.

Известно, из-под страху идет-то. Да идет же. Да что же делать-то? Тогда бы думала. А теперь ей упираться нельзя. И сватам тоже обиды нет. Смотрели два раза девку-то, да и денежки за ней. Всё шито, крыто.

Никита.

А в погребе-то что?

Матрена (смеется).

Что в погребе? Капуста, грибы, картошки, я чай. Что старое поминать?

Никита.

Рад бы не поминал. Да не могу я. Как заведешь мысль, так вот и слышу. Ох, что вы со мной сделали?

Матрена.

Да что ты в сам деле ломаешься?

Никита (переворачивается ничком).

Матушка! Не томи ты меня. Мне вот по куда дошло.

Матрена.

Да всё ж надо. И так болтает народ, а тут вдруг ушел отец, нейдет, благословлять не насмелится. Сейчас прикладать станут. Как заробеешь, сейчас догадываться станут. Ходи тором, не положат вором. А то бежишь от волка, напхаешься на ведмедя. Пуще всего виду не показывай, не робь, малый, а то хуже вознают.

Никита.

Эх, запутляли вы меня!

Матрена.

Да буде, пойдем. А выдь да благослови; всё как должно, честь честью, и делу конец.

Никита (лежит ничком).

Не могу я.

Матрена (сама с собой).

И что сделалось? Всё ничего, ничего, да вдруг нашло. Напущение, видно. Микитка, вставай! Гляди, вон и Анисья идет, гостей побросала.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Никита, Матрена и Анисья.

Анисья (нарядная, красная, выпивши).

И хорошо как, матушка. Так хорошо, честно! И как народ доволен. Где ж он?

Матрена.

Здесь, ягодка, здесь. В солому лег, да и лежит. Нейдет.

Никита (глядит на жену).

Ишь, тоже пьяная! Гляжу, так с души прет. Как с ней жить? *(Поворачивается ничком.)* Убью я ее когда-нибудь. Хуже будет.

Анисья.

Вишь куда, в солому забрался. Аль хмель изнял? *(Смеется.)* Полежала бы я с тобой тут, да неколи. Пойдем, доведу. А уж как хорошо в доме-то! Лестно поглядеть. И

гармония! Играют бабы, хорошо как. Пьяные все. Уж так почестно, хорошо так!

Никита.

Что хорошо-то?

Анисья.

Свадьба, веселая свадьба. Все люди говорят, на редкость свадьба такая. Так честно, хорошо всё. Иди же. Вместе пойдем... я выпила, да доведу. *(Берет за руку.)*

Никита (отдергивается с отвращением).

Иди одна. Я приду.

Анисья.

Чего кауришься-то! Все беды избыли, разлучницу сбыли, жить нам только, радоваться. Всё так честно, по закону. Уж так я рада, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя в другой замуж иду. И-и! народ как доволен! Все благодарят. И гости всего хорошие. И Иван Мосеич — тоже и господин урядник. Тоже повеличали.

Никита.

Ну, и сиди с ними, — зачем пришла?

Анисья.

Да и то итти надо. А то к чему пристало? Хозяева ушли и гостей побросали. А гости всё хорошие.

Никита (встает, обирает с себя солому).

Идите, а я сейчас приду.

Матрена.

Ночная-то кукушка денную перекуковала. Меня не послухал, а за женой сейчас пошел. *(Матрена и Анисья идут.)* Идешь, что ль?

Никита.

Сейчас приду. Вы идите, я следом. Приду, благословлять буду... *(Бабы останавливаются.)* Идите... а я следом. Идите же! *(Бабы уходят. Никита глядит им вслед задумавшись.)*

ЯВЛЕНИЕ X.

Никита один, потом Митрич.

Никита (садится, и разувается).

Так и пошел я! Как же! Нет, вы поищите, на перемете нет ли. Распростал петлю да прыгнул с перемета, и ищи меня. И вожжи, спасибо, тута. *(Задумывается.)* То бы размыкал. Какое ни будь горе, размыкал бы! А то вон оно где — в сердце оно, не вынешь никак. *(Приглядывается ко двору.)* Никак опять идет. *(Передразнивает Анисью.)* «Хорошо, и хорошо как! Полежу с тобой!» У! шкуреха подлая! На ж тебе, обнимайся со мной, как с

перемета снимут. Один конец. *(Схватывает веревку, дергает ее.)*

Митрич (пьяный поднимается, не пуская веревку).

Не дам. Никому не дам. Сам принесу. Сказал, принесу соломы — принесу! Микита, ты? *(Смеется.)* Ах, чорт! Аль за соломой?

Никита.

Давай веревку.

Митрич.

Нет, ты погоди. Послали меня мужики. Я принесу... *(Поднимается на ноги, начинает сгребать солому, но шатается, справляется и под конец падает.)* Ее верх. Пересилила...

Никита.

Давай вожжи-то.

Митрич.

Сказал, не дам. Ах, Микишка, глуп ты, как свиной пуп. *(Смеется.)* Люблю тебя, а глуп ты. Ты глядишь, что я запил. А мне чорт с тобой! Ты думаешь, ты мне нужен... Ты гляди на меня. Я унтер! Дурак, не умеешь сказать: унтер-офицер гренадерского ея величества самого первого полка. Царю, отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, я

воин? Нет, я не воин, а я самый последний человек, сирота я, заблудущий я. Зарекся я пить. А теперь закурил!.. Что ж, ты думаешь, я боюсь тебя? Как же! Никого не боюсь. Запил, так запил! Теперь недели две смолить буду, картошку под орех разделаю. До креста пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого. Меня в полку пороли, чтоб не пил я. Стегали, стегали... «Что, — говорят, — будешь?» Буду, — говорю. Чего бояться дерьма-то? Вон он я! Какой есть, такого Бог зародил. Зарекся не пить. Не пил. Теперь запил — пью. И не боюсь никого. Потому не вру, а как есть... Чего бояться, дерьма-то? На-те, мол, вот он я. Мне поп один сказывал. Дьявол — он самый хвастун. Как, говорит, начал ты хвастать, сейчас ты и заробеешь. А как стал робеть от людей, сейчас он, беспятый-то, сейчас и сцапал тебя и попер, куда ему надо. А как не боюсь я людей-то, мне и легко. Начхаю ему в бороду, лопатому-то, — матери его поросятины! Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси!

Никита (крестится).

И что ж это я в самом деле? *(Бросает веревку.)*

Митрич.

Чего?

Никита (поднимается.)

Не велишь бояться людей?

Митрич.

Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то погляди. Все из одного теста. У одного потолще брюхо, а то потоньше, только

и различки в них. Вона! кого бояться, в рот им ситного пирога с горохом!

ЯВЛЕНИЕ XI.

Никита, Митрич, Матрена (выходит из двора).

Матрена (кличет).

Что, идешь, что ли?

Никита.

Ох! Да и лучше так-то. Иду. *(Идет ко двору.)*

Занавес.

———

СЦЕНА 2-я.

Перемена декорации. Изба 1-го действия полна народом, сидящим за столами и стоящими. В переднем углу Акулина с женихом. На столе иконы и хлеб. В числе гостей Марина, муж ее и урядник. Бабы поют песни, Анисья разносит вино. Песни замолкают.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анисья, Марина, муж Марины, Акулина, жених, извозчик, урядник, сваха, дружко, Матрена, гости и народ.

Извозчик.

Ехать, так ехать, а церковь разве близко.

Дружко.

А вот дай срок, вотчим благословит. Да где ж он?

Анисья.

Идет. Сейчас идет, миленькие. Кушайте еще по стаканчику, не обижайте.

Сваха.

Что ж долго? Уж с какого времени ждем.

Анисья.

Придет. Сейчас придет. Стриженая девка косы не заплетет, тут будет. Кушайте, миленькие. *(Подносит вино.)* Сейчас идет. Поиграйте еще, красавицы, пока что.

Извозчик.

Да уж все песни пропели ожидамши.

(Бабы поют. Посередине песни входят Никита и Аким.)

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же, Никита и Аким.

Никита (держит Акима за руку и подталкивает вперед себя).

Иди, батюшка, без тебя нельзя.

Аким.

Не люблю я, значит, тае...

Никита (на баб).

Буде, замолчите. *(Оглядывает всех в избе.)* Марина, ты тут?

Сваха.

Иди, бери образ, благословляй.

Никита.

Погоди, дай срок. *(Оглядывается.)* Акулина, ты здесь?

Сваха.

Да что ты народ перекликаешь? Где ж ей быть-то? Что он чудной какой...

Анисья.

Батюшки родимые! Да что ж он разутый!

Никита.

Батюшка! ты здесь? Гляди на меня. Мир православный, вы все здесь, и я здесь! Вот он я! *(Падает на колени.)*

Анисья.

Микитушка, чтой-то ты? О, головушка моя!

Сваха.

Вот на!

Матрена.

Я и говорю: перепил он французского, что ли, много. Опамятуйся, что ты? *(Хотят поднять его, он не обращает ни на кого внимания, глядит перед собой).*

Никита.

Мир православный! Виноват я, каяться хочу.

Матрена (тащит его за плечо).

Что ты, с ума спятил? Миленькие, у него ум зашелся. Увести его надо.

Никита (отстраняет ее плечом).

Оставь! А ты, батюшка, слушай. Первое дело: Маринка, гляди сюда. *(Кланяется ей в ноги и поднимается.)* Виноват я перед тобой, обещал тебя замуж взять, соблазнил тебя. Тебя обманул, кинул, прости меня Христа ради ! *(Опять кланяется в ноги.)*

Анисья.

И чего разлопоушился? Не к лицу совсем. Что никто не спрашивает. Встань ты, что озорничаешь?

Матрена.

О-ох, напущено это на него. И что это сделалось? Попорчен он. Встань. Что пустое болтаешь! *(Тянет его.)*

Никита (мотает головой).

Не тронь! Прости, Марина, грех мой перед тобой. Прости Христа ради.

(Марина закрывается руками, молчит.)

Анисья.

Встань, говорю, что озорничаешь. Вспоминать вздумал. Буде форсить. Стыдно! О, головушка моя! Что это, очумел совсем.

Никита (отталкивает жену, поворачивается к Акулине).

Акулина, к тебе речь теперь. Слушайте, мир православный! Окаянный я. Акулина! виноват я перед тобой. Твой отец не своею смертью помер. Ядом отравили его.

Анисья (вскрикивает).

Головушка моя! Да что он?

Матрена.

Не в себе человек. Уведите ж вы его.

(Народ подходит, хочет взять его.)

Аким (отстраняет руками).

Постой! Вы, ребята, тае, постой, значит.

Никита.

Акулина, я его ядом отравил. Прости меня Христа ради.

Акулина (вскакивает).

Брешет он! Я знаю кто.

Сваха.

Что ты? Ты сиди.

Аким.

О, Господи! Грех-то, грех-то.

Урядник.

Берите его! А старосту пошлите да понятых. Надо акт составить. Встань-ка ты, поди сюда.

Аким (на урядника).

А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит, погоди. Дай он, тае, скажет, значит.

Урядник (Акиму).

Ты, старик, смотри, не мешайся. Я должен составить акт.

Аким.

Экий ты, тае. Погоди, говорю. Об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, Божье дело идет... кается человек, значит, а ты, тае, ахту...

Урядник.

Старосту!

Аким.

Дай Божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и, тае, справляй, значит.

Никита.

Еще, Акулина, перед тобою грех мой великий: соблазнил я тебя, прости Христа ради! *(Кланяется ей в ноги.)*

Акулина (выходит из-за стола).

Пусти меня, не пойду замуж. Он мне велел, а теперь не пойду.

Урядник.

Повтори, что сказал.

Никита.

Погодите, господин урядник, дайте досказать.

Аким (в восторге)

Говори, дитятко, всё говори, легче будет. Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то! Он во!..

Никита.

Отравил я отца, погубил я, пес, и дочь. Моя над ней власть была, погубил ее и ребеночка.

Акулина.

Правда это, правда.

Никита.

На погребице доской ребеночка ее задушил. Сидел на нем... душил... а в нем косточки хрустели. *(Плачет.)* И закопал в землю. Я сделал, один я!

Акулина.

Брешет. Я велела.

Никита.

Не щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня, мир православный! *(Кланяется в землю.)*

(Молчание.)

Урядник.

Вяжите его, свадьба ваша, видно, расстроилась. *(Подходит народ с кушаками.)*

Никита.

Погоди, поспеешь... *(Отцу кланяется в ноги.)* Батюшка родимый, прости и ты меня, окаянного! Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «коготок увяз и всей птичке пропасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вышло по-твоему. Прости меня Христа ради.

Аким (в восторге.)

Бог простит, дитятко родимое. *(Обнимает его.)* Себя не пожалел, Он тебя пожалеет. Бог-то, Бог-то! Он во!..

ЯВЛЕНИЕ III.

Те же и староста.

Староста (входит.)

Понятых и здесь много.

Урядник.

Сейчас допрос снимем.

(Никиту вяжут.)

Акулина (подходит и становится рядом).

Я скажу правду. Допрашивай и меня.

Никита (связанный).

Нечего допрашивать. Всё я один сделал. Мой и умысел, мое и дело. Ведите куда знаете. Больше ничего не скажу.

Занавес.

———

Неопубликованное, неотделанное и неоконченное

[План драмы.]

1 Д[ѣйствіе].

1 с[цена]. Петръ старикъ на печи. Акулина жалѣетъ отца. Аксинья и Власъ.

2 с[цена]. Катерина, мать Вл[аса]. Видать, счастье для сына — помретъ. Пріѣхалъ снимать сына — женить. Не ходи.

3 с[цена]. Акимъ Петра, слѣзаетъ. Петръ не пускаетъ. Акс[инья]. Какъ хочешь. Молчитъ. Уходитъ. А[ксинья].

4-я сцена. П[етръ] на печь. Ак[имъ] увѣщеваетъ, не согрѣшилъ ли? — В[ласъ] отказывается. Рѣчь о бѣдѣ отъ прелюбодѣянія. А[кимъ] хвалитъ Власа.

5-я. Акс[инья] жалуется. Наскучило все возит[ь]ся. Сонные порошки.

6-я. ‹Дѣвка Марина, упрекаетъ, плачетъ и уходитъ. Не даетъ› тебѣ Б[огъ] счастья.

2 Д[ѣйствіе].

1-я. Петръ. Подаютъ въ чаю ядъ. Она все обдумаетъ. Власъ, живи. Акулина растетъ. Уходитъ.

2 с[цена]. Кат[ерина], Акс[инья]. Все шито-крыто, и такъ бы померъ. При немъ не говори, онъ дурашный, мягкослезый.

3-я. Гуляютъ съ Власомъ. Чай, водка.

4-я. Акул[ина]. Прощаться зачалъ. Власъ отходитъ, рыдаетъ.

5-я. Кат[ерина] Власа уговариваетъ жени[ться].

6. Воетъ и заказываетъ домовище.

3 Д[ѣйствіе].

1 сцена. Акул[ина] и Вл[асъ] гуляютъ. Ак[улина]. Брось ее, и все тутъ. Я за ней дѣло знаю. Разсказываетъ.

2 с[цена]. Акс[инья]. Ревность. Онъ ее попрекаетъ. А[ксинья]. Ты со мной была. Ак[улина] вступаетъ. Руготня. Попрекаетъ брюхомъ.

3. Марина съ отцомъ. Вл[асъ] пьяный раскаивается. Запутали, пропалъ я.

4. Акс[инья] съ Акул[иной]. ‹Попрекаетъ беременностью) Ак[улину]. Я хозяинъ. Покорять[ся]. Акс[инья]. Буду жить, не твоя бѣда.

4-е Дѣйств[іе]. Ночь.

1 сцена. Вл[асъ] сидитъ.

2 с[цена]. Акс[инья] входитъ: родила, поди неси. Онъ покоренъ>.

3 сц[ена]. Акс[инья] одна. Замужъ выдать, сватаютъ. Аниска.

4 сцена. Убилъ. Не человѣкъ я теперь, себя убью. — Успокаиваетъ.

5. Катер[ина] свахой. Ужъ хорошо. Отложить.

6. Власъ въ страхѣ виляетъ.

5-е Д[ѣйствіе].

На гумнѣ лежитъ въ соломѣ Аниска.

Марина. Свахой. Я не попрекать. Уйди, <убью. Идетъ за ней>. Сейчасъ приду. Аниска [,] ударяетъ ее. И идетъ.

1 сцена. Сидятъ женихъ съ невѣстой. Не [*1 неразобр.*] везти въ церковь. Сваты, угощенье, намеки.

2) <Марина съ мужемъ закрываетъ намеки. Посылаютъ Аниску.>

3) Входитъ Власъ. Кается на колѣнахъ. — Вяжите меня. Коготокъ увязъ, и всей птичкѣ пропасть.

Конецъ.

Лица: 1. Петръ домовитый, степенный мужикъ, домъ прежде всего, <обстоятель[ный]>.

2. Акимъ. Бѣднякъ, говорливый, <ласковый, добрый>, по божественному.

3) Катерина — вѣдьма хитрая, хлопотница, скрытная и всѣхъ видитъ.

4) Акс[инья]. <Тѣло животное, чувственная, робка.> Кокетка и не видящая дальше носа.

5) Власъ — работникъ, щеголь, мягкосердечный и забывающійся.

6) Акулина — грубое животное, чувственное и гордое.

7) <Аниска рѣзвая, милая ласковая.>

7) Марина нѣжная, <добр[ая]> покорная.

Варианты.

№ 1.

Аксинья. Чтоже мнѣ отъ тебя, тетка Катерина, хорониться? Ты всѣ дѣла знаешь. Не стану безъ него жить.

Катерина. Экъ, новости сказала. Тетка Катерина насквозь все видитъ, подъ землей на аршинъ видитъ. Новость сказала. Знаю, все знаю, зачѣмъ молодымъ бабамъ сонныхъ порошковъ надоть. Еще принесла. *(Разрешаетъ узелокъ платка, достаетъ въ бумагѣ).* Вижу, да въ себѣ хороню. *(Шепотомъ.)* Тоже молода была. Всѣ ухватки знаю, всѣ 77 увертокъ увертываю. Я, думаешь, съ дуракомъ своимъ пріѣхала сына брать женить? Какже! Дуру нашли. Кто своему дѣтищу счастья не желаетъ.

Аксинья. Да какже быть, тетушка?

Катерина. А какъ быть, оберну вокругъ пальца, никто не увидитъ. *(Шепотомъ.)* А вонъ глянь ка сюда. Была я у благодѣтеля своего, у фершала, за порошками, онъ мнѣ еще далъ снадобья. Это, говорить, такое снадобье, что дать испить, никакого духу нѣтъ, а силу большую имѣетъ. И сонь отъ него, и если постылому давать, такъ примѣтки не будетъ, а слободу даетъ. Рублевку, говоритъ. Думаю, Михайловнѣ снесу.

Аксинья. Давай сюда.

Катерина. Живой живое и думаетъ. Эхъ, дурья голова, посмотрю я на своего. Заладилъ женить. А того не знаетъ, что сыну Богъ счастье послалъ. Да все отъ Маринки, отъ паскуды. Приходила она, говоритъ мнѣ, говоритъ, Андрюха обѣщалъ, смутилъ, говоритъ, меня. А ее чего смущать? Потаскуха. Въ куфаркахъ въ артели жила. Такъ нѣтъ же, говоритъ, грѣхъ, говоритъ. Да только по его не выйдетъ.

№ 2.

Матрена. Ээхъ, дѣвка, не робѣй. Хлопочу я для васъ ужъ какъ, кажется. Всѣ ноженьки отходила. Ты насчетъ это, дѣвка, не сумлѣвайся. Тоже есть благодѣтель у меня — писарь. Я до него вхожа. Была у него, тоже такъ, къ слову, разговорилась. Какъ, говорю, Иванъ Мосеичъ, разсудить дѣло это? Мужикъ богатый, вдовый взялъ, примѣрно, за себя другую жену. И примѣрно только и дѣтей, что дочь отъ той жены да отъ этой. И помри мужъ этотъ. Кому, значить, принадлежитъ домъ? Извѣстно, говоритъ, дочери. Ну а, говорю, случаемъ войдетъ на вдову въ дворъ мужикъ чужой, женится. Можетъ онъ дочерей замужъ отдать, а самъ во дворѣ остаться? Отдѣлить, говоритъ, надо дочерей. Кабы, говоритъ, на дочь вошелъ мужикъ, тогда, говоритъ, другое дѣло. Всему, говоритъ, бабушка, дѣлу деньги голова. Съ деньгами, говоритъ, можно это дѣло оборудовать. И стариковъ, говоритъ, угостить да похлопотать, можетъ онъ и на вдову взойти. Все, говоритъ, можно съ ними сдѣлать, только, говоритъ, чтобы денежки были. Такъ къ слову поговорили. Такое оно, дѣушка, дѣло, тоже ума надо много. А то гляди, какъ онъ проживетъ, да на дочь, на Акульку то, зятя приметъ. Тогда ты иди съ сумой. Тоже обдумать надо.

Анисья. Онъ и то намеднись говорилъ: кабы Акулькѣ года вышли, принялъ бы на нее зятя, хоть Микитку того жъ. По крайности домъ бы цѣлъ былъ. То то и скучно, тетушка.

№ 3.

<Марѳа (входитъ). Здорово, тетенька.

Матрена. Здорово, милая. Аль братца провѣдать пришла? Плохъ, дюже плохъ. И съ кровати не сползаетъ. Соборовать бы надо.

Марѳа. Да ты чья же будешь?

Матрена. А я, миленькая, къ сыночку пришла, живетъ тутъ въ работникахъ. Тоже горе. Надо деньжонокъ бы, да не того. Тоже нужда, старикъ плохой, а хлѣбъ дорогой.

Марѳа. Вѣстимо. (Хочетъ пройти.)

Матрена. Я и то говорю — жить бы да жить. П[етръ] И[ванычъ] мужикъ правильный, 2-й годъ сынъ живетъ, онъ насъ

не оставляетъ. Такой человѣкъ — на рѣдкость. Ужъ мы какъ за него Богу молимъ. Да, видно, не доходна молитва наша по грѣхамъ.

Марѳа. Вѣстимо. Пойти къ нему, чего то звалъ. Акулька прибегала.

Матрена. Свой своему поневолѣ братъ, жалко. Такъ то и я, касаточка, скажу тебѣ, росла я сиротой. Ты присядь. Онъ должно, спитъ, а очнется, онъ тебя покличетъ. Росла я, милая моя, сиротой. Отдали меня замужъ молодененьку. Старикъ попалъ дурашный, да своихъ 8 человѣкъ было.

Акулина (входить съ бѣльемъ, кладетъ белье. Къ Марѳѣ). Пойдемъ къ батюшкѣ.

Матрена. Да вотъ, умница, самоваръ ставить хотѣли, да все недосугъ. Анисья съ хворью сидитъ. Сходи, дѣушка.

Акулина (беретъ ведра). Ну, что жъ, тетка Марѳа, была у него?

Марѳа. Вотъ пришла, съ старушкой разговорилась. Пойти теперь.

(Из избы выбѣгаетъ Анисья съ воемъ «Померъ». Матрена подходить к ней, подхватываетъ ее и уговариваетъ.)

Анисья (шепотомъ). Я деньги сняла. Вотъ они.

(Акулина съ воемь бежитъ въ избу. Опять воетъ. Народъ подходитъ и идетъ въ избу, подходитъ къ воротамъ.)

Никита (выходитъ). Чего?

Матрена. Померъ, и деньги сняли.

Никита. Ну васъ совсѣмъ. Еще запутаете въ дѣла.

Матрена. Бери, дуракъ, такъ пропадутъ.

Никита. Помните же, не я взялъ, мнѣ дали. Мнѣ что? Я на огородъ схороню.

Анисья. Бери, народъ идетъ. Я взвою сейчасъ...

Матрена (сыну). У тебя въ рукахъ.

Никита. Помните жъ, не я... (Кладетъ въ голенище и уходить въ ворота).>

№ 4.

Никита (беретъ на себя трезвый видъ). Ты что пришелъ? Али какое дѣло?

Акимъ. Дѣло то дѣло. Да до завтраго и все того.

Никита. Ты думаешь, я пьянъ? Я такъ, покуражился, значитъ. Ты скажи.

Акимъ. Да что тае и все того. Знаешь, работалъ я въ городѣ и все того. Работишка ничего, кормимся съ лошаденкой, да пала вотъ подъ заговѣнье лошаденка то, и сѣлъ я. Ну, думаю, и все того, перехватить на перевертъ гдѣ и все того, хоть какую нибудь объегорить. Чтобъ дѣло то не стало, а то взялъ. Думаю, коли что, у тебя съ Анисьей не разживусь ли?

Никита (лѣзетъ въ карманъ, достаетъ бумажникъ, вертитъ бумажки, достаетъ 10 рублевую). Бери. Потому родитель.

Акимъ. Ну, спасибо и все того, я не то что какъ и не то. А вотъ дай получу къ Пасхѣ, я отдамъ.

№ 5.

Акулина. А зачѣмъ ты ее любилъ? Ты бы повременилъ, тогда бы меня взялъ и безъ грѣха бы. А теперь вотъ что.

Никита. Любилъ да разлюбилъ. *(Задумывается.)* Вѣришь ли, Акуля, какъ узналъ я эти дѣла, какъ мнѣ матушка сказала объ порошкахъ этихъ, опостылѣла она мнѣ, такъ опостылѣла, что не смотрѣли бы мои глаза. А тутъ ты меня полюбила. Эхъ жизнь!

На печи калачи [*и т. д.*]

№ 6.

Акулина (выходить больная). Анютка! Гдѣ ты?

Анютка (выглядывая). Чего?

Акулина. Посылай ко мнѣ мать.

Анютка. Погоди, провожаютъ.

Акулина. Ай, ай! Что сдѣлалось, что будемъ дѣлать. Смерть моя.

Анисья (вбѣгаетъ). Куда вылѣзла? Уйди ты въ холодную. Дай срокъ.

Акулина. Уѣхали они. что ль?

Анисья. Уѣхали. Иди. Что слоняешься!

Акулина. Матушка, родимая, что дѣлать будемъ.

Анисья. Тогда бы думала. Иди въ избу.

(Уходятъ. Никита выходитъ, затворяетъ ворота и садится на сани, опустивъ голову.)

№ 7.

Матрена (выходитъ). Что нахохлился? Эхъ, погляжу я на ваше сословіе — плохи вы, мужики, на раздѣлку. Какъ до чего дѣло дойдетъ, и носъ повѣсилъ.

Никита. Да ты чего думаешь? Развѣ я боюсь? Что же, коли ей дѣтища не жаль.

Матрена. Сама велитъ. Куда жъ ей съ нимъ? Славу сдѣлаетъ — не миновать.

Никита. Такъ чего жъ? Въ немъ и жизни то нѣтъ. Только узнаютъ люди — бѣда.

Матрена. Это не бѣда, а побѣдушка. Сватовъ проводили, имъ въ носъ не вскочили. А теперь то въ своемъ дому да не обдѣлать дѣла этаго? Такъ обдѣлаешь, что и не попахнетъ. Эхъ, умѣй гулять, умѣй концы хоронить. Ты только дѣлай что я прикажу, все шито-крыто будетъ.

Никита. Отстань ты отъ меня, уйду въ трактиръ, дѣлайте какъ знаете.

Матрена. Ты уйдешь, а наше бабье дѣло какже? Ты все мужикъ, да и все. Нѣтъ, ты тутъ посиди. Похоронить надо ребенка то.

Никита. А чтожъ, померъ онъ?

Матрена. Да тамъ видно будетъ.

Никита. Право, уйду.

Матрена. Ты уйди, а тутъ урядникъ придетъ. Онъ тебя найдетъ. И не моги ходить, а ты жди, да скребку возьми, мѣсто приготовь въ погребѣ то. Гдѣ онъ у васъ? Тутъ то поди ямку выкопай. Такъ то.

Никита. Ну да вы живѣе, что ль. Заодно.

Матрена. Ужъ потрудись, а наше дѣло бабье само собой.

Никита. Ну васъ совсѣмъ.

№ 8.

<1-я Дѣвка. Величаютъ. Должно, еще нескоро уѣдутъ.

2-я Дѣвка (соломой обтираетъ ботинки). Невѣсту видѣла? Сарафанъ... и платокъ. У, хорошо убрана.

1-я Дѣвка. А не веселая что-то сватьба. Пойдемъ же хоть на улицѣ постоимъ, посмотримъ, какъ поѣдутъ. *(Идутъ, встрѣчается Акимъ.)*

2-я Дѣвка. Что, дѣдушка, благословляютъ, что ль?

Акимъ. А Богъ е знаетъ, дѣушки, я не видѣлъ и все того.

1-я Дѣвушка. Чтожъ такъ? Вѣдь ты родной, чтожь ты ушелъ.

Акимъ. Мое дѣло такое старое и все того. Не веселитъ. Я нынче ночь то шелъ, такъ вотъ соснуть хочу.

1-я Дѣвка. Какже благословенье то?

Акимъ. Ну пора, такъ меня и не хватятся. Много и безъ меня и все того. *(Садится на солому.)* А вы чтоже? Идите, идите, поиграйте, ваше дѣло такое и все того.

(Дѣвушки уходятъ.)

Акимъ. Не глядѣли бъ мои глаза. Грѣхи то, грѣхи какъ вяжутъ. Тьфу. Тьфу, скверность какая. Дочь отдаетъ тоже, а она ему кто? Долго терпитъ Господь-батюшка, да не миновать раздѣлки. Охъ, жаль мнѣ малаго. А что сдѣлаешь, по плечи увязъ, не вывернется. И то соснуть. *(Лѣзетъ въ солому, укрывается кафтаномъ.)*

Никита (выходитъ изъ двора, идетъ къ гумну и останавливается у тока). Сидѣлъ, сидѣлъ, какъ загорѣлось что въ сердцѣ. Не могу отъ стыда глаза поднять. Не могу, силъ моихъ нѣтъ. Хоть одумаюсь малость. Женихъ то — малый хорошій, смирный. Какъ мнѣ ему въ глаза глядѣть! Эхъ, жисть. Идетъ кто то. Схоронюсь. (Заходитъ за одонье.)

Анисья (красная, выпившая). Микита, а Микита, гдѣ онъ тутъ схоронился? *(Заходитъ за одонье.)* Чего хоронишься то? Иди,

тебя ждутъ. Слава тебѣ, Господи, все покончено. Благословлять надо. Ужъ рада я, рада, Никитушка.

Никита. Не пойду. Погоди, дай срокъ.

Анисья. Да что ты, очумѣлъ, что ль?

Никита. Не пойду, говорю. Что пристала? *(Матрена выбѣгаетъ*, *подходитъ.)* Иди, я приду сейчасъ. Дай мнѣ одуматься.

Анисья. Чудакъ, посмотрю я на тебя. Чего одуматься то? Слава те, Господи, честь честью справили. Всѣ дѣла прикрыли, всѣ грѣхи развязали. Ужъ рада жъ я, Никитушка. Станемъ опять жить по прежнему, только не разлюби ты меня, а я тебя такъ кажется... пуще прежняго.

Никита. Ладно, ладно. Дай посижу тутъ. Сейчасъ приду. Стыдно мнѣ, Анисья.

Анисья. Вона, стыдъ не дымъ, глаза не выѣстъ. Чего жъ тебѣ — Марину стыдно, что она сваха то?

Никита. Что мнѣ Марина?

Анисья. Эка раскачалъ мою печаль. Къ тебѣ съ добромъ, а ты съ дерьмомъ. Эхъ, не тужи, заживемъ лучше прежняго.

(Уходить и встречаетъ Матрену.[1] *Дѣвки идутъ по тропинкѣ ко двору*. *Слышны пѣсни и бубенцы.)*

Марина (одна задумывается). Подумаешь, судьба развела насъ, и мнѣ за вдовцемъ привелось и ему на вдовѣ. Глядь, онъ дочь отдаетъ въ нашу деревню. Мужу племянникъ. Да и не видалась съ нимъ съ той поры. Не хочу я на сватьбу идти, нечего расшевеливать. Что было, то прошло. И за моимъ жить можно. *(Смотритъ къ двору*, *видитъ Никиту).* Зачѣмъ это онъ идетъ?>

№ 9.

Анютка (бѣжитъ к Никитѣ). А тебя ищутъ. Мамушка велѣла идти скорѣеча. Благословлять, говоритъ, пора. Ужъ всѣ поѣзжане давно собрались.

(Никита молчитъ.)

Анютка. Батюшка, да ты что? Батюшка! Иди, чтоль.

(Молчитъ.)

Анютка (тянетъ за руки). Батя, иди.

Никита (выдергиваетъ руку). Я приду, Анютка. Дѣдушки нѣтъ, моего отца Акима нѣтъ въ избѣ?

Анютка. Нѣтути. Онъ приходилъ, да не сталъ сидѣть. Онъ кудый то ушелъ. Должно, у Мирошкиныхъ сидитъ.

Никита. Поди ты, сыщи батюшку моего. Скажи, Никита велитъ безпремѣнно приходить въ избу. Очень нужно, скажи. Дѣло есть. Слышишь?

Анютка. Ну чтожъ. А ты придешь?

Никита. Приду.

Анютка. Я такъ и мамушкѣ скажу. *(Убѣгаетъ.)*

№ 10.

Анисья (нарядная, *красная*, *выпившая.)* Здѣсь онъ? Чтожъ нейдетъ? Али животъ схватило?

Матрена. Нѣтъ, а вотъ застыдился, людно, говоритъ: какъ я послѣ такихъ дѣловъ благословлять буду?

Анисья. Эхъ, на это смотрѣть. Чего стыдиться то? Развѣ мы хуже людей?

Матрена. Не мимо молвится: безъ стыда лица не износишь, какъ платье безъ пятна.

Анисья. Чего скучаешь, Никита? *(Трогаетъ рукой.)* Все, слава Богу, по закону, по порядку, справили. Ужъ такъ рада я, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя другой разъ замужъ иду. Всѣ бѣды избыли, разлучницу сбыли, жить намъ только, радоваться, а ты что? И любить же тебя буду. Иди, желанный. Только за тобой дѣла стали. Иди. *(Беретъ за руку. Никита встаетъ.)*

Матрена. И впрямь напущено на тебя что. Вѣдь не миновать благословить. Какже безъ этаго? Нельзя.

Никита. Сейчасъ приду, слѣдомъ приду за тобой. Приду, благословлять буду. Идите вы, а я слѣдомъ. Моего батюшку позови, чтобъ онъ тамъ былъ.

Матрена. За нимъ Анютка побѣжала.

Никита. Марина тамъ?

Анисья. На что она тебѣ понадобилась?

Матрена. Всѣ тамъ, народу много.

Никита. Ну и идите, а я слѣдомъ.

№ 11.

Никита (идетъ сначала повѣся голову и махая руками и бормочетъ). Охъ тошно. Охъ скучно. *(Видитъ Марину, узнаетъ.)* Марина! Ты чего? Чтожъ на сватьбу не пришла? Старикъ твой тама. *(Подходить вплоть.)* Чего пришла? Посмѣяться надо мной пришла? *(Валится на солому.)* Смѣйся теперь. Теперь топчи меня кто хошь.

Марина. Чего смѣяться то? Я за хозяиномъ пришла. У васъ онъ, чтоль?

Никита. Эхъ, Марина, Марина, другъ любезный, кабы да знала ты да вѣдала, пожалѣла бы ты меня. Маринушка, зазнобушка старинная, садись поговоримъ. *(Тянетъ ее къ себѣ.)*

Марина (сердито отстраняется). А ты, Микита, эту ухватку оставь. То было да прошло. За хозяиномъ пришла. У васъ онъ, что ль?

Никита. Ахъ, другъ ты мой старинный. Не хочешь меня пожалѣть. Не съ кѣмъ мнѣ мое горе размыкать, одинъ я, какъ перстъ одинъ, никому то моего горя не надобно.

№ 12.

<*Никита (одинъ).* Какъ, я ея ребенка убилъ да ее благословлять буду? Не могу, не насмѣлюсь, скажу все. А какъ сказать? Нѣтъ, видно не миновать. И возжи тутъ, и переметъ здѣся. Такъ тому и быть! Кабы оно, горе то мое, не во мнѣ было, а то въ сердцѣ оно. Никуда не уйду отъ него. И нельзя мнѣ его размыкать. А распросталъ петлю да прыгнулъ съ перемета то! И нѣтъ меня. И некому сердце сосать. Эхъ, что робѣть, то хуже. *(Схватываетъ веревку и, дергая ее, будитъ Митрича.)*

Митричъ (пьяный поднимается изъ соломы. Никита съ ужасомъ смотритъ на него). Вотъ какъ за соломой пошелъ, да

и заснулъ. Потомъ осилила. *(Хочетъ сдѣлатъ нѣсколько шаговъ*, *но ноги подкашиваются*, *и онъ падаетъ.)* Пересилила! <Осилила. Все одно: пить — умереть, не пить — умереть.> Микита, хозяинъ! Ты чего сюда пришелъ? За соломой? Я самъ принесу. Она осилила, а дай срокъ, и мой верхъ будетъ. Я принесу. Ты не обижайся, что я запилъ. Я дай все съ себя пропью, тогда остепенюсь. Микитъ! отдай мнѣ свои сапоги, я ихъ пропью. Ты малый хорошій, только ты [...]

Никита. <На возьми.> Ты чего?

Митричъ. Пропью. Рубаху одну на тѣлѣ оставлю да крестъ. А ты что скучаешь? Ты не скучай, <эка, о чемъ толковать. Дворъ то твой. Дерьмо, дерьмо — невидаль. Все дерьмо, нечего думать. Все одно, что богатъ, что бѣденъ, что съ бабой, что съ дѣвкой жить. Что въ острогѣ, что на волѣ — все одно. Вездѣ живутъ, вездѣ мрутъ. Эка дерьмо, сватьба, ты не тужи. А за сапоги спасибо, пропью у Ѳедорыча. Ты на меня гляди. Зарекся не пить, не стану пить. Анъ выпилъ. Выпилъ, а мнѣ весело, легко на душѣ. Потому выпилъ. А то скучать?> Ты чего скучаешь? Гляди на меня. Я радуюсь. Имѣнья у меня крестъ да пуговица, а скотина — тараканъ да жуковица. А вотъ охъ я. <Радуюсь.> Ты думаешь, я кто? Царю вѣрой-правдой служилъ. У меня билетъ царскій за службу, а я и билетъ пропью, ничего не останется. <Потому я заблудящій.> Сирота я, и пожалѣть меня некому, и пить зарекался, опять запилъ. Ты помни, заблудящій я, никуда не гожаюсь. Что жъ, я боюсь чего? Ничего не боюсь и радуюсь. Потому люблю тебя. Поцѣлуй меня. Отецъ! Жалко мнѣ тебя. Какъ жалко! *(Плачетъ.)* <Жалко! Давай возжи-то, Я снесу.>

Никита. <Бери.> *(Швыряетъ веревку).* Да не поддамся жъ я тебѣ. Врешь.

<*Митричъ.* Чтожъ сапоги то снялъ? Меня нарядить хочешь? Давай, я пропью. За твое здоровье пропью.>

Никита. <На. *(Швыряетъ сапогъ.)* Чтожъ, я въ самомъ дѣлѣ, боюсь, что ли, ихъ? Бога не побоялся, а ихъ бояться. Господи, благослови! *(Крестится*, *идетъ по двору.)*>

№ 13.

2-я СЦЕНА.

Изба 1-го дѣйствія. Анютка раздѣтая лежитъ на коникѣ подъ кафтаномъ. Митричъ сидитъ на хорахъ и куритъ.

Митричъ. Ишь, добро то мимо лили. И табакомъ не заглушишь духъ то. Такъ въ носу и вертитъ. О Господи! Спать, видно. *(Подходитъ къ лампочкѣ*, *хочетъ завернуть.)*

Анютка (вскакиваетъ, сидъмя трясется). Не туши. Дѣдушка, голубчикъ, миленькій, не туши. Боюсь.

Митричъ. Боишься? Чего боишься то? То молодушество. Боишься. Чего боишься?

Анютка. Страшно, дѣдушка.

Митричъ. Чего страшно то?

Анютка. Что они тамъ долго?

Митричъ. Да должно, тамъ и спать лягутъ.

Анютка. Охъ, дѣдушка, жутко, жутко какъ. Не туши ты ради Христа. Пра, ей Богу, страшно.

Митричъ. Вотъ такъ заверну только.

Анютка (ложится и вскакиваетъ). Дѣдушка, дѣдушка! Слышишь? Кричитъ мамушка какъ. Не туши, голубчикъ миленькій, не туши. *(Хватаетъ его за руку.)*

Митричъ. Ишь, напугали. То-то дурочка, пра дурочка. Ложись.

Анютка (ложится). Не будешь тушить?

Митричъ. Вотъ такъ то повернись къ стѣнкѣ да и спи себѣ. *(Закрываетъ ее кафтаномъ; медлитъ около нея*, *прикрывая.)* О Господи, Микола милослевый.

Анютка. А ты на печку пойдешь?

Митричъ. А то куды жъ? То то глупая, я посмотрю. Страшно! Ты не бойся, вотъ и не будетъ страшно. *(Поднимается.)* О Господи, Микола милослевый.

Анютка (поворачивается). Да какже не бояться то? Вѣдь я знаю. Вотъ и страшно.

Митричъ. Только ты не бойся ничего, вотъ и не будетъ страшно. У насъ въ полку, помню, полковникъ былъ здоровенный, долбней, кажется, не убьешь, а какъ до чего коснется въ страженьи, сейчасъ и за кустъ. А то дѣвчонка, такая

жъ какъ ты, съ нами ходила, дробленькая была, смотрѣть не на что, а бывало ничего не боится.

Анютка. Чья жъ дѣвчонка то?

Митричъ. Дѣвчонка то? Это, братъ, исторія. Ну, полѣзу на печь, а ты спи.

Анютка. А ты разскажи. *(Прислушивается.)* Охъ, что то въ погребѣ что то. Охъ, однова дыхнуть, въ погребѣ. Дѣдушка родимый, что это? Охъ, не ходи ты, страшно.

Митричъ. Въ погребѣ — въ погребѣ ничего нѣтъ, такъ, корова чешется.

Анютка. Такъ ничего? Такъ дѣвчонка то какая?

Митричъ. Какая дѣвчонка то? Походомъ шли мы въ Турціи ли, въ Польшѣ ли — запамятовалъ. Кабы ученый, помнилъ бы. Такъ тамъ, помню, народъ такой. Не русскіе они и не нѣмцы, а все равно какъ жиды. И не жиды тоже, а, значить, Азіаты. Какъ то зовутъ ихъ чудно какъ то. Забылъ ужъ. Круглы, кудры, крудлы. Забылъ. Ну вотъ поперли мы ихъ вонъ изъ деревень. Побили.

Анютка. До смерти?

Митричъ. Какихъ до смерти, какихъ такъ. Ну, вотъ пришли въ деревню, а тамъ эта самая дѣвчонка, лежитъ на пузѣ, оретъ. Вотъ не помню, гдѣ было дѣло, а дѣвчонку помню, какъ сейчасъ вижу. Такая жъ, какъ ты. Только и помню, какъ пороли, да дѣвчонку помню. Что съ ней дѣлать? Взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить, да такъ привыкли, походомъ ее съ собой несли.

Анютка. Чтожъ она не крещеная?

Митричъ. Не крещеная, а какая дѣвчонка была улизливая. Такъ на шею тебѣ и вскочитъ, ластится.

Анютка. Не боялась?

Митричъ. Такая смѣлая была, ничего не боится, бывало. Хорошая дѣвчонка была. Отдали потомъ. Ужъ жалѣли какъ солдаты. Хорошая дѣвчонка была.

Анютка. А вотъ, дѣдушка, тоже батя, я помню, какъ помиралъ. Ты еще не жилъ у насъ. Такъ онъ позвалъ Микиту да и говоритъ: прости меня, говоритъ, Микита. А самъ заплакалъ.

(Вздыхаетъ.) Тоже жалѣлъ меня[2]... *(Прислушивается.)* Дѣдушка милый, идетъ кто-то.

Митричъ. Ну идетъ, чего жъ ты?

№ 14.

<*Анютка.* Такъ куда жъ дѣвчонка то дѣлась?

Митричъ. А я тебѣ про дѣвчонку доложу. Ты помни, дѣвчонка совсѣмъ барышней стала. Тоже довелось видѣть. Лѣтъ 8 или 9 прошло. Въ Кіевѣ стояли. Ротный и встрѣтилъ меня. Узналъ. Что, говоритъ, помнишь дѣвочку? Помню. Она, говоритъ, у меня въ дочеряхъ. Взглянуть бы, говорю. Заходи, говоритъ. Чтожъ дѣвица какая выравнялась.

Анютка. Чтожъ, хороша?

Митричъ. И хороша да и умна. Книжекъ что прочитала. Обучилась. Ласкова, не побрезгивала мной тоже. И деньжонокъ дала.

Анютка. Чему жъ обучена то она?

Митричъ. Закону обучена. Все знаетъ и объ христіанской жизни. Умна какъ.

Анютка. Не то что наши?

Митричъ. Во сличила. Та настоящая, какъ попъ все знаетъ. А наша сестра что какая одна изъ десяти пятницу знаетъ, а то и того не слыхала.>

Авторские исправления, сделанные в печатном тексте «Власти тьмы».

Нижеследующие исправления сделаны рукой Толстого в экземпляре пьесы издания ,,Сочинения графа Л. Н. Толстого. Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»“. М. 1887.

Вначале обозначаются страницы и строки экземпляра, в котором были сделаны исправления, рядом же в скобках — страницы и строки настоящего издания.

Действие первое.

Явление VIII.

Стр. 14, строка 5 св. (Стр. 128, строка 24.)

После слов: Да ты чего? *добавлено:* Тпру, тпру. (Гладит.)

Стр. 16, строка 10 св. (Стр. 130, строка 13.)

После слов: и баба его, значит, любит, *добавлено:* (Обнимает.)

Явление IX.

Стр. 17, строка 5 св. (Стр. 131, строка 1.)

Слово: нагибается *зачеркнуто и вместо него написано:* топор у двери

Явление X.

Стр. 17, строка 1 сн. (Стр. 131, строки 18—19.)

клонит *исправлено на* клонить

Стр. 19, строка 1 сн. (Стр. 133, строка 4.)

велит *исправлено на* велить

Явление XII.

Стр. 28, строка 11 св. (Стр. 139, строка 23.)

веселит *исправлено на* веселить

Явление XIII.

Стр. 29, строки 15—16 св. (Стр. 140, строки 19—20.)

Обвязался ты с девкой, значит, то есть обвязался ты с ней, значит? *исправлено на* Обвязался ты с девкой, значить, то есть, тае, значить, с девкой, значить?

Стр. 30, строка 2 (Стр. 141, строка 2.)

Никита! *исправлено на* Микита!

Явление XVIII.

Стр. 35, строка 3 сн. (Стр. 145, строка 13.)

После слова: Микиту *добавлено:* (Убегает опять.)

Стр. 36, строка 3 сн. (Стр. 146, строка 11.)

После слова: Анютка *добавлено:* вбегает.

Стр. 36, строка 2 сн. (Стр. 146, строка 12.)

Слова: глянь-ка! (Глядит в окно.) *зачеркнуты*.

Стр. 36, строка 1 сн. (Стр. 146, строка 13.)

Слова: она. Я уйду, *зачеркнуты и вместо них написано:* идет.

Явление XIX.

Стр. 37, строка 5 сн. (Стр. 147, строка 4.)

Слово: позабыть *зачеркнуто*.

Стр. 38, строка 5 сн. (Стр. 147, строка 30.)

После слов: бить будешь? *добавлено:* (Близко подставляет ему лицо.)

Стр. 38, строка 4 сн. (Стр. 147, строка 31.)

После слов: Эх, Никита. *добавлено:* (Молчание.)

Стр. 39, строка 2 св. (Стр. 148, строка 2.)

Слова: что было, то уплыло. *зачеркнуты*.

Стр. 39, строки 2—4 (Стр. 148, строки 3—4.)

Слова: Берегла я свою честь девичью пуще глаза. Погубил ты меня ни за что, обманул. Не пожалел сироту. *зачеркнуты*.

Стр. 39, строки 4—6 (Стр. 148, строки 5—6).

Слова: отрекся от меня. Убил ты меня, да я на тебя зла не держу. Бог с тобой. *зачеркнуты*.

Действие второе.

Явление VII.

Стр. 48, строка 1 св. (Стр. 153, строка 1.)

После слов: Явление VII. *добавлено:* Слышен крик.

Явление X.

Стр. 56, строка 7 св. (Стр. 159, строка 18.)

После слова: (Убегает.) *добавлено:* на ходу повязываясь платком.

Явление XIV.

Стр. 59, строки 8—10 св. (Стр. 162, строки 2—3.)

Сбоку на полях против этих строк с ремаркой добавлено: кнут, кафтан и узда.

Стр. 59, строка 4 сн. (Стр. 162, строка 17.)

После слов: Никита подходит *добавлено:* близко, облокачивается на крыльцо.

Стр. 61, строка 6 св. (Стр. 163, строка 19.)

После слова: Прости *добавлено:* (Кланяется.)

Стр. 61, строка 12 св. (Стр. 163, строка 25.)

После слова: (Плачет.) *добавлено:* (Еще кланяется.)

Явление XVIII.

Стр. 67, строка 6 св. (Стр. 168, строка 17.)

Слова: Бумага, известно, *зачеркнуты и вместо них написано:* Ну да я сразу понял.

Явление XXIV.

Стр. 71, строки 3—4 св. (Стр. 171, строка 14.)

Слова: Народ приходит. *зачеркнуты и вместо них написано:* Сосед, старик, две бабы.

Стр. 71, строка 5 св. (Стр. 171, строка 15.)

Слова: Один голос из народа. *зачеркнуты и вместо них написано:* Одна баба.

Действие третье.

Явление III.

Стр. 78, строка 11 св. (Стр. 174, строка 30.)

После слов: Митрич (рычит). *добавлено:* кашляет.

Явление V.

Стр. 87, строка 5 св. (Стр. 181, строка 30.)

Слово: что ли *зачеркнуто и вместо него написано:* стали

Стр. 87, строка 8 св. (Стр. 181, строка 32.)

Слова: десятину уберу за уваженье. *зачеркнуты и вместо них написано:* приплачу сколько положишь.

Стр. 87, строка 11 св. (Стр. 182, строка 1.)

Слова: да и всё. *зачеркнуты и вместо них написано:* бери.

Стр. 87, строка 12 св. (Стр. 182, строки 2—3.)

Слова: беру десятку *зачеркнуты*.

Стр. 87, строка 2 сн. (Стр. 182, строка 18.)

Слова: жрать нечего, *зачеркнуты*.

Стр. 88, строки 3—1 сн. и стр. 89, строка 1 св. (Стр. 183, строки 8—11.)

Слова: Да уж, видно, время, тае, подходит, *кончая:* А ни к чему. Всё ни к чему. *сбоку на полях отчеркнуты*.

Явление XV.

Стр. 103, строка 11 сн. (Стр. 195, строки 6—7.)

Слова: говори да не откусывай. *зачеркнуты*.

Действие четвертое.

Явление X.

Стр. 119, строки 11—12 св. (Стр. 205, строки 30—31.)

Слова: Участником в этих пакостях сделала, паскудница! *зачеркнуты. Следующая фраза:* И опостылела же она мне с этого раза. — *зачеркнута и затем волнистой линией снизу восстановлена.*

Явления XIII—XIV.

Страницы 124—128. (Страницы 209—212.)

Перечеркнуты целиком поперечной чертой.

Вариант последних явлений четвертого действия.

Явление I.

Стр. 131, строки 11—12 св. (Стр. 214, строки 1—2.)

Против слов: Анютка (вскакивает, садится). Дедушка не туши голубчик. *сбоку на полях написано:* Спокойно.

Стр. 132, строки 1—3 св. (Стр. 214, строки 11—13.)

Против слов: Анютка. Дедушка, золотой! Не гаси совсем *и т. д. сбоку на полях написано:* Спокойно.

Стр. 133, строки 5 и 3 сн. (Стр. 215, строки 22 и 25.)

копают *исправлено на* копають.

Явление III.

Стр. 138, строки 8—7 сн. (Стр. 219, строка 23.)

После слов: Сашка, а хороша была. *добавлено:* (Встает, садится).

Явление IV.

Стр. 142, строка 12 св. (Стр. 222, строка 19.)

кр... кр... *зачеркнуто*.

Действие пятое.

Сцена 1-я.

Явление III.

Стр. 152, строка 1 св. (Стр. 227, строка 25.)

Слова: Меня променял. *зачеркнуты.*

Явление IV.

Стр. 152, строка 12 св. (Стр. 228, строка 6.)

После слова: узнает *добавлено:* и подходит.

Стр. 155, строки 9—10 св. (Стр. 230, строки 17—18.)

Слова: Жена у тебя есть, на других не зарься, а свою береги. *зачеркнуты.*

Явление VI.

Стр. 157, строки 3—4 св. (Стр. 231, строки 28—29.)

Слова: Все уже, и крестный благословили. *зачеркнуты и вместо них написано:* Уж и жених приехал.

Стр. 157, строка 4 св. (Стр. 231, строка 29.)

Слова: Однова дыхнуть, благословили. *исправлены на* Однова дыхнуть, приехал.

Явление IX.

Стр. 160, строка 1 сн. (Стр. 235, строка 5.)

Слова: Полежала бы я с тобой тут, да неколи. *зачеркнуты.*

Стр. 161, стр. 2 св. (Стр. 235, строка 6.)

Слова: И гармония! — *зачеркнуты.*

Стр. 161, строка 10 сн. (Стр. 235, строки 20—21.)

Слова: И гости всё хорошие. *зачеркнуты и вместо них написано:* Приходи же благословлять: заждались.

Стр. 162, строки 2—3 св. (Стр. 235, строки 31—32.)

Слова: Матрена. Ночная-то кукушка денную перекуковала. Меня не послухал, а за женой сейчас пошел. *зачеркнуты*.

Стр. 162, строка 5 св. (Стр. 235, строка 32.)

Слова: Идешь, что ль? *зачеркнуты и вместо них написано:* Приходи же, касатик. Надо ведь.

Сцена 2-я.

Явление I.

Стр. 165, строка 1 сн. (Стр. 238, строка 18.)

После слов: Уж с какого времени ждем. *добавлено:* Видано ли дело, и жених приехал.

Явление II.

Стр. 167, строка 2 св. (Стр. 239, строка 11.)

После слов: Да что ж он разутый! *добавлено:* Народ ахает.

Стр. 167, строки 5—6 св. (Стр. 239, строка 14.)

После слов: Падает на колени. *добавлено*: Убивец я!

Стр. 167, строки 11—14 св. (Стр. 239, строки 19—29.)

Против этих строк написано: пр[опустить]

Стр. 171, строки 11—12 св. (Стр. 242, строки 27—28.)

Слова: как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «коготок увяз, и всей птичке пропасть», *зачеркнуты*. *Предварительно* блудней *исправлено на* блудной.

Явление III.

Стр. 171, строки 4—3 сн. (Стр. 243, строки 3—4.)

Слова: Староста (входит). Понятых и здесь много. — *зачеркнуты*.

Комментарии Н. К. Гудзия[3]

«Власть тьмы».

История писания, печатания и постановки на сцене «Власти тьмы».

I.

В основу сюжета «Власти тьмы» легло следующее судебное дело, с которым ознакомил Толстого его близкий знакомый — прокурор Тульского окружного суда Н. В. Давыдов. Крестьянин Тульской губернии Ефрем Колосков 37 лет, женатый на вдове Марфе Ионовой 50 лет, изнасиловал ее шестнадцатилетнюю дочь от первого брака, свою падчерицу Елену, и в дальнейшем, когда бывал пьян, несмотря на упорное сопротивление девушки, насилием и угрозами принуждал ее к сожительству с собой. Последствием этой связи было рождение ребенка. В своих показаниях на следствии и на суде Колосков об этом и о дальнейших событиях рассказал следующее. Когда Елена забеременела и время родов приближалось, он, чтобы уберечь девушку от позора, решил покончить с ребенком, приказав жене своей Марфе спрятать его в погребе, когда он родится. Ребенок родился 6 ноября 1879 г., и Марфа поступила так, как приказал ей муж. Отправившись в погреб, Колосков долго плакал и, удалив зашедшую туда жену, придавил новорожденного доской. Ночью, подойдя к погребу, он еще слышал плач ребенка, который умер лишь к утру. Вечером Колосков закопал труп у себя в задворке. Елена, бывшая еще в беспамятстве, когда у нее унесли ее ребенка, ничего не знала о случившемся. Марфа хотела было заявить о происшедшем властям, но Колосков заставил ее молчать, угрожая в противном случае покончить с нею.

Через некоторое время Елена была просватана, и 18 января 1880 г. у Колосковых праздновалась свадьба. Когда пришло время жениху и невесте отправиться в церковь, Колосков спрятался в риге, не чувствуя себя в состоянии благословить к венцу девушку, с которой он сожительствовал. Когда же его в риге нашла сестра и привела на улицу, он, упав на колени, сознался перед находившимся тут народом в своем преступлении и стал было откапывать труп убитого им ребенка, но у него для этого не хватило сил. В это время около него находилась его шестилетняя дочь Ефимья, которая не переставая плакала. Любя дочь и подумав о том, что она останется одна без него и будет по нем плакать, он, схватив кол, ударил им ее по голове, чтобы сразу убить ее: «пусть лучше умрет на моих глазах», решил он. Когда Ефимья упала (она не особенно пострадала и осталась жива), Колосков крикнул: «Теперь берите меня».

Непричастность Елены к убийству ребенка была установлена еще на предварительном следствии, и она не была даже привлечена к суду. Что же касается жены Колоскова Марфы, то, вопреки ее заверениям, будто бы она ничего не знала о намерениях своего мужа убить ребенка и узнала об этом только в день всенародного покаяния Колоскова, на суде свидетельскими показаниями было установлено, что убийство ребенка произошло с общего согласия супругов Колосковых. Н. В. Давыдов даже утверждает, что Ефрем Колосков убил ребенка по настоянию жены. 21 октября 1880 г. дело супругов Колосковых слушалось в Тульском окружном суде, и оба они были приговорены к каторжным работами. По словам Н. В. Давыдова, беседовавшего с осужденным Колосковым, он был доволен приговором, видя в нем возможность искупить свое преступление.

Как сообщает Н. В. Давыдов, он, по должности прокурора суда ознакомившись с делом Колосковых, тотчас же сообщил его Толстому, очень им заинтересовавшемуся и дважды видевшемуся с Ефремом Колосковым.[4]

Сам Толстой в беседе с сотрудником газеты «Новости» Н. Ракшаниным подтвердил только что сказанное:

«Фабула «Власти тьмы» почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в Тульском суде. Сообщил мне подробности этого дела мой большой приятель, тогдашний прокурор, а теперешний председатель суда Давыдов... В деле этом имелось именно такое же, какое приведено и во «Власти тьмы», убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы...

Отравление мужа было придумано мною, но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием. Сцена покаяния в пьесе выражена мною значительно слабее. Прототип Никиты, так же как и в драме, не хотел было итти благословлять молодых, и звать его действительно приходили разные члены семьи. Пришла, между прочим, и девочка — подросток, в роде моей Анютки... Мучимый совестью, виновник преступления, чувствовавший, что у него нет сил итти и благословлять, в озлоблении схватил оглоблю и так ударил девочку, что она упала замертво. Под впечатлением этого нового преступления он решился, охваченный ужасом, на всенародное покаяние... Я не ввел этой сцены, во-первых, в виду сценических условий, а во-вторых, не желая сгущать красок — ужасов в пьесе и без того ведь достаточно... Но когда я увидел «Власть тьмы» на сцене, я понял, что конец ее гораздо сильнее рисовался моему воображению под впечатлением уголовного дела».[5]

Полагаем, что свидание Толстого с Ефремом Колосковым состоялось до апреля 1881 г. За 1880 г. и начальные месяцы 1881 г. дневники Толстого, если они им велись в это время, не сохранились. В дневниках же 1881 г., ведшихся Толстым с апреля этого года, нет упоминаний о встрече с Колосковым. А между тем если бы эта встреча состоялась в это время, она, несомненно, была бы Толстым отмечена в дневниковой записи, так как толстовский дневник 1881 г. как раз отмечает почти исключительно разнообразные встречи и беседы Толстого с крестьянами, странниками и вообще с людьми по своему социальному положению и жизненной судьбе отличными от того круга, в котором жил Толстой.

Знакомство с делом Колоскова и встреча с ним в течение нескольких лет не нашли себе никакого отражения в писаниях Толстого. Замысел драмы на сюжет, в основу которого легло это дело, возник, видимо, не ранее 1886 г. Первое свидетельство о намерении художественно оформить этот бытовой факт, быть может и не в драматической форме, находим в записи сюжетов, сохранившейся на отдельном недатированном листке, хранящемся в АТБ (папка XXXI). Здесь, в числе десяти сюжетов (комедия «Спириты» (будущие «Плоды просвещения»), «Фальшивый купон» и др.) отмечен сюжет, озаглавленный «Месть над ребенком». Полагаем, что за этим заглавием скрывается будущая «Власть тьмы», в которой Анисья, заставляя Никиту убить его ребенка, рассчитывает избавиться от присутствия в доме Акулины, выдав ее замуж, и одновременно отомстить Никите (Ср. слова Анисьи в XII явлении четвертого действия). «Ему и задушить велю отродье свое поганое. Измучалась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею». Однако мотив мести не является в драме основным или преобладающим, каким он представлялся Толстому первоначально, судя по тому, как замысел был озаглавлен.

У нас нет данных для точной датировки указанного листка с записями сюжетов. Косвенные же соображения, основанные на учете записей в нем других сюжетов, заставляют отнести его к 1886 г., без более точного хронологического приурочения.

В августе 1886 г. Толстой, ударившись ногой о грядку телеги, в то время как он нагружал в нее сено, сильно ушибся и около трех месяцев пролежал в постели с рожистым воспалением, грозившим осложниться заражением крови. Во время болезни и вынужденного бездействия он и написал «Власть тьмы».

Есть все основания думать, что толчком для работы над «Властью тьмы» послужило письмо директора московского народного театра «Скоморох» М. В. Лентовского. 31 августа 1886 г. он писал Толстому: «Без посторонней помощи, сам собственными неимоверными усилиями я начал строить театр общедоступных и народных представлений. Не ради заискиванья, не ради каких-либо корыстных целей, а из какого-

то мне самому непонятного чувства, влекущего меня к Вам, я спешу Вас первого известить о предстоящем деле. Веря в Вашу многолюбивую душу, я прошу Вашей нравственной поддержки для моего измученного сердца». В post-scriptum добавлено: «Я истомился, повторяю, я нуждаюсь в поддержке, в освежении моей затурканной, моей больной головы» (АТБ).

Так как с самого начала работы над пьесой Толстой предназначал ее для постановки на сцене народного театра, то и следует полагать, что работа его над пьесой была вызвана желанием пойти навстречу просьбе Лентовского. Что Толстой пьесу обещал в первую очередь именно Лентовскому, явствует из письма последнего к Толстому от 17 февраля 1887 г.: «В виду дошедших до меня слухов, что Ваше последнее драматическое произведение «Власть тьмы» будет разрешено к представлению, я позволю себе просить Вас об уведомлении меня об этом, так как к постановке Вашей драмы на сцене «Скоморох» на Святой неделе, как Вы того желали и как мы на том согласились, я желал бы приступить заблаговременно, в течение великого поста, и теперь же приступить к разучиванию пьесы и подготовке ее обстановочной части» (АТБ).

Однако еще 19 октября 1886 г. Толстой писал Н. Н. Страхову: «Теперь всё еще примериваюсь к работе и всё еще не могу сказать, чтобы напал на такую, какую мне нужно для спокойствия, такую, чтобы поглотила меня всего. Если нужно, то Бог даст» (ИРЛИ).

Около 20 октября 1886 г. в Ясную поляну приехал приятель Толстого А. А. Стахович, театрал, поклонник Островского и очень хороший чтец. Он читал Толстому Островского и Гоголя. Когда через три недели Стахович вновь приехал в Ясную поляну, Толстой, по словам Стаховича, сказал ему: «Как я рад, что вы приехали. Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму... Или я давно ничего не писал для театра, или, действительно, вышло чудо, чудо!»[6] Таким образом можно думать, что мастерское чтение Стаховичем особенно, вероятно, драмы Островского «Не так живи, как хочется», наиболее любимой Толстым и кое в чем сходной с «Властью тьмы», побудило Толстого не откладывая приняться за работу над

пьесой. Может быть, непосредственно вслед за чтением Стаховича был набросан план драмы (см. выше, стр. 538—539), кстати сказать, написанный ночью[7] (Толстой обычно работал по утрам). В этом плане сразу же были намечены важнейшие эпизоды пьесы и характеры действующих лиц, и притом в основном так, как они сложились и в окончательной редакции «Власти тьмы». Здесь однако еще отсутствует фигура Митрича и несколько второстепенных фигур, в том числе сестры Петра Марфы, кумы-соседки и др., ничего не сказано о покушении Власа на самоубийство, и в пятом действии намечен один эпизод, не разработанный Толстым ни в одной редакции пьесы: «Аниска, ударяет ее». Видимо, эти слова указывают на первоначальное намерение развить в пьесе эпизод покушения на убийство Ефремом Колосковым своей дочери Евфимьи. Дурковатость Акулины не подчеркивается, и она характеризуется как грубое животное, чувственное и гордое. Имена некоторых действующих лиц иные, чем в окончательной редакции.

В записи своего дневника от 25 октября С. А. Толстая отмечает: «Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта», а 26 октября она там же записывает: «Левочка написал 1-е действие драмы. Я буду переписывать».[8] На следующий день, 27 октября, она записывает: «Переписала 1-е действие новой драмы Левочки. Очень хорошо. Характеры очерчены удивительно, и завязка полная и интересная. Что-то дальше будет».[9] 30 октября там же записано: «Написано еще 2-е действие драмы. Встала рано и переписала. Вечером переписала вторично. Хорошо, но слишком *ровно:* нужно бы было больше театрального эффекта, что я и сказала Левочке».[10]

Вскоре после этого С. А. Толстая уехала в Ялту к своей умирающей матери, и ее записи в дневниках были прерваны до марта 1887 г.

4 ноября Толстой, имея в виду работу над драмой, писал Н. Н. Ге: «Начал художественную работу, которая очень меня занимает».[11] Но когда в первых числах ноября А. А. Стахович,

приблизительно через три недели после предшествующего посещения Толстого, вновь приехал в Ясную поляну, вся драма начерно была уже готова, и он вместе с другими принял участие в ее переписке (см. рукопись, описанную под № 15).[12] На следующий день драма была переписана, и по просьбе Толстого Стахович прочел ее собравшимся в количестве около сорока человек яснополянским крестьянам. Пятый акт был прочтен самим Толстым. Крестьянами драма не была понята и не произвела на них того впечатления, на которое рассчитывал автор.

14 ноября Толстой писал Н. Н. Страхову: «Я живу очень хорошо, радостно — пишу. Написал пьесу для народных театров» (ИРЛИ). В тот же день он пишет В. Г. Черткову: «Чем я занят? — Написал драму на прелюбодеяние. Кажется хорошо».[13]

Во второй половине ноября Толстой с семьей переехал в Москву, и драма была отдана в печать и в цензуру. 26 ноября С. А. Толстая пишет своей сестре Т. А. Кузминской: «Левочка здоров, гуляет, работает, т. е. пишет; отдал в набор свою драму (издание «Посредника») и в цензуру. Надеемся, что пропустят, и будем ее ставить на народный театр. Это его займет, и я рада» (Архив Т. А. Кузминской в ГТМ).

К этому времени было написано пять актов драмы в редакции, представленной текстом рукописи, описанной под № 20. В процессе работы над рукописями драмы 1-е действие переделывалось 4 раза, 2-е — 5 раз, остальные по 3 раза. Можно думать, что с 1-й по 14-ю рукопись (см. описание рукописей) работа шла так, что вслед за написанием каждый акт немедленно переписывался и исправлялся до начала работы над следующим актом, и лишь начиная с рукописи № 15 драма исправлялась вся целиком. Если принять во внимание, что Толстой исправлял по крайней мере три корректуры драмы (не считая варианта 4-го действия), то пьеса в целом (без варианта 4-го действия) имела не менее семи редакций.

После того как драма была сдана в печать и переслана в цензуру, Толстой, в виду доходивших до него суждений о том, что четвертый акт слишком реалистичен и потому для

исполнения на сцене мало пригоден, решил написать вариант последних четырех явлений этого действия. Работа над ним происходила в декабре 1886 г. Этим месяцем рукой С. А. Толстой помечен автограф варианта (см. описание рукописей, № 23). 9—10 декабря Толстой писал Черткову: «Работал я для календаря, а потом драму. Кажется, что я грешил с ней, очень уж ее отделывал. А это не следует, и оттого хуже многое бывает».[14] 18 декабря он писал ему же: «Я вот недели здесь занят поправками, прибавками к драме. Она нравится *всем* очень».[15] Вариант, после того как он был написан, был трижды исправлен и отдан в печать. (Всего таким образом мы имеем четыре его рукописных редакции: в корректуре он подвергся незначительным исправлениям.)

Творческая работа Толстого над драмой выражалась преимущественно в стилистической ее отделке и исправлении языка действующих лиц. Но не только в этом. Как видно из описания рукописей, фигура Митрича введена была в пьесу не сразу, а лишь в третьей редакции третьего действия, и по мере работы над пьесой она занимала в ней всё большее и большее место. С этой фигурой связан впоследствии и эпизод покушения Никиты на самоубийство, введенный в пьесу не ранее, чем во второй корректуре. В процессе работы введены были и некоторые второстепенные фигуры, в том числе Марфы, сестры Петра, кумы-соседки и др.

Над языком драмы Толстой работал очень упорно, стремясь к максимальной его выразительности и близости к живой народной речи. Особенно это нужно сказать о работе над языком Матрены, вбиравшем в себя всё большее и большее количество колоритных словечек, метких присловий и поговорок. Приведем несколько примеров.

В первом действии (явление V) к словам Петра в рукописи № 15 «Да буде. Чего взбеленилась?» в рукописи № 20 добавлено: «ровно овца круговая?» Так и в печатном тексте.

В том же действии (явлениеX) слова Матрены в рукописи № 15 «Рассудка нет в нем ничего, а тоже другой раз втемяшит что в башку свою дурацкую, никак не выбьешь» в рукописи № 20 исправлены так: «Ум у него вовсе расхожий, а тоже другой раз

заберет что в башку свою дурацкую, как колом подопрет, никак не выбьешь». Так и в печатном тексте.

В том же действии и явлении слова Анисьи в рукописи № 15 «Думаю, любит он ее» в рукописи № 20 исправлены так: «Думаю, в сердце она у него». Так и в печатном тексте.

Во втором действии (явление XII) в рукописи № 8 Матрена говорит, обращаясь к Петру: «Мое почтение. Старик поклон прислал. Петр Игнатьич, и что ты стал, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя». В копии этой рукописи (№ 16) эти слова исправлены так: «Здравствуй, благодетель, здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, всё. И старик мой как жалеет! Поди, говорит, проведать, поклон прислал. (Еще раз кланяется.) И то посмотрю на тебя, Игнатьич, не по лесу видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу я на тебя. Не красит, видно, хворь-то». Так и в печатном тексте.

Несколько ниже, в том же действии и явлении, слова Матрены в рукописи № 8 «Что же так убиваешься. Бывает, и поднимешься. Так-то вот» — в рукописи № 16 исправлены: «Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе Бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал...» Так и в печатном тексте.

В том же действии (явление XVIII) слова Матрены в рукописи № 8 «Нет, малый, тут ума много надо. Ты думаешь, я тебя забыла? Я все ноженьки исходила, об тебе хлопотала» в рукописи № 16 исправлены так: «Нет, малый, живой живое и думает. А дело загодя припасать надо. Нет. ягодка, тут тоже ума много надо. Ты как думаешь? Я по твоему делу по всем местам толкалась, все ноженьки исходила, об тебе хлопотамши». В дальнейшем здесь исправления сделаны были еще в рукописи № 20, в первой и второй корректуре. В результате в печатном тексте читается: «Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты, помни, тогда меня не забудь».

В четвертом действии (явление III) слова Матрены в рукописи № 8 «И, и... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. А работать — страсть. Так, что-то над ней сделалось, с глаза, должно, это сделано» в рукописи № 16 исправлены так: «И, и ... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка гладкая — не ущипнешь. А работать — страсть. С глушинкой она — это точно. Ну да червоточина красному яблочку не покор. А что не вышла, это с глазу. Так, что-то над ней сделалось. Сделано над ней». В рукописи № 20 «гладкая» исправлено на «как литая». Во второй корректуре после слов «не ущипнешь» добавлено: «Да ведь ты видел»; перед словами «с глазу» добавлено «ведашь». Слова «так, что-то над ней сделалось» зачеркнуты. Так и в печатном тексте.

В том же действии (явление XI) слова Матрены в рукописи № 8 «Что заробел?» в рукописи № 16 исправлены так: «Ты что сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то». Так и в печатном тексте.

В том же действии (явление XIII) слова Матрены в рукописи № 18 «Тоже озлилась баба» в рукописи № 20 исправлены: «Тоже острабучилась баба». Так и в печатном тексте.

Количество этих примеров может быть сильно умножено.

Идейное наполнение пьесы, главнейшие ее эпизоды и ситуации, а также характеры действующих лиц — всё это в основном не претерпело существенных изменений в процессе работы Толстого над пьесой, если не считать добавления эпизода покушения на самоубийство Никиты и введения нескольких новых действующих лиц, из которых важнейшим является Митрич.

В развитии сюжета драмы Толстой, как сказано выше, отправлялся от судебного дела Колосковых. Оттуда и прототипы четырех персонажей пьесы — Никиты, Анисьи, Акулины и Анютки (Ефрем и Марфа Колосковы, Елена и Ефимья). Но реальные прототипы в их творческой переработке были значительно видоизменены с явным намерением подчеркнуть отрицательные стороны женской натуры. Анисья в пьесе нравственно значительно более отталкивающий тип, чем Марфа Колоскова в жизни, насколько о ней можно судить по судебному

делу. Для усиления темных красок в облике Анисьи в пьесу введен эпизод отравления ее первого мужа Петра, не находящий себе никакого соответствия в данных судебного дела. Падчерица Колоскова Елена, несчастная жертва своего отчима, по отзывам свидетелей-крестьян «девушка добрая, смирная, работящая и ни в чем дурном не замеченная»,[16] у Толстого превратилась в дурковатую, злую, грубую и чувственную Акулину, очевидно добровольно вступающую в связь с Никитой. С другой стороны, Никита в пьесе морально выигрывает по сравнению со своим прототипом Ефремом Колосковым. Он не насильник и по существу не злой человек (его Толстой в плане пьесы характеризует даже как мягкосердечного), в то время, как Колосков насилует безответную Елену и по отзывам свидетелей «человек нехороший, нетрезвый и суровый».[17]

Очевидно в интересах романической интриги Толстой уменьшил возраст Анисьи и Никиты по сравнению с возрастом Марфы и Ефрема Колосковых: Анисье тридцать два года (вместо пятидесяти лет Марфы Колосковой) и Никите двадцать (вместо тридцати семи Ефрема Колоскова). Для того чтобы сделать Анютку действующим лицом в пьесе, возраст ее был увеличен сравнительно с возрастом Евфимьи (Анютке десять лет, Евфимье — шесть). Эпизод покушения Колоскова на убийство дочери, судя по плану предполагавшийся для введения в пьесу, не был однако использован Толстым.

Что касается других персонажей пьесы, то некоторые из них несомненно подсказаны были Толстому встречавшимися ему в жизни реальными прототипами.

Так, Н. В. Давыдов вспоминает, что несколько раньше или в то времяг когда Толстой писал «Власть тьмы», он говорил, что повстречался на шоссе с ехавшим куда-то стариком-крестьянином, с которым вступил в беседу, причем старик этот пленил его своим благодушием и кротостью; крестьянин между прочим рассказал, что нашел выгодную работу отходника.[18] В этом крестьянине нетрудно усмотреть прототип Акима.

А. К. Черткова, записывая следующие слова Толстого, вспоминает свою беседу с ним в середине декабря 1886 г., в

связи с его тогдашней работой над вариантом четвертого действия, вызванной тем, что литераторы и театралы находили четвертое действие слишком грубым, бьющим на нервы: «Ну что же, может это и правда... Так вот я думал, чем бы заменить помягче, чтобы не так шокировать их деликатные нервы... ну, и увлекся. Вспомнил тип отставного солдата, забавный был такой старик!...»[19] Здесь речь идет о Митриче, фигура которого, судя по этим словам и по исправлениям и дополнениям в корректуре пятого действия, уже в самом конце работы над пьесой была сильно развита по сравнению с тем, что сделано было вначале. Образ Митрича — теперь отставного солдата, добродушного словоохота, в котором неожиданно прорвалась его натура пропойцы и беспечного забулдыги, которому Толстой до известной степени усвоил функции хора древне-греческой трагедии, — этот образ получил свое оформление сначала в работе над вариантом конца четвертого действия, затем в работе над корректурой пятого действия.[20]

II.

Драма Толстого, поступив в цензуру, встретила там на первых порах сопротивление. 17—18 декабря Толстой писал Н.Н. Ге-старшему: «Дело печатания затихло от цензуры. Всё марают.[21] Тогда же в цитированном уже письме к Черткову он пишет: «Так цензура нас совсем хочет заструнитъ. Надеюсь, что вас это не огорчает, меня нисколько... Я хотел было, чтобы играли ее на народном театре у Лентовского, но боюсь, что не придется от цензуры театральной, хотя в драме ничего нет нецензурного».[22]

Судя по воспоминаниям кн. Д. Д. Оболенского, драма Толстого первоначально была направлена в московскую духовную цензуру, которая отнеслась к ней крайне сурово. Д. Д. Оболенский рассказывает следующее. В бытность его в Петербурге зимой 1886 г. (или 1887 г., добавляет Д. Д. Оболенский, явно ошибаясь) он повстречался с публицистом С. С. Татищевым, сообщившим ему, что артистка

Александринского театра М. Г. Савина усиленно ищет пьесу для своего бенефиса и ничего подходящего не находит. Оболенский рассказал Татищеву о новой пьесе, написанной Толстым, и тут же обратился к Толстому по телеграфу с просьбой разрешить постановку пьесы в бенефис Савиной. На следующий день от Толстого был получен телеграфный ответ приблизительно следующего содержания: «Согласен, буду очень рад, только чтобы мне денег за это не получать». Вслед за этим Оболенский поехал в Москву с намерением выслать оттуда отпечатанный или написанный от руки экземпляр драмы, не имевшей еще заглавия. Так как у Толстого под руками не было ни одного ее экземпляра, то он вместе с Оболенским отправился в типографию И. Д. Сытина, где драма печаталась. Но в типографии ему сообщили, что духовная цензура вернула перечеркнутый экземпляр пьесы, уведомив, что пьеса ни под каким видом пропущена не будет. После этого перечеркнутый цензурой экземпляр был переслан Оболенским в Петербург Татищеву, сам же Оболенский решил в Петербурге добиваться отмены цензурного запрещения пьесы.[23]

В письме от 20 декабря М. Г. Савина благодарила Толстого за согласие, полученное ею через Оболенского, и просила через него же переслать ей рукопись драмы, обещая взять на себя хлопоты перед общей и театральной цензурой (АТБ). В ответ на это письмо Толстой в декабре же писал ей: «Посылаю вам, Марья Гавриловна, свою пьесу. Очень желал бы, чтобы она вам понравилась. Боюсь, что она покажется петербургской публике и вам слишком грубою. Четвёртый акт с того листа, где отчеркнуто красным карандашом, мною изменён. Вариант этот, если не будет готов нынче печатный, то я пришлю его вам завтра. Всё, что найдет нужным театральная цензура изменить, чтобы смягчить, я на всё согласен, если такие изменения будут одобрены А. А. Потехиным, которому я вполне доверяю. Роль ваша мне представляется Марина».[24]

27 декабря А. А. Стахович писал Толстому: «Сию минуту вернулся от Савиной, которая сегодня едет в Москву, единственно чтоб переговорить с Вами и ранее моего письма объяснить Вам, что, по сложившимся обстоятельствам, она не

может взять на свой бенефис «Власть тьмы» (кажется, власть тьмы ополчается на вашу пьесу)»... (АТБ).

2 Января 1887 от Савиной была получена телеграмма, в которой она сообщала о том, что пьеса запрещена не только для театра, но и для печати.[25] Толстой в это время гостил у А. В. Олсуфьева в его имении Никольском. С. А. Толстая в связи с телеграммой Савиной написала начальнику главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову недоумевающее письмо, в ответ на которое Феоктистов в письме к С. А. Толстой от 9 января, ничего не говоря о запрещении пьесы для печати и не предрешая вопроса о том, будет ли она разрешена для постановки на сцене, высказал свой личный взгляд на пьесу и, между прочим, писал: «Пьеса должна произвести самое удручающее впечатление на публику; в ней изображался целый ряд прелюбодеяний и убийств, в высшей степени возмутительных. Действующие лица говорят языком невозможным по своему цинизму; не только отдельные сцены, но весь четвёртый акт таков, что — полагаю — никогда и нигде в мире не появлялось на сцене ничего подобного... Надо иметь железные нервы, чтобы вынести всё это» (АТБ).

Толстой, извещённый женой о судьбе драмы, отнёсся вполне спокойно к цензурным неприятностям. 7 января он писал ей: «А ты не слишком ли разлетелась на Феоктистова? Главное, не надо сердиться, а ещё лучше — вовсе не заботиться».[26] В тот же день он писал Черткову: «Нынче получил письмо от Стаховича[27] и от жены и статью в «Новом времени»[28] — всё о драме. Чуть-чуть опять не впал в малодушество; но как-то в более серьёзном духе здесь и остаюсь равнодушным и вполне уверенным, что в «Посреднике» она пройдёт, что, главное, желательно».[29]

Хлопоты перед цензурой взял на себя В. Г. Чертков. Он старался ознакомить с драмой возможно большее количество влиятельных лиц из светского общества, могущих в благоприятном для судьбы драмы смысле повлиять на цензурные сферы. С этою целью по просьбе Черткова А. А. Стахович читал драму в различных великосветских салонах, и сам Чертков при посредстве своей матери старался добиться

положительного отношения к драме со стороны министра двора гр. И. М. Воронцова-Дашкова, царя и царицы.

Из письма Черткова к Толстому от 2 января, так же как и из цитированного письма Феоктистова к С. А. Толстой от 9 января, явствует, что гр. Татищев, который представил Феоктистову полученный им от Савиной экземпляр драмы, ходатайствовал лишь о разрешении её постановки на сцене. Феоктистов, по словам Черткова, сам взялся цензуровать драму, видимо для театра, и сделал такие помарки, при которых первоначальная редакция 4-го действия совсем кастрирована, но вариант и всё остальное не испорчено. Все резкие ругательства, в роде «пес», вычеркнуты; место о банке всё обчерчено (письмо Черткова к Толстому от 2 января 1887 г., АТБ).

10 января Чертков писал Толстому: «Много хлопотал по поводу драмы, устраивал чтения её со Стаховичем ради противодействия распущенным невыгодным слухам. Стахович мне говорил, что он вам писал про эти чтения. Читали у графини Шуваловой, княгини Паскевич и графини А. А. Толстой.[30] Везде она произвела самое прекрасное и сильное впечатление, и результат этих чтений уже проявляется. Сегодня мать была у императрицы, которая ей сказала, что сначала она слышала про эту драму дурное, а теперь её очень хвалят. Государь хочет её прочесть, и ко мне обращались за экземпляром для него. Между тем я просил Кузминского передать её Феоктистову, и он должен был это сделать сегодня; но я ещё не знаю результата». В приписке к этому письму, сделанной 11 января, Чертков пишет: «Кузминский мне сегодня сообщил, что Феоктистов обещался разрешить драму для печати, и с вариантом, и в первоначальной форме. На этих днях мы получим официально разрешенный экземпляр. Завтра будет чтение драмы у Кузминских, и Феоктистов придёт. Надеюсь, что он принесёт разрешенную драму» (АТБ).

13 января драма была разрешена к печати без всяких цензурных изъятий, за исключением лишь эпиграфа из «Евангелия». Об этом Феоктистов известил С. А. Толстую в письме от 14 января, в котором писал: «Во всей пьесе не вычеркнуто ни одного слова. Из этого вы изволите видеть, что

мы ничего не имеем против появления пьесы в печати, но имеем очень многое против постановки ее на сцене» (АТБ).

А. А. Стахович в письме к С. А. Толстой так объясняет тот факт, что «Власть тьмы» была разрешена цензурой в народном издании, каким являлся «Посредник»: «Феоктистов объявил Черткову, что не может разрешить напечатать в «Посреднике» эту пьесу. Чтобы доказать, что напечатать ее можно, потому что народ не поймет такой серьезной вещи, и что «Власть тьмы» вообще выше понимания масс, которым только доступны народные рассказы и поучения Льва Николаевича, я во многих домах рассказывал о чтении в Ясной поляне «Власти тьмы» крестьянам, и как они не поняли и не оценили ее. То же самое передал Чертков Феоктистову, и наша хитрость удалась. «Власть тьмы» была пропущена для «Посредника», т. е. для народного чтения».[31]

В письме от 15 января Чертков, извещая Толстого о том, что пьеса разрешена цензурой, писал ему: «Я слышал от молодого Олсуфьева, что вы хотите еще кое-что изменить и прибавить в вашей драме. Пожалуйста, позвольте сделать эти изменения во втором издании, но не изменяйте теперь того, что я послал Сытину для печатания. В цензуре еще не знают, что драма эта выйдет в таком доступном народном виде, и они могут придраться к малейшему изменению. Когда же она выйдет в свет в первом издании, то очень трудно будет остановить дальнейшие издания. Я распорядился, чтобы вариант поместили тотчас после IV действия. Читателям будет очень приятно и хорошо прочесть обе редакции конца этого действия, и на этом месте, как мне кажется, вариант не только не повредит общему впечатлению, но, наоборот, прибавит содержания, так как, собственно говоря, в варианте очень много повторения» (АТБ).

В ответ на эти строки письма Толстой писал Черткову 18 января: «Драму, я думаю, лучше печатать половину экземпляров с одной, а другую половину с другой редакцией 4-го действия. Напишите, как вы думаете. Для цензуры в этом, кажется, ничего нет противного. А остальное до 2-го издания переменять не буду».[32]

В письме к Толстому от 20 января Чертков не советовал печатать драму так, как предполагал это сделать Толстой, и настаивал, подробно аргументируя свои соображения, на том, чтобы вариант 4-го действия был напечатан во всех экземплярах драмы вслед за основным текстом этого действия (АТБ).

В ответ на это письмо Толстой писал Черткову 22 января: «Вчера получил ваше письмо с доводами, почему печатать так, как вы распорядились, и совершенно согласен».[33]

21 января цензурованный экземпляр «Власти тьмы» был получен в Москве,[34] и в начале февраля 1887 г. драма вышла в свет в издании «Посредника»: «Власть тьмы», или «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Драма в пяти действиях Льва Толстого». Типография И. Д. Сытина и К°, Москва, 1887, 198 стр., цена 9 к., цензурное разрешение — Спб. 13 января 1887 г., в количестве 12 000 экземпляров.[35] Заглавие «Власть тьмы», нигде не встречающееся ни в рукописях, ни в сохранившейся корректуре, было дано драме Толстым, очевидно, в последней, не дошедшей до нас корректуре и, видимо, заимствовано из «Евангелия» от Луки, гл. XXII, ст. 53: «Но теперь — ваше время и власть тьмы». (Первоначальное заглавие — «Коготок увяз, всей птичке пропасть», ставшее потом подзаголовком, заимствовано из слов Никиты в конце V действия.) В этом издании допущен ряд опечаток. Почти одновременно с этим изданием «Власть тьмы» была напечатана в изданиях С. А. Толстой. 1) «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов». Издание третье. Типография А. Мамонтова и К° Москва, 1886, в количестве 6000 экземпляров.[36] 2) «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Декабристы. Холостомер и Смерть Ивана Ильича». Издание шестое, та же типография, М., 1886, в количестве 6000 экземпляров.[37] 3) „«Сочинения графа Л. Н. Толстого. Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»“, та же типография, М. 1887, 174 стр., цензурное разрешение 13 февраля 1887 г., в количестве 3600 экземпляров.[38] В трех последних изданиях исправлены почти все опечатки, вкравшиеся в первое издание «Посредника».

Вслед за первым изданием «Посредника» появились одно за другим еще четыре (без нумерации изданий). Второе издание отпечатано в той же типографии Сытина, 108 стр., цензурное разрешение 5 февраля 1887 г., в количестве 12 000 экземпляров.[39] Все опечатки первого издания в нем удержались. В третьем издании (та же типография, 180 стр., цензурное разрешение 5 февраля 1887 г.)[40] частично исправлены опечатки первых двух. Четвертое и пятое издания (оба в типографии Е. Евдокимова, Спб. 1877, 176 стр. и 96 стр., цензурное разрешение в обоих на титульным листе 5 февраля и на задней обложке 13 марта 1887, одно в количестве 20 000, другое — 40 000 экземпляров, цена 3 к.)[41] почти совершенно устранили опечатки первых двух изданий, очевидно, с помощью изданий С. А. Толстой. В оба эти издания «Посредника» в заключительные слова Никиты в пятом действии был внесен следующий вариант. Вместо «Всё я один сделал. Мой и умысел, мое и дело» — он говорит: «От меня всё. Мой грех, мое и дело». Происхождение этого варианта таково. В письме от 4 февраля 1887 г. Чертков обратил внимание Толстого на то, что слова Никиты «Мой умысел» не соответствуют действительному положению дела, так как преступления, изображенные в драме, замышлены были не Никитой. Никита виноват в некритическом, снисходительном отношении к своим поступкам, и в этом его внутренняя вина, повлекшая за собой цепь преступлений, не им задуманных, но его нравственным поведением обусловленных. Ему незачем лгать в момент своего покаяния, и вместо «мой умысел» ему лучше сказать «моя вина» (АТБ). В ответ на это письмо Толстой писал Черткову 6 февраля: «Я согласен с вами. Можно так: вместо слов «Всё я один сделал. Мой умысел, мое и дело» — поставить: «От меня всё. Мой грех, мое и дело». Скажу только, что «мой умысел, мое и дело» не значит то, что это значит на юридическом жаргоне, а значит в народном языке то, что он признает себя виновным не только в действии, которое могло быть случайным, но в мыслях в духовном смысле. Иначе я и не думал. Лгать ему тут некогда, а невольно вырываются слова, и слова хорошие, такие, которые никому не повредят» (ГТМ—АЧ). В ответном письме (от 9 февраля) Чертков, вполне

удовлетворенный объяснением Толстого, всё же просил разрешения написать предложенный самим Толстым вариант «От меня всё. Мой грех, мое и дело», для того чтобы не вводить в заблуждение читателей, недостаточно знакомых с тонкостями народного языка.

Все издания «Посредника» вышли с пометой «Для взрослых». С той же пометой «Власть тьмы» была издана и учебным отделом магазина «Начальная школа» Е. Н. Тихомировой, М. 1887, типография М. Г. Волчанинова, 120 стр., ц.8 к., цензурное разрешение 14 марта 1887 г., в количестве 6000 экземпляров.[42] Это точная перепечатка первого издания «Посредника» со всеми его опечатками.

Таким образом в течение первых месяцев 1887 г. «Власть тьмы» была напечатана в количестве свыше 100 000 экземпляров, причем наиболее многотиражное издание — (5-е «Посредника», в 40 000 экземпляров) было выпущено по 3 копейки.

Во всех перечисленных изданиях, как и в последующих, вслед за текстом четвертого действия, печатался текст варианта его последних явлений.

Непосредственно вслед за выходом в свет «Власти тьмы» Толстой отказался от права литературной собственности на нее. 23 февраля 1887 г. он писал Черткову: «Я забыл ответить на вопрос о печатании драмы для литературного фонда. *Прошу всех печатать где и как хотят*, *и прав собственности ни я ни мои наследники заявлять не будем*[43]*...* Не объявите ли вы это в газете от «Посредника»? Это было бы хорошо. Редактировать вы сами сумеете как. А желательно бы».[44] В начале марта этого года такое объявление, составленное Чертковым, было напечатано в нескольких газетах.

Видимо, в связи со своим намерением сделать дальнейшие исправления в тексте драмы, Толстой в экземпляр ее в издании ,,Сочинения графа Л. Н. Толстого. Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»“, М. 1887, цензурное разрешение 13 февраля 1887 г., внес ряд исправлений (о них см. в описании этого экземпляра, находящегося в яснополянской библиотеке). Исправления не проведены однако систематически. Судя по

тому, что четыре последние явления четвертого действия в основной его редакции зачеркнуты и вместо них оставлен вариант конца действия, а также судя по значительному количеству добавленных ремарок, исправления имели в виду приспособление драмы к сценическому ее использованию.

Дальнейшие издания «Власти тьмы» представляют собой в большинстве случаев механическую перепечатку изданий 1887 г. Лишь в тексте двенадцатого издания сочинений Толстого (часть двенадцатая, М. 1911), устранено еще несколько опечаток, и без достаточного основания двойственное написание имени Никиты в речах действующих лиц — Микита и Никита — сведено к единообразному — Микита. В тексте драмы, напечатанной в сочинениях Толстого под редакцией П. И. Бирюкова, издание И. Д. Сытина, т. XIV, М. 1913, впервые введен эпиграф из «Евангелия» от Матфея, исключенный из корректуры издания «Посредника» по требованию цензуры; кроме того, в приложении к то̀му дан вариант 2-й сцены 3-го явления варианта 4-го действия (полнее печатается в настоящем издании. См. вариант № 13). Указание редактора (в примечаниях к то̀му) на то, что все печатаемые в этом томе драматические произведения тщательно проверены по оригинальным спискам, не может быть отнесено к тексту «Власти тьмы»: он является перепечаткой текста двенадцатого издания С. А. Толстой.

Существенная редакторская работа была проделана над текстом «Власти тьмы» в издании полного собрания художественных произведений Толстого под редакцией К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, т. XI, М.-Л. 1929. Здесь текст драмы выверен по рукописям, к ней относящимся. Ряд ошибок, допущенных переписчиками и не замеченных Толстым ни в копиях, ни в корректурах, в этом издании был исправлен. Но это исправление, с одной стороны, не было исчерпывающим, с другой — методологически не всегда обоснованным. В распоряжении редакции были лишь рукописи драмы из архива В. Г. Черткова, хранившиеся ранее в рукописном отделении Академии наук и затем поступившие в Государственный Толстовский музей в Москве. Этот материал редакцией и,

использован с некоторыми, впрочем, пропусками; в известном количестве введены в текст неоправданные исправления, особенно в результате того, что редакцией игнорировалось отсутствие промежуточных текстовых звеньев между наборной рукописью и корректурой с одной стороны и корректурой и печатным текстом с другой. (Утрачены, по крайней мере, две корректуры с поправками Толстого.) Выправляя печатный текст по авторизованным текстам наборной рукописи и гранкам сохранившейся корректуры, редакторы не учли того, что Толстым могли быть сделаны изменения в двух, по крайней мере, недошедших корректурах драмы (по счету — первой и третьей). Неоправданными автографическими текстами является написание «Микита» всюду в речах действующих лиц, как в 12-м издании С. А. Толстой и в издании Бирюкова. В одном случае редакторы восстановили чтение, аннулированное самим Толстым. Так, в речи Акима в 5-м явлении 3-го действия в корректуре было напечатано: «Тоже сортиры» значит, тае, посмотрел я в городу. Как дошли то есть. Выглажено, выглажено, значит, нарядно. Как церква исделано». Так написано Толстым в рукописи № 17, л. 7 об. и отсюда перешло в наборную рукопись, затем в корректуру. Но в корректуре Толстым слово «церква» зачеркнуто и вместо него написано «трактир». Исправленное Толстым чтение и должно быть принято в основном тексте (Оно вошло во все издания С. А. Толстой; в первых трех изданиях «Посредника» вместо «нарядно, как трактир изделано» — «нарядно, как лавка и всё» — явная опечатка; в четвертом — «нарядно как. Как в трактире сделано», и в пятом — «нарядно, как трактир и исделано»).

III.

Работая над «Властью тьмы», Толстой мечтал о постановке драмы на сцене народного театра. Но судьба пьесы на театре, вначале обернувшаяся благоприятно, сразу же испытала крутой поворот, когда в дело вмешался всесильный Победоносцев.[45] 24 января 1887 г. А. А. Стахович известил С. А. Толстую, что пьеса

разрешена к постановке на сцене Александринского театра (АТБ). 27 января на квартире министра двора Воронцова-Дашкова состоялось чтение драмы А. А. Стаховичем в присутствии царя, царицы, великих князей и княжен и кружка приближенных к царю лиц. При чтении Стахович выпускал слова, которые своим реализмом могли шокировать слушателей. Александр III остался очень доволен пьесой и после пятого акта воскликнул: «Чудная вещь». Когда заговорили о том, как распределить в пьесе роли, он высказал мысль, что для успеха представления следует соединить петербургскую труппу с московской, и сам вызвался быть на генеральной репетиции, чтобы решить, достаточно ли хорошо исполнение актеров, чтобы пьеса могла пойти на императорской сцене. Обо всем этом, как и о ряде других подробностей, сопровождавших чтение драмы у Воронцова-Дашкова, А. А. Стахович писал в письме к С. А. Толстой 3 февраля. Письмо это заканчивалось следующими словами: «Сейчас получил телеграмму от кн. Вяземского: «Решено репетировать. Сам будет на генеральной». Ура! по высочайшему повелению ставят на сцену «Власть тьмы». Сам государь будет на генеральной репетиции (значит, как его интересует пьеса). Она первая не попала даже для проформы в литературный театральный комитет и по воле царя украсит императорскую сцену».[46]

Узнав о разрешении «Власти тьмы» к постановке на сцене Александринского театра, Феоктистов обратился к Победоносцеву со следующим письмом: «При последнем свидании вы изволили говорить, что не успели ознакомиться с пресловутой драмой графа Л. Толстого. Посылаю ее при сем. Она представляет особый интерес в виду того обстоятельства, что старания некоторых господ увенчались полным успехом. Вчера г. Всеволожский объявил нашему цензору г. Фридбергу, что государь император приказал поставить пьесу графа Толстого на сцене императорских театров. Глубоко скорблю об этом, ибо никак не могу изменить своё мнение о ней».[47]

Ознакомившись с пьесой Толстого, Победоносцев 18 февраля написал Александру III длинное возмущенное и взволнованное письмо. В нем он писал, между прочим,

следующее: «Я только-что прочел новую драму Л. Толстого и не могу придти в себя от ужаса. А меня уверяют, будто бы готовятся давать ее на императорских театрах и уже разучивают роли. Не знаю, известна ли эта книжка вашему величеству. Я не знаю ничего подобного ни в какой литературе. Едва ли сам Золя дошел до такой степени грубого реализма, на какую здесь становится Толстой. Искусство писателя замечательное, но какое унижение искусства! Какое отсутствие, — больше того, — *отрицание* идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса!.. Боже мой, до чего мы дожили в области искусства! День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днем *решительного падения* нашей сцены, которая и без того уже упала очень низко... И то уже нехорошо, что в эту минуту драма Толстого, напечатанная в виде *народного* издания в громадном количестве экземпляров, продается теперь по 10 копеек разносчиками на всех перекрестках; скоро она обойдет всю Россию и будет в руках у каждого, от мала до велика».[48]

Александр III, явно смущенный энергичным протестом Победоносцева, вопреки тому, как сам он недавно отзывался о пьесе Толстого, написал Победоносцеву на следующий же день, 19 февраля: «Благодарю вас, любезный Константин Петрович, за Ваше письмо о драме Л. Толстого, которое я прочел с большим интересом. Драму я читал, и она на меня сделала сильное впечатление, но и отвращение. Всё, что вы пишете, совершенно справедливо, и могу вас успокоить, что давать ее на императорских театрах не собирались, а были толки о пробном представлении без публики, чтобы решить, возможно ли ее давать, или совершенно запретить. Мое мнение и убеждение, что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету. Грустно очень, что столь талантливый Толстой ничего лучшего не мог выбрать для своей драмы, как этот отвратительный сюжет, но написана вся пьеса мастерски и интересно».[49] Получив этот ответ, Победоносцев в письме к Феоктистову от 19 февраля сообщил ему, что пьеса Толстого для театра разрешена не будет, и тут же, как и в письме к Александру III, выразил недоумение по поводу того, что

«Власть тьмы» была разрешена к печати.[50] В ответном письме от того же числа Феоктистов писал Победоносцеву: «Чрезвычайно рад тому, что известие, сообщенное Всеволожским нашему цензору, не вполне подтверждается. А между тем в газетах уже напечатано распределение ролей между актёрами. Очевидно, это делается не без особенного участия театральной дирекции». Далее Феоктистов добавляет: «Мы запретили пьесу для театра, но мне кажется, что запретить ее печатать не было достаточных оснований».[51]

Тем временем в Александринском театре всё же шла усиленная подготовка к спектаклю. Конец четвертого действия решено было играть по варианту. Как сообщал А. А. Потехин в своих письмах к С. А. и Л. Н. Толстым (АТБ), было сделано семнадцать репетиций пьесы, в Тульскую губернию были посланы декораторы для точного воспроизведения тамошних крестьянских построек, оттуда же были вывезены предметы домашней утвари и одежды. (Видимо под проникшим тогда на русскую сцену влиянием мейнингенцев театр стремился к максимальной этнографической точности постановки.)[52] Но уже 12 марта Потехин писал С. А. Толстой о том, что ходят слухи о запрещении «Власти тьмы», а 22 марта он известил ее о запрещении постановки пьесы, как о совершившемся факте.

Цензурная борьба вокруг «Власти тьмы» начинала уже угнетать Толстого, и в письме к Н. Н. Страхову от 3 марта 1887 г. он пишет: «Про себя скажу, что я последнее время решительно мучим последствиями моей несчастной драмы. Если бы знал, что столько это у меня отнимет времени, ни за что бы не печатал».[53]

В то же время в реакционной печати появление «Власти тьмы» вызвало ожесточенные нападки, в отдельных случаях, быть может, инспирированные Победоносцевым или близкими к нему людьми. Крайне отрицательный отзыв о пьесе дан был, между прочим, в заметке Палимпсестова, напечатанной в № 10 «Московских церковных ведомостей» за 1887 г. Этот номер был послан Александру III, который, направляя его министру внутренних дел, при этом писал ему: «Я поговорю с вами об этом при первом докладе. Надо было бы положить конец этому

безобразию Л. Толстого. Он чисто нигилист и безбожник. Не дурно было бы запретить теперь продажу его драмы «Власть тьмы», довольно он успел продать этой мерзости и распространить ее в народе».[54] Очевидно, последствием подобного отношения царя к «Власти тьмы» было следующее распоряжение министра внутренних дел, напечатанное в официальных органах: «Г. Министр внутренних дел воспретил розничную продажу на улицах, площадях и других публичных местах, а равно через офеней, брошюры под заглавием «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» — драма графа Л. Н. Толстого».[55]

В дальнейшем, для того чтобы добиться постановки «Власти тьмы» на сцене, в драматическую цензуру представлялись тексты пьесы с некоторыми изменениями, сделанными в целях цензурного ее обезвреженія. Так, в 1889 г. в главное управление по делам печати был представлен текст, приноровленный для цензуры А. Морозовым. На экземпляре его рукописи Толстой собственноручно написал: «В этом виде пьеса эта разрешается мною для представления. Лев Толстой. 25 сентября 1889 года». Но 5 октября того же года цензор Альбединский в своём докладе дал следующий отзыв об этой переделке: «Изменений в пьесе весьма немного: кое-где сглажена речь, опущены некоторые ругательства. Главное изменение то, что Акулина, дочь богатого мужика Петра от первого брака, которую соблазняет работник Никита, женившись на вдове Петра Анисье, в новой редакции названа «приемышем», а не дочерью. Это изменение, видимо, сделано дабы избежать грех кровосмешения. Далее, в пятом действии, Никита кается всенародно в грехах своих и поясняет, что он убил рожденного Акулиной от него ребенка, но убийство на сцене не происходит. И в настоящем виде пьеса графа Толстого производит то же тяжелое, безотрадное впечатление, как и в первоначальном. Изменения ее не изменили... Если оказалось нежелательным и неудобным распространение пьесы графа Льва Толстого путем печати, то еще более неудобно дозволить постановку ее на сцене. Никакие частичные ее переделки не

смогут изменить ее общий характер». На подлиннике этого доклада сделана надпись: «Запретить».[56]

В конце 1880-х годов актёр В. Н. Давыдов впервые выступил с публичным чтением некоторых сцен из «Власти тьмы» на студенческом концерте.[57] Он же режиссировал спектаклем при единственной ее постановке в 1890 г. на домашней сцене у Приселковых силами любителей из высшего петербургского общества в присутствии избранной публики и великих князей.[58] К 1895 году относится новая попытка добиться разрешения постановки «Власти тьмы» на сцене, предпринятая товарищем председателя литературно-артистического кружка П. П. Гнедичем, ходатайствовавшим о постановке пьесы в театре кружка.[59] С этой целью он обратился к Феоктистову, прося его отчеркнуть в пьесе все те места, которые он считал нецензурными. Когда Феоктистов это сделал, процензурованный текст был набран и отпечатан в типографии Суворина и вновь представлен Феоктистову. Цензор, ознакомившись с этим текстом, охарактеризовал его так: В переделке литературно-артистического кружка сокращено 4-е действие, выпущено всё, что касается подробностей детоубийства. Исключены разглагольствования Акима о беспроцентности капитала; кроме того, исключены грубые выражения, а также разговоры о необходимости окрестить ребенка и вообще всё, что в первом издании оскорбляло религиозное чувство».

Феоктистов вначале разрешил было постановку драмы по цензурованному тексту, но затем запретил ее вновь. Однако 15 сентября 1895 г. последовало, помимо Феоктистова и без его ведома, разрешение Николая II на постановку пьесы на императорской сцене.[60] Вскоре была разрешена постановка ее и на частной сцене. 16 октября того же года «Власть тьмы» была поставлена в Петербурге в театре Литературно-артистического кружка, 18 октября в Александринском театре в бенефис Н. С. Васильевой, 25 октября в московском общедоступном театре М. В. Лентовского «Скоморох»,[61] 29 ноября — в московском Малом театре.

Ещё 11 декабря 1894 г., в связи с намерением Н. С. Васильевой поставить «Власть тьмы» в свой бенефис, Толстой подписал следующее разрешение: «Я, с своей стороны, не встречаю препятствий к тому, чтобы артистка С.-Петербургских театров Надежда Сергеевна Васильева поставила в свой бенефис мою драму «Власть тьмы», в случае разрешения ее цензурой, и уполномочиваю ее делать в названной драме вычерки согласно требованиям цензуры и условиям сценической обстановки» (публикуется по копии).

В виду имевших место постановок «Власти тьмы» на сцене народных театров Министром внутренних дел был разослан конфиденциальный циркуляр, в котором говорилось, что ,,по имеющимся сведениям, в последнее время были попытки устраивать народные спектакли даже в деревнях с постановкою на сцене, без соблюдения установленных правил, прежде запрещённой, а ныне дозволенной для императорских и частных театров с исключениями драмы графа Л. Н. Толстого «Власть тьмы»“. Циркуляр требовал от полиции неукоснительного исполнения «законных правил».[62]

В связи с разрешением пьесы к представлению на сцене 21 октября 1895 г. была снова разрешена ее перепечатка, но в 1898 г., после нового цензурного рассмотрения, петербургский цензурный комитет циркуляром от 10 сентября 1898 г. признал ее «непригодной для народного чтения» и запретил предпринятое издательством О. Поповой новое ее издание.[63]

Еще задолго до постановки «Власти тьмы» в России она шла в переводах в заграничных театрах 10 февраля 1888 г. она была поставлена в Париже в «Théâtre libre» в переводе И. Я. Павловского и Оскара Магенье под названием «La Puissance des Ténèbres». Пьеса, кроме того, шла ещё и в других парижских театрах, затем в Женеве, Амстердаме, Милане, Риме, Турине, Венеции, Генуе, Берлине.[64]

IV.

В настоящем издании «Власть тьмы» печатается по тексту издания «Сочинения графа Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. Произведения последних годов, изд. третье. Москва, 1886, как наиболее исправному из первопечатных. Вводим эпиграф из «Евангелия» от Матфея, исключенный из текста по требованию цензуры и имеющийся в корректуре, описанной под № 21, гранка 1. Вариант в последней реплике Никиты, в пятом действии — «От меня всё. Мой грех, мое и дело», вместо «Всё я один сделал. Мой и умысел, мое и дело», введенный в четвертое и пятое издания «Посредника», отвергаем. Этот вариант хотя и был санкционирован Толстым по инициативе В. Г. Черткова (см. выше), но, как видно из переписки Толстого о Чертковым по этому поводу, Толстой не отдавал ему преимущества перед вариантом первоначальным, а Чертков после разъяснения Толстым слова «умысел» не только не настаивал на изменении первоначальной версии, но признал свою ошибку в понимании смутившей его фразы. Поправки, сделанные Толстым в экземпляре драмы издания 1887 г., не считаем возможным внести в окончательный текст по следующим основаниям. Ниоткуда не видно, чтобы эти поправки свидетельствовали о серьезном намерении Толстого внести изменения в текст пьесы. В ряде случаев они не выдержаны и не доведены до конца, — там, например, где Толстой делает исправления в речах действующих лиц. Кроме того, если бы этими поправками Толстой дорожил, он распорядился бы внести их в последующие издания драмы, чего однако не сделал.

Так как в печатный текст «Власти тьмы», как и в другие печатные тексты Толстого, сравнительно с подлинным толстовским текстом, вкралось значительное количество ошибок и отступлений, явившихся результатом небрежной и неточной работы переписчиков и, вероятно, наборщиков и незамеченных Толстым во время исправления копий и корректур, то в окончательный текст пьесы вводим ряд исправлений, руководствуясь автографическими текстами Толстого в их последней редакции. Однако исправления не могут быть исчерпывающими в виду отсутствия первой и последней корректуры: различие, существующее, например, в написании

отдельных слов между наборной рукописью и сохранившейся корректурой и затем между этой корректурой и печатным текстом могут быть объяснены столько же недосмотром наборщика, сколько и волей автора. В этом случае обычно принимаем чтение печатного текста. Исключение делается лишь для тех редких случаев, когда есть основание почти с несомненностью предполагать явный недосмотр или непонимание со стороны наборщика или корректора главным образом некоторых диалектизмов, введённых Толстым в текст пьесы. Так, когда в корректуре мы читаем «прохладную жизнь» вместо написанного Толстым в рукописи № 17, л. 2, «прокладную жизнь» и так же переписанного в наборной рукописи, то объясняем это не тем, что в недошедшей до нас первой корректуре сам Толстой исправил «прокладную» на «прохладную», а тем, что наборщик или корректор по рассеянности или по неведению заменил редко встречающийся диалектизм гораздо более распространенным эпитетом, а Толстой этой замены, читая корректуру, не заметил. По тем же приблизительно соображениям исправляем стоящее в печатном тексте «напился», «медведя», «Петруньку» на «налился», «ведмедя», «Петрунькю», как написано Толстым в корректуре, и т. п.

В приводимом ниже перечне исправлений не отмечаем второстепенных буквенных исправлений типа «ж» вместо «же», «тобою» вместо «тобой» и т. п., а также исправлений пунктуации. Подлинная пунктуация Толстого, обычно невыдержанная и беспорядочная, проводится лишь в тех случаях, если она не слишком расходится с общепринятой и не мешает усвоению текста.

Вводим следующие исправления:

Стр. 124 и 128, строки 8 и 28, здесь, как и всюду в репликах действующих лиц, жисть *вместо:* жизнь, *в соответствии с тем, как написано Толстым во всех рукописях.*

Стр. 131, строка 31, зачиврел *вместо:* зачиврил — *по рукописи № 20, л. 9.*

Стр. 132, строка 15, куфарках *вместо* кухарках — *по рукописи № 15, л. 7 об.*

Стр. 136, строка 19, доживат *вместо:* доживет — *по рукописи № 20, л. 14.*

Стр. 137, строка 25, не снимешь *вместо:* не скинешь — *по рукописи № 20, л. 15.*

Стр. 139, строка 17, накошлял *вместо:* накашлял — *по рукописи № 2, л. 9 об.*

Стр. 139, строка 17, думал *вместо:* думаем — *по рукописи № 2, л. 9.*

Стр. 140 строки 18—19, ответ произвесть *вместо:* ответ произнесть — *по рукописи № 20, л. 18.*

Стр. 141, строка 26, после слов: А время придет *добавляем*: и женим — *по рукописи № 20, л. 19 об. Слова:* и женим*написаны Толстым в наборной рукописи так и на таком месте, что наборщик легко мог их не заметить и не набрать. В корректуре Толстой после слова:* придет, *чтобы осмыслить ненабранную целиком фразу, поставил многоточие.*

Стр. 150, строка 7, вчерась, *вместо:* вчера — *по рукописи № 16, л. 1.*

Стр. 152, строка 18, век-то свой, *вместо:* век свой — *по рукописи № 16, л. 2 об.*

Стр. 152, строки 22—23. А он робеет, не хочет в это дело вступать, *вместо:* А он робеет в это дело вступать — *по рукописи № 16, л. 2 об.*

Стр. 154, строка 8, перед словами: Да уж одно бы что *вставляем:* Уж как скучно-то — *по рукописи № 16, л. 3 об.*

Стр. 154, строка 10, помирает *вместо:* умирает — *по рукописи № 16, л. 3 об.*

Стр. 156, строка 31. Да я и то не отрекусь *вместо:* Да и то, я не отрекусь — *по корректуре № 21, гранка 20.*

Стр. 157, строка 11, такие деньжищи да дурòм пропадут, *вместо:* да такие деньжищи дурòм пропадут — *по рукописи № 16, л. 5 об. и по корректуре № 21, гранка 20.*

Стр. 159, строка 25, слово: сейчас, *стоящее последним в речи Матрены, переносим первым в ближайшую реплику Анисьи — по рукописи № 20, л. 36.*

Стр. 161, строка 21, нету *вместо:* нетути — *по рукописи № 16, л. 8.*

Стр. 164, строка 17. Как жалко его *вместо:* Как жалко — *по рукописи № 16, л. 10 об.*

Стр. 164, строка 29. За сестрой ведь послал *вместо:* За сестрой послал — *по рукописи № 16, л. 11.*

Стр. 165, строка 22, да попои *вместо:* и попои — *по рукописи № 16, л. 11.*

Стр. 167, строка 7. Да какое дело-то? *вместо:* Да какое дело? — *по рукописи № 16, л. 12.*

Стр. 167, строка 25. О деле *вместо:* А о деле — *по рукописи № 16, л. 12 об.*

Стр. 167, строки 26—27. Я до него тоже притолчна *вместо:* До него тоже я притолчна — *по рукописи № 16, л. 12 об.*

Стр. 168, строка 7, деньги *вместо:* денежки — *по рукописи № 16, л. 13 об.*

Стр. 168, строки 26—27, если что и возьмет *вместо:* Если и возьмет — *по рукописи № 16, л. 14.*

Стр. 170, строка 22, идет с одной, Акулина с другой стороны *вместо:* идет с одной стороны, Акулина с другой — *по рукописи № 16, л. 15.*

Стр. 171, строки 15—19. А то и в самоваре, я чай, есть. Не вылили *вместо:* А то самовар, я чай, еще не вылит — *по рукописи № 16, л. 15 об.*

Стр. 173, строка 3 здесь, как и всюду ниже в репликах Митрича милослевый *вместо:* милостивый*, в соответствии с тем, как написано Толстым в рукописях.*

Стр. 177, строка 11, донюшка *вместо:* Анютка — *по рукописи № 20, л. 46.*

Стр. 177, строка 18, дела *вместо:* все дела — *по рукописи № 9, л. 1 об.*

Стр. 175, строка 6. Ох, натращал как! *вместо:* О-о-х, натращал — *по рукописи № 20, л. 48.*

Стр. 176, строки 13—14, и допрежде *вместо:* допрежде — *по рукописи № 17, л. 2.*

Стр. 176, строка 32. Да уж я и сама *вместо:* Да и я сама — *по рукописи № 17, л. 3.*

Стр. 177, строки 2—3, испортить человека *вместо:* человека испортить — *по рукописи № 17, л. 3.*

Стр. 178, строка 9, после слов: Из двора, что ль? *добавляем:* Проходи, раздевайся — *по рукописи № 17, л. 4.*

Стр. 178, строка 23. Митрич, иди ужинать, а Митрич? *вместо:* Митрич, а Митрич, иди ужинать — *по рукописи № 17, л. 4 об. После этих слов добавляем:* Митрич *(рычит, просыпается).* Чего? Анисья. Ужинать — *по рукописи № 17, л. 4 об.*

Стр. 179, строка 21. Микишка-то что делает? *вместо:* Микишка что делает? — *по рукописи № 17, л. 5.*

Стр. 179, строка 24, управлялся сам *вместо:* управлялся — *по рукописи № 17, л. 5.*

Стр. 183, строка 12, родная *вместо:* родимая — *по рукописи № 9, л. 2 об.*

Стр. 183, строка 21, сказывать *вместо:* сказать — *по рукописи № 9, л. 3.*

Стр. 184, строка 5, перемывает ложки *вместо:* перемывает посуду — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 184, строка 14, после слова: истовая *добавляем:* и всё тае — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 184, строка 18, сказывали *вместо:* сказывают — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 184, строка 26. Уж не чаю *вместо:* Уж не чаю я — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 185, строки 3—4, после слов: Те же и Никита *добавляем:* Входит Никита пьяный с мешком и узлом под мышкой и с покупками в бумаге, отворяет дверь и останавливается. — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 185, строки 6—7. Продолжает мыть ложки и не поворачивает головы, когда отворяется дверь. *вместо:* Продолжает мыть ложки, не поворачивая головы. — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр.185, строка 10, и отворачивается. Молчит. *вместо:* и отворачиваясь молчит. — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 185, строка 17, после слова: подходит *добавляем:* к нему — *по рукописи № 17, л. 8.*

Стр. 187, строка 6, с покупками *вместо:* с покупкой — *по рукописи № 9, л. 3 об. и № 10, л. 5.*

Стр. 190, строка 7, лазоревому *вместо:* лазуревому — *по рукописи № 10, л. 6.*

Стр. 190, строка 16. Чего мне глядеть! *вместо:* Что мне глядеть! — *по рукописи № 9, л. 4 об.*

Стр. 194, строка 27, это бабе пряжа *вместо:* это бабе пряжу — *по рукописи № 9, л. 5 об.*

Стр. 195, строка 13, не видит бумажку *вместо:* не видит бумажки — *по рукописи № 11, л. 8.*

Стр. 199, строка 26, говорит *вместо:* говорят — *по рукописи № 10, л. 9.*

Стр. 203, строка 29, мотри *вместо:* смотри — *по корректуре № 21, гранка 47.*

Стр. 204, строка 19, сказывала *вместо:* сказываю — *по рукописи №19, л. 4.*

Стр. 205, строка 31, с этого раза — *вместо:* с этого разу — *по рукописи № 10, л. 10 об.*

Стр. 206, строка 13. Да вы что ж делать-то будете? *вместо:* Что ж делать-то будете? — *по рукописи № 18, л. 5 об.*

Стр. 208, строка 8, костричишься *вместо:* костришься — *по рукописи № 12, л. 4 об.*

Стр. 212, строка 27, больно ты налегла *вместо:* очень ты налегла — *по рукописи № 18, л. 12.*

Стр. 214, строка 12. Хоть *вместо:* Ты хоть — *по вставке в рукопись № 25, л. 1.*

Стр. 214, 215, строки 19, 4, робеночек *и* робеночка *вместо:* ребеночек *и* ребеночка — *по рукописи № 25, л. 3.*

Стр. 214, строка 28. А то куды ж *вместо:* А то куда ж? — *по рукописи № 23, л. 1.*

Стр. 215, строка 8. Тооненько *вместо:* Тоненько — *по вставке в рукопись № 25, л. 1 об.*

Стр. 215, строка 22, после слов: Ей-Богу, копают *добавляем:* в погребе копают — *по вставке в рукопись № 25, л. 1 об.*

Стр. 215, строка 24, после слов: Чего не вздумает *исключаем слово:* копают — *по вставке в рукопись № 25, л. 1.*

Стр. 215, строка 25, потушу *вместо:* погашу — *по вставке в рукопись № 25, л. 1 об.*

Стр. 215, строка 27, после слов: Ей-Богу, не буду *добавляем*: однова дыхнуть, не буду — *по вставке в рукопись № 25, л. 1 об.*

Стр. 218, строка 16. Куды ж *вместо:* Куда ж — *по вставке в рукопись № 25, л. 1 об.*

Стр. 218, строка 21. А ту девчонку *вместо:* А девчонку — *по рукописи № 26, л. 7.*

Стр. 220, строка 8, а уж бабы *вместо:* а уж баб — *по рукописи № 23, л. 2.*

Стр. 220, строка 30, в обоих случаях деревенска *вместо:* деревенская — *по рукописи № 26, л. 9.*

Стр. 226, строка 1, налился *вместо:* напился — *по корректуре № 21, гранка 55.*

Стр. 227, строка 10. Федорочу *вместо:* Федорычу — *по рукописи № 19, л. 1 об.*

Стр. 227, строка 25, прокладную *вместо:* прохладную — *по рукописи № 19, л. 2.*

Стр. 228, строка 25, не воротится *вместо:* не воротишь — *по корректуре № 21, гранка 56.*

Стр. 231, строка 17. Петрунькю *вместо:* Петруньку — *по корректуре № 21, гранка 57.*

Стр. 233, строка 29, рад бы не поминал *вместо:* рад бы не поминать — *по рукописи № 19, л. 5 об.*

Стр. 234, строка 7, прикладать *вместо:* прикладывать — *по рукописи № 19, л. 5 об.*

Стр. 234, строки 9—10, ведмедя *вместо:* медведя — *по корректуре № 21, л. 59. (Толстой написал сначала:* медведя, *затем зачеркнул это слово и вместо него написал:* ведмедя.*)*

Стр. 234, строка 13, запутляли *вместо:* запутали — *по корректуре № 21, гранка 59. (Так именно несколько раз выше выражается Никита.)*

Стр. 235, строка 5. Полежала бы я *вместо:* Полежала бы и я — *по рукописи № 19, л. 6.*

Стр. 235, строка 7, почестно *вместо:* почетно — *по рукописи № 20, л. 93.*

Стр. 236, строка 17, не пуская *вместо:* не пускает — *по вставке в корректуру № 21, л. 1.*

Стр. 237, строка 9. Чего бояться дерьма то? *вместо:* Чего их бояться то? — *по вставке в корректуру № 21, л. 1 об.*

Стр. 237, строка 9. Вон он я! *вместо:* вот он я! — *по вставке в корректуру № 21, л. 1 об.*

Стр. 239, строка 14, на колени *вместо:* на колена — *по рукописи № 13, л. 5.*

Стр. 242, строка 27, блудной скверной *вместо:* блудней скверной — *по рукописи № 13, л. 6.*

Описание рукописей и корректур.

Рукописи и корректуры, относящиеся к «Власти тьмы», хранятся в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (папка 28) и в Государственном Толстовском музее (Архив В. Г. Черткова, папка 12).

1. Автограф АТБ на 1 листе в 4°, исписанном с обеих сторон. План всех пяти действий драмы и характеристика действующих лиц. Печатается целиком.

2. Автограф АТБ первого действия драмы в переплетенной в коленкор тетради. Написан на первых 11 ненумерованных листах тетради (с обеих сторон) и на вставке (полулист писчей бумаги, согнутый пополам и исписанный с обеих сторон), вложенной между 5 и 6 листом тетради. Заглавия нет. *Начало*: «Дѣйствующія лица». *Конец*: «Андреянъ (одинъ). Охъ, скучно! Охъ скучно. Занавѣсъ». В тексте действия жена Петра называется Надеждой, затем Анисьей, в списке действующих лиц имя Надежда исправлено на Анисья. Во вставке она зовется Аксиньей и один раз Анисьей. Имя работника сначала Никита, затем Андреян, в списке действующих лиц — Никита, во вставке — Влас, затем исправленное на Андреян. Жена Акима в тексте всюду называется Катериной, в списке действующих лиц — Матреной. В списке действующих лиц вторая дочь Петра называется Аниской. Она в первом действии однако не выступает, и будущая ее роль здесь входит в состав роли Акулины. Первая и почти вся вторая страница вставки

зачеркнуты. На них написана первая редакция начала первого действия. Оставшееся незачеркнутым приспособлено затем к тексту, написанному в тетради. Текст автографа по содержанию и последовательности явлений близок к тексту I действия в окончательной редакции, отличаясь от него преимущественно стилистическими вариантами и сравнительно большей краткостью. Дальше всего в этом отношении от окончательной редакции отстоит текст, соответствующий 10 явлению (разговор Аксиньи — Анисьи и Катерины — Матрены). Печатаем его в вариантах (№ 1). После того как написан был текст 1 действия, Толстой написал следующий список действующих лиц.

Петръ — мужикъ 42 лѣтъ, женатъ вторымъ бракомъ, богатый, строгій, правдивый, домохозяинъ.

Анисья — его жена 34 лѣтъ, добродушная, чувственная, вспыльчивая.

Акулина — дочь Петра отъ перваго брака 16 лѣтъ, дурковатая.

Аниска — 2-я дочь 8 лѣтъ, ласковая, шустрая.

Никита — работникъ ихъ 25 лѣтъ, щеголь, бабникъ.

Акимъ — отецъ Никиты 50 лѣтъ, мужикъ богобоязненный, кроткій.

Матрена — его жена 50 лѣтъ, болтунья, вѣдьма, любящая пакость.

Марина — дѣвка-сирота, простая, кроткая и страстная.

3. Рукопись АТБ на 6 ненумерованных листах в 4° (один чистый), исписанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Толстого. *Начало:* «Поди, чтоль ты». *Конец:* «Занавѣсъ». Не вполне точная копия предыдущей. Отсюда 8 листов, в том числе 1-й, переложены в следующую рукопись, № 4. Все страницы рукописи перечеркнуты поперёк красным карандашом для обозначения того, что они переписаны. Авторские исправления сделаны в направлении к окончательной редакции I действия; введена, между прочим, роль Анютки. Рукой переписчицы имена действующих лиц исправлены в соответствии с текстом их перечня, сделанным Толстым.

4. Рукопись АТБ и ГТМ на 18 ненумерованных листах в 4° (один чистый), исписанная большей частью с обеих сторон рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Толстого. Образовалась из листов, переложенных сюда из рукописи № 3, и из копий листов, оставшихся в этой рукописи. В списке действующих лиц «Аниска» исправлено на «Анютка» и «Никита» на «Тимофей». На 1 листе рукой С. А. Толстой помечено: «Октябрь 1886 года. Ясная поляна».

5. Автограф АТБ на 6 ненумерованных листах в 4°, исписанных, кроме последнего, с обеих сторон. *Начало:* «Дѣйствіе II». *Конец:* «Да узнать про деньги гдѣ». На обороте 3-го листа автограф, относящийся к «Запискам сумасшедшего». Незаконченный текст второго действия (большая его часть). Он значительно кратче текста окончательной редакции и существенно отличается от него. Умирающий Пётр не посылает за своей сестрой. Матрена сообщает совет писаря, как Никите жениться на Анисье, не Никите, как в окончательной редакции, а Анисье (см. вариант № 2). О поисках денег у умирающего Петра здесь ещё ничего не сказано. Текст автографа заканчивается словами Матрены, в которых она выражает опасение, как бы не были допущены к Петру старики, и заботится о том, чтобы узнать, где деньги.

6. Рукопись АТБ на 8 ненумерованных листах в 4° (один чистый), исписанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и (в конце) Толстого. Исправленная Толстым копия предыдущей рукописи, к копии автором приписан конец. *Начало:* «Дѣйствие II». *Конец:* «потружусь и я». В тексте этой рукописи Петр, чувствуя приближение смерти, велит, послать за своей сестрой.

7. Рукопись АТБ на 7 ненумерованных листах в 4°, написанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Копия предыдущей. 3 листа отсюда переложены в рукопись № 8. *Начало:* «Дѣйствіе II». *Конец:* «Самоваръ то вскипѣлъ, что ли». Первоначально сюда была введена довольно значительная по объему сцена разговора Матрены с сестрой Петра Марфой. Она предшествует эпизоду, в котором Анисья похищает у умирающего Петра деньги, и, видимо, введена для того, чтобы задержать Марфу до тех пор, пока Анисья кончит

свое дело. Но затем эта сцена зачеркнута, и вместо нее написан новый текст, приближающийся к соответствующему тексту окончательной редакции. Печатаем выпущенную сцену вместе со следующей зачеркнутой, в которой появляется Анисья после похищения денег и смерти Петра, в вариантах (№ 3). Текст рукописи перечеркнут по страницам красным карандашом для обозначения того, что он переписан.

8. Рукопись АТБ на 11 ненумерованных листах в 4°, исписанная, большею частью с обеих сторон, рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. За исключением трех листов, переложенных сюда из рукописи № 7, — копия этой последней.

9. Автограф АТБ на 6 нумерованных посторонней рукой (1—6) листах в 4°, исписанных с обеих сторон. *Начало:* «Дѣйствіе III». *Конец:* «Какъ скучно то. (Плачетъ). Занавѣсъ». В основном текст его близок к тексту третьего действия в окончательной редакции, но значительно кратче его. Извлекаем отсюда варианты №№ 4 и 5, относящиеся соответственно к явлениям 9 и 12.

10. Рукопись АТБ на 14 ненумерованных листах в 4°, исписанных, кроме первого — чистого, с обеих сторон. Листы 2—9 и часть 10 исписаны рукой С. А. Толстой и исправлены рукой Толстого. На них — исправленная копия предыдущей рукописи. На листах 10—14 — автограф четвертого действия. Текст его кратче текста того же действия в окончательной редакции. В нем Митрич еще не фигурирует в качестве действующего лица, и явления 5, 6, 8 и 9 (по тексту окончательной редакции) или вовсе не написаны или лишь намечены. Извлекаем из автографа вариант № 7, соответствующий 11 явлению в окончательной редакции.

11. Рукопись АТБ на 9 нумерованных (2—10) листах в 4°, исписанная с обеих сторон рукой В. В. Шидловской и С. Л. Толстого (полстраницы) и исправленная рукой Толстого. *Начало:* «Анисья. Да Митричъ работникъ». *Конец:* «Охъ, скучно мнѣ. (Плачетъ)». Первый лист из этой рукописи переложен в рукопись, описанную под № 17. Копия первых девяти листов рукописи № 10, заключающих в себе текст третьего действия, за

исключением конца в несколько строк, написанного на листе 9. Этот конец не переписан, и вместо него Толстым написан в данной рукописи новый текст. Здесь впервые в пьесу введена роль Митрича.

12. Рукопись АТБ на 7 нумерованных через лист листах (1—4) в 4°, исписанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Начало: «грѣшника. (Никита вздрагваетъ)». *Конец:* (Садится на приступки). Занавѣсъ». Копия последних пяти листов рукописи № 10, заключающих в себе конец текста третьего действия и текст (автограф) четвертого действия.

13. Автограф АТБ на 6 ненумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон (один чистый). *Начало:* Дѣйствіе V». *Конец:* «Онъ тебя пожалѣетъ. Занавѣсъ». По сравнению с текстом окончательной редакции пятого действия, текст автографа кратче. В нем также отсутствует еще сцена покушения Никиты на самоубийство и встреча его с Митричем (явление 10 в окончательной редакции). Извлекаем отсюда варианты №№ 8—10. Первый вариант соответствует первым трем явлениям первой сцены пятого действия в окончательной редакции (большая часть его, до монолога Марины, зачеркнута); второй — 6 явлению; третий — 9-му.

14. Рукопись АТБ на 8 нумерованных листах (1—7) в 4°, исписанных, кроме последнего чистого, с обеих сторон рукой С. А. Толстой, с исправлениями рукой Толстого. Копия предыдущей рукописи.

15. Рукопись ГТМ на 19 нумерованных через лист (1—10) листах в 4°, исписанная с обеих сторон рукой Т. Л. Толстой и А. А. Стаховича и исправленная рукой Толстого. Текст I действия. Копия рукописи, описанной под № 4. Здесь имя Никита исправлено, но не всюду, на Тимофей. Рукопись заключена в обложку, на которой рукой Т. Л. Толстой написано: «I-е Действие, 3-й раз поправленное».

16. Рукопись ГТМ на 16 нумерованных через лист (1—8) листах в 4° (один чистый), исписанная с обеих сторон рукой М. Л. Толстой и исправленная рукой Толстого. Текст II действия. Копия рукописи, описанной под № 8. Заключена в обложку, на

которой рукой Т. Л. Толстой написано: «Действие II, переписанное в 3-й раз».

17. Рукопись ГТМ на 18 нумерованных частью по листам, частью через лист (1—11) листах в 4° (один чистый), исписанная большей частью с обеих сторон рукой В. В. Шидловской, Т. Л. Толстой, А. П. Иванова, неизвестного, С. Л. Толстого и М. Л. Толстой и исправленная рукой Толстого. Текст III действия. Копия рукописи, описанной под № 11, откуда в данную рукопись переложен один (1-й) лист. Заключена в обложку, на которой рукой Т. Л. Толстой написано: «Действие: III. Черновое»).

18. Рукопись ГТМ на 13 нумерованных (1—13) листах в 4°, исписанная большей частью с обеих сторон рукой А. П. Иванова и исправленная рукой Толстого. Текст IV действия. Копия рукописи, описанной под № 12. Заключена в обложку, на которой рукой Т. Л. Толстой написано: «Действие IV, 3-й раз списанное». В этой рукописи введена роль Митрича, ранее в IV действии отсутствовавшая.

19. Рукопись ГТМ на 10 нумерованных (1—10) листах в 4°, исписанная с обеих сторон рукой яснополянского школьного учителя и исправленная рукой Толстого. Текст V действия. Копия рукописи, описанной под № 14. Извлекаем из нее вариант № 11.

20. Рукопись ГТМ на 99 листах в 4° (2 чистые), исписанная с обеих сторон рукой Т. Л. Толстой, В. В. Шидловской, В. С. Толстой, М. Л. Толстой, С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Несколько страниц, заключающих в себе многочисленные авторские исправления и добавления, переписаны и вновь исправлены, и переписанное зачеркнуто. Здесь заключается текст всех пяти действий драмы, судя по типографским пометам и свинцовым пятнам, бывший в наборе. Каждое действие имеет особую нумерацию по листам. Текст некоторых действий заключен в обложки, на которых рукой Т. Л. Толстой отмечено: «4-й раз переписанное». Ее же рукой впереди текста I действия на отдельной странице написано заглавие — ,,«Коготок увяз, всей птичке пропасть». Драма в V действиях“. Перед текстом каждого действия — список действующих в данном акте лиц. Данная рукопись — последовательная копия рукописей, описанных под №№ 15—19. Здесь впервые рукой

переписчиков каждое действие поделено на явления. Авторские исправления — преимущественно стилистического характера.

21. Корректура ГТМ пяти действий драмы, набранная для издания «Посредник» (первого) на 64 нумерованных (1—64) гранках с исправлениями рукой Толстого. Заглавия пьесы нет. В самом начале ее рукой С. А. Толстой в качестве эпиграфа выписаны 28 и 29 стихи V главы «Евангелия» от Матфея. К 61 гранке (V действие, конец I сцены) относится вставка-автограф на полулисте писчей бумаги, на которой написан разговор Никиты с Митричем в связи с попыткой Никиты покончить самоубийством, о чем идет речь впервые в этой именно корректуре. Вся вставка, вместе с предшествующим ей, написанным в начале гранки автографом, в котором говорится о покушении Никиты на самоубийство, переписана рукой С. А. Толстой, исправлена Толстым, и переписанное приклеено к гранке. Так как на 8, 9, 59 и 60 гранках сделаны многочисленные исправления, то текст этих гранок частично переписан С. А. Толстой, большей частью вновь исправлен Толстым, и переписанное приклеено к соответствующим гранкам. Текст корректуры не покрывается текстом наборной рукописи. Поэтому данная корректура — по крайней мере вторая (первая не сохранилась). Текст ее не покрывается и печатным текстом (следовательно, была, по крайней мере, еще одна корректура, очевидно сверстанная). Из гранок 60 и 61 извлекаем вариант № 12 (сцена разговора Никиты с Митричем в V действии).

22. Автограф ГТМ на клочке бумаги, на котором написано: «Въ III актѣ входитъ Анютка. Ак[имъ]. А! умница. Все хлопочешь? Хлопочешь все. Перезябла, я чай». Ан[ютка]. И то озябла страсть. Здорово, дѣдушка». Этот текст в несколько измененном виде вошел в окончательную печатную редакцию «Власти тьмы».

23. Автограф ГТМ на 2 листах in F°, исписанных с обеих сторон. Заключает в себе вариант последних явлений IV действия. *Начало:* «2-я сцена». *Конец:* Анютка лѣзетъ. Занавѣсъ. Впереди текста в правом углу рукой С. А. Толстой помечено: «Декабрь 1886 г. Вариант IV действия». Ко 2 листу относится вставка на клочке бумаги, на котором, кроме текста,

относящегося к пьесе, первоначально была сделана рукой Толстого внизу листа, на той же стороне, следующая запись (не вполне сохранившаяся, так как левый край бумаги оторван): «[с]видѣтельствую, что на [выражен]ное сыномъ моимъ Ильею Толстымъ жела[ніе по]ступитъ на службу вольно[опредѣ]ляющимся я изъявилъ свое [соглас]іе. 1887[65] года Ноября 25». На оборотной стороне вставки зачеркнутый вариант (автограф) части беседы Митрича с Акимом о банке и о процентах (5 явление III действия). Вслед за тем незачеркнутые записи отдельных слов и выражений: «Шкуреха. До хреста пропился. Шапку пропилъ, гуляе, агромадный, полное право». Рукопись написана фиолетовыми чернилами, и затем черными чернилами в ней сделаны многочисленные поправки. Извлекаем отсюда вариант № 13 (1-е явление) и зачеркнутый вариант № 14 из 3-го явления.

24. Рукопись ГТМ на 7 сшитых нумерованных листах в 4°, исписанная с одной стороны рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Копия предыдущей. *Начало:* «Сцена 2-я». *Конец:* «Богородица Казанская. Занавѣсъ». Исправления — преимущественно стилистического характера.

25. Рукопись ГТМ — сшитая тетрадь в малую 4°, исписанная с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленная рукой Толстого. Первый и последний лист — обложка, на которой рукой С. А. Толстой написано: «Вариант 4-го Действия. Сцена II». Первые 3 страницы текста перенумерованы рукой Толстого. Копия предыдущей рукописи. Здесь много исправлений. Часть текста, после того как она была исправлена, зачеркнута. Вместо зачеркнутого и отчасти в дополнение к прежнему тексту Толстым написано на отдельной вставке (исписанный с обеих сторон полулист писчей бумаги, хранящийся в АТБ) новый текст, условными обозначениями отнесенный к соответствующим местам текста данной рукописи.

26. Рукопись АТБ на 14 нумерованных (1—14) листах в 4° (последний чистый), исписанная с обеих сторон рукой Т. Л. Толстой и исправленная рукой Толстого. Копия предыдущей рукописи. Рукой переписчицы помечено: «Вариант IV действия», и рядом с этим рукой Толстого написано: «Послѣ явленія XII въ

IV дѣйствіи и до конца дѣйствія». Текст впервые поделен переписчицей на явления. Судя по типографским пометам и свинцовым пятнам, эта рукопись была в наборе.

27. Корректура ГТМ на 6 нумерованных (1—6) гранках. Набор предыдущей рукописи. Исправлений рукой Толстого нет, но несколько исправлений и небольших дополнений сделано рукой М. А. Шмидт, очевидно по другому экземпляру корректуры, исправленному Толстым. Ее же рукой в начале 1 гранки карандашом написано: «4-е действие, вместо XIV, XV и XVI». Исправленный текст этой корректуры целиком покрывается печатным текстом пьесы в издании «Посредника».

Предисловие к двадцать шестому тому.

В состав настоящего тома входят художественные произведения, над которыми Толстой работал в период времени с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», законченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 году. Пять печатающихся здесь произведений Толстого представляют собой неотделанные и незаконченные им наброски, из которых четыре (драматическая обработка легенды об Аггее, «Жил в селе человек — звать его Николай»; «Миташа» и статья «Благо только для всех») были опубликованы после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь» публикуется впервые в настоящем издании. Помимо неопубликованных доселе вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том произведений, здесь печатается целиком самая ранняя черновая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впервые также исправления, сделанные Толстым в печатном экземпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значительных вариантов дается к статье «Николай Палкин».

Работу по составлению алфавитного указателя произвел В. С. Мишин.

П. В. Булычев
Л. П. Гроссман
Н. К. Гудзий
А. И. Никифоров
Б. М. Эйхенбаум

Редакционные пояснения к двадцать шестому тому.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех тех случаях, где они употребляются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ] и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [*1 неразобр*.] или: *[2 неразобр.]* и т. д., где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *«Абзац редактора».*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого, — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Живой труп

В 6 ДЕЙСТВИЯХ (12 КАРТИНАХ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Федор Васильевич Протасов (Федя).
Елизавета Андреевна Протасова (Лиза), его жена.
Миша, мальчик, их сын.
Анна Павловна, мать Лизы.
Саша, сестра Лизы.
Виктор Михайлович Каренин.
Анна Дмитриевна Каренина, мать его.
Марья Васильевна Крюкова, подруга Лизы.
Сергей Дмитриевич Абрезков, князь.
Маша, цыганка.
Иван Макарович, старый цыган, отец Маши.
Настасья Ивановна, старая цыганка, мать Маши.
приятели Феди:
Михаил Андреевич Афремов
Стахович
Буткевич
Коротков

Иван Петрович Александров.
Петушков, художник.
Артемьев.
Вознесенский, секретарь Каренина.
Судебный следователь.
Письмоводитель судебного следователя.
Мельников.
Петрушин, адвокат.
Молодой адвокат.
Доктор.

Офицер у цыган.
Музыкант.
цыганки:
Катя
Гаша

Цыганка.
1-й цыган.
2-й цыган.
Дама в суде.
Офицер в суде.
Судейский.
Няня Протасовых.
Дуняша, горничная Протасовых.
Лакей Протасовых.
Лакей Карениных.
Женщина в трактире.
Половой в трактире.
Городовой.
Курьер.
Хозяин трактира.
Господин в суде.
Судьи, зрители, свидетели
Цыгане и цыганки (хор).

Действие I

КАРТИНА 1-я

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Павловна, полная седая дама в корсете, сидит одна за чайным столом.

ЯВЛЕНИЕ II

Анна Павловна и няня с чайником.

Няня.

Можно у вас водицы?

Анна Павловна.

Можно. Что Мишечка?

Няня.

Да беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребеночек страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут.

Анна Павловна.

Да, кажется, теперь успокоилась.

Няня.

Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Саша.

Саша (входит. К няне).

Лиза в детской вас ищет.

Няня.

Иду, иду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна.

Няня говорит, что она всё плачет. Как это она не может успокоиться.

Саша.

Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна.

Анна Павловна.

Не спокойна, — а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота.

Саша.

Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а, напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости.

Анна Павловна.

Ну, именно, удивительный человек. Как только деньги в руках, — свои ли, чужие ли...

Саша.

Мама, он никогда чужих не брал.

Анна Павловна.

Всё равно, женины.

Саша.

Да ведь он же отдал всё свое состояние жене.

Анна Павловна.

Еще бы не отдать, когда он сам знает, что он всё промотает.

Саша.

Промотает ли, не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, особенно с таким, как Федя.

Анна Павловна.

По-твоему, надо ждать, пока он всё промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?

Саша.

Нету у него любовниц.

Анна Павловна.

Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, шалишь; я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.

Саша.

Как вы это говорите легко.

Анна Павловна.

Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной не легко. Поверь, что очень не легко. Но всё лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я бога благодарю, что она теперь решилась и что всё кончено.

Саша.

Может быть, и не кончено.

Анна Павловна.

Только бы он дал развод.

Саша.

Что же будет хорошего?

Анна Павловна.

Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.

Саша.

Ах, мама, это ужасно, что вы говорите; не может Лиза полюбить другого.

Анна Павловна.

Отчего не может? если она будет свободна. Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливы жениться на Лизе.

Саша.

Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктòра Каренина.

Анна Павловна.

Отчего же не думать про него? Он любит ее десять лет, и она любит его.

Саша.

Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна.

Знаем мы эту дружбу. Только бы не было препятствий.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же. Входит горничная.

Анна Павловна.

Что вы?

Горничная.

Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна.

Какая барыня?

Горничная.

Лизавета Андреевна, барыня.

Анна Павловна.

Ну так что ж?

Горничная.

Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна (удивленно).

Только что о нем говорили. Не понимаю только, зачем. *(Саше.)* Ты не знаешь?

Саша.

Может быть, знаю, а может быть, не знаю.

Анна Павловна.

Всё секреты.

Саша.

Лиза придет, она вам скажет.

Анна Павловна (качая головой, к горничной).

А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша.
Горничная берет самовар и уходит.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Павловна и Саша.

Анна Павловна (к Саше, которая встала и хочет итти).

Вышло, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.

Саша.

Послала, может быть, совсем не за тем.

Анна Павловна.

Так зачем же?

Саша.

Теперь, в эту минуту, Каренин для нее всё равно, что Трифоновна.

Анна Павловна.

А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.

Саша.

Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать это.

Анна Павловна.

Да вот увидишь. И я очень, очень рада.

Саша.

Увидим. *(Напевает и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Анна Павловна одна.

Анна Павловна (покачивает головой и бормочет).

И прекрасно. И пускай... И прекрасно, и пускай... Да...

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Павловна и горничная.

Горничная (входит).

Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна.

Ну что же. Проси, да скажи барыне.
Горничная проходит во внутреннюю дверь.

ЯВЛЕНИЕ IX

Анна Павловна и Виктор Каренин.

Каренин (входит, здоровается с Анной Павловной).

Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад... Лизавета Андреевна здорова?

Анна Павловна.

Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. *(Грустно.)* Да, да, тяжелое время... Вы ведь всё знаете...

Каренин.

Знаю. Ведь я тут был третьего дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?

Анна Павловна.

Еще бы, разумеется. Переживать всё, что было, еще раз, было бы ужасно.

Каренин.

Да, вот где десять раз примерь, а раз отрежь. Резать по живому очень трудно.

Анна Павловна.

Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.

Каренин.

Отчего же?

Анна Павловна.

Ну как же вы хотите после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу.

Каренин.

Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?

Анна Павловна.

Развод. Он обещал развод, и мы настоим.

Каренин.

Да, но Лизавета Андреевна так любила его...

Анна Павловна.

Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин.

Для любви всё можно.

Анна Павловна.

Вы говорите — любить, но как же любить такого человека — тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было... *(Оглядывается на дверь и торопится рассказать.)* Дела расстроены, всё заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и... пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка — прислать ему белье и вещи...

Каренин.

Да, да, я знаю.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же. Входят Саша и Лиза.

Анна Павловна.

Ну, вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин.

Да, меня немного задержали. *(Здоровается с сестрами.)*

Лиза.

Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.

Каренин.

Всё, что могу.

Лиза.

Вы ведь всё знаете.

Каренин.

Да, я знаю.

Анна Павловна.

Так я вас оставлю. *(Саше.)* Пойдем. Оставь их одних. *(Уходит с Сашей.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Лиза и Каренин.

Лиза.

Да, он написал мне письмо, что считает всё конченным. Я... *(удерживает слезы)* так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.

Каренин.

Но потом?..

Лиза.

Потом? Потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Всё лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктòр... отдайте ему это письмо и скажите... и привезите его.

Каренин.

Хорошо. *(Удивленно.)* Да, но как же?

Лиза.

Скажите, что я прошу его всё забыть, всё забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо. Но я знаю его:

первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет...

Каренин.

Сделаю, что могу.

Лиза.

Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?

Каренин.

Нет... Впрочем, надо говорить правду, — да, удивляюсь...

Лиза.

Но не сердитесь?..

Каренин.

Разве я могу на вас сердиться?

Лиза.

Я просила вас потому, что знаю, что вы любите его.

Каренин.

И его и вас. Вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне: сделаю, что могу.

Лиза.

Я знала. Я вам всё скажу: я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать во-время, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?

Каренин.

Разумеется, сейчас.

Лиза.

Поезжайте, найдите его и скажите, что всё забыто, что я жду его.

Каренин (встает).

Но где искать его?

Лиза.

Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца, хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас... адрес вот. Ну, так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что всё забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Каренин.

Сделаю всё, что могу. *(Выжидает, потом кланяется и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII

Лиза одна.

Лиза.

Не могу, не могу. Всё лучше, чем... не могу.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Лиза, входит Саша.

Саша.

Ну, что? Послала?
Лиза делает утвердительный знак головой.

Саша.

И он согласился?

Лиза.

Разумеется.

Саша.

Зачем его — не понимаю...

Лиза.

Кого же?

Саша.

Да ведь ты знаешь, что он влюблен в тебя?

Лиза.

Это всё было и прошло. Но кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?

Саша.

Я уверена, потому что...

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Анна Павловна. Анна Павловна входит, Саша замолкает.

Анна Павловна.

А Виктор Михайлович где?

Лиза.

Уехал.

Анна Павловна.

Как уехал?

Лиза.

Я просила его исполнить мою просьбу.

Анна Павловна.

Какую просьбу? Опять секреты?

Лиза.

Не секреты, а просто просила его самому передать письмо Феде.

Анна Павловна.

Феде? Федор Васильевичу?

Лиза.

Да, Феде...

Анна Павловна.

Я думала, что между [вами] все отношения кончены.

Лиза.

Я не могу расстаться с ним.

Анна Павловна.

Как, опять всё сначала?

Лиза.

Я хотела, я старалась, но я не могу. Всё, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.

Анна Павловна.

Так что же, ты хочешь вернуть его?

Лиза.

Да.

Анна Павловна.

Опять <пустить к себе в дом эту гадину?>

Лиза.

Мама, я прошу вас, не говорите так про моего мужа.

Анна Павловна.

Он был муж.

Лиза.

Нет, он теперь мой муж.

Анна Павловна.

Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться?

Лиза.

За что вы меня мучаете? Мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна.

Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.
Лиза молчит.

Анна Павловна.

Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего я в вас не понимаю. Всё это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза.

Ничего этого нет.

Анна Павловна.

Каренин делал предложение... и посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?

Лиза.

Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна.

Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами, как хотите, так и делайте. *(Уходит, хлопая дверью.)*

ЯВЛЕНИЕ XV

Лиза и Саша.

Лиза (падает на стул).

Этого недоставало.

Саша.

Ничего. Всё будет хорошо. Мама мы успокоим.

ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Анна Павловна.

Анна Павловна (молча проходит).

Дуняша, мой чемодан!

Саша.

Мама! Вы послушайте! *(Уходит за ней и подмигивает сестре.)*

Занавес .

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

ЯВЛЕНИЕ I

Комната у цыган. Хор поет «Канавелу». Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Афремов на стуле верхом против запевалы. Офицер у стола, на котором стоит шампанское и стаканы. Тут же музыкант записывает.

Афремов.

Федя! Спишь?

Федя (поднимается).

Не разговаривайте. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. Теперь «Не вечерняя».

Цыган.

Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.

Федя.

Ну, ладно. А потом «Не вечерняя». *(Опять ложится.)*

Офицер.

«Час роковой». Согласны?

Афремов.

Пускай.

Офицер (к музыканту).

Что ж, записали?

Музыкант.

Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скàла иная. Вот тут. *(Подзывает. К цыган*[*ке*]*, к*[*оторая*] *смотрит.)* Это как? *(Напевает.)*

Цыга[нка].

Да так и есть. Так чудесно.

Федя (поднимаясь).

Не запишет. А запишет, да в оперу всунет, — всё изгадит. Ну, Маша, валяй, хоть «Час». Бери гитару. *(Встает, садится перед ней и смотрит ей в глаза.)*

Маша поет.

Федя.

И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь «Не вечерняя».

Афремов.

Нет, постой. Прежде мою, похоронную.

Офицер.

Отчего похоронную?

Афремов.

А это оттого, что когда я умру... понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане... понимаешь? Так жене завещаю. И запоют: «Шэл мэ вѐрста», — так я из гроба вскочу — понимаешь? *(Музыканту.)* Вот что запиши. Ну, катай.

Цыгане поют.

Афремов.

А, каково. Ну — «Размолодчики мои».

Поют.

Афремов делает выходку. Цыгане улыбаются и, продолжая петь, хлопают. [Афремов] садится. Песня кончается.

Цыган.

Ай да Михаил Андреевич, настоящий цыган.

Федя.

Ну, теперь — «Не вечернюю».

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, входит цыган.

Цыган (к Феде).

Вас барин спрашивает.

Федя.

Какой барин?

Цыган.

Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.

Федя.

Барарай? Ну что же, зови.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же без цыгана.

Афремов.

Кто ж это к тебе сюда?

Федя.

А чорт его знает. Кому до меня дело? *(Встает шатаясь.)*
Маша уходит и что[-то] говорит по-цыгански с своими.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, без Маши. Входит Каренин. Оглядывается.

Федя.

А, Виктòр. Вот кого не ждал. Раздевайся. Каким ветром тебя сюда занесло? Ну, садись. Слушай, Ви[ктòр], «Не вечерняя».

Цыгане поют.

Федя.

Вот это она. Вот это она. Удивительно, и где же делается то всё, что тут высказано? Ах, хорошо. И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?

Музыкант (записывает).

Да, очень оригинально.

Федя.

Не оригинально, а это настоящее...

Афремов.

Ну, чавалы, вы отдохните. *(Берет гитару и подсаживается к Кате.)*

Музыкант.

В сущности, оно просто, но только ритм.

Каренин.

Je voudrais vous parler sans témoins.[1]

Федя.

О чем?

Каренин.

Je viens de chez vous. Votre femme m’a chargé de cette lettre et puis...[2]

Федя (берет письмо, читает, хмурится, потом ласково улыбается).

Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?

Каренин.

Знаю. И хочу сказать...

Федя.

Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу всё ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?

Каренин.

Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она... ждет тебя. Просит тебя всё забыть и вернуться.

Федя (слушает молча, глядя ему в лицо).

Я все-таки не понимаю, почему ты?

Каренин.

Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня...

Федя.

Так...

Каренин.

Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя: поедем домой.

Федя.

Ты лучше меня. Какой вздор! Лучше меня не трудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого. А просто, не могу и не хочу. Ну как я поеду?

Каренин.

Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, и завтра...

Федя.

А завтра что? Всё буду я — я, а она — она. Нет. *(Подходит к столу и пьет.)* Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.

Каренин.

Для тебя, но не для нее.

Федя.

Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен.

Каренин хочет что-то сказать. Входит Маша.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Маша. Потом цыгане.

Федя (перебивает его).

Ты послушай, ты послушай. Маша, спой.

Цыгане сходятся.

Маша (шопотом).

Повеличать бы.

Федя (смеется).

Величать: Виктор сударь Михайлович...
[Цыгане поют.]

Каренин (сконфуженно слушает, потом спрашивает).

Сколько дать?

Федя.

Ну, дай двадцать пять.
Каренин дает.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же без Каренина.

Федя.

Чудесно! Теперь «Лен». *(Оглядывается.)* Удрал Каренин. Ну, чорт с ним.
Цыгане разбредаются.

Федя (махает рукой, подходит к Маше, садится на диван рядом с ней).

Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро всё.

Маша.

Ну, а что я вас просила...

Федя.

Что? денег? *(Вынимает из кармана штанов.)* Ну, что же, возьми.

Маша смеется, берет деньги и прячет в пазуху.

Федя (цыганам).

Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.

Маша.

Как не понимать. Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь и пою лучше.

Федя.

А меня любишь?

Маша.

Видно, что люблю.

Федя.

Удивительно. *(Целует ее.)*

Цыгане, цыганки уходят. Остаются парочки: [Федя с Машей], Афремов с Катей, офицер с Гашей. Музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

Федя.

Ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе?

Маша.

Разумеется, хорошо, когда хорошие гости. И нам весело.

Федя.

Ты знаешь, кто это?

Маша.

Слышала фамилию.

Федя.

Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.

Маша.

Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя.

Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.

Маша.

Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.

Федя.

А ты почем знаешь?

Маша.

Должно, знаю.

Федя.

Ну, поцелуй меня. Чавалы! Еще «Лен», и тогда шабаш.
Начинают петь.

Федя.

Ах, хорошо. Кабы только не просыпаться. Так и помереть.

Действие II

КАРТИНА 1-я

После первого [действия] прошло две недели. У Лизы. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Саша выходит из двери.

ЯВЛЕНИЕ I

Каренин.

Ну что?

Саша.

Доктор сказал, что теперь опасности уж нет. И только не простудить.

Анна Павловна.

Ну, слава богу. А то Лиза совсем извелась.

Саша.

Он говорит, что это был или ложный круп, или в слабой форме... Это что? *(указывая на корзинку).*

Анна Павловна.

Да это Виктòр привез виноград.

Каренин.

Не хотите ли?

Саша.

Да, она любит. Она очень нервна стала.

Каренин.

Две ночи не спать, не есть.

Саша (улыбаясь).

Да вы тоже...

Каренин.

Я другое дело.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же. Выходят доктор и Лиза.

Доктор (внушительно).

Так так-с. Через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же...

Лиза.

А если опять будет задыхаться?

Доктор.

Не должно быть. Если будет — пульверизация. И, кроме того, порошок, утром один, и вечером другой. Я сейчас пропишу.

Анна Павловна.

Не хотите ли, доктор, чаю?

Доктор.

Нет, благодарю, больные ждут. *(Садится к столу.)*
Саша приносит бумагу, чернила.

Лиза.

Так наверное это не круп.

Доктор (улыбаясь).

Совершенно верно. *(Пишет.)*
Анна Павловна стоит над доктором.

Каренин.

Ну, теперь выкушайте чая, или, еще лучше, поспите, а то — посмотрите, на что вы похожи.

Лиза.

Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. *(Жмет ему руку.)*

Саша сердито отходит к доктору.

Лиза.

Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.

Каренин.

Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.

Лиза.

А кто ночи не спал, кто привез эту знаменитость? Всё вы...

Каренин.

Уж я так награжден и тем, что Мика вне опасности, и, главное, вашей добротой. *(Опять жмет руку и смеется, показывая монету, оставшуюся у ней в руке.)*

Лиза (улыбается).

Это доктору. Только я никогда не умею как отдать.

Каренин.

Ну и я тоже не могу.

Анна Павловна (подходит).

Что не могу?

Лиза.

Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.

Анна Павловна.

Давай я дам. Я умею как. Очень просто...

Доктор (встает и дает рецепт).

Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать и *(продолжает настав[ление]).*

Каренин у стола пьет чай. Отходят вперед Анна Павловна и Саша.

Саша.

Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.

Анна Павловна.

Что же тут удивительного?

Саша.

Противно...

Доктор уходит, прощается со всеми. Анна Павловна идет провожать его.

ЯВЛЕНИЕ III

Лиза, Каренин и Саша.

Лиза (Каренину).

Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.

Каренин.

Да вы выпейте чаю, съешьте что-нибудь.

Лиза.

Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после этих страхов. *(Всхлипывает.)*

Каренин.

А вот вы видите, как вы слабы.

Лиза.

Я счастлива. Хотите взглянуть на него?

Каренин.

Разумеется.

Лиза.

Пойдемте со мной. *(Уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Саша и Анна Павловна.

Анна Павловна (возвращается).

Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?

Саша.

Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж.

Анна Павловна.

Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?

Саша.

Я за эту версту? Да я скорей не знаю за кого выйду, но не за него. Да и никогда мне в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может так сближаться с чужим человеком.

Анна Павловна.

Какой же он чужой — друг детства.

Саша.

Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.

Анна Павловна.

Что же тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того — отчего же ей не полюбить и не выдти замуж за Виктòра?

Саша.

Это было бы ужасно. Отвратительно, отвратительно.

ЯВЛЕНИЕ V

Каренин и Лиза выходят.

Каренин прощается молча. Саша сердито уходит.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Павловна и Лиза.

Лиза (к матери).

Что с ней?

Анна Павловна.

Право, не знаю.
Лиза вздыхает молча.

Занавес.

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

У Афремова в кабинете. Вино в налитых стаканах. Гости.

ЯВЛЕНИЕ I

Афремов, Федя, Стахович мохнатый, Буткевич бритый, Коротков, прихвостень.

Коротков.

А я вам говорю, что за флагом останется: Ла-бель-буа — первая лошадь в Европе. Пари.

Стахович.

Полно врать. Ведь ты знаешь, что никто тебе не верит. И пари держать не станет.

Коротков.

Я тебе говорю. Твой Картуш за флагом.

Афремов.

Да полноте ссориться. Я вас помирю. Спросите Федю. Он верно скажет.

Федя.

Обе лошади хороши. Дело в ездоке.

Стахович.

Гусев подлец. Надо только его в руках держать.

Коротков (кричит).

Нет!

Федя.

Ну постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?

Коротков.

Взял, да ничего не стоит. Это случай. Кабы Кронпринц не заболел — посмотрел бы.

Входит лакей.

Две страницы черновой рукописи драмы «Живой труп»
Уменьшено

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и лакей.

Афремов.

Что ты?

Лакей.

Госпожа приехали, спрашивают Федор Васильевича.

Афремов.

Какая? дама?

Лакей.

Не могу знать. Только настоящая дама.

Афремов.

Федя. К тебе дама!

Федя (испуганно).

Кто это?

Афремов.

Не знает кто. *(Лакею.)* Проси в залу.

Федя.

Да, постой, я пойду посмотрю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, без Феди и лакея.

Коротков.

Кто это к нему? Наверно, Машка.

Стахович.

Какая Машка?

Коротков.

Цыганка Маша. Втюрилась в него, как кошка влюблена.

Стахович.

Какая милая. И поет.

Афремов.

Прелесть! Танюша да она. Вчера они с Петром пели.

Стахович.

Ведь экой счастливец этот...

Афремов.

Что его бабы любят, бог с ним.

Коротков.

Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества нет.

Буткевич.

Ну, не говори.

Коротков.

Я их всех за одну француженку отдам.

Афремов.

Ну, да ты известный эстет. Пойти посмотреть, кто это.
Уходит.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, без Афремова.

Стахович.

Если Маша, так приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах чорт возьми.

Буткевич.

А я думаю, что всё то же.

Стахович.

Как то же, когда романсы пошлые вместо песни?

Буткевич.

И романсы есть хорошие.

Коротков.

А хочешь пари, что я заставлю спеть и ты не узнаешь: песня это или романс.

Стахович.

Коротков вечно пари.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Афремов.

Афремов (входит).

Господа, это не Маша. А принять ее негде, кроме здесь. Пройдемте в биллиардную.

Коротков.

Давай пари. Что, заробел?

Стахович.

Хорошо, хорошо.

Коротков.

Вот и попадешь на бутылку.

Стахович.

Ну ладно. Вино захвати.
Уходят, разговаривая.

ЯВЛЕНИЕ VI

Входят Федя и Саша.

Федя.

Пойдем сюда. Ах, ах. Как это ты. Да, да...

Саша (смущенно).

Федя, прости меня, если тебе неприятно, но ради бога выслушай меня. *(Голос ее дрожит.)*

Федя (ходит по комнате. Саша села и смотрит на него).

Слушаю.

Саша.

Федя, вернись домой.

Федя.

Я тебя очень понимаю, Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же: постарался бы как-нибудь вернуть всё к старому, но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, — на моем месте, — ты бы наверное сделала то, что я, то есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни...

Саша.

Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?

Федя.

Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива, гораздо счастливее, чем со мной.

Саша.

Никогда.

Федя.

Это тебе кажется. *(Держит в руке письмо и гнет.)* Да не в том дело, то есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь, толстую бумагу перегибай так и этак. И сто раз перегнешь. Она всё держится, а перегнешь сто первый

раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. И ей также — поверь.

Саша.

Нет, нет.

Федя.

Говоришь нет, а сама знаешь, что да.

Саша.

Я могу только по себе судить — если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.

Федя.

Да, для тебя.
Молчание. Оба смущены.

Саша (встает).

Неужели так и останется?

Федя.

Должно быть.

Саша.

Федя, вернись.

Федя.

Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием... Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя. *(Целует ее в лоб.)*

Саша (взволнованная).

Нет, я не прощаюсь и не верю, и не хочу верить... Федя...

Федя.

Ну, так слушай же. Только слово, что то, что я тебе скажу, никому не скажешь. Даешь слово?

Саша.

Разумеется.

Федя.

Ну, так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктòр Каренин старый ее друг и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.

Саша.

Нет.

Федя.

Любит, как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого кроме мужа, но она любит и будет любить, когда препятствие это *(показывает на себя)* будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы *(голос дрожит).*

Саша.

Федя, не говори так.

Федя.

Ведь ты знаешь, что это правда, и я буду рад их счастью, и лучше я ничего не могу сделать и не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи. И не говори, не говори, и прощай. *(Целует ее в голову и отворяет дверь.)*

Саша.

Федя, я восхищаюсь перед тобой.

Федя.

Прощай, прощай.
[Саша уходит.]

ЯВЛЕНИЕ VII

Федя один.

Федя.

Да, да, чудесно, прекрасно. *(Звонит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Федя и лакей.

Федя.

Позовите барина.
[Лакей уходит.]

ЯВЛЕНИЕ IX

Федя один.

Федя.

И правда, и правда.

ЯВЛЕНИЕ X

Входит Афремов.

Афремов.

Как же устроил?

Федя.

Чудесно. «И божилась и клялась...» Чудесно. Где все?

Афремов.

Да там, играют.

Федя.

Отлично. Пойдем... «побыва[ть] ко мне на час».

Занавес.

Действие III

КАРТИНА 1-я

Князь Абрезков[3] — 60-летний элегантный холостяк. Бритый, с усами. Старый военный с большим достоинством и грустью.

Анна Дмитриевна Каренина — мать Виктòра, молодящаяся 50 лет — grande dame. Перебивает речь французскими словами.

Лиза, Виктóр, лакей.

Кабинет Анны Дмитриевны роскошно-скромный, полон сувениров.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Дмитриевна пишет письмо.

ЯВЛЕНИЕ II

Анна Дмитриевна и лакей.

Лакей.

Князь Сергей Дмитриевич.

Анна Дмитриевна.

Ну, разумеется. *(Оборачивается и поправляется перед зеркалом)*.

[Лакей уходит].

ЯВЛЕНИЕ III

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков (входит).

J’espère que je ne force pas la consigne.[4] *(Целует руку.)*

Анна Дмитриевна.

Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu.[5] А теперь, нынче, особенно. Вы получили мою записку?

Князь Абрезков.

Получил, и вот мой ответ.

Анна Дмитриевна.

Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé, positivement ensorcelé.[6] Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.

Князь Абрезков.

Но что же именно, как стоит дело?

Анна Дмитриевна.

Так, что во что бы то ни стало хочет жениться.

Князь Абрезков.

Но как же муж?

Анна Дмитриевна.

Дает развод.

Князь Абрезков.

Вот как.

Анна Дмитриевна.

И он, Виктòр, идет на это, и вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Tout ça est dégoutant.[7] И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он с своей чуткостью, робостью...

Князь Абрезков.

Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...

Анна Дмитриевна.

Да, но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью-дружбой, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.

Князь Абрезков.

Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l’âme ne leur suffit plus.[8] Что делать. Но как же быть с ним?

Анна Дмитриевна.

Нет, про него не говорите. Но это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее, оставила карточку. Elle m’a fait demander quand je pourrai la recevoir.[9] И нынче *(смотрит на часы)*, во 2-м часу, стало быть, сейчас, должна приехать. Я обещала Виктòру принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя. И по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.

Князь Абрезков.

Благодарствуйте.

Анна Дмитриевна.

Вы поймите, что это посещение ее решает всё дело, судьбу Виктòра. Мне надо или не согласиться... А как я могу...

Князь Абрезков.

Вы совсем не знаете ее?

Анна Дмитриевна.

Никогда не видала. Но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И хорошего человека. Ведь он товарищ Виктòра и бывал у нас. Он был очень милый. Да какой бы он ни был. Quels que soient les torts qu'il a eus vis-à-vis d'elle,[10] нельзя бросать мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктòр с своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной. Сколько раз — недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Si elle a pu le charmer à un tel point,[11] я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, и всё только сама говорю. Что вы думаете? Скажите. Что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Виктòром?

Князь Абрезков.

Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее, привык любить так, любовь эта взяла такую власть над ним — а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет и без нее и с другой счастлив быть не может.

Анна Дмитриевна.

А как Варя Казанцева пошла бы за него. И какая девушка и как любит...

Князь Абрезков (улыбаясь).

C’est compter sans son hôte.[12] Это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.

Анна Дмитриевна.

На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены? Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына, и такого сына?

Князь Абрезков.

Да что же делать, милый друг. Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя... Да потом, если бы он женился на цыганке, или бог знает на ком. А Лиза Рахма[нова] очень хорошая, милая женщина; я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.

Анна Дмитриевна.

Нравственная женщина, которая решает[ся] бросить мужа.

Князь Абрезков.

Я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал всё свое состояние, всё ее состояние, — у нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.

Анна Дмитриевна.

Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.

Князь Абрезков.

А ваша религия?

Анна Дмитриевна.

Да, да, прощение. «Как и мы оставляем должн[икам] нашим». Mais c’est plus fort que moi.[13]

Князь Абрезков.

Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна бы была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда он в своем уме, советует ей это сделать.

ЯВЛЕНИЕ IV

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, входит Каренин, целует руку матери, здоровается с князем Абрезковым.

Каренин.

Мама! Я зашел сказать вам одно: Лизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном: если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...

Анна Дмитриевна (перебивая его).

Разумеется, продолжаю быть несогласна.

Каренин (продолжая речь и хмурясь).

...то прошу, умоляю вас об одном: не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле.

Анна Дмитриевна.

Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, уж никак не начну.

Каренин.

Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.

Анна Дмитриевна.

Не понимаю одно: как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем, с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?

Каренин.

Мама! Это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?

Анна Дмитриевна.

Я люблю тебя, хочу тебе счастья.

Каренин (к князю Абрезкову).

Сергей Дмитриевич!

Князь Абрезков.

Разумеется, вы хотите ему счастья, но нам, с нашими сединами, уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.

Анна Дмитриевна.

Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это, vous êtes majeur,[14] но ты погубишь меня.

Каренин.

Не узнаю вас. Это хуже, чем жестокость.

Князь Абрезков (к Виктòру).

Перестань, Виктòр. Мама говорит всегда хуже, чем делает.

Анна Дмитриевна.

Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.

Князь Абрезков.

Это наверно.

ЯВЛЕНИЕ V

Анна Дмитриевна, князь Абрезков, Каренин и лакей входит.

Князь Абрезков.

Вот и она.

Каренин.

Я уйду.

Лакей.

Лизавета Андреевна Протасова.

Каренин.

Я ухожу, мама. Пожалуйста...
Князь Абрезков тоже встает.

Анна Дмитриевна.

Просите. *(К князю Абрезкову.)* Нет, вы останьтесь.

ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Дмитриевна и князь Абрезков.

Князь Абрезков.

Я думал вам легче en tête-à-tête.[15]

Анна Дмитриевна.

Нет, я боюсь. *(Суетится.)* Если я захочу остаться с ней tête-à-tête, я кивну вам. Ça dépendra...[16] А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.

Князь Абрезков.

Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.

Анна Дмитриевна.

Как вы все против меня.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же. Входит Лиза в шляпе, в визитном платье.

Анна Дмитриевна (приподнимаясь).

Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.

Лиза.

Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.

Анна Дмитриевна.

Вы знакомы? *(Указывает на князя Абрезкова.)*

Князь Абрезков.

Как же, я имел честь быть представленным. (Shake hands.[17] *Садятся.)* Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.

Лиза.

Да, мы дружны были очень. *(Оглядываясь робко на Анну Дмитриевну.)* И теперь дружны. *(К Анне Дмитриевне.)* Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.

Анна Дмитриевна.

Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Викторòм и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас?

Лиза.

Да, мы там женились.

Анна Дмитриевна.

А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.

Лиза.

Да он нигде почти не бывал.

Анна Дмитриевна.

И не познакомил меня с вами. *(Неловкое молчание.)*

Князь Абрезков.

Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Вы помните? Очень было мило. И вы играли.

Лиза.

Нет... да... как же... помню. Я играла. *(Опять молчание.)* Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал... потому что он, то есть потому что вы хотели меня видеть... но лучше всё сказать... *(Всхлипывает.)* Мне очень тяжело... а вы добры.

Князь Абрезков.

Да, я лучше уйду.

Анна Дмитриевна.

Да, уйдите.

Князь Абрезков.

До свиданья. *(Прощается с обеими женщинами и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Дмитриевна и Лиза.

Анна Дмитриевна.

Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.

Лиза.

Андреевна.

Анна Дмитриевна.

Ну, всё равно — Лиза. Мне вас жаль, вы мне симпатичны. Но я люблю Виктòра. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушка.

Лиза.

Я знаю.

Анна Дмитриевна.

Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери, — у вас еще маленький, вам рано, — мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистой, как он.

Лиза.

Я... Разве я...

Анна Дмитриевна.

Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. И я его знаю. Теперь он готов всё перенести и перенесет и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.

Лиза.

Я думала об этом.

Анна Дмитриевна.

Лиза, милая. Вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то

вы не захотите связать его и заставить раскаиваться — хоть он не скажет, никогда не скажет.

Лиза.

Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что ж я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила: будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.

Анна Дмитриевна.

Да, теперь не хочет.

Лиза.

Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастия. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его блага.

Анна Дмитриевна.

Да, да, я полюбила вас. *(Целует ее. Лиза плачет.)* Но все-таки, все-таки это ужасно. Если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.

Лиза.

Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастию друга.

Анна Дмитриевна.

Ах, как это всё тяжело. Но всё [же] будем любить друг друга, и бог поможет нам найти то, что мы хотим.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и Каренин.

Каренин (выходя).

Мама, милая. Я всё слышал. Я ожидал этого: вы полюбили ее. И всё будет хорошо.

Лиза.

Как мне жалко, что вы всё слышали. Я бы не говорила...

Анна Дмитриевна.

Все-таки ничего не решено. Я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была. *(Целует ее.)*

Каренин.

Пожалуйста, только не меняйтесь.

Занавес .

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

Квартира скромная, постель, письменный стол, диван.

ЯВЛЕНИЕ I

Федя один.

В дверь стучат. Из-за двери женский голос: «Что ты заперся, Федор Васильич? Федя, отопри».

ЯВЛЕНИЕ II

Федя и Маша.

Федя (встает, [отпирает дверь]. Входит Маша.)

Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.

Маша.

Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, а обещал.

Федя.

Ты знаешь что [—] денег нет.

Маша.

И зачем я тебя полюбила?

Федя.

Маша!

Маша.

Что Маша, Маша. Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь. А держишься за нее. Не хочешь, видно.

Федя.

Ведь ты знаешь, отчего не хочу.

Маша.

Пустяки всё. Правду говорят, что пустой ты человек.

Федя.

Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь, так ты это сама знаешь.

Маша.

Ничего тебе не больно...

Федя.

Сама знаешь, что мне одна радость в жизни твоя любовь.

Маша.

Моя-то моя. А твоей-то нет.

Федя.

Ну, я уверять не стану. Да и незачем — ты сама знаешь.

Маша.

Федя, за что ты меня мучишь?

Федя.

Кто кого.

Маша (плачет).

Недобрый ты.

Федя (подходит и обнимает ее).

Маша! О чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.

Маша.

Любишь?

Федя.

Кого же мне любить?

Маша.

Только меня? Ну читай, что ты написал.

Федя.

Да тебе скучно будет.

Маша.

Коли уж ты написал, так хорошо будет.

Федя.

Ну, слушай. *(Читает.)* «Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день. Туман...»

ЯВЛЕНИЕ III

Федя и Маша.

В дверь входит старый цыган Иван Макарович и старая цыганка Настасья Ивановна — родители Маши.

Настасья Ивановна (подступая к дочери).

Тут проклятая овца беглая. Барину почтенье. *(К дочери.)* Что же ты с нами делаешь? А?

Иван Макарович (к Феде).

Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо, погано делаешь.

Настасья Ивановна.

Надевай платок, марш сейчас. Вишь, убежала. Что я хору скажу? Путаешься с голышом. Что с него взять?

Маша.

Не путаюсь я. А люблю барина и больше ничего. Я хор не бросаю, петь буду, а что...

Иван Макарович.

Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе задаром пели, тебя жалели. А ты что сделал.

Настасья Ивановна.

Погубил ни за что дочку, кровную, единственную, ненаглядную, брилиантовую, неоцененную, в навоз втоптал, вот что сделал. Бога в тебе нет.

Федя.

Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра. Я ее честь берегу. И ты не думай. А люблю ее. Что же делать.

Иван Макарович.

Да вот не любил, когда у вас деньги были. Заплатил бы тогда в хор тысяч 10 и взял бы честь-честью. А теперь промотал, крадучи увел. Стыдно, барин. Стыдно.

Маша.

Он не уводил. Я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его и всё. Крепче всех ваших замков моя любовь... Не хочу.

Настасья Ивановна.

Ну, Машенька, сердечная, не бурчи. Нехорошо сделала, ну и пойдем.

Иван Макарович.

Ну, будет разговаривать. Марш *(берет за руку).* Простите, барин. *(Все трое уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Федя. Входит князь Абрезков.

Князь Абрезков.

Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.

Федя.

С кем имею честь?.. *(Узнает.)* Ах, князь Сергей Дмитриевич. *(Здоровается.)*

Князь Абрезков.

Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать. Но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.

Федя.

Да, да. Прошу покорно. Благодарю вас за то, что вы мне сказали это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне всё равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали, этой девушке-цыганке, певице, — несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты — чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так чтò вам от меня угодно? Чем могу вам служить?

Князь Абрезков.

Я, во-первых...

Федя.

Простите меня, князь. Я стал в такое положение в обществе, что мое малое и давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела — в чем оно?

Князь Абрезков.

Не буду отрицать, вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.

Федя.

Совершенно уверен.

Князь Абрезков.

Дело мое в том, что сын моего старого друга, Анны Дмитриевны Карениной, и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях... Вы мне позволите говорить о ваших отношениях к вашей жене, Лизавете Андреевне Протасовой?

Федя.

Мои отношения с моей женой, могу сказать: моей бывшей женой — совершенно прекращены.

Князь Абрезков.

Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.

Федя.

Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей или скорее, моим бесконечным винам. Она же, как была, так и осталась самой безупречною женщиной.

Князь Абрезков.

Так вот Виктòр Каренин, в особенности его мать, просили меня узнать у вас о ваших намерениях.

Федя (горячась).

Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствия. Я знаю, что она любит Виктòра Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком, и я думаю, что она будет с ним (как это говорится обыкновенно) счастлива. И que le bon dieu les bénisse.[18] Вот и всё.

Князь Абрезков.

Да, но мы бы...

Федя (перебивает).

И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктòра, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противуположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом, но это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни... впрочем, что я делаю вам признание.

Князь Абрезков.

Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее моей миссии определенные к вам <мои человеческие отношения>, мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...

Федя.

Да и была, и может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала, и чего-то искал и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу, да мне и нельзя оправдываться. Я *был,* смело говорю *был,* дурной муж, *был,* потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.

Князь Абрезков.

Да, но вы знаете семью Виктòра и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне всё время были и остаются

самыми почтительными и далекими. Он помогал ей, когда ей было трудно.

Федя.

Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать, так должно было быть.

Князь Абрезков.

Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения. Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи. Но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него и в особенности для матери немыслимо сближение с женщиной без церковного брака.

Федя.

Да, я знаю его туп... прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать, но условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.

Князь Абрезков.

Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, и я понимаю вас.

Федя (жмет руку).

Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во всё мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше. Я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.

Князь Абрезков.

Я вас тоже не понимаю. Вы, способный, умный человек, с такой чуткостью к добру, как это вы можете увлекаться, можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого, как вы погубили свою жизнь?

Федя (пересиливает слезы волнения).

Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы... Спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно... И только, когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка, — не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.

Князь Абрезков.

Ну, а труд?

Федя.

Пробовал. Всё нехорошо. Всем я недоволен. Ну, да что о себе говорить. Спасибо вам.

Князь Абрезков.

Так что же мне сказать?

Федя.

Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться — чтобы ничто не мешало им жениться?

Князь Абрезков.

Разумеется.

Федя.

Сделаю. Скажите, что наверное сделаю.

Князь Абрезков.

Когда же?

Федя.

Постойте. Ну, скажем две недели. Довольно?

Князь Абрезков (вставая).

Так и могу сказать?

Федя.

Можете. Прощайте, князь, еще раз благодарю вас.
Князь Абрезков уходит.

ЯВЛЕНИЕ V

Федя один.

Федя (сидит долго, молча улыбается).

Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.

Занавес .

Действие IV

КАРТИНА 1-я

В трактире. Отдельный кабинет. Половой вводит Федю и Ивана Петровича Александрова.

ЯВЛЕНИЕ I

Федя, Иван Петрович и половой.

Половой.

Сюда пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит, а бумагу сейчас подам.

Иван Петрович.

Протасов! Я войду.

Федя (серьезный).

Пожалуй, войди, но я занят и... Хочешь — войди.

Иван Петрович.

Ты хочешь ответить на их требования. Я тебе скажу, как? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.

Федя (половому).

Бутылку шампанского.

Половой уходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Федя и Иван Петрович.

Федя (вынимает револьвер и кладет).

Подожди немножко.

Иван Петрович.

Что ж? что ты застрелиться хочешь. Можно, можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я всё понимаю, потому что я гений.

Федя.

Ну да, ну да. Только...
Входит половой с бумагой и чернильницей.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и половой.

Федя (прикрывает пистолет салфеткой).

Откупори. Давай выпьем. *(Пьют. Федя пишет.)* Погоди немного.

Иван Петрович.

За твое... большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я — я убью себя затем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял *(хватает револьвер)* — раз и готово. Но еще рано *(кладет револьвер).* И мне писать нечего, они сами должны понять... Ах вы...

Федя (пишет).

Немножко подожди.

Иван Петрович.

Жалкие люди. Копошатся, хлопочут. И не понимают — ничего не понимают... Я не тебе. Я так, высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало: ценить своих гениев, а они всегда казнили их, гнали, мучали. Нет. Я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Не-е-е-т. Лицемеры!

Федя (кончил писать, выпивает и читает).

Уйди, пожалуйста.

Иван Петрович.

Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я то же сделаю. Но еще рано. Я только хочу сказать тебе...

Федя.

Хорошо. Ты скажешь, но после, а теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину *(подает ему деньги)* и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.

Иван Петрович.

Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем, по крайней мере до тех пор, пока я не приду туда. Так всё отдать?

Федя.

Сколько нужно.
Иван Петрович уходит.

ЯВЛЕНИЕ IV

Федя один.

Федя (вздыхает облегченно, запирает за Иваном Петровичем дверь, берет револьвер, взводит, прикладывает к виску вздрагивает и осторожно опускает. Мычит).

Нет, не могу, не могу, не могу.
Стучат в дверь.

Кто там?

Из-за двери голос Маши: Я.

Федя.

Кто я? Ах, Маша... *(Отворяет дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Федя и Маша.

Маша.

Была у тебя, у Попова, у Афремова и догадалась, что здесь. *(Видит револьвер.)* Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?

Федя.

Нет, не мог.

Маша.

А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех, грех. За мою любовь...

Федя.

Хотел их отпустить, обещал. А лгать не могу.

Маша.

А я-то?

Федя.

Что ты? И тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучаться.

Маша.

Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.

Федя.

Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.

Маша.

И совсем не плакала бы, чорт с тобой, коли ты меня не жалеешь. *(Плачет.)*

Федя.

Маша! Дружок. Ведь я хотел лучше сделать.

Маша.

Себе лучше.

Федя (улыбаясь).

Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?

Маша.

Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.

Федя.

Как что нужно? Много нужно.

Маша.

Ну что? Что?

Федя.

Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.

Маша.

Положим, что гадко. Я сама...

Федя.

Потом нужно точно их освободить, и жену и его. Что же, они хорошие люди. Зачем им мучаться? Это два.

Маша.

Ну уж хорошего в ней мало, коли она тебя бросила.

Федя.

Не она бросила — я бросил.

Маша.

Ну, хорошо, хорошо. Всё ты. Она ангел. Еще что ж?

Федя.

А еще то, что ты хорошая, милая девочка — люблю тебя и, коли останусь жить, то погублю тебя.

Маша.

Это уж не твое дело. Я сама про себя знаю, где погибну...

Федя (вздыхает).

А главное, главное... Что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропал, не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящий я...

Маша.

Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и всё. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь... А ты живой человек

— брось. Вот и всё.

Федя.

Легко сказать.

Маша.

И сделай так.

Федя.

Да вот как смотрю на тебя, так, кажется, всё сделаю.

Маша.

И сделаешь. Всё сделаешь. *(Видит письмо.)* Это что же? Ты им писал? Что же писал?

Федя.

Что писал? *(Берет письмо и хочет разорвать.)* Теперь уже не нужно.

Маша (вырывает письмо).

Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Федя.

Да, что меня не будет.

Маша.

Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Федя.

Читал, кажется.

Маша.

Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя.

Нет.

Маша.

Ну вот. Давай сюда свое платье. Всё, и бумажник.

Федя.

Да как же?

Маша.

Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Федя.

Да ведь это обман.

Маша.

И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя.

Ну, а потом?

Маша.

А потом, потом уедем и будем жить во славу.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же. Входит Иван Петрович.

Иван Петрович.

Вот те на. А револьвер? Я себе возьму.

Маша.

Бери, бери. А мы едем.

Занавес .

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

Гостиная у Протасовой.

ЯВЛЕНИЕ I

Каренин и Лиза.

Каренин.

Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.

Лиза.

Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думай, что это была ревность. Это не ревность, а знаешь, освобождение. Ну как вам сказать...

Каренин.

Опять: *вам*.

Лиза (улыбаясь).

Тебе. Да не мешайте, не мешай мне сказать, что я чувствую. Главное, что мучало меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.

Каренин.

Ты безнравственная женщина?

Лиза.

Но с тех пор как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стало быть, не нужна ему, я освободилась и почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что люблю вас — тебя. Теперь в душе у меня ясно, и меня мучает только мое положение. Этот развод. Это всё так мучительно. Это ожидание.

Каренин.

Сейчас, сейчас решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.

Лиза.

Он? Нет, это всё та же его и слабость и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.

Каренин.

Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.

Лиза.

Нет, деньги что-то нехорошее.

Каренин.

Ну, ему бы уж можно было быть менее pointilleux.[19]

Лиза.

Какие мы делаемся эгоисты.

Каренин.

Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата.

Лиза.

Ты думаешь, что ты один. Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастии. Всё: и Мика поправился, и твоя мать меня любит, и ты, и, главное, я, я люблю.

Каренин.

Да? Без раскаяния? Без возврата?

Лиза.

С того дня всё вдруг переменилось во мне.

Каренин.

И не может вернуться?

Лиза.

Никогда. Я только одного желаю, чтобы в тебе это было так же совсем кончено, как во мне.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и няня с ребенком.

Входит няня с мальчиком. Мальчик идет к матери. Она берет его на колени.

Каренин.

Какие мы несчастные люди.

Лиза.

А что? *(Целует ребенка.)*

Каренин.

Когда ты вышла замуж и, вернувшись из-за границы, [я] узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив, и мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения и я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня мучал только страх за то, что я

нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, — да и тебя я знал — так что это не мучало меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучать тебя и я чувствовал, что я поддержка тебе и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом... когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его, и я в первый раз сказал всё и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив, и если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал: ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь; maman полюбила тебя, возможность эта стала осуществляться, ты сказала мне, что любила и любишь меня, потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, — чего бы, казалось, мне желать? Но нет, теперь, теперь я мучаюсь прошедшим, хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего, не было того, что напоминает о нем.

Лиза (с упреком).

Виктòр.

Каренин.

Лиза, ты прости меня. То, что я говорю, я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Всё это я сказал нарочно затем, чтобы показать, как я дурен и как я знаю, что итти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.

Лиза.

Так и надо. Я сделала всё, что могла. Не я, а в моем сердце сделалось всё, чего ты мог желать: из него всё исчезло, кроме тебя.

Каренин.

Всё?

Лиза.

Всё, всё. Я бы не стала говорить.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и лакей.

Лакей.

Господин Вознесенский.

Каренин.

Это он от Феди с ответом.

Лиза (Каренину).

Зовите сюда.

Каренин (встает и идет к двери).

Ну вот и ответ.

Лиза (отдает ребенка няне).

Неужели всё решится Виктòр! *(Целует его.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Каренин, Лиза и Вознесенский входит.

Каренин.

Ну что?

Вознесенский.

Их нет.

Каренин.

Как нет? И не подписал прошение?

Вознесенский.

Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Лизавете Андреевне. *(Подает из кармана письмо.)* Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказали, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел и вот...

Каренин.

Неужели опять откладыванье, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал.

Лиза.

Да прочти, что?
Каренин открывает письмо.

Вознесенский.

Я не нужен вам?

Каренин.

Да нет, прощайте, благодарю... *(Останавливается, удивленно читая.)*
[Вознесенский уходит.]

ЯВЛЕНИЕ V

Каренин и Лиза.

Лиза.

Что? что?

Каренин.

Это ужасно.

Лиза (хватает письмо).

Читай.

Каренин (читает).

«Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека — упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастии. Всё знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. C’est moi qui suis l’intrus.[20] Но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизаньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я неправ и не могу измениться».

Лиза

Как это он...

Каренин (продолжая читать).

«Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консистории, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я ни гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участия, просто *не могу*. Другой выход, к которому я прихожу — самый простой: вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно, я должен уничтожиться...»

Лиза (хватает за руку Каренина).

Виктòр!

Каренин (читает).

«Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет.

P. S. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и непохоже на вас. Ну, что же делать. Я столько раз ошибался. Можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу: не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев, не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте. Федя».

Лиза.

Он убил себя. Да?

Каренин (звонит, бежит в переднюю).

Верните господина Вознесенского.

Лиза.

Я знала, я знала. Федя, милый Федя.

Каренин.

Лиза!

Лиза.

Неправда, неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.

Входит Вознесенский.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Вознесенский.

Каренин.

Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?

Вознесенский.

Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.

Каренин.

Это надо узнать. Лиза, я оставляю тебя.

Лиза.

Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узн[ай] всё...

Занавес .

Действие V

КАРТИНА 1-я

Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. На первом плане столик, у которого сидит опустившийся, оборванный Федя и с ним Петушков, внимательный, нежный человек, с длинными волосами, духовного вида. Оба слегка выпивши.

ЯВЛЕНИЕ I

Федя и Петушков.

Петушков.

Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

Федя.

Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтоб она пожертвовала всем для любимого человека, а тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и эта чистая самоотверженная любовь — отдает всё, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.

Петушков.

Да, это у нас в живописи валёр называется. Только тогда можно сделать вполне яркокрасный, когда кругом... Ну, да не в том дело. Я понимаю, понимаю...

Федя.

Да, и это, кажется, один добрый поступок у меня за душой, — то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете отчего?

Петушков.

Жалость...

Федя.

Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг, и когда она пела — ах, как пела, да и теперь, пожалуй, поет, — и всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание. *(Пьет.)*

Петушков.

Вот понимаю, понимаю. Идеально.

Федя.

Я вам что скажу: были у меня увлечения. И один раз я был влюблен, такая была дама — красивая, и я был влюблен, скверно, по-собачьи, и она мне дала rendez-vous.[21] И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а... раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей — напротив. Всегда радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство... Могу падать еще, весь

упасть, всё с себя продам, весь во вшах буду, в коросте, а этот бриллиант, не брильянт, а луч солнца, да, — во мне, со мной.

Петушков.

Понимаю, понимаю. Где же она теперь?

Федя.

Не знаю. И не хотел бы знать. Это всё было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.

За столом сзади слышен крик женщины. Хозяин приходит и городовой, уводят. Федя и Петушков глядят, слушают и молчат.

Петушков (после того, как там затихло).

Да, ваша жизнь удивительная.

Федя.

Нет, самая простая. Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, три выбора — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть не умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся. *(Пьет.)*

Петушков.

Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.

Федя.

Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.

Петушков.

Отчего вы говорите: как будто?

Федя.

А оттого говорю, что никогда не было в ней того, чтоб она в душу мне влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое всё меньше и меньше любил ее. Да, да *(приходит в восторг),* вот сейчас пришло в голову: оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучал, за то... не то что не люблю... Да нет, просто не люблю. Ревновал — да, но и то прошло.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Артемьев.

Подходит Артемьев с кокардой, крашеными усами, [в] подправленной древней одежде.

Артемьев.

Приятного апетита. *(Кланяется Феде.)* Познакомились с артистом художником?

Федя (холодно).

Да, мы знакомы.

Артемьев (Петушкову).

Что ж, портрет кончил?

Петушков.

Нет, расстроилось.

Артемьев (садится).

Я не мешаю вам?
Федя и Петушков молчат.

Петушков.

Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.

Артемьев.

Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь. Свиньи. *(Отходит к соседнему столу и требует себе пива. Всё время слушает разговор Феди с Петушковым, перегибаясь к ним.)*

Федя.

Не люблю этого господина.

Петушков.

Обиделся.

Федя.

Ну, бог с ним. Не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?

Петушков.

Говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?

Федя.

Ах. *(Задумывается.)* Это удивительная история. Жена моя замужем.

Петушков.

Как же? Развод?

Федя.

Нет. *(Улыбается.)* Она от меня осталась вдовой.

Петушков.

То есть как же?

Федя.

А так же: вдовой. Меня ведь нет.

Петушков.

Как нет?

Федя.

Нет. Я труп. Да. *(Артемьев перегибается, прислушивается.)* Видите ли... Вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучал жену, прокутил всё, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее — нет — мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противуположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это и был и есть хороший, очень хороший человек: честный, твердый, воздержный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее и потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучать ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга, а я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я всё делался невозможнее и невозможнее и кончилось тем, что...

Петушков.

Как всегда...

Федя.

Нет. Я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословенья. Ну, стали требовать развод, чтоб я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь... И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И всё устроили. Прощальное письмо я послал, а на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.

Петушков.

Ну, а как же тело-то не нашли же?

Федя.

Нашли. Представьте. Через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. — Он? — Он. Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь и благоденствуют. А я — вот он. И живу и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах, тень чья-то прошла по сторе. И иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет... *(Пьет.)*

Артемьев (подходит).

Ну, уж простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите — скверно, когда

денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.

Федя.

Позвольте. Я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.

Артемьев.

А я желаю их вам подать. Вы труп, а если оживете, то что они-то — ваша супруга с господином, которые благоденствуют, — они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?

Федя.

Прошу вас оставить меня.

Артемьев.

Просто пишите письмо. Хотите я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.

Федя.

Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.

Артемьев.

Нет, говорили. Вот он свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.

Половой.

Мы ничего не знаем.

Федя.

Негодяй.

Артемьев.

Я негодяй? Ей, городовой. Акт составить.

Федя встает и уходит. Артемьев держит его. Приходит городовой.

Занавес .

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

Действие в деревне на террасе, обросшей плющом.

ЯВЛЕНИЕ I

Анна Дмитриевна Каренина, Лиза беременная, нянька с ребенком.

Лиза.

Теперь уж едет со станции.

Мальчик.

Кто едет?

Лиза.

Папа.

Мальчик.

Папа едет со станции?

Лиза.

C’est étonnant comme il l’aime tout-à-fait comme son père.[22]

Анна Дмитриевна.

Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?[23]

Лиза (вздыхает).

Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, maman?

Две страницы рукописи драмы «Живой труп» (действие V, картина 2)

Уменьшено

Анна Дмитриевна.

Я думаю, Лиза, что это дело чувства, и если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, — ведь я его знала ребенком, — был мне неприятен, но теперь я только помню его милым юношей, другом Виктòра и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aura beau dire, l'action est belle...[24] Надеюсь, Виктòр не забудет привезти шерсти, сейчас вся выйдет. *(Вяжет.)*

Лиза.

Вот он и едет. *(Слышны колеса и бубенчик. Лиза встает и подходит к краю террасы.)* Кто-то с ним, дама. Маша! Я ее сто лет не видала. *(Идет к двери.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Те же. Входят Каренин и [Марья Васильевна].

Марья Васильевна[25] (целуется с Лизой и Анной Дмитриевной).

Виктòр меня встретил и увез.

Анна Дмитриевна.

Прекрасно сделал.

Марья Васильевна.

Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу и опять отложу, вот и приехала, если не прогоните, — до вечернего поезда.

Каренин (целует жену, и мать, и мальчика).

А я как счастлив, поздравьте меня. Два дня дома. Завтра всё без меня сделают.

Лиза.

Прекрасно. Два дня. Давно не бы[вало]. Съездим в пустынь. Да?

Марья Васильевна.

Как похож! Какой молодец! Только бы не всё наследовал: сердце отцовское.

Анна Дмитриевна.

Но не слабость.

Лиза.

Всё, всё. Виктòр согласен со мной, что если бы только с молода он[о] б[ыло] направлено...

Марья Васильевна.

Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.

Лиза.

И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.

Марья Васильевна.

Да, я думаю.

Лиза.

Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг всё разрешилось.

Анна Дмитриевна.

Ну, Виктòр, привез шерсть?

Каренин.

Привез, привез. *(Берет мешок и выбирает.)* Вот шерсть, вот одеколон, и вот письма, и вот конверт казенный на твое имя. *(Подает жене.)* Ну-с, Марья Васильевна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза! Ведь в нижнюю угловую Марью Васильевну?

Лиза бледная трясущимися руками держит бумагу и читает.

Что с тобой? Лиза! Что там?

Лиза.

Он жив. Боже мой! Когда он освободит меня! Виктòр! Что это? *(Рыдает.)*

Каренин (берет бумагу и читает).

Это ужасно.

Анна Дмитриевна.

Что, да скажи же.

Каренин.

Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.

Анна Дмитриевна.

Какой ужасный человек... Зачем он это сделал?

Каренин.

Всё ложь, ложь.

Лиза.

О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю. *(Уходит в слезах. Каренин за нею.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Анна Дмитриевна и Марья Васильевна.

Марья Васильевна.

Как же он остался жив?

Анна Дмитриевна.

Знаю только, что как только Виктòр прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Всё обман, всё ложь.

Занавес .

Действие VI

КАРТИНА 1-я

Камера судебного следователя.

ЯВЛЕНИЕ I

Судебный следователь, Мельников и письмоводитель.

Судебный следователь (сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель. Перебирает бумаги).

Да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.

Мельников.

Она не упрекает, а огорчается.

[Судебный следователь.]

Ну хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. [*(Письмоводителю)*] Просите.

Письмоводитель.

Обоих?

Судебный следователь (кончая курить и пряча папиросу).

Нет, одну г-жу Каренину, или правильнее, по первому мужу — Протасову.

Мельников (уходя).

А, это Каренина.

Судебный следователь.

Да. Грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо. Ну, прощай.

Мельников уходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Судебный следователь, письмоводитель и Лиза под вуалью в черном входит.

Судебный следователь.

Прошу покорно *(указывая на стул).* Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость... Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех, лучше — правда. Всегда лучше и даже практичнее.

Лиза.

Мне нечего скрывать.

Судебный следователь.

Так вот. *(Смотрит в бумаги.)* Ваше имя, звание, исповедание — это всё я записал — так?

Лиза.

Да.

Судебный следователь.

Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.

Лиза.

Я не знала.

Судебный следователь.

И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман — подобие самоубийства, с тем чтобы освободиться от него.

Лиза.

Всё это неправда.

Судебный следователь.

Так вот позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги 1200 рублей?

Лиза.

Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.

Судебный следователь.

Так-с. Очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.

Лиза.

Кажется, что 17 июля. Я не помню.

Судебный следователь.

А почему прекращены были ходатайства в консистории в то же время и было отказано адвокату?

Лиза.

Не знаю.

Судебный следователь.

Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?

Лиза.

Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.

Судебный следователь.

Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?

Лиза.

Деньги эти посылал мой муж. И я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.

Судебный следователь.

Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, ну, одним словом, делал несчастье в[ам].

Лиза.

Я любила его.

Судебный следователь.

Да, но все-таки вам естественно желание освободиться, и вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением двоебрачия — это понятно и мне. И присяжные поймут это. И потому я бы советовал вам открыть всё.

Лиза.

Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. *(Плачет.)* Я не нужна больше?

Судебный следователь.

Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду, не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. *(Указывает кресло у окна. К письмоводителю.)* Попросите г-на Каренина.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же. Входит Каренин строго, торжественно.

Судебный следователь.

Прошу покорно.

Каренин.

Благодарю. *(Стоит.)* Что вам угодно?

Судебный следователь.

Я обязан снять допрос.

Каренин.

В качестве чего?

Судебный следователь (улыбаясь).

Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.

Каренин.

Вот как? В чем же?

Судебный следователь.

[В женитьбе на замужней женщине.][26] Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.

Каренин.

Благодарю.

Судебный следователь.

Ваше имя?

Каренин.

Виктор Каренин.

Судебный следователь.

Звание?

Каренин.

Камергер, действительный статский советник.

Судебный следователь.

Возраст?

[Каренин.]

38 лет.

Судебный следователь.

Веры?

Каренин.

Православной, под судом и следствием не бывал. Ну-с?

Судебный следователь.

Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?

Каренин.

Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.

Судебный следователь.

Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?

Каренин.

Я не желаю отвечать на этот вопрос.

Судебный следователь.

Очень хорошо. С какою целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?

Каренин.

Деньги эти были переданы мне моею женою.

Судебный следователь.

Госпожою Протасовой?

Каренин.

Моею женою для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала

несправедливым удержать эти деньги.

Судебный следователь.

Теперь еще один вопрос: почему вы прекратили ходатайство о разводе?

Каренин.

Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.

Судебный следователь.

Есть у вас это письмо?

Каренин.

Письмо затеряно.

Судебный следователь.

Как странно, что затеряно и отсутствует всё то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.

Каренин.

Нужно вам еще что-нибудь?

Судебный следователь.

Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга, а вам нужно оправдаться, и я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам: не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать всё, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал всё, как было и, вероятно, и на суде всё так же покажет. Я бы советовал...

Каренин.

Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей. А советы свои оставить. Можем мы уйти? *(Подходит к Лизе. Она встает и берет его за руку.)*

Судебный следователь.

Очень сожалею, что должен задержать вас...

Каренин удивленно оборачивается.

О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же. Входит грязный, опустившийся Федя.

Федя (обращается к Лизе и Каренину).

Лиза, Лизавета Андреевна, Виктòр. Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват... Простите, простите...

(Кланяется им в ноги.)

Судебный следователь.

Прошу вас отвечать на вопросы.

Федя.

Спрашивайте.

Судебный следователь.

Ваше имя?

Федя.

Ведь вы знаете.

Судебный следователь.

Прошу вас отвечать.

Федя.

Ну, Федор Протасов.

Судебный следователь.

Ваше звание, года, вера?

Федя (молчит).

Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.

Судебный следователь.

Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.

Федя.

Ну, коли не совестно, извольте. Звание — кандидат, года — 40, веры — православной. Ну-с, дальше?

Судебный следователь.

Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?

Федя.

Наверно нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.

Судебный следователь.

Как же вы полицейскому чиновнику показывали [по-]другому?

Федя.

Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что — не помню. Всё это вздор. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. И это бы так и осталось, если б не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.

Судебный следователь.

Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги?

Федя молчит.

Судебный следователь.

Вы получали через Симоно[ва] посылаемые вам в Саратов деньги?

Федя молчит.

Судебный следователь.

Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам и им. Так как же?

Федя (молчит и потом).

Ах, господин следователь, как вам не стыдно. Ну, что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть и, чтоб показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячи раз лучше вас.

Судебный следователь.

Прошу вас...

Федя.

Нечего просить. Я скажу всё, что думаю. *(Письмоводителю.)* А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. *(Возвышает голос.)* Живут три человека: я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое всё развязывает. Все успокоены. Они счастливы — любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я, негодный, ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по двугривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите, которые вас к себе в переднюю не пустят. Но вы добрались и рады...

Судебный следователь.

Я вас выведу.

Федя.

Я не боюсь никого, потому что я труп и со мной ничего не сделаете; нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.

Каренин.

Мы можем уйти?

Судебный следователь.

Сейчас, подписать протокол.

Федя.

И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.

Судебный следователь.

Уведите его. Я арестую вас.

Федя (к Каренину и Лизе).

Так простите.

Каренин (подходит и подает руку).

Так, видно, должно было быть.

Лиза проходит, Федя низко кланяется.

Занавес .

КАРТИНА 2-я

КАРТИНА 2-я

Коридор в здании окружного суда. На заднем плане стеклянная дверь, у которой стоит курьер. Правее другая дверь, в которую вводят подсудимых. К первой двери подходит Иван Петрович, оборванный, хочет пройти.

ЯВЛЕНИЕ I

Курьер и Иван Петрович.

Курьер.

Куда? Нельзя. Вишь лезет.

Иван Петрович.

Отчего нельзя? Закон гласит: заседания публичны.
Раздаются аплодисменты.

Курьер.

А вот нельзя, да и всё. Не велено.

Иван Петрович.

Невежа. Не знаешь, с кем говоришь.
Выходит молодой адвокат во фраке.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и молодой адвокат.

Молодой адвокат.

Что вы, по делу?

Иван Петрович.

Нет, я публика. А вот невежда, цербер. Не пускает.

Молодой адвокат.

Да ведь здесь не для публики?

Иван Петрович.

Знаю. Там не пускают. Меня-то можно пустить.

Молодой адвокат.

Погодите, перерыв будет сейчас. *(Хочет уходить, встречает князя Абрезкова.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и князь Абрезков.

Князь Абрезков.

Позвольте узнать, в каком положении дело?

Молодой адвокат.

Речи адвокатов. Петрушин говорит.
Опять аплодисменты.

Князь Абрезков.

Что же, как подсудимые несут свое положение?

Молодой адвокат.

С большим достоинством, особенно Каренин и Лизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и говорит Петрушин.

Князь Абрезков.

Ну, а Протасов?

Молодой адвокат.

Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Ну, это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен: перебивал несколько раз и прокурора и адвоката. В како[м-то] особенном возбуждении.

Князь Абрезков.

Какой же результат полагаете?

Молодой адвокат.

Трудно сказать. Состав присяжных смешанный. Во всяком случае предумышленности не признàют, но все-таки...

Выходит господин, князь Абрезков двигается к двери.

Вы хотите пройти?

Князь Абрезков.

Да, хотел бы.

Молодой адвокат.

Вы князь Абрезков?

Князь Абрезков.

Я.

Молодой адвокат (к курьеру).

Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный. *(Пропускает князя Абрезкова.)*

Дверь отворяется и виден говорящий адвокат.

ЯВЛЕНИЕ IV

Курьер, молодой адвокат и Иван Петрович.

Иван Петрович.

Аристократы! Я аристократ духа. А это выше.

Молодой адвокат.

Ну, уж извините. *(Проходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Курьер, Иван Петрович и Петушков поспешно идет.

Петушков.

А, здравствуй, Иван Петрович. Что дело?

Иван Петрович.

Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.

Курьер.

А вы не шумите тут. Тут не кабак.

Опять аплодисменты, отворяются двери, выходят адвокаты, зрители: мужчины и дамы.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, дама и офицер.

Дама.

Прекрасно. Прямо до слез довел.

Офицер.

Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же. Отворяется другая дверь, выходят подсудимые, сначала Лиза и Каренин, и проходят по коридору, за ними Федя, один.

Те же и Петрушин, адвокат, толстый, румяный, оживленный подходит.

Дама.

Тише. Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
Дама и офицер проходят.

Федя (подходит к Ивану Петровичу).

Принес?

Иван Петрович.

Вот он. *(Подает что-то.)*

Федя (прячет в карман и хочет итти; видит Петушкова).

Глупо, пошло. Скучно. Скучно. Бессмысленно. *(Хочет уходить.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Петрушин.

Ну, батюшка, дела наши хороши, только вы в последней речи не напортите мне.

Федя.

Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.

Петрушин.

Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж всё дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили, что если вас судят, так только за то, что вы *не* совершили самоубийства, то есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому и церковному.

Федя.

Я ничего не скажу.

Петрушин.

Отчего?

Федя.

Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите: в худшем случае что может быть?

Петрушин.

Я уже говорил вам: в худшем случае ссылка в Сибирь.

Федя.

То есть кого ссылка?

Петрушин.

И вас и вашей жены.

Федя.

А в лучшем?

Петрушин.

Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.

Федя.

То есть они опять меня свяжут с ней, то есть ее со мной?

Петрушин.

Да, уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только. Главное, ничего лишнего. Ну, впрочем... *(Замечая, что их окружили и слушают.)* Я устал, пойду посижу, и вы отдохните, пока присяжные совещаются. Главное, не робеть.

Федя.

И другого не может быть решения?

Петрушин (уходя).

Никакого другого.

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, кроме Петрушина, и судейский.

Судейский.

Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.

Федя.

Сейчас. *(Вынимает пистолет и стреляет себе в сердце. Падает. Все бросаются к нему.)* Ничего, кажется, хорошо. Лизу...

ЯВЛЕНИЕ X

Выбегают из всех дверей зрители, судьи, подсудимые, свидетели. Впереди всех Лиза. Сзади Маша и Каренин и Иван Петрович, князь Абрезков.

Лиза.

Что ты сделал, Федя? Зачем?

Федя.

Прости меня, что не мог... иначе распутать тебя... Не для тебя... мне этак лучше. Ведь я уж давно... готов...

Лиза.

Ты будешь жив.

Доктор нагибается. Слушает.

Федя.

Я без доктора знаю... Виктòр, прощай. А, Маша, опоздала... *(Плачет.)* Как хорошо... Как хорошо... *(Кончается.)*

Занавес.

Планы и варианты

«Живой труп»

Планы, заметки

№ 1 (рук. № 1).

1 акт

1 карт[ина]

1 я[вление]. Лиза с М[арьей] В[асильевной] говорят о муже и о Карен[ине].

2 я[вление]. Каренин. Лиза уходит. Разговор с М[арьей] В[асильевной]. Она намекает на любовь.

3 я[вление]. Приход[ит] Лиза. Всё рассказывает, Кар[енин] вызывается ехать. Уходит.

4 я[вление]. М[арья] В[асильевна] с Лизой. Говорит ей о любви Кар[енина].

2 карт[ина]

Цыгане.

1) Федя пляшет. 2) Каренин. Слушает. Запивает вином — веселье. Стыд. Обещает приехать. Цыганка уложит его спать.

2 акт

1 карт[ина]

1) Карен[ина] мать с добрым Бут. обсуживают судьбу сына. Его желание жениться на развед[енной], рассказывает, что муж дал развод. Подозрения, что жена замешан[а?] Б. защищает. —

2) Приходит сын. Горячится, защищает. Мать говорит — ты можешь сделать это, но погубишь меня. *Если бы это б*[*ыла*] *вдова.*

2 карт[ина]

1) Федя в трактире с Афр[осимовым] пьют. Денег нет. Не говорит о жене.

2) Приходит Лиза. Уговаривает его не давать развод, вернуться. Мать не согласится на разведенной. Я все-таки дам, чтобы ты б[ыла] свободна. Напивается. Признается, что любит.

3 акт

1 к[артина]

Кар[енин]. Лиза.[27] Идут смотреть труп, т[ак] к[ак] муж утонул. Она просит не говорить.

2 к[артина]

Федя[28] сидит в номерах. Ходит ночью смотреть свой дом.

Они счастливы. Ему хорошо. Он ревновал и победил. Пьет.

4 акт

1 к[артина]

После сватьбы. Они счастливы, мать примирилась. Она говорит, что любит память. Он тоже.

2 карт[ина]

Трактир. Федя пьет с гением и рассказывает всю историю. Полицейский вмешивается.

5 акт

1 к[артина]

Суд. Чтение приговора. Ссылка. Он приходит выпивший и говорит, что он свой суд сделал и теперь сам убьет себя.[29] Вы играете, а тут жизнь — убивает себя.

№ 2 (рук. № 2).

1) У Лизы.
2) У цыган.
3) У Лизы. Больн[ой] реб[енок].
4) У Афре[мова]. Саша.
5) У Каренин[а].
6) В гостинице. Федя, Ма[ша].
7) В ресторане.
8) На берегу.
9) На железн[ой] дороге.

Конспект драмы «Живой труп»
Уменьшено
10) <На свидетель[ствовании]>.
10) На даче. Извести[е].
11) Свидетельств[ование трупа].

12) В трактирах пье[т]. Труп.
13) Счастливые супр[уги] в деревне. Извести[е].
14) Судебн[ое] сл[едствие].
15) Суд.

№ 3 (рук. № 3).

1) У <Назаров> Лизы.
2) У цыган.
3) У <Назар> Лизы. Больн[ой] реб[енок].
4) У Афр[емова].
5) У Карен[ина].
6) В гостинице.
7) На даче ждут.
8) Ресторан.
9) На берегу.
10) На жел[езной] дор[оге].
11) Свидетельство в полиции.
12) В трактире. Труп.
13) В деревне.
14) Судеб[ное] след[ствие].
15) Окр[ужной] суд.

№ 4 (рук. № 3).

1 действие. *1-я картина*. Теща и сестра — говорят о совершенном разрыве. Приезжает Кар[енин]. Она посылает его с письмом. Ссора дочери с матерью.

2-я карт[*ина*] (2). Ф[едя] у цыган. Приезжает Кар[енин]. Он отказывается. Пляска.

2 действие. 1 картина (3). Больной ребенок выздоров[ел]. Сближение с Кар[ениным]. Саша недовольна. Мать рада.

2 карт[*ина*]. (4). <В гостинице.> У Афр[емова] после скачек. Саша. Отказ.

3 действие. *1 карт*[*ина*] (5). Ан[на] Дм[итриевна] Кар[енина] и Абр[езков]. Приезжает Лиза...

2 карт[*ина*] (6). Номер. Нужда. Долги. Маша. Ее родители. Абр[езков] — отказ.

4 действие. 1 карт[*ина*]. (7). В ресторане. Гений. Готовится убить. Маша. Придумывает обман.

2 картина. (8). На даче. Кар[енин] с Лизой жених и невеста. Саша возмущена.

5 *действие*. *1 к*[*артина*]. (9). Маша уведомляет город. Толпа. Ищут тело.

2 к[*артина*]. (10). М[аша] плачет. Л[иза] ревнует и признает.

5 действие. 1 карт[*ина*]. (11). Трактир. Петушков. Я труп. Городовой.

2 карт[*ина*]. (12). В деревне ребенок. Приезд Кар[енина]. Его мать. Саша признает, что она любит.

6 действие. *1 карт*[*ина*]. (13). У следователя.

2 к[*артина*]. (14). Комната свидет[елей].[30]

№ 5 (рук. № 4).

Ф[едя] говорит:

Какая странная вещь жизнь! Зачем всё это так? Зачем я на ней женат? Зачем Маша? Зачем эта трещина в штукатурке. Всё это могло бы быть иначе, совсем иначе: и это солнце и это мое тело. Почему именно так? А на сколько разных манеров всё это могло бы быть! Удивительно. Странно! Там совсем по-иному. И вот узнаю. Да, узнаю...

.....
.....

.....
.....

Фу, как напрасно перемучался. Как перед дуэлью. Жалко. Всё даром пропал[о].

«Живой труп»

Варианты

№ 1 (рук. № 5).

ТРУП

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Марья Васильевна Крюкова — девушка за 30 лет, недурная, молодящаяся, быстрая в движениях и речах, сторонница свободной любви, весь интерес жизни всех людей полагающая в влюбленьи.

Няня — 50-летняя свежая, умная старуха, вынянчившая Лизу и оставшаяся при детях. Бойко говорит хорошим русским володимирским языком.

Лиза — изящно скромная в приемах и одежде 30-летняя женщина, слабая, нежная, впечатлительная и наивная.

В[иктор] И[ванович] Каренин — сильный, красивый, свежий лицом, корректный 30-летн[ий] человек, говорящий нескоро и вдумчиво.

Действие происходит в столице.

Действие первое.

Уютная богатая гостиная. Две двери.

ЯВЛЕНИЕ I.

Входит Марья Васильевна.

Марья Васильевна (оглядывается).

Лиза. *(Ждет. Идет к другой двери.)* Это я, Лиза! *(Пожимает плечами.)* Няня! Кто у вас дома?

[ЯВЛЕНИЕ II.]

Выходит няня.

Няня.

Лизавета Александровна вышли. Здравствуйте, Марья Васильевна. Вышли, вышли.

Марья Васильевна.

Как же мне сказали, что она дома?

Няня.

Лакей не знает, они задним ходом пошли.

Марья Васильевна.

Куда же она пошла ночью?

Няня (вздыхает).

Так, прогуляться вышли.

Марья Васильевна (вглядывается в лицо няни).

А Федор Васильич?

Няня.

Федор Васильич? Где же ему быть *(вздыхает*). Третью ночь не ночевали.

Марья Васильевна.

Опять?

Няня.

Не глядели бы глаза, измучал ее.

Марья Васильевна.

Куда же она пошла?

Няня.

Его ли искать, или так. Уж это всегда. Как его нет, он закатится, и она всё ходит.

Марья Васильевна.

Как же я ее не встретила?

Няня.

Да она уж с часок как вышла, должно скоро вернется. Посидите. Она рада будет, а то всё одна сердечная. Изболелось сердце на нее глядя. Плохо жене за беспутным мужем.

Марья Васильевна.

Разве он беспутный?

Няня.

А то какой же? Как попали деньги, так и закатился к своим цыганкам.

Марья Васильевна.

Что же у них ничего не было, ссоры?..

Няня.

Какая же от Лизаньки ссора. От нее кроме добра он, кажется, ничего не видал.

Марья Васильевна.

Да ведь он добрый.

Няня.

Это какая же доброта. Обещался, клялся. А теперь вот... *(Слышен звонок. Няня проходит к той двери, из которой вышла.)* Должно она.

ЯВЛЕНИЕ III.

Входит Лиза в кофточке, шляпе, калошах и усталая бросается на кресло.

Лиза.

Нет, это невозможно. Я не могу больше. *(Замечает Марью Васильевну.)* А, Маша. Я ходила погулять. Я рада, что ты зашла. *(Раздевается, отдает няне.)* Возьмите, няня голубушка. Ну что, ты была вчера у Зверевых?

[ЯВЛЕНИЕ IV.

Лиза, Марья Васильевна.]

Марья Васильевна.

Лиза, ведь c'est le secret de la comedie.[31] Я всё знаю. Я знаю, что тебе не до этого, и знаю, то чтò тебя мучает, то и меня мучает. Зачем ты скрываешь. Он опять увлекся?

Лиза.

Увлекся. *(Сразу начинает рыдать.)*

Марья Васильевна.

Лиза! полно. Ведь нет никакой причины... отчаиваться...

Лиза, не отвечая, отрицательно качает головой.

Если бы он тебя не любил. А то ведь ты знаешь, что он весь твой, что это только временно un entrainement passager.[32] Ведь наверно его завлек[ли], и он не мог удержаться. Верно опять[33] Афросимов.

Лиза утвердительно кивает головой.

Всё это вино. Как? А он такой мягкий, добрый.

Лиза (успокоившись).

Зачем же вино, это ужасное вино. Зачем лишать себя человеческого образа...

Марья Васильевна.

Да, но ведь ты сама говорила, что он особенно мил, когда выпьет.

[Лиза.]

Я знаю это. И, что ужасно, я знаю, что он мучает [*1 неразобр.*] и напрасно и только когда выпьет, забывает всё. Но зато потом он забывает и меня и всё. Я не знаю, что он может сделать. Я почти уверена, что он изменяет мне.

Марья Васильевна.

Вот уж ни за что. И потом мне Миша рассказывал, цыганка только заманивает.

Лиза.

Да, но знать, что мой муж обнимает чужих женщин...

Марья Васильевна.

Они все та[кие]. Да зачем думать того, чего может быть нет. Дело в том, что надо бы теперь найти его.

Лиза.

Ах, есть ли, нет ли... Мне его ужасно жалко. Знаю я, как он будет раскаиваться, мучаться.

Марья Васильевна.

Да что, сердце у него золотое.

Лиза.

И теперь я бог знает что дала бы, чтобы найти его и напомнить о себе. Я хотела ехать к цыганам, но ведь это ужасно оскорбительно.

Марья Васильевна.

Кому?

Лиза.

И мне, и ему, и всем. Ах, это ужасно.

Марья Васильевна.

Знаешь что? Ведь я нынче дала rendez-vous[34] у тебя Каренину Виктору Ивановичу. Он сейчас придет. Скажи ему и пошли его.

Лиза.

Во-первых, я не могу принять его, а во-вторых, зачем я ему, чужому человеку, открою[35] всё свое унижение.

Марья Васильевна.

Он тебе меньше чужой, чем кто бы то ни было. Он любит тебя.

Лиза.

Перестань глупости. Если бы это и было, то raison de plus[36] не говорить ему.

Марья Васильевна.

Говори, не говори, он знает. И он один из тех людей твердых, даже холодных, но таких, которые раз полюбили, и полюбили той чистой...

Лиза.

Я прошу тебя не говорить мне про это. Муж мой может... одним словом: мне, больше чем когда-нибудь, хочется, нужно быть безупречной перед мужем, а говорить про то, про что ты говоришь, слушать это, мне стыдно, и я чувствую, что это дурно.

Марья Васильевна.

Ну, я очень жалею, что сказала тебе про это. Envisagez mes paroles comme non avenues,[37] а я просто предлагаю тебе обратиться к Каренину, как к вашему общему хорошему знакомому, товарищу и другу Федора Васильевича.

Лиза.

Обратиться в чем?

Марья Васильевна.

Просить его съездить сыскать Федю и повлиять на него.

Лиза.

Почему он?

Марья Васильевна.

А, во-первых, потому, что он имеет больше всех на него влияние *(звонок),* и, во-вторых, потому, что он тут.

Лиза.

Ты думаешь, что он может найти и привезти его?

Марья Васильевна.

Я уверена.

[ЯВЛЕНИЕ V.]

Горничная (входит и докладывает).

Каренин, Виктор Иванович.

Марья Васильевна (к Лизе).

Просить?

Лиза.

Проси. *(К Марье Васильевне.)* Ты проси его, а я сейчас пройду к себе. Я растрепана и глаза заплаканы.

Марья Васильевна.

Я поговорю с ним.

Лиза.

Не знаю, хорошо ли это.

(Уходит.)

[ЯВЛЕНИЕ VI.]

Марья Васильевна одна. Потом входит Каренин.

Каренин (оглядывается, здоровается).

А Лизавета Петровна?

Марья Васильевна.

Она дома, не совсем здорова.

Каренин.

Что же с Лизаветой Петровной? Что-нибудь серьезное?

Марья Васильевна.

И да, и нет. Я вам, как другу дома, скажу всё. J'y suis autorisée.[38] Она расстроена и почти больна от Феди.

Каренин.

А что? Неужели опять?

Марья Васильевна.

Да, вторые сутки его нет и, что хуже всего, деньги, которые он взял для выкупа серебра, 700 р., с ним — были, по крайней мере.

Каренин.

Ах, боже мой, боже мой! Ну и что же теперь?

Марья Васильевна.[39]

Лиза думает, что он у цыган, и думает, что если бы ему напомнить, остановить, он бы вернулся. Она, главное, хочет избавить его от раскаяния [?].

Каренин.

Как это на нее похоже. Среди страданий, причиняемых ей другим человеком, видеть только его страдания.

Марья Васильевна.

Я подала ей мысль просить вас поехать. Она несогласна на это.

Каренин.

Я, разумеется, буду только счастлив... *(в это время входит Лиза)* буду только счастлив, если могу служить вам. *(Подходит и целует ее руку.)*

ЯВЛЕНИЕ [VII.]

Лиза, Марья Васильевна, Каренин.

Лиза.

Я не хотела этого, но мне очень тяжело, а вы так добры.

Каренин.

Повторяю, что я счастлив, истинно был бы счастлив, если бы дело не было такое тяжелое для вас... что могу быть чем-нибудь и показать мою преданность. Дело же это, как мне сказала Марья Васильевна, близко и мне. Он мне тоже дорог, и я никогда не переставал любить его, а потому помочь ему для меня лично радость. Но простите меня. Это дело и для дела нужно знать все его условия. Что он? Где он? Что вы знаете. Скажите мне. И сейчас лечу и je tournerai ciel et terre[40] и сделаю всё, всё, что могу.

Лиза.

Ах, как это больно! Как трудно.

Каренин.

Не торопитесь. *(Берет альбом, смотрит.)* Я слушаю.

Лиза.

Ну вот. Вы ведь знаете его. Это было еще до праздников, был такой период, и он так много истратил денег, что надо было занять, и мы заложили разные вещи.

Марья Васильевна.

То есть твои бриллианты.

Лиза.

Всё равно, чтò заложили. Но только на днях получили деньги, и он третьего дня поехал выкупать. Только что он выходит, навстречу этот ужасный Паша Афросимов.

Каренин.

Для меня вечная загадка, как такой тонкий, умный, поэтический человек, как Федя, может водиться с такими людьми, как этот Паша.

Лиза.

А вот водится, и этот ужасный Паша имеет на него влияние.

Каренин.

Удивительно.

Лиза.

Когда они встретились, я подумала, но что же я могла сделать. И так и вышло. К обеду нет, вечером нет. Наконец привозит извощик записку — пишет, чтоб я не беспокоилась, что он может быть поедет за город. И другой день, и третий, и его нет. Следы, которые мы имеем, это то, что няня узнала от извощика, что он у цыган.

Каренин.

А много было денег?

Лиза.

Тысяча триста рублей. Но деньги — бог с ними. Я всего боюсь. Неужели вы поедете?

Каренин.

Сейчас, сию минуту. *(Встает.)* Если бы вы знали, как вы, ваше семейство близко мне. Прощайте. Во всяком случае извещу вас, нынче до которого часа?

Марья Васильевна.

Я буду у нее до часа. И до часа мы ждем вас.

Каренин.

Или завтра. *(Целует руку, уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ [VIII.]

Лиза, Марья Васильевна.

Марья Васильевна.

Не понимаю, не понимаю, как страдать от человека, который меняет тебя на цыганок, и знать, что есть такой человек, как Анатолий Каренин — честный, благородный 30-летний ребенок, умный, твердый и весь отдавшийся тебе душой и телом, и отталкивать его. Ведь он любит тебя первой и единственной любовью.

Лиза.

Что же мне за дело.

Марья Васильевна.

Лиза, ты ведь любишь его.

Лиза (озлобленно).

Как ты можешь говорить этакие глупости, гадости. Я люблю Федю, и для меня нет других, как же я могу любить его.

Марья Васильевна.

Всё равно что сказать, что я люблю апельсины, как же я могу любить атлас. Я люблю и апельсины и атлас. Ты любишь его.

Лиза.

Маша, мы поссоримся, если ты будешь говорить это.

Марья Васильевна.

А я говорю, что любишь и хорошо делаешь.

Лиза (озлобленно).

Как ты можешь говорить такие гадости и пакости. И за что ты мучаешь меня. Мне и так тяжело. *(Убегает в слезах.)*

Марья Васильевна пожимает плечами и улыбается.

Занавес .

КАРТИНА 2-я

[ЯВЛЕНИЕ I.]

Комната у цыган. Хор поет цыганскую песню (Романс). Федя сидит у стола (на столе шампанское и стаканы). Паша на полу, два офицера и музыкант у стола записывает.

Федя (к музыканту).

Не запишешь, нельзя. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. Живо, чавалы! *(Вскакивает и делает выходку.)*

Цыгане и одобрительно улыбаются и, продолжая петь, хлопают. Садится. Песня кончается.

Цыган.

Ай да Федор Васильевич, настоящий цыган.

Федя.

Матреша! Ночку. Хочу Ночку, хочу плакать. *(Махает руками, плачет.)* Ну что ваш Бетховен.

Паша (берет гитару).

Теперь мою. *(Поет в два голоса.)*

Федя (подсаживается к Маше, облокачивает ей о плечо голову).

Это глупости — только портит впечатление.

Маша.

Что же, пускай поют. Что же, купите цветочков, а то дайте.

Федя.

И это отлично! Прямо, грубо, честно. *(Вынимая из кармана штанов.)* На, на. *(Песня кончается.)* Ну отдохните.

Цыгане, цыганки уходят, остаются парочки. Паша с Матрешой, офицер с Гашей, музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

И зачем может доходить человек до этого восторга, а не может продолжать его. Ах, хорошо! Хорошо тебе? Ну поцелуй.

[ЯВЛЕНИЕ II.]

Те же. Входит цыган.

Цыган (к Феде).

Вас барин спрашивает.

Федя.

Какой барин?

Цыган.

Барин хороший (барорай).

Федя.

Ну что же, зови.

Цыган.

Просит вас одних. Чтоб вы вышли.

Федя.

Ладно. Да вы здесь оставайтесь. А наши уйдут.

Говор по-цыгански. Все уходят.

Ну и прекрасно. Передохните и потом всю пляску сначала, а потом спать. Зови.

[ЯВЛЕНИЕ III.]

Входит Каренин в шубе (оглядывается строго).

Федя.

А, Анатолий! Вот кого не ждал. Вот ты говоришь цыгане не музыка, спроси Кроля. Нет, вы спойте ему[41] Ночку.

Каренин.

J’ai à vous parler sans témoins.[42]

Федя.

О чем? Говори. Это всё друзья. Снимай, снимай.

Каренин.

Je viens de chez vous. Votre femme m’a chargé.[43]

Федя.

Ну, уйдите, уйдите... *(хмурится).* Почему ты? И что ты?

Каренин.

Я ни за что бы не позволил себе вмешиваться в твое семейное дело.

Федя.

Я думаю — именно.

Каренин.

Да, да, но я приехал вечером и застал Лизавету Петровну больную, несчастную, а Марья Васильевна была там и она сделала, может быть, нескромность, сказав мне, но она сказала, и Лизавета Петровна просила меня. Я не мог отказать.

Федя (слушает молча, глядя ему в лицо).

Я все-таки не понимаю...

Каренин.

Послушай, Федя, тут дело не во мне и в тебе. Меня ты знаешь, я весь отдаюсь тебе. Если тебе неприятно мое вмешательство, прости меня *(дрожащим голосом),* дело не во мне и в тебе, а в ней. Она ужасно страдает. А ты любишь ее, ты добр — Федя, поедем.

Федя.

Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня не трудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. Но что же делать? Что же делать? Ты видишь меня, какой я теперь. Как мне ехать к ней.

Каренин.

Так поедем ко мне. Заснешь.

Федя.

А завтра что? Как я приду к ней. Ах, какой я негодяй.

Каренин.

Все-таки поедем со мной.

Федя.

Сейчас не могу. Побудь здесь полчаса и потом поедем. Я обещал тут.

Каренин.

Как ты можешь что-нибудь ставить наравне с тем, что там, что она страдает.

Федя.

Ну, довольно. Не могу. Теперь. Если бы я тебя слушал, я бы у тебя же повесился. Теперь мне надо забыться. Я приеду, даю честное слово, через два часа я буду у тебя. Маша! *(Входит цыганка.)* Через два часа живого или мертвого отправьте меня к нему, Каренину, Тверской бульвар.

Маша.

Мы знаем.

Федя.

А теперь Лён *(пьет).* Ты послушай.

Цыгане сходятся и начинают петь, во время песни Каренин уходит.

[ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же без Каренина.]

Федя.

Чудесно. Обходи с гитарой. *(Оглядывается.)* Удрал Каренин. Ну, чорт с ним. Обходи нас. *(Кидает деньги.)*

Цыгане разбредаются.

(Садится с Машей.) Ты знаешь, кто это?

Маша.

Слышала фамилию.

Федя.

Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она мучается. Она меня, дурака, всё любит, а я вот что делаю.

Маша.

Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя.

Маша, ты пойми, как это бывает. Этот Каренин ее любил девушкой, и он лучше меня в сто раз, а она меня, дурака, полюбила.

Маша.

Любовь не спрашивается.

Федя.

А ты почем знаешь?

Маша.

Должно знаю.

Федя.

Ну, поцелуй меня. Чавалы. Еще «Лён» и тогда шабаш.

Начинают петь.

Ах, хорошо. Кабы только не просыпаться, так бы помереть.

Занавес .

Действие 2.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Кн. Абрезков — 60-летний элегантный холостяк. Бритый с усами. Старый военный, с большим достоинством и грустью.

Ан[на] Дм[итриевна] Каренина — мать Виктòра, молодящаяся 50-летняя grande dame. Перебивает речь французскими словами.

Лиза.

Федя.

Лакей.

[КАРТИНА 1.]

Кабинет Анны Дмитриевны. Роскошно скромный, полон сувениров.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анна Дмитриевна пишет письмо. [Входит] лакей.

Лакей.

Князь Сергей Дмитриевич.

Анна Дмитриевна.

Ну, разумеется. *(Оборачивается и поправляется перед зеркалом)*.

ЯВЛЕНИЕ II.

Князь Абрезков (входя).

J’espère que je ne force pas la consigne.[44] *(Целует руку.)*

Анна Дмитриевна.

Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu.[45] А теперь, нынче особенно.

Князь Абрезков.

Всё Виктòр?

Анна Дмитриевна.

Ах, я начинаю отчаиваться. Il est ensorcelé, positivement ensorcelé.[46] Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне.

Князь Абрезков.

Но что же именно, как стоит дело?

Анна Дмитриевна.

Хочет жениться, муж дает развод, он идет на это, и вся эта грязь, адвокаты, вину на себя. Tout ça est dégoutant.[47] И это он, Виктòр, который так чуток на всё грязное. Это не отталкивает его. Я не понимаю.

Князь Абрезков.

Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...

Анна Дмитриевна.

Да, но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбой, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.

Князь Абрезков.

Благодарствуйте, Анна *(целуя ее руку).* Что делать? Теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями, la possession de l'âme ne leur suffit plus. Ils veulent posseder.[48] Что делать. Но в чем же теперь дело?

Анна Дмитриевна.

Он настоял на том, чтобы я приняла ее и нынче *(смотрит на часы)* во 2-м часу, стало быть, сейчас, должна приехать. Я обещала Виктòру принять, но понимаете, что уже это ее посещение связывает меня, укрепляет его.

Князь Абрезков.

Вы совсем не знаете ее?

Анна Дмитриевна.

Никогда не видала. Но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа. И говорят, очень хорошего человека. И войти в семью против воли, нарушить всё счастье. Чего я не понимаю, так это как может Виктòр с своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной. Сколько раз — недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод несогласен с истинным христианством, и теперь сам идет на это. Если она могла его так charmer à un tel point,[49] я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, и всё только сама говорю. Что вы думаете? скажите. Что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Виктòром?

Князь Абрезков.

Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее, привык любить так, любовь эта взяла такую власть над ним — а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет и без нее и с другой счастлив быть не может.

Анна Дмитриевна.

А как Маша Казанцева пошла бы за него. И какая девушка и как любит...

Князь Абрезков (улыбаясь).

C’est compter sans son hôte.[50] Это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.

Анна Дмитриевна.

На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына и такого сына?

Князь Абрезков.

Женщина она несчастная, но очень хорошая. Я и встречал ее, и знаю ее по племяннице Нелли. Она дружна с ней. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.

Анна Дмитриевна.

Нравственная женщина, которая решает[ся] бросить мужа.

Князь Абрезков.

Я не узнаю вас. Вы недобры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал всё свое состояние, всё ее состояние — у нее ребенок — человек просто несчастный. Он возьмет деньги, чтоб заплатить в банк, кидает и прокучивает их где-то с приятелями. Мало того, как только он напьется, так он делает ей неверно[сти].

Анна Дмитриевна.

Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.

Князь Абрезков.

Анна! А ваша религия?

Анна Дмитриевна.

Да, да, прощение. «Как и мы оставляем должн[икам] нашим». Mais c’est plus fort que moi.[51]

Князь Абрезков.

Ну как же ей жить с таким человеком. Если бы она и не любила другого, она должна бы была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда он в своем уме, советует ей это сделать...

[ЯВЛЕНИЕ III.]

Те же и лакей.

Лакей.

Лизавета Андреевна Протасова.

Марья Дмитриевна.

Просите. *(К кн. Абрезкову.)* Нет, вы останьтесь.

[Лакей уходит.]

[ЯВЛЕНИЕ IV.]

Марья Дмитриевна, Абрезков.

Князь Абрезков.

Я думал вам легче en tête-à-tête.[52]

Марья Дмитриевна.

Нет, я боюсь. *(Суетится.)* Если я захочу остаться с ней tête-à-tête, я кивну вам. Ça dépendra...[53] <Я мигну вам.> А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.

Князь Абрезков.

Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.

Марья Дмитриевна.

Как вы все против меня.

ЯВЛЕНИЕ [V.]

Входит Лиза в шляпе, в визитном платье.

Марья Дмитриевна (приподнимаясь).

Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.

Лиза.

Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.

Марья Дмитриевна.

Вы знакомы? *(указывает на князя Абрезкова).*

Князь Абрезков.

Как же, я имел честь быть представлен. *(Shake hands.*[54] *Садятся.)* Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.

Лиза.

Да, мы дружны были очень. *(Оглядывается робко на Марью Дмитриевну.)* И теперь дружим. *(К Марье Дмитриевне.)* Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.

Анна Дмитриевна.

Я знала хорошо вашего мужа. Он[55] был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.

Лиза.

Да, мы там женились.

Анна Дмитриевна.

А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.

Лиза.

Да он нигде почти не бывает.

Анна Дмитриевна.

И не познакомил меня с вами.

Неловкое молчание.

Князь Абрезков.

Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. <Вы помните.> Очень было мило. И вы играли.

Лиза.

Нет... да... как же, помню. Я играла. *(Опять молчание.)* Марья Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала потому, что Виктор Александрович сказал... потому, что он, т. е. потому что вы хотели меня видеть... Но лучше всё сказать... *(Всхлипывает.)* Мне очень тяжело... а вы добры.

Князь Абрезков.

Да, я лучше уйду.

Анна Дмитриевна.

Да, уйдите. До свиданья.

[Князь Абрезков] прощается с обеими женщинами и уходит.

[ЯВЛЕНИЕ VI.

Анна Дмитриевна, Лиза.]

Анна Дмитриевна.

Послушайте, Лиза, не знаю да и не хочу знать, как вас по отчеству.

Лиза.

Андреевна.

Анна Дмитриевна.

Ну, всё равно — Лиза. Мне вас жаль, вы мне симпатичны. Но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей

чистотой, своей нравственной высотой, и он соблюдал ее. Он чист, как девушка.

Лиза.

Я знаю.

Анна Дмитриевна.

Он никого женщин не любил. Вы первая. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы, матери — у вас еще маленький, вам рано — мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать. Но отдать такой же чистой, как он...

Лиза.

Я... Разве я.

Анна Дмитриевна.

Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастны. И я его знаю. Теперь он готов всё перенести и перенесет и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.

Лиза.

Я думала об этом.

Анна Дмитриевна.

Лиза милая. Вы умная, хорошая женщина, если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться — хотя он не скажет, никогда не скажет.

Лиза.

Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что ж я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня. Я говорила: будем друзьями, но устройте себе свою жизнь, не связывая свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.

Анна Дмитриевна.

Да, теперь не хочет.

Лиза.

Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я любила его для его, а не для своего счастия. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе любя искать его блага.

Анна Дмитриевна.

Да, да, я полюбила вас. *(Целует ее. Лиза плачет).* Но все-таки, все-таки это ужасно. Если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.

Лиза.

Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастию друга.

Анна Дмитриевна.

Ах, как это всё тяжело. Но всё будем любить друг друга и бог поможет нам найти то, что мы хотим.

[ЯВЛЕНИЕ VII.]

Виктор (входя).

Мама милая. Я всё слышал. Я ожидал это, вы полюбили ее. И всё будет хорошо.

Лиза.

Как мне жалко, что вы всё слышали. Я бы не говорила...

Анна Дмитриевна.

Все-таки ничего не решено. Я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была *(целует ее).*

Виктор.

Пожалуйста только не меняйтесь.

Занавес .[56]

КАРТИНА 2-я.

Номер в гостинице.

[ЯВЛЕНИЕ I.]

Федя[57] *(один лежит на диване, читает и курит. Останавливается и смотрит, изредка проговаривает:)* Скверно! Очень скверно! Ну что же можно... Скверно.

За дверью раздается фортепьяно и пение.

[ЯВЛЕНИЕ II.]

Входит Афросимов.

Афросимов.

Искал, искал тебя как иголку в стогу. Какая тебя нелегкая сюда занесла. Спасибо чавалы сказали, где ты, а то бы в жизнь не нашел.

Федя.

Незачем искать было. Я нарочно ушел.

Афросимов.

Вот вздор. От приятеля ушел. От меня не уйдешь. Везде с тобой, в огонь и в воду.

Федя.

Да ты уже выпил?

Афросимов.

Чего же дожидаться. Сейчас и ты выпьешь. Эй. *(Звонит.)* Если только тут достать. Ну нашел местечко. Это только пьяные актеры тут могут жить. *(Входит лакей.)* Коньячку финьшампань, сыру и еще чего-нибудь. Да не здешнего, а возьми извощика моего и поезжай к Генералову, слышишь? На, и марш. [*(Лакей уходит.)*] Ну теперь рассказывай.

Федя.

Да что рассказывать. Скверно. Совсем ослаб.

Афросимов.

Ведь мы с тобой не видались с тех пор, как за тобой тогда Каренин приезжал.

Федя.

С тех пор и пошло скверно. Приехал домой. Опять каяться, опять сознание своей пакости и ее достоинств. Деньги все тогда ухлопал, потом, не прошло недели, приехал Демин, поехали обедать, ввечеру опять у цыган. Продал часы, портсигар и не поехал домой, не могу. Скверно.

Афросимов.

А Маша что, бегала к тебе?

Федя.

Машка удивительная натура, как петь стала.

Афросимов.

Еще бы, превосходно.

Федя.

Нет, ты не слыхал, что она теперь делает. Это удивленье. И как меня такого, каким я есть, любит. От своих цыган бегает, понимаешь? Готова сейчас на всё. Говорит убегу из хора, ничего мне не нужно. И пить мне не дает. Поддерживает меня, настоящим манером любит.

Афросимов.

Ну, а хор что?

Федя.

Ругаются. Денег у меня ведь нет...

Афросимов.

Да что же ты будешь делать?

Федя.

Я? Да ничего. Что выйдет, то и будет. Одно знаю, что к жене не пойду и ее губить не буду.

[ЯВЛЕНИЕ III.]

Лакей входит.

Лакей.

Дама[58] к вам, барин.

Федя.[59]

Не цыганка?

Лакей.

Нет, настоящая дама.

Федя.

Ну веди *(прибирает номер).* Кто бы это мог быть.

Афросимов.

Сердцеед. Какая-нибудь Паша.

Федя.

Нет, брат, этим я не грешен. Кроме Маши никого.

[ЯВЛЕНИЕ IV.]

Входит Лиза.

Афросимов (уходит).

Лиз[авете] Андр[еевне] мое почтение. Вот и я его только нашел.

Лиза (холодно).

Нашли? *(К мужу.)* Федя! Я последний раз к тебе. Я не могу так расстаться с тобой. Федя, не думай, что нет возврата. Забудем всё, пойдем.

Федя.

Лиза,[60] не искушай меня, ты свободна. Мало того, что свободна. Я знаю, он любит тебя. Выходи за него. Зачем мне томить тебя. Я не пойду. Это верно, верно, верно.

Лиза.

Федя.

Федя.

Не Федя, а Федор Михайлович, а вы Лизавета Андреевна. Прощайте. И дай бог вам всего хорошего, искренно любо[вной] жи[зни], прощайте. *(Отворяет ей дверь.)*

Она уходит.

Федя (один).

Так и надо. Вот это так.

[ЯВЛЕНИЕ V.]

Входит лакей с бутылкою и закуской.

Федя.

Конец отрезал и запечатал. Ну, давай — выпьем.

Лакей.

Теперь не дама, а цыганочка.

Федя.

Зови, зови.

[ЯВЛЕНИЕ VI.]

Федя, Афросимов, Маша.

Маша.

Опять. А обещал! Что же это, Федя, нехорошо.

Федя (целует ее).

Ну, после будет хорошо. Садись. Пей.

Маша.

Ты знаешь, не пью. А вы что М. Ф. всё его сбиваете, грех вам. *(Садится и качает головой.)*

Федя (поет).

Маша, споем.

Маша.

Некогда, я за делом зашла.

Федя.

Ну какое же дело?

Маша.

Да вот вы выдьте, М. Ф. *(Афросимов уходит.)* Знаю, что у тебя денег нет, так вот возьми пока *(подает ему деньги).*

Федя.

Ах дура. Да я издохну, у тебя не возьму, а тебя зацелую. И божилась и клялась побывать к нему на час. Мишка. Иди. Что она выдумала, денег мне принесла. А, какова?

Маша.

Я пойду.

Федя.

Ну, не обижайся. *(Целует ее.)*

Афросимов.

Эка девка милая.

Федя.

Да что говорить.

Афросимов.

Счастливчик ты.

Федя.

Всё хорошо. Одна пакость. Обещал ей развод дать.

Афросимов.

Кому?

Федя.

Известно жене, а надо на себя вину взять. А пакость лгать, чорт. Ох, не люблю. А надо будет. Маша. Зови ее.[61] Ушла чортова кукла. Милая девочка, милая. Ну, выпьем. И поедем к ним.

Афросимов.

Айда!

Федя одевается.

Занавес .

Действие 3.

Квартира скромная, постель, письменный стол, диван. Федя сидит один за столом и пишет. Откидывается. Думает. Опять пишет. Перечитывает. Улыбается.

Федя.

Верно. Да. *(Опять пишет.)*

В дверь стучат.

Женский голос (из-за двери).

Что ты заперся, Федор Иваныч. Федя. Отопри.

Федя встает, [открывает]. Входит Маша.

Маша.

Что же не пошел на службу?

Федя (удивленно).

Да, на службу. Я и забыл.

Маша.

Ах, голубчик ты мой, что ж ты делаешь это? Ведь они сказали посмотрят, как ты будешь акуратен.

Федя.

Ну, ничего разок. Ну, поцелуй меня.

Маша (целует).

И не стоишь ты того. *(Федя хочет обнять. Маша отталкивает.)* Ну, знаешь что, только по сих пор *(показывает на рот).* Ну, отчего же ты не пошел?

Федя (идет к столу, берет тетрадь).

А вот видишь ли. Я хочу службу бросить.

Маша.

Ну вот. Они и говорят, что не будет.

Федя.

Кто они? Да кто бы они ни были, все они врут. Я, видишь ли, давно уже начал рассказ. Тот, как бишь его, читал. Говорит, немножко поправьте, докончите. Я с радостью 200 р. дам. Ну что ж. На кой чорт служба, когда я могу этим добыть. Вот я и засел. И хорошо выходит. Хочешь прочту.

Маша (щелкает языком и качает головой).

Ходил бы на службу, а это само собой.

Федя.

Не могу. Не могу глупости писать, считать деньги чужие. Да еще нечестные. Не могу.

Маша.

Всё меняется. Ну как же от меня денег брать не хотите, а сами не зарабатываете. Как же нам быть? Разойтись видно.

Федя.

Вздор говоришь. Перестань. Слушай лучше, как я травил лисицу.

Маша.

Очень мне нужна твоя лисица. Чорт с ней. Если бы ты меня любил, ты бы не бросал место. Сто рублей в месяц всё жить можно. А то что, лисицу какую-то. И зачем я тебя полюбила.

№ 2 (рук. № 7).

ТРУП.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Марья Васильевна Крюкова — девушка за 30 лет, недурная, молодящаяся, быстрая в движениях и речах, сторонница свободной любви, весь интерес жизни всех людей полагающая в влюбленьи.

Няня — 50-летняя свежая, умная старуха, вынянчившая Лизу и оставшаяся при детях. Бойко говорит хорошим русским володимирским языком.

Лиза — изящно скромная в приемах и одежде 30-летняя женщина, слабая, нежная, впечатлительная и наивная.

В. И. Каренин — сильный, красивый, свежий лицом, корректный 30-летний человек, говорящий нескоро и вдумчиво.

Действие 1.

<Сцена перегорожена: маленькая комната, спальня, кроватка детская с ребенком, горит ночник. Другая часть: гостиная, кабинет дамский, диван, ширмочки, письменный стол, шифоньер, много портретов. В спальне сидит Лиза и вяжет. В кабинет входит М[арья] В[асильевна].>

<Уютная гостиная. Две двери — одна отворена.>

ЯВЛЕНИЕ I.

Входит Марья Васильевна, оглядывается, за ней горничная.

Горничная.

Верно, в спальне.

Марья Васильевна.

Лиза. *(Ждет. Идет к другой двери.)*

[ЯВЛЕНИЕ II.]

Няня (выходит из затворенной двери).

Лизавета Александровна вышли. Здравствуйте, матушка Марья Васильевна. Вышли, вышли.

Марья Васильевна.

Как же мне сказали, что она дома?

Няня.

Горничная не знает, они задним ходом пошли. Ох-ох-о!

Марья Васильевна.

Как, теперь, ночью?

Няня (вздыхает).

Так прогуляться вышли.

Марья Васильевна (вглядывается в лицо няни).

А что же, разве Федор Васильич опять?..

Няня (вздыхает).

Что же ему делается. Только и знает, что гулять — проматывать денежки, да еще и не свои.

Марья Васильевна.

Да неужели?

Няня.

Не глядели бы глаза, измучал он ее.

Марья Васильевна.

Куда же она пошла?

Няня.

Его ли искать, или так, уж не знаю. Да легко ли, увез деньги, да и прощай, второй день нету... Должно поехала его разыскивать.

Марья Васильевна.

Как же я ее не встретила.

Няня.

Да она уж с часок как вышла. Посидите. Может и вернется скоро. Хоть разговорите ее.

Марья Васильевна.

А здоровье ее как?

Няня.

Хорошего мало от такой жизни. Изболело сердце, на нее глядя.

Марья Васильевна.

Что же у них ничего не было — ссоры...

Няня.

Какая же от Лизаньки ссора? От нее кроме добра никто не видал. Ох, беспутный он человек.

Марья Васильевна.

Но разве он беспутный?

Няня.

А то какой же.

Марья Васильевна.

Да ведь он добрый.

Няня.

Это какая же доброта? Обещался, клялся. А теперь вот вторые сутки крутит где-то да еще с чужими деньгами.

Марья Васильевна.

Да не может быть.

Няня.

Вот те и не может быть. Деньги присланы от брата — проценты. Ох, непутевый человек!

[ЯВЛЕНИЕ III].

Входит Лиза в кофточке, шляпе, теплых ботинках и усталая бросается на кресло.

Лиза (не видит Марьи Васильевны. К няне).

Ох, голова болит.

Няня.

Да вы ложитесь.

Лиза.

Я не могу. *(Замечает Марью Васильевну.)* Ах, Маша, это ужасно *(плачет)*.

Марья Васильевна.

Да, я слышала. Няня говорила. Где же он?

Лиза.

Никто не знает *(рыдает).*

Марья Васильевна.

Лиза! полно. Ведь нет никакой причины... отчаиваться...

Лиза, не отвечая, отрицательно качает головой.

Если бы он тебя не любил. А то ведь ты знаешь, что он весь твой, что это только увлеченье. Верно, опять Афросимов.

Лиза утвердительно кивает головой.

Верно, опять цыгане?

Лиза.

Да. Я узнала через извощика. Они обедали с Афросимовым, а потом уехали к цыганам.

Марья Васильевна.

Ну, что же так отчаиваться. Ну, увлекся.

Лиза.

Но тут хуже. Тут деньги, которые дядя прислал. И я всего боюсь.

Марья Васильевна.

Да, но ведь он знает, что деньги будут отданы.

Лиза.

Главное вино. Это ужасное вино. Зачем лишать себя человеческого образа...

Марья Васильевна.

Да, но ведь ты сама говорила, что теперь это стало реже.

Лиза.

Да, но если ему это нужно. Вот это-то и ужасно. Я вижу, что он не удовлетворен жизнью. Это-то и ужасно. Я не могу дать ему

того, что он хочет. Он вечно страдает. Я вижу это. И это страдание проходит только, когда он выпьет, и только тогда он забывает то, что его мучает, но зато забывает и меня и всё. А когда он всё забывает, я не знаю, что он может сделать. Я всего боюсь.

Марья Васильевна.

Нет, этого не может быть.

Лиза.

Ах, с ним всё может быть. Если бы я не любила его. А то мне и себя жалко, и его жалко, и... обидно. За что?

Марья Васильевна.

Что делать?

Лиза.

Вот это-то я и думаю. Найти его. Я хотела ехать к цыганам, но потом испугалась.

Марья Васильевна.

Да, разумеется, нельзя.

Лиза.

А так оставаться тоже ужасно.

Марья Васильевна.

Знаешь что? Ведь я нынче дала rendez-vous у тебя Каренину — Виктору Ивановичу. Он сейчас придет.

Лиза.

Ах, зачем ты позвала его нынче. Мне не до гостей, а сказать всё свое унижение ему, чужому человеку...

Марья Васильевна.

Он тебе меньше чужой, чем кто бы то ни было. Может быть, он тебе чужой, но ты-то ему не чужая...

Лиза.

Перестань, глупости. Если бы это и было, то raison de plus[62] не говорить ему.

Марья Васильевна.

Говори, не говори, он знает. И он один из тех людей твердых, даже холодных, но таких, которые раз полюбили и полюбили той чистой...

Лиза.

Я прошу тебя не говорить мне про это. Мой муж может... одним словом: мне больше, чем когда-нибудь хочется, нужно

быть безупречной перед мужем, а говорить про то, про что ты говоришь, слушать это мне стыдно, и я чувствую, что это дурно.

Марья Васильевна.

Ну, ты знаешь, что у меня на этот счет другое убеждение, что любовь и чистая никогда не может быть веч[ная], но envisagez ce dont j'ai parlé comme non avenu,[63] я просто предлагаю тебе обратиться к Каренину, как к вашему общему хорошему знакомому, товарищу и другу твоего мужа.

Лиза.

Обратиться в чем?

Марья Васильевна.

Просить его съездить сыскать Федю и привезти, если можно.

Лиза.

Почему он?

Марья Васильевна.

А, во-первых, потому, что он имеет больше всех на него влияние (звонок), и, во-вторых, потому, что он тут.

Лиза.

Ты думаешь, что он может найти и привезти его?

Марья Васильевна.

Я уверена.

[ЯВЛЕНИЕ IV.]

Горничная (входит и докладывает).

Каренин, Виктор Иванович.

Марья Васильевна (к Лизе).

Просить?

Лиза.

Проси. *(К Марье Васильевне)* Ты прими его, а я сейчас пройду к себе. Я растрепана и глаза заплаканы.

Марья Васильевна.

Я поговорю с ним.

Лиза.

Не знаю, хорошо ли это? *(Уходит.)*

[ЯВЛЕНИЕ V.]

Марья Васильевна одна, потом входит Каренин.

Каренин (оглядывается, здоровается).

А Лизавета Алекс[андровна?]

Марья Васильевна.

Она дома, не совсем здорова.

Каренин.

Что же с Лизаветой Алекс[андровной?] Что-нибудь серьезное?

Марья Васильевна.

И да, и нет. Вы знаете, она всегда слаба. А теперь... Ну, да я вам, как другу дома, скажу всё. Je vous prie de croire que je suis autorisée.[64] Она расстроена и почти больна от Феди.

Каренин.

А что? Неужели?

Марья Васильевна.

Да, и, главное, он уехал с деньгами, довольно большими и не своими.

Каренин.

Да неужели?

Марья Васильевна.

И очень. Ну, что же делать. Лиза думает, что он у цыган, и думает, что если бы ему напомнить, остановить, он бы вернулся. Деньги, разумеется, будут заплачены, но ее мучает это его падение — его душевное состояние.

Каренин.

Как это на нее похоже: видеть только чужие страдания, а не свои. Да.

Марья Васильевна.

Я подала ей мысль просить вас поехать. Она не соглашалась на это.

Каренин.

Меня? Да, разумеется, буду только счастлив... *(в это время входит Лиза).* Буду только счастлив, если могу служить вам *(подходит и целует ее руку).*

[ЯВЛЕНИЕ VI.]

Лиза.

Я не хотела этого, но мне очень тяжело, но ведь вы можете найти его. И он наверное вас послушает.

Каренин (берет шляпу).

Где вы думаете, что я найду его?

Лиза.

Извощик сказал няне, что он остался в Грузинах с Петровым. Только мне ужасно совестно.

Каренин.

Только бы я мог сделать. Ведь он мне тоже дорог, и я никогда не переставал любить его. Но простите меня. Это дело, и для дела нужно знать все его условия. Что он? Где он? Что вы знаете. Скажите мне. И сейчас лечу и делаю всё, ***всё***, что могу.

Лиза.

Ах, как это больно! Как трудно.

Каренин.

Не торопитесь. *(Берет альбом, смотрит.)* Я слушаю...

Лиза.

Ну, вот. Вы ведь знаете его. Это было еще до праздников, был такой период, и он так много истратил денег, что надо было

занять, и мы заложили разные вещи.

Марья Васильевна.

То есть твои бриллианты.

Лиза.

Всё равно, чтò заложили. Но только на днях получили деньги, и он взял эти деньги, поехал выкупать. Только что он выходит, навстречу этот ужасный Паша Афросимов. Вы знаете?

Каренин.

Знаю и для меня вечная загадка, как такой тонкий, умный, поэтический человек, как Федя, может водиться с такими людьми, как этот Паша?

Лиза.

А вот водится, и этот ужасный Паша имеет на него влияние.

Каренин.

Удивительно, но еще более удивительно, как вы не имеете влияния.

Лиза.

Когда они встретились, я подумала, но что же я могла сделать? И так и вышло. К обеду нет, вечером нет. Наконец

привозит извощик записку — пишет, чтоб я не беспокоилась, что он, может быть, поедет за город. Следы, которые мы имели, это то, что няня узнала от извощика, что он у цыган.

Каренин.

А много было денег?

Лиза.

Тысяча триста рублей. Но деньги — бог с ними. Я всего боюсь. Неужели вы поедете?

Каренин.

Сейчас, сию минуту. *(Встает.)* Если бы вы знали, как вы, ваше семейство близко мне. Прощайте. Во всяком случае извещу вас, нынче до какого часа?

Марья Васильевна.

Я буду у нее до часа. И до часа мы ждем вас.

Каренин.

Или завтра. *(Целует руку, уходит.)*

[ЯВЛЕНИЕ VII.]

Лиза, Марья Васильевна.

Марья Васильевна.

Не понимаю, не понимаю. Знать, что есть такой человек, как Анатолий Каренин, благородный, 30-летний ребенок, умный, твердый, отдавшийся тебе душой и телом и отталкивать его. Ведь он любит тебя первой и единственной любовью.

Лиза.

Во-первых, это неправда, а, во-вторых, если бы это и была правда, что мне за дело?

Марья Васильевна.

А то дело, что он тебе близок.

Лиза.

Для меня никого нет, кроме Феди.

Марья Васильевна.

Всё равно, что сказать, что я люблю апельсины, как же мне любить атлас. Я люблю и апельсины, и атлас. Ты любить его.

Лиза.

Маша, мы поссоримся, если ты будешь говорить это.

Марья Васильевна.

А я говорю, что любишь и хорошо делаешь.

Лиза (озлобленно).

Как ты можешь говорить такие гадости и глупости? И за что ты мучаешь меня? Мне и так тяжело *(убегает в слезах).*

Марья Васильевна пожимает плечами и улыбается.

Занавес .

<КАРТИНА> 2-я.

Комната у цыган. Хор поет цыганскую песню. Федя сидит у стола (на столе шампанское и стаканы). Афремов сидит на полу, офицер у стола и музыкант записывает.

Федя (к музыканту).

Не запишешь, нельзя. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля. *(Песня кончается.)* Ну, теперь «Час роковой». Маша! Бери гитару. *(Садится перед ней и смотрит ей в глаза. Маша поет.)* А, какова! Прелесть.

Афремов (вскакивает).

Ну, мою!

Цыгане запевают веселую плясовую. Афремов делает выходку. Цыгане и одобрительно улыбаются и, продолжая петь, хлопают. Садится. Песня кончается.

1-й цыган.

Ай, да М. А., настоящий цыган.

Федя.

Матреша, старинную Ночку. Хочу Ночку, хочу плакать. *(Матреша поет хриплым голосом. Федя махает руками, плачет.)* Ну, что ваш Бетховен.

Афремов.

А «Слышишь». Разве плохо? *(Берет гитару. Поет в два голоса с Катей.)*

Федя (подсаживается к Маше, облокачивает ей о плечо голову).

Это глупости, только портит впечатление.

Маша.

Что же, пускай поют. Они хорошо делают. А что я вас просила...

Федя.

Что? Денег? *(Вынимая из кармана штанов.)* На, на!

Маша смеется, берет деньги и показывает цыганам. Песня кончается.

Ну, отдохните.

Цыгане, цыганки уходят. Остаются парочки: Афремов с Катей, офицер с Гашей, музыкант пишет, цыган перебирает вальс на гитаре.

И зачем может доходить человек до этого восторга, а не может продолжать его. Ах, хорошо! Хорошо тебе? Ну поцелуй. *(Маша целует его.)*

Входит цыган.

Цыган (к Феде).

Вас барин спрашивает.

Федя.

Какой барин?

Цыган.

Барин значительный (барорай).

Федя.

Ну что же, зови.

Цыган.

Просит вас одних. Чтобы вы вышли.

Федя (встает, шатаясь).

Ну, ладно. *(Цыганам.)* Да вы здесь оставайтесь. А наши уйдут.

Говор по-цыгански. Все уходят.

Ну и прекрасно. Передохните и потом еще раз «Лён», а потом спать. Зови.

Входит Каренин в шубе. Оглядывается строго.

А, Виктòр! Вот кого не ждал. Раздевайся. Вот ты говоришь цыгане не музыка, спроси Кроля. Они сначала тебе споют. *(Кричит.)* Чавалы!

Каренин.

Je voudrais vous parler sans témoins.[65]

Входит цыган.

Цыган.

Вы чего?

Федя.

Ничего, ничего, пойте. *(К Каренину.)* Снимай, снимай!

Каренин (снимает шубу, подходит близко).

Je viens de chez vous. Votre femme m’a charger de cette lettre et puis...[66]

Федя (берет письмо, читает. Хмурится, потом ласково улыбается).

Послушай, Каренин. Ты ведь знаешь, что в этом письме.

Каренин.

Знаю. И хочу сказать...

Федя.

Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьян и мои слова невменяемы, т. е. я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу всё ясно, ясно. Ну что же тебе поручено сказать?

Каренин.

Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она... ждет тебя. Просит тебя всё забыть и вернуться.

Федя (слушает молча, глядя ему в лицо).

Я все-таки не понимаю, почему ты?

Каренин.

Л. А. прислала за мной и просила меня...

Федя.

Так...

Каренин.

Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя: поедем домой.

Федя

Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня не трудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого. Я просто не могу и не хочу.

Каренин.

Федя, поедем ко мне. Заснешь. А завтра...

Федя.

А завтра что? Всё буду я — я, а она — она. Нет. <А потом деньги.

Каренин.

Что ж, по крайней мере то, что осталось, привезешь.

Федя.

Что осталось? Мало осталось. *(Вынимает из кармана бумажки.)* Нет, Виктор, нельзя мне ехать. Нельзя. Теперь, сейчас нельзя.

Каренин.

Всякая минута неизвестности для нее ужасна.

Федя.

Теперь? Не могу. Да и вообще не могу *(подходит к столу и пьет).*> Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слова, то чтобы она бросила меня. Я не сдержал, и кончено.

Каренин.

Для тебя, но не для нее.

Федя.

Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен. *(Каренин хочет что-то сказать. Федя перебивает его.)* Ты послушай, как она поет Лён. Маша! Ты послушай.

Цыгане сходятся.

Маша (шопотом).

Повеличать бы.

Федя (смеется).

Величать: Виктор, сударь Михайлович. *(Каренин сконфуженно слушает, потом спрашивает, сколько дать.)*

Федя.

Дай 25. *(Каренин дает.)* Чудесно! Теперь Лён *(оглядывается)*. Удрал Каренин. Ну, чорт с ним. *(Цыгане разбредаются. Федя садится с Машей.)* Ты знаешь, кто это?

Маша.

Слышала фамилию.

Федя.

Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.

Маша.

Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.

Федя.

Ты думаешь надо?[67] А я думаю, не надо.

Маша.

Известно, коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.

Федя.

А ты почем знаешь?

Маша.

Должно знаю.

Федя.

Ну поцелуй меня. Чавалы. Еще Лён, и тогда шабаш. *(Начинают петь.)* Ах, хорошо. Кабы только не просыпаться, так и помереть.

Занавес .

<Действие 3-ье.

Федя (один, лежит на диване — читает и курит. Останавливается и смотрит, изредка проговаривает).

Скверно! Очень скверно! Ну что же можно... Скверно.

За дверью раздается фортепьяно и пение.

Входит извощик.

[Извозчик.]

Что ж, Ф. В., надо бы получить. 5-й день.

Федя.

Всё, получи...

Входит Афросимов.

Афросимов.

Ах ты злодей этакий. Лежит спокойно, почивает.

Федя.

А что?

Афросимов.

Да как же. Мы всю Москву обегали, тебя ищем, как иголку в стогу — ха-ха-ха, а он спрятался в каком-то Мадриде, ха-ха-ха. Кабы не цыган, ни за что бы не нашли.

Федя.

Да зачем я тебе нужен?

Афросимов.

Ну, полно, полно, разве так делают с друзьями? Я ведь всё знаю.

Федя.

Ну, а знаешь, так нечего меня и искать было. Я нарочно ушел, чтобы меня не нашли.

Афросимов.

Вот вздор. От меня не уйдешь. Ха-ха-ха. Везде с тобой, в огонь и в воду. Ха-ха-ха. Что ж, позавтракаем?[68]

Федя.

Я никуда не поеду.

Афросимов.

Ну так здесь... Эй... *(Входит лакей.)* Ну, принеси ты водки, селедки, красного. На — деньги, возьми моего извощика. *(К Феде.)* Я к тебе по делу.

Федя.

Послушай, Паша, если это касается моих отношений с женой...

Афросимов.

Разумеется, касается. Ха-ха-ха.

Федя.

Так я прошу тебя. Ты это оставь. Мое решение неизменно.

Афросимов.

Ecoutez, mon cher.[69] Это всё ты не то говоришь. Зачем эти крайности. Ну, положим, ну что же тут такого. Смотри, как моя Марья Евгеньевна живет и ничего. Так живи, как хочешь, а decorum[70] дома надо блюсти pour les enfants.[71] А то что ж вдруг такой esclandre,[72] из-за чего бросаешь дом. Мое правило vivre et laisser vivre.[73] Ха-ха-ха.

Федя (сосредоточенно смотрит мимо).

Паша, я тебя очень прошу. Я тебя люблю, ты знаешь, и люблю не только как товарища, но люблю как хорошего доброго человека.

Афросимов.

Друга...

Федя.

Да и друга. Но именно как друга я прошу тебя. Оставь меня и не вмешивайся в это тяжелое и трудное, очень трудное дело.[74]

Афросимов.

Так и решил — не вернешься?

Федя.

Нет.

Пьют.

Афросимов.

Что ж будешь делать?

Федя.

Я? Да ничего; что выйдет, то и будет. Одно знаю, что к жене не пойду и ее губить не буду.

Афросимов.

По-моему напрасно, а, впрочем, твое дело. <Что же, позавтракать надо.>

Федя.

Да, пожалуй.

Пьют.

Афросимов.

А знаешь, я вчера заезжал к чавалам. Маша про тебя спрашивала всё. «Что, — я говорю, — влюблена?» «Да, — говорит, — очень влюблена». Ха-ха-ха. А знаешь, она вправду полюбила. Ведь эта женщина единственная.

Пьют.>

Федя.

Какая милая девочка — вот сердце...

№ 3 (рук. № 8).

<Действие 1-е.

Сцена представляет кабинет дамский: мягкая мебель, письменный стол, портреты и веера. Саша (сестра Лизы) читает. (Звонок.) Саша вскакивает и бежит к двери, в то же время Лиза быстро выходит из детской.

Саша.

Иду, иду.

Лиза.

Саша, посмотри кто и скажи мне. Верно, няня.

Саша (от двери).

Сейчас, сейчас. Няня не звонила бы. А это кто-то подъехал, верно, мама. Что же Коля?

Лиза.

Заснул теперь.

Саша уходит. Лиза остается, прислушивается. <Из детской голос ребенка: мама.>

Лиза.

Ах, боже мой, боже мой. Господи помилуй.

Саша (возвращается).

Это мама.

Лиза.

Ну, что?

Саша.

Не нашла нигде. Она была у Карениных. Там тоже не знают.

Лиза.

Ну что, мама?

Входит мать.

Анна Павловна.

Саша, отпусти, пожалуйста, извощика, дай ему вот. *(Дает деньги.)*

Лиза.

Ну что, мама?

Анна Павловна.

Да хорошего мало, узнала, что они обедали вчера с Еремеевым и куда-то уехали. А куда, никто не знает. А няня не вернулась?

Лиза.

Нет еще.

Анна Павловна.

Потом была у Карениных.

Лиза.

Зачем же к Карениным?

Анна Павловна.

Да просила Виктора разыскать его.

Лиза.

Зачем его?

Анна Павловна (не отвечая).

Виктора дома нет. Я оставила записку.>

№ 4 (рук. №№ 9 и 5).

Действие первое.

КАРТИНА 1-я.

Анна Павловна, полная энергическая дама под 50 лет, сидит в маленькой столовой за чаем и недовольно бормочет: Хорош, очень хорош. Саша, девушка 20 лет, красивая, живая, входит и ищет что-то.

Анна Павловна.

Чего тебе?

Саша.

Лиза слышала звонок, прислала спросить кто.

Анна Павловна.

Что же она?

Саша.

Лиза ужасно беспокоится.

Анна Павловна.

Вот уж не стала бы беспокоиться. Я скорее рада, по крайней мере, конец. Надо бросить.

Саша.

Ну что, мама, всё одно и то же повторять.

Анна Павловна.

Не могу я этого видеть. Отец семейства, как только попали в руки деньги, так прощай. Это такая гадость. *(Звонок.)*

Саша.

Ну зачем этак говорить?

Анна Павловна.

Это Миша Каренин.

Саша.

Отчего Миша Каренин?

Анна Павловна.

Оттого, что я писала ему, просила приехать.

Саша.

Ах, мама, ведь вы знаете, что Лизе это неприятно будет.

Анна Павловна.

Не понимаю и не хочу понимать ваших тонкостей. Но могу я спокойно сидеть, смотреть на ее страдания. Надо что-нибудь делать.

Горничная (входит).

Г[осподи]н Каренин.

Анна Павловна.

Проси сюда.

Саша.

Я боюсь, что Лизе это будет неприятно.

Анна Павловна.

Поверь, что я ее больше тебя люблю и что делаю, то для нее. Если бы я не любила...

Входит Каренин, корректный, свежий и сильный юноша[75] с медленными движениями,[76] робкий и нежный.

Каренин (здоровается, целует руку Анны Павловны).

Вы прислали мне записку, что желаете меня видеть, и я позволил себе, несмотря на поздний час, приехать. Чем могу служить?

Анна Павловна.

И прекрасно сделали. Благодарю вас. У нас очень, очень грустно.

Каренин.

Неужели опять?

Анна Павловна.

Да, опять уехал с деньгами и про[падает] второй день и не може[м] найти. Вот я и решилась просить вас.

Каренин.

Я весь к вашим услугам. Что могу...

Саша морщится, недовольно махает руками <и уходит>.

Анна Павловна.

Он б[ыл] ваш друг, но, простите меня, хоть он и мне зять, это простой негодяй...

Каренин.

Он слабый человек, но...

Анна Павловна.

Тут не слабость, а подлость...

Каренин.

Ну, я но думаю, вы сами не думаете это.

Анна Павловна.

Всё старая история, пьянство, цыганство, все гадости, которые в первый раз простительны, во второй раз становятся гадки, а когда они повторяются постоянно *(всё более и более горячась),* когда это сделалось не только привычкой, но самой жизнью, когда ни просьбы, ни слезы, ни страдания жены не могут удержать, тогда этому нет названия...

Каренин.

Но теперь, в настоящую минуту, что именно...

Анна Павловна.

А то, что он получил деньги и не свои, а деньги, присланные дядей для выкупа его же просроченного и заложенного именья и с этими деньгами со вчерашнего дня пропал, и мы искали везде, по всем и нигде не могли найти его. Только сейчас, вечером, няня наша догадалась разыскать извощиков каких-то. Какой-то Турецкий, который возил их, и мы узнали от этого Турецкого, что он у цыган и ночевал там. Должен быть там и теперь.

Каренин.

Так что же вы хотите, чтобы я съездил туда и привез его?

Анна Павловна.

Я собственно ничего не хочу. Я убедилась, что кроме мучений и всякого рода страданий для Лизы от этого человека ничего не будет.

Каренин.

Я думаю, что судья в этом деле одна Лизавета Александровна.

Анна Павловна.

Нет, она ослеплена. Мне же видно, как он равномерно и наверно губит ее и будущность ребенка... Вы друг семьи, и я могу сказать вам всё. Ведь эти эскапады повторялись десятки раз. После них раскаяния, тишина, обещания... и опять то же.

Последний раз он сам сказал, что пусть она оставит его, если это повторится.[77]

Каренин.

То есть как же?

Анна Павловна.

Я поняла так, что он готов дать ей развод. И я прямо желала бы этого, любя свою дочь.

Каренин.

Да, но она не хочет этого.

Анна Павловна.

То-то и дело. И потому мое demande[78] к вам совершенно бескорыстно. Если я прошу вас съездить к нему и узнать, где он и что с ним, то я прошу не для себя, а для нее, зная ее бесконечную доброту.

Каренин.

Я думаю, главное, любовь к нему.

Анна Павловна.

Да, разумеется. Так вы согласны съездить увидать его, узнать, что он и что он думает.

Каренин.

Разумеется, сейчас, сию минуту поеду. Только простите меня, я бы хотел знать, как Лиз[авета] Ал[ександровна] смотрит на это.

Анна Павловна.

Лиза? Разумеется, она будет рада. Я сейчас позову ее.

Каренин.

Но куда же ехать? Где он теперь? Ведь я не знаю, где живут и какие цыгане?

Анна Павловна.

А это вам скажет извощик. Я нарочно оставила его здесь. Сама позову его сюда.

Каренин.

Я думаю, мне лучше сойти к нему.

Анна Павловна.

Нет, нет. Я сама еще поговорю с ним.

Саша (идет в дверь).

Я позову его.

Анна Павловна.

Да, да. А я позову Лизу. Пусть она сама вам скажет.

Каренин.

Но если Л[изавета] А[лександровна] нездоровы, то я бы был в отчаянии беспокоить ее.

Анна Павловна.

Нет, я думаю, что она сойдет к вам. Она ведь всего боится, так что для нее важно то, что вы увидите его, узнаете, что он жив, эта драгоценность. Это ее ослепление — любить такого человека! Его можно только презирать.

Каренин.

Я боюсь, что вы несправедливы к Феде. Я ведь с ним друг детства, и знаю, и высоко ценю его не только ум, чутко[сть], талантливость, но золотое сердце и потому никак не могу разделять вашего взгляда на него.

Анна Павловна.

Вот это его искусство — обойти, обворожить всех.

Каренин.

Только одного не понимаю, <как он может заставлять страдать такую женщ[ину]...>

Анна Павловна.

Как он может быть так жесток, так заставлять страдать. Это такое существо...

Входит извощик-лихач, неся полы кафтана, в усах без боро[ды], с пуговицами на спине.

Анна Павловна.

Ты ведь Турецкий?

Извощик.

Так точно.

Анна Павловна.

Так вот расскажи барину всё, что ты знаешь про Фед[ора] Вас[ильевича]. Ты ведь к нему поедешь.

Извощик.

Так точно, я за ним теперь.

Каренин.

Так можешь свезти и меня?

Извощик.

С нашим удовольствием.

Анна Павловна.

Так я пойду, Лизу позову, а вы расспросите его всё, что нуж[но]. *(Уходит.)*

Каренин.

Так вы знаете Фед[ора] Пав[ловича]?

Извощик.

Как же нам не знать, самые знакомые господа, еще когда они не женаты были, езжали с нами.

Каренин.

Так вы знаете про него?

Извощик.

Что зна[ем]? Вчерась взяли меня и поехали в банк. По дороге встреч[аем] Мих[аила] Ан[дреевича].

Каренин.

Вы с ним и ездили?

Извощик.

Так точно. Вчерашний день с выставки спервоначала в банк. Из банка встретили Мих[аила] Ан[дреевича] Еремеева. На бега

поехали, а оттуда в Эрмитаж. Там они кушали. Я перепрег лошадь, чайку попил, в 8-м часу возил в Стрельну. Из Стрельны к Соколову. А оттуда отпустили, приказали утром к Мих[аилу] Андр[еевичу]. Нынче, значит, в 9-м часу выехали, кушали опять в Московском и в — Грузины. Оттуда послали за вином и отпустили до 12 часа.

Выходят Анна Павловна, Лиза.

Каренин (извощику).

Хорошо, так вы подождите, я пойду сейчас.

Извощик.

Слушаюсь. *(Уходит.)*

Каренин здоровается за руку с Лизой.

Анна Павловна.

Ну что ж, расспросили?

Каренин.

Расспросил. Всё, как и вы говорили. *(К Лизе.)* Анна Павловна дает мне поручение, которое я готов исполнить. Что мне сказать ему?

Лиза.

Ах, как это тяжело. Зачем вам ехать?

Анна Павловна.

Кто же поедет? Я не поеду по разным вертепам, где он находится. Тем более тебе нельзя ехать. Кто же поедет?

Каренин.

Если я поеду с поручением от вас, то мое влияние будет сильнее, но если бы я узнал про это — не от вас, — я все-таки поехал бы и постарался бы вырвать его, дать ему опомниться.

Анна Павловна (перебивая).

Как же, опомнится он. А если и опомнится, на две недели уж это.

Саша.

Мама, да дайте же Виктору Ивано[вичу] досказать.

Каренин.

Я только хотел сказать, что Федя мой друг и я, кроме того, что желал бы сделать вам приятное, для себя, для него сделал бы, что могу.

Лиза.

Да я, потому что вы его друг и он любит вас, я рада, что вы поедете, но...

Каренин.

Но почему вы не рады?

Лиза.

Я не сказала, что не рада, но, прост[ите], почему именно вы... Но все-таки я вам буду благодарна. И еще... скажите ему, чтобы он не думал о том, что было говорено. Это он говорил, а не я.

Анна Павловна.

То есть, что всё, что он делает, очень мило и пускай продолжает.

Лиза (укоризненно).

Мама! Я не говорю, что это хорошо, что это не больно, но я не могу...

Анна Павловна.

А я могу. И если бы он знал, что ты бросишь его, он бы задумался. А теперь всё равно, рано или поздно ты все-таки бросишь его.

Лиза.

Никогда.

Анна Павловна.

Ну, не ты, так он бросит. Du train que cela va.[79]

Саша.

Мама, да дайте Лизе сказать.

Анна Павловна.

Если бы ты была не ты, а на твоем месте другая жена, которая так же, как он, искала бы увеселений...

Саша.

Да ведь этого нет.

Анна Павловна.

Если бы он знал, что его жена, сейчас она заброшена им, может полюбить другого человека...

Лиза (смущенная).

Мама, ради бога... *(К Каренину.)* Так, пожалуйста, скажите ему, что одно, о чем я прошу, это чтоб он вернулся.

Анна Павловна.

А от меня скажите, что его сечь мало. Да еще возьмите у него деньги, все, если остались.

Каренин смотрит вопросительно на Лизу.

Лиза.

Да я тоже боюсь, что пока будут деньги...

Каренин (встает).

Так я еду. И ответ вам дам или нынче же, если он приедет со мной. Или завтра, если я его не застану, или...

Анна Павловна.

Если он не в своем виде, не возите. Я боюсь пьяных. А отберите деньги. Вот мой совет и оставьте его там высыпаться.

Лиза плачет.

Каренин.

Постараюсь сделать как можно лучше. До свиданья. *(Прощается и уходит.)*

Лиза.

Мама, зачем вы так говорите, и при нем. И зачем вы выписали Каренина.

Анна Павловна.

Затем, чтобы он привез его. Вот он поедет и привезет.

Лиза.

Вы знаете, что это последний человек, к к[оторому] бы я хотела обратиться, а вы именно Виктора Каренина выписали, его вводите в интимные, тяжелые стороны нашей жизни. Мне это ужасно, ужасно больно.

Анна Павловна.

Оттого, что он тебе делал предложение и влюблен в тебя?

Лиза.

Ах, мама. Не говорите этого. Ведь этого нет.

Анна Павловна.

Напротив. Пускай твой Федя видит, что есть люди, мизинца к[оторых] он не стоит, к[оторые] могли бы оценить.

Лиза.

Вы ведь знаете, что для меня никого не существует, кроме моего мужа.

Анна Павловна.

Вот это-то и жалко. Если бы он видел, что может тебя потерять, было бы другое. Ох, если бы я была на твоем месте, давно бы уже я бросила эту тряпку. Что он за муж? Каренин, вот это человек — нравственный, чистый, твердый. Раз полюбил и навсегда...

Лиза.

Как вам не жалко меня. Мне и так тяжело. А вы говорите мне всё, что только можно сказать мне самого тяжелого.

Анна Павловна.

Я говорю, что есть, что ты сама чувствуешь.

Лиза (плачет).

Мама, это безжалостно. Это гадко. Зачем вы меня мучаете. Я всё могу перенести, только не это. Зачем?

Анна Павловна.

Зачем я приехала к тебе, зачем живу с тобой? Что же, прогони меня, живи с своим негодяем-мужем.

Лиза (вскрикивает).

Он не негодяй, а самый лучший человек, к[оторого] я люблю больше всех в мире. Оставьте, оставьте меня. *(Уходит в слезах.)*

Анна Павловна.

Вот это хорошо! Я же виновата. Измучить меня, и я же виновата, за то, что люблю ее и не могу видеть ее страданий.

Саша.

Да зачем вы говорите Лизе про Каренина и про его чувства. Это самое больное место.

Анна Павловна.

Отчего больное? Оттого, что он любит ее?

Саша.

Она знает это, знает, что он дружен с Федей, и никогда не говорит, не позволяет себе думать об этом. И вдруг вы прямо говорите, что ей надо развестись и выйти за Кар[енина].

Анна Павловна.

Никогда я не говорила это.

Саша.

Ну да, почти что.

Анна Павловна.

Если бы и говорила, то, разумеется, самое лучшее, что она могла бы сделать. Конечно, в тысячу раз лучше, чем продолжать жить с этим пьяным негодяем.

Саша.

Разве можно так называть Федю? Это такая чистая душа, такой человек удивительный.

Анна Павловна.

В том-то и беда, что он чем-то обворожил вас всех. Все вы влюблены в этого пьяного мерзавца.

Лиза (выскакивает из-за двери).

Мама, я не могу допустить, чтобы так говори[ли] про моего мужа.

Анна Павловна.

А я не могу называть вещи по имени? И если так, то прощай. Наслаждайся.

Саша.

Мама, что вы?

Анна Павловна.

Нет, с вами я не могу жить. У меня удар сделается. *(Уходит.)*

Занавес .

№ 5 (рук. № 10).

<Д[ействие] 1.

Сидят за чаем А[нна] П[авловна], мать Лизы и Саши, Лиза, жена Феди, и Саша, девушка.

Лиза (взволнованно).

Мама, ради бога.

Анна Павловна.

Я только повторяю то, что ты сама же говорила.

Лиза (вставая).

Я ничего не говорила, а если говорила, то всердцах...

Анна Павловна.

Нет, ты спокойно говорила, что если будет то же самое, то между вами всё кончено, а теперь посылаешь искать его. Оставь его...

Лиза.

Мама, ведь он муж мне.

Анна Павловна.

Хорош муж. Как только деньги в руках, так пропали и деньги и сам. Кажется, было решено, он сам говорил, что если это повторится, он не вернется.

Лиза.

А я вам говорю, что я не брошу его, потому что... потому что не могу я без него жить.

Анна Павловна.

Чтоб он разорил тебя и твоего ребенка. Делал неверности.

Лиза.

Он не делал неверности.

Анна Павловна.

Да это ты говоришь, а сама посылаешь искать его. Лиза, будь умн[ой], оставь его. Он обещал дать развод.

Лиза.

Мама, ради бога, не говорит[е] этого. Я не могу его оставить. *(Уходит.)*

Саша.

Мама, это хуже так говорить ей.

Анна Павловна.

Не понимаю я ее. На ее месте я давно бы оставила его. Je l’aurai pris au mot.[80] Она гораздо была бы счастлив[ее] без него. Что ж она хочет делать?

Саша.

Она написала записку Виктору и хочет его просить разыскать Федю и передать ему письмо.

Анна Павловна.

Вот уж чего не понимаю. Человека, к[оторый] влюблен в нее.

Саша.

Кто влюблен?

Анна Павловна.

Разумеется, Виктор Каренин. И его-то посылать отыскивать загулявшего мужа? Я думаю, Виктор только того желает, чтоб он совсем пропал.

Саша.

А я понимаю Лизу. Викто́р друг детства.

Анна Павловна.

Знаем мы этих друзей.

Саша.

А я знаю, что между ними кроме самой чистой дружбы ничего нет.

Анна Павловна.

Теперь, да. Я знаю, что *моя* дочь знает свои обязанности и не изменит им, как бы ни был противен и развратен муж.

Саша.

Зачем вы так говорите? *(Звонок.)* Верно, это он.

Лиза (выходит поспешно).

Кто это?

Саша.

Не знаю, только что позвонили.>

№ 6 (рук. № 11).

Действие 1.

ЯВЛЕНИЕ 1.

[81]Анна Павловна. Сидит одна за чайным столом и вяжет. Входит Саша.

Анна Павловна.

Ну что? Придет она?

Саша.

Нет, она пишет что-то и просила не мешать ей.

Анна Павловна.

Встревожена? Глаза красные?

Саша.

Да, очень.

Анна Павловна.

Ну, пускай поплачет. Не стоит он ее слез.

Саша (горячась).

Вы, мама, право, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтоб она была спокойна.

Анна Павловна (сердито).

Ты тоже удивительна. Я мать и для меня, ты знаешь, кроме вас двух, ничего нет на свете. И потому, если я уже радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит он стоит того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого золота.

Саша.

Мама. Зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. А что он человек честный...

Анна Павловна.

Хороша честность. Как только деньги в руках, свои ли, чужие ли...

Саша.

Мама. Он никогда чужих не брал.

Анна Павловна.

Всё равно, женины.

Саша.

Да ведь он же отдал всё жене.

Анна Павловна.

Еще бы не отдать, когда он сам знает, что он всё промотает.[82]

Саша.

Я только знаю, что это ужасно. Ужасно.

Анна Павловна.

По-твоему, не надо было, а надо было ждать, чтоб он всё промотал и привел бы в дом своих цыганок-любовниц.

Саша.

Нету у него любовниц.

Анна Павловна.

Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь, я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила бы его.

Саша.

Как вы это говорите легко.

Анна Павловна.

Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной — не легко. Поверь, что очень не легко. Но всё лучше, чем загубить молодую жизнь и ребенка оставить без ничего. Нет, я бога

благодарю, что она теперь решилась, что всё кончено. Она молодая, умная, красивая женщина, найдет еще счастье с другим. Слава богу, есть люди получше вашего Федора Васильевича, которые сумеют оценить ее.

Саша (которая всё время хочет говорить, по мать перебивает ее).

Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза разорвать с человеком, которого она любила и любит, и быть спокойна. И уж никак не может полюбить другого.

Анна Павловна.

Поверь, что полюбит, особенно такого человека, которого она знает и который любит ее, и во всех отношениях в тысячу раз лучше.

Саша.

Мама. Это нехорошо. Вы ведь, я знаю, говорите про Виктòра Каренина.

Анна Павловна.

Разумеется, он любит ее 10 лет.

[Саша].

Не думаю, чтобы Лиза когда-нибудь полюбила его как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна.

Знаем мы эту дружбу. Только бы не было препятствий.[83]

ЯВЛЕНИЕ 2.

Входит горничная.

Анна Павловна.

Что вы?

Горничная.

Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна.

Какая барыня?

Горничная.

Лизавета Александровна, барыня. Так Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна (удивленно).

Вот[84] тебе раз. Не понимаю. Саша, поди скажи сестре. А самовар подогреть надо.

Горничная берет самовар и уходит.

Анна Павловна (к Саше, которая встала и хочет итти).

Как это странно, однако, что она сейчас же и послала за ним.

Саша.

Вероятно, дело какое-нибудь.

Анна Павловна.

Дело-то дело, но именно его. Я вижу в этом то, что[85] между ними уже есть что-то.

Саша.

Ах, мама. Как вы можете думать это? Именно теперь, в такие минуты Лиза уже никак не может думать ни о чем, кроме о своем горе.

Анна Павловна.

Это всё мы понимаем, а только все-таки она пригласила его. И я очень, очень рада.

Саша с досадой махает рукой и уходит.

ЯВЛЕНИЕ 3.

Анна Павловна (одна, покачивает головой и бормочет).

Странно, да, странно. А все-таки...

Горничная (входит).

Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна.

Как скоро! Удивительно. Проси же, да скажи барыне.

Горничная проходит в внутреннюю дверь.

[Анна Павловна.]

И прекрасно. И пускай. И прекрасно, и пускай. Да.

ЯВЛЕНИЕ 4-е.

Анна Павловна, В. Каренин и потом Лиза и Саша. Входит В. Каренин, здоровается с Анной Павловной.

Каренин (застенчиво, робко).

Лиза, Лизавета Александровна прислала мне записку, чтоб я приехал... Я, разумеется...

Анна Павловна.

Она у себя в комнате, или у маленького, не знаю. Сейчас придет. *(Грустно.)* Да, да,[86] тяжелое время. Вы ведь всё знаете[87].

Каренин.

Как же, вчера мне всё рассказали. Что ж, ничего не было после?[88]

Анна Павловна.

Ничего, только то, что он, кажется, понял, что всё кончено, и просил прислать ему белье и вещи.

Каренин.

Неужели?

Анна Павловна.

Ведь еще прежде было решено, и он сам клялся, что если с ним случится опять такое же, то он не вернется и даст полную свободу жене, — развод, как она хочет.

Каренин.

Как это ужасно и странно.

Анна Павловна.

Да ведь их брак был уже давно фиктивный, и всё держалось на ниточке. *(Молчание.)* Ну да, по крайней мере, теперь, слава богу, всё кончено, она[89] свободна, как это ни тяжело. Я все-таки рада, очень рада за нее, за ребенка.

Каренин.

Да,[90] но я думаю, что для Лизаветы Александровны это очень тяжело. Она так любила его...

Анна Павловна.

Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее останется что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин.

Для любви всё можно.

Анна Павловна.

Вы говорите — любить, но как же любить такого человека — тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было *(оглядывается на дверь и торопится рассказать).* Дела расстроены, всё заложено, платить нечем. Наконец, дядя присылает 2000, внести проценты. Он едет с этими деньгами и, что же вы думаете, пропадает день, два.[91] Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка.

Входят Саша и Лиза с заплаканными глазами.

Анна Павловна.

Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин.

Да, меня немного задержали *(здоровается с сестрами).*

Лиза (вынимает из кармана письмо).

Я вас хочу просить...

Каренин.

Всё, что могу...

Лиза.

Вы ведь всё знаете.

Каренин.

Да, Анна Павловна сейчас говорила мне.

Лиза.

Да, так он написал мне письмо. И я... *(удерживает слезы)* так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать.

Анна Павловна.

Надо было сделать это давно.

Лиза.

Мама, дайте мне сказать... Я согласилась, но потом, потом... почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Всё лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, одним словом отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, найдите его и отдайте ему это письмо, и скажите... и привезите его...

Анна Павловна.

Это безумие. Это значит... Всё опять сначала.

Саша.

Мама. Да дайте же Лизе говорить.

Анна Павловна.

Вы все рады опять.

Лиза.

Скажите ему, чтоб он вернулся, что ничего не было, что всё забыто.[92] Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Каренин.

Сделаю всё, что могу.[93]

Лиза.

Скажите, что я прошу его всё забыть, и всё забыть и вернуться... И я просила вас потому, что знаю, что вы любите его. Уговорите его. *(Жмет ему руку.)*

Анна Павловна.

Лиза, ты с ума сошла. Только что спаслась, опять лезешь в гибель. *(К Каренину.)* Постойте. Это невозможно.

Лиза.

Мама, вы только мучаете и себя и меня. Я не изменю своего намерения. Поезжайте, Виктор Михайлович, пожалуйста. Вы знаете, где он?

Каренин.

Я только хотел спросить.[94]

Лиза.

Здесь извощик, который привез письмо. Он оставил его.

Каренин.

Очень хорошо.

Анна Павловна.

Я не позволю.

Лиза.

Мама, оставьте.

Анна Павловна.

Это нелепо.

Лиза [(к Каренину).]

Прощайте и поезжайте.

Каренин.

Сделаю, что могу, и если успею, то нынче же приеду с ним.

Анна Павловна.

Он наверное пьян, а я пьяных боюсь. Лиза!

Каренин выжидает, потом кланяется и уходит.

Анна Павловна.

Неужели ты серьезно хочешь опять пустить себе в дом эту гадину?

Лиза.

Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа.

Анна Павловна.

Он был муж...

Лиза.

Всё равно.

Анна Павловна.

Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.

Лиза.

За что вы меня мучаете, мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна.

Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.

Лиза молчит.

Анна Павловна.

Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего я в вас не понимаю. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза.

Ничего этого нет.

Анна Павловна.

Каренин делал предложенье, и посылаешь его за мужем. Что это, чтобы возбудить ревность?

Лиза.

Мама! это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна.

Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами. Когда поезд? *(Уходит, хлопая, дверью.)*

Лиза (падает на стул).

Этого недоставало.

Саша.

Ничего. Ты прекрасно сделала, что послала за ним. Он, бог даст, вернется, и всё будет хорошо. А мама мы успокоим.

Анна Павловна (молча проходит).

Анна, мой чемодан!

Саша уходит за ней и подмигивает сестре.

№ 7 (рук. № 5).

Лиза

Вот он и едет *(Слышны колеса и бубенчик. Лиза встает и подходит к краю террасы.)* Кто-то с ним в соломенной шляпе. А! Афр[осимов]. Вот нынче день воспоминаний. Я Афр[осимова] с тех пор видела только один раз. *(Идет к двери.)*

Входят Каренин и Афр[осимов].

Афр[осимов] (целует руки дам).

Приехал на минутку по делам...

Марья Дмитриевна.

...скачек...

Афр[осимов].

Да разумеется, горбатого могила [исправит], и вот встретил на улице. Думаю, когда еще увижу, и опять отложу, вот и приехал, если не прогоните до вечернего поезда.

Каренин (достает из карманов письма, покупки).

А я как счастлив, поздравьте меня. Два дня дома. Завтра всё без меня сделают.

Лиза.

Прекрасно. Вот мы и съездим к Лисиным [?].

Афр[осимов].

Браво! Как похож! Какой молодец. Только бы не всё наследовал, сердце отцовское.

Марья Дмитриевна.

Но не слабость.

Лиза.

Всё, всё. Виктор согласен со мной, что если бы только с молода он[о] б[ыло] направлено.

Афр[осимов].

Ну, я этого ничего не понимаю.

[95]Каренин (разбирает письма).

Я возвраща[юсь] и жена, ты, и ребенок. Да, тот, который будет. И всё это после всех этих сомнений, опасений, страданий твоих. Это слишком хорошо.

Лиза.

И я боюсь иногда.

Каренин.

Ну, что будет, то будет, а то, что теперь уже есть, уж это навеки наше.

№ 8 (рук. № 14).

ЖИВОЙ ТРУП.

Действ[ие] 1.

Анна Павловна, полная, седая дама в корсете. Саша, энергичная, ласковая девушка, просто одетая. Анна Павловна сидит одна за чайным столом. Входит Саша (напевает).

Анна Павловна.

Что же Лиза? Придет она?

Саша.

Кажется, придет.

Анна Павловна.

Куда же она ездила?

Саша.

Не знаю, мама.

Анна Павловна.

Какие-то секреты.

Саша.

Что же делать, если и есть, так не мои секреты. *(Напевая, уходит.)*

Няня (с чайником).

Можно у вас водицы?

Анна Павловна.

Берите. Что же Митя?

Няня.

Беспокоен. Нет хуже, как сама кормит.

Анна Павловна.

Да, кажется, успокоилась?

Няня.

Хорошо спокойствие. Смотреть тошно.

Саша (входит).

Лиза сейчас придет.

Анна Павловна.

Удивительно, как это она не может успокоиться.

Саша (горячась).

Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна.

Анна Павловна.

Не спокойна, а что сделано, то сделано. А если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого золота.

Саша.

Мама. Зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив, удивительный, удивительный человек, несмотря на его слабости...

Анна Павловна.

Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои ли, чужие ли...

Саша.

Мама. Он никогда чужих не брал.

Анна Павловна.

Всё равно — женины.

Саша.

Да ведь он же отдал всё свое состояние жене.

Анна Павловна.

Еще бы не отдать, когда он знает, что он всё промотает.

Саша.

Промотает ли, не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, особенно с таким, как Федя.

Анна Павловна.

По-твоему надо ждать, пока он всё промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц.

Саша.

Нету у него любовниц.

Анна Павловна.

Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.

Саша.

Как вы это говорите легко.

Анна Павловна.

Нет, не легко. Мне, матери, видеть дочь разведенной — не легко. Поверь, что очень не легко. Но всё лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я бога благодарю, что она теперь решилась, что всё кончено.

Саша.

Может быть, и не кончено.

Анна Павловна.

Надеюсь, что да. Только бы он дал развод.

Саша.

Что же будет хорошего?

Анна Павловна.

Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.

Саша.

Ах, мама, это ужасно, что вы говорите; не может Лиза полюбить другого.

Анна Павловна.

Отчего же не может? если она будет свободна. Найдется много людей, в тысячу раз лучше вашего Феди,[96] и будут счастливы жениться на Лизе.

Саша.

Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.

Анна Павловна.

Разумеется. Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет, и она любит его.

Саша.

Любит, да не так, как мужа. Это дружба с детства.

Анна Павловна.

Знаем мы эту дружбу, только бы не было препятствий.

ЯВЛЕНИЕ.

Входит горничная.

Анна Павловна.

Что вы?

Горничная.

Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.

Анна Павловна.

Какая барыня?

Горничная.

Лизавета Александровна, барыня.

Анна Павловна.

Ну так что ж?

Горничная.

Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.

Анна Павловна (удивленно).

Только что о нем говорили. Не понимаю только, зачем? [*(Саше.)*] Ты не знаешь?

Саша.

Может быть, и знаю, а, может быть, не знаю.

Анна Павловна.

Всё секреты. А самовар подогреть надо. Возьми, Дуняша.

Горничная берет самовар и уходит.

Анна Павловна (к Саше, которая встала и хочет итти).

Вышло, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.

Саша.

Послала, может быть, совсем не затем.

Анна Павловна.

Да, но почему же именно его ей нужно? Ну, посмотрим.

Саша.

Теперь, в эту минуту Каренин для нее всё равно, что Трифоновна.

Анна Павловна.

А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.

Саша.

Ах, мама, как вы мало ее знаете, [что] можете думать...

Анна Павловна.

Да вот увидишь. И я очень, очень рада.

Саша напевает и уходит.

ЯВЛЕНИЕ.

Анна Павловна (одна, покачивает головой и бормочет).

И прекрасно. И пускай... И прекрасно, и пускай... Да...

Горничная (входит).

Виктор Михайлович приехали.

Анна Павловна.

Ну что же, проси, да скажи барыне.

Горничная проходит во внутреннюю дверь.

ЯВЛЕНИЕ.

Анна Павловна, Виктор Каренин, потом Лиза и Саша.

В. Каренин (входит, здоровается с Анной Павловной застенчиво, робко).

Лиза, Лизавета Александровна прислала мне записку, чтобы я приехал... Я, разумеется...

Анна Павловна.

Она у себя в комнате, или у маленького, не знаю. Сейчас придет. *(Грустно.)* Да, да, тяжелое время. Вы ведь всё знаете.

Каренин.

Знаю. Лиза мне говорила. Но неужели это решено бесповоротно.

Анна Павловна.

Надеюсь. Она поплакала. Но теперь, кажется, начинает успокаиваться.

Каренин.

Все-таки это ужасно тяжело.

Анна Павловна.

Разумеется, тяжело и очень тяжело. Но что же делать? Ведь еще прежде было решено, и он сам клялся, что если с ним случится опять такое же, то он не вернется и даст полную свободу жене.

Каренин.

Ну и что же?

Анна Павловна.

И он понял, что после этой последней эскапады ему уже самому совестно вернуться.

Каренин.

Разве он решил это?

Анна Павловна.

И он и она. Это сделалось само собой. Их брак был ведь уже давно несчастный и всё держалось на ниточке.

Молчание.

Каренин.

Да, но Лизавета Александровна так любила его...

Анна Павловна.

Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?

Каренин.

Для любви всё можно.

Анна Павловна.

Вы говорите — любить; но как же любить такого человека — тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться. Ведь теперь что было *(оглядывается на дверь и торопится рассказать).* Дела расстроены, всё заложено, — платить нечем. Наконец, дядя присылает 2000, внести проценты. Он едет с этими деньгами, пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет и, наконец, получается записка прислать ему белье и вещи...

Каренин.

Да, да, я знаю.

Входят Саша и Лиза.

ЯВЛЕНИЕ.

Анна Павловна.

Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.

Каренин.

Да, меня немного задержали. *(Здоровается с сестрами.)*

Лиза.

Благодарствуйте. У меня до вас дело — большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.

Каренин.

Всё, что могу.

Лиза.

Вы ведь всё знаете...

Каренин.

Да, я знаю.

Анна Павловна.

Так я вас оставлю.

Уходит с Сашей.

ЯВЛЕНИЕ.

Лиза.

Да, он написал мне письмо, что считает всё конченным. Я *(удерживает слезы)* так была оскорблена, так... ну, одним словом, я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ.

Каренин.

[97]Но потом?..

Лиза.

Потом? потом почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Всё лучше, чем расстаться с ним. Ну, одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктòр... найдите его и отдайте ему это письмо, и скажите... и привезите его.

Каренин.

Сделаю всё, что могу.

Лиза.

Скажите, что я прошу его всё забыть, всё забыть и вернуться. И я просила вас потому, что знаю, что вы любите его.

Каренин.

Разумеется, люблю. Но где он?

Лиза.

Я вам всё скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что он у этих... цыган. Всё этот ужасный Афремов. Я знаю его. Ему не нужно этого. Это только, чтобы забыться. И я не могу это думать. Это так ужасно. *(Плачет.)* Поезжайте, Виктор, пожалуйста. Привезите, скажите, что всё забыто, только бы он приехал.

Анна Павловна (входит раньше и слышит).

Это безумие. Это значит опять сначала.

Саша.

Мама. Да дайте же Лизе говорить.

Анна Павловна.

Вы все рады опять.

Лиза.

Скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что всё забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.

Анна Павловна.

Лиза! Что ты делаешь!

Лиза.

Мама, оставьте.

Анна Павловна.

Это значит всё сначала. Опять связать себя с этим ужасным человеком.

Лиза (к Каренину).

Прощайте и поезжайте.

Каренин.

Сделаю, что могу, и если успею, то нынче же приеду с ним.

Анна Павловна.

Он наверное пьян, а я пьяных боюсь. Я уеду.

Каренин выжидает, потом кланяется и уходит.

Анна Павловна.

Опять пустить к себе в дом эту гадину.[98]

Лиза.

Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа.

Анна Павловна.

Он был муж.

Лиза.

Нет, он теперь мой муж.

Анна Павловна.

Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.

Лиза.

За что вы меня мучаете, мне и так тяжело, а вы точно нарочно хотите...

Анна Павловна.

Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого.

Лиза молчит.

Анна Павловна.

Я вижу, что вы это хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Всё это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.

Лиза.

Ничего этого нет...

Анна Павловна.

Каренин делал предложение, и посылаешь его за мужем. Что это, чтобы возбудить ревность?

Лиза.

Мама! это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.

Анна Павловна.

Так мать выгони из дома, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и бог с вами, как хотите, так и делайте. *(Уходит, хлопая дверью.)*

Лиза (падает на стул).

Этого недоставало.

Саша.

Ничего. Всё будет хорошо. Мама мы успокоим.

Анна Павловна (молча проходит).

Дуняша, мой чемодан!

Саша.

Мама! Вы послушайте. *(Уходит за ней и подмигивает сестре.)*

Занавес.

Комментарии С. Д. Балухатого и В. С. Мишина

«Живой труп»

История писания и печатания

В основу сюжета драмы «Живой труп» положены обстоятельства судебного дела супругов Н. С. и Е. П. Гимер, сообщенные Толстому его близким знакомым, председателем Московского окружного суда Н. В. Давыдовым.[99]

Интерес к этому делу у Толстого был вызван, помимо содержания дела, еще и тем, что будучи лично знаком с Е. П. Гимер, ее матерью и братом (мать Е. П. Гимер, Е. А. Симон, в 1887—1889 гг. часто бывала у Толстых; брат ее, Ф. П. Симон, некоторое время жил в Ясной Поляне), Толстой знал многие подробности ее жизни задолго до сообщения о деле Гимер Н. В. Давыдовым. История жизни Е. П. Гимер, давшая Толстому материал для драмы «Живой труп», вкратце такова.

В 1881 г. Е. А. Симон выдала свою семнадцатилетнюю дочь замуж за Н. С. Гимера, служившего в то время по министерству юстиции. Н. С. Гимер страдал запоем и, по словам Е. А. Симон, был «ужасный человек».[100] После женитьбы он не только не переменил образ жизни, но пил всё больше и больше и, наконец, потерял должность, редко являлся домой, стал постоянным обитателем притонов и ночлежек.

В 1883 г., вскоре после рождения сына, Е. П. Гимер, по настоянию матери, оставила мужа и поселилась с ребенком в каком-то подвале, почти без средств к жизни, имея лишь случайные заработки.

Е. А. Симон, сознавая свою вину в сложившихся обстоятельствах, взялась вторично устроить судьбу своей дочери, способствуя ее знакомству, а затем и «гражданскому браку» с П. П. Акимовым, служащим Курско-Киевской железной дороги.

Но жизнь и с П. П. Акимовым была для Е. П. Гимер неудачной, так как он вел разгульный образ жизни и не только не мог содержать семью, но временами сам жил на скудный заработок Е. П. Гимер, в то время занимавшейся перепиской рукописей, которые ей давали Толстой и П. И. Бирюков.

Е. А. Симон прилагала все усилия, чтобы побудить дочь оставить П. П. Акимова, однако Е. П. Гимер не соглашалась на это. Такому решению Е. П. Гимер способствовал и совет Толстого не оставлять мужа, переданный им сначала в письме к П. И. Бирюкову от 11—12? октября 1887 г. (см. т. 64), а затем при личном свидании с Е. П. Гимер в Москве в конце 1887 или начале 1888 г.

Однако совместная жизнь Е. П. Гимер с П. П. Акимовым продолжалась недолго. В начале 1890-х годов она уехала из Москвы и поступила работать акушеркой на фабрике Л. Рабенек в Щелкове, под Москвой. Здесь она познакомилась со служившим на фабрике С. И. Чистовым, впоследствии владельцем мыловаренного завода. Вскоре они решили пожениться, однако для этого необходимо было юридически оформить развод Е. П. и Н. С. Гимер.

Хотя Н. С. Гимер дал согласие, консистория в разводе отказала, и тогда Е. П. Гимер придумала симулировать смерть мужа. Муж написал ей письмо, в котором сообщал, что, отчаявшись в возможности исправить свою жизнь, решил кончить ее самоубийством. Письмо мужа Е. П. Гимер передала полиции; вскоре на льду Москвы-реки была найдена одежда с паспортом Н. С. Гимера, а затем из реки был извлечен чей-то труп, который приняли за тело Н. С. Гимера. В январе 1896 г. Е. П. Гимер вышла замуж за С. И. Чистова. Однако при попытке Н. С. Гимера в начале того же года получить новый паспорт он был опознан, супруги Гимер были отданы под суд и присуждены 8 декабря 1897 г. к ссылке в Енисейскую губернию. По ходатайству А. Ф. Кони перед министром юстиции ссылка в Сибирь была заменена тюремным заключением на один год, но благодари связям и подкупам приговор в исполнение приведен не был.

В работе над драмой «Живой труп» Толстой использовал не только обстоятельства судебного дела супругов Гимер, но взял и некоторые черты характеров действительных героев этой драмы и даже в том соотношении и связи, в каких они были в жизни. Кроме Н. С. и Е. П. Гимер, послуживших прототипами Федора Васильевича и Елизаветы Андреевны Протасовых, следует упомянуть и Е. А. Симон, многие черты которой воплощены в образе матери Лизы Протасовой, Анны Павловны. Отношения Е. П. Гимер с Е. А. Симон и обстоятельства жизни Е. П. Гимер с П. П. Акимовым послужили Толстому канвой для описания жизни Феди и Лизы Протасовых и отношений Лизы с матерью — Анной Павловной.

Можно назвать еще несколько лиц, подсказавших Толстому образы его драмы. Первоначально в I действии (см. вариант № 4) был выведен лихач-извозчик Турецкий, действительно живший в Москве. А. Ф. Кони вспоминает, что в 1887 г. во время прогулки Толстой рассказывал, как в старые, «крепостные» годы помещики из медвежьих углов провинции ездили в Петербург. По дороге они застревали в Москве, кутили в трактирах, в увеселительных заведениях, среди цыган. Родные и близкие, разыскивая пропавших, обращались за содействием к полиции. Агенты полиции требовали к себе Турецкого — содержателя лихачей, и тот скоро доставлял все сведения (А. Ф. Кони, «Живой труп» в действительности» — «Ежегодник императорских театров», 1911, выпуск VI, стр. 22).

Переписчик Толстого Александр Петрович Иванов, больной, страдавший запоями человек, частый посетитель московского ночлежного дома «Хитровка», послужил прототипом Ивана Петровича Александрова.

В образе Афремова (в черновых редакциях — Афросимова) изображен Александр Павлович Офросимов (1846—1921) — богатый тульский помещик, сосед и знакомый Толстых, большой любитель цыганского пения.

Фамилия Стах., не раскрытая в рукописях Толстого полностью, может быть прочитана как Стахович. Толстой воспользовался фамилией своего старинного знакомого А. А.

Стаховича, который был страстным любителем рысистого спорта и владельцем конного завода в Орловской губ.

Замысел написать драму «Живой труп» возник у Толстого в декабре 1897 г. (29 декабря Толстой записал в дневнике: «Вчера же целый день складывалась драма-комедия «Труп»), но работа над пьесой была начата лишь в январе 1900 г., после просмотра пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» в Московском Художественно-общедоступном театре. 27 января Толстой отметил в Дневнике, что «захотел написать драму «Труп», набросал конспект» (т. 54, стр. 10).

В этом первом «конспекте» записан полностью план драмы. Впоследствии сюжетные изменения в драме свелись лишь к замене отдельных картин и сцен, некоторому их расширению, что на характере сюжетной основы произведения не отразилось.

18 февраля 1900 г., надеясь получить материал для задуманной драмы, Толстой «ходил «под Девичье» в балаган и потом в какой-то грязный трактир, где особенно много пьянства и разгула, — для наблюдений» (А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», I, М. 1922, стр. 28). По всей вероятности, с работой над «Живым трупом» связано и упоминание в Записной книжке (март 1900 г., т. 54, стр. 216) об университетском анатомическом театре, где Толстой мог получить нужные ему сведения об освидетельствовании трупов утопленников.

В мае 1900 г. Толстой непосредственно приступил к работе над драмой. 17 мая в Дневнике записано: «Вчера написал 2-й акт Трупа»; 19 мая: «Кончил «Рабство» и написал два акта». Работа над драмой продолжалась и в августе 1900 г. 7 августа в Дневнике отмечено: «Нынче написал сцену в «Труп». И, наконец, 15 августа: «Писал Труп — окончил. И втягиваюсь всё дальше и дальше» (т. 54, стр. 26—27, 32—33). Вероятно, эта последняя запись говорит об окончании первой редакции драмы и о тотчас же возникшем желании взяться за исправление ее. Следующие записи в Дневнике показывают, однако, что переработанная драма не удовлетворила Толстого. Так, последовательно 21, 26 августа и 7 сентября Толстой заносит в Дневник: «Писал драму и недоволен ею совсем»; «Переменил кое-что в драме, и к лучшему, но ничто не привлекает к работе,

хотя и то и другое[101] нравится»; «Сейчас пытался писать драму — не идет» (т. 54, стр. 35, 37, 39). Тогда же Толстой заносит в Дневник и Записную книжку заметки к заключительной сцене драмы. В Дневнике 7 сентября записано: «К малой драме:[102] умирая, Федя говорит: а может быть, я ошибся. Ну да что сделано, то сделано. Несите» (т. 54, стр. 42)

К концу сентября 1900 г. относится набросок в Записной книжке второго плана драмы (т. 54, стр. 227). План этот представляет собою перечень картин с лаконичным обозначением места действия. В нем перемещены некоторые картины, некоторые добавлены, но ход действия тот же, что и в первом плане, и в написанной драме.

Вероятно, вскоре после второго плана Толстой набросал третий и затем четвертый планы драмы. Третий план почти в точности повторяет второй и еще более лаконичен. Четвертый план построен по образцу первого и подразделен на действия и картины. Как и в первом плане, Толстой здесь в каждой картине обозначает кратко содержание ее. Вся драма по этому плану делится на семь действий и каждое действие на две картины. Кроме того, последовательно пронумерованы все картины, начиная со второй картины первого действия, цифрами 2—14. В числе новых, введенных Толстым сцен, следует отметить 9-ю картину: «Маша уведомляет город. Толпа. Ищут тело» и 10-ю картину: «М[аша] плачет. Л[иза] ревнует и признает». 12-ю картину, «В деревне», Толстой заканчивает замечанием: «Саша признает, что она любит». Эти сцены не были развиты Толстым в написанном варианте драмы.

Отдельные стадии работы Толстого над драмой не могут быть точно датированы, однако последовательность работы можно проследить по сохранившимся рукописям.

Непосредственно к писанию драмы Толстой приступил в начале мая 1900 г. Первоначально были написаны (в клеенчатой тетради) 1-я и 2-я картины I действия, 1-я и 2-я картины II действия и 1-я картина III действия. Судя по почерку и чернилам, работа производилась в четыре приема: сначала была написана 1-я картина I действия, потом 2-я картина I

действия; затем 1-я и 2-я картина II действия и, наконец, 1-я картина III действия.

Запись в Дневнике 17 мая о написанном «2-м акте» и запись 19 мая о написанных «двух актах» (относящаяся к пребыванию Толстого в Пирогове, где он провел пятнадцать дней), позволяют почти точно датировать работу над первыми четырьмя картинами 5—16 мая 1900 г. Вскоре по приезде из Пирогова была, повидимому, написана 1-я картина III действия, после чего Толстой начал просмотр написанных пяти картин.

По содержанию 1-я картина I действия в первой редакции соответствует той же картине того же действия драмы в последней редакции. Место действия — гостиная в доме Протасовых. Действующие лица в основном те же; отсутствует лишь Саша, а вместо матери, Анны Павловны, фигурирует Марья Васильевна Крюкова, «девушка за 30 лет.... сторонница свободной любви», повидимому, близкий друг дома (см. вариант № 1).

2-я картина I действия соответствует той же картине того же действия драмы в последней редакции. Действие происходит в «комнате у цыган». Действующие лица те же; однако офицер и музыкант не имеют реплик (см. вариант № 1).

1-я картина II действия соответствует 1-й картине III действия в последней редакции. Место действия — кабинет Анны Дмитриевны Карениной. Действующие лица те же, что и в последней редакции. Меньшая роль отведена лишь В. Каренину. Явления четвертого последней редакции, с участием Каренина, в первой редакции нет, а явление, соответствующее пятому, — более кратко (см. вариант № 1).

2-я картина II действия была исключена при дальнейшей переработке драмы и в последней редакции не отражена. Место действия — «номер в гостинице». Действующие лица: Федя, Афросимов (в дальнейшем Афремов; в 1-й и 2-й картинах он называется Пашей, здесь — Мишкой), Лиза, Маша и лакей.

1-я картина III действия соответствует 2-й картине III действия последней редакции драмы. Место действия — «квартира скромная», где живет Федя. Действующие лица те же,

что в последней редакции. Несколько иначе построено лишь начало картины, в дальнейшем исключенное (см. вариант № 1).

Просматривая и исправляя написанное, Толстой производит перестановку картин, начиная со II действия. Так, картину 1-ю («Кабинет Анны Дмитриевны») он помечает картиной 2-й того же действия; картину 2-ю («Номер в гостинице») — 1-й; картину 1-ю действия III («Квартира скромная») помечает картиной 2-й и вслед за ней в той же тетради пишет картину 1-ю действия III, соответствующую картине 2-й действия IV в последней редакции («Гостиная у Протасовой»).

При новом просмотре написанной части драмы Толстой называет все написанные картины действиями и соответственно нумерует их. Первые четыре картины помечаются в той же последовательности действиями 1—4; действием 5 помечается 2-я картина II действия, а действием 6 — 1-я картина III действия.

Вслед за этим Толстой пишет дополнительно на отдельных листах картину, соответствующую 1-й картине IV действия последней редакции («В трактире. Отдельный номер»), которая вначале помечается действием 4, а затем 6-м. Эта картина в дальнейшем подверглась лишь небольшим исправлениям. В связи с написанием этой картины, бывшее действие 6-е («Гостиная у Протасовой») помечается теперь 7-м.

Далее Толстой пишет действия 8—10, соответствующие 1-й и 2-й картинам V действия и 1-й картине действия VI последней редакции. По характеру почерка и чернилам можно предположить, что эти действия писались в один прием или же, во всяком случае, в очень короткий промежуток времени. В конце текста действия 10-го Толстой написал: «Действие 11. Комната подсудимых в здании окруж[ного] суда». Эта запись потом была зачеркнута, и Толстой написал последнее, 11-е, действие, соответствующее 2-й картине VI действия последней редакции драмы («Коридор в здании окружного суда»).

Таким образом, в этой стадии работы драма составлялась из одиннадцати действий, которые распределялись следующим образом: 1-е действие— «Уютная богатая гостиная» (см. вариант № 1); 2-е действие — «У цыган» (см. вариант № 1); 3-е

действие — «Номер в гостинице» (см. вариант № 1); 4—11 действия — соответствовали последовательно восьми картинам III—VI действий последней редакции и в дальнейшем почти не исправлялись Толстым.

Окончание этой первой черновой редакции драмы Толстой отметил в Дневнике 15 августа 1900 г.

Повидимому, вскоре после окончания драмы Толстой отдал ее в переписку. Переписчик скопировал первые три действия, причем, 3-е действие он пометил как 2-ю картину II действия, ввиду того, что Толстой, перенумеровывая картины на действия, не зачеркнул обозначение картины.

Эта копия подверглась правке Толстого. Первое действие имеет сравнительно небольшое количество исправлений, лишь в первой своей части. Вторую часть 1-го действия Толстой не исправлял совсем, видимо, оставшись недоволен им и решив написать это действие заново. 2-е действие («Комната у цыган») правилось больше и в сцене Феди с Карениным уже близко подходит к последней редакции этого текста. Действие 3-е («Номер в гостинице») правилось лишь в начале: Толстой вписал небольшую сцену Феди с извозчиком, пришедшим получить деньги, а также значительно изменил следующую за ней сцену Феди с Афросимовым (Афремовым), но потом, видимо неудовлетворенный этим действием, перечеркнул его (см. варианты №№ 1 и 2).

Как протекала работа Толстого над драмой в дальнейшем, установить трудно. Можно лишь предположить, что недовольный началом пьесы, Толстой стал заново писать первое действие и набросал его начало (вторая редакция I действия; см. вариант № 3). Подтверждением этому предположению служит то, что в этом варианте начала первого действия Толстой вводит в качестве действующего лица вместо Марьи Васильевны Крюковой мать Лизы и Саши, Анну Павловну, которая в следующем, дополнительно написанном (3-м) действии (об этом дальше), фигурирует уже как лицо известное, безо всякой характеристики и даже без упоминания о том, что она является матерью Лизы и Саши. Однако неудовлетворенный и этим началом, Толстой набрасывает

целиком новую редакцию (третью) первого действия, помечая ее 1-й картиной первого действия (см. вариант № 4). Эта картина начинается непосредственно с характеристики Анны Павловны и ее разговора с вошедшей Сашей о Феде. В качестве нового действующего лица в этой картине вводится извозчик Турецкий, у которого Анна Павловна и Каренин пытаются узнать о месте пребывания Феди. В дальнейших редакциях этот персонаж отсутствует.

Но и эта, третья, редакция не удовлетворила Толстого, и он начал писать первое действие заново. Однако, было написано только начало — разговор за чаем между Анной Павловной, Лизой и Сашей о Феде. Это начало составило четвертую редакцию первого действия драмы (см. вариант № 5). Взамен ее Толстой написал новую (пятую) редакцию первого действия целиком, которую можно считать последней редакцией, так как Толстой принял ее за основу и вносил в нее в дальнейшем лишь стилистические исправления (см. вариант № 6). Среди действующих лиц, в сравнении с окончательным текстом этого действия, нет лишь няни, которую Толстой ввел при исправлении этого действия в копии (см. вариант № 8).

Вслед за окончанием работы над первым действием Толстой начал просмотр всей драмы, текст которой, за исключением первого, второго и шестого действий, был написан в клеенчатой тетради. Имея первое и второе действие в новых редакциях (см. рукописи №№ 7 и 11), Толстой оставляет первую редакцию этих действий в клеенчатой тетради нетронутой. 3-е действие («Номер в гостинице»), исключенное им в рукописи № 7, он вычеркивает в тетради и вместо него пишет на отдельных листах 3-е действие в новой редакции («У Лизы»), составившее, после исправления, последнюю редакцию 1-й картины II действия, и, вероятно вскоре, следующее, 4-е, действие («У Афремова в кабинете»), составившее 2-ю картину II действия в последней редакции (окончание 4-го действия написано на полях рукописи № 7 с зачеркнутым 3-м действием — «Номер в гостинице»).

Это четвертое действие было написано, очевидно, в конце сентября 1900 г., то есть в то же время, когда был составлен

третий план. (В черновиках этого действия Федя носит фамилию Назарова; в третьем плане Толстой дважды упоминает эту фамилию.)

В связи с написанием четвертого действия в новой редакции, Толстой бывшее в тетради четвертое действие («Кабинет Анны Дмитриевны») перенумеровывает на пятое, а следующее («Квартира скромная»), по недосмотру, оставляет с прежним номером. Таким образом в конечном итоге получилось двенадцать действий под нумерацией 1—11.

Составившаяся, с дополнениями, рукопись всей драмы была в таком виде переписана целиком, и Толстой начал по копии исправлять ее с начала.

Значительные исправления Толстой внес в первые явления первого действия, начав его с диалога Анны Павловны с няней, и соответственно переделал последующие явления. Конец этого действия правился меньше (большинство исправлений носит стилистический характер).

Второе действие («Комната у цыган») перерабатывалось более существенно. Толстой, исправляя, произвел перестановку текста путем цифровых помет на полях. Соответственно новому построению во многом изменяется и текст. Большие изменения и местами уточнения Толстой вносит в названия цыганских песен, которые должны исполняться по ходу действия. Первую ремарку: «Хор поет цыганскую песню» он изменяет на: «Хор поет Канавелу»; вместо «Ночки» — ставит «Не вечернюю»; вместо «Слышишь» — «Шэл мэ верста»; вместо «веселой плясовой» — «Размолодчики мои», и т. д.

Большая правка этого действия, связанная с многочисленными перемещениями как отдельных реплик, так и целых явлений послужила одним из основных затруднений в правильном чтении текста. При первых публикациях драмы, вплоть до издания в т. 9 «Собрания сочинений» Л. Н. Толстого (приложение к журналу «Огонек»), М. 1948, цифровые указания, отчеркивания на полях и другие пометы Толстого учтены не были и текст этого действия печатался не в последней его редакции.

С окончанием переработки второго действия, непосредственная работа над драмой была прекращена, и следующие десять действий остались в копии неисправленными.

Последний просмотр драмы и исправления первых двух действий ее по времени может быть приурочен к концу октября или к началу ноября 1900 г. Основанием для такой датировки служит перечисление в Записной книжке Толстого под 28 октября 1900 г. (см. т. 54, стр. 231) приведенных выше названий цыганских песен и романсов, которыми в последней правке были заменены ранее указанные песни и романсы.

В октябре слух о создании Толстым новой пьесы «Живой труп» проник в печать, и к Толстому стали обращаться журналисты и театральные деятели с просьбами о напечатании и постановке пьесы. Считая свою драму далеко не оконченной, Толстой отвечал на эти предложения решительным отказом. 6 октября он писал редактору журнала «Жизнь» В. А. Поссе: «Я не только не обещал драмы, которой у меня нет, но и ничего не обещал. Очень сожелаю, что это так, но я не могу иначе» (т. 72, стр. 482).

Отмечая приезд в Ясную Поляну руководителя Московского Художественно-общедоступного театра Вл. И. Немировича-Данченко, Толстой записал в Дневнике 16 октября: «Немир[ович]-Данч[енко] был о драме. А у меня к ней охота прошла» (т. 54, стр. 48). Немировичу-Данченко Толстой сказал, что пьесу он пишет «в часы досуга, в виде отдыха, для развлечения», считая более важным делом работу над своими публицистическими произведениями» («Неделя» 1900, № 43 от 22 октября). Тогда же Толстой говорил о том, что для постановки его новой пьесы была бы необходима вертящаяся сцена, так как он писал пьесу не актами, а картинами, что давало ему большую свободу в обработке материала,[103] а также о том, что обычно пьесы для театра пишут слишком правильным языком, а нужно их писать со всеми кажущимися неправильностями разговорной речи и в своем «Трупе» он заботился о такой «неправильной» речи (Н. Эфрос, «Живой труп» на сцене

Художественного театра», журн. «Студия» 1911, № 1 от 1 октября).

Осенью 1900 г. к Толстому обратился также П. П. Гнедич с просьбой дать пьесу для императорских театров, но получил, как пишет Гнедич в своих воспоминаниях, следующий ответ Толстого: «Скажите чиновникам, что нет у меня «Трупа», он не кончен. Я стар для того, чтобы написать большую вещь. Ни сил нет, ни времени. Да, я задумал пьесу, но никогда ее не кончу. Между тем, что на бумаге, и тем, что на сцене — целая бездна.... Надо определить перспективу, а мне это не под силу. Я в «Плодах просвещения» был, как автор, на стороне мужиков, — а на сцене вдруг они оказались такими же мошенниками и плутами, как Гроссман, и плутами сознательными. При этом я не мог упрекнуть актеров, — они хорошо играли, хотя мужики были из разных губерний, а не из одной деревни: уж очень говор их отличался друг от друга. Вот я и понял, что одно написать, другое дать пьесу, — разница большая — текст и исполнение. Ну, словом, на «Труп» вы не рассчитывайте: скоро я его не напишу» (П. Гнедич, «Книга жизни. Воспоминания», изд. «Прибой», 1929, стр. 199—200).

Толстой прекратил работу над пьесой, записав 28 ноября 1900 г. в Дневнике: «Вчера читал статью Новикова и получил сильное впечатление: вспомнил то, что забыл жизнь народа: нужду, унижение и наши вины. Ах, если бы бог велел мне высказать всё то, что я чувствую об этом. Драму Труп надо бросить. А если писать, то ту драму[104] и продолжение «Воскресения» (т. 54, стр. 65). А 12 декабря он писал В. Г. Черткову: «Драму я шутя, или, вернее — балуясь, написал начерно; но не только не думаю ее теперь кончать и печатать, но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал». Тогда же, как свидетельствует П. А. Сергеенко, Толстой говорил о драме: «...До окончания еще далеко. Для этого необходимо особенно легкомысленное настроение, которого у меня нет теперь» (П. Сергеенко, «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», изд. 2-е, М. 1903, стр. 77—78).

Однако Толстой не отказался совсем от мысли продолжить работу над «Живым трупом». В Дневнике 15 декабря 1900 г. он

записал: «Прошел мимо лавчонки книг и вижу *Крейцер[ову] Сон[ату]*. И вспомнил: и Крейц[ерову] С[онату] и Вл[асть] Т[ьмы], и даже Воскр[есение], я писал без всякой думы о проповеди людям, о пользе, и между тем это, особенно К[рейцерова] С[оната], много принесло пользы. *Не то ли и с Труп[ом]?*» (т. 54, стр. 72).

О намерении переделать драму говорит запись в Дневнике 31 декабря 1900 г.: «Думал нынче о том, что главная неестественность драматич[еских] произведений есть то, что говорят все лица одинаково долго и их слушают. В действительности это не так: каждое лицо имеет возможность говорить и выслушивает по свойствам своего характера и ораторского искусства. Хотел так переделать свою драму. Да, видно, мое сочинительство кончилось. Что ж, и то хорошо» (т. 54, стр. 79). В 1901 г. нет никаких упоминаний о «Живом трупе», а в июле 1902 г. Толстой говорил переводчику Р. Лёвенфельду: «Драма «Труп» только набросана мною вчерне, и я едва ли скоро или когда-нибудь возьмусь за нее, так как всё еще слаб от болезни, а сделать более важного, нужного хочется много» («Русское слово» 1911, № 232 от 9 октября).

В дальнейшем, однако, Толстой неоднократно возвращался к мысли о драме. В настольном календаре 30 сентября 1902 г. он записал: «Перечитал труп» (т. 54, стр. 318). В 1903 г. Толстой включил «Живой труп» в список художественных сюжетов, над которыми он намерен был начать или продолжать работу, а в списке 1904 г. «Труп» упомянут как рассказ, задуманный в качестве «недельного чтения» для «Круга чтения» (т. 55, стр. 302).[105] Однако к писанию «Живого трупа» Толстой в эти годы не приступал. А. Ф. Кони вспоминает, что, будучи ранней весной 1904 г. в Ясной Поляне, он просил Толстого дать прочесть драму «Живой труп». Толстой сказал: «Нет, это читать не стоит: оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и я его совсем бросил» (А. Ф. Кони, «Живой труп» в действительности» — «Ежегодник императорских театров», 1911, выпуск VI, стр. 23).

Прекращение работы над «Живым трупом» несомненно было связано также со следующими обстоятельствами. Сведения о сюжете новой драмы Толстого в ноябре 1900 г. стали

достоянием газет, благодаря переписчику Толстого, А. П. Иванову, который как-то запил и на «Хитровке» рассказал репортеру «Новостей дня» о новом драматическом произведении Толстого. Репортер написал статью («Новости дня» 1900, № 6289 от 22 ноября), после чего к Толстому пришел сын Н. С. Гимера и просил от имени матери не публиковать драму, так как это могло возбудить интерес к «заглохнувшему было судебному процессу» и повести к тяжелым для его матери последствиям, то есть к отбыванию тюремного заключения (П. А. Буланже, «Как писалась драма «Живой труп» — «Русское слово» 1911, № 232 от 9 октября, и А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», I, стр. 53).

По словам Н. В. Давыдова, Толстого тогда же посетил и сам Н. С. Гимер, которого Толстой подробно расспрашивал о всей его жизни (Н. В Давыдов, «Из прошлого», М. 1914, стр. 257). Н. С. Гимер бывал у Толстого и ранее, еще зимой 1899—1900 гг.. а также писал Толстому (в архиве писателя сохранилось одно просительное письмо Н. С. Гимера от 16 марта 1900 г. — см. примечание к дневниковой записи 28 ноября 1900 г., т. 54, стр. 443—445).

«Живой труп» не был окончен Толстым и при жизни писателя опубликован не был. Впервые драма была опубликована в газете «Русское слово» 23 сентября 1911 г. и тогда же отдельным изданием под редакцией В. Г. Черткова (типография Сытина). При подготовке этого издания в распоряжении редакции были не все известные теперь рукописи. При следующем издании драмы («Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, т. I, М. 1911, а также в издании «Свободного слова») были сделаны некоторые дополнительные исправления. В этом виде драма была издана в «Посреднике» (М. 1913, № 1113) и перепечатывалась во всех последующих изданиях, с незначительными изменениями.

В настоящем издании в основу окончательного текста положена рукопись № 14 (последняя авторизованная копия). Текст действия I проверен по автографам предыдущих

рукописей; текст 1-й и 2-й картин действия II проверен по рукописи № 13 (автограф); текст действия III проверен по рукописи № 5 (автограф); текст 1-й картины действия IV — по рукописи № 6 (автограф); текст 2-й картины действия IV и текст действий V и VI — по рукописи № 5 (автограф).

В отличие от всех ранее опубликованных текстов «Живого трупа» в настоящем издании текст второй картины V действия печатается по рукописи, с участием Марьи Васильевны Крюковой, подруги Лизы, произвольно замененной во всех прежних изданиях матерью Лизы, Анной Павловной.

Начав писать девятое действие в первой редакции («В деревне, на террасе»), соответствующее 2-й картине V действия последней редакции, Толстой первоначально ввел в качестве действующего лица Афр[осимова], который приезжает с Карениным в деревню (см. вариант № 7); но потом в написанной части этого действия он заменил всюду фамилию Афросимова на имя Марьи Васильевны, которая в этой редакции является одним из главных действующих лиц первого действия (см. варианты №№ 1 и 2). В связи с такой заменой был изменен и текст реплик Афросимова. Исправления эти Толстой произвел в конце первого и во втором явлении, до слов Каренина: «уж это навеки наше» (см. вариант № 7), и затем стал продолжать действие, но с участием не Афросимова, а Марьи Васильевны.

Во второй и всех последующих редакциях первого действия Толстой исключил Марью Васильевну, введя, вместо нее, в качестве одного из главных действующих лиц мать Лизы и Саши Анну Павловну и существенно изменив весь текст этого действия. Однако после переработки первого действия Толстой не произвел никаких изменений в автографе девятого действия («В деревне, на террасе»). В копии всей драмы он довел свои исправления лишь до третьего действия («У Лизы»). Таким образом, девятое действие осталось в своем прежнем виде — с участием Марьи Васильевны, и нигде нет намека на намерение Толстого заменить ее в этом действии Анной Павловной. Следовательно, произвольные редакционные изменения толстовского текста, производившиеся до сих пор (например: «Мама!» вместо «Маша!» или «Анна Павловна целуется с

Лизой» вместо «Маша целуется с Лизой») ничем нельзя оправдать, тем более, что реплики Марьи Васильевны не соответствуют характеру Анны Павловны, противоречат всему поведению и репликам Анны Павловны в первом действии и таким образом нарушают реалистичность драмы.

В копии всей драмы, сделанной Т. Л. Сухотиной и А. П. Ивановым, во 2-й картине V действия Марья Васильевна участвует. Это имя оставлено и после унификации имен и фамилий в драме, произведенной в этой копии М. Л. Оболенской. Всё это подтверждает необходимость оставления Марьи Васильевны Крюковой в числе действующих лиц драмы.

В настоящем издании драма разделена на шесть действий и каждое действие на две картины, в соответствии с последним планом пьесы. Разбивка на явления сделана согласно общепринятому обозначению. Введены в квадратных скобках необходимые ремарки, иногда отсутствующие в рукописи; даны подзаголовок пьесы и перечень действующих лиц. Имена и фамилии действующих лиц исправлены, согласно произведенной в рукописи № 14 унификации их М. Л. Оболенской: действие III, картина 1-я, явления V—VII и действие V, картина 2-я — Анна Дмитриевна вместо: Марья Дмитриевна; действие III, картина 2-я, явление IV — князь Абрезков вместо князь Арб[енин]; действие VI — Протасов и Протасова вместо Корнильев и Корнильева; действие VI, картина 2-я — Иван Петрович вместо Александр Петрович и Василий Иванович и дама вместо 1-я дама. Унифицируются также разночтения в именах, не учтенные М. Л. Толстой: действие II, картина 1-я, явление II — Мика вместо: Петя; действие III, картина 2-я, явление I — Федор Васильич вместо: Федор Иваныч.

Описание рукописей

1. Автограф, 1 л. F°. Первый план пьесы. *Начало:* «I акт, 1 кар[тина], 1 я[вление]. Лиза с М[арьей] В[асильевной] говорят о муже». *Конец:* «а тут жизнь — убивает себя».

Печатается в планах под № 1.

2. Автограф. Запись в Записной книжке Толстого 22 сентября 1900 г. (см. т. 54, стр. 227). Второй план пьесы. *Начало:* «1) У Лизы». *Конец:* «15) Суд».

Печатается в планах под № 2.

3. Автограф, 1 л. 16°. На одной странице адрес, записанный неизвестным лицом и зачеркнутый Толстым: «С. Петербург. До востребования. Михаилу Павловичу Толстому». На этой же странице написан третий план пьесы. *Начало:* «1) У <Назаров> Лизы». *Конец:* «15 Окр[ужной] суд». На другой странице — четвертый план. *Начало:* «I действие. 1-я картина. Теща и сестра». *Конец:* «Комната свидетелей».

Печатается в планах под №№ 3 и 4.

4. Автограф, 1 л. 32°. Набросок предсмертных слов Феди Протасова. *Начало:* «Ф[едя] говорит: какая странная вещь жизнь!» *Конец:* «Всё даром пропал[о]».

Печатается в планах под № 4.

5. Автограф. Тетрадь 4° в клеенчатой обложке. Заглавие: «Труп». Текст занимает 49 лл. 4° и 1 отрезок, нумерованных неизвестной рукой. Лист 3 рукописи вставлен позднее. Листы 44—49 были вырезаны и затем опять вложены в тетрадь (см. описание рук. № 11). На л. 13 отметка Толстого: «на листе», но этого листа в рукописи нет.

На первых 41 лл. и 1 отрезке этой тетради — текст пьесы в первой редакции. *Начало:* «Труп. Действующие лица. Марья Васильевна Крюкова». *Конец:* «Как хорошо. (Кончается)». В явлении IV действия III против слов Феди: «Ступай к ней и скажи, что я даю развод, беру вину и всё» (л. 17) на полях Толстым написано: «Колеблется поехать к ней и потом решает, что нет».

По этой рукописи печатается вариант № 1: текст первоначальной редакции (до поправок) картин 1-й и 2-й действия I, картины 1-й действия II, картины 2-й действия II и начало картины 1-й действия III (зачеркнутое начало разговора Феди и Маши); вариант № 7: первоначальный текст конца I и II явлений 2-й картины действия V.

На лл. 42—43 — запись конца действия I в третьей редакции с последующей правкой Толстого. *Начало:* «Саша.

Мама, да дайте Лизе сказать». *Конец:* «У меня удар сделается (уходит). Занавес» (см. описание рук. № 9).

6. Автограф, 2 лл. F°. Содержит 6-е действие, соответствующее 1-й картине IV действия в последней редакции. *Начало:* «Действие <6> <4> 6. В трактире». *Конец:* «Бери, бери. А мы едем. Занавес».

7. Рукопись на 12 нумерованных листах линованной бумаги 4°. Копия первых трех действий в первой редакции рукою А. П. Иванова, с множеством исправлений Толстого. Заглавие рукою переписчика: «Труп». Первые два действия соответствуют картинам 1-й и 2-й действия I последней редакции; третье исключено в дальнейшей работе.

Печатается в вариантах под № 2.

8. Автограф, 1 л. 4°. Начало I действия во второй редакции, зачеркнутое Толстым. *Начало:* «Действие первое. Сцена <разделена> представляет» *Конец:* «Я оставила записку».

Печатается в вариантах под № 3.

9. Автограф, 1 л. почтового формата и 3 лл. 4°. Пагинация рукой Толстого по страницам 1—12 (стр. 3 — в рук. № 6: использована нижняя, оставшаяся чистой часть оборота этого листа; стр. 10—12 — в рук. № 5: в клеенчатой тетради, лл. 42—43). Третья редакция начала I действия. *Начало:* «Действие первое. Картина 1-я. А. П. Полная энергичная дама». *Конец:* «У меня удар сделается (уходит). Занавес».

Печатается в вариантах под № 4.

10. Автограф, 1 л. 4°. Четвертая редакция начала I действия, исправленная и потом зачеркнутая Толстым. Последняя фраза написана на л. 44 рук. № 5. *Начало:* «Д[ействие] I. Сидят за чаем». *Конец:* «Только что позвонили».

Печатается в вариантах под № 5.

11. Автограф. 5 лл. 4°, вырезанных из клеенчатой тетради (рук. № 5). Пагинация 44—49. Запись I действия в пятой редакции с последующими исправлениями: *Начало:* «Д[ействие] 1. Яв. I. А[нн]а [Павловна]. Сидит». *Конец:* «Саша уходит за ней и подмигивает сестре. Занавес. II действие». Публикуется в вариантах под № 6.

12. Рукопись. 11 лл., из которых 8 лл. 4° и 3 обрезка. Копия рукой А. П. Иванова рук. № 11 с поправками Толстого. Заглавие рукой Толстого: «Живой труп». *Начало:* «Действ[ие] I. А. П. сидит одна». *Конец:* «Кланяется и уходит)».

13. Автограф, 5 лл. почтового формата. На лл. 1 и 2 — текст 3-го действия, соответствующий тексту 1-й картины II действия последней редакции. На следующих листах — текст 4-го действия, соответствующий тексту 2-й картины II действия последней редакции.

14. Рукопись. 109 лл. 4°. Копия всего текста пьесы рукой Т. Л. Сухотиной и А. П. Иванова (с поправками рукой М. Л. Оболенской). *Начало:* «Живой труп. Действие I, Явление I. Анна Павловна». *Конец:* «Как хорошо. (Кончается.)» Вся драма разбита на 12 действий, помеченных цифрами 1—11 (цифрой 5 нумерованы два действия). Имеются исправления Толстого в первом и втором действиях (лл. 1—22). Извлекается вариант № 8.

Хозяин и работник

I

Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу 2-й гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, — он был церковный староста, — и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику, для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив, в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный; из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита, не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был 50-летний мужик из ближней деревни, не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное — за добрый,

приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал всё с себя, становился еще буен и придирчив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не 80 руб., сколько стоил такой работник, а рублей 40, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет 20 жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье всё отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей 20.

— Мы разве с тобой уговоры какие делали? — говорил Василий Андреич Никите. — Нужно — бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

— Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, —

отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

— Что, соскучился, соскучился, дурачок? — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. — Но, но! поспеешь, дай прежде напою, — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и чолку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

— Балуй, балуй, шельмец! — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

— Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси, — сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

— Поди, спроси, душа милая, — сказал ему Никита, — какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а вдругой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

— В махонькие так в махонькие, — сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда всё было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

— Вот и ладно. Но, но, не топырься! — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свеже-обмолоченную овсяную солому. — А теперь вот давай дерюжку так постелим, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, — говорил он, делая то, что говорил, — подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

— Вот спасибо, душа милая, — сказал Никита кухаркину мужу, — вдвоем все спорее. — И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

— Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. — Меня посади, — просил он, на ходу застегивая свой полушубок.

— Ну, ну, беги, голубок, — сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно — градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но

на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег и на углу, у бани, крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

— Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

— Право, Никиту бы взял, — говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

— С деньгами поедешь, — продолжала тем же жалобным голосом жена. — Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

— Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно? — проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

— Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.

— Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

— Что ж, Василий Андреич, я готов, — весело сказал Никита. — Только лошадям корма бы без меня дали, — прибавил он, обращаясь к хозяйке.

— Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, — сказала хозяйка.

— Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? — сказал Никита ожидая.

— Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, — выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный подмышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

— Эй, душа милая, выдь подержи лошадь! — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

— Я сам, я сам! — запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

— Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! — крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

— Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, — проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

— Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи — с хозяином ехать! — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

— То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, — сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

— Вот так-то, — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс, — так не выскочишь, — и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. — Ну вот и ладно.

— Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, — сказала кухарка, — а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

— Надо бы... Ну да сойдеть и так, недалече!

И он побежал на двор.

— Не холодно тебе будет, Никитушка? — сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

— Чего холодно, тепло вовсе, — отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

— Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! — крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. — Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заёкав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю Кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только по тому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, теперь изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

— Бегу ей настоящего нет, снежно, — сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью. — Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

— Чаго? — спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

— В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, — прокричал Василий Андреич.

— Что и говорить, лошадь добрая! — сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

— Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? — заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с

таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

— Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

— Это так, — сказал Василий Андреич. — Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? — начал он новый предмет разговора.

— Да не миновать, — отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал всё слышать.

— Малый возрос, надо самому пахать, и то всё наймали, — сказал он.

— Что же, берите бескостречного, дорого не положу! — прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество.

— А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, — сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

— Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести, — прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. — Лошадь настоящая!

— Как есть, — сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было нехолодно.

— Что, как думаешь, на Карамышево поедем, али прямо? — спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но — дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена, и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

— На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, — проговорил он.

— Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо, — сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

— Воля ваша, — сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

— Чаго? — спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

— Чаго ты, говорю? — повторил Никита.

— Чаго, чаго! — передразнил его Василий Андреич сердито. — Вешек не видать! Должно, сбились!

— Так стой же, я дорогу погляжу, — сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был не глубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался

Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

— Ну что? — сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

— С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

— Вон что-то впереди чернеет, ты туда пойди погляди, — сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, — это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

— Вправо ехать надо, — сказал он решительно. — Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! — решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги всё не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

— А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, — вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. — Это что? — сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

— А что? — спросил он.

— А то, что мы на Захаровском поле. Вон куда заехали!

— Вре? — откликнулся Василий Андреич.

— Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, — сказал Никита, — и по саням слышно — по картофелищу едем; а вон и кучи, — ботву свозили. Захаровское заводское поле.

— Вишь ты, куда сбились! — сказал Василий Андреич. — Как же быть-то?

— А надо прямо брать, вот и всё, куда-нибудь да выедем, — сказал Никита. — Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на

оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда въезжали в глубокий и везде одинаково белый, ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

— Чего держать! Заехали — выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! — закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

— Где же это мы? — сказал Василий Андреич.

— А вот узнаем! — отвечал Никита. — Трогай знай, куда-нибудь выедем.

— А ведь это, должно, Горячкинский лес? — сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

— Вот подъедем, увидим, какой такой лес, — сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

— Вот и приехали, — сказал Никита, — а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженей, как зачернелась прямая

полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они выехали на улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешенное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

— Вишь, баба ленивая, а либо умираеть, — белье к празднику не собрала, — сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметна, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

— А ведь это Гришкино, — сказал Василий Андреич.

— Оно и есть, — отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

— Кто едет? — крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

— А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? — сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

— Да мы в Горячкино было.

— Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

— Мало, что надо, да не потрафили, — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

— Лошадка-то добрая, — сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

— Что же, ночевать, что ли?

— Не, брат, обязательно ехать надо.

— Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

— А то кто же? — отвечал Никита. — А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

— Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, всё прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда — вправо.

— Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? — спросил Никита.

— По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая, дубовая, кудрявая стоит, — тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

— А то ночевали бы! — прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь; пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более, что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди едущих саней.

— Объезжай... а-а-й... передом! — кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, нахохлившись, в задке саней.

— Чьи будете? — закричал Василий Андреич.

— А-а-а... ские! — только слышно было.

— Чьи, говорю?

— А-а-а-ские! — изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие.

— Вали! Не сдавай! — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.

— От праздника, видно?

— Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

— Вино-то что делает, — сказал Никита. — На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее. Никите делать было нечего, и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени.

Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

— А ведь мы опять неладно едем, — сказал Василий Андреич.

— А что?

— Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

— А сбились с дороги, поискать надо, — коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

— Нет тут дороги, может впереди где, — сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

— Хоть бы тех мужиков услыхать, — сказал Василий Андреич.

— Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились, — сказал Никита.

— Куда же ехать-то? — сказал Василий Андреич.

— А пустить лошадь надо, — сказал Никита. — Он приведеть. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

— Только не говорить! — приговаривал Никита. — Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

— И умен же, — продолжал радоваться на лошадь Никита. — Киргизенок — тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны

показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

— А ведь это опять Гришкино, — вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и даже та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые всё так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они выехали на улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

— Кто там? — откликнулся голос на призыв Никиты.

— С Крестов, Брехуновы, милый человек, — отвечал Никита. — Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две — слышно было — отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

— Ты, что ли, Андреич? — сказал старик.

— Да вот заплутали, брат, — сказал Василий Андреич, — хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

— Вишь, как сбились, — сказал старик. — Петрушка, поди отвори ворота! — обратился он к малому в красной рубахе.

— Это можно, — отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

— Да мы, брат, не ночевать, — сказал Василий Андреич.

— Куда ехать — ночное время, ночуй!

— И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

— Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, — сказал старик.

— Погреться — это можно, — сказал Василий Андреич, — темнее не будет, а месяц взойдет — посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

— Ну, что ж, и погреться можно, — сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

— Вот так-то и ладно будеть, — сказал он, охлопывая с себя снег. — Вишь, заливается! — прибавил он на собаку. — Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, — говорил он. — Не воры, свои...

— А это, как сказано, три домашние советника, — сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

— Это как же советники? — сказал Никита.

— А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, — не зевай, значит, смотри. Петух поет — значит, вставай. Кошка умывается — значит, дорогой гость, приготовься угостить его, — проговорил малый улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

— Это точно, — сказал Никита.

— Прозяб, я чай, дядюшка? — прибавил Петруха.

— Да, есть-таки, — сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было 22 души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын-хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый, белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами — сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий — старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик — сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

— Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, проздравить надо, — говорила она. — Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», стал раздеваться, не глядя на стол.

— Ну, и заиндевел же ты, дядя, — сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

— Не пью, благодарим покорно, — сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

— Что ж так? — сказал старший брат.

— Не пью, да и не пью, — сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

— Ему не годится, — сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

— Ну, так чайку, — сказала ласковая старушка. — Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

— Готов, — отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

— Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, — куст тут видать. А вы не доехали! — говорил сосед.

— А то ночевали бы. Бабы постелют, — уговаривала старушка.

— Утречком поехали бы, разлюбезное дело, — подтверждал старик.

— Нельзя, брат, дела! — сказал Василий Андреич. — Час упустишь, годом не наверстаешь, — добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. — Доедем ведь? — обратился он к Никите.

— Не сбиться бы опять, — сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

— Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, — сказал Василий Андреич.

— Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

— Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:

— Будьте здоровы, — и потянул в себя согревающую жидкость.

— Кабы проводил кто до поворота, — сказал Василий Андреич.

— Что же, это можно, — сказал старший сын. — Петруха запряжет да и проводит до поворота.

— Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

— И, чего ты, касатик! — сказала ласковая старушка. — Мы рады душой.

— Петруха, иди запряги кобылу, — сказал старший брат.

— Это можно, — сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не прислявшего ему ничего к празднику, а жене прислявшего французский платок.

— Отбивается народ молодой от рук, — говорил старик.

— Как отбивается-то, — сказал кум-сосед, — сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин — так отцу руку сломал. Всё от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось всё теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго всё об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, — разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить — все по миру пойдут.

— Вот, как Матвеевы, — сказал сосед. — Был дом настоящий, а разделили — ни у кого ничего нет.

— Так-то и ты хочешь, — обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и всё время улыбавшийся.

— Так-то у Пульпсона есть басня, — сказал он: — дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику — лёгко. Так и это, — сказал он, улыбаясь во весь рот. — Готово! — прибавил он.

— А готово, так поедем, — сказал Василий Андреич. — А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

— Так фордыбачить, так фордыбачить, — плаксивым голосом говорил всё свое старик, — что нет с ним ладов. Как осатанел, ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда — на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверь, она завоить, аж заплачеть как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка, — подумал Василий Андреич, — пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, — думал он. — Да и по крайности спать ляжем во-время. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

— Пошел передом! — крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

— Ну, с богом!

— Спасибо, Петруха!

— Буря небо мглою скроить, — прокричал Петруха и скрылся.

— Вишь, стихотворец какой, — проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

— Да, молодец хороший, мужик настоящий, — сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед

собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, — считал Василий Андреич, — а вот впереди и лес», — подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен 20, — четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса всё не было.

— А ведь мы опять сбились! — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

— Вправо ехать надо, — сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

— Ну, вправо, так вправо пошел, — сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

— Ну, дружок, потрудись! — крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру, — говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

— Эко ты как! — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

— Микит, а Микит! — кричал Василии Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

— Иду, иду, чего гогочешь! — проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

— Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, — сердито стал выговаривать Никите хозяин.

— И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда — и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

— Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, — сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже всё Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

— Андреич, жив? — крикнул он.

— Здесь! — откликнулся Василий Андреич. — Ну, что?

— Да не разберешь никак. Темно, овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазяя по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

— Ну, что? — спросил Василий Андреич.

— Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

— Так что же делать?

— Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

— Держи за мной, — сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

— Сюда, за мной! — закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

— Вылезай! — закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. — Трудненько, брат, — обратился он к Мухортому, — да что же делать, понатужься! Но, но, немного! — крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как бы что-то обдумывала.

— Что же, брат, так неладно, — усовещивал Никита Мухортого. — Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

— Ну! но! не потонешь, небось! — кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог итти и повалился в сани.

— Дай вздохнуть, — сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне, воротник шубы.

— Тут ничего, ты лежи, — сказал Никита, — я проведу, — и с Васильем Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать». Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра,

Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

— Ты что ж это делаешь? — спросил Василий Андреич.

— Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, — как бы извиняясь, отвечал Никита.

— А разве не выедем куда?

— Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на всё готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь. — Ночевать надо, — повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

— А не замерзнем мы? — сказал Василий Андреич.

— Что ж? И замерзнешь — не откажешься, — сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

— Ну, выходи, выходи, — говорил он, выводя ее из оглобель. — Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размуздаю, — говорил он, делая то, что говорил. — Закусишь, тебе всё веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

— Теперь примету сделаем, — сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. — Вот как занесет нас, добрые люди по оглоблям увидять, откопають, — сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. — Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно

потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

— Ночевать — так ночевать! — сказал он решительно.

— Погоди же ты, я еще флаг сделаю, — сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая.

— Вишь, как ловко, — сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. — Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, — сказал он.

— Я место найду, — отвечал Никита, — только лошадь укрыть надо, а то взопрел, сердечный. Пусти-ка, — прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

— Всё теплее тебе будеть, дурачок, — говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. — А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, — сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой, сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал всё о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, — о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен 30 всё станет на десятине, — говорил он себе. — С десятины на худой конец по 200 с четвертной останется. 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу — сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас 3000 в зубы. Небось, размякнет, — думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. — И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был всё тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да всё одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к 9-му надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня — жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразована. Обхождения настоящего не знает», — продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно — женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор — и всё

имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья в аренде, дом с амбаром под железной крышей, — вспоминал он с гордостью. — Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому — дело помню, стараюсь, не так, как другие — лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель — еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, — размышлял он с гордостью. — Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» — подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту», — думал он. — «Ехать бы надо, всё бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил

больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его — только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было всё то же, но только казалось светлее. «Светает, — подумал он, — должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял всё задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развевающимися чолкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел всё в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», — подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Всё ее глупость одна!» — подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, — вспомнил он, — и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, — тут же представился ему другой случай, — так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде — и в шее, и в коленях, и в ступнях — грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться

сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, — но всё теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но всё ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита, как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно», — с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, — подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. — Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, всё веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он всё сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее

взялся за дело и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» — подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх всё больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, славу богу. Эх, ночевать бы! — говорил он себе. — Говорят, пьяные-то замерзают, — подумал он. — А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, отчего он дрожит — от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались, не загоревшись.

«А, чорт тебя дери, проклятая, провались ты!» — обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман.

На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом — да и марш», — вдруг пришло ему в голову. «Верхом лошадь не станет. Ему, — подумал он на Никиту, — все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

— Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? — крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив, и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазяя по сугробам, он знал, что тепла этого хватит не надолго, а что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, итти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось всё холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? — подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и всё то, за что выговаривал ему поп на исповеди. — Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, — думал он. — От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, садясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал всё его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Итти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было, — оно всё было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал — он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, всё прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а всё шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь всё воротила вправо, и потому он всё время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернело что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, — подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся; это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его

собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» — подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и всё задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя, или призывая кого на помощь, заржал своим громким, заливистым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» — сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», — говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув на бок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок, и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена,

он, сделав не более 20 шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, — подумал он, — как же это всё останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли всё это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю», — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны, — всё это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать», — подумал он. — «Надо итти по следам лошади, а то и те занесет, — пришло ему в голову. — Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение итти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, — подумал Василий Андреич, — потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый со сбитой на бок шлеей и веретьем стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал

головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани.

IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье; — но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

— Чего ты? — спросил он. — Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вот что, — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. — Зажитое малому отдай али бабе, всё равно.

— А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреич.

— Чую, смерть моя... прости, Христа ради... — сказал Никита плачущим голосом, всё продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

— А вот то-то, а ты говоришь — помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... — начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», — говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена всё заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

— Микита! — сказал он.

— Хорошо, тепло, — откликнулось ему снизу.

— Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, — подумал он. — Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось, не вывернется», — говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так полежал Василий Андреич час и другой и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом всё это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим

на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо итти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» — «Нет, — говорит, — не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. — «Миколавна, а Миколавна, что ж, всё нету?» — «Нету». — И он лежит на постели и всё не может встать, и всё ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит жив и я», — с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брехунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. *Теперь знаю».* И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит всё существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом всё так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

X

Пред утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, — говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. — Вынимай мешки!» Но воз всё холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает всё. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул — это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

— Андреич, а Андреич! — осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги — крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» — думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь всё выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он», — думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно и меня зовешь, — говорит себе Никита. — Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в 30 саженях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу с сбившимися со спины шлеей и веретьем стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливавших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить — сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему всё понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро узнаем.

Печатные варианты

Хозяин и работник

Варианты текста по журналу «Северный вестник», 1895, № 3, стр. 137—175 (сокращенно: СВ) и по изданию С. А. Толстой: Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть четырнадцатая. Издание первое, Москва, 1895, стр. 83—161 (сокращенно: С).

Гл. I

Стр. 3, строка 7 сн.
Вместо: находящихся — *в СВ и в С:* находящиеся
Стр. 3, строка 6 сн.
Вместо: уложив — *в СВ и в С:* уложив их
Стр. 4, строка 17 св.
Вместо: бывшая красивая, — *в СВ и в С:* бывшая красивой,
Стр. 4, строка 4 сн.
После слов: и я тебя не оставлю — *в СВ и в С:* тебе нужда, — я вызволю.
Стр, 4, строка 3 сн.
Вместо: говоря это, — *в СВ и в С:* говоря всё это,
Стр. 4, строка 2 сн.
Вместо: благодетельствует Никите: — *в СВ и в С:* благодетельствует Никиту:
Стр. 4—5, строки 1 сн. — 1 св.
Вместо: и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их. — *в СВ и в С:* и так все, начиная с Никиты, поддакивали ему в этом убеждении.
Стр. 5, строка 18 св.
После слова: напою, — в *СВ и в С:* дурашка,
Стр. 5, строка 19 сн.
Слòва*:* он — *в СВ и в С нет.*
Стр. 5, строка 11 сн.

Слòва: засаленного — в *СВ и в С нет.*

Стр. 5, строка 9 сн.

После слова: лошадь — *в СВ и в С:* постояла,

Стр. 5, строка 7 сн.

Слов: замерла, как бы задумавшись, потом вдруг громко — *в СВ и в С нет.*

Стр. 6, строка 3 св.

Вместо: ему Никита, — *в СВ и в С:* Никита ему,

Стр. 6, строка 5 св.

Слов: железом крытый, на высоком фундаменте — *в СВ и в С нет.*

Стр. 6, строка 9 св.

Слов: а в — *в СВ и в С нет.*

Стр. 6, строки 11—12 св.

Слов: умную лошадь, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 6, строка 12 св.

После слов: кусать его, — в *СВ и в С:* умную лошадь,

Стр. 6, строка 12 сн.

Вместо слов: тоненьким голоском — *в СВ и в С:* хлопнув щеколдой,

Стр. 6, строка 10 сн.

Вместо: просил он — *в СВ и в С:* Тоненьким голоском просил он,

Стр. 6, строки 4—3 сн.

Вместо: Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее; — *в СВ и в С:* Но на дворе казалось тихо. На улице же дул сильный ветер.

Стр. 6, строка 1 сн.

Слов: в ворота — *в СВ и в С нет.*

Стр. 7, строка 3 св.

Слов: кожей обшитыми — *в СВ и в С нет.*

Стр. 7, строки 4—7 св.

Вместо: утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папиросы, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять — *в СВ и в С:* утоптанное снегом крыльцо и остановился, заправляя

Стр. 7, строка 11 св.

После слов: в санях. — ***в СВ и в С:*** и оскаливая свои белые зубы.

Стр. 7, строки 13—16 св.

Слов: Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. — ***в СВ и в С нет.***

Стр. 7, строки 19—18 сн.

Вместо слов: и на слова ее, которые были ему очевидно неприятны, сердито нахмурился и плюнул. — ***в СВ и в С:*** только плюнул.

Стр. 7, строка 14 сн.

После слов: с тем — ***в СВ и в С:*** особенным

Стр. 7, строки 11—12 сн.

Вместо: с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог. — ***в СВ и в С:*** очевидно любуясь своей речью.

Стр. 8, строка 8 св.

Вместо слов: я сам! — запищал мальчик, — ***в СВ и в С:*** я подержу! — сказал мальчик,

Стр. 8, строки 14—15 св.

Вместо: своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, — ***в СВ и в С:*** своими засалившимися валенками,

Стр. 8, строка 17 сн.

Вместо: начала поспешно отряхивать и разминать его. — ***в СВ и в С:*** отряхивала и разминала его.

Стр. 9, строка 2 св.

Вместо: на двор. — ***в СВ и в С:*** во двор.

Гл. II

Стр. 9, строка 17 св.

Вместо: наследника, — ***в СВ и в С:*** сына,

Стр. 9, строка 15 сн.

Вместо: заметили, — ***в СВ и в С:*** почувствовали,

Стр. 9, строка 11 сн.

Вместо: где сходится земля с небом. — *в СВ и в С:* где земля сходится с небом.

Стр. 9, строки 7—5 сн.

Вместо: и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу. — *в СВ и в С:* сворачивал набок даже его подвязанный хвост и прижимал длинный воротник халата Никиты к его лицу и носу.

Стр. 9, строка 1 сн.

Слов: спросил, не расслышав из-за воротника, Никита. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 10, строка 6 св.

Вместо: заговорил тем же громким голосом — *в СВ и в С:* сказал.

Стр. 10, строка 12 сн.

Слова: умственные — *в СВ и в С нет.*

Стр. 11, строки 6—7 св.

Вместо: и ему всему было не холодно. — *в СВ и в С:* и этот дух его, ему казалось, согревал его.

Стр. 11, строка 12 сн.

Вместо: Чаго? — *в СВ и в С:* Чего?

Стр. 12, строка 14 сн.

Вместо: Захаровском поле. — *в СВ и в С:* Захарьевском поле.

Стр. 12, строка 13 сн.

После слов: Василий Андреич. — *в СВ и в С:* говоривший уже совсем другим, чем дома, простым, мужицким голосом.

Стр. 12, строка 12 сн.

Вместо: Захаровское — *в СВ и в С:* Захарьевское.

Стр. 12, строка 2 сн.

Вместо: и сани гремели по колчам мерзлой земли. — *в СВ и в С:* на которых межи и сугробы были сверх снега занесены земляною пылью.

Стр. 12, строка 1 сн.

Вместо: выезжали — *в СВ и в С:* въезжали

Стр. 13, строка 4 св.

Вместо: Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. — *в СВ и в С:* Снег шел и сверху и поднимался снизу.

Стр. 13, строка 4 св.

После слов: поднимался снизу. — *в СВ и в С:* Иногда казалось, что они едут под гору, иногда казалось, что в гору, иногда казалось, что они стоят на месте, а что снежное поле бежит мимо их. — Оба молчали.

Стр. 13, строки 10—9 сн.

Слов: на возвышенье, повернула влево — *в СВ и в С нет.*

Стр. 13, строка 9 сн.

Вместо: по колена. — *в СВ и в С:* по колено.

Стр. 13, строки 5—4 сн.

Вместо: как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, — *в СВ и в С:* как зачернелся плетень риги,

Стр. 14, строка 2 св.

Вместо: они выехали на улицу. — *в СВ и в С:* они въехали в улицу.

Гл. III

Стр. 14, строка 1 сн.

Слòва: густого — *в СВ и в С нет.*

Стр. 15, строка 8 св.

Вместо: а тогда вправо. — *в СВ и в С:* а тогда влево.

Стр. 15, строка 16 св.

Вместо: не отвечал ему и потрогивал лошадь: — *в СВ и в С:* не отвечал ему, потрогивал лошадь,

Стр. 15, строки 18—17 сн.

Вместо: очутились в открытом поле. — *в СВ и в С:* выехали в открытое поле.

Стр. 15, строка 14 сн.

Вместо: ветер был встречный. — *в СВ и в С:* ветер был встречь.

Стр. 15, строки 2—1 сн.

Вместо: В санях сидели три мужика и баба. — *в СВ и в С:* В санях сидело три мужика и баба.

Стр. 16, строка 1 св.

Слов: засыпанный снегом — *в СВ и в С нет.*

Стр. 16, строки 2—3 св.

Вместо: Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь сидела, — *в СВ и в С:* Укутанная баба, засыпанная снегом, сидела смирно,

Стр. 16, строка 11 св.

Слов: — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 16, строки 17—18 св.

Слов: тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 16, строки 15—14 сн.

Вместо: сопенье... лошаденки — *в СВ и в С:* сопение... лошади

Стр. 16, строки 8—6 сн.

Вместо: и как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. — *в СВ и в С:* и он задремал.

Стр. 17, строка 19 сн.

Вместо: стала поворачивать. — *в СВ и в С:* стала понемногу поворачивать.

Стр. 17, строка 4 сн.

Вместо: они выехали на улицу, — *в СВ и в С:* они въехали в улицу,

Стр. 18, строка 2 св.

Вместо: остановил ее у крыльца. — *в СВ и в С:* остановил ее у ворот. — Вызови-ка Тараса, — крикнул он Никите

Стр. 18, строка 11 св.

Слòва: высокий — *в СВ и в С нет.*

Стр. 18, строка 12 св.

Вместо: в накинутом полушубке — *в СВ и в С:* в высокой шапке и накинутом полушубке

Стр. 18, строка 15 св.

Вместо: Ты что ли, Андреич? — *в СВ и в С:* Просим милости —

Стр, 18, строка 16 сн.

Слов: Дела, брат, нельзя. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 18, строка 9 сн.

Вместо: и очень желавший отогреть в тепле — *в СВ и в С:* и только того и желавший, чтобы отогреть на печи

Стр. 19, строка 1 св.

Слова: по-щенячьи — *в СВ и в С нет.*

Стр. 19, строка 7 св.

Вместо: он, — *в СВ и в С:* Никита.

Стр. 19, строки 8—9 св.

Вместо: Да будеть тебе! — *в СВ и в С:* Будеть тебе!

Гл. IV

Стр. 19, строка 5 сн.

Вместо: но и в нем уже шла — *в СВ и в С:* но и то уже в нем давно шла

Стр. 19, строка 1 сн.

Слова: старший — *в СВ и в С нет.*

Стр. 20, строка 2 св.

Вместо: гость-сосед и кум. — *в СВ и в С:* гость, соседа-старосты.

Стр. 20, строка 10 св.

Вместо: лысый, белобородый — *в СВ и в С:* белобородый, лысый

Стр. 20, строка 10 св.

Вместо: домотканной — *в СВ и в С:* дома тканной

Стр. 20, строка 14 св.

Вместо: сосед — *в СВ и в С:* староста.

Стр. 20, строка 17 сн.

Вместо: говорила она — Выкушай, касатик. — *в СВ и в С:* сказал старик.

Стр. 21, строка 5 св.

Слòва: жиденькие — *в СВ и в С нет.*

Стр. 21, строка 20 св.

Вместо: сосед. — *в СВ и в С:* староста.

Стр. 21, строки 3—2 сн.

Вместо: свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. — *в СВ и в С:* свои озябшие руки.

Стр. 22, строка 19 св.

Вместо: кум-сосед, — *в* СВ и в С: староста,

Стр. 22, строка 5 сн.

Вместо: сосед. — *в СВ и в С:* староста.

Стр. 23, строка 18 сн.

Слòва: дрожавших — *в СВ и в С нет.*

Стр. 23, строки 4—3 сн.

Слов: Больше просить нечего. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 23, строки 1—3 св.

Вместо: Петруха же и не думал об опасности; он так знал дорогу и всю местность, а кроме того стишок о том, что «вихри снежные крутять» бодрил его тем, что совершенно выражал — *в СВ и в С:* Петруха тоже видел, что ехать опасно, и ему было жутко, но он ни за что не показал бы этого и храбрился, притворяясь, что он ни крошечки не боится, и стишки о том, как «вихри снежные крутять» бодрили его тем, что совершенно выражали

Гл. V

Стр. 25, строка 7 св.

Вместо: качавшуюся — *в СВ и в С:* качающуюся

Стр. 25, строка 14 св.

Вместо: поправлял — *в СВ и в С:* направлял

Стр. 25, строки 18—17 сн.

Вместо: и то иноходью, то небольшой рысцой бежало — *в СВ и в С:* и бежало то иноходью, то небольшой рысцой

Стр. 25, строка 5 сн.

После слов: в рукава. — *в СВ и в С:* — Хоть бы назад в Гришкино вывезла, — сказал он.

Стр. 26, строка 18—17 сн.

Вместо: Никита, а Никит! — кричал Василий Андреич сверху. Но Никита не откликался. — *в СВ и в С:* Микит, а Микит! — кричал Василий Андреич сверху. Но Никита не откликался ему.

Стр. 26, строка 8 сн.

Вместо: крики — *в СВ и в С:* крик

Стр. 27, строка 18 св.

Вместо: Андреич, — жив? — *в СВ и в С:* Василий Андреич, живы?

Стр. 27, строки 19—18 сн.

Вместо: опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил — *в СВ и в С:* опять ходил Никита, падая по снегу, опять садился, опять падал

Стр. 28, строки 3—4 св.

Вместо: и опять села, как бы что-то обдумывала. — *в СВ и в С:* и опять села. Она поводила ушами и нюхала снег, положив голову на снег, как будто что-то обдумывала. —

Стр. 28, строки 18—19 св.

Вместо: вниз шагов десять — *в СВ и в С:* вниз еще шагов десять

Стр. 28, строки 20—19 сн.

Вместо: где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, — *в СВ и в С:* где бы снег оставался,

Стр. 28, строка 19 сн.

Вместо: краем оврага — *в СВ и в С:* бугром

Стр. 28, строка 18 сн.

Вместо: когда ветер — *в СВ и в С:* когда за бугром ветер

Стр. 28, строка 9 сн.

Вместо: заткнув — *в СВ и в С:* засунув

Гл. VI

Стр. 29, строка 20 сн.

Вместо: будет. — *в СВ:* будеть.

Стр. 29, строка 7 сн.

Слов: похлопывая рукавицами и надевая их. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 29, строка 5 сн.

Вместо: серную спичку — *в СВ и в С:* фосфорную спичку

Стр. 30, строка 8 св.

После слов: сказал он решительно. — ***в СВ и в*** С: И увидав поднятые оглобли, ему захотелось еще усилить приметы и поучить Никиту.

Стр. 30, строки 10—13 св.

Вместо: и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли. — ***в СВ и в С:*** И он, сняв перчатки и вытянувшись, чтоб достать, тугим узлом привязал платок к чресседельнику подле оглобли.

Стр. 30, строка 15 св.

Вместо: натягиваясь и щелкая. — ***в СВ и в С:*** натягивался и щелкал.

Стр. 30, строки 17—18 св.

Вместо: опускаясь в сани. — Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, — ***в СВ и в С:*** влез в сани. — Теплее бы вместе, да вдвоем не усядешься, —

Стр. 30, строка 15 сн.

Вместо: и шлею. — ***в СВ и в С: и*** тяжелую шлею.

Стр. 30, строка 12 сн.

Вместо: Никита, — ***в СВ и в С:*** он

Стр. 31, строки 7—11 св.

От слов: Покупка Горячкинского леса *и кончая:* пересчитал все деревья». — ***в СВ и в С нет.***

Стр. 31, строки 13—17 св.

Вместо: говорил он себе. С десятины на худой конец по 200 с четвертной останется. 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков». Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. — ***в СВ и в С:*** расценивал он виденную им осенью рощу, которую ехал покупать.

Стр. 31, строки 17—16 сн.

Вместо: Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был — ***в СВ и в С:*** Он приоткрыл воротник и стал прислушиваться и глядеть: видна была в темноте только чернеющая голова Мухортого и его спина, на которой развевалось веретье: слышен же был

Стр. 32, строки 7—8 св.

Слов: Вот так-то заночуй в поле, да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается», размышлял он с гордостью. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 32, строка 10 св.

Вместо: Трудись. — *в СВ и в С:* Трудились.

Стр. 32, строка 16 св.

Вместо: ему очки. — *в СВ и в С:* очки ему.

Стр. 32, строки 22—16 сн.

От слов: Он приподнялся — *и кончая словами:* иногда еще более сгущающаяся — *в СВ и в С нет.*

Стр. 32, строка 8 сн.

Вместо: ухитрился зажечь одну и закурил. — *в СВ и в С:* ухитрился закурить. Папироска зажглась и

Стр. 32, строки 4—3 сн.

Вместо: вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал. — *в СВ и в С:* вспоминать и мечтать и задремал

Стр. 32, строка 2 сн.

Вместо: толкнуло — *в СВ и в С:* толконуло

Стр. 33, строки 14—15 св.

Вместо: То-то народ бестолковый. Истинно необразованность. — *в СВ и в С:* Да и замаялся он бегамши, а капитал в нем плохой.

Стр. 33, строки 14—13 сн.

Слов: опять *и* теперь — *в СВ и в С нет.*

Стр. 33, строка 6 сн.

Слов: «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». — *в СВ и в С нет*.

Стр, 34, строки 8—9 св.

Слов: и трепавшего платок, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 34, строка 15 св.

Вместо: Василий Андреич — *в СВ и в С:* Так Василий Андреич

Стр. 34, строки 15—14 сн.

Слов: на локти и на коленки, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 34, строки 6—5 сн.

Слов: собираясь терпеливо ждать — *в СВ и в С нет.*

Стр. 35, строка 7 сн.

Слов: шубы и сапоги были так тяжелы, что он — *в СВ и в С нет.*

Стр. 35—36, строки 1 сн. — 1 св.

После слов: ступнями ног — *в СВ и в С:* вместо стремян,

Гл. VII

Стр. 36, строка 15.

Вместо: и откликаться. — *в СВ и в С:* Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему в то время, когда он усаживался за санями.

Стр. 36, строки 21—18 сн.

Вместо: чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, итти дальше, и хозяин видит, что надо кормить. — *в СВ и в С:* чувствовал себя сильно усталым, чувствовал себя в том состоянии, в котором чувствует себя лошадь, когда она становится и ее надо кормить,

Стр. 36, строка 17 сн.

Перед словами: Одна нога — *в СВ и в С:* Кроме того

Стр. 36, строка 16 сн.

Слов: кроме того — *в СВ и в С нет.*

Стр. 36, строки 15—13 сн.

Вместо: Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта — *в СВ и в С:* Мысль о том, что он умрет в нынешнюю ночь,

Стр. 36, строка 7 сн.

Слов: всегда в этой жизни — *в СВ и в С нет.*

Стр. 36, строка 2 сн.

Вместо: подумал он и вспомнил — *в СВ и в С:* пришло ему в голову и он вспомнил

Стр. 37, строка 7 св.

Вместо: тем воспоминаниям, — *в СВ и в С:* тем мыслям и воспоминаниям,

Стр. 37, строка 14 св.

Вместо: эти воспоминания — ***в СВ и в С:*** эти воспоминания и мысли

Стр. 37, строка 12 сн.

Вместо: И в санях, он чувствовал, что не согреется, — ***в СВ и в С:*** в санях же, он чувствовал, что не согреться.

Стр. 37, строки 11—10 сн.

Вместо: теперь совсем не грели его. — ***в СВ и в С:*** ничего не грели его.

Стр. 37, строка 9 сн.

От слов: Ему стало жутко. — *и кончая словами:* успокоило его. — ***в СВ и в С нет.***

Стр. 37, строки 7—5 сн.

Вместо: он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина. — ***в СВ и в С:*** Он постоял, подумал, потом вздохнул и, не снимая с головы дерюжку, повалился в сани на место хозяина.

Стр. 37, строка 4 сн.

Вместо: Но и в санях он — ***в СВ и в С:*** Он ужался в комочек в самом низу саней, но

Стр. 37, строки 4—3 сн.

Вместо: Сначала он дрожал всем телом, — ***в СВ и в С:*** Так пролежал он минут пять, дрожа всем телом.

Стр. 37, строка 1 сн.

После слов: готовым на то и на другое. — ***в СВ и в С:*** Велит бог проснуться еще живым здесь в этом мире и попрежнему жить в работниках, убирать всё тех же чужих лошадей, ездить с чужой рожью на мельницу, всё так же загуливать и зарекаться и так же отдавать деньги жене и всё тому же бондарю и дожидаться всё того же малого, — его святая воля. Велит бог проснуться в ином мире, где будет всё также ново и радостно, как были новы и радостны здесь в первом детстве ласки матери, игры с ребятами, луга, леса, катанье зимой, и начнется ни на что не похожая другая, новая жизнь, — его святая воля. И Никита совершенно потерял сознание.

Гл. VIII

Стр. 38, строка 7 св.

Вместо: седелкой — *в СВ и в С:* седелкой, убитой гвоздиками,

Стр. 38, строки 16—19 св.

Вместо: а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его всё в одну сторону и свистевшего в нем ветра. — *в СВ и в С:* а межа, поросшая торчавшим из-под снега высоким чернобыльником, сгибаемым всё в одну сторону свиставшим через него ветром.

Стр. 38, строка 12 сн.

Вместо: чернобыльником. — *в СВ и в С:* бурьяном.

Стр. 38, строки 3—1 сн.

Вместо: в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них — *в СВ и в С:* в которой он ничего не видел, кроме изредка показывающихся ему и тотчас же исчезающих светящихся точек.

Стр. 39, строка 12 св.

Вместо: страха, — *в СВ и в С:* своего страха,

Стр. 39, строки 18—20 св.

Вместо: руки и ноги его дрожали и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной пустыни, и не видит никакого средства спасения. — *в СВ и в С:* и всё дрожало. Он уже забыл думать о сторожке и желал теперь только одного: вернуться к саням, чтобы не пропасть одному, как тот чернобыльник среди этой ужасной снежной пустыни.

Стр. 39, строка 9 сн.

Слов: железом крытый дом и амбар, наследник, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 39—40, строки 1 сн. — 1 св.

Слов: правую руку, с которой он потерял перчатку, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 40, строки 4—5 св.

Вместо: святителю отче Миколае, воздержания учителю, — *в СВ и в С:* Николай чудотворец, воздержания учителю,

Стр. 40, строка 15 св.

Слов: подумал он, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 40, строки 16—17 св.

Вместо: «Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь. — *в СВ и в С:* и он бросился вперед.

Стр. 40, строки 18—19 св.

Вместо: он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. — *в СВ и в С:* он бежал, беспрестанно падал, поднимался и опять падал.

Стр. 40, строка 17 сн.

Слов: и лошади не догоню. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 40, строка 15 сн.

Слов: с платком — *в СВ и в С нет.*

Стр. 40, строка 14 сн.

Вместо: на бок шлеей, — *в СВ и в С:* на бок седелкой и шлеей.

Гл. IX

Стр. 40, строки 3—2 сн.

Вместо: теперь совершенно прошел, — *в СВ и в С:* совершенно прошел теперь,

Стр. 41, строки 2—3 св.

Вместо: надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. — *в СВ и в С:* Надо было не думать о себе, надо было думать о чем-нибудь другом, надо было делать что-нибудь.

Стр. 41, строка 6 св.

Вместо: из левой перчатки — *в СВ и в С:* из перчаток,

Стр. 41, строки 6—8 св.

Слов: правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 41, строка 8 св.

Слова: он — *в СВ и в С нет.*

Стр. 41, строка 10 св.

Вместо: и приготовился — *в СВ и в С:* приготовляясь

Стр. 41, строки 17—18 св.

Вместо: замерзавший уже Никита — *в СВ и в С:* мужик

Стр. 41, строки 19—20 св.

Вместо: махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, — *в СВ и в С:* махал перед носом рукой и говорил что-то,

Стр. 41, строка 3 сн.

Вместо: Заправив — *в СВ и в С:* заправляя

Стр. 42, строка 2 св.

Вместо: прислушивался к дыханию Никиты. — *в СВ и в С:* слушал дыхание Никиты.

Стр. 42, строка 5 св.

Вместо: помираешь. — *в СВ и в С:* помирать.

Стр. 42, строка 15 св.

Вместо: торжественное умиление. — *в СВ и в С:* умиленное торжество.

Стр. 42, строки 15—9 сн.

От слов: Так он лежал долго. — *и кончая:* лежащего под собой мужика. — *в СВ и в С нет.*

Стр. 42, строка 4 сн.

После слов: Страха он теперь не испытывал никакого. — *в СВ и в С:* Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Но он не думал о них, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Стр. 42, строка 3 сн.

Вместо: говорил — *в СВ и в С:* говаривал

Стр. 43, строки 1—2 св.

Вместо: час и другой и третий, но он не видал, как проходило время. — *в СВ и в С:* довольно долго.

Стр. 43, строка 14 сн.

Слова: Миколавна, — *в СВ и в С нет.*

Стр. 44, строка 5 св.

После слов: говорит он себе — *в СВ и в С: И* что-то совсем новое, такое, что он не знал во всю жизнь свою, сходит на него.

Гл. X

Стр. 44, строка 15 сн.

Вместо: переезжая ручей, — ***в СВ и в С:*** у Ляпина

Стр. 44, строка 5 сн.

Вместо: копытом — ***в СВ и в С:*** копытами

Стр. 45, строка 6 св.

Вместо: и ни движенья, ни дыханья — ***в СВ и в С:*** и движенья и дыханья

Стр. 45, строки 7—6 сн.

Вместо: и такое же тело; но когда понял, — ***в СВ и в С:*** когда же понял,

Планы и варианты

Хозяин и работник

Первая черновая редакция

Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николина дня. В приходе был праздник, и дворнику Василию Андреичу нельзя было отлучиться, надо было быть в церкви — он был церковным старостой, надо было принять и угостить родных и гостей. Но вот последние, дальние гости на другой день уехали после обеда, и Вас[илий] Андр[еич] велел Никите, старому Никите, Никите Дронову, запречь Мухортого в пошевеньки с тем, чтобы выехать вместе с гостями. Вас[илий] Андр[еич] торопился ехать, п[отому] ч[то] слух про продажу Пироговской рощи теперь уже разошелся, и Логинов, другой дворник-купец, мог перебить покупку, а покупка должна была быть особенно выгодная. Продавалась роща на сруб; продавец — молодой, прожившийся барин, не знающий толку в своем добре, так что рощу можно было надеяться купить, если не за пятую часть, то за треть цены. Никита выехал. Вас[илий] Андр[еич], одевшись в полушубок, подтянутый ремнем, и крытый тулуп, вышел на крыльцо, заправляя воротник тулупа мехом внутрь.

— Как же ты, Вася, один поедешь, видишь, закурило как, — сказала жена, выйдя за ним в утоптанные снегом сени. — Хоть Никиту возьми, всё веселее ехать.

— И на что его!

Василий Андреич был немного выпивши, красен и весел, каким он всегда бывал с первых рюмок.

— Право, возьми — дело к ночи. Всё веселей, мне думаться не будет.

— Слышь, Никита, хозяйка велит ехать. Что скажешь?

— Да мне что? Ехать так ехать, всё одно.

Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, сухой, здоровый старик. Он всю свою жизнь прожил в людях, подавая всё в дом сначала отцу, а теперь меньшому брату. Теперь он уж 6-ой год жил у Вас[илия] Андреевича.

— Коли ехать, так оденься, — сказал Вас[илий] Андр[еич], глядя на прорванный подмышками и в спине полушубок Никиты.

— Ей, Семка, подержи лошадь, — крикнул Никита во дворе работнику.

— На что его, я подержу, — сказал В[асилий] А[ндреич], сходя с крыльца. — Ну, поживей.

— Одним духом, — крикнул Никита и, выкинув из саней свои ноги в подшитых валенках, побежал рысью во двор в рабочую избу. Никита тоже выпил нынче, но уже и выспался после обеда и выпил как всегда впору, не теряя ума.

— Ну-ка, Арина, халат давай, с хозяином ехать, — крикнул он, входя в избу и охлопывая с себя снег. Баба подала ему суконный домодельного сукна халат, Никита снял кушак с гвоздя, втянул в себя брюхо, велел бабе обвести узенький свалявшийся кушачок и затянулся, что было силы, сунул рукавицы за пояс и выбежал на улицу.

На дворе было за навесами тихо, но на улице мело и снежок мелкий и сухой, морозный, косо и ровно сыпался на сарай, на крышу, на дорогу, на хомут, на сани.

— И не холодно тебе будет, Никитушка? — сказала хозяйка.

— Вона холодно, тепло вовсе, — отвечал Никита, садясь на краешек и наперед выпуская одну ногу. Весь гнутый задок был полон спиною Василия Андреича в его двух шубах. Никита хотел взять вожжи, но хозяин не дал их ему. Так что Никите осталось только достать кнут в головашках и расправить в них наложенную под сиденье свежемолоченную овсяную солому.

— Совсем, что ль? — сказал хозяин и, не дожидая ответа, чмокнул, и добрый некрупный, но ладный и сытый гривистый жеребец — его недавно задешево выменял Вас[илий] Андр[еич] у попа — с легким скрипом полоза по дороге сдвинул санки и бойкой рысцой тронулся по накатанной в поселке дороге. Снег не переставал падать, и не успели они выехать из домов, как уж

и шапки, и рукава, и спины, и хомут, и грива, и хвост, и седелка были уже засыпаны слоем мелкого морозного снега.

Снег всё шел так же, а ветер, как только они выехали на изволок, показался сильнее. Он дул им в бок со стороны Никиты и запахивал ему его воротник, и давил его в бок, и засыпал мелким снегом. Наверху местами совсем не видно было дороги, но добрый жеребец, несмотря на то, что местами снег был ему кое-где выше бабки, не изменял хода и легко бежал, изредка пофыркивая и не сбиваясь с дороги.

Оба ездока были возбуждены, веселы и надежны.

— На Карамышево поедем, али проселком? — спросил хозяин.

— Вали проселком, только тут лощинку проехать, а там лесом хорошо будет.

Вас[илий] Андреевич так и сделал и. отъехав с полверсты, свернул влево.

— Хорошо видно, — сказал Вас[илий] Андр[еич], отвечая на свои сомнения и приглядываясь к полозному кое-где наполовину, а кое-где и совсем занесенному следу.[1]

— Как же, народу сколько ехало от праздника. Тележинские, Никитские.

С полчаса они ехали молча. Никите дремалось. Он совсем было забылся и клюнул носом. Очнувшись, он посмотрел вокруг и вперед себя. Дороги совсем не б[ыло] видно, но лошадь бойко бежала, казалось, по одному направлению.

— Эх, умна лошадь, — сказал Никита. — Киргизенок, тот хоть и крепок, а глуп, а этот, вишь, как человек, умнее человека другого. Знает, где дорога.

— Ну, тоже не больно верь ему. Недаром пословица: не верь лошади в поле, а жене в доме.

— Да, это точно. А Миколавна-то, видно, забоялась, что собьешься один с дороги.

— Известно, женщина.

— Всё веселее вдвоем.

— Известно.

Они проехали с 1/2 часа. Ветер и снег всё усиливались.

— Вот только тут не сбиться, а то от колодца уж не ошибемся, — сказал Вас[илий] Андр[еич].

— Доедем, чего не доехать. На такой лошади да но доехать.

— Чего ты?

Вас[илий] Андр[еич] что-то сказал, но ветер подхватил его слова и отнес их так, что Никита не расслышал.

Вас[илий] Андр[еич] не отвечал и заглядывал вперед по дороге. Лошадь шла уже всё время выше щетки в снегу. Снегу в этом году было мало, в поле не больше как вершков на 5, так что везде была дорога. Лошадь шла той же рысью, но уже чувствовались ее усилия, она брала рывом, и сани подергивались с каждым ее шагом. Под шлеей на сытом заду снег таял, и шерсть темнела от пота, тоже и на шее и на боках.

— Влево бери, — сказал Никита, — вовсе влево, ты куда забрал. Влево, говорю. Ветер мне в правый бок, а теперь прямо в морду.

Вас[илий] Андр[еич] взял влево, но как только он взял влево, лошадь осунулась по колено и пошла шагом.

Они проехали так молча несколько времени; ветер казался всё сильнее и сильнее и отчаянно трепал полу и воротник Никиты, снег сыпался чаще и косее, трудно было видеть.

— Стой, Андреич! Мы неладно едем. Вовсе неладно. Это что? — сказал Никита, указывая на видневшуюся из-под снега межу, поросшую полынем, который отчаянно сгибался и махался от свистящего в нем ветра. — Стой, говорю, — настоятельно крикнул Никита. Вас[илий] Андр[еич] остановил лошадь, уже вспотевшую всю и тяжело водившую крутыми боками.

— А что? — спросил Вас[илий] Ан[дреич].

— А то, что это полынь по жнивью по Захаровскому, мы вон куда заехали.

— Врешь.

— Вот-те врешь. Кабы мы на Ивановском поле были, мы бы на зеленях были. Глянь-ка сюда. — Никита встал, взял кнут и стал копать снег кнутовищем и ногой. — Во, глянь — жниво.

— Ну, да всё одно, выедем, только вершину миновать, левее брать.

— Известно, выедем, бери прямо.

Вас[илий] Андр[еич] послушался и пустил лошадь, как велел Н[икита]. Они молча проехали еще несколько времени. Впереди сквозь сетку косого снега, падавшего сверху и подымавшегося снизу всё пуще и пуще, зачернелось что-то.

— Вот и лес Сатинский, — сказал Вас[илий] Ан[дреич]. Никита молчал. И почмокал языком. Он видел, что это не лес, видел п[отому], ч[то] ветер пронес оттуда листки не дубовые, а сухие лозиновые. Но он ничего не сказал. Вдруг лошадь стала круто спускаться. Вас[илий] Ан[дреич] хотел остановить.

— Ступай, выедем. Это Машкин верх, а энто не лес, а ветлы. Грушкино, должно.

Действительно, лошадь спустилась — в низочке было потише — и тотчас же стала круто подниматься. Только что она поднялась, как то, что казалось лесом, стало перед самым носом. Это точно были лозины, голые с кое-где трепавшимися на них листьями, гнувшиеся от ветра и странно свистевшие и гудевшие.

— Я говорю, Гришкино. Бери влево, по канаве. Вот и рига видать.

Действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст 8 не совсем в том направлении, к[ак] им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Пирогова, куда они ехали, оставалось верст 5. За ригой они повернули в проулок и выехали в улицу. В улице за ветром было тихо, тепло, дорога была виднешенька, и слышались песни девок у двора. В Гришкине тоже был праздник.

— Друг, стой. До тебя слово есть. А, Вас[илий] Андр[еич], — окликнул встретившийся на улице выпивший мужик.

Вас[илий] Андр[еич] остановился. Мужик подошел вплоть к саням, снял и надел шапку.

— Куда же это тебя бог носит?

— Да мы в Пирогово было.

— Куда же вы заехали-то. Видно, сбились. Что же, заходи. Бражки нашей выпей.

— Некогда, брат Исай, заезжать. Надо ехать до ночи.

— Чего же тут, поспеешь. А то ночуй, куда же на ночь глядя ехать. Заворачивай, — говорил Исай, хватаясь за вожжу.

— Некогда, другой раз заеду. А ты вот скажи, как нам тут не сбиться опять?

— Где же тут сбиться, прямо на Молчановку, как выедешь на большак, сейчас влево, тут и есть Пирогово.

— Поворот-то с большака где, по летнему или по зимнему? — спросил Никита.

— По зимнему. Сейчас как выедешь, тут и есть.

— Поедем, что же, до Молчановки всё доедем.

Поехали дальше. В деревне было тихо, весело от песен; по дороге был виден навоз и пахло им. Но как только выехали за околицу, опять засвистела буря, понесло снизу и упорно мело с занесенной снегом крыши сарая, стоявшего на выезде.

Лошадь шла еще всё бодро, и дорога, казалось, не пропадала; ветер теперь был почти встречь. Поехали ровной рысцой и молча ехали полчаса, час, деревни всё не было.

— А ведь мы опять видно неладно едем, — сказал Вас[илий] Андр[еич].

— Известно, неладно. Похоже, смеркаться стало, а деревни нет. Видно, сбились. Ты напрасно влево воротил, вправо надо, — сказал Никита.

— Да он всё влево воротит.

— А воротит, так пущей. Куда-нибудь да вывезет.

В[асилий] А[ндреич] пустил вожжи, и только что он пустил, как лошадь тотчас же стала поворачивать; поворачивая, казалось, она совсем обратно пошла. Ветер стал дуть сзади, казалось теплее. Стало уже совсем смеркаться. И не прошло получаса, как впереди зачернело что-то, постройки или деревня, и вдруг сани стали скользить легче и под ногами лошади было меньше снега. Очевидно, они ехали по дороге.

— Тьфу ты! — вдруг проговорил Никита. — Ведь это опять Гришкино.

Опять они въехали в улицу, опять стало тише, теплее, только с крыши сдувало снег, была видна дорога, слышались голоса, и в окнах светились приветные огни.

— Заворачивай ко двору. Надо спросить толком, — сказал Никита.

В[асилий] А[ндреич] повернул лошадь через сугроб и остановил ее у ворот. Никита подошел к окну, постучал кнутовищем.

— Чего! Кто там? — откликнулся голос.

— Отложи, выдь-ка на час.

Долго говорили там, наконец, вышел мужик в одной белой праздничной рубахе и малый за ним в красной.

— Да вы чьи же будете?

— Вас[илий] Андр[еич] из Микольского.

— А, Андреич. Заходи, замерз, я чай. Петрушка, поди отвори ворота.

— И то, зайти погреться нечто.

— Прямо к самовару, — сказал хозяин.

Вас[илий] Андр[еич] начинал озябать дорогой, да и лошадь уморилась, а темнее уж не будет. Светлее будет, месяц взойдет, да и затихнет, может, погода. И Вас[илий] Андр[еич] пошел в избу, Никита ввел лошадь под навес и сам вошел в избу. Ему хотелось не то что погреться, но и вовсе ночевать. Двор, в к[оторый] они заехали, был один из самых богатых в деревне; две избы кирпичные, 6 лошадей, 4 сына женатых, двое ребят. Все жили вместе, не делясь, держали 4 надела. Часть семьи была уже на полатях и печке, а часть, старик и два сына и две снохи, сидели за столом. Они знали Вас[илия] Андр[еича], продавывали ему овес и гречу.

— Заходи, заходи.

Вас[илий] Андр[еич] отряхнулся, разделся и не отказался от чая. Пришел и Никита, и ему дали чаю. Рассказал Вас[илий] Андр[еич], как они сбились, как плутали; подивились хозяева, догадались, где они сбились, и научили, как надо было ехать.

— Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака. Куст тут видать. А вы не доехали? — говорил бойкий второй молодой хозяйский сын в красной рубахе.

— Ночуйте, — сказал старик.

— Нельзя, дело; вот бы проводил малый до поворота, тогда уже доедем.

— Проводить можно.

— Ну что, Никита, как думаешь? — спросил В[асилий] А[ндреич].

— Да мне что, ехать так ехать. Коли Семка проводит до поворота, там уже не собьемся, лесом до самого места.

Поколебался в душе Вас[илий] Андр[еич], но страх пропустить выгодную покупку взял верх над страхом перед метелью.

Семка запрег розвальни, ворота отворили, вывели Мухортого, к[оторый] немилосердно ржал на Семкину лошадь, выехал и Семка в шубе и кафтане, стоя на коленах в розвальнях. Старик хотел посветить фонарем, но фонарь тотчас же задуло. Метель и в деревне даже, казалось, разыгралась сильнее. Но после чая было тепло, бодро, и Вас[илий] Андр[еич] с Никитой опять тронулись по той же дороге. Опять тот же сарай, с кот[орого] ссыпало бесконечный снег, те же шумящие, свистящие и гнущиеся лозины, тот же — казалось, еще более злой — пронизывающий ветер и тот же снег сверху и снизу, поднимаемый каждым шагом лошадей. Но Семка ехал развалистой рысцой своего мерина впереди и бодро покрикивал. — Проехали так минут десять. Семка обернулся и что-то кричал. Они не слышали от ветра. Но Семка остановился, поровнялся с ними, указал на кустик и показал им дорогу влево.

— Тут не собьетесь, держи только прямо, — сказал Семен. — Кабы не снег, лес видно. Да и то вон маячит. Ну, с богом.

Они повернули и поехали. Семка с своими санями тотчас же скрылся. Вас[илий] Ан[дреич] оглянулся на него, и вдруг ему стало жутко.

Но бояться, казалось, нечего было, до леса было полверсты и должен был быть сейчас виден. Но отчего беспокойство нашло на Вас[илия] Андр[еича]? Вместо того, чтобы оставить лошадь итти, как она хочет, он старательно правил ею и все сбивал ее с дороги. Он знал, что дороги не видно, но ему всё казалось — то оглобля, мотавшаяся перед ним, то гуж — дорогой и он сбивал лошадь то вправо, то влево. Никита же между тем, согревшись после чая, съежился так, что борода облегла его шею, повесил голову и совсем задремал. Видит он во сне, как Арина белые пироги высадила, а Петрушка их дегтем

хочет мазать, а хозяйка приходит, велит самовар унять. Гудит самовар так, что ужас всех взял, и нельзя его унять. Залить надо... И хочется Никите залить и боязно, как бы не распаялся.

— Микита! — вдруг разбудил его голос Вас[илия] Андр[еича], и голос дрожит, точно озяб. — Микита, а ведь мы опять сбились! Совсем лошадь становится.

Ник[ита] открыл глаза, всё тот же занавес снега, так же свистит, рвет, лошадь мокрая вся и идет шагом. И ничего не видно.

— Да ты пущей ее!

— Пускал уже, она сама кружит, как бы нам не...

— Эка ты. Заробел чего? Давай вожжи, — Никита взял вожжи, тронул вожжами. Лошадь шла шагом.

— Ну, заснула. — Никита достал кнут. Добрая лошадь рванулась, пошла рысью, но слышно было, как она пыхтела. Ветер опять стал встречь.

— А вон они впереди никак виднеются... — сказал Василий Андреич.

— Чего виднеется, ничего не виднеется.

Так проехали минут 5. Вдруг лошадь круто остановилась и, несмотря на кнут, не двигалась вперед.

— Стой! Надо посмотреть.

Никита вышел из саней и зашел к голове лошади и только что хотел ступить шаг вперед ее, как ноги его поскользнулись, и он покатился под крутой овраг и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный толстый слой снега на дне.

— Микита, а Микита! — кричал В[асилий] А[ндреич], но голос его не слышен б[ыл] Никите. Он прежде всего отыскал кнут, к[оторый] он выронил, а потом, найдя его, полез б[ыло] прямо, но скатился опять и пошел искать выхода, где бы было не так скользко. Он вылез сажени на три от лошади и с трудом увидал ее. Одно время она ему показалась вправе, и он чуть было не пошел вправо, т. е. прочь от лошади. Спасибо Мухорт[ый] заржал, и он услыхал, а потом и увидал его. Добравшись с трудом до лошади, он сел в сани и стал высыпать забившийся ему в сапоги снег.

— Ну, брат, Андреич, должно, заночуем, — сказал он.

— Вона. Чего же ночевать. Авось доедем, не в Пирогово, так хоть назад вернемся. — Вас[илий] Андр[еич] начинал сильно робеть, но усиленно храбрился.

— Куда же поедешь? — говорил Никита, высыпая снег из сапога, к[оторым] он похлопывал по грядке саней. — Тут овражище такое, что только слети туда, ни в жизнь не выберешься.

— Постой, я погляжу, — сказал Вас[илий] А[ндреич] и вылез из саней и пошел вдоль по оврагу. Везде было одинаково круто. — Поворачивай за мной, — крикнул он. Они поехали вдоль оврага, но не проехали они 100 шагов, как и тут оказался такой же овраг, загораживающий им путь.

— Это мы к реке заехали, — сказал Никита. — Да уже говорю, заночуем.

— Чего городишь, чего не знашь. Бери влево. — И Вас[илий] Андр[еич] пошел назад, но, удивительное дело, и тут оказался такой сугроб, в кот[ором] лошадь села по брюхо. Насилу они выворотили сани и остановились. Мухортый, очевидно понимая опасность, не переставая ржал. Ветер поднимал ему гриву, заворачивал хвост, подхватывал клочки соломы, кот[орая] выбивалась из саней, и мгновенно уносил их из виду. Оба молчали. Ник[ита] ждал. Вас[илий] Андр[еич] боялся ужасно, но не хотел признаться. Он измучился, ходя по снегу в тяжелой одеже, и решительно не знал, что делать. Он сел на снег за сани и, запахнувшись попытался закурить папироску. Несколько спичек он бросил; наконец одна осветила его бритое с усами лицо, орлиный нос и красные щеки. Папироска загорелась. Но сейчас же ее сорвало ветром, и она потухла.

— Держи лошадь, — сказал Никита, хотя держать теперь лошадь уже не нужно было. Она очевидно стала, — и пошел прочь от саней.

Он полазил по снегу и вернулся.

— Садись, надо в низок, да там и заночуем.

Вас[илий] Андр[еич] повиновался.

— Что же, там затишье, — сказал он.

Никита взял вожжи и ударил кнутом по мокрому заду Мухортого. Добрая лошадь из последних сил рванулась —

прыжок, другой, третий и, наконец, выбралась на менее снежное место и спустилась в лощину.

— Ложись в сани, — сказал Никита и, подойдя к голове лошади, стал рассупонивать ее.

Мухорт[ый] нюхал Никиту и терся об него храпом.

— Ты чего же? — спросил Василий Андреич.

— Отпрягаю, чего же там! А ты в сани ложись. Его привяжем.

— Эх, наделали мы дела, — сказал Вас[илий] Андр[еич]. — Надо бы ночевать остаться.

— Надо, надо. Развязывай чересседельник, а то у меня пальцы зашлись, — говорил Ник[ита], дуя в них.

Вас[илию] Андр[еичу], напротив, было жарко. И сам он был тучен и одежа была теплая.

Когда лошадь была распряжена, Никита подвел его к саням. Мухортый схватил порывисто пук соломы, но тотчас же бросил, и ветер унес ее.

— Ну, ладно, ложись в сани, а я за ними лягу, — сказал Никита.

— Эх, наделали дело. Ну, да авось бог милостив. — И В[асилий] А[ндреич] полез в сани и скрючился там, но ему стало неловко. — Нет, уже, видно, ты ложись на низ, а у меня тулуп, я на тебя лягу.

Не успел он сказать этого, как Никита уже повыкидал солому, влез в сани и, скорчившись, лицом вниз, лежал в них головой под сиденьем. — Вас[илий] Андреич лег сверх него головой к задку, и ногами упершись в головашки.

— Ты солому-то себе на ноги положи, да дугой прикрой, — проговорил снизу голос Никиты, и после этого Никита не сказал уже ни одного слова и заснул.

Вас[илию] А[ндреич]у было сначала жарко, потом ему стало продувать левый бок, потом он весь озяб, хотел закутаться, но ему не хотелось двигаться. Снизу только ему было тепло. — На нем всё больше и больше насыпалось снегу, он чувствовал его особенно на воротнике. Мухорт[ый] нет-нет дергал из-под его ног солому и ржал. Ветер всё так же упорно, безостановочно свистел.

В голове его проходили воспоминания сделанных дел и заботы о тех, к[оторые] теперь делались. Нагульный скот был продан хорошо, только в долг. Как бы не затянул платежа. Землю снять опять надо во-время, мужики уж просили. Только бы эту рощу не упустить, а то деньги без дела останутся. Опять ржет. Старик небось заснул. Тоже торгуют, — вспомнил он про рассказы зятя. — Если уже вести дело, так вести порядком, два кабака снял, а теперь на Сергеевском сниму, тогда можно свой склад завести. Эх, левый бок продуло. Да куда денешься. Так-то, Егор сказывал, они ночь в поле проночевали. Так тех снегом засыпало. В снегу тепло. Тепло, да не больно. По 17 пудов в круг валухи вышли, значит, по 28 р. наживу. Оттого должно холодно, что высоко место, сдувает. Надо бы перелезть. Вишь тот чорт храпит подо мной. Известно, праздник, нельзя. И он вспомнил, как жена потребовала на расходы. Ну, да этих баб слушать. Эх, пробирает бок. Заснуть надо. И он забылся.

Долго ли, коротко было, он не знал, но вдруг он проснулся с ужасом в сердце. Сердце колотилось так, что он слышал его. Его рванул кто-то за тулуп. Он открыл глаза. Та же белая муть, только светлее и страшнее, снег свистит в лицо и режет его. И Мухортый стоит, дрожит всеми ногами и худой-худой, как одер, или это не он. Где я? Да и холодно же. Надо встать. А то плохо. Ну, Вася, вставать! Не робей. Он хотел сдвинуться, но ноги его не двигались. Да и не было ног. Хотел подняться на руки, и рук не было, точно он отлежал их. Хотел погнуть спину, и спины нет. — Он замер, не дышал и спрашивал себя: что это? Неужели? Он рванулся. Но не сдвинулся с места. А, так вот это что? — сказал он себе. — Смерть. За что? Матушки родимые, за что? Как же быков-то? И роща? И зачем быки? Зачем роща? Милые мои. Что же это? — Ему захотелось плакать. Он не заплакал, но ему было нежно, умильно. — Милые мои голубчики, что же это? И вдруг ему стало светло, радостно. Он поднялся над всем миром. Все эти быки, заботы показались так жалки, ничтожны. Он узнал себя, узнал в себе что-то такое высокое, чего он в 40 лет ни разу [не] чувствовал [в] себе. Слава богу, и мне тоже, и я не пропал, подумал он. И что-то совсем другое, такое, чего и назвать нельзя, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось

старое, дурное, жалкое и началось новое, светлое, высокое и важное.

———————

— Говорил я тебе, что не руби сбоку, а прежде затеши, а потом подрубишь, она и пойдет промеж берез, а теперь что — села на сучки, — говорил себе во сне Никита, — и давит. Вишь ты, всю поясницу раздавило, как льдом холодит. — Так в полусне чувствовал и думал Никита. — Да будет, — говорит он каким-то товарищам, к[оторые] навалили ему на спину холодное дерево. Но дерево всё холоднее давило его — и вдруг стукнуло что-то, и он проснулся. — Братцы, где ж я? — И он вдруг вспомнил всё. Холодное дерево, это б[ыл] хозяин, лежавший на нем.

— Андреич, а Андр[еич]! — заговорил он, вылезая и поднимая его спиной, но Андр[еич] не отзывался, и от него, от его ног, брюха, веяло холодом. Никита рванулся и встал, Андреич как чурбан отвалился на снег, кот[орый] нанесло выше саней. Было светло, снег мело всё так же, но сверху как будто было меньше, Мухорт[ый] по брюхо в снегу стоял всё так же, глаза выперли, и худая шея вытянулась и закостенела. Никита вылез из саней, огляделся и в 100 саженях увидал, что чернеется, и пошел туда. Это была деревня.

Варианты рукописных редакций

№ 1 (рук. № 3).

Никита был мужик из дальней деревни, уже лет за 50, коренастый, широкий, но, очевидно, от нужды и работы недоросший, и очень сильный. Он всю свою жизнь прожил в людях. Дома у него была только жена с ребятами, обрабатывавшая свой надел наймом и всегда нуждавшаяся, п[отому] ч[то] Никита часто запивал и пропивал всё, что мог. Когда Никита не пил, это был самый смирный, добрый, веселый, работящий и искусный на всякую работу человек. Когда он жил дома, что с ним случалось редко, жена помыкала им, как хотела,

но зато когда он напивался, он наверстывал всё свое смирение, особенно перед женой. Уже несколько раз случалось, что он, напившись пьян дома, разламывал женины сундуки, доставал из них самые дорогие ее наряды и на обрубке, на кот[ором] рубят дрова, топором делал из этих нарядов окрошку. Теперь уже он давно не жил дома, меняя разные места. Везде его любили, но везде он портил себе своим запоем. Только Вас[илий] Андр[еич] умел ладить с ним. Он не давал ему денег, а прямо отсылал жене. Когда же Никита загуливал, Вас[илий] Андр[еич] терпеливо сносил его буйства.

№ 2 (рук. № 9).

<Он всю свою жизнь прожил в людях. Жил он прежде до железной дороги в ямщиках, потом жил в кучерах и в дворниках.>

Никита был человек смирный, добродушный, ловкий на работу,[2] но не любивший тяжелой мужицкой работы и потому всю жизнь проживший в людях.

№ 3 (рук. № 4).

— Вишь ты, прокурат какой, поспел уж, — сказал он на сынишку. — Потому в тебе рассудку ни одной восьмой, — сердито обратился В[асилий] А[ндреич] к жене, вышедшей за ним и уговаривавшей его не ехать. — Одна твоя глупость. — Куражишься — перед кем? — говорила жена, выходя за ним и укутывая голову и почти всё лицо шерстяным платком. — Видишь, запурило как.[3]

Вас[илий] Андр[еич] был немного выпивши, красен и возбужден.[4] — Когда бы ты торговые антиресы могла понимать, тогда бы я разговор с тобой мог иметь совсем различный, — говорил он. — Хоть бы Никиту с собой взял; а то куда один пьяный поедешь, — вдруг совсем крикливым голосом сказала жена.

— Ну, опять грызутся, — подумал Никита. — Жить бы да жить, так нет же, всё лаются. Готово! Вас[илий] Анд[реич], — крикнул он хозяину.

— Еще кого не взять ли? — не отвечая Никите, продолжал В[асилий] А[ндреич], обращаясь к жене. — Что ж, я дороги не знаю.

— Веселее ехать, — сказала жена, — еще погода поднимется.

И действительно, в то время, как она говорила это, порыв ветра согнал снег с крыши и засыпал крыльцо.

— Дело к ночи, мне думаться не будет, — сказала она, заходя назад в сени.

— Чего думаться, моментально доеду, — отвечал В[асилий] А[ндреич], любивший употреблять и с своими хорошие слова.[5]

— Слышишь, Никита, хозяйка велит тебе в капаньонах ехать. Что скажешь?

— Да мне что, ехать так ехать, всё одно, — как всегда бойко, громко, как будто сердясь, буркнул Никита. Никита говорил всегда быстро-быстро, точно слова подгоняли одно другое; главная же особенность его речи состояла в том, что, сказав то, что ему нужно, он как-то вдруг обрывал речь, точно запирал ключом.

№ 4 (рук. № 6).

— Куда еще, — закричала на сына вышедшая вслед за мужем закутанная с головой в платок на снос[ях] беременная жена В[асилия] А[ндреича].

— Пущай привыкает, так-то и я бывало. Как батинька едут, я и тут.

№ 5 (рук. № 5).

— Хоть бы, Вася, Микиту с собою взял, — сказала ему жена, очевидно находящаяся в полной покорности у своего

мужа. — Как бы погода не поднялась, да и всё веселее будет, — сказала она, очевидно робея перед мужем и перекутывая платок с одной стороны на другую.

— Не извольте, мадам, беспокоиться, — проговорил В[асилий] А[ндреич], как он говорил всегда, когда слушал себя, громким, отчетливым голосом, с каким-то особенным напряжением губ, с которым говорят купеческие прикащики. — Что ж, я дороги не знаю?

№ 6 (рук. № 9).

<Ну вот и ладно. А ты смотри, хозяина-то приветь, как должно. — Ну, ты уж скажешь, — сказала смеясь кухарка, ласково ударяя его по спине, очевидно что-то особенное понявшая в этих словах. — А то как же, угости, как должно! — сказал Никита и, похлопывая рукавицами друг об друга, выбежал на улицу.>

— Ты бы, дядя Никита, ноги-то перебул бы, — сказала кухарка, — а то сапоги худые. Никита остановился, как бы вспомнив. Надо бы... Ну да сойдет и так. Недалече. И он пошел к двери.

№ 7 (рук. № 3).

Ветер дул им вбок со стороны Никиты, кот[орому] он запахивал длинный воротник азяма [*1 неразобр*.], закрывавший лицо, и продувал ребра и руку в том месте, где полушубок был прорван, и изредка покачивал санки, когда спины ездоков парусили против ветра. Дорога всё менее и менее становилась видна, всё менее и менее можно было знать, на дороге или без дороги бежит лошадь. Можно было знать это только п[отому], ч[то] виднелись вешки — дубовые сучки, на расстоянии сажень 10 один от другого воткнутые по сторонам дороги. Никита думал о том, как он в этот праздник удержался от вина и как два раза отказался. И ему было это и лестно и жалко. Больше было

жалко. И чтобы не думать об этом, он закрыл глаза и стал дремать. Хозяин, возбужденный вином, был в самом веселом расположении духа. Он был собою еще более доволен, чем всегда. Он и умен и обходителен, и гости у него были все хорошие, и богат, и ловок, и лошадь у него хорошая, и шуба, и всё хорошо, и сам он хорош. А погоди, лес куплю, я ему очки вотру.

№ 8 (рук. № 9).

После встречи с попутчиками и перед первым въездом в деревню вставка рукой Толстого: В[асилий] А[ндреич] теперь молчал, а Никита не переставая весело разговаривал: то хвалил ум лошади, то вспоминал, как он ездил с другим хозяином на паре и пристяжная сбивала коренную.

№ 9 (рук. № 4).

Никита разделся, отряхнул кафтан и повесил его на печь и подошел к столу. Ему тоже предложили водки, но он сердито отказался и присел на лавке. Над столом висела ярко горевшая лампа, освещавшая стол со скатертью, самовар, чашки, водку и кирпичные стены и полати, с к[оторых] глядели ребята.

№ 10 (рук. № 4).

Хозяева стали просить чаем. Никита не отказался от чая. Он не признавался в этом, но он сильно озяб в своем плохом одеянии и рад был согреться. Он, обкусывая со всех сторон один кусочек сахару, выпил 4 стакана чая и то последний стакан не перевернул, а положил боком. Но воды в самоваре уже не было, а хозяйка как будто не заметила боковое положение стакана.

№ 11 (рук. № 5).

Никита молчал и одобрительно кивал головой, выпивая 4-й стакан уже совсем жидкого чая. Он сильно прозяб и рад был согреться. В[асилий] А[ндреич] строго осуждал непочитание родителей и советовал подать земскому, — между разговором он не упускал случай пошутить с молодой, нарядной, румяной солдаткой, щелкавшей у печки семячки и смеявшейся с ним.

№ 12 (рук. № 4).

Вас[илий] Андр[еич] оделся, солдатка подержала ему шубу, и он ущипнул ее так, что она хлопнула его по спине, затянулся опять кушаком. Никита, разогревшись, надел опять свой отсыревший на печи халат, и они вышли в сени. Петруха в шубе и кафтане, стоя на коленках в розвальнях, выехал в отворенные ворота.

№ 13 (рук. 5).

В голове его бродили его обычные мысли: расчеты барышей от всех ведущихся им дел и опасение убытков от них; валухи кормились у него жмыхом, на них польза хорошая будет. Только надо не прозевать, во-время отправить. Радужных пяток очистится, и хорошо. Тоже с гречей надо не проморгать. Подвезли много, как раз соскочит цена. Ну, да я не промахнусь. Не тот мальчик. И он стал вспоминать все свои новые дела, в перемежку с воспоминаниями последнего дня праздника и надеждами на удачную выгодную покупку и соображениями о том, как и когда они с Ник[итой] выберутся из этой метели.

— Как бы не замерз мужик-то, одежонка плохая. Ответишь, пожалуй. Ну да разве я виноват. Дело божье. Да и выберемся же мы к утру. Только бы к обеду доехать. И он стал вспоминать то, что знал про лес, который он ехал покупать. Дуб на полозья пойдет. Срубка сама собой. Да дров сажен 30 всё станет на

десятину. Дам 10 т[ысяч] на 5 лет. Сейчас 3000 должен отдать. Только бы не перебили. И как мы сбились с поворота, и понять не могу. Вишь, дует как. Он приоткрыл глаза и увидал всё то же и опять закутался. Хороша бабенка, вспомнил он про солдатку, старикову сноху. Ночевать бы остаться. Ну да всё одно. Доедем и завтра. Только день лишний. И он вспомнил, что к 8-му получить за валухов с мясника. Жене отдаст. Только глупа она. Кабы теперь жениться, разве я такую бы взял, продолжал думать он. Что при родителях, какой наш дом был. Так себе, мужик богатый: рушка да постоялый дворишка. А я что в 15 лет сделал. Не то что уронил дом, а так поднял, что кто в округе гремит? Брехунов. Вишь ты, дует как. Занесет пожалуй, не выдержишь, подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, кот[орый] дул в передок, нагибая его, сек лубок его снегом. Да, гремит Брехунов. Земля, кабаки, мельница. И попав на эти любимые мысли, он стал перечислять все свои богатства, барыши и успехи и, главное, купеческое мастерство обмануть, а не быть обманутым.

№ 14 (рук. № 9).

Вас[илий] Андр[еич] между тем[6] всё еще закуривал папироску. Намерение Никиты ночевать в поле в снегу и, как он видел, необходимость покориться этому, пугало его. Но ему совестно было показать свой страх, и он старался подавить и отогнать его.[7]

№ 15 (рук. № 5).

Мухортый стоял всё так же задом к ветру. Веретье на нем заворотилось, всё было засыпано снегом. Головой он всё тряс, и на глазах у него ресницы заиндевели. В[асилий] А[ндреич] перегнулся к задку и заглянул в него. Никита сидел всё в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, кот[орой] он прикрывался, и ноги его были засыпаны снегом до колен. — Микит! Что, как?

Никита что-то ответил, не шевелясь. — Замерз, я чай? говорю. — Ничего, — ответил Никита погромче. — Ты бы попоной-то еще бы покрылся. — Не надо, — проговорил Никита.

— Не надо, так не надо, — сказал себе В[асилий] А[ндреич].

№ 16 (рук. № 9).

— А не замерзнешь ты так, Микита? — сказал Вас[илий] Андр[еич].

— Кто ее знает, — може и замерзну. Всё равно помирать надо когда-нибудь. От бога не уйдешь, — отвечал Никита из-под дерюжки, которою он, как бабы покрываются платком, укутал себе голову и плечи.

В[асилию] А[ндреичу] было тепло, даже жарко. Он засунул руки в рукава, прислонился плечами и головой в угол саней к передку и закрыл глаза. Но спать ему не хотелось. Он невольно слушал неперестающий шум ветра, окружавший его и изредка разражавшийся свистом на оглоблях, прерываемый только дыханием Мухортого, его жеванием и изредка стуком его колен о лубок саней. В голове В[асилия] А[ндреича] бродили расчеты, барыши, которых он ожидал от всех ведущихся им дел, в перемежку с воспоминаниями о последнем дне праздника, расчетами на удачную, выгодную покупку леса и соображениями о том, где он, какое это поле, какой овраг и какая тут ближняя деревня, как и когда ему удастся добраться до Горячкина. Ну, губернские не поедут, подумал он. А то как проморгаешь такое дело, беда. <Как бы не замерз мужик-то, одежонка плоха. Ответишь, пожалуй. Ну да ведь это кого другого замотают. А меня Мих[аил] Вас[ильич] оправит. Мих[аил] Вас[ильич] был становой, знакомый Вас[илия] Андр[еича], и нынче даже бывший у него в гостях и пивший его мадеру. И В[асилий] А[ндреич] опять вспомнил о себе, о своих достоинствах, и ему стало радостно.>

№ 17 (рук. № 3).

Дурак я, что послушался его. Ему помирать всё равно. Куда-нибудь да выехали бы. Должно, и стоим-то мы недалеко от деревни. Дай закурю. Опять он достал папироску, долго бился, зажег и в то самое время, как он затягивался, ему показалось, что он слышит лай. Так и есть. Должно, Молчановка. Овраг за Молчановкой. — Микит! — крикнул. Никита не шевелился. И вдруг ему пришла радостная мысль сесть верхом и доехать до деревни. Верхом лошадь не станет. — Микит! — опять крикнул он. — Чаго? — откликнулся Никита. — А я хочу верхом ехать. Тут собаки лают, слышно. — Что ж, с богом. Вас[илий] Андр[еич] встал, отвязал лошадь, закинул поводья и, вступив ногой в шлею, с трудом, два раза оборвавшись, влез на лошадь; седелка мешала ему сидеть, но он подмостил под себя полы шубы и поехал. Он выбрался опять из сугробов наверх. Опять та же муть белая, тот же ветер неперестающий. По его расчетам деревня была против ветра. Лошадь, хоть и с трудом, но шла иноходью туда, куда он ногами и концами поводьев посылал ее. Минут 5 он ехал так, как вдруг перед собой и недалеко, казалось, он услыхал начавшийся слабо и всё усиливающийся и усиливавшийся протяжный, дошедший постепенно до высшей силы звук. Это был волк, и недалеко. Мух[ортый] насторожил уши и остановился. И В[асилию] А[ндреичу] стало вдруг холодно. Отобьешься, не найдешь деревни — хуже. Пропал я, подумал он и, повернув лошадь, пустил ее назад, теперь одного желая — вернуться к саням. Следа своего уж почти не видно было. То казался след, то, казалось, не было, но лошадь охотно шла по ветру. Но вот и сугроб в лощине, и в ней следы еще видны. Сейчас будут сани. И точно, Мухортый спустился, и вот и оглобли и платок на них, и вот и сани, наполовину уже занесенные снегом. Вас[илий] Ан[дреич] слез с лошади, привязал ее.

— Микит! — Никита не шевелился. — Ох, замерзну я, — и опять на него нашел страх. Он хотел лечь на прежнее место, но оно уже было всё занесено. Смерть. За что? Матушки родимые, за что? Как же быков-то? И роща? И быки. Зачем быки? Зачем роща? Милые мои, что же это? Остался бы ночевать, ничего бы не было! Ему сперва захотелось плакать, а потом он вдруг

рассердился. Он зашел под ветер от саней, сел на корточки и опять достал папироску и стал раскуривать ее. Но он не мог не только зажечь, не мог держать папироски, руки его дрожали, и губы и зубы щелкали. Он выронил спички, опустил руки и голову и замер. «Зачем всё это? Зачем я жил, зачем наживал? И чорт их побери и валухов и лес. На кой мне его ляд. Вот и деньги в бумажнике 700 р. серебра. На что их? Вот он крутит, засыпает. Издохнешь, как лошадь. Мужику что? А спит он или замерз. Должно, замерз. Одежонка плохая. Тоже живой был.[8]

У меня одежа, а у него что, замерзнет.[9] Он встал, посмотрел в сани. Они были полны снегом. Спина и плечи Никиты уже сравнивались, чуть был бугор, где была голова и плечо. — Микит! — крикнул Вас[илий] Анд[реич], сметая с него снег и шевеля его.

— Чаво? — Жив? — Пока жив, — отозвалось из-под кафтана. — Застыл только. Что же, не доехал?

— Нет. Вернулся.

— Ложись. А то хуже. И Никита стал ворочаться и жаться, чтобы дать ему место.

— О-ох! — простонал он. — Ноги зашлись! Ложись, ложись.

И вдруг В[асилию] А[ндреичу] стало жалко Никиту. Кабы не я, не пропал бы мужик. А смирный мужик. Как старался, и мальчонка моего ласкал. И не пил нынче. А веретьем не укрылся, лошадь пожалел. И Вас[илий] Андр[еич] опахнул с Никиты снег и полез в сани. — Ты не шевелись, я на тебя лягу, — сказал он, встал на отвод и лег на Никиту, покрыв его своим телом и шубой. — То-то хорошо, то-то гоже. Тепло, — проговорил из-под него Ник[ита] и быстро оборвал свою речь и тотчас же заснул. В[асилий] Андр[еич] слышал, как он захрапел под ним. И удивительное дело, Вас[илию] Андр[еичу] стало вдруг хорошо: в голове его мелькнула сноха старикова, подносившая ему вино, оглобли, трясущиеся перед ним, дуга, Никита с его Миколкой, иконостас с Николаем угодником, хозяйка с гостями, всё это стало перемешиваться, и он тоже заснул. И видит он во сне, что он лежит на постели в доме и всё ждет того, кто должен зайти за ним. И спрашивает у жены: «Что же, не заходил?» Чей-то голос говорит: «Нет». А вот едет кто-то.

Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а, Миколавна, что же, не заходил?» «Нету». «Идет», — вдруг проговорил он себе. «Сейчас», — и он проснулся. И что-то совсем новое, такое, чего и назвать нельзя, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось старое, дурное, жалкое, и началось новое, свежее, высокое и важное. Что же это такое? — Да это смерть. — А, так это вот что, — сказал он себе и удивился и обрадовался. Он проснулся совсем, хотел встать, пошевелить ногами, но ног не было, хотел подняться на руки, и рук не было, и спину согнуть нельзя было, и спины не было. — Должно, смерть пришла. Что же, я ведь не знал, как это, сказал он тому, в чьей власти он был. Я бы и рад теперь. Да я буду, буду. Всё хорошо. Слава богу, — сказал он и сам не знал, что с ним сталось: заснул он или умер.

№ 18 (рук. № 4).

<Вас[илий] А[ндреич] между тем тоже неподвижно лежал в санях и чувствовал, как снег насыпается на него. Ему было не холодно, но в душе у него была тревога. Ему было страшно. Чтобы успокоить себя и забыть о своем положении, он стал перебирать то, что обыкновенно больше всего занимало его. Стал он думать о своем достатке. Это была его любимая мысль. Начал он почти с ничего.>

Отец оставил ему только рушку и плохой дворишка постоялый. В 15 лет после родителя он не только не опустил дела, но так поднял, что у него вся округа в руках была, как говорили ему мужики: мы ведь в плену у тебя, В[асилий] А[ндреич]. И точно, у него 5 деревень было в плену. 200 десятин обрабатывали за долги да за водку, два кабака торговали, хлеба скупка, скотина, рощи, перечислял он свои богатства, вспоминал подробности приобретения их. Но удивительное дело, перечисление и воспоминание об этих делах, всегда прежде занимавшие его так, что он всё забывал и не видал, как проходило время, теперь не развлекали его. Мысль о том, что не выберешься отсюда и можешь замерзнуть совсем или отморозить руки или ноги, не переставая мучила его. Он

вспомнил о той роще, за кот[орой] теперь ехал, и, странное дело, хоть бы и не было ее. И понесла меня нелегкая. На кой мне ее ляд. Затянешься еще с ней. Главное дело, жизнь дорога. Дороже всего. А вот что, главное, мучило его раскаяние, зачем он поехал из Гришкина. Ночевать бы остался. Солдатка, ух, баба хороша, подумал он. Но и этот предмет не развлек его. Напротив, как только он подумал о солдатке, еще скучнее и страшнее стало. — Стал он вспоминать свой расчет с зятем. Это было самое задушевное дело. Дело шло о 3 тысячах, заплаченных за лес, от кот[орого] зять отступился и требовал делить пополам. В этом деле оба они самым мошенническим образом хотели надуть друг друга, и оба считали себя правыми. Но Вас[илий] Андр[еич] одолел, подал в окружной суд, нанял адвоката, жил с ним в номерах в губернии и оттяпал от зятя его часть и взыскал с него еще 1200 рублей убытков. Это был всегдашний предмет радости и гордости для Вас[илия] Андр[еича]. Но, странное дело, теперь это уже не радовало его. Не радовало и то, как у него в гостях был исправник. И как почитал его. Мысль об опасности разрушала всю радость всех успехов. — Замерзнешь тут, думал он. Так-то Егор Федорович заночевал, его как мороженого борова привезли... И напрасно послушал я Микиту, думал он, ехали бы теперь, всё бы выехали куда-нибудь. Напрасно послушал я его. Говорят, пьяным хуже. А я выпил. Вишь, Никита-то догадался, не пил, пожалуй и жив останется. А на что ему жить? Какая его жизнь. Я по крайности и жить могу в свое удовольствие. Есть чем жить. И поживу еще. Заснуть надо. Он забылся на время, но вдруг что-то дернуло его. Он очнулся и, отворотив воротник шубы, оглянулся. Та же белая муть, только светлее стало и оттого страшнее. Была белая непроглядная темнота. Светает, подумал он и обрадовался, — до утра недолго. Видно, я спал. Но тотчас же он вспомнил, вспомнил, что это месяц взошел, и, стало быть, было не более 8-го часа. Мухортый стоял всё так же. Веретье на нем заворотилось, он был весь засыпан снегом, и на глазах ресницы заиндевели. Очевидно, лошадь боялась не меньше его, и страх ее сообщился В[асилию] А[ндреичу]. Под санями, засыпанная снегом, не шевелилась кучка, под которой лежал Никита. — Что

станешь делать. Замерзнешь. Положим, шубы теплы. Да ведь ночь-то велика. А мороз-то градусов 15, я чай. Ах, ночевать бы. Самоварчик еще поставили, водки бы им купил. Баба хороша. И он вспомнил, как жена его не пускала. Не пускала она больше из ревности. А лучше бы было, кабы послушался. Как она жить-то с сиротами останется. Да нет, поживем еще. Авось бог даст. И он опять лег, заворачивая под себя все уголки шубы, чтобы нигде не продувало, и старался заснуть, но сколько ни старался, он не мог заснуть. И опять он начал считать барыши, капиталы, хвастаться перед собой, вспоминать разврат, но ни то, ни другое, ни третье не занимало его. Покурить надо, подумал он и опять вскочил, оглядываясь, и опять та же светлая, снежная мгла, тот же дрожащий и испуганный Мухортый, весь в снегу, и тот же страх, и досада, и раскаяние, зачем поехал, зачем погубил себя. Он достал папироску, лег брюхом вниз, закрыв полами от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другою. Наконец, он ухитрился закурить. Это была радость. Казалось, всё разъяснилось. Но продолжалось это успокоение недолго, папироску выкурил больше ветер, чем он. И он опять лег, укутался, и опять нашел страх. Так было несколько раз. И кругом было всё то же. Тот же дрожащий Мух[ортый], тот же под санями неподвижный, чистый снежный бугор, где лежал Ник[ита], та же белая муть. Ему казалось, что конца нет этой ночи. Иногда ему казалось, что петухи поют, что собаки лают. Но когда пристальнее вслушивался, — только ветер свистел по оглоблям, трепал платком, и Мух[ортый] переступал с ноги на ногу. Раз он совсем было заснул. Вдруг его разбудил какой-то страшно новый приятный звук и утешительный запах. Он вскочил. Это Мухортый стоял, вытянув задние ноги, и мочился.

Он опять вскочил. Еще было светлее, хотя буря была та же, и мороз, казалось, усилился. Должно, близко к утру, подумал он. Дай, посмотрю на часы. Озябнешь раскутываться. Да всё узнать бы. И он стал полегоньку распускать кушак и, засовывая руку, расстегивать полушубок и доставать часы. Насилу, насилу вытащил он свои серебряные часы. Опять лег ничком и стал зажигать спички. Одна за другой они обшмурыгивались об стальную спичечницу и не зажигались. Он подсунул циферблат

и глазам своим не верил. Было всего 10 минут 2-го. Еще больше 7 часов ночи. Ох, плохо, — подумал он и, кое-как сунув часы, запахнулся. Спать надо, так хуже, подумал он и решил лечь и не шевелиться. Долго ли, коротко ли он лежал так, он не знал. Казалось ему, что он заснул, как вдруг кто-то рванул его за спину. Он вскочил. Это Мухортый дернул из-под него солому и, держа ее в зубах, жевал. Где я? Да, замерзаю в поле, как есть замерзаю. Он озяб и дрожал. Матушка, царица небесная, Николай угодник. Всё сделаю, начал он молиться.

И он приподнялся на локоть и стал креститься. Рублевую свечку поставлю, только бы вызволил, думал он. Да что рублевую. Могу серебряный оклад сделать. Он говорил это, но чувствовал вперед, что если он спасется, он не сделает этого, не сдержит слова, и потому не стоит молиться. Опять он достал папироску, но спички уже все стерлись и он в отчаянии бросил папиросочницу. А чорт тебя, проклятый. Провались ты. Он вдруг разозлился на спички, на Мухортого, к[оторый] хотел потереться об него, на Никиту, к[оторый] не шевелился, и, главное, на себя. Он разозлился и был рад, что он разозлился, и поддерживал эту злобу, п[отому] ч[то] в этой злобе была энергия. Чего я заробел. А, дурак, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и ехать. Верхом лошадь не станет.

— Микит! — крикнул он.

— Чаго, — откликнулся Никита.

— А я хочу верхом ехать. Тут собаки лают, слышно.

— Что ж, с богом, — отвечал Никита.

— Подсоби, — говорит.

Никита долго мялся, наконец встал, дрожа всем телом и хромая, подсобил Василию Андр[еичу] и сам зашатался.

— Эх напрасно, хозяин. Лежал бы.

— Тебя послушал, чуть не замерз. Чего же стоять-то. И Вас[илий] Андр[еич] тронул лошадь и скоро скрылся в белой светлой мгле.

Как только В[асилий] А[ндреич] отъехал, Никита поднял свою дерюжку, подошел к саням, вытряхнул из них снег, перелез в них и лег в солому, завернувшись кафтаном. Нога левая у него, он чуял, мерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро

душа выйдет, подумал он и, закутавшись, заснул. Между тем В[асилий] А[ндреич] выбрался из сугробов оврага наверх и погнал лошадь. По его расчетам деревня была против ветра. Лошадь хотя и с трудом, но шла иноходью туда, куда он ногами и концами поводьев посылал ее. Ветер и снег, казалось, еще усилились и слепили ему глаза. Он нагнул голову, ничего не видел и только гнал лошадь, надеясь, что она вывезет его.

Минут пять он ехал так, как вдруг перед собой и недалеко, казалось, он услыхал начавшийся слабо и всё усиливающийся и усиливающийся протяжный, дошедший постепенно до высшей силы и потом медленно ослабевавший звук. Это выл волк, и недалеко. Мухортый насторожил уши и остановился. Мороз пробежал по спине В[асилия] А[ндреича]. Ох, кабы тут деревня, не выл бы волк. Не туда я еду, подумал он и повернул лошадь влево. Но ему всё казалось, что лошадь воротит вправо, и он всё поворачивал ее влево. И вдруг он под собой увидал след — лошадиный след. Это, очевидно, был его след, и они кружили на месте. Эх, не выеду к деревне. И на него вдруг нашел новый страх, которого он еще не испытывал. Он заторопился, стал гнать лошадь и задыхался.

— Что же я делаю, куда же я еду. Пропал я ни за что. И он уж забыл думать о деревне и желал теперь только одного — вернуться к саням, чтобы быть вместе с Никитой и не пропасть одному. Он пустил лошадь. Она куда-то везла его, но туда ли она шла, к саням или совсем прочь от них, В[асилий] А[ндреич] не знал[10]. И когда он думал, что она завезет его прочь, и он останется один без Никиты, на него находил ужас. Лошадь шла, шла, всё не спускаясь, и вдруг спотыкнулась и где-то завязла. В[асилий] А[ндреич] соскочил с нее и тоже завяз в сугробе. Лошадь выбралась, но он остался сзади. Вот когда пропал, подумал он. И лошадь уйдет. Он из всех сил рванулся за лошадью, но она сама ждала его. Влезть он уже не мог и пошел за лошадью, держась ей за гриву.[11] Но вот и сугроб в лощине и в ней следы еще видны. Сейчас будут сани. И точно, Мухортый спустился, и вот и оглобли и платок треплется на них, а вот <и Никита> и наполовину уже занесенные снегом сани. В[асилий] А[ндреич] обрадовался, точно он домой приехал и вся опасность

миновала. Микит, — закричал он, — Микит. Но Никита не шевелился. — Микита, где ты? Под отводом его не было. И опять он ужаснулся и усумнился, не во сне ли всё это, не сон ли это, от которого можно проснуться. Микит, — заорал он диким голосом. И губы его дрожали, и зубы щелкали. И вдруг к радости его в санях зашевелилось и поднялась сначала спина, потом голова Никиты.

— Чаго? — проговорил он слабым голосом.

— Пропал было я, Микитушка, — сказал он. — А ты жив?

— Пока жив, — отозвалось из-под кафтана. — Застыл крепко только. Должно, конец мой пришел. Прости, Христа ради. — И Никита стал ворочаться, очевидно желая встать и дать место хозяину.

Ох, погубил я человека, подумал В[асилий] А[ндреич]. И ему вдруг стало жалко Никиту. И Вас[илий] Андр[еич] опахнул с Никиты снег и полез в сани.

— Ты не шевелись, я на тебя лягу, — сказал он. И В[асилий] А[ндреич] встал на отвод и лег на Никиту, покрыв его своим телом и шубой.

— Что, теплее так, — сказал он.

— Ровно на печи, — проговорил из-под него Никита и быстро оборвал свою речь и тотчас заснул. В[асилий] А[ндреич] прислушался к тому, как Никита дышал под ним, и радовался тому, что он согревается. О себе он перестал думать, и ему стало спокойно и хорошо. И он не успел опомниться, как тоже заснул. И видит он во сне, что он лежит на постели в доме и всё ждет того, кто должен зайти за ним. И спрашивает у жены: — Что же, не заходил? Чей-то голос говорит: — Нет. А вот едет кто-то. Должно, он. Нет, мимо. Миколавна, а Миколавна. Что же, не заходил? — Нету. — И всё он лежит на полати и ждет. Всё тихо. И вдруг узнает В[асилий] А[ндреич], что он пришел. Иду! — прокричал В[асилий] А[ндреич] так громко, что Никита слышал его крик. — Иду, — весело прокричал В[асилий] А[ндреич] и проснулся. И что-то совсем новое, такое, чего он не знал во всю жизнь свою, сошло на него, и он вошел в него, и кончилось всё старое, пустое, ненастоящее, и началось новое, хорошее и настоящее.

— А, так это вот что, — сказал он себе, понимая, что это смерть и что он умирает. И он удивился тому, как это просто и нестрашно. — А я, дурак, боялся ее, — сказал он себе. Стал он вспоминать про рощу, про дело с зятем, про валухов, и ему жалко и смешно стало; и вспомнил он про Ник[иту], как он сказал ему: прости Христа ради, и как сказал: ровно на печи — и ему радостно стало. — Что же, я ведь не знал этого, — сказал он. — Я бы и рад теперь. Да я теперь буду, — сказал он и сам не знал, что с ним сталось: заснул он или умер.

— Погоди гнать, дай я подстроюсь. А то что же, всё одно не возьмут, — говорил себе Никита, вывозивший во сне заевший на переезде в болоте воз с мукою. И он подлез под воз и стал поднимать его, расправляя спину, но удивительное дело: воз не двигался, а прилип ему к спине и он не мог ни поднять воз, ни уйти из-под него. — Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. Да будет, — говорил он кому-то, кто давил ему возом спину. Вынимай мешки. Но воз всё холоднее и холоднее давил его — и вдруг стукнуло что-то, и он проснулся и вспомнил всё.

Холодное дерево — это был хозяин, лежавший на нем. А стукнул — это Мухорт[ый] коленкой о сани.

— Андреич, а Андреич, — заговорил Ник[ита], подергивая спиной, но Андр[еич] не отзывался, и брюхо его и ноги были крепкие и холодные. — Помер, должно, подумал Никита. Тоже меня пожалел. Царство небесное. Должно, и мне скоро. Господи помилуй, проговорил он и почувствовал, что умирает.

Уже в обед, на другой день мужики откопали лопатой Вас[илия] Андр[еича] и Никиту в овраге, который обходит дорога, в 30 саженях от нее и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней; но оглобли и платок на них были видны. Было светло, снег мел всё так же, но сверху было меньше. Мухортый по брюхо в снегу стоял, прижав голову к кадыку; глаза его заиндевели и выперли, и худая шея вытянулась и закостенела. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кожа да кости. В[асилий] А[ндреич] весь застыл и, как были у него расставлены ноги, так раскорячившись его и отвалили от Никиты. Никита же был жив и отморозил только обе ноги и

левую руку. Когда Никиту разбудили, он огорчился сначала тем, что на том свете опять всё было то же, такие же люди, такие же лошади, сани, тот же снег. Он думал, что там будет совсем другое и лучше. А это опять всё то же. Ну что же делать. Так, видно, надо. Но когда он понял, что он жив, он скорее огорчился, чем обрадовался, особенно тогда, когда узнал, что едва ли он будет владеть рукою. Пролежал Ник[ита] в больнице два месяца. Хотели ему отнять ногу, но он не дался, и она зажила. Калекой он остался, но все-таки работал и прожил еще 20 лет и только в нынешнем году помер в избе у жены, как должно, под святыми и с зажженной восковой свечой в руках, и истинно радуясь тому, что он умирает и избавляет своей смертью и старуху и малого от обузы и греха. Лучше или хуже ему там стало, разочаровался ли он, когда проснулся там, или нашел то самое, чего он ждал, мы все скоро узнаем.

Л. Т.

№ 19 (рук. № 5).

На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше не только лежать, но и сидеть на месте. И чего я заробел. То-то дурак, что послушал мужика, бранил он себя. Чего лежать-то. Сесть верхом, да и марш, — вдруг пришло ему в голову. Верхом лошадь не станет. Ему, подумал он на Никиту, всё равно умирать. Какая его жизнь, ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить. Микит, — крикнул он. Никита долго не отвечал. — Чаго? — откликнулся наконец Никита. — А я хочу верхом ехать. — Куда ехать-то, — сказал Никита. — Куда-нибудь да выеду, чем тут-то сидеть. Ночи еще много. — Напрасно, — проговорил Никита, не изменяя своего положения. — Лежал бы, хуже. — Слушай вас, — проговорил В[асилий] А[ндреич]. — Что ж пропадать даром.

№ 20 (рук. № 6).

Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле был холод. Должно, скоро душа выйдет, подумал он. Господи боже мой, батюшка, отец небесный, — проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, но обращение это к нему, к отцу, было нужно Никите и успокоило его. Он повалился в сани и, натянув опять себе на голову дерюжку, затих.

№ 21 (рук. № 9).

Никита ясно понимал, что ему в его рваном полушубке и халатишке с дерюжкой на голове не перетерпеть те 14 часов, к[оторые] оставались до света. Да еще и выедешь ли и днем. Он уже теперь чувствовал, что нога левая отмораживается и чувствовал непреодолимую сонливость, к[оторая], он знал, была признаком замерзания. Но мысль о том, что он умрет здесь в этом месте, в эту ночь не представляла для него ничего ни особенно страшного, ни особенно неприятного. Это было только нечто новое.[12] Ничего страшного он не видел в этом, потому что, как он бывало смеялся людям, боявшимся упасть с высоты, что упадешь не кверху, а книзу, так он всегда и теперь говорил себе, что, умирая, он попадет не куда-нибудь в новое место к новому хозяину, а всё к тому же господу батюшке, под которым и здесь ходил. Упадешь не кверху, а книзу — всё к тому же господу батюшке царю небесному. Особенно неприятного же он не видел в смерти потому, что вся его жизнь здесь не представляла ничего такого, что бы ему жаль было покинуть. Правда, жутко было уходить из этой знакомой жизни в другую, неизвестную. Да что ж поделаешь, не откажешься. Грехи? подумал он, вспоминая свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, в особенности злобу на бондаря. Известно, грехи. Да что ж, разве я сам их на себя напустил. Таким, видно, меня бог сделал. Ну и грехи. Куда же денешься. И успокоившись рассуждением, он прикрыл осторожно дырку, сквозь которую дуло в голову, вжал еще более голову в плечи[13] и стал забываться и даже задремал. Окрик хозяина разбудил Никиту. И чего ворочается, думал он. Лежал бы да лежал. Шубы теплые. А что ворочаться, то хуже.

Финоген да Митька, те разделись так-то да рядом легли, укрылись, вспомнил Никита. Так говорят, как тепло, вспомнил Никита и хотел сказать это В[асилию] А[ндреичу], но не хотелось ни шевелиться, ни говорить, и Никита ничего не сказал. Когда в другой раз хозяин разбудил его, объявив, что он хочет уехать верхом, Ник[ита], сделав большое усилие над собой, проговорил ему совет не ехать и сказал: хуже.[14] Это усилие разбудило его. Он вспомнил, что на Мухортом веретье, к[оторое] не нужно ему на ходу, а ему, Никите, было бы очень нужно. Он хотел сказать это и взять веретье укрыться им и лечь в сани, но его так разморило, так хотелось ему спать, что он не имел сил сказать этого и не имел сил встать. Но вдруг задок, на кот[орый] он упирался спиной, дернулся, что-то ударило в спину, посыпался сверху снег и упираться спиной уже не на что было. Этот толчок, происшедший от того, что сани откачнулись, когда В[асилий] А[ндреич] садился с них на лошадь, заставил Никиту очнуться. Он с трудом выпрямил ноги и, осыпая с себя снег и держась за сани, хромая обошел задок и раскрыл глаза. Всё та же белая муть была везде кругом. Впереди его в трех шагах еще виднелась спина В[асилия] А[ндреича] в его высокой шапке и спина и зад Мух[ортого] с развевавшимся в одну сторону по бокам его веретьем. Мучительный холод пронизал всё тело Никиты, когда он поднялся и вышел на ветер. Он сделал усилие над собой и закричал В[асилию] А[ндреичу]: «Веретье оставь», но В[асилий] А[ндреич] хоть и слышал, что тот прокричал, не поворачиваясь гнал лошадь туда, откуда он въехал в лощину, и скоро скрылся в снежной пыли. Никита вздохнул, мотнул головой и, не снимая с головы дерюжки, повалился в сани на место хозяина. Нога левая у него, он чуял, отмерзла, и во всем теле была слабость, а в душе умильность. — Должно, скоро душа выйдет, — подумал он.— Господи, батюшка, отец небесный, — проговорил он, сам не зная, чего он хотел от батюшки отца небесного, — но обращение это к нему, к отцу, к господу батюшке, было нужно Никите и успокоило его. Он стал терять сознание, сам не зная, засыпает он или умирает, одинаково готовый на то, чтобы проснуться в этом мире и попрежнему жить в людях работником, служить людям, отдавать деньги жене и

бондарю, бороться с грехом, с водкой, бороться и падать, или проснуться где-то там так же, как он проснулся к жизни этого мира, не зная, когда, в люльке, у груди матери, или когда в первый раз свалился с лавки и ревел на руках у сестры и няньки Аксютки.

№ 22 (рук. № 5).

— Что же я делаю, куда же я еду? — говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и всё гнал лошадь. Проезжал он по обледеневшим сдутым зеленям, по высокому косматившемуся жнивью, по глубокому мелкому снегу, ехал против ветра и по ветру. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и прикасалось с седелкой, зябло и болело, и чем больше он зяб, тем отчаяннее он гнал лошадь.

№ 23 (рук. № 6).

Особенно страшно ему стало, когда он проезжал по меже какого-то поля, поросшего высоким бурьяном, торчавшим из-под снега и отчаянно мотавшимся, стремившимся куда-то и только свистевшим на одном и том же месте. Грозно мотавшийся бурьян этот почему-то навел на него самый большой страх.

№ 24 (рук. № 8).

Он увидал перед собой уж не однообразие, а что-то чернеющееся. Он поехал на это черное с радостной надеждой увидать что-нибудь живое, спасительное, но черное это была межа, поросшая высоким бурьяном, торчащим из-под снега и отчаянно трепавшимся по ветру, который как-то особенно зловеще свистел через него.

№ 25 (рук. № 8).

Он пустил поводья и сжался, закрывая полами коченевшие ляжки. Пропал я, думал он. За что? Лошадь шла медленной иноходью и как будто что-то соображала, поднимая то одно, то другое ухо. Но В[асилий] А[ндреич] ничего не видел этого. Он весь был поглощен ужасом ожидающей его, как ему казалось, неминуемой смерти. И смерть ему представлялась ужасной.

№ 26 (рук. № 5).

<Тот ужас смерти, к[оторый] он испытывал сейчас, он перенес на Никиту, и ему так жалко стало этого доброго, покорного мужика, что он забыл о себе только думал о нем.> В санях зашевелилось.—Ну, слава тебе, господи, — проговорил В[асилий] А[ндреич]. — Что, жив? Застыл, я чай. — Помираю я, Андреич, — заговорил слабо Никита. — Зажитое бабе отдай, — прибавил он, и В[асилию] А[ндреичу] показалось, что Ник[ита] заплакал. — Помирает, сердечный, — подумал он. В[асилий] А[ндреич] встал на отвод, расправил шубу и лег на Никиту, покрыв его своим телом.

№ 27 (рук. № 9).

<В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за передок. Слава тебе, господи, говорил он себе. Хоть не один. Теперь шабаш. Лягу, укроюсь, не двинуся. Но радость его продолжалась недолго. Всё равно и тут замерзнешь, подумал он, вспоминая всё то, что он испытал в эту ночь. И тут только, заметив жесткое тело в санях, вспомнил о Никите и догадался о том, что он перелез в сани.

Первое чувство В[асилия] А[ндреича] была досада, что место его занято, и он хотел тревожить Никиту. Но потом, вспомнив тот страх, к[оторый] он только что пережил, он задумался. Не уляжемся вдвоем. — Никита, — крикнул он. Но Никита не откликался. — Никита, — повторил В[асилий] А[ндреич], подходя к задку саней и заглядывая на то место, где

он оставил Никиту. Там был только снег и не было и следа Никиты. — Погубил я человека, подумал Вас[илий] Андр[еич]. В санях зашевелилось. — А я было пропал, брат, — сказал В[асилий] А[ндреич]. — Что ты, как? Застыл, я чай.

Никита заворочался, приподнял голову и с трудом выговорил: — Помираю я, Андреич, зажитое бабе отдай. Конец мой пришел. Прости Христа ради. — Погубил я человека. Он лошадь пожалел, а я что сделал, подумал В[асилий] А[ндреич] и, ничего не говоря, встал на отвод, расправил шубу и лег на Никиту, покрыв его своим телом.>

В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за передок. Слава тебе, господи, говорил он себе. Хоть не один.

— Микит, — крикнул он в ту же минуту, вспоминая, как Никита, прикрытый дерюжкой, кричал ему что-то. И ему совестно стало. И тут, взглянув в сани, В[асилий] А[ндреич] увидал, что в середине их что-то бугрилось и наполняло их. Ведь это он. Жив ли еще. И Вас[илий] Андр[еич] опять позвал Никиту, потрогивая его рукой. Он прислушался. Никита дышал. Никита, откликнись. Вдруг Никитина голова, разворачивая снег, поднялась у передка из саней. Дерюжка висела на шапке, шапка сбилась наперед. Никита поднялся на одном локте и странно нагнулся, махая перед своим лицом свободной рукой, точно он обмахивал мух, заговорил, шамкая и не выговаривая согласных: Помираю я, Андреич. Конец пришел. Зажитое старухе не давай, малому отдай. Ну да бог с ней. Прости Христа аи, — пробурчал он, спустил локоть, уронил голову и повалился в расшевеленный снег.

№ 28 (рук. № 9).

В[асилий] А[ндреич] стоял, смотрел, слушал и чуял, как нижняя скула его плясала: вавававава, и не мог удержать ее. Погоди, я на тебя лягу, сказал он себе[15] и обеими руками выгреб снег из саней, расправил шубу и лег животом на Никиту, покрывая его своим телом.

№ 29 (рук. № 5).

Довольно долго пролежал он так молча, стараясь успокоиться и вытирая с воротника иней. — Что, Никита, теплее так, — сказал он наконец. — То же, — отвечал Никита. — Согреваться стал. — Пропал было я, Микита, — сказал В[асилий] А[ндреич], — совсем отбился было от саней. И я бы замерз, да и ты бы пропал. А теперь отогреешься, бог даст. Что, как? — Ровно на печи, — сказал Никита и вслед за этим стал дышать так, как дышат спящие люди.

№ 30 (рук. № 10).

В[асилий] А[ндреич] подбежал к саням и схватился за них, тяжело и быстро дыша и отыскивая глазами Никиту. На прежнем месте Никиты не было, и В[асилий] А[ндреич] было испугался, думая, что он также ушел, но тотчас же увидал, что в санях лежало что-то занесенное уже снегом, и догадался, что это б[ыл] Никита. — Никита, жив? Никита пробурчал что-то непонятное. Ну, слава богу, подумал В[асилий] А[ндреич], жив. Страх его совершенно прошел теперь, и если он боялся теперь чего, то только этого самого страха, того ужасного состояния страха, к[оторое] он испытал на лошади и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. — Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было не думать о себе, надо было думать о чем-нибудь другом. Надо было делать что-нибудь. Первое дело, к[оторое] представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Он пошел и сделал это. Но выпростав ногу, он заметил, что веретье, к[оторым] была покрыта лошадь, сбилось совсем на одну сторону. Он поправил и это. И вспомнил, что Никита кричал ему что-то о веретье, когда он отъезжал. Он живо вспомнил про Никиту и решил покрыть и отогреть его. Он привязал лошадь на старое место и подошел к саням, раздумывая о том, как ему разместиться с Никитой. Вдвоем ни за что не усядешься, думал он. Ну я хоть на корточки сяду, прикрою его шубой, думал

В[асилий] А[ндреич]. — Подвинься, дай место, я сяду. Тебе теплее будет, — сказал он, выгребая снег из саней и толкая Ник[иту]. — Подвинься — говорю. В санях зашевелилось, Никита с большим усилием оперся на локоть и поднял голову. С нахлобученной шапки и с дерюжки сыпался развороченный снег. — Помираю я, Андреич. Конец пришел..., — проговорил Никита, с трудом выговаривая согласные, и остановился отдыхая и как-то странно, точно обмахивая мух, замахал рукой перед носом. — Прости Христа аи, — сказал он, — конец мой, — спустил локоть, уронил голову и повалился в расшевеленный снег.

— Погоди ж ты, я на тебя лягу, я тебя угрею, — сказал себе В[асилий] А[ндреич] и обеими руками выгреб снег из саней, расправил шубу и лег животом на Никиту, покрывая его своим телом и подтыкая с обеих сторон полы шубы под Никиту. Страха он теперь не испытывал никакого. Он думал только о том, как бы отогреть Никиту.

— Ну что, Никита, потеплее стало? — сказал он, полежав так несколько времени.

Никита вздохнул.

— Пропал было я, Микита,— сказал В[асилий] А[ндреич],— совсем отбился было от саней. И я бы замерз, и ты бы пропал. А теперь отогреемся, бог даст. Потому если... Но дальше В[асилий] А[ндреич] не мог говорить, п[отому] ч[то] совершенно неожиданно нижняя челюсть его быстро запрыгала, он выговорил только: вававава! и в то же время глаза его наполнились слезами. Довольно долго он глотал слезы и вытирал глаза о мех шубы. Наконец успокоился. Но только что спросил опять Никиту, что он? как опять задрожали скулы и глаза наполнились слезами и В[асилий] А[ндреич] замолк. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху в спине и вороте от шубы, но ноги и руки его зябли, но он не замечал этого. Он перестал прислушиваться к метели, а слушал только под собой дыхание Никиты и не переставая радовался тому, что он согревается под ним.

№ 31 (рук. № 14).

Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. И потому, как только он немного отдышался, Василий Андреич подошел к Мухортому, выпростал ему ногу, оправил на нем веретье и сбившуюся шлею и привязал опять к старому месту. Сделав это, Василий Андреич вынул дугу, отряхнул ее и, поставив ее выше, подтянул чресседельней оглобли, достал из саней соломы, подложил ее Мухортому и, став задом к ветру, распустил шубу. Потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов овес и гречу, затянулся кушаком, приготовляясь к деятельности. Но делать больше нечего было. Надо было устраиваться в санях и дожидаться света. Но как быть с Никитой? Вдвоем не то что лечь, и не усядешься в маленьких санках. И он решил поднять Никиту и стал будить его.

— Микит! А Микит! — крикнул он, выгребая снег из саней и толкая Никиту. Поднимись-ка. Поднимись говорю. Никита не откликался и не шевелился. Василий Андреич решил приподнять его и для этого привычным, бодрым движением засучил рукава шубы. Но только что он хотел взяться за Никиту, как в санях зашевелилось, и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием он приподнялся и оперся на локоть. С нахлобученной шапки и с дерюжки сыпался развороченный снег, лицо его было опущено книзу. Он бормотал что-то, повторяя одно и то же, и как-то странно, точно отгоняя мух, махал перед носом рукой.

— Чего ты? Чего говоришь? — переспросил Василий Андреич, нагибаясь к нему. — Помираю я, прости Христа ради, — выговорил яснее Никита. — Зажитое — малому... Но Василий Андреич не дал ему говорить дальше. С той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он толкнул Никиту назад в сани и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и с саней. — Будет разговаривать, — сказал он своим внушительным голосом на слова Никиты, повалившегося назад в снег и что-то неясно бурчавшего. Будет разговаривать, и, выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, ступив на отвод, лег животом на Никиту, покрывая его своим телом. Он

долго лежал так, заправляя полы шубы руками между лубком саней и Никитой и коленами ног придерживая ее подол. Он лежал так ничком, упираясь головой о лубок передка, и теперь не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а

№ 32 (рук. № 10).

Так пролежал он довольно долго, ничего не видя и не слыша, кроме слабых движений [Никиты] и его дыхания, и наконец[16] и усталость, и выпитое вино подействовали на него, и он заснул тихим и спокойным сном. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и дуги, трясущихся перед глазами, хождение Никиты, отыскивавшего дорогу, блуждания верхом; потом стали перемешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике, но все эти разнообразные впечатления связывались чем-то одним, приятным, успокоительным, соединенным с ощущением разкоряченных ног и осязания животом туловища Никиты. Только к утру спокойствие и радостность этого сна стали нарушаться. Видит он во [сне], что стоит он будто у свечного ящика

№ 33 (рук. № 11).

И В[асилий] А[ндреич] просыпается и вспоминает всё: где он, и что с ним было. Слышит он тот же свист ветра и шорох снега, видит то же белое море снега, занесенную голову Мухортого и его подведенные бока, слышит щелканье платка и вспоминает он про Никиту, что он лежит под ним и что он угрелся, и ему кажется, что он Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите, что если останется жив Никита, то и он будет жить. И радостно слышит он под собою его — свое дыхание. — Жив Никита, значит я жив. — И что-то совсем новое, такое, чего он не знал во всю жизнь свою, сошло на него, и он узнал то, что было в нем, и в чем была его жизнь.

— А, так это вот что! — сказал он себе, понимая, что это смерть, и что он умирает. — А я, дурак, боялся ее, — сказал он себе. — И он вспоминает свою жизнь и в чем она была, вспоминает про рощу, про дело с зятем, про валухов, и ему не верится, чтобы были люди, которые могли жить этак. И вспоминает он Никиту, как он сказал ему: прости Христа аи, т. е. прости Христа ради, и как от этих слов ёкнуло в нем сердце и загорелась жизнь. — Что же, я ведь не знал этого, — думал он. — Я бы и рад теперь, да поздно! Нет, не поздно, напротив, рано еще. Только рассветает, и вдруг стало темно и всё исчезло.

Комментарии А. С. Петровского

«Хозяин и работник»

История писания и печатания

П. И. Бирюков пишет в своей «Биографии Льва Николаевича Толстого» (т. III, Госиздат, М. 1922, стр. 206), что мысль написать рассказ «Хозяин и работник» пришла Толстому зимой 1892/93 г., когда он, находясь в Бегичевке Данковского уезда Рязанской губ., руководил организацией помощи голодающим крестьянам. На эту мысль его навели необычайно сильные в ту зиму метели и вызванные ими рассказы о замерзших и занесенных снегом путниках. Бирюков ничем не подтверждает своих слов, но их нельзя оставить без внимания, так как он жил тогда в Бегичевке и мог слышать от Толстого о замысле этого рассказа. Однажды Толстому самому пришлось заблудиться во время метели. Владелица Бегичевки Е. И. Раевская так описывает этот случай в своих воспоминаниях: «Узнаем мы однажды, что он уехал в метель и еще не возвращался. Мы ужасно испугались и послали его разыскивать нашего Алексея Конова: будучи охотником-псарем, он знаком с каждым овражком, каждым кустиком и к тому— отчаянная голова, готов и в огонь и в воду. Алексей отправился верхом и нашел графа, идущего пешком по снежному полю, а лошадь от него ушла. Алексей ее поймал, усадил графа в сани и привез к нам». [17] Запись эта относится к 15 февраля 1892 г.

Толстой упоминает впервые о рассказе в дневниковой записи от 6 сентября 1894 г.: «Утром в постели... продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике». [18] Повидимому, тогда же был набросан и первый, очень беглый, конспект рассказа:

«1) Вас. Андр., уезжая, приказывает об овсе и рушке.

2) До лесу доезжают благополучно. Затишье.

3) Снимает тулуп, ходит, ложится вниз.

4) Лежит, Мекешка лежит не шевелится.

В. А. ходит. Чего ходить-то? Нечего ходить. Ложись. Друг от дружки теплее.

Ходит, суетится, потеет, теряется, приходит и валится на него сверху, и тотчас же засыпает. Просыпается холодно. Но лень встать. Мечты» (см. ниже, стр. 378, рук. № 1).

В тот же день Толстой приступил к осуществлению замысла. 7 сентября он пишет Софье Андреевне: «У нас в одиночестве жизнь теснее. Вчера я стал было записывать свой рассказ, пока вы уехали, думал нынче вечером продолжать, но нынче не в том духе».[19] А 14 сентября Толстой записывает в Дневнике: «Вечером сел писать и написал рассказ о метели. Нехорошо».[20] В тот же день Татьяна Львовна сообщала матери в Москву: «Вчера вечером папа только к 12 часам пришел наверх и принес с собой целый рассказ, который он написал. Будем сегодня его переписывать» (ГМТ).

Таким образом, совершенно точно определяется дата начала (6 сентября 1894 г.) и конца (13 сентября 1894 г.) первой черновой редакции «Хозяина и работника». Судя по цвету чернил, она была написана в два приема: вероятно, 6 и 13 сентября.

Закончив первую редакцию, Толстой на время прекращает работу над «Хозяином и работником». 18 сентября он пишет жене: «Теперь я написал начерно очень мало интересный рассказ, но он меня на время занял. Поправлять же его, теперь по крайней мере, нет охоты».[21]

Возвращается Толстой к работе над рассказом только через три месяца (дневниковая запись 25 декабря 1894 г.). С этого момента начинается интенсивная правка рассказа, продолжавшаяся до 1 января 1895 г. — дня отъезда Толстого с дочерью Татьяной Львовной в имение Олсуфьевых Никольское-Горушки. Ход работы над рассказом за эти несколько дней прослеживается по рукописям №№ 3 (датирована Толстым: «27 декабря 1894 г. »), 4, 5 (датированы М. Л. Толстой: «29 д. 1894»), 6, 7 и 8.

Но Толстой все еще не был удовлетворен рассказом. 31 декабря он записывает в Дневнике: «Прошло 5 дней. Всё это

время писал рассказ *Хозяин и работник*. Не знаю, хорошо ли. Довольно ничтожно».[22] Столь же критически оценивает он рассказ и в дневниковых записях 3 и 6 января 1895 г.: «Поехали, как предполагалось 1-го. — Я до последнего часа работал над Хозяином и работником. Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо». «Третьего дня вечером читал свой рассказ. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать».[23] Гостя у Олсуфьевых, Толстой усиленно занимался отделкой рассказа. «Папа бодр и здоров, — писала Т. Л. Толстая матери 12 января, — кончает свою повесть».

14 января рукопись была послана Н. Н. Страхову для передачи в «Северный вестник». В сопроводительном письме Толстой писал Страхову: «Письмо это вам перешлет или передаст очень милая девушка, баронесса Майндорф, с кот[орой] я провел несколько дней у Олсуфьевых, у кот[орых] я жил и живу еще теперь. Я ей передал рукопись рассказа для Сев[ерного] вест[ника]. Редакторы так жадны, что я не хочу давать им прямо в руки. А то они напечатают, не прислав мне корректур и без необходимых поправок. Поэтому я позволил себе послать этот рассказ вам и через вас. Во-1-х, вы просмотрите его и скажете, можно ли печатать. Не стыдно ли? Я так давно не писал ничего художественного, что, право, не знаю, чтó вышло. Писал я с большим удовольствием, но чтó вышло, не знаю. Если вы скажете, что нехорошо, я нисколько не обижусь. Вот это-то и может быть вам неприятно. Если же вы найдете годным рассказ, то уже, пожалуйста, вы подпишите корректуру к печати... Таня [Т. Л. Толстая] говорит, что из письма не видно, что я прошу прислать мне корректуры. Я очень прошу, непременно прошу прислать мне в Москву».[24]

В тот же день Толстой писал редактору «Северного вестника» Л. Я. Гуревич: «Посылая вам, дорогая Любовь Яковлевна, рассказ, посылаю его через Н. Н. Страхова, к[оторому] поручаю корректировать его и подписать к печати. Очень рад буду, если он поспеет к февр[альской] книжке, но если нет — не взыщите... После того как я просмотрю корректуры в Москве, непременно пришлите в Москву».[25]

Никаких сведений об исправлениях, сделанных Н. Н. Страховым, нет. Корректуры рассказа не сохранились, кроме двух гранок, на которых, однако, нет поправок, сделанных рукой Страхова. Повидимому, его роль в этом деле ограничилась только чисто технической правкой: орфографией, знаками препинания и т. п.

Толстой трижды правил корректуры рассказа. 27—28 января, отправляя первую исправленную корректуру, он писал Н. Н. Страхову: «Посылаю коректуры очень измаранные. Пожалуйста, не дайте напечатать в безобразном виде. Надо мне после вас пересмотреть еще раз. Я и пишу Гуревич, чтобы мне прислали еще. Если вы будете добры просмотреть еще разик и поправить, что там неладно, то я очень буду благодарен. Мне не нравится этот рассказ. И в вашем отзыве слышу неодобрение. Пожалуйста напишите порезче всё, что вы скажете об этом рассказе, говоря не со мною. Мне интересно знать: ослабела ли моя способность, или нет. И если да, то это меня так же мало огорчит и удивит, как и то, что я не могу бегать так же, как 40 лет тому назад».[26]

Недовольство рассказом повлекло и усиленную правку, о которой красноречиво свидетельствуют сохранившиеся гранки. 14 февраля Толстой писал сотруднику «Северного вестника» А. Л. Волынскому, отправляя вторую исправленную корректуру: «Посылаю вам, Аким Львович, исправленную коректуру. Извините, что так много перемарал. Пожалуйста, пришлите мне еще раз и, лучше всего, в сверстанном виде. Мне нужно теперь исправить только вкравшиеся неточности и стилистические ошибки. Но и это очень нужно, и потому очень прошу поскорее прислать».[27]

Около 23 февраля была закончена последняя (третья) правка Толстым корректур «Хозяина и работника». «Посылаю вам коректуры, — писал он 22—23 февраля А. Л. Волынскому. — Мне больше смотреть их не нужно, но желательно, чтобы внесенные поправки не были перевраны».[28]

5 марта вышла в свет мартовская книжка «Северного вестника», в которой на стр. 137—175 был напечатан «Хозяин и работник». Одновременно рассказ печатался в Москве в

издательстве «Посредник» и в 14 томе издававшихся С. А. Толстой «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».

«5 марта 1895 года, — пишет в своих воспоминаниях Е. И. Раевская, — одновременно с «Северным вестником» этот рассказ выпущен был в свет фирмой «Посредник» в двух изданиях (в 15 и 20 копеек) и разошелся в первые четыре дня в количестве 15 000 экземпляров. Кроме того, графиней Софьей Андреевной Толстой издан 14 том полного собрания соч. гр. Л. Н. Толстого; этот том, где между прочими статьями находится и рассказ «Хозяин и работник», вышел в то же воскресенье 5 марта 1895 г. и продавался в доме гр. Толстой в Москве в Хамовниках. Тот же день в четыре часа времени раскуплено было 15 000 экземпляров по 50 копеек за книгу (на 7500 р. с.). 9 марта фирма «Посредник» пустила в обращение народное издание «Хозяина и работника» по цене в 3 коп.».[29]

Набор обоих московских изданий делался с корректур «Северного вестника». Но текст «Посредника», хотя и получил цензурное разрешение 17 февраля — на девять дней раньше «Северного вестника», — испытал перед выходом в свет еще одну дополнительную правку Толстого (184 исправления). Поэтому в основу настоящего издания кладется текст «Посредника».

Описание рукописей

1. Автограф на половинке вырванного из тетради листа. *Начало:* «1) Вас. Андр., уезжая, приказывает об овсе и рушке»; *конец:* «Но лень встать. Мечты». На обороте листа копия рукой М. Л. Толстой, с поправками и вставками Л. Н. Толстого, отрывка из «Христианского учения». Первоначальный набросок, конспект, лишь частично осуществленный в первой редакции рассказа.

2. Автограф. 15 лл. в 4°, исписаны с обеих сторон и нумерованы рукой Толстого. С многочисленными поправками и вставками на полях и между строк. *Начало:* «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах на другой день после зимнего Николина

дня»; *конец:* «Никита вылез из саней, огляделся и в 100 саженях увидал, что чернеется, и пошел туда. Это была деревня».

Рукопись является первой черновой редакцией всего рассказа. Напечатана впервые в журнале «Летопись», 1916, № 1, стр. 104—115, с вступительной заметкой В. С[резневского]. Перепечатывается в вариантах с некоторыми уточнениями по автографу.

3. Копия рукой М. Л. и Т. Л. Толстых с рукописи № 2, с многочисленными поправками и вставками на полях и между строк рукой Толстого. 36 лл. в 4°, между лл. 33 и 34 вставка в 1 л., исписанная с обеих сторон рукой Толстого. Из лл. 4, 6, 9, 11, 12 и 13 вырезки перенесены в рукопись № 4. *Начало:* «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах на другой день после зимнего Николина дня»; *конец:* «Ночевал он в 100 саженях от дороги. Л. Толстой. 25 декабря 1894». Подпись и дата рукой Толстого.

Копия была сделана М. Л. и Т. Л. Толстыми, очевидно, в середине сентября 1894 г. (см. письмо Т. Л. Толстой к матери от 14 сентября), но Толстой взялся за работу над нею лишь в 20-х числах декабря и закончил правку 27 декабря.

Рукопись можно считать второй редакцией «Хозяина и работника». Печатаются варианты №№ 1, 7, 17.

4. Копия рукой М. Л. Толстой и П. И. Бирюкова с рукописи № 3, с многочисленными поправками и вставками Толстого. Без начала, с вырезками и пропусками. Всех листов 58, нумерованных 1—17, 20—24, 26—34, 36—66, 57—63. Листы исписаны с одной стороны, кроме лл. 51—54 и 63, заполненных и на обороте вставками Толстого. *Начало:* «успеть доехать до Горячкина, в кот. он торговал дешево продававшийся лес»; *конец:* «Лучше или хуже ему там стало, мы все скоро узнаем. Л. Т.».

Дата: «25 декабря 1894», рукой П. И. Бирюкова, стоящая в конце перед последней вставкой Толстого, списана с рукописи № 3 и не определяет времени написания рукописи № 4, которую можно датировать 26—28 декабря 1894 г., так как следующая рукопись № 5, являющаяся копией с нее, датирована 29 декабря. Рукопись можно рассматривать как третью

последовательную редакцию рассказа. Печатаются варианты №№ 3, 9, 10, 12, 18.

5. Копия рукой М. Л. Толстой с рукописи № 4, с многочисленными поправками и вставками Толстого. Без начала и конца, с пропусками и вырезанными местами. Всего листов и вырезок 57, нумерованных 1—4, 7—11, 13—17, 17а—21, 23—39, 39а—52, 52а—58. Листы исписаны с одной стороны, кроме л. 44, где на обороте находится вставка Толстого. *Начало:* «Покупка должна была быть особенно выгодная»; *конец:* «И вспоминает он про Никиту, как он сказал ему: прости Христа ради и ровно на печи». На обложке надпись рукой М. Л. Толстой: «Хоз. и раб. 29 д. 1894». Печатаются варианты №№ 5, 11, 13, 15, 19, 22, 26, 29.

6. 11 листков и вырезок, списанных с рукописи № 5. Без начала и конца. Рукой П. И. Бирюкова и М. Л. Толстой, с многочисленными поправками Толстого. *Начало:* «Это был самый смирный, искусный на всякие работы, умный и трудолюбивый человек»; *конец:* «грозно мотавшийся бурьян этот почему-то навел на него самый большой страх. Про». Печатаются варианты №№ 4, 20, 23.

7. 15 листков и вырезок, без начала и конца, списанных частью с рукописи № 6, частью с других несохранившихся частичных копий, рукой М. Л. и Т. Л. Толстых и П. И. Бирюкова, с поправками Толстого. Листки вынуты из черновых рукописей «Христианского учения», над которым Толстой работал в это время. *Начало:* «Получив приказание хозяина, Никита взял в сарае»; *конец:* «Он нагнул голову, ничего не видел и только гнал лошадь, надеясь, что она вывезет его».

8. 30 листков и вырезок, без начала и конца, списанных с рукописи № 7, рукой Т. Л. Толстой, с вставками и вклейками рукой М. Л. Толстой и многочисленными поправками Толстого. *Начало:* «под носом, если бы он опоздал»; *конец:* «от ворочавшегося в них и все укладывавшегося хозяина и то задремывал, то опять просыпался». Печатаются варианты №№ 24 и 25.

9. Копия рукой Т. Л. Толстой и, вероятно, М. Мейендорф с рукописи № 8, с наклейками из рукописей №№ 6 [?], 7, 8 и еще одной несохранившейся, с вырезками и пропусками. 125 лл.,

листы нумерованы: 1—116, 116—124 и исписаны с одной стороны, кроме лл. 104, 105 и 116, исписанных и на обороте вставками Толстого. *Начало:* «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николиного дня»; *конец:* «Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он или нашел то самое, что ожидал, мы все скоро узнаем. Лев Толстой. 13 я. 1894». Подпись и дата рукой Толстого. В дате, несомненно, описка, вместо: «1895». Печатаются варианты №№ 2, 6, 8, 14, 16, 21, 27, 28.

10. Копия рукой Т. Л. Толстой и, вероятно, М. Мейендорф с рукописи № 9. 122 лл. в 4°, нумерованы: 1—199 и исписаны с одной стороны, кроме лл. 95 и 108, исписанных и на обороте (вставки Толстого). Поправки Толстого начинаются с л. 49 и становятся особенно многочисленными с л. 95 (гл. VII — размышления покинутого Василием Андреичем Никиты). Деления на главы, как и во всех предыдущих рукописях, нет. *Начало:* «Хозяин и работник. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николиного дня»; *конец:* «Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся, разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал, мы все скоро узнаем».

Эта рукопись является тем окончательным текстом, который был передан в «Северный вестник» и послужил для набора (об этом свидетельствуют пометки метранпажа, размечавшего листы для раздачи наборщикам).

Подписи и даты нет. Дата — 14 января — определяется на том основании, что рукопись является копией с рукописи № 9, датированной 13 января 1895 г., и что 14 января она была отослана в Петербург Н. Н. Страхову для передачи в редакцию «Северного вестника». Печатаются варианты №№ 30 и 32.

11. Две гранки (гл. VIII—IX) «Северного вестника», с многочисленными поправками Толстого. *Начало первой гранки:* «Вдруг перед ним зачернелось что-то и послышался какой-то новый звук»; *конец:* «Что ж это такое? Не может быть, мелькнуло у него в голове». *Начало второй гранки:* «о чем-нибудь другом надо было думать что-нибудь»; *конец:* «Только

рассветает, и вдруг стало темно и всё исчезло». Печатается вариант № 33.

12. Копия рукой М. Л. Толстой с первой гранки, с поправками Толстого. 2 лл. в 4°. *Начало:* «Вдруг перед ним зачернелось что-то»; *конец:* «Это был лошадиный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он очевидно».

13. Копия рукой М. Л. Толстой со второй гранки, с поправками Толстого. 1 л. в 4°. *Начало:* «Подвинься! сказал он, выгребая снег из саней»; *конец:* «и не переставая радовался тому, что он отогревается под ним».

14. Копия рукой М. Л. Толстой с гранки и с рукописи № 12, с поправками Толстого. 2 лл. в 4°. *Начало:* «о чем-нибудь другом, надо было думать что-нибудь»; *конец:* «не слышал ни движений лошади, ни свиста бури, а». Печатается вариант № 31.

Предисловие к двадцать девятому тому полного собрания сочинений.

В настоящем томе печатаются художественные и публицистические произведения Л. Н. Толстого за 1891—1894 годы. Среди них — рассказы «Хозяин и работник», статьи о голоде, «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова», неоконченные художественные произведения: «Кто прав?», «Мать», «Петр Хлебник» и др. Идейная проблематика большинства вошедших в этот том работ Л. Толстого непосредственно связана с вопросами, возникшими в жизни России в связи с охватившим страну в 1891—1893 годы голодом.

Голод был одним из проявлений крайнего обострения социальных противоречий, особенно резко обозначившихся в России в 90-е годы. В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой... Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться»[30].

1891—1894 годы явились значительным этапом в жизни и творчестве Л. Толстого. Именно в эти годы он особенно ясно осознал социальные причины тяжелого положения трудового народа. В эти годы он пришел к несомненному выводу, что долго строй насилия и угнетения продержаться не может, что «дело подходит к развязке». «Какая будет развязка, — писал он 31 мая 1892 года Г. А. Русанову, — не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, — я уверен»[31].

Толстой не увидел пути, который должен был привести к этой «развязке». Не революционная борьба масс за свои права, а добровольный отказ господствующих классов от привилегированного положения представлялся ему средством спасения от всех социальных зол. В этом сказалась слабость Толстого, выразителя взглядов политически отсталого патриархального крестьянства. Но величайшей заслугой писателя остается то, что «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»[32]. Это стихийное чувство протеста многомиллионных масс крестьянства против помещичье-капиталистического гнета, малоземелья, податной зависимости, против темноты и забитости, экономического и политического бесправия с огромной силой и искренностью выразил Толстой в произведениях, созданных им в период 1891—1894 годов.

I

В творчестве Толстого 1891—1894 годов центральное место принадлежит публицистике. К этому времени относятся широко известные статьи о голоде, которые явились горячим откликом писателя на всенародное бедствие.

Чтобы вполне понять и оценить все значение общественной и писательской деятельности Толстого этого времени, необходимо иметь ясное представление о той обстановке, в какой ему приходилось писать и действовать.

Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из различных губерний России о надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земства, ни официальная печать не проявляли беспокойства. В одной из статей августовской книжки консервативного журнала «Русский вестник» сообщалось: «Теперь недород хлебов поразил более десяти губерний, и никому не приходит в голову мысль о непосильности для государства борьбы с голодом... Печать

исполняет свою обязанность, спокойно обсуждая меры необходимой помощи». Либерально-народническая «Русская мысль» так же «спокойно обсуждала меры необходимой помощи» и все свои упования и надежды возлагая на «чуткость» правительства. «Русские ведомости», в свойственном им тоне «умеренности и аккуратности», тоже старались не «пугать» общественное мнение надвигающимся голодом и горячо протестовали против запрещения вывоза хлеба за границу. Даже в ноябре 1891 года, когда многие губернии охватил жесточайший голод, «Русская мысль» оптимистически утверждала: «Итак, нет причины отчаиваться и опускать руки; пусть только пойдут широким руслом частные пожертвования — и наиболее острый кризис без особого труда будет осилен».

Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, возглавлялись помещиками и интеллигентами, настроенными либерально, а часто и консервативно. Они не только не требовали от правительства серьезной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами «сокращали едоков» — число крестьян, нуждающихся в продовольственной или денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или излишними и эти урезанные требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней.

Отношение Толстого к средствам борьбы с голодом, в котором он видел огромное народное бедствие, было крайне сложным и противоречивым. С глубоким возмущением отнесся он к лицемерному обсуждению мер помощи народу, ограбленному и доведенному до крайней нужды теми самыми людьми, которые теперь собирались «опекать» своих «меньших братьев». В Дневнике он записывает: «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — высказаться, или страх; но добра нет»[33]. Толстой отвергает, как нелепую, мысль о возможности прокормить народ за счет подачек богачей.

Вместе с тем, всецело в духе своего утопического и реакционного религиозно-нравственного учения, он надеется, что достаточно написать или сделать то, что смогло бы «тронуть сердца богатых»[34], как совершится чудо: отказавшись от своих привилегий, сытые с раскаянием и любовью придут к своим голодным «братьям».

Глубоко сочувствуя народу, Толстой с тревогой следил за тем, что происходило в охваченных голодом деревнях. Положение народа становилось все более тяжелым и безысходным, а правительственная и земская помощь неспособна была что-либо изменить.

В сентябре 1891 года Толстой объезжает ряд деревень Тульской и Рязанской губерний и близко знакомится с народной нуждой. Голодных крестьян, у которых нет вдоволь даже хлеба с лебедой, огромное число нищих, развалившиеся дома, отсутствие топлива, и все это рядом с довольством помещичьих усадеб — нашел Толстой во всех деревнях. Возвратившись в Ясную Поляну, он начал работать над статьей «О голоде», в которой собирался рассказать подлинную правду обо всем, что видел: о крестьянской нужде, помещичьей роскоши, преступном равнодушии «верхов» к народу и о ничтожности правительственной и земской помощи.

Под впечатлением невыносимых страданий народа Толстой приходит к мысли, что нельзя ждать, пока господа раскаются в своем «грехе». Он убеждается, что в существующих условиях, если не оказать народу помощи, тысячи людей будут умирать от голода и болезней, не возбудив и тени сострадания у господствующих классов. И Толстой решает заняться организацией помощи голодающим. С этой целью он в октябре 1891 года поселяется в имении своего друга И. И. Раевского Бегичевке Рязанской губернии. Вместе со своими помощниками он устраивает в окрестных деревнях многочисленные столовые для крестьян и их детей, собирает и распределяет пожертвования, организует медицинскую помощь. «...Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать»[35], — пишет он в это время Н. Н. Ге.

Деятельное участие Толстого в помощи голодающим и его статьи этого периода, полные гнева к эксплуататорам и горячей любви к народу, навсегда останутся свидетельством глубокой и кровной связи великого писателя с народом.

Статьи Толстого о голоде можно разделить на две группы. Одна — это статьи «О голоде»[36], «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим», «Голод или не голод?»[37]. В них писатель ставит коренные, общие вопросы, возникшие в связи с голодом, показывает во всей неприглядности тяжкую долю народа, с беспощадной резкостью критикует современный общественный порядок, выдвигает требования, которые, по его мнению, необходимо удовлетворить, чтобы не было голодовок, постоянной нищеты и вымирания русского крестьянства. Эти статьи представляют наибольший интерес, хотя именно в них со всей остротой проявляются поистине кричащие противоречия взглядов Толстого: обличение существующего строя и вместе с тем незнание подлинных путей его изменения, проповедь нравственного совершенствования и непротивления злу насилием.

Другая группа — это статьи «Страшный вопрос», «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», непосредственно связанные с практической деятельностью Толстого во время голода, отчеты об израсходовании пожертвованных денег. В этих статьях писатель рассказывал о своей работе и работе своих помощников по борьбе с голодом и обращался к прогрессивной части русского общества с призывом воспользоваться его опытом. В них он настойчиво требовал широкой организации бесплатных столовых для крестьян как наиболее действенной формы помощи голодающим.

В обличительном пафосе статей Толстого о голоде ярко отразились настроения многомиллионного русского крестьянства, у которого «века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»[38].

Правда о русской деревне, рассказанная Толстым в статье «О голоде», обличала эксплуататорский строй царской России.

Это была та правда, которую тщательно старались скрыть и консервативные, и либеральные защитники существующих порядков. В своей статье Толстой указывает, что хищническим хозяйничаньем помещиков и капиталистов крестьяне доведены до крайней нужды и разорения. Уже в самом начале осени, рассказывает писатель, в одной из деревень Ефремовского уезда «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда». Толстой на основании многочисленных фактов утверждал, что в таком положении постоянно, а не только в голодный год находятся миллионы крестьян России. Он разоблачает клевету господствующих классов, будто народ голоден оттого, что ленив, пьянствует, дик и невежествен. Народ голоден оттого, что его душат малоземелье, подати, солдатчина, что «распределение, производимое законами о приобретении собственности, труде и отношениях сословий, неправильно». Улучшить положение народа можно, по мысли Толстого, лишь тем, чтобы перестать грабить и обманывать его. А взять у господ часть их богатств и раздать голодающим — все равно, что заставить паразита кормить то растение, которым он питается. «Мы, высшие классы, живущие все *им,* не, могущие ступить шагу без *него,* мы *его* будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное», — восклицает Толстой. Именно эти слова Толстого имел в виду В. И. Ленин, когда в статье «Признаки банкротства» писал: «В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том, что «паразит собирается накормить то растение, соками которого он питается». Это была, действительно, нелепая идея»[39].

В статье «О голоде» Толстой беспощадно разоблачает лицемерие эксплуататорских классов, которые делают вид, что озабочены голодом, встревожены положением народа, а в действительности более чем равнодушны к совершающемуся бедствию и стараются всеми средствами еще сильнее закабалить крестьян. Писатель гневно обнажает подлинную сущность происходящего, показывает, что между

эксплуататорами и народом нет иных отношений, кроме отношений господина и раба. «Не говоря о фабричных поколениях, гибнущих на нелепой, мучительной и развращающей работе фабрик для удовольствия богатых, — пишет Толстой, — всё земледельческое население, или огромная часть его, не имея земли, чтобы кормиться, вынуждено к страшному напряжению работы, губящей их духовные и физические силы, только для того, чтобы господа могли увеличивать свою роскошь. Всё население спаивается, эксплуатируется торговцами для этой же цели. Народонаселение вырождается, дети преждевременно умирают, всё для того, чтобы богачи — господа и купцы жили своей отдельной господской жизнью, с своими дворцами и музеями, обедами и концертами, лошадьми, экипажами, лекциями и т. п.».

Однако в статье «О голоде», как и в других произведениях, Толстой высказывает иллюзорную надежду, что господа могут добровольно «перестать делать то, что губит народ», возвратить награбленное, изменить свою жизнь и тем самым разорвать кастовую черту, отделяющую их от народа. Он обращается к «высшим классам» с призывом: отнестись к народу «не только как к равным, но к лучшим нашим братьям, таким, перед которыми мы давно виноваты», прийти к ним «с раскаянием, смирением и любовью», поступить подобно мученику Петру, который, раскаявшись в своем жестокосердии, отказался от всего богатства и сам продался в рабство[40]. Так решение глубоко поднятых и со всей резкостью поставленных в статье «О голоде» социальных вопросов Толстой переводит в плоскость отвлеченных рассуждений о «грехе», «братской любви» и т. п.

Занимаясь помощью голодающим, Толстой еще больше убедился в том, что причина бедственного положения народа — не в неурожае, а в самой системе угнетения меньшинством эксплуататоров огромного большинства трудящегося народа. Подводя итоги всему тому, что он видел во время голода, Толстой в «Заключении к последнему отчету о помощи голодающим» снова указывает, что связь роскоши одних с лишениями и страданиями других очевидна, что народ вымирает от непосильной работы и постоянного недостатка

пищи. Толстой утверждает здесь, как и позднее в романе «Воскресение», «что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на нее цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей».

Превосходно зная истинное положение русской деревни, Толстой понимал, что голод и в последующие годы не перестанет душить нищую, обездоленную русскую деревню. И если господствующие классы будут молчать «про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей», как это было в 1891—1892 годах, то лишь для того, чтобы скрыть истину и не возбуждать общественного мнения.

Вместе с тем, вступая в противоречие со своей трезвой оценкой действительного отношения господ к народу, вопреки тому, что он наблюдал во время голода, Толстой и эту статью заключает призывом к богатым раскаяться, отречься от «ложного» христианства и признать «истинное».

90-е годы были временем бурного развития в России капитализма и крайнего обнищания, ограбления, вымирания народа. По поводу этого десятилетия в экономической жизни России В. И. Ленин писал в 1901 году: «Не одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идет в последнее десятилетие с поразительной быстротой, и, вероятно, ни одна война, как бы продолжительна и упорна она ни была, не уносила такой массы жертв»[41].

В 1898 году в России вновь разразился голод. Снова повторилось то, что было в 1891—1892 годах, лишь с той разницей, что царское правительство, напуганное ростом революционного движения, особенно настойчиво пыталось доказать, что голода нет, и усилило репрессии по отношению к тем, кто пытался организовать помощь народу. Голод 1898 года

особенно наглядно доказал «одну старую истину», о которой в 1901 году Ленин писал в статье «Борьба с голодающими»: «...полицейское правительство боится всякого соприкосновения с народом сколько-нибудь независимой и честной интеллигенции, боится всякого правдивого и смелого слова, прямо обращенного к народу, подозревает — и подозревает совершенно справедливо, — что одна уже забота о действительном (а не мнимом) удовлетворении нужды будет равносильна агитации против правительства, ибо народ видит, что частные благотворители искренно хотят ему помочь, а чиновники царя мешают этому, урезывают помощь, уменьшают размеры нужды, затрудняют устройство столовых и т. д. »[42].

В статье «Голод или не голод?», относящейся к 1898 году, Толстой с негодованием пишет о тех препятствиях, которые чинят представители власти делу помощи голодающим. Столовые нельзя открывать без разрешения губернатора, без соглашения с местным попечительством, без особого обсуждения вопроса о каждой новой столовой с земским начальником. Кроме того, без санкции губернатора запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых. Практически все это означало полное запрещение помощи голодающему народу. «Так что, — пишет Толстой, — несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расшириться, но находится в опасности быть совершенно прекращенным».

Царское правительство и реакционная печать всеми средствами стремились доказать, что голода нет и народ благоденствует, опекаемый «отцами» — помещиками и «батюшкой» царем. Разоблачая эти утверждения, Толстой пишет в статье «Голод или не голод?»: «Голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается... Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

И Толстой формулирует требования, которые, по его мнению, необходимо выполнить, чтобы прекратились постоянные голодовки русского крестьянства. «...Нужно, не говорю уже уважать, — пишет он, — а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтенья, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании — разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян».

Именно эти требования выдвинул Толстой и в начале 900-х годов, выступая от имени «большинства людей русского народа», в своем письме к Николаю II и статье-обращении «Царю и его помощникам». Именно эти требования отражали интересы миллионов русского крестьянства накануне первой революции в России. С другой стороны, именно связью с настроениями политически отсталого патриархального крестьянства объясняется тот факт, что и в 1898 году, и позднее, накануне и во время революции 1905 года, Толстой не знал подлинных путей борьбы за насущные права трудового народа. Поэтому и в статье «Голод или не голод?» он все надежды возлагал на «братское единение людей» независимо от их классовой принадлежности.

Очевидно, насколько наивны и утопичны упования Толстого на «смирение» богатых. Но не в них состоит основное содержание и значение его статей о голоде. Основной смысл и сила этих статей заключается в беспощадно резком обличении всех порядков самодержавной России. Недаром цензура запретила печатание статьи «О голоде» и лишь после бесконечных мытарств статью удалось опубликовать, да и то в безобразно изуродованном виде. Недаром с бешеной злобой обрушилась на Толстого охранительная печать и все блюстители порядка, когда «Московские ведомости» провокационно перепечатали выдержки из статьи «О голоде».

«Московские ведомости», орган наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства, грубой и откровенной бранью «комментировали» статью Толстого. «Письма Толстого... являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, — писала газета. — Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда». И действительно, хотя Толстой был далек в статье «О голоде» от призывов к революции, объективно статья играла революционизирующую роль. По свидетельству советника при министре иностранных дел В. Н. Ламздорфа, прокламации, захваченные тогда полицией, «находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков»[43].

Газетам было приказано не перепечатывать статьи из «Московских ведомостей» и даже не комментировать ее. При дворе стали поговаривать о заточении Толстого в тюрьму Суздальского монастыря или заключении в дом для умалишенных. Министр внутренних дел Дурново, делая доклад Александру III, заявил, что «письмо» Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям», но, принимая во внимание, что «привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», рекомендовал ограничиться предупреждением автору «статей противоправительственного направления»[44].

Враждебно была встречена правительственными кругами и вторая статья Толстого о голоде — «Страшный вопрос». За опубликование ее министр внутренних дел сделал газете «Московские ведомости» предупреждение, как позднее и газете «Русь» за помещение статьи «Голод или не голод?». «Заключение к последнему отчету о помощи голодающим» было запрещено цензурой и опубликовано лишь в 1896 году за границей.

Однако никакие запреты и преследования не могли заглушить голос Толстого-обличителя. Сознавая свою глубокую правоту защитника угнетенного многомиллионного народа и обличителя праздных тунеядцев, Толстой писал по поводу шумихи, поднятой вокруг статьи «О голоде» в реакционной печати и правительственных кругах: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уже 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет... То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещенного я честного во всем мире»[45].

II

Социальные противоречия русской жизни, особенно резко обозначившиеся во время голода 1891—1892 годов, определили идейное содержание и художественных произведений Толстого. Изображение контраста жизни народа и господ становится основной темой его творчества в 90-е годы. Это относится к таким произведениям, как рассказы «Кто прав?» (1891) и «Хозяин и работник» (1894—1895), вошедшим в настоящий том, и особенно к роману «Воскресение», который был задуман и начат в конце 80-х годов, но в основном создавался в 1895—1899 годы, под непосредственным впечатлением того, что наблюдал Толстой во время голода 1891—1892 и 1898 годов.

Рассказ «Кто прав?» Толстой начал писать вскоре по приезде в Бегичевку. Страшные картины, резкие контрасты, которые писателю приходилось наблюдать во время голода, определили содержание рассказа. Все персонажи, сцены, диалоги даются в рассказе в резком социальном противопоставлении. Оборванная женщина с сумой, в разбитых лаптях, и барыня, восхищающаяся своими заграничными

туфлями. Замученный нищий мужик, продающий последнего барана, чтобы купить детям хлеб, и сытые тунеядцы, развлекающиеся светской болтовней, флиртом и планами предстоящей охоты. Через весь рассказ проходит мысль о глубоком отчуждении господ от народа, о полном их равнодушии к его нуждам и интересам.

Рассказ не был закончен. Судя по эпиграфу и по тому, что в Дневнике Толстой называет его постоянно «О детях», писатель хотел поставить в рассказе вопрос: кто прав — дети, которые забывают о том, что они «господа», беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести все к расчетливой и «приличной» благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о «меньшом брате». Когда С. А. Толстая, прочитав начало рассказа, писала: «Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты, видно, хочешь, чтоб виноватых не было»[46], Толстой отвечал: «Ты не угадала... к чему клонит»[47]. Несомненно, что писатель намеревался ввести в рассказ мотив «виновности» господ.

В 1895 году, обратившись к рассказу «Кто прав?», Толстой решил коренным образом переделать его. Он пришел к выводу, что конфликт детей и родителей — не столь значителен по сравнению с основным конфликтом эпохи — между истощенными от голода, крестьянами и живущими в роскоши и довольстве паразитическими классами. «...Ясно понял, отчего у меня не идет Воскресенье. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ О детях — Кто прав, — записывает Толстой в Дневнике, — я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное»[48]. Вероятно потому, что картина тяжкого положения народа была во всей полноте развернута в «Воскресении», Толстой, увлекшись работой над романом, оставил мысль о переделке рассказа «Кто прав?».

Зимой 1891/92 года в Бегичевке был задуман и рассказ «Хозяин и работник»[49].

Знание народной жизни, деревенского быта позволили Толстому создать в этом рассказе глубочайшие по силе типического обобщения образы бездомного Никиты и «хозяйственного» Брехунова. Трезвый и зоркий наблюдатель жизни русской деревни, Толстой раскрывает подлинную причину богатства хозяина и нищеты работника. «Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки». Рабство капиталистическое ложится на плечи трудового народа еще более тяжким бременем, чем крепостное право. Об этом ужасающем положении крестьянства Толстой, спустя два года по окончании «Хозяина и работника», записал в Дневнике: «Как Гюливера, привязали мужика волосками в Европе, у нас бечевками. Прежде было рабство — цепь. Она была видна, а теперь волоски. Так опутали его, что он сам защищает своих врагов высасывателей. Ужасно это видеть»[50].

Постоянно обманывая, обирая работника, хозяин не перестает твердить: «Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю». И забитый, приученный рабской жизнью к терпению крестьянин не протестует, хотя очень хорошо понимает, что Василий Андреич обманывает его. Но он чувствует, «что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». А другого места нет; да и хозяева всегда и везде одинаковы.

Противопоставляя хозяина и работника, эксплуататора и эксплуатируемого, Толстой все симпатии отдает батраку Никите, представителю трудящегося народа.

Никита трудолюбив, ловок и силен в работе. В рассказе много раз подчеркивается, что он работает весело, охотно, бодро. У него «добрый, приятный характер»; в обращении с людьми он всегда ласков (характерные для его речи выражения: «душа милая», «голубок»). В противоположность Никите хозяин — грубый, самодовольный и неумный человек.

В дороге Брехунов занят мыслью о предстоящей выгодной покупке, о барышничестве и пытается уговорить Никиту купить

никуда негодную лошадь.

В опасности Никита оказывается смелее и сметливее Брехунова, он действует спокойно и решительно, и хозяин подчиняется его авторитету, что не мешает ему, однако, осуждать «необразованность и глупость мужицкую».

Хищничество и самодовольство Брехунова, прикрытые благовидной маской: «мы по чести», беспощадно разоблачаются Толстым, более беспощадно, чем, например, мошенничество купца Рябинина в «Анне Карениной», ибо сам делец стал наглее и циничнее. Кроме того, Толстой рассматривает теперь последствия «деятельности» таких предпринимателей, как Брехунов, с точки зрения интересов многомиллионных масс трудящегося крестьянства. В ярком, сильном, искреннем протесте писателя против Брехунова отразились горечь и обида, невыраженный протест «смиренного» Никиты, всего патриархального крестьянства, обираемого Брехуновыми.

Но, как и во всем творчестве Толстого позднего периода, «беспощадная критика капиталистической эксплуатации» сочетается в «Хозяине и работнике» с «юродивой проповедью «непротивления злу» насилием»[51].

Писатель стремится доказать в рассказе, что смирение и покорность — естественные, истинно привлекательные, «христианские» качества работника Никиты, и всячески поэтизирует их.

Центральным является в рассказе заключительный эпизод, когда хозяин и работник, не надеясь найти дорогу, решили заночевать в поле. Возможность смерти во всей ее реальности представилась обоим. Никите мысль о смерти не была «особенно неприятна... потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать». Мысль о смерти не страшна была Никите, по словам Толстого, и оттого, что «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит». Василию Андреичу мысль о смерти показалась страшной.

Толстой, однако, не останавливается на этом противопоставлении. Писателю-моралисту, проповеднику теории нравственного «просветления», было необходимо привести Брехунова к той вере, которая была, по мнению Толстого, главным источником спокойствия Никиты перед лицом смерти. Как свидетельствуют черновые рукописи. Толстой особенно много трудился именно над этими последними главами рассказа. В первоначальном наброске, написанном в духе «народных рассказов», «просветление» Брехунова было показано как некое умилительное чудо[52].

По мере работы над рассказом все резче очерчивался социальный контраст хозяина и работника, слишком очевидным становилось противоречие «трезвого реализма» первой части рассказа и надуманности, неубедительной декларативности второй. Художник Толстой не мог не почувствовать этого противоречия. Стремясь его смягчить, он в одном из последующих вариантов мотивирует «просветление» Брехунова уже не мгновенным божественным озарением, а гуманным побуждением — желанием спасти замерзающего Никиту. Но добрые чувства были настолько чужды всему облику Брехунова, что и в такой трактовке финал рассказа продолжал звучать неубедительно.

В окончательной редакции Толстой приближается к реалистическому толкованию этого эпизода. Брехунов спасает Никиту, движимый в большой мере эгоистическим чувством самосохранения. Но в описании последних минут жизни Брехунова писатель попрежнему сохраняет торжественно мистический элемент (фантастический сон, божественный голос), нарушающий реалистическую ткань повествования. В угоду своей идеалистической и реакционной идее о том, что человек, познавший бога и христианскую любовь, способен преодолеть свою социальную природу и стать для бедняка «братом во Христе», писатель рисует смерть Брехунова как акт нравственного перерождения.

Брехунов, как и все «прозревшие» герои Толстого, умирает, не переступив порога новой жизни. Изображение дальнейшей жизни этих людей не могло не обнаружить мнимости их

перерождения, показало бы победу собственнических отношений над иллюзорной верой писателя, вскрыло всю наивность и неосновательность его социально-философской концепции[53].

В рассказе «Хозяин и работник» отчетливо проявляются характерные черты художественной манеры позднего Толстого.

Обыкновенного, заурядного человека писатель исключает из обыденно-прозаической действительности и ставит его в такое положение, которое дает ему возможность увидеть себя и свою жизнь в новом свете. (Неожиданная мучительная и смертельная болезнь чиновника Ивана Ильича, убийство добропорядочным дворянином Позднышевым своей жены, смерть в лесу замерзающего купца Брехунова.) Такая нарочитая драматизация ситуации позволяет Толстому с особой силой и глубиной сорвать «все и всяческие маски» с традиционных, установившихся общественных и личных отношений.

В то же время «исключительное положение» героя нужно Толстому для утверждения, что спасение от противоречий реальной жизни, от социального зла — в нравственном просветлении.

Одна из особенностей таланта Толстого — способность к тонкому психологическому анализу, умение раскрыть «диалектику души». Однако психологический анализ в поздних произведениях Толстого отличается большим своеобразием.

Психический процесс интересует теперь писателя лишь в том случае, если он является следствием душевной неудовлетворенности, борьбы, сомнений, ведущих к коренному перелому взглядов, представлений, поведения героя. Катастрофа, драматическое событие, благодаря которым начинается нравственное просветление героя, становится необходимым, центральным элементом сюжета. Именно поэтому в «Хозяине и работнике» психологический анализ сосредоточен на самом главном, с точки зрения автора, «переломном» эпизоде — последних мгновениях жизни Брехунова.

Повторение характерной детали, свойственное художественной манере Толстого, широко используется в

«Хозяине и работнике» как средство типизации характера, выразительности портрета, речи персонажа, психического состояния, явления природы и т. д.

Описание метели, например, достигает необычайно сильного эмоционального впечатления благодаря повторяющемуся упоминанию об отчаянно треплющемся на ветру замерзшем белье, страшно гудевших лозинах, одиноком чернобыльнике.

Постоянно упоминаются в рассказе выпуклые, ястребиные глаза Брехунова, легкая, бодрая походка «гусем ступающих ног» Никиты; в речи Брехунова повторяются слова: «мы по чести», в речи Никиты — «душа милая», являясь примером поразительного умения Толстого удачно найденной деталью раскрывать существенные черты человеческой индивидуальности.

Среди других художественных произведений, вошедших в настоящий том, наибольший интерес представляет незаконченная повесть «Мать» (1891). Замысел ее связан с обострившимся в конце 80-х годов интересом Толстого к проблеме семьи и воспитания детей, которая была поставлена им как часть большого, общего вопроса — о порочности социальных и этических основ буржуазно-дворянского общества. В произведениях на эту тему, прежде всего в «Крейцеровой сонате» (1887—1889), писатель беспощадно обличал паразитическую и аморальную жизнь господствующих классов.

«Мать» — далеко не завершенное произведение, но и в известных нам отрывках начала повести отчетливо видно стремление Толстого показать, что среди привилегированных классов, где отношения между людьми проникнуты лицемерием и обманом, а дети воспитываются в условиях роскоши и праздности, не может быть хорошей семьи, «нет... честного брака».[54] Мужу героини повести Толстой намерен был противопоставить самоотверженного труженика — учителя Петра Никифоровича. Петр Никифорович и был единственным человеком, имевшим благотворное влияние на детей.

Мысль о том, что «нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему»[55], то есть живущему в праздности, чужим трудом, — определяет идейное содержание повести «Мать», как и большинства произведений Толстого 80—90-х годов. Однако разрешение этого глубокого социального вопроса Толстой видит лишь в следовании отвлеченным «истинам» морали и религии. Именно поэтому в образе Петра Никифоровича, воплощающем его положительный идеал, писатель подчеркивает и поэтизирует прежде всего высокие «христианские» качества: суровый аскетизм, пренебрежение материальными благами, полное самоотречение.

III

Для характеристики эстетических взглядов Толстого в рассматриваемый период большой интерес представляет «Предисловие к «Крестьянским рассказам» С. Т. Семенова». Как и в других статьях 80—90-х годов об искусстве, Толстой утверждает в этом предисловии, что искусство должно быть поставлено на службу интересам народа, быть доступным широким народным массам. В период, когда писалось предисловие к рассказам Семенова, Толстой все больше и больше убеждается в том, что подлинная цель искусства — изображать жизнь трудящегося народа, что единственный читатель, для которого можно трудиться с увлечением и с пользой, — это читатель из народа. «Не могу писать с увлечением для господ, их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей, — пишет он в 1895 году дочери Марии Львовне. — А если подумаю, что пишу для Афанасьев и... для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать»[56].

С особенным вниманием и любовью относится в это время Толстой к сочинениям писателей из крестьян — С. Т. Семенова, Ф. А. Желтова, Ф. Ф. Тищенко и др. Он заботится об издании их произведений в «Посреднике», в различных журналах и

сборниках, дает им советы и указания. Под непосредственным влиянием Толстого создавались реалистические произведения этих писателей, проникнутые любовью к народу и основанные на знании жизни народа. С другой стороны, не без влияния и поддержки Толстого утверждались в их творчестве и религиозно-моралистические тенденции, обусловленные принципом «описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия...»[57]

С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 году, когда принес ему «на суд» первое свое произведение — рассказ «Два брата». Толстой одобрил рассказ, и вскоре он был напечатан в издательстве «Посредник». С тех пор Семенов часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне, вел с ним переписку. Толстой принимал живейшее участие в литературной работе Семенова, высоко ценил его литературное дарование, знание и правдивое изображение им крестьянской жизни.

В 1894 году к первому сборнику рассказов Семенова Толстой написал предисловие. Давая оценку «Крестьянским рассказам», Толстой отмечает, что их содержание «всегда значительно... оно касается самого значительного сословия России — крестьянства». Большим достоинством произведений Семенова он считает правдивость, искренность, простоту художественной формы, народность языка, яркость речевых характеристик персонажей. Все это и определяет, по мнению Толстого, силу воздействия этих рассказов на читателя.

С другой стороны, всецело в духе своего религиозно-нравственного учения, Толстой утверждает, что главное в художественном произведении и, в частности, в рассказах Семенова — оценка автором поведения героев с точки зрения «идеала христианской истины». Справедливо требуя от художника не только изображать, но и оценивать людей, их поступки, Толстой считает отвлеченную «христианскую истину» основным критерием этой оценки.

Предисловие к «Крестьянским рассказам» было написано в пору напряженного интереса Толстого к эстетическим вопросам. Как и в ряде статей 1889—1891 годов и в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана»[58], Толстой в предисловии к

рассказам Семенова утверждает те принципы искусства, которые были обоснованы им позднее в трактате «Что такое искусство?». Беспощадное отрицание лжеискусства, являющегося праздной забавой эксплуататорских классов, оправдывающего их привилегированное положение, и утверждение искусства, которое ставило бы своей целью служить интересам народа, составляют содержание этих статей. Чаяния многомиллионных масс русского крестьянства, обреченных в условиях полицейски-самодержавного строя царской России на беспросветную темноту и невежество, отразились в этой мечте Толстого о народном искусстве.

IV

По мере приближения революции 1905 года, обострения в России социальных противоречий у Толстого все чаще возникали сомнения относительно возможности переустройства жизни на основе непротивления и нравственного совершенствования, и он приходил к справедливому выводу, что «господ... ничем не проберешь». Несмотря на это, он настойчиво, до последних дней своей жизни, проповедовал свои «рецепты спасения человечества». В наибольшей мере слабые стороны взглядов Толстого проявились в таких статьях, помещенных в настоящем томе, как «Первая ступень», «Неделание», «Предисловие к дневнику Амиеля».

Содержащаяся в «Первой ступени» критика господ, у которых весь интерес жизни состоит в «жранье», критика, напоминающая обличительные страницы «Плодов просвещения», является в статье второстепенным моментом по сравнению с проповедью вегетарианства — «первой ступени», по мнению Толстого, на пути к «истинному христианству».

Статья «Неделание» (1893) посвящена разбору речи Э. Золя «Юношеству» и письма А. Дюма-сына редактору французской газеты «Голуа». Речь Золя была направлена против распространившегося в конце прошлого века среди буржуазно-дворянской интеллигенции увлечения мистицизмом и

фидеизмом. Предостерегая молодежь от этого увлечения, Золя призывал их верить в науку и труд, которые дают, по словам Золя, смысл жизни и служат залогом ее неуклонного совершенствования. Идеалист Дюма, отвечая на статью Золя, напротив, все свои упования возлагал на «христианскую веру», которая якобы объединит всех людей в стремлении к братской любви, избавит их от существующего зла и несправедливости.

Известно, какое конкретно-историческое содержание заключено в призыве Золя верить в науку и труд. Трезвый наблюдатель капиталистического общества, писатель-реалист, беспощадно разоблачавший пороки этого общества, Золя вместе с тем сам не был свободен от буржуазных предрассудков. Его представления о борьбе за справедливый социальный строй сводились, в конечном счете, к программе буржуазного реформизма.

Оценивая все события современной ему жизни с точки зрения интересов многомиллионного патриархального крестьянства, Толстой зорко подметил уязвимые места речи Золя. Он справедливо протестует против отвлеченной постановки вопроса о науке и труде, так как знает, что в буржуазном обществе труд служит, главным образом, обогащению эксплуататоров за счет эксплуатируемых, а буржуазная наука — оправданию существующего строя. «Пусть каждый усердно работает. Но что? — спрашивает Толстой. — Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; фабрикант — из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?»

Однако то, что противопоставляет Толстой призывам Золя, свидетельствует о его собственном бессилии указать подлинные пути изменения жизни. Соглашаясь с А. Дюма, Толстой надеется, что достаточно людям постигнуть евангельскую «истину» о «неделании» (не делай того другим, чего не хочешь, чтобы сделали тебе), как мир преобразуется сам собой. Мечтая о «коллективистическом складе жизни», Толстой высказывает утопическую и реакционную идею, что имущие слои общества способны осознать свой «грех», раскаяться и признать

«обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека». Так статья «Неделание» еще раз доказывает, что Толстой не сумел найти подлинный выход из противоречий современной ему действительности. Его «рецепты спасения человечества» не могут быть оценены иначе, как заблуждения, отражающие «незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»[59] патриархального крестьянства в период подготовки и проведения первой революции в России.

———

В идейном содержании помещенных в настоящем томе произведений Толстого со всей отчетливостью проявились острые противоречия социальных, этических и эстетических взглядов писателя. Обличение господствующих классов сочетается в них с проповедью классового мира на основе непротивления бедных и добровольного отказа собственников от своих привилегий; разоблачение подлой морали грабителей народа — с утверждением нравственного самосовершенствования как единственного средства, способного победить зло социальной действительности; «самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок» — с изображением нереальных ситуаций, призванных доказать спасительность и всесилие «христианской любви».

Но при всех свойственных ему «кричащих противоречиях» Толстой выступает в 90-е годы как непреклонный и смелый обличитель помещичье-капиталистического строя, защитник интересов трудящихся масс. «Безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая *постановка* Толстым самых больных, самых проклятых вопросов»[60] своего времени свидетельствует о его страстном интересе к народной жизни, о его высоком понимании писательского долга.

Л. Опулъская

Редакционные пояснения к двадцать девятому тому полного собрания сочинений.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: *[1, 2, 3 и т. д. неразобр.],* где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что текст печатается впервые; ** — что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

Корней Васильев

I

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за "товаром" (скотиной) и пригоняя в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом доме, жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний "товар" в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали, в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму. Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошаденок. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился,

отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

- Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? - сказал он, - Свезешь, что ли?

- Что ж, давай рублевку. Свезу.

- Ну и семь гривен довольно.

- Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

- Ну, ладно, давай, что ль, - сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

- Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

- Ну, а что, как у вас, не у вас, а у нас на деревне? - спросил Корней.

- Да хорошего мало.

- А что так? Моя старуха жива?

- Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею.

- Какого работника? А Петра что?

- Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки, - сказал Кузьма, из своей деревни, значит.

- Вот как? - сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.

- Так-то, Корней Васильич, - сказал Кузьма. - Очень уж бабы нынче волю забрали.

- Что и говорить! - промолвил Корней. - А стара твоя сивая стала, прибавил он, желая прекратить разговор.

- Я и сам не молод. По хозяину, - проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому

корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

- Заходи, что ль, дядя Кузьма, - сказал Корней, выходя на крыльцо, выпьешь стаканчик.

- Ну что ж, - отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего полюбовника и живет с ним.

- Мне что ж. Мне тебя жалко, - говорил пьяный Кузьма. - Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

- Что ж, поить будешь? - сказал он только, когда бутылка была выпита. А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. "Наврал, старый пес, - подумал он на слова Кузьмы. - А кто их знает. Да уж я дознаюсь".

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.

- У нас, значит, живешь? - спросил Корней.

- Что ж, надо где-нибудь работать, - отвечал Евстигней.

- Топлена горница-то?

- А то как же? Матвевна тама, - отвечал Евстигней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услыхав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним.

- А мы с матушкой уж и ждать перестали, - сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

- Ну что, как живете без меня?

- Живем всё по-старому, - сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.

- Спасибо проведать приехал, - сказала она, покачивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она,

румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

- Небось с дороги-то уморился, - сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уж нечего было.

- Уж не рано, - сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку.

"Люди смеются, - вспомнил он слова Кузьмы. - Погоди же ты... " подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

- А Агашка-то уж спит, - сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

- Евстигней давно здесь? - сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

- Евстигней-то? А кто его знает, - недели две али три.

- Ты живешь с ним? - проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

- Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? - сказала она, особенно звучно произнося слово Евстигней, - Выдумают же! Тебе кто сказал?

- Говори: правда, нет ли? - сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

- Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

- Я тебя спрашиваю, - повторил он.

- Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась, - сказала она. - И кто только наврал тебе?

- Что ты с ним в сенях говорила?

- Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

- Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

- Только да то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

- Что сделаешь? - проговорил он, надвигаясь на нее.

- За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

- Мамка, - ревела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

- Разбойник! Ребенка убил, - кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и как ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

- Злодей постылый! - проговорила она. - И живу с Евстигнеем и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила, - быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

- Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, - сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не переставая заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

- За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? - заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. Каторжник. Разбойник! Погоди ж ты. Али на тебя суда нет? - совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уж смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, отслужив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами черноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с неперестающим мычанием и блеянием подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыкан-ной юбке и мужских сапогах, перебегала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону-дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

- Здорово, дедушка, - сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

- Здорово, умница, - проговорил старик.

- Что ж, ночевать, что ль?

- Да видно так. Уморился, - хрипло проговорил старик.

- А ты, дед, к десятскому не ходи, - ласково проговорила молодайка. Иди прямо к нам, - третья изба с краю. Странных людей свекровь так пущает.

- Третья изба. Зиновеева, значит? - сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

- А ты разве знаешь?

- Бывал.

- Ты чего, Федюшка, слюни распустил, - хромая-то вовсе отстала, крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирушкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежи на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастия была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роща. Рощи не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось двадцать

пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. "Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой", - думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уж не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и рассчитал и приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к сыну. "Может, она и померла теперь, злодейка моя, - думал он. - А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала", - думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. "Радуйся, до чего довела меня!" - думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже на было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрел до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв узнан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он, как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

- Застыл, дед! Иди, иди на печь, - сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убиравшаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

- И мокрый же ты, дед! - сказал он. - Да что станешь делать. Сушись!

Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и убраться с скотиной.

- А не бывал старик странный? - спросила она. - Я велела к нам заходить.

- А вон он, - сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только начнут возить - опять дождь. Мужички свезли, А у господ так дуром преет. А мыша в снопах - страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодайка налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

- Ничего. Пей, дедушка, на здоровье, - сказала она на его отказ.

- Что ж это рука у тебя неисправная? - спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

- С мальства еще сломали, - сказала говорливая свекровь. - Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

- С чего ж это? - спросил Корней. И, глядя на лицо молодайки, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его

голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

- А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Корней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

- За что же? - спросил он, откусывая сахар.

- Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай, говорила старуха. - Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

- Помер? - переспросил Корней и откашлялся.

- Давно помер... У них мы и взяли молодайку. Жили хорошо. Первые на селе были. Пока жив был хозяин.

- А он что же? - спросил Корней.

- Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

- Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

- Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку... - начал было Корней и вдруг захлюпал.

- Разве он чужой - отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

- Чего ж ты?

- Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

- Вишь ты, - сказала старушка сыну, подмигивая на старика.

V

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузшие сапоги и надел мешок.

- Что ж, дед, позавтракал бы? - сказала старуха.

- Спаси бог. Пойду.

- Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

- Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и палево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покривилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

"Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги", - подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. "Должно, внук, Федькин сын значит, в него черноглазый", - подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побежал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

"Неужели Волчок?" - подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

- Чего лезешь не спросись, - окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним

была какая-то старуха. - Милостыни - так под окном проси, - пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

- Я не милостыни, - сказал Корней.

- Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

- Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

- Марфа! Помирать будем.

- Ступай, ступай с богом, - быстро и злобно говорила она.

- Больше ничего не скажешь?

- Нечего мне говорить, - сказала она. - Ступай с богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

- Чего ж ругать-то, - послышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому нааад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой, морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решительным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

- Сейчас, дедка, - сказал Федор и указал немому сначала на старика, а потом на горлицу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею.

Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнея, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от немого и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула только тогда, когда увидала, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея, - она знала, что это был он - тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрел к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

- Что ж, дед, не пошел дальше?

- Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?

- Место не пролежишь. Иди сушись.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлебы из печи.

- Умница, - позвал он ее слабым голосом, - подойди ко мне.

- Сейчас, дед, - отвечала она, высаживая хлебы. - Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высадив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не поворотился к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

- Гаша, - сказал он тихим голосом, - время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

- Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

- А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, скажи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

- А ты разве был у наших?

- Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... - опять он остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: попрощаться к ней приходил, - сказал он и стал шарить у себя около груди.

- Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? - сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

- А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все грехи, - и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

- Свечку, - проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. "Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне", - думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидала большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под снятыми увидала обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова Псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он или еще гневается.

1905-1906

Чем люди живы

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти (1 посл. Іоан. III, 14).

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь Божия? (III, 17).

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной (III, 18).

Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога (IV, 7).

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (IV, 8).

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает (IV, 12)

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем (IV, 16).

Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? (IV, 20).

I.

Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой,

да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.

К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей 20 копеек было за мужиками в селе.

И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: «получу пять рублей с мужиков, приложу своих три, — куплю овчин на шубу».

Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику, — дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, — забожился мужик, что нет денег, только 20 копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины, — в долг не поверил овчинник.

— Денежки, — говорит, — принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.

Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил 20 копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.

Потужил сапожник, выпил на все 20 копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.

— Я, — говорит, — и без шубы тепел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно — баба заскучает. Да и обидно — ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-Богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить — одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и всё, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном, — откуда хочешь, а три рубля в неделю на один

хлеб подай. Приду домой — а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.

Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит — за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. «Камня, — думает, — здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?»

Подошел ближе — совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мертвый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: «Убили какие-нибудь человека, раздели да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом».

И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню — не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит — человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: «Подойти или мимо пройти? Подойти — как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди возжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только Бог!»

И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.

И остановился сапожник на дороге.

— Ты что же это, — говорит на себя, — Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!

Повернулся Семен и пошел к человеку.

II.

Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно — измерз человек и напуган; сидит прислонясь и не

глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.

— Будет, — говорит, — толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!

Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен — тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи, — не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.

Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: «у меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные». Надел опять. «Лучше сапоги ему обую».

Посадил его и сапоги валеные обул ему.

Одел его сапожник и говорит:

— Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?

Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.

— Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!

И пошел человек. И пошел легко, не отстает.

Идут они дорогой, и говорит Семен:

— Чей, значит, будешь?

— Я не здешний.

— Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?

— Нельзя мне сказать.

— Должно, люди обидели?

— Никто меня не обидел. Меня Бог наказал.

— Известно, всё Бог, да всё же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?

— Мне всё одно.

Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: «мало ли какие дела бывают», и говорит человеку:

— Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.

Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: «вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!» И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.

III.

Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила, сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.

«Если, — думает, — Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба».

Повертела, повертела Матрена краюху, думает: «Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем».

Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.

«Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а всё шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выдти, ни куда. А то вот пошел со двора, всё на себя надел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?»

Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит — вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.

Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. «Ну, — думает, — так и есть загулял». Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. «Пропил, — думает, — деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел».

Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит — человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек — боится.

Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, чтò от них будет.

Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.

— Что ж, — говорит, — Матрена, собери ужинать, что ли!

Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.

— Садись, — говорит, — брат, ужинать станем.

Сел странник на лавку.

— Что же, али не варила?

Взяло зло Матрену.

— Варила да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.

— Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...

— Ты сказывай, куда деньги девал?

Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.

— Деньги —вот они, а Трифонов не отдал, завтра посулился.

Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.

Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:

— Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.

— Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...

— Наслушаешься ума от пьяного дурака. Не даром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала —ты пропил; пошел шубу купить —пропил.

Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только 20 копеек; хочет сказать, где он человека нашел, — не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то всё помянула.

Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.

— Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!

Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба — затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накинула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось — хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой такой человек.

IV.

Остановилась Матрена и говорит:

— Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.

— Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него Бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.

Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник — не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:

— Матрена, али в тебе Бога нет?!

Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.

— Хлебайте, что ль, — говорит.

Подвинул. Семен странника.

— Пролезай, — говорит, — молодец.

Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.

И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.

Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:

— Да ты чей будешь?

— Не здешний я.

— Да как же ты на дорогу то попал?

— Нельзя мне сказать.

— Кто ж тебя обобрал?

— Меня Бог наказал.

— Так голый и лежал?

— Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда придти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас Господь!

Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.

— На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись, где полюбится — на хоры али на печь.

Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.

Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.

Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.

Долго не спала Матрена и слышит — Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.

— Семен!

— А!

— Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.

— Живы будем, сыты будем.

Полежала баба, помолчала.

— А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.

— Должно, нельзя.

— Сём!

— А!

— Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?

Не знал Семен, что сказать. Говорит: «будет толковать-то». Повернулся и заснул.

V.

На утро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.

И говорит Семен:

— Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?

— Я ничего не умею.

Подивился Семен и говорит:

— Была бы охота. Всему люди учатся.

— Люди работают, и я работать буду.

— Тебя как звать?

— Михаил.

— Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь — твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, — кормить буду.

— Спаси тебя Господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.

Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.

— Дело не хитрое, гляди...

Посмотрел Михайла, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.

Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.

Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа — молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.

Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.

VI.

День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла попрежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.

Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо.

Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.

Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот — как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.

Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:

— Кто хозяин сапожник?

Вышел Семен, говорит:

— Я, ваше степенство.

Крикнул барин на своего малого:

— Эй, Федька, подай сюда товар.

Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.

— Развяжи, говорит. Развязал малый.

Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:

— Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?

— Вижу, — говорит, — ваше благородие.

— Да ты понимаешь ли, какой это товар?

Пощупал Семен товар, говорит:

— Товар хороший.

— То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.

Заробел Семен, говорит:

— Где же нам видать.

— Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?

— Можно, ваше степенство.

Закричал на него барин:

— То-то «можно». Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь— берись, режь товар, а не можешь— и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог

засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.

Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу.

Толконул его локтем и шепчет:

— Брать, что ли?

Кивнул головой Михайла: «бери, мол, работу».

Послушался Семен Михайлу, взялся такие сапоги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.

Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.

— Снимай мерку!

Сшил Семен бумажку в 10 вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.

— Смотри, в голенище не обузь.

Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.

— Это кто ж, — говорит, — у тебя?

— А это самый мой мастер, он и шить будет.

— Смотри же, — говорит барин на Михайлу, — помни, так сшей, чтобы год проносились.

Оглянулся и Семен на Михайлу; видит — Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михайла и вдруг улыбнулся и просветлел весь.

— Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.

И говорит Михайла:

— Как раз поспеют, когда надо.

— То-то.

Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой.

Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.

Отъехал барин, Семен и говорит:

— Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.

А Матрена говорит:

— С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.

VII.

И говорит Семен Михайле:

— Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.

Не ослушался Михайла, взял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.

Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.

Хотела сказать Матрена, да думает себе: «должно не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться».

Скроил Михайла пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.

Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла всё шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит — у Михайлы из барского товару босовики сшиты.

Ахнул Семен. «Как это, — думает, — Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь».

И говорит он Михайле:

— Ты что же это, говорит, милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?

Только начал он выговаривать Михайле — грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.

— Здорово!

— Здорово. Чего надо?

— Да вот барыня прислала об сапогах.

— Чтó об сапогах?

— Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин.

— Чтó ты!

— От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: «Скажи ты сапожнику, что был, мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези». Вот и приехал.

Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.

— Прощайте, хозяева! Час добрый!

VIII.

Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет попрежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во всё время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.

Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.

Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.

— Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками никак к нам идет. А девочка одна хромая.

Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.

И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит — вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена, — идет, припадает.

Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу — отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.

— Здорово, хозяева!

— Просим милости. Что надо?

Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.

— Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.

— Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.

Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.

И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а всё не поймет Семен, чтó он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.

Подивился Семен и стал с женщиной толковать — рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:

— Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие,

одна в одну. Двойни они.

Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:

— С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?

— Нет, мать задавила.

Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:

— А ты разве им не мать будешь?

— Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе — приемыши.

— Не свои дети, а как жалеешь их!

— Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да Бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.

— Да чьи же они?

IX.

Разговорилась женщина и стала рассказывать:

— Годов шесть, — говорит, — тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обмóрушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал Богу душу, а баба его в ту же неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, — ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.

Пошла я на утро проведать соседку, прихожу в избу, а она сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила — ножку вывернула. Собрался народ — обмыли, опрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики,

думали, думали, куда их деть, и говорят мне: «Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем». А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух, — троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало. Двоих кормлю бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то Бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!

Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.

И вздохнула Матрена и говорит:

— Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без Бога не проживут.

Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.

X.

Подошел к нему Семен: что, — говорит, — ты, Михайла!

Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:

— Простите, хозяева. Меня Бог простил. Простите и вы.

И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:

— Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на

нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?

И сказал Михайла:

— Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь Бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова Божии. И я узнал слова Божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.

И сказал Семен:

— Скажи мне, Михайла, за чтó Бог наказал тебя и какие те слова Бога, чтобы мне знать.

И сказал Михайла:

— Наказал меня Бог за то, что я ослушался Его. Я был ангел на небе и ослушался Бога.

Был я ангел на небе, и послал меня Господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена — больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что Бог меня по душу послал, заплакала и говорит: «Ангел Божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Нельзя детям без отца, без матери прожить!» И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к Господу на небо. Прилетел к Господу и говорю: «Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: «Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить». Не вынул я из родильницы душу». И сказал Господь: «Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем

люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо». Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.

Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу Богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к Богу, а я упал у дороги на землю.

XI.

И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, чтó делать. Увидал я — в поле часовня для Бога сделана, подошел к Божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: «я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне». Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал Бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека— мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела

выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о Боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее — в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал Бога.

И вспомнил я первое слово Бога: «узнаешь, что есть в людях». И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что Бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.

Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: «припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера». И вспомнил я другое слово Бога: «узнаешь, чего не дано людям».

Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что Бог мне другое слово открыл.

Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И всё жил я и ждал, когда Бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и подумал: «просила мать за детей, и поверил я матери, — думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их». И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого Бога и понял, чем люди живы. И узнал, что Бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.

XII.

И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:

— Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.

Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку — сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.

Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Знал я прежде, что Бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.

Я понял, что Бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и за тем открыл им то, чтó им всем для себя и для всех нужно.

Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь.

И запел ангел хвалу Богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.

И когда очнулся Семен, изба стояла попрежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

Печатные варианты

«Чем люди живы».

Варианты текстов: журнала «Детский отдых» 1881 г. № 121, издания «Посредника» 1886 г. и «Сочинения гр. Л. Н. Толстого», часть двенадцатая. М. 1886.

Стр. 7, строка 25.

Вместо слова: сапожной — *в изд. «Посредн.»:* сапожною

Стр. 7, строка 32.

Слова: на рубаху — *в изд. «Посредн.» стоят после слова:* надел

Стр. 8, строка 1.

Вместо: с мужиков, — *в изд. 1886 г. и «Детск. отдыха»* с мужика,

Стр. 7, строки 14—15.

С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши тепло было и без шубы. — *Этой фразы в изд. «Посредн.» нет.*

Стр. 8, строки 30—31.

Вместо: за самой за часовней — *в изд. 1886 г.:* за самой часовней

Стр. 9, строка 17.

Слова: Повернулся Семен и пошел к человеку — *в изд. «Посредн.» отнесены ко II-й главе и после них поставлена точка с запятой.*

Стр. 9, строки 24—25.

Вместо: И с этого — *в изд. «Посредн.»:* С этого

Стр. 9, строка 34.

После: Снял, было Семен — *в «Детск. отд.»:* шапку рваную картуз — *в изд. «Посредн.»:* с головы

Стр. 10, строки 7—8.

Вместо: Раскачивайся-ка! — *в изд. «Посредн.»:* Раскачивайся!

Стр. 10, строка 24.

Вместо: так пойдем — *в рукописи по ошибке переписчика:* заходи. *Это внесено в изд. «Посредн.» и все другие издания.*

Стр. 10, строка 26.

*Вместо: И*дет Семен — *в изд. 1886 г.:* Подходит Семен ко двору.

Стр. 10, строка 36.

Слово: задумалась, — *в изд. «Посредн.» один раз.*

Стр. 10, строка 37.

Слово: нынче — *во всех трех изданиях* ныне

Стр. 11, строка 13.

Вместо: А то вот — *в изд. «Посредн.»:* А вот

Стр. 11, строка 33.

Вместо: собери — *в «Детск. отд.»:* давай

Стр. 12, строка 9.

Вместо: Трифонов — *в изд. «Посредн.»:* Трофимов

Стр. 12, строка 22.

Слово: всё — *в изд. «Посредн.» пропущено.*

Стр. 12, строка 30.

Вместо: в швах — *в изд. «Посредн.»:* на швах

Стр. 13, строка 6.

Вместо: изругаться, — *в изд. «Посредн.»:* изругнуться

Стр. 14, строка 3.

Стр. 14, строка 17.

Слова: Живы будем, сыты будем. — *в изд. «Посредн.»:* Живы будем и сыты будем.

Стр. 14, строка 33.

Вместо: Чего ж, — *в изд. «Посредн.»:* Что ж;

Стр. 15, строка 7.

Вместо: пряжу, — *в «Детск. отд.» и изд. «Посредн.»:* дратву не сученую

Стр. 15, строка 7.

Вместо: делать конец, — *в «Детск. отд.»:* сучить

Стр. 15, строка 11.

Перед: Показал ему Семен — *в «Детск. отд.»:* ссучил концы Михайла показал

Стр. 16, строка 19.

Вместо: плачен. — *в изд. «Посредн.»:* заплачен

Стр. 16, строка 26.

Вместо: ты на кого — *в изд. «Посредн.»:* на кого.

Стр. 16, строка 26.

Вместо: из какого — *в изд. «Посредн.»:* да из какого

Стр. 16, строка 38.

Вместо: чтобы год не кривились, не поролись — *в изд. «Посредн.»:* чтобы не кривились и не поролись.

Стр. 16, строка 39.

Вместо: Крикнул — *в изд. «Посредн.» и «Детск. отд.»:* Кликнул

Стр. 17, строка 11.

Слова: говорит — *в изд. «Посредн.» нет.*

Стр. 17, строка 29.

Слов: Этого долбней не убьешь. — *в изд. «Посредн.» нет.*

Стр. 19, строка 22.

Вместо: повернулся — *в изд. «Посредн.»:* перевернулся

Стр. 19, строка 34.

Вместо: Чтò надо — *в «Детск. отд.»:* Чего надо

Стр. 20, строка 1.

Вместо: да всё — *в изд. «Посредн.»:* да всё же

Стр. 20, строка 6.

Слово: думает, — *взято из корректуры в рукописи трудно читается*, *поэтому в изданиях пропущено.*

Стр. 20, строка 27.

Перед: его так — *в «Детск. отд.»:* так его так

Стр. 20, строка 36.

После: Соседи — *в изд. «Посредн.»:* с нами

Стр. 21, строка 11.

Вместо: девчонок — *в изд. «Посредн.»:* девочек

Стр. 21, строка 28.

Слова: И вздохнула Матрена и говорит: — *в изд. «Посредн.» по ошибке пропущены.*

Стр. 21, строки 31—32.

Слова: Поговорили они так *кончая:* А он сидит — *берем из изд. «Посредн.». В «Детск. отд.», изд. 1886 г. и всех последующих это изложено так:* Говорят они так промеж себя,

и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михайла. Оглянулись все на него и видят: сидит Михайла,

Стр. 21, строка 34.

Слова: Подошел к нему Семен. Что, говорит, ты Михайла! Встал Михайла — *берем из изд. «Посред.» В «Детск. отд.», изд. 1886 г. и всех последующих печаталось так:* Ушла женщина с девочками, встал и Михайла.

Стр. 22, строка 3.

Слòва: тебе — *в изд. «Посредн.» нет.*

Стр. 22, строка 5.

Слòва: ты — *в изд. «Посредника» нет.*

Стр. 22, строки 22—23.

Словà: и ослушался Бога. Был я ангел на небе. — *в изд. «Посредн.» пропущены.*

Стр. 22, строка 34.

Вместо: приложил — *в изд. «Посредн.»:* и приложил

Стр. 23, строка 7.

Вместо: Богу — *в «Детск. отд.»:* к Богу

Стр. 25, строка 12.

Вместо: врозь — *в изд. «Посредн.» и «Детск. отд.»:* врознь

Стр. 25, строка 20.

Вместо: раздвинулся — *в «Детск. отд.» и изд. 1886 г.:* разинулся

Стр. 25, строка 20.

Вместо: до неба. — *в изд. «Посредн.»:* и до неба

Рукописные варианты

[Варианты рассказа «Чем люди живы»].

Ангелъ на земл҃ѣ.

№ 1.

Поѣхалъ рыбакъ въ море. Нашла буря на море, опрокинула лодку. И сталъ рыбакъ тонуть. Призываетъ Господь Ангела. Рыбакъ въ морѣ тонетъ, поди вынь душу изъ человѣка. Слетѣлъ Ангелъ на море, вынулъ душу изъ рыбака и пошло тѣло рыбамъ на съѣденье, а душа къ Богу. Принялъ Господь душу и посылаетъ Ангела въ село: жена того мужа одна въ избѣ умираетъ, поди вынь изъ жены душу. Слетѣлъ ангелъ въ село, влетѣлъ въ избушку. Лежитъ жена на кровати, родила двойню, двѣ дѣвочки; жена мечется на кровати. Одну дѣвочку ухватила къ груди, другую столкнула на землю. Взялъ ангелъ дѣвочку съ полу и видитъ — у ней ножка виситъ переломлена. Поднялъ ангелъ дѣвочку съ <полу>,[1] положилъ къ груди и улетѣлъ на небо. Не вынулъ изъ родильницы душу. Влетѣлъ Ангелъ на небо и говоритъ Господь: что жъ не вынулъ изъ родильницы душу. И сказалъ Ангелъ: не могъ, Господи, вынуть изъ родильницы душу. Лежитъ одна и два младенца при ней. Одинъ упалъ съ кровати и ногу сломалъ. Не могла мать поднять, я положилъ его къ груди. Погибнутъ безъ отца, матери ангельскія душки. И сказалъ Господь: поди вынь изъ родильницы душу и узнай, чего людямъ знать нельзя, безъ чего людямъ жить нельзя и чѣмъ человѣческая жизнь крѣпка.

Полетѣлъ ангелъ въ село, влетѣлъ въ избушку. Оба младенца у груди лежатъ, присосались, а мать затихла, лежитъ, только грудью носитъ. Подошелъ ангелъ къ головамъ, вынулъ изъ родильницы душу, и остались младенцы на мертвомъ тѣлѣ. И полетѣлъ ангелъ съ душою на небо. Взмахнулъ крылами,

поднялся высоко надъ селомъ, и вдругъ крылья ослабли, повисли, отпали. Полетѣла душа одна къ Богу, а Ангелъ упалъ на песокъ о <край>[2] берега моря.

Жилъ на селѣ сапожникъ (чеботарь) съ женою. Понесъ сапожникъ работу въ городъ. Сдалъ работу, купилъ товару и идетъ по дорогѣ. Смотритъ сапожникъ — побочь дороги сидитъ на пескѣ человѣкъ. Подивился сапожникъ. Под<о>шелъ ближе: видитъ человѣкъ весь нагой сидитъ, глядитъ на небо и плачетъ. Подивился сапожникъ: какой человѣкъ? Если пьяница — не похожъ, лицомъ чистый и бѣлый. Если странній человѣкъ, разбойники обобрали — все бы не нагимъ его оставили; если бы изъ моря приплылъ, быль бы мокрый. И раздумался сапожникъ: подойти разспросить или мимо пройти. Подойти распросить — задержишься, ночи захватишь да надо помощь подать. А помощь подать — я и самъ не богатъ и старуха забранитъ, а мимо пройти — и скорѣе домой придешь и хлопотать за чужой бѣдой не будешь и съ старухой спору не будетъ. И пошелъ сапожникъ дорогой, не хотѣлъ оглядываться. 10 шаговъ ступилъ, точно силомъ заворотилъ кто ему голову — оглянулся. Человѣкъ сидитъ, плачетъ и что то шепчетъ. И повернулось у сапожника сердце. Бросилъ товаръ на дорогѣ и побѣжалъ къ человѣку. Эй, добрый человѣкъ, что сидишь, что горюешь. Люди людямъ вѣкъ помогаютъ. Надо къ ночи въ село, надо тѣло одѣть и брюхо кормить.

Поглядѣлъ на сапожника нагой человѣкъ и тихо сказалъ: Богъ наказалъ [*1 неразобр.*] сапожникъ и говоритъ: ну, горевать нечего. Надо исправляться какъ нибудь.

— Гдѣ же я чего возьму. Я ничего не знаю. Богъ наказалъ. И опять заплакалъ человѣкъ. Подумалъ сапожникъ: голодный поле перейдетъ, а голый изъ печи не вылѣзетъ. Схватилъ съ себя сапожникъ шапку, бросилъ на земь, распоясался, кинулъ кафтанъ на песокъ, сѣлъ на него, разулся, портки сдернулъ, перетянулъ рубаху черезъ голову, вскочилъ босикомъ, надѣлъ кафтанъ на голое тѣло, подпоясалъ, а шапку, рубаху, портки, сапоги, подвертки собралъ въ охапку, швырнулъ къ голому человѣку. Взялъ человѣкъ одежу и сталъ кланяться. А

сапожникъ повернулся и босикомъ выбѣжалъ на дорогу. Подхватилъ товаръ и пошелъ къ дому.

И задумался сапожникъ: какъ вспомнитъ нагого человѣка, какъ онъ одежу взялъ и умильно взглянулъ на него, такъ у него весело на сердцѣ станетъ; какъ подумаетъ, какъ ему черезъ село босикомъ безъ шапки пройти и какъ старухѣ показаться, такъ его оторопь возьметъ.

Думай не думай, а ноги несутъ, и пришелъ сапожникъ къ селу. Увидали его ребята, закричали: дядя Марей безъ шапки босикомъ идетъ. Услыхали бабы, увидали мужики. Аль загулялъ, дядя Марей. Зарокъ не сдержалъ. Шапку пропилъ, сапоги прогулялъ. Прохладно ходишь сапожникъ босикомъ. Сыграй пѣсню. А то пропилъ много, а не веселъ идешь. Нечего дѣлать Марею, притворился пьянымъ, сталъ руками махать, подпрыгивать. Что дѣлать, братцы, загулялъ, мой грѣхъ! Захохоталъ народъ, зацыкали ребята, собаки чуть голеняшки не обкусали, прибѣжалъ Марей ко двору. Увидала его старуха, такъ и ахнула: видитъ, что и рубахи новой и портокъ нѣтъ, начала его ругать, за воротъ въ избу впихнула. Гдѣ пропилъ? Съ кѣмъ гулялъ? Растащиха ты, бездомовникъ, уйду я отъ тебя.

№ 2. Архангелъ.

<Жилъ у моря мужъ съ женою. Поѣхалъ мужъ въ море за рыбой. Нашла погода, взбугрилось море, подхватило лодку; и опрокинуло; ухватился мужъ за обшивку и ждетъ смерти. Призываетъ Господь Архангела. На море человѣкъ тонетъ, поди вынь изъ него душу. Спустился Ангелъ на море, видитъ, лодку валами швыряетъ, мужикъ за обшивку держится. Окостенѣли у мужика руки, оторвалась лодка, взмыла одна на волну, а мужикъ пошелъ ко дну. Спустился ангелъ, вынулъ изъ мужика душу и понесъ къ Богу. Говоритъ Господь Ангелу: осталась у того мужа жена. Лети въ городъ, вынь и изъ ней душу. Спустился Ангелъ въ городъ, влетѣлъ къ женѣ въ домъ. Видитъ — лежитъ на кровати жена, родила двойни.[3] Тяжко женѣ, огнемъ жжетъ ее, головой съ стороны на сторону перекидываетъ, а младенцовъ къ грудямъ

прижимаетъ. Младенцы плаваютъ у грудей, чмокаютъ, во рту грудей не удержатъ. Увидала жена ангела. Господи, батюшка, не вели изъ меня души брать. Родила я 2хъ дѣвочекъ. Не дай ангельскимъ душкамъ безъ матушки завянуть, не давалъ бы ихъ мнѣ. Дай мнѣ сроку ихъ вскормить возрастить. Тогда возьми мою душеньку. Не вынулъ ангелъ душу, полетѣлъ назадъ къ Богу. Прилетѣлъ къ Богу и говоритъ: родила та жена двойню. Лежитъ одна на кровати, голову съ стороны на сторону переметываетъ, младенцовъ къ грудямъ прижимаетъ — младенцы по грудямъ плаваютъ, сосковъ не удержатъ. И молитъ жена: Не бери ты, Господи, моей душеньки, не дай ты замлѣть ангельскимъ душкамъ. (Дай хоть вскормить, на ножки поставить, тогда возьми мою душеньку. Жаль мнѣ стало сиротъ), какъ они проживутъ безъ отца матери прожить. Не могъ изъ родильницы души вынуть. И сказалъ Богъ. Безъ отца матери проживутъ, безъ божьей милости не проживутъ. Поди вынь изъ родильницы душу.>

———

№ 3.

Призываетъ Господь Архангела и говоритъ ему: На море человѣкъ тонетъ, поди вынь изъ него душу. Спускается Ангелъ на море, видитъ — по морю лодку вверхъ килемъ волнами швыряетъ. За лодку ухватился человѣкъ, руками за киль держится, съ бѣлымъ свѣтомъ прощается. Подняло лодку на валъ, довело до гребня и съ гребнемъ сорвалась лодка внизъ. Хотѣлъ перехватиться, выпустилъ изъ одной руки киль, оторвалась и другая рука, и пошла на верхъ одна лодка, а человѣкъ пошелъ ко дну. Спустился Ангелъ, вынулъ изъ человѣка душу и понесъ къ Богу, а тѣло всплыло вверху и пошло кланяться по валамъ за лодкой.

Принялъ Господь душу у Ангела и говоритъ: Въ городѣ того мужа жена скорбна лежитъ, вынь и изъ нея душу. Полетѣлъ ангелъ въ городъ въ жило и сталъ въ головахъ. Лежитъ жена на

кровати, съ сторону на сторону мечется, у обѣихъ грудей по младенцу. Младенцы ползаютъ, не могутъ грудей ухватить, жалуются. И говоритъ жена. Господи милостивый, не бери ты мою грѣшную душу, не дай ты ангельскимъ душкамъ безъ матерняго молока замлѣть.

Не вынулъ ангелъ душу изъ родильницы, полетѣлъ назадъ къ Богу.

Спустился Ангелъ, сталъ въ головахъ. Видитъ — жена поперекъ кровати лежитъ, голову запрокинула, ухватила одну дѣвочку, къ груди прижимаетъ, другая съ кровати свалилась. Вынулъ Ангелъ изъ родильницы душу, разошлись ея руки, выпала дѣвочка, на полъ свалилась и затихла жена, только младенцы какъ мышенята въ соломѣ шевелются. Поднялся Ангелъ съ душою къ небу. Чуетъ — нѣтъ силы летѣть. Душа одна полетѣла къ Богу. А у Ангела крылья отпали, и упалъ онъ на край моря.

Понесъ сапожникъ работу. Хотѣлъ рано домой быть да зашла погода. Зашелъ сапожникъ въ кабакъ, пока выпилъ да переждалъ погоду, и обмеркъ на пути. Дорога шла возлѣ моря. Идетъ онъ по лужамъ, пошатывается. Видитъ — на берегу что то чернѣется, ни камень, ни кустъ и на нагого человѣка похоже. Зачѣмъ ночью человѣку купаться. Подошелъ ближе сапожникъ — человѣкъ нагой сидитъ, на самомъ берегу отъ моря отсвѣчиваетъ. Окликнулъ сапожникъ. Не отвѣтилъ. Подошелъ вплоть сапожникъ: человѣкъ нагой сидитъ, закрылъ глаза руками и плачетъ. Оглядѣлся кругомъ сапожникъ — ни лодки ни одежи — ничего нѣтъ, сидитъ одинъ человѣкъ какъ мать родила, и плачетъ. Что жъ или у тебя ничего нѣтъ? Покачалъ головой молодецъ. О чемъ плачешь, молодецъ? Молчитъ. Что жъ это

какъ тебя Богъ наказалъ. Закивалъ головой молодецъ и заплакалъ. Жаль стало сапожнику молодца. Запало ему въ сердце. Ну, думаетъ, сердись, не сердись старуха, а нагого одѣнь, голодного накорми. Скинулъ сапожникъ шапку объ землю, распоясалъ кафтанъ, долой [снялъ], сѣлъ на землю, размоталъ оборку, разулся, изъ портокъ ноги [*1 неразобр*.], рубаху черезъ голову стащилъ, рукава выворотилъ. Вскочилъ босикомъ, надѣлъ кафтанъ, подпоясался. Собралъ рубаху, портки, онучи, бахили, шапку поднялъ, подаетъ молодцу.

Прикрой голое тѣло, добрый человѣкъ. Люди вѣкъ людямъ помогаютъ. Повернулся и пошелъ къ городу. По городу народъ еще ходитъ. Увидали сапожника — идетъ одно тулово одѣто, а голова и ноги раздѣты. Аль загулялъ! Шапку и сапоги пропилъ! Пропилъ, братцы, мой грѣхъ. Подошелъ сапожникъ къ дому и заробѣлъ. Какъ я старухѣ скажу. Добро бы пьяный былъ. Смѣлость бы была. А то загрызетъ она меня за рубаху, за портки, за шапку. Дѣлать нечего, взялся за кольцо, погрохалъ. Слышитъ, старуха идетъ отпирать. Глядь — гдѣ ни взялся молодецъ въ его рубахѣ и шапкѣ подлѣ него стоитъ. Поклонился: пусти ночевать. Чтожъ, заходи. Вышла старуха, отперла, видитъ [*1 неразобр.*] чей то чужой идетъ. Это чей? Дальній, ночевать попросился.

———

№ 4.

АРХАНГЕЛЪ.

Жилъ мужъ съ женою на краю города подлѣ моря. Собрался мужъ въ море за рыбой. Осталась жена одна въ домѣ. Нашла на море буря, залило водой лодку и сталъ мужикъ тонуть. Призываетъ Господь Богъ Архангела: поди на море, человѣкъ тонетъ, вынь изъ него душу. Съ моря поди на край города, въ избушкѣ живетъ одна жена, вынь и изъ ней душу. Слетѣлъ

Архангелъ на море, вынулъ изъ человѣка душу и пошла душа къ Богу. Слетѣлъ Архангелъ въ избушку, видитъ — лежитъ на кровати жена, родила двойню. Дѣвочки по грудямъ плаваютъ, а жена мечется, стонетъ: Господи Батюшка не меня пожалѣй — сиротъ моихъ. Дай мнѣ вскормить, на ноги поставить не присылай по душу. Сталъ Архангелъ въ головахъ, поглядѣлъ на младенцовъ, вышелъ и поднялся на небо къ Богу. Вынулъ изъ мужа душу, прилетѣлъ къ женѣ — два младенца по грудямъ плаваютъ, сама стонетъ: не меня пожалѣй, Господи батюшка, а сиротокъ моихъ — дай вскормить, на ноги поставить, а тогда возьми мою душу. Пожалѣлъ сиротокъ, не могъ вынуть изъ родильницы душу. И сказалъ Богъ: Безъ отца матери проживутъ, не проживутъ безъ Божьей милости; поди, вынь изъ родильницы душу.

Полетѣлъ ангелъ назадъ въ избушку. Сталъ въ головахъ. Родильница слабѣй стала, младенцовъ руками ловитъ, не попадаетъ и все Бога молитъ: не бери мою душу, пожалѣй сиротокъ. Заплакалъ Архангелъ, а вынулъ изъ жены душу и пошла душа къ Богу. Вышелъ Архангелъ изъ избушки, воздохнулъ и хотѣлъ подняться на небо. Не можетъ летѣть. Крылья отпали. И заплакалъ Архангелъ объ своемъ грѣхѣ, что не послушался Бога.

Жилъ въ городѣ старикъ съ старухой. Старикъ сапоги шилъ. Услыхала старуха, что рыбакъ потонулъ на морѣ, а рыбакова жена родила двойню, и говоритъ старику: жалко сиротокъ. Пойду провѣдаю. Коли мы горькихъ забывать будемъ и насъ Богъ забудетъ. — Пошла старуха, а старикъ пошелъ проводить ее до избушки. Дошли они до моря. Старуха пошла въ избу, а старикъ остался на улицѣ. И слышитъ старикъ — за дворомъ кто то плачетъ. Прислушался старикъ и пошелъ поглядѣть. Зашелъ за дворъ, видитъ — стоитъ юноша нагой весь, прижался къ забору, закрылъ лицо руками и плачетъ. — Чей молодецъ, объ чемъ плачешь.

Богъ меня наказалъ — нельзя мнѣ не плакать.

Полюбился старику юноша. Постоялъ онъ, посмотрѣлъ и говоритъ: Богъ накажетъ, Богъ и проститъ. Пойдемъ ко мнѣ. Какъ сказалъ это старикъ, юноша упалъ на землю и залился [?].

Отошелъ старичекъ за уголъ, снялъ кафтанъ, рубаху, портки, сѣлъ, разулся, чулки снялъ, и надѣлъ на голое тѣло кафтанъ, на голые ноги бахилку, а рубаху, портки и чулки сложилъ и принесъ къ юношѣ и говоритъ: люди людямъ вѣкъ помогаютъ. Нагое тѣло прикрыть, а брюхо хлѣба проситъ. Вотъ чѣмъ прикрыться, а пойди со мной, чѣмъ Богъ наградилъ, съ старухой поужинаемъ. Допрежъ накорми, напои, а послѣ вѣстей попроси.

Поклонился низко юноша старичку, надѣлъ рубаху, портки, чулки, все какъ по немъ кроено, и вышелъ со старикомъ на улицу.

Вышла и старуха изъ избушки, подивилась, какой такой молодецъ въ мужниной рубахѣ и порткахъ стоитъ, не посмѣла спросить и пошли всѣ домой. И рассказала дорогой старушка, что померла рыбакова жена, а сиротокъ вдовая кума себѣ въ дѣти взяла.

Поужинали съ гостемъ и положили его спать. И стала старуха мужу выговаривать. Въ томъ, что чужаго человѣка въ домъ взялъ, въ томъ не смѣла, а за то выговаривала, что новую рубаху отдалъ, можно бы изъ старыхъ выбрать.

На утро спросилъ старикъ гостя, какъ звать. Михайло, говоритъ. Ну, говоритъ, Михайло, хочешь у меня жить, берись за работу. Умѣешь точать. Будешь помогать — живи. Шить не шивалъ, а покажешь — работать буду. — Далъ ему старикъ работу. Показывать много нѣтъ.... съ разу все понимаетъ.

И сталъ Михайло жить. Смѣнила ему старуха рубаху, изъ старыхъ дала, одежу сдѣлала. И живетъ Михайло, за все благодаритъ, всѣмъ доволенъ, всю недѣлю работаетъ, что нужно, дѣлаетъ, лишнихъ словъ не говоритъ, воскресенье къ обѣдни идетъ, а отъ обѣдни придетъ, сидитъ молчитъ.

Ни отъ него рѣчей, ни игръ, ни смѣху. Жилъ такъ Михайло 10 лѣтъ и ни разу не ухмылилъ. На 10-й годъ сидитъ разъ днемъ Михайло за работой у окна, а хозяинъ на лавкѣ и видитъ хозяинъ, что Михайло привсталъ, развелъ руками, смотритъ въ окно и улыбается. — Посмотрѣлъ хозяинъ, видитъ — идетъ по улицѣ вдова богатая и идутъ съ ней двѣ дѣвочки одна въ одну.

Подивился хозяинъ, ничего не сказалъ. Приходитъ въ тотъ день баринъ сапоги заказывать. Ты, говоритъ, баринъ, мнѣ такіе

сшей сапоги, чтобы годъ стояли, не рвались, не кривились. Я за цѣной не стою, а проношу годъ твои сапоги, я тебѣ и напредь заказывать буду. Хозяинъ повернулся къ Михайлѣ и говоритъ: смотри Михайло хорошо сшей, а Михайло покачалъ головой, улыбнулся и ничего не сказалъ.

Подивился старикъ. Ушелъ баринъ, хозяинъ отрѣзалъ товаръ на барскіе сапоги и подаетъ Михайлѣ кроить. Смотритъ, что Михайло не то дѣлаетъ: взялъ Михайло, сложилъ товаръ, взялъ ножъ и кроитъ не по сапожному. Смотритъ, что будетъ. Выкроилъ Михайло босовики и сталъ въ одинъ конецъ шить. Подивился хозяинъ. На утро приходитъ молодецъ отъ барина, говоритъ: вамъ баринъ сапоги заказывалъ. — Заказалъ. — Такъ не нужно сапогъ, барыня прислала — баринъ померъ, — босовики на смерть сшить. —

Всталъ Михайла, подаетъ босовики. — И задумался старикъ и вечеромъ сталъ съ старухой совѣтовать: какой такой не простой человѣкъ Михайло у насъ живетъ. Живетъ 10 лѣтъ. Кромѣ хорошаго отъ него ничего нѣтъ, а барина онъ смерть угадалъ. Человѣка этаго надо ублаготворить. Мы люди старые, примемъ его замѣсто сына и добро ему все оставимъ. Старуха говоритъ: онъ того стоитъ. Доброе дѣло. Поглядѣлъ старикъ, а Михайло въ углу сидитъ, улыбается. Подивился старикъ. На утро пошелъ старикъ съ Михайлой къ обѣдни. Дорогой и говоритъ старикъ: живешь ты у меня Михайла ни много ни мало 10 лѣтъ. Если ты отъ меня добра видѣлъ, то я отъ тебя больше того. Хочу я тебѣ въ сыновья принять и все нажитое тебѣ оставить. Скажи мнѣ, какого ты рода и племени. И сказалъ Михайло. Спасибо на твоихъ добрыхъ рѣчахъ, дѣдушка. И больше ничего не сказалъ ему. Пришли они въ церковь, старикъ сталъ у паперти, а Михайло пошелъ на клиросъ. — Запѣли херувимскую и слышитъ старикъ — Михайлинъ голосъ запѣлъ. Только узналъ его, а послѣ ужъ и слышать не могъ — такой голосъ пустилъ Михайло, что задрожала церковь, затряслись стѣны, народъ весь окарачь упалъ.

Разошелся[4] потолокъ у церкви и поднялся на крыльяхъ Михайло Архангелъ и улетѣлъ на небо.

Заснулъ въ эту ночь старикъ и привидѣлся ему Михайло въ ангельскомъ образѣ. Это ты, Михайло. Я Ангелъ, дѣдушка. Послалъ меня Богъ по душу, я пожалѣлъ сиротъ, Богу не повѣрилъ. Богъ сказалъ: безъ отца матери проживутъ, безъ Божьей милости не проживутъ, и я остался на землѣ. Ты взялъ меня и 10 лѣтъ я подъ наказаньемъ жилъ.

На 10 годъ сиротки выросли лучше, чѣмъ у матери, и на 10 годъ я увидалъ ихъ и Богъ простилъ меня. И я опять сталъ ангелъ. Въ тотъ день пришелъ баринъ на годъ за [*1 неразобр.*], а я видѣлъ, что ему умереть. Въ тотъ же день ты съ старухой мнѣ хотѣлъ имѣнье оставить, а мнѣ уже небо открылось. Не ропщи на Бога, не думай о другомъ днѣ и не полагай надежду на богатство. — Въ Богѣ живешь, въ Богѣ умрешь.

———

№ 5.

Отнесъ разъ сапожникъ работу по заказу. Сдалъ хозяину, получилъ деньги, взялъ еще работу — старые сапоги починить, и пошелъ домой. Идти было сапожнику <глухимъ мѣстомъ верстъ десять. На половинѣ дороги остановился сапожникъ, присѣлъ на камень, досталъ лепешку и хотѣлъ полудновать. Только собрался укусить, вдругъ слышитъ — не далеко отъ дороги кто то вздыхаетъ. Прислушался сапожникъ — точно вздыхаетъ и стонетъ. Постонетъ, затихнетъ и опять завздыхаетъ и застонетъ и заплачетъ. Засунулъ сапожникъ лепешку, поднялся и пошелъ по голосу. Только сошелъ къ лощинкѣ прочь съ дороги, смотритъ — человѣкъ задомъ къ дорогѣ, весь нагой и на спинѣ подъ лопатками двѣ кровавыя раны. Сидитъ обнявши руками колѣна и плачетъ. Человѣкъ, видно, молодой, тѣло бѣлое, чистое, голова опущена и по плечамъ лежатъ и наперед висятъ русые кудрявые волосы. Подивился сапожникъ и раздумался: что за человѣкъ? Или лихой или добрый человѣкъ. Если лихой человѣкъ — какъ бы меня не обидѣлъ. Онъ молодой, я старый. А если добрый человѣкъ, свяжешься съ

нимъ, надо его одѣть. Не съ себя же снять — ему отдать. Самъ думаетъ сапожникъ: лучше не подходить, а самъ идетъ къ человѣку. Подошелъ вплоть, оглядѣлъ еще — нѣтъ ни на немъ ни при немъ никакой одежи. Подивился сапожникъ, подошелъ вплоть, ударилъ по плечу и говоритъ: здорово, милый человѣкъ. Что сидишь одинъ въ глухомъ мѣстѣ. Дѣло къ ночи, надо къ жилью прибиваться. Пересталъ человѣкъ плакать, поднялъ голову и оглянулся на сапожника и говоритъ: Куда мнѣ идти? Къ людямъ иди. А то что же сидишь плачешь. Сколько не плачь, нагое тѣло прикрыть и брюхо кормить надо. Слезами не поправишь. Видитъ сапожникъ — лицо свѣтлое, глаза ясные. И говоритъ человѣкъ: какъ мнѣ не плакать. Чѣмъ я былъ и чѣмъ сталъ. И спрашиваетъ сапожникъ и говоритъ: Да ты кто и откуда и кто тебя обидѣлъ. И отвѣчаетъ человѣкъ: и кто я и откуда я, нельзя мнѣ сказать, а обидѣть меня — никто не обидѣлъ, меня Богъ наказалъ. Сказалъ и опять заплакалъ. И говоритъ сапожникъ: Богъ наказалъ, Богъ и проститъ. А кто ты ни будь, все равно тебѣ здѣсь ночью нагому быть нельзя, надо въ село. А тѣло прикрыть надо. Вѣкъ люди людямъ помогаютъ. Скинулъ съ себя сапожникъ кафтанъ, скинулъ сапоги новые, опорки надѣлъ и отдалъ кафтанъ и сапоги человѣку. На, надѣвай. Голодный поле перейдетъ, а голый изъ печи не вылѣзетъ. Надевай да прибивайся к жилью, а мнѣ домой надо. И пошелъ сапожникъ своей дорогой.

———

№ 6.

Жилъ въ деревнѣ у мужика сапожникъ. Лѣтомъ въ рабочую пору подсоблялъ онъ хозяину въ полѣ, а остальное время чеботарилъ: старое чинилъ, подметки подметывалъ, латки накладывал, переда переставлялъ, а когда дадутъ товаръ, и новые шилъ по заказу. Своего товара не на что купить было что заработаетъ, то и проѣстъ. Звали сапожника Семенъ, а прозывали больше Сёма, Сёмочка. Понадобилось разъ Сёмочкѣ

передъ осеннимъ заговѣньемъ верстъ за 10 сапоги снести, Вышелъ Семенъ послѣ завтрака. Пока дошелъ — снесъ сапоги, пока получилъ деньги за работу, пообѣдалъ у мужика, пока зашелъ къ другому, должокъ старый получилъ, да еще взялъ старые сапоги въ починку, сталъ ужъ вечеръ. Идетъ, самъ съ собой думаетъ, свои заработки считаетъ, обдумываетъ, какъ бы какъ бы на зиму на новую шубу собрать. Другой разъ и пошелъ бы работы взять — холодно. Старая ужъ вытерлась вся, да и бабѣ нельзя безъ ней — воды ли принести или рубахи постирать. И вслухъ самъ съ собой говоритъ: 2 р. 40 за сапоги получены, говорить, Егоръ рубль съ четвертью тоже отдалъ, безъ малаго четыре, у жены въ укладкѣ 3 съ полтиной есть. Если Тихонычъ отдастъ — и шуба. Попрошу овчинника кума, онъ мнѣ овчинку по 1 35 отдастъ, больше 8 не пойдетъ. Восемь рублей, 8 четвертей, 8 гривенъ — 10 съ чѣмъ то. Ну скажемъ 11. За шитье два рубля. За котикъ. Безъ малаго 15 влѣзетъ. Все 7 рублей недохватки. Безъ шубы нельзя. Объ шубѣ думаетъ, а самъ и безъ шубы согрѣвается. Ужъ и смеркаться стало.

Пришлась по дорогѣ лощинка съ мостокъ за версту отъ дома. Только сталъ спускаться въ лощинку Семенъ, глядь — направо моста на бугоркѣ за кустомъ сидитъ что то бѣлое. Сразу не рассмотрѣлъ Семенъ въ сумеркахъ. Человѣкъ не человѣкъ, скотина — тоже не скотина, а что то чудное. Сошелъ пониже Семенъ. Что за чудо! человѣкъ голый сидитъ одинъ за кустомъ, точно прячется. Ужъ не лихой ли человѣкъ.[5] Онъ молодой да разутый, мнѣ отъ него не уйти, назадъ ли бѣжать или впередъ идти, все равно догонитъ, а коли какой несчастный, тоже мнѣ съ нимъ возжаться нечего, что мнѣ съ нимъ дѣлать. Не съ себя же снять, да ему послѣдній кафтанъ отдать Подумалъ, подумалъ Семенъ и пошелъ полѣвѣе отъ мѣста на крутой всходъ, подальше отъ человѣка. Богъ съ нимъ совсѣмъ, и глядѣть не буду на него, а если вскочитъ, тогда опорки скину да побѣгу, что Богъ дастъ. Сошелъ Семенъ на ручей, перепрыгнулъ, хотѣлъ не глядѣть, да не удержался, глянулъ, видитъ — сидитъ человѣкъ все также, человѣкъ видно молодой, тѣло чистое, бѣлое, и сидитъ весь нагой, въ комочекъ собрался, точно отъ стыда укрывается, сидитъ и дрожитъ, только глядитъ

на Семена. Сталъ Семенъ подниматься, опять хотѣлъ не глядѣть, опять оглянулся, видитъ — сидитъ человѣкъ, опустилъ голову и точно плачетъ. И повернулось у Семена сердце. Кубаремъ соскочилъ Семенъ съ кручи, подошелъ къ человѣку. Кто тебя обидѣлъ? Кто ты, какъ сюда попалъ? И заговорилъ тихо человѣкъ. — Нельзя мнѣ тебѣ сказать, добрый человѣкъ, кто я. Никто меня не обидѣлъ, меня Богъ наказалъ. Самъ говоритъ, а голосъ дрожитъ, точно плачетъ. Какъ услыхалъ Семенъ тихій голосъ, увидалъ лицо чистое, красивое [*1 неразобр*.] у него сердце. Швырнулъ Семенъ палку съ сапогами на земь, распоясался, распахнулъ, скинулъ кафтанъ и подалъ человѣку. На, надѣнь, хоть какъ нибудь къ жилью прибьешься. Сталъ было человѣкъ говорить что то, да Семенъ перебилъ его. Сапоги надѣнь. А вот

Снялъ было Семенъ и картузъ, да лысинѣ холодно стало. Думаетъ: у него волоса кудрявые, а у меня лысина во всю голову надѣлъ опять картузъ. Одѣлся человѣкъ и низко поклонился и говоритъ. Спаси тебя Господь, добрый человѣкъ, за твое добро, только скажи ты мнѣ одно: сейчасъ ты шелъ, говорилъ: какъ тебѣ надо деньги собрать, шубу сшить, а теперь ты вотъ не то что шубу шить, а послѣдній кафтанъ отдалъ. Зачѣмъ ты такъ сдѣлалъ?

И не зналъ Семенъ, что сказать.

— Будетъ толковать то. Зачѣмъ? Зачѣмъ? Коли сдѣлалъ, такъ знаю, зачѣмъ. Вотъ тебѣ и сказъ. Улыбнулся человѣкъ и еще разъ поклонился Семену.

Повернулся Семенъ, пошелъ къ дому. Въ рубахѣ ему холодно было и онъ въ припрыжку вбѣжалъ въ гору и зачастилъ по дорогѣ.

Пришелъ Семенъ ко двору, уже огни зажгли. На улицѣ никто не видалъ его безъ кафтана. Первая увидала хозяйка и такъ и ахнула на него, что онъ безъ кафтана. — Кафтанъ гдѣ?

Не пропилъ. Дай срокъ, скажу. Вотъ и деньги, вотъ и Аксюткѣ и Мишкѣ гостинцы. Досталъ деньги, отдалъ женѣ, баранки ребятамъ.

— Кафтанъ то гдѣ?

И разсказалъ Семенъ про голаго человѣка. Покачала головой хозяйка, но ничего не сказала. — Поужинали и стали считать деньги. Посчитали, посчитали. Хоть на кафтанъ поддевку купить надо, да нашлись еще нужды и вышло, что шубы заводить нельзя. Только потушили огонь, загрохало кольцо калитки.

———

И такъ раздумался сапожникъ, что и прошелъ было Никольскій повертокъ. Очнулся сапожникъ. Вишь, видно вамъ домой захотѣлось, смѣется на свои ноги, говоритъ, — нѣтъ вы, ребята, еще въ Никольское свезите. Надо забѣжать къ Егору. А то что̀ баба скажетъ, какъ придешь безъ денегъ, безъ шубы. Только даромъ день пропустилъ. Остановился сапожникъ и сталъ оглядываться, гдѣ на Никольскій повертокъ пройти, глянулъ вправо. Что за чудо: на жневьи за межой что-то бѣлѣется. Межа крутая подъ гору и полынью поросла и не разберетъ сапожникъ, что такое за межой большое бѣлѣется. Камня здѣсь такого нѣтъ. Туда шелъ ничего не было. Звѣрь, такъ бѣло очень для звѣря, птица, такъ велико что то. Скотина? Такъ не похоже. Похоже на человѣчью голову, на голыя плечи. А человѣку, да голому незачѣмъ въ полѣ по осеннимъ заморозкамъ быть. Думаетъ себѣ сапожникъ: дай посмотрю поближе. Снялъ сапожникъ сапоги съ палки, взялъ въ лѣвую руку, а палку взялъ въ правую и пошелъ къ межѣ, по мерзлымъ калмыжкамъ гремитъ каблуками и палкой постукиваетъ, думаетъ: коли звѣрь или птица — вскочитъ. Подошелъ ужъ близко — не вскакиваетъ. Только вовсе за межу притаилось, не видать ничего. Заробѣлъ сапожникъ, взялъ поправѣе, чтобы не прямо на него идти, а вдоль межи посмотрѣть. Вышелъ на межу — точно, человѣкъ нагой курчавый сидитъ ужался за межой, дрожитъ, и видитъ сапожникъ, на спинѣ у человѣка двѣ раны. Остановился сапожникъ и задумался: доброму человѣку, думаетъ, не зачѣмъ тутъ быть; а должно въ плохомъ дѣлѣ попался — избили его да и бросили. Свяжешься съ нимъ, бѣды

наживешь. Если лихой человѣкъ, онъ меня задушить. Онъ здоровый молодой, а я старый и не уйдешь отъ него, а если его обидѣли, что жъ мнѣ то съ нимъ связаться, не съ себя же послѣднее снять, ему отдать. Надѣлъ сапожникъ вален(ки) на палку, на плечо и хотѣлъ прочь идти. Хочетъ прочь идти, а самъ глядитъ на человѣка. Глядитъ и видитъ — поднимутся спина и плечи у человѣка и задрожатъ и станутъ спускаться — точно рыдаетъ. И защемило у сапожника сердце.

II.

И пошелъ по межѣ прямо на человѣка. Нагой человѣкъ все также сидитъ въ межѣ [*2 неразобр.*] обхватилъ руками колѣни и опустилъ голову. Сталъ Семенъ ближе подходить,[6] видитъ — человѣкъ молодой безбородый, лицо чистое, красивое, руки и ноги не рабочія, только избитъ, напуганъ и измерзъ. Посинѣлъ весь и дрожитъ и ужалъ голову въ плечи и глядитъ на Семена какъ птица подбитая.

Эй, милая голова, что жъ сидѣть, надо къ жилью.

Задрожалъ человѣкъ еще пуще, и видитъ Семенъ — потекли у него изъ глазъ слезы и не сталъ сапожникъ больше разговаривать.

№ 8.

Жилъ въ деревнѣ сапожникъ. Была у него жена и трое дѣтей. Земли у сапожника не было и кормился онъ работой — головы приставлялъ, подметки подкидывалъ, латки накладывалъ и когда выходилъ заказъ, и новые шилъ. Своего товару купить не на что было. Кормился сапожникъ день за день, что заработает, то и проѣстъ. Вышелъ сапожнику заказъ — богатому мужику сапоги сшить изъ хозяйского товару. Сшилъ сапожникъ сапоги, отдѣлалъ, завязалъ въ узелокъ и обрѣзки товару туда же положилъ, надѣлъ суконный лучшій кафтанъ и пошелъ къ мужику. Мужикъ жилъ за 7 верстъ за рѣкою. Снесъ

сапожникъ работу, сдалъ, получилъ деньги за прежнюю да за новую работу, да еще должокъ получилъ, да сапоги взялъ у мужика переда новые поставить, и пошелъ домой. Идетъ сапожникъ лѣсомъ, несетъ старые сапоги на палкѣ за плечами, идетъ, самъ съ собой говоритъ: Четыре рубля шесть гривенъ получилъ, вотъ они въ кошелѣ. Дома у старухи три съ полтиной лежать. Если съ Сидорова получу за головки — и всѣ 10. Овчинъ больше 6 не пойдетъ на тулупъ. Дядя Василій отдастъ по 1 70 гривенъ. За работу заплачу 2 р. — и шуба. Тогда горя не буду знать. Мнѣ ли выдти за работой, жена ли пойдетъ. А то бывало и взялъ бы работу, а выдти не въ чемъ. И сталъ еще считать сапожникъ, что станетъ шубу сукномъ покрыть. Насчиталъ — еще надоть 5 р. прибавить. И захотѣлось сапожнику тулупъ крытый собрать. Думаетъ, приличнѣе мастеровому. Но считалъ, считалъ— на крытый не выходитъ. Ну, думаетъ, не крытый, такъ нагольный, а все жъ нынѣ зимой въ новомъ тулупѣ пощеголяю. И не видалъ сапожникъ, какъ съ своими мыслями прошелъ полдороги и дошелъ до колодца. У колодца бывало лѣтомъ сапожникъ останавливался вздохнуть и напиться, и теперь хоть и осень была, не жарко было, по старой привычкѣ остановился сапожникъ у колодца и вспомнилъ, что дали ему въ деревнѣ лепешекъ яшныхъ. И думаетъ: дай сяду, закушу. Присѣлъ сапожникъ, бросилъ [?] сапоги на земь, досталъ лепешки изъ за пазухи, только собрался укусить, — что такое? въ лѣсу что то звучитъ. Прислушался сапожникъ — ни звѣрь, ни птица, а похоже — человѣкъ дышетъ. Послушалъ сапожникъ: точно, не далеко отъ колодца, за березками человѣкъ дышетъ. Всталъ сапожникъ, сунулъ назадъ лепешку и пошелъ искать. Только прошелъ березки, глядитъ — на полянкѣ у лещиноваго куста сидитъ къ нему задомъ человѣкъ весь нагой; сидитъ обхвативши руками нагія колѣна и <заливается плачетъ>. Человѣкъ, видно, молодой, нерабочій, курчавые русые волосы с рыжинкой, тѣло нѣжное, бѣлое и на спинѣ на лопаткахъ двѣ раны. И думаетъ сапожникъ: что за человѣкъ, одинъ среди лѣсу. Ужъ не лихой ли какой человѣкъ подманиваетъ. Подойду, а онъ вскочитъ, задушить да оберетъ. Онъ молодой, легкій, да и разутый, а я старый, съ нимъ не поправлюсь. Или, думаетъ себѣ, если самъ

не лихой человѣкъ, такъ его лихіе люди обобрали, да избили, что мнѣ съ нимъ съ голымъ дѣлать. Одѣть мнѣ его нечѣмъ, я самъ чуть не голый. Какой ни есть человѣкъ, не ходить мнѣ къ нему лучше, а идти своей дорогой. Думаетъ такъ сапожникъ и хочетъ назадъ идти, а самъ стоитъ, глядитъ, что отъ человѣка этого будетъ. И видитъ сапожникъ, какъ человѣкъ воздохнетъ, воздохнетъ, задрожитъ и поднимутся плечи. И жалко сапожнику стало и закричалъ онъ громкимъ голосомъ: Эй, молодецъ. Глянь ка сюда. Чей будешь? Дрогнулъ человѣкъ, оглянулся, и видитъ сапожникъ — человѣкъ молодой, лицо бѣлое, чистое, красивое, сразу видно, что не лихой человѣкъ, а несчастный и самъ боится. Что, милый человѣкъ. Али обидѣли тебя недобрые люди.

И заговорилъ человѣкъ и сказалъ: меня никто не обидѣлъ. Меня Богъ наказалъ.

— А Богъ наказалъ, Богъ и проститъ. Какже ты сюда попалъ? Гдѣ твой домъ, семья?

— Нѣтъ у меня ни семьи, ни дома. Я одинъ остался.

— Отчего жъ ты голый?

Нѣтъ у меня ничего, я весь тутъ.

Подошелъ сапожникъ. Говоритъ человѣкъ хорошо и голосъ тихій и [?] какъ плачетъ, а не сказываетъ, кто онъ и откуда.

Не хочешь сказывать, не говори, да сидѣть то тебѣ тутъ нельзя. Дѣло къ ночи, а ты нагой. Надо тѣло прикрыть, да брюхо питать.

Куда жъ я пойду? —

И не сталъ думать сапожникъ, снялъ кафтанъ, подалъ человѣку, сдернулъ сапоги съ палки, кинулъ. На, одѣнь, да прибивайся къ жилью. А мой домъ 3-й на лѣвой рукѣ, ставни крашены, кожаная петля у калитки. А звать меня Семенъ чеботарь. Коли лучше не найдешь, приходи ночевать. — И самъ не знаетъ съ чего — возрадовалось сердце у сапожника, повернулъ онъ и пошелъ безъ кафтана и безъ сапогъ одинъ по дорогѣ.

№ 9.

Идетъ сапожникъ на легкѣ въ одной рубахѣ, все шагу прибавляетъ согрѣвается и думаетъ: Какъ вздумаетъ онъ объ томъ, какъ обрадовался человѣкъ, такъ заиграетъ въ немъ сердце, какъ вздумаетъ о томъ, какъ теперь онъ домой безъ кафтана покажется и какъ раздѣлается съ мужикомъ за старые сапоги. Сапоги бы ничего, всѣ разбиты, да голенищи новые, такъ заскребутъ у него кошки на сердцѣ. Думай не думай, а ноги все впередъ несутъ и дошелъ сапожникъ до дома. На улицѣ никто не видалъ его, только кума высунулась въ окно, подивилась, что Семенъ безъ кафтана идетъ. Подумаетъ пропилъ. Пускай думаетъ, нарочно пошатнулся Семенъ и дошелъ до дома. Погрохалъ кольцомъ. Вышла жена, отложила. Вошелъ Семенъ, не глядитъ на нее, вошелъ и сѣлъ на лавку.

— Чтожъ кафтанъ-то, или у Потапа оставилъ?

— Не оставилъ, а отдалъ.

— Кому отдалъ?

— Человѣку отдалъ.

— Какому человѣку?

— Голому человѣку, вотъ какому человѣку отдалъ. —

— Да будетъ смѣяться то что жъ ты пьяный что ль?

— Не смѣюсь. По дорогѣ шелъ, сапоги Сидоровы [?], сѣлъ у колодца, а тутъ человѣкъ, Богъ его знаетъ какой, нагой сидитъ, плачетъ. Я и отдалъ и сапоги отдалъ. Да будетъ толковать то, ты не вой [?]! Отдалъ да все тутъ. Сидитъ голый, какъ есть избитый весь. Ну и отдалъ. Кафтанъ наживемъ, а голаго одѣть надо.

Фыркнула жена, понесла ругать Семена. — Да что же ты то милiонщикъ что ли раздавать то, что у тебя одежи то что ли полна клѣть? У тебя шубы то нѣтъ. Заработалъ видно много. И такъ по днямъ не ѣмши сидятъ, а онъ увидалъ бродягу — отдалъ. Вишь благодѣтель выискался. Ты своихъ то одѣлъ бы сперва, а то ни шубы, ни одежи. Отдавальщикъ выискался. Пропилъ, не отдалъ. Не даромъ не хотѣла за тебя бродягу идти. Пойду утоплюсь съ ребятами, пропивай послѣднее.

— Будетъ, баба, право будетъ, говорить Семенъ. Но баба не унималась. У людей и шубы, и кафтаны, и скотина, а у насъ

ничего, вмѣсто работы послѣднее мотаетъ.

— Будетъ, говорю. Не пропилъ. Я тебѣ сказалъ, сидитъ неизвѣстно какой человѣкъ, мерзнетъ, весь раздѣтъ. Я ему отдалъ. Буде, говорю; живы будемъ, наживемъ.

— Много ты нажилъ. А такихъ, какъ ты бродягъ много. Всѣхъ не одѣнешь. Не хочу я съ тобой жить, убѣгу. Злодѣй ты, разбойникъ, убилъ ты меня с дѣтьми малыми. Завопила баба такъ, что народъ сбѣжался. Сошлись сосѣди, опять разсказалъ все Семенъ, какъ дѣло было, подивился народъ, разошелся. Замолчала и баба, а сердце не сошло, ребятъ бьетъ и кошку въ дверь вышвырнула, выкинула мужу чашку на столъ, налила квасу и хлѣбъ бросила на столъ. Поѣлъ Семенъ и легъ на печку. Убрала баба горшки, поклала ребятъ, потушила свѣтъ и легла на лавкѣ. —

Только легла, загрохало кольцо у калитки. Услыхала баба.

— Странный, пустите ночевать.

Замолчала баба, а мужъ съ печи слушаетъ: что будетъ, ничего не говоритъ.

— Семенъ? ты что жъ молчишь. Пустить что ли?

— Да ты какъ знаешь. —

Накинула баба поддевку, пошла въ сѣни. Слышитъ Семенъ — отворила, пустила, идетъ сама босикомъ, за ней кто-то въ сапогахъ ступаетъ. — И говоритъ баба:

— Что жъ, грѣйся, ложись тутъ то. Огонь дуть не буду.

И слышитъ сапожникъ — отвѣчаетъ бабѣ голосъ тихій, нѣжный:

— Спаси тебя Господь, тетушка, я тутъ лягу.

— Ужинать хочешь, а то хлѣба.

— Нѣ, спасибо, тетушка.

И показалось Семену, что голосъ этотъ онъ слыхалъ прежде.

— Такъ я и огня дуть не буду. Ложись тутъ, сказала баба. Слышитъ, улегся странникъ на лавкѣ, а баба съ коника снялась, къ нему на печь лѣзетъ и легла подлѣ него.

Лежалъ, лежалъ Семенъ, все не спится ему, все объ томъ голомъ человѣкѣ думаетъ и какъ вспомнитъ, взыграетъ сердце, а какъ вспомнитъ объ кафтанѣ да о голенищахъ, заскребетъ на

сердцѣ. Ворочается Семенъ, все думаетъ и слышитъ, и жена тоже не спитъ, все ворочается. — И заговорила жена:

— Сёма.

— А?

— Ты съ Спиридона то получилъ?

— Отдалъ.

— А Трифоновы заплатили?

— Онъ только съ извозу пріѣхалъ — отдалъ. Всѣхъ 6 съ полтиной принесъ.

Вздохнула жена, какъ разъ на тулупъ бы было. Какже намъ теперь безъ кафтана быть.

— Купить надо.

— Купить то, купить то [?]. А мука то опять дошла, да кадушку не миновать новую. — Что жъ ты и вправду нищему отдалъ?

— Да будетъ, Матрена.

— Да я не къ тому. Ты только скажи, зачѣмъ ты отдалъ.

— Зачѣмъ отдалъ? А ты зачѣмъ страннаго человѣка пустила?

— Я знаю зачѣмъ, что же ему мерзнуть какъ собакѣ: Отъ насъ не убудетъ, живы будемъ.

— Ну и я знаю.

И только (сказалъ) это Семенъ, какъ зарница освѣтила избу, показалось Семену, что его самый человѣкъ въ его кафтанѣ на лавкѣ навзничь лежитъ, глядитъ на него и улыбается. И не знаетъ самъ Семенъ, во снѣ ли ему это приснилось или на его [?] темно опять стало, повернулся Семенъ и заснулъ.

На утро проснулся Семенъ, жена ужъ съ ведрами на рѣчку шла, дѣти спятъ, а на лавкѣ одинъ вчерашній странникъ, тотъ самый человѣкъ въ его кафтанѣ сидитъ, на него смотритъ.

— Здорово, хозяинъ.

— Здорово, милая голова. Вотъ тебя куда Богъ принесъ.

— Какъ ты велѣлъ, такъ я и пришелъ. Спаси тебя Господь.

— Ну чтожъ, милая голова, затѣвать будешь? Куда пойдешь, чѣмъ кормиться будешь? По міру ли пойдешь, али на работу?

— Куда мнѣ идти. Я ничего не знаю.

— Работать можешь?

— Да я бы радъ, добрый человѣкъ, за работу взяться, кабы меня люди наставили.

— Работы вездѣ много.

— Да я ничего никогда не дѣлалъ. А что покажешь, то дѣлать буду.

Подивился Семенъ, покачалъ головой. Дѣлать, говоритъ, ничего не умѣетъ, а не похожъ на безпутнаго. Чудно что то. И говоритъ Семенъ:

— Только бы охота была. Всему люди учатся. Сапоги умѣешь шить?

— Не шивалъ, а покажи, можетъ, пойму.

Подумалъ Семенъ и говоритъ: Какъ тебя звать?

— Михайла.

— Ну ладно, Михайла, я кормить буду, живи, коли хочешь, работай, что прикажу.

Поклонился человѣкъ и спрашиваетъ:

— Что велишь работать?

А вотъ нà дратву, сучи. Подалъ Семенъ Михайлѣ дратвы, показалъ. Тотчасъ понялъ Михайла. Пришла съ ведрами жена, видитъ — странникъ вчерашній въ мужниномъ кафтанѣ сидитъ работаетъ, а хозяинъ за сапоги взялся. Поздоровавалась хозяйка, узнала свой кафтанъ и говоритъ мужу:

— Чтожъ это твой вчерашній человѣкъ?

— Онъ самый.

И стала его хозяйка спрашивать, кто онъ, откуда. Ничего не сказалъ ей Михайло, только сказалъ тоже, что вчера, что наказалъ его Богъ и что нельзя ему ничего про себя сказать. Полюбила и хозяйка странника, не стала кафтаномъ попрекать, а только вынесла ему рубаху и портки дала одѣть, а кафтанъ прибрала. И сталъ Михайла жить у Семена.

Прожилъ Михайла день и 2 и 3 й. Какую ни покажетъ ему работу Семенъ — все сразу пойметъ и съ 3 го дни сталъ латки накладывать и точать не хуже Семена. А отработаетъ, хозяйкѣ помогаетъ, дровъ нарубитъ, воды принесетъ. День деньской работаетъ безъ разгибу, ѣстъ мало, и не слыхать, не видать его; говоритъ мало, все тихо и смирно. Ни на улицу ни къ сосѣдямъ

не ходитъ, ни смѣется, ни улыбается. Только работаетъ да по ночамъ спитъ, вздыхаетъ и Богу молится, такъ что и хозяйка имъ не нахвалится, только одно ей досадно, что не сказываете Михайло, кто онъ и откуда. И нѣтъ нѣтъ опять начнетъ она допытываться отъ него. А онъ ей все одно отвѣчаетъ: не могу сказать, кто я и откуда и какъ сюда попалъ, придетъ время узнаете. —

День ко дню, недѣля къ недѣлѣ, вскружился годъ. Живетъ Михайла по старому и работа его въ прокъ пошла. Прошла про Семеновы сапоги слава, какъ починитъ, не распорется, а новые сошьетъ, такъ износу нѣтъ. И сталъ у Семена достатокъ прибавляться.

Собралъ себѣ Семенъ шубу крытую, сталъ сапоги изъ своего товара шить, а подумывалъ ужъ на весну коровку купить.

Сидятъ разъ Семенъ с Михайлой работаютъ. Подъѣхалъ къ избѣ тарантасъ. Поглядѣли въ окно — высаживаетъ лакей изъ тарантаса барина. Баринъ толстый, дородный, красный, какъ говядина сырая, вошелъ въ избу, чуть насилу въ дверь пролѣзъ и чуть головой до потолка не достаетъ. Шуба на баринѣ дорогая, на толстомъ пальцѣ кольцы какъ жаръ горятъ. Встали Семенъ съ Михайлой, поклонились. Ребята со страха по угламъ забились. Баринъ оглядѣлъ всѣхъ сверху и заговорилъ, что стекла затряслись.

— Кто хозяинъ?

— Я, ваше степенство, говоритъ Семенъ

— Эй, Мишка, внеси сюда товаръ.

Вбѣжалъ лакей, внесъ узелокъ. Взялъ баринъ узелъ, швырнулъ на столъ.

— Развяжи.

Развязалъ лакей.

— Ну слушай же ты, сапожникъ. Видишь ты, прошла про тебя слава, что ты хорошо сапоги шьешь. Хочу я тебя попытать. Сшей ты мнѣ сапоги изъ этого товара, такъ, чтобы были сапоги, чтобы они мнѣ годъ носились, не рвались, не кривились. Товара ты такого и не видывалъ. Товаръ выписной, петербургскій 25 р. плаченъ. Ты понимай, что ты не мужику шьешь, не изъ <выростка> а мнѣ шьешь изъ дорогого товара. Ты слушай да

понимай. Я тебѣ напередъ говорю, если можешь ты сшить сапоги, чтобъ годъ носились, не кривились, не поролись — берись и рѣжь товаръ, если же ты не можешь такъ сдѣлать, и не берись и не рѣжь товару. А если возьмешь, да распорятся они прежде году, я тебя сукина сыну туда затурю, куда воронъ костей не носилъ. — А сошьешь такъ, чтобы годъ не кривились, не поролись, я тебѣ 10 р. заплачу и не за годъ полтинникъ на водку дамъ. Смотри же какъ возьмешь товаръ да рѣзать станешь, впередъ говори, берешься ли за то, чтобы годъ не рвались, не кривились. —

Говоритъ баринъ, какъ крикомъ кричитъ, отдувается, глазами катаетъ то на Семена, то на Михайлу. Заробѣлъ совсѣмъ Семенъ, товаръ щупаетъ, на барина глядитъ <и не знаетъ>, что сказать. Оглянулся онъ на Михайлу, а Михайла стоитъ опустивъ глаза и тихо улыбается и такая же на немъ улыбка сладкая и тихая, какъ когда его въ первую ночь зарницей освѣтило. Улыбнулся Михайла и кивнулъ головой хозяину: бери молъ работу. Послушался Семенъ Михайлы взялъ работу у барина, взялся такіе сапоги сшить, чтобы годъ не кривились, не поролись. Накричалъ баринъ, оставилъ товаръ, вылѣзъ изъ двора. Посадилъ его лакей въ тарантасъ и загремѣлъ баринъ вдоль по слободѣ. —

И говоритъ Семенъ Михайлѣ: <ну братъ взялся ты за работу, какъ бы намъ бѣды не нажить. Взялъ ты работу, ты самъ и крои и точай. У тебя и глаза острѣе да и въ рукахъ то больше моего снаровки стало. Поклонился Михайла, ничего не сказалъ, взялъ товаръ дорогой, разстелилъ на столѣ, сложилъ вдвое, взялъ ножъ и началъ кроить. Глядитъ Семенъ и дивится и оторопь его взяла. Что такое Михайла дѣлаетъ. Видитъ Семенъ, что Михайла вовсе не на сапоги кроитъ, а круглые вырѣзаетъ. Хотѣлъ Семенъ поправить его, да думаетъ себѣ, что жъ мнѣ мѣшать ему, еще хуже сдѣлаю. Пускай какъ самъ знаетъ. Скроилъ Михайла пару, взялъ дратву да не два конца, а одинъ и въ одинъ конецъ сталъ сшивать не по сапожному, а какъ босовики шьютъ. Подошелъ Семенъ, но не сталъ перечить и пошелъ со двора за своимъ дѣломъ. Пришелъ на вечеръ, смотритъ у Михайлы изъ барскаго товара не сапоги, а два

босовика сшиты. Увидалъ это Семенъ, такъ и ахнулъ. Какъ это, думаетъ, Михайла годъ цѣлый не ошибался ни въ чемъ, а теперь погубилъ онъ меня. Какъ я теперь раздѣлаюсь съ бариномъ. Пропали мы. Товару такого не найдешь. И подошелъ онъ къ Михайлѣ и говоритъ: ты что же надѣлалъ? Погубилъ ты меня.

Только началъ онъ выговаривать Михайлѣ, грохъ въ кольцо со двора. Глянули въ окно, верхомъ кто то пріѣхалъ, лошадь привязываетъ.

Отперли, входитъ лакей отъ барина.

— Здорово.

— Здорово. Что надо?

— Да вотъ барыня прислала. Велѣла сказать, у васъ баринъ, товаръ оставилъ, такъ вы сапоги не шейте, сапогъ не нужно, а босовики на мертваго барина нужны, нынче въ вечерни померъ баринъ.

Взялъ Михайла со стола босовики готовые, щелкнулъ другъ объ друга, подаетъ лакею.

— Возьми, босовики готовы.

Прошелъ и еще годъ и два-три. Живетъ Михайла ужъ 6-й годъ у Семена. Сидятъ разъ оба у оконъ, работаютъ. Семенъ точаетъ, Михайла каблукъ набиваетъ, хозяйка въ печь чугуны ставитъ, а ребята по лавкамъ бѣгаютъ, въ окна заглядываютъ. — Подбѣжала дѣвчонка къ Михайлѣ, оперлась на него и глядитъ въ окно. Дядинька глянь ка какая купчиха съ дѣвочками идетъ, какія дѣвочки хорошія, нарядныя. Мамушка, купи мнѣ такую шубку, какія у дѣвочекъ. Михайла сидитъ работаетъ. Хоть и заститъ ему въ окнѣ дѣвочка, слова не говоритъ и не глядитъ въ окно, только свою работу помнитъ. А дѣвочка все лопочетъ, на дѣвочекъ какихъ то показываетъ. Кричитъ: мамушка хоть ты погляди — дѣвочки какія хорошія. Подошла Матрена къ окну, поглядѣла и говоритъ: А вѣдь это Иванчины сиротки, глянь ка Семенъ. И то онѣ. Мы думали пропадутъ совсѣмъ, безъ отца матери остались, а вонъ онѣ лучше насъ живутъ. Купчиха, говорятъ, ихъ въ дѣти взяла. Поглядѣлъ и Семенъ въ окно. И точно идетъ купчиха, за ручки двухъ дѣвочекъ ведетъ. Обѣ въ платочкахъ, въ шубкахъ [*1 неразобр.*] румяныя, сытыя,

нарядныя и обѣ въ одно лицо. Посмотрѣлъ Семенъ и говоритъ, что же они одинакія: или двойни? Какже тогда отецъ померъ:[7] [?], мать родила двойню да и сама померла. А вотъ безъ отца безъ матери выходились. Да еще въ счастье въ какое попали. — Услыхалъ это Михайла, тоже оглянулся въ окно, увидалъ дѣвочекъ и вдругъ опять, какъ ночью въ первый [разъ] и какъ тогда, когда баринъ сапоги заказывалъ разсіялъ весь Михайла и улыбнулся на дѣвочекъ, всталъ съ лавки, положилъ работу, снялъ фартукъ, поклонился хозяину съ хозяйкой и говоритъ: спасетъ тебѣ Господь тебѣ Семенъ за твое добро мнѣ и тебѣ тоже, Матрена, а мнѣ идти надо. — Удивілись хозяева.

— Что же ты, или совсѣмъ?

— Совсѣмъ, хозяинушка. Мнѣ домой надо.

— Ну чтожъ, спаси тебя Господь, тебѣ меня благодарить не за что, отплатилъ ты мнѣ много. Что жъ такъ пойдешь, возьми кафтанъ, шапку, сапоги, рубахи возьми.

— Спасибо, ничего мнѣ [не] нужно, одинъ кафтанъ, тотъ дайте, что ты впервой отдалъ. Одѣлъ Михайла кафтанъ, поцѣловался съ хозяевами, съ дѣтьми и пошелъ изъ избы, а самъ весь сіяетъ, весь улыбается.

— Куда жъ ты, Михайла? проводить мнѣ тебя.

— Нельзя меня проводить.

— Ну хоть за деревню тебя выведу.

И пошелъ съ нимъ Семенъ. Вышли за околицу, остановился Михайла и сталъ прощаться. И говоритъ Семенъ.

Спрашивать тебя я не стану, что ты за человѣкъ, одно передъ прощаніемъ скажи ты мнѣ: что такое, ты у насъ 6 лѣтъ жилъ, ни разу ты не смѣялся, только 3 раза улыбнулся — одинъ разъ, когда мы съ бабой на печи про кафтанъ говорили, другой, когда баринъ сапоги заказывалъ, чтобы годъ не рвались, не кривились, 3й нынче, когда двѣ сиротки съ купчихой пришли. <Скажи мнѣ, отчего такъ. И сказалъ Михайла>.

— Хорошо, я скажу тебѣ, садись тутъ и слушай.

Сѣлъ Семенъ, а Михайла стоить передъ нимъ и улыбается; постоялъ такъ и потомъ сталъ говорить. Слушай, Семенъ, и понимай.

№ 10.

— Знаешь ты, Семенъ, про Бога?
— Знаю, Михайла,
— Знаешь ты, Семенъ, что все во власти Бога?
— Знаю, Михайла.
— Знаешь ты, что такое Ангелы Божьи?
— Знаю, Михайла, это слуги Божьи.
— Ну слушай, Семенъ.

— Призываетъ разъ Господь Ангела и говорить. Лети ты, Ангелъ, въ такое-то село. У села лѣсъ. Въ лѣсу мужики дерева рубятъ; одно древо упало, мужика разбило. Поди, вынь изъ того мужика душу. Слетѣлъ ангелъ; ангелъ видитъ — мужикъ лежитъ, все нутро отбито; подумалъ, вынулъ изъ мужика душу и принесъ къ Богу. Принялъ Господь душу и говорить ангелу: Лети въ село, противъ церкви изба, въ избѣ лежитъ жена того человѣка, больная, вынь изъ ней душу. Слетѣлъ ангелъ въ село, вошелъ въ избу. Лежитъ на кровати одна женщина, больна, родила двойню. Одна дѣвочка упала съ кровати, пищитъ, по полу ползаетъ, другая у матери подъ бокомъ чмокаетъ, ловятъ грудь, а взять не могутъ. Не можетъ [мать] собрать ихъ. Увидала жена ангела, поняла, что Богъ его по душу сослалъ и заплакала стала просить ангела: Ангелъ Божій, если ты по душу пришелъ, не бери ты мою душеньку, дай ты мнѣ прежде вспоить вскормить младенцовъ, на ноги поставить. И тогда возьми мою душеньку.

Посмотрѣлъ ангелъ и не сталъ вынимать душу и поднялъ одну дѣвочку съ полу, приложилъ къ груди, подалъ другую матери въ руки и поднялся къ Господу Богу на небо. Прилетѣлъ къ Богу и говорить: Не могъ я изъ родильницы души вынуть. Отца древомъ убило, мать родила двойню и молитъ не брать изъ ней души, говоритъ: не бери душу, дай вспоить вскормить, на ноги поставить, а тогда возьми мою душу. Не вынулъ я изъ родильницы душу. И сказалъ Господь:

Поди вынь изъ родильницы душу. И узнаешь, чего не дано знать людямъ, что дано знать всѣмъ людямъ и чѣмъ люди живы.

Полетѣлъ ангелъ назадъ въ избушку; оба младенца привалились къ грудямъ, придерживаетъ ихъ родильница, то на

одного, то на другого посмотритъ.

Заплакалъ ангелъ, а вынулъ изъ жены душу. Отпали младенцы отъ грудей и закричали. Осталось на кровати мертвое тѣло, и понесъ ангелъ душу къ Богу. Поднялся ангелъ надъ селомъ, хотѣлъ летѣть на небо, подхватилъ его вѣтеръ, повисли у него крылья, отвалились и упалъ ангелъ въ лѣсу у дороги, а душа одна пошла къ Богу.

Наказалъ Богъ ангела за то, что онъ своимъ умомъ, а не по Божьи думалъ.

Сказалъ это Михайло и закрылъ лицо руками. Сталъ Семенъ понимать, кто Михайло, и нашелъ на него страхъ. Глядитъ на Михаилу, оторвать глазъ не можетъ и кажется ему, что Михайла стоитъ весь свѣтлый б[*неразобр.*] и стоитъ надъ нимъ огненный столпъ отъ головы и до неба. Открылъ лицо Михайла, опять улыбнулся и заговорилъ тихим голосомъ, точно не из себя говоритъ, а съ неба идетъ Михайлинъ голосъ.

— Слушай дальше, Семенъ. Остался тотъ ангелъ одинъ въ лѣсу и нагой. Не зналъ прежде[8] Ангелъ ни холода, ни голода, а тутъ сталъ человѣкомъ. Проголодался, измерзъ и сидѣлъ такъ долго до вечера. Пришелъ вечеръ, сидитъ ангелъ и плачетъ и не знаетъ, что дѣлать. Вдругъ слышитъ, идетъ человѣкъ по дорогѣ, несетъ сапоги и самъ съ собой говоритъ: прислушался ангелъ и понялъ, что человѣкъ идетъ бѣдный, въ трудахъ и заботахъ и говоритъ одинъ съ собой о томъ, какъ ему свое тѣло отъ стужи на зиму шубой прикрыть. Прислушался ангелъ и думаетъ. Я пропадаю отъ стужи, а вотъ идетъ человѣкъ, только о томъ и думаетъ, какъ себя съ женой прикрыть. Всѣ они люди тѣмъ заняты. Гдѣ жъ мнѣ себя одѣть да прокормить. Поравнялся человѣкъ, увидалъ я лицо человѣческое въ первый разъ послѣ того, какъ сталъ человѣкомъ, и страшно мнѣ стало это лицо. Измученное, заботливое и сердитое. Взглянулъ я, подумалъ, не будетъ мнѣ помощи отъ нихъ, и вздохнулъ тяжело. Вздохнулъ я громко и услыхалъ меня человѣкъ. Услыхалъ, подошелъ ко мнѣ и сталъ говорить и все страшное лицо у него было. Отвѣтилъ я ему, что умѣлъ, и вдругъ увидалъ я, просіялъ на его лицѣ свѣтъ. Снялъ онъ кафтанъ, чужіе сапоги снялъ съ палки и далъ мнѣ. А еще сказалъ мнѣ, гдѣ его домъ, и ушелъ отъ меня.

№ 11.

И какъ только отошелъ человѣкъ, такъ согрѣлся и утѣшился я не кафтаномъ его, а любовью. Надѣлъ его платье и ночью пришелъ [*1 неразобр.*] къ его дому. И услыхалъ ангелъ подъ окномъ, что жена его бранила за то, что онъ далъ сапоги бродягѣ. Заглянулъ ангелъ въ окно и увидалъ страшное лицо женщины и сіяніе на лицѣ человѣка. Долго они спорили, спорили и сосѣди, ангелъ все слушалъ и слышалъ, что все, что они говорили о томъ, зачѣмъ не надо было давать кафтана, было разумно, но человѣкъ не слушалъ ихъ и не сдавался; онъ говорилъ свое, что онъ зналъ, что надо было дать. И сколько ни спорили, всѣ сошлись съ человѣкомъ. Потомъ они потушили свѣтъ, ангелъ постучался и жена пустила его [*2 раза*] и хотѣла накормить его. И тоже, когда мужъ спросилъ ея, зачѣмъ она сдѣлала это, она не съумѣла сказать, зачѣмъ, а только сказала, что знаетъ вѣрно, что надо пустить и накормить. — И ангелъ услыхалъ это, понялъ одно изъ того, что сказалъ ему Богъ: узнаешь, что одно дано знать вѣрно людямъ. Онъ понялъ, что одно дано вѣрно знать людямъ, что надо нагому съ себя послѣдній кафтанъ отдать.

И обрадовался ангелъ и улыбнулся. Но всего онъ не могъ понять еще. И сталъ ангелъ жить у людей этихъ. Мужъ былъ сапожникъ, и ангелъ выучился шить сапоги и помогалъ хозяину.

Случилось черезъ годъ, что пришелъ къ хозяину баринъ заказывать сапоги и заказывалъ такіе, чтобъ годъ носились, не рвались, не кривились, и грозилъ за то, что не проносятся годъ, и обѣщалъ награду черезъ годъ, если проносятся. Ангелъ слушалъ барина и смотрѣлъ на него и вдругъ за плечами барина увидалъ смертнаго ангела. Никто не видалъ этаго ангела, но ангелъ сапожника видѣлъ его и зналъ, что не зайдетъ еще солнце, какъ возьмется душа барина. И подумалъ ангелъ сапожника. Все думаютъ знать люди, все припасаютъ на годъ, а не могутъ знать, сапоги или босовики имъ нужны. — И вспомнилъ ангелъ то, что сказалъ ему Богъ: узнаешь еще, чего не дано знать ни одному человѣку. И понялъ ангелъ, что не дано знать ни одному человѣку того, что ему для своего тѣла нужно.

И улыбнулся ангелъ. Понялъ ангелъ и то, что дано знать человѣку только то, что нужно другому и не дано знать человѣку, сапоги или босовики нужно ему самому; всего не могъ понять ангелъ.

И все жилъ ангелъ у сапожника и ждалъ, когда Богъ откроетъ ему послѣднюю тайну и проститъ его. И жилъ онъ такъ еще 5 лѣтъ. И на 6мъ году увидалъ онъ изъ окна — идутъ по улицѣ двѣ дѣвочки двойни съ богатой купчихой. И услыхалъ ангелъ, что дѣвочки эти обмерли въ селѣ и взяла ихъ богатая купчиха въ дѣти, и люди завидуютъ счастью дѣвочекъ.

Взглянулъ на нихъ въ окно ангелъ и узналъ тѣхъ дѣвочекъ, какія остались на груди мертвой матери.

И вспомнилъ ангелъ послѣднее слово Бога, чѣмъ люди живы. И понялъ онъ, что <людямъ одно нужно — любовь и жалость въ людяхъ>. Купчиха пожалѣла и полюбила дѣвочекъ и выходила ихъ. И теперь все понялъ ангелъ. Понялъ ангелъ, что людямъ не дано знать, что имъ для своего тѣла нужно — сапоги или босовики, а дано имъ знать, что имъ для души нужно, послѣдній кафтанъ нагому отдать. И что живы люди не материною грудью, а любовью. Что только любовь людей и нужна людямъ и что это одно дано знать людямъ. И тѣмъ, что люди знаютъ это и не знаютъ того, что имъ нужно, тѣмъ только и жизнь въ людяхъ крѣпка.

И пересталъ говорить Михайло и спала съ него одежда, одинъ кафтанъ онъ взялъ на руки и сталъ онъ ужасенъ и свѣтелъ и распустились у него за спиной крылья и сказалъ онъ Семену: Я ангелъ. И тронулся онъ носкомъ о землю, взмахнулъ крыльями. Задрожала земля, заиграли трубы и упалъ ничкомъ Семенъ. И когда очнулся, ужъ никого не было.

№ 12.

[Варианты к главе XII.]

Понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей то, что имъ для своей жизни нужно, а открылъ имъ то, что каждому для Бога

и для всѣхъ нужно. Богъ далъ жизнь людямъ и хочетъ, чтобъ люди жили. Понялъ ангелъ, что если бы зналъ каждый, что ему нужно, то и жилъ бы каждый для себя, и нельзя бы было жить людямъ, а для того, чтобы можно было жить людямъ, надо было имъ знать то, что имъ всѣмъ нужно. И затѣмъ то скрылъ отъ нихъ Богъ, что имъ для себя нужно, а открылъ самаго себя въ сердцахъ ихъ любовью.

Понялъ ангелъ, что людямъ кажется, что они заботой о себѣ живы; а заботой о себѣ не могутъ они быть живы, потому что не дано имъ знать, что имъ для себя нужно, и не дано ни человѣку, ни ангелу знать, что для другихъ нужно, а живы они только любовью.

№ 13.

Зналъ ангелъ, что Богъ не для того далъ жизнь міру, чтобы она погибла, а для того, чтобы люди были живы, и теперь онъ понялъ, чѣмъ люди живы. Понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они живы заботой объ себѣ, а не могутъ они быть живы заботой о себѣ потому, что ни одна мать не знаетъ, чего ея дѣтищу нужно, ни одинъ человѣкъ не знаетъ, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны, а что живы они только тѣмъ, что дѣлаютъ для нихъ добро другіе люди. А дѣлаютъ люди добро людямъ потому, что Богъ открылъ себя въ сердцахъ людей любовью. Понялъ ангелъ, что если бы открыто было каждому человѣку то, что ему для своей жизни нужно, то жилъ бы каждый человѣкъ для себя и не давалъ бы жить другимъ. А Богъ скрылъ отъ человѣка, что каждому для себя нужно, а открылъ любовь, то, что каждому для себя и для всѣхъ нужно, и ею то живы люди.

№ 14.

И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а что заботой о себѣ не могутъ они быть живы, потому что не знаетъ ни одна мать, чего для ея дѣтей

нужно, не знаетъ ни одинъ человѣкъ, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны. И понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ это Богъ отъ людей. Понялъ ангелъ, что если бы дано было знать каждому человѣку, что ему нужно, то жилъ бы каждый для себя и не давалъ бы жить другимъ людямъ, но Богъ далъ жизнь всѣмъ людямъ и хочетъ, чтобы всѣ люди были живы. И затѣмъ скрылъ отъ людей то, что каждому для своей жизни нужно, а открылъ самаго себя въ душѣ каждаго человѣка любовью къ людямъ, и ею только живы люди. Понялъ ангелъ, что не заботой о себѣ люди живы, а одною любовью.

Не знаетъ человѣкъ, чего ему нужно для жизни и чего другому нужно для жизни; одно знаетъ человѣкъ, что для жизни нужна любовь. Не было бы любви, не было бы жизни. Всѣ вы люди вспоены, вскормлены живой любовью такъ отдавайте любовь ту, которая дана вамъ. А тотъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ.

№ 15.

Понялъ ангелъ, что остался онъ живъ, когда пропадалъ нагой въ полѣ, тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его, и живы остались младенцы тѣмъ, что чужая женщина пожалѣла и полюбила ихъ, и живъ всякій человѣкъ тѣмъ, что другіе люди дѣлаютъ для нихъ, понялъ

Узналъ ангелъ, что не могла знать мать того, что ея дѣтищу нужно, баринъ [не] могъ угадать, чего ему нужно, что не знаетъ ни одинъ человѣкъ, сапоги или босовики ему нужно, и[9] остался живъ ангелъ въ полѣ тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его, и остались живы сироты тѣмъ, что чужая женщина пожалѣла и полюбила ихъ, и что живы всѣ люди только тѣмъ, что другіе любятъ ихъ.

И понялъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а не могутъ они ею быть живы, потому что не знаетъ человѣкъ, чего ему нужно. А живы они Богомъ, потому что Богъ знаетъ, что всѣмъ людямъ нужно.

№ 16.

Понялъ ангелъ, что[10] не показано ни людямъ ни ангеламъ для другихъ добро дѣлать, а показано людямъ для Бога добро дѣлать. И что живы люди только любовью, а Богъ есть любовь. И пересталъ говорить Михайло, и спала съ него одежда, сталъ онъ нагой и свѣтлый, и распустились у него за спиной крылья, и сказалъ онъ Семену: Я ангелъ. И упалъ передъ нимъ Семенъ и поклонился ему. И тронулся онъ носкомъ о землю, взмахнулъ крыльями, задрожала земля и обмертвѣлъ Семенъ. И когда очнулся, ужъ никого не было.

Понялъ ангелъ, что живетъ Богъ въ человѣкѣ и Богъ этотъ любовь людей къ людямъ. И что не заботой о самихъ себѣ живы люди, не отцемъ съ матерью живы люди, а живы люди Богомъ. А Богъ есть любовь.

Понялъ ангелъ, что не дано знать человѣку, чего ему самому нужно, не дано ни человѣку ни ангелу знать, чего другимъ нужно, а что заложена въ сердце человѣка любовь, то, что ему и другимъ нужно и что живы люди любовью. А любовь есть Богъ. И кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. Понялъ онъ, что когда есть Богъ въ людяхъ, есть въ нихъ любовь. А когда есть любовь, то есть въ нихъ все, что имъ и другимъ нужно. Въ комъ есть въ самихъ людяхъ любовь, есть въ нихъ радость. А есть въ нихъ любовь, то всѣмъ будетъ все, что имъ нужно: и кафтанъ голому, и хлѣбъ голодному, и молоко сиротамъ, и радость, и просторъ всѣмъ. И понялъ Я, что человѣку не надо знать то, что ему для своего тѣла нужно, а дано знать, что для его души нужно. А для души одно нужно, свое отдавать другому, и что потому жизнь людей не тѣмъ крѣпка, что они себя обдумаютъ, а тѣмъ, что они добро сами дѣлаютъ и отъ другихъ получаютъ. Я понялъ, что человѣку нельзя знать, что ему сапоги или босовики [нужны?][11] а дано знать, что ему послѣдній кафтанъ нагому отдать нужно, потому живы сироты не[12] материной грудью,[13] а любовью въ людяхъ.

№ 17.

Зналъ Ангелъ, что Богъ далъ жизнь людямъ и хочетъ, чтобы они были живы. Теперь узналъ ангелъ, чѣмъ живы люди. Понялъ онъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы, а не заботой они живы, потому что не знаетъ мать, чего для ея сиротъ нужно, не знаетъ ни одинъ человѣкъ, что ему къ вечеру — сапоги или босовики нужны. Понялъ ангелъ, что живы люди тѣмъ, что есть Богъ въ нихъ, а Богъ въ нихъ — это любовь къ людямъ. И понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей то, что каждому для себя нужно, а открылъ то, что для Бога и для всѣхъ людей нужно. —

Понялъ ангелъ, что если бъ открыто было людямъ то, что каждому для своей жизни нужно, то не понимали бы люди того, что вложилъ Богъ въ сердца ихъ любовь къ людямъ, и жилъ бы каждый для себя, а не давалъ бы жить другимъ, но Богъ скрылъ отъ людей то, что каждому для себя нужно, а открылъ любовь въ сердцахъ людей, то, что для всѣхъ нужно; и любовью живы люди.

Теперь узналъ ангелъ, что не могла угадать мать, чего ея дѣтямъ для жизни нужно и что не дано ни одному человѣку знать, сапоги или босовики ему къ вечеру нужны; а что остался ангелъ живъ въ полѣ не тѣмъ, что онъ самъ себя обдумалъ, а тѣмъ, что былъ Богъ у прохожаго въ сердцѣ и прохожій пожалѣлъ его; что остались сироты живы не тѣмъ, что обдумала ихъ мать, а тѣмъ, что былъ Богъ въ сердцѣ чужой женщины и она полюбила сиротъ; что живъ всякій человѣкъ только потому, что есть Богъ въ сердцахъ людей и что они любятъ его.

И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они живы заботой объ себѣ, а живы они только Богомъ. А Богъ любитъ людей.

Комментарии В. И. Срезневского[14]

«Чем люди живы?»

История писания и печатания.

Тема, послужившая основой рассказа «Чем люди живы» очень распространена во всеобщей литературе и принадлежит к числу так называемых бродячих сюжетов. Толстой познакомился с этой темой по рассказу, слышанному им от олонецкого сказителя крестьянина дер. Боярщины Кижской волости (в Заонежьи) В. П. Щеголенка. Василий Петрович Щеголёнок (родился около 1805 г.) был известен многим собирателям былин и его былины и сказания записывались на протяжении почти 30-ти лет, от 1860-ых до 1886 г. (биография его сообщается А. Ф. Гильфердингом в «Онежских былинах», т. 2, стр. 287, изд. 1-е, М. Н. Сперанским в «Былинах», т. 2, стр. XXXIX-XL и портрет в «Русском биографическом словаре»). Толстой познакомился с ним через Е. В. Барсова в Москве, вероятно, в 1879 или 1880 году. По рассказам Барсова Толстой, между прочим, спросил Щеголёнка о том, как он молится. Щеголёнок изложил ему (вспоминает Барсов) эпическую импровизацию молитвы, с перечислением всех святых, мучеников и т. д. Толстой был растроган и на прощание сказал Барсову: «Вот как надо молиться, а не так, как мы с тобой».[15] Видимо очень довольный Щеголёнком Лев Николаевич пригласил его к себе в Ясную поляну. По воспоминаниям учителя старших детей Толстого В. И. Алексеева, Толстой с большим интересом слушал былины и легенды Щеголёнка и записывал его рассказы, изложенные образным народным языком. Записная книжка в листках с этими записями сохранилась в архиве Толстого (АТБ). Эти записи представляют собою по большей части короткую канву рассказов Щеголёнка, так как дословно записывать за Щеголёнком было очень трудно.

Чтобы сохранить в точности его слова, иногда Толстой записывал только первые буквы слов, иногда отмечал особенно интересные выражения, которые сохранились и в его рассказе, — например: «год вскружился». Легенда, рассказанная Щеголёнком, была записана позднее местным Кижским священником и напечатана А. И. Пономаревым в его сборнике «Памятники древне-русской церковно-учительной литературы», т. 2, 1896, стр. 215—216; там же напечатан в переводе и румынский пересказ легенды, который был сообщен Гастером в немецком журнале «Echo» (1890, № 396). Кроме легенды, слышанной от Щеголёнка, Толстой мог с ней ознакомиться в ином изложении по хорошо известной ему книге А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (Москва, 1859), где она называется «Ангел». *Нач.*: «Родила баба двойни. И посылает Бог ангела вынуть из нее душу. Ангел прилетел к бабе, жалко ему стало двух малых младенцев, не вынул он души из бабы...»; но в этом рассказе сходно с Толстовским только начало. Чрезвычайно интересна первоначальная запись Толстого за Щеголёнком в Записной книжке (АТБ, п. 65, № 2, л. 55) и, несмотря на ее неполноту и отрывочность, любопытно привести ее здесь целиком:

«Ар[хангелъ]. Въ городу родила жена 2-хъ дочерей и стала слаба. Гос[подь] посылаетъ Арх[ангела]. Вынь у родилицы душу. Архангелъ видитъ [?] младенцы по груди плаваютъ. Вернулся назадъ, пожалѣлъ. Родилица лежитъ въ углу; д[ругой разъ] п[осылаетъ] е[го] Г[осподь]. Подн[ялся] на небо. Опять посылаетъ. Безъ отца, матери выростутъ, безъ Б[ожьей] милости не вырости. Арх[ангелъ] исполнилъ, не можетъ подняться, крылья отпали. Родилицу похорон[или], дѣти остались. Брюхо питать надо. Пришелъ къ мастеру и работаетъ. Много показывать не нужно. Годъ вскружился. Разъ ухмылилъ подмастерье. Годъ другой на приходѣ, приходитъ баринъ: шей сапоги, чтобъ годъ стояли [?], не кривились, не поролись. Можно. Опять ухмылилъ. Сложилъ кожу, скроилъ и шьетъ однимъ концомъ, босовики. Хозяинъ не скаж[етъ]. Утро приходитъ лакей, гов[оритъ]: Баринъ кончался, надо босовики. Арх[ангелъ] подаетъ и товаръ остальн[ой]. За работу что?

Ничего. И 3-й годъ вскружился. Подмастерье все работаетъ. Что спросишь, отвѣтитъ, а самъ не говоритъ. Хозяинъ. Отчего въ 1-й годъ проходилъ, ты ухмылил?ъ А шли девицы. А что [?] Мать родила въ одномъ брюхѣ. Я не вынулъ души. Не послушался. Разсказъ весь. Безъ о[тца], б[езъ] м[атери] д[ѣти] в[ыростутъ], б[езъ] Б[ожьей] м[илости] н[е] в[ыростутъ[. И вотъ они выросли. Отчего 2-й годъ. А баринъ приходилъ, ч[тобъ] г[одъ] с[тояли], н[е] п[оролись], н[е] к[ривились]; а лак[ей] п[ришелъ] б[осовики] спр[ашиваетъ]. Ну коли ты Архангелъ. Ты ставишься на крышу и поешь, хорошо. Можешь спѣть Хер[увимскій] стихъ въ голосъ, въ 1/2 г[олоса]. Въ полголоса запѣлъ, заколыбалась мастерская и онъ палъ на колѣнки и руки. Пришло воскрес[еніе]. Херувимскій стихъ какъ нужно запѣть. Разинулся [?] потолокъ и подмастерье поднялся и крылья явились и осталось названіе Архангельск[ое]».

Из этой записи видно, что Толстой записал рассказ Щеголёнка далеко не весь, а только более характерные и любопытные места.

Писание рассказа «Чем люди живы?» Толстой начал в 1881 году или в конце 1880 г. (на одной из рукописей рассказа рукой С. А. Толстой отмечено: «январь 1881 г.») для начинавшегося тогда журнала «Детский Отдых», который редактировал Петр Андреевич Берс, брат С. А. Толстой; поэтому, по его имени, рассказ назывался Толстым «Петина история». В письме к жене из Самарского имения (26 июля 1881 года), куда ездил Толстой летом с сыном Сергеем, он пишет, что «два последние дня два раза начинал Петину историю», «и всё, — говорит он, — не могу попасть в колею». Тема рассказа видимо нравилась Толстому, он им увлекался: «я надеюсь, что пойдет, а если пойдет, то будет хорошо», читаем в том же письме. Вернувшись в Ясную поляну в августе, он продолжал работать над рассказом, как видно из его письма к С. А. Толстой в Москву: «вчера целое утро писал Петину историю и всё не могу кончить» (26 августа). Очевидно работа, совершенно новая по заданиям, мало похожая на прежние, несмотря на сравнительно небольшой размер рассказа, представляла для Толстого большую трудность: сохранилось тридцать три рукописи, полных и частичных, из

которых двадцать две — автографы Толстого, одиннадцать — копии с его поправками и переделками; кроме того в архиве В. Г. Черткова, переданном в ГТМ, сохранились четыре корректуры с его исправлениями; поправки и в корректурах и в текстах указывают на ряд промежуточных рукописей, место хранения которых нам неизвестно.

Первые наброски рассказа очень различны между собою; большая часть вариантов падает на начало (12 начал, изредка с набросками продолжения и только продолжений без начала) и на последние главы (XI и XII) с речами Михаила (II). Один из первых набросков начала с продолжением (№ 6) дает первый короткий очерк всего рассказа (см. в вариантах). Далее четыре рукописи нескольких частей разных редакций рассказа (№№ 21—25), соединенные Толстым в одно целое, составили первый полный текст, еще не имеющий заглавия. Следующих полных рукописей сохранилось только три.

Минуя первый короткий набросок всего рассказа и все наброски различных его частей, называем первой редакцией рассказа его первый полный текст (Рукописи №№ 21—25). В таком случае всех редакций насчитываем три, дальнейшие переделки, считая хотя и важными для некоторых мест, но в общем для всего рассказа несущественными.

Заглавие рассказа в первых набросках встречается преимущественно «Архангел» и раз «Ангел на земле». Заглавие «Чем люди живы?», на котором Толстой в конце концов остановился, в первый раз им дано в его приписке на копии А. П. Иванова (№ 27); но и тогда Толстой всё еще колебался, и в копии № 26, опять им зачеркнуто и заменено таким: «Кафтан, сапоги и сироты». Но уже в следующей рукописи это заглавие вновь было зачеркнуто и вместо него дано «В чем жизнь людей», которое тут же заменено «Без чего людям жить нельзя» и затем опять «Чем люди живы?», на котором Толстой остановился окончательно.

Рассказ в первый раз был напечатан в 1881 г. в № 12 журнала «Детский отдых, ежемесячный иллюстрированный журнал для детей» (Москва), издаваемый Н. А. Истоминой (1881—1887) и редактированный, как было сказано выше, П. А.

Берсом; цензурная помета на книжке — 18 ноября 1881 г. Рассказ набирался с рукописи № 31, копии с поправками, дополнениями и переделками автора и с другой рукописи того же архива (№ 32) без поправок Толстого, дополняющей недостающее место в первой рукописи в средине; корректуры (нам известны три) обилуют, как и последняя рукопись, многими поправками, переделками и дополнениями и указывают, как уже сказано, на то, что было еще несколько корректур.

При новом издании рассказа «Чем люди живы?» в 1886 году в XII части «Собрания сочинений Л. Н. Толстого» поправки были очень невелики; в письме к жене 20 февраля 1885 г.[16] при просмотре, очевидно, «Детского отдыха» Толстой писал, что «только поправил в Чем люди живы одно место»; какое это место, неизвестно, так как не сохранилось экземпляра «Детского отдыха» с поправками Толстого (думаем, что эта поправка, касающаяся сапожного дела, которое в 1885 г. было более знакомо Толстому, чем в 1881 г. гл. V); потом же, вероятно, уже в корректуре было внесено еще несколько мелких поправок. Издание «Посредника», получившее цензурное разрешение — текста в Петербурге 3 марта 1885 г., обложки с рисунками А. Д. Кившенко (1851—1895) в Москве 8 марта 1885 г. — внесло гораздо больше изменений в текст «Детского отдыха», чем «Собрание сочинений»; главная переделка заключается в сокращении чудесности в эпизоде в конце IX главы и в связи с этим изменением окружения его после выброски слов рассказа «и вдруг как зарница осветила всю избу от того угла, где сидел Михаил». Все другие переделки в издании «Посредника» мелочные: два пропуска фраз — случайные (в главах I и VI) и переделка в гл. V-й, касающаяся сапожного дела (см. выше).

Неблагоприятное отношение цензуры к рассказу в первый раз проявилось в 1887 г., когда рассказ был арестован Московским цензурным комитетом 4 февраля; затем в этом же году 10 октября Главное управление по делам печати запретило новое издание и потом вновь повторило свое распоряжение в 1888, 1891 и 1893 гг.

Для полноты истории печатания «Чем люди живы?» нельзя не сказать об изданном в 1886 г. альбоме иллюстраций к

рассказу, рисованных Н. Н. Ге, который был чрезвычайно увлечен рассказом. Рисунки очень нравились Толстому, и он всячески хлопотал об их издании. Московская духовная цензура не пропустила всех двенадцати рисунков, и два рисунка — I-й и 2-й прошли через более благоприятную С. Петербургскую цензуру, только благодаря связям В. Г. Черткова; ему об этом писал Толстой в письме от 2 апреля 1886 г. (см. т. 85). Альбом вышел в двух видах, как хотел Толстой, один дешевый, другой более дорогой.

В семье Толстых выражение «Чем люди живы?», после написания рассказа, вошло в частое употребление и в известном семейном «почтовом ящике» в Ясной поляне, как рассказывает в своих воспоминаниях И. Л. Толстой, почти про всех там живущих говорится, кто чем жив, и «чем люди мертвы в Ясной».[17]

Описание рукописей.

Рассказ «Чем люди живы?» сохранился в тридцати трех рукописях и трех корректурах. 29 рукописей и 3 корректуры принадлежат к Архиву

В. Г. Черткова, переданному в ГТМ (папка 3, №№ 1—32); одна рукопись принадлежит ГТМ (Инв. № 21, 13 декабря 1924 г,); одна рукопись хранится в АТБ под шифром: № VII, I. и две рукописи в БЛ в собрании Ивакина.

1) Автограф АТБ VII. I. F°, 2 лл. рваной писчей нелинованной бумаги. Заглавие: «Ангел на землѣ». Писано на 3-х страницах, без полей, с помарками и поправками. *Начало:* «Поѣхалъ рыбакъ въ море»... *Конец:* «Растащиха ты, бездомовникъ, уйду отъ тебя». (См. вариант № 1.)

2) Автограф ГТМ № 1. 8°, 1 л. почтовой бумаги. Писано на одной стороне, со многими поправками, повидимому, один из первых набросков. Заглавие: «Архангелъ». *Начало:* «Жилъ у моря мужъ съ женою»... *Конец:* «Поди вынь у родильницы душу». Вся рукопись вертикально перечеркнута. Сверху в правом углу рукою С. А. Толстой написано: «Вар. 2». (См. вариант № 2.)

3) Рукопись ГТМ № 2. Копия с предыдущей, рукою С. А. Толстой. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда (?). Писано на одной стороне. В правом углу сверху: Вар. 1. Заглавие: «Архангелъ». *Начало:* «Жилъ у моря мужъ съ женою»... *Конец:* «Поди вынь из родильницы душу». Поправок Толстого нет.

4) Автограф ГТМ № 3. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги с неясным клеймом. Писано с обеих сторон; на л. 1 об. — только 6 строк; остальные листы исписаны полностью. Оставлены поля и на них внесены дополнения и поправки. Вся рукопись сильно перечеркана. Отрывок. *Начало:* «Призываетъ Господь Архангела и говорить ему». *Конец:* «Это чей? Дальний, ночевать попросился». В правом углу сверху рукою С. А. Толстой: Вар. I. (См. варианты.)

5) Рукопись ГТМ № 4. Копия рукою С. А. Толстой. 4°, 3 лл. Заглавие: «Архангелъ». *Начало:* «Призываетъ Господь Архангела». Начало рукописи без поправок, верхняя часть л. 2 вертикально перечеркнута, в нижней текст переделан, как новое начало. *Начало:* «Носилъ сапожникъ работу въ городъ»... *Конец*: «Вышла старуха, отперла. Видитъ»... Это один из вариантов первой главы.

6) Автограф ГТМ № 5. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги; писано на обеих сторонах, без полей, с небольшими помарками. Заглавие: «Архангелъ». *Начало:* «Жилъ мужъ съ женою на краю города подле моря»... *Конец:* «Въ Богѣ живешь, въ Богѣ умрешь». На л. 1 в правом углу сверху рукою С. А. Толстой: Вариант 3-й. На л. 4 внизу дата ее же рукой: «Январь 1881 года». Текст этой рукописи напечатан в газете «Речь» 1914, № 94. (См. вариант № 4.)

7) Рукопись ГТМ № 6. Отрывок копии с предыдущей рукописи рукою С. А. Толстой, без поправок. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги. Начала недостает. *Начало:* «Поклонился низко юноша старичку»... *Конец:* «Въ Богѣ живши, въ Богѣ умрешь».

8) Автограф ГТМ № 7. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги; писано без полей, на одной стороне. Отрывок. *Начало:* «Носилъ сапожникъ работу»... *Конец:* «глянулъ внизъ — подъ обрывомъ

сидитъ человѣкъ». Вся рукопись исчеркана и перемарана. Набросокъ к 1-й главе.

9) Автограф ГТМ № 8. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги, писано на одной стороне, с помарками и поправками. Отрывок. *Начало:* «II. Носилъ сапожникъ работу: новые сапоги»... *Конец:* «Куда же его весть. Кормить надо. Откуда взять». Вариант того же текста, что и в III. 7. Число II поставлено над текстом.

10) Автограф ГТМ № 9. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги; писано с обеих сторон, с полями; на полях и в тексте дополнения и поправки. Отрывок. *Начало:* «Отнесъ разъ сапожникъ работу по заказу, сдалъ хозяину»... *Конец:* «И пошелъ сапожникъ своей дорогой». Вариант к текстам III. 7 и 8 (к 1-й главе). (См. вар. № 5).

11) Автограф ГТМ № 10. 4°, 3 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Говарда. Писано без полей, с обеих сторон. С очень большими помарками и переделками. На л. 2, сбоку, вертикально к тексту написано: «особо» и подчеркнуто. Заглавия нет. *Начало:* «Жилъ въ деревнѣ у мужика сапожникъ»... *Конец:* «Только потушили огонь, загрохало кольцо у калитки». Эта рукопись представляет материал к I-й главе. (См. вар. № 6.)

12) Автограф ГТМ № 11. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги фабрики Способина. Текст только на лицевой стороне л. 1-го. Отрывок. *Начало:* «Ушла женщина и видятъ, сидитъ Мих[айло] весь свѣтлый»... *Конец:* «Призываетъ меня Г[осподь] и говорить: Поди вынь...» (многоточие Толстого). Набросок к главе X. Внизу приписка рукою Толстого «На Басманной женская гимна[зія]». Этот набросок является материалом для X главы.

13) Автограф ГТМ № 12. 4°, 1 л. писчей бумаги фабрики Говарда (?). Писано на одной стороне. Отрывок. *Начало:* «И ужаснулся Семенъ, всталъ, поклонился Михайлѣ и сказалъ ему»... *Конец:* «Слушай, Семенъ, и слушайте всѣ. Посылаетъ меня Господь вынуть душу изъ женщины». Набросок к главе X.

14) Автограф ГТМ № 13. 8°, 1 л. почтовой бумаги с водяным знаком: Lacroix. Писано с одной стороны. Много зачеркнуто и переправлено. Отрывок. *Начало:* «И замолчалъ ангелъ. И стали Семенъ и Матрена понимать»... *Конец:* «И улыбнулся ангелъ». Это набросок к главе XII.

15 и 16) Автографы ГТМ № № 14 и 15. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги; с поправками и помарками. Отрывки. Оба листа представляют тексты, повидимому, самостоятельно возникшие и только в дальнейшей обработке поставленные рядом. Л. 1, *начало:* «Понялъ ангелъ, что людямъ кажется, что они заботой о себе живы»... *Конец:* «а живы они только любовью». Дальше пол-страницы зачеркнуто, со слов: «Понялъ ангелъ, что хотѣлъ Богъ, чтобы люди не для себя, а другъ для друга жили»... *Конец:* «И затѣмъ скрылъ отъ нихъ то, что имъ нужно, а открылъ себя въ нихъ любовью, то, чѣмъ каждый человѣкъ живъ и всѣ люди живы».

Текст на л. 2, *начало:* «Понялъ ангелъ, зачѣмъ скрылъ Богъ отъ людей»... *Конец:* «И затѣмъ то скрылъ отъ нихъ то, что имъ для себя нужно, а открылъ самого себя въ сердцахъ ихъ любовью» (см. вар. № 12). Это наброски к главе XII, Обороты обоих листов составляют одну страницу копии, рукою А. П. Иванова, с началом рассказа «Чѣмъ люди живы» (с этим заглавием). С рукописи архива В. Г. Черткова № 25. *Начало:* на л. 2. об.: «Жилъ въ деревнѣ сапожникъ съ женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... *Конец:* «тогда бы взялъ дубленые. Отдалъ бы 5 рублей остальные».

17) Автограф ГТМ № 16. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на одной стороне, с помарками и поправками. На обороте листа вкось 6 строчек, в виде заметки *написано:* «Не быль бы я живъ. Не были бы живы младен[цы]. Не было бы живого человѣка, потому что все, что есть у человѣка, дано ему любовью др[угихъ] людей». Текст. Н*ачало:* «Зналъ ангелъ, что Богъ не для того даль жизнь міру, чтобы она погибла» — *Конец:* «а открылъ любовь, то, что каждому для себя и для всѣхь нужно и ею то живы люди». Это набросок к главе XII. (См. вар.№ 13.)

18) Автограф ГТМ № 17. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на обеихъ сторонах с помарками и поправками. *Начало:* «Зналъ А[нгелъ], что Б[огъ] даль жизнь людямъ и хочетъ, чтобы они были живы». *Конец:* «а живы они только Богомъ. А Богъ любитъ людей». Это набросок к главе XII. (См. вар. № 17.)

19) Автограф ГТМ № 18. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на обеих сторонах, с помарками и поправками. *Начало:* «И понялъ ангелъ, что людямъ кажется только, что они заботой о себѣ живы»... *Конец:* «А тотъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». Набросок к главе XII (см. вар. № 14). Вкось внизу написано: «говоритъ о хлѣбѣ».

20) Автограф ГТМ № 19. Отрывок. 4°, 1 л. нелинованной писчей бумаги без клейма. Писано на одной стороне, с помарками и поправками. *Начало:* «Понялъ ангелъ, что остался онъ живъ, когда пропадалъ нагой въ полѣ, тѣмъ, что прохожій пожалѣлъ его»... *Конец:* «Богъ знаетъ, что всѣмъ людямъ нужно». Это набросок к главе XII. (См. вар. № 15.)

21) Автограф ГТМ Инв. № 21/13 дек. 1924 г. F°, 1 л. нелинованной писчей бумаги. Писано с одной стороны. На обороте карандашом, рукою Толстого же позже приписано заглавие: «Чем люди живы». Два отрывка. Первый отрывок. *Начало:* «И понялъ я, что человеку не дано знать то, что ему для своего тѣла нужно»... (См. конец вар. № 16.) Второй отрывок. *Начало:* «Во всемъ у васъ спорь, въ одномъ всѣ согласны были, что несчастному помочь надо». Рукопись с большими помарками и поправками.

22) Автограф ГТМ № 20. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги, с неясным клеймом. Исписаны все четыре страницы (4-я наполовину), с полями, на полях и в тексте поправки и дополнения. Заглавия нет. *Начало:* «Жилъ въ деревнѣ сапожникъ. Была у него жена и трое дѣтей»... *Конец:* «И самъ не знаетъ, с чего возрадовалось сердце у сапожника; повернулся онъ и пошелъ безъ кафтана и безъ сапогъ одинъ по дорогѣ». Эта рукопись вместе с рукописями №№ 21, 22 и 23 составляет полный текст рассказа (см. вариант № 8).

23) Автограф ГТМ № 21. 4°, 7 лл. нелинованной писчей бумаги; писано без полей, с обеих сторон. Заглавия нет. На об. л. 2-го и на л. 3 — прошение без подписи в Совет Московского художественного Общества о разрешении посещать классы Училища живописи, ваяния и зодчества. Лл. 4 и 5 снизу оборваны раньше, чем Толстой начал на них писать. Нижняя

половина и весь об. л. 7-го оставлены чистыми. Л. 1 — одиночный, остальные двойные. В левом верхнем углу листов есть чернильные цыфровые пометы: на 1 л. — 1, на 2—3-м — 2, на 4—5-м — 3, на 6—7-м — 4. Текст. *Начало:* «Идетъ сапожникъ на легкѣ въ одной рубахѣ», *Конец:* «Слушай, Семенъ и понимай». Эта рукопись по содержанию является продолжением предыдущей. Вместе с рукоп. №№ 20, 22 и 23 входит в полный текст рассказа. (См. вариант № 9.)

24) Автограф ГТМ № 22. 4°, 2 л. нелинованной писчей бумаги. *Начало:* «Знаешь ты, Семенъ, про Бога?»... *Конец:* «сказалъ мнѣ, гдѣ его домъ, и ушелъ оть меня». Толстой здесь воспользовался копией начала рассказа и переделал ее для сборной копии из рукописей 20, 21, 22 и 23, обозначив карандашом цыфрой 5. (См. вариант № 10.)

25) Автограф ГТМ № 23. 4°, 2 лл. нелинованной писчей бумаги, писано с обеих сторон, без полей (л. 2 об. чистый). Заглавия нет. *Начало:* «И какъ только отошелъ человѣкъ, такъ согрѣлся и утешился я»... *Конец:* «И когда очнулся, ужъ никого не было». Это продолжение предыдущей рукописи. На л. 1 с левой стороны карандашом помечено: «6». Вместе с рукописями 20, 21 и 22, составляет полный текст рассказа (См. вариант № 11.)

26) Рукопись БЛ из Собрания Ивакина, 4°, 2 лл. Копия рукою А. П. Иванова с поправками Толстого. *Начало:* «самъ сошью и шуба»... *Конец:* «и заговорилъ человѣкъ и сказалъ».. Рукопись представляет собою отрывок (без начала и конца) рукописи ГТМ (см. выше № 21). Эта рукопись послужила оригиналом части рукописи № 24 (см. ниже № 27).

27) Рукопись ГТМ № 24. Копия рукою А. П. Иванова. 4°, 32 лл. (лл. 26—32 чистые) нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Протасьева. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». *Начало:* «Жилъ сапожникъ съ женой и детьми у мужика на квартерѣ» (автогр.)... *Зачеркнутый конец копии*: «и что потому живы сироты не материной грудью, а любовью въ людяхъ». Далее рукою Толстого — новый конец. *Начало:* «Понялъ ангелъ, что живет Богъ въ человѣкѣ»... *Конец:* «Узнаешь, отчего нельзя

человѣку себя обдумать, отчего нельзя отцу матери дѣтей обдумать, и узнаешь, чѣмъ люди живы».

В этой рукописи Толстым впервые дано рассказу заглавие: «Чѣмъ люди живы?», приписанное над текстом. Л. 5 копии зачеркнут Толстым и вместо него вставлен другой лист, целиком писанный Толстым. *Начало:* «Бросилъ на земь сапоги валеные, распоясался, скинулъ кафтанъ»... *Конец:* «Идетъ и радуется у Семена сердце. Спустился человѣкъ (в лощину)». Оборот этого листа представляет часть копии рассказа, писанной рукою С. А. Толстой и относится к рукописи № 4.

28) Рукопись ГТМ № 25. Копия с предыдущей, рукою А. П. Иванова. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». 4°, 24 лл. (лл. 8—24 чистые) нелинованной писчей бумаги фабрики Протасьева. С поправками и дополнениями Толстого на полях и в тексте, а л. 7 (писан с одной стороны) весь — рукою Толстого. Под заглавием Толстым приписан эпиграф: «Богъ есть любовь и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. 1 посл. Иоанн., гл. IV, 16». *Начало:* «Жилъ въ деревне сапожникъ сь женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ». Рукопись неполная, конца недостает, обрывается словами: «Сказываю тебѣ, голый въ полѣ лежитъ. —А ты развѣ не голый».

29) Рукопись ГТМ № 26. Копия рукою И. Л. Толстого. 4°, 4 лл. нелинованной писчей бумаги с клеймом фабрики Способина. Писано с обеих сторон, с большими полями; на них и в тексте — поправки, переделки и дополнения рукою Толстого. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?» зачеркнуто и сверху рукою Толстого написано: «Кафтан, сапоги и сироты». *Начало:* «Жил сапожникъ съ женой и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... На л. 2 об. копия обрывается *словами:* «А къ пасхѣ справился бы»; дальше — текст рукою Толстого, сильно перемаранный. Конца недостает. *Последние слова:* «и не сталъ сапожникъ больше разговаривать». (Середина рукописи и самый конец — см. вар. № 7).

30) Рукопись БЛ — собрание Ивакина, 4°, 27 лл. (последние 2 лл. без текста), много поправок, переделок и дополнений рукою Толстого. Первоначальное заглавие. «Кафтанъ, сапоги и сироты» перечеркнуто Толстым и заменено сначала заглавием:

«Безъ чего людямъ жить нельзя», потом: «Въ чемъ жизнь людей» и затем окончательным заглавием: «Чѣмъ люди живы?».

Эпиграф рукою Толстого: «Богь есть любовь. Пребывающій въ любви, пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ». Іоанн. 1 посл. 4, 16. *Текст начинается:* «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... *Кончается:* «А Богъ въ сердце человѣка — это любовь, то что всѣмъ людямъ нужно» и дальше зачеркнуто: «И ею только живы люди». В этом списке несколько больших пропусков. Список с рукописи ГТМ (см. № 28) и оригинал рукописи того же архива № 27.

31) Рукопись ГТМ № 27. Коиия рукою А. П. Иванова и неизвестного. Заглавие: «Чем люди живы». 4°, 27 лл. нелинованной бумаги с клеймом фабрики Говарда. С поправками, дополнениями и переделками Толстого. Под заглавием рукою Толстого выписан и вертикально зачеркнут эпиграф: «Богь это любовь. Кто въ любви, тотъ въ Богѣ и въ томъ Богъ. — Іоанн.». *Начало:* «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... *Конец:* «И что живы люди любовью другихъ людей, а что любовь это Богъ и [т]отъ, кто въ любви, тотъ въ Богѣ, а Богъ въ немъ». С этого списка рассказ набирался для «Детского отдыха». Здесь глава 2 обрывается *словами:* «Нѣтъ у меня дома» (л. 5 об.). Дальше, л. 6 — глава V и надпись рукою издательницы журнала Истоминой: „Продолжение «Чемъ люди живы»“. Недостающий текст находится в рукописи № 28.

32) Рукопись ГТМ № 28. Копия неизвестной рукою. F, 4 лл. нелинованной бумаги. Заглавие: „Продолженіе разсказа «Чѣмъ люди живы»“. В левом углу сверху «Для Детского отдыха»; в правом углу: «Это надо набрать непремѣнно сегодня к 7-ми часамъ и послать в редакцію Дѣтского отдыха, для доставленія графу Толстому. Истомина».

Рукопись *начинается:* «Да чей же ты? — Не здѣшній я»... *Кончается:* «Только сказалъ: Будетъ толковать то. Повернулся и заснулъ».

Поправок Толстого нет. На л. 4 об. заметки Толстого к рассказу; *начало:* «Семенъ поджарый. И не видывалъ Семенъ людей такихъ»...

33) № 29. Корректурные гранки. 13 полос. Заглавие: «Чѣмъ люди живы?». Это первая корректура для «Детского отдыха», с большими поправками и дополнениями Толстого, представляющими значительную переделку рассказа сравнительно с рукописями... 27 и 28. *Начало:* «Жилъ сапожникъ съ женою и дѣтьми у мужика на квартирѣ»... *Конец:* (до исправления): «что любовь это Богъ и [т]оть кто въ любви, тотъ въ Богѣ, а Богъ въ немъ». После исправления *кончается так:* «И когда поднялся Семенъ, уже никого не было» и подпись: «Левъ Толстой». Между этой и следующей корректурой недостает одной или двух корректур.

34) № 30. Сверстанная корректура «Детского отдыха». 8°, 14 лл. С эпиграфом из 1-го послания Иоанна, гл. III, 14, 17, 18 и IV, 7, 8, 12, 15 (читай 16) и 20. С поправками и дополнениями Толстого. Здесь главы IV и V соединены в одну; VIII и IX также соединены, а глава XI (первоначально XII-ая) разделена на две.

35) № 31. Копия отдельных мест рассказа рукою А. П. Иванова, сделанная для типографии с корректуры 30. 4° и обрезки, 21 лл. Это отрывок копии поправок Толстого к сверстанной корректуре, в свою очередь тоже исправленный Толстым.

36) № 32. Отрывок одной из сверстанных корректур для «Детского отдыха». 8°, 3 лл. Здесь только главы IX—XII. С поправками и дополнениями Толстого. Значительных переделок нет. *Начало:* «Ушла женщина съ дѣвочками». Многие поправки, сделанные рукою Толстого, зачеркнуты вероятно переписчиком, делавшим копию с корректуры для типографии.

В основу настоящего издания положен текст изд. «Посредник»: «Чем люди живы?» Рассказ Льва Толстого», М. 1886 и «Сочинений гр. Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. М. 1886 г., стр. 1—28, проверенный по рукописям, корректурам и тексту, напечатанному в журнале «Детский отдых» 1881, 12, стр. 407—434.

Предисловие к двадцать пятому тому.

В двадцать пятый том входят: I. Народные рассказы и II. Статьи, а также шуточные произведения, написанные для «почтового ящика». Народные рассказы относятся: один — к 1881 году, двадцать — к 1884—1886 гг. Они чрезвычайно близки друг к другу по общему строю, характеру и цели написания и в конце концов все предназначались для одного и того же народного книгоиздательства «Посредник», задуманного и осуществленного В. Г. Чертковым, при поддержке Толстого. Поэтому все эти произведения и вошли в один том.

За исключением одного произведения, все были напечатаны при жизни Толстого. Одно — «Нагорная проповедь», не прошедшее целиком старую духовную цензуру, ныне печатается впервые. Кроме того, печатаются впервые некоторые начальные редакции рассказов; они настолько отличаются от последующих, что помещены в «вариантах». То же нужно сказать и относительно набросков и многих отрывков старшего по времени рассказа «Чем люди живы» которые печатаются также впервые, за исключением наброска «Архангел», напечатанного в 1914 г. в газете «Речь».

Вторую часть настоящего тома занимают преимущественно статьи Толстого; они написаны им в период 1882—1887 гг.

Центральное место среди этих статей занимает трактат «Так что же нам делать?», отличающийся очень сложной историей своего писания и печатания. Помимо рукописных вариантов к известным в печати произведениям Толстого, здесь публикуются впервые и четыре до сих пор неизвестные статьи Толстого: две законченные — Речь о народных изданиях и «Страдание святых Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины» — и одна незаконченная — «Китайская мудрость», а также два плана — одной ненаписанной статьи («Московские прогулки») и одной, лишь отчасти написанной («Сиддарта, прозванный Буддой»).

Впервые вводится в число произведений Толстого и статья «Греческий учитель Сократ», написанная первоначально А. М.

Калмыковой, но настолько радикально переделанная Толстым в первых ее девяти главах, что она с полным правом в этой части может считаться произведением Толстого. Перепечатываем здесь петитом и остальные четыре главы статьи, выделяя корпусом исправления Толстого.

Редакция Народных рассказов, за исключением рассказа «Где любовь, там и бог», редактированного А. И. Никифоровым, принадлежит В. И. Срезневскому. Весь остальной материал, за исключением «Речи о народных изданиях», приготовленной к печати П. С. Поповым, редактирован Н. К. Гудзием.

Н. Гудзий.
А. Никифоров.
В. Срезневский

Редакционные пояснения.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни Толстого*, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Толстого (произведения, окончательно не отделанные, не оконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»). Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый» вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [*1 неразобр*.] или [*2 неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаен явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Л. Толстого, *** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Три старца

А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него (Матф. VI, 7, 8).

Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловецкие. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы — которые лежали, которые закусывали, которые сидели кучками — беседовали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить взад и вперед по мосту. Подошел архиерей к носу, видит, собралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море и говорит, а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, куда показывал мужичок: ничего не видно, только море на солнце блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и народ архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.

— Не стесняйтесь, братцы, — сказал архиерей. — Я тоже послушать подошел, что́ ты, добрый человек, рассказываешь.

— Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал, — сказал один купец посмелее.

— Что про старцев? — спросил архиерей, подошел к борту и присел на ящик. — Расскажи и мне, я послушаю. Что́ ты показывал?

— Да вот островок маячит, — сказал мужичок и показал вперед в правую сторону. — На этом самом островке и старцы живут, спасаются.

— Где же островок? — спросил архиерей.

— Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так полевее его вниз, как полоска, виднеется.

Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать ему ничего без привычки.

— Не вижу, — говорит. — Так какие же тут старцы на острове живут?

— Божьи люди, — ответил крестьянин. — Давно уж я слыхал про них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел.

И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой и как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру пошел ходить и набрел на земляночку, и увидал у земляночки одного старца, а потом вышли и еще два; покормили и обсушили его и помогли лодку починить.

— Какие же они из себя? — спросил архиерей.

— Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске старенькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть стала, а сам всё улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, седая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул как ушат, не успел я и подсобить ему, — тоже радостный. А третий высокий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, брови на глаза висят, и нагой весь, только рогожкой опоясан.

— Что ж они говорили с тобой? — спросил архиерей.

— Всё больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спрашивать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку взял, улыбнулся, — и затих большой. Только сказал древний «помилуй нас», и улыбнулся.

Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к островам.

— Вот теперь вовсе видно стало, — сказал купец. — Вот извольте посмотреть, ваше преосвященство, — сказал он, показывая.

Архиерей стал смотреть. И точно увидал черную полоску — островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от носу к корме, подошел к кормчему.

— Какой это островок, — говорит, — тут виднеется?

— А так, безыменный. Их много тут.

— Что, правда, — говорят, — тут старцы спасаются?

— Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыбаки, — говорят, — видали. Да тоже, бывает, и зря болтают.

— Я желаю пристать к острову — повидать старцев, сказал архиерей. — Как это сделать?

— Кораблем подойти нельзя, — сказал кормчий. На лодке можно, да надо старшого спросить.

Вызвали старшого.

— Хотелось бы мне посмотреть этих старцев, — сказал архиерей. — Нельзя ли свезти меня?

Стал старшой отговаривать. — Можно-то можно, да много времени проведем и, осмелюсь доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слыхал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские.

— Я желаю, — сказал архиерей. — Я заплачу за труды, свезите меня.

Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех старцев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в нее, подал архиерею. «Точно, — говорит, — вот на берегу, поправей камня большого, три человека стоят».

Посмотрел архиерей в трубу, навел, куда надо; точно, стоят трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький; стоят на берегу, за руки держатся.

— Подошел старшой к архиерею. — Здесь, ваше преосвященство, остановить[ся] кораблю надо. Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы тут на якорях постоим.

Сейчас распустили тросо, кинули якорь, спустили парус — дернуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавочку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли как камень кинуть; видят — стоят три старца: высокий — нагой, рогожкой опоясан, пониже — в кафтане рваном и древненький сгорбленный — в ряске старенькой; стоят все трое, за руки держатся.

Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел архиерей.

Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей:

— Слышал я, — говорит, — что вы здесь, старцы Божии, спасаетесь, за людей Христу-Богу молитесь, а я здесь, по милости Божьей, недостойный раб Христов, Его паству пасти призван; так хотел и вас, рабов Божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать.

Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают.

— Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите, — сказал архиерей.

Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древнего; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древнего. И улыбнулся старший, древний старец и сказал: Не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, себя кормим.

— Как же вы Богу молитесь? — спросил архиерей.

И древний старец сказал: Молимся мы так: трое Вас, трое нас, помилуй нас.

И как только сказал это древний старец, подняли все три старца глаза к небу и все трое сказали: «Трое Вас, трое нас, помилуй нас!»

Усмехнулся архиерей и сказал:

Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. Полюбил я вас, старцы Божии, вижу, что хотите вы угодить Богу, да не знаете, как служить Ему. Не так надо молиться, а слушайте меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего писания научу тому, как Бог повелел всем людям молиться ему.

И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл Себя людям: растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого и сказал:

— Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех молиться. Слушайте и повторяйте за мной.

И стал архиерей говорить: «Отче наш». И повторил один старец: «Отче наш», повторил и другой: «Отче наш», повторил и третий: «Отче наш». — «Иже еси на небесех». Повторили и старцы: «Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не так сказал; не выговорил и высокий, нагой старец: ему усы рот заросли — не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древний беззубый старец.

Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смотрели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двадцать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала.

И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве Господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и еще раз сказать ее, и еще повторить, и другие прочли всю молитву.

Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с старцами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобызал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку и поплыл к кораблю.

И плыл к кораблю архиерей, и всё слышал, как старцы в три голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно было при месяце: стоят на берегу, на том же месте, три старца — один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло корабль, и поплыли дальше. Прошел

архиерей на корму и сел там, и всё смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок скрылся, одно море играло на месячном свете.

Улеглись богомольцы спать, и затихло всё на палубе. Но не хотелось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море туда, где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как радовались они тому, что научились молитве, и благодарил Бога за то, что привел Он его помочь Божьим старцам, научить их слову Божию.

Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где островок скрылся. И рябит у него в глазах — то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе месячном: птица ли, чайка или парусок на лодке белеется. Пригляделся архиерей. «Лодка, — думает, — на парусе за нами бежит. Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус непохоже. А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать архиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему:

— Погляди, — говорит, — что это?

— Что это, братец? Что это? — спрашивает архиерей, а уж сам видит — бегут по морю старцы, белеют и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю приближаются.

Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал громким голосом:

— Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут! — Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: бегут старцы, рука с рукой держатся — крайние руками машут, остановиться велят. Все три по воде, как по суху, бегут и ног не передвигают.

Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос:

— Забыли, раб Божий, забыли твое ученье! Пока твердили — помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило — забыли, всё рассыпалось. Ничего не помним, научи опять.

Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал:

— Доходна до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас учить. Молитесь за нас грешных!

И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились старцы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было сиянье с той стороны, куда ушли старцы.

Рукописные варианты

[Вариант рассказа «Три старца».]

Затихло все и задумался архіерей. Вдругъ услыхалъ онъ — говоритъ въ сторонѣ отъ него народъ и показываетъ что то. Поднялъ голову архіерей, прислушался.

— Лодка и есть, говоритъ купецъ.

— Какая же лодка, когда насъ догоняетъ. Гдѣ же лодкѣ догнать? Развѣ мы плохо идемъ? А она догоняетъ. Рыба что ль?

Поднялся архіерей, видитъ: точно, бѣжитъ что то за кораблемъ, то чернѣется, то бѣлѣется. Всталъ архіерей, подошелъ къ народу:

— Что жъ это вы думаете? — спросилъ онъ.

— Лодка на парусѣ и есть, — сказалъ купецъ.

— Да нѣтъ, во́ позади и еще одно что то такое. Подошелъ старшой съ корабля. Взялъ трубку, посмотрѣлъ: и то, говоритъ, за нами кто то гонитъ, махаетъ человѣкъ. Маленькая лодочка! И человѣкъ. Взялъ трубу архіерей, навелъ — что за чудо: старецъ въ чемъ то плыветъ и махаетъ. Сказалъ онъ старшому. Убрали паруса, остановили ходъ корабля, стало простымъ глазомъ видно: бѣжитъ средній старецъ по водѣ, а позади и большой идетъ, а сзади всѣхъ древній поспѣваетъ. Всѣ три по водѣ, какъ по суху, бѣгутъ и ногъ не передвигаютъ. Ужаснулся народъ. Развелъ руки архіерей, смотритъ, слова сказать не можетъ. Приблизился средній старецъ къ самому кораблю, увидалъ архіерея.

— Забыли, рабъ Божій....

Подплыли и другіе два старца. Забыли, научи опять. Воздохнулъ архіерей и сказалъ:

Доходна, видно до Бога, отцы святые, и ваша молитва. Будетъ съ васъ и того. И не мнѣ васъ учить.

И поклонился архіерей въ землю старцамъ и весь народъ на кораблѣ.

Подняли опять паруса и поплыли, а старцы долго еще виднѣлись на томъ же мѣстѣ и блестѣли на мѣсячномъ свѣтѣ.

Комментарии В. И. Срезневского[1]

«Три старца».

История писания и печатания.

Сюжет сказания о трех старцах принадлежит к числу бродячих. Оно известно в различных видоизменениях: вариируется число старцев, их молитвы, место действия и проч. Повесть эта известна и в устных пересказах, каков, например, рассказ сказочника Ерофея, записанный (М. И. Семевским)[2] и в письменных памятниках. В последнем случае сказание связывается с западной переводной повестью о явлениях Августину, еп. иппонийскому (354—430 гг.), которая в России была известна с XVI в. князю А. М. Курбскому, слышавшему ее от Максима Грека, но не знавшему, была ли она прежде него переведена на русский язык.[3] В повести Августина вместо трех старцев Толстого изображен один старец, которого Августин увидел, возвращаясь с Карфагенского собора, на одном острове Средиземного моря «пустом и ненаселеном человеки», куда занесло его корабль. Пустынник был «наг» и «многолетен»; он был рожден в «Африкийской земле», «от языка же италийска». Из его ответов на вопросы Августина оказалось, что он знает молитвы «отнюд неискустно и несогласно», «горняя долу поставляя», т. е. перепутывая порядок слов. Августин удивлялся его преданности богу и в то же время его «неискуству», и стал учить его молитвам. Он покрыл его наготу своей одеждой и поплыл дальше, когда ветер стал попутным. На второй день «кораблеицы» сверху увидели на море человека, который гнался за кораблем, как «птица скоропарящая или стрела, стреленная от лука», при приближении просящего подождать его: «ждите, рече, господа ради, ждите мене грешного». Епископ, вышедший наверх, увидел старца, плывущего по морю, половину одежды разослав по воде и половину держа вместо

паруса. И достигнув корабля, старец взошел на верх с мольбой к распростертому перед ним Августину: «Восстани, о епископе, молю ти ся, забых молитвы оны, тобою изученные, и молю ти ся ныне, паки изучи ми их, яко же лепо». И вытвердив снова молитвы, он сошел с корабля, сел опять на свою одежду и вернулся в пустыню так же точно, проплыв по морю «со скорейшим стремлением по первому обычаю».

Мы видим, как близка основа рассказа Толстого к сказанию Августина, но конечно, не им воспользовался Толстой; несомненно он познакомился с этой легендой по передаче устной, народной, русской. По словам П. И. Бирюкова[4] Толстой слышал сказание от олонецкого сказителя В. П. Щеголёнка[5] (см. о нем выше в комментарии к рассказу «Чем люди живы»); нужно впрочем отметить, что в тетради с записями Толстого сказаний и легенд, слышанных им от Щеголёнка, этого сказания не сохранилось. Нельзя не подчеркнуть, что в своем рассказе о трех старцах Толстой, чтобы придать жизненность повествованию, отодвинул от него чудесность, которая является необходимой во всех сказаниях о трех старцах, и представил догоню их по воде видением епископа.

Работа Толстого над рассказом «Три старца» (три рукописи и корректура) может быть подразделена на две редакции и стилистическую переработку текста, которая была названа переписчиком третьей редакцией. Главное различие двух редакций в изображении видения или сна архиерея: Первый рассказ о сне ближе передает старое сказание, так как здесь нечто таинственное видят все присутствующие (наприм. «кораблеицы» в сказании Августина). Толстой в первом очерке рассказа изобразил, что народ первый заметил бегущих по воде старцев и архиерей, услышав общий говор, подошел к собравшимся (сон его виден только из слов: «затихло всё и задумался архиерей... поднял голову»). Во второй редакции Толстой отступил от обычного сказания: видит архиерей первый (изображается его сон: «рябит у него в глазах, то тут, то там свет по волнам заиграет. Вдруг видит»...): он поднимается, показывает кормчему прося разглядеть, что видно на море; кормчий в ужасе кричит, поднялся народ.... Отметим

любопытную мелочь: в первой редакции старцы идут по воде, не держась друг за друга; во второй — держатся рука с рукой, как при первой встрече на острове; архиерею вспоминается во сне ярче всего то первое впечатление, которое у него было от вида старцев в действительности.

Писание рассказа «Три старца», вероятно, относится к июню 1885 г. В одном письме к В. Г. Черткову (Ч) 18 июня 1885 г. Толстой говорит о написании нового рассказа для «Посредника»: «я написал еще рассказ для вас, и, кажется, лучше прежних». Составительница объяснительных примечаний к этим письмам, А. К. Черткова[6] высказывает мысль, что этот рассказ именно «Три старца» — «легенда очень любимая» Толстым. Л. Я. Гуревич предполагает, что Толстой говорил здесь о другом рассказе — о «Свечке».

«Три старца» напечатаны в первый раз в «Ниве» 1886, 13, столб. 330—334 (цензурное дозволение 26 марта 1886 г.). К заглавию рассказа «Три старца» в «Собрании сочинений Л. Н. Толстого» (изд. 10 и след.) прибавлен подзаголовок «Из народных сказок на Волге», которого нет во всех рукописях рассказа и в первых в 1886 г. изданиях «Собрания сочинений». Нет в рукописях и того подзаголовка, который помещен в первом издании рассказа в журнале «Нива»: «Три старца, народное сказание». Из этого можно видеть, что эти прибавленные подзаголовки, не только распространенный, но и короткий, принадлежат не Толстому. Что не волжское предание послужило основой рассказа, а скорее северное, видно из названий местных, северных. Интересно, что рассказ Толстого послужил со своей стороны основой новой сказки о Трех старцах, которые знают только одну молитву, «Трое вас, трое нас, помилуй нас», и которые заучивают при помощи архиерея «Отчую» и потом, забыв эту молитву, вслед за кораблем «чешут по воде». Этот рассказ записан в Енисейской губернии в 1900-м году А. А. Макаренком.[7] Из сказанного видно насколько велика степень живучести этого сюжета.

Описание рукописей.

Рассказ сохранен в трех рукописях и корректурном оттиске. Рукописи принадлежат Архиву В. Г. Черткова, переданному в ГТМ, и хранятся в папке 8 под №№ 27, 28 и 29. Корректура — в БЛ под шифр. V, 9, 5 лл.

1) № 27. Автограф, F° и 4°, 4 листа. Писано, видимо, за один присест, с небольшими помарками. На об. листа 1-го — отрывок из «Смерти Ивана Ильича» (не первой редакции, чужою рукою). Заглавие: «Три старца» и ссылка на Евангелие от Матфея. VI. 7—8. *Начало:* «Плылъ на кораблѣ Архіерей изъ Архангельска города въ Соловецкіе»... На обложке рукой А. Л. Толстой: «Три старца (черновой)».

2) Рукопись № 28. Копия рукой В. Г. Черткова, с многочисленными поправками и дополнениями Толстого. 4°, 14 лл. На обложке синим карандашом: «Вторая редакция». Заглавие: «Три старца». *Начало* (после эпиграфа из ев. Матф. VI. 7—8): «Плылъ на кораблѣ архіерей изъ Архангельска города въ Соловки»... Изменения и исправления значительны: Напр. в 1-й редакции, старцев, бегущих по морю, сначала увидел не архиерей, а другие путники, которые стали смотреть и рассуждать; архиерей подходит, спрашивает и потом вглядывается и видит старцев. Во второй редакции старцев видит сначала архиерей, остальные спят. Архиерей подходит к кормчему и просит посмотреть, что̀ виднеется; тот видит старцев, ужасается и кричит; народ вскакивает, и все видят старцев, подошедших к кораблю.

3) Рукопись № 29. Копия рукою В. Г. Черткова с предыдущей. 4°, 13 листов линованной тетрадной бумаги, с поправками и дополнениями рукою Толстого и другою рукой. Заглавие: «Три старца». *Начало* (после эпиграфа из ев. Матф. VI. 7—8): «Плылъ на кораблѣ Архіерей изъ Архангельска города въ Соловки»... Листы с признаками пребывания в типографии. Видимо, с этой рукописи набирали для изд. 1886 г. Поправки рукой не Толстого внесены из корректуры. На обложке синим карандашом: «Третья редакция».

4) Корректура для изд. 1886 г. (Соч. гр. Л. Н. Толстого, ч. 12. М. 1886), с поправками и дополнениями самого Толстого и С. А. Толстой и подписью С. А. Толстой к печати.

В основу издания положен текст «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть 12. Произведения последних годов. М. 1886», стр. 154—162.

Хаджи-Мурат

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали, и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он, по своей грубости и аляповатости, не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил рознообразных живых существ, растений, для поддержания своей жизни», думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, всё еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он всё стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я, — всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирнòй аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были, из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов, и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком, в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум» и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое

стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, т. е. «что нового?»

— Хабар иок, — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с чернозагорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске, с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получить три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросить Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо, — сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел. — В Гехах надо вот что, — начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурèк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во всё время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных, бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во всё то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул

к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной, прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило всё его

семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам деревь, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей деревь.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, чорт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал

нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст, — сказал Панов.

— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший разговор, — а по моему совету надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдать.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил Авдеев.

— Надо вишь овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведывала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать

отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки деревьев. Вдруг из-за этого не перестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья деревьев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Панова, — бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай, пьян нарежусь.

— А, бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то, что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. — У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо. — сказал Панов.

— А вот верить ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь

царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поровнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. — Ружье иок, шашка иок, — говорил он, показывая на себя. — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди что ли ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Панов, — осторожней, впереди себя вели итти. А то ведь эти гололобые — ловчаки.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондаренко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И чорт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — А свежо стало,— прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не

жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью: здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый, белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала

Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на всё согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной, дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, чорт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, т. е. в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне итти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он,

боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну, что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо уж выступать.

— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала

— Eh bien, vous aller me dire ce que c’est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C’est un émissaire, n’est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c’est moi qui vais vous le dire!

— Vous?[1]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его, с черными хозырями на белой черкеске, была выше откинувшейся, свеже бритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком, верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку.

Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным прòездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина.

Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом так же, как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожàры, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь, и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и всё удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во всё продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха» и крики: «Хаджи-Мурат идет» и плач жен Шамиля это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Ватою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выдти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские

ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания, в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук

винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу, — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а итти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, т. е. спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый, волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно

же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь косится.
— Ух, собака, должно быть.
Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующим войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и по-настоящему надо было через него вести всё дело. Воронцов же сделал всё сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал, как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть, и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова

Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что всё, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак, — сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix,[2] — сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau,[3] — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой по середине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади, и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и [он] попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l’occasion. Donnez-lui la montre,[4] — сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его итти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c’est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouver pas m’empêcher d’aller voir madame la générale.[5]

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал всё, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности, — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ, —сказал Воронцов, — но...

— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, т. е. главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад, — один в кисть руки

(этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во всё время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев всё так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Петра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик-отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеянное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, стòишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному итти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было, как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить, не зачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже

давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного.

Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того, как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне,

«защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бо̀льшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7-го декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance.[6]

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он на их глазах почти убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому, если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то,

что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, чтò будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать всё, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur![7] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в 49-м году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre.[8]

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous,[9] — сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Всё о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort. But all is well what ends well, —[10] сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шопотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску, на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка, обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед, и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат

отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а, скорее, строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он, хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил ты молодым офицерам), — что наш государь так же милостив,

как и могущественен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл всё это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю, Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага, и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно

уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться всё то, что он видел.

И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, — сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) всё с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названный, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать,

что если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты всё, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, — он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, — говорит, — убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ. — Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша доверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как

его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». — Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. — Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». — Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «ля-илляха иль-алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш, — сказал он улыбаясь. — Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой, рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял всё одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги

подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он всё Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а всё хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув

головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только

рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был не рассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе, — сказал он возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. — Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас,

сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». — Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это всё было хорошо, — продолжал он, — потом всё испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Всё бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал

ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе, — и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь, сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — всё поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо, — сказал он. — Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат. — И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не

сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал собственно только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза: а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более, что русские иначе смотрят на всё; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг

человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я, не переставая, воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было, — докончил свой рассказ Хаджи-Мурат, — но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка вострa. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня всё мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу, — сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится, насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками, — единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

«Я ему ответил, что всё это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для

сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

«Вы поймете, любезный князь, что всё это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы итти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

«Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, итти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо итти по ней, — будь, что будет.

«Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Всё, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений,

которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

«Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это — истинно-достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

«Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами, — потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас или спустя несколько времени после его возвращения.

«Вот всё, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24-го декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1-го января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю, в числе других дел, и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu,[11] главное за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что, по небрежности начальства, был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1-го января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что, благодаря дурному расположению духа Николая, Хаджи-Мурат

остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым, седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L’empereur?[12] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer,[13] — очевидно, с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая всё то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное, белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов и подпертые высоким воротником ожиревшие, свеже выбритые щеки, с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу выражение

недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un,[14] — сказала маска останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая, белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня, — сказал он окоченевшему от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни

стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись Богу, — он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения, — и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчеркнуто-выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! Ваше Императорское Величество.

— Молодец!

Ученик всё стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, Ваше Императорское Величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова: «Копервейн, Копервейн», — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. «Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия», — сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. «Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе: потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о

выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, Ваше Величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48 года конституцию и потому, выражая шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я», — опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану Вашего Величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда, — сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противуположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что для того, чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45 года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45 года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с

логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз и, когда экзаминатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «*Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу*, *смертной казни у нас нет. И не мне*

вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай», подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате чтò прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, т. е. единственных в то время свободных людей, в удельные, т. е. в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную, седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на его, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и,

пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог, через своих слуг, так же, как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Всё это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie, — сказал Ливен. — Il nous faut cent mille hommes à peu près dans chacun de ces deux pays.[15]

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne, — сказал он.

— Oh, oui, c’était un coup demaître de Maeternich de nous en avoir laissé lambarras...[16]

В этом месте разговора вошла императрица, с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней

Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом

кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей, целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему итти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что̀ находили, главное же, ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись,

появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими, и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь всё это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — всё это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый, серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности

смерти и этим заслуживал и награды и уважение и здешних товарищей и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни, — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», — скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая, белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она [была] верной подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, всё было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены развaленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями всё с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда, старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по

отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая, щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый, — сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник, — сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды, — сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул, — отвечал Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его, — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли, — сказала Марья Дмитриевна. — Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь, — сказала Марья Дмитриевна улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. — Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, — сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри, — сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо, — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого чорта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. — Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов, — закончил он и пошел в гостиную,

куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе, как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере, на глазах будет, — сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права, — сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать, — хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во всё время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему всё равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с

первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице, т. е. в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими так же, как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено, по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но

сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих: «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная с дорожкой по середине красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она

так же, как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя всё одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели: «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так всё время, пока Шамиль проезжал двор от одних внешних ворот до других внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он, с тем же неизменно каменным лицом, проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галлереи своего помещения при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним, — всё это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и

прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, 18-летней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий, седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и краснорумяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина, — Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его, Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше

всех их. Все они так же, как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с Богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, Бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там,

или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья и, главное, его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь, — сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но всё еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что если он выйдет назад ко мне теперь, до Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась

с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух — Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названным братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению, — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом:

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой, — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

«Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

«Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми, мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя, — сказал он.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются, — сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть, — сказал он переводчику, — угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном, — оба голодные остались. — Он улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену. — Когда увидимся?

— Прощай, прощай, — улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. — Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел, — сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так, — сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю, — сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку. — Дай Бог вам сына выручить. Улан якши, — прибавила она. — Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело. — Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон, — передал переводчик слова Хаджи-Мурата. — Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж, — убьет, значит, так Алла хочет. Ну, прощай, — сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка, — сказал он, обращаясь к ней, — спасибо.

— Дай Бог, дай Бог семью выручить, — повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду, — ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло, и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть, — сказал Петроковский.

— Дай Бог, чтобы побольше русских таких плутов было, — вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна. — Неделю у нас прожил; кроме хорошего ничего от него не видали, — сказала она. — Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич, — уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна, — сказал Бутлер. — Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее

присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того, чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и непринятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Всё напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого, и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А чтò же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама, да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него, — говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По Высочайшей Его Величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры, — сказал он. — Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому всё, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим, и, как добрым именем, всем, всем решительно, как... — здесь голос его задрожал, — я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Всё это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но,

наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав всё жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его, и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и всё бы было хорошо», думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или,

скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал, — сказал Иван Матвеевич, — сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, чорт их знает. А надо, надо выкрутиться, чорт его возьми. У того чорта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский, и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же, как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его

успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выдти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на всё желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем итти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к 12-му числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши, — сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез, — сказал Кириллов.

— За две недели теперь, — сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре. — Давай.

— Сейчас дадим, — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. — И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем, чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и всё. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в

папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст Бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат. — Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того, как я побыл у русских, уже не поверит мне», думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. — Лети, — сказали они, — туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут. — Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня», думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет

бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи, и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко, — сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово, — сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья, Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами

пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» и пронзительно завизжал. Потом всё затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для

того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебрянник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в

блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец-джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий, юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные, сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку, — сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди, скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на

службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, т. е. только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил всё больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледносерый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После

отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать, — дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он всё последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитриевна. — Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она всё так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так молча они совсем уж подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поровнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый, — сказал Каменев. — А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите, — сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни. — Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное, — и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку, — сказал Каменев, слезая с лошади. Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться, — сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. — Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали, — сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер, — сказал Каменев.

— Да как же это всё случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я всё подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам, — сказал Каменев, — Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был, — сказал он. — Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова, — сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. — Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна, — какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было всё дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25-го апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал

порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел прòездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.

— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат всё прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прòездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с прòезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь

мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от

себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо,

налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было всё равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат», подумал Хаджи-Мурат.

После того, как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик-татарин. Карганов спросил у старика, не

видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата, живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак

Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага так же, как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но так же, как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли [и] вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел: «Ля-илляха иль-алла» и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи с засученными рукавами и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него.

Бараньи, прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот, с выдающеюся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать не расстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались всё ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Всё это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от

дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

Варианты, конспекты, записи и неоконченное

Хаджи-Мурат

I. Записи, пометы и конспекты

№ 1

[Запись 1896 г.].

Газета «Кавказ» 5 ноября 1891 г., свидание с Шамилем.

Брошюра Неверовского: «Истребление аварских ханов», 1847 г.

Гюль-Салим, Мариам-Шабан, Альджа, Карим-гюль, Патимат.

Нур-Магома, Джамал.

Аймисей,

Саит-юрт,

Майортуп,

Автуры.

В Хунзахе старый ханский дворец обращен в казарму.

Турлучный плетень обмазан глиной.

Саманный кирпич.

С матерью ходил за дровами.

Требование русских властей чинить дорогу.

[18]25. Проповедь Кази-Муллы.

[18]30. Осада Хунзаха, отец убит, поездка в Тифлис к Розену.

[18]34. Гамазат и его убийство. Управление Аварией.

[18]37. Ашильты. Фези пришел в Хунзах <и Ахмет-Хан>. Награды, борьба с Ахмет-Ханом.

[18]40. Арест и бегство. Сражения. Цельмес-аул.

Ахмет-Хан аварский, генерал майор, и враждовал с русскими.

Гасан, брат Ахмет-Хана.

Ходили в каракуле во время жатвы.

Папахи навыворот.

Приносят траву, сушат на крыше и там же спят.

У женщин желтые штаны и красные сафьянные сапоги.

Перетаскивают снопы.

«Даллай» — веселая аварская песня.

Из ущелья выходит пар и разошелся по горам — видны только вершины, а потом скрылись вершины.

Злые собаки. Улашин.

Красные шаровары, желтые сапоги, серосиние бешметы с красными ластовиками, обшитые на груди монетами, и платок на голове по-египетски.

№ 2

[Запись 1897 г.].

Селям алейкум рахматулла.

Месахи акебар начало.

1. Садык. Мазуха.
2. Юсуф. Бабилатаф.
3. Гали. Зулейха.
4. Салих. Мариам.
5. Закир. Газиза.
6. Шакир. Мафтуха.
7. Ибрагим. Бадриджихана.
8. Измагил. Фахриджихана.
9. Исхак. Гайша.
10. Галиакбар. Файзерахман. Магиджган.

№ 3 (рук. № 2).

[Пометы 1897 г. к «Сборнику сведений о кавказских горцах», *вып. I, II, III*, *IV, VI, VII]*

Материалы Х[аджи] М[урата].

1) О примирении за убийство. С[борник] К[авказских] Г[орцев]. Т. I, о браках. — Адаты. Комаров, стр. 35.

2) Свадебные обряды, похороны, оплакивания. С[борник] К[авказских] Г[орцев], I, Иполитова, 12—15, ibid., Гадания — 18 стр., ibid. Джины и падающие звезды. Чудные песни о мщении и удальстве, ibid., 28—31.

3) Приветствия, проклятия. С[борник] К[авказских] Г[орцев], народные сказания, 6 стр.

О коне, ibid., 11 стр. Крыши русские, как спина у осла. Пьяная мышь, 12.13. *Каждую ночь зайцы совещаются, как [бы] им прогнать орлов. Ты лисица, а я лисий хвост, 14. Очередная лодка.* Рассыпал *как просо.* Поговорки. Пословицы, ibid. от 15 до 20. Песни, ibid. — 34. Хунзакские глаза и брови. Прелестная песня, 37, 38. Приготовления к походу, 39. Перебранки на войне, 40. *Как орел поджавши крылья.* Песня о Хочбаре, удивительная, 41, 42.

4) Наср-Эдин, шутки и пословицы казикум[ухские]. С[борник] К[авказских] Г[орцев], I, 70—72.

5) С[борник] К[авказских] Г[орцев], I. Воспоминания Муталима с 15 по 63. Подробности жизни, пищи, ученье.

6) С[борник] К[авказских] Г[орцев]. Из горск[ой] криминалистики, 57, 66.

1) Учение Зикра, 7 молитв. С[борник] К[авказских] Г[орцев], II. Учение Зикра, 6 стр. Как проповедывался хазават, ibid., 7. Воззвание к народу, ibid., 12.— Шариат, тарикат и марефат, 15.

2) История Джемал-Эдина с Аслан-Ханом и Кази-Муллою. С[борник] К[авказских] Г[орцев], учение тариката, 3—6. Нравственное учение, — 10.

Любовь. — Я есмь — ты. 16 и др.

Тарикатские легенды. О сердце правоверного (30 стр.).

То, что испытывает дед, стр. 35, 36. Красноречие в письмах. 36—48. Как обращаться с людьми.

3) *Материалы для истории Дагестана*, 7. Подробности о Мулле-Магомеде и Аслан-Хане, 28, 29.

События 42-го года, 35, 36.

4) Мехтул[инские] ханы. Почему Паху-Бике держалась русских, стр. 7.

Солтанет-бике за Шамх[алом] Тарков[ским].

Влезают на крышу, чтоб видеть шествие.

5) Свадебные обычаи у Кабард[инцев] — до 24.

6) Горе по мертвому. Восп[оминания] Мут[алима], стр. 3.

7) Записки Муталима. О проповеди хазавата, стр. 5. Навесили на губу, там же, стр. 8. Как бежали в горы, 10, 11, 12.

Дворец хана, 17, 18, 19, 20—25. В яме. Как мать любит его.

Отрезанные уши. У хана сотня. Ходит переодетый.

История закованного Юсуфа в яме (30). Освобождение из ямы. Прокалывание языка (32). Что будет при конце света (59). С[борник] К[авказских] Г[орцев], III. Низам Шамиля.

1) О Наибах. Сотни, десятки. Молитва, 15—18.

Привилегир[ованные] сословия Кабард[инского] ок[руга]. Подробности обычаев, мало читано.

2) Время молитв.

Домашняя и семейная жизнь Дагест[анских] горцев, 1, 2, 3 стр.

3) Женщины у фонтана (5).

Хинкал и печенье хлеба у старухи (6).

4) Женщины не закрывались до мюридизма (8).

5) Бреют голову друг другу. Бороду рамкой обрезают (8).

6) Перебирая четки и глядя кверху (8).

7) Солнце светит до полудня зимой.

8) Игра в камень (9).

9) Едят спичками.

10) Женские работы (12).

11) Закат. Нет нищих.

13)[17] Шутки работницы.

14) Еще работы помочью (14).

15) Работы мужские (14).

16) Горцы няньчатся с детьми.

17) Ремесленные работы (18).

18) Сватьба. Гулянье. Берегись, дошла очередь (23).

19) Брак, 24.

20) Брачный пир, зурна, 29.
21) Буттай — папа, бабай — мама.
22) Характерная старуха. Как живут лаки (6).
23) Устройство жилищ, ibid., 8, 9, 10.
Кунацкая с украшениями и стихами.
24) По заметкам на горах определяли время года (12).
25) У фонтана камни, юноши сидят глядя на девушек (13).
26) Одежда мужчин. Мужчины с детьми (14).
27) Разговоры (15, 16).
28) Вечерняя молитва и после нее (17).
29) Освещение мечети: тряпка, напитанная салом на выточенном камне.
30) Особенная молитва в пятницу (18).
31) Хутба — особая молитва (19, 20).
32) Ужин — посылка супа соседу (20, 21, 22).
33) Молитва после ужина.
34) Давар, чтение Корана (23).
35) Как укладывает спать (24).
36) Первый день весны, костер, стрельба (25).
37) Разговор матери с отцом. Мальчик хочет итти драться (27).
38) Работы весны (28, 29).
39) Праздник вывоза плуга в поле (30).
40) Как пашут (32).
41) Носят обедать пахарям (34).
42) Куры роют крыши (34).
43) Пастухи, как пасут.
44) Требования вооруженных (36).
45) Отношения к неверным. Перебранка с матерью (37).
46) Караулы.
47) Спят на камнях у мечети. Вечер, беседы женщин.
48) Обычное утро в ауле (39).
49) Речка и мельницы (40, 41).
50) Первый дождь (42).
51) Огороды, овощи — 43.
52) Работа женщин в поле (44).
53) Натирания глиной, расписывание. Кизяки на кровле (45).

54) Чуреки с мятой (46).

55) Путешествие по Дагестану. Местность горная и средняя (3 стр.).

56) Хаджи, чалма, четки, часы, красная борода, 18. Опирается на палку.

57) Пастухи тащат убить барана (27).

58) Описание дворца хана (33).

59) Костюмы и пляска «той», 35.

60) Уголовные случаи, — 1—25.

61) С[борник] К[авказских] Г[орцев], VI. *О чеченцах.* Тарас русский — стоял мертвый (36).

62) Песня чеченцев, 54.

63) Анекдот о свинье (56).

64) Кабардинск[ая] старина.

65) Лег подперев голову плетью (20).

66) Сулук.

67) Отрубили голову (23).

68) Подошвы (47).

69) Сказка Анделирская (51).

70) Истязует себя треногою. Гладки, как коровы яловые (70).

71) Строгает палочку.

72) Вытянув мертвому как следует руки и ноги (80).

73) Все сказки Кабардинские, 1—103.

74) С[борник] К[авказских] Г[орцев], IV. *Природа и люди Зак[аталъского округа].* Растительность и животные, 12 стр., жилища, одежда 23, 24... сватьба, похороны, 43.

Пословицы (60).

Истинн[ые] последоват[ели] Тари[ката].

75) Обязанности мюрида (5).

Значение Шейха (9).

76) Отречение (10, 11).

77) Не заботиться о буд[ущем] (12).

78) Степени созерцания (13).

79) Обязанности шейха (15).

80) Всепрощение (16).

81) Пророк лучше, чем сами (17).

82) Ичкерит — умирая завещал (13).

83) Голубь — народн[ая] сказ[ка] (3).
84) Сказка прекрасная (4, 5, 6, 7).
Сказки — читать.
Пословицы.
85) Как живут лаки (Кунаки по преданию) (2).
86) Выгон на жатву *(Фатиха)* (3).
87) Караулы жниц (7).
88) Время жатвы — 8, 9.
89) Наряд девушек. Выход на жнитво (11).
90) Шутки парней с девушками, 12, 13.
91) Молитва, 14.
92) Возвращение домой (15).
93) Отношения жениха с невестой (17).
94) Увоз девушки и изнасилование (21).
95) Как носят тяжесть (22).
96) Молотьба и саман (23).
97) Форма скирдов (24).
98) Топливо: бурьян и кизяк (24).
99) Невеста должна говорить вполголоса. Сватьба осетин (28).
100) Из горск[ой] кримина[листики]. Воззвание (57).
101) Как Таза стал имамом. Пение Зикарло (61).
102) *Из горск[ой] криминалистики.*
С[борник] о К[авказских] Г[орцах], VII. Сказание о Шамиле.
103) О Кази-Мугамете. И о значении мюрида.
104) Описание детства Гамзат-Бе[ка] и убийство ханов (9).
105) Фатиха и гладил бороду (11).
106) Убийство Булач-Хана (12).
107) Письмо Шамиля, красноречие (13).
108) Еще письмо Шамиля (37).
109) Перевозка богатства Шамиля (58).
110) Заткнул полы за пояс и положил шашку.
Всю статью читать.
111) Среди Горц[ев] Северн[ого] Дагеста[на] (Описание местности (6).
112) На площади у мечети — старые и молодые.
113) Как молятся (очень хорошо) (16).

114) Пение, импровизация Чугурчи (19).
115) Как умирают (23, 24).
116) Обмазка стен.
117) Пляска «Хар'а» — 27, 29.
108)[18] Пальба (30).
109) Сватьба (31).
110) Караул лошадей (34).
111) Побитие камн[ями] (35).
112) Как мангуши объявляют решения старшин кадиев и судей (36, 37).
113)[19] Администрация, куалти (38).
114) Праздник. Выборы. Запашки (41, 42, 43).
115) Муталимы (43).
116) Суждения о русских (45).
117) Почему женщины больше работают (48).
118) Идолы русских — крест.
119) Как отнимали оружие (59, 60).
120) Прощание с аулом (61, 62).
121) Обувать собак.
122) Суд о постройке 2-го этажа.
123) Жатва (73, 74, 75).
124) Вука-той — тойоче (76, 77).

№ 4 (рук. № 1).

[Запись 1898 г. на обороте листа рукописи «Репей»]

Османли Гаджиев — дед.
Абдулл — отец.
В 1830 — Кази-Мулла атак[ует] Хунзах.
32, 34. Смерть Кази-Муллы, <Убийство> хан[ов] <убийство> и Гамзат-Бека.
По 36 год Гадж[и]-Мур[ат] управлял Авар[ией] через Нуцал-Агу. Магомед-Мирза брат Нуцал-Ага.
Магом[ед]-Мирза, слабый характер[ом] и здоровьем.

Убили Гарун-Бека.
Сборн[ик], выпуск II, 31.
Гаджи-Ягья.
Ахмед-Хан в 1836.
9 дней привязанный к орудию.
Женат.
Жена чеченка.
Ту-ту женск[ое] имя.
Умен-Гульсеум,
Шамай.
Шамиль берет у тестя Гамзата-Бека имущество Паху-Бике и Буцал-Хана и убивает его, и потому вражда Гад[жи]-Мур[ата] к Шамилю.
В Цельмесе переговоры с Шамилем и Клюге-фон-Клюге[нау]. И мюридизм.
38-й год, первое сражение с русскими.
Убит Бакунин.
Ахмет-Хан убил двоюрод[ных] братьев 3-х.
С 38 по 50 под властью Ша[миля] наибом воевал с русскими.
В 43 г. 7000 бар[анов], 100 л[ошадей], 300 гол[ов] скота.
46. Увез вдову Ахмет-Хана Нох-Бике.
47. 600 гол[ов] скота.
В 49 году хотел взять лавки.
50 хотел взять Хаджи-Агу.
51 убил Золотухина.
Мунафики.

№ 5 (рук. № 3).

[Конспект 1902 г.]

Х[АДЖИ]-М[УРАТ]

25-й год. Ему 13 лет. У деда проповедь Хазавата. Нападение на Хунзах. Смерть отца. Он[20] мюрид и хочет бежать в горы.[21]

28-й год. Он муталим. Казнь женщины. Он нукер Омар-Хана. Женится.

32. Сражение под Гимрами.[22] Дружба с ханами. Скачки, бега. Молодечество.

33. Гамзат-Бек угрожает. Поездка с Омар-Ханом в Тифлис.[23] Удивление, ненависть, презрение.

34. Гамзат-Бек приступает к Хунзаху, выдача Омар-Хана — убийство. Через 2 месяца убийство Гамзата. Родственники Гамзата защищаются во дворце — убиты. Хаджи-Мурат выбран.

35, 36. Управление Аварией, роскошь, увозит другую жену.[24] Награды от русских. Пьянство, слабость нравственная, честолюбие.

37.[25] Фези, приходит в Хунзах, Ахмет-Хан.

38. Интриги против Ахмет-Хана.

39. Набег, — убийство мюрида, который завещает ему Хазават. Переворот. Хочет уйти к Шамилю. Отправляет жену с детьми.

40. Привязывают к пушке, ведут. Бежит и <ух>[26] В Цильмесе держится независимо. Сходится с Шамилем.

[27]43[28] война. (Бакунин убит.)

45. Сухарная экспедиция и взял ханшу в плен.

46. В Кабарду — жену взял еще оттуда.

48. Гергебиль. Начало ссоры с Шамилем.

49. В Темир-Хан-Шуре.

В 50. Хотел взять Елисуйск.

51. У Дербента отогнал табун, убил Золотухина.

Шах-вали, шамхала Тарк[оуского] убил в его доме.

52. Шамиль требует 2500 р., шубу и ружье.

В Батландже защищался от Шамиля. Напал на мюридов, прогнал и отбил лошадей. Муллы приехали мирить. Требовал, чтобы сменили наиба, поставленного на его место.

Подробности.

№ 6 (рук. № 4).

[Конспект 1902 г.]

1) Мальчик видит истязания.
2) Бежит в горы, ловят. Яма.
3) Преданность ханам.
4)[29] Убийство ханов.
5) Власть.[30]
6) Набег. Убийство мюр[ида].
7) Сношения с Шамилем.
8) Арест, бегство.
9) Новая власть.
10)[31] Война.
11) Ссора.
[32]13) Измена.
14) Тоска. Раск[аяние].
15) Смерть.

№ 7 (рук. № 6).

[Конспект 1902 г. (?)]

Хаджи-Мурат
в Аварии [*1 неразобр.*] Хан Авар[ский]
отдельное цар[ство]
Ахмет Султан
<враг русских>
покорения Росси[и]
Хан не пок[оряется]
С гор Аварского хан[ства]
И огромных
по глубоким
[ных горах]
быстрых рек
реку Сулак

в море. Кара
кому. Все
Сулак, а ре[ка]
Недалеко от
на верху кру[гом]
от левого б[ерега]
времени была у
и окоп земл[и]

№ 8

[Запись 1902 г.]

Ляилаха-илла-ллах.
Бисмилля хиррах мани ррахил.

№ 9 (рук. № 5).

[Запись 1902 г. (?)]

Абунунцал-хан Эмбжек Османа, старший.
Умма-Хан 10 лет — меньшой.
Османли Гаджи дед Х[аджи] М[урата].
Сурхай-хан полковник Аварии.

II. Варианты к «Хаджи-Мурату»

[Редакция первая — 1896 г.]

РЕПЕЙ

№ 1 (рук. № 7).

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга[33] убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года: душистые кашки:[34] красные, белые, розовые; «любишь-не-любишь», с своим пряным прелым запахом; желтые, медовые и астровидные, лиловые, тюльпановидные горошки;[35] разноцветные скабиозы; нежные, с чуть розовым пухом подорожники и, главное, прелестные васильки, ярко синие на солнце, голубые и лиловые[36] вечером. Я люблю эти полевые цветы с их тонкостью[37] отделки[38] и чуть заметным,[39] но для каждого своим, нежным и здоровым запахом. Я[40] набрал большой букет и[41] уже на обратном пути заметил в канаве чудный[42] малиновый в полном цвету репей, того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают или выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук.[43] Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву, согнал влезшего в цветок шмеля и, так как ножа у меня не было, стал отрывать цветок. Мало того, что он колол со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку,[44] стебель его был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я оторвал, я[45] измял цветок, потом он своей аляповатостью и не шел к нежным, тонким цветам букета. Я пожалел, что погубил эту красоту, и бросил цветок.

— Какая энергия и сила жизни, — подумал я, подходя к дому.[46]

Дорога до дома шла теперь паровым, только что вспаханным, полем.[47] Я шел в отлогую гору по пыльной черноземной дороге. Поле, по которому я шел, было помещичье, очень большое, десятин в сто, так что с обеих сторон[48] дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного,[49] ровно взборожденного пара.[50] Пахота была хорошая

и нигде не виднелось ни одной[51] травки, ни одного растеньица, всё было черно. Даже на дороге не было растительности,[52] кроме кое-где полоски засыпанных пылью листьев подорожника и клевера. С привычкой высматривать цветы, я замечал эту растительность на дороге; да и глаз искал отдыха от однообразия черного поля.[53] «Экое жестокое существо человек, — думал я. — Сколько уничтожил разнообразных живых существ, разнообразных растений, чтоб приготовить себе поле под корм. Правда, он посеет новые, но... Однако не всё еще он уничтожил», —[54] подумал я, увидав среди этого моря черной земли вправо от дороги, впереди меня какой то[55] кустик. «Да, этот еще жив, — подумал я, подойдя ближе и узнав куст татарина. — Ну, молодец, — подумал я. — Экая энергия. Всё победил человек,[56] миллионы трав уничтожил,[57] а этот боролся, борется и всё еще жив. Правда, еле жив, но жив». Куст «татарина» состоял из трех отростков.[58] Один был оторван. Я[59] вспомнил, как трудно было отрывать цветок, и подумал, что перенес этот куст, если уж отдал этот отросток. На других двух были и колючие листья и[60] на каждом по цветку. Всё это было в ужасном виде, засыпано пылью, вымазано грязью. Видно, он был уже прижат к земле и после поднялся. Но на одном стебле, сломанном и висящем, еще держалась уже не малиновая, а черная шишка, которая была когда то цветком, а один отросток, тот, который пониже, еще торчал кверху[61] колючками, защищая из за грязи всё-таки краснеющий цветок.[62] Точно вырвали у него[63] кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, свернули скулу. Но он всё стоит и не сдается, и один торжествует над человеком, уничтожившим всех[64] его братий кругом его.

«Молодец!» подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. «Так и надо, так и надо». И мне вспоминалась одна кавказская история,[65] положение человека такое же, как и этого репейника, и человек был тоже татарин. Человек этот был Хаджи-Мурат. Вот[66] что я знаю про это.

———

В одной из Кавказских крепостей[67] жил в 1852 году воинский начальник Иван Матвеевич Канатчиков, с женой Марьей Дмитриевной. Детей у них не было, и как[68] и все бездетные супруги,[69] которые не разошлись и живут вместе, жили [и] были самые нежные супруги. Для Ивана Матвеевича это было легко, потому что[70] трудно было не любить здоровую, полную, миловидную, всегда веселую, добродушную, хотя и вспыльчивую[71] Марью Дмитриевну[72], прекрасную хозяйку и помощницу. Но для Марьи Дмитриевны казалось бы и трудно любить[73] всегда прокуренного табаком, всегда после двенадцати часов пахнущего вином рябого, курносого[74] крикуна Ивана Матвеевича. Но Марья Дмитриевна хотя и[75] любила понравиться молодым, особенно приезжим офицерам, но только понравиться, именно только затем, чтобы показать им, что хороша, но не для них, Марья Дмитриевна любила[76] всеми силами простой души и здорового тела одного Ивана Матвеевича, считая его самым великодушным, храбрым, глубокомысленным военным, хотя и самым глупым хозяином дома.

Это было в июне. Марья Дмитриевна давно уже встала и с денщиками хозяйничала. Начинало уже становиться жарко, солнце выходило из-за гор, и становилось больно смотреть на белые мазанки на противуположной стороне улицы, и Марья Дмитриевна, окончив свои дела,[77] только что хотела[78] послать денщика в канцелярию звать Ивана Матвеевича к чаю, когда к дому подъехали верхами какие-то люди.

— Егоров, поди узнай, — крикнула Марья Дмитриевна, направляясь[79] в спальню.[80] «Кто это? Двое? С конвоем и татары и казаки. Человек двадцать. Уж не набег ли?» и любопытство так захватило ее, что она поспешно спустила[81] засученные на своих белых полных руках рукава и[82] повернулась назад.

— Погоди, Егоров, — крикнула она,[83] ощупывая руками шпильки в косе и косу. — Ну, ничего, сойдет. Погоди, Егоров. Я

сама.

И Марья Дмитриевна вышла своей молодецкой походкой на крылечко домика. У крыльца стояла целая партия. И казаки, и чеченцы. Впереди выделялись трое. Один офицер, одетый по черкесски,[84] в черной черкесске, в сапогах, на[85] маленькой гнедой лошадке, другой мирной,[86] переводчик с[87] надетой шерстью вверх и козырьком папахой и в засаленном бешмете и желтой черкеске и третий на белой, статной лошади, в белой черкеске, высокий,[88] тонко стянутый ремнем без набора, с большим серебряным кинжалом, пистолетом за спиной[89] и в высокой с белым же курпеем папахе, далеко заломленной назад.

Этот человек больше всех обратил внимание Марьи Дмитриевны.[90] Лицо у него было довольно простое, небольшой нос, маленькая черноватая бородка, приятный, нежный детский рот,[91] довольно густые брови и странные внимательные и строгие глаза. Он был человек во всей силе и ему можно было дать от тридцати пяти до пятидесяти. Он поглядел на Марью Дмитриевну, встретился с ней глазами, не[92] опустил взгляда, так что она[93] перевела глаза на офицера. Когда же она опять взглянула на него, он уже не смотрел на нее и, опустив голову, рассматривал свой кинжал.[94] Не успела Марья Дмитриевна задать себе[95] вопрос о том, кто это был такой, как[96] и получила ответ. Офицер сказал ей, что это Хаджи-Мурат.[97] Имя это всё сказало Марье Дмитриевне. Она опять взглянула на Хаджи-Мурата, но он[98] не взглянул на нее и что-то[99] по[100] кумыкски заговорил с одним из своих, подъехавших к нему.[101]

Марья Дмитриевна знала, кто такой был Хаджи-Мурат и зачем он приехал сюда. Она знала, что Хаджи-Мурат был знаменитый наиб (полководец) Шамиля,[102] первый храбрец[103] его, много раз побивавший русских и, недавно поссорившись с Шамилем, вышедший к русским, обещая им[104] воевать теперь против Шамиля. Но вот прошло...[105] месяца и Хаджи-Мурат не мог еще ничего сделать, потому что семья его, которую он страстно любил, оставалась в горах во власти Шамиля. Теперь

он по приказанию главнокомандующего приезжал в Чечню, чтобы попытаться через лазутчиков узнать о своей семье и, если можно, выкрасть ее из гор. Марья Дмитриевна знала всё это,[106] у мужа уже была получена бумага о том, что Хаджи-Мурат приедет в их крепость и будет жить в ней, и потому одно имя Хаджи-Мурата объяснило ей всё.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она, — милости просим. Я сейчас мужу[107] дам знать, он в канцелярии,[108] — сказала она, взяв поданную ей приставом бумагу. И Марья Дмитриевна[109] быстрым шагом пошла[110] через двор к мужу.

— Иван Матвеевич, Иван Матвеевич, — заговорила она.[111]

— Ну что? Что так суетишься?

— Хаджи-Мурат приехал с приставом, князем Еристовым и конвоем. Вот бумага.

Не открывая бумагу, Иван Матвеевич потянулся за папироской.

— Дай-ка.

— Да ну, успеешь.

— Дай затянуться. Ну что ж, пошли Кириллова проводить на квартиру.

— А знаешь что, Иван Матвеевич, — вдруг сказала Марья Дмитриевна, вспомнив взгляд Хаджи-Мурата и садясь на кровать. Я думаю, лучше их к нам поместить.

— Вон-а! Там всё готово и деньги заплачены.

— Да ты вот говоришь, а я взглянула на него.[112]

— Ну, что же?

— Так я взглянула на него и думаю, теперь нельзя нам его там держать.[113] Уйдет. Я взглянула на него, вижу, что уйдет.

— Ты всегда всё видишь.

— Да и вижу, а уйдет, тебя в рядовые.

— Ну что, я в барабанщики.

— Нет, право, лучше к нам. Я свою половину всю отдам ему и живи он, по крайней мере, на глазах.

— Да как же нам-то?

— Да так же, уж я тебе говорю. Я пойду, им велю слезать. А тех туда, к Лебедеву поставить, Кириллов сведет.

— Да уже я вижу, что ты заберешь в голову. Вели закусить-то дать.

— Готово всё, вставай.

Как задумала Марья Дмитриевна, так всё и сделала. Конвойные стали у Лебедева, а Хаджи-Мурат с своими нукерами и пристав у[114] воинского начальника.

Хаджи-Мурат пробыл у Ивана Матвеевича десять дней и измучил в эти десять дней Ивана Матвеевича. Несколько раз к нему приходили таинственные люди ночью и уходили ночью и подолгу беседовали с ним. Два раза сам Хаджи-Мурат выезжал за укрепление, чтобы свидеться с людьми, которые должны были ему принести сведения об его жене. И тогда Иван Матвеевич[115] высылал цепь пехоты, чтобы Хаджи-Мурат не мог убежать, и конвой казаков. Каждый день Иван Матвеевич посылал донесение к начальнику левого фланга[116] о том, что делает Хаджи-Мурат, и спрашивал разрешения, как поступать.

Иван Матвеевич так же, как и все тогда на Кавказе, от главнокомандующего до последнего солдата, не знали, что такое была эта выходка Хаджи-Мурата, правда ли, что он оскорблен Шамилем, как он говорил, ушел из гор, желая отомстить ему, или правда, что он вышел к русским только затем, чтобы высмотреть всё и бежать и тогда быть еще более страшным врагом, чем он был прежде. Большинство думало, что он обманывает, и так думал Иван Матвеевич,[117] и принимал все меры, чтобы он не ушел и чтобы скорее избавиться от него. Всё казалось ему обманчивым в Хаджи-Мурате: и то, что он не знал по-русски,[118] говорил только через переводчика, и то, что слишком усердно каждый день пять раз молился, расстилая ковер и обмываясь в быстрой речке, текшей по камням под укреплением.

— Обманет, подлец! — говорил он и всегда не переставая следил за ним.

Марья Дмитриевна была сначала того же мнения и помогала как могла мужу, но накануне отъезда вечером ей

случилось поговорить с Хаджи-Муратом, и она вдруг изменила мнение о нем и поверила ему и стала жалеть его. Случилось так, что в этот последний день нукер Хаджи-Мурата пришел на кухню и бросил там вареную баранину и плов рисовый, сопя носом и показывая, что мясо тухлое. Денщик сказал это Марье Дмитриевне. Марья Дмитриевна всполош[ил]ась, узнала в чем дело, что виновата не она, а нукер, который не отдал баранину на погреб, и пошла своими решительными шагами на половину Хаджи-Мурата. Переводчика не было, но Марья Дмитриевна знала несколько слов от своего мужа, который знал порядочно по-кумыкски, и спросила в дверях можно ли: «гирекма?» и тотчас же вошла. Хаджи-Мурат,[119] несмотря на свою кривую короткую ногу, на которую он ступал,[120] нагибаясь всем телом, ковыляя, ходил по комнате мягкими шагами в чувяках. Увидав Марью Дмитриевну, он остановился на своей прямой ноге,[121] опершись носком короткой о пол. Он был одет в шелковый[122] обшитый тоненьким ремнем черный бешмет, подпоясанный ремнем с[123] большим кинжалом. Ноги были в красных чувяках и белых ноговицах с тоненьким галуном.[124] Увидав Марью Дмитриевну, он надел на бритую черную голову папаху и, взявшись жилистой рукой с надувшейся поперечной жилой за кинжал, наклонил голову, как бы спрашивая и слушая.

Марья Дмитриевна показала ему блюдо и сказала:

— Нукер.....[125] виноват..... погреб тащить.

Он покачал головой и чуть-чуть презрительно улыбнулся:

— Мегирек, — всё равно, — и он помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно. А потом показал на горы, на нее и на свое сердце. Она поняла, что он говорил, что ему всё равно, что одно, что ему нужно и больно, это его жена, которая в горах.

Марья Дмитриевна показала на небо и сделала жест выхода из гор. Он понял. И продолжал показывать на себя и на нее, и потом, подняв руку невысоко от земли, показал, что и этого нет. Марья Дмитриевна поняла и, вспомнив, как мальчик, спросила:

— Улан?

Он показал два пальца[126] и сказал:

— Девка, — и, показав один палец, сказал: — улан. — И поднял глаза к небу с выражением восторга. Она поняла, что мальчик очень хорош, и он очень любит его.

— Любите очень? — сказала Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему, понял, что она любит его, желает ему добра и, размягченный воспоминанием о своем любимом детище, сыне Вали-Магоме, вдруг[127] лицо его преобразилось. Черные глаза заиграли, у угла глаз сделались морщины, и рот, растянувшись в детскую улыбку, открыл белые, белые ровные зубы.

— Алла! — сказал он и опустил голову.

— Даст Алла, даст, — сказала Марья Дмитриевна. — Ну, дай Бог, дай Бог.

На этом они расстались в этот вечер. Но между ними во взглядах и улыбке произошло нечто большее, чем простой дружеский разговор, и воспоминание об этом взгляде и улыбке стало для Марьи Дмитриевны выше многих и многих других воспоминаний. Воспоминание это и для Хаджи-Мурата[128] было одно из самых радостных его воспоминаний во время его пребывания у русских. Он почувствовал, что его полюбили. А на другой день, когда они уезжали и он опять в своей боевой черкеске с пистолетом и шашкой, хромая, вышел на крыльцо и, пожимая руку, прощался с Иваном Матвеевичем, Марья Дмитриевна с ласковой улыбкой подала ему корзиночку с абрикосами. Он опять улыбнулся и, поспешно отвязав от[129] своих часов сердоликовую печатку, подал ей. Марья Дмитриевна взяла и поклонилась ему.

— Бог даст, Бог даст, — сказала она.

Он еще раз улыбнулся вчерашней улыбкой.

Несмотря на свою[130] кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как уж, как кошка,[131] вскочил на лошадь.[132]

— Прощай, спасибо, — сказал он, и с тем особенным гордым воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, выехал за ворота крепости со своей свитой.

———

С тех пор и до...[133] Июня Марья Дмитриевна не видала лица Хаджи-Мурата. Она часто вспоминала и говорила о нем, и Иван Матвеич смеялся ей и при других, что она влюблена в Хаджи-Мурата, и Марья Дмитриевна смеялась и краснела, когда это говорилось. Увидала она это лицо через месяц при следующих условиях.

В укреплении, где жила Марья Дмитриевна, совсем забыли про Хаджи-Мурата. Слышно было, что Шамиль не выпускает его семью, угрожает убить их, в особенности любимого сына Вали-Магому, и что Хаджи-Мурат выпросился у князя Воронцова в Нуху, где, как он говорил, ему удобнее вести переговоры с горцами.[134]

Была уже ночь. Полный месяц светил на белые горы и на камни дороги и на бегущий ручей. Был паводок, и ручей страшно шумел.

[135]Иван Матвеич[136] встречал батальон Куринцев и у них шла попойка. Слышны были тулумбасы и крики «ура». Иван Матвеевич обещал не пить много и вернуться к двенадцати.

Но Марья Дмитриевна все-таки беспокоилась отсутствием мужа. Она кликнула Жучку [и] пошла[137] по улице. Вдруг[138] из-за угла выехали верховые. «Опять кто-то с конвоем, как его нет, так сейчас и приезжают», подумала Марья Дмитриевна[139] и посторонилась. Ночь была так светла, что читать можно было. Марья Дмитриевна вглядывалась в того, кто ехал впереди, очевидно, тот, кого конвоировали, но не могла узнать. Месяц ударял ехавшим в спину. Марья же Дмитриевна была освещена спереди.

— Марья Дмитриевна, вы? — сказал знакомый голос. — Не спите еще?

— Нет, как видите.[140]

— Где Иван Матвеич?

— Дома нет.

— Что же, всё боится, что пришлют ему опять Хаджи-Мурата?[141]

— Как же не бояться. Ведь ответственность.

— Ну, я к вам с хорошими вестями.

Это был Каменев, знакомый товарищ Ивана Матвеевича, служивший при штабе.[142]

— Что же,[143] поход в Темир-Хан-Шуру?

— Нет,[144] лучше.

— Ну, что же, переводят в Темир-Хан-Шуру?

— Ну, вот чего захотели.

Каменев ехал рядом с Марьей Дмитриевной, повернувшей назад к дому, и говорил.

— А где Иван Матвеевич?

— Да вот слышите,[145] провожают Куринцев.

— А, это хорошо. И я поспею. Только я на два часа. Надо к князю.

— Да что ж за новость?

— А вот угадайте.

— Да про что?

— Про вашего знакомого.

— Хорошее?

— Для вас хорошее, для него скверное, — и Каменев засмеялся. — Чихирев! — крикнул он казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку.

Чихирев достал из переметной сумы мешок с чем-то круглым.

— Погоди, — сказал Каменев.

Они подошли к дому. Каменев слез, пожал руку Марье Дмитриевне и, войдя с ней на крыльцо, взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?

— Да что такое? арбуз? — сказала Марья Дмитриевна и что- то ей стало страшно.

— Нет-с, не арбуз. — Каменев отвернулся от Марьи Дмитриевны и что-то копал в мешке. — Не арбуз, а ведь[146] у вас

был Хаджи-Мурат?

— Ну, так что ж?

— Да вот он, — и Каменев двумя руками, прижав ее за уши, вынул[147] человеческую голову и выставил ее на свет месяца. — Кончил свою карьеру. Вот она.

Да, это была его голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и проросшими черными волосами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом и с открытым ртом, над которым были те же подстриженные усы. Шея была замотана полотенцем.

Марья Дмитриевна посмотрела, узнала Хаджи-Мурата и, ничего не сказав, повернулась и ушла к себе. Когда Иван Матвеевич вернулся, он застал Марью Дмитриевну в спальне. Она сидела у окна и смотрела перед собой.

— Маша! Где ты, пойдем же, Каменева надо уложить. Слышала радость?

— Радость! Мерзкая ваша вся служба, все вы живорезы. Терпеть не могу. Не хочу, не хочу. Уеду к мамаше. Живорезы, разбойники.

— Да ведь ты знаешь, он бежать хотел. Убил человек восемнадцать.

— Не хочу жить с вами. Уеду.

— Положим, что он глупо сделал, что показал тебе. Но все-таки печалиться то тут не об чем.

[148]Но Марья Дмитриевна не слушала мужа и разбранила его, а потом расплакалась. Когда же[149] она выплакалась, она вышла к Каменеву и к еще пришедшим офицерам и[150] провела с ними вечер. Разговор весь вечер шел о Хаджи-Мурате и о том, как он умер.

— Ох, молодчина был, — заключил Иван Матвеевич, выслушав всё. — Он с женой моей как сошелся, подарил ей печатку.

— Он — добрый был. Вы говорите, «разбойник». А я говорю — добрый. И наверное знаю, и мне очень, очень жаль его. И гадкая, гадкая, скверная ваша вся служба.

— Да что же велишь делать, по головке их гладить?

— Уж я не знаю, только мерзкая ваша служба и я уеду.

И действительно, как ни неприятно это было Ивану Матвеевичу, но не прошло года, как вышел в отставку и уехал в Россию.

Умер же Хаджи-Мурат вот как.

Для того, чтобы понять, как он умер, надо рассказать, кто он был. Он был тавлинец, между своими благородного рода. Мать его была взята в кормилицы к аварскому хану.[151] Он рос с ханом и в молодости жил и воевал и джигитовал с ним. Но пришло время. Хана убил Кази-Магома и завладел ханством. Тогда Хаджи-Мурат вместе с братом своим Османом решил отомстить и убить Магому.[152] Нельзя этого было сделать нигде, так хранил себя Магома.[153] Тогда Хаджи-Мурат решил сделать это в мечети.[154] Надо было войти в мечеть с оружием, но с оружием не пустили бы. Тогда Хаджи-Мурат и брат его Осман[155] вооружились и надели бурки, чтобы скрыть оружие, и в таком одеянии вошли в мечеть. Как только приближенные Магомы[156] увидали людей в бурках, они бросились к ним, приказывая снять бурки. Ждать нечего было. Братья сняли бурки и бросились на врага, убили его и, защищаясь, убили его друзей. Осман остался в мечети убитым. Хаджи-Мурат, ловкий, сильный, быстрый, убил четырех человек и, слегка раненый, убежал. Магому[157] сменил NN.[158] Хаджи-Мурат собрал против него шайку, желая захватить и ханство. NN[159] узнал, пожаловался русскому военному начальнику. Начальник, чтобы угодить хану, велел связать Хаджи-Мурата и свести его к начальнику края. Хаджи-Мурата захватили спящим, связали его и на веревке повели. Проходя над пропастью, Хаджи-Мурат бросился под кручь с солдатом, убил солдата, сломал себе ногу, но сам, развязавшись, освободился и приполз к пастухам, которые спрятали его.[160] Нога его зажила, но стала короче. Когда он выздоровел, он пришел к Шамилю, и Шамиль очень скоро сделал его наибом. С тех пор Хаджи-Мурат был грозою русских, удивляя и своих и врагов своею храбростью, выдержкой, выносливостью, отвагой и счастьем. Так шло всё до 50 года. В этом[161] году, ревнуя его к народу, Шамиль оскорбил его, и Хаджи-Мурат[162] вскипел и

решил отомстить врагу. И чтобы отомстить, отдался русским. Он надеялся вывести жену и детей, особенно сына, которого он страстно любил, но Шамиль задержал их. Тут началась внутренняя борьба, которая кончилась тем, что он решил бежать, чтобы[163] избавить свою семью от погибели и вернуться к ней.

Это было на 2-й неделе его пребывания в Нухе. Нуха — маленький городок[164] на уступах гор. Хаджи-Мурат не спал уже третью ночь. Как только он уходил[165] в отдельную комнатку, где он спал, тотчас же ему живо представлялась жена и главное сын. Представлялся ему таким, каким он видел его последний раз. Это было накануне его выезда из гор. Всё было уже у него готово. Пять верных его друзей выходили с ним и должны были вывести его лошадь к Аргуну. Он пешком в одном бешмете должен был выйти из дома. И вот в этот-то день он последний раз спустился с сакли к ручью, обмыл ноги и в тени зашедшего за горы солнца расстелил ковер и стал молиться.[166] Он только что сел на колени и в знак умерщвления внешних чувств закрыл[167] большими пальцами уши, а указательными глаза, как услыхал шаги и[168] не хотел оглядываться, но услыхал чмоканье,[169] каким призывают[170] соколов, и по этому звуку узнал своего сына Магому и не мог удержаться [и] оглянулся. Магома шел в гору, легко поднимаясь своими длинными тонкими ногами,[171] и на одной левой руке, подогнутой к плечу, нес на перчатке сокола, а другой, ловко размахивая, пускал высоко вверх поднимаемые с земли камушки.[172] Магома был в одном синем бешмете, подпоясанный ремнем, с кинжалом и в[173] одной ермолке.[174] И румяное молодое[175] пятнадцатилетнее лицо и вся высокая тонкая фигура мальчика (он был только немного ниже отца) была очень красива[176] особенной красотою горцев. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий длинный стройный стан, длинные руки и ноги и сила, гибкость, ловкость во всех движениях. Собираясь бросить камни, он останавливался, откидывая назад красивую голову, и, винтообразно развернувшись всеми суставами,[177]

слегка подпрыгивая, далеко, высоко запускал камень, выше горы.[178] В ту минуту, как он вскинул камень, сокол сорвался с его руки и повис на ремнях, трепеща крыльями, пища и позванивая бубенцами. Магома ловким движением опять вскинул его, зачмокал и опять[179] нагнулся, выбирая получше камень. Тотчас он поднялся выше, и Хаджи-Мурат уже не видал его. А слышал звук голоса его сестры и веселый звонкий хохот Вали-Магомы.

Так видел он и слышал его в последний раз, этого милого красавца, беззаботного юношу. Хаджи-Мурат последил его глазами до поворота дороги и тогда стал молиться. И помолившись, пошел вниз к своим дожидавшим его нукерам, и с тех пор уже не видал ни жену, ни сына. И вот этого-то сына Шамиль хотел отдать в работу и жену отдать другому. Так говорил последний лазутчик, третьего дня приехавший из гор. Он говорил, что если до конца рамазы Хаджи-Мурат не вернется в горы, семья его будет[180] погублена, если же он вернется, то всё простится ему. «И какой ряд неудач», думал Хаджи-Мурат.[181] В ночь его отъезда должны были выехать другой дорогой и его семейные. Но тут[182] случилось, что один из нукеров выдал Хаджи-Мурата и[183] вслед же за ним была послана погоня. Его не нагнали, но семью его в ту же ночь остановили и свезли в Ведено, место пребывания Шамиля.

Вот это-то вспоминал теперь Хаджи-Мурат, несмотря на свою[184] короткую ногу хромую, быстро ходя, как тигр в клетке, взад и вперед по своей комнатке. Тоска мучала его страшная, и погода была подходящая к его настроению.[185] Дул упорный холодный ветер.[186] Он молился нынче уже три раза. Говорить с[187] Софедином нукером нечего было, остальными тем менее. Они ничего не думали, а были покорные рабы. Что велит Хаджи-Мурат, то они будут делать. Один рыжий Софедин имел свои мысли, но Хаджи-Мурат знал их вперед. Софедин или молчал, или говорил: «твоя воля», но Хаджи-Мурат знал, что Софедин одного желал: зарезать этих собак казаков, которые ездили за ними и караулили их, и бежать в горы. Хаджи-Мурату того же хотелось, но[188] в душе его боролись[189] разные страсти: прежде

всего его мучила злоба, зависть к Шамилю, повелевавшему им, и вместе с тем не джигиту, а лицемеру, обманщику, не ценившему его,[190] обидевшему его, хвалившемуся перед ним и теперь завладевшему им через его семью. Вернуться в горы, поднять аварцев...[191] и отделиться от Шамиля[192] и захватить его. Это одно, но сколько нужно было, чтобы это удалось. Прежде двадцать раз будут перебиты его семейные, ослеплен его Вали-Магома. Кроме того, сколько нужно было, чтобы удалось всё. Другое было то, чтобы остаться здесь, выкупить, выкрасть семью и заслужить здесь славу, быть генералом, покорить русскому царю Кавказ, уничтожить Шамиля. «Старик обещал много», думал он, вспоминая про приемы у Воронцова и лестные слова старого князя. Вспоминал он про бал, на котором он присутствовал, про красивых полуобнаженных женщин и не мог себе представить, как бы он жил с этими людьми. «Нет, только взять от них всё, что можно, а там видно будет. Да, надо получить золотые», вспомнил он (он получал по семи золотых ежедневно) и пошел в большую комнату,[193] где сидели за чаем, дожидаясь его, его пристав князь Еристов, приехавший из Тифлиса от князя Воронцова чиновник, толстенький статский советник Кириллов, привезший деньги и предписание о том, чтобы Хаджи-Мурат возвращался в Тифлис, и всегдашний безличный, корыстолюбивый, льстивый переводчик Балта. Они сидели и пили чай с ромом, когда вошел Хаджи-Мурат.

— Хотите чаю? — спросил пристав.

— [194]Нет. Деньги давай, — сказал Хаджи-Мурат.

— Да, да, за неделю теперь.

— Ая, — подтвердил[195] Хаджи-Мурат и показал семь пальцев.[196] — Давай.

— Ладно, ладно. И на что ему деньги? — сказал пристав и вышел из комнаты.

— Что же он долго тут пробудет? — спросил Хаджи-Мурат у переводчика про статского советника, сидевшего в уголку. Статский советник[197] был чиновник при Воронцове и разными[198] хитростями добился того, чтоб ему дали командировку в Нуху с прогонами и суточными, и теперь был очень доволен, что

получил пятьдесят четыре рубля и кроме того повидал знаменитого наиба. Для того, чтобы иметь что рассказать дома, он хотел разговориться и через переводчика спросил, скучно ли ему?

Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на этого маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что[199] я не хочу с ним говорить.

И сказав это, Хаджи-Мурат опять стал ходить. Статский[200] советник, не переставая, следил за ним глазами. Один раз Хаджи-Мурат оглянулся и, увидав этот устремленный на себя взгляд, подошел к статскому советнику[201] и, хлопнув его рукой по плеши, продолжал ходить.

Переводчик объяснил Хаджи-Мурату, что он в чине полковника. Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и продолжал ходить. Когда пристав пришел с золотыми,[202] Хаджи-Мурат сел к нему и, сосчитав, взял золотые в рукав черкески[203] и только что хотел выдти, когда в горницу вошел фельдфебель и доложил приставу, что из гор [вышли] в цепь два лазутчика к Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат[204] остановился, глаза его загорелись, и только что переводчик стал говорить ему, как он уже закивал головой, приговаривая: «Ая, ая», и тотчас же,[205] сунув золотые в карман, обратился к приставу,[206] выражая желание поехать к ним.[207]

— Не нужно. Их сюда приведут.

Через полчаса Хаджи-Мурат сидел в своей комнате на ковре с двумя горцами. Один был высокий, сухой, черный тавлинец, другой кривой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные: семейство Хаджи-Мурата, его жена с малыми детьми была отвезена в Ведено,[208] и выручить ее не было никакой надежды. Вали-Магома был отправлен к Шамилю в Чечню. Шамиль прямо сказал, что если Хаджи-Мурат вернется, то всё будет забыто, если же нет, то Вали-Магоме вырвут глаза.[209] Долго говорили лазутчики. Больше говорил старик. Тавлинец молчал. Хаджи-Мурат сидел, не поднимая головы. Наконец, старик, сказав: «Какой твой ответ?», замолчал.

Хаджи-Мурат[210] замер в той же позе, облокотив руки на[211] скрещенные ноги и опустив голову в папахе. Молчание продолжалось долго. Хаджи-Мурат думал[212] и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз и необходимо решение.

«Вернуться, — думал он, — бежать? Это можно. Но сдержит ли Шамиль слово. А что, как он не отдаст мне сына». Он вспомнил сына таким, каким он видел его последний раз, кидающим каменья и с[213] соколом. «Да, сокол», думал Хаджи-Мурат и вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах бубенцы остались на нем. И соколы испугались этих бубенцов и пут и не приняли сокола.[214] «Лети, где ты был, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут».[215] Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его. «Так заклюют и меня», думал Хаджи-Мурат.[216] «Остаться? Но если останусь и Шамиль сделает над сыном то, что грозит?» и Хаджи-Мурат вспомнил, как Кази-Магома[217] велел[218] ослепить Керима, который бежал от него к аварцам, и велел сделать это Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат помнил, как он призвал Керима и[219] объявил ему решение Шамиля, и как Керим[220] переспросил, правда ли, что Шамиль за его всю службу велел ослепить его? «Правда». «Так пусть он знает, что не он, а я сам не хочу смотреть больше на его[221] собачье лицо, не хочу видеть и света белого», и Керим[222] впустил себе кинжал в правый глаз и вырвал его, и не успела кровь залить ему лицо, как он то же сделал с левым. «То же сделают и с Вали-Магомой,[223] — подумал Хаджи-Мурат и содрогнулся. — Нет, нельзя этого, уйду[224] назад. А там будет, что будет». И Хаджи-Мурат поднял голову и,[225] достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст Бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат молча ушел к себе. У себя он постучал в стену кинжалом и тотчас же Софедин, мягко ступая в своих черных разношенных чувяках и в спущенных ноговицах, вошел в комнату.

[226]Хаджи-Мурат снял бешмет, оставшись в одной желтой шелковой рубахе, и[227] расстелил бешмет на стол[228], — бешмет стукнул о стол, — и положил рядом стопочку золотых.

— Эти зашью, а больше некуда, — сказал Софедин, сгребая золотые в руку и тотчас же, достав из под кинжала ножичек, стал своими короткопальцовыми ловкими руками пороть подкладку, ниже пояса. Весь бешмет был прошит золотыми от груди и ниже пояса. Золотых было вшито семьсот штук.

ОДИН ИЗ ЧЕРНОВИКОВ (РАЗРЕЗАННЫЙ) ГЛ. XXII „ХАДЖИ-МУРАТА“.

— Давай сюда, это нужно, — сказал Хаджи-Мурат, схватывая вынутую вату[229] и[230] кладя ее в карман за пазуху.[231] — Завтра мы[232] в третий намаз бежим.[233] Зашей эти и приготовь заряды себе и молодцам. И хлеба и баранины.

Софедин вздрогнул и злобно улыбнулся, оскалив зубы.

— Всё будет. Завтра.

———

В первое время[234] его поселения в Нухе, нухинский воинский начальник не выпускал Хаджи-Мурата никуда из укрепления. Хаджи-Мурат просил тогда о том, чтобы ему позволено было ездить верхом кататься хотя в противную сторону от гор. Но он очень просил об этом, говоря, что чувствует себя больным, не имея привычного упражнения. Еще с[235] тем чиновником, который неделю тому назад приезжал в Нуху, от Воронцова было разрешено Хаджи-Мурату кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе было полусотня, из которой разобраны были по

начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось, при постах, содержимых казаками, наряжать казаков через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пяти человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, а одного или двух. Так это и шло в продолжение недели. Несмотря на то, что Хаджи-Муратом еще не решено было бежать, он все-таки всё приготовил для этого. Тайно куплены были[236] порох и пули, и пули, слишком большие по винтовкам, были урезаны ножами,[237] чтоб годились для винтовок и пистолетов. Так что в назначенный день все хозыри пятерых человек, зарядов сто, были полны порохом и пулями и винтовки и пистолеты заряжены. В прежние дни выезжали то один, то два человека с Хаджи-Муратом, в назначенный день выехали все пять.[238] Воинский начальник заметил было и сказал переводчику, но Хаджи-Мурат, как будто не слыхал,[239] тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, грамотный старообрядец, умный, распорядительный, храбрый. Он был старший в бедной семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя ребятами.

— Смотри, Хазаров, не пускай далеко, — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — отвечал Хазаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечами винтовку, за горцами. Четверо[240] казаков ехало за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, тот самый, который продал порох Софедину; Игнатов, отслуживающий срок уже не молодой человек, здоровый мужик, хваставший своей силой; Мишкин, дурачок,[241] над которым все смеялись, и Петраков, молодой красавчик, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

Казаки догнали горцев и шагом поехали за ними. Выехали шагом по дороге за крепость. Погода разгулялась, и солнце блестело по мокрым дорогам, камням и листве. Встретились

армянские арбы, женщины с корзинами. Казаки шутили. Горцы ехали молча.

[242]Отъехав с полверсты, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел прòездом, так что его нукеры[243] поскакивали. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов, — кабы пока не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своей перегоню. Да уж, что говорить.

— Больно скоро гонят.

— Эй, кунак. Нельзя. Шагом, — прокричал Хазаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат посмотрел на него и продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая хода.[244] Хаджи-Мурат не останавливался, несмотря на[245] остановки казака.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь лупят.

[246]Так прошли версты три всё ближе к горам. В виду никого уже не было.[247] Лошади начинали потеть. Урядник ударил плетью лошадь и с двумя казаками поравнялся с Хаджи-Муратом.

— Я говорю нельзя. Шагом, — проговорил казак, протягивая руку к поводу лошади.

Хаджи-Мурат, не глядя на казака, поднял руку с нагайкой и ударил по руке казака.

— Нельзя, говорю, — крикнул казак и, заскакав вперед, схватился за шашку. Но не успел он вынуть шашку, как уже раздался выстрел из пистолета и казак схватился за грудь.

— Бей их, ребята.

Но горцы уже визжали и били не успевших опомниться казаков. Ферапонтов и Хазаров были ранены пулями. Хазаров совсем упал, чувствуя, что умирает. Под Игнатовым ранена была или убита лошадь. Она упала, придавив ему ногу. И не успел он выбраться из под нее, как двое горцев, выхватив шашки, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился к

товарищу[248] и, ударив шашкою, ранил татарина, но тут же два удара сожгли его: один в спину, другой в зад, и он повалился на шею лошади, истекая кровью.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости.

— Смотри, тревогу даст, — крикнул Хаджи-Мурат, и двое бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать его,[249] поскакавшие вернулись к своим.[250] Софедин, добив кинжалом Игнатова,[251] прирезал и Петракова,[252] свалив его с лошади. Другие снимали с[253] убитых сумки с патронами. Двое хотели взять лошадей, но Хаджи-Мурат крикнул на них и, ударив лошадь, которая без седока бежала за ними, пустился вперед во весь мах к лесу.[254]

В то время как он въезжал в лес, в крепости раздался выстрел с башни и ударили тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и белое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал. А старушка его на тихом Доне в это время сватала ему невесту, красневшую при имени Степана Петракова, и[255] загадывала, как она женит его осенью.

— Батюшки, отцы родные, как, что наделали. Как, — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли. Упустили, разбойники. Застрелю, сам своими руками. Как! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде. И не только все бывшие в наличности казаки и пехота посланы наперерез беглецам, но и все со всех мирных аулов милиционеры. Тысяча рублей награды кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами подскакал к лесу, больше двухсот человек конных, кроме двух рот пеших, бежали и скакали во все стороны отыскивать и ловить бежавших.

Подскакав к лесу, Хаджи-Мурат сдержал своего далеко опередившего других коня и подождал товарищей. Дорога по лесу[256] — частому, непролазному, заросшему колючкой, так что

без дороги нельзя было и думать ехать, — шла вправо и по направлению не куда нужно было,[257] а в такие места, где могут и должны по тревоге встретить и остановить. Остановившись и перевязав раненому Садо рану на плече, поехали всё-таки вперед. Но ехать[258], кроме как по дороге, нельзя было. Проехали с версту,[259] ожидая дороги влево. Влево не было поворота, но выехали в кукурузное поле. Проехали полем и опять въехали в лес. В лесу наехали на ручей. У ручья слезли, попоили лошадей, стреножили, оправили заряды, поели, расстелили бурки и четверо легли, один стоял и слушал. Ночь была темная, шакалы мешали слушать.[260] Но к утру, только стало розоветь на горах, послышались шаги и говор. Хаджи-Мурат[261] вскочил, послушал и пошел к лошадям. Подтянули подпруги, сели и поехали дальше. Дорога шла туда, куда нужно было.[262] Направо был обрыв, налево горы. Софедин и Мулла-Казинет говорили, что она выведет к...[263] Только бы миновать мирный аул. Сзади ничего уже слышно не было. Дорога взошла на высокую площадь, поросшую лесом. Аул должен был быть вправо, влево шла дорожка. Они поехали по ней. И не проехали ста сажен, как попался старик с кукурузой. Стали спрашивать, где они? Где аул мирнòй? Из слов старика вышло, что они заблудились и ехали обратно к Нухе. Аул тот, которого они боялись, был позади.[264]

— Смотри, не сказывай, кого видел, — сказал старику Хаджи-Мурат.

— Скажет, — сказал Софедин. — Кончить (убить) надо.

— Не надо... Возьмем с собой.

Старика, дрожащего, но готового к смерти, посадили на седло и поехали вперед. Не проехали версты, как на крутом повороте на расстоянии 50-ти[265] шагов столкнулись с[266] мирными.

— Он! — крикнул передовой, — за мной, — и тронулся на беглецов.

— Стой, — крикнул Хаджи-Мурат и, выхватив из чехла винтовку,[267] наставил на подъезжавших. То же сделали и его товарищи.[268]

— Ана сени алесин. Собаки! — крикнул Хаджи-Мурат, ругаясь. — Убью, собаки! Назад!

Мирные столпились и остановились.[269] Тогда Хаджи-Мурат быстро поворотил лошадь и[270] пустился назад. Отскакав шагов триста и проскакав лощинку и выскакав на другой бок ее, Хаджи-Мурат соскочил с лошади.[271]

— Не дамся живой собакам, — сказал он,[272] оправляя винтовку и взводя курок. Товарищи его подскакивали, а за ними видны были мирные и слышны их гики. Белый конь Хаджи-Мурата заржал, увидав своих, и сунулся вперед.

— Слезай! — крикнул Хаджи-Мурат. — Алтар (лошадей) куди. (Режь лошадей). — И, вынув кинжал, Хаджи-Мурат полосонул[273] по шее лошади. Кровь хлынула. Она зашаталась,[274] и он повалил ее[275] к себе спиной. Она билась ногами. Товарищи его делали то же самое. А он между тем поставив[276] винтовку на подсошки, целил в подъезжающих мирных.[277] Впереди ехал в черной папахе[278] офицер милиции. Винтовка щелкнула, дымок показался на полке, и офицер повернулся на лошади и зашатался.

— Ана сени алесин, — визжал рыжий Софедин, целясь в другого. Выстрелил и он, и другой упал. Мирные остановились и стали спешиваться. И скоро по деревьям около Хаджи-Мурата и по[279] телам лошадей стали шлепать пули и визжать, пролетая мимо. Хаджи-Мурат, лежа за лошадью, заряжал и бил с подсошек только тогда, когда он был уверен, что не промахнется. И как только кто из мирных высовывался из за дерева, он падал и хватался за грудь или живот. Три товарища Хаджи-Мурата, кроме Софедина, стреляли редко и не целились и их не ранили, но Хаджи-Мурат и Софедин не пускали ни одного заряда даром и через лошадь целились старательно. И потому и представляли цель и по ним били. В первого попали[280] Софедина в ухо. Он завязал себя платком и продолжал стрелять. Потом[281] пуля[282] попала Хаджи-Мурату в руку ниже плеча. Хаджи-Мурат выхватил из кармана вату и поспешно заткнул себе дыру и продолжал целить и стрелять. Когда мирные увидали, что Хаджи-Мурат ранен, они[283] радостно

завизжали и один из них закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался. Всё равно ему не уйти от них.

— Не уйти и вам от меня! — кричал Хаджи-Мурат, выпуская свою пулю в того, кто предлагал ему сдаться.

— Ну, так пропадать вам, — закричал предлагавший сдаться.[284] Но Софедин[285] уже целил в предлагавшего и убил его. Софедин медленно, но не переставая стрелял и долго целился. Но скоро и Софедин перестал стрелять.[286] В то время, как он целил, пуля попала ему в лоб, и он с корточек опустился на зад и выбросил ружье. Опять мирные, увидав, что убили, загикали и закричали, чтобы они сдавались, но Хаджи-Мурат[287] только крикнул своим двум, чтобы они взяли от Софедина и подали ему патроны. Один из двух подполз к Софедину и выбрал хозыри и подал их Хаджи-Мурату. Так продолжалось еще минут десять. Один из двух остававшихся, кроме Хаджи-Мурата, был тоже ранен в руку и, стоная, сидел и перестал стрелять. Другой стрелял медленно и дурно. Хаджи-Мурат один отстреливался, но не успевал и неприятели придвигались, перебегая от дерева к дереву всё ближе и ближе. Хаджи-Мурат еще заткнул себе рану в плече и в ноге и весь черный в крови и пыли то ложился за лошадь заряжая, то поднимался и наводил ружье и стрелял.

— Сдавайся, — закричал черный весь в крови от раненой руки тавлинец. — Всё равно убьем.

[288]— Бери, — ответил Хаджи-Мурат и, выхватив пистолет,[289] выстрелил в ближайшего.

Визг поднялся во всех сторон, и человек пять, число их всё прибавлялось, подбежали шагов на десять.

— Отдайся живой!

Опять выстрел. И опять Хаджи-Мурат, выхватив вату,[290] завалился за лошадь и заткнул рану в боку.

— Убит! убит! — закричали горцы и бросились к нему.

— Нет еще, — и Хаджи-Мурат, выхватив кинжал, бросился к тому, в которого он два раза промахивался, и не успел тот поднять руки, как кинжал пропорол ему брюхо. Но в то же время две пули пробили грудь Хаджи-Мурата.[291] Он упал. Он умирал и

вдруг понял это. И Вали-Магома такой, каким он его видел последний раз, свистящим и кидающим камни и смеющимся, представился ему. Вспомнилась ему улыбающаяся, краснеющая Марья Дмитриевна, вспомнился ему и враг, сам[292] высокий рыжий Шамиль с своим торжественным величием. И Вали-Магома, и Шамиль, и Марья Дмитриевна — всё смешалось в одно и из за всего выступил Алла, от которого он пришел и к которому шел теперь. И он вдруг понял всё. Что этого не надо было. Что всё было не то. Все думали, что кончилось. Но вдруг его страшная окровавленная голова поднялась из-за лошади. Он поднялся весь, поднял голову кверху[293] и остановился. Все замерли.

Вот его то в эту минуту мне наполнил запыленный сломанный репей.

Смущение нападавших продолжалось недолго. Еще две пули ударились в грудь Хаджи-Мурата. Одна попала в золотой и отскочила, другая попала в сердце.

— Алла! — проговорил[294] он, упал навзничь и уже не двинулся.

Шамардино
14 августа 1896.
Л. Толстой

[Редакция вторая — 1897 г.]

№ 2 (рук. № 11).

Это было на Кавказе сорок пять лет тому назад, в декабре 1851 года,[295] в самый разгар войны с Шамилем. В передовой крепости Шахгири или Воздвиженской[296] только что[297] пробили[298] вечернюю зорю,[299] пропели «Отче наш»,[300] поужинали щи и кашу с салом[301] и получили приказ,

принесенный фельдфебелем, завтра выступать с топорами до зари за Шахгиринские ворота.[302]

— Панов, Кондаков и Никитин, в секрет за ворота.[303]

Ночь была тихая и темная с маленьким морозом. Солдаты вышли и, сложив ружья, сели.

Панов, старый служака, пьяница, не переставая ворчал. Никитин возражал Панову, очевидно не для того, чтобы возражать, а только для того, чтобы показать свое мастерство говорить.[304]

— Рубим, рубим, а ничего не вырубили, — говорил Панов. — Она опять вся пуще зарастет, а он..... его мать, на лето засядет в чащу, не вышибешь его оттель.[305]

— Небось, картечь выбьет, только б провезть орудие, — отвечал барабанщик.

[306]— Как же, выбила. Вот так-то выбили Слепцова,[307] слышал? — (Тогда только что был убит Слепцов, известный генерал). — А ты говоришь. Ты чего[308] сапоги снимаешь? — обратился он к Кондакову,[309] стаскивавшему с себя сапоги.[310]

— Да[311] смотрю — стоптал.

— То-то,[312] стоптал.[313]

— Говорят, так на месте и положили, — сказал барабанщик. — Уж очень смел был.

— Тут смел, не смел, кому обречено.

— Ох, хороши[314] сапоги продавал Тихонов, — сказал барабанщик.[315]

— Он домой идет.

— Тоже счастье человеку.[316]

— Да что ж, тебе недолго.

— Как же, недолго.[317] Да я не считаю. Хуже.[318]

[319]Не прошло и часа после их выхода, как впереди их послышался[320] легкий свисток.

— Бери ружья, готовься.

Люди схватили ружья, и щелкнули взводимые курки два вместе и один кондаковский после.

[321]— Солдат?

— Мирнòй, — послышался голос в темноте. — Стреляй не надо, своя.

И показалась темная фигура, одна и другая.

— Стой, не стреляй. Это лазутчики, — сказал Панов.

— А ты верь ему больше.

— Говорю не стреляй.

Панов встал и, неся ружье на перевес, двинулся к показавшимся фигурам.

— Кто идет?

— Своя, своя, мирнòй, — и чеченец рысью подбежал прямо к Панову. — Ружье нет, пистолет нет, шашка нет. Генерал айда, генерал.

— Вишь дрожит весь, сердешный, долго ли убить.[322]

— Вот погоди смена придет, тогда сведу к дежурному, айда, сведу.

№ 3 (рук. № 11).

[323]В эту самую ночь, когда солдат Панов принял лазутчика и свел его к Воронцову, и Воронцов на радости пил шампанское, тот, кто был виновником всего этого, Хаджи-Мурат, сидел в сакле у кунака в чеченском ауле,[324] самом близком к русской крепости.

[325]Хаджи-Мурат[326] сидел на подушках в середине сакли и слушал доклад присевшего на корточки Гази Нура, горбоносого рыжего сухого чеченца, который, держась обеими руками за огромный кинжал, торчавший боком впереди живота, давал ему отчет о своем посещении семьи Хаджи-Мурата, оставшей[ся] в ауле Бетлагаче. Все они: его две жены, трое малых детей и старший сын Сулейман[327] должны были в ночь выехать в Чечню и прибыть в Шали через два дня. В горах он встретил конных, посланных Шамилем для того, чтобы задержать Хаджи-Мурата и доставить его живого или мертвого имаму.

№ 4 (рук. № 11).

В эту самую ночь, когда солдат Панов принял лазутчика и свел его к Воронцову, и Воронцов на радости пил шампанское, Хаджи-Мурат[328] сидел в сакле у кунака в чеченском ауле,[329] самом близком к русской крепости.

[330]Хаджи-Мурат[331] сидел на подушках в середине сакли и[332] жадно ел.

Хозяин, рыжий, горбоносый чеченец, в одном рваном бешмете, с огромным кинжалом перед впалым животом, сидел на корточках, подобострастно глядя на важного гостя, и держал в руках кумган и полотенце. Жена чеченца в желтой рубахе с широкими рукавами и в уборе монет на груди только что принесла круглую доску с стопками чайпильников, политых маслом, поставила их перед важным гостем и вышла. Хаджи-Мурат проехал в этот день более 70 верст по непроходимым лесам[333] и горам и был голоден. С ним вместе ел и его верный мюрид Мулла-Магома, сморщенный старик в черкеске с хозырями, пистолетом за поясом и кинжалом.

Положение Хаджи-Мурата было отчаянное. Он не покорился Шамилю, не отдал ему своего богатства, а заперся в Бетлагаче. Шамиль[334] велел его взять силой; Хаджи-Мурат велел стрелять по посланным: посланные уехали, но с тем, чтобы привести с собой несколько сотен. Ждать нельзя было. На другой день Хаджи-Мурат выехал с своими мюридами и разослал гонцов в аулы, надеясь поднять их. Но везде были посланные Шамиля, и Хаджи-Мурат остался один;[335] его всякую минуту могли взять. Он оставил семью и, по непроходимым почти дорогам через горы, поехал в Чечню. В Чечне, в ауле, откуда у него была жена, его не приняли: Шамилевы посланцы ждали его. В Шали был кунак верный Аслан-Хан. Хаджи-Мурат заехал в лес и оттуда приехал к...

№ 5 (рук. № 11).

В эту самую ночь, когда солдат Панов принял лазутчика и свел его к Воронцову и Воронцов на радости пил шампанское, Хаджи-Мурат подъезжал верхом[336] к ближайшему к Шах-гири аулу. Хаджи-Мурат хотел остановиться в ауле Шали, но ехавший впереди его мюрид Мустафа-Садо предупредил его, что в аул приехала партия конных из Ведено, места пребывания Шамиля, с тем, чтобы захватить Хаджи-Мурата и привести его живого или мертвого к Шамилю.

№ 6 (рук. № 11).

В эту самую ночь, когда солдат Панов принял лазутчика и свел его к Воронцову, и Воронцов на радости пил шампанское,[337] в ауле Гоцатль, ближайшем к Воздвиженскому, происходило следующее[338]

№ 7 (рук. № 11).

Дожидался приезжий недолго. Таймасхан в шубе, подпоясанной поясом с кинжалом, быстрым легким шагом шел под гору к гостю. Девочка бежала за ним.

Опять приезжий поздоровался и прибавил приветствие по кумыкски, объяснив, что он имеет дело и письмо от кунака.

Таймасхан взялся за стремя, чтобы гость слез, и, отдав лошадь сыну, вышедшему из-за угла, повел гостя в дом.

Гость скинул бурку, хозяин снял с него ружье, шашку и, повесив их на стену, подложил новую подушку на ковер, постланный в сакле. Гость сел и, достав письмо из кармана бешмета, подал Таймасхану. В сакле было темно, и дальнозоркие маленькие глаза Таймасхана плохо видели; он подошел к маленькому оконцу, в котором лежала шерсть, и, скинув шерсть, стал читать.

Прочтя письмо, — оно было очень короткое, — Таймасхан обернулся к гостю и, приложив обе руки к груди, сказал, что он всё сделает для великого наиба, для света и славы истинных мюридов, и тотчас же стал снимать висевшее на стене оружие: шашку, пистолет и ружье и, надев их на себя, вышел к жене и сыну. Сыну он велел сейчас же зарезать барана, жене же велел делать чайпильники и варить баранину. А сам пошел седлать свою лошадь, стоявшую тут же позади сакли.

Приехавший был Кильяс-Хан,[339] друг Хаджи-Мурата.[340] Хаджи Мурат был теперь в пяти верстах от аула и послал Кильяс-Хана к Ахты-Бек, к дяде своей второй жены Аджан, взятой в Чечне, с тем, чтобы узнать, может ли он принять его.

Вопрос этот делал Хаджи-Мурат потому, что, поссорившись с Шамилем, Хаджи-Мурат был смещен с своего наибства и был потребован к Шамилю в Ведено. Хаджи-Мурат отказался. Он знал, что значило явиться к Шамилю виноватым. Шамиль потребовал от него его имущество. И Шамиль послал своих мюридов привести к нему Хаджи-Мурата живого или мертвого. Сначала Хаджи-Мурат надеялся не покориться и заперся в ауле Бетлагач, стараясь поднять с собой Аварию и отложиться от Шамиля. Но аварцы боялись Шамиля и не пошли за Хаджи-Муратом. На Бетлагач была послана партия под начальством наиба Тамгика, врага Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат, собрав, что мог, из своего имущества, бежал в Чечню с четырьмя мюридами, поручив свою семью своему другу и брату Адиль-Гирею. В этот день он проехал и прошел больше 70-ти верст по горным и лесным тропинкам, едва ускользнув два раза от партии разыскивавших его. Больше ничего не оставалось, как бежать к русским. Но и бежать к русским было не легко. Выехать в цепь, могут убить. Придти пешком оборванцем тоже нельзя. Надо было приехать к русским так, чтобы внушить им уважение к себе. И потому надо было оправиться, оправить лошадей, послать лазутчика, выговорить условия перехода. Всё это обдумал Хаджи-Мурат и поэтому послал своего любимца и верного мюрида Кильяс-Хана к дяде своей жены Ахты с тем, чтобы у него оправиться, дать отдохнуть лошадям и, главное, от него выслать для переговоров лазутчика.

———

Ахты объявил Кильяс-Хану, что Хаджи-Мурат в его доме будет как у себя дома, что возьмут его из его дома только тогда, когда разрежут ему живот. Лошадь была готова, и он пошлет сына за Хаджи-Муратом, а сам останется дома, чтобы готовить прием для гостя и не возбудить подозрения, которое уже начало показываться у жителей, спрашивавших, кто приехал. Садо проводит до лесу Кильяс-Хана, свезет лошадям ячмень, людям сыра и лепешек и приведет Хаджи-Мурата в дом к Ахты. Уже совсем смеркалось, когда Ахты услышал топот двух лошадей за оградой и вышел встречать знаменитого гостя.

№ 8 (рук. № 11).

Таймасхан[341] пожал руку гостю, выразив во всей позе, лице величайшую почтительность. Гость слез и,[342] хромая, вслед за хозяином, который, отдав лошадь вошедшему из сакли хозяина сыну,[343] ввел[344] приезжего в саклю. Приехавший был Хаджи-Мурат. Он снял башлык и бурку и, оставшись в белой черкеске и высокой папахе с чалмою,[345] стал снимать оружие. Хозяин почтительно принимал ружье, шашку и, повесив их на стену, положил новую подушку на ковер, постланный в сакле.[346] Хаджи-Мурат сел и[347] тотчас же быстро стал рассказывать[348] то, зачем он приехал.[349]

Он приехал[350] потому, что поссорился с Шамилем,[351] был смещен с своего наибства и был потребован к Шамилю в Ведено. Хаджи-Мурат отказался[352] и хотел здесь в Чечне собрать партию и напасть на русскую крепость. И Шамиль[353] послал своих мюридов привести меня к нему[354] живого или мертвого.[355]

Я не поехал и заперся в ауле. Шамиль послал партию под начальством наиба Талгика, моего врага.[356] Я собрал, что мог из

своего имущества и[357] послал жену в Чечню[358] и приехал сам, а на пути везде уже они меня сторожат. Я проехал и прошел нынче больше 70 верст по горным и лесным тропинкам, едва ускользнув два раза от партии.[359] Можешь ли[360] ты принять[361] меня?[362] Ахты-Бек, приложив[363] обе руки к груди, сказал, что он всё сделает для великого наиба, для света и славы истинных мюридов и тотчас же[364] стал снимать висевшее на стене оружие: шашку, пистолет и ружье и, надев их на себя,[365] вышел[366]. Зайдя к сыну, он велел сайчас же зарезать барана. Жене[367] же велел делать чайпильники и варить [368] баранину. А сам пошел[369] убрать лошадь[370] Хаджи-Мурата, подвязав ее высоко головой к переводу. Вернувшись, Ахты[371] объявил[372] Хаджи-Мурату, что он в его доме будет, как у себя дома, что возьмут его[373] из его дома только тогда, когда разрежут ему живот.[374] Теперь же, что угодно Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат сказал, что ему нужно молиться. Ахты подал ковр[ик], кумган с водой и вышел. Хаджи-Мурат разулся, омыл ноги и стал на молитву.

Солнце только что зашло за[375] поросшие лесом горы[376], но еще светило косыми лучами на снеговые горы.

№ 9 (рук. № 11).

В тот самый вечер, когда солдат Панов был назначен в секрет и у Воронцова собрались играть в карты в чеченском ауле[377] Ирмяук;[378] в то самое время, как муедзин слезал с своей вышки и по всему аулу стлался пахучий дым от зажженных во всех домах кизяков для кипячения только что подоенного от коров и буйволиц молока, вверх по[379] каменной дороге, шедшей по краю аула, ехал[380] ходою доброго коня всадник в бурке, поднимавшейся сзади винтовкой в чехле, и в башлыке, закутывавшем ему почти всё лицо. По поджарой, белой лошади,[381] постукивавшей коваными копытами по камням

дороги, по посадке всадника, по бурке,[382] сидевший на большом камне у своей сакли старик-чеченец[383] тотчас признал[384] джигита.[385]

— Селям алейкум, — сказал всадник, поравнявшись с стариком.[386]

— Алла-лей-кум селям, — протянул старик.[387] — Откуда?

— Дальние, — отвечал всадник.[388]

— Ахты-Бек уйде ма? — спросил[389] он («дома ли[390] Ахты-Бек?»).

— Должно дома,[391] спроси, вон баба его воду несет, — отвечал старик, указывая на женщину в желтой рубахе и синем бешмете, шедшую в кованых сапогах по боковой дорожке с большим кувшином на голове.[392] Вслед за ней шла девочка лет 13 с[393] маленьким кувшином.

Пока приезжий дожидал поднимавшуюся осторожно по круче, старик рассмотрел его.

— Да, это[394] не простой человек, — подумал он, заметив и кинжал[395] в золотой оправе,[396] и натруску и хозыри,[397] отделанные серебром. Сам джигит был человек[398] черноватый, с небольшой бородкой и с бровями, почти сросшимися в одну бровь, и с белыми, как кипень, зубами, которые открывались при каждом слове.

Дождавшись чеченку он поздоровался с нею и,[399] узнав, что хозяин дома, только[400] был в мечети, объявил ей, что[401] у него дело до хозяина.

Мать взяла из рук девочки кувшин и[402] что-то сказала ей. Девочка побежала вверх по улице.

Женщина вошла в саклю, всадник остался дожидаться, опустив голову и не глядя вокруг себя.

Приезд нового человека уже возбудил любопытство. Кучка чеченцев, стоявшая у двери третьей сакли с увешанной бараниной, оглядывала его. Два молодых чеченца в шубах в накидку прошли мимо, как будто за делом, только бы взглянуть на[403] приезжего. Но приличие не позволяло здороваться и заговаривать. Приезжий же своим видом показывал, что он этого

не желает. В верхнем ярусе чеченка вышла на плоскую крышу.[404]

Дожидался приезжий недолго.[405] Ахты-Бек в шубе, подпоясанной ремнем с кинжалом,[406] медленно шел под гору[407]. Ахты-Бек был почтенный человек, и встречавшиеся давали ему почтительно дорогу. Девочка бежала[408] впереди. Опять приезжий[409] произнес «Селям» — приветствие по[410] чеченски.

Ахты-Бек взглянул в лицо приезжего и[411] узнав его[412] вдруг весь сжался и из гордого и самоуверенного превратился в смиренного и робкого. Ахты-Бек пожал обеими руками руку приезжего и, почтительно взявшись одной рукой за поводья, другою за стремя с правой стороны,[413] произнес:[414] «Благодарю Бога за то, что он принес тебя ко мне. Будь дорогим гостем. Мой дом — твой дом», — и опустил глаза, выражая этим то, что не знает и не хочет знать, зачем так далеко от своего жительства очутился Хаджи-Мурат один, без своих мюридов. Он знал всё это. Уже давно около мечети на камнях обсуживалась ссора Хаджи-Мурата с Шамилем и делались предположения о том, что из этого будет. Были слухи о том, что Хаджи-Мурат заперся в своем ауле и отстреливался от посланных от Шамиля, которые должны были привезти его к Имаму живого или мертвого; были слухи о том, что он бежал и взят Шамилем, и вот он[415] был здесь в ауле, ближайшем к русским, один, без мюридов. Всё это означало многое и Ахты-Бек понимал, что это значило. Но Хаджи-Мурат был кунак и приехал к нему, и Ахты-Бек делал вид, что он ничего не знает и желает только одного: принять и успокоить приезжего.[416]

— Сулейман, лошадь, — крикнул Ахты-Бек вышедшему сыну.

— Спасибо.[417] Она много проехала нынче, — сказал Хаджи-Мурат[418] на лошадь, которую взял под уздцы Сулейман, чуть улыбаясь и[419] порывисто перекинув ногу, как человек, привыкший к услугам других, не обращая внимания на лошадь, придерживая шашку, пошел хромая на балкон перед саклей. У Хаджи-Мурата была сломана давно еще левая нога и была короче другой; но это не мешало движениям его быть быстрыми

и порывистыми. Он[420], как будто припрыгивая под своей буркой, подошел к двери сакли, которую поспешно отворил перед ним Ахты-Бек.

[421]Войдя в чистую[422] вымазанную саклю, Ахты-Бек[423] снял с гостя бурку, шашку, пистолеты и повесил на стену, и подложив две подушки на паласы и выйдя за дверь, велел жене готовить чайпильники, а сыну убить барана.

— Не хабар? Ну, что, какие новости? — спросил Хаджи-Мурат вернувшегося хозяина и на корточках почтительно севшего против него.

— У нас нет от тебя новостей.

— Не были у вас конные из Ведено? — спросил Хаджи-Мурат.

— Не были, — отвечал Ахты-Бек, взглянув своими черными блестящими глазами в лицо Хаджи-Мурата. Глаза их встретились, и Хаджи-Мурат понял, что Ахты-Бек всё знает, и его отчаянное положение и намерение перейти к русским. Ахты-Бек понял, что Хаджи-Мурат знает, что он знает, но все-таки из приличия не станет говорить о своем намерении.

— Не были, так будут, — сказал Хаджи-Мурат. — Мы их объехали[424] на Мичике, и они заночуют там, а завтра будут.

— Я слушаю, что прикажешь?

—[425] Мои молодцы остались в лесу за Аргуном, два из них[426] должны придти дать ответ мне[427]. Надо привести их ко мне.

— Сейчас поеду. Какое место за Аргуном?

— От большой поляны, где стог сена, на левую руку, прямо в лес на большую чинару. Там они.

— Сам еду.[428] Жена и сын здесь будут служить гостю.

Хозяин вышел. Хаджи-Мурат сидел задумавшись и вдруг поднял голову, тряхнул ею и улыбнулся.

— Молиться Богу будешь?— сказал хозяин,[429] внося ковер, таз и кумган с водою.

— Буду, — отвечал Хаджи-Мурат и, встав, тотчас же разулся, обмыл ноги и, ровно поставив их, стал на[430] ковер, присел на пятки и закрыл руками глаза и лицо.

Он еще не кончил молитву, когда из овальной, вверху обмазанной двери вышла ханум с столиком, на котором лежали чуреки и чашка,[431] сыр и мед. Она остановилась в дверях и хотела вернуться, но в это самое время Хаджи-Мурат поднялся с колен и, на обе стороны повернув голову, проговорил в последний раз: «Ляилаха-илла-ллах» — «нет Бога, кроме единого Бога» и, надев туфли, сел на подушки.

— Жива? Здорова? Дети здоровы? — проговорил он, не ожидая ответа, ласковым взглядом и словом веселя женщину.[432]

Через несколько времени вошел сын и сел на корточки, прося есть.

Хаджи-Мурат поел и тотчас же лег, подложив пистолет под подушку и покрывшись буркой. Он не спал две ночи, объезжая посланных Шамиля, и теперь, уверенный в гостеприимстве и защите кунака, тотчас заснул. В[433] конце ночи его разбудил хозяин вместе с теми двумя тавлинцами, которые ходили в эту ночь к Воронцову. Хаджи-Мурат вскочил, схватился за пистолет, но тотчас опять положил его. Отслушав донесение мюрида, он встал и быстро оделся и, вместе с хозяином, выехал из аула. Его мюриды пошли пешком. Перед рассветом он простился с хозяином и, в сопровождении четырех мюридов и лошади с вьюками, переехал Аргуни и уже рассветало и на горах был розовый свет, когда он приблизился к месту, где трещали топоры русских рубщиков леса.

№ 10 (рук. № 11).

В тот самый вечер, как Панова назначали в секрет, а майор с широк[олицым] офицером усаживались у Воронцова за вист, в ближайший к Воздвиженской немирной аул въезжало пять всадников. В ауле, как и все аулы, приютившемся к горе так, что гора заменяла задние стены саклей и часть боковых,[434] в ауле шла обычная, тихая и вечерняя жизнь. Муедзин уже прокричал свое призванье, и старики уж помолились и, выйдя из мечети,

сидели на бревнах и камнях, беседуя о Шамиле и русских, и о последней победе Шамиля, в которой был убит важный генерал. Женщины — которые шли с кувшинами с водой и за водой под гору, которые разводили огни,[435] и по всему аулу стелился пахучий дым горящего навоза.

№ 11 (рук. № 13).

I

В самый разгар войны Шамиля с русскими в передовой крепости Шахгири или по русски Воздвиженской фельдфебель 2-й роты, Петров,[436] уважаемый и солдатами и офицерами Василий Кононыч, отслуживающий двадцать четвертый год, три раза раненный, с двумя георгиевскими крестами,[437] широкоплечий, сильный, строгий человек с[438] густыми щетинистыми усами, вызвал свою роту на вечернюю зорю.[439] Солдаты в коротких полушубках (был декабрь месяц, снега не было, по ночам морозило) вышли из казарм и своих домиков, стали лицом на восток, и песенники[440] пропели «Отче наш», потом[441] Петров громко передал полученный им от ротного приказ выступать завтра с топорами до зари за Шахгиринские ворота.

— Панов! — крикнул фельдфебель.

— Здесь!

— Кондаков!

— Здесь!

— Никитин!

—[442] Я.. у..

— Троим в секрет за ворота.

[443]После ужина в 9-м часу, — уже было совсем темно, и яркие звезды зажглись над горами, — Панов, Кондаков и Никитин[444] вышли из казарм и с ружьями на плечо пошли по

улице укрепления за ворота.[445] Место, где ложились секреты, было в четверти версты от ворот.

Дойдя до этого места, Кондаков снял ружье с плеча, стукнул его о земь и остановился.

— Шабаш, ложись, ребята.

Другие два солдата сделали то же. Хотя курить запрещалось, Никитин все-таки закурил, Панов затягивался из его трубки, и между ними начался разговор.

Никитин был молодой человек, недавно сданный по очереди из большой хорошей семьи Владимирской губернии. Дома осталась молодая еще мать, красавица жена, три брата с женами и ребятами. Никитин, Петра, пошел охотно за брата. Но теперь, как это часто бывает, он раскаялся в своем добром поступке. Тоска съела его. Зачем он бросил богатый дом, родительницу, жену; зачем живет здесь, на чужой стороне, ходит рубить лес без толку и стреляет по татарам? Не мог сжиться Петра с этой жизнью, и курил, и пил он, и тоска всё хуже и хуже одолевала его. Два раза он думал бежать, да и выходил за крепость, но[446] молился и проходило.[447] Особенно тяжело было Петру то, что солдаты товарищи, которые по его соображениям должны были испытывать то же, что и он, не только не понимали его, и когда он заговаривал с ними о своей тоске,[448] смеялись над ним, но, напротив, как будто были совсем довольны своей жизнью и гордились ею.

[449]— Эх, житье, — сказал Петра, садясь на землю и отчищая под собой сухие листья и ветки.

— А чем не житье? — отвечал Кондаков. — Давай трубку-то, будет.

— Люди живут домом, жены, дети, своя дома работа...

— Вот и видно, мужик необтесанный, — сердито крикнул[450] Кондаков. — Дома жена, родители, — передразнивая[451] Петра, повторял Кондаков. — Тут, брат, не жена, а служба царю и отечеству.

— Какая служба! Руби и руби. А она опять вся пуще зарастет, а он.... его мать, на лето засядет в чащу, не вышибешь его оттель, — сказал Панов.

—[452] Небось, картечь выбьет, только б провезть орудие, — отвечал[453] ефрейтор.

— Как же, выбила.

— Вот так-то выбила Слепцова, слышал? (Тогда только что был убит Слепцов, известный генерал.) — А ты говоришь! Ты что сапоги снимаешь? — обратился он к Кондакову, стаскивающему с себя сапоги.

— Да смотрю — стоптал.

— То-то, стоптал, мужик, ходить не умеешь.

— Говорят, так на месте и положили, — сказал барабанщик.

— Уж очень смел был.

— Тут смел не смел, кому обречено.

— Ох хороши сапоги продавал Тихонов, — сказал барабанщик.

— Он домой идет.

— Тоже счастье человеку.

— Да что ж, тебе недолго.

— Как же, недолго. Да я не считаю. Хуже.

Не прошло и часа после их выхода, как впереди их послышался легкий свисток.

— Бери ружья, готовься.

Люди схватили ружья, и щелкнули взводимые курки, два вместе и один Кондаковский после.

— Солдат?

— Мирной, — послышался голос в темноте. — Стреляй не надо, своя.

И показалась темная фигура, одна и другая.

— Стой, не стреляй. Это лазутчики, — сказал Панов.

— А ты верь ему больше.

— Говорю не стреляй.

Панов встал и, неся ружье на перевес, двинулся к показавшимся фигурам.

— Кто идет?

— Своя, своя, мирнòй, — и чеченец рысью подбежал прямо к Панову. — Ружья нет, пистолет нет, шашк нет. Генерал айда, Генерал.

— Вишь дрожит весь сердешный, долго ли убить.

— Вот погоди, смена придет, тогда сведу к дежурному, айда, сведу.

//

В крепости огни в солдатских домиках и в господских блестели ярко. Два дома было самых больших и хороших. Один, в котором жил командующий войсками барон Меллер-Закомельский, другой, в котором жил полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов с своей знаменитой красавицей женой Марьей Васильевной. Все восемь окон его дома, несмотря на сторы и гардины, ярко светились в темноте ночи. В самом доме было светло и весело. В великолепной, по-европейски убранной гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, с мягкой гамсовской мебелью, с картинами на стенах, с дорогими темными обоями, с светлыми лампами и свечами, сидело небольшое общество около раскинутого и придвинутого к дивану ломберного стола. Четверо играли в вист-ералаш. На диване сидел молодой, красивый, краснолицый брюнет, бывший гвардеец, командир второй[454] роты; рядом с ним сидела не играя[455] красавица,[456] сама хозяйка, княгиня Марья Васильевна Воронцова. Партнером краснолицего офицера был его батальонный командир, толстый майор, страстный игрок[457]. Партнером князя Воронцова был учитель пасынка князя, московский кандидат.[458] Широколицый офицер проигрывал, и хотя это и было неприятно ему, он в эту минуту не думал этого, весь поглощенный прелестью Марьи Васильевны, сидевшей около него, глядевшей ему в карты, чтоб приносить счастье, как она говорила. Разумеется, было сказано старое: malheureux au jeu — heureux en amour,[459] и как ни недоступна была для широколицего офицера Марья Васильевна, было что-то и в этих словах, и в ее близости, и в ее улыбке, и он делал ошибку за ошибкой.

[460]— Как же вы играете! — вдруг[461] закричал майор, и глаза его хотели выскочить. — У вас был туз.

— Не горячитесь, майор, — улыбаясь сказала Марья Васильевна.

— Виноват, княгиня, не могу. Ведь он зарезал меня.

— Ничего, ничего, ходите.

Игру разыграли, и начались попреки майора, оправдания широколицего офицера и хохот остальных, когда в комнату вошел француз камердинер князя с докладом о том, что его требует кто-то.

— Извините, господа... Ну, ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, порхая.

— Я очень согласен, потому что вы не умеете играть. Если бы со мной, я бы был не согласен, — сказал шутник.

Робер один кончился. Князя всё не было. Уже в конце второго робера он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу, если вы согласны?

— Ну?

— Выпьемте шампанского. Василий, подайте.

— Прекрасно. Я готов, — сказал майор.

— Что же это? Vous avez des nouvelles de Chamile?[462] — спросила Марья Васильевна.[463]

— Peut-être.[464]

— Comment? Vous ne voulez pas me dire ce qu’il y a? Nous allons voir,[465] — сказала Марья Васильевна.

Гости выпили шампанского, потом доиграли игру и разошлись.

— Вы завтра[466] назначены в лес?[467] — сказал князь широколицему офицеру, прощаясь с ним.

— Да, а что?

— Так мы увидимся с вами завтра, прощайте, — сказал князь, таинственно и весело улыбаясь.

Когда гости ушли, Марья Васильевна не откладывая подошла к мужу и, взяв его за руку, сказала:

— Eh bien, vous allez me dire ce que c’est.

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère». C’était en émissaire n’est ce pas?[468]

Разговор их продолжался по-французски.

— Ну, если бы это и был лазутчик, я все таки не могу сказать.

— Не можешь? Так я тебе скажу.

— Ну?

— Хаджи-Мурат сдался.[469] Да?

— Ну, да.

Князь не мог отрицать и только просил жену никому не говорить (правда и некому было говорить, кроме горничной). Правда, что во время их игры приходил лазутчик, который принес известие, что Хаджи-Мурат завтра утром выедет с четырьмя мюридами в Аргунское ущелье недалеко от крепости, с тем, чтобы передаться русским.

Марья Васильевна угадала, потому что толки о выходе Хаджи-Мурата к русским шли уже недели две и приходило несколько лазутчиков с этим известием.[470]

Событие же это было очень важное и радостное для Воронцова. Хаджи-Мурат был один из искуснейших и храбрейших и потому опаснейших для русских наибов Шамиля. Он был сначала на стороне русских и был даже одно время прапорщиком милиции; потом перешел к Шамилю и воевал с русскими четырнадцать лет и почти всегда был победителем. Он делал чудеса: он с своими конными отрядами делал неимоверные переходы, появлялся там, где его не ждали, с необычайной смелостью и верностью расчета нападал, побивал и уходил. Он врывался в города, в которых были русские войска, грабил, разорял и уходил. Он похитил ханшу из ее дворца со всем ее штатом и имуществом. Он был сам храбрец, силач и джигит, и был смелый, умный и счастливый военачальник.

Он становился всё сильнее и сильнее, и популярнее и популярнее в Дагестане, так что Шамиль стал бояться его. В 1851 году, придравшись к неуспеху его похода в Табасарань, Шамиль решил сместить его с наибства и потребовал от него всё его имущество. Хаджи-Мурат отказался, заперся в укрепленном ауле и приготовился к защите. Но власть Шамиля была так сильна, что Хаджи-Мурат видел, что он не устоит, и[471]

убежал в Чечню. И[472] оттуда вел переговоры через лазутчиков.[473]

Так вот кто был Хаджи-Мурат, которого завтра ожидал Воронцов.

[IIII][474]

В то самое время, как шел этот разговор между мужем и женой о Хаджи-Мурате, за пятнадцать верст от Воздвиженского в чеченском ауле, этот самый Хаджи-Мурат лежал[475] в сакле своего кунака, не раздеваясь, с кинжалом и одним пистолетом за поясом, другой лежал подле него вместе с шашкой и ружьем. Облокотившись на жилистую руку, он спал чутким сном, который был нужен ему после трех бессонных ночей путешествия — бегства от Шамиля.

В сакле вместе с ним лежал его любимый мюрид Аслан-Бек, могучий красавец юноша с оттопыренной, как у детей, чуть покрывавшейся пушком верхней губой, и с выпуклыми добрыми бараньими глазами. Он спал раскинувшись навзничь, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свеже-бритой синей головы, с которой свалилась черного курпея папаха. Аслан-Бек спал тоже во всем оружии. В сакле, как и все сакли без окон с узким продольным отверстием, догорали сучья в камине, и в печурке горел в черепке с маслом фитиль.

Хозяин сакли хмурый чеченец с длинным носом и нависшими бровями, мягко ступая в разбитых чувяках, только что вошел в скрыпнувшую дверку. Хаджи-Мурат, услыхав этот скрып створчатой дверки, вскочил и, прямо сев, взялся за пистолет. Аслан-Бек не тронулся и продолжал всхрапывать.

— Не хабар? Что нового? — спросил Хаджи-Мурат, узнав хозяина. — Вернулся? — спросил Хаджи-Мурат, как будто никогда не спавши. Он спрашивал про посланного им того

самого чеченца, брата хозяина, которого солдаты встретили в секрете.

— Нет еще, — отвечал хозяин. — Только хорошо ли ждать здесь? — и хозяин рассказал Хаджи-Мурату, что в ауле узнали и хотят захватить Хаджи-Мурата на выезде.

Убегая от Шамиля, Хаджи-Мурат доехал до ближайшего к русским аула, в котором у него был кунак Саффедин, дядя той второй жены чеченки, которую пять лет тому назад взял из Чечни Хаджи-Мурат и которая теперь оставалась в горах во власти Шамиля.

Хаджи-Мурат не решался въехать со всеми пятью своими нукерами в аул и, оставив своих четверых спутников в лесу в ущельи, в сумерках во время третьего намаза, въехал только с одним Аслан-Беком в аул, к сакле Саффедина. Саффедин[476] принял его, уложил спать гостей, убрал лошадей и послал своего брата к русским,[477] стараясь сделать всё это тихо и незаметно.

Но женщины с крыши видели, как два всадника подъехали к сакле Саффедина, и через два часа весь аул знал и уже догадывался про то, кто были эти гости. Саффедин сейчас узнал от жены, которой это сказала прибегавшая к ней соседка, что старики решили выслать караулы вокруг аула и не выпустить приезжих, а доставить их Шамилю. По десяти ребят с ружьями были высланы к обоим выездам. За этим пришел Саффедин. Он говорил, что нужно пользоваться временем и выезжать, пока не рассвело.

— Лошади? — спросил Хаджи-Мурат.

— Оседланы.

Хаджи-Мурат вскочил, прихрамывая мягкими шагами подошел к Аслан-Беку,[478] мягко толкнул его[479] ногой под спину.

— Вставай! Ехать, — и привычшми движениями в привычные места засунул пистолеты, надел шашку, ружье, бурку и вышел на двор.[480]

Гнедой мерин его, накормленный, но не поенный, приветственно заржал. Лошадей вывели на улицу. На стук копыт по камням улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли. Пробежал какой-то человек в гору, к мечети.

Было[481] темно[482], но совершенно ясно и, казалось, светили звезды. Горы казались черными. Прихватив ружье, Хаджи-Мурат вложил изувеченную, короткую, но сильную ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув мускулистое тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст тебе, — сказал он хозяину, державшему лошадь. — Когда придет брат, пришли его в лес, — прибавил он, вдевая другую привычную ногу в стремя, и[483] лошадь, как будто часть его, тихими шагами понесла его под гору аула.[484] Аслан-Бек ехал за ним. Хозяин в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда через каменную дорогу показалась движущаяся тень, потом другая.

— Кто едет? — крикнул голос.

Но не успел он выговорить этого, как Хаджи-Мурат пригнулся,[485] лошадь сама рванулась сначала рысью, а потом вскачь по направлению к сторожам.[486] Хаджи-Мурат выстрелил из пистолета и, выхватив шашку, погнался за[487] одним бегущим под гору.[488] Бегущий соскочил под кручь и[489] в это время щелкнули два выстрела и просвистели две пули. Выстрел Хаджи-Мурата попал в спину молодому чеченцу.

— Ах, собака, убил меня, — завизжал он.

С такой же быстротой и определенностью, с которой Хаджи-Мурат бросился на сторожей, он теперь так круто повернул лошадь, что она, поскользнувшись, заскрипела по плитам камня задней ногой, и пустилась свободным легким скоком под гору. Аслан-Бек не отставал от него.

Отскакав шагов триста, Хаджи-Мурат остановил лошадь, вдохнул сырой воздух лощины и леса, к которому они спустились.[490]

— Стой! — тихо сказал ему Хаджи-Мурат и, остановив часто дышащую лошадь, стал прислушиваться. Внизу шумела река Аргунь[491]. Но[492] вот сзади запели петухи в ауле и вслед за тем закричали, заливаясь шакалы в темном лесу налево. К этому темному облетевшему лесу[493] и направился Хаджи-Мурат. Проехав без дороги[494] шагов сто и въезжая в лес, Хаджи-Мурат

опять остановился и, забрав много воздуха в свои могучие легкие, выпустил его с пронзительным визгом и замолк.

Через минуту такие же визги повторились из леса, и Хаджи-Мурат поехал по направлению этого визга.

Через пять минут езды, сквозь стволы чинар, точно как будто они бежали, стал блестеть огонь, и на поляне завиднелась белая стреноженная лошадь, другая — темная и[495] тень человека, закрывавшая огонь.

С четырьмя нукерами сидел и рыжий брат Саффедина, возвратившийся от Воронцова с известием, что Воронцов будет ожидать Хаджи-Мурата утром в Аргунском ущелье.

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат, доставая из кармана черкесский кошелек, дал золотой чеченцу, потом велел растреножить лошадей и одному Темир Садыку стать верхом на дороге к аулу, с тем, чтобы в случае погони дать знать ему.

До зари оставалось недолго. Оставшееся время употребили на то, чтобы обчистить одежду, оружие и лошадей, с тем, чтобы в красивом виде выехать к русским.

[IV][496]

Рано утром до зари вторая рота, та самая, из которой трое ходили в секрет, вышла за Шахгиринские ворота и стала рубить лес. Туман, сливавшийся с дымом от костров, начинал подниматься кверху, и солдаты, рубившие лес, прежде не видавшие, стали видеть друг друга и видеть дорогу, шедшую через лес.

На этой дороге сидели на барабанах вчера игравший в вист с Воронцовым ротный командир и пил и закусывал с своим субалтерн-офицером.

В это время по дороге из крепости показался длиннолицый белокурый командир полка с своим адъютантом, казаком и чеченцем-переводчиком.

Воронцов ехал верхом на своем красавце[497] английском жеребце и, увидав[498] ротного, кивнул ему головой. Ротному подал вестовой его небольшого, сытого каракового кабардинца[499] и он, сев на него, подъехал к начальнику.

— Возьмите шестую роту и пойдемте со мной.

— Слушаю.

Через десять минут рота была собрана и, с песенниками впереди, двинулась по дороге. Воронцов и ротный ехали впереди.

— Неужели вы не догадываетесь, куда мы едем? — улыбаясь, спросил Воронцов.

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Да. Всё-таки рассыпьте стрелков.[500]

В это время переводчик подъехал к Воронцову.

— Вот она идет, — сказал[501] он, указывая на показавшихся из за дерев всадников.

Воронцов[502] сел на лошадь и поехал навстречу.

Хаджи-Мурат ехал впереди на[503] белогривом коне, в белой черкеске и в чалме на папахе.

— Берегись! — закричали вдруг из лесу, и затрещало дерево и из невидного тумана стала с треском спускаться ветвистая чинара.

— Берегись, аль оглох, — закричал кто-то на[504] солдат, тащивших[505] сучья с дороги. Офицеры только успели отскочить.[506] Но[507] солдаты или не слыхали или не рассчитывали, что дерево захватит их, не отбежали, и чинара, ломая сучья, с грохотом ударилась о землю,[508] прикрыв собою[509] обоих солдат. Один из них оказался безвреден, только суком разорвало его новый полушубок. Другой же лежал прижатым за живот сломанным суком, как гвоздем, к земле и громко стонал. Солдат этот был Никитин. Солдаты бросились к нему, с трудом выпростали его из-под дерева и положили[510] в стороне от дороги. Воронцов послал за доктором и носилками и

слезши с лошади вместе с доктором рассматривал рану Никитина.

Ротный командир, отводивший стрелков и не видавший того, что случилось с Никитиным, первый встретил Хаджи-Мурата. Встретившись с офицером,[511] он, приложив руку к сердцу, сказал что-то по татарски, но, видя, что[512] его не понимают,[513] заговорил по русски:

— Хаджи-Мурат — моя — у русских. Шамиль нету. Воронцов надо.

— Вот он, Воронцов, — сказал[514] ротный, весело улыбаясь, поворачивая лошадь назад к подъезжавшему Воронцову. Ему радостно было встретить дружелюбно этого страшного человека, столько помучившего их и побившего русских, и, кроме того, вся фигура этого молодцеватого, с короткой, обстриженной бородкой и блестящими, не бегающими, а внимательно и удивительно ласково смотревшими глазами, невольно привлекала и подбодряла.

Несмотря на то, что они третий день были на пути и ночевали в лесу, вид не только Хаджи-Мурата, но и всех пяти человек его свиты был молодцеватый, воинственный и щеголеватый. Лошади, одежда, бурки, приподнимаемые сзади винтовками, и в особенности оружие было чисто и красиво, и лица были спокойные и достойные. Особенно выделялись из свиты: один молодой красавец, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах красавец юноша лезгин, с чуть пробивающейся русой бородкой, не спускавший глаз с Хаджи-Мурата; и другой, без бровей, без ресниц, с красными глазами, красной подстриженной бородой и старым шрамом через нос и лицо. Этот был хмурый и смотрел на уши своей[515] поджарой ногайской лошади.

Никитина[516] понесли на носилках в крепость, и между солдатами стало известно, что вышел к нам главный наиб Шамиля, и бывшие к дороге выбежали посмотреть. Офицер крикнул было на солдат, но полковой командир остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомца. Ты знаешь, кто это? — спросил он у ближе стоявшего солдата.

— Никак нет-с, Ваше Сиятельство.

— Хаджи-Мурат. Слыхал?

— Как не слыхать, Ваше Сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, — отвечал солдат довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат подъехал к Воронцову и, наклонив голову, прижал правую руку к груди и сказал:

— Отдаюсь в волю великого падишаха русского и буду служить ему.

Воронцов выслушал переведенные ему переводчиком слова и протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Тот пожал руку, и еще сказал, что он рад тому, что первый начальник русский, с которым он имеет дело, сын великого сардаря (главнокомандующего).

— Люди эти, мои нукера будут так же как и я служить русским, — прибавил он, указывая на своих.

Воронцов оглянулся на них и кивнул им головой. О свите было уже выговорено через лазутчиков.

Воронцов повернул свою лошадь и, пригласив Хаджи-Мурата ехать с собой рядом, поехал назад к крепости.

Свита Воронцова и Хаджи-Мурата поехала сзади. Солдаты, между тем, собравшись кучкой, делали свои замечания.

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь поди как его ублаготворять будут, — сказал один.

— А то как же, правая рука Шамиля. Теперь небось!

— А молодчина! Что говорить! Джигит!

— А рыжий-то, рыжий, как зверь косится.

— Ух, собака, должно быть.

Говорили и об Никитине. Все жалели его.

— Как же, кричат: берегись, — не слышит.

Воронцов с трудом сдерживал свою радость. Он недавно был на Кавказе, и вот ему удалось первому выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России.

Одно было неприятно: в Воздвиженской жил генерал Меллер-Закомельский и по настоящему надо было ему донести

и через него вести дело, а он сделал всё это сам. Как бы не было неприятности. Но в сущности не посмеет обидеться.

Подъехав к дому, Воронцов передал адъютанту нукеров Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом и представил жене.

Оставив Хаджи-Мурата в гостиной с женой и шурином, Воронцов прошел в канцелярию сделать распоряжение об отправке курьера к отцу, в Тифлис.

В канцелярии адъютант объявил Воронцову, что необходимо дать знать воинскому начальнику Меллер-Закомельскому и что вообще и сначала надо было дать знать ему. Действительно так нужно было поступить. Воронцов[517] не подумал об этом, теперь же велел написать донесение.

Когда он, окончив эти дела в канцелярии, вернулся к себе, он увидал своего пасынка Бульку на коленях у Хаджи-Мурата и кинжал Хаджи-Мурата на Бульке.

— Он прелестен, твой разбойник, — сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любоваться его кинжалом. Он подарил его ему. Надо будет отдарить его.

Воронцов подошел к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат, не вставая, подарил его своей заразительной улыбкой белых зубов из под черных стриженных усов; гладя мальчика по курчавой голове, проговорил:

— Джигит! Джигит!

Переводчик же передал Воронцову желание Хаджи-Мурата совершить молитву.

Его отвели в уборную, но ему не понравилось, и он вышел в сарай и там, разувшись, сделал омовение и стал с своими нукерами на молитву.

Всё было бы хорошо, но в это время рыжий, старый генерал барон Меллер-Закомельский, узнав о том, что из гор вышел Хаджи-Мурат и явился не к нему, а к Воронцову, вышел из себя и послал тотчас же за Хаджи-Муратом своего адъютанта.

Воронцова застал адъютант за обедом. Он попросил подождать и тотчас же отправился с Хаджи-Муратом к Меллеру.

Умная Марья Васильевна поняла, что тут что-то не так и, несмотря на успокоение мужа, пошла вместе с ним к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester, c’est mon affaire, pas la vôtre.[518]

— Vous ne pouvez pas m’empêcher d’aller voir madame la générale.[519]

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Так поговорили муж с женой, остановившись на крыльце. Хаджи-Мурат, опустив глаза, делал вид, что он не замечает, но блестящие глаза его играли. Наконец они пошли все трое. Хаджи-Мурат оказался хромым. Одна нога его была короче другой. Но он шел все-таки легко в своих мягких черных чувяках.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене. Адъютанту велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать, а князя Воронцова строго попросил к себе в кабинет, и сам прошел в дверь вперед его.

— Какое вы имели право вступить в переговоры с неприятелем без моего ведома? — сказал он, затворяя дверь.

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата, — отвечал бледнея гордый Воронцов, не привыкший к такому обращению.

— Я спрашиваю, какое вы имели право?

— Как вы хотите, барон, чтобы я отвечал вам на такой вопрос?

— Я вам не барон, а Ваше Превосходительство.

И тут вдруг прорвалась долго сдержанная злоба барона. Он высказал всё: и то, что они, кавказцы, здесь проливают кровь, а петербургские авантюристы приезжают, чтоб у них из под носа выхватывать награды. Это не честно.

— Я не позволю вам этого говорить.

— А я вам не позволю...

— Молчите или я...

В это время вбежали две жены и бросились на мужей. И стали мирить их. Воронцов признался, что он был неправ. Барон признался, что он погорячился.

Решено было оставить Хаджи-Мурата у Меллера и послать к начальнику левого фланга.

[520]В это время Никитин, зная, что он умирает, лежал в лазарете причастившись и исповедывавшись и разговаривал с пришедшим к нему Кондаковым.

— Слава Богу, — говорил он, между стонами, — развязала меня Царица Небесная, сколько бы еще грешить пришлось. Ведь я нынче ночью бежать к Шмелю хотел. Теперь одно только бы: хозяйка замуж вышла да брат матушку не оставил. А мне хорошо. Тут же сразу молча попросил свечку в руки и помер.

Через день пришло приказание отправить Хаджи-Мурата с его мюридами в Грозную и оттуда в Тифлис.

[Редакция третья — 1897 г.]

№ 12 (рук. № 15).

[521]Хаджи-Мурат родился в 1812 году в небогатом аварском семействе Гаджиевых. Дед его был уважаемый всеми человек,[522] ученый и набожный старик,[523] ходивший в Мекку и носивший чалму. Отец его был[524] известный джигит и храбрец. Мать Хаджи-Мурата красавица[525] Ханум была взята ханьшей Паху-Бике во дворец ханов и выкормила Умар-Хана. Уже после этого она родила[526] сына, которого назвала Хаджи-Муратом.[527] Ханьша полюбила[528] кормилицу и ее сыновей. Старший Осман и Хаджи-Мурат часто приходили во дворец и играли с молочными братьями Умар-Ханом и Буцал-Ханом.[529] Молодые Гаджиевы, Осман и Хаджи-Мурат, были как орлы смелы, ловки и сильны,[530] особенно Хаджи-Мурат, и умны, и молодые ханы любили их. Они вместе охотились, вместе джигитовали, вместе[531] играли с девушками. Но дед Хаджи-Мурата любил

мальчика по-своему и не радовался на его молодечество, а хотел сделать из него муллу, кадия, ученого и набожного человека. «Богатство мирское остается здесь, — говорил он, перебирая четки, — нужно добывать богатство вечной жизни». И потому Хаджи-Мурат обучался сначала дома арабск[ой] грамоте, потом отдан в муталимы к соседнему мулле. С этим соседним муллою пришел в один вечер мулла из[532] гор и в мечети стал проповедывать. Он сказал: (Ист.[533] Сборник 2, стр. 12, прим. отчеркнутое).

Слова эти[534] запали тогда в душу Хаджи-Мурата, в особенности то, что[535] [ханы] не ведут войны с неверными. Он решил тогда же вести эту войну и для этой цели решил бежать к горцам к Кази-Мулле, тогда царствовавшему в горах. Не говоря о том, как хорошо, богато жилось там людям, главное, что прельщало его, было то, что там была возможность всегда участвовать в газавате, т. е. в войне с неверными.

Он слышал, что раны, полученные в газавате, не болят.[536] А если убьют в газавате, то пойдешь без суда в рай, а если победишь, то тебе слава в этом мире.

Решив бежать в горы с товарищем, они приготовили для этого товар, потом перешли в мечеть за оградой.[537]

.....
.....

.....
.....

Бегство не удалось, и они воротились, главное, потому что в это самое время[538] к их ханству, которое было под властью русских, подступил Кази-Мулла.[539]

Паху-Бике собрала войско и выставила против врагов. Произошла битва: Кази-Мулла был отбит, но в этой битве был убит Абдулла, отец Хаджи-Мурата.

[540]Хаджи-Мурат ушел от своего муллы с тем, чтобы[541] участвовать в битве, но когда он пришел, всё уже было кончено, и он застал только похороны отца; как несли его на носилках покрытого черной буркой и как Ханум шла за ним с другими женщинами и рвала на себе волосы.

Хаджи-Мурат остался в[542] ауле и опять сошелся с Абунунцал-Ханом и с ним вместе увез ему жену.[543] Через два года с милицией ходил под Гергебиль, где[544] в первый раз убил человека. Он сражался с горцами и Кази-Муллой за смерть своего отца.

В этом сражении[545] был убит и Кази-Мулла и слышно было, что на место его Имамом[546] избран был Гамзат-Бек. Всё это слышал Хаджи-Мурат издалека, но всё это перестало занимать его. Он забыл всё то, что так поразило его в проповеди Муллы-Магомета, и весь теперь отдался увлечению молодечества, которому много помогала его дружба с молодым ханом и любовь к нему ханьши Паху-Бике. На празднике Курбан-байрам он обскакал всех и лошадь его [была] вся увешана кинжалами и увязана платками, так что насилу могла идти. На праздник весны, когда выезжают в первый раз с плугом, он, засучив рукава и штаны, бегал и тоже обежал всех и обвешанный кинжалами был введен в круг. Он же одним ударом шашки срубил[547] голову барану и разрезал платок. Это было самое лучшее, бодрое, веселое время, такое, когда человек живет только своей жизненной силой, а ее было много у Хаджи-Мурата. В это время он женился, увезя жену из Гоцатля. Родные выплатили за нее[548] калым, и она осталась. Так продолжалось два года счастливой, беззаботной жизни, дружбы с ханом. Дед Гаджиев жалел о том, что Хаджи-Мурат не будет ученый, но помирился с этой мыслью. В горах между тем шло дальше и дальше учение тариката. Хаджи-Мурат не обращал на него внимания.[549] Так прошло два года, когда Гамзат в начале августа, завладев окружными аулами[550] (Ист. Каб. полк, II т., 31 стр. и след., отчерки).[551]

Хаджи-Мурат[552] вспоминал теперь это страшное время, в особенности по той внутренней борьбе, которая шла в нем во всё это время. Гамзат-Бек был имамом и вел газават и потому Хаджи-Мурат сочувствовал ему. Когда ханьша Паху-Бике колебалась послать ли сына к Гамзат-Беку, Хаджи-Мурат советовал послать, советовал принять Гамзата и[553] отделиться

от русских. Когда[554] вернулись с проткнутыми носами послы, он же советовал ехать и Абунунцалу и поехал с ним. Здесь в первый раз Хаджи-Мурат увидал Шамиля. Шамиль был тогда молодой человек, приближенный мюрид Кази-Муллы. Хаджи-Мурат[555] шел к Маме, перешедшему к Гамзату, мимо палатки, когда услышал слова Шамиля к Гамзату: «Куй железо пока горячо. Пока ханы будут ханами, они не дадут народу пристать к нам». Не доходя до палатки Хаджи-Мурат услыхал стрельбу и увидал, что[556] стреляют в нукеров хана. Потом он увидал как (И. К. п., 35, отч.).

Вот тут шла борьба.[557] Хотелось броситься защитить молочных братьев. Но показаться значило погибнуть, и Хаджи-Мурат просидел в сакле и вечером бежал в Хунзах, — хунзахцы сдались, и Гамзат вступил в Хунзах, — и ушел к деду.

№ 13 (рук. № 16).

8 апреля[558] 1852 года[559] вечером Хаджи-Мурат с свитою своих четырех человек и двух приставленных к ним караульщиков, надзирателя нухинца Хамиль-Бека и донского урядника Назарова, раньше обыкновенного возвратился с прогулки.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой, чистый дом в пять комнат недалеко от мечети и ханского дворца.[560] Подъехав к дому, Хаджи-Мурат слез, отдал повод нукеру и, хромая, вошел на крыльцо и в дом. Муэдзин запел на минарете, и Хаджи-Мурат, разувшись, омыл ноги и стал на молитву. Окончив молитву, стал произносить «Лаиллаха илла-ллах» и произнес это тысячу раз,[561] после каждых двадцати раз произнося «Мугамедунрассулах». Потом он встал, взял арабскую рукопись и стал читать. Он читал эту рукопись теперь третий раз в своей жизни и только теперь ему казалось, что он в первый раз понимал весь смысл ее. В рукописи было сказано: «Истинный магометанин не может находиться под властью

неверных. Магометанин[562] не может быть ничьим рабом, все магометане равны. И потому тот не магометанин, кто покоряется другому, особенно неверному, тот не может спастись. Все намазы, посты, странствования в Мекку, жертвы бедным и чтение корана не нужны, если он покоряется и служит неверным. И потому первая обязанность магометанина, если он во власти неверных, есть[563] война против них до тех пор, пока будешь свободен от них». «Лаиллаха иллаллах. Мугамедунрассулах»,— повторил Хаджи-Мурат, закрыв глаза и вспоминая, где он, и что он нынче еще обещал через приезжавшего к нему адъютанта главнокомандующего, которому он обещал провести войска в Дагестан и отвоевать Хунзах, всю Аварию и, если не покорить, то вызвать Шамиля. Он обещал приехать опять в Тифлис к этим неверным собакам, чтобы сговориться с тем самым князем Аргутинским, с которым он воевал и которого разбивал не раз в продолжение десяти лет. — Вот в каком он был положении, и не было из него выхода. Не было выхода, потому что он ушел один, оставив в горах жену и сына. Они должны были выдти с ним вместе, но их задержали, и они были теперь в руках Шамиля. А он знал, что такое Шамиль.[564] Не уйти же ему нельзя было. Шамиль[565] сменил его с наибства, потребовал от него всего его богатства и, когда тот не отдал, послал взять его. Хаджи-Мурат защищался в ауле Бетлагаче и убил несколько человек из посланных Шамиля. После этого нельзя было ожидать примирения с Шамилем. Правда, Шамиль, по просьбе Кибит-Магомета, сказал, что он помирится и простит, но Хаджи-Мурат знал, что это значит. Стоило ему поверить, и он бы погиб. Он попробовал возмутить хунзасцев против Шамиля, но все боялись Шамиля, и он даже едва ушел от людей, подосланных, чтобы схватить его. Вся старая ненависть к Шамилю еще за[566] совет убить ханов, за убийство меньшого вскипела в нем, и он решил бежать к русским, чтобы с помощью их отомстить ему. И он отомстил бы, но Шамиль захватил семью, захватил сына. Он любил сына, он не мог без умиления вспоминать о нем. Но не[567] сын, а мысль о том, что он[568] идет против Бога, что, вместо войны с неверными

для освобождения магометан, он с неверными против магометан, убивала его.

Два раза уж он изменял хазавату и теперь третий раз. Прежде он был молод, он не знал, но теперь он не видел себе[569] оправдания. И он вспоминал свои две прежние измены хазавату[570] и всю прежнюю жизнь свою.[571]

№ 14 (рук. № 17).

[572]За несколько дней перед отъездом в Нуху Лорис-Меликов, офицер, состоявший при Воронцове и говоривший по татарски, вызвал Хаджи-Мурата на рассказ о всей своей жизни.

Лорис-Меликову нужно было узнать это, чтобы составить описание жизни Хаджи-Мурата для отсылки государю в Петербург, и он три вечера с ряду приезжал к Хаджи-Мурату и подробно расспрашивал его об его жизни и записывал то из нее, что ему казалось интересно. Хаджи-Мурат же, рассказывая свою жизнь, вновь переживал ее. И это, т. е. подробное и последовательное воспоминание о своей жизни,[573] случилось с Хаджи-Муратом в первый раз за эти года, — двадцать лет его деятельной жизни — ему некогда было вспоминать, — и произвело на него такое новое и сильное[574] действие, что последнее время в Тифлисе и теперь в Нухе он, не переставая, думал о своем прошедшем: вспоминая, распределяя события и поправляя в своих мыслях тот рассказ, который он передал Лорис-Меликову.[575] Всё его прошедшее представлялось ему теперь в воспоминании чем-то особенно важным и прекрасным, и в особенности в первые времена его детства и юности, о которых он и не рассказывал Лорис-Меликову, но которые[576] теперь в первый раз всплыли в его воспоминании и казались ему особенно прекрасными, точно какая-то чудная, не касавшаяся его история. Как только он оставался один, он садился на ковер, доставал ножик из под кинжала и начинал резать палочку и вспоминать.

№ 15 (рук. № 17).

Рассказ этот[577] заставил Хаджи-Мурата вспомнить свою жизнь, вновь пережить ее. Все эти последние 15 лет он, не переставая, жил самой[578] деятельной, горячей жизнью. Теперь же ему нечего было делать и он вспоминал. Приехав в Нуху, воспоминания всей пережитой им жизни еще сильнее охватили его. Вспоминая теперь, как он рассказывал Лорис-Меликову, он поправлял себя, поправлял и, главное, переживал сначала всё то, чтò было с ним с самого раннего детства и что ни для кого не было важно, кроме как для него одного. Для него же всё это было особенно важно, и всё это, особенно первое детство, он помнил, как будто это было вчера.[579] И прошедшее представлялось ему со всеми мельчайшими подробностями и таким прекрасным, что он спрашивал себя: неужели в самом деле это был я, который пережил всё это.

Вспоминал он с самого начала и прежде всего вспоминал свою мать, не такою, какою она была теперь, величественной старухой с сморщенными губами и выдающимся подбородком, а такою, какою она была, когда кормила его, — высокой, стройной, с длинными руками и ногами, большими глазами, величественной красавицей в шелковом бешмете с золотыми украшениями.

Он не мог помнить этого, но ему казалось, что он помнил[580] это, так часто ему мать рассказывала про это — как она, раненная кинжалом своим мужем, прижала к свежей ране[581] и не отдала его нукерам хана. Случилось это, как рассказывала это ему его мать и как она пела про это сложенную ею самой песню, из-за того, что Сулейман отец Хаджи-Мурата хотел[582] отнять у матери Хаджи-Мурата и дать ей выкормить ханского сына так же, как она выкормила от старшего своего сына Османа старшего сына хана. Но Патимат ни одного ребенка не любила так, как Хаджи-Мурата, и не согласилась.[583] Сулейман взбесился.

№ 16 (рук. № 19).

[584]Воронцов Михаил Семенович был человек, которых уже нет теперь, и тип, который потерян и непонятен даже для молодого поколения. Воспитанный в Англии, сын знаменитого посланника — это был человек утонченнейшего образования, мягкий, тонкий и вместе с тем твердый и преданный царю и отечеству слуга, лучше говоривший по-французски, чем по-русски, и не понимающий жизни без службы, без власти и без покорности. Он был стар, но еще свеж, бодро двигался и, главное, обладал всей силой тонкого и приятного ума.

28 октября 1852 года[585] князь вышел в своем дворце к обеду в особенно веселом расположении духа. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось княгине Дадиани, которую он вел под руку к обеду, вслед за княгиней, которая шла впереди его с князем Орб[ельяни].

— Excellentes, chère amie,[586] — отвечал он на вопрос княгини о том, какие он получил известия с нынешним курьером. — Simon a eu de la chance.[587] — И он за обедом рассказал всем поразительную, необычайную новость — для него одного это не была вполне новость, потому что переговоры велись давно, — что знаменитый храбрейший помощник, наиб Шамиля Хаджи-Мурат передался русским, и именно молодому князю, и привезен в Тифлис.

Весь обед разговор вертелся о Хаджи-Мурате. Кавказский генерал с левого фланга, обедавший у князя и сидевший подле княгини и конфузившийся, очень рад был случаю разговориться и рассказать удивительные походы и набеги этого героя, как он сделал поход один с конницей в день в семьдесят пять верст, как он ворвался в Темир-Хан-Шуру, как похитил вдову хана среди русских войск, как шла легенда о его заколдованности. Теперь Хаджи-Мурат был пленным или перебежчиком в Тифлисе.

Утром на другой день Хаджи-Мурат был представлен Воронцову. В приемной князя сидели дожидаясь человек десять,

в том числе и полковой командир с левого фланга, обедавший вчера и нынче приехавший откланяться. Полковому командиру очень хотелось видеть близко того страшного Хаджи-Мурата, с которым он не раз имел дело и которого видел раз издалека в трубу в чалме на белой лошади, окруженного мюридами со значками. Теперь он увидал, как этого самого Хаджи-Мурата проводил по паркету приемной адъютант Главнокомандующего.

Хаджи-Мурат был человек немного выше среднего роста, как все горцы, сухой, тонкий, не столько широкоплечий, сколько широкий от груди к спине, мускулистый, очень загорелый, с небольшой русой бородкой, подстриженными усами и выдающимся подбородком. Выдающеюся чертою его лица были очень широко расставленные глаза и выступы лба на бровях. Он был одет в длинную белую черкеску на коричневом с маленькими галунами бешмете; как у всех горцев, ремень с кинжалом, шашка, на ногах ноговицы с чувяками, на бритой голове папаха с белой чалмою. Он шел, не глядя по сторонам, хромая на одну, короче чем другая, ногу.

Все в приемной, не спуская глаз, проводили его в дверь Главнокомандующего.

— Так вот он какой! Лицо доброе, а какой зверь, — подумал полковой командир, вспоминая, как два года тому назад они нашли перерезанными по приказанию Хаджи-Мурата двадцать шесть человек пленных во взятом ауле.

Переход Хаджи-Мурата к русским было важное событие и могло иметь важные для служащих и разнообразные последствия. Для одних это было средство отличиться, приписав себе этот переход, для других средство выгодного положения, пристроившись к сопутствованию Хаджи-Мурата, для третьих надежды в отсутствие Хаджи-Мурата отличиться против тех мест, где он начальствовал.

В тот же день Хаджи-Мурат был принят Воронцовым, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном, театре. Шла

веселая пьеска Сологуба. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась высокая фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с своим переводчиком, но просидел недолго и после первого акта вышел, обращая на себя внимание всех зрителей. В Тифлисе в это время гостил в отпуску Полтавцев — веселый офицер с левого фланга, родня Воронцова. Отпуск его истекал, но приезд Хаджи-Мурата мог поправить дело. Он просил оставить его на время при Хаджи-Мурате. Воронцов согласился.

Через несколько дней Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было писано по-французски.

(Выписка из «Русской старины», 1881, март, 658—659—660), «Письма кн. М. С. Воронцова к кн. А. И. Чернышеву. 20 декабря 1851 г. (Перевод с французского)».[588]

Так и писал и думал Воронцов и различные другие люди. Эпизод этот был для всех интересный случай; для Хаджи-Мурата же это был страшный, трагический поворот в его жизни.

Правда, он не спал ночи и как зверь в клетке ходил прихрамывая по двум комнатам отведенной ему квартиры.

Он бежал из гор, потому что не мог оставаться и ему надо было отомстить давно уже ненавидимому Шамилю, но семья оставалась в руках Имама. Надо было выручить ее. Сначала Хаджи-Мурат надеялся, что Воронцов выговорит его семью, выменяв ее на пленных, но Шамиль не выдавал семьи. Тогда Хаджи-Мурат попросился ехать в Чечню,[589] чтобы оттуда постараться выкрасть семью.[590]

Попытка выручить семью не удалось, и Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис. Здесь беспокойство за семью еще больше охватило его. Он не спал ночи и ходил взад и вперед по комнате. Раз утром Лорис-Меликов приехал к нему и объявил, что имеет поручение от Главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — с восточной торжественной учтивостью сказал Хаджи-Мурат, прикладывая сухую жилистую руку к тому месту груди, где белая черкеска перекрещивалась над черным шелковым бешметом. — Отур — садись, — сказал Хаджи-Мурат, улыбаясь и учтиво указывая черноватому, с блестящими глазами и пуговицами, нарядному

Лорис-Меликову на кресло. Он всегда особенно ласково встречал Лорис-Меликова и за то, что Лорис-Меликов мог говорить с ним по-татарски, и главное за то, что знал его за любимого (мюрида) адъютанта сардаря.

У Лорис-Меликова был в руке портфель. Он сел. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте, расставив ноги в чувяках и ноговицах и опершись руками на колени. Подвижное лицо его приняло тотчас выражение приветливой ласки и почтения.

Когда Лорис-Меликов начал говорить, Хаджи-Мурат опустил голову и внимательно слушал. Лорис-Меликов сказал, что князь прислал его с тем, чтобы просить Хаджи-Мурата рассказать ему всю свою жизнь.

— Я запишу ее, если ты будешь рассказывать медленно (по-татарски нет другого обращения, как на ты) и тогда переведу по-русски и князь пошлет ее самому Государю.

Хаджи-Мурат помолчал после того, как Лорис-Меликов кончил говорить (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), поднял голову, стряхнув папаху назад (он всегда был в папахе), и улыбнулся той особенной детской улыбкой, которою он пленил Марью Васильевну. Ему было приятно знать, что история его, жизнь его интересна Императору, и от этого он улыбался.

— Можно! — сказал он, и сейчас же в его воображении пробежали воспоминания лучших, по его мнению, его подвигов: нападение на Темир-Хан-Шуру — похищение ханьши, завоевание, отбитие огромного табуна, убийство Золотухина, поход в Табасарань.

— Расскажи мне всё, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из портфеля чернила, перо и бумагу и устраиваясь на столе. — Всё с самого начала.

— Якши (хорошо), якши. Много, что рассказать есть. Много дела было.

— Не успеем в день, два, три дня будем писать.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала. Где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго посидел так, потом взял палочку у тахты, достал[591] из-под кинжала с слоновой втравленной золотом [ручкой] булатный ножик и начал ее резать.

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, в горах, — начал Хаджи-Мурат. — И ему вспомнился вечер, врытая в гору сакля с галерейкой и запах кизяка, и мать, сидящая над коровой. — Нас было два брата, старший Осман и я. Мать моя, когда родила Османа, кормила молодого хана аварского Нунцала, и потому мы были вхожи в ханский дворец и играли с детьми ханскими и ханьша Паху-Бике любила нас. Ханов было трое: Булач-Хан, Умма-Хан, молочный брат Османа, и Абунунцал-Хан; мой брат названный и друг. — Джигит был, — сказал Хаджи-Мурат, и Лорис-Меликов удивился, увидав, как слезы выступили на глаза Хаджи-Мурата, когда он упомянул это имя. — Вместе впятером мы джигитовали и вместе воевали. — Первое мое сражение было под Хунзахом, когда Кази-Мулла окружил Хунзах. Кази-Мулла требовал, чтобы ханьша перестала дружить с русскими. Тут я в первый раз стал мюридом, принял хазават. Да это вам не нужно?

— Нет, нужно. Как же?

— А вот. Кази-Мулла второй день стоял под Хунзахом. Наши пешие выходили к лесу и перестреливались. Я сказал Абунунцалу: «выедем верхами с ущелья и ударим в их лагерь». Так и сделали. Мы выехали на заре. Они вели лошадей на водопой. Мы гикнули. Кого убили, кого взяли живыми. Кази-Мулла бежал. Взяли значки. И я здесь в первый раз убил человека. И тот, кого я убил, был мюрид. Когда мы выскакали в гору, они все пустились бежать. Моя лошадь была добрее всех, и я стал нагонять их. Позади всех скакал и сдерживал лошадь молодец хаджи в черной черкеске. Он кричал мне, что убьет, и поворотившись, целил в меня ружьем. Я знал, что, если я побоюсь его и сдержу лошадь, то уйдет от меня до ущелья; если же я не сдержу, он выпустит заряд и не успеет зарядить. Я стал близиться к нему, надеясь, что он промахнется. Он выстрелил. Пуля прожужжала мимо самых ушей. Я наддал ходу и потом в упор выстрелил ему в спину. Он схватился за пистолет, но опять

промахнулся. Я догнал его, схватил за повод. Он лежал на луке. Я остановил лошадь. Он свалился на земь. Он поднял глаза к небу, прочел молитву «Ля иллаха иль аллах» и потом сказал: «Ты убил меня. Я мюрид, бился против неверных. Будь мюридом. Нет спасенья без хазавата. Ля иллаха, держи хазават» и умер.

— Что такое хазават и что такое мюршид и мюрид? — спросил Лорис-Меликов.

— А ты не знаешь?

— Я знаю, да желал бы знать всё сначала.

— А сначала был Мулла-Магомет. Я не видал его. Он был святой человек — мюршид. — Он говорил:[593] а за ним Шамиль.[594] Так вот с тех пор, как я убил этого мюрида, я стал думать о хазавате. Тогда я еще не стал мюридом. Я и забыл слова этого мюрида. Я вспомнил их только после.[595] Тут вскоре Кази-Мулла был убит и на место его стал Гамзат. Гамзат прислал послов сказать, что если мы не покоримся, он разорит нас. Все аулы перешли к нему, и нам нельзя было защититься, тогда ханьша решила послать сына Омара и меня с ним в Тифлис просить помощи у барона Розена. Тут я в первый раз увидал русских и узнал их.

— И не полюбил, — шутя сказал Лорис-Меликов.

— Нет, не полюбил. Тогда были хуже, чем теперь. Меня не приняли, ничего не дали. В это время был бунт в Кахетии, и я видел, как вешали и гоняли сквозь строй наших.

— Где же это было? — спросил Лорис-Меликов.

— А это было в крепости. Был генерал Гузат. Он казнил. Мы с Омар-Ханом пришли на площадь. Стояли три виселицы, и две арбы были с палками. Солдаты стояли кругом и били в барабаны. Потом вышел чиновник и стал читать по-русски. Потом переводчик прочел по-татарски, что народ бунтовал и вот зачинщиков казнят. А мы знали, что это не зачинщики. А они жили свободно, потом пришли русские, сожгли хлеб, сено, дома, побили жен, детей. Тогда выбрали время и зарезали роту солдат. Потом пришел полк. Хевсуров сила не взяла, они покорились. Спросили: «давай зачинщиков». Старики помолились Богу в мечети. Потом мулла вышел, сказал:

«Русские требуют виноватых. Все били русских. А русские требуют девятерых. Надо идти девятерым. Кто пойдет?» Трое сами вызвались, шестерых назначили. Из этих троих удушили веревками, а пять забили палками, шестой убил солдата и сам убился. Я видел всё. Омар-Хан не стал смотреть. А я целый день стоял, смотрел. Сначала повесили, потом водили между солдат голых, те били. Ни один не кричал. Только один старик визжал. А когда шестого захотели вести, он сорвал с себя кандалы, убил ими солдата и сам бросился на штыки и закололся. А генерал жирный, как свинья, сидел на кресле, курил трубку.

— Как же он убил?

— Джигит выхватил руки, взмахнул, — и Хаджи-Мурат показал быстрым могучим движеньем, как это было сделано. — И убил солдата. «Алла-ильаллах», — я запел и весь народ за мной. На нас повернулись солдаты. Мы ничего не могли сделать, но тут я вспомнил про мюрида, какого я убил и какой мне велел быть мюридом, и я решил принять хазават и уговорил Омар-Хана.

Когда мы приехали назад, мы стали уговаривать Паху-Бике бросить русских и впустить к нам Гамзата.

Гамзат-Бек скоро после этого подошел под Хунзах. Гумбетовцы, койсубулинцы, андийцы, карахцы — все приняли хазават и покорились Гамзату. Один аул не хотел признать его имамом, и тогда Гамзат взял аул силой и отрубил пяти человекам голову — одному моему дяде, брату матери. С Гамзатом было двадцать тысяч человек, а у нас в Хунзахе не было трех тысяч. Мы все знали Гамзата. Два года тому назад он бежал к нам от русских, и мы не выдали его. Когда он прислал к ханьше своих мюридов уговаривать ее принять хазават, чтоб не дружить больше с русскими и помогать ему воевать с ними, я стал уговаривать ханьшу согласиться. Она качалась то в ту, то в другую сторону и решила послать к Гамзату кадия Нур-Магомета с стариками и велела сказать, что согласна принять новое учение. Только бы Гамзат прислал ученого человека растолковать это новое учение. Через день старики вернулись к нам опозоренные, за то, что Нур-Магомет и старики воевали

против мюридов, он велел им всем проткнуть ноздри, продеть нитки и на нитке к носу привесить по куску лепешки. И чтоб так они пришли к ханьше. Старики пришли в таком виде к ханьше. Когда мы вынули нитки и помолились в мечети, старики рассказали, что Гамзат только мюршид и стоит за истинную веру и ничего не хочет себе, а говорит, что только бы ханьша приняла хазават, он снимет с себя имамство и передаст старшему хану, моему брату Абунунцал-Хану, а сам будет служить ему так же, как отец его Алискендер-Бек служил отцу Абунунцала. Если ханьша и молодые ханы не знают тариката, то он пришлет святого мюршида объяснить истинную веру, но нужно прислать ему аманатов. Довольно ему одного аманата, меньшого сына ханьши — Булач-Хана. Ханша согласилась и послала Булач-Хана с почетными стариками. Гамзат был прямой человек, но с ним был уже лисица — Шамиль, и он придумал всё это, когда Булач-Хан был уже там. — На другой день утром приехали мюриды сказать, что Гамзат хочет всю свою власть отдать Абунунцалу или Умма-Хану и потому просил их обоих приехать к нему в лагерь. Ханьша побоялась послать Абунунцала и послала только Умма-Хана. С Умма-Ханом поехали брат Осман и я. Когда мы въехали на гору, нас окружили мюриды и кричали, и стреляли, и джигитовали вокруг нас и проводили нас к палатке Гамзата. Он вышел к нам с Шамилем.

— Какой он был из себя, Гамзат? — спросил Лорис-Меликов.

— Сильный, твердый человек, невысокий, мужественный. Шамиль всегда был с ним, на две головы выше его. Он подошел к стремени и принял Умма-Хана и повел в палатку. И сказал: (И. К. П.,[596] 33, 34 отчеркнутое чернилами).

Умма-Хан был туп на речи, но сильный, как бык, и тихий. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат-Бек едет в Хунзах. Ханьша и хан с почетом примут его. Но мне не дал и досказать, и тут в первый раз я видел и столкнулся с Шамилем, он перебил меня: «Спрашивают не тебя, а хана». Гамзат-Бек наклонил голову в знак одобрения и позвал Умма-Хана стрелять в цель. Пока мы стреляли, подъехали те же пять мюридов, которые приезжали и утром, и

Гамзат поручил им ехать звать Абунунцал-Хана, без которого он не может решить дела. «Поезжайте и вы с ним», — сказал Гамзат нам, приехавшим с Умма-Ханом. — Когда мы приехали и рассказали ханьше и Абунунцалу и как нас встречали, и как зовут его Абунунцала, ханьша — ослабела и стала говорить сыну ехать. Я боялся измены и сказал так Абунунцалу. Он сказал матери, что неразумно отдаваться в руки врагу. — «Ты боишься?» сказала она. Абунунцал никогда ничего не боялся. — «Вели седлать», сказал он мне, и после полуденной молитвы мы выехали. — Хорошо встретили младших ханов. Старшего встретили еще лучше. Зурны, барабаны, дудки, пальба; сам Гамзат выехал навстречу с значками. Я ехал за ханом. Хан пошел с Гамзатом в палатку. И мы видели, как Гамзат посадил его на первое место, рядом с Умма-Ханом. — Нас всех нукеров ханских позвали под гору в другую палатку и стали угощать. Мне было неспокойно на душе, не нравился мне Шамиль, а я видел, что Гамзат без него ничего не делал. Не нравилось мне тоже то, что Булач-Хана не было тут, а его услали в Гоцатль. Когда Абунунцал спросил, где меньшой брат, Гамзат сказал ему, что они как аманата услали его в Гоцатль, но что теперь, когда нет больше врагов, а все заодно служат хазавату, он сейчас пошлет за ним. — Я отказался от угощенья, сказал, что болен, и вышел за палатку. Как я ждал, так и случилось. Только что я вошел в нашу палатку, — она была под горой, — вбежали мюриды, и я услышал выстрелы и крики наших. Двое выбежали, и один тут же упал убитый. Я бросился в гору к палатке Гамзата, где были ханы. Там тоже слышались крики и пальба. По мне выстрелили, но не попали. Я еще был не хромой и легок, я вбежал на кручь, но было уже поздно. Умма-Хан уже лежал в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами; половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее рукой и при мне ударил кинжалом Гамзатого брата и срубил его. Он намернулся на другого, но тут человек двадцать мюридов бросились на него, и он упал.

И Хаджи-Мурат живо вспомнил и лицо своего друга и брата Абунунцала, и вспомнил тот стыд, который он не переставая

испытывал за то, что тогда не бросился защищать Абунунцала. Он испугался тогда, но не хотел признаться и сказал не глядя:

— Я хотел рубить, но брат Осман ухватил меня за черкеску, — сказал Хаджи-Мурат, — и сказал: «Оставь, после отплатим за кровь». И в суете мы отвязали наших лошадей и ускакали в Хунзах. На другой день Гамзат с мюридами и значками приехал в Хунзах. Ханьша уехала к моему деду. Гамзат стал править всей Аварией, выписал ханьшу и убил ее.

— Зачем же он убил ее? — спросил Лорис-Меликов.

— Нельзя было. Пролез передними ногами, пролезай и задними. Ханьша не могла простить смерть сыновей. Она потребовала вернуть себе хоть меньшого, Булач-Хана. Но Гамзат не дал его. И опять тот же Асельдер — зверь был, отрубил ей голову. Мы узнали это вечером и сошлись с братом у серебряника решить, как и где взять кровь Гамзата. Мы еще не решили когда, но к нам в лавку пришел Асельдер и стал расспрашивать. Мы поняли, что он знает, что когда-нибудь выдаст нас, и решили дело сделать завтра в пятницу, в мечети во время молитвы. — Так и было. На утро Гамзат призвал к себе деда нашего Дибир-Али и сказал ему: «Мне сказали, что твои внуки задумывают худое против меня. Хотят убить меня в мечети, но я не боюсь никого, кроме Бога и Магомета. И я делаю дело божье. И оно должно совершиться. Только знай, что, если я узнаю, что это правда, я повешу тебя с твоими внуками на одной перекладине». Дед пришел и призвал нас. «Дело плохо. Он всё знает», сказал наш дед. «Что будет, то будет», — сказали мы. Все отстали от нас, остались мы двое с Османом. На утро мы взяли по два пистолета и в бурках вошли в мечеть, вслед за нами пришел Гамзат. Увидав людей в бурках, он остановился и Асельдер[597] подбежал к нам, приказывая снять бурки. Не успел он сказать это, как я скинул плечами бурку, а правой рукой вынул кинжал и по рукоять всадил ему под ребра. В это время Осман выстрелил в Гамзата. Гамзат ухватился за рану и взялся за кинжал, но я добил его в голову. Мюриды бросились на нас и убили Османа, но я убил еще двоих, и в мечеть вбежали наши молодцы и перебили остальных. Тогда Гамзатовы мюриды заперлись во дворце, но мы ворвались туда и которых

перерезали, которых побросали с кручи. — Тогда все меня признали начальником над всей Аварией. Но мюриды на место Гамзата избрали Шамиля и, я слышал, собирались итти на Хунзах. Тогда русский генерал Клюгенау прислал ко мне, чтобы я покорился русским, и он защитит меня. Нельзя было бороться одному, и я согласился принять русских.[598]

Хаджи-Мурат остановился и задумался. Он вспомнил, что это была вторая измена хазавату. Теперь была третья.

— Что, ты был уже женат тогда? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат помолчал и улыбнулся.

— Меня женили, когда мне было шестнадцать лет. Это моя первая жена. Потом я женился на чеченке. Эта теперь с моими детьми у Шамиля. Вчера был из гор лазутчик, говорил, что Мулла-Ахмет берется выкупить их, если только отдадут двацать пленных и сто золотых. Сто золотых я дам, скажи князю. Без них мне нельзя служить вам. Всё, что я сделаю для русских, падет на голову жены, сына, матери.

— Я скажу. Я буду стараться, — сказал Лорис-Меликов. — Так на чем мы остановились?

— Хлопочи, старайся. Что могу, тебе сделаю. Что мое, то твое. Только помоги у князя. — Да, остановились мы на том, что генерал поручил мне Аварию.[599] И я не пускал к себе Шамиля.

— Ну, а как же хазават? — спросил Лорис-Меликов.[600]

Хаджи-Мурат опять улыбнулся. Очевидно он не хотел говорить правду, но не хотел и обманывать.

— Я хотел держать хазават, но нельзя было. Надо было итти к Шамилю. А Шамиль был мне враг. На нем была кровь и брата Омара и ханьши.

— Все-таки можно было воевать с русскими. Теперь уже это всё прошло и надо рассказать всё, что было, — сказал опять Лорис-Меликов.

— Всё так и было. Шамиль присылал ко мне, чтобы я покорился ему с Аварией. Но я сказал, что не хочу покориться ему.

А только прошу, чтоб он оставил меня, и я сам по себе буду воевать с русскими. На этом у нас остановилось, и всё бы было хорошо. Генерал любил меня. Я ездил к нему, с ним обедал. Он

у меня был. Он мне дал награду, деньги, три раза. Прапорщиком меня сделал. Но тут вмешался Ахмет-Хан Кюринский. Он сватался за Солтанет, за дочь Паху-Бике. Но ее не отдали ему. И ему сказали, что я виноват этому.

— Почему же ты? — спросил Лорис-Меликов.

— Не знаю, — отвечал Хаджи-Мурат и, опустив глаза, долго не отвечал. Ему представилась теперь красавица Солтанет, и его тайная любовь с нею. И сватовство за нее Шамхала Тарковского и разлука с ней. — Ее выдали за Шамхала, а не за Ахмет-Хана, и Ахмет-Хан[601] возненавидел меня. Он подослал своих нукеров убить меня, и они ранили мою лошадь, но я ушел от них. Теперь он на меня наговорил генералу, и генерал призвал меня и спрашивал, правда ли, что я пересылался с Шамилем и обещал ему напасть на русских. Я сказал, что неправда. Мы поговорили, и он отпустил меня. Но я видел, что ему наговорили на меня. Я уехал домой. На другой день приехал Ахмет-Хан[602] и сейчас же объявил, чтобы я ехал в крепость.[603] Я поехал. В крепости, как только я сошел с лошади у комендантского дома, на меня бросились солдаты и связали мне руки[604] и привязали к пушке. Комендант вышел и показал мне бумагу. В бумаге писалось, что я передался Шамилю, и что меня надо судить и послать в Темир-Хан-Шуру. Так продержали меня два дня. Моих никого ко мне не пускали. На третий день отвязали от пушки, но рук не развязывали и связанного, пешего, повели в Темир-Хан-Шуру. Я спрашивал, где мое оружие, лошадь? Мне сказали: всё будет цело у коменданта, если я оправдаюсь. Повели меня с конвоем пять солдат впереди, пять назади, один меня вел. На середине дороги у кручи против Цельмеса я рванулся и с солдатом вместе бросился под кручь. Солдат убился на смерть, а я сломал ногу. Я развязался[605] и пополз. Ногу тащить больно было.[606] Пастух увидел меня и стащил в аул. Там меня вылечили. Нога стала короткая.[607] Но тут Шамиль узнал обо мне и прислал наиба звать меня к себе. Я не хотел быть вместе с Шамилем; на нем была кровь братьев и ханов. В тот же день, как был посланный от Шамиля, приехал и посланный от генерала. Он звал меня к себе. Писал, что это

была ошибка. Я не ответил ничего и послал письмо Ахмет-Хану. Ахмет-Хан вместо ответа собрал войско и окружил Цельмес.[608]

Меня знали мюриды, пристали ко мне, и мы три дня бились с Ахмет-Ханом. Сила наша уже вся вышла, было двадцать три убитых и толпы окружили нас. Мы думали умереть, но не сдаться. Тут подошли две сотни от Шамиля. Они выручили нас. Мы прогнали Ахмет-Хана, и я поехал к Шамилю. И лисица эта обошла меня. С тех пор я отдался хазавату и с Шамилем вместе воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат подробно рассказал все свои походы и убийство Злотницкого, и набег на Темир-Хан-Шуру, и похищение ханьши.

— Мне не дано было отомстить Ахмет-Хану. Я везде искал его, но он бегал от меня. И умер своей постыдной смертью. Я все-таки хотел отомстить ему, и я взял его вдову ханьшу и увез ее. Но когда она пала мне в ноги, мне стало жалко. Я не велел бесчестить ее и держал ее, как ханьшу, пока ее выкупили.

Так шло до прошлого года. Тут Шамиль стал бояться меня. Он отобрал у меня мое именье и требовал меня к себе. Я не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. Мать там.

Лорис-Меликов записал всё это. Воронцов послал записку к Государю. Вскоре после этого Хаджи-Мурат стал проситься в Нуху и переехал туда.

[Редакция четвертая — 1897 г.]

№ 17 (рук. № 21).

ХАДЖИ-МУРАТ

Хаджи-Мурат был второй сын Мухамеджана, третьего сына аварского хана. В 1830 году он в первый раз был на войне и в первый раз убил человека. Было это так. Кази-Мулла, тот,

который поднял весь Дагестан и Чечню против русских и проповедывал хазават, что значит священную войну с неверными, в феврале 1830 года окружил Хунзах, столицу аварского ханства, и требовал, чтобы аварцы приняли его новое учение тариката и хазавата, истинного магометанства, по которому мусульманин не может жить под властью неверных и должен воевать с русскими. Аварским ханством правила в это время умная вдова ханьша Паху-Бике с тремя сыновьями, молодыми ханами. Ханьша не хотела ссориться с русскими и не покорилась Кази-Мулле.[609] Тогда Кази-Мулла подступил к Хунзаху, столице Аварии, и с раннего утра началась битва.[610]

Хунзах стоит на высоком, плоском месте. Кази-Мулла шел прямой дорогой, ведущей из ущелья. И все силы аварцев

№ 18 (рук. № 21).

ХАДЖИ-МУРАТ

[611]Это было в 1830 году.[612] Кази-Мулла, первый мюршид на Кавказе,[613] подступил с своими[614] мюридами к Хунзаху в Аварии,[615] и послал послов к ханьше Паху-Бике сказать ей, что начался хазават и[616] что, если аварцы не присоединятся к нему, он разгромит Хунзах и силою заставит их воевать с русскими. Ханьша сказала послам, что она обещала русским[617] быть верной им и не изменит своего решения.[618] И на утро войско Кази-Муллы, конные и пешие, стали по двум дорогам спускаться к ущелью, из которого шла дорога в Хунзах. Аварцы выслали своих на гору над ущельем.[619]

Мюриды остановились и с противуположной горы стреляли из винтовок в аварцев, стоявших против них. Аварцы отстреливались от них. Так[620] продолжалось все утро,[621] но к полдню[622] аварцы увидали, как выехала из-за горы кучка людей с красными значками. Это был сам Кази-Мулла и вслед за ним

из-за горы, как муравьи, высыпали мюриды и закрыли всю гору, и пешие и конные стали спускаться в ущелье.[623] И когда спустились,[624] запели «Ляилаха-илла-ллах» и пустились на другую сторону горы.[625] В это время[626] старший из молодых ханов Абунунцал-хан стоял с сотней лучших молодцов[627] за выступом ущелья[628] там, где ручей падает со скалы в русло речки.[629] Рядом с Абунунцалом стоял молочный брат его Хаджи-Мурат, молодой джигит, славный в горах своей силой и ловкостью. Хаджи-Мурат еще ни разу не бывал в битве и, как молодой, застоявшийся конь, рвался к работе. Из-за шума ручья[630] стоявшим в засаде плохо слышно было то, что делалось на горе, и Хаджи-Мурат то и дело уезжал вперед по ущелью, чтобы видеть и слышать, что делается на горе.

— Спускаются. Время! — крикнул он, возвращаясь к[631] засаде. И в то же время, из-за шума воды, слышно стало гиканье и пение мюридов впереди их, не далее двухсот шагов. Молодой Абунунцал-хан выпустил[632] коня, и вся сотня тронулась за ним, визжа подковами по камню. Хаджи-Мурат как был впереди, так и остался впереди всех. Только он выскакал за поворот, лицом с лицом столкнулся[633] с мюридами, скакавшими мимо них под гору, через ручей и на гору по каменистой дороге. Хаджи-Мурат на скаку вскинул винтовку и пустил свою пулю в скакавших, те, которые были за ним, сделали то же.[634] Мюриды, не доскакавши до ручья, стали останавливать расскакавшихся лошадей,[635] поворачивая их назад; те, которые были за ручьем, продолжали скакать вперед к Хунзаху. Два мюрида остановились и вскинули ружья. Абунунцал[636] наскакал на[637] одного из них и ударил его шашкой. Другой выстрелил из пистолета, и лошадь Абунунцала упала на передние колена, и Абунунцал старался поднять ее, но[638] черный мюрид на белой лошади, в черной папахе[639] замахнулся на него шашкой. И он бы срезал его если бы Хаджи-Мурат, подскакав,[640] не ударил его[641] грудью своей лошади так, что лошадь зашаталась. Мюрид[642] оглянулся и, увидя, что он один, а врагов много, пустил лошадь вдоль ущелья. Хаджи-Мурат поскакал за ним.[643]

— Не подскакивай, кричал мюрид, грозя вынутой винтовкой. — Убью!

— Стреляй, — кричал Хаджи-Мурат. Мюрид выстрелил. Пуля его не попала. В это время ущелье сузилось. Камни загораживали дорогу, и лошадь белая стала останавливаться. Хаджи-Мурат настиг и выстрелил в спину мюрида.

— Алла! — закричал мюрид,[644] схватившись за живот, и остановил лошадь. — Ты убил меня. Так будь же ты мюридом, служи Богу и Магомету. Нет Бога, кроме Бога и Магомета, пророка его.

И[645] черный мюрид упал.[646] Около них никого не было. Вдали слышались крики и стрельба. Мюрид лежал на спине, папаха сбилась, открыв бритую голову.[647] Красивое сухое лицо бледнело, глаза закатились и рот с[648] черными, подстриженными усами равномерно зевал и,[649] с каждой зевотой, поднималась и опускалась высокая грудь под черными хозырями черкески.

— Будешь мюрид. Алла илляха,[650] — проговорил мюрид и[651] еще раз зевнул.[652]

Лошадь мюрида между тем отошла от них и стала пить. Хаджи-Мурат подъехал к ней и, поймав ее,[653] вернулся к умирающему.[654]

Лошадь мюрида, увидав умирающего хозяина, фыркнула и остановилась. Хаджи-Мурат слез, стреножил лошадь и подошел к мюриду, чтобы поднять его. Он думал, что он мертв, но мюрид опять открыл закатившиеся глаза и опять зевнул, оскалив белые как кипень зубы. Хаджи-Мурат снял кинжал, шашку, ружье, повесил их на себя и легко поднял своими сильными руками еще теплое мягкое тело и, перевалив на седло фыркавшей лошади, прихватил сверху подпругой.

№ 19 (рук. № 20)

[655]Это было давно. Когда еще[656] только начиналась на Кавказе война русских с горцами. Были горцы, которые покорялись русским,[657] были такие, которые[658] совсем не покорялись, и были такие, которые[659] из страха перед русскими дружили с ними. Такими были аварцы. Аварцами управляла в то время умная и хитрая вдова умершего хана. У нее было четыре сына, и старший был взрослый, но управляла умная старуха.

№ 20 (рук. № 22).

ХАДЖИ-МУРАТ

[660]Мюриды остановились и с противуположной горы стреляли из винтовок в аварцев, стоявших против них. Так продолжалось всё утро, но к полудню аварцы увидали, как выехала из-за горы кучка людей с красными значками. Это был сам Кази-Мулла, и вслед за ним из-за горы, как муравьи, высыпали мюриды и закрыли всю гору, и пешие и конные стали спускаться в ущелье. И когда спустились, запели «Алла Иллаха» и пустились на другую сторону горы. В это время старший из молодых ханов Абунунцал-Хан с сотней лучших молодцов стоял за выступом ущелья, там, где ручей падает со скалы в русло речки. Рядом с Абунунцалом стоял молочный брат его Хаджи-Мурат, молодой джигит, славный в горах своей силой и ловкостью. Хаджи-Мурат еще ни разу не бывал в битве. Из-за шума ручья, стоявшим в засаде слышно было только щелканье выстрелов. Но вот глухо раздались крики и пенье мюридов. Хаджи-Мурат подъехал к хану.

— Вели посмотреть, что там? Не пора ли? — сказал он.

— Поезжай, — сказал хан, — но возвращайся сейчас же.

Хаджи-Мурат[661] чуть приложил обутую в мягкий чувяк ногу к боку лошади и как стрела пустился по ущелью.

Едва он завернул за поворот, как увидал в двухстах шагах спускающихся мюридов.

— Время, — крикнул он, возвращаясь к хану.

И в то же время из-за шума воды слышнее стало гиканье и пение мюридов. Молодой Абунунцал хан выпустил своего коня, и вся сотня пустилась за ним, визжа подковами по камню.

Хаджи-Мурат был впереди, но гнедой конь Абунунцала обогнал его. Сзади с гиком неслись. Не проскакали они ста шагов, как лицо с лицом столкнулись с мюридами, скакавшими мимо них, под гору через ручей, и на гору, по каменистой дороге, Хаджи-Мурат на скаку вскинул винтовку и пустил свою пулю в скакавших, те, которые были за ним, сделали то же. Защелкали пули, задымились дымки. Два мюрида, доскакавшие до ручья, стали останавливать расскакавшихся лошадей и поворачивали их назад. Человек пять, которые были за ручьем, продолжали скакать вперед и вверх к Хунзаху. В самом низу упал один мюрид. Абунунцал наскакал на него и ударил его шашкой, но в это время лошадь у Абунунцала упала на передние колена. Абунунцал силился подняться, но не мог. Мюрид с черной бородкой, на белой лошади, в черной папахе вернулся и замахнулся на Абунунцала шашкой. И он бы срезал его, если бы Хаджи-Мурат в это самое время не наскакал на мюрида — не ударил грудью своей лошади так, что лошадь зашаталась. Шашка мюрида попала не по Абунунцалу, а по голове Хаджи-Мурата, по папахе, но не прорезала ее. Мюрид оскалил белые зубы и схватился за пистолет, но не успел он вынуть его, как Хаджи-Мурат выстрелил в упор в грудь. Мюрид поднял было еще руку, но тотчас же схватился за[662] живот. В это время с горы от Хунзаха скакали еще трое. Хаджи-Мурат бросился было к ним, но[663] прежде его наперед скакали[664] аварцы, бывшие с Хаджи-Муратом.[665]

Когда Хаджи-Мурат оглянулся,[666] черного мюрида уже не было. Он скакал вдоль по ущелью. Хаджи-Мурат пустился за ним. Мюрид вдруг остановился.

— Алла! — закричал мюрид, схватившись за живот. — Убил, — проговорил мюрид. — Ты убил меня. Ты джигит. Служи Богу и Магомету. Хазават. Нет Бога кроме Бога и Магомета, пророка его

И мюрид упал на шею лошади. Около них никого не было. Вдали слышны были крики и стрельба. Мюрид лежал ничком,

папаха его сбилась, открыв бритую голову. Хаджи-Мурат соскочил с лошади и скинул мюрида с седла. Это был человек лет сорока, тех же лет, как отец Хаджи-Мурата. Он, как мертвый, упал и перевернулся навзничь; красивое сухое лицо было красно, глаза закатились, и рот с черными подстриженными усами равномерно зевал и с каждым зевком поднималась и опускалась высокая грудь под черными хозырями черкески.

— Алла, Алла. Гу! Будь мюридом. Алла илля-ха, — проговорил мюрид и еще раз зевнул.

Лошадь мюрида, между тем, отошла от них и стала пить. Хаджи-Мурат подбежал к ней и, поймав ее, вернулся к умирающему. Лошадь мюрида, увидав умирающего хозяина, фыркнула и остановилась.

— Что, жалко хозяина? — проговорил Хаджи-Мурат и, достав из под седла треногу, стреножил лошадь и подошел к мюриду, чтобы поднять его. Он думал, что мюрид мертв, но мюрид опять открыл закатившиеся глаза и опять зевнул, оскалив белые как кипень зубы. Хаджи-Мурат снял кинжал, шашку, ружье, повесил их на себя и легко поднял своими сильными руками еще теплое мягкое тело и, перевалив на седло фыркавшей лошади, прихватил сверху третьей подпругой.

№ 21 (рук. № 23).

Это было в 1834 году[667] в[668] Аварском ханстве. Ханством правила не старая еще ханьша Паху-Бике, вдова недавно умершего Али-Султан Ахмет-хана.[669]

Тогда недавно началась только война Кавказских магометан с неверными. Имам Кази-Мулла был убит в сражении с русскими и на место его[670] Имамом провозгласил себя Гамзат-бек аварский, сын храброго Алискендер-бека. Весь Дагестан покорился Гамзату. Один только Хунзах, столица Аварии,[671] оставался независимым и не признавал ни власти Имама, ни Газават — священной войны против неверных русских.

Гамзат подошел к Хунзаху и в десяти верстах от него остановился с своим войском.[672] Около 20 тысяч человек, вооруженных конных и пеших составляли его войско.

№ 22 (рук. № 24).

Это было в 1834 году на Кавказе. Гамзат-бек имам, священная глава правоверных, окружил своим войском — у него было до 20 тысяч человек, Аварское селение Хунзах.[673] Из всей Аварии только один Хунзах не покорялся Гамзату. Аварией правила в это время ханьша Паху-Бике, вдова хана Сулиман али Ахмет хана.[674] Сыновья ее были уже взрослые люди,[675] но они во всем слушались умной ханьши.

В праздник пятницы, в конце августа от Гамзата приехали послы.[676] Послы сказали, что Гамзат хочет, чтобы ханьша с своими сыновьями со всеми[677] подданными приняла учение Хазавата — войны с неверными и не дружила бы более с русскими. Если она не сделает этого, сказали послы, Гамзат разорит Хунзах; если же она согласится, то он будет служить ей так, как служил ее мужу.

№ 23 (рук. № 24).

Это было в 1834 году на Кавказе. Старик аварец Осман-Лязул[678] собирал на своем поле кукурузу. С ним работали[679] любимый внук его[680] Хаджи-Мурат, его молодая жена Руксат Али-Кизы с грудным ребенком[681] и мальчишка, меньшой брат Хаджи-Мурата, Кильяс-Хан. Старик держал запряженных буйволов,[682] бившихся уже от мух. Руксат с Кильясом ломала початки[683] и относила в кучки. Хаджи-Мурат накладывал эти кучки в корзину и, согнувшись, таскал тяжелые ноши к арбе и

укладывал[684] их. Арба была полна и[685] можно было уже везти ее, но старик взглянул на солнце, которое уже высоко поднялось над лесистой горой, и кликнул меньшого внука держать буйволов, а сам,[686] взяв кумган с водой, зашел за арбу и, засучив выше локтя широкие рукава рубахи, стал омываться, готовясь к молитве. Руксат Али-Кизы села, достала лежавший под камнем мешочек, вынула из него чурек и сыр и, дав часть Кильясу, села на камень и, раскрыв потную грудь,[687] рукою вложила ее в ловящий ротик ребенка.

Хаджи-Мурат отказался от чурека и сыра. Ему только хотелось пить, и он, взяв кумган и черкеску, побежал быстрыми босыми, засученными по колено, ногами вниз с площади поля по вьющейся тропинке к шумящему внизу по камням ручью.[688]

В ущелье у ручья была еще тень. Хаджи-Мурат подбежал к ручью, зачерпнул воды, напился и потом, засучив выше локтя рукава, начал мыть сухие, мускулистые ноги выше лодыжек и загорелые руки выше локтя. Омыв лицо и руки, он постелил черкеску и, став на нее прямо и близко одна к одной чистыми ногами, лицом на восток, он на коленях стал молиться.

В середине молитвы он из за шума воды услыхал топот и визг подков лошади, очевидно с седоком, подвигавшейся по ущелью. Он услыхал даже, как седок остановился недалеко от него и как седок ударил плетью о стремя, но он не оглянулся, не окончив молитву.

Всадник был нукер ханьши Паху-Бике, управлявшей ханством. Это был молодец, служивший у ханьши. Он был одет джигитом в оружии: на нем, кроме кинжала, была шашка, два пистолета и винтовка в чехле за плечами. Под ним был хороший гнедой мерин. Хаджи-Мурат знал его.

— Селям алейкум, — сказал приезжий.

— Алейкум селям, — отвечал Хаджи-Мурат.

— За тобой приехал,[689] с Умма-ханом едет к Гамзату,[690] велела тебе приехать.

[Редакция пятая — 1898 г.]

№ 24 (рук. № 25).

ХАДЖИ-МУРАТ

Это было давно, семьдесят лет тому назад,[691] когда только начиналась война[692] русских с кавказскими горцами. В те времена одна малая часть горцев покорилась русским, другая жила в горах свободно, не признавая ничьей власти, и третья часть то притворно покорялась русским, когда не могла бороться с ними, то опять возмущалась и воевала с ними. Таковы были в те времена все народы Дагестана. Дагестан это гористая страна между[693] высокими горами и Каспийским морем.

Самым сильным народцем[694] в Дагестане были аварцы. Аварцами в те времена управляла женщина, вдова умершего хана, ханьша Паху-Бике. У ханьши были[695] взрослые сыновья, но умная старуха правила народом сама и сама вела переговоры с русскими и с соседними ханами: ханом Мехтулинским и Куринским.[696] В одном из ханств царствовал заклятый враг ее Ахмет-Хан (он не мог простить ей того, что она не отдала за него дочь свою Салтанету, а отдала ее замуж Шамхалу Тарковскому), в другом же ханстве умер владетель, и ханьша хотела завладеть им и[697] просила в этом помощи у русских и для этого дружила с ними.

№ 25 (рук. № 25).

ХАДЖИ-МУРАТ

1

Хаджи-Мурат родился на Кавказе еще в те времена, когда русские только начинали завоевывать его. Он родился в Дагестане, в большом ауле Хунзах.[698] Мать его, красавица лезгинка Патимат, была[699] за год перед тем кормилицей у хана Султан-Ахмета. Она кормила второго сына хана от своего мальчика Османа. Осман вырос благодаря бабке, вскормившей его. Теперь, когда у Патимат родился второй сын, Хаджи-Мурат, ханьша Паху-Бике опять прислала за ней, чтобы кормить ее третьего сына, родившегося немного после Хаджи-Мурата. Но Патимат не захотела, и ее отец, набожный Хаджи-Али-Гирей, поддержал ее в этом. Али-Гирей, воевавший еще с прежним ханом Омаром, ненавидел[700] и презирал теперешнего хана Султан-Ахмета за то, что Султан-Ахмет покорился неверным[701] русским и присягнул им.

2

Патимат ни одного сына так не любила, как Хаджи-Мурата, и нельзя было не любить красавца-мальчика с черными, как мокрые вишни, глазами, живого, быстрого, как порох. Старик дед любил его больше других детей и прозвал его: кипяток. Мать не расставалась с мальчиком и брала его с собой и на покос, и на жатву, и[702] когда шла в лес за дровами.

3

Дед учил мальчика и турецкой и арабской грамоте, и за успехи подарил, когда ему было десять лет, мальчику кинжал в серебряной оправе[703] и винтовку.

4

И брал его с собой, когда ездил к кунакам в горы. В одной такой поездке Хаджи-Мурат видел в первый раз русских солдат. Он видел, как они шли из разграбленного ими аула с песнями и пляской пьяные, а в ауле он увидал убитых детей, женщин. Это зрелище никак не выходило у него из памяти. И с тех пор он возненавидел русских.

— Зачем они пришли? — спрашивал он у деда.

— Аллах наказал нас ими, — отвечал дед.

5

[704]Когда мальчику было тринадцать лет, он[705] бросился на взрослого парня с кинжалом и[706] убил бы его, если бы его не[707] ранили самого и не связали.

Это было[708] у фонтана, ребята шутили и один подшутил над матерью Хаджи-Мурата и сказал, что Осман — сын хана, а не отца. Хаджи-Мурат вскипел и убил бы, если бы все ребята не бросились на него и не отняли у него кинжал.

6

[709]Дед ездил к ученым и святым людям, и раз повез и Хаджи-Мурата к[710] Омар-Мулле. Омар-Мулла[711] говорил о шариате, тарикате и марифате. Марифат нельзя достигнуть. Хаджи-Мурат решил, что он достигнет. И стал учиться и молиться.

7

Но тут он полюбил Ханум. И он разрывался на части. Его обещали женить.[712] Ему минуло пятнадцать <лет>. И его женили.[713] Он гордился тем, что он мужчина и у него жена, и он любил быть с ней, но[714] его в это время больше всего

занимало[715] то, что он джигит,[716] занимало то, каким он казался другим: одежда, монеты, оружье. Он во всем был первый — и в борьбе, и в беге, и в скачке. Но это надоело ему.

8

[717]В это время к деду приехали гости: один знакомый старик, а другой небывавший прежде мулла. Мулла говорил о том, что мусульмане забыли Бога,[718] водятся с неверными и что одно спасение: хазават, что надо проповедывать хазават. Хаджи-Мурат вспомнил аулы, разоренные русскими, и решил, что будет мюридом. Он решил, что уйдет к Кази-Мулле.[719]

9

И он убежал, но его[720] поймали. И только благодаря матери его простили, а товарища[721] наказали. И он останется жить в Хунзахе.

10

Кази-Мулла подступил к Хунзаху. Хаджи-Мурат убивает мюрида, который завещает хазават. Отец его убит.

11

Он хочет идти к Кази-Мулле, но Кази-Мулла убит, и Гамзат сомнительный мюрид.

12

[722]Поездка в Тифлис. Презрение к русским.

13

Гамзат подступает. Поездка Буцал-Хана.

14

Убийство ханов и Паху-Бике. Хаджи-Мурат бежит и решается отомстить. Вражда с Шамилем.

15

Убийство Гамзата. — Власть над Аварией. Шамиль хочет отомстить и убить. Зовет русских.

16

Вражда с Ахмет-Ханом. Арест.

17

Бегство.

18

Примирение с Шамилем.

19

Походы — битвы.

20

Чеченка — жена.

21

46. Увез вдову Ахмет-Хана.

22

В Шуру набег.

23

Поход в Табасарань.

24

Бегство, в Воздвиженской.

25

Тифлис.

26

Ненависть, тоска.

27

Бегство.

28

Смерть.

№ 26 (рук. № 25).

ХАДЖИ-МУРАТ

[723]Накануне того дня, как Патимат родила Хаджи-Мурата, своего второго сына[724], у ханьши Паху Бике[725] родился тоже сын.

Патимат[726] была уже раз кормилицей у ханьши, она выкормила меньшого, Бучал-Хана,[727] и хан прислал своего нукера[728] к Али-Сулейману сказать ему, что он[729] берет опять жену его в кормилицы к своему сыну и чтобы она приехала за его сыном.

— Хан велел сказать тебе, — сказал[730] нукер Сулейману, — что он как и за прежнего сына наградит тебя:[731] он знает, что нет во всем Дагестане молодой женщины, более красивой, сильной и

№ 27 (рук. № 25).

В 1812 году в Аварском ханстве в ауле Хунзахе[732] в одну и ту же ночь родили две женщины: одна была ханша Паху-Бике, а другая[733] жена одного горца красавица Фатима. Паху-Бике знала

Фатиму[734] и вперед подговорила ее в кормилицы. Фатима выкормила[735] Омар-хана, а ее мальчик умер. Но за то с тех пор она стала приближенной к ханше, перестала нуждаться и оба старших мальчика ее Осман и Хаджи-Мурат выросли в доме ханов и росли, играли и джигитовали с ханскими сыновьями.

В 1830 году[736] Кази-Мулла подступил к Хунзаху[737]. Тут в первый раз Хаджи-Мурат убил человека, ему было 18 лет и тут был убит его отец.

№ 28 (рук. № 25).

ХАДЖИ-МУРАТ

I

Когда Патимат, жена Аслан-Бека, родила своего второго сына Хаджи-Мурата и уже две недели кормила его,[738] в дом их приехали послы от аварского хана Омара[739]. Послы требовали Патимат в кормилицы ко второму сыну Омара.[740] Патимат выкормила одного из сыновей хана от своего первого мальчика Османа и теперь ханьша Паху-Бике желала, чтобы Патимат[741] кормила и ее последнего сына.

— Не хочу другой кормилицы, — сказала ханьша послам. — Патимат самая красивая, сильная и кроткая женщина во всем Дагестане. Я люблю ее, как сестру, и отдам ей всё, что дорого моему сердцу, только бы она пришла ко мне.

— Делайте со мной, что хотите, — отвечала Патимат на слова няньки ханьши, — а не могу я оставить моей несравненной жемчужины. Я люблю ханьшу и благодарю ее за награды, но она[742] не отдаст никому[743] свое дитя, так и я не отдам свое. Хаджи-Мурат мой — это звезда спала мне с неба. Это свет глаз моих, не отдам я черноглазого Хаджи-Мурата

чужим людям,[744] скорее кинжалом отрежу обе груди, чем пойду кормить чужое дитя.

И сколько ни уговаривал жену муж и посланница ханская, обещая ей и наряды и золотые вещи, Патимат осталась при своем и не согласилась итти в кормилицы. Тогда Аслан-Бек[745] сказал посланному хана:

— Она упряма, как осел, и не отступит от своего,[746] но я знаю, что сделаю. Я увезу мальчика к деду и бабке, когда она уйдет за водой, и тогда мы уговорим ее.

Так они и сделали. Как только перед вечерней молитвой Патимат уложила своего сына в люльку, а сама с кувшинами[747] пошла к фонтану, Аслан-Бек с нукером ханским и нянькой ханьши взяли мальчика и понесли его на двор. Но не успели они уложить его в корзину за седлом, как Патимат вернулась без кувшинов. Когда она подошла к фонтану, ей пришла мысль, как бы без нее не увезли мальчика. И когда только пришла ей эта мысль, она оставила кувшины у фонтана и быстрыми ногами побежала вверх к своей сакле.

— Беги, Патимат, — крикнула ей с крыши соседка, — увозят твоего сына.

Патимат вбежала в саклю, схватила со стены кинжал и бросилась во двор. Не успел опомниться нукер, как мать ударила его по руке кинжалом, схватила дитя и убежала в дом.

— Убью, кто подойдет ко мне, — сказала она, одной рукой прижимая к себе ребенка, а другой махая кинжалом.

Рана нукера была легкая, ее перевязали. А старик Али-Гирей, отец Патимат, почтенный[748] старик аула, сам поехал с нукером к хану просить его[749] освободить Патимат от обязанности кормилицы.

Так и не дала Патимат своего Хаджи-Мурата чужим людям и не пошла в другой раз в кормилицы к ханам.

№ 29 (рук. № 25).

[750] ХАДЖИ-МУРАТ

I

Хаджи-Мурату было 10 лет, когда он в первый раз увидал русских и возненавидел их. Это было так. Мать его широкоглазая, длиннорукая и длинноногая, бывшая красавица Патимат, уже 10 лет, со дня рождения Хаджи-Мурата, была в немилости у отца его, своего мужа Сулейман-Ага[751] за то, что она, выкормив одного сына аварского хана Нунцала, не согласилась[752] отдать своего Хаджи-Мурата и кормить другого сына хана. Между мужем и женою произошла тогда большая ссора, дошедшая до кинжалов. Сулейман хотел отнять Хаджи-Мурата, Патимат не отдала его.[753] Сулейман в ссоре тяжело ранил ее кинжалом; но Патимат прижала Хаджи-Мурата к свежей ране и не отдала его и так и не стала кормить второго ханского сына. С тех пор Сулейман[754] взял себе другую жену. А Патимат жила в доме только работницей. Но чем[755] больше[756] страдала Патимат за своего любимца, черноглазого Хаджи-Мурата, тем больше она любила его. Она не расставалась с ним ни тогда, когда ходила по воду, ни когда ездила на осле за дровами или за пометом в горы. Когда же работ не было по дому, Патимат уезжала к[757] отцу своему Мухамед-Хану[758] в горский аул Гоцатль. И всегда,[759] чисто выбрив ему[760] небольшую голову и[761] одев его в сшитый ею же шелковый бешмет и белую с хозырями черкеску, обтянутую ремнем с кинжалом, везла красавца, худенького, черноглазого мальчика к угрюмому, ведущему святую жизнь деду.

Вот в такую то поездку и случилось Хаджи-Мурату в первый раз увидать русских и увидать их[762] за ужасным делом.

II

Русские тогда только что начинали завоевывать Кавказ. Турецкий султан уступил русским все народы Кавказа. Народы же Кавказа никогда не повиновались султану (они только почитали его) и считали себя свободными и были свободны. Русские пришли и стали[763] требовать покорности горцев русскому царю.[764]

Случилось в это время, что рота русских зашла[765] далеко от других войск в горы. Горцы узнали про это, напали на эту роту и всю истребили ее: которых убили, которых увели в плен. Когда русский главнокомандующий узнал про это, он послал два батальона в аулы и велел[766] выдать главных виновников[767],

///

Русский генерал, которому поручено было[768] это дело, разослал накануне во все,[769] за 30 верст кругом, аулы приказание выслать весь народ на место казни, и с утра верхами и пешими собрались на плоской вершине горы Каратау тысячи народа. В числе этого народа был и Мухамед-Хан, дед Хаджи-Мурата, с своим внуком Хаджи-Муратом. Вот что увидал Хаджи-Мурат.[770] С 4-х сторон стояли в несколько рядов бритые люди в белых куртках с ремнями через плечи и с ружьями с штыками. Это были солдаты; их было столько, что нельзя было сосчитать. Между ними ходили люди без ружей, с одними[771] тонкими, длинными кинжалами — это были офицеры. Впереди рядов было несколько десятков людей с пестрыми барабанами[772]. В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстегнутый, в черных штанах и белом бешмете с золотыми наплечниками. Вокруг него стояло несколько человек, таких же, как он, начальников и солдат. Это был генерал начальник. Один из солдат подал ему, на длинном чубуке, трубку. Толстый, краснолицый, с запухшими глазами начальник взял трубку и в то же мгновение загремело что-то. Это ударили барабаны.[773]

И как только ударили барабаны, одна сторона солдат расступилась, и между солдат ввели 16 человек. Хаджи-Мурат перечел их. Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой, редкой бородой. В народе вокруг Хаджи-Мурата застонали люди и заговорили «Алла-Ильаллаха». Но стоны эти были слышны только тем, которые стояли рядом. Треск барабанов, который, Хаджи-Мурату казалось, происходил от трубки, заглушал всё.

Народ застонал, увидав ведомых на казнь, потому что все знали, что это были добровольные мученики джигиты. Русские объявили, что если аулы не выдадут главных виновников, все аулы будут сожжены и побиты все, от старого до малого. На площади у мечети, два раза собирался джаваат стариков, чтобы обсудить, как поступить надо. На третий раз старик с потухшими глазами Джафар-Али вышел и сказал, что он хочет, чтобы его выдали русским.

— Пусть моя кровь[774] прольется за народ. Алла Ильема Гу.

Вслед за ним отдался сам для выдачи русским[775] молодой Ибрагим. И все закричали:[776]

— Берите наши головы!

Так что джаваат стариков решил кинуть жребий. Пошли в мечеть, помолились, кинули жребий, и мулла стал вынимать их. Все эти 17 человек шли на смерть,[777] думая, что их расстреляют, и не подозревая того, что ожидало их.

IV

Когда[778] пленники,[779] подпоясанные ремнями без кинжалов, в цепях на ногах, вошли в середину и остановились, начальник махнул рукой, барабаны остановились, и всё так затихло, что можно было слышать, как кричали молодые орлы на горе. Начальник сказал что-то. И один из его слуг (как думал Хаджи-Мурат) вышел вперед на чистое место с бумагой в руке и начал

читать. Он читал что-то сначала непонятное по русски, потом[780] то же до татарски. Он читал:[781]

И как только он кончил, в одно и то же мгновение[782] поднялся стон в горском народе[783] и начальнику с заплывшими глазами подали трубку и опять загремела дробь барабанов.

— Терпи. Алла рассудит. Придет и их час, — проговорил дед.

И все затихли и, вытянув головы и задерживая дыхание, стали смотреть.

V

С первого[784] статного, тонкого, широкоплечего, рыжего человека лет сорока, два солдата сняли черкеску, потом бешмет. Солдаты хотели снять рубаху, но горец не дался им и,[785] отстранившись от них, сам разорвал на себе рубаху и стряхнул ее с себя, так же стряхнул с себя и штаны и остался голый. Когда солдаты взяли его за руки, чтобы привязать их к ружью, руки эти дрожали, и тонкий стан его рванулся назад. Начальник с брюхом и заплывшими глазами что то сказал, и солдаты одной стороны составили ружья в козлы и, выйдя из рядов, стали подходить к арбе, на которой были палки и, разобрав их, выстроились улицей от одного ряда солдат до другого. Хаджи-Мурат только мельком видел движения солдат. Он не спускал быстрых глаз с начальника и обнаженного человека. Он видел связь между ними.[786] Начальник что-то крикнул, и два солдата[787] повели обнаженного человека за ружья, к которым он был привязан,[788] в улицу, составленную из солдат с палками.[789] Первый солдат улицы взмахнул палкой и ударил ею по белой спине горца.[790] Горец вздрогнул, так же вздрогнул и Хаджи-Мурат и оглянулся. И не успел он оглянуться в одну сторону, как на белую спину упал удар с другой стороны и на белой спине ясно выступили красные перекрещивающиеся полосы.[791] С

запухшими глазами начальник выпускал через усы дым трубки, а солдаты тянули обнаженного, иногда упирающегося человека вдоль солдат и удары, один за другим,[792] ложились на бывшую прежде белой, теперь красную спину. Только руки были белы и шея до того места, где она загорела. Сначала горец молчал, но когда его поворотили назад и[793] провели[794] уже более, чем через двести ударов, он странно завизжал, и визг его пронзительный не переставая выделялся из-за грохота барабанов. Дед Хаджи-Мурата не переставая шептал беззубым ртом молитву.

Хаджи-Мурат дрожал, как в лихорадке, и переступал не переставая с ноги на ногу.

Первого водили до тех пор, пока со[795] вспухшей, как резанное мясо, спины сочилась по обоим бокам кровь и горец, всё ослабевая и ослабевая, упал наконец. Его немного протащили, но[796] начальник офицер подошел, что то поговорил. Барабаны замолкли, и солдаты положили избитого горца на носилки и вынесли за ряды. Страшный визг поднялся в толпе, как только затихли барабаны, и женщины,[797] жена и мать избитого, окруженные толпою, кинулись к избитому.

[798]Вслед за этим два солдата подошли к красавцу[799] с маленькой бородкой лезгину в желтой черкеске и стали раздевать его. Солдат кузнец[800] стал снимать с него ножные кандалы.[801] Но не успел он снять их, как лезгин вырвал их у него из рук, взмахнул ими над головой солдата, и солдат не успел отклониться, как цепь с замком размозжила ему голову. Солдаты, стоявшие около, взяли ружья на руку и двинулись к лезгину, угрожая ему штыками; но он, как будто, только и ждал этого, сам[802] схватил ружье за дуло, бросился на штык и воткнул его себе в грудь ниже левого ребра и запел. Солдат выдернул ружье,[803] поток черной крови хлынул из раны. Лезгин развел руки, постоял так с минуту и упал навзничь.

Горцы пошли легко на смерть, думая, что их расстреляют, но они не готовились на эти позорные мученья. И лезгин сам убил себя.

Умирающего вынесли за ряды. Опять ударили барабаны, и так же, как первого рыжего, раздели старика, привязали к ружьям и повели по рядам. Старик шел молча и закрыв глаза, только вздрагивая при каждом ударе. Когда и эта спина стала вспухшей раной, старик упал и этого отнесли за ряды.

Повели третьего и так четвертого и так 17 человек. Наступил обед, отдых. Магометане совершили свои молитвы. После обеда повели пятого, шестого и так до шестнадцатого.

Начальник с брюхом и запухшими глазами всё сидел и курил трубку, которую ему подавали солдаты.[804] Хаджи-Мурат дольше не мог видеть и убежал домой.

Вечером, когда мать уложила спать Хаджи-Мурата на кровле дедовой сакли и когда муэдзин звал к полуночной молитве, [он] долго смотрел на звезды, думая о том, как[805] истребить этих неверных собак русских.

Хаджи-Мурат не мог понять, зачем допускает Бог существование этих собак, все свои силы употребляющих на то, чтобы мучать мусульман и делать зло им. Ему представлялись все русские злыми гадинами.

А между тем русские вовсе не были злы: не был зол и тот с заплывшими глазами начальник, сидевший с трубкой на барабане, не были злы офицеры, командовавшие солдатами; и еще менее были [злы] солдаты, забивавшие палками безоружных людей, виноватых только в том, что они любили свою родину.[806]

12 Января 98.

№ 30 (рук. № 25).

Х[АДЖИ]-М[УРАТ]

1)[807] Хаджи-Мурат был второй сын Аслан-Бека,[808] небогатого жителя[809] аула[810] горного Дагестана.[811]

[2] 1)[812] Он родился[813] в тот памятный год, когда Наполеон[814] вошел в Россию[815] и когда на Кавказе было возмущение[816] в Кахетии и побито было много людей.[817]

3) Жена аварского хана Паху-Бике родила сына в одно время с Патимат, матерью Хаджи-Мурата, и пожелала отдать новорожденного Патимат. Патимат от своего первого сына Османа выкормила третьего сына хана.[818]

4) Но Патимат ни[819] одного из своих детей не любила так, как она полюбила Хаджи-Мурата, и не захотела отдать своего и кормить ханского ребенка.

5) Аслан-Бек уговаривал[820] жену, угрожал ей и бил ее. Но она[821] не соглашалась.[822] Когда же Аслан-Бек хотел силою взять Хаджи-Мурата и отдать бабке, то Патимат схватила со стены кинжал и, одной сильной рукой прижимая к себе крошечного ребенка, другой потрясая кинжалом, сказала, что она зарежет себя и ребенка, но не отдаст его.

6) Аслан-Бек[823] должен был покориться и[824] отказал посланным хана.

7)[825] Ханьша[826] отдала своего ребенка другой кормилице и перестала дарить Патимат, и хан не пускал [ее][827] к себе на глаза.

8) Но Патимат не тужила об этом, не тужила и о том, что муж не возлюбил ее за это: черноглазый, резвый[828] красавец ребенок Хаджи-Мурат утешал ее.[829]

9) [830]Хаджи-Мурат рос сильным, ловким и красивым[831] ребенком. Дед его Сулейман и мать Патимат любили и дарили его. Но отец любил Османа [и] не любил Хаджи-Мурата.

9)[832] Когда Хаджи-Мурату минуло 10 лет, отец отдал его в ученье к мулле в[833] большой аул Гоцатль, где жил отец Патимат, дед Хаджи-Мурата.[834]

10) Мулла полюбил Хаджи-Мурата[835] за успехи в ученьи, а дед любил внука за его силу и ловкость.

11) На второй год ученья в Гоцатль пришли русские.

12) Русские пришли в аул затем, как они говорили, чтобы наказать вероломство горцев.[836] Горцы же считали, что,

истребив русскую роту солдат, пришедшую грабить их, они поступили так, как должно было.

13) Русские тогда только что начинали завоевывать Кавказ. Турецкий султан уступил русским все народы Кавказа. Народы же Кавказа никогда не повиновались султану (они только почитали его) и считали себя свободными и были свободны. Русские пришли и стали требовать покорности горцев русскому царю.

14) Случилось в это время, что рота русских зашла далеко от других войск в горы. Горцы узнали про это, напали на эту роту и всю истребили ее: которых убили, которых увели в плен.

15) Когда русский главнокомандующий узнал про это, он послал два батальона в аулы и велел выдать главных виновников, угрожая, в противном случае, сжечь аулы и истребить всех жителей.

16) Горцы выдали 16 человек аманатов.

17) И вот над этими аманатами решил русский генерал показать пример наказания.

17)[837] Русский генерал, которому поручено было это дело, разослал накануне во все, за 30 верст кругом, аулы приказание выслать весь народ на место казни и с утра верхами и пешими собрались на плоской вершине горы Каратау тысячи народа.

18) В числе этого народа был и Мухамед-Хан, дед Хаджи-Мурата, с своим внуком Хаджи-Муратом.

19) Вот что увидал Хаджи-Мурат. С четырех сторон стояли в несколько рядов бритые люди в белых куртках с ремнями через плечи и с ружьями с штыками. Это были солдаты; их было столько, что нельзя было сосчитать.

20) Между ними ходили люди без ружей, с одними тонкими, длинными кинжалами — это были офицеры.

21) Впереди рядов было несколько десятков людей с пестрыми барабанами.

22) В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстегнутый, в черных штанах и белом бешмете с золотыми наплечниками. Вокруг него стояло несколько человек, таких же, как он, начальников и солдат. Это был генерал, начальник.

23) Один из солдат подал ему, на длинном чубуке, трубку. Толстый, краснолицый, с запухшими глазами начальник взял трубку и в то же мгновение загремело что-то. Это ударили барабаны.

24) И как только ударили барабаны, одна сторона солдат расступилась и между солдат ввели 16 человек. Хаджи-Мурат перечел их.

25) Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой, редкой бородой.

[Редакция шестая]

№ 31 (рук. № 29).

Хаджи-Мурат вспоминал теперь это страшное время, в особенности по той внутренней борьбе, которая шла в нем во всё это время. Гамзат-Бек был Имам и вел газават, и потому Хаджи Мурат сочувствовал ему. Когда ханьша Паху-Бике колебалась, послать ли сына к Гамзату-Беку, Хаджи-Мурат советовал послать, советовал принять Гамзата и отделиться от русских. Когда вернулись с проткнутыми носами послы, он же советовал ехать и Абунунцалу и поехал с ним. Здесь в первый раз Хаджи-Мурат увидал Шамиля. Шамиль был тогда молодой человек, приближенный мюрид Кази-Муллы. Хаджи-Мурат[838] шел к Маме, перешедшему к Гамзату, мимо палатки, когда услышал слова Шамиля к Гамзату: «Куй железо, пока горячо. Пока ханы будут ханами, они не дадут народу пристать к нам». Не доходя до палатки, Хаджи-Мурат услыхал стрельбу и увидал, что[839] стреляют в нукеров хана. Потом он увидал, как (И. К. П., 35, отч[еркнутое]).

Вот тут шла борьба. Хотелось броситься защитить молочных братьев. Но показаться — значило погибнуть, и Хаджи-Мурат просидел в сакле и вечером бежал в Хунзах — хунзахцы сдались, и Гамзат вступал в Хунзах, — и ушел к деду.

На другой день он видел, как казнили Хунзай-хана, а на другой день слышал, как убита была Паху-Бике.

Борьба, шедшая в душе Хаджи-Мурата, кончилась. Ему предстояло дело: он решил отомстить Гамзату.[840] Надо было убить его. Но Гамзат знал, что его хотят убить, и не выходил иначе, как окруженный охраной. Тогда Хаджи-Мурат решил убить его в пятницу в мечети. Но жена Османа, подслушавшая разговор братьев, передала его сестре, а сестра[841] мужу. И Гамзат узнал про заговор и позвал к себе старика деда. Хаджи-Мурат помнил свое волнение, когда ходил дед и как он приготовился не сдаваться. Но дед вернулся и рассказал свое свидание с Гамзатом: как он просил помощи для отправки внука, Хаджи-Мурата, в Бухару для[842] обучения (К. С., 37—38, отчерк[нутое].)[843]

Это была вторая и полная измена Хазавату. С этого времени Хаджи-Мурат стал влиятельным лицом в Аварии и почти управлял ею. Назначен был от русских Магомет-Мирза, слабый больной.[844] За обедом его приехал Гарун-Бек. Хаджи-Мурат отрубил ему голову. В это время Хаджи-Мурат увлекался корыстью. Он собирал дань и набрал большое состояние. У него было много сокровищ и другая жена. В это же время он был представлен русскому начальнику барону Розену и произведен в прапорщики милиции за стычку с набегом горцев. Ахмет-Хан потребовал от Хаджи-Мурата денег. Он отказал. Тогда Ахмет-Хан, узнав о сношениях Хаджи-Мурата с Мамой в горах, донес на него и арестовал, привязав его к пушке, и потом послал в Темир-Хан-Шуру.

№ 32 (рук. № 29).

Один раз, когда Хаджи-Мурату было 15 лет и он кончил свое учение у хунзахского муллы, он приехал в аул к деду помочь ему убирать кукурузу. Дед был не на хуторе, а в ауле. Он приехал в обед, и первое, что он увидал — это были у сакли деда две

оседланные лошади, привязанные коротко с подтянутой к перекладине головой. Один из этих коней под черным седлом с сафьянной подушкой без галунов, был красавец-гнедой с редкой черной гривой и густым хвостом кабардинец с маленькой головкой, черными выпуклыми глазами, необыкновенно широкой подпругой и недлинными, но точеными, сухими и прямыми, как струна, ногами. Другой конь был ногайский, поджарый, серый мерин. Это, должно быть, были джигиты и из гор, из тех мест, где проповедывался хазават и где люди не подчинялись неверным русским, как подчинялись в Аварии ханы и сам отец Хаджи-Мурата.

Уже давно с детства Хаджи-Мурат знал про то несогласие, которое шло между его отцом и дедом[845] по матери из-за этого нового учения, проповедуемого в горах Кази-Муллою. Отец Хаджи-Мурата был политик и для своей выгоды дружил с ханом, а хан дружил с русскими. Старик же дед, хотя и не переходил в горы, признавал справедливость учения Кази-Муллы. Хаджи-Мурат до этого дня не понимал ни той, ни другой стороны и не думал об этом. Его собирались женить на девушке, которая не нравилась ему, и это одно занимало его.[846] Кроме лошадей Хаджи-Мурат увидал у сакли деда народ и женщин на соседней крыше.

— Из гор приезжие от Кази-Муллы, — сказал ему встретивший его товарищ Муталим. Один старик Мулла, другой молодой мюрид Кази-Муллы.

Когда Хаджи-Мурат вошел в саклю, на первом месте сидел старик, вытянув вперед руки ладонями кверху и закрыв глаза и подняв голову кверху, и говорил. Молодой мюрид, тонкий и высокий человек с длинной спиной, в белой черкеске и большими ушами сидел рядом, очевидно совершенно равнодушный. Кругом рядами [сидели] старик-дед и еще пять самых набожных людей аула и покорно слушали. Старик-дед сделал знак Хаджи-Мурату, чтобы он садился в[847] конце всех. Хаджи-Мурат беззвучно сел. Приезжий старик продолжал горловым медленным голосом: «Ему явился пророк божий и сказал: Шейх Кази знаешь... (Выписать из Сб. о к. г. Выпуск II,

стр. 12, отчеркн. красн. каранд. и Сб. о к. г., выпуск IV об истин. мюридах).

Когда старик кончил, он взял в руки, с крашеными ногтями, четки и произнес: «Ляилаха-илла-ллах». Все повторили. Потом: «Я аллах», потом: «Я гу», потом «Я хакк», потом «Я кахом» и «я каххар». Все повторяли те же слова. Хаджи-Мурат понимал значение этих слов, обозначающих: «Бога единого», «Бога всемогущего», «Бога вечного», «Бога праведного», «Бога живого», «Бога сущего» и «Бога мстителя». И он помнил, как тут в первый раз он почувствовал свое ничтожество перед этим Богом и желание служить ему.

Служба же самая очевидная, понятная ему, была служба хазавату, борьба с неверными. Но вместо борьбы этой, он дома жил с отцом, требовавшим от него служения ханам, тем самым ханам, которые передались русским.

Это было первое понятие Хаджи-Мурата о хазавате. Оно в первую минуту захватило его, но скоро он забыл про испытанное им чувство под влиянием женитьбы. Его женили на Сафале, некрасивой коротконогой аварке. Жизнь дома стала скучна ему, [он] не решился бы итти против воли отца, если бы не случилось следующее:

В августе на другой год после своей женитьбы он с матерью приехал к деду помогать ему в уборке кукурузы. Деда не было дома. Одна старуха-бабка была на крыше и рассказала, что за стариком присылали от русских в крепости. Что туда пошел весь народ и дед велел приходить и Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взял лепешку и своими сильными[848] ногами легко побежал через горы в крепость. Когда он пришел туда, он увидал огромную толпу горцев, которые стояли среди солдат.

№ 33 (рук. № 29).

[849]Два раза в своей жизни Хаджи-Мурат изменял хазавату и вот теперь изменил ему третий раз. И[850] всякий раз за изменой следовало довольство, соблазны и потом наказание. Так было и

теперь. Соблазны тифлисской жизни кончились, и началось наказание — положение, казавшееся безвыходным,[851] но всякий раз положение это разрешалось смелостью, удалью. И теперь должно было разрешиться тем же. Завтра он бежит в горы в Аварию и оттуда поставит условия Шамилю. Теперь же ночь, делать нечего было, и он лег и хотел заснуть. Но сон не приходил к нему. Он лежал в темноте с открытыми глазами и думал.

В Тифлисе офицер, состоящий при Воронцове, Лорис-Меликов подробно расспрашивал Хаджи-Мурата о его жизни и составил жизнеописание его, которое он прочел ему и, как говорили, послал царю. Теперь Хаджи-Мурат вновь перебирал эти свои, в продолжение трех вечеров, рассказы о своей жизни и в воображении своем поправлял и дополнял их. Вспоминал он: как и зачем он все три раза изменял хазавату и что за это было с ним.

Первая измена хазавату была почти детская, еще до его женитьбы, когда ему не было 16 лет.

И Хаджи-Мурат живо вспоминал то, как он в первый раз стал мюридом и дал обет служить хазавату[852] — войне с неверными. Это было у деда Хаджи-Мурата, у Махомед-Султана[853] в горном ауле Гоцатль, куда Патимат, мать Хаджи-Мурата, ездила с сыном навещать отца.[854]

Хаджи-Мурат помнил, как мать его, сильная, высокая женщина[855] носила его туда еще за спиной в корзине, и[856] как дед кормил его медом и спрашивал молитвы и главы корана.

№ 34 (рук. № 29).

Один раз, уже когда Хаджи-Мурату было 15 лет, он кончил свое учение у хунзахского муллы, он приехал к деду помочь ему убирать кукурузу. Прийдя[857] на хутор, он узнал, что деда нет, что за ним присылал старшина, чтобы быть на площади, где будут казнить аманатов.[858] Хаджи-Мурат[859] пошел туда.

№ 35 (рук. № 29).

Родился Хаджи-Мурат в 1812 году, вскоре после бунта в Грузии. Мать Хаджи-Мурата родила его[860] после своего второго сына, и так как первого сына аварской ханьши выкормила Патимат, то и второго сына ханьша хотела отдать Патимат.[861] Но Патимат[862] не согласилась отдать своего сына. Сулейман хотел силой отнять ребенка,[863] Патимат не давала, и Сулейман, взбесившись, хотел[864] убить ее и ранил кинжалом[865] и убил бы жену, если бы ханские нукеры, приехавшие за кормилицей, не[866] удержали его. Патимат увезли в дальний горский аул к ее отцу, и там Патимат[867] выздоровела и выкормила своего любимого сына.

Хаджи-Мурат помнил, как она, неся его за спиной, пела сложенную ею песню:

«Одно[868] солнце светит в небе, одна радость в сердце Патимат это — черноглазый Хаджи-Мурат. Хотят тучи отнять у народа солнце. Но солнце разгоняет их и посылает дожди на землю. Хаджи-Мурат обливается кровью на груди матери, но грудь эта кормит Хаджи-Мурата, а не чужого щенка, и не заходит солнце за горы в сердце Патимат».

Когда Патимат вернулась в дом, у Сулеймана была другая жена. Сулейман принял и Патимат. И Патимат была хозяйкой и работницей в доме. Хаджи-Мурат помнил, как она ходила по воду, нося его туда и ведя оттуда за руку, помнил, как она брала его с собой на пашню, где вскапывала киркой землю под кукурузу, и носила в лес, где с вечера начинали[869] плакать шакалы.

№ 36 (рук. № 29).

Хаджи-Мурат помнил[870] [как] мать с пустыми кувшинами на голове водила его за руку к фонтану и там быстро и много

говорила с другими женщинами, и как потом с полной чистой холодной водой кувшинами тихими шагами возвращалась назад и уже не держала его за руку и он сам хватался за ее штаны, когда она проходила мимо сакли Ахмета с страшной собакой.

№ 37 (рук. № 29).

Думал он о том, как он[871] два раза изменял хазавату и как[872] был наказан за эту измену. И вот теперь он изменил ему третий раз[873] и[874] третий раз наказание[875] будет ужасно. В каком виде придет это наказание, он не знал и не предвидел, но он знал, что оно придет и будет решительно. А между тем он чувствовал, что не мог поступить иначе, как в прежних своих изменах, так и в теперешней. И он,[876] сидя один в уединении Нухи, не переставая, перебирал в своем воспоминании свое прошедшее и видел, что так должно было быть и не могло быть иначе.

Вспоминая свою первую измену хазавату, он, прежде всего, вспоминал свое детство, когда[877] еще не было для него ни верных, ни неверных, а были только брат Осман, отец, дед, мать и Уляшин, красная, худая дворная собака, которая спала с ним на крыше и, ощетинившись, лаяла на выходивший из-за горы месяц и лизала его в губы и нос, когда он подзывал ее, и гнедой мерин отца,[878] с седой гривой, на котором отец уезжал в набеги[879] тогда, во время первого детства, когда мать, идя за дровами, носила его за спиной в корзине и водила за руку, возвращаясь с полным на голове кувшином воды от фонтана, и когда кормила пирожками и укладывала его, голого, спать на крыше, и покрывала шубой, и гладила папахой. Хаджи-Мурат никогда не спрашивал себя тогда, любит ли он мать, так же как не спрашивал себя, любит ли он себя? Он[880] знал, что она любит его так же, как он сам любил себя, и это так должно было быть, и потому он не чувствовал к ней за это никакой благодарности так же, как к себе не чувствовал благодарности

за то, что любит себя.[881] Он знал ту страшную ссору, которая вышла между отцом и матерью из-за того, что мать отказалась отдать его, Хаджи-Мурата, и взять на выкормку второго сына хана; он знал, что отец первое время любил только Османа и ненавидел его, Хаджи-Мурата, и что только мать выхаживала его.

№ 38 (рук. № 29).

Может быть, Хаджи-Мурат и остался бы в России и сдержал бы свое обещание. Но все намерения его изменило то, что адъютант главнокомандующего Лорис-Меликов по поручению Воронцова приехал к Хаджи-Мурату, чтобы расспросить у него его биографию и записать и послать в Петербург. Хаджи-Мурат сначала отказывался, но потом согласился и рассказал всю свою жизнь. Из этой жизни Лорис-Меликов записал только[882] то, что касалось войны (выписать из Рус. стр. 668, 662 и 700 стр. до красн. карандаша).[883] Хаджи-Мурат рассказывал это, вспоминая всю свою жизнь. И это воспоминание в первый раз в его уединенной и праздной жизни, возникши в нем, измучило его. Он затосковал. Он переживал вновь не только все свои похождения, войны, набеги, победы, но свою юность, свое детство. Вспоминал он прежде всего и

№ 39 (рук. № 29).

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат молча ушел к себе и сел на ковер[884], опершись локтями на колени и опустив голову. Он долго сидел так. Дверь в соседнюю комнату была открыта, там Сафедин пел песню про[885] Хамзата. Хаджи-Мурат знал ее. И слушал и повторял слова. Слова были вот какие (Выписать из

I то[ма] Сб. о кавк. горцах, стр. 27, 28, 29, 30). Когда кончилась песня, Хаджи-Мурат чуть крикнул[886]

№ 40 (рук. № 29).

Тогда Ахмет-хан подбежал, наступил ногой на шею Хаджи-Мурата и кинжалом отрезал голову.

— Собака, последнее слово сказал матерное.

Ахмет-хан думал, что «Ана-мать» означало начало обычного ругательства. Но «Ана», произнесенное в эту минуту, было совсем не то. Это было воспоминанье, прощанье с своей матерью. Никто не знал, зачем вышел Хаджи-Мурат. Зачем бежал потом.

Думали, что тут была хитрость, что он хотел высмотреть русские укрепления и бежать и потом, зная положение русских, успешнее действовать. Ничего этого не было. Он хотел бежать к русским, возненавидев Шамиля и желая отомстить ему, а бежал назад, вспомнив всю свою жизнь, свою молодость и свою мать. Лорис-Меликов заставил ему рассказать свою историю. Он рассказал Лорис-Меликову всё, что могло быть нужно знать русским. Но рассказывая он вспомнил всю свою жизнь, и вспомнив всю свою жизнь, он вспомнил свои прежние две измены Хазавату, и всё то горе, которое он пережил от этого. И потому он заключил, что и теперешняя измена принесет ему большое горе. И он решил вернуться. Он колебался, но известия о его матери и песнь о Гамзате решили для него вопрос. Он должен был бежать или вернуться к Шамилю, спасти мать или погибнуть.[887]

И он погиб.

№ 41 (рук. № 29).

Хаджи-Мурат[888] с умилением вспоминал теперь это время и те чувства, которые были в нем. Да, он хотел быть истинным мюридом. Мюрид, сказано было, должен отказаться от всех желаний, кроме Бога; забыть ту часть, которая принадлежит ему; сделать как будто он не существует. Должен отказаться от всего, что соблазняет человека на свете, так чтобы целый свет равнялся для него крылу комара; должен раскаяться во всех грехах, помириться со всеми. И всё это тогда испытывал Хаджи-Мурат. Он ходил просить прощения у старика Джемала, над которым все смеялись в ауле; подарил своему врагу кинжал в серебре и черкеску и оставил себе только ружье, шашку и пистолет, подаренные дедом.

Дело было в том, чтобы найти шейха.

И шейхом этим он надеялся, что будет сам Кази-Мулла, когда он явится к нему.

Одно, что удерживало Хаджи-Мурата, это был отец. Отец не любил Хаджи-Мурата, но Хаджи-Мурат любил своего отца; любовался его силою, его ловкостью и[889] знал, что его бегство в горы[890] разорвет его связь с отцом и, может, приведет к тому, что придется воевать с ним. Этого он и не мог решить[891] один и, за решением этого вопроса, поехал к[892] другу и названному брату своему Маме, с которым он вместе был муталимом. Мама тогда был юношей, — теперь уже давно он был убит русскими. Мама сам собирался бежать и <только боялся>.

[Редакция седьмая — 1901 г.]

№ 42 (рук. № 30).

В одной из кавказских крепостей жил в 1852 году воинский начальник Иван Матвеевич Канатчиков с женой Марьей Дмитриевной. Детей у них не было и, как и все бездетные супруги, которые не разошлись, а живут вместе, жили и были самые нежные супруги. Для Ивана Матвеевича это было легко,

потому что трудно было не любить здоровую, полную, миловидную, всегда веселую, добродушную, хотя и вспыльчивую Марью Дмитриевну, прекрасную хозяйку и помощницу. Но для Марьи Дмитриевны казалось бы и трудно любить всегда прокуренного табаком, всегда, после 12 часов, пахнущего вином, рябого, курносого крикуна Ивана Матвеевича. Но Марья Дмитриевна хотя и любила понравиться молодым, особенно приезжим, офицерам, но только понравиться, именно только затем, чтобы показать им, что хороша, но не для них, — Марья Дмитриевна любила всеми силами простой души и здорового тела одного Ивана Матвеевича, считая его самым великодушным, храбрым, глубокомысленным военным, хотя и самым глупым хозяином дома.

Это было в июне. Марья Дмитриевна давно уже встала и с денщиками хозяйничала. Начинало уже становиться жарко, солнце выходило из-за гор и становилось больно смотреть на белые мазанки на противоположной стороне улицы, и Марья Дмитриевна, окончив свои дела, только что хотела посылать денщика в канцелярию звать Ивана Матвеевича к чаю, когда к дому подъехали верхами какие-то люди.

— Егоров, поди узнай, — крикнула Марья Дмитриевна, направляясь в спальню. — Кто это? Двое? С конвоем и татары, и казаки. Человек 20. Уж не в набег ли?

И любопытство так захватило ее, что она поспешно спустила засученные, на своих полных руках, рукава и повернулась назад.

— Погоди, Егоров, — крикнула она, ощупывая руками шпильки в косе и косу. — Ну, ничего, сойдет. Погоди, Егоров. Я сама.

И Марья Дмитриевна вышла своей молодецкой походкой на крылечко домика.

У крыльца стояла целая партия. И казаки, и чеченцы. Впереди выделялись трое. Один — офицер, одетый по-черкесски, в черной черкеске, в сапогах, на маленькой гнедой лошадке; другой — мирной, переводчик, с надетой шерстью вверх и козырьком папахой и в засаленном бешмете и желтой черкеске. И третий, на белой, статной лошади, в белой черкеске,

высокий, тонко стянутый ремнем, без набора, с большим серебряным кинжалом, пистолетом за спиной и в высокой, с белым же курпеем папахе, далеко заломленной назад.

Этот человек больше всех обратил внимание Марьи Дмитриевны. Лицо у него было довольно простое: небольшой нос, маленькая, черноватая бородка, приятный, нежный, детский рот, довольно густые брови и странные внимательные и строгие глаза. Он был человек во всей силе, и ему можно было дать от тридцати пяти до пятидесяти. Он поглядел на Марью Дмитриевну, встретился с нею глазами, не опустил взгляда, так что она перевела глаза на офицера. Когда же она опять взглянула на него, он уже не смотрел на нее и, опустив голову, рассматривал свой кинжал.

Не успела Марья Дмитриевна задать себе вопрос о том, кто бы это был такой, как и получила ответ. Офицер сказал ей, что это Хаджи-Мурат.[893]

— Ну? Не может быть![894] —вскрикнула Марья Дмитриевна, выпученными, испуганными восторженными глазами глядя на горца в белой черкеске.

— Он, Хаджи-Мурат?[895] — вскрикивала она.

— Он самый, —повторил офицер.

Хаджи-Мурат же, вероятно, понял то, что происходило между Марьей Дмитриевной и офицером, и улыбающимися глазами смотрел на миловидную русскую женщину.

Испуг и восторженное удивление Марьи Дмитриевны были естественны. Хаджи-Мурат более 20-и лет воевал с русскими. Хотя и был наибом Шамиля, был знаменитее среди русских своего владыки. Он знаменит был своей баснословной храбростью, всегдашними успехами, блестящими победами и подвигами над русскими войсками и всей своей странной, романтической историей. Про его прошедшее, про его жизнь, характер рассказывали чудеса. И всё это, под влиянием того особенного отношения рассказывающего к врагу, которого не видят, но про которого слышат, и ударов которого боятся, получало особенно страшно-преувеличенное и поэтическое значение. Но и без преувеличения история этого человека была удивительная.

Он родился в 1817-м году[896] в бедном ауле аварского ханства.[897] В семье их было двое: старший брат Осман и он. Ему было 13 лет, когда[898] в аул к вечеру привели лошадь, через которую был перекинут труп его отца, покрытый буркой.[899] Отец был убит русскими. С тех пор Хаджи-Мурат возненавидел русских, но[900] его женили и он сблизился по матери, которая у них была кормилицей, с аварскими ханами (один из них был молочным братом ему) и предавался буйной и роскошной жизни молодых ханов. Он слышал и тогда про хазават — священную войну против неверных, но ханы не принимали посланных Кази-Муллы и даже ханы воевали с Кази-Муллою. В одном из этих сражений Хаджи-Мурат догнал на своем добром коне одного из мюридов Кази-Муллы и срубил его шашкой. Мюрид упал на луку, и когда Хаджи-Мурат снял его с седла, чтобы взять лошадь и его оружие, умирающий мюрид сказал ему: «Ты убил меня! Но за то ты должен[901] принять хазават, который состоит в том, что правоверный не может быть под властью собак неверных, не может быть ничьим рабом и никому не может платить подати. Я умираю за хазават и благодарю аллаха. Будь такой же». Мюрид сказал это и умер. Тогда Хаджи-Мурат принял хазават и уговаривал ханов отстать от русских и принять хазават.[902] Когда же Кази-Мулла был убит, а на место его стал Гамзат[903] и подступил с войском к Хунзаху, столице Аварии, и требовал покорности, то ханьша послала одного своего сына Омара в Тифлис к барону Розену просить защиты. С Омаром поехал и Хаджи-Мурат и здесь в первый раз видел вблизи русских и возненавидел их еще больше.

Русские не помогли ханам. Когда Хаджи-Мурат вернулся, Гамзат стоял под Хунзахом с сильным войском и требовал, чтоб ханьша приняла хазават. Хаджи-Мурат советовал ей принять хазават, чтобы не принимать больше собак неверных и воевать с ними, но ханьша качалась туда и сюда, и послала к Гамзату почтенных стариков послами. Гамзат рассердился, велел всем старикам проткнуть ноздри, продеть нитки и на нитки повесить куски лепешки и в таком виде вернул их ханьше и велел им сказать, что если она хочет иметь с ним дело, то пусть пришлет

к нему сына своего[904] Булач-Хана. Ханьша послала его. Потом Гамзат потребовал к себе и других двух ханов. И ханы поехали и с ними и Хаджи-Мурат с братом Османом. Это было предательство. Всех трех ханов убили. Осман с Хаджи-Муратом бежали и решили отмстить Гамзату.

На другой день Гамзат[905] без боя вошел в Хунзах и стал править им. Старая ханьша мешала ему. Он убил и ее.

Хаджи-Мурат с Османом скрывались и подбирали людей, чтобы напасть на Гамзата, но все боялись. Тогда братья решили отомстить одни. В пятницу, когда Гамзат должен быть в мечети, Хаджи-Мурат с Османом пришли туда в бурках, под которыми было оружие.[906] Мюриды[907] велели им снять бурки. Тогда они выхватили оружие, бросились на Гамзата и убили его. В свалке мюриды убили Османа, но Хаджи-Мурат убил всех тех, кто нападал на него, и, раненный в руку, выбежал[908] на улицу и крикнул народ.

Народ сбежался и напал на Гамзатовых мюридов, и которых убили, которых покидали с кручи, и Хаджи-Мурат стал бы[909] правителем Аварии, если бы не хитрый Шамиль, который занял место Гамзата.

Хаджи-Мурат не захотел поддаться Шамилю и скорее решил призвать ненавистных русских. Русские пришли, и генерал Клюгенау поручил Хаджи-Мурату управление всей Аварией. Хаджи-Мурат не мог оставаться союзником русских и завел тайные переговоры с Шамилем, требуя себе независимую власть над Аварией.[910] Враг Хаджи-Мурата, хитрый Ахмет-Хан выдал его. Русский генерал вызвал Хаджи-Мурата и допросил его. Хаджи-Мурат во всем отрекся[911] и собирался уже передаться Шамилю, но Ахмет-Хан предупредил его и выдал генералу. Хаджи-Мурата привели в крепость, потом, зная его ловкость и силу, привязали к пушке и продержали так без пищи два дня. На третий день его отвязали и повели с конвоем в Темир-Хан-Шуру.

Два солдата вели его, держа за веревку, которой он был связан, пять конвойных с ружьями шли впереди, пять сзади. Проходя мимо отвесной кручи с правой стороны дороги, Хаджи-

Мурат рванулся, стащил с собой одного из солдат, который убился на смерть, а сам Хаджи-Мурат разбитый и с сломанной ногой (от которой он всегда хромал) остался жив. Он развязался, и рукою таща за собой ногу, дополз до аула, где его вылечили и выходили. Выздоровев, он послал послов, посланных и к Шамилю и к[912] русскому генералу, выпытывая, где выгоднее условия. Генерал[913] звал его к себе, объясняя случившееся ошибкой. Но по дороге к генералу[914] Ахмет-Хан узнал про это и окружил аул, в котором он был. Он три дня бился с Ахмет-Ханом.[915] У них было двадцать три убитых. Они заперлись в сакле и думали погибнуть. Но Шамиль пришел[916] им на помощь и выручил его. Делать было нечего, —Хаджи-Мурат отдался Шамилю, тем более, что ему нужно было отмстить Ахмет-Хану. С этого времени Хаджи-Мурат[917] сделался подначальным Шамилю, наибом Аварии, делал чудеса храбрости, прежде всего[918] заботясь о том, чтобы враг его Ахмет-Хан не остался без отмщения. Но отмщение это долго не давалось. Ахмет-Хан ворвался в его аул, убил всех его братьев и ни разу не попался ему, и умер своею смертью. Одно, что мог сделать теперь Хаджи-Мурат, чтобы удовлетворить своему, не только чувству, но долгу, было то, чтобы отомстить семье его. И это он сделал. Уж после смерти его он ворвался в его жилище, похитил его ханьшу и увез к себе со всеми ее детьми.

В продолжение двенадцати лет Хаджи-Мурат делал чудеса храбрости.[919] Он угонял стада из под носа русских, появлялся там, где его не ожидали, в самых городах убивал и грабил всё, что попадалось. Горцы верили в его непобедимость и неуязвимость, и русские, как всегда, преувеличивали его подвиги.

Вот этот то человек, поссорившийся с Шамилем, теперь вышел к русским и вот с разрешения Воронцова приехал в Чечню, чтобы узнать подробности о положении своей семьи, которой Шамиль угрожал выкалыванием глаз и обращением в рабство.

Этого то баснословного героя пришлось встретить и принять Марье Дмитриевне.[920]

Имя это всё сказало Марье Дмитриевне. Она опять взглянула на Хаджи-Мурата, но он не взглянул на нее, а что-то по кумыкски заговорил с одним из своих, подъехавшим к нему.

Марья Дмитриевна знала, кто такой был Хаджи-Мурат и зачем он приехал сюда. Она знала, что Хаджи-Мурат был знаменитый наиб (полководец) Шамиля, первый храбрец, много раз побивавший русских и, недавно поссорившись с Шамилем, вышедший к русским, обещая воевать теперь против Шамиля.

Но вот прошло месяца... и Хаджи-Мурат не мог еще ничего сделать, потому что семья его, которую он страстно любил, оставалась в горах, во власти Шамиля.

Теперь он по приказанию Главнокомандующего приезжал в Чечню, чтобы попытаться через лазутчиков узнать о своей семье и если можно выкрасть из гор. Марья Дмитриевна знала всё это, у мужа уже была получена бумага о том, что Хаджи-Мурат приедет в их крепость и будет жить в ней, и потому одно имя Хаджи-Мурата объяснило ей всё.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она, — милости просим. Я сейчас мужу дам знать, он в канцелярии, — сказала она, взяв поданную ей приставом бумагу.

И Марья Дмитриевна быстрым шагом пошла через двор к мужу.

— Иван Матвеевич, Иван Матвеевич! — заговорила она.

— Ну что? Что так суетишься?

— Хаджи-Мурат приехал с приставом князем Еристовым и конвоем. Вот бумага.

Не открывая бумагу, Иван Матвеевич потянулся за папироской.

— Дай-ка.

— Да ну, успеешь.

— Дай затянуться. Ну что ж, пошли Кириллова проводить на квартиру.

— А знаешь что, Иван Матвеевич, — вдруг сказала Марья Дмитриевна, вспомнив взгляд Хаджи-Мурата и садясь на кровать. — Я думаю, лучше их к нам поместить.

— Вон-а! Там всё готово и деньги заплачены.

— Да ты вот говоришь, а я взглянула на него.

— Ну, что же?

— Так я взглянула на него и думаю, теперь нельзя нам его там держать. Уйдет! Я взглянула на него, и вижу, что уйдет.

— Ты всегда всё видишь.

— Да и вижу. А уйдет, тебя в рядовые.

— Ну что же, я в барабанщики.

— Нет, право лучше к нам. Я свою половину всю отдам ему и живи он, по крайней мере, на глазах.

— Да как же нам то?

— Да так же, уж я тебе говорю. Я пойду, им велю слезать. А тех туда, к Лебедеву поставить. Кириллов сведет.

— Да уж я вижу, что ты заберешь в голову. Вели закусить-то дать.

— Готово всё, вставай.

Как задумала Марья Дмитриевна, так всё и сделала. Конвойные стали у Лебедева, а Хаджи-Мурат с своими нукерами и приставом — у воинского начальника.

Хаджи-Мурат пробыл у Ивана Матвеевича десять дней и измучил в эти десять дней Ивана Матвеевича. Несколько раз к нему приходили таинственные люди ночью и уходили ночью и подолгу беседовали с ним. Два раза сам Хаджи-Мурат выезжал за укрепление, чтобы свидеться с людьми, которые должны были ему принести сведения об его жене. И тогда Иван Матвеевич высылал цепь пехоты, чтобы Хаджи-Мурат не мог убежать, и конвой казаков. Каждый день Иван Матвеевич посылал донесение к начальнику левого фланга о том, что делал Хаджи-Мурат, и спрашивал разрешения, как поступать?

Иван Матвеевич так же, как и все тогда на Кавказе, от Главнокомандующего до последнего солдата, не знал, что такое была эта выходка Хаджи-Мурата. Правда ли, что он, оскорбленный Шамилем, как он говорил, ушел из гор, желая отомстить ему, или правда, что он вышел к русским только затем, чтобы высмотреть всё и бежать и тогда быть еще более страшным врагом, чем он был прежде. Большинство думало, что он обманывает, и так думал Иван Матвеевич и принимал все меры, чтобы он не ушел и чтобы скорее избавиться от него. Всё казалось ему обманчивым в Хаджи-Мурате: и то, что он не знал

по-русски и говорил только через переводчика, и то, что слишком усердно каждый день пять раз молился, расстилая ковер и обмываясь в быстрой речке, текшей по камням под укреплением.

— Обманет, подлец! —говорил он и всегда, не переставая, следил за ним.

Марья Дмитриевна была сначала того же мнения и помогала, как могла, мужу, но накануне отъезда вечером ей случилось поговорить с Хаджи-Муратом, и она вдруг изменила мнение о нем и поверила ему и стала жалеть его.

Случилось так, что в этот последний день нукер Хаджи-Мурата пришел на кухню и бросил там вареную баранину и плов рисовый, сопя носом и показывая, что мясо тухлое. Денщик сказал это Марье Дмитриевне. Марья Дмитриевна, всполошась, узнала в чем дело, что виновата не она, а нукер, который не отдал баранину на погреб, и пошла своими решительными шагами на половину Хаджи-Мурата. Переводчика не было, но Марья Дмитриевна знала несколько слов от своего мужа, который знал порядочно по-кумыцки, и спросила в дверях можно ли: «Гирекма?» и тотчас же вошла. Хаджи-Мурат, несмотря на свою кривую ногу, на которую он ступал, нагибаясь всем телом, ковыляя, ходил по комнате мягкими шагами в чувяках. Увидав Марью Дмитриевну, он остановился на своей прямой ноге, опершись носком короткой о пол. Он был одет в шелковый, обшитый тоненьким ремнем черный бешмет, подпоясанный ремнем с большим кинжалом. Ноги были в красных чувяках и белых ноговицах с тоненьким галуном. Увидав Марью Дмитриевну, он надел на бритую черную голову папаху и, взявшись жилистой рукой с надувшейся поперечной жилой за кинжал, наклонил голову, как бы спрашивая и слушая.

Марья Дмитриевна показала ему блюдо и сказала:

— Нукер... виноват... погреб тащить.

Он покачал головой и чуть-чуть презрительно улыбнулся:

— Мегирек, — всё равно, — и он помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно. А потом показал на горы, на нее и на свое сердце. Она поняла, что он

говорил, что ему всё равно, что одно, что ему нужно и больно, это его жена, которая в горах.

Марья Дмитриевна показала на небо и сделала жест выхода из гор. Он понял. И продолжал показывать на себя и на нее и потом, подняв руку невысоко от земли, показал, что и этого нет. Марья Дмитриевна поняла, и вспомнив, как мальчик, спросила:

— Улан?

Он показал два пальца и сказал:

— Девка, — и, показав один палец, сказал:

— Улан, — и поднял глаза к небу с выражением восторга. Она поняла, что мальчик очень хорош, и он очень любит его.

— Любите очень? — сказала Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему, понял, что она любит его, желает ему добра и, размягченный воспоминанием о своем любимом детище, сыне Вали-Магоме, вдруг лицо его преобразилось. Черные глаза заиграли, у угла глаз сделались морщины, и рот, растянувшись в детскую улыбку, открыл белые, белые, ровные зубы.

— Алла! — сказал он и опустил голову.

— Даст Алла, даст, — сказала Марья Дмитриевна. — Ну дай Бог, дай Бог.

На этом они расстались в этот вечер. Но между ними во взглядах и улыбке произошло нечто большее, чем простой дружеский разговор, и воспоминание об этом взгляде и улыбке стало для Марьи Дмитриевны выше многих и многих других воспоминаний. Воспоминание это и для Хаджи-Мурата было одним из самых радостных его воспоминаний во время его пребывания у русских. Он почувствовал, что его полюбили. А на другой день, когда они уезжали и он опять в своей боевой черкеске, с пистолетом и шашкой, хромая, вышел на крыльцо и, пожимая руку, прощался с Иваном Матвеевичем, Марья Дмитриевна с ласковой улыбкой подала ему корзиночку с абрикосами. Он опять улыбнулся и, поспешно отвязав от своих часов сердоликовую печатку, подал ей. Марья Дмитриевна взяла и поклонилась ему.

— Бог даст, Бог даст, — сказала она.

Он еще раз улыбнулся вчерашней улыбкой.

Несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как уж, как кошка, вскочил на лошадь.

— Прощай, спасибо, — сказал он, и с тем особенным гордым воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, выехал за ворота крепости со своей свитой.

С тех пор и до.....[921] июня Марья Дмитриевна не видала лица Хаджи-Мурата. Она часто вспоминала и говорила о нем и Иван Матвеевич смеялся ей и при других, что она влюблена в Хаджи-Мурата, и Марья Дмитриевна смеялась и краснела, когда это говорилось. Увидала она это лицо через месяц при следующих условиях.

В укреплении, где жила Марья Дмитриевна, совсем забыли про Хаджи-Мурата. Слышно было, что Шамиль не выпускает его семью, угрожает убить их, в особенности любимого сына Вали-Магому, и что Хаджи-Мурат выпросился у князя Воронцова в Нуху, где, как он говорил, ему удобнее вести переговоры с горцами.

Была уже ночь. Полный месяц светил на белые горы и на камни дороги и на бегущий ручей. Был паводок и ручей страшно шумел.

Иван Матвеевич встречал батальон куринцев, и у них шла попойка. Слышны были тулумбасы и крики «ура». Иван Матвеевич обещал не пить много и вернуться к двенадцати.

Но Марья Дмитриевна все-таки беспокоилась отсутствием мужа. Она кликнула Жучку, пошла по улице. Вдруг из за угла выехали верховые. Опять кто то с конвоем. «Как его нет, так сейчас и приезжают», подумала Марья Дмитриевна и посторонилась. Ночь была так светла, что читать можно было. Марья Дмитриевна вглядывалась в того, кто ехал впереди, очевидно, тот, кого конвоировали, но не могла узнать. Месяц ударял ехавшим в спину. Марья же Дмитриевна была освещена спереди.

— Марья Дмитриевна, вы? — сказал знакомый голос. — Не спите еще?

— Нет, как видите.

— Где Иван Матвеевич?

— Дома нет.

— Что же, всё боится, что пришлют ему опять Хаджи-Мурата?

— Как же не бояться. Ведь ответственность.

— Ну, я к вам с хорошими вестями.

Это был Каменев, знакомый товарищ Ивана Матвеевича, служивший при штабе.

— Что же, поход в Темир-Хан-Шуру?

— Нет, лучше.

— Ну, что же, переводят в Темир-Хан-Шуру?

— Ну, вот чего захотели.

Каменев ехал рядом с Марьей Дмитриевной, повернувшей назад к дому, и говорил.

— А где Иван Матвеевич?

— Да вот слышите, провожают куринцев.

— А, это хорошо. И я поспею. Только я на два часа. Надо к князю.

— Да что ж за новость?

— А вот угадайте.

— Да про что?

— Про нашего знакомого.

— Хорошее?

— Для нас хорошее, для него скверное, — и Каменев засмеялся. — Чихирев! — крикнул он казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку.

Чихирев достал из переметной сумы мешок с чем-то круглым.

— Погоди, —сказал Каменев.

Они подошли к дому. Каменев слез, пожал руку Марье Дмитриевне и, войдя с ней на крыльцо, взял из рук казака мешок

и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?

— Да что такое? арбуз? — сказала Марья Дмитриевна, и что то ей стало страшно.

— Нет-с, не арбуз. — Каменев отвернулся от Марьи Дмитриевны и что то копал в мешке. — Не арбуз, а ведь[922] у вас был Хаджи-Мурат?

— Ну, так что ж?

— Да вот он, — и Каменев двумя руками, прижав ее за уши, вынул человеческую голову и выставил ее на свет месяца. — Кончил свою карьеру. Вот она.

Да, это была его голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и проросшими черными волосами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом и с открытым ртом, над которым были те же подстриженные усы. Шея была замотана полотенцем.

Марья Дмитриевна посмотрела, узнала Хаджи-Мурата и, ничего не сказав, повернулась и ушла к себе. Когда Иван Матвеевич вернулся, он застал Марью Дмитриевну в спальне. Она сидела у окна и смотрела перед собой.

— Маша! Где ты, пойдем же, Каменева надо уложить. Слышала радость?

— Радость! Мерзкая ваша вся служба, все вы живорезы. Терпеть не могу. Не хочу, не хочу. Уеду к мамаше. Живорезы, разбойники.

— Да ведь ты знаешь, он бежать хотел. Убил человек пятнадцать.

— Не хочу жить с вами, уеду.

— Положим, что он глупо сделал, что показал тебе. Но все-таки печалиться то тут не об чем.

Но Марья Дмитриевна не слушала мужа и разбранила его, а потом расплакалась. Когда же она выплакалась, она вышла к Каменеву и к еще пришедшим офицерам и провела с ними вечер. Разговор весь вечер шел о Хаджи-Мурате и о том, как он умер.

— Ох, молодчина был, — заключил Иван Матвеевич, выслушав всё. — Он с женой моей как сошелся, подарил ей печатку.

— Он —добрый был. Вы говорите «разбойник». А я говорю — добрый. И наверное знаю, и мне очень, очень жаль его. И гадкая, гадкая, скверная ваша вся служба.

— Да что же велишь делать, по головке их гладить?

— Уж я не знаю, только мерзкая ваша служба, и я уеду.

И действительно, как ни неприятно это было Ивану Матвеевичу, но не прошло года, как вышел в отставку и уехал в Россию.

— Нет, вы всё расскажите по порядку, — сказал Иван Матвеевич[923] Каменеву, когда они уселись за чайный стол, и Каменев положил[924] в угол торбу с головой,[925] стараясь, чтобы голова как можно слабее стукнула о пол.

— Хотите с ромом? — спросила Марья Дмитриевна.

— Давайте.

— Ну так рассказывайте всё по порядку и всё, что знаете.

Подошла лягавая собака и стала нюхать.

— Лазарев, отгони Трезора. Удивительно: кем детей пугали и сила была по всем горам — вон в углу.

— Ну-с. Так как же было дело?

— А было дело так, что после того, как он был у вас и ничего из этого не вышло, очень он стал волноваться. Пристав говорил, что все ночи не спал, всё ходил, почти ничего не ел и всё молился. Только и оживлялся, когда выезжал верхом. Это ему позволяли. Конвой (один урядник, казаки и еще мирнòй) был приставлен к нему, и он каждый день, после обеда, выезжал, иногда сам друг, а иногда со всеми четырьмя своими молодцами. Вот, рассказывал мне сам Курганов, так и 17 апреля он поехал и все четыре нукера с ним. Ружей с ними не было, а только пистолеты, шашки. А наших только двое: казак да этот мирной. Как они ехали,[926] мы ничего не знаем, потому что оба эти убиты, и казак и мирнòй. Оружие с них снято, сами оставлены на дороге, лошади около паслись. Один, видно, долго жил, ползал, залил кровью всю дорогу. У него пульная рана в животе и голова разрублена. Нашли уж их поздно, почти темно.

Видно, они не пускали их. Мне сам Курганов рассказывал: отпустил, говорит, я его, и, как всегда, сердце не на месте. Вышел спрашивать, куда поехали? Мне говорят не за Алазань, как я приказывал, а к горам и все четверо с ним. Подумалось Карганову,[927] что не ладно, а потом думает: что же, езжали они в эту сторону, ворочались. Только ждать-пождать три, четыре, шесть часов — нету. Собрал Карганов[928] казаков, сел верхом, поехал искать. Отъехали версты две, наткнулись на лошадей, а на дороге оба убитые. Бросился Карганов в Нуху, дал тревогу, и собралось человек сто, пустились по горам. Кого ни встретят, спрашивают: «видели конных?» Никто не видел. А он не будь глуп.

— То есть кто, Хаджи-Мурат? — спросил Иван Матвеевич, указывая на торбу в углу.

— Он не будь глуп, да вместо того,[929] чтобы в горы, где могут и задержать и где догнать могут, вместо того, чтобы в горы, повернул влево назад. Хотел за Алазань пробраться, а там уж дорогой, где его никто искать не станет, вверх по Алазани опять переправиться и на Белоконь.[930] Двух живыми взяли, так они так показали.

— Вот в этом то их сила. Где удальство — удальство, где[931] выдержка — выдержка, а где хитрость — никакая сила не проведет.

— Ну, тут не удалось.[932] Своротили они с дороги к Алазани, чтобы переправиться. А уже смеркаться стало, да не попали на дорогу, а на рубеж, с рубежа хотели прямиком к реке, да поля, все рисовые поля, а их заливают. Лошади стали топнуть. Бились они тут долго — по следам видно — изрыто всё. Да так и не добрались до реки, а[933] выбрались в кусты на поле, там и хотели, видно, заночевать. Так бы их не нашли, потому в другой стороне искали. Только ночью уж Карганов хотел назад ехать, встречает татарина на арбе с хворостом, стал спрашивать, зачем так поздно едет, а татарин, оказывается, наткнулся на Хаджи-Мурата, когда они искали дорогу, и испугался, спрятался в канаву[934] и всё видел, как они месили[935] рисовое поле и как потом все въехали в кусты. Только тогда он поехал. Ночь была

темная, тихая, с туманом. Карганов тотчас же догадался, что это были они, посадил татарина верхом и бросился туда с своей командой и окружил кусты и всю ночь караулил, чтобы не выпустить их, а сам послал за милицией. Когда стало рассветать, в кустах показались стреноженные лошади[936] и конь Хаджи-Мурата.

— Белый? — сказала Марья Дмитриевна.

— Да, хорошая лошадь.

Курганов[937] велел стрелять в кусты и вызывал охотников броситься в кусты, чтобы взять Хаджи-Мурата с его молодцами. Но никто не решался, а между тем из кустов[938] растреножили лошадей и стали палить и ранили одного. Курганов остановил свою стрельбу и стал кричать, чтобы Хаджи-Мурат сдался, что сардарь простит его,[939] если он покорится. Горцы заругались, завизжали и стали палить. Тяжело ранили еще одного. Тогда Курганов отъехал и велел своим палить в кусты. С ним было человек сто пятьдесят и кусты засыпали пулями. Но Хаджи-Мурат с своими перебегали с места на место и стреляли, человек девять ранили и двух убили. Карганов говорил, что, если бы тогда Хаджи-Мурат с своими выскочили и бросился на[940] его команду, они бы разбежались и упустили бы его, но тут подоспел Гаджи-Ага из Елису с сыном своим Ахмет-Ханом. Эти не то, что нухинцы, тотчас же бросились в кусты. Гаджи-Ага был[941] когда то мюридом вместе с Хаджи-Муратом, но потом изменил хазавату и теперь был злейший враг Хаджи-Мурата. Он по аварски закричал ему, чтобы сдавался. Хаджи-Мурат[942] изругал его,[943] называя изменником святого дела.

— Бери, коли возьмешь, собака беглая!

Гаджи-Ага вместе с прежними засыпал пулями кусты и, слезши с лошади, с сыном[944] и своими молодцами бросился в кусты. Его молодцы, охраняя его, опередили его. Хаджи-Мурат и его нукеры подпустили их и в упор застрелили пятерых. Хаджи-Мурат и Саффедин, его ближайший друг (тоже убит рыжий), оба были ранены. Но Хаджи-Мурат не давал крови вытекать из ран, а выдергивал вату из бешмета и затыкал раны. Он не успел зарядить пистолета, как Гаджи-Ага наскочил на него и разрубил

голову. На голове видно. Другой выстрелил ему в грудь.[945] Он вскочил на ноги и прислонился к кусту. Карганов подбежал и хотел взять живого.

Вот это то место рассказа Каменева вспомнилось мне, когда я увидал израненный репей у дороги.

Все остановились, и Хаджи-Мурат стоял неподвижно. Но он стоял недолго, Закричал «лаилал»[946] и упал ничком на землю. Тогда Гаджи-Ага наступил ему ногой на бритую рассеченную голову и кинжалом отодрал ее от туловища.

— Ну-ка, дайте еще взглянуть на него, — сказала Марья Дмитриевна.

Каменев вынул, и мы долго смотрели на эти глаза, желтую кожу и рот.

[Редакция восьмая — 1901 г.]

№ 43 (рук. № 30).

[947] ХАДЖИ-МУРАТ

Воспоминания старого военного

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года: душистые кашки — красные, белые, розовые; наглые «любишь-не-любишь» с[948] своей пряной вонью,[949] желтые[950] цветы с медовым запахом, лиловые тюльпановидные колокольчики; горошки; разноцветные скабиозы; нежный с чуть розовым пухом подорожник и, главное, прелестные васильки, ярко синие на солнце и в молодости, и голубые и краснеющие вечером и под старость.[951] Я набрал большой букет таких цветов и уже на обратном пути заметил в канаве чудный, малиновый в полном цвету репей, того сорта,

который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают или выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка мохнатого шмеля, стал руками отрывать цветок, так как ножа у меня не было. Мало того, что он[952] колол[953] даже через платок, которым я завернул руку, стебель был так[954] крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я наконец оторвал[955] цветок, он был так измят, что уже не годился в букет и, кроме того,[956] своей грубостью и аляповатостью[957] резко отличался от нежных, тонких цветков букета. Я пожалел, что погубил[958] цветок, который был очень красив в своем месте, и бросил[959] его.[960] «Но что за энергия и сила жизни», думал я, вспоминая, с какими усилиями я отрывал его.

Дорога до дома шла паровым, только что вспаханным полем. Я шел в отлогую гору по пыльной, черноземной дороге. Поле, по которому я шел, было помещичье, очень большое,[961] так что с обеих сторон дороги и вперед, в гору, ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного пара. Пахота была хорошая, и нигде не виднелось ни одной травки,[962] всё было черно и глаз невольно искал отдыха от однообразия черного поля. «Экое разрушительное, жестокое существо человек», думал я. «Сколько уничтожил[963] живых существ, разнообразных растений, чтобы приготовить себе корм. Правда, он посеет новые, но... Однако, не всё еще он уничтожил», подумал я, увидав среди этого моря черной земли, вправо от дороги впереди меня, какой-то кустик. «Да, этот еще жив», подумал я, подойдя ближе.[964] Это был куст такого же «татарина», которого цветок я напрасно и с таким трудом сорвал в канаве.

Куст татарника[965] состоял из трех[966] стеблей. Один был совсем оторван.[967] На другом были еще колючие листки и[968] цветки. И цветки и листья были[969] вымазаны черноземной грязью, превратившейся в черную пыль. Видно, этот стебель был уже прижат к земле и после поднялся.[970] На третьем же[971]

стебле два отростка были сломаны и висели[972] с своими не малиновыми, а черными шишками, когда то цветками; а один отросток пониже[973] был цел и на нем торчал, кверху колючками,[974] хотя и загрязненный, но всё еще краснеющий цветок.

«Ну, молодец!» подумал я. — «Экая энергия. Всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот борется и всё еще жив. Правда, еле жив, но жив». Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз, свернули скулу. Но он всё стоит и не сдается,[975] и борется до той последней минуты, до тех пор, пока есть жизнь в нем. «Молодец!» подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. «Так и надо, так и надо». И[976] я вспомнил по этому случаю смерть одного человека на Кавказе[977] и всю историю этого человека, как она мне была известна и как я воображал себе ее.

Вот эта история.

I

[978]Я служил в одном из кавказских полков, стоявших на левом фланге в Чечне.

Я заболел лихорадкой, и полковой командир, принимавший во мне участие, прикомандировал меня к линейному батальону, стоявшему в предгории, в здоровой местности, и рекомендовал меня воинскому начальнику укрепления, добрейшему женатому[979] майору Ивану Матвеевичу Петрову. Детей у[980] Ивана Матвеевича не было и[981] он жил душа в душу с своей здоровой, полной, миловидной, всегда веселой, добродушной, хотя и вспыльчивой, Марьей Дмитриевной.[982] Любить Марью Дмитриевну было легко, мне, по крайней мере, тогда казалось. Но для Марьи Дмитриевны, казалось бы, и трудно любить всегда прокуренного табаком, всегда после двенадцати часов пахнущего вином, рябого, курносого крикуна Ивана Матвеевича.

Но Марья Дмитриевна, — хотя и любила понравиться молодым, особенно приезжим офицерам, но только понравиться, именно только затем, чтобы показать им, что хороша, но не для них, — Марья Дмитриевна любила всеми силами простой души и здорового тела одного Ивана Матвеевича, считая его самым великодушным, храбрым, глубокомысленным военным, хотя и самым глупым хозяином дома.[983] Оба супруга были очень добры ко мне, и я невольно вспоминал...[984] из «Капитанской дочки», только с той разницей, что Марья Дмитриевна была за одно и..... и.....[985] не по отношениям моим к ней, а по чувствам, которые я к ней испытывал: я был благодарен ей за ее материнское попечение обо мне[986] и вместе с тем не мог не любоваться временами ее зрелой женской[987] бессознательной прелестью и не испытывать к ней какого-то особенного поэтического чувства.

Я начинал уже поправляться, пароксизмы повторялись уже через два и три дня, и я собирался ехать к полку, когда случилось в нашем укреплении необыкновенное событие.

Это было в июне. Часу в девятом я[988] вышел на улицу и направился к домику Ивана Матвеевича. Солнце выходило из за гор, и[989] было больно смотреть на белые мазанки на противуположной стороне улицы.[990] Становилось уже жарко. Только что я стал подходить к домику с садиком, как с противуположной стороны выехали из-за угла и стуча по камням дороги подковами человек десять всадников.

Двое ехали впереди. По их осанке, оружию и одежде видно было, что это были начальники, остальные их конвой.[991] Они проехали дом Ивана Матвеевича и встретились со мной, шагов десять проехав его.

— Где тут воинский начальник? — спросил меня один из них по русски с армянским акцентом.

Я сказал им, что туда иду, и указал им. Они повернули лошадей и вместе со мной подъехали к крылечку. Дорогой я смотрел на них и никак не мог догадаться, что это были за люди.

Один[992] из этих людей, тот, который спросил меня, был, очевидно, офицер из горцев. Он был одет[993] в черную черкеску,[994] с галунами на хозырях и белом бешмете; оружие

было[995] с серебряной отделкой. Лошадь под ним была крупная, золотистая, карабахская. Сам он был сухой, горбоносый, черный, тип очень обыкновенный на Кавказе, особенно в Закавказьи.

Другой, ехавший на белой, небольшой и не сытой, но превосходной по ладам лошади был невысокий широкоплечий, сухой человек[996] с папахой, обмотанной чалмой.

Он был одет в белую черкеску, тонко стянутую ремнем без набора,[997] на котором[998] спереди висел большой, золотом отделанный, кинжал. Такой же пистолет был за спиной.[999] Он сидел высоко на седле, с очень[1000] согнутыми ногами на коротких стременах, в ноговицах и красных чувяках. Лицо[1001] этого человека было[1002] самое простое: небольшой нос, маленькая черноватая бородка,[1003] довольно толстые, строго сложенные губы, под небольшими усами. Если было что особенного в лице, так это были почти сходящиеся на лбу брови и[1004] очень широко расставленные спокойные, красивые глаза. Он был человек во всей силе, и ему можно было дать от тридцати пяти до пятидесяти лет. Он поглядел на[1005] меня, потом подозвал ехавшего за ним корноухого, рыжего, с красным лицом,[1006] в оборванной черкеске и заломленной назад, курпеем к голове надетой, папахе, чеченца и заговорил с ним не на татарском языке, который я понимал немного, а на знакомом мне по странным гортанным звукам чеченском языке. Только что я подумал, что не[1007] тот ли это знаменитый шамилевский наиб Хаджи-Мурат, который, как мы знали, вышел к русским и был в Тифлисе, как горский офицер подтвердил мне мою догадку:

— Скажи воинскому начальнику, что Хаджи-Мурат приехал и мне надо видеть его.

Хотя это было и не мое дело, я побежал в дом с заднего крыльца и застал Марью Дмитриевну в кухне, где она, засучив рукава,[1008] размещала по формам какие-то, такие же белые, как и ее руки, комки теста.

— Где Иван Матвеевич?

— Да что случилось? Зачем вам?

— Хаджи-Мурат приехал, спрашивает Ивана Матвеевича.

— Да что, вы с ума сошли?

— Стоят у крыльца.

— Иван Матвеевич в канцелярии. Подите, что ль, кликните. Да не может быть? Да зачем же он сюда? — всё спрашивала Марья Дмитриевна, спуская однако рукава своего платья.

— Да кто ж его знает.

— Ну так идите, зовите Ивана Матвеевича, — сказала Марья Дмитриевна,[1009] ощупывая рукой шпильки в своей густой косе и самую косу, и вместе со мною вышла на крыльцо своей молодецкой походкой.

Всадники всё еще стояли, как я их оставил. Офицер поздоровался с Марьей Дмитриевной.

— Этот — Хаджи-Мурат?[1010] — спросила[1011] она.

— Он самый, — повторил офицер.

Хаджи-Мурат же, вероятно, поняв[1012], что говорили о нем, улыбающимися глазами посмотрел на миловидную русскую женщину и покачал головой.[1013]

//

Канцелярия была недалеко, и я застал Ивана Матвеевича, сердито распекающего писаря. Когда я рассказал ему, в чем дело, он поморщился и крякнул. Ему страшна была ответственность, но послал принести себе шашку, по дороге надел ее и, не переставая курить и ворчать на начальство, подошел к своему дому. У крыльца стояли спешившиеся только конвойные — восемь казаков и четыре горца, и держали в поводу лошадей: горского офицера и Хаджи-Мурата. Очевидно, Марья Дмитриевна без него взяла их в дом. И это не понравилось ему, и он тут же распорядился очистить для приезжих квартиру Лебедева, отставного солдата, и вошел в дом.

Я пошел к себе.

С тех пор я не видал Хаджи-Мурата[1014] не смотря на то, что в укреплении только и речи было, что о нем и между офицерами и даже между солдатами.[1015] Кроме того, что я боялся быть лишним, придя в это время к Ивану Матвеевичу, меня еще за эти дни опять оттрепала сильнейшая лихорадка, и только на третий день, накануне отъезда Хаджи-Мурата из нашей крепости, мне удалось не только увидать его, но по приглашению Ивана Матвеевича провести с ним вечер и слышать его рассказ через переводчика о своей жизни. Оказалось, что Марья Дмитриевна в виду опасности, которую представляло для Ивана Матвеевича бегство Хаджи-Мурата, и невозможности следить за ним, если бы он жил на другой квартире, решила поместить его у себя. Отдала им две передние комнаты и[1016] несмотря на то, что ссорилась с его нукерами, особенно с рыжим, которого она вышвырнула из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она с Хаджи-Муратом вошла в самые дружеские сношения, так что он подарил[1017] Ивану Матвеевичу свой золотом отделанный кинжал, который он имел неосторожность похвалить, и еще тонкую белую бурку с серебряными застежками, которую похвалила Марья Дмитриевна. Хотя Марья Дмитриевна и уговаривала его отдарить Хаджи-Мурата золотыми неидущими часами, она все-таки была очень тронута его щедростью, и приятные спокойные отношения установились между ними.

В этот вечер после чая Хаджи-Мурат уселся с ногами, из которых одна у него была короче другой, так что он всегда хромал, на тахту,[1018] достал из под другого серебряного кинжала, которым он заменил подаренный Ивану Матвеевичу,[1019] булатный ножичек и, приказав нукеру подать себе лучинку, понемногу строгал ее своими загорелыми, сухими, жилистыми руками и рассказывал. Переводчик, сидя на полу на кошме,[1020] внимательно глядел в рот Хаджи-Мурата, пока он говорил, и потом переводил дурным русским языком. Зная по татарски, я иногда поправлял и дополнял его. Иван Матвеевич, еще два офицера и я сидели за чайным столом и тут же сидела Марья Дмитриевна, вязавшая чулок, когда не[1021] наливала чай.

Из за двери видны были денщик и фельдфебель, слушавшие рассказ.

Вся эта история, несмотря на то, что он рассказывал ее очень скромно, была очень удивительна. Сущность ее была в том, что он, аварец бедной семьи, сблизился с аварскими ханами и, когда имам Гамзат, проповедывавший священную войну против неверных, предательски убил его друзей, молодых ханов, он один с братом отомстил им,[1022] бросившись на Гамзата в мечети и убил его, а потом поднял всю Аварию и под покровительством русских стал управлять ею. Но, как он говорил, на него наклеветали, что он хочет перейти к Шамилю[1023]. По всему же видно было, что эта была правда. Он очевидно хотел вести дело и с теми и с другими. Но его схватили[1024]. Сначала привязали к пушке и караулили. Он не мог бежать, но когда его связанного вели по горной тропинке, он рванулся и с солдатом, который его вел, слетел в кручь. Солдат убился, а он сломал ребра и ногу. Ребра залечили, а нога осталась короткая. Потом, когда он выздоровел, его враг Ахмет-Хан, сторонник русских, убил его братьев. И он ушел к Шамилю и стал его правой рукой. То, что он делал у Шамиля, мы все знали. Он делал чудеса[1025] смелости и удали.[1026] Не мог отмстить врагу Ахмет-Хану (он умер), схватил в садике его жену.

— Что же он с нею сделал? — спросила Марья Дмитриевна.

— Подержал, пустил, — улыбаясь ответил он. — Жалко стало.[1027] Сраму не делал.

Теперь он поссорился с Шамилем и хотел бы погубить его, да у него, у Шамиля, в руках его семья.[1028]

№ 44 (рук. № 31).

I

[1029]Во время моей службы на Кавказе почти пятьдесят лет тому назад мне случилось прожить несколько недель в небольшом укреплении левого фланга в Чечне.

Воинским начальником этого укрепления был тогда некто майор Иван Матвеевич Петров, старый кавказец и женатый человек, что было очень редко среди кавказцев.

Я был нижним чином и лечился от изнурившей меня лихорадки. И майор Петров и его жена были очень добры ко мне, и я часто запросто бывал у них. И я невольно вспоминал.....[1030] из «Капитанской дочки», только с той разницей, что Марья Дмитриевна за одно.....[1031] по чувствам, которые я к ней испытывал[1032]. Я был и благодарен ей за ее материнское попечение обо мне, и вместе с тем не мог не[1033] испытывать к ней[1034] того особенного поэтического чувства самой чистой влюбленности, которая так естественна очень молодым людям и которая особенно усиливалась на Кавказе, где женское общество так редко.

Я начинал уже поправляться, пароксизмы повторялись уже через два и три дня и я с грустью собирался ехать к полку, когда случилось в нашем укреплении необыкновенное событие.

Это было в июне. Часу в девятом я вышел на улицу и направился к дому Ивана Матвеевича. Солнце[1035] выходило из за гор, и больно было смотреть на белые мазанки на противуположной стороне улицы,[1036] но зато, как всегда, весело и торжественно смотреть на матовую теперь цепь белых[1037] громад, как всегда из скромности старавшихся быть похожими на облака.

Я, как всегда, радостно поздоровался с ним и по тенистой стороне улички подошел к углу, за которым был домик воинского начальника. Только что я повернул за угол, как[1038] навстречу мне показалась партия всадников. Двое ехали впереди[1039] и имели вид начальников, позади их, часто[1040] стуча копытами по[1041] дороге, ехали вооруженные. Первое чувство мое было страх: тогда немирные партии врывались в русские укрепления и грабили и убивали, и опасность была везде. Но эти всадники

ехали слишком смирно и притом в[1042] конвое были донские казаки.[1043] Это были мирные, но кто такие, я не мог догадаться.[1044] Один из[1045] ехавших впереди был очевидно офицер из горцев.

Он был в черной черкеске с галунами на хозырях и белом бешмете, оружие было с серебряными хозырями, лошадь под ним была крупная, золотистая, карабахская. Сам он был сухой, горбоносый, черный, тип очень обыкновенный на Кавказе, особенно в Закавказьи.

Другой, ехавший на белой, небольшой и не сытой, но превосходной по ладам и с арабской головой лошади, был[1046] широкоплечий, сухой человек в папахе.[1047] Он был одет в белую черкеску,[1048] стянутую ремнем без набора, на котором спереди висел большой, золотом отделанный кинжал, такой же пистолет был за спиной, папаха его была обмотана какой-то белой тканью. Он сидел высоко на седле, с очень согнутыми ногами на коротких стременах, в ноговицах и красных чувяках. Лицо этого человека было самое простое: небольшой нос, маленькая черноватая бородка, довольно толстые, строго сложенные губы под небольшими усами. Если было что особенного в лице, так это были почти сходящиеся на лбу брови и очень широко расставленные[1049] красивые, выпуклые и блестящие глаза. Он был человек во всей силе, и ему можно было дать от тридцати пяти до пятидесяти лет. Конные встретились со мною, когда я не дошел, а они немного проехали дом воинского начальника.

— Где дом воинский начальник? — спросил меня офицер из горцев по русски с горским акцентом.

Я указал ему.

— Поды, скажи Хаджи-Мурат[1050] прислали, — сказал он мне.

Я взглянул[1051] на Хаджи-Мурата и не верил своим глазам. Хаджи-Мурат тоже взглянул на[1052] меня, потом подозвал ехавшего за ним корноухого, рыжего с красным лицом чеченца в оборванной черкеске и заломленной назад, курпеем к голове, папахе. Чеченец заговорил с ним не на татарском языке, который я понимал немного, а[1053] по чеченски, с теми странно

гортанными звуками, которыми отличают этот язык от всякого другого.

Хотя это было и не мое дело, я пошел в дом с заднего крыльца и застал Марью Дмитриевну в кухне, где она, засучив рукава, размещала по формам такие же белые, как и ее руки, комки теста.

— Где Иван Матвеевич?

— Да что случилось, зачем вам?

— Хаджи-Мурат приехал, спрашивает Ивана Матвеевича.

— Да что вы, с ума сошли?

— Стоит у крыльца.

— Иван Матвеевич в канцелярии. Подите, что ли, кликните. Да не может быть? Да зачем же он сюда? — всё спрашивала Марья Дмитриевна, спуская однако рукава своего платья.

— Да кто ж его знает.

— Ну, так идите, зовите Ивана Матвеевича, — сказала Марья Дмитриевна, ощупывая рукой шпильки в своей густой косе и самую косу, и вместе со мною вышла на крыльцо своей молодецкой походкой.

Всадники всё еще стояли, как я их оставил. Офицер поздоровался с Марьей Дмитриевной.

— Этот — Хаджи-Мурат? — спросила она.

— Он самый, — повторил офицер.

Хаджи-Мурат же, вероятно поняв, что говорили о нем, улыбающимися глазами посмотрел[1054] на миловидную русскую женщину и как то странно покачал головой.

//

Канцелярия была недалеко, и я застал Ивана Матвеевича, сердито распекающего писаря. Когда я рассказал ему, в чем дело, он поморщился и крякнул. Ему очевидно страшна была ответственность, которая налагалась на него от присутствия Хаджи-Мурата, но думать было нечего, он послал вестового принести себе шашку, по дороге надел ее и, не переставая

курить и ворчать на начальство, подошел к своему дому. У крыльца стояли, спешившись, только конвойные — восемь казаков и четыре горца, и держали в поводу лошадей: горского офицера и белого кабардинца Хаджи-Мурата. Очевидно Марья Дмитриевна[1055] взяла их в дом. Это не понравилось Ивану Матвеевичу, и он тут же распорядился очистить для приезжих квартиру у отставного каптенармуса Лебедева и вошел в дом.

Я же пошел к себе.

С тех пор я не видал Хаджи-Мурата, несмотря на то, что в укреплении только и речи было что о нем, и между офицерами и даже солдатами. К нему, как рассказывали, выходили лазутчики из гор, и он с ними о чем то переговаривался. Кроме того, что я боялся быть лишним, придя в это время к Ивану Матвеевичу, меня еще[1056] за эти дни опять оттрепала сильнейшая лихорадка, и только на третий день, накануне отъезда Хаджи-Мурата из нашей крепости, мне удалось не только увидать его, но по приглашению Ивана Матвеевича провести с ним вечер и слышать его рассказ через переводчика о своей жизни. Оказалось, что Марья Дмитриевна в виду опасности, которую представляло для Ивана Матвеевича бегство Хаджи-Мурата, и невозможности следить за ним, если бы он жил на другой квартире, решила поместить его у себя. Она отдала ему две передние комнаты и, несмотря на то, что ссорилась с его нукерами, особенно с рыжим, которого она было выгнала из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она с Хаджи-Муратом вошла в самые дружеские сношения, так что он подарил Ивану Матвеевичу свой золотом отделанный кинжал, как только Иван Матвеевич имел неосторожность похвалить, и еще тонкую, белую бурку с серебряными застежками, которую похвалила Марья Дмитриевна. Хотя Марья Дмитриевна и уговорила мужа отдарить Хаджи-Мурата золотыми неидущими часами,[1057] она все таки была тронута его щедростью[1058] и хвалила его.

Когда я в этот вечер пришел к Ивану Матвеевичу, Хаджи-Мурат молился Богу. Он очень строго исполнял пятикратную молитву с омовениями, и для этого ему было отведено место на заднем крылечке. Марья Дмитриевна пригласила меня

посмотреть на него в окно. Он[1059] сидел на бурке[1060] на корточках, и, очевидно ничего не видя и не слыша, шептал что-то, обращаясь на восток, потом встал на бурку босыми только что вымытыми ногами, из которых одна была короче другой, еще что-то проговорил и сел обуваться.

Мы ушли и[1061] сели в гостиной, ожидая его.

[1062]После чая Хаджи-Мурат в своей папахе и чалме уселся с ногами[1063] на тахту, достал из под[1064] серебряного кинжала, которым он заменил подаренный[1065] Ивану Матвеевичу, булатный ножичек, и приказав нукеру подать себе лучинку, понемногу строгал ее своими загорелыми, сухими жилистыми руками, собирая, чтобы не сорить, обрезки в полу черкески, и рассказывал. Переводчик, сидя на полу на кошме, внимательно глядел в рот Хаджи-Мурата, пока он говорил, и потом переводил дурным русским языком. Зная по татарски, я иногда поправлял и дополнял его перевод. Иван Матвеевич, еще два офицера и я сидели за чайным столом, и тут же сидела Марья Дмитриевна, вязавшая чулок, когда не наливала чай. Из за двери видны были денщик и Спиридов, фельдфебель, слушавший рассказ.

Вся эта история, несмотря на то что Хаджи-Мурат рассказывал ее очень скромно, была очень удивительна и совершенно соответствовала тому, составившемуся среди русских мнению о необыкновенной удали и влиянии этого человека.

Сущность его истории была в том, что он, аварец бедной семьи, сблизился с аварскими ханами и, когда[1066] наследник Кази-Муллы, начавшего священную войну против неверных, Гамзат,[1067] предательски убил[1068] не хотевших покориться ему и державшихся русской стороны молодых аварских ханов, он один с братом Османом бросился на Гамзата в мечети и убил его, а потом поднял всю Аварию и под покровительством русских, получив даже чин русского прапорщика, стал управлять ею. Но, как он говорил, враг его Ахмет-Хан,[1069] наклеветал на него русским, будто он хочет перейти к Шамилю,[1070] и его схватили и повели судить. Сначала, как он рассказывал, его привязали к пушке и караулили, так что он не мог бежать, но когда его[1071]

повели в крепость, где должны были судить, он вырвался и ушел.

Вырвался он в то время, как его вели по горной тропинке.[1072] Решив, что всё равно пропадать, он выбрал время и место, когда тропинка была так узка, что только один солдат держал его за веревку, которою были связаны руки, остальные же растянулись по одному.[1073] Он рванулся и вместе с солдатом, ведшим его, бросился под кручь. Солдат убился на смерть, а он сломал ребра и ногу, но его нашли, ребра залечили, а нога осталась короткая. Потом, когда он выздоровел и узнал, что его враг Ахмет-Хан убил покалечив всех его братьев, он[1074] решил уйти к Шамилю и[1075] с тех пор воюет с русскими. То, что он делал у Шамиля, мы все знали. Он делал чудеса смелости и удали.[1076] Среди дня врывался в города и укрепления и уводил пленных и лошадей, и стада рогатого скота; чтобы отомстить врагу своему Ахмет-Хану,[1077] ворвался в его ханство и увез его жену.[1078] Про это он уже не рассказывал, это мы все знали. Он рассказал только подробно про то, что[1079] он поссорился с Шамилем, и[1080]

ни за что не простит ему то, что он хотел осрамить его, и покажет русским, как взять Шамиля и кончить войну.

Мое впечатление, да и Ивана Матвеевича и почти всех было то, что всё, что он рассказывал про себя, было правда, то же, что он рассказывал про свои отношения к Шамилю и русским, как прежние, так и теперешние, было неправда — не то, чтобы это была прямая ложь, но он, как мне казалось, всегда играл двойную игру и старался быть с тем, с кем ему выгоднее, хотя он и ненавидел и презирал русских собак.

— Спросите его, сказала Марья Дмитриевна, — что ж ему не жалко жены? Если с нею Шамиль сделает что нибудь дурное?

Он помолчал,

— Что жена?[1081] Что аллах хочет, то и будет. Вот сын, Шамиль говорит, что вырвет ему глаза, если я не вернусь. Вот сын, — он опустил голову как будто молился, и[1082] лицо его вдруг всё изменилось, стало жалкое и кроткое.

— Как любит сына-то, однако, — сказала Марья Дмитриевна.

[IIII][1083]

Может быть, он еще бы рассказал что нибудь, но в это время вошел денщик и доложил Ивану Матвеевичу, что приехал Арслан-Хан из Хасав-Юрта. Арслан-Хан был мирнòй князь, русский офицер,[1084] живший в ладу с русскими, ненавидевший горцев и ненавидимый ими. Мы слыхали, что у него были счеты с Хаджи-Муратом, и оказалось, что и теперь он приехал с доносом о том, что Хаджи-Мурат ведет переговоры с Шамилем не о своем семействе, а о том, чтобы высмотреть русские крепости и подвести к ним Шамиля.

Когда Арслан-Хан, маленький черный человечек, вошел с своими двумя[1085] спутниками, Хаджи-Мурат вдруг весь преобразился,[1086] грудь поднялась, и[1087] рука схватилась за рукоятку кинжала, и загоревшиеся глаза уставились на Арслан-Хана.

Когда же Арслан-Хан передал Ивану Матвеевичу по русски то, что он слышал, и переводчик передал это ему, он, как кошка, вскочил на тахте и[1088] бросился на Арслан-Хана, не вынимая оружия, но подставляя ему грудь. Он что то[1089] проговорил, повторяя одно и то же слово. Арслан-Хан взялся за пистолет, но Хаджи-Мурат не пошевелился и, так же подставляя ему грудь, повторял это слово.

Иван Матвеевич, офицеры и я насилу разняли их и увели Арслан-Хана. Хаджи-Мурат же, хромая и ворча что-то, ушел к себе.

Так кончился этот вечер.

На другой день к великой радости Ивана Матвеевича Хаджи-Мурат уезжал.

№ 45 (рук. № 33).

I

[1090]Почти пятьдесят лет тому назад мне случилось прожить несколько недель в небольшом укреплении левого фланга в Чечне.

Воинским начальником этого укрепления был[1091] майор Иван Матвеевич Петров, старый кавказец, женатый человек, что было очень редко среди кавказцев. Я был нижним чином и лечился от изнурившей меня лихорадки. И майор Петров и его жена были очень добры ко мне,[1092] и я невольно вспоминал коменданта из «Капитанской дочки», только с той разницей, что жена Ивана Матвеевича, Марья Дмитриевна, была для меня[1093] .....[1094] по чувствам, которые я к ней испытывал, заодно и.....[1095] Я был и благодарен ей за ее материнское попечение обо мне, и вместе с тем[1096] испытывал к ней[1097] бессознательное поэтическое чувство[1098] влюбленности, которая так естественна очень молодым людям, и[1099] особенно[1100] на Кавказе, где природа так хороша и женское общество так редко.

[1101]Вскоре после моего приезда случилось в нашем укреплении[1102] важное событие.

Это было в июне. Часу в девятом после сильного пароксизма лихорадки, трепавшей меня всю ночь, я вышел на улицу и направился за хинином к фельдшеру, жившему рядом с домом Ивана Матвеевича. Солнце[1103] уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные белые мазанки[1104] правой стороны улицы, но зато как всегда весело и успокоительно торжественно было смотреть на матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Я[1105] смотрел на них, дышал во все легкие и радовался тому, что я живу, и живу именно я и на этом прекрасном свете.

Я подходил уже по тенистой стороне улички[1106] к[1107] домику с палисадничком, в котором жила милая Марья Дмитриевна, когда услыхал перед собой[1108] мягкий топот лошадиных копыт по пыльной дороге и в конце улицы показалась партия всадников[1109] в горской одежде человек в пятнадцать.

В то время немирные партии горцев врывались в русские укрепления, грабили и убивали и опасность была везде.[1110] И потому первое чувство, испытанное мною при виде этих людей, был страх и готовность борьбы. Но всадники ехали тихо и, очевидно, составляли конвой каких то двух людей, ехавших впереди. Один из[1111] этих двух людей был очевидно офицер из горцев,[1112] лошадь под ним была крупная, золотистая, карабахская. Сам он был сухой, черный, горбоносый человек средних лет, одетый в синюю черкеску с изобилием серебра на одежде и на оружии. Это был тип, очень обыкновенный на Кавказе и скорее неприятный: ни русский, ни горец, а что-то среднее. Но зато другой, ехавший с ним рядом на белой, небольшой и не сытой, но превосходной по ладам, с арабской головой лошади, прòезд которой он, очевидно, сдерживал, был[1113] очень определенный, красивый и цельный тип настоящего горца. Он был одет в белую черкеску[1114] без всяких украшений, только спереди на ремне был большой золотом отделанный кинжал и так же отделанный пистолет за спиной[1115] и шашка. Папаха его была обмотана какой то белой тканью. Он сидел очень прямо и неподвижно высоко на седле, с очень согнутыми ногами на коротких стременах,[1116] и смотрел только перед собой. Маленькая черноватая бородка и усы, не закрывавшие[1117] строго сложенные губы,[1118] небольшой сухой нос, почти сходящиеся на лбу брови и[1119] выпуклые,[1120] спокойные черные глаза. Он был[1121] сух и широкоплеч, и ему можно было дать от тридцати пяти до пятидесяти лет.

Конные встретились[1122] со мною, когда я не дошел немного[1123] дом воинского начальника.

— А где воинский начальник дом? — спросил меня офицер из горцев по русски с армянским акцентом.

Я указал ему.

Они остановились.

— Поды, скажи — Хаджи-Мурат приехал, — сказал[1124] мне горский офицер.

[1125]«Так вот он какой, знаменитый Хаджи-Мурат», подумал я и взглянул на человека в чалме на белой лошади. Хаджи-Мурат,[1126] не поворачивая головы, покосился на меня своими прекрасными глазами, потом[1127] обратился назад к ехавшему за ним[1128] рыжему с красным лицом чеченцу в оборванной черкеске и заломленной назад курпеем к голове папахе.

Чеченец подъехал[1129] и заговорил с ним не на татарском языке, который я понимал немного, а по чеченски, с теми странно гортанными свойственными этому языку звуками.[1130]

Хотя это было и не мое дело, я пошел в дом воинского начальника с заднего крыльца[1131] через кухню.

— А! —[1132] Марья Дмитриевна назвала меня. — Что вам? — спросила она, разрезая на кусочки такое же белое, как и ее[1133] руки с засученными выше локтя рукавами, белое тесто.[1134]

— Хаджи-Мурат приехал, спрашивает Ивана Матвеевича.

— Да что вы, с ума сошли?

— Стоит у крыльца.

— Иван Матвеевич в канцелярии. Подите, что ли, кликните. Да не может быть? Да зачем же он сюда? — всё спрашивала Марья Дмитриевна.[1135]

— Да кто ж его знает.

— Ну, так идите, зовите Ивана Матвеевича. — сказала Марья Дмитриевна, спустив рукава и ощупывая шпильки в своей густой косе и самую косу; и вместе со мною она вышла на крыльцо своей молодецкой походкой[1136] и подошла к офицеру и заговорила с ним, всё взглядывая на Хаджи-Мурата.

//

Канцелярия воинского начальника была недалеко, и я застал Ивана Матвеевича, как всегда, курящего и сердито распекающего писаря. Когда я рассказал ему,[1137] что прибыл Хаджи-Мурат, он не удивился или сделал вид, что не удивился, а только поморщился и крякнул.[1138] Выругав еще раз писаря, он надел шашку и, не переставая курить и ворчать на начальство, пошел к своему дому.

Я пошел вместе с ним, желая еще посмотреть на Хаджи-Мурата, но Хаджи-Мурата на улице уже не было. У крыльца стояли только, спешившись, конвойные — восемь казаков и четыре горца, и держали в поводу лошадей: горского офицера и белого кабардинца Хаджи-Мурата. Очевидно, Марья Дмитриевна взяла их в дом. Это не понравилось Ивану Матвеевичу, и он тут же распорядился очистить для приезжих квартиру у отставного каптенармуса Лебедева и вошел в дом.

[1139]С тех пор я во всё время пребывания в нашей местности Хаджи-Мурата не видал[1140] его. Кроме того, что я боялся быть лишним, придя в это время к Ивану Михайловичу, меня еще за эти дни опять оттрепала сильнейшая лихорадка.

К[1141] Хаджи-Мурату, как рассказывали, выходили лазутчики из гор, и он с ними о чем то переговаривался, но, как кажется, неуспешно, и он решил опять ехать в Тифлис к Воронцову.

Накануне отъезда[1142] Хаджи-Мурата из нашей крепости, мне удалось, однако, не только увидать его, но по приглашению Ивана Матвеевича провести с ним вечер и слышать его рассказ[1143] о своей жизни. Оказалось, что Марья Дмитриевна, в виду опасности, которую представляла для Ивана Матвеевича возможность бегства Хаджи-Мурата,[1144] решила поместить его у себя.[1145]

№ 46 (рук. № 34).

ХАДЖИ-МУРАТ

Воспоминания старого военного

I[1146]

Почти 50 лет тому назад, когда я служил нижним чином на Кавказе, мне случилось прожить несколько недель в небольшом укреплении левого фланга в Чечне.

Воинским начальником этого укрепления был майор Иван Матвеевич Петров, старый кавказец. Я после экспедиции был отпущен на поправку от изнурившей меня лихорадки в ближайшее к нашему полку укрепление. И майор Петров,[1147] заведующий укреплением, и его жена были очень добры ко мне. И я невольно вспоминал коменданта из «Капитанской дочки», только с той разницей, что жена Ивана Матвеевича, Марья Дмитриевна, была для меня, по чувствам, которые я к ней испытывал, заодно и капитаншей матерью и Машей. Я был и благодарен ей за ее материнское попечение обо мне и вместе с тем был влюблен в нее, хотя ни она, ни я не знали про это. Я был так молод, природа Кавказа так хороша и сама Марья Дмитриевна, свежая, здоровая 35-летняя женщина, так добродушно ласково улыбалась мне своими красными губами, открывая сплошные блестящие белые зубы, что это не могло быть иначе.

Вскоре после моего приезда в нашем укреплении случилось следующее:

Это было в Июне, часу в девятом. После сильного пароксизма лихорадки, трепавшей меня всю ночь, я вышел на улицу и направился за хинином к фельдшеру, жившему рядом с домом Ивана Матвеевича. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, кое-где покрытые лесом горы и на матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками. Я смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что я живу и живу

именно я, и на этом прекрасном свете. Радовался я немножко и тому, что[1148] есть на свете милая, добрая Марья Дмитриевна с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и ласковой улыбкой. Я подходил уже к домику с палисадником, в котором, она жила,[1149] когда услыхал перед собой мягкий и частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге,[1150] точно скакало несколько человек. Но топот приближался медленно и в конце улицы показалась партия всадников,[1151] загородившая всю улицу.

В то время немирные партии горцев врывались в русские укрепления и грабили и убивали, и опасность была везде. И потому первое,[1152] что я испытал при виде этих всадников в черкесках, был подъем того военного чувства, которое всегда жилось в то время на Кавказе: страха не столько смерти, сколько того, чтобы не сробеть и сделать то, что нужно. Но всадники ехали тихо и[1153] впереди ехал рядом с человеком в белой черкеске офицер русской службы. Черный, горбоносый[1154] офицер этот в синей черкеске с изобилием серебра на одежде и на оружии[1155] ехал на крупной карабахской лошади[1156] и беспокойно оглядывался по сторонам.

Никого, кроме меня, не было на улице, и он подозвал меня.

— Это воинской начальник дом? — спросил он меня,[1157] указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

Я сказал, что этот самый. Тогда офицер остановил лошадь и по-кумыцки обратился к своему спутнику, сказав, что здесь они слезут (я понимал по-кумыцки), и потом обратился ко мне.

— Поды скажи воинскому начальнику, Хаджи-Мурат приехал, — сказал мне офицер.

Хаджи-Мурат, не поворачивая головы, покосился на меня своими приятными карими глазами, потом обратился назад, к ехавшему за ним рыжему с красным лицом чеченцу в оборванной черкеске и заломленной назад, курпеем к голове, папахе. Чеченец подъехал и заговорил с ним уже не на кумыцком языке, а по-чеченски, с теми странно гортанными свойственными этому языку звуками.

Хаджи-Мурат был широкий в плечах и очень тонкий в поясе человек средних лет. На нем была белая черкеска с черными хозырями и такая же белая папаха, обмотанная белой же тканью. Из-за белого особенно резко выделялись его блестящие черные глаза и небольшая бородка. Оружие на нем было: только большой, золотом отделанный кинжал и такая же шашка через плечо, на тонком ремне.

Лицо его было самое приятно-обыкновенное. Я никогда не видал его, но мне показалось, что я знаю его давно: небольшой сухой нос, черные брови над карими, несколько выпуклыми глазами, твердо сложенные, нетонкие губы, небольшая,[1158] но густая, не зараставшая по всему подбородку подстриженная бородка. В одной руке он держал плеть, другая с поводьями лежала на луке.[1159]

Хотя это было и не мое дело, я пошел в дом воинского начальника, чтобы объявить ему о приезде. Передний ход был заперт, и я зашел с заднего крыльца через кухню.

Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, стояла у доски и разрезала на кусочки такое же белое, как и ее руки, тесто.

— Хаджи-Мурат приехал, спрашивает Ивана Матвеевича, — сказал я ей, желая удивить ее.

— Да[1160] не может быть, — сказала она откидываясь назад и поднимая брови.

— Стоит у крыльца.

[1161]— Вот-те раз. А Иван Матвеевич в канцелярии. Да зачем же он[1162] приехал?

— К вам в гости, сказал я, главное, затем, чтобы видеть ее улыбку. И точно она улыбнулась, и всё стало весело. И заготовленные пирожки, и Хаджи-Мурат, и огонь под плитой, и жаркий воздух кухни — всё стало значительно, радостно, всё запело.

[1163]— Ну, будет[1164] вам врать, — сказала она. — Идите-ка лучше кликните Ивана Матвеевича.

— А им что сказать? Они у крыльца стоят.

— [1165]Идите, зовите, а я выйду к ним, — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей толстой косе и самую косу. — А лихорадка как? — спросила она, все-таки вспомнив обо мне.

— Да ничего, оттрепала.

— Ах вы, бедняга. Смотрите, чтоб больше не было, — сказала она, еще раз улыбнувшись, и вместе со мною вышла на парадное крыльцо и тотчас, как с знакомыми, заговорила с приезжими, а я пошел в канцелярию. Я видел, как Хаджи-Мурат смеющимися глазами смотрел на нее.[1166]

Канцелярия воинского начальника была недалеко, и я застал Ивана Матвеевича, как всегда курящего и сердито распекающего писаря.

Когда я рассказал ему, что приехал Хаджи-Мурат, он, как всегда, ничему не удивляясь, не удивился и этому,[1167] продолжая бранить писаря. Потом скрутил новую папироску, закурил, надел[1168] папаху и не переставая курить и ворчать[1169] на начальство, которое прислало ему «этого чорта», пошел к своему дому. Я пошел[1170] вместе с ним, желая еще посмотреть на Хаджи-Мурата, но Хаджи-Мурата на улице уже не было. У крыльца стояли только спешившись конвойные — восемь казаков и четыре горца и держали в поводу лошадей: горского офицера и белого прекрасного кабардинца Хаджи-Мурата.[1171] Иван Матвеевич не пригласил меня к себе, и я пошел к фельдшеру, а потом к себе.

//

Во всё время пребывания[1172] Хаджи-Мурата в нашей крепости я не видал его. Кроме того, что я боялся быть лишним, придя в это время к Ивану Матвеевичу, меня еще за эти дни опять оттрепала сильнейшая лихорадка.

К Хаджи-Мурату, как рассказывали, приходили за это время несколько раз лазутчики из гор, и он с ними переговаривался о

своем семействе, оставшемся в горах и задержанном Шамилем.

Все в укреплении только и говорили, что про Хаджи-Мурата, стараясь хоть мельком увидать его, и даже из Грозной и Хасав-Юрта приезжали офицеры, только за тем, чтобы взглянуть на него.

Людям, не бывавшим на Кавказе во время нашей войны с Шамилем, трудно себе представить то значение, которое имел в это время Хаджи-Мурат в глазах всех кавказцев. Кроме того, что Хаджи-Мурат был самым могущественным и удалым наибом Шамиля,[1173] делавшим чудеса храбрости, вся его история была самая удивительная.

Сущность его истории была вот какая: аварец бедной семьи, он в 30-х годах сблизился с аварским ханом и, когда наследник Кази-Муллы, начавшего священную войну против неверных, Гамзат, предательски убил[1174] державшихся русской стороны молодых аварских ханов, он один с братом Османом отомстил Гамзату — бросился на[1175] него в мечети и убил его, а потом поднял всю Аварию и, под покровительством русских, получив даже чин русского прапорщика, стал управлять ею.[1176] Но враги или завистники его донесли на него, что он хочет перейти к Шамилю, и[1177] русские власти арестовали его, привязали к пушке, а потом повели[1178] в крепость,[1179] к генералу. Но на пути к крепости,[1180] выбрав время и место, когда тропинка, по которой его вели, была так узка, что только один солдат держал его,[1181] остальные же растянулись по одному, он рванулся и вместе с солдатом[1182] бросился под кручь. Солдат убился на смерть, а он сломал ребро и ногу,[1183] ребро залечили, а нога осталась короткая.[1184] Выздоровев, он не вернулся к русским, а ушел к Шамилю, и с тех пор[1185] стал его правой рукой. Он делал чудеса смелости и удали, среди[1186] дня врывался в города и укрепления и уводил пленных и лошадей. Так он напал на Темир-Хан-Шуру — чтобы отомстить врагу своему Ахмет-Хану, ворвался в ханство и увел его жену.

Вот этот то человек жил теперь у нас в крепости, и понятно, что все интересовались им и желали видеть его.

///

Накануне отъезда Хаджи-Мурата из нашей крепости мне удалось[1187] по приглашению Ивана Матвеевича провести с ним целый вечер. Оказалось, что Марья Дмитриевна в виду опасности, которую представляла для Ивана Матвеевича возможность бегства Хаджи-Мурата, решила поместить его у себя. Она отдала ему две передние комнаты и несмотря на то, что ссорилась с его нукерами, особенно с рыжим, которого она[1188] вытолкала из кухни,[1189] за что тот чуть не зарезал ее, она с Хаджи-Муратом вошла в самые дружеские сношения.[1190] Когда она имела неосторожность похвалить[1191] его тонкую, белую бурку, с серебряными застежками,[1192] он подарил ей ее. Она же, хотя[1193] и уговорила мужа отдарить Хаджи-Мурата золотыми неидущими часами, она все-таки была тронута его щедростью и хвалила его.

Когда я в этот вечер пришел к Ивану Матвеевичу, Хаджи-Мурат молился Богу. Он очень строго исполнял пятикратную молитву с омовениями, и для этого ему было отведено место на крылечке. Когда я проходил мимо, он сидел на бурке, на своих босых ступнях и, закрыв лицо руками, шептал что-то. Потом он встал на бурку, еще что-то проговорил и сел обуваться. Я поспешил пройти, чтобы он не заметил меня, и прошел в гостиную, где собралось несколько офицеров. Одни около Марьи Дмитриевны у чайного стола и другие около стола закусок, водки и чихиря. Когда Хаджи-Мурат[1194] мягкими шагами вошел хромая на свою одну короткую ногу, сломанную в то время, как он полетел под кручь с солдатом, все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Он был в шелковом черном бешмете и белой черкеске и в папахе на бритой голове, на туго стянутом поясе был большой кинжал в золотой отделке. Он был очень учтив и спокойно величествен. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул к чайному столу. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел

все лица и остановил свои глаза на хозяйке. Марья Дмитриевна, как хозяйка, нашла это молчание неловким и обратилась к переводчику, прося его спросить, привык ли он в Тифлисе к русским обычаям.

— Айя! — сказал он, блеснув глазами на Марью Дмитриевну.

— Он говорит, что да, — отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился:

— У каждого народа свои обычаи, — сказал он, — у нас женщины так не одеваются.

— Что же, ему не понравилось?

— У нас пословица есть, — сказал он, — собака кормила ишака мясом, а ишак собаку сеном — оба голодные остались, — сказал он и чуть чуть улыбнулся. — Всякому народу свой обычай хорош.

Потому ли, что лицо это было всегда важно и строго, или потому, что улыбка его имела особенную прелесть, но мне лицо его показалось прекрасным.

Разговор дальше не пошел. Офицеры — кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат ничего не хотел, чаю не пил, не курил и ничего не ел.

Петраковский, очень бойкий и веселый офицер, подошел к Хаджи-Мурату и[1195] стал расспрашивать его об его отношениях к Шамилю. Хаджи-Мурат вдруг разговорился и стал рассказывать[1196] подробно[1197] о том, как он поссорился с Шамилем и как ни за что не простит ему то, что он хотел осрамить его, и покажет русским, как взять Шамиля и кончить войну.

[1198]Впечатление[1199] почти всех было то, что всё, что он рассказывал[1200] про свои отношения к Шамилю и русским, как прежние, так и теперешние, было неправда — не то чтобы это была прямая ложь, но он, как мне казалось,[1201] хотел этим приготовленным рассказом что то внушить о себе русским.

— Спросите его, — сказала Марья Дмитриевна,[1202] — правда ли, что Шамиль обещал выколоть глаза его сыну.

Переводчик передал ему. Он грозно нахмурился и с невыразимой злобой взглянул на Марью Дмитриевну.

— Что аллах хочет, то и будет,[1203] — сказал он.

Потом он опустил голову, как будто задумался, и лицо его вдруг всё изменилось, стало жалкое и кроткое.

— Как любит сына-то однако, — сказала Марья Дмитриевна.

Может быть, он еще бы рассказал что нибудь, но в это время вошел денщик и доложил Ивану Матвеевичу, что приехал Арслан-Хан из Хасав-Юрта. Арслан-Хан был мирной князь,[1204] офицер, живший в ладу с русскими, ненавидевший горцев и ненавидимый ими. Мы слышали, что у него была раньше кровная месть с Хаджи-Муратом, и оказалось, что и теперь он приехал с доносом о том, что Хаджи-Мурат ведет переговоры с Шамилем не о своем семействе, а о том, чтобы высмотреть русские крепости и подвести к ним Шамиля.

Когда Арслан-Хан, маленький черный человечек, вошел с своими двумя спутниками, Хаджи-Мурат вдруг весь преобразился, грудь поднялась и рука схватилась за рукоятку кинжала и загоревшиеся глаза уставились на Арслан-Хана. Когда же Арслан-Хан передал по русски то, что он слышал, и переводчик передал это ему, он, как кошка, вскочил с тахты и бросился на Арслан-Хана. Не вынимая оружия, но подставляя ему грудь, он что-то проговорил, повторяя одно и то же слово. Арслан-Хан взялся за пистолет, но Хаджи-Мурат не отстранился и так же подставил ему грудь, повторяя это слово.

Иван Матвеевич, офицеры и я насилу разняли их и увели Арслан-Хана. Хаджи-Мурат, всё хромая и ворча что-то, ушел к себе.

Так кончился этот вечер.

IV

На другой день к великой радости Ивана Матвеевича Хаджи-Мурат уезжал.

Я был в это время у Ивана Матвеевича. Я пришел в этот день без зова. Я не мог не придти. Меня странно возбуждало и мучало присутствие Хаджи-Мурата и его отношения с Марьей Дмитриевной.

Когда любишь женщину, особенно бессознательно, как я любил Марью Дмитриевну, бываешь особенно чуток к чувствам этой женщины. И я видел, что Хаджи-Мурат произвел на Марью Дмитриевну впечатление, как мужчина на женщину, больше, чем то, какое она сама признавала. Я видел это по ее[1205] одежде, прическе, более нарядным, чем обыкновенно, по тому, что о чем бы ни говорили, она находила случай упомянуть о Хаджи-Мурате; главное, я видел это по ее взглядам. И я испытывал странное чувство. Хаджи-Мурат вследствие этого меня особенно болезненно привлекал к себе. Мне было ужасно грустно и досадно на Марью Дмитриевну и жалко ее.

В утро отъезда Хаджи-Мурата, несмотря на свою короткую ногу, на которую он ступал, нагибаясь всем телом,[1206] он, в черкеске и оружии по дорожному, вошел мягкими шагами в чувяках в комнату, где его ожидали. Увидав Марью Дмитриевну, он остановился на своей прямой ноге, опершись носком короткой о пол. Он был одет в шелковый, обшитый тоненьким ремнем черный бешмет, подпоясанный ремнем,[1207] с серебряным, а не золотым, кинжалом; ноги были в красных чувяках и белых ноговицах с тоненьким галуном. Увидав Марью Дмитриевну, он[1208] оглянулся и что то сказал рыжему, и тот подал ему белую бурку. Он взял ее жилистой рукой с надувшейся поперечной жилой и, наклонив голову,[1209] подал ее Марье Дмитриевне. Переводчик сказал:

— Он говорит, ты похвалила бурку — возьми.

Марья Дмитриевна покраснела и сказала:[1210]

— Зачем это? Ну, благодарю.

Он покачал головой и чуть-чуть презрительно улыбнулся,[1211] потом он подал кинжал Ивану Матвеевичу.

— Возьми, дарю.

Иван Матвеевич тоже поблагодарил и сказал, что он хочет отдарить его. Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет. А потом показал на горы[1212] и на свое сердце[1213] и пошел к выходу. Все пошли за ним.

Остановившись у поданной лошади, он обратился еще раз ко всем, дотрагиваясь рукой до груди.

Марья Дмитриевна, встретившись с ним глазами, показала на небо и сделала жест выхода из гор. Он понял и,[1214] подняв руку не высоко, открыл белые, ровные зубы.

— Алла, — сказал он.[1215]

— Даст алла, даст, — сказала Марья Дмитриевна.

— Ну, дай Бог, дай Бог, — сказал Иван Матвеевич.[1216]

Хаджи-Мурат не отвечал и, не смотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как уж, как кошка, вскочил на лошадь.

— Прощай, спасибо, — сказал он и, с тем особенным гордым таинственным видом, с которым сидит горец на лошади, выехал за ворота крепости со своей свитой.

Мы[1217] стояли на крыльце, следя за ними, пока они скрылись.

— А хороший парень, — сказал Петровский.

— Славный, — сказала Марья Дмитриевна.

— Ну, такая же собака, как все, — сказал Иван Матвеевич.

— Всегда глупости говоришь, — сказала Марья Дмитриевна и опять покраснела и решительным шагом вошла в дом.

V

С тех пор[1218] до нас дошли слухи, что Шамиль всё не выпускает[1219] семью Хаджи-Мурата, угрожая убить их, в особенности любимого сына Вали-Магому, и что Хаджи-Мурат выпросился у князя Воронцова в Нуху, где, как он говорил, ему

удобнее вести переговоры с горцами. Больше мы ничего не слыхали о Хаджи-Мурате.

Марья Дмитриевна часто вспоминала и говорила о Хаджи-Мурате, Иван Матвеевич смеялся ей и при других, что она влюблена в Хаджи-Мурата. Марья Дмитриевна смеялась и краснела, когда это говорили. Меня же это оскорбляло за Марью Дмитриевну.

[1220]Я стал поправляться и уже собирался отправляться к своему полку. И чем ближе подходило это время, тем мне милее становилась Марья Дмитриевна. А она попрежнему была полуматерински добра ко мне.

[1221]27 июня я пил чай у[1222] Марьи Дмитриевны, а Иван Матвеевич в этот день или, скорее, ночь встречал батальон куринцев и у них шла попойка. Слышны были тулумбасы и крики «ура!». Иван Матвеевич обещал не пить много и вернуться к двенадцати часам.

Но Марья Дмитриевна все-таки беспокоилась отсутствием мужа. Она[1223] предложила мне пойти по улице до квартиры куринцев.[1224]

Полный месяц светил на[1225] белые домики и на камни дороги, и на бегущий ручей. Был паводок, и ручей страшно шумел.

Мы подходили уже к квартире куринцев. Уже слышны были крики подгулявших офицеров, когда[1226] из-за угла выехали верховые.[1227]

Ехал кто то с конвоем.

— Как его нет, так сейчас и приезжают,[1228] — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась. Ночь была так светла, что читать можно было. Марья Дмитриевна вглядывалась в того, что ехал впереди, очевидно того, кого конвоировали, но не могла узнать. Месяц ударял ехавшим в спину. Марья же Дмитриевна была освещена спереди.

— Марья Дмитриевна, вы? — сказал знакомый голос, — не спите еще?

— Нет, как видите.

— Где Иван Матвеевич?

— А вон, слышите, кутит.

— Что же, всё боится, что пришлют ему опять Хаджи-Мурата?

— Как не бояться, ведь ответственность.

— Ну, я к вам с хорошими вестями.

Это был Каменев, товарищ Ивана Матвеевича, служивший при штабе.

— Что же, поход? в Темир-Хан-Шуру?

— Нет, получше.

— Ну, что же, переводят в Темир-Хан-Шуру?

— Ну, вот чего захотели! — Каменев ехал рядом с Марьей Дмитриевной, повернувшись назад к дому и прислушиваясь к песням и крикам.

— А где Иван Матвеевич?

— Да вот, слышите, провожает куринцев.

— А, это хорошо. И я поспею. Только я на два часа, надо к князю.

— Да что же новость?

— А вот угадайте.

— Да про что?

— Про вашего знакомого.

— Хорошее?

— Для нас хорошее, для него скверное, — и Каменев засмеялся.

— Чихирев! — крикнул он казаку. — Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку.

Чихирев достал из переметной сумы мешок с чем то круглым.

— Погоди, — сказал Каменев. Мы[1229] подошли к дому. Каменев слез, пожал руку Марье Дмитриевне и, войдя с нею на крыльцо, взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?

— Да что такое, арбуз? — сказала Марья Дмитриевна. Она хотела шутить, но я видел, что ей было страшно.

— Нет-с, не арбуз. — Каменев отвернулся от Марьи Дмитриевны и что-то копался в мешке. — Не арбуз. А ведь у вас был Хаджи-Мурат?

— Ну так что ж?

— Да вот она, — и Каменев, двумя руками, прижав ее за уши, вынул человеческую голову и выставил ее на свет месяца.

— Кончил свою карьеру. Вот она!

Да, это была она, голова бритая, с выступами черепа над глазами и проросшими черными волосами, с одним открытым, другим полузакрытым глазами, с окровавленным, с запекшейся черной кровью носом и с открытым ртом, над которым были те же подстриженные усы. Шея была замотана полотенцем.

Марья Дмитриевна посмотрела, узнала Хаджи-Мурата и, ничего не сказав, повернулась и ушла к себе.[1230]

Послали за Иваном Матвеевичем. Марья Дмитриевна ушла на крыльцо и села на ступени. Я вышел к ней. Она сидела,[1231] поджав ноги, и смотрела перед собой.[1232]

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил я.

— Что я? Мерзкая ваша вся служба, все вы живорезы. Терпеть не могу. Не хочу, не хочу! Уеду к мамаше. Живорезы, разбойники!..

— Да ведь[1233] война, — сказал я, не зная, что говорить.

— Не хочу жить с вами. Уеду![1234]

— Правда, это ужасно, но отчего вы так особенно?.. — начал было я.

Но Марья Дмитриевна[1235] вскрикнула:

— Отчего, отчего? А оттого, — и она вдруг расплакалась. Когда же она выплакалась, она вышла к Каменеву и к еще пришедшим офицерам и провела с нами вечер. Разговор весь вечер шел о Хаджи-Мурате и о том, как он умер.

— Ох, молодчина был! — заключил Иван Матвеевич, выслушав всё. — Он с женой моей как сошелся, подарил ей[1236] кинжал.

—[1237] Да, вы говорите разбойник.[1238] И мне[1239] жаль его. Гадкая, гадкая, скверная ваша служба.

— Да что же велишь делать, по головке их гладить?

— Уж я не знаю, только мерзкая ваша служба, и я уеду.

И действительно, как ни неприятно это было Ивану Матвеевичу, но, не прошло и года, как вышел в отставку и уехал в Россию.

VI

— Нет, вы всё расскажите по порядку, — сказал Иван Матвеевич Каменеву.[1240]

[Редакция девятая — конец июля 1902 г.]

№ 47 (рук. № 35).

I

[1241]В 1812 году[1242] в Аварии (на Кавказе) в ауле Цельбесе, в небогатом семействе, у жены известного джигита, молодца Абдуллы Мустафы, Патимат родился второй[1243] ребенок, мальчик, которому дали имя Хаджи-Мурат.

[1244]Это было то время, когда русские военные начальники[1245] всё больше и больше, чаще и чаще, под предлогом защиты своих, а в действительности только для того, чтобы отличиться и получить награды, делали набеги на жителей гор, разоряли, убивали, казнили их и раздражали их до того, что среди горцев уже несколько раз появлялись вожаки, соединяющие их в одно религиозное[1246] учение, главное основание которого было борьба с гяурами и освобождение[1247] от них. Таков был в 1788 году Мансур и потом таким же, еще более сильным, Кази-Мулла.[1248]

Мать Хаджи-Мурата, красавица Патимат, была, после первых своих родов, взята[1249] ханшей аварской Паху-Бике во дворец ханов и выкормила Омар-хана.[1250] Когда Патимат родила второго сына Хаджи-Мурата, у ханши родился второй сын Буцал-Хан, и она потребовала опять Патимат в кормилицы ко второму сыну. Абдулла пришел из дворца в свою саклю и объявил жене, чтобы она шла кормить Буцал-Хана. Патимат сказала, что она не пойдет. Между мужем и женой поднялась ссора, кончившаяся тем, что Абдулла ударил жену кинжалом. Патимат прижала к ране младенца Хаджи-Мурата и сказала, что умрет, но не пойдет. Так Патимат и не пошла кормить хана, а рана ее зажила, и она выкормила сына и часто пела, укачивая его, сложенную ей самой песню о том, как ее ранил муж за сына и как она сына приложила к ране и тем вылечила ее.

№ 48 (рук. № 37).

Сидели[1251] кругом рядами старик дед[1252] и еще пять самых набожных людей аула и покорно слушали. Старик дед сделал знак Хаджи-Мурату, чтобы он садился в конце[1253] всех. Хаджи-Мурат беззвучно сел. Приезжий старик продолжал горловым медленным и торжественным голосом.

«Ему явился пророк божий и сказал: Шейх Кази знаешь...

(Выписать из Сб. о К. Г. Выпуск II, стр. 12, отчеркнутое красным карандашом.)

(И Сб. о К. Г. Выпуск IV, об истинных мюридах.)

Когда старик кончил, он[1254] взял в руки с крашеными ногтями четки и[1255] произнес: «Ляилаха-илла-ллах». Все повторили. Потом: «Я аллах», потом: «Я гу!» Потом: «Я хакк». Потом: «Я хаикк», «Я кахом» и «Я каххар». Все повторяли те же слова. Хаджи-Мурат понимал значение этих слов, обозначающих Бога единого, Бога всемогущего, Бога[1256] вечного, Бога праведного, Бога живого, Бога сущего и Бога мстителя.

И он помнил, как тут в первый раз он почувствовал свое ничтожество перед этим Богом и желание служить ему. Служба же самая очевидная и понятная ему была служба хазавата, борьбы с неверными. Но вместо борьбы этой он дома жил с отцом, требовавшим от него служения ханам, тем самым ханам, которые передались русским.

Это было первое понятие Хаджи-Мурата о хазавате. Оно в первую минуту захватило его, но скоро он забыл про испытанное им чувство под влиянием женитьбы. Его женили на Сафале, некрасивой коротконогой аварке. Жизнь дома[1257] стала скучна ему, но он не решился бы итти против воли отца, если бы не случилось следующего. В августе, на другой год после своей женитьбы, он с матерью приехал к деду помогать ему в уборке кукурузы. Деда не было дома, одна старуха бабка была на крыше и рассказала,[1258] что[1259] за стариками присылали от русских в крепости, что туда пошел весь народ и дед велел приходить и Хаджи-Мурату.[1260] Хаджи-Мурат взял лепешек и своими сильными[1261] ногами легко побежал через горы в крепость. Когда он пришел туда, он увидал огромную толпу горцев, которые стояли среди солдат.

С четырех сторон стояли в несколько рядов эти бритые люди, русские в белых куртках с ремнями через плечи и с ружьями с штыками.[1262] Хаджи-Мурат в первый раз тут видел их. Их было столько, что нельзя было сосчитать. Между ними ходили люди без ружей, с одними тонкими, длинными кинжалами — это были офицеры. Впереди рядов было несколько десятков людей с пестрыми барабанами. В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстегнутый, в черных штанах и белом бешмете, с золотыми наплечниками.

№ 49 (рук. № 37).

[1263]Мальчик любил отца, но больше отца он любил старого деда, в особенности потому, что старый дед особенно нежно любил этого мальчика, из-за которого чуть не убита была его дочь. Дед Хаджи-Мурата, Махомед-Султан, жил в горном ауле Гоцатль, куда Патимат, мать Хаджи-Мурата, ходила и ездила с сыном на осле навещать отца и помогать ему в работах.

Хаджи-Мурат помнил, как мать его, высокая, сильная женщина, носила его туда еще за спиной в корзине и как дед кормил его медом и спрашивал молитвы и главы Корана.

Дед жил отдельно от аула. У него был сад и пчелы. И там, у ручья, дед часто, расстелив ковер, молился. И Хаджи-Мурат помнил, как ему страшно и хорошо делалось, глядя на босые ноги и строгое лицо деда с подстриженными седыми усами и бородкой.

У этого деда Хаджи-Мурат видал приезжих к нему старцев мулл и кадиев и отводил их лошадей и привязывал, и поил.

№ 50 (рук. № 38).

[1264]Один раз, когда Хаджи-Мурату шел уже одиннадцатый год, он один без матери, на старом осле приехал к деду помогать ему в уборке кукурузы. Деда не было дома, одна старуха бабка была на крыше, и работник деда сказал, что за стариком присылали от русских в крепости. Что туда пошел весь народ и дед, ожидавший в этот день Хаджи-Мурата, велел приходить и ему. Хаджи-Мурат[1265] закусил, взял за пазуху недоеденную лепешку и побежал через горы в крепость.[1266] До крепости было десять верст, но дорога шла больше под гору и Хаджи-Мурат добежал туда своими сильными молодыми ногами меньше чем в два часа и раньше полдня подошел к воротам крепости. Перед воротами на площадке[1267] стояла[1268] большая толпа[1269] горцев.[1270] Их всех собрали сюда, чтобы они видели то, что сделают с теми из них, которые позволили себе напасть на[1271] русских солдат.[1272]

Хаджи-Мурат знал об этом. Говорили все в аулах о том, как горцы, чтобы отомстить русским за все насилия, которые они делали над горцами, напали на одну роту солдат и побили их, и теперь понял[1273] из слов горцев, среди которых он протеснился, что теперь[1274] собирались наказывать тех, которые сделали это.

Перед горцами-зрителями стояли в несколько рядов русские солдаты.

№ 51 (рук. № 38).

[1275]Жизнь в богатом дворце, дружба молодых ханов,[1276] шалости и молодечество, всё это льстило самолюбию Хаджи-Мурата и делало из него обычного ханского любимца.[1277] Кроме этой его веселой жизни во дворце ханском, у него была еще другая[1278] жизнь, неизвестная ханам,[1279] но имевшая самое главное влияние на[1280] всю деятельность Хаджи-Мурата. Эта была жизнь с его дедом.

Дед Хаджи-Мурата особенно любил этого[1281] внука[1282] и тоже ласкал его и не радовался его успехам у ханов, а хотел сделать из него[1283] мюрида кадия, т. е.[1284] набожного святого человека. «Богатство мирское остается здесь, — говорил он, — нужно же добывать богатства вечной жизни».[1285] Для приобретения же этого богатства нужно было

№ 52 (рук. № 38).

Хаджи-Мурату было семнадцать лет, когда к Хунзаху, месту пребывания ханов, подступил Кази-Мулла, требуя покорения и прекращения сношений с русскими, к покровительству которых прибегла ханша. Ханша не хотела покориться, боясь жестокости Кази-Муллы, и Авария защищалась. В приступе к Хунзаху был

убит Кази-Мулла,[1286] и аварцы торжествовали. В этом же сражении был убит и Абдулла — отец Хаджи-Мурата.

Смерть отца не изменила жизни Хаджи-Мурата. Он видел, как привезли[1287] перекинутое через седло,[1288] покрытое черной буркой тело отца, с висящими с одной стороны ногами, носками внутрь, а с другой — посиневшими руками, едва не касавшимися земли. Он видел свою мать с растрепанными волосами и изуродованными чертами лица, шедшей за конем, везущим тело, раздиравшую себе лицо ногтями и вырывавшую себе пряди черных волос; видел старика деда.....[1289] шедшего за убитым с страшно сверкающими глазами, когда он сказал, что, как ни стар и ни слаб, он отомстит убийцам любимого сына. Он видел всё это, но всё это прошло по его душе незаметно. Он был полон радости и веселья и продолжал ту же беззаботную, веселую жизнь с богатыми, молодыми ханами.

№ 53 (рук. № 38).

Когда Хаджи-Мурату минуло десять лет, его отдали учиться к мулле. Учение было очень скучное, но мальчик был[1290] памятливый и[1291] скоро прошел весь коран. Товарищи[1292] торжественно снесли его на руках в дом отца, и учитель мулла получил в награду угощение и 2 рубля денег. Дед Хаджи-Мурата хотел, чтобы мальчик продолжал учение и сделался муллою; но отец не хотел этого и, прекратив учение, стал употреблять нелюбимого сына на домашние работы.

[1293]Хаджи-Мурату шел шестнадцатый год, и его собирались женить на девушке, которая не нравилась ему, когда недалеко от Цельмеса, в котором жила семья Хаджи-Мурата,[1294] в ауле Чох произошло[1295] событие, имевшее решительное влияние на всю жизнь Хаджи-Мурата.

В ауле Чох стояла рота солдат. Эти русские, считавшиеся друзьями и союзниками хана, в продолжение десяти месяцев делали всякого рода бесчинства в ауле и выведенные из

терпения[1296] жители аула Чох[1297] напали ночью на роту стоявших в ауле русских солдат и перерезали 20 солдат.

В аул пришли русские войска и потребовали выдачи главных виновных, угрожая в противном случае сжечь все окружные аулы и избить всех жителей от малого до великого. На площади у мечети два раза собирались старики, но не могли прийти ни к какому решению. Разрешил вопрос старик Джафар Али. Он сказал, что лучше пострадать 10 человекам, чем пострадать всем и предложил себя для выдачи русским.

— Пусть моя кровь прольется за народ. Алла хак бар! — произнес он.

Вслед за ним отдался[1298] для выдачи русским его племянник молодой[1299] Ибрагим. Вслед за Ибрагимом[1300] Мустафа, и все закричали:

— Берите наши головы, — и желающих пожертвовать собою набралось так много, что старики решили кинуть жребий.

Пошли в мечеть помолились и кинули жребий на десятерых и выдали их русским.[1301] Русские судили этих десятерых и приговорили их[1302] к прогнанию сквозь строй через 6000 человек.

В назначенный [день][1303] из всех окрестных аулов[1304] народ[1305] верхами и пешком двинулся к[1306] тому месту, где должна была происходить казнь. Хаджи-Мурат, с пешим народом[1307] пришедший туда же, тут[1308] в первый раз увидал русских солдат[1309] с их длинными ружьями, с насаженными на них штыками.[1310] Их было столько, что нельзя было сосчитать.[1311] Они стояли рядами, образуя из себя четвероугольник,[1312] через который шла дорога и на середине которого сидел на барабане[1313] человек в черных узких штанах, в белом[1314] кителе с золотыми наплечниками и[1315] в фуражке с красным околышем на толстой голове с красными щеками. Это был главный начальник русских. Около него стояло несколько человек таких же как он начальников и два солдата. Один из солдат подал[1316] ему[1317] на длинном чубуке трубку.[1318] Начальник взял трубку, сделал знак и в то же время[1319] с

пестрыми плечами барабанщик, стоявший на краю одного из рядов, забил палкой в[1320] барабан и страшный треск заглушил все другие звуки.[1321] Одна из сторон четвероугольника, состоявшего из солдат, расступилась, и в пустое место[1322] ввели <несколько> человек закованных горцев в одних бешметах, без кинжалов.[1323] Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой редкой бородой.[1324] В народе вокруг Хаджи-Мурата застонали. Послышалась молитва «Ляилаха-илла-ллах». Но стоны эти были слышны только тем, которые стояли рядом. Треск барабанов, который казалось Хаджи-Мурату происходил от трубки, заглушал всё.

Народ застонал, увидав ведомых на казнь, потому что все знали, что это были добровольные мученики, джигиты. Русские объявили, что если аулы не выдадут главных виновников, все аулы будут сожжены. Начальник махнул рукой — барабаны остановились[1325] и опять стал слышен говор народа, шум налившегося вчерашним дождем ручья и крик молодых орлов на горе. Главный начальник сказал что-то, и один из[1326] низших начальников вышел вперед и, остановившись перед закованными, поднял к глазам бумагу, которую держал в руке и начал читать. Он читал что-то непонятное по русски, потом тоже столь же непонятное Хаджи-Мурату по татарски.[1327] Главный начальник, стоя слушавший бумагу, сказал что-то, и[1328] одна часть солдат составила ружья в козлы и, выйдя из рядов, стали подходить к[1329] стоявшим двум арбам, на которых были палки и разбирали их. Остальные солдаты[1330] стояли с ружьями перед толпою народа, задерживая его. Когда солдаты, разбиравшие палки, разобрали каждый по палке, им скомандовали что-то, и они стали улицей[1331] друг против друга от того места, где сидел начальник, до рядовых солдат, задерживавших народ. Когда солдаты расставились по местам, два из них подошли к первому из закованных горцев и стали снимать с него цепи.[1332]

Сняв цепи, они сняли с него и бешмет и взялись за рубаху, но горец не дал им и, отстранившись от[1333] них, сам разорвал на

себе рубаху и стряхнул ее с себя[1334]. Загорелые по локоть руки его дрожали и также дрожала скула и всё[1335] белое, молодое тело.[1336] Горца привязали руками к прикладу ружья[1337] и ввели в улицу, составленную из солдат с палками. <Начальник сделал знак трубкой и что-то сказал, и опять загремели барабаны.>

№ 54 (рук. № 38).

Длинноносый[1338] хозяин сидел[1339] рядом и радостно[1340] улыбался и[1341] благодарил Хаджи-Мурата за посещение.[1342] Так же улыбался и сидевший у двери мальчик с блестящими черными глазами, которые он не спускал с Хаджи-Мурата. Садо действительно был рад посещению Хаджи-Мурата, несмотря на то, что принимать Хаджи-Мурата было опасно, так как было объявлено от Шамиля, что будет казнен тот, кто примет к себе Хаджи-Мурата.[1343] Несмотря на это, Садо[1344] [был] рад этому посещению[1345] Хаджи-Мурата, два раза выручавшего его из беды и свояка по жене, а теперь гостя и кунака. Он действительно был готов умереть, защищая гостя кунака.[1346] Рад он был потому, что всякое волнение, опасность, игра жизнью были приятны ему. Опасность была большая потому, что жители аула давно[1347] решили выдать Хаджи-Мурата, если он встретится им. Теперь же они всякую минуту могли узнать про его присутствие, и тогда действительно пришлось бы умереть,[1348] защищая его. Хаджи-Мурат точно так же знал про угрожавшую ему опасность, но он так привык к опасности, так верил в свое счастье и главное так устал, убегая в продолжение трех ночей от Шамиля, что он тотчас же лег и заснул, не думая об опасности.

№ 55 (рук. № 39).

Одно, что удерживало Хаджи-Мурата, это[1349] была мысль о том, что его бегство в горы разорвет его связь с[1350] родительским домом, с матерью, братом, отцом и что его переход в горы может привести к тому, что придется воевать с ними. И он[1351] всё откладывал и откладывал свое решение.

№ 56 (рук. № 39).

[1352]Хаджи-Мурату шел[1353] 12-ый год,[1354] когда в их аул приехали вестники, требовавшие, чтобы весь народ аула собрался[1355] за 12 верст,[1356] к аварскому большому аулу, в котором стояли русские войска с своим генералом.

Народ из соседних аулов требовали к назначенному месту для того, чтобы жители видели то, что сделают с теми из <них> горцев, которые позволили себе напасть на русских солдат.[1357] Об этом нападении и о наказании за это уж давно говорили все в аулах, и теперь, когда настало время, народ толпами, верхами и пешком двинулся к назначенному месту. Хаджи-Мурат вместе с[1358] пешим народом пошел туда, и, придя к месту, Хаджи-Мурат протеснился вперед между густой толпой горцев и увидал перед собою в первый раз русских.[1359]

Это были бритые люди в белых куртках с ремнями через плечи, в сапогах и с длинными ружьями, с насаженными на них штыками. Хаджи-Мурат в первый раз тут видел русских. Этих людей, солдат, было столько, что нельзя было сосчитать.[1360] Впереди рядов было несколько[1361] людей с висевшими на них пестрыми[1362] круглыми вещами.[1363] Это были барабанщики.[1364] На одной такой круглой вещи[1365] недалеко[1366] в середине пустого места сидел толстый красный человек[1367] [в] белом бешмете с золотыми наплечниками и черных штанах.[1368] Это был главный начальник русских; около него стояло несколько человек таких же, как он, начальников.[1369] Один из солдат подал этому начальнику — это был генерал — на длинном чубуке

трубку. Толстый[1370] начальник взял трубку, и в то же мгновение загремело что-то. Это ударили барабаны. Как только ударили барабаны,[1371] солдаты расступились, и посреди них вышло несколько человек горцев в одних бешметах без кинжалов с цепями на ногах. Хаджи-Мурат перечел их. Их было десять. Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый с потухшими глазами и седой редкой бородой.

В народе вокруг Хаджи-Мурата застонали,[1372] послышалась[1373] молитва «ла аллах ильаллах».

Но стоны эти были слышны только тем, которые стояли рядом. Треск барабанов, который Хаджи-Мурату казалось происходил от трубки, заглушал всё.[1374]

Десять человек скованных вывели на середину пустого места, начальник махнул рукой, — барабаны остановились, и всё так затихло, что можно было слышать, как кричали молодые орлы на горе.[1375] Начальник сказал что-то. И один из его слуг[1376] вышел вперед[1377] и, остановившись перед закованными, поднял к глазам бумагу, которую держал в руке, и начал читать. Он читал что-то[1378] непонятное по-русски, потом то же, столь же непонятное Хаджи-Мурату, по-татарски.[1379]

Толстый начальник[1380] что-то сказал, и солдаты[1381] составили ружья в козлы и, выйдя из рядов, стали подходить к подъехавшей[1382] арбе, на которой были палки, и, разобрав их, выстроились улицей от[1383] ворот и до того ряда солдат,[1384] который[1385] задерживал зрителей горцев. Между тем[1386] солдат кузнец подошел к первому из закованных горцев и стал сбивать с него кандалы. И[1387] когда он кончил,[1388] начальнику опять подали трубку, он сделал еще знак, и опять загремела дробь барабанов.

[1389]Два солдата подошли к тому горцу, с которого сняты были кандалы, и начали снимать с него бешмет.[1390] Когда они сняли бешмет, горец, отстранившись от них, сам разорвал на себе рубаху и стряхнул ее с себя;[1391] так же стряхнул с себя и штаны и остался голый.[1392] Загорелые[1393] по локоть руки[1394] его дрожали[1395] и[1396] также дрожала скула и всё[1397] красивое,

белое, молодое тело, когда его привязывали руками к прикладу ружья. Обнаженного горца ввели в улицу, составленную из солдат с палками.[1398]

№ 57 (рук. № 41).

V

Вслед за этим солдаты подошли к[1399] молодому человеку с маленькой бородкой, в черном бешмете,[1400] и солдат кузнец снял с него ножные кандалы и хотел[1401] их положить себе на руку, как[1402] горец вырвал их у него из рук, взмахнул ими над головой солдата и[1403] ударил. Солдат зашатался и упал. Начальник вскочил с барабана и, крикнув что то, направился к горцу.[1404] Солдат десять, взяв ружья из козел, подошли к горцу, угрожая ему штыками. Он как будто только и ждал этого.[1405] Он бросился на штык ближайшего солдата и, схватив[1406] ружье за дуло, воткнул его себе в грудь ниже левого ребра[1407].

№ 58 (рук. № 43).

Слуги больших военных государств совершают всякого рода[1408] злодейства над мелкими народами,[1409] утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними.

Так это было на Кавказе, когда,[1410] под предлогом чумы, в 1806 году,[1411] жителям запрещали выходить из аулов, и тех, кто нарушал эти запрещения, засекали на смерть[1412]. Так это было, когда[1413] для того, чтобы отличиться или забрать добычу, русские военачальники вторгались в мирные[1414] земли,

разоряли аулы,[1415] убивали сотни людей, угоняли тысячи голов скота;[1416]

и потом обвиняли горцев за их нападения на русские владения. Когда император Александр I, делая выговор Ртищеву, писал ему по случаю ничем не вызванного набега на мирную Чечню, что устанавливать сношения с соседними народами надо не жестокостью, а кротостью, то[1417] такие[1418] указания считались кавказцами ошибочной сентиментальностью, порождаемой незнанием характера горцев.[1419] Ермолов, один из самых жестоких и бессовестных людей[1420] своего времени, считавшийся очень мудрым государственным человеком, доказывал государю вред системы заискивания, дружбы и доброго соседства и проповедывал самую ужасную жестокость, которая[1421] одна, по его мнению, могла установить правильные отношения между русскими и горцами. Жестокость свою он доводил до невероятных пределов. Так,[1422] за какое то нападение на русских[1423] повешенный не за шею, а за бок, на крюк горец после страшных мучений, в которых он должен был умереть, сорвался как то с своего крюка. Когда Ермолову донесли об этом, это было в Тифлисе, он велел перевесить горца за другой бок и пошел с своими приближенными обедать и развлекаться веселыми военными разговорами.

Но мало того, что считались полезными и законными всякого рода злодейства, столь же полезными и законными считались всякого рода[1424] коварства, подлости, шпионства, умышленное поселение раздора между людьми.

Так, тот же Ермолов прямо приказывал ссорить между собою ханов, то поддерживая одних, то поддерживая других и подсылая к ним людей, долженствующих раздражать их друг против друга.

№ 59 (рук. № 44).

Этот образ действий всё больше и больше[1425] раздражал горцев и вызывал их к ненависти и мести. С того времени, как Хаджи-Мурат присутствовал на казни, он не мог спокойно говорить и думать про русских, не мог понять, как могла их ханша, управлявшая после мужа ханством, дружить с этими неверными собаками. Когда он вспоминал то, что видел, он весь дрожал от злобы и бессильного желания мести. И мысль, пришедшая ему тогда же в первую же ночь после казни о том, что ему надо бежать в горы к мюридам и вместе с ними воевать против поганых гяуров, всё чаще и чаще приходила ему и всё больше и больше укреплялась в нем.

№ 60 (рук. № 48).

I

[1426]В 1812 г. в ауле Цельбесе в Аварии (на Кавказе) в[1427] семье небогатого жителя[1428] Абдуллы Хаджиева родился третий ребенок, мальчик, которого назвали Хаджи-Муратом. Мать Хаджи-Мурата, красавица Патимат, от второго своего ребенка кормила старшего сына аварского хана и хорошо выкормила ханского ребенка, но ее собственный ребенок, оставшийся без матери, зачах и умер не дожив года. И потому теперь, когда Патимат родила[1429] третьего сына Хаджи-Мурата, и ханша, у которой в то же время родился второй сын, потребовала опять Патимат к себе в кормилицы, Патимат[1430] сказала своему мужу, посылавшему ее во дворец к ханше, что она не пойдет, хотя бы он и убил ее. Абдулла был вспыльчив и самовластен; Патимат — упорна. Началась ссора, которая кончилась тем, что Абдулла[1431] выхватил кинжал, ударил им жену и если не убил ее, то только потому, что старший сын[1432] Осман, защищая мать, бросился с визгом под кинжал отца.[1433] Абдулла остановился. Раненная же в бок Патимат не убегала, но, прижав младенца к

своей ране и обливая его своей горячей кровью,[1434] большими черными глазами, молча, смотрела на мужа,[1435] ожидая новых ударов. На шум прибежал народ и развел мужа с женою. Так Патимат и не пошла кормилицей к ханше, а рана зажила, и она выкормила сына и часто пела, укачивая его, сложенную ею самой песню о том, как она, приложив теплое тело сына к своей ране, без всяких трав и кореньев вылечила ее, а сына не только напоила своим молоком, но и облила своей горячей, красной кровью. Когда она, донага раздевши любимого сына, укладывала его голенького спать на крыше под овчинной шубой, она, погладив его папахой, чтобы сон его был не потревожен шайтаном, садилась на корточки подле него и, чтобы усыпить его, пела эту свою песню. Когда Хаджи-Мурат подрос[1436] и стал понимать и говорить, он отчасти из этой песни, отчасти из расспросов у матери узнал про то, что из за него произошло между отцом и матерью, и часто просил мать показать ему еще раз тот большой шрам[1437] под грудью, который оставил на ней кинжал отца.

Мальчик всегда был с матерью; шла ли она с кувшином за водой, он, держась за ее палец, бежал за нею; шла ли она печь лепешки в общую пекарню, он не отставал от нее; собирала ли она коровий навоз и сушила его, он вертелся около ее ног; ложилась ли она спать, она укладывала его. Мальчик никогда не спрашивал себя, любит ли он мать, так же, как не спрашивал себя, любит ли он себя; так же, как он не мог вообразить себе жизни без своего тела, так же в первом своем детстве, до пяти, четырех лет, он не мог вообразить себе жизни без своей матери. К отцу же Хаджи-Мурат испытывал чувство ужаса и поклонения. Он знал, что и отец не любит его, а любит старшего брата Османа, и ему это было больно, потому что он считал отца своего джигитом и любовался им, когда он в оружии на своей седогривой гнедой лошади выезжал с народом в набег или на ханскую охоту, и гордился им; но самым лучшим, великим человеком, на которого желал быть похож Хаджи-Мурат, был для него его дед по матери Османли Хаджиев, искусный серебрянник, живший летом не в Цельбесе, но за семь верст от него в горах, где у него был пчельник. Мать часто посещала отца

и брала с собой сынишку. То она возила его на старом осле, страшно кричавшем и при этом дергавшемся всем телом, а то на себе носила его за спиной в корзине. Мальчик с благоговением смотрел всегда на старого, морщинистого, загорелого деда, всегда сидящего за чеканносеребряной работой или копающегося на пчельнике. Дед, больше других внучат, любил Хаджи-Мурата и заставлял его читать и кормил сладким, липким медом.

II

Когда Хаджи-Мурату минуло десять лет, его отдали учиться мулле. Учение было очень скучное, но мальчик был исключительно памятливый,[1438] и он скоро прошел весь Коран. Когда была пройдена последняя глава корана, товарищи торжественно понесли его на руках в дом отца, а учитель мулла, пришедший вслед за ним, получил в награду угощение и два рубля денег. Дед Хаджи-Мурата хотел, чтобы мальчик продолжал учение и сделался муллою, но отец не захотел этого и, прекратив учение, стал употреблять нелюбимого сына на домашние работы. Хаджи-Мурату шел шестнадцатый год,[1439] когда он[1440] в первый раз увидал мюридов и узнал про хазават. Это было так. Придя[1441] к деду, чтобы помочь ему убирать кукурузу,[1442] он увидал двух коротко привязанных к перекладине крыши оседланных[1443] коней. Один из этих коней под черным седлом с сафьяновой подушкой без галунов[1444] был гнедой, с редкой черной гривой и густым хвостом, маленькой головкой[1445] и недлинными, точеными и сухими, немного косолапыми передними ногами.[1446] Другой конь был уже не молодой, совершенно белый мерин с сеткой жил по мокрой, еще потной шее и с чудесными выпуклыми черными глазами, которые он косил на подошедшего. По седлам и уздам[1447] Хаджи-Мурат, любивший лошадей, тотчас узнал, что это кони из[1448] гор[1449] и

что приехавшие на них должны быть одни из тех людей, которые не подчиняются неверным русским[1450] и не дружат с ними, как это делают аварцы, а воюют с ними. Хаджи-Мурату никогда не случалось видеть таких людей, и потому он с особенным волнением приблизился к сакле деда.

В сакле слышался равномерный голос незнакомого человека, как будто читавшего что-то. Хаджи-Мурат вошел в дверь и, наклонив голову, остановился.[1451] В середине почетной стены, на ковре и пуховиках, сидел коренастый, с подстриженной бородкой, человек в высокой папахе, обшитой белой тканью, в желтой черкеске, подпоясанной ремнем, на котором, по середине живота, висел большой серебряный с чернью, так, как это делал дед, прямой кинжал.[1452] Этот человек говорил что-то, закрыв глаза. Рядом с ним,[1453] тоже на пуховиках, скрестив ноги в желтых[1454] ноговицах и красных, облегающих ступню, чувяках, сидел тонкий, высокий, с длинной спиной молодой[1455] человек в белой черкеске с черными, полными, заткнутыми хозырями и в заломленной назад над бритой головой белой папахе. На нем был такой же прямой, огромный кинжал[1456] в серебряной оправе[1457] и еще пистолет за поясом. Две винтовки в чехлах, две шашки и две бурки, очевидно только что снятые с гостей, висели на стене.[1458] Это были очевидно горцы джигиты. Увидав Хаджи-Мурата, старик дед, сидевший против гостей, сделал внуку знак, чтобы он садился у двери. Хаджи-Мурат беззвучно сел у двери и стал слушать и смотреть на приезжих и на их оружие.[1459] Говоривший, горец с чалмой на папахе, открыл на мгновение глаза, оглянул вошедшего и тотчас же опять закрыл их и продолжал горловым, медленным и торжественным голосом:[1460] «мусульманин не может быть ничьим рабом, — говорил он, — а должен быть свободный человек.[1461] Если же он покоряется кому нибудь, а особенно гяурам, он не мусульманин уже. И потому, ежели он находится во власти неверных, то первое дело[1462] его, это хазават, война против гяуров. Если кто побоится,[1463] тот проклят, и тому нет спасения. Мы все[1464] гости

на этом свете, все переселимся в настоящее наше место, и потому[1465] ничего не бойтесь. Один мусульманин должен итти против десяти неверных и не поворачиваться спиной к неприятелю. Кто так будет поступать, тот будет святым и вкусит все наслаждения рая. Бойтесь только гнева божьего».[1466]

Хаджи-Мурат слушал, но на него не столько действовала речь горца в чалме, сколько спокойно величавый вид того джигита мюрида в белой черкеске, который, одной рукой держась за серебряную рукоять кинжала, скрестив ноги,[1467] неподвижно сидел подле хаджи, только изредка хмурясь и одобрительно кивая головой. В подтверждение того, что один мусульманин может итти против десяти неверных, хаджи указал на джигита и сказал:

— Вот он раз отбился от десяти солдат,[1468] и уложил четырех, а сам остался невредим.[1469]

Молодой покосился на старшего, потом опять уставил глаза прямо перед собой, как будто не о нем шла речь.[1470] Когда после угощения и молитв гости опять надели оружие и бурки и собрались ехать, Хаджи-Мурат вышел[1471] провожать гостей,[1472] он отвязал им лошадей и подвел их. Молодой[1473] джигит взял свою белую лошадь. Старший же подошел к гнедой. Хаджи-Мурат взялся за стремя, коренастый горец легко сел в седло и, обратившись к Хаджи-Мурату, сказал:[1474]

— Хочешь быть мюридом — приходи в Гуниб, спроси[1475] Абдурахмана. Ты хочешь? — сказал он Хаджи-Мурату.

— Хочу, — отвечал Хаджи-Мурат.

И действительно, с этого дня Хаджи-Мурат только и думал о том, как бы ему уйти в горы и быть таким же молодцом, как тот молодой джигит в белой папахе и на белой лошади.

///

Хаджи-Мурат хотел уйти в горы, но сделать это было очень трудно. Во первых, у него не было ни лошади, ни хорошего

оружия, а он слышал, что мюриды неохотно принимают плохо вооруженных и пеших людей и заставляют их больше работать, чем воевать. Во вторых, трудно было уйти даже пешему, потому что по всей границе, отделявшей аварское ханство, дружеское России, от владений Кази-Муллы, властвовавшего в горах и воевавшего с русскими, были расставлены караулы конные и пешие, ловившие тех, которые пытались переходить в горы, и пойманных строго наказывали. И потому Хаджи-Мурат, надеясь приобрести лошадь и оружие или от деда или просто украв ши их, всё откладывал и откладывал исполнение своего намерения.

Но в ту же зиму (посещение мюридов было летом) случилось событие, вследствие которого, несмотря на то, что хорошего оружия и лошади всё еще[1476] не было[1477] и что караулы, задерживавшие перебежчиков, были строже, чем когда нибудь, Хаджи-Мурат решил, ничего больше не дожидаясь, тотчас же бежать в горы и стать мюридом. Событие это[1478] было следующее: лезгины одного из аулов, признававших власть русских, убили пять человек солдат,[1479] грабивших жителей аула. Русское начальство судило этих[1480] лезгин и приговорило десятерых из них, т. е. число вдвое большее тех русских, которые были убиты, к прогнанию сквозь строй через шесть тысяч человек. В назначенный день, из всех аулов народ, верхами и пешком, двинулся к тому месту, где должна была происходить казнь. Хаджи-Мурат[1481] здесь в первый раз увидал русских солдат в их странных шапках и черных штанах и сапогах с их длинными ружьями, с насаженными на них блестящими на солнце штыками.[1482] Солдаты стояли рядами, образуя из себя четырехугольник,[1483] на[1484] одной стороне которого сидел на барабане толстый усатый человек в черных узких штанах, белом кителе с золотыми наплечниками и в фуражке с красным околышем.[1485] Это был[1486] начальник.[1487] Около него стояло несколько человек таких же, как он, начальников и два солдата. Один из солдат подал ему на длинном чубуке трубку. Начальник взял трубку, закурил ее о зажженную бумажку, которую поднес один из солдат к трубке, и сделал знак.[1488] И тотчас же барабанщики, солдаты с пестрыми плечами, стоявшие на краю

одного из рядов, забили палками в барабаны и страшный треск заглушил все другие звуки. Вслед за начавшимся барабанным боем одна из сторон четыреугольника, составившегося из солдат, расступились, и в пустое место ввели десять человек закованных горцев в одних бешметах, без кинжалов. Были молодые, средние и пожилые, и один был совсем старый, морщинистый, с потухшими глазами и седой редкой бородой. Начальник махнул рукой, барабаны остановились, и опять стал слышен[1489] шум налившегося вчерашним дождем ручья и крик молодых орлов на горе. Главный начальник сказал что-то, и один из[1490] офицеров вышел вперед и, остановившись перед закованными, поднял к глазам бумагу[1491] и начал читать. Он читал что-то непонятное по русски, потом тоже столь же непонятное Хаджи-Мурату по татарски. Главный начальник, стоя слушавший бумагу, сказал что-то, и одна часть солдат составила ружья в козлы и, выйдя из рядов, стала подходить к стоявшим двум арбам, на которых были палки, и разбирать их. Остальные солдаты стояли с ружьями перед толпою народа, задерживая его. Когда солдаты,[1492] составившие ружья, разобрали каждый по палке, им скомандовали что-то, и они стали улицей, друг против друга, от того места, где сидел начальник, до рядов солдат, задерживавших народ.[1493] Тогда два солдата подошли к первому из закованных горцев и стали снимать с него цепи. Сняв цепи, они сняли с него и заплатанный старый бешмет и взялись за рубаху. Но горец не дал им и, отстранившись от них, сам разорвал на себе рубаху и стряхнул ее с себя, обнажив свое белое с выступавшими ребрами тело. Загорелые по локоть руки его дрожали и также дрожала скула и всё белое, молодое тело. Горца привязали за руки к прикладу ружья и ввели в улицу, составленную из солдат с палками.

Первый солдат улицы взмахнул палкою и ударил горца по белой спине. Горец вздрогнул и оглянулся: и не успел он оглянуться в одну сторону, как на белую спину упал удар с другой стороны, и на белой спине ясно выступали красные перекрещивающиеся полосы.

Барабаны между тем гремели, наполняя воздух[1494] страшным, жестоким треском. Начальник,[1495] не спуская глаз[1496] с ведомого по рядам горца, не переставал курить, выпуская дым через нависшие на рот усы. Удары один за другим ложились на спину горца, и спина, бывшая прежде белой и худой,[1497] сделалась вся красная,[1498] пухлая, и по распухшему месту сочились кое где струйки крови по белому телу.[1499]

Стоявший подле Хаджи-Мурата старик, не переставая, шептал беззубым ртом молитву, Хаджи-Мурат же, вытянув вперед голову и дрожа всем телом, переступал, не переставая, с ноги на ногу.

Первого горца били до тех пор, пока колена его не подогнулись, так что он стал спотыкаться и упал бы, если бы ведшие его солдаты не потащили его.[1500] Солдаты же с палками продолжали[1501] бить по вспухшей[1502] красной спине, окрашивая кровью концы своих палок.[1503] Когда же горец совсем упал,[1504] барабаны замолкли, и[1505] послышался жалобный стон избитого[1506] человека. Его положили как мертвого на носилки, вынесли за ряды.[1507] Опять что-то крикнул начальник, и опять ударили барабаны, и так же, как первого, раздели старика с потухшими глазами, привязали к ружьям и так же повели по рядам. Старик шел молча и закрыв глаза, только вздрагивал при каждом ударе. Когда его спина стала сплошной раной, старик упал, и этого отнесли за ряды.[1508]

Вслед за[1509] стариком, солдаты подошли к совсем молодому человеку с[1510] чуть пробивавшимися усами и бородкой, в черном бешмете, и солдат кузнец снял с него ножные кандалы и хотел их положить себе на руку, как молодой горец, с необычайной быстротой, вырвал их у него из рук, взмахнул ими над головой солдата и ударил. Солдат зашатался и упал. Начальник вскочил с барабана и, крикнув что-то, направился к горцу. Десять солдат, взяв ружья из козел, подошли к горцу,[1511] держа ружья на перевес.[1512] Горец точно ждал этого. Он бросился на штык ближайшего солдата и, схватив ружье за дуло, воткнул себе его штык в грудь ниже

левого ребра. И этого отнесли за ряды и, так же как и первых двух, забили остальных семерых людей.[1513]

[1514]С этой поры намерение Хаджи-Мурата бежать в горы к мюридам,[1515] для того чтобы быть в состоянии[1516] заставить русских свиней страдать так же, как они заставляли страдать его единоверцев, теперь уже не могло быть более откладываемо, и он решил, во что бы то ни стало, тотчас же привести его в исполнение.

IV

Попытка Хаджи-Мурата бежать в горы, чтобы воевать с русскими, не только не удалась, но, странным образом, привела его к совершенно обратным результатам, к сближению с русскими и даже в служение им.

Хаджи-Мурат[1517] не знал и дороги и не имел оружия. И потому он[1518] уговорил своего товарища, богатого сына муллы, Эльмансура,[1519] бежать вместе с ним. Главная трудность состояла в том, чтобы миновать разъезды.[1520] Во избежание этой трудности Хаджи-Мурат вместе с Эльмансуром[1521] выбрали для побега зимнюю темную ночь.[1522] Выждав в стороне от дороги проехавших караульных, Хаджи-Мурат с Эльмансуром вышли на дорогу и почти бегом пошли по ней до того места, где надо было сворачивать с нее. Эльмансур знал дорогу и руководил Хаджи-Муратом. Пройдя шагов двести без дороги, они подошли к скале, в которой была тропинка, знакомая Эльмансуру, но[1523] в темноте Эльмансур долго не мог найти ее. И когда нашел, не мог итти по ней, так как она стала скользка от выпавшего с вечера тающего мокрого снега. Побившись около часа у тропинки, Эльмансур решил итти в обход. Но для того, чтобы попасть на этот обход, надо было выйти опять на дорогу. А как только они вышли, два верховых, державшие караул, окликнули их и бросились за ними. Эльмансура тотчас же поймали, но Хаджи-Мурат так быстро понял опасность и, ни

минуты не медля, пустился бежать[1524] без дороги, так что конные,[1525] потеряв его из вида, не могли поймать его.

На следующую ночь холодным, голодным, измученным он вернулся домой, сказав, что был у деда, и тотчас поел и лег спать. На утро в их дом пришли нукеры ханши, требовавшей к себе Хаджи-Мурата. Нукеры привели Хаджи-Мурата к ханскому дворцу. Сурхай-Хан, полковник русской службы, управлявший делами ханства, стал допрашивать Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат отрекался от всего, но взятый товарищ его выдал, и Сурхай-Хан велел свести Хаджи-Мурата в арестантскую комнату и посадить в яму, где уже сидели четыре арестанта и пятый Эльмансур.

Яма, в которую был посажен Хаджи-Мурат, была в сажень глубиной, два аршина шириной и аршин пять длиной. Здесь, в этой яме, с пятью другими арестантами и Эльмансуром пришлось Хаджи-Мурату просидеть десять дней. Он бы жестоко пострадал за свою попытку бегства к мюридам, которая преследовалась особенно строго, вследствие признанного ханшей и Сурхай-Ханом союзничества с русскими, если бы не старший брат Осман, сдружившийся со своим эмджеком, т. е. молочным братом, Абунунцал-Ханом, а, главное, меньшая дочь ханши, веселая, красивая Солтанет, та самая, которую сватали за сына кумыкского хана Аслан-Хана, не выпросила бы у ханши его помилования. Через десять дней мучений Хаджи-Мурата, голодного, оборванного, обовшивевшего, провонявшего, вынули оттуда и хотели отпустить домой, но Осман предложил ханам взять брата в нукеры. Ханы согласились, Солтанет прислала Хаджи-Мурату одежду, и Хаджи-Мурата оставили во дворце ханов.

V

Не прошло недели, как Хаджи-Мурат стал любимым нукером всех трех ханов.

Жизнь в богатом дворце, дружба молодых ханов, льстившая его самолюбию,[1526] роскошь и веселье жизни ханской[1527] до

такой степени пленили восемнадцатилетнего Хаджи-Мурата,[1528] что он забыл на время и хазават, и свою ненависть к русским, и желание перейти к Кази-Мулле. Кроме того, случилось так, что в это самое время[1529] и Абдулла, отец Хаджи-Мурата, был убит мюридами, подступавшими к Хунзаху, и Хаджи-Мурат видел, как привезли перекинутое через седло, покрытое черной буркой тело отца с свисшими с одной стороны ногами, носками внутрь, а с другой посиневшими руками, едва не касавшимися земли; видел мать с растрепанными волосами и изуродованными чертами лица, шедшую за конем, везшим тело, раздиравшую себе лицо ногтями и вырывавшую[1530] пряди черных седеющих волос; видел, как Осман шел тоже за убитым отцом и, страшно сверкая глазами, обещал отомстить убийцам отца, т. е. мюридам.[1531]

Так что, кроме того, что Хаджи-Мурат обещал ханам не уходить от них к мюридам, мюриды были теперь виновниками смерти отца,[1532] и ему надо было мстить, а не служить им. Главное же было то, что ему и не хотелось теперь уходить к ним,[1533]

не хотелось нарушать ту беззаботную, веселую жизнь с богатыми молодыми ханами, которую он вел теперь.

Ханы не расставались с Хаджи-Муратом и делали для него всё, чего он желал, и он служил им своим молодечеством, силой, ловкостью, храбростью и смышленостью. Он был так силен и ловок,[1534] был всегда первым, где дело касалось силы и, в особенности, ловкости. Он ударом шашки срубал голову барану и разрезал платок.

[1535]На празднике весны он обежал всех бежавших с ним.[1536] На лошадях хана обскакивал на скачках всех скакунов других аулов. И из винтовки[1537] убивал пулей сороку или галку на[1538] двести[1539] шагов. Все любили его. И всё удавалось ему. В это время он похитил для[1540] Умма-Хана жену красавицу Аминет и, несмотря на то, что знал, что ханская дочь Солтанет любит его, он и сам женился, увезя жену из богатой семьи соседнего аула.

VI

Так прошло два года, и Хаджи-Мурат стал не только любимцем ханов, но и сама ханша Паху-Бике оценила его ум и ловкость и пользовалась его советами и услугами. После смерти Кази-Муллы, убитого русскими в Гимрах, его ближний мюрид Хамзат-Бек продолжал его дело. Чечня и весь Дагестан, кроме Аварии, были в его власти, и всякий час надо было ждать его нападения на Аварию. Это знали все; лазутчики, выходившие из гор, говорили про это и даже Хамзат-Бек присылал послов[1541] к аварским ханам, требуя от них покорности. У аварских ханов не было достаточно войска, чтобы противустоять Хамзату, и потому Хаджи-Мурат предложил ханше отправить его вместе с[1542] Омар-Ханом[1543] в Тифлис просить у русских помощи против[1544] Гамзата.[1545] Ханша согласилась, и[1546] Хаджи-Мурат с Омар-Ханом и переводчиком поехали в Тифлис к главному начальнику барону Розену просить у него войск для защиты Аварии.[1547] Ненависть, которую испытывал Хаджи-Мурат к русским после виденной им казни,[1548] оживилась и усилилась его поездкою в Тифлис.

Хаджи-Мурат был один из тех людей, который, когда брался за какое-либо дело, весь отдавался ему. Теперь дело, на которое он положил всю свою душу, состояло в том, чтобы спасти Аварию, т. е. ханшу, ее дочь, себя, своего деда, мать, молодых ханов, всех, кого он любит, от власти злого Хамзата, которого он знал потому, что Хамзат два года назад, еще будучи мюридом Кази-Муллы, бежал от русских и скрылся у них в Хунзахе. У Хамзата, он знал, было собрано около двадцати тысяч вооруженных, слепо повинующихся ему, горцев, у них же, у аварийцев, не было и пяти тысяч человек, и то не повинующихся и сомнительных по верности ханам.[1549] Хаджи-Мурат ехал в Тифлис с очень ясно определенной целью. Цель эта состояла в том, чтобы защитить Хунзах от Хамзата и иметь возможность продолжать ту же жизнь, которую он вел, и, может быть, осуществить свой план жениться на Солтанет и, из за

добродушных, глуповатых ханов, управлять Авариею. Для всего этого нужно было выпросить у русских хоть два батальона, тысячи полторы[1550] солдат, которые стали бы в Хунзахе и не пускали бы туда Хамзата. В Тифлисе же Хаджи-Мурат узнал ближе русских, и к чувству ненависти к ним присоединилось еще чувство презрения.

Переводчик поместил их, Омар-Хана и Хаджи-Мурата, у кунака грузина и в первый же день отправился с Хаджи-Муратом во дворец главнокомандующего узнать, может ли приехавший из Аварии хан Омар явиться к нему по очень важному делу.

Хаджи-Мурат остался дожидаться на площади против дома, в то время как переводчик вошел во дворец. Через четверть часа Хаджи-Мурата позвали во дворец. Он думал, что его тотчас же приведут к сардарю, как он называл главнокомандующего, и он уже готовил речь ему, но его привели в канцелярию; пришел молодой офицер с длинными усами, — это был адъютант, — и расспросил Хаджи-Мурата об его деле и о том, кто такой Омар-Хан и богат ли он. Узнав, что он богат, офицер записал адрес в Тифлисе и сказал, что сам заедет к ним.

Действительно, в тот же вечер офицер с длинными усами и с другими уже не молодыми офицерами приехал к ним, познакомился с Омар-Ханом и повез его в театр. На другой день тот же офицер повез Омар-Хана обедать, и Омар-Хан вернулся пьяным. Хаджи-Мурат, всегда строго державшийся закона, не пивший вина и не пропускавший время молитв, почтительно посоветовал хану быть осторожнее. Но хан, добродушный и глуповатый, не слушал Хаджи-Мурата и пил, и ездил к женщинам, и стал играть в карты. Тут при этой игре, которая происходила на квартире хана, Хаджи-Мурат почувствовал величайшее презрение к русским. Он видел, что дело, ради которого он приехал и которое не могло не быть важным и для русских, потому что вопрос был в том, останется ли главная сила Дагестана — Авария в дружбе с русскими или будет врагом их, что дело это никого не занимало, а занимало офицера и других, которых он привозил с собой, то, чтобы развратить добродушного, здорового, глуповатого хана и обобрать его, сколько возможно. Когда хан проиграл все свои деньги, с ним

стали играть на его оружие, на кинжал, шашку. И офицеры выиграли у него отцовский, золотом оправленный, кинжал и увезли с собой.

Хаджи-Мурат еще раз ходил ко дворцу, и один от хана, и ответ был один: что главнокомандующий примет меры. На десятый день их пребывания в Тифлисе Хаджи-Мурат объявил хану, что им надо ехать домой и, несмотря на нежелание расслабевшего хана, увез его домой. Денег у хана больше не было. И так кончилась эта несчастная поездка в Тифлис.

VII

То, чего ожидал Хаджи-Мурат, то и случилось. Все соседние аулы передались Хамзат-Беку, и Хамзат подступил к Хунзаху, требуя того, чтобы аварцы прекратили свою дружбу с русскими и приняли бы хазават, т. е. присоединились к нему для борьбы с неверными и освобождения от них мусульман.

Ханша не знала, что ей делать. Сурхай-Хан, ее помощник, несмотря на то, что числился полковником русской службы, был так слаб и стар, что советовал покориться Хамзату; старший хан Абунунцал, такой же глуповатый, как и Омар, но твердый и храбрый человек, советовал собрать дружину и ударить на Хамзата. Хаджи-Мурат, хотя и моложе всех, предложил среднюю меру — не покоряясь и не отказывая в покорности, послать уважаемого старика Нур-Магомета к Хамзату с просьбой прислать сведущего муллу для истолкования тариката и правил нового учения.

Совет этот был принят, и Нур-Магомет с почтенными стариками Хунзаха был отправлен к Хамзату для переговоров. Через день посланные явились обратно, и, к удивлению своему, жители Хунзаха увидали всех своих почетных стариков с выстриженными усами и с подвешенными на нитках, продетых в ноздри, кусками кукурузных лепешек. Один только Нур-Магомет был избавлен от этого позора. Ответ Хамзата состоял в том, что он готов прислать сведущего муллу для истолкования нового

учения, но для того, чтобы он сделал это, он просил прислать к нему в лагерь младшего сына Паху-Бике Бучал-Хана. Кроме того, он велел передать, что если только аварцы примут новое учение, то он не только не уничтожит власть ханов, а, напротив, покорится ей и будет служить старшему хану Абунунцалу так же, как отец его Аликсендер-Бек служил отцу молодого хана Али-Салтан-Ахмет-Хану. О том, что означали куски лепешки, подвешенные к ноздрям почетных жителей, они ничего не говорили, и ханша, и ее сыновья, и приближенные сами могли догадаться, что это означало. И ханша и ее приближенные поняли, что это поруганье почетных жителей означало то, что, «несмотря на все те красивые и льстивые речи, которые передаст вам Нур-Магомет, помните, что вы в моих руках и я могу сделать со всеми вами, что хочу».

Несмотря на всю опасность такого поступка, Паху-Бике послала своего мальчика-сына Бучал-Хана к Хамзату.

Скоро после отправки Бучал-Хана явились новые посланные от Хамзата. Посланные объявили, что для прекращения военных действий имаму, т. е. Хамзату, нужно лично переговорить с молодых ханом Абунунцалом и Омар-Ханом.

Хаджи-Мурат тотчас же понял, что это была хитрость, что Хамзат, вместо того чтобы нападать силою на Хунзах, хотел овладеть ханшей и тогда без борьбы завладеть ханством, и Хаджи-Мурат уговаривал Паху-Бике не отправлять сыновей. Но старая ханша была так напугана, что она готова была на всё, только бы избавиться от нападения. И потому, соглашаясь с подозрениями Хаджи-Мурата, она решила послать только одного хана Омара. Когда же Омар-Хан уехал и два дня не было о нем известий, она стала просить Абунунцала ехать к брату. Абунунцал соглашался с Хаджи-Муратом и опасался измены, но ханша, не помня себя от страха, по женски сказала сыну:

— Считаешься храбрецом, а боишься опасности.

Абунунцал не отвечал матери, велел оседлать своего карабаха и с Хаджи-Муратом и двадцатью нукерами поехал в лагерь Хамзата.

Это было 23 августа.

VIII

Хамзат, сопутствуемый свитой более сотни мюридов, державших вынутые из чехлов винтовки, упертых в правые ляжки, выехал навстречу Абунунцала. Он ехал на белом коре в белой черкеске, высокой папахе, обвитой чалмою; на нем был кинжал, шашка и два пистолета. Позади его ехали мюриды со знаменами, на которых был вышит стих из Корана. Встретив Абунунцала, он повторил то же, что передавал его посланный. Он сказал:

— Я не сделал вашему дому никакого зла и не желаю и не сделаю. Вам сказали, что я хочу отнять у вас ханство, но это неправда. Я, напротив того, только хочу служить тебе так же, как[1551] отец служил твоему отцу. Одно, чего я желаю, это то, чтобы вы не дружили с русскими и не мешали мне проповедывать хазават, как завещал это мне святой муж Кази-Мулла, умерший в борьбе с неверными.

Когда они подъехали к большой палатке, Хамзат слез с коня и взялся за стремя Абунунцала.

— Пойдем в палатку, — сказал он. — Здесь тоже и дорогой гость мой — брат твой.

Всё это было хорошо, но Хаджи-Мурат, бывший подле хана, видел, как серые глаза Хамзата не поднимались до глаз Абунунцала-хана и глядели на ноги людей то в ту, то в другую сторону, и не верил ни одному слову из того, что говорил[1552] Хамзат. Абунунцал вместе с братом сидел с почетными стариками в палатке Хамзата. Нукеры были отведены[1553] под гору, где они привязали лошадей к деревьям и сами расположились на бурках, ожидая обещанного угощения. Хаджи-Мурат, по своему возрасту и положению не имеющий права быть с ханами в ставке Хамзата, а между тем будучи, как друг хана, выше обыкновенных нукеров, отдав лошадь одному из нукеров, вернулся на гору и остановился невдалеке от ставки Хамзата.[1554]

За этой ставкой[1555] была еще небольшая палатка, у входа в которую[1556] стоял молодой человек высокий, широкоплечий, рыжеватый, с прищуренными глазами и величественной осанкой. Человек этот был Шамиль, которого здесь в первый раз увидал Хаджи-Мурат. Он стоял у входа палатки и очевидно ждал Хамзата, потому что как только Хамзат вышел из своей ставки и подошел к той палатке, у которой стоял Шамиль, Шамиль вернулся в нее, и Хаджи-Мурат, прежде стоявший поодаль, неслышными шагами подошел к палатке и услыхал спор Хамзата с Шамилем. Хамзат не соглашался на что-то, Шамиль тихим голосом уговаривал его.

— Куй железо, пока горячо, — наконец сказал Шамиль, — пока ханы будут ханами, они не дадут народу пристать к нам и погубят тебя. Твоя жизнь или ихняя.

Услыхав эти слова, Хаджи-Мурат бросился к лошадям, намереваясь отвязать коней ханов и свою и подвести им. Но, не дойдя еще до лошадей, он услышал стрельбу под горой и увидал, как мюриды, окружив ханских нукеров, стреляли но ним. В одно и то же время он услышал выстрелы и в ставке Хамзата. Поняв, что случилось то самое, чего он боялся, Хаджи-Мурат побежал в гору к ставке Хамзата, но было уже поздно. Омар-Хан в своей обшитой золотом черкеске и бархатном бешмете, купленными в Тифлисе, лежал, судя по неловкому положению и луже крови, очевидно уже мертвый. Абунунцал же, с вынутым кинжалом, отбивался от окружавших его мюридов. Абунунцал был весь в крови и разрубленная щека его висела лохмотом до самого воротника бешмета. Хаджи-Мурат видел, как Абунунцал, прихватив рукой[1557] эту висевшую щеку, бросился на ближайшего мюрида и убил его. В ту же минуту раздался выстрел, и хан упал. Мюриды с визгом бросились на его тело. Хаджи-Мурат, поняв, что ему здесь делать нечего и что всякую минуту могут убить и его, не возвращаясь к лошадям, пустился[1558] пешком под гору и большим обходом, миновав лагерь Хамзата, вернулся к вечеру в Хунзах.

В ханском дворце уже было всё известно. Ханша, страшно растрепанная, в изорванном бешмете сидела на подушках и била себя в худую грудь. Солтанет, как всегда бодрая, молодая,

полная жизни, утешала ее. Увидав Хаджи-Мурата, которого она считала убитым, лицо ее просияло, и она стала расспрашивать его о том, как всё было.

IX

На другой день после смерти ханов, 27 августа 1834 года, Хамзат вступил в Хунзах и поместился в ханском дворце, а ханшу с дочерью выслал в соседний аул.

Но одно преступление неизбежно влечет за собою другое. Страх о том, чтобы Сурхай-Хан,[1559] вместе с ханшей, не призвали к себе на помощь русских, заставил его казнить безвинного Сурхай-Хана, не только не противившегося Хамзату, но советовавшего принять его. Но мало было и этого. Он призвал к себе ханшу и на своих глазах в ее дворце велел убить ее.[1560]

[1561]Хаджи-Мурат из дворца прибежал к деду и рассказал ему, что случилось. Дед в это время сидел с засученными на загорелых мускулистых руках [рукавами] и работал наконечник серебряного кинжала.[1562] Оставив работу, старик поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и сказал:

— Хамзат обманщик не может быть имамом: он погибнет так же, как погубил ханов.

Когда же через несколько дней была убита старуха ханша и возмущенные этим делом[1563] приверженцы ханов пришли к старику Османли, спрашивая у него, что им делать, он сказал:

— Надо взять кровь его за кровь ханов[1564].

Когда же стали говорить, как трудно это сделать, потому что он не выходит никуда без двадцати нукеров, которые расчищают перед ним дорогу и никого не подпускают к нему, то[1565] сильный Осман, молочный брат Абунунцала, сказал:

— Я всё равно убью его. Я не знаю как, но возьму его кровь за голову моего молочного брата.

— Но как ты сделаешь это?

Осман не знал, что ответить, но бывший тут же Хаджи-Мурат сказал:

— Его надо убить в мечети, в пятницу там можно сделать это.

И так это и решено было.

Но дело чуть было не погибло: жена Османа, подслушавшая разговор братьев, передала сестре то, что[1566] подслушала, а сестра — мужу. И Хамзат узнал про заговор и позвал к себе старика деда Османли Хаджиева и спросил его, правда ли, что у него собирались аварцы, уговариваясь убить его? Османли отвечал, что это было неправда, что у него собирались только за тем, чтобы просить Хамзата помиловать меньшего из ханских детей — Булач-Хана.[1567] Хамзат обещал ничего не сделать дурного Булач-Хану и отпустил старика Хаджиева.

13-го сентября был магометанский праздник, и Хамзат собрался в мечеть со своими мюридами. Мюрид, и прежде известивший его о заговоре, узнав, что в этот самый день решено было убить Хамзата, опять стал уговаривать его не ходить в мечеть.

— Что определено Богом, то будет, — сказал Хамзат и пошел в мечеть.

Он сам был вооружен тремя пистолетами; за ним шли двадцать мюридов с обнаженными шашками. Кроме того было объявлено, чтобы в мечеть никто не входил в бурках, под которыми могло бы быть скрыто оружие.

Войдя в мечеть, Хамзат увидал несколько человек в бурках, сидевших на полу.

— Что же вы не встаете, когда великий имам пришел молиться с вами? — крикнул один из людей[1568] в бурках, вскакивая на ноги. Это был сильный и простой Осман, брат Хаджи-Мурата. Хамзат понял, что это был враг, и остановился. Но Осман, как волк за овцой, бросился за ним и выстрелил в него в упор из пистолета. Хамзат еще держался на ногах,[1569] но Хаджи-Мурат подбежал и добил[1570] его, и[1571] имам упал на ковер мечети, обливая его кровью. Мюриды бросились на убийц

и убили Османа, но Хаджи-Мурат выскочил из мечети и с вооруженным народом, стоявшим вокруг мечети, бросился на мюридов, и часть их была убита, часть убежала.[1572]

X

И вот, совершенно для себя неожиданным путем, Хаджи-Мурат был приведен к исполнению своего желания: после смерти ханов аварцы избрали Хаджи-Мурата старшим над собой, и он стал управлять Авариею.

Но защищать одними своими силами Аварию против заместившего Хамзата Шамиля с своими мюридами он все-таки не мог и должен был, подчинившись ненавистным русским, призвать их к себе на помощь.

И русские войска заняли Хунзах. Главным же управителем Аварии главнокомандующий Кавказа нашел неудобным признать молодого, не ханского происхождения человека, как Хаджи-Мурат, и назначил старшим над ним хана Мехтулинского Ахмет-Хана.

Ахмет-Хан был глупый человек, и потому генерал Клюгенау, командующий войсками в Аварии, оказывал особенное расположение к Хаджи-Мурату. Это вызвало зависть Ахмет-Хана, и он обвинил Хаджи-Мурата в измене и переписке с Шамилем и отвел к коменданту крепости, который привязал Хаджи-Мурата к пушке и так продержал его девять дней. Когда же под конвоем повели Хаджи-Мурата в Темир-Хан-Шуру к Клюгенау, он, проходя узкой тропинкой с солдатом, державшим его за веревку, которою он был связан, вместе с солдатом бросился под кручь. Солдат убился до смерти, а Хаджи-Мурат сломал ногу, дополз до аула и там, пролежав шесть недель, вылечился, хотя одна нога и стала короче другой, и с тех пор стал уж открытым врагом русских. Собрав большую партию приверженцев, он долго держался независимо и от русских, и от Шамиля и не принимал ни от тех, ни от других предложений присоединиться к ним и держался в рядовом ауле.

Русские, под начальством Бакунина, приехавшего из Петербурга и желавшего отличиться молодого генерала, напали на него, но он отбил их и убил самого Бакунина. Тогда Ахмет-Хан в Хунзахе убил двоюродных братьев Хаджи-Мурата. Чтобы отомстить ему, Хаджи-Мурат собрал партию и напал на его владения и разорил несколько аулов.

Между тем Шамиль всё усиливался и усиливался, и, несмотря на нелюбовь Хаджи-Мурата к нему за его участие в убийстве ханов, он вынужден был согласиться на его предложение и, соединившись с ним, стал, уже как наиб Шамиля, управлять Авариею.

№ 61 (рук. № 48).

[1573]Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами.[1574] Происходило то, что или под предлогом защиты своих, тогда как нападение всегда вызвано обидами сильного соседа,[1575] под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живет несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или еще под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодейства над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними.

Так это было на Кавказе, когда, под предлогом чумы, в 1806 году жителям запрещалось выходить из аулов и тех, кто нарушал это запрещение, засекали на смерть. Так это было, когда для того, чтобы отличиться или забрать добычу, русские военные начальники вторгались в мирные земли, разоряли аулы их, убивали сотни людей, насиловали женщин, угоняли тысячи голов скота и потом обвиняли горцев за их нападения на русские владения.

Когда император Александр I, делая выговор Ртищеву, писал ему по случаю ничем не вызванного набега на мирную

Чечню, сделанного Эристовым, что устанавливать сношения с соседними народами надо не жестокостью, а кротостью, то все кавказские деятели считали такие указания[1576] ошибочной сентиментальностью, порождаемой незнанием характера горцев. Ермолов, один из самых жестоких[1577] людей своего времени, считавшийся очень мудрым государственным человеком, доказывал государю вред системы заискивания дружбы и доброго соседства.[1578] Одна только самая ужасная жестокость,[1579] по его мнению, могла установить правильные отношения между русскими и горцами.[1580] И он [на] деле проводил свои теории. Так, за[1581] убиение горцем русского[1582] священника, он велел повесить убийцу, — это было в Тифлисе, — не за шею, а за бок на крюк,[1583] приделанный к виселице. Когда же после страшных, продолжавшихся целый день мучений горец сорвался как то с своего крюка,[1584] то Ермолов велел перевесить[1585] его за другой бок[1586] и держать так, пока он умрет.

Но мало того, что считались полезными и законными всякого рода злодейства, столь же полезными и законными считались всякого рода коварства, подлости, шпионства, умышленное поселение раздора между[1587] кавказскими ханами.[1588] Русские начальники не только говорили, но и думали, что они этим способом умиротворят край. В действительности же такой образ действий заставлял горцев всё больше и больше сплачиваться между собой и подчиняться отдельным лицам, которые призывали их к защите их свободы и отмщению за все совершаемые русскими злодеяния. Таков был еще в 1788 году шейх Мансур, потом таким же[1589] был Кази-Мулла, первый проповедывавший хазават, и таков же в 51 году был Шамиль.[1590] Шамиль уже семнадцать лет властвовал над народами Дагестана и Чечни, когда в 1851 году он почувствовал, что[1591] один из его наибов, аварец Хаджи-Мурат, может сделаться его соперником и, хотя не у него, то у соседей его, когда он умрет, отнять ту власть, которую он намеревался передать им.

[Редакция десятая]

№ 62 (рук. № 51, гл. I).

ХАДЖИ-МУРАТ

Хаджи-Мурат был одним из знатнейших и храбрейших и потому опаснейших для русских наибов Шамиля. Он воевал с русскими четырнадцать лет и почти всегда был победителем. С своими конными отрядами он делал неимоверные переходы, появлялся там, где его не ждали, с необычайной смелостью и верностью расчета нападал, побивал и уходил. Он врывался в города, в которых были русские войска, — похитил так ханшу из ее дворца со всем ее штатом и имуществом. Он был один из тех людей, про которых не знаешь: от того ли они так смелы, что всегда счастливы, или от того им всегда удача, что всегда отчаянно смелы.

№ 63 (рук. № 51).

ХАДЖИ-МУРАТ

Это было на Кавказе в 50-х годах, в то время, когда горсть горцев, подчиняясь духовно религиозному вождю своему Шамилю, успешно боролась уже несколько десятков лет[1592] с силой шестидесятимиллионного государства. Успех горцев надо было приписать тому, что русские баловались в войну, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случай раздавать и получать кресты и награды, главное же тому, что горцы голодные, оборванные, с средневековым

оружием и с теми пушками и снарядами, которые они отнимали у русских, из последних сил, с отчаянным религиозным упорством боролись за свои дома, за свои семьи, за свою веру. Шамиль, когда то силач, джигит, окруженный ореолом религиозного величия, жил в Веденях, только изредка показывая народу свою высокую величественную фигуру, решал судьбу всего подчиненного его народа,[1593] разорял, вырывал глаза, казнил иногда целые семьи, целые аулы, изменявшие хазавату — священной войне, и через своих избранных наибов управлял всем краем неприступных гор Аварии и Чечни.

Из[1594] девяти наибов, управлявших и воевавших с русскими, один Хаджи-Мурат выдавался перед всеми своим необыкновенным[1595] личным молодечеством, отвагой и счастием, благодаря которым он делал необыкновенные набеги, врываясь в русские города и мирные аулы, и всегда счастливо уходя от нападающих.

В 51 году Хаджи-Мурат пользовался такой славой среди народов Аварии и Чечни, что Шамиль стал подозревать его в измене, стал следить за ним, стеснять его, отнимать у него его имущество. Хаджи-Мурат, еще с молоду имевший счеты с Шамилем, не перенес этих нападков и решил прямо восстать против Шамиля. Но Шамиль был сильнее, и Хаджи-Мурат, увидав, что он не пересилит влияния Шамиля, решил бежать к русским, у которых он служил когда то, когда еще жил с аварскими ханами.

Было раннее осеннее утро, когда по крутой каменной дороге, ведущей в аул, расположенный на крутой горе,[1596] закутанный башлыком, в бурке, из которой торчало ружье, подъезжал Хаджи-Мурат с[1597] молодым аварцем Сафедином. Весь аул курился дымом из плоских крыш нагроможденных почти друг на друга в полугоре саклей. Вверху была площадь, на площади мечеть с минаретом, и на минарете мулла только что прокричал призыв к молитве. Хаджи-Мурат не поехал в гору, а, сказав несколько слов Сафедину, повернул влево и, обогнав двух женщин в желтых рубахах, несших кувшины на головах, подъехал к сакле, врытой в полугоре, и остановился. На крыше

поднялся из под овчинной шубы старик и, сказав: «селям алейкум» и получив ответ,[1598] спросил, кого ему нужно. Хаджи-Мурат открыл лицо и улыбнулся. Старик узнал его и тотчас же полез по лестнице вниз[1599] и взялся за стремя, приглашая слезть. Старик был[1600] чеченец, тесть Хаджи-Мурата, во второй раз женатого на чеченке из этого аула.[1601] Хаджи-Мурат слез и вошел в саклю. Спавшие на полу у камина поднялись и убрали подушки и кошмы. Старший внук побежал на площадь звать хозяина, шурина Хаджи-Мурата, женщины убрали саклю, положили пуховики, ковер и предложили Хаджи-Мурату снять оружие и садиться.

Скоро прибежал с горы в туфлях на босу ногу и в расстегнутом овчинном тулупе с истертой папахой на затылке бритой головы, широко размахивая руками, сам хозяин, спавший в мечети.

Поздоровавшись и помолившись по обычаю Богу, приставив руки к лицу, хозяин,[1602] приказав женщинам готовить еду, сел на корточки против Хаджи-Мурата и начал разговор о том, что было нужно знать Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат[1603] открыл зятю свое намерение[1604] предаться русским,[1605] от него же требовал, чтобы он съездил в горы, где была задержана его семья, и постарался бы выручить ее, за что он обещал ему сто червонцев, дав тотчас же в задаток десять золотых,[1606] и, кроме того, он просил[1607] дать ему проводника до того места, где начиналась русская цепь. Шурин[1608] выразил полное сочувствие намерению Хаджи-Мурата и обещал послать сына, знающего все дороги, обещал позаботиться о семье. В душе же он[1609] только желал одного, чтобы Хаджи-Мурат как бы скорее[1610] уехал от него. Вчера только был объявлен приказ Шамиля всем горцам взять или убить, если не дастся, Хаджи-Мурата и доставить его к Шамилю. Шурин[1611] сам не выдал бы его, особенно теперь, когда он был его гостем, но боялся, как бы не узнали в ауле, где всё известно, и не потребовали бы его выдачи.

Во время разговора вошли две женщины. Одна с кумганом и тазом для омовений перед едою, другая с низким столиком, на котором были лепешки, блины, сыр и баранина. Женщины, не поднимая глаз, молча и тихо поставили принесенное перед гостем и неслышно вышли, мягко ступая по земляному полу. За едой Хаджи-Мурат разговаривал и шутил с хозяином и Сафедином, не обращая внимания на шум и говор на улице перед саклей. Закусив, Хаджи-Мурат стал надевать оружие и вышел.[1612] Громко говорившая толпа замолкла. Сафедин подал лошадь, старик взялся за стремя, и Хаджи-Мурат выехал никем не тронутый с Сафедином и хозяйским сыном. Но только что он выехал, как начался говор, спор, крик. Одни требовали ехать остановить его, другие говорили, что этого не надо.

Хаджи-Мурат с двумя спутниками, не ускоряя хода, спустились в долину, переехали по каменистому броду ручей, поднялись на горку. Сафедин крикнул по орлиному. Ему ответили таким же криком. Солнце уже вышло из за гор и клало резкие тени дерев в лесу, покрытом росою. Всадники въехали в лес и, проехав чащу, выбрались на поляну, где паслись стреноженные четыре лошади и у костра сидело четыре горца: рыжий старик; широколицый, с могучими плечами аварец; черноглазый чеченец и худой, длинный, кривой горец. Это были вместе с спутником его Сафедином пять человек его мюридов, которые с ним вместе выходили к русским.[1613]

Чеченец с кривым горцем, которых он посылал лазутчиками в Воздвиженское, тотчас же стали рассказывать ему, как они были у русских, у самого князя, и как он сказал, что завтра ждет их на Аргуне.

Хаджи-Мурат одобрительно кивал головой.[1614] Потом, достав золотой, дал[1615] племяннику и расстался с ним. Не успели они еще сесть на лошадей, чтобы ехать, когда по той дороге, по которой они приехали, раздались топот лошадей и крики. Это, очевидно, жители аула ехали за ним, желая

задержать его или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Лицо Хаджи-Мурата вдруг повеселело. Он вскочил на лошадь, достал из чехла винтовку — его спутники сделали то же — и выехал из чащи на дорогу.[1616] Жители аула были шагах в ста пятидесяти.

— Что надо? — закричал он им. — Взять, свести к рыжей собаке Шамилю. Ну бери! — крикнул он,[1617] поднимая винтовку.

Жители аула молчали. Хаджи-Мурат повернул лошадь и стал спускаться вниз, постоянно оглядываясь. Когда он переехал на другую сторону лощины, те все стояли и что то кричали ему. На той стороне лощины был крупный лес. Хаджи-Мурат с свитой въехал в него, и преследователей перестало быть видно.

Сын шурина указал дорогу и простился. Хаджи-Мурат с свитой поехали вперед. Впереди в лесу слышны были удары топоров, треск падающих деревьев и русский говор.

В[1618] ту самую ночь, когда Хаджи-Мурат подъезжал к аулу, в крепости...

№ 64 (рук. № 51).

Героем этой истории был один из наибов (генерал-губернаторов) Шамиля, славившийся своим молодечеством, ловкостью, военным счастьем аварец Хаджи-Мурат.[1619]

Хаджи-Мурат в продолжение двадцати лет воевал с русскими, делая необыкновенные по смелости набеги на покорные русским аулы, на русские крепости, города, везде забирая табуны лошадей, стада скотины, пленных и всегда успешно проскальзывая или пробиваясь через русские войска, пытавшиеся остановить или поймать его.

В 1852[1620] году Хаджи-Мурат пользовался такой славой среди кавказских народов, что Шамиль, властвовавший над народами Кавказа, стал бояться его, усматривая в нем соперника своей власти. Для того чтобы погубить его, Шамиль

послал Хаджи-Мурата в Табасарань, дав ему вместо трех тысяч человек, которых он требовал, только пятьсот человек, надеясь, что он погибнет в этом походе, но Хаджи-Мурат и с[1621] этой горстью людей разорил табасараньские аулы, забрав в плен семью брата Шамхала Тарковского,[1622] и с тысячью лошадей и скота вернулся в Аварию. Тогда Шамиль потребовал от Хаджи-Мурата две тысячи пятьсот рублей денег и[1623] дорогую шубу.

Хаджи-Мурат дал всё это. Шамиль потребовал тогда к себе самого Хаджи-Мурата. Поняв, что Шамиль хочет погубить его, Хаджи-Мурат решил прямо восстать против[1624] него и, напав на его мюридов,[1625] прогнал их и отбил у них лошадей.[1626] Духовенство стало мирить двух врагов, но согласие не состоялось. В это время русский генерал Аргутинский, узнав про ссору Шамиля с Хаджи-Муратом, предложил Хаджи-Мурату выйти к русским. Хаджи-Мурат[1627] вступил в переговоры с Аргутинским и выслал всё свое имущество — деньги, часы, кольца в более близкий к русским аул Гехи. Но один из мюридов Хаджи-Мурата изменил ему, и мюриды Шамиля захватили всё имущество Хаджи-Мурата и выжидали случая захватить его самого, чтобы предать его Шамилю.

[1628]Друзья Хаджи-Мурата передали ему, что Шамиль решил казнить его. Хаджи-Мурату ничего не оставалось, как передаться русским. И вот Хаджи-Мурат с пятью верными ему мюридами подъехал к ближайшей русской крепости и, оставив в лесу четырех из своих спутников, с одним любимым своим мюридом Сафедином, поехал в ближайший чеченский аул, где жил его тесть, чтобы взять оттуда[1629] человека, который проводил бы его посланного к русским для установления с ними окончательных условий своего выхода к ним.

Был ноябрьский холодный, но тихий вечер, когда Хаджи-Мурат с Сафедином верхами на измученных лошадях въезжали в аул по крутой каменной дороге.

№ 65 (рук. № 51).

Был ясный ноябрьский вечер, когда Хаджи-Мурат и его любимый мюрид, аварец Сафедин, оба верхами, подъезжали по крутой каменной дороге к ближайшему к русским владениям чеченскому аулу Маиур-Тупу. На Хаджи-Мурате была бурка, из под которой виднелись только ноги в черных ноговицах и красных чувяках, и высовывалась винтовка в чехле.

Лицо у Хаджи-Мурата было до половины закрыто белым башлыком сверх папахи. Почти так же был одет и Сафедин, только башлык на нем был желтый и чувяки черные. За седлом у Сафедина были переметные сумы. Под Хаджи-Муратом был невысокий породистый мерин с острыми подвижными ушами на маленькой голове, с блестящими на выкате глазами. Сафедин ехал на серой, почти белой, загрязненной по брюхо, большеголовой с кадыком, высокой, ногайской, поджарой лошади.

Аул, в который они въезжали, весь курился дымом из плоских крыш, нагроможденных почти друг на друге в полугоре, саклей. Народ был весь наружу и на крышах, и само собою все занялись рассматриванием всадников.

Хаджи-Мурат не поехал в гору, а, сказав несколько слов Сафедину, повернул влево, на еще более крутой подъем.

На подъеме вторая сакля была та, к которой он направлялся. Подъехав к сакле, он остановил лошадь и поглядел вверх. На крыше поднялся старик в овчинной шубе и, сказав «селям алейкум» и получив ответ, спросил, кого нужно? Хаджи-Мурат открыл лицо и улыбнулся. Старик узнал его и тотчас же полез по лестнице вниз. Слезши вниз, он взялся за стремя Хаджи-Мурата, приглашая его слезть.

Старик был чеченец, тесть Хаджи-Мурата, во второй раз женатого на чеченке из этого аула.

№ 66 (рук. № 51).

Ближайший к русским владениям аул был чеченский аул Маиур-Туп. И в этот то аул вечером 20 ноября 1852[1630] года

въезжал Хаджи-Мурат с своим любимым мюридом Сафедином. Оба были в бурках, оттопыривавшихся винтовками, и лица обоих были закутаны башлыками. За седлом у Сафедина была переметная сума.

Аул, в который они въезжали, весь курился дымом из плоских крыш, нагроможденных почти друг на друга в полугоре, саклей. Народ был весь наружу и на крышах и на пути к фонтану и от него. В тихом воздухе был отчетливо слышен звук железных подков, ударявшихся о камень дороги, и само собою, все стали рассматривать въезжавших всадников.

Хаджи-Мурат не поехал в гору, а повернул влево, на еще более крутой подъем. И на подъеме остановил лошадь у второй сакли справа. На крыше поднялся старик в овчинной шубе и, сказав «селям алейкум» и получив ответ, спросил, кого нужно? Хаджи-Мурат открыл лицо и кивнул головой, указывая глазами на дверь сакли. Лицо старика вдруг изменилось, и он, покачивая головой на худой загорелой шее, быстро полез по лестнице вниз с крыши. Слезши, он взялся за стремя Хаджи-Мурата и крикнул что то по чеченски в отверстие без стекла, служившее окном сакли. Старик был тесть Хаджи-Мурата, во второй раз женатого на чеченке из этого аула. Две женщины с жестяными, наполненными водой кувшинами на головах, одна в желтой рубахе, в красных шароварах и зеленом бешмете, другая в красной рубахе, синих шароварах и желтом бешмете, подходили в это время к той же сакле. Одна была жена шурина Хаджи-Мурата, другая ее тринадцатилетняя дочь. Старик что-то повелительно сказал женщинам, и они поспешно молча, нагнув головы и отворачиваясь, прошли в дверь сакли. Из за сарая выбежал черноглазый мальчик, которого старик дед тотчас же послал в мечеть за сыном. Введя Хаджи-Мурата в саклю, старик стал снимать с него бурку и оружие, вошедшая же старуха принесла пуховики, ковер и, поздоровавшись с Хаджи-Муратом, постелила всё в переднем углу.

Оставив при себе кинжал и два пистолета, Хаджи-Мурат сел на пуховики и стал очевидно из приличия спрашивать старика о здоровии его, его сыновей и внуков. Старик, сидя на пятках, коротко отвечал и, когда вопросы кончились, опустив голову,

помолчал, потом тяжело вздохнул и стал говорить о том, что только нынче утром были здесь мюриды Шамиля, разыскивающие Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат спокойно слушал и ничего не отвечал, а только спросил у вошедшего Сафедина, расседлал ли он коней.

— Нет, — отвечал Сафедин.

— Якши, — одобрил Хаджи-Мурат и стал в тишине прислушиваться к звукам голосов наруже. Послышались быстрые шаги человека, стучавшего каблуками по камням, и шурин, запыхавшись, в расстегнутом овчинном тулупе и в туфлях на босу ногу, с истертой папахой на затылке бритой головы, широко размахивая руками, вошел в саклю. Поздоровавшись и помолившись по обычаю Богу, приставив руки к лицу, он сел на корточки против Хаджи-Мурата и начал разговор о том, что было нужно знать Хаджи-Мурату. Шурин сказал, что мюриды были и уехали, но что надо быть осторожным, потому что они могут вернуться, а кроме того и жители аула могут попытаться задержать Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат ничего не сказал на это, а только спросил, может ли шурин дать ему проводника, с которым он мог бы послать своего мюрида к русским, с тем, чтобы установить последние условия и место встречи.

Из слов Хаджи-Мурата шурин понял, что Хаджи-Мурат имеет намерение дожидаться у него возвращения своего мюрида, и это очень огорчало и пугало его. Он однако не показал вида этого и обещал тотчас же послать своего меньшого брата проводником. Когда меньшой брат был призван, Хаджи-Мурат сказал ему, что его пять человек мюридов ожидают его в лесу за Аргуном, чтобы он спросил Аслан-Бека и проводил бы его к русским. Аслан-Беку уже всё приказано. Ответ же Хаджи-Мурат подождет здесь.

Во время этого разговора вошли опять женщины: молодая в желтом, с кувшином и тазом для омовения перед едой, и другая девочка — с низким столиком, на котором были лепешки, блины, сыр и баранина. Хаджи-Мурат замолчал, как только вошли женщины, и молчал всё время, пока они, не поднимая глаз, установивши принесенное перед гостями, выходили из сакли.

Он продолжал говорить только тогда, когда совершенно затихли мягкие шаги женщин по земляному полу.

Окончив наставление меньшому шурину о том, что он должен делать, Хаджи-Мурат омылся и принялся за еду, пригласив с собою и Сафедина.

№ 67 (рук. № 51).

Шамиль, узнав о переговорах Хаджи-Мурата с русскими, захватил и имущество и семью Хаджи-Мурата и велел своим мюридам доставить к нему Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Хаджи-Мурату ничего не оставалось, как передаться русским. Выехав ночью с пятью верными ему нукерами из Цельмеса, он проехал более пятидесяти верст и к утру остановился в лесу около Шали, в восьми верстах от передовой русской крепости Воздвиженской. Пробыв целый день в лесу, он вечером с одним любимым своим мюридом Сафедином поехал в ближайший чеченский аул, чтобы найти там проводника, который проводил бы одного из своих мюридов к русским для окончательных переговоров о его выходе.

Был ноябрьский,[1631] холодный, ясный, тихий вечер, когда Хаджи-Мурат с Сафедином, оба в бурках и закутанные башлыками, въезжали в курившийся душистым кизячным дымом аул. Дорога шла по крутому каменному подъему, ведущему к мечети и площади.

В тихом воздухе только что затихло пение муэдзина, слышны были женские, детские и мужские голоса и мычание коров, и пахло кизяком и молоком.

№ 68 (рук. № 51).

Аул весь курился душистым кизячным дымом, выходившим из глиняных труб, нагроможденных в полугоре, одна над другою,

плоскокрыших саклей.

№ 69 (рук. № 51).

В тихом воздухе только что затихло напряженное пение муэдзина и отчетливо слышны были женские голоса снизу от фонтана и детские и мужские голоса из[1632] саклей, нагроможденных одна над другой по всей горе. Народ был весь наружу на улице и на плоских крышах и потому Хаджи-Мурат, чтобы не быть замеченным, не поехал прямо в гору, а повернул влево на еще более крутой подъем. Железные подковы лошадей завизжали по обсыпавшимся камням, и седоки, придерживая ружья за спинами, согнулись над шеями лошадей.

У второй сакли, врытой с правой стороны в землю, с галлерейкой в передней стороне, Хаджи-Мурат остановил свою лошадь и, поставив ее поперек дороги, цокнул по направлению к крыше сакли, на которой подле глиняной трубы лежал кто-то под тулупом. Из под тулупа поднялся старик и, очевидно не узнавая, смотрел на подъехавших.

№ 70 (рук. № 51).

[1633]В 40-вых[1634] годах самым знаменитым[1635] наибом Шамиля был Хаджи-Мурат[1636].

В[1637] конце 1851-го года Хаджи-Мурат поссорился с Шамилем и решился бежать к русским.

[1638]Был холодный, ясный ноябрьский вечер, когда Хаджи-Мурат с любимым мюридом своим Сафедином, оба закутанные башлыками, в бурках, из под которых торчали винтовки за спинами, въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский аул, ближайший к русским владениям со стороны крепости Воздвиженской.

№ 71 (рук. № 51).

Хаджи-Мурат не поехал прямо улицей, ведшей к площади и мечети, на которой слышались оживленные мужские голоса, а повернул влево в проулок, в котором сакли со своими двориками стояли еще теснее друг к другу. Впереди его шла женщина с жестяным кувшином за спиной и кумганом в руке, из которого капала только что набранная из ключа студеная светлая вода. Не желая быть узнанным, Хаджи-Мурат, отвернув голову от женщины, тронул мягким чувяком лошадь, и она быстрым проездом, за которым Сафедин должен был поспевать, рысцою обогнала женщину и подвезла его к длинной новой сакле, на крыше которой за глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. На галлерее, окружавшей саклю, никого не было. Хаджи-Мурат поднял голову и цокнул языком по направлению к крыше сакли, чтобы обратить на себя внимание человека, лежащего там.

№ 72 (рук. № 51).

В то время, как Хаджи-Мурат и его спутник слезали с лошадей, две женщины с жестяными кувшинами на головах и небольшими кумганами, наполненными водою, в руках, подошли к сакле. Одна из них, старшая, была в желтой рубахе, красных шароварах и нагольной шубе, из под которой виднелся зеленый бешмет, другая, меньшая, девочка подросток с блестящими черными глазами, была одета в красную рубаху, синие шаровары и желтый, старый, заплатанный бешмет. Одна была жена хозяина, сноха старика, другая дочь хозяина, его внучка. Старик что то повелительно сказал им, и они молча, нагнув головы и отворачиваясь от гостя, прошли в дверь сакли. Из сарайчика подле сакли между тем выскочил черноглазый, бойкий, веселый мальчик лет пятнадцати в одном бешмете и стоптанных чувяках и, остановившись в дверях, спросил: «что

надо?» Старик приказал ему бежать в мечеть звать сына и, передав лошадь Сафедину, повел Хаджи-Мурата в саклю. В сакле уже раскидывала ковер и подушки немолодая женщина, пришедшая с водою. Она, поздоровавшись с гостем,[1639] опустила глаза и, позванивая монетами, покрывавшими ей всю грудь, разместив у передней стены подушки для сидения, тихо вышла.

Хаджи-Мурат снял бурку, винтовку и шашку, и старик осторожно повесил всё это подле висевшего оружия хозяина и больших двух тазов, одного медного, другого жестяного, тоже висевших на чисто вымазанной и забеленной стене.

Пригласив гостя садиться на приготовленное женщиной сиденье, старик сел против него на свои голые пятки и, подняв руки ладонями кверху, закрыл глаза и прочел молитву, и Хаджи Мурат сделал то же. Когда же кончилась молитва, он, тотчас же нахмурившись, стал спрашивать старика о здоровье его, его сыновей и внуков. Он очевидно делал это только из приличия. Старик коротко отвечал и, когда вопросы кончились, опустив голову, замолчал.

— Что нового у вас? — спросил Хаджи-Мурат.

Старик знал, что нынче утром были в их ауле мюриды Шамиля, разыскивающие Хаджи-Мурата, и что они обещали от имени Шамиля награду тому, кто доставит в Ведено-Дарго Хаджи-Мурата, живого или мертвого, и, напротив, угрожали казнью тому, кто примет и скроет его. Но Хаджи Мурат был их кунак и теперь их гость и потому он не стал говорить про это, а только тяжело вздохнул и сказал, что новостей нет. «Только, слышно, русские собаки опять разорили два аула».

Хаджи-Мурат спокойно слушал и ничего не отвечал и только спросил у вошедшего Сафедина, расседлал ли он коней.

— Нет, — отвечал Сафедин.

— Якши, — одобрил Хаджи-Мурат. Сафедин так же, как и Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и так же, как и он, оставил при себе кинжал и пистолет.

Хаджи-Мурат спросил старика, далеко ли до русской крепости. Старик объяснил, что прямо так близко, что когда тихо, то слышны барабаны.

— Сейчас слышно будет, — сказал он и, затихнув, обратил ухо к открытой двери.

Барабанов однако не слышно было, а слышались только оживленные голоса мужчин и быстрые, приближающиеся шаги человека на деревянных каблуках, стучавших по крепкой дороге и приближавшихся к двери сакли.

Это был Нур-Мустафа, хозяин дома и кунак Хаджи-Мурата.

Сняв туфли с деревянными башмаками у двери, Нур-Мустафа в мягких чувяках, подоткнутой черкеске, с истертой папахой на затылке давно уже бритой, зарастающей черным волосом головы, запыхавшись, вошел в саклю. Он тотчас сел на корточки против Хаджи-Мурата, и, подняв руки ладонями кверху и пошептав молитву, он отер руками лицо и только тогда поздоровался и начал разговор о том, что было нужно знать Хаджи-Мурату.

Нур-Мустафа сказал, что мюриды были и уехали, но что надо быть осторожными, потому что они могут вернуться, а кроме того и в ауле есть люди, преданные Шамилю, которые, узнав о приезде Хаджи-Мурата, могут задержать его. Хаджи-Мурат ничего не сказал на это, только спросил шурина, может ли он дать ему проводника, с которым он мог бы послать своего мюрида к русским, с тем, чтобы установить последние условия и место встречи.

— Брата пошлю, — сказал Нур-Мустафа. — Он дорогу знает, ходил лазутчиком к князю. Он проведет. — И Нур-Мустафа тотчас же вышел, чтобы позвать брата. Брат этот был не родной, но названный. Это был уже не молодой, мрачного вида, худой, чернозагорелый чеченец в оборванной черкеске и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с ним и подробно и медлительно разъяснил ему, где он найдет его мюридов и как он, найдя их, спросит Аслан-Бека и как с ним вместе должен будет итти к русским.

— Аслан-Бек всё знает, что нужно, — сказал Хаджи-Мурат. — Я ему всё приказал. За труды получишь три монеты.

Чеченец при каждой остановке речи Хаджи-Мурата кивал головой в знак того, что он понял. Когда же Хаджи-Мурат кончил,

он щелкнул языком и сказал, что он не из-за денег готов служить Хаджи-Мурату, а потому, что считает его великим джигитом.

№ 73 (рук. № 51).

Когда Саффедин кончил есть,[1640] женщины[1641] убрали еду и кувшин.[1642] В сакле[1643] стало уже темно.[1644] Садо вышел вслед за женщинами и вместе с сыном принес еще подушек, ковров и две шубы и предложил гостям спать.

— Чтобы женщины не болтали, — сказал Хаджи-Мурат.

— Я приказывал — отвечал Садо. — Всё равно в моем доме, пока я жив, кунаку никто ничего не сделает. Спи спокойно, — сказал он.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал[1645] жестоко[1646] пострадать за это, так как Шамилем[1647] было объявлено всем[1648] жителям Чечни под угрозой казни, что он казнит всех тех, кто примет Хаджи-Мурата,[1649] и потому что жители аула[1650] решили выдать Хаджи-Мурата, если он встретится им. Теперь же они всякую минуту могли узнать про его присутствие, и тогда действительно пришлось бы умереть, защищая[1651] своего гостя. Он знал, что опасность[1652] была большая, но во-первых, как ни велика была опасность, он считал своим долгом пожертвовать жизнью для защиты гостя — кунака, а во-вторых, всякое волнение, опасность, игра своей жизнью были приятны ему. И он [был] теперь в особенно возбужденном и веселом состоянии.

№ 74 (рук. № 51).

Садо рассказал, что он сам был[1653] там и[1654] узнал, что[1655] семью держат у наиба, но что увидать их ему не удалось.[1656]

Кроме того, он узнал, что Шамиль[1657] везде объявил, чтобы никто к себе не пускал Хаджи-Мурата и доставил его к нему — живого или мертвого.

— Долго будет ждать, — коротко сказал Хаджи-Мурат. — А Мустафу видел?

— Видел. Он обещал,[1658] — и Садо подробно рассказал, как он[1659] тайно виделся с Мустафой[1660].

№ 75 (рук. № 51).

Он сказал, что мюриды были здесь и требовали не пускать Хаджи-Мурата и выдать его, если он приедет, но что[1661] он прежде умрет со всем своим семейством, чем выдаст его, и что Хаджи-Мурат может жить у него сколько хочет, что он дорогой гость. Он говорил это и смотрел в глаза Хаджи-Мурату, а Хаджи-Мурат видел, что это была неправда, что он очень не рад его посещению, но не мог сказать этого. Хаджи-Мурат[1662] одобрительно кивал головой и, когда Садо кончил, сказал ему, что он приехал к нему сам друг, но что четыре мюрида его дожидаются его в лесу за Аргуном и что один из этих дожидающихся его в лесу мюридов должен итти по его поручению[1663] к русским в Воздвиженское, но мюриды аварцы не знают дороги и потому не может ли хозяин дать проводника?

№ 76 (рук. № 51).

Старик[1664] придвинулся к столику и подвинул Хаджи-Мурату мед — свое произведение,[1665] прося его откушать. Хаджи-Мурат взял еще кусок чурека, меду на ножик из под кинжала и стал есть. Старик, радостно улыбаясь беззубым ртом,[1666] сидел против него.

№ 77 (рук. № 54).

— Ну, а что пчелы как? — спросил Хаджи-Мурат.

— Пчелы, слава Богу. Я вчера только с пчельника, он у меня в лесу. Сейчас моего меду покушаешь, — говорил старик, оживившись при разговоре о своем любимом деле.

№ 78 (рук. № 51, гл. II).

Кондицкий был десятилетний солдат из Западного края. У него всегда были деньги, родные присылали ему. Кроме того он сам был и портной и шорник и зарабатывал деньжонки. По службе он был неисправен и слаб, но он оказывал услуги начальству и его не обижали. Другой солдат Никитин был[1667] тонкий, ловкий, белокурый красавец[1668] из крестьян Орловской губернии. Дома остались молодая еще мать[1669] и три брата с женами и ребятами.[1670] Петр был[1671] не женат и пошел охотой за брата. Но[1672] солдатская служба так показалась тяжела ему, что он стал пить, когда мог и было на что[1673] и даже раз попытался бежать, сам не зная куда, только чтобы избавиться от тоски, которая съела его. После того как[1674] его жестоко наказали за побег, он махнул на себя рукой и[1675] еще хуже затосковал, так что вошь заела его, и только ждал случая, когда мог напиться. Несмотря на это, товарищи почему то любили, жалели его и в особенности мрачный Панов, бывший его дядькой.

— Ну что ж, давай и мне покурить, — сказал Петр своим особенно приятным ласкающим тенором, садясь на[1676] корточки подле Кондицкого.

— А что своего не заведешь?[1677] — сказал Кондицкий. — Вот дай дядя Антоныч откурится.

— Хорошо, как тебе из дома посылают, а мои от меня ждут.

— Ну, чего захотели, — проговорил Панов, отрываясь от трубки и с каждым словом выпуская набранный дым. — Наш брат — отрезанный ломоть.[1678] Откуда что взять. А что и добыл — самому нужно. Сказано царский слуга... вот и вся. Ну, ребята, докуривай да и туши.

Никитин расчистил перед собой листья и ветки и лег на брюхо, припав губами к трубке.

— А[1679] сказывают Слепцова, генерала, убили, — сказал Кондицкий.[1680]

— Как же, ротный сказывал, — подтвердил Панов. — Видно, пришел час.

— Уж очень смел был, — сказал Кондицкий.

— Тут смел, не смел, кому обречено, — пробурчал Панов. Ты что сапоги снимаешь? — обратился он к Никитину, который откурился и стаскивал с себя сапоги.

— Да смотрю — стоптал.

— То-то, стоптал,[1681] нехорошо ходишь, легче[1682] ступать надо.[1683]

— Ох, хороши сапоги продавал Тихонов, — сказал Кондицкий. — Он домой идет.

— И счастье же человеку, — вздохнув, сказал Никитин.

— Счастье?[1684] Куда он пойдет? К братьям пахать, тоже не сахар.

— Ну нет, — заговорил своим тихим, ласковым голосом Никитин, — я бы не знаю, дядя, что дал, только бы пожить[1685] дома. Хоть бы глазком взглянуть на них. Выедешь, бывало, весной на двоем пахать, жеребята играют, у нас две кобылы — хорошие матки были — не знаю целы ли,[1686] грачи за тобой за сохой ходят, голуби тоже, жаворонок, земля мягкая, идешь босой ногой — точно гладит тебя.

И Никитин долго вспоминал про деревенскую жизнь и работы, и семью, стариков и детей. Кондицкий,[1687] между тем, задремал; слышно было, как он всхрапывал, а Панов сидел прислонившись и молчал, только[1688] гневно откашливаясь.[1689]

— Это, брат, оставить надо,[1690] — сердито проговорил Панов, — да и тише говори. На то секрет.

— И рад бы оставить, — продолжал[1691] своим нежным, умильным голосом Никитин, — да не могу, сном не засплю, вином не залью. Только и думка, что про домашних. И покаюсь тебе, Антоныч, на днях ушел за крепость. Думаю, бегу опять.

— Уж пороли ведь тебя, — сказал Панов.

— А все-таки не могу, хочу бежать да и всё. И сам не знаю куда, а бежать.

— То-то дурак, — сказал Панов.[1692] — Мало пороли тебя. Я бы из тебя дурь...

Он, не договорив, остановился. Пока они сидели, небо заволокло, и ветер шевелил сучья деревьев и поднимал кое где[1693] падший лист. Панов остановился, потому что из за ветра услыхал свист.

— Это не птица, человек, — сказал он.[1694]

— Смотри, ребята. Не зевать.

Никитин толкнул локтем Кондицкого. Все трое взялись за ружья и щелкнули взводимые курки: два вместе, Кондицкий один после. По дороге шел кто-то. Вероятно, услыхав звуки, шедший остановился.[1695] Солдаты выбежали на дорогу и окружили двух человек в черкесских одеждах.

— Стрелять не надо, моя генерал надо, — сказал один из них.[1696]

— Ружья нет, пистолета нет, шашка нет. Генерал айда. Генерал крепко нужно. Дело хорошее нужно.

— Вишь дрожит весь, сердешный. Тоже боится, долго ли убить, — сказал Панов, — что ж веди, что ль, ты, — сказал он Кондицкому. — А сдашь, приходи опять.

№ 79 (рук. № 51).

— А слыхал, Слепцова то генерала убили, — сказал Панов выпуская дым с каждым словом.

— Как же, ротный сказывал, — отозвался Авдеев. — Уж очень смел был.

— Тут смел, не смел, кому обречено, — пробурчал Панов.

— И как это люди не боятся, — сказал Авдеев, — я вот страх боюсь, — очевидно похваляясь тем, что он боится. —Как это засвистят пули, так у меня вся душа в пятки уйдет. Кабы не начальство, убежал бы не знай куда.

— Бегай, не бегай, всё одно, — сказал Панов, — она найдет виноватого.

— Да это как есть. Видно, уж надо как нибудь.

— И чего это, я подумаю, господа на войну идут, — сказал Никитин. — Ну хорошо, нашего брата забреют, зашлют, тут хочешь, не хочешь, тяни двадцать пять лет, пока сдохнешь. Ну они то чего не видали? Хотя бы Слепцов этот?

— И судишь ты по дурацки. А служба? — сказал Панов. — Царю и отечеству значит.

— А жалованье то, — сказал Авдеев, — что генерал то получает.

— Получает то получает, да и спускает опять всё, — сказал Никитин. — Тоже посмотришь на них, как швыряют деньгами то, хоть бы наш ротный, опять, сказывают, из ящика наши денежки взял.

— Этот отдаст, — сказал добродушно Авдеев. — Барин хороший, — сказал Авдеев.

— Они все хороши. Ему денежки нужны, а и роте нужны, — проговорил Никитин.

— Это, брат, не наше с тобой дело. Как рота хочет, — сказал Панов. — Как рота рассудит.

— Известное дело, мир — большой человек, — сказал Авдеев. И сейчас же после этих слов Авдеев заснул, и из за не переставшего шелеста ветра по макушкам, послышалось сопенье и даже всхрапыванье.

— Ты говоришь служба, — продолжал Никитин, — хорошо тому служить, кто что выслужит, а наш брат служи, не служи, либо пулю в лоб, либо спину выдерут. Вот и служба наша.

— Всё не то ты говоришь, — сердито проговорил Панов, — да и тише говори, на то секрет.

— Я то говорю, что скучно мне, — понизив голос, сказал Никитин. —Так то скучно, так скучно. Как накатит это на меня и

не знаю, что над собой бы сделал: либо убегу, либо повешусь.

— Мало пороли тебя, — сказал Панов.

— Что ж, что спину пороли, а на душе всё то же осталось.

— То-то дурак, — сказал Панов. — Видно, дурака в семи водах не выварить. Кабы ты мне попался в руки, я бы из тебя дурь то выбил.

№ 80 (рук. № 51).

Другой солдат Никитин был тонкий, белокурый красавец из крестьян Орловской губернии. Дома остались молодая жена, мать и два брата с женами и ребятами. Петр был младший, детей у него не было, и он пошел охотой за брата. Прежде он не пил, но в рекрутах начал пить и продолжал пить и на службе, когда мог и было на что. Служба ему далась легко: он был ловок, понятлив и кроме того[1697] так добродушен и весел, что товарищи все любили его.

Начальство же ценило его за то, что он делал в песенниках. Он был и подголосок, и свистун, и плясун, но солдат он был плохой, неисправный, ленивый и даже раз после перепою бежал. Его поймали и жестоко наказали. После наказания он еще хуже стал служить, как будто совсем махнул на себя рукой и только ждал случая, когда мог напиться.

— Какой бы из тебя солдат, первый сорт вышел, — говорил ему мрачный Панов, бывший его дядькой, — кабы не глупость твоя.

— Видно, глупость то допрежь меня родилась, — отвечал он.

№ 81 (рук. № 51, гл. IV).

Закусив, Хаджи-Мурат надел оружие и вышел. Перед домом стояла толпа человек тридцать. Среди них были и конные.

Громко говорившая толпа замолкла, как только Хаджи-Мурат вышел из сакли и поздоровался с ближайшими. Некоторые ответили на его «селям», большинство же молчало.

Сафедин подал лошадь, старик тесть взялся за стремя и Хаджи-Мурат,[1698] не тряхнув винтовкой, вскочил в седло, оправил бурку и, не глядя вокруг себя, тронул лошадь вниз по аулу. Люди, стоявшие на его дороге, расступились, и Хаджи-Мурат с Сафедином и хозяйским сыном выехали из аула. Но только что они выехали, как начался громкий говор[1699] среди толпы чеченцев.

№ 82 (рук. № 51, гл. V).

— Берегись, — послышалось вдали из лесу, и из невидного тумана стала с треском опускаться ветвистая чинара.

Офицеры только что успели отскочить, даже не успели оттащить барабаны, как чинара, ломая сучья, с грохотом ударилась о землю. И только когда она уже ударилась, офицеры увидали, что она прикрыла сучьями двух солдат, которые по дороге тащили сучья. Один из этих солдат попал между двумя отростками и его только обсыпало сухими листьями и оцарапало в двух местах лицо, другой же попал прямо под сук, и его сломанным суком прижало к земле. Солдат этот был Никитин. Он лежал с прорванным животом, закатив глаза и открывши рот. На полушубке его и под ним на сухих листьях была лужа крови. Офицеры, солдаты бросились к нему, подняли с него дерево, выпростали его и положили на носилки. Никитин жалобно стонал и с удивлением смотрел вокруг себя, но ничего не говорил. Между солдат начались упреки, перекоры и оправдания.

— Дуром пошло дерево. Не туда, куда ей надо.

— Да ведь мы кричали ему.

— Смотреть надо. Весь живот разорвало, где же живому быть.

— Вот тебе и без Шамиля смерть пришла. Где не думано, не гадано... — слышались разговоры. Никитин был из роты Полторацкого, и потому Полторацкий распоряжался укладкой раненого на носилки, призывом фельдшера, первой перевязкой и отправкой в больницу.

— Ну что? — спрашивал Полторацкий у фельдшера.

— Готов совсем, ваше благородие, брюхотина прорвана, да и все кишки измяты, живому не быть!

Только что отправили больного по ближней лесной дороге, как по большой дороге из крепости показался длиннолицый Воронцов на своем английском кровном, рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем переводчиком. Увидев скопление народа, Воронцов подозвал к себе Полторацкого.

№ 83 (рук. № 51).

В это время слева от дороги послышался выстрел.

— Ах да, я и забыл, — крикнул веселым голосом румяный Полторацкий, — ведь я нынче хотел сраженье дать в честь Кости, — он указал на разжалованного Фрезе. — Чудесно! Верно, там есть они. Гирчик! — крикнул он вестовому, — лошадь! А ты, Костя, ступай в цепь.

Он сел на лошадь и поскакал по направлению выстрелов. Подъехав к цепи, он узнал, что на полянке виднелось несколько чеченцев, из которых один выстрелил. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил. Полторацкий тотчас же потребовал 2-ую роту и велел стрелять в лес. Послышался страшный треск наших залпов. Чеченцы, очевидно, никак не ожидали этого и, ответив несколькими выстрелами, разъехались и разбежались. Чеченцы, разумеется, не сделали никакого вреда, но один из их выстрелов ранил русского солдата.

№ 84 (рук. № 51, гл. VII).

— Вот и без войны покончил человек.

— Кому что назначено.

— Это тот, что бежал.

— Теперь туда убежит, где уж не поймают, — говорили больные.

Никитин, между тем, то с тем же почти радостным удивлением, которое выразилось на его лице, смотрел вокруг себя, то морщился и жалобно, по детски, стонал.

— О-о-о-о-о! — громко и долго застонал он, когда его клали на койку.

Когда же положили, он всё так же удивленно глядел вокруг себя, не отвечая на вопросы окружавших его больных, как будто он не видал их, а видел что то другое, что особенно, не переставая, удивляло его.

Пришел доктор и стал осматривать раненого. Он велел повернуть его, чтобы посмотреть сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на белые рубцы на белой спине и заду.

— От порки, — проговорил Никитин.

— Что?

— Его наказывали за побег, — сказал фельдшер.

— Гм... Надо очистить рану, там полно щепок. Ну-ка повернись.

Никитина перевернули и стали хлороформировать.

Доктор вынул из раны два осколка дерева, но не стал искать дальше, а поспешно зашил рану и снял с лица Никитина хлороформ и стал будить его. Никитин пел.

— Миленькие вы мои, — заговорил Никитин, как только проснулся. — Голубчики вы мои. За нами хлопочете. Спасибо вам, родненькие. Спасибо вам. Слава Богу! Ох! Слава Богу!

Доктор ушел. Пришли вернувшиеся с рубки леса товарищи Никитина и два из них, Панов и Серегин, пришли проведать его.

— Голубчики мои, — встретил их Никитин, — помираю. Вот, Антоныч, — обратился он к Панову, прерывая свою речь

стонами, — и отставка чистая, а я Тихонову завидовал. Чего лучше? Слава Богу. То на брата обижался, что за него пошел, а теперь так рад! О-о-о-о! Слава Богу. Вся дурь соскочила. Что ж попа нет, что ли. — Ну видно солдату и так простится. Слава Богу. Свечку дай, Антоныч, я помирать буду. Да домой напиши. — И Никитину вдруг стало легко и радостно.

— Кончился, — сказал фельдшер, дотронувшись до его руки.

При вечернем докладе фельдфебель 2-й роты доложил ротному, что Никитин помер. Полторацкий почмокал языком, выражая сожаление, в особенности о том, что у песенников его роты не будет подголоска.

А полковой адъютант, которому поручено было писать реляцию о последнем побеге, решил включить Никитина в убитые в этом деле. Так что убитых в этом деле оказалось не два, а три, что давало всему набегу больше значения.

№ 85 (рук. № 51, гл. IX).

[1700]— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, генерала с щетинистыми усами,[1701] желая дать ему возможность поговорить.

— Как же-с. И не раз, как, — у генерала была привычка пересыпать свою речь словечком «как», — и не раз, как, встречал, княгиня, как, — и генерал рассказал про то, как[1702] Хаджи-Мурат в 43 году после взятия горцами Гергебиля недалеко от Темир-Хан-Шуры[1703] наткнулся на отряд генерала Пасека, где генерал с щетинистыми усами командовал полком, — и тут было жаркое, такое, как, — говорил генерал, — что, если бы не крепость Зыряны, нам бы плохо пришлось. Тут мы держались, как, до тех пор, пока[1704] не подошли к нам[1705] два батальона, как. Тут уж, как, мы его погнали.[1706] Только дрался он молодцом, как. Я сам видел на завалах, как, изволили слышать Ваше Сиятельство, как, — обращался он к Воронцову, — на

наших глазах, как, налетел на него полковник Золотухин, как, лихой офицер был, и[1707] шашкой хотел срубить его. И тут же, как, Хаджи-Мурат на наших глазах застрелил его. Так что чуть не забрал, как, он самое тело Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальнем конце стола и перед этим[1708] чокавшиеся друг с другом стаканами и тихо смеявшиеся, все замолкли и слушали генерала. Но тут случилось[1709] обстоятельство, испортившее весь успех генеральского рассказа.

— Да я знаю про это славное дело, — сказал Воронцов. — Так что вы точно встречались с Хаджи-Муратом?

— И не раз, Ваше Сиятельство. Другой раз мы, как, столкнулись с ним, как, на выручке в 45 году.

— Как? — переспросил Воронцов, продолжая улыбаться, но уже не такой, как прежде, а несколько ненатуральной улыбкой.

Дело было в том, что храбрый генерал[1710] рассказывал про свою вторую встречу с Хаджи-Муратом и называл это дело[1711] «выручкой»,[1712] как и называли его все солдаты, говоря про затеянный в 45 году Николаем I и исполненный князем Воронцовым[1713] несчастный поход в Дарго, в котором русские потеряли[1714] несколько убитых и раненых[1715] офицеров, сотни солдат и несколько пушек и в котором был бы взят или уничтожен весь отряд, уже несколько дней не имевший провианта, если бы не подоспели свежие войска, выручившие транспорт с сухарями и весь отряд. Неловкость положения произошла от того, что Даргинский поход Воронцова[1716] был явной грубой ошибкой Воронцова, которую он чувствовал, но в которой не признавался и про[1717] которую никто не говорил[1718] при нем. Словом же «выручка» прямо указывалось то положение, в котором находился весь отряд.

Все поняли это и, улыбаясь, переглядывались между собой. Один генерал, раз заведенный на любимую тему, подробно с прибавлением «как, как» рассказывал, в каком отчаянном

положении был весь отряд именно вследствие военной ловкости Хаджи-Мурата, сумевшего отрезать ему отступление.

Генерал не успел досказать всего, потому что княгиня Елисавета Ксаверьевна[1719] перебила его, расспрашивая об удобствах его помещения в Тифлисе.[1720] Генерал удивленно оглянулся на всех и на своего адъютанта, с конца стола упорным и значительным взглядом смотревшего на него, понял и, не отвечая княгине, замолчал и стал есть лежавшую у него на тарелке рыбу.

Когда на другой день генерал явился к Воронцову[1721] поутру, чтобы получить окончательный ответ об его представлении подчиненных[1722] и выдачи ему[1723] казенных денег, следуемых ему,[1724] грузин князь Орбелиани попросил его подождать в приемной, так как князь был занят.

В конце же приема адъютант передал ему, что дело его находится у начальника и чтобы он потрудился обратиться к нему. Князь же так занят, что не может принять его.

№ 86 (рук. № 51, гл. X).

Он говорит, как передал переводчик, что он все силы употребит послужить русским так же, как он служил Шамилю. Что он особенно может быть полезен в Дагестане, где горцы знают и любят его. Но одно он умоляет сардаря помочь ему выручить свою семью, мать, жену, детей, в особенности, сына от Шамиля, который ненавидит его и убьет их всех, если Хаджи-Мурат пойдет против него.

Воронцов сказал, что он подумает об этом и сделает что можно.

№ 87 (рук. № 51, гл. XI).

Отношения Хаджи-Мурата к людям были очень определенны. Помимо той официальной учтивости, которую он считал нужной по отношению к высшим сановникам, он очень определенно отличал людей, которые были приятны и которые были противны ему. Так понравились ему Семен Воронцов и его пасынок и Полторацкий и не понравились Мария Васильевна и Меллер-Закомельский. Так здесь в Тифлисе понравился ему Лорис-Меликов, а не понравился Карганов.

№ 88 (рук. № 51 гл. XII).

«Так вот с тех пор, как я убил мюрида, я стал думать о хазавате. Но тогда я еще не стал мюридом. А не стал я мюридом потому, что жил я весело, роскошно с молодыми ханами. Они любили меня, как брата, и я любил их. А они боялись русских, дружили с ними и не хотели пускать к себе Кази-Муллу. Кроме того, скоро после этого, мюриды убили моего отца».[1725] И Хаджи-Мурат живо вспомнил тот вечер, когда привезли в аул перекинутое через седло и покрытое буркой тело отца и как жалко и страшно было смотреть на висящие с одной стороны бескровные кисти когда то могучих рук и с другой — ступни когда-то сильных, резвых ног, качавшихся как мешки при каждом шаге лошади.

«Осман и я, мы должны были отомстить убийцам отца, и я совсем оставил мое намерение перейти к мюридам».

№ 89 (рук. № 51).

А [мать] была красавица, высокая, тонкая, сильная. Она часто носила меня за спиной в корзине к деду, а я был тяжелый.

Да, так мать не пошла в кормилицы, и тогда ханша[1726] взяла другую кормилицу, а ее все-таки простила.[1727] И[1728] мать водила

нас, детей, в ханский дворец, и мы играли с детьми ханскими, и ханша любила нас. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат Османа, Булач-Хан, меньшой, и Умма-Хан, мой брат названный и друг. Джигит был, — сказал Хаджи-Мурат, и Лорис-Меликов удивился, увидав, как слезы выступили на глаза Хаджи-Мурата, когда он упомянул это имя. — Вместе впятером мы джигитовали и вместе воевали.[1729] Мне было[1730] лет, когда Кази-мулла окружил Хунзах и требовал, чтобы ханша перестала дружить с русскими и приняла хазават. Тут я в первый раз убил одного человека, и[1731] он мне передал хазават.

— А много ты[1732] убил людей на своем веку? — сказал Лорис-Меликов. — Сколько?

— А кто же их считал. Только этот был особенный человек.

— Отчего так? — спросил Лорис-Меликов.

— А оттого, что когда я догнал этого человека, — они бежали от нас (подо мной был добрый конь хана),[1733] он выстрелил в меня и промахнулся.[1734] Тогда я ударил его шашкой, и он[1735] пустил поводья и упал на шею лошади. Я схватил его лошадь за повод, и мы остановились. Он свалился[1736] с седла на земь. Я тоже слез и подошел к нему. Он сказал: «я шейх».

— Что значит шейх? — спросил Лорис-Меликов.

— Шейх — значит учитель мюридов. Он сказал: «я шейх. Ты убил меня,[1737] но знай, что мусульманину нет спасенья без хазавата; держи хазават...»[1738] Так вот с тех пор[1739] я стал думать о хазавате. Но тогда я еще не стал мюридом. А не стал мюридом потому, что скоро после этого мюриды убили моего отца. На них была его кровь, и я не мог итти к ним.[1740] Но, правду сказать, дело в том, что я был молод и я жил в счастье и довольстве в[1741] дворце в Хунзахе.[1742] Ханы любили меня как брата и[1743] ни в чем не отказывали мне.[1744] Я провел молодость в бедности, а теперь жил в богатстве.[1745] Кто не видал дня, тот днем зажигает свечу,— говорят старики. Так и я радовался на богатство и к роскоши прибавлял роскошь.

№ 90 (рук. № 51, гл. XI).

Хаджи-Мурат замолчал, ясно вспомнив[1746] морщинистого, с седой бородкой деда серебрянника, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и[1747] заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову, и как он[1748] в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах дыма[1749] и кислого молока, когда мать[1750] его давала ему лепешки.

— Да, так мать не пошла в кормилицы, — сказал он,[1751] встряхнувши головой, — и[1752] ханша взяла другую кормилицу,[1753] но все-таки[1754] любила мою мать. И мать водила нас, детей, в ханский дворец, и мы играли с детьми ханскими, и ханша любила нас. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат Османа,[1755] Умма-Хан, мой брат названный и друг, и Булач-Хан меньшой, тот, которого Шамиль сбросил с кручи. Да это после. Лучше всех был Абунунцал, — сказал Хаджи-Мурат. — Джигит был.

И Лорис-Меликов удивился, увидав, как слезы выступили на глаза[1756] этого мужественного человека, когда он[1757] сказал это.

— Вместе впятером мы джигитовали и вместе воевали. Мне было 18 лет, когда Кази-Мулла окружил Хунзах и требовал, чтобы ханша перестала дружить с русскими и приняла хазават. Она не хотела. Но я тут в первый раз[1758] узнал про хазават и хотел принять его.

— Что такое хазават, — спросил Лорис-Меликов.

Он знал, что значит хазават, но хотел слышать, как понимает это слово Хаджи-Мурат.

— Хазават значит то, что мусульманин[1759] признает власть над собой только аллаха и тех, кого поставил над ним аллах.

Если же он во власти неверных, то должен биться до тех пор, пока не умрет или не освободится.

— Так, — сказал Лорис-Меликов, — как же это было, что ты тогда еще хотел принять хазават?

— А было это так, что тогда в одной стычке я в первый раз убил человека.

— А много ты убил людей на своему веку, — сказал Лорис-Меликов, — сколько?

— А кто же их считал.[1760] Но тот человек, которого я убил тогда, был шейх.

— Правду сказать,[1761] — помолчав сказал Хаджи-Мурат, — я не стал мюридом тогда оттого, что мне было жить хорошо. Я жил[1762] в дворце с ханами. Ханы любили меня, как брата, и ни в чем не отказывали мне. Я провел молодость в бедности и стал жить в богатстве. Кто не видал дня, тот днем зажигает свечу, — говорят старики. Так и я когда попал в богатство и[1763] старался всё еще и еще прибавить его.

№ 91 (рук. № 51).

Кроме того я видел в Тифлисе, как повесили двух лезгин, — один был старик, хороший человек, — за то, что они убили солдата. А убили они солдата за то, что солдаты стояли в их ауле и бесчестили их женщин.

В Тифлисе тогда нас обманывали, обирали, обещали и не делали. Мысли мои переменились, когда я приехал из Тифлиса.[1764] И я стал уговаривать ханшу и молодых ханов бросить русских и впустить к нам Гамзата.

№ 92 (рук. № 51).

[1765]В Тифлисе тогда нас обманывали, обирали, обещали и не делали. Мысли мои переменились, когда я приехал из Тифлиса. Я вспомнил убитого шейха, про то, что он велел мне вести хазават, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов бросить русских, принять хазават.

№ 93 (рук. № 51).

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело и глаза налились кровью.[1766] Мне бы надо было броситься на них, убить сколько бы удалось и умереть тут вместе с названным братом. Но я был молод и на меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как, — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.[1767] А потом случалось бояться? — спросил Лорис-Меликов.

— Потом никогда. С тех пор я вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уж ничего не боялся.

№ 94 (рук. № 51, гл. XII).

Курбан, как он понял, кроме своего удальства во всем и молодечества,[1768] еще готовился в муллы.[1769] Ученый человек, гордившийся своей ученостью, и строгий магометанин, державшийся не только шариата, но и тариката, т. е. высшего духовного ученья. Он присоединился к Хаджи-Мурату[1770] только из ревности и ненависти к Шамилю. Несмотря на свою неизвестность и не блестящее положение, он был снедаем честолюбием и мечтал о том, чтобы свергнуть Шамиля и занять его место.

№ 95 (рук. № 51, гл. XIII).

Мы и десятка два джигитов сходились тайно у нашего деда Османли Хаджиева и решили взять кровь Гамзата. Мы не согласились[1771] еще, как и где[1772] это сделать, когда к деду пришел[1773] Асельдер,[1774] мюрид Гамзата, и стал заказывать кинжал[1775] с золотой насечкой (дед был серебрянник) и расспрашивать нас о ханше и ханах и стал осуждать Гамзата за то, что он убил ханов и ханшу... и многое другое, и мы поняли, что он знает про нас, и решили не откладывая сделать дело через день, в мечети, во время молитвы.

№ 96 (рук. № 51).

И все признали меня начальником над всей Аварией. Тогда с одной стороны был Шамиль, заступивший место Гамзата. Он угрожал разорить Хунзах, если я не присоединюсь к нему, с другой стороны был русский генерал Клюгенау. Этот требовал, чтобы я, как прежние ханы, дружил с русскими и не пускал к себе мюридов, и обещал мне за это свою защиту.

Я ненавидел Шамиля за убийство ханов, — и я согласился.

№ 97 (рук. № 51).

— Хлопочи, старайся, — всё, что могу, тебе сделаю. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки в руках Шамиля.

— Так же, как тогда у солдата, которого бросил под кручь, — сказал Лорис-Меликов.

— Айя, — т. е. «да», — подтвердил Хаджи-Мурат, — только тогда я убил солдата и спасся сам, теперь же я погибну один, а

не погублю Шамиля. А мне его нужно, — сказал Хаджи-Мурат, грозно нахмуривши брови.

№ 98 (рук. № 51, гл. XV).

Донесение это было получено в Петербурге на третий день рождества, и на другой день граф Чернышев повез его в[1776] своем портфеле в Зимний дворец для доклада Николаю Павловичу.[1777] Чернышев, укравший имение настоящего Чернышева, сосланного в каторжные работы за[1778] бунт 14 декабря 1825 года, тщеславный, безнравственный,[1779] наглый человек, естественно ненавидел честного, хотя и придворного, Воронцова и всячески, хотя и с осторожностью, старался уронить его во мнении государя, невольно уважающего заслуженного старика, высоко стоящего во мнении всего русского общества. И распоряжение[1780] о Хаджи-Мурате[1781] Воронцова, всегда слишком, по мнению самого государя, ласкающего азиатов и заискивающего у них, можно было представить так, как ошибку, которая была бы еще новым поводом к вызываемому Чернышевым неудовольствию государя против Воронцова.

Миновав часовых, ординарцев, флигель-адъютанта, Чернышев[1782] оправил перед зеркалом свой редеющий кок, поставил на место крест на шее и[1783] одну большую эполету.[1784] Он взял подмышку портфель у адъютанта и, вслед за вышедшим из двери министром внутренних дел, вошел к государю.

Государь в мундире своего полка, — он ехал на смотр, — сидел за огромным заложенным бумагами письменным столом и своими стеклянными, тусклыми глазами тупо смотрел на вошедшего.[1785] И всегда полузакрытые глаза Николая Павловича нынче смотрели тусклее обыкновенного и под ними были синеватые подтеки. Он так же был затянут и выпячивал грудь, но и лицо, и вся фигура его говорили об усталости. И

действительно, он с трудом встал нынче в обычное время, так как[1786] он[1787] заснул только в два часа ночи и долго еще не мог заснуть от волнения.

Причиной этого было[1788] то, что в 12-м[1789] часу ночи[1790] он, простившись с семейными, [?][1791] пошел не спать, а на свиданье, в предназначенную для этой цели комнатку в Зимнем дворце, на свиданье с двадцатилетней девушкой, дочерью гувернантки шведки, которая[1792] в маскараде собрания так заинтриговала его и пленила своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом, что он назначил ей свидание во дворце ночью. Она действительно пришла,[1793] была еще милее без маски, чем показалась в маске. И она, получив от него обещание[1794] обеспечить ее мать, только во 2-м часу через ту же заднюю лестницу и маленькую дверь, по которой вошла, ушла от него. Он смотрел теперь на входящего Чернышева,[1795] ничего не думая,[1796] только испытывая некоторую сонливость и желание быть одному. Длинное[1797] лицо его с взлизами над зачесанными височками и длинным носом, подпертое высоким воротником, из под которого висел орден, было более обыкновенного холодно и неподвижно. Чернышев тотчас же понял по движению его бровей, что он не в духе, и решил воспользоваться этим расположением его против Воронцова. Кроме разных распоряжений о следствии над обличенными в воровстве провиантскими чиновниками и перемещениях войск на польской границе было еще дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора. Все эти и другие бумаги лежали у него на столе, и он передал их Чернышеву.[1798] На полях были резолюции с грубыми орфографическими ошибками. На последней резолюции о студенте было написано: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить её. Провести 12 раз сквозь 1000 человек. Николай».*

— Прочти, — сказал он Чернышеву, очевидно очень довольный своим этим сочинением. Чернышев прочел и наклонил голову в знак почтительного удивления и потом, взглянув на свою памятную записку, начал докладывать: было

дело о беглом арестанте и суд над офицером, в карауле которого он бежал; другое о переименовании полка из 54-го в Нежинский; еще о поляке Расоловском, оскорбившем офицера; еще о назначениях и производствах; о благодарности за смотр и, наконец, о донесении Воронцова о Хаджи-Мурате.

Николай Павлович слушал всё,[1799] держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы доклада и глядя осоловелыми глазами в лицо Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза.

— Ты знаешь?

— Знаю, Ваше Величество.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая Павловича, что, когда ему нужно решать какой-нибудь важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собой, неизменное и самое верное, и ему стоило только выразить его. Так он решил вопрос о студенте, который должен был быть[1800] прогнан сквозь 12 тысяч. Так он решил еще нынче утром вопрос о двух миллионах государственных крестьян, которых он присвоил себе силой, приказав перечислить их в удельные; для того же, чтобы не дать повода всяким вралям ложно перетолковывать это, держать это дело в тайне. Так он и теперь решил дело о Хаджи-Мурате и вообще о кавказской войне. О Хаджи-Мурате он решил, что выход Хаджи-Мурата означает только то, что его, Николая Павловича,[1801] план войны на Кавказе уже начинает приносить свои плоды; что Хаджи-Мурат вышел, очевидно, оттого, что исполняется его план постоянного тревожения Чечни, сжигания и разорения их аулов[1802]. То, что план его еще перед назначением Воронцова в 1845 году был совсем другой; что он тогда[1803] говорил, что надо одним ударом уничтожить Шамиля, и что, по его повелению, была сделана несчастная Даргинская экспедиция, стоившая столько жизней, он должен бы был забыть для того, чтобы говорить, что его план состоял в постоянном тревожении чеченцев. Но он не забывал этого и гордился и тем планом

постоянного тревожения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили друг другу. Лесть, подлость окружающих его людей довели его самомнение до того, что он не видел своих противоречий, считал себя выше здравого смысла и[1804] наивно верил, что ему стоит только помолчать и подумать, и первая мысль, которая взбредет в его ограниченную и[1805] одуренную голову, и будет священная истина, продиктованная ему самим Богом. Так он наивно говорил, что в то время, как он сам распорядился повешением пяти декабристов и сам подробно расписал, что и как должны делать войска и барабаны, его любимый музыкальный инструмент, когда подведут[1806] пятерых казнимых к виселицам и что тогда, когда их повесят, говорил, что он в это время с Императрицей в церкви молился о вешаемых по его приказанию и рецепту. Теперь наитие его кончилось тем, что он сказал:

— Правда, старик слишком возится с этими разбойниками. Надо твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тогда всё будет хорошо. Так и напиши ему. О Хаджи-Мурате ничего не пиши, а об набегах напиши, что я жду исполнения моих предначертаний.

№ 99 (рук. № 51, гл. XVI).

Неприятеля не было ни видно, ни слышно, но всякую минуту он мог появиться, и всякую минуту меткая небольшая пуля могла покончить жизнь каждого из всех этих людей. Это не говорилось, даже не думалось, но сознание этого в соединении с сознанием своей силы придавало[1807] особенную прелесть[1808] и без этого прелестной природе этой[1809] части Чечни.

№ 100 (рук. № 51).

Бутлер был послан наперерез ей. Солдаты бежали, и он бежал, но как ни торопились они, только застали хвост неприятельской конницы. Защелкали выстрелы, стали подниматься дымки за дымками. Но перестрелка была пустая. Из русских никого не убило и не ранило; в партии же было видно, как они, подобрав тела убитых картечью из пушек, везли их перекинутыми через седла.

№ 101 (рук. № 51).

В ауле на привале выпили, закусили, остыли, потому что от беготни все вспотели, и Бутлер,[1810] пошатываясь теперь на купленной с прóездом лошади перед своей ротой и беседуя с своим начальником,[1811] известным своей храбростью и пьянством добродушным майором Петровым, с которым он жил вместе, находился в самом радостном, возбужденном состоянии. Он забыл и про свое разорение и свои неоплатные долги, и Кавказ, война, молодечество, жертва собой, жизнь-копейка, всё это казалось так хорошо, что не мог нарадоваться на свое решение итти на Кавказ.

№ 102 (рук. № 51, гл. XVIII).

В небольшом укреплении на передовой чеченской линии был в это время воинским начальником батальонный командир Иван Матвеевич Петров, старый кавказец, женатый на дочери фельдшера, красивой, белокурой, бездетной, уже не молодой женщине.

В укреплении стояли две роты, и в одной из них служил разжалованный за побег арестанта в Петербурге молодой гвардеец Горохов. За Марьей Дмитриевной ухаживали все офицеры и все приезжие, и все, зная неприступность Марьи Дмитриевны, ухаживали самым платоническим образом. Только

между Гороховым и Марьей Дмитриевной установились отношения более близкие, чем со всеми другими, и Горохов невольно часто сравнивал свои отношения к семье Петрова с отношениями героя из «Капитанской дочки» к семье коменданта, с той разницей, что жена Ивана Матвеевича, Марья Дмитриевна, была для него, по чувствам, которые он к ней испытывал, заодно и капитаншей-матерью и Машей. Он был и благодарен ей за ее материнское попечение о нем и вместе с тем был влюблен в нее, и она знала это, и это было ей приятно, но делала вид, что не только не знает этого, но что этого и не может быть. Горохов был так молод, природа Кавказа так хороша, и сама Марья Дмитриевна, свежая, здоровая, тридцатипятилетняя женщина, так добродушно ласково улыбалась ему своими красными губами, открывая сплошные, блестящие белые зубы, что Горохов, не сознавая этого и горюя о Петербурге, чувствовал себя совершенно счастливым.

Вскоре после его приезда был набег, в котором Горохов в первый раз услыхал свист пуль и с радостью почувствовал, что он не только не боится, но ему весело то, что на него смотрят и видят, что он не боится. После набега Иван Матвеевич похвалил его и представил к Георгию. Всё это было очень радостно, особенно потому, что при всем этом чувствовалось присутствие и участие милой женщины, и происходило среди удивительной по красоте природы.

В первых числах июня Горохов, схвативший лихорадку и ночью выдержав пароксизм, вышел из своей квартиры в солдатском домике и направился за хинином к фельдшеру, жившему рядом с домом Ивана Матвеевича. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, кое где покрытые лесом черные горы, и на матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Горохов смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он такой

молодец, так показал себя вчера хорошо, радовался и тому, что он по отношению Марьи Дмитриевны с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и ласковой улыбкой играет роль Иосифа прекрасного, радовался тому, что он честный человек, хороший друг Петрова, не хочет заплатить ему изменой за его доверие и гостеприимство.

№ 103 (рук. 51, гл. XIX).

[1812]Кроме того что[1813] он просил[1814] Воронцова о том, чтобы выкупить и выменять его семью, он и сам вел о том же тайные переговоры с горцами.[1815] Один горец обещался ему[1816] устроить побег его семьи, но, доехав до Дарго,[1817] где в ближайшем к Ведено ауле содержалась семья Хаджи-Мурата, увидав, что[1818] увезти семью невозможно, под такой строгой стражей она находилась, — вернулся назад и объявил Хаджи-Мурату, что, несмотря на триста червонцев, которые были обещаны ему, он отказывается от этого дела. Вслед за этим Хаджи-Мурат получил через лазутчика известие от самого Шамиля, который[1819] приглашал его возвратиться, обещая ему полное прощение, в противном же случае угрожал[1820] убийством матери, отдачей в рабство жены и меньших детей и ослеплением старшего любимого сына Хаджи-Мурата от его жены чеченки. Зная Шамиля, Хаджи-Мурат[1821] понимал всю опасность положения своей семьи и[1822] не ошибался в этом.

№ 104 (рук. № 51, гл. XX).

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо, но не успели они сойти еще с ступенек, как на них налетел верховой и взялся за пистолет; но не успел он поднять руку, как Софедин,[1823] оставив лошадь, которую он держал, бросился на

него, толкнул пистолет, выстрел раздался, и пуля пролетела кверху. Софедин[1824] оглянулся на Хаджи-Мурата, желая знать, что делать, убить ли этого человека, но Хаджи-Мурат уже сам был подле верхового.[1825] Он весь преобразился, когда увидал верхового; как кошка, бросился к нему и, выхватив кинжал, стоял ожидая. Бутлер[1826] и Софедин бросились на верхового и отвели его.

№ 105 (рук. № 51, гл. XXIII).

Хаджи-Мурат, несмотря на свою короткую ногу, вскочил и, хромая, быстро ходя, как тигр в клетке, стал взад и вперед бегать по комнате.[1827] Когда Хаджи-Мурат решал сделать какое-либо дело, он не мог быть спокоен, пока не делал его. Теперь это дело — важнее всех других дел, состояло в том, чтобы во что бы то ни стало выручить семью. И он или умрет или сделает это. Но как? Оставаться здесь, выкупить[1828] семью и заслужить[1829] славу, быть генералом, покорить русскому царю Кавказ, уничтожить Шамиля. «Старик обещал много», думал он, вспоминая про просьбы у Воронцова и лестные слова старого князя. Но старику нельзя верить. Это такая же лисица, как и Шамиль. А, главное, время не терпит. Пока я буду ждать, он погубит семью.

Оставалось одно: вернуться в горы, поднять аварцев,[1830] восстать на Шамиля[1831] и силой вырвать у него семью, но сколько нужно было, чтобы это удалось. Прежде двадцать раз будут перебиты его семейные, ослеплен его[1832] Юсуф.

[1833]«Пойти поговорить с мюридами», — подумал Хаджи-Мурат, но они не могли понять, они были только покорные рабы. Что велит Хаджи-Мурат, то они будут делать. Один рыжий[1834] Гомчаго имел свои мысли, и Хаджи-Мурат знал их вперед.[1835] Гомчаго или молчал или говорил: «Твоя воля», — но Хаджи-Мурат знал, что[1836] Гомчаго одного желал;[1837] побить, порезать

сколько можно русских собак и бежать в горы.[1838] Поверить Шамилю и отдаться ему. Но ведь он обманет. Но если бы он и не обманул, то покориться лицемеру, обманщику,[1839] жестоко обидевшему его, хвалившемуся перед ним и теперь[1840] угрожавшему ему позором его семьи.

Но оставаться одному Хаджи-Мурату было слишком тяжело, и он пошел[1841] к своим мюридам. Они жили через комнату. Как только он отворил дверь,[1842] он услыхал песню про Хамзата, которую пел Сафедин. Хаджи-Мурат остановился[1843] и стал слушать.[1844] Песня эта была[1845] ему знакомая. В песне описывалось, как Хамзат угнал табун белых коней, но русские нагнали его и он с своими джигитами зарезал коней и сделал из них завал и отбивался от русских до тех пор, пока все были убиты.[1846]

В комнате, где жили нукеры Хаджи-Мурата,[1847] не было света, только молодой месяц в первой четверти[1848] светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, но все четыре нукера сидели и лежали на кошмах на полу.[1849] Сафедин сидел, скрестив ноги.[1850] Гомчаго оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его,[1851] опять лег,[1852] Курбан и Балта спали. Сафедин, увидав хозяина, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний, Хаджи-Мурат[1853] бросил тяжелый от золота бешмет на кошму, с которой встал Сафедин, и положил рядом[1854] те семьдесят золотых, которые он получил нынче.[1855]

— Зашей и эти, — сказал он.

— Хорошо, — сказал Сафедин, сгребая золотые в руку и тотчас же выйдя на свет месяца, достав из-под кинжала ножичек, стал[1856] пороть подкладку ниже пояса.[1857] Гомчаго приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гомчаго, — сказал Хаджи-Мурат, — заряди ружья[1858] и пистолеты. Завтра поедем далеко.[1859]

— Порох есть, пули есть. Будет готово,[1860] — сказал он радостным голосом, и Гомчаго издал странный звук, выражавший удовольствие.

№ 106 (рук. № 51, гл. XXIV).

Но Бутлер, сделав всё, что мог, все-таки несколько успокоился и теперь больше, чем когда-нибудь, отдался прелести воинственной кавказской жизни. Это было одно, но большое утешение. Кстати Богданович, давно уже не ходивший в засаду, намеревался идти нынче в горы, и Бутлер вызвался идти с ним.

Перед вечером в воротах крепости послышались песенники с тулумбасом и ложечниками. Пели почти плясовую: «Мы давно похода ждали, со восторгом ожидали», и показалась пехота и артиллерия. Это было войско, которое Барятинский стягивал в Куринское, с тем, чтобы выйти навстречу тому отряду, с которым он прямо через всю считавшуюся недоступной Чечню намеревался пройти в Куринское.

Тут были две роты[1861] Кабардинского полка, и роты эти по установившемуся кавказскому обычаю были приняты, как гости, ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином — кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам. Как и водилось всегда, началась попойка, и Иван Матвеевич напился так, что сел верхом на стул, выхватил шашку и рубил воображаемых врагов и хохотал и обнимался[1862] и плясал под любимую свою песню: «Сени, мои сени». Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему это не нравилось, и жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

№ 107 (рук. № 51).

К счастью или несчастью Бутлера в те оба раза, когда он ходил в засаду с Богдановичем, он никого не подкараулил и никого не убил. Сидя же в продолжение долгой ночи под

деревом, Бутлер много успел обдумать. И эти выходы Богдановича перестали казаться ему хорошими, и он уже больше не участвовал в них.

Вообще вся поэзия воинственной [жизни] начинала всё менее и менее прельщать его. То, что прежде было ново, стало привычным и уже не так прельщало, а между тем привычка к пьянству, которая окружала его, начинала всё больше и больше отталкивать его. Долг свой он уплатил, заняв[1863] на огромные проценты деньги, т. е. только отсрочил и отдалил неразрешимое положение. Он старался не думать о нем, и он со дня на день всё больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за нею, но встретил решительный, пристыдивший его отпор. Так он жил, ничего не желая, ничего не ожидая[1864] и в глубине души презирая себя.[1865]

Раз вечером, недели две после его проигрыша, он услыхал вечером в воротах крепости[1866] песенников с тулумбасом и ложечниками. Пели[1867] известную ему песню: «Мы давно похода ждали, со восторгом ожидали».[1868] Он вышел посмотреть, кто это. Это было войско, которое Барятинский стягивал в Куринское[1869] для нового движения.

№ 108 (рук. № 51).

— Как? Что? — спрашивал Бутлер, не спуская глаз с страшной головы.

— Удрать хотел, — сказал Каменев и отдал голову казаку, который положил ее в мешок. — Вот я и езжу по приказанию главнокомандующего, везде показывая как редкость.

— Да как же было дело? — спрашивал Бутлер, испытывая страшное болезненное чувство жалости к этому убитому милому человеку и омерзения, отвращения и ненависти даже к тем, которые сделали это, к тем, которые, сделав это, гордятся этим,

показывают тот ужас, который они сделали. Вид этой головы сразу отрезвил его. Вся поэзия войны сразу уничтожилась, и ему стало физически больно и стыдно.

№ 109 (рук. № 51).

— А дело было вот как.

Только что Каменев хотел рассказывать, как из двери выскочила[1870] Марья Дмитриевна с остановившимися красными глазами.

— Убирайтесь вы, проклятые, мерзость, гадость, — взвизгивая кричала она. — Уйдите куда-нибудь или я убегу.

— Что же хорошо, мы уйдем, — сказал Иван Матвеевич.

И когда Марья Дмитриевна захлопнула дверь, он покачал головой и чуть улыбнулся.

Она ушла на крыльцо.

— Ну так как же было дело?

№ 110 (рук. № 51, гл. XXV).

Хаджи-Мурат, посоветовавшись с Гомчагой, решил, въехав в кусты, дать отдохнуть коням. Слезши с лошадей и стреножив их, Хаджи-Мурат с своими мюридами сели в кустах, оправили заряды, поели, расстелили бурки, и четверо легли, один стоял и слушал. Ночь была темная, соловьи, заливаясь, мешали слушать. Около полуночи Хаджи-Мурат поднял своих людей и решил ехать дальше, но Гомчага и, главное, Курбан не соглашались с Хаджи-Муратом,[1871] говоря, что лошади их не вынесут,[1872] не отдохнув. И Хаджи-Мурат остался. Они дремали и поглядывали лошадей и звезды. Хаджи-Мурат нажал репетицию, было 2 часа. Послышалось[1873] приближающееся к

кустам шлепанье и чмоканье[1874] лошадиных ног и тихие голоса людей. Это была погоня.

Хитрость Хаджи-Мурата не удалась по самой неожиданной случайности: в то время, как он со своими спутниками,[1875] увязая, кружил по рисовому полю, старик житель аула Баларджика собирал дрова в этих самых кустах, где они остановились.

Увидав конных, старик спрятался и пошел домой, только когда верховые въехали в кусты и не могли видеть его. Встретив этого старика, Карганов спросил его, не видел ли он конных, и старик сказал, где он их видел. Подъехав к кустам, Карганов окружил их.[1876]

Хаджи-Мурат, услыхав шаги и говор и увидав толпы конных, окруживших его, решил[1877] попытаться пробиться через них. Но не успел он дойти до лошади, как просвистела пуля, ударившись в сук, и началась стрельба по кустам. Хаджи-Мурат и его мюриды[1878] рассыпались по кустам и стали отстреливаться. Из них ни в кого не попали, а они с первых выстрелов ранили двух человек. Начинало светать, и видны были конные[1879] и пешие, и Карганов, верхом стоявший[1880] позади милиционеров.[1881] Стрельба затихла, и Карганов, выехав вперед, закричал:

— Не перебьешь всех. Нас много. Сдавайся, Хаджи-Мурат. Отдавайся на милость князя. А то погибнешь.

Хаджи-Мурат не отвечал, а из кустов защелкали винтовки, и под Каргановым упала лошадь, и ранило еще одного человека.

— Ну, молодцы, вперед в шашки, срубите их, — крикнул своим милиционерам Карганов. Но[1882] милиционеры не шли и только наобум продолжали стрелять по кустам.

Хаджи-Мурат уже хотел садиться на лошадей и пытаться пробиться сквозь милиционеров. Сафедин, обрадовавшись этому, уже стал растреноживать коня Хаджи-Мурата, когда послышались крики подъехавших вызванных Каргановым Елисуйцев. Их было человек двести, и вел их Гаджи-Ага, когда-то кунак Хаджи-Мурата, живший с ним в горах и потом перешедший к русским, с ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага выехал вперед и закричал:

— Эй, Хаджи-Мурат. Не уйдешь теперь. Сдавайся, или отрубим тебе голову.

— Бери, холоп русских свиней, — крикнул Хаджи-Мурат. — Изменник святого дела. Иди! Бери! — И он выстрелил, но пуля миновала Гаджи-Агу.[1883] И на этот выстрел ответили сотни выстрелов, направленных в кусты по лошадям и людям. Пули, как град, посыпались по кустам[1884] и ранили лошадей. Одна, разорвав треногу, треща бросилась по кустам, другая зашаталась.

— Режь лошадей, — крикнул Хаджи-Мурат и, подойдя к своей лошади, заржавшей при его приближении, полоснул кинжалом по шее лошади. Кровь хлынула.

Из ямы Хаджи-Мурата видно было врагов, перебегавших от куста к кусту. Им же он был почти не виден. А между тем, он, положив винтовку на[1885] край ямы, целил[1886] не промахиваясь. Офицер милиции в черной папахе впереди других выскочил из за куста, желая забежать за следующий, но не успел он сделать шага, как винтовка щелкнула, дым показался на полке, и офицер повернулся, зашатался и упал.

Рыжий Гомчаго также редко выпускал выстрелы даром и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали.[1887]

Как только кто из мирных высовывался из за дерева, он падал или хватался за грудь или живот.

Товарищи Хаджи-Мурата[1888] делали то же. Только Муртазил не стрелял, но, лежа подле Хаджи-Мурата, заряжал[1889] и подавал ему то свою, то его винтовку.[1890] Курбан сидел за своей убитой лошадью и пел «Ляилаха-илла-ллах» и[1891] не торопясь стрелял, но не попадал, потому что дурно целил. Сафедин дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял тоже дурно, потому что смотрел на[1892] Хаджи-Мурата.

Только Гомчаго не пускал ни одного заряда даром.[1893]

Первый из мюридов Хаджи-Мурата был ранен Гомчаго. Пуля попала ему в руку. Он обтирал кровь о черкеску и продолжал стрелять.[1894] Потом был ранен сам Хаджи-Мурат.

Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат[1895] вырвал из бешмета вату[1896] [и] заткнув рану продолжал целить и стрелять. Когда мирные увидали, что Хаджи-Мурат ранен, они радостно завизжали, и[1897] Гаджи-Ага опять закричал[1898] ему, чтобы он сдавался. Всё равно ему не уйти от них.

— Не уйти и вам от меня, — кричал Хаджи-Мурат,[1899] заряжая ружье.

— Трусы, пьяные мыши, — кричал Балта, не сидя, как другие за лошадью, а перебегая от дерева к дереву и стреляя в нападавших.

— Давай бросимся в шашки, — проговорил Сафедин.

— Погоди еще. Стреляй. — Сафедин взялся за ружье и тотчас же выпустил его. Пуля попала ему в лоб, и он с корточек спустился назад и упал навзничь. Опять мирные, увидав, что убили одного, загикали и закричали,[1900] но не решались[1901] итти в кусты.

Увидав, что Сафедин убит, Хаджи-Мурат[1902] велел Муртазилу взять от Сафедина заряды и подать ему.[1903] У него уже не оставалось.[1904] Муртазил подполз к Сафедину и выбрал.[1905] Балта был тоже ранен в[1906] шею и,[1907] плюя кровью, сидел за кустом. Курбан пел и стрелял медленно и дурно и скоро был убит. Пуля попала ему в грудь. Гомчаго вылез из ямы и исчез куда то. Хаджи-Мурат один отстреливался,[1908] и неприятели придвигались[1909] всё ближе и ближе.[1910] Еще пуля попала Хаджи-Мурату в[1911] левую руку, и он опять вырвал кусок ваты и стал, лежа в яме, затыкать рану.

Враги думали, что он убит, и визг поднялся со всех сторон, и человек пять подбежали шагов на десять.

— Убит, убит, — закричали горцы и бросились к яме. Но тотчас же остановились.

Из ямы[1912] поднялся весь черный и в крови Хаджи-Мурат и из пистолета убил ближайшего.[1913] Опять нападающие остановились. И тут Хаджи-Мурат выскочил из ямы и с кинжалом наголо бросился в их середину. Он не успел добежать

до врагов, как еще две пули[1914] попали в него: в шею и в грудь, и он упал.[1915]

Он умирал и вдруг понял это. И вспомнился ему его враг, сам высокий, рыжий Шамиль, с своим ложным величием, и сын Магома, и преданный Сафедин, который с раскрытым, как у птенцов, ртом лежал подле него.

«Его воля, алла бисмилла иль рахил, — подумал он. — Так надо, так и будет», и его охватило торжественное спокойствие.

Все думали, что кончилось. Но вдруг его страшная, окровавленная голова, бритая, без папахи поднялась из за лошади, он поднялся весь. Все замерли.

Смущение нападавших продолжалось недолго. Еще две пули ударились в грудь Хаджи-Мурата. Одна попала в один из тех золотых, которые были зашиты в его бешмет, и отскочила, другая попала в сердце.

Хаджи-Мурат упал навзничь и уже не двинулся.

Тогда Ахмет-Хан подбежал и ударил кинжалом по голове, но сгоряча не попал по шее, а по черепу, сделав ненужную рану.

Потом он уж наступил на шею и, свернув левой рукой окровавленную голову набок, совсем отсек ее.

Кровь хлынула из артерий, и челюсть головы дернулась и замерла навек.

Вот эту смерть напомнил мне раздавленный репей-татарин на дороге.

№ 111 (рук. № 51).

Этого то старика встретил Карганов,[1916] тщательно обскакавши все окрестности Нухи и нигде не найдя следов Хаджи-Мурата. Возвращаясь уже домой, Карганов не ожидал ничего, для очистки спросил старика, не видал ли он конных, и старик сказал, где он видел пятерых конных, и указал те кусты, в которые они въехали. Карганов подъехал к кустам и,[1917] по

стреноженным лошадям убедившись, что Хаджи-Мурат[1918] тут, решил дожидаться утра и утром взять бежавших.

Увидев, с кем он имеет дело, Хаджи-Мурат[1919] хотел выехать на другую сторону кустов и велел своим нукерам[1920] растреноживать лошадей. Но не успели нукеры взять лошадей, как просвистела пуля,[1921] обила листья и защелкали выстрелы, направленные в[1922] кусты со всех сторон. Но цель была так неопределенна, что[1923] десятки выстрелов никого не ранили из людей Хаджи-Мурата и только подбили одну лошадь, которая, разорвав треногу, треща, бросилась по кустам.

Хаджи-Мурат и его люди[1924] тотчас, как началась стрельба сели в яму, из которой, вероятно, возили землю на плотину,[1925] и из нее стали стрелять.[1926]

— Перестань стрелять, — закричал Карганов.

Выстрелы замолкли.

— Ты тут, Хаджи-Мурат, — закричал Карганов. — Нас много[1927] и тебе не уйти. Сдавайся. Слышишь!

№ 112 (рук. № 51).

Хаджи-Мурат не двигался, но еще чувствовал. Он почувствовал, что кто-то как будто молотком ударил его по черепу. Больше он уже ничего не вспоминал и не чувствовал. То, что ему показалось ударом молотка по черепу, был неловкий удар Ахмет-Хана, который, впопыхах подбежав к врагу, желал отрубить ему голову, ударив его своим большим кинжалом по черепу. Увидав, что он не попал по шее, а сделал ненужную рану, Ахмет-Хан, наступив ногой на спину Хаджи-Мурата, прижав его ногой к сырой земле и ловко развернувшись, своим большим кинжалом отсек залитую кровью голову.

№ 113 (рук. № 51).

Хаджи-Мурат чувствовал, что он умирает. Он вспомнил о враге своем Шамиле и не почувствовал к нему никакой злобы, вспомнил о враге Гаджи-Ага, который сейчас только ругал его[1928] и хочет убить. К нему он почувствовал себя точно так же равнодушным. Вспомнил о сыне и не почувствовал никакой особенной любви к нему, вспомнил о Воронцове, об его власти и блеске и роскоши, и ему стало скучно думать об этом, вспомнил о своей старухе-матери Патимат, как она молодая сидела под коровой и вокруг нее был запах кизячного дыма и кислого молока, и ему это было приятно. Он думал всё это и между [тем] продолжал делать начатое. Всё могучее тело его собрало свои последние усилия и, помимо воли его, выскочило из ямы и с кинжалом наголо бросилось в середину врагов. Одного он зарезал кинжалом, но в это же время две пули попали в него, в шею и в грудь, и он упал. Но[1929] тотчас его[1930] окровавленная бритая голова без папахи опять поднялась[1931] над землей, и, опираясь на руки, он поднялся весь.

Он постоял так недолго и быстро как подкошенный упал на лицо и уже не двинулся. Ахмет-Хан подбежал и ударил кинжалом по голове, но сгоряча не попал по шее, а по черепу, сделав ненужную рану. Хаджи-Мурат не двигался, но еще чувствовал. Его удивило, зачем его стучат по голове.[1932] Но это было последнее его ощущение. Больше он уже ничего не вспоминал, не чувствовал.[1933]

Увидав, что он не попал по шее, Ахмет-Хан наступил ногой на шею и, отогнув [ее] и размахнувшись из всех сил, отсек своим большим кинжалом залитую кровью голову от туловища. Кровь хлынула из артерий, и челюсть головы дернулась и замерла навеки. Вот эта то смерть напомнила мне раздавленный репей — татарина — на дороге.

№ 114 (рук. № 51).

Курбан между тем всё пел и стрелял, медленно заряжая и целясь. Вдруг Хаджи-Мурат перестал слышать его. Оглянувшись, он увидал, что его нет. В то же время Гончаго вылез из ямы и исчез куда то. Хаджи-Мурат остался один с Муртазилом. Неприятель придвигался всё ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в голову, оцарапав ее, другая в левой бок. Он лег в канаву и, опять вырвав из бешмета кусок ваты, стал затыкать рану. Хаджи-Мурат чувствовал, что он умирает. Воспоминания с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении, и отношение его к этим воспоминаниям было совсем другое, чем прежде. Он вспомнил о Шамиле, увидав его в своем воображении таким, каким он видел его последний раз: с рыжей подстриженной бородой, прищуренными глазами, в чалме и зеленом архалуке, и удивился тому, что не чувствовал к нему ни злобы, ни какого либо интереса. Вспомнил он о Хаджи-Аге, который сейчас только ругал его и обещал отрубить ему голову, и это нисколько не интересовало его. Вспомнил он о Воронцове, о всем том, что обещал ему старик, и ему удивительно было, [как] мог он интересоваться этим. Вспомнил о сыне и еще больше удивился, не почувствовав при этом воспоминании никакого страха за его судьбу. Вспомнил о своем детстве и старухе-матери, как она сидела под коровой, и вокруг нее был запах кизячного дыма и кислого молока, и это более всего другого показалось ему приятным и важным. Он думал всё это, а между тем всё могучее тело его, продолжая делать начатое, собирало последние усилия и, помимо воли его, поднялось над ямой и выстрелило из пистолета в ближайшего и вслед за тем совсем вылезло из ямы и с кинжалом наголо бросилось навстречу врагам. Весь черный и в крови, он был так страшен, что ближайшие подались назад, а приближавшиеся остановились. Раздалось несколько выстрелов, и он упал. Но тотчас его окровавленная бритая голова без папахи опять поднялась над землей, и, опираясь на руки, он поднялся весь. Он постоял так недолго и, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался. Хаджи-Мурат не двигался, но еще чувствовал. Он почувствовал, как первым подбежавший к нему запыхавшийся Ахмет-Хан, желая

отсечь ему голову, ударил его по черепу своим большим кинжалом. Его удивило, зачем стучат по его голове. И это было последнее его ощущение. Больше он уж ничего не вспоминал и не чувствовал. Увидав, что он не попал по шее, а сделал ненужную рану, Ахмет-Хан, наступив ногой на спину Хаджи-Мурата, размахнулся из всех сил своим большим кинжалом и отсек залитую кровью голову, настолько, что со второго удара она отделилась от туловища. Кровь хлынула из артерий, и челюсть головы дернулась и замерла навеки, придя в то состояние, в котором Каменев по приказанию начальства возил, показывая по крепостям и аулам.

Вот эту то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди паханного поля.

№ 115 (рук. № 52, гл. I).

Впереди шла женщина с жестяным кувшином за спиной и кумганом в руке, из которого капала только что набранная из ключа студеная, светлая вода. Не желая быть узнанным, Хаджи-Мурат, отвернув голову от женщины, тронул мягким чувяком лошадь, и она быстрым прòездом, за которым Сафедин должен был поспевать рысцой, обогнала женщину и подвезла его.

№ 116 (рук. № 52).

опустил свое могучее красивое тело на подушку, которую подсунул ему разговорившийся старик. Красивое лицо его было совершенно неподвижно, только добрые бараньи глаза его переходили с лица Хаджи-Мурата на лицо разговорившегося старика.

№ 117 (рук. № 52, гл. IV).

У костра сидело четыре горца: волосатый, черно загорелый, широколицый, приземистый аварец, черноглазый веселый чеченец, тот самый Садо, который ходил лазутчиком, потом худой, длинный, длиннорукий, рябой тавлинец и рыжий с шрамом через нос кривой лезгин.

№ 118 (рук. № 52).

— Якши, — хорошо, — сказал он и, достав из кармана черкески кошелек, дал два рубля хозяйскому брату, потом велел растреножить лошадей и Темир Садыку, с могучими плечами приземистому аварцу, стать верхом на дороге к аулу, с тем, чтобы в случае погони дать знать ему.

№ 119 (рук. № 52, гл. XI).

— Отчего так? — спросил Лорис-Меликов.

— А оттого, что когда я догнал этого человека (они бежали от нас — подо мною был добрый конь хана), он выстрелил в меня и промахнулся, тогда я ударил его шашкой, и он пустил поводья и упал на шею лошади. Я схватил его лошадь за повод, и мы остановились. Он свалился с седла на земь. Я тоже слез и подошел к нему. Он сказал: «я шейх».

№ 120 (рук. № 52, гл. XV).

Донесение это было послано 26 декабря. 28 же фельдъегерь, с которым оно было послано, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил донесение военному министру. На другой день военный министр Чернышев повез его вместе с другими докладами в Зимний дворец

государю Николаю Павловичу. Тщеславный, хитрый, как все ограниченные люди, и безнравственно самоуверенный выскочка Чернышев, подлостью сделавший карьеру и захвативший имения сосланного декабриста Чернышева, не мог не ненавидеть, в своем роде благородного, Воронцова, всегда радовался случаю уронить его во мнении государя. Распоряжение же о Хаджи-Мурате Воронцова, всегда слишком, по мнению самого государя, ласкающего азиатов и заискивающего у них, можно было представить именно таким,[1934] ненужным и вредным заискиванием и послаблением[1935] горцам.

Было 12 часов, когда Чернышев вышел из великолепных саней, запряженных орловскими рысаками, у большого подъезда Зимнего дворца.

Миновав часовых, ординарца и флигель-адъютанта, Чернышев подошел к зеркалу и, охорашивая свои крашеные виски, как и усы, потом поправив крест на шее, золотые аксельбанты и привычными движениями старческих рук большие золотые эполеты, взял подмышку портфель и остановился у двери. Дверь отворилась, и вслед за вышедшим из двери министром внутренних дел Чернышев вошел к государю.

Николай Павлович жил тогда уже не наверху, а в нижнем этаже, в маленьких двух комнатах, в которых стояла его кровать с — как он думал — знаменитым, как наполеоновская шляпа, плащом.

Сам он в мундире своего полка, — он ехал на смотр, — сидел за покрытым зеленым сукном, заложенным бумагами, письменным столом и стеклянным и тупым взглядом встретил вошедшего. И всегда тусклые глаза Николая нынче смотрели тусклее обыкновенного, и под ними были синеватые подтеки. Грудь его, сливающаяся с брюхом, была перетянута и вместе с животом выпячивалась из под мундира, но лицо говорило об усталости. Он по обыкновению встал и нынче со светом и вытерся льдом и сделал свою обычную прогулку вокруг дворца, но чувствовал себя вялым и усталым, так как заснул только в два часа ночи.

Причиной этого было то, что в 12-м часу ночи, вернувшись из маскарада, где он в своей каске с птицей на голове прохаживался под руку с женской маской, он пошел не спать, а наверх на свиданье с двадцатилетней девушкой, дочерью гувернантки шведки, Копервейн, которая уже несколько раз в маскараде интриговала его и так пленила своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом, что он назначил ей свидание нынче же во дворце после маскарада. Она пришла и была еще милее без маски, чем показалась в маске. Получив всё, что ей нужно было, обещание дать место ее матери и пенсию себе, она во втором часу через ту же заднюю лестницу и маленькую дверь, по которой вошла, ушла от него.

Позавтракав с императрицей, — Николай Павлович гордился своей нравственной семейной жизнью, — он уже более часа сидел в своем кабинете и слушал доклады, сначала министра двора, которому он велел выдавать пенсию г-же Копервейн, и потом министра внутренних дел, на докладах которого он положил свои резолюции. Теперь очередь была за военным министром.

Длинное, с взлизами над зачесанными височками и полукруглыми бакенбардами и длинным носом, лицо его с ожиревшими щеками, подпертое высоким воротником, было более обыкновенного холодно и неподвижно.

Чернышев тотчас же понял по выражению его лица, что он не в духе, и решил воспользоваться этим расположением его против Воронцова. Но прежде чем докладывать новое, надо было получить оставленные у него дела для резолюции. В числе этих дел о следствии над обличенными в воровстве провиантскими чиновниками и перемещениях войск на польской границе было еще и дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора. Все эти и другие бумаги лежали у него на столе, и он передал их Чернышеву. На полях были резолюции с грубыми орфографическими ошибками: «Наредить строжайшее следствие... Разместить в Белостоке...» На последней резолюции о студенте было написано: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной*

казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь[1936]*1000 человек. Николай».*

— Прочти, — сказал он Чернышеву, очевидно очень довольный своим этим сочинением.

Чернышев прочел и наклонил в знак почтительного удивления голову так, что хохол его затрясся, и потом,[1937] открыв свой портфель, начал докладывать: было дело о бежавшем арестанте и суде над офицером, в карауле которого он бежал, другое дело было о переименовании полка из 54-го в Нежинский,[1938] еще о назначениях и производствах, о благодарности за смотр и, наконец, о донесении Воронцова о Хаджи-Мурате.

Николай[1939] слушал всё, держа своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безыменном пальце, листы доклада и глядя осоловелыми глазами в лицо Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза. — Ты знаешь?

— Знаю, Ваше Величество.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая Павловича, что, когда ему нужно решать какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собой, неизменное и самое верное, и ему стоило только выразить его. Так он решил вопрос о студенте, который должен был быть прогнан сквозь 12 тысяч. Так он решил еще нынче утром вопрос о двух миллионах государственных крестьян, которых он присвоил себе, приказав перечислить их в удельные, не забыв при этом написать генерал-губернатору держать это дело в тайне, чтобы не дать повода всяким вралям ложно перетолковывать это благодетельное для крестьян[1940] распоряжение. Так он и теперь решил дело о Хаджи-Мурате и вообще о кавказской войне. О Хаджи-Мурате он решил, что выход Хаджи-Мурата означает только то, что его, Николая Павловича, план войны на Кавказе уже начинает приносить свои плоды. Хаджи-Мурат отдался русским, по его мнению, очевидно, только потому, что исполняется им составленный план

медленного движения вперед, постепенного разорения аулов, истребления их продовольствия и вырубки их лесов. То, что план, составленный перед назначением Воронцова в 1845 году, был совсем другой; что он тогда говорил, что надо одним ударом уничтожить Шамиля, и что по его повелению была сделана несчастная Даргинская экспедиция, стоившая столько жизней, нисколько не мешало ему. Для того, чтобы говорить, что план его состоял в медленном и постоянном уничтожении продовольствия горцев, он должен бы по крайней мере был забыть, что он не одобрил этого плана Ермолова и Вельяминова и предписал совершенно противуположное Воронцову, но он не забывал этого и гордился и тем планом и планом постоянного тревожения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили друг другу. Лесть, подлость окружающих его людей довели его самомнение до того, что он не видел своих противоречий, считал себя выше здравого смысла и наивно верил, что ему стоит только помолчать и подумать, и первая мысль, которая взбредет в его ограниченную и одуренную голову, и будет священная истина, продиктованная ему самим Богом. Кроме того он, кажется первый из русских царей, выдумал для удобства[1941] самовластия и самодурства самовластия прятаться, когда это нужно, за закон, который он сам же устанавливал, и, когда нужно, нарушать в корне все законы божеские и человеческие, а когда нужно, делать вид, что, жалея о совершающемся, он не может изменить исполнения закона.

Так он, например, в то время, как он сам распорядился повешением пяти декабристов и сам подробно расписал, что и как должны делать войска и барабаны, его любимый музыкальный инструмент, — когда подведут пятерых казнимых к виселицам, и что тогда, когда их повесят, он говорил, что он в это время с императрицей в церкви молился о тех, которых вешали по его приказанию и рецепту. Когда же противоречие было уже слишком ясно, тогда он говорил, что он получает советы свыше и потому не может не следовать им.

— Надо твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне, и тогда всё будет хорошо,

— сказал он теперь. — Так и напиши ему. О Хаджи-Мурате ничего не пиши. Правда, что старик слишком возится с этими разбойниками, но это не важно. Главное, напиши, что надо пользоваться войсками и делать набеги и как можно более вытеснять их с плоскости. Напиши, что я жду исполнения моих предначертаний.

№ 121 (рук. № 52, гл. XVI).

[1942]Бутлер[1943] был полон той воинственной поэзии, которой подчиняются все военные на войне и к которой особенно располагает и величественная и нежная природа предгорьев Кавказа. Его не только радовала самая настоящая война, к которой по временам обязывала его его служба, но его прельщали даже и вольные, производимые одним из офицеров из полка Богдановичем, набеги и нападения на отдельных горцев. Офицер этот, славящийся в полках своей храбростью, ходил с двумя-тремя охотниками солдатами по ночам на дороги и там, засевши за кустами или камнями, выжидал проезжающих горцев и нападал на них, убивал и приносил их головы. Бутлер ни разу не видал этого, но таинственность и опасность такой охоты на людей нравилась ему и он хотел в первый раз, как Богданович пойдет в засаду, итти с ним.

Бутлер, как и все военные, был одержим тем особенным эгоизмом, мыслью только о себе, и совершенным забвением о последствиях своей деятельности для неприятеля, которые развиваются различными условиями, главное же той опасностью, которой подвергается на войне всякий участвующий в ней. Всякую минуту в опасности не только жизнь, но военная репутация, честь. Постоянно занят тем, чтобы не только не струсить, но показать пример храбрости. И это чувство так поглощает всего человека, что уже ему некогда и он не может думать о неприятеле, о том, от кого он в опасности и на ком проявляет свою храбрость. Это с особенной силой испытывал впечатлительный Бутлер. Он с особенным наслаждением

вспоминал последний набег,[1944] и никогда ему и в голову не приходила мысль о тех страданиях, которые испытали и испытывали жители аула вследствие этого набега.

№ 122 (рук. № 53, гл. III).

— Пожалуйста, чем могу.

— Барон Фрезе вчера приехал.

— Какой это Фрезе?

— Сын княгини Каракиной — кавалергард...

— А-а, — сказал Воронцов.

— Помните, я просил вас прикомандировать его к нашему полку.

— Ну, так вот: если бы у нас на рубке леса случилось дело завтра, вы ничего не будете иметь?

— Т. е. что вы вызовете горцев на перестрелку? — улыбаясь спросил Воронцов.

— Да, может быть. Вы ничего не будете иметь против? Он такой хороший малый этот Фрезе.

— Разумеется, что же я могу? А помочь ему я очень рад.

Дело было в том, что добродушный Полторацкий хотел помочь разжалованному товарищу по Пажескому корпусу тем, чтобы затеять перестрелку с горцами (это всегда можно было) и представить Фрезе к награде, как отличившегося.

№ 123 (рук. № 53, гл. V).

Это был длинноногий и длиннорукий человек воинственного, щеголеватого вида, с бледным лицом и русой бородкой. Он был[1945] кроме ловкости и силы, которой славился, еще ученый человек, оскорбленный Шамилем и ненавидевший его житель казикумыцкого ханства Курбан-Магомет.

№ 124 (рук. №. 53, гл. VI).

Хаджи-Мурат, хромая на короткую ногу, вышел из гостиной за камердинером и с помощью переводчика, сделав омовение, стал на молитву. Через час он опять входил по приглашению Воронцовых в гостиную с серебряным кинжалом на поясе. В гостиной собралось несколько офицеров и вели общий разговор, во время которого Марье Васильевне удалось поймать Хаджи-Мурата на том, что он похвалил золотые часы с репетицией, и она потребовала, чтобы он принял их в подарок. Обедать Хаджи-Мурат отказался за общим столом, и ему снесли обед в его комнату. Хаджи-Мурат всем очень понравился, и за обедом шел веселый разговор о нем.

№ 125 (рук. № 53, гл. XI).

— Что такое хазават? — спросил Лорис-Меликов. Он знал, что значило хазават, но хотел слышать, как понимает это слово Хаджи-Мурат.

— Хазават значит то, что мусульманин признает власть над собой только Аллаха и тех, кого поставил над ним Аллах. Если же он во власти неверных, то должен биться до тех пор, пока не умрет или не освободится.

— Так, — сказал Лорис-Меликов, — как же это было, что ты тогда еще хотел принять хазават?

— А было это так, что тогда в одной схватке я в первый раз убил человека.

— А много ты убил людей на своем веку? — сказал Лорис-Меликов. — Сколько?

— А кто же их считал. Но тот человек был шейх.

— Что значит шейх? — спросил Лорис-Меликов.

— Шейх значит учитель мюридов. Так вот, когда он умирал, он сказал мне: «ты убил меня; но знай, что мусульманину нет спасения без хазавата, держи хазават». Так вот с тех пор я стал

думать о хазавате. Но тогда еще я не стал мюридом, а не стал я мюридом потому, что скоро после этого мюриды убили моего отца, на них была его кровь, и я не мог итти к ним.

№ 126 (рук. № 53, гл. VI).

Донесение это было послано 26-го декабря. 30-го[1946] же фельдъегерь, с которым оно было послано, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил донесение к князю Чернышеву, бывшему тогда военным министром. На другой день[1947] Чернышев[1948] с этим донесением и другими докладами в обычный час приема приехал в Зимний дворец.[1949]

Чернышев, рядом обманов, лжей, подлостей приобретший свое[1950] высокое положение и в особенности огромное состояние,[1951] отнятое им у сосланного декабриста Чернышева,[1952] естественно ненавидел[1953] Воронцова и[1954] за то, что Воронцов пользовался особенным уважением Николая, и за то, что Воронцов занимал еще более высокое положение, чем Чернышев, владея большим состоянием.[1955] Главное же за то, что[1956] он знал, что Воронцов[1957] презирал его, и потому Чернышев старался когда и как мог вредить Воронцову во мнении государя. Теперь, везя доклад о Хаджи-Мурате, он надеялся повредить Воронцову, всегда слишком, по мнению государя, ласкающему азиатов и заискивающему у них, тем, чтобы представить именно таким ненужным и вредным заискиванием слишком большие преимущества, данные Хаджи-Мурату.

Было 12 часов, когда[1958] два великолепных[1959] орловских рысака, запряженных в парные сани, остановились у большого подъезда Зимнего дворца,[1960] и Чернышев[1961] вышел из саней и бодрясь прошел мимо часовых и, сняв шинель, подошел к зеркалу,[1962] он оправил свои крашеные виски,[1963] привычным движением старческих рук поправил крест,[1964] аксельбанты и

большие золотые эполеты[1965] и направился к кабинету государя.[1966] В предшествующей комнате он остановился и, поздоровавшись с флигель-адъютантом, спросил, кто у государя? У государя был министр внутренних дел. Чернышев[1967] присел, раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги. Дверь отворилась, вышел министр внутренних дел. Чернышев поздоровался с ним и вошел в кабинет государя.

[1968]Николай[1969] жил тогда[1970] в нижнем этаже, в маленьких двух комнатах под сводами: кабинете и спальне.[1971] Дверь в спальню была открыта, и виднелась жесткая железная кровать и на[1972] ней старый плащ. Николай не позволял заменить[1973] старый плащ новым, говоря, что, как у Наполеона была его шляпа, так у него его плащ.

В кабинете же был большой покрытый зеленым сукном[1974] письменный стол и[1975] несколько кресел и небольшой шкап.

Николай[1976] в мундире с эполетами (он ехал на смотр) сидел за столом, откинувши свой огромный перетянутый по животу стан, и стеклянным тупым взглядом встретил вошедшего.[1977] Длинное лицо его, с огромным лбом, выступавшим из за приглаженных височков парика и с правильными колбасиками баками и кольцами закрученными усами[1978], с ожиревшими щеками, подпертое высоким воротником, было более обыкновенного холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, нынче смотрели тусклее обыкновенного.[1979] Причиной этой усталости было то, что[1980] вчера, как обыкновенно,[1981] он в маскараде, прохаживаясь в своей каске с птицей на голове[1982] между[1983] робко сторонившейся перед ним публикой, встретил опять ту привлекательную своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом[1984] маску, которая еще в тот маскарад интриговала его и скрылась. Нынче она опять подошла к нему, и он уже не отпустил ее, и тот, кто заведовал его шалостями, привел эту маску нынче же во дворец после маскарада.[1985] Маска эта оказалась[1986] двадцатилетней девушкой, дочерью

шведки гувернантки, которая, как и многие тогда, влюбилась, не видав еще его, в императора и всю свою женскую хитрость, ловкость и прелесть употребила на то, чтобы отдаться ему. И достигла того, чего страстно желали многие аристократические девицы и фрейлины.

Николай нашел ее еще милее без маски и более двух часов провел с нею. Когда она ушла от него через ту же лестницу и маленькую дверь, по которой вошла,[1987] он долго еще не мог заснуть, и знаменитый плащ, которым он покрывался, не дал ему успокоения.

Он заснул только в два часа. В восьмом часу он уже встал, как всегда вытерся льдом и сделал свою прогулку вокруг дворца, но ни вытирание, ни лед не освежили его.

После прогулки Николай по обыкновению позавтракал с императрицей — [1988]он гордился своей нравственной семейной жизнью — и ему и в голову не приходило, чтобы такие шалости, как нынешняя, могли препятствовать хорошей семейной жизни.[1989] Он даже впоследствии устроил мать этой хорошенькой шведки в гардероб императрицы.[1990]

Пожаловавшись императрице на головную боль, он скоро ушел к себе и в своем кабинете[1991] принимал сначала министра двора,[1992] потом министра внутренних дел.[1993] Когда министр внутренних дел вышел, Николай с грустью задумался о том, что он теперь уже не так, как в старину, переносит такие ночные Strapazen,[1994] и ему жалко стало себя, своей убывающей[1995] телесной силы. Он набрал воздуха, выпятил грудь, но это не помогло: в голове была та же сонливость, и во всем теле та же вялость, и ему стало досадно.

Чернышев тотчас же понял по выражению его лица, что он не в духе, и решил воспользоваться этим расположением его против Воронцова. Но прежде чем докладывать новое, надо было получить на оставленные у него дела две резолюции. В числе этих дел было одно: о следствии над обличенными в воровстве провиантскими чиновниками, другое о перемещении войск на польской границе и третье[1996] о поляке-студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Все эти[1997] дела лежали у него на столе,[1998] уже с надписанными,[1999] с грубыми орфографическими ошибками, резолюциями.[2000]

— Вот прочти, — сказал Николай, подвигая Чернышеву первое дело. На поле было написано: «Наредить строжайшее следствие».[2001]

— Да, брат, видно в России только один честный человек, — сказал Николай, несколько оживившись.

Чернышев знал, что Николай интересовался только тем, что относилось к нему лично, и что всякое[2002] дело было интересно ему только в той мере, в которой оно выставляло его, давало ему возможность играть роль величия, и потому он тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

Другое дело было размещение войск. Казалось, что дело уже никак нельзя было отнести к своей личности, но и тут Николай нашел эту связь.

— Напиши Врангелю, что я[2003] полагаюсь на него. Он знает меня и поймет.

На этом деле было надписано: «Разместить в Белостокской губернии».[2004] В резолюции на третьем деле весь интерес уж был перенесен на себя, на свою роль. Было дело о бежавшем арестанте и суде над офицером, в карауле которого он бежал, другое дело было о переименовании полка из 54-го в Нежинский, еще о назначениях и производствах, о благодарности за смотр и, наконец, о донесении Воронцова о Хаджи-Мурате.

Николай слушал всё, держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы доклада и глядя[2005] безжизненными глазами в лицо Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза. — Ты знаешь?

— Знаю, Ваше Величество!

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая,[2006] что, когда ему нужно было решить какой либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений и

что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собой,[2007] самое верное,[2008] и ему стоило только выразить его.[2009] В сущности в эти минуты он думал только о себе, как бы ему[2010] съиграть наиболее величественную роль. Так он и теперь решил дело об[2011] офицере, в карауле которого бежал арестант. Он велел разжаловать его без выслуги в рядовые,[2012] соблюдая, как он думал, необходимую законность, но[2013] чтобы выказать свое великодушие, он прибавил: «определить на Кавказ, может заслужить».

Когда же дошло дело до Хаджи-Мурата, то Николай тотчас отнес выход Хаджи-Мурата к своей государственной мудрости. Хаджи-Мурат[2014] перешел к нам, по его мнению, только потому, что исполнялся составленный им, Николаем, план медленного движения вперед, постепенного разорения аулов Чечни, истребления их продовольствия и вырубки их лесов. То, что план, составленный им перед назначением Воронцова в 1845 г., был совсем[2015] не этот, а, что, напротив того, он тогда говорил, что надо одним ударом уничтожить Шамиля и тогда, по его повелению, была сделана несчастная Даргинская экспедиция, стоившая столько жизней,[2016] нисколько не мешало ему быть уверенным, что план медленного движения вперед и истребления продовольствия горцев был его план.

Для того, чтобы[2017] верить в это, ему, казалось бы, надо было забыть про то, что план о постоянном уничтожении продовольствия горцев[2018] был план Ермолова и Вельяминова и что он не одобрял его, а предложил Воронцову совершенно противуположный план решительного удара, испытанием которого и была Даргинская экспедиция. Но он не забывал этого и гордился и тем планом, и планом постоянного тревожения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная лесть[2019] окружающих его людей довела его самомнение до того, что он не видел уже своих противоречий, считал себя выше здравого смысла и[2020] уже не сообразовал свои поступки и слова с действительностью, а вполне был уверен, что действительность должна

сообразоваться с его поступками и словами. Путанице этой в его мыслях содействовало то, [что] он один не только делал, что хотел, но составлял законы, которым должны были подчиняться все и которым будто бы подчинялся и он сам. И он был уверен, что поступает по закону, тогда как закон он устанавливал сам и тотчас же изменял его, когда ему это было нужно.

№ 127 (рук. № 53, гл. XVIII).

[2021]Была половина 10-го, когда в тумане 20-градусного мороза толстый бородатый кучер в лазоревой бархатной шапке ловко подкатил на паре серых рысаков к малому подъезду Зимнего дворца, у которого уже стояли такие же сани, и Чернышев[2022] в шинели с бобровым воротником, в треугольной шляпе с плюмажем вышел из саней, и, бодрясь, прошел мимо часового[2023] в сени и переднюю. Он подошел к зеркалу,[2024] осторожно снял шляпу с парика, и, оправив[2025] завитые виски и хохол,[2026] он внимательно осмотрел свое лицо. Потом привычным движением старческих рук поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями золотые эполеты и, раскачиваясь, мягкими шагами прошел[2027] мимо раболепно кланяющихся лакеев на лестницу. В приемной[2028] встретил его флигель-адъютант[2029] и князь Василий Долгорукий, товарищ Чернышева по военному министерству. Чернышев поздоровался с тем и другим. «Eh bien»,[2030] сказал он, глазами указывая на дверь кабинета. «L'Empereur vient de rentrer. Je vais vous annoncer»,[2031] сказал флигель-адъютант и прошел в дверь. Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.[2032] Минут через пять отворилась дверь, и из нее вышел[2033] флигель-адъютант, жестом приглашая министра и его товарища к государю. Чернышев поспешно встал,[2034] крякнув от боли в коленке, и вошел с Долгоруким в комнату государя.

Николай жил тогда еще в верхнем этаже,[2035] в двух комнатах.[2036] Первая комната была вся увешана планами.[2037] Вторая была кабинет.[2038]

Николай[2039] в черном сюртуке, без эполет с полупогончиками сидел у стола, откинув свой огромный перетянутый по отросшему животу стан,[2040] и своим безжизненным взглядом встретил вошедшего. Длинное,[2041] подпертое высоким воротником с ожиревшими щеками лицо с огромным лбом, выступавшим из за приглаженных височков парика и с правильными колбасиками баками и кольцами закрученными усами было нынче[2042] особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, нынче смотрели тусклее обыкновенного. Всё лицо его выражало усталость.[2043]

Причиной этой усталости было то, что[2044] накануне он был[2045] в маскараде и, как обыкновенно прохаживаясь в своей каске с птицей на голове между теснившейся к нему и робко сторонившейся от него публикой, встретил опять ту, возбудившую в нем своей белизной, прекрасным сложением, нежным голосом[2046] старческую похоть, маску.[2047] Она[2048] уже и прежде интриговала[2049] его в маскараде,[2050] но, разжегши до последней степени его любопытство и похоть, скрылась от него.[2051] В этот же маскарад она[2052] подошла к нему, и он уже не отпустил ее, и тот, кто заведывал его шалостями, привел эту маску нынче же во дворец после маскарада.

Маска оказалась 20-летней девушкой, дочерью шведки гувернантки, которая[2053] с детства заочно влюбилась[2054] в[2055] величие и всю свою женскую хитрость и ловкость[2056] употребила на то, чтобы[2057] достигнуть того,[2058] чего страстно желали и не достигали многие, так называемые аристократические девицы.

Николай[2059] взял ее и более двух часов провел с нею. Но когда она ушла,[2060] ему стало скучно. Всё было одно и то же: и те же восторги, и те же слезы, и те же корыстные замыслы, более или менее искусно скрытые.

Когда[2061] он вернулся в свою комнату, он долго[2062] не мог заснуть и знаменитый плащ, которым он покрывался, не дал ему успокоения. Он заснул только в[2063] 4 часа. В 8-ом же часу, как всегда, встал. С помощью камердинера он по обычаю вытерся льдом и, надевши шинель,[2064] обошел вокруг дворца.[2065]

Возвращаясь с прогулки, он увидал экипажи у своего[2066] подъезда и две кареты с придворными лакеями Елены Павловны[2067] у крыльца императрицы.

Всходя на ступеньки крыльца мимо отдающих честь замирающих часовых, Николай набрал воздуха в выпяченную грудь, желая подбодриться, но это не помогло ему. Была та же сонливость, в голове тот же туман и во всем теле та же вялость. Ему стало досадно, и он рассердился. Рассердившись же, тотчас же нашел тот предмет, на который он мог направить свой гнев; предмет этот были, как всегда, те люди, против которых он в глубине души знал, что был виновен, это были те скверные люди, которые[2068] воображали, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Это были прежде всего декабристы, всякого рода ратудатели,[2069] писатели.[2070] Он вспомнил теперь[2071] их преступления — поступки Прусского короля и почувствовал поднимающееся в душе знакомое чувство[2072] ненависти ко всему миру. Когда Чернышев вместе с Долгоруким вошел в кабинет,[2073] Чернышев тотчас же понял,[2074] что[2075] Николай особенно не в духе, и решил воспользоваться этим рас[положением].[2076]

[2077]Он слушал[2078] доклад Чернышева, держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы,[2079] и глядел безжизненными глазами[2080] на лоб и хохол Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза.[2081]

— [2082]Слушаю, Ваше Величество.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что когда ему нужно решить какой либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений и что тогда на него находило наитие и решение составлялось само собою

самое верное и ему стоило только выразить его. В сущности в эти минуты он думал только о себе как бы ему сыграть наиболее величественную роль. Так он и теперь решил дело о студенте поляке. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «*Заслуживает смертной казни. Но слава Богу смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай*».

— Вот, — сказал он, подвигая к Чернышеву. — Прочти.

Чернышев прочел и наклонил в знак почтительного удивления голову. Помолчав несколько и оправив свой[2083] хохол, начал докладывать следующее дело о воровстве интендантских чиновников.

[2084]Дав на студенте поляке[2085] выход своему злому чувству Николай уже с менее злым лицом слушал доклад о воровстве интендантских чиновников.

Самый вопрос воровства мало интересовал его — он знал, что воруют все и что[2086] остановить этого нельзя.

— [2087]Знаю, знаю. — сказал Николай, дослушав доклад об интендантских чиновниках. — Видно у нас в России честный человек только один.

Чернышев знал, что Николай интересовался только тем, что относилось к нему лично, и что всякое дело бывало ему интересно только в той мере, в которой оно выставляло его, давало ему возможность играть роль величия, и потому он тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, Ваше Величество, — почтительно улыбаясь, сказал он.

[2088]После этого Чернышев стал докладывать о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай, — хорошее начало.

— Очевидно план, составленный Вашим Величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была очевидно приятна Николаю. Но он хотел[2089] слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану Вашего Величества, постепенно подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя[2090] запасы,[2091] и следовали бы более точно, то они давно бы покорились. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Ты так думаешь?[2092] Что ж, ты прав.[2093] Я всегда это говорил, — сказал Николай, несмотря на то, что вырубка[2094] лесов и истребление продовольствия был не только не план Николая, но был план Ермолова и Вельяминова,[2095] противоположный плану Николая, который в 1845 году[2096] считал,[2097] что успех может быть достигнут только энергичным нападением на центр владения Шамиля, и для этого настоял на Даргинской экспедиции, стоившей столько людских жизней. Но то, что это так было, нисколько не мешало Николаю быть уверенным, что план медленного движения вперед и истребления продовольствия горцев и вырубка лесов был его план. Для того, чтобы верить в это,[2098] казалось бы, надо было[2099] скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном[2100] военном предприятия 45 года. Но он не[2101] скрывал этого и[2102] гордился и тем планом, своей экспедиции 45 года и планом постоянного тревожения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому.

Постоянная лесть окружающих его людей довели его[2103] до того, что он не видел уже своих противоречий,[2104] не сообразовал уже свои поступки и слова ни с действительностью, ни с логикой, а вполне был уверен, что[2105] всё то, что он делал, было и хорошо и умно и справедливо и правильно со всех сторон.[2106]

— Надо твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне, и тогда всё будет хорошо, — сказал он теперь.[2107]

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.[2108]

— Напиши, что начало хорошее, и прибавь, что надо пользоваться войсками и[2109] не переставая как можно более вытеснять[2110] чеченцев с плоскости. Напиши, что я жду исполнения своих предначертаний.

[2111]Чернышев откланялся и после него стал докладывать Долгорукий о наградах и перемещении войск.[2112]

После Долгорукого вошел в ленте и штатском мундире маленький пухлый старичок с докладом о[2113] новых законах, прошедших в государственном совете. Это был Блудов. Он принес несколько докладов[2114]....

Николай подписал и велел позвать приехавшего откланяться Бибикова.

[2115]Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом.[2116] Кроме того приказал[2117] отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это для них, — сказал он.

Бибиков наклонил свою черную седеющую голову.

Отпустив Бибикова, Николай[2118], взглянув на часы, поспешно вышел в залу ротондо, где более ста человек[2119] дам в вырезанных нарядных платьях и министры, генералы и адъютанты в золотых шитых аксельбантах, орденах и лентах ожидали его.

[2120]С безжизненным взглядом, с выпяченной грудью,[2121] через которую шла голубая лента с перетянутым и выступающим из за перетяжки животом, с толстыми обтянутыми ляжками в ботфортах Николай вошел в залу и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, немного нахмурился от надоевшего ему этого подобострастия. Но, встречаясь глазами с знакомыми лицами, он невольно вспоминал кто — кто, не останавливаясь говорил несколько милостивых слов, вперед зная, что всё, что он ни скажет, всё есть образец[2122] грации, мудрости, величия.

Приняв поздравление и окончив прием, Николай вместе с императрицей, наследником и сыновьями прошел в церковь. Бог через своих слуг, таких же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия. Вся Россия, весь мир молились за него и его семью. От него зависело благоденствие и счастие всего мира, и[2123] хотя он и уставал от этого, он не отказывал миру в своем содействии.

После обедни Николай пришел к Волконскому, министру двора, распорядиться о выдаче пенсии матери той девицы, которая была с ним вчера ночь, потом через Эрмитаж вышел на крыльцо и поехал кататься на одиночке, мрачно оглядывая встречающихся.

За обедом[2124] в Помпейском зале,[2125] к которому кроме Николая Николаевича, Михаила Николаевича и генерала-адъютанта были приглашены прусский посланник и прусский флигель-адъютант, Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война Кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и[2126] системой[2127] укреплений. Посланник очень хвалил этот план,[2128] подразумевая стратегическую способность Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин, потом ужинал и делал вид, что не замечает недовольства Нелидовой, знавшей уже про его вчерашнее похождение. На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил[2129] свое[2130] распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, беспрестанно усиленно[2131] тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

№ 128 (рук. № 53).

...и которые воображали, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими.[2132]

Он знал, что, сколько он ни давил этих людей и их мысли, они опять выплывали и выплывали наружу. И он мрачно нахмурился и был в самом дурном расположении духа, когда Чернышев вошел к нему. Чернышев тотчас же[2133] по лицу, глазам Николая понял, что он нынче особенно не в духе, и решил воспользоваться этим расположением против Воронцова.

[2134]Чернышев[2135] прежде всего поздравил государя с Новым Годом. Он поблагодарил[2136] и тоже поздравил его и пригласил сесть и велел докладывать.[2137] Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников, потом было дело о перемещении войск на польской границе, о прибавке наград к новому году, потом о выходе Хаджи-Мурата и еще дело о поляке студенте медицинской академии, покушавшегося на жизнь профессора.

Николай молча, сжав тонкие губы и держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы, слушал доклад о воровстве и глядел безжизненными глазами на лоб и хохол Чернышева.

Вопрос о воровстве мало интересовал его — он знал, что воруют все. И в последнее время махнул рукой на это воровство, признав невозможность искоренить его. Он знал, что надо будет покарать[2138] теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он, упорно глядя на Чернышева.

№ 129 (рук. № 54, гл. VIII).

Только мать поминала часто любимого сына и скоро после отдачи его продала холсты и послала два рубля сыну. С первого

начала, когда его угнали на Кавказ, и теперь уже второй год пилила старика, чтобы он послал сердешному Петрухе рубля три. Сына Петруху она любила изо всех детей, но жену его, именно от того, что любила сына, не взлюбила с самого начала и скоро после отдачи сына выгнала солдатку из дома, несмотря на то, что она была брюхата.

№ 130 (рук. № 54).

Со времени своей службы Петруха писал только одно письмо домой. В письме его было написано, что в первых строках просит у родителей своих родительского благословения на веки нерушимого и посылает свои поклоны любезному братцу, сестрицам. Потом были перечислены все родные и, под конец, дражайшей супруге своей Аксинье Власовне. Супругу свою он просил не покидать родительского дома и быть дочерью дражайшей матушке Марье Никитишне. О себе он уведомлял, что пригнали его на Кавказ и здесь горы высокие и снег на них никогда не тает. А война здесь против Шмеля, и Шмель, хоть и татарин, а крепко держится, но против нашего царя он все-таки не устоит, и мы его с Божьей помощью часто побиваем.

№ 131 (рук. № 54, гл. IX).

Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку известному своей храбростью рыжеватому, красному, толстому генералу с щетинистыми усами, которому очевидно было не по себе в этом великосветском обществе, с этой со всех сторон окружающей его, невиданной им роскошью и этими нарядными женщинами и девицами, преимущественно грузинками, в великолепных платьях и блестящих украшениях.

№ 132 (рук. № 54, гл. XXI).

Бутлер сидел рядом с Полторацким. Оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Но когда в середине обеда речь зашла о бывшем приезде наследника Александра Николаевича на Кавказ и о том деле, за которое он получил Георгиевский крест, и Барятинский стал рассказывать о том, как это было, они затихли и слушали, что говорилось. Были слухи о том, что это дело подготовил услужливый Воронцов старший. Но по рассказу Барятинского выходило другое. Он рассказывал, что горцы, с которыми столкнулся наследник, были хотя и не мирные, но выехавшие с мирными намерениями, только из желания посмотреть на наследника великого царя, к которому все горцы питают особенное уважение, почти обожание. Выехали горцы кучками из гор и стояли поодаль, вдоль пути наследника. Наследник ехал впереди отряда-оказии верхом. С ним рядом ехал переводчик Бата, и Бата сказал ему, что видневшиеся горцы не мирные. Узнав, что это не мирные, наследник вместе с переводчиком и казаками, сопутствующими ему, поскакал на них. Казаки стали стрелять и убили одного горца, остальные скрылись.

— Когда я подъехал, — рассказывал Барятинский, — наследник хотел гнаться за ускакавшими, но я удержал его.

— Так ли было, Ваше Сиятельство, — сказал Козловский, — я слышал другое. Горцы, как, могли, как, стрелять по Его Высочеству. Может быть, как, и посланы были.

— Нет, это были, наверное, только любопытные, — сказал Барятинский и обратился к Воронцову с вопросом об устройстве Алупки.

Козловский же всё это время что то говорил себе под нос.

№ 133 (рук. № 54, гл. XXIII).

Два раза в своей жизни Хаджи-Мурат изменял хазавату и вот теперь изменил ему в третий раз. И всякий раз за изменой следовало наказание. Так было и теперь. Положение казалось безвыходным, но каждый раз разрешалось положение это смелостью, удалью. И теперь должно было разрешиться тем же.

№ 134 (рук. № 56, гл. IV).

У костра сидело четыре[2139] человека. Трое были[2140] его мюриды, с ним вместе выходившие к русским. Четвертый был коротконогий Бата, вместе с Хан-Магомою только что вернувшийся от Воронцова. Бата тотчас же встал, подошел к Хаджи-Мурату и, взявшись рукою за луку его седла, стал рассказывать, как он был у самого князя и как тот сказал ему, что завтра будет ждать их на Шалинской поляне за рекой. Хаджи-Мурат внимательно выслушал Бату, расспросил его подробности, кивнул одобрительно головой и, слезши с лошади, сел у костра на освобожденное для него его мюридами серединное место на расстеленной бурке[2141]. Мюриды Хаджи-Мурата чистили[2142] оружие и[2143] одежду. Хаджи-Мурат же[2144] сидел на бурке, опустив голову и глубоко задумавшись.

Военные успехи Хаджи-Мурата, как и вообще всякие успехи, зависели в большой степени от того, что Хаджи-Мурат верил в свое счастье. Затевая что нибудь, был вперед твердо уверен в удаче. Так это было с редкими исключениями во всё продолжение его бурной военной жизни. Только в самое последнее время счастье стало изменять ему. Набег его в Табасарань не был удачен, главное же Шамиль вдруг явно стал враждовать с ним. Хаджи-Мурат попытался не покориться ему и заперся в ауле Цельмесе, но Шамиль окружил его, и Хаджи-Мурат видел, что он не выдержит, и пошел на примирение, но, боясь измены, не поехал к Шамилю, как тот звал его. И он был прав, так как узнал, что Шамиль решил убить его. Тогда он решил бежать к русским. Но посланные Шамиля уже были в Малой Чечне, и когда Хаджи-Мурат попытался остановиться в

Чечне у отца своей жены чеченки, тесть его не принял его. На выезде из аула Шамилевы посланные напали на Хаджи-Мурата, он отбился от них, но один из его мюридов был убит и он должен был оставить его.

Всё это теперь вспоминал Хаджи-Мурат, теперь, сидя на бурке, облокотив руки на колена.

— Рыжий шайтан! — думал он о Шамиле. — Ну что ж. Пойду и к русским, — и он с презрением, отвращением и страхом вспоминал свою за двадцать лет тому назад поездку в Тифлис с своим другом, молодым аварским ханом.

— Бывало и хуже, а справлялся. А всё рыжий шайтан. Не миновать ему моей руки.

Мысли его перебил вой, плач и хохот шакалов. И мысль о ненавистном Шамиле слилась в одно впечатление с этим плачем. Чтобы стряхнуть с себя это тяжелое впечатление, он поднял голову и взглянул на светлевшее уже небо. Ночные звезды потухли, блестела только утренняя звезда сквозь оголенные ветви.

— Элдар! седлать, — сказал он и, встав на сильные ноги, пошел к своей лошади. — Рыжий шайтан, — повторил он, оглаживая шею своего белогривого кабардинца.

№ 135 (рук. № 56, гл. I).

Садо, как и все чеченцы того времени, не дорожил жизнью человеческой других людей, так же как и своей. Он даже находил удовольствие и некоторую особенную прелесть в игре своей жизнью.

№ 136 (рук. № 56, гл. II).

Фельдфебель 2-ой роты вызвал людей на вечернюю зорю. Солдаты в коротких полушубках вышли из казарм и своих

домиков, стали лицом на восток, и сильные и звучные мужские голоса песенников стройно пропели «Отче наш». Потом фельдфебель передал отделенным унтер-офицерам полученный от ротного приказ выступить завтра с топорами до зари на рубку леса. Кроме того выставлять секрет за шах-гиринские ворота. Черед был в эту ночь за 2-ой ротой.

— Панов! — крикнул фельдфебель.

— Здесь, — густым басом отвечал отслуживающий 24-ый год, три раза раненный, сухой, мускулистый унтер-офицер с щетинистыми усами.

— Авдеев! — крикнул еще фельдфебель.

— Здесь, — отозвался бодрым голосом скуластый, широкоплечий солдат, как гуттаперчевый мальчик вскакивая на ноги.

— Никитин! — продолжал фельдфебель.

— Я, — отвечал ленивым голосом, нахмуренный с низкими плечами и выдающимися лопатками рябой солдат, дожевывая кусок сухаря.

— Бондаренко!

— Мы, — отозвался с раскрытым ртом и поднятыми бровями кривоногий солдат с хохлацким лицом.

— В секрет за Шах-гиринские ворота, — объявил фельдфебель.

— Слушаем, ладно, — отозвался Панов.

— Готов! — крикнул Авдеев.

Никитин не отвечал и только кивнул головой, зная, что фельдфебель видит его.

Через час, когда уже было совсем темно, четыре солдата вышли из укрепления.

№ 137 (рук. № 58, гл. II).

— А я слухал, слухал, да и задремал, — проговорил тонкий хохлацкий голос четвертого солдата. — Как спится у лесу, ровно как барин в перине.

№ 138 (рук. № 58).

Две кобылы у нас были, не знаю, целы ли, жеребята хорошие, сытые. Идешь борозду, а он ждет, шельмец, жеребенок то, на краю. Значит пососать дурашка хочет. Ну дашь ему насосаться. Пашешь весело, так легко. Земля под босой ногой рассыпается. Барин у нас хороший — порядок любит. В набор в этот с нашей деревни троих брали. Одного дворового барин отдал за пьянство, а двоих из мужиков. Наш двор тройниковый, ну и не миновать итти. Черед-то не был мне.

№ 139 (рук. № 58, гл. V).

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в золотом оружии не крупный человек, с черными глазами, весело смотревшими из под сросшихся бровей, с горбатым небольшим носом и особенно приятно, почти в улыбку сложенными губами.

№ 140 (рук. № 58, гл. XIII).

— Почему же ты? — спросил Лорис-Меликов.

— Не знаю. — отвечал Хаджи-Мурат, и загорелое, мужественное лицо его покраснело. Лорис-Меликов вспомнил о слухах, которые были о любви между Хаджи-Муратом и красавицей ханской дочерью Салтанет.

№ 141 (рук. № 58).

Клюгенау писал мне, что всё, что было со мною, ошибка, что он постарается сделать всё хорошим, только бы я приехал к

нему. Я не отвечал ему. Мне некогда было. Ахмет-Хан собрал войско и окружил Цельмес. Я мог уже сидеть на лошади, и мы с моими мюридами три дня бились с Ахмет-Ханом. Но у Ахмет-Хана были сотни, а у нас десятки, и мы готовились умереть, но не сдаться врагу. И мы все погибли бы, если бы не подошли к нам на выручку сотни от Шамиля.

№ 143 (рук. № 58).

В письме было:

«Во время всей службы моей я был всегда усердным и верным, как Ахмет-Хану, так и правительству, и постоянно противодействовал Шамилю и его партиям. Однакож, человек, который мне завидовал, оклеветал меня перед Вашим Превосходительством, вследствие чего я был арестован хунзахским комендантом и закован в кандалы. Ныне же я нахожусь в аварской деревне Цельмес, не имея никакого сношения с непокорными нам деревнями. По прибытии моем в Цельмес, по приказанию коменданта, сломали мой дом и дома некоторых моих родственников, расхитили всё имущество и взяли всех баранов. Ахмет-Хан же, да будет ему от меня благодарность, оклеветал меня перед Вашим Превосходительством. Причина моего неприезда к вам не есть боязнь и страх, но бесчестие, нанесенное мне одним кяфиром, находящимся при коменданте в Хунзахе. Это кяфир нанес мне несколько ударов сильных и вдобавок налгал на меня. Клянусь создателем, что всё выше прописанное справедливо, без всякой лжи; что же касается до чалмы, мною носимой, то действительно носил такую для спасения души по повелению Пророка нашего, но не для Шамиля и не против правительства. С Шамилем я не имею никакого сношения; в этом я совершенно чист, ибо через него убиты отец, брат и родственники мои. Относительно же клеветников моих я впоследствии сообщу подробно, и тогда будет вам известно о всех их делах».

№ 143 (рук. № 58).

С особенным удовольствием он рассказал, как похитил вдову своего врага Ахмет-Хана и держал ее в плену. Смеясь рассказал, как, когда ее уже выпустили, она написала ему, что над ней смеется гим[р]инская ханша, и советовала Хаджи-Мурату похитить ее.

№ 144 (рук. № 59, гл. XV).

Причиной этой усталости было то, что вчера, как обыкновенно, он, прохаживаясь в своей каске с птицей на голове между теснившейся к нему и робко сторонившейся от него публикой, встретил опять ту, возбудившую в нем своей белизной, прекрасным сложением, нежным голосом и главное неизвестностью старческую похоть, маску, которая[2145] уже раз интриговала его в маскараде и,[2146] разжегши[2147] до последней степени его любопытство и похоть, скрылась от него. Нынче она опять подошла к нему, и он уже не отпустил ее, и тот, кто заведывал его шалостями, привел эту маску нынче же во дворец после маскарада. Маска эта оказалась двадцатилетней девушкой, дочерью шведки гувернантки, которая, как и многие тогда, влюбилась[2148] в императора, и всю свою женскую хитрость, ловкость и прелесть употребила на то, чтобы[2149] достигнуть того, чего страстно желали и не достигали многие, так называемые, аристократические девицы и фрейлины.

Николай нашел русскую белокурую белую шведку еще милее без маски и более двух часов провел с нею. Когда она ушла от него через ту же лестницу и маленькую дверь, по которой она вошла, он долго еще не мог заснуть, и знаменитый плащ, которым он покрывался, не дал ему успокоения. Он заснул только в 2 часа. В 8-м же часу он, как всегда, встал, с помощью камердинера вытерся льдом и один в шинели сделал

свою прогулку вокруг дворца.[2150] После прогулки[2151] он по обыкновению[2152] пошел к императрице.[2153] Николай был вполне уверен, разделяя грубые понятия того дурного общества людей, среди которых он жил, что такие шалости, как нынешняя, не[2154] представляли ничего безнравственного и не могли мешать хорошей семейной жизни.[2155] Поздоровавшись с императрицей и с детьми,[2156] он позавтракал в кругу императрицы и ее приближенных и, пожаловавшись[2157] на головную боль,[2158] скоро ушел к себе.[2159] В это утро был доклад сначала[2160] министра двора, потом министра внутренних дел. Когда министр внутренних дел вышел, Николай с грустью подумал о том, что он теперь уже[2161] не так[2162] переносит такие ночные похождения, как переносил их встарину, и ему жалко стало себя, своей убывающей телесной силы. Когда министр внутренних дел ушел, Николай[2163] набрал воздуха, выпятил грудь,[2164] желая подбодриться, но это не помогло ему: была та же сонливость в голове, тот же туман и во всем теле та же вялость. Ему стало досадно, и он рассердился. Рассердившись же, тотчас же нашел тот предмет, на который он мог направить свой гнев. Предмет этот были те скверные люди, которые делали всякие гадости, не давая ему покоя и заставляя его одного так усиленно работать, что он преждевременно стареет и теряет свои силы.

Чернышев тотчас же понял по выражению его лица, что он не в духе, и решил воспользоваться этим расположением его против Воронцова. Но, прежде чем докладывать[2165] донесение Воронцова, надо было[2166] доложить более важные и старшие по очереди. В числе этих дело было одно:[2167] о поляке студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.[2168] Другое об открывшемся воровстве интендантских чиновников и третье о перемещении войск на польской границе.

Дело о студенте медицинской академии состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамена,[2169] держал третий раз, и когда экзаминатор[2170] не пропустил его и в третий раз, студент, видя в этом несправедливость, бросился на

профессора с перочинным ножом, который он схватил на столе.[2171]

— Поляк? — спросил Николай, в середине доклада прерывая Чернышева.

— Поляк, католик,[2172] — отвечал Чернышев.

Николай уже был не в духе, упоминание же о поляках, которых он ненавидел[2173] и боялся настолько, насколько он совершил по отношению их преступлений, — упоминание о том, что студент был поляк, вызвало в нем уже давно окрепшую и оправдываемую им[2174] как государственную необходимость ненависть, и решение уже сложилось в его изломанной, больной, потерявшей всё человеческое, непросвещенной душе.

Николай слушал всё, держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы доклада и глядя[2175] безжизненными глазами в лицо Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза. — Ты знаешь?

— Знаю, Ваше Величество!

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собой, самое верное, и ему стоило только выразить его.

В сущности в эти минуты он думал только о себе, как бы ему сыграть наиболее величественную роль. Так он и теперь решил дело[2176] о студенте поляке. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «*Заслуживает смертной казни. Но слава Богу смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай*».

— Вот, — сказал он, подвигая к Чернышеву,[2177] — прочти.

Чернышев прочел и наклонил в знак почтительного удивления голову[2178]. Помолчав несколько и оправив свой хохолок,[2179] он начал докладывать[2180] следующее дело о воровстве[2181] интендантских чиновников.

Несколько удовлетворив уже на студенте поляке свою потребность зла, Николай уже с менее злым лицом слушал доклад о воровстве[2182] интендантских чиновников. Самый вопрос воровства мало интересовал его — он знал, что воруют все, что на этом держится всё общественное устройство. Ему интересно было только то, что он не ворует (он был вполне уверен в этом, хотя только недавно перевел в удел огромные государственные имения).

— Да, брат, — сказал Николай,[2183] дослушав доклад об интендантских чиновниках. — Видно, у нас в России честный человек только один.

Чернышев знал, что Николай интересовался только тем, что относилось к нему лично, и что всякое дело было интересно ему только в той мере, в которой оно выставляло его, давало ему возможность играть роль величия, и потому он тотчас же понял, что этот единственный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, — сказал он.

Третье дело было размещение войск. Казалось, это дело уж никак нельзя было отнести к своей личности, но и тут Николай нашел эту связь.

— Напиши Врангелю, что я полагаюсь на него. Он знает меня и поймет.[2184]

Когда дело дошло до донесения Воронцова о Хаджи-Мурате, Николай тотчас отнес выход Хаджи-Мурата к своей государственной мудрости.[2185]

— Видишь, как[2186] верно я предположил, что, если мы будем только[2187] постепенно подвигаться вперед, вырубая леса и истребляя их запасы, они должны будут покориться.

— О, да, — сказал Чернышев, хотя очень хорошо знал, что план постепенного разорения аулов Чечни, истребления их продовольствия и вырубки их лесов[2188] был не только не план Николая, но был[2189] план Ермолова и Вельяминова и что Николай в 1845 году, напротив, говорил что надо одним ударом уничтожить Шамиля, так что тогда, по его повелению, была сделана несчастная Даргинская экспедиция, стоившая стольких

людских жизней, но то, что это так было, нисколько не мешало Николаю быть уверенным, что план медленного движения вперед и истребления продовольствия горцев был его план.

№ 145 (рук. № 60).

<«Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом». И едва ли была в то время какая либо более отвратительная мерзость перед Богом, нежели Николай I, столь превозносимый людьми своего времени.

Вся жизнь Николая была сплошная ложь и преступленье, и он не мог уже остановиться ни в своей лжи, ни в своих преступлениях.>

№ 146 (рук. № 60).

Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом. И такою отвратительной мерзостью перед богом было тогда величие Николая I. Вся жизнь его со времени его вступления на престол была наполнена ложью и человекоубийством. И ложь эта и человекоубийство не только не уменьшались, но увеличивались и увеличивались.

№ 147 (рук. № 61).

Донесение это было послано[2190] 27-го декабря,[2191] 2-го же января фельдъегерь, с которым оно было послано, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков,[2192] был в Петербурге и явился к князю Чернышеву,[2193] тогдашнему военному министру.[2194]

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ XV ГЛ. „ХАДЖИ-МУРАТА“ (№ 147).

На другой день, 3-го января 1852 года, Чернышев повез[2195] к императору Николаю с докладами донесение Воронцова.

Чернышев[2196] этот был тот самый, которого Растопчин[2197] заклеймил своей шуткой, когда в Государственном совете[2198] обсуждался вопрос о передаче всех[2199] имений[2200] Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря на каторгу,[2201] к удивлению всех членов Совета, знавших, что Александр Чернышев, участвуя в суде над декабристами, более всех старался погубить Захара.[2202] Растопчин высказался за передачу имений сосланного Александру Чернышеву. Когда же у Растопчина спросили,[2203] на чем он основывает свое мнение, он сказал, что существует старинный обычай, по которому палач всегда получает кушак и шапку казненного.

Чернышев знал, что[2204] его не любят. Но никак не думал, что его не любят и презирают за то, что он подл и гадок. Напротив, он думал, что его не любят за[2205] его успехи и ему завидуют.

Думал он это, потому что он завидовал всем, стоящим выше его. Так он завидовал Воронцову и за уважение, которым Воронцов пользовался у Николая, и за богатство, и за благородный тон Воронцова, который Чернышев никак не мог усвоить.[2206] И потому он особенно ненавидел Воронцова и старался где мог вредить ему.

В прошлом докладе о кавказских делах[2207] ему удалось вызвать неудовольствие[2208] Николая на небрежность[2209] кавказского отряда, подвергшегося неожиданному нападению[2210] горцев и понесшего большие потери. Теперь он[2211] намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Для этого[2212] он хотел внушить государю, что оставление Хаджи-Мурата в Тифлисе,[2213] в близости гор, была[2214] ошибка[2215] Воронцова,[2216] всегда, особенно в ущерб русским, покровительствующего

туземцам.[2217] Чернышев хотел представить дело так, что[2218] Хаджи-Мурат мог выйти только для того, чтобы, высмотрев наши средства обороны, бежать и воспользоваться при нападении на нас тем, что он видел. По мнению Чернышева Хаджи-Мурата надо было доставить в Россию и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его[2219] преданности.[2220]

Но план этот, который мог изменить[2221] судьбу Хаджи-Мурата, не удался Чернышеву.[2222] Николай[2223] не принял предложения Чернышева,[2224] а, напротив, одобрил распоряжение Воронцова, надписав на донесении: «хорошее начало». 2 января[2225] Николай не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение[2226] только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение презираемого им Чернышева.

Николай в это утро был[2227] в том мрачном расположении духа, в котором он бывал всё чаще и чаще, чем дальше подвигалось его царствование и чем всё могущественнее становилась его власть и чем величественнее[2228] он представлялся тогда людям. «Что велико перед людьми, то мерзость перед богом», и такою ужасной мерзостью перед Богом было тогдашнее величие Николая.

Вся жизнь его[2229] со времени вступления на престол была[2230] ложью и человекоубийством.

[2231]Ложь[2232] вела к человекоубийству, человекоубийство для своего сокрытия требовало лжи. Так что ложь и человекоубийство с увеличением могущества Николая не только не уменьшались[2233] и даже не[2234] останавливались на той ступени, которой достигли, но постоянно увеличивались и увеличивались.[2235]

Царствование его началось ложью о том, что он, играя роль, уверял всех при всяком удобном и неудобном случае, что он[2236] не знал того, что Александр назначил его наследником, а это была ложь, и что он не хочет царствовать,[2237] боится тяжести власти,[2238] а это была еще более очевидная ложь.

Властолюбивый, ограниченный и потому самоуверенный и необразованный, грубый солдат, он[2239] любил власть,[2240] интересовался, жил только властью, одного желал — усиления ее, и потому не мог не желать, страстно желать царствования. Его присяга Константину, который по своему браку на польке, по своему отказу и по[2241] акту, составленному Александром,[2242] не мог царствовать, была только[2243] играние роли и ложь,[2244] которая, если и могла быть причиной смуты,[2245] нужна была ему для выставления[2246] рыцарского благородства его характера. Но явная ложь, которую он говорил тогда, сделалась жестокою карающею правдою после[2247] 27 лет его ужасного царствования. Та тяжесть власти, от которой он тогда на словах отказывался, всеми силами души стремясь к ней, к концу его царствования и жизни сделалась действительною, ужасною, давящею тяжестью, которая делала его непоправимо глубоко и одиноко несчастным.

Он не мог признать своих ошибок после 27 лет упорства в них, а между тем, чем больше он упорствовал в них, тем больше он чувствовал себя несчастным. И у него не было никакого утешения,[2248] никакого[2249] дела, которое бы он мог в глубине души считать важным и которое бы радовало его. Семьи не было. Несмотря на лживые отношения[2250] уважения и любви к жене, он грубо удовлетворял похоть, кроме Нелидовой, с первой подвернувшейся женщиной и знал, что жена его знает это и потому не может быть женой-другом ему, таким, каким она была ему первое время. Отношения их были ложь. Дети? Старший[2251] занимал его, как наследник, но он видел, что он уже судит отца и[2252] ждет своего царствования для того, чтобы не продолжать, а разрушать то, что сделал отец. Ненавистные либеральные мысли[2253] проникли к нему. Он не только любил, читал глупые стихи, но курил папиросы.

Друзья, помощники? Но это всё были негодяи, начиная с Чернышева до Клейнмихеля. Даже самые лучшие в сущности были подлые льстецы, боявшиеся его и готовые предать его, если бы было выгодно.[2254] Он[2255] сердился на то, что это так, не

понимая того, что служить ему в его[2256] грубом властвовании могли только ничтожные и грубые люди.

Единственный друг и не подлый был брат Михаил и любивший и веселивший его своими шутками. Но[2257] он умер, и никого не осталось.

Религия? Но ведь вся эта религия была в его власти, и потому опереться на нее значило опереться на самого себя.[2258] Науки, искусства? Но науки были только орудия разрушения того порядка,[2259] который он завел и поддерживал. Почти то же были искусства; драматическое искусство было средство развенчивать героев и великих людей, поэты были беспокойные, вредные люди. Из наук была только одна нужная наука: наука военная, а из искусств веселая музыка: марши, рыси и водевили. Но и то и другое уже надоело.

Власть? Власть была всемогуща в России, но к этому уже он так привык, что эта власть не радовала уже его; но власть в принципе, власть в Европе была бессмысленно подорвана и революцией 48 года и избранием Наполеона III и, главное, конституцией, которую шурин, прусский король, согласился дать народу. Власть, единственно поддерживающая его и поднимающая его выше нравственности и[2260] здравого смысла, власть эта в принципе начинала колебаться.[2261]

Когда он теперь оставался один: — в постели под своим знаменитым плащом,[2262] глядя на свои длинные члены, или когда он ходил[2263] один гулять, у него[2264] в груди было тяжелое, мучительное[2265] чувство. Он не думал и не вспоминал о тех тысячах забитых по его воле палками людей, о разоренных семьях поляков, декабристов,[2266] умирающих в каторге; он не думал, не вспоминал о них но[2267] в глубине души его жило это невысказанное сознание, и, когда оно просилось наружу, он вслух говорил первые случайно попавшиеся слова, и иногда прямо то, что чувствовал,[2268] он говорил: «Не позволю», «не хочу», или говорил: «Да, да»,[2269] или: «Ну что ж, ну что ж?», «Так и надо».[2270] Или говорил какую нибудь фамилию:

«Любощинский[2271], Любощинский», или какую нибудь фамилию актрисы или танцовщицы.

Он был мрачен. И сделалась эта перемена так незаметно, что нельзя было сказать, когда это началось.[2272]

Начало жизни Николая было особенно, исключительно счастливо.

Самое рождение Николая, — сына после четырех дочерей, было счастьем для матери[2273].

Старшие сыновья ее, Александр и Константин, были отняты от нее ее распутной свекровью. Теперь же у нее был опять сын, которого она уже не[2274] отдаст великой блуднице и мужеубийце, незаконно занимающей[2275] место ее мужа. И это была большая радость, тем большая, что ребенок, как ребенок, был красоты необыкновенной: большой, сильный, с пухлыми перетянутыми ниточками ручками и ножками.[2276] Приехавшая на другой день рождения в Царское село Екатерина подняла внука к свету и завистливо покачала головой.

Рождение Николая была радость его матери, всё же детство его было его радостью. Он[2277] рос здоровый, сильный, беззаботный и свободный.

№ 148 (рук. № 62).

К удивлению всех членов Совета, знавших, что Александр Чернышев более всех других старался погубить Захара Чернышева, участвуя в суде над декабристами, Растопчин высказался за передачу имений сосланного Александру Чернышеву. Когда же у Растопчина спросили, на чем он основывает свое мнение, он сказал, что существует старинный обычай, по которому палач всегда получает кушак и шапку казненного.

Чернышев знал это, знал, что его вообще не любят, но никак не думал, что его не любят[2278] за[2279] его недостатки. Напротив

— он думал, что его не любят за его высокие качества, доставившие ему успех, которому завидуют.

Думал он это, потому что он завидовал всем стоящим выше его. Так он завидовал Воронцову и за[2280] расположение к нему Николая, и за его богатство, и за[2281] благородный аристократический тон Воронцова, которого Чернышев никак не мог усвоить, и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов. И потому[2282] Чернышев насколько мог старался[2283] вредить[2284] Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах ему удалось вызвать неудовольствие Николая на небрежность одного кавказского отряда, подвергшегося неожиданному нападению горцев и понесшего большие потери.

Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате.[2285] Он хотел внушить государю, что оставление Хаджи-Мурата в Тифлисе, в близости гор, была ошибка Воронцова, всегда в ущерб русским особенно покровительствующего туземцам. Чернышев хотел представить дело так, что выход Хаджи-Мурата[2286] есть хитрость. Что Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и, узнав всё, что ему нужно, бежит[2287] в горы. По мнению Чернышева Хаджи-Мурата надо было доставить в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности. План этот[2288] не удался Чернышеву.[2289]

В утро 3 января Николай[2290] был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия, тем более он не был склонен принять [предложение] презираемого им Чернышева. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался[2291] на Кавказе[2292] и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

№ 149 (рук. № 63).

О разоренных семьях поляков, о лучших людях России, декабристах, умирающих в каторге, он не думал, не вспоминал о них, но в глубине души его жило невысказанное сознание чего то недоделанного, недосказанного, неясного и дурного. И когда это сознание прорывалось наружу, он вслух говорил первые попавшиеся слова.[2293] Или он[2294] повторял последние сказанные ему слова, или говорил какую нибудь фамилию чиновника, офицера, актрисы, танцовщицы — «Любощинский, Любощинский»[2295] или «Копервейн, Копервейн». И, прислушиваясь к тому, что он говорил, он отвлекался от того сознания, которое просилось наружу.

Несмотря на всё то величие, которым он был окружен, Николай теперь, после 27-ми лет царствования, был[2296] глубоко, непоправимо и одиноко несчастлив. Истинное счастье человека только в соответствии его жизни с[2297] тою волею, которая послала человека в жизнь, с волею Бога,[2298] с законом жизни, указываемым человеку его совестью. Чем дальше расходится жизнь человека с волею Бога, с законом жизни, тем человек несчастливее. Жить же несогласно с законом жизни может человек только тогда, когда он свое отступление от закона прикрывает ложью. И потому, чем больше лжи в жизни человека, тем он несчастнее и тем больше в душе человека сознание того, что есть в нем что то, чего, как разлагающегося трупа, не надо касаться. Только вполне святые, не отступающие от воли Бога, могут быть совершенно свободны от лжи перед самими собой. В душе же простых смертных есть всегда, хотя в самой малой степени, осадок нераспутанной, скрываемой от самого себя лжи.

Чем больше этот осадок, тем человек несчастливее. Осадок этот был огромен в душе Николая.

[2299]Вся жизнь его со времени вступления на престол была сплошною ложью.[2300] Ложь же вела к человекоубийству, человекоубийство для своего сокрытия требовало еще большей лжи.[2301]

Царствование его началось ложью о том, что он, играя роль, уверял всех при всяком удобном и неудобном случае, что он не знал того, что Александр назначил его наследником. Это была

ложь. Уверения его о том, что он не хочет царствовать, боится тяжести власти,[2302] была другая, еще более очевидная ложь. Властолюбивый, ограниченный, необразованный, грубый, и потому самоуверенный[2303] солдат, он не мог не любить власти и интересовался только властью, одного желал: усиления ее.[2304] Его присяга Константину, который по своему браку на польке, по своему отказу и по акту, составленному Александром, не мог царствовать, была только играние роли и ложь, которая[2305] нужна была ему для выставления своего мнимого рыцарского благородства.[2306] Но явная ложь, которую он говорил тогда, сделалась жестокою, карающею правдою, после 27-ми лет его ужасного царствования. Та тяжесть власти, от которой он тогда на словах отказывался, всеми силам души стремясь к ней, к концу его царствования и жизни сделалась действительно ужасною, давящею тяжестью.[2307]

№ 150 (рук. № 65).

[2308]Жить совершенно свободно и радостно может только тот человек, который не отступает в своей жизни от[2309] закона жизни, от той воли, которая послала его в жизнь. И так жить могут только святые, не отступающие от воли Бога; простые же не святые люди всегда более или менее отступают от закона жизни и смутно чувствуют это.[2310]

Жить же несогласно с законом жизни может человек только тогда, когда он свое отступление от закона жизни прикрывает ложью.[2311] Скрывая же ложью[2312] свое отступление от закона, человек еще дальше отступает от закона. Отступая же от закона, нуждается в еще большей, более густой, скрывающей его грехи лжи. Хорошо, когда ложь эта признается только теми, кто нуждается в ней, но не признается и обличается всеми окружающими. Такую ложь сознает тот, кому она нужна, и перестает верить в нее и старается исправить то свое отступление от закона жизни, которое прикрывалось этой

ложью. Но бывает положение, в котором ложь эта не только признается, но усиливается всеми окружающими. И тогда ложь, вызывая отступления от закона, вызывающие увеличение лжи, растет как снежный ком и доходит до ужасающих размеров, подвергая человека, пользующегося этой ложью, до всё большего и большего отступления от закона и истины и до состояния полного сумашествия и глубокого душевного страдания.

Такова была жизнь Николая I после 27-ми лет царствования. Несмотря на всё внешнее величие, равного которому не было в то время в Европе, он был глубоко, непоправимо и одиноко несчастлив.

Вся жизнь его со времени вступления на престол была сплошным отступлением от закона жизни всякого человека и потому сплошной ложью.[2313]

Царствование его началось ложью о том, что он, играя роль, уверял всех при всяком удобном и неудобном случае, что он не знал того, что Александр назначил его наследником, и что он не желал престола. Это была ложь.[2314] Властолюбивый, ограниченный, необразованный, грубый и потому самоуверенный солдат, он не мог не любить власти и интересовался только властью, одного желал: усиления ее. Его присяга Константину,[2315] из которой он и его льстецы сделали потом подвиг самоотвержения, была вызвана страхом. Не имея в руках акта престолонаследия и не зная решения Константина, провозглашение себя императором подвергало его опасности быть свергнутым, убитым, и он должен был присягнуть Константину. Когда же Константин опять отказался, вспыхнул мятеж, состоящий в том, что люди хотели[2316] облегчить то бремя, которое будто бы так тяготило его. И на это он ответил картечью, виселицами и каторгой лучших русских людей. Ложь вызвала человекоубийство. Человекоубийство вызвало усиленную ложь.

Но явная ложь, которую он говорил тогда, уверяя, что тяготится властью, сделалась жестокою, карающею правдою после 27-ми лет его ужасного царствования.

Та тяжесть власти, от которой он тогда на словах отказывался, всеми силами души стремясь к ней, к концу его царствования и жизни сделалась действительною, ужасною, давящею тяжестью. Он не мог признать ложным тот путь, по которому он шел в продолжение 27-ми лет, а, между тем, продолжая итти по этому пути, он чувствовал себя всё более и более несчастливым. И у него не было никакого утешения.

Семьи не было. Несмотря на лживые отношения уважения и любви к жене, он грубо удовлетворял похоть, кроме Нелидовой, с первой подвернувшейся женщиной, и знал, что жена его знает это и потому не может быть женою-другом ему, таким, каким она была ему первое время. Отношения их были ложь.

Дети? Старший занимал его, как наследник, но он видел, что он уже судит отца и ждет своего царствования для того, чтобы не продолжать, а разрушать то, что сделал отец. Ненавистные либеральные мысли проникли к нему. Он не только любил, читал глупые стихи, он даже курил папиросы, и нельзя было остановить его.

Друзья, помощники? Но это всё были негодяи, начиная с Чернышева до Клейнмихеля. Даже самые лучшие, в сущности, были подлые льстецы, боявшиеся его и готовые предать его, если бы было выгодно. Он сердился на то, что это так, не понимая того, что служить ему в грубом властвовании могли только ничтожные и грубые люди.

Единственный друг и не подлый был брат Михаил, и любивший и веселивший его своими шутками. Но он умер, и никого не осталось.

Религия? Но ведь вся эта религия была в его власти, и потому опереться на нее значило опереться на самого себя.

Науки, искусства? Но науки были только орудия разрушения того порядка, который он завел и поддерживал. Почти то же были искусства: драматическое искусство было средство развенчивать героев и великих людей; поэты были беспокойные, вредные люди. Из наук была только одна нужная наука — наука военная, а из искусств — веселая музыка, марши, рыси и водевили, но и то и другое уже надоело.

Власть? Власть была всемогуща в России, но к этому уже он так привык, что эта власть не радовала уже его; но власть в принципе, власть в Европе была бессмысленно подорвана и революцией 48-го года, и избранием Наполеона III, всеобщим голосованием, конституцией, которую шурин, прусский король, согласился дать народу. Власть, единственное поддерживающее его и поднимающее его выше нравственного и здравого смысла, власть эта в принципе начала колебаться.

Вся жизнь его, от того страшного часа, когда[2317] он дал приказ стрелять картечью в толпу на Сенатской площади, было одно сплошное ужаснейшее преступление.

№ 151 (рук. № 68).

Николай с первого дня своего рождения и до последних лет своего царствования, в продолжение 50-ти слишком лет, был необыкновенно счастлив в том мирском смысле счастья, которое понимается как удовлетворение своих желаний, здоровье, богатство, высокое положение и успех в предприятиях.

Самое рождение Николая, сына после 4-х дочерей, было большим счастьем для матери,[2318] лишенной своих старших сыновей Александра и Константина, которые были[2319] взяты[2320] Катериной,[2321] и потому было счастье[2322] и для ребенка, который сделался любимцем своей[2323] матери.

Другое счастье было то, что ребенок был красоты необыкновенной: —[2324] большой,[2325] полный, белый, с пухлыми перетянутыми ниточками ручками и ножками.

Ребенок был так хорош, что, приехавшая на другой день в Царское село, Екатерина,[2326] поднеся внука к свету, завистливо покачала головой, как бы задумавшись о том, не взять ли себе и этого внука, но[2327] внук громко сердито закричал, и она отдала его и не взяла его. Не взяла она его потому, что он был ей не нужен. Старшим было 18 и 17 лет. Александра она только что

женила и ожидала от него потомства. Она собиралась женить и второго и потому и не могла думать о том, чтобы этот[2328] ребенок понадобился ей как наследник. И это было счастье Николая. Он остался на руках у обожавшей его матери и у доброй Ливен, с преданной любовью ухаживавшей за ним и баловавшей его.

[2329]Ему было 5 лет, когда убили его отца. И эта[2330] смерть (он только гораздо после узнал, что Павел был убит) прошла для него незамеченной.

Был ясный весенний день, и они[2331] с братом Михаилом[2332] приготавливали кораблики, которые они намеревались пустить по весенним ручьям, когда мать с заплаканными глазами пришла в их комнату[2333] и,[2334] дрожа челюстью, сказала, что[2335] отец их умер.[2336] Миша ничего не понял, но[2337] понял[2338] то, что мать страдает,[2339] подошел к ней и, взяв ее за большую руку, прижался к ней; Николай испуганными глазами смотрел на нее, смутно понимая уже,[2340] что слово: умер — значит что-то страшное.

Мать взяла его за[2341] голову и прижала к себе, и заплакала. И мальчик также заплакал.

[2342]Но через четверть часа они с веселым криком уже бежали за корабликами, которые, качаясь и перегоняя ледышки, спускались по быстрому ручью, вытекавшему из под моста.

Смерть отца не только не омрачила детство Николая, но сделала его более счастливым. Вместо страшного отца, иногда кричавшего на мать и на них, они стали часто видать старшего ласкового брата, императора Александра, которого мать их научила называть вторым отцом.

Еще Павел сделал Николая шефом Кирасирского полка и потом Измайловского, и ребенок знал мундиры этих полков, радовался, когда видел их, и был счастлив, когда его нарядили в мундирчик Измайловского полка.

У него было и ружьецо и сабелька, и он маршировал и делал ружейные приемы и командовал своим братом и товарищами: Адлербергом, Вельегорским и др. И так как он был

и сметлив, и ловок, и памятлив на военное дело, то он всё это делал отлично, лучше других и был счастлив этим.

Отрочество Николая было такое же счастливое, как и детство.

№ 152 (рук. № 69).

Тот, кто заведывал шалостями Николая, свез из маскарада эту девушку в то место, где происходили[2343] такие свидания Николая, и Николай[2344] более двух часов[2345] [провел] с этой новой, одной из сотен любовниц. И сначала она очень понравилась ему. Но тут же, в конце свидания, он увидал, что, кроме ее любви к нему (он не сомневался в том, что все женщины должны были любить его), он увидал, что ей нужно и обеспечить свое положение и положение своей старой матери. И когда он удовлетворил свою похоть, — ему стало скучно. Всё одно и то же: и те же восторги, и те же слезы, и те же корыстные замыслы, более или менее искусно скрытые.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату[2346] и лег на узкую жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал — и так и говорил — столь же знаменитым, как шляпа Наполеона,[2347] он долго не мог заснуть.

№ 153 (рук. № 70).

Опять то мучительное чувство, которое томило его вчера ночью, поднялось в нем, и он заговорил вслух слова, которые ему сказала вчера его девица: «Je vous aime d’un amour infini... infini»,[2348] повторял он, не думая о том, что говорил, но заглушая свое чувство внимания к тому, что он говорил. На углу стоял часовой, сделавший на караул. Николай взглянул на него и не одобрил его вскидку. «Это не то! — подумал он. — Не так учил

Михаил». И он вспомнил[2349] недавно умершего брата, и нежное и грустное чувство охватило его.

«Да, он один понимал и любил меня. А эти все», — он вспомнил своих приближенных: Клейнмихеля, Орлова, Бенкендорфа[2350] и покачал головой. — «Он один точно любил меня. А эти?[2351] да и все люди[2352] toute cette canaille».[2353] Николай презирал и часто ненавидел всех людей. Он считал всех людей такими же, как те, которые окружали его. А те, которые окружали его, не могли не быть[2354] подлыми, и потому он всех считал подлыми.

«Да, один был Михаил. И как он знал и любил военное дело! Уж нет таких. Да... Что бы была без меня Россия?» сказал он себе, почувствовав опять приближение мучительного чувства и, выпятив грудь, пошел дальше.

Возвращаясь домой, он увидал у Салтыковского подъезда дожидавшуюся карету с придворным красным лакеем, только что въехавшую под арку. Он узнал карету Елены Павловны.

«Дура!» подумал он, вспомнив, как она на днях искусно наводила разговор на необходимость образования, очевидно намекая на недавнее распоряжение об ограничении числа студентов.

«Им мало трехсот болтунов в каждом университете! Им хотелось бы, чтобы все только разговаривали. Науки! болтовня вот их наука. А чем меньше болтовни, тем лучше». — Николай был уверен в том, что для блага России нужна власть — его власть, а что все науки, вообще образование, враждебны и должны быть враждебны такой власти. Он это чувствовал и потому сознавал силу своей власти, не нуждался в уступках образованию, как делают это государи с слабою властью, а поступал совершенно логично, уничтожая всякое образование во имя власти. Он руководил жизнью России и знал, что нужно, и потому всякие рассуждения о том, что нужно для России, была бесполезная болтовня, которой чем было меньше, тем лучше. А Елена Павловна любила эту болтовню, щеголяла ей. За то он не любил ее.

Всходя на ступеньки крыльца мимо другого вытянувшегося с ружьем на караул часового, Николай набрал воздуха в

выпяченную грудь, желая подбодриться.

№ 154 (рук. № 70).

Он узнал карету Елены Павловны. И ее присутствие, как всегда, было ему неприятно. «Для России нужна не та болтовня о науках и поэтах, которой она занимается, а нужно одно: власть».

№ 155 (рук. № 70).

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин, потом ужинал и делал вид, что не замечает недовольства Нелидовой, знавшей про его вчерашнее похождение.

№ 156 (рук. № 70).

Он долго не мог заснуть и думал, как и всегда, только о себе: о том, какой он красивый, мудрый, великий человек и как мало еще понимают его. И ему хотелось еще что нибудь сделать такое, что заставило бы всех людей больше преклоняться перед ним и признать его сверхъестественное величие. А этого не было, и в груди у него было тяжелое, мучительное чувство. Он не думал и не вспоминал о тех тысячах погубленных им людских жизнях. Он не думал, не вспоминал о них, но в глубине души его жило невысказанное, тяжелое чувство, которое он не мог заглушить только сознанием своей власти. От этого ему так хотелось еще большего, как можно большего величия.

И, вспомнив все его благодеяния, которыми он осыпал Россию, он успокоился и стал засыпать.

№ 157 (рук. № 70).

Возвращаясь домой, чувствовал во всем теле ту же усталость, в голове тот же туман. И ему стало досадно, и он рассердился. Рассердившись же, тотчас же нашел тот предмет, на который он мог направить свой гнев, предметом этим была теперь Елена Павловна.

№ 158 (рук. № 70).

Вопрос о воровстве мало интересовал его, — Николай был уверен, что воруют все. И в последнее время махнул рукой на это воровство, признав невозможность искоренить его. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Так что самый вопрос о воровстве не интересовал его. Интересовала его как и во всем только одна его личность. И в этом случае его интересовал только[2355] он сам.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.[2356]

№ 159 (рук. № 70).

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев, слегка пожимая плечами густые золотые эполеты, как бы выражая этим то, что ничего другого и нельзя ожидать от поляка католика.

Николай нахмурился. Он многое ненавидел, но более всего ненавидел поляков, ненавидел их в той мере зла и жестокости, которые он совершал над ними.

№ 160 (рук. № 70).

Кратко и решительно распорядился о передвижении дивизий из одной губернии в другую, приказав написать об этом Паскевичу.

№ 161 (рук. № 76).

Томились и гибли в казематах, острогах, каторге, ссылке десятки тысяч поляков, опять лучших людей своего общества, только за то, что они хотели жить соответственно вековым преданиям своего народа и не подчиняться грубым[2357] поставленным над ними солдатам, требовавшим от них[2358] отречения от всего дорогого их сердцу и считавшегося самым святым и драгоценным.

Умирали забитые на смерть палками крестьяне за то, что исповедывали веру отцов и не признавали себя перешедшими в ту веру, в которую зачисляло их начальство.

Гибли сотни тысяч солдат в бессмысленной муштровке на учениях, смотрах, маневрах и на еще более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивающих свою свободу то в Польше, то в Венгрии, то на Кавказе.

Всё это делалось по воле этого одного человека. Но как ни страшны были те физические страдания людей, причиной которых был этот один человек, страшнее, ужаснее всего было то огрубение нравов, то зачерствение сердец людских, то уменьшение любви, которое предсказывается в евангелиях, которое произвел этот человек.[2359] Он, несомненно он, был виновником всего этого. Он был очевидным виновником этого, потому что, не прикажи он, не засекли бы несчастного студента академии, не повесили бы Рылеева, Пестеля, не казнили, не ссылали, не разоряли бы поляков, не засекали бы солдат. Если что и делалось не по его прямому приказу, то все-таки он

требовал, чтобы это делалось, он мог остановить, прекратить то, что делалось. И если он не останавливал, не прекращал, то он был очевидным виновником всех совершавшихся злодейств. Да, он был ужасным злодеем. Но он ли один был виновен в этом? Легко обвинять его, имея в виду только его поступки. Но стоит вспомнить про его жизнь, про его прошедшее, детство, молодость, для того, чтобы убедиться, что он не мог быть иным, как такой, какой он был.

Вся жизнь Николая была приготовлением к тому, что он сделался тем[2360] странным, ужасным существом, с извращенными до такой степени умом и сердцем, что в нем не оставалось ничего человеческого.

№ 162 (рук. № 79).

Да, он был ужасным злодеем, но разве он или кто бы то ни было мог быть иным, занимая то место, которое он занимал, и в то время, когда он занимал его? Разве лучше был называемый им своим благодетелем его лживый, сластолюбивый,[2361] жестокий фарисей, его «благословенный» брат,[2362] отцеубийца, посредством[2363] Аракчеева забивавший на смерть тысячи людей и говоривший,[2364] что он уложит трупами дорогу от Чудова до Петербурга, прежде чем согласится отступиться от нелепой мысли военных поселений?

[2365]Если и лучше был по душе его несчастный и безумный отец, то не лучше он был по своим сумашедшим поступкам, приведшим его к плачевному концу. Конечно, в сто раз хуже была его ужасная мужеубийца, блудница бабка, любившая только себя, свое глупое тщеславие и мерзкую старческую похоть, которой потворствовали и которую восхваляли все окружающие ее. Не лучше был, конечно, и глупый немец дед, ошалевший, как и все они, от власти и сопутствующей ей лести, убитый любовниками своей распутной жены. Таковы же были все те распутные, глупые и безграмотные бабы, бабы и девки,

которые царствовали до него. Таков же был тот ужасный развратник, пьяница, сифилитик и[2366] безбожник и злодей, собственноручно для забавы рубивший головы стрельцам и с крестом, сделанным из чубуков[2367] в виде... и с ящиком для штофов водки, сделанным в виде Евангелия, ездивший по народу кощунственно славить Христа. Таков был и едва ли не хуже всех тот знаменитый, восхваляемый[2368] Петр, который представлялся образцом для всех последующих царей.[2369]

Раз народ находился в том состоянии, что для общественной жизни его ему нужно[2370] и возможно покоряться одному человеку, должны[2371] быть[2372] люди, настолько извращенные умами и закаменелые сердцами, чтобы они могли быть людьми, управляющими другими, и могли совершать те жестокие дела, которые нужно совершать над людьми, чтобы управлять.

№ 163 (рук. № 80).

В то время, как Николай, сидя в литерной ложе Большого театра,[2373] любовался в одно и то же время и фрунтовой выдержкой балерин, сразу поднимавших 80 мускулистых обтянутых трико ног, любовался и самыми женскими формами этих балерин,[2374] в это самое время сотни, тысячи, десятки тысяч людей — матери, жены, отцы, дети мучались, неся страшные нравственные и телесные страдания по распоряжению этого одного[2375] человека.

Томились годами, сходя с ума и умирая от чахотки в казематах крепостей, добрые, образованные, умные,[2376] лучшие русские люди, виновные в том только, что они хотели[2377] избавить Россию от грубого своеволия Аракчеевых и им подобных и, в ущерб своим выгодам, дать свободу миллионам и миллионам рабов, обращенных в животное состояние бесчеловечными помещиками. Томились и гибли в казематах,

острогах, ссылке десятки тысяч поляков, опять лучших людей своего общества, только за то, что они хотели жить соответственно вековым преданиям своего народа,[2378] любили свое отечество и готовы были пожертвовать всем для достижения этой цели.

Умирали забитые на смерть палками[2379] тысячи людей за то, что они исповедывали веру отцов и не признавали себя перешедшими в ту веру, в которую зачислило их начальство.

Гибли сотни тысяч солдат — в бессмысленной муштровке на учениях, смотрах, маневрах и на еще более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивающих свою свободу в Польше, в Венгрии, на Кавказе. Всё это делалось по воле этого одного человека.[2380]

Он, несомненно он, был виновником всего этого,[2381] и он не мог не знать этого, потому что знал, что[2382] все эти ужасы делались по его приказанию. Если же что делалось и не по прямому его приказанию,[2383] то[2384] он мог остановить, прекратить то, что делалось. И если он не останавливал, не прекращал, то он[2385] не мог не знать, что он был виновником всех совершившихся злодейств. Он был несомненно виновником ужасных совершающихся злодейств, и вместе с тем он был вполне искренно уверен, что он не только не был злодеем, но был благодетель своего народа и всего человечества, самоотверженно служащий и своему народу и всему человечеству. Как это было? Как мог установиться в душе этого человека этот страшный мрак, заставлявший его принимать свою злодейскую жизнь за подвиг самоотвержения и образец добродетели?

Точно таким же великим считал себя называемый им своим благодетелем его лживый, сластолюбивый,[2386] жестокий фарисей, *благословенный* брат, отцеубийца, посредством Аракчеева забивавший на смерть тысячи людей, говоривший, что он уложит трупами дорогу от Чудова до Петербурга, прежде чем согласится отступиться от нелепой мысли военных поселений.[2387] И точно таким же считал себя его несчастный и безумный отец,[2388] не только точно такою же, но в сто раз[2389]

лучше всех людей мира считала себя его ужасная — мужеубийца, блудница — бабка,[2390] движимая[2391] только тщеславием и мерзкой старческой похотью, которой потворствовали и которую восхваляли все окружающие ее.[2392]

Точно таким же непогрешимым и великим считал себя и глупый немец, дед Николая, ошалевший, как и все они, от власти и сопутствующей ей лести и убитый любовниками своей распутной жены.[2393] Так же[2394] не только не стыдились своей гадкой жизни, но гордились ею все те распутные, глупые и безграмотные бабы и девки, которые царствовали до него[2395] после Петра.

И еще больше был уверен в своем превосходстве над всеми людьми тот[2396], всегда пьяный, развратный сифилитик, безбожник[2397] Петр, собственноручно для забавы рубивший головы стрельцов, с ящиком для штофов водки, сделанным в виде Евангелия, и с крестом, сделанным из чубуков в виде..., ездивший по народу кощунственно славить Христа,[2398] тот,[2399] считавший себя совершенно уверенно благодетелем своего народа.

Так же был уверен в этом Николай.

Раз народ находится в том состоянии, что для общественной жизни его ему нужны властители, готовые мучить, грабить, убивать людей, должны быть и такие люди. Для того же, чтобы люди могли делать эти ужасные дела, они должны быть так извращены умом и сердцем, чтобы не видать всего того зла, которое они делают, и считать добрыми делами те ужасные, жестокие дела, которые нужно совершать над людьми, чтобы управлять ими.

Объяснение этого удивительного явления только одно: «То, что велико перед людьми, то мерзость перед Богом». И не то, что случайно бывает то, что великое перед людьми, то есть люди, стоящие на высоте величия, бывают худшими в мире, людьми, а то, что это вечный, неизменный закон, что стоящий на высоте мирского величия должен быть глубоко развращенный человек и что это не может быть иначе.

Люди властители, управляющие другими, представляются обыкновенно управляемым особенными, выдающимися, великими людьми. Происходит это вследствие лести, которой всегда окружены эти люди и которая продолжается и после их смерти в угоду их наследникам и вследствие естественного стремления подчиняющихся, чтобы уменьшить свое унижение, возвеличить тех, кому они покоряются. В действительности же, как и сказано в Евангелии, «что велико перед людьми, то мерзость перед Богом», люди, властвующие над другими, не только не бывают лучшими людьми, но, напротив, непременно должны быть самыми худшими, самыми развращенными, заблудшими людьми общества и чем выше, тем хуже. Оно и не может быть иначе.

Когда стоящий в строю с палкою в руке солдат бьет проводимого сквозь строй казнимого, нравственная виновность этого солдата почти ничтожна[2400]. Если он откажется бить, его будут бить. И потому нравственная ответственность солдата, бьющего своего собрата,[2401] почти не существует. Офицер, который участвует в[2402] таком деле, уже более ответственен. Правда, он потеряет свое обеспеченное и сравнительно почетное положение, если откажется участвовать в[2403] жестоком деле, но[2404] он не подвергается физическому насилию и может найти средства существования, хотя бы и худшего, помимо офицерства. И потому офицер уже более нравственно ответственен,[2405] и для того, чтобы участвовать в злом деле, оправдывая себя, должен уже подвергнуться нравственному извращению. Чем выше начальник, чем обеспеченнее его положение, чем легче он может устроить свою жизнь, отказавшись от участия в казни, тем он нравственно ответственнее, тем[2406] ум и сердце его должны быть извращеннее. Человек же, как государь, который ничего не теряет, отказавшись от казни, жестокого, злого дела, и ничего не выигрывает от него, и вместе с тем дозволяет, требует, предписывает злые дела, как предписывал Николай казнь студента и тысячи других[2407] злых дел, должен быть[2408]

существом с совершенно извращенным разумом и закаменевшим сердцем.

И таковы были и есть все властители и тем больше, чем они самовластнее, и таков был в высшей степени и Николай Палкин, как прозвал его истерзанный им народ русский.

Для того, чтобы в то время во главе русского народа стоял один человек, нужно было, чтобы этот человек был существо, потерявшее всё человеческое, лживое, безбожное, жестокое, невежественное и тупоумное, и который бы не только не знал этого, но был уверен, что он рыцарь правдивости и честности, мудрый правитель, благодетель своего народа.

И таков был Николай Палкин. Он и не мог быть иным. Вся жизнь его была приготовлением к этому.

№ 164 (рук. № 81).

Решение судьбы Хаджи-Мурата так же,[2409] как всех тех[2410] сотен тысяч[2411] жителей Кавказа, которых[2412] разоряли[2413] и убивали русские люди, поставленные в необходимость это делать, исходило из Петербурга, из высшей власти[2414] русских, и ее слуг и помощников, управляющих Россией, т. е. 60 миллионами[2415] людей — мужчин, женщин и детей всех возрастов и состояний. Вершиною этой власти был в то время[2416] здоровый, сильный, ловкий физически и[2417] непросвещенный, тщеславный,[2418] испорченный лестью и властью самоуверенный 56-летний человек, Николай Павлович, дошедший в то время 1852 года до вершины своей власти и своего самообожания.

№ 165 (рук. № 75).

Глупый, как ему показался, ответ ученика рассердил его. Рассердившись же, всё уже, что останавливало его внимание, сердило его.

Стоявший на углу часовой сделал на караул. Николай взглянул на него и не одобрил его вскидку. «Это не то, — подумал он, — не так мы это делали с Мишелем».

И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича, и досадное и страшное чувство смерти охватило его.

№ 166 (рук. № 75).

То, что он убил и убивал палками тысячи людей, не мешало ему думать, что он благодетельный государь и не применяет смертной казни к заслужившему ее преступнику. Так он в начале своего царствования сам распорядился повешением декабристов, даже сам подробно расписав, какую дробь ударить в барабаны, его любимый музыкальный инструмент, в то время, когда подвезут пятерых казнимых к виселице, и какие ружейные приемы должны сделать войска, когда наденут им на головы мешки, и какие, когда они повиснут за шеи на веревках. Он, распорядившись всем этим, в то самое время как несчастных вешали, молился за них в церкви вместе с своей женой.

№ 167 (рук. № 75).

За Чернышевым и Долгоруким вошел в ленте и штатском мундире маленький пухлый старик с докладом о новых законах, прошедших в Государственном совете. Это был Блудов, друг декабристов, бывший министр, тогда начальник 2-го отделения канцелярии составления законов.

Он принес несколько докладов о новых законах и о комитете цензуры и о цензоре старике, статском советнике,

посаженном на гауптвахту за пропущенную статью в журнале, осуждающую распоряжение министра.[2419] Блудов по своим преданиям принадлежал к кружку людей, стремящихся к просвещению, соболезновал распоряжениям Николая, давящим просвещение: ограничение до трехсот числа студентов, запрещение поездок за границу, безумная строгость цензуры, шпионство, ссылки и наказания за печатные и даже изустные слова. Блудов соболезновал этому втайне, с приятелями, строго осуждая эти действия, но явно покорялся. Николай видел это и презирал его за это. Николай инстинктом чувствовал, что необходимая для России власть, такая, какую он имел, не совместима с тем, что Блудов, Елена Павловна, всякие профессора, Trissotin, как он называл их, считали просвещением. И потому он не считал просвещением то, что все считали просвещением, а просвещением считал всё то, что сходилось с его властью и что ему нравилось. И делал он это прямо, открыто. Он видел, что в Европе много властителей считали нужным делать уступки тому, что люди считали просвещением:[2420] одни делали эти уступки из популярничания, как Людовик Филипп, которого он ненавидел, другие из страха перед обществом, как его шурин прусский король, но он для себя и для блага России не считал этого нужным.[2421]

Нужным он считал для себя и для России не университеты, не журналы, не статьи, не науки, не ученых и поэтов, и не просвещение, а дисциплину. И сообразно с этим он требовал только одного: чтобы все безропотно покорялись ему. Больше ничего по его мнению для счастия всех: не только русских, но и немцев, французов, турок и др. ничего не было нужно. Он всё устроит. И потому людей, как Блудов и другие сторонники и защитники просвещения, которые пользовались всеми выгодами власти, возможной только при отсутствии просвещения, а между тем защищали просвещение, он глубоко презирал и никогда не соглашался на их представления, имеющие в виду устранение препятствий к просвещению. Так теперь он не[2422] согласился на ходатайство Блудова об освобождении старика цензора от

гауптвахты, а цензурному комитету[2423] <велел сделать строгий выговор.>

№ 168 (рук. № 75).

И, поехав в свое место, не одобряя в душе мероприятий Николая, с последовательностью, точностью исполнил все жестокие и несправедливые меры, предписанные Николаем, стоившие не только спокойствия и блага людей, но их жизней, стоившие не только блага и жизней людей, но развращающие людей, ожесточающие их сердца, уничтожающие самые лучшие человеческие свойства.

№ 169 (рук. № 82).

Продиктовал Лев Николаевич.[2424]

История Хаджи-Мурада такая:

Это был храбрый авариец, который одно время служил русскому правительству. Генералу Клюгенау, стоявшему с русскими войсками в Аварии, было донесено, что Хаджи-Мурад изменяет русскому правительству: Клюгенау велел арестовать и заковать Хаджи-Мурада и привезти его к себе. Но на пути Хаджи-Мурад спрыгнул с высокой скалы, увлекши за собой ведшего его солдата, который убился на смерть; сам же он остался жив, но разбился и сломал ногу. Излечившись, он передался Шамилю и стал служить ему. Был один из самых смелых и храбрых наибов, делал блестящие набеги на русские владения; но, поссорившись с Шамилем, в 1851 году передался русским. Из города Нухи, где ему было назначено жить и где он очень тосковал по своей семье, оставшейся у Шамиля, он бежал в горы и был настигнут казаками, отчаянно защищался с своими мюридами и был убит.

Так как он внушал большой страх кавказским жителям, голову его возили и показывали в разных местах Кавказа.

Событие это случилось во время пребывания Льва Николаевича на Кавказе.

Писано гр. Софией Андреевной Толстой под диктовку Льва Николаевича 28 января 1905 года.

Комментарии А. П. Сергиенко

Хаджи-Мурат

История писания

I

В 1851 г. двадцатитрехлетний Толстой приехал на Кавказ. Он, конечно, много слышал рассказов о Хаджи-Мурате, считавшемся самым смелым и опасным из всех сподвижников Шамиля. Впоследствии, в одном из вариантов повести, Толстой писал: «Людям, не бывавшим на Кавказе во время нашей войны с Шамилем, трудно себе представить то значение, которое имел в это время Хаджи-Мурат в глазах всех кавказцев», следовательно и в глазах молодого Толстого. Тем не менее, ни в Дневнике, ни в письмах Толстого за первые месяцы его пребывания на Кавказе в 1851 г. имя Хаджи-Мурата не упоминается, как и имя Шамиля.

1 ноября 1851 г. Толстой переехал из станицы Старогладковской в Тифлис. Здесь, в № 89 единственной местной газеты «Кавказ» от 15 ноября 1851 г., было напечатано сообщение «о важном раздоре между Шамилем и Гаджи Муратом», а в № 94 той же газеты от 11 декабря 1851 г. то, что последствием этого раздора был переход Хаджи-Мурата к русским. Газета писала, что «это обстоятельство весьма важное... выгодное», ибо Хаджи-Мурат «был самый смелый, предприимчивый, воинственный и любимый народом из наибов Шамиля».

В момент появления этого газетного сообщения Хаджи-Мурат уже находился в Тифлисе.

В течение десятидневного пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Толстой был болен и не выходил из дома. Кроме того, он был поглощен работой над первым своим произведением —

«Детство». К Хаджи-Мурату тогда он относился отрицательно, что видно из его письма к брату Сергею Николаевичу от 23 декабря 1851 г.: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на-днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость»[2425].

Имеющиеся данные приводят к выводу, что Толстой не встречался с Хаджи-Муратом. Об этом можно судить по его записи в Дневнике, сделанной в станице Старогладковской 20 марта 1852 г.: «После обеда писал, пришел Дурда... рассказывал мне про стычку Хаджи-Мюрата с Аслан-ханом за мечеть. Интересно бы было их посмотреть».[2426]

Толстой в этой записи, несомненно, имел в виду столкновение Хаджи-Мурата с кумыкскими князьями, происшедшее в феврале 1852 г. в крепости Таш-Кичу, а не в Старогладковской, в которой Хаджи-Мурат в то время не был. Не дают основания для предположения о встрече Толстого со своим будущим героем и его слова в прологе к своей повести: «Мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе». Здесь явно речь идет не о самом Хаджи-Мурате, а о некоторых эпизодах кавказской войны, свидетелем которых был Толстой, а также о тех ее участниках и свидетелях, которых Толстой знал лично: Воронцове, Полторацком и др.

II

Впоследствии Толстой не раз вспоминал о Хаджи-Мурате. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862), рассказывая о своей вечерней прогулке со школьниками, Толстой пишет: «Мы разговорились о кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую историю, которую я им рассказал давно, и я стал опять рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате»[2427]. Из этого видно, что Толстой делился со

своими учениками воспоминаниями о Кавказе и Хаджи-Мурате уже не в первый раз.

Находясь на Кавказе, Толстой изучал жизнь горцев, их быт, нравы, фольклор. Он первый из русских писателей и исследователей записал образцы горских песен.[2428] С годами его интерес к Кавказу не ослабевал. В 1875 г. он достал издание «Сборник сведений о кавказских горцах» (неполный экземпляр: вып. I, II, IV, VI, VII — хранится в библиотеке Ясной Поляны) и писал А. А. Фету в октябре: «Читал это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необыкновенные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались вы. Но не посылаю потому, что жалко расстаться. Вот вам образчик». К письму был приложен слегка измененный Толстым текст песни «Высохнет земля на могиле моей».[2429] Чтение сборника в 1875 г. не было связано с какой-либо работой Толстого. Его интересовал тогда исключительно кавказский фольклор, и соответственно этому им были отмечены в сборнике песни, сказки, пословицы. Выпуск VII должен был напомнить ему о Хаджи-Мурате, где это имя неоднократно упоминается.

Повидимому, Толстой перечитывал и в последующие годы «Сборник сведений о кавказских горцах», так как в 1886 г. рекомендовал Н. Н. Иванову написать басню «Блоха и муха» по сюжету из этого издания, вып. IV, «Природа и люди Закатальского округа», стр. 56.[2430]

Толстой всегда следил за историческими журналами и, видимо, еще в 1881 г. прочитал опубликованные в № 3 журнала «Русская старина» новые материалы о Хаджи-Мурате.

В 1883 г. в журнале «Исторический вестник» появились «Воспоминания» В. А. Полторацкого, заключавшие ряд сообщений о Хаджи-Мурате. Эти «Воспоминания» Толстой, повидимому, прочел в год их появления; перечитывал и в 1895 г., как это отмечено в его Дневнике 29 мая 1895 г.: «Читаю всё Полторацкого, люблю эти воспоминания».

Таким образом, Толстой неоднократно вспоминал о разных случаях с Хаджи-Муратом вплоть до 1896 г.

17 июля 1896 г. Толстой поехал к своему брату Сергею Николаевичу в имение Пирогово, в 35 километрах от Ясной Поляны.

На другой день по приезде он совершал по окрестностям прогулку, во время которой увидел поразившую его картину, что отметил тотчас в Записной книжке: «Татарин на дороге. Хаджи-Мурат». 19 июля 1896 г. он развил эту запись в Дневнике:

«Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет ничего, кроме черной земли — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан и белый загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но всё еще жив, и в серединке краснеется. — Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее». Вскоре после этой записи в первом наброске «Хаджи-Мурата» Толстой писал о настроении, охватившем его при виде этого репья: «Молодец!» подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо. Так и надо».

III

Из Пирогова в Ясную Поляну Толстой вернулся 20 июля 1896 г.

В статье «Как Л. Н. Толстой писал «Хаджи-Мурата» П. А. Буланже сообщает: «Мысль о писании «Хаджи-Мурата», очевидно, овладела Львом Николаевичем так сильно, что заставила его по приезде в Ясную Поляну перечитать те книги, которые были у него, для того чтобы восстановить в своей памяти события, связанные с эпизодом о Хаджи-Мурате».[2431]

В первом наброске «Хаджи-Мурата», вскоре написанном, видны следы только что проделанного изучения источников.

Этот набросок, под названием «Репей», был написан в Шамардине, куда Толстой поехал 10 августа 1896 г.

Судя по цвету чернил и почерку, рассказ «Репей» был написан в три приема. В конце рукописи стоит дата: «14 августа 1896 г.».

«Репью» предшествует развитый из дневниковой записи «Пролог», затем следует повествование, построенное на эпизоде, взятом из переписки Воронцова с Барятинским, приведенной в сочинении Зиссермана «Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский» (М. 1889—1891, три тома). Из этой переписки видно, что одно время Хаджи-Мурат находился в ведении Барятинского в крепости Грозной, затем был переведен к Воронцову в Тифлис. У Воронцова Хаджи-Мурат добивался выкупа своей семьи, попавшей в плен к Шамилю. Это не удавалось, и Хаджи-Мурат просился обратно в Грозную к Барятинскому. Воронцов по этому поводу писал Барятинскому 18 февраля 1852 г.: «Хаджи-Мурат умоляет дать ему позволение отправиться к вам, так как он там надеется получить верные известия о своей матери и жене, двух дорогих ему существах, и узнать, нет ли каких надежд их снова увидеть посредством обмена на пленных или каким-нибудь другим образом освободить их... Мы придумали устроить дело иначе: пока он отправляется в Таш-Кичу».[2432]

Пребывание Хаджи-Мурата в этой крепости Толстой и взял исходным пунктом для «Репья».

Кроме Хаджи-Мурата, в «Репье» выведены фигуры Ивана Матвеевича и Марьи Дмитриевны, остальные персонажи лишь намечены.

В «Репье» имеются некоторое неточности: Хаджи-Мурат приезжает в крепость к Ивану Матвеевичу в июне 1852 г., тогда как это могло быть лишь в феврале того же года; после отъезда Хаджи-Мурата Марья Дмитриевна не видит его «до июня», но в апреле Хаджи-Мурат был уже убит; вождь горцев Гамзат-бек ошибочно назван Кази-Магомой и т. д.

«Репей» по своей композиции резко отличается от будущей повести. Хронологическая последовательность в рассказе о событиях нарушается лишь однажды. Внезапно появляется

Каменев с отрубленной головой Хаджи-Мурата, когда еще ничего не было сказано о его гибели. Подробное описание гибели следует уже после этой сцены.

Этот композиционный прием Толстой сохранил и во всех последующих редакциях, а также в окончательном тексте повести.

Образ Хаджи-Мурата в «Репье» в основных своих чертах вполне определился.

Для создания образа Хаджи-Мурата Толстой располагал весьма скудными материалами, разбросанными в письмах Воронцова, книгах Зиссермана и «Воспоминаниях» Полторацкого.

В рукописи «Репья» имеется несколько пропусков, которые Толстой был намерен заполнить после наведения справок в книгах, из чего видно, что Толстой не привозил с собою в Шамардино печатных источников, а пользовался ими лишь по памяти.

Рукопись «Репья» почти без поправок и помарок.

О работе Толстого в Шамардине С. А. Толстая писала Л. Ф. Анненковой 5 сентября 1896 г.: «Лев Николаевич писал особенно хорошо по художественной части, но он не говорит о чем именно и скрывает старательно».

28 августа 1896 г. М. О. Меньшиков сообщал Л. Ф. Анненковой: «Только что возвратился из Ясной Поляны... В промежутках досуга Л. Н. написал... «Кавказский рассказ».

Выражение «в промежутках досуга» Меньшиков, конечно, мог слышать только от самого Толстого. Это выражение Толстой впоследствии не один раз употреблял в отношении «Хаджи-Мурата», и оно характерно для его работы над повестью.

IV

Собираясь возобновить работу над «Репьем», Толстой 12 сентября 1896 г. вторично поехал к Зиссерману за материалами. На книге Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе», хранящейся в яснополянской библиотеке, имеется надпись:

«Графу Льву Николаевичу Толстому лично автором поднесено 12 сентября 1896 г. в с. Лутовинове».

Через два дня после поездки к Зиссерману Толстой принялся за работу над «Репьем». Он перечитал рассказ, впервые через месяц после его написания. В Дневнике 14 сентября 1896 г. записано: «За это время была поездка в монастырь с Соней... Написал о Хаджи Мурате очень плохо, начерно». Толстой остался настолько неудовлетворен рассказом, что не пожелал работать над ним и не внес в него в этот раз никаких исправлений.

Прошел еще месяц. Толстой вторично перечел «Репей». В Дневнике 23 октября 1896 г. записано: «перечел Хаджи Мурата — не то». Однако в этот раз Толстой уже внес в рукопись исправления и вставки, одна из которых о предсмертных воспоминаниях Хаджи-Мурата развита по записи в Записной книжке: «И Марья Дмитриевна, и Вали, и майор, и жена, и Шамиль, и Алла». Толстой отдает впервые переписать рассказ своим дочерям Татьяне Львовне и Марье Львовне. На копии «Репья» рукой Марьи Львовны проставлена надпись: «Первая версия».

Толстой проделал при создании повести громаднейшую исследовательскую работу. Для одного первого наброска «Хаджи-Мурата» он ознакомился с сочинениями, в которых насчитывается около 5000 страниц.

В Записной книжке Толстого за ноябрь 1896 г. встречаются многочисленные пометы, сделанные им при чтении материалов по «Хаджи-Мурату». Об этом сообщает Софья Андреевна в своих записках «Моя жизнь» (1896, стр. 65): «Лев Николаевич опять взялся за «Хаджи-Мурата», читая много материалов для этой повести, изучая по книгам и природу Кавказа. Прочел и знаменитую в свое время книгу «Плен у Шамиля».

12 декабря 1896 г. к Толстому приехал Чертков проездом в Петербург. Толстой просил его достать в Петербурге некоторые материалы, нужные для работы над «Хаджи-Муратом». Сохранился листок, на котором рукою Черткова под диктовку Толстого записано: «Стасов — материалы о Кавказе, о

Дагестане, внутренней жизни Шамиля. Неверовского. Плен Шамиля есть и кавказские сборники есть».

Из этого перечня книг, а также из помет Толстого в его Записной книжке за ноябрь 1896 г. видно, что тема «Хаджи-Мурата» расширялась. Толстой уже намерен описать не только гибель Хаджи-Мурата, но и его прошлое и быт горцев, и, охватив всю эпоху, остановиться и на ее центральной фигуре — Шамиле.

18 декабря 1896 г. Стасов сообщал Толстому: «Сегодня утром я получил от В. Г. Черткова записочку,[2433] где он мне говорит, что вы желали бы получить отсюда, от нас разные книги о Кавказе и Шамиле. Разумеется, я очень был обрадован таким поручением, завтра поспешу проэкзаменовать и сам, да с разными другими еще знающими, что именно может вам пригодиться, и тотчас пошлю вам изрядную партию».[2434]

Толстой отвечал Стасову 28 декабря 1896 г.: «Не присылайте слишком много. Главное нужно мне историю, географию, этнографию Аварского ханства в нынешнем столетии».[2435]

Книги об Аварском ханстве были особенно нужны Толстому потому, что Хаджи-Мурат родился в Аварии и провел там большую часть своей жизни.

В ответном письме к Толстому от 3 января 1897 г. Стасов сообщал: «Так как вы не велите посылать вам слишком много книг, посылаю вам (покуда) небольшой список важнейших книг и статей насчет аварского племени. Чего вам не надо, пожалуйста, вычеркните на прилагаемом листке; что останется не вычеркнутым, т. е. вам нужным, пошлю вам тотчас, только пришлите, оторвав его от письма, мой списочек».[2436]

К письму был приложен «Список книг о Кавказе (Дагестан — Авария)». Дочь Толстого Татьяна Львовна в письме к Стасову от 4 января 1896 г. вернула этот список обратно с пометками и приписками Льва Николаевича:

«1) *Неверовский:* Краткий взгляд на Северный и Средний Дагестан в топографическом и статистическом отношении. СПБ. 1847.

2) *Его же:* Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Дагестан до уничтожения влияния лезгинов на Закавказье. СПБ. 1848.

3) *Его же:* Истребление аварских ханов. СПБ. 1848.

4) *Берже:* Краткий обзор горских племен на Кавказе (напеч. в «Кавказском календаре» на 1858 г.). *Зачеркнуто Толстым.*

5) *Руновский:* Шамиль (напеч. в «Кавказском календаре» на 1861 г.).

6) «Низам Шамиля» (напеч. в «Сборнике сведений о кавказских горцах», выпуск III, 1870). *Зачеркнуто.*

7) *Я. Львов:* Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского племени (напеч. там же). *Зачеркнуто.*

8) Из путешествия по Дагестану Н. И. Воронова (напеч. там же). *Зачеркнуто.*

9) *Дубровин:* История войны и владычества русских на Кавказе. 6 томов (последний, изданный в 1888 г., доведен только до 1827 г.). *Зачеркнуто.*

10) «Описание племен Кавказа». 20 томов (издание попечителя Кавказского учебного округа).

В №№ 9 и 10 есть не мало про аварское племя».

Рукою Толстого приписано:

«Нет ли записок, кроме Полторацкого и Зиссермана, касающихся Кавказа и войны 40—60 годов? Вот мои дерзкие и покорные просьбы. Прошу простить и не бранить».

В списке против № 10 рукою Толстого приписано: «Из этих 20 томов те, которые касаются Аварии и Чечни».[2437]

10 января 1897 г. В. В. Стасов писал Толстому:

«Лев Николаевич, сегодня я послал к вам, по почте, те книги о Кавказе, которые вы выбрали... Сверх того, я прибавил еще краткий список статей и изданий по кавказоведению.

Буду, конечно, радехонек, если эти книжки вам пригодятся.

Что же касается 20 томов издания «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», то я эти 20 томов процедил, и всё, что там нашел про лезгинское племя, про аварцев и про Дагестан, всё я выписал на маленький листок, который при сем и прилагаю, — и опять-таки с просьбой вычеркнуть там вон то, что вам не надо, и прислать мне тот

листок с незачеркнутыми заглавиями (если такие окажутся), а я тотчас же и пошлю вам, что вам надо».[2438] К письму был приложен список статей «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа».

В течение полугода после написания «Репья» Толстой не возобновлял работы над рассказом, если не считать небольших исправлений, сделанных в октябре 1896 г., но не оставлял мысли о ней, собирая материалы и напряженно изучая их.

6 февраля 1897 г., узнав, что Чертков высылается из пределов России, Толстой поехал в Петербург проститься с ним. 10 февраля 1897 г. он побывал у Стасова, у которого наводил справки об интересовавших его книгах. Кроме того, навестил генерала К. А. Дитерихса, участника кавказской войны, несколько раз встречавшегося с Хаджи-Муратом и в стычках, и после перехода его к русским. Дитерихс рассказывал Толстому целый вечер о Хаджи-Мурате, о его внешности, характере, о том, как он хромал, как кинулся со скалы и пр. (сообщение дочери К. А. Дитерихс — О. К. Толстой).

По возвращении из Петербурга Толстой работал над книгой «Что такое искусство?», одновременно продолжая обдумывать «Хаджи-Мурата». В Дневнике 3 марта 1897 г. записано: «Очень захотелось писать Хаджи Мурата и как-то хорошо думалось, умилительно». Но и в этот раз Толстой не работал над «Хаджи-Муратом», собирание же и изучение материалов продолжалось. Г. А. Джаншиев, известный публицист, по происхождению армянин и уроженец Кавказа, писал Толстому 17 марта 1897 г.: «Приятель мой С. И. Танеев передал мне вчера, что вы желали бы иметь типы и виды кавказские. Позвольте предложить вам всё, что у меня оказалось. Если найду еще что-нибудь у знакомых, не замедлю прислать». На конверте письма Джаншиева рукою Толстого проставлена надпись: «Отошли книги», сделанная им для дочери после просмотра книг Джаншиева.

4 апреля 1897 г. в Дневнике записано: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи Мурате — о том, что в нем главное надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман».

А 30 апреля 1897 г. Толстой писал П. И. Бирюкову: «Назойливо пристают мысли художественные, одна кавказская, всё не оставляющая меня в покое, другая драма» («И свет во тьме светит»).

Но еще в течение года после написания «Репья» Толстой не приступал к работе над «Хаджи-Муратом», будучи всецело занят другими работами, хотя сюжет этот всё более и более привлекал его внимание. 14 октября 1897 г. он записал в Дневнике: «К Хаджи Мурату подробности: 1. Тень орла бежит по скату горы. 2. У реки следы по песку зверей, лошадей, людей. 3. Выезжая в лес, лошади бодро фыркают. 4. Из куста держи-дерева выскочил козел». В Дневнике 16 октября 1897 г. записано: «Вчера вечером и нынче хотел писать Хаджи Мурата. Начал. Похоже что-то, но не продолжал потому, что не в полном обладании. Не надо портить и насильно».

С. А. Толстая в своих записках «Моя жизнь» пытается объяснить причину неуспеха работы Толстого так: «Лев Николаевич брался и за излюбленного им «Хаджи-Мурата», но с этим делом не пошло и пришлось оставить. Художественные работы, на мой взгляд, всегда требовали полного спокойствия, как физического, так нравственного, духовного. Без него работа не шла. А спокойствия было всё меньше и меньше». Тем не менее после первой неудачной попытки 15—16 октября 1897 г. Толстой через месяц возобновляет работу над «Репьем». В Дневник 11 ноября 1897 г. занесено: «С утра писал Хаджи-Мурата — ничего не вышло. Но в голове уясняется, и очень хочется».

Написанное 15—16 октября и 11 ноября 1897 г. представляет собой начало второй незаконченной редакции произведения (варианты №№ 2—11). Здесь четыре главы. Тема развита шире, чем в «Репье», композиция иная. В главе I описывается выход солдат в секрет; в гл. II — вечер у молодого Воронцова; в главе III — пребывание Хаджи-Мурата с мюридом Асланбеком у кунака Саффедина, в главе IV — рубка леса, смерть Никитина, выезд молодого Воронцова и встреча с Хаджи-Муратом, прием Хаджи-Мурата Марьей Васильевной, столкновение молодого Воронцова с Меллер-Закомельским.

Материалом для гл. I этой редакции послужила книга Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе», ч. II, стр. 288, для остального — «Воспоминания» В. А. Полторацкого. События происходят в передовой крепости Шахгири, или по-русски Воздвиженской, в которой Толстой бывал в своей молодости. В рассказе выведен Полторацкий, первоначально названный настоящей своей фамилией, затем «Полторасовым», потом «краснолицым» и «широколицым офицером» без фамилии. Толстой знал Полторацкого в бытность на Кавказе; вспомнить его внешность помог портрет, приложенный к журналу «Исторический вестник» за 1895 г. Молодой Воронцов и его жена Марья Васильевна отчасти описаны по личным воспоминаниям, так как Толстой встречался с ними на Кавказе, отчасти по «Воспоминаниям» Полторацкого. Первая глава новой редакции произведения далась Толстому с большим трудом. Листы, на которых она написана, испещрены бесчисленными вставками и исправлениями. С еще большим упорством Толстой работал над коротенькой третьей главой, принимаясь за нее девять раз. Страницы ее едва поддаются прочтению. Толстой записал по поводу данной рукописи: «не вышло» и прекратил работу над нею.

В Дневнике 14 ноября 1897 г. записано: «Думал в pendant к Хаджи Мурату написать другого русского разбойника Григория Николаева...» (Выведен под именем дворника Василия в повести Толстого 1904 г. «Фальшивый купон».) О возобновлении работы над «Хаджи-Муратом» Толстой 17 ноября 1897 г. писал жене: «Начал новое — художественное, кавказский рассказ, который me hante[2439] — уже давно».[2440] Через три дня, 20 ноября, он писал ей: «мысли же и занятия мои направлены на кавказскую повесть, которой мне совестно заниматься, тем более, что она нейдет, но от которой не могу отстать».[2441]

Написанное 17—20 ноября 1897 г. является началом третьей редакции повести (варианты №№ 12—16). Содержание ее существенно отличается от содержания двух предыдущих. Дана сцена обеда в тифлисском дворце наместника Кавказа Воронцова, сцена приема Воронцовым Хаджи-Мурата, включено письмо Воронцова к Чернышеву. Заканчивается рукопись

рассказом Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своей прошлой жизни. Две главы, в одной из которых описывается ранняя пора жизни Хаджи-Мурата (материалом для нее послужили «Воспоминания муталима», помещенные в «Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. I и II), а в другой приводится рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своем прошлом. Затем они были исключены Толстым из рукописи.

Писавшаяся в течение четырех дней (17—20 ноября 1897 г.) третья редакция «Хаджи-Мурата» не удовлетворила Толстого так же, как и первые две.

20 ноября 1897 г. он записал в Дневнике: «Много обдумал Хаджи Мурата и приготовил материалы. Всё тон не найду».

21 ноября 1897 г. Толстой записал в дневнике: «Всё обдумываю и собираю материалы для Хаджи Мурата. Нынче много думал, читал, начал писать, но тотчас остановился».

Это короткие наброски (сохранилось шесть вариантов), являющиеся новой, четвертой, редакцией повести, впервые названной «Хаджи-Муратом». До сих же пор произведение носило название «Репей».

Наброски однородны по своему содержанию: в них изображен более ранний период жизни Хаджи-Мурата, чем во всех предыдущих редакциях. Описывается наступление Кази-муллы на столицу Аварии Хунзах в 1830 г. (источником послужила книга Зиссермана «История 80 пехотного Кабардинского полка», т. II, гл. III). Во время этого наступления Хаджи-Мурат убивает мюрида, завещающего ему идею хазавата (варианты №№ 17—21). При создании этих эпизодов Толстой использовал материалы «Сборника сведений о кавказских горцах», вып. IV, отд. 1, стр. 13; см. Записи, пометы и конспекты, № 3—82) «Ичкерит, умирая, завещал», стр. 279. Наброски эти также не удовлетворили Толстого, и только один из них был переписан рукой А. П. Иванова.

Читая в этот раз «Сборник сведений о кавказских горцах», Толстой сделал около 300 помет. К своим пометам он составил особый список, озаглавленный «Материалы Хаджи-Мурата». Судя по этим пометам, Толстой стремился с наивозможной полнотой представить себе жизнь горцев, их быт, нравы,

верования, обряды, способы обработки земли, ремесла, охоту; отмечены также пословицы, приветствия, сказания.

Некоторые места читались им не один раз, как свидетельствуют его надписи: «Подробности обычаев мало читаны»; «Сказки читать»; «Всю статью читать». Кавказский фольклор восхищал Толстого в этот раз так же, как 20 лет назад, что видно из надписей: «Чудные песни о мщении и удальстве»; «Прелестная песня»; «Песня о Хадбаре удивительная»; «Сказка прекрасная».

Толстой снова начал собирать материалы для своей повести, что видно из писем уехавшей в Москву его дочери Татьяны Львовны. 27 ноября 1897 г. она писала отцу: «О кавказском твоем поручении помню, но не удается еще ничего сделать»; 29 ноября 1897 г.: «Посылаю тебе Мулла-Нур (40 к.) и книгу Маркова, которую мне рекомендовали. Есть еще две книги о Кавказе в том же роде с картинками — одна Надеждина «Кавказский край, природа и люди», а другая, забыла, как называется, но тоже описывающая край, а не вроде дневника, как ты хотел иметь. Сейчас ее принесли от Вольфа — посылаю ее тебе. Если книги не годятся — их можно отдать назад».

Под «дневником» подразумевались записки кавказских деятелей первой половины XIX века; в них Толстой рассчитывал найти больше, чем в других книгах, подробностей горской жизни.

Книга «Мулла-Нур», посланная Татьяной Львовной, — повесть А. А. Бестужева-Марлинского, к сочинениям которого Толстой относился критически за их романтическое содержание, но которые он считал теперь необходимым перечитать. Вероятно, он прочел и другую известную повесть Марлинского «Аммалат-Бек». Высланные Татьяной Львовной книги: Маркова «Очерки Кавказа», Надеждина «Кавказский край» и пр. указывают, что Толстой особенно интересовался в этот период географическими и этнографическими материалами.

24 ноября 1897 г. Толстой записал в Дневнике: «Вчера готовил Хаджи Мурата. Как будто ясно».

6 декабря 1897 г. Е. И. Попов писал Л. Ф. Анненковой: «Л. Н. вчера приехал в Москву. Он кончил свою статью об искусстве и теперь занят рассказом из кавказской жизни». К этому же

времени относится сообщение С. А. Толстой в ее записках «Моя жизнь»: «Опять возвращался он и в Ясной Поляне и в Москве к «Хаджи-Мурату» и почему-то не спорилась эта работа. Недовольство огорчало его». Мысли о «Хаджи-Мурате» настолько овладевали Толстым в этот период, что возникали иногда по неожиданным поводам. Так, в его Дневнике 13 декабря 1897 г. записано: «У Русанова голова Хаджи Мурата» (Гавриил Андреевич Русанов, близкий знакомый Толстого, имел овал лица с изогнутыми бровями и форму головы, напоминавшие голову Хаджи-Мурата, судя по его портрету).

Тогда же, 13 декабря 1897 г., в Дневнике записано: «Нынче утром хотел писать Хаджи Мурата. Потерял конспект».

Среди рукописей повести не сохранилось конспекта, относящегося к данному периоду. Может быть, он был, и Толстой его действительно потерял, но, возможно, что «конспектом» назван список помет к «Сборнику сведений о кавказских горцах», о котором сказано выше. В Дневнике же 13 декабря 1897 г. сказано: «Хочу записать теперь сюжеты, которые стоит и можно обработать, как должно». Следует список, состоящий из тринадцати сюжетов, в числе которых седьмой сюжет: «Хаджи Мурат». 21 декабря 1897 г. записано: «Обдумывал Хаджи Мурата, но нет охоты и уверенности».

В первых числах января 1898 г. Толстой в третий раз принялся за усиленное изучение источников. С. А. Толстая сообщает: «Лев Николаевич невесел, потому что ему всё еще не работается... всё читает материалы кавказской жизни, природы, всё, что касается Кавказа» (дневник, 6 января 1898 г.).

9 января 1898 г. Толстой писал Черткову: «Хотел я всё это время написать художественное, что-нибудь такое, что соответствовало бы мною же поставленным требованиям. Но ничего не мог».

Написанные в начале января 1898 г. наброски представляют собою пятую, незаконченную, редакцию «Хаджи-Мурата». Второй набросок — конспект всего произведения. В третьем наброске впервые рассказывается о ранении матери Хаджи-Мурата его отцом за ее отказ стать кормилицей ханского ребенка (факт вымышленный, в источниках не встречается).

Перед пятым наброском рукою Толстого проставлено: «Опять сначала».

В шестом наброске изображено прогнание горцев сквозь строй. В качестве источника использована книга Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе»[2442], но там нет указания на присутствие при экзекуции мальчика Хаджи-Мурата. Сделав набросок, Толстой провел черту и пометил: «не годится». Рассказ датирован Толстым 12 января 1898 г.

На другой день, 13 января, Толстой записал: «Всё пытаюсь найти удовлетворяющую форму Хаджи Мурата и всё нет. Хотя как будто приближаюсь». С этой целью он решил составить новый общий план повести и 18 января 1898 г. записал в Дневнике: «Нынче уяснил план Хаджи Мурата больше, чем когда-либо». План состоял из отдельных параграфов. 12 параграфов новые, остальные 13 параграфов образованы на основании текста предыдущего наброска об экзекуции.

Одновременно Толстой продолжал собирание и изучение необходимых материалов. Навестивший его писатель и актер А. И. Сумбатов-Южин, грузин по происхождению и уроженец Кавказа, вспоминал впоследствии: «Он тогда (в 1898 г.) начинал писать «Хаджи-Мурата» и просил меня прислать ему книг о Кавказе. Я, конечно, всё исполнил».[2443]

Через месяц, 25 февраля 1898 г., Толстой вновь записывает в Дневнике: «Не перестаю думать о Хаджи Мурате».

В феврале Толстой решил напечатать в зарубежном издательстве Черткова «Свободное слово», выпускавшем запрещенные в России произведения Толстого, готовые отрывки «Хаджи-Мурата». Сделав извлечения из редакции первой (1896), второй (1897) и пятой (1898), он соединил их и дополнил вставками. Получилась новая редакция, шестая по счету (варианты № № 28—32). Произведению дано название «Хазават», и построено оно на раскрытии психологии Хаджи-Мурата как правоверного фанатичного горца-мусульманина, исповедующего идею хазавата — священной борьбы против иноверцев.

Толстой упорно работал над «Хазаватом», переделывая его четыре раза. С. А. Толстая записывает в своем дневнике:

«Переписывала с большим удовольствием повесть Л. Н. «Хаджи-Мурат» кавказскую» (10 марта 1898 г.); «Одну ночь я всю просидела до 4 1/2 часов утра и переписывала для Л. Н. «Хаджи-Мурата» (14 марта 1898 г.).

Напряженная переписка С. А. Толстой была вызвана тем, что Толстой торопился закончить повесть, чтобы послать ее Черткову. Но Толстому не удалось осуществить свое желание.

Работа не удовлетворила его.

21 марта 1898 г. Толстой записал в Дневнике: «Есть такая игрушка английская peepshow»:[2444] под стеклышком показывается то одно, то другое. Вот так-то надо показать человека — Хаджи-Мурата: мужа, фанатика и т. п.». Этот замысел стоит в связи с особенно занимавшей в то время Толстого мыслью о «текучести» человека, которую развивал он в романе «Воскресение», в дневниковых записях от 3 февраля, 19 и 21 марта 1898 г. и в разговорах. «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же: то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо»[2445].

Прервав работу над «Хазаватом», Толстой только через три недели вернулся к повести, как это видно из записи в его Дневнике от 12 апреля 1898 г.: «Занятия Karthago delenda est и Хаджи Мурат».

В этот раз, однако, Толстой работал не над продолжением «Хазавата», а над редакцией третьей (1897), расширив в ней рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своем прошлом.

30 апреля 1898 г. Толстой просил С. А. Толстую выслать ему книгу Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе». В то время он находился на юге Тульской губернии, занятый помощью голодающему крестьянству. И там, даже в непривычных условиях жизни, «Хаджи-Мурат» продолжал занимать Толстого. 4 мая 1898 г. он записал в Дневнике: «Нынче да и в прежние дни как будто уясняю себе Хаджи Мурата, но не могу писать. Правда, что мешают». Затем, в течение всего 1898 г., писание «Хаджи-Мурата» не возобновлялось.

22 февраля 1899 г. С. А. Толстая писала В. В. Стасову: «Книги о Кавказе находятся в Ясной Поляне, и Лев Николаевич

обещает их выслать, как только приедет в Ясную Поляну».[2446] Но Толстой продолжал интересоваться темой своей художественной работы, что видно, между прочим, из письма посетившего его в апреле 1899 г. писателя И. Н. Захарьина-Якунина, который 3 декабря 1899 г. писал Толстому: «Вы выразили желание, чтобы я описал сцену расстреляния и прогнания сквозь строй, коих мне довелось быть когда-то невольным свидетелем. И вот одну из этих сцен я описал и напечатал в «Историческом вестнике», а вторую сцену не в силах кончить: тяжело писать... Посылаю вам оттиск из «Исторического вестника», а также и мою статью в «Вестнике Европы» о Шамиле, личностью которого вы, в разговоре со мною, так интересовались».

Однако в 1899 г. работа над «Хаджи-Муратом» не возобновлялась. Не возобновлялась она и в следующем — 1900 г. В течение трех лет, с 1898 г. по 1901 г., в Дневниках и письмах Толстого не встречается никаких упоминаний о «Хаджи-Мурате». Толстой в это время был занят работой над «Воскресением» и другими своими произведениями.

V

В начале 1901 г. С. А. Толстая как председательница Московского общества попечения о детских приютах задумала устроить благотворительный вечер в пользу опекаемых ею сирот, решив в программу вечера для большего успеха включить чтение какого-либо неизданного рассказа Толстого. Толстой сначала не дал С. А. Толстой на это своего согласия, не любя оглашения своих незаконченных вещей, затем уступил. Ю. И. Игумнова сообщала 2 марта 1901 г. Т. Л. Сухотиной: «Сейчас переписываю «Хаджи-Мурата», за которого принялся Л. Н. Софья Андреевна все-таки выпросила, чтобы он дал из него отрывок для чтения. А он, просматривая его, увлекся и начал работать над ним». В день написания этого письма, 2 марта 1901 г., Ю. И. Игумнова уже переписывала новую рукопись, следовательно Толстой начал ее писать в последних числах

февраля. С. Т. Семенов 6 марта 1901 г. писал Л. Ф. Анненковой: «Л. Н.... начал работать над отрывками «Хаджи-Мурата» для концерта Софьи Андреевны».

В феврале и марте 1901 г. сначала были написаны две большие вставки к «Репью». В одной, помещенной непосредственно за сценой приезда Хаджи-Мурата в крепость, говорилось о прошлом Хаджи-Мурата, в другой, заменявшей последнюю часть «Репья» и следовавшей за сценой привоза Каменевым головы Хаджи-Мурата, приводится рассказ Каменева о последней борьбе Хаджи-Мурата. Все подробности о предсмертных муках Хаджи-Мурата заменены теперь сценой появления Гаджи-аги, отрубающего голову Хаджи-Мурата; источником для этого эпизода послужила книга Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе», ч. II, стр. 95. Содержание и композиция данной редакции несколько иные, чем «Репья», поэтому она должна считаться самостоятельной, седьмой, редакцией повести.

Исправляя рукопись, переписанную Игумновой, Толстой переправил ее до неузнаваемости и начал словами: «Я служил в одном из Кавказских полков, стоявших на левом фланге в Чечне. Я заболел лихорадкой, и полковой командир, принимавший во мне участие, прикомандировал меня к линейному батальону в предгорьи здоровой местности».

Всё произведение написано впервые в автобиографической форме, от первого лица, и к названию «Хаджи-Мурат» дан подзаголовок: «Воспоминания старого военного». Эта редакция настолько отличается от всех предыдущих, что должна считаться восьмою редакцией повести.

Продолжая работу над этой редакцией, Толстой сначала внес ряд добавлений о прошлом Хаджи-Мурата и включил сцену стычки Хаджи-Мурата с Арслан-ханом, затем сделал ряд исправлений и изменил построение произведения. История прошлой жизни Хаджи-Мурата, которой Толстой считал необходимым дополнить общую характеристику героя, теперь следует не за сценой прощального вечера у Ивана Матвеевича, а тотчас за сценой приезда Хаджи-Мурата в крепость. Далее Толстой исправил несколько страниц, сделал много новых

вставок и присоединил из седьмой редакции рассказ Каменева о бегстве и гибели Хаджи-Мурата.

Во всех этих шести вариантах рассказчик изображен таким, каким якобы он был 50 лет назад. Подробно сообщается о его впечатлениях, связанных с Кавказом и личностью Хаджи-Мурата. Впервые появляется намек на любовное отношение к Хаджи-Мурату Марьи Дмитриевны.

В книге В. И. Немировича-Данченко «Из прошлого» имеется воспоминание, относящееся к начальному периоду работы Толстого над восьмой редакцией. Немирович-Данченко, незадолго до того познакомившийся с Толстым, читал ему вслух, и чтение его понравилось Толстому. После этого С. А. Толстая приезжала к нему с предложением прочесть «Хаджи-Мурата» на ее благотворительном вечере, заявив, что таково желание самого Льва Николаевича.[2447]

Но к этому концерту, назначенному на 17 марта 1901 г., Толстой не успел кончить своей работы, и вместо «Хаджи-Мурата» был прочитан неоконченный рассказ Толстого «Кто прав?».

В Дневнике 19 марта 1901 г. Толстой записал: «За всё это время ничего не написал, кроме обращения к царю и его помощникам и кое-какие изменения, и всё скверные, в Хаджи Мурате, за которого взялся не по желанию».[2448]

В Дневнике 31 марта записано: «Хотел кончить Хаджи Мурата... но не работалось».[2449] И работа была прервана. 22 апреля 1901 г. Толстой, перечисляя в Дневнике свои занятия, напоминает себе, что «нужно... окончить Хаджи Мурата».[2450] В первой половине мая 1901 г. он и попытался возобновить работу.

7 мая 1901 г. в Дневнике записано: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, которую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи Мурате и Марье Дмитриевне».[2451]

14 мая 1901 г. П. А. Буланже сообщал В. Г. Черткову: «Из работ в последнее время Л. Н. всё занят «Хаджи-Муратом».

А. Б. Гольденвейзер в своих записках отметил 20 июня 1901 г., что Лев Николаевич «работает... над «Хаджи-Муратом» и просит найти ему в Москве какую-то книжку с портретом Хаджи-Мурата».

22 июня 1901 г. Буланже извещал Черткова, что Толстой пишет предисловие к русскому переводу романа фон Поленца «Крестьянин» и «занят Хаджи-Муратом». Это указание является последним свидетельством о работе Толстого над восьмой редакцией, длившейся с перерывами в течение пяти месяцев.

Восьмая редакция — совершенно законченное произведение, состоящее из 6 глав и представляющее небольшой рассказ.

Гл. I — Приезд Хаджи-Мурата в крепость к Ивану Матвеевичу.

Гл. II — Прощальный вечер у Ивана Матвеевича накануне отъезда Хаджи-Мурата; рассказ Хаджи-Мурата о своем прошлом.

Гл. III — Стычка Хаджи-Мурата с Арслан-ханом.

Гл. IV — Отъезд Хаджи-Мурата из крепости. Разговор с Марьей Дмитриевной.

Гл. V — Привоз Каменевым головы Хаджи-Мурата.

Гл. VI — Рассказ Каменева о гибели Хаджи-Мурата.

Сцена с Арслан-ханом свидетельствует, что Толстой пересмотрел теперь свои кавказские дневники, так как лишь в его записи от 2 марта 1852 г. упоминается об Арслан-хане и его стычке с Хаджи-Муратом (в источниках об этом не говорится).

VI

В конце 1901 г. Толстой тяжело заболел. Болезнь тянулась весь август. Врачи настаивали на переезде в Крым; 8 сентября 1901 г. Толстой приехал в Гаспру, близ Ялты. В периоды улучшения его физического состояния он вновь стал обращаться мыслями к «Хаджи-Мурату». С. Я. Елпатьевский,

лечивший его в это время, рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Не знаю, писал ли он тогда «Хаджи-Мурата», но, очевидно, много думал о нем. Он часто говорил мне о «Хаджи-Мурате» и когда узнал, что я был на войне на Кавказе (в турецкую кампанию), расспрашивал, слышал ли я о нем, сохраняются ли еще там воспоминания. К сожалению, я только смутно помнил рассказы старых кавказских офицеров о том, как Хаджи-Мурат, кажется, похитил княгиню Чавчавадзе и еще какую-то другую даму и как рыцарски обращался с ними, да еще смутно мелькало воспоминание о какой-то книжке «Хаджи-Мурат». Книжкой этой Л. Н. особенно интересовался, говорил, что он искал ее и не мог найти, и даже просил меня помочь разыскать ему».[2452]

Единственной книгой «Хаджи-Мурат» могла быть повесть Мордовцева «Кавказский герой», которую Толстой впоследствии и прочел.

12 января 1902 г., оправившись от болезни, Толстой записал в «календарном блокноте»: «Пересмотрел Хаджи Мурата».[2453]

В Крыму Толстой совсем не писал «Хаджи-Мурата», что устанавливается изучением его Дневников, писем и рукописей, поэтому он мог пересмотреть повесть только по старым вариантам, привезенным 4 месяца назад из Ясной Поляны — с явной целью возобновить при случае работу.

По прошествии полутора месяцев после приведенной записи о пересмотре рукописей, составляя список своих предстоящих работ, Толстой включил в него и «Хаджи-Мурата».[2454]

18 марта 1902 г. Толстой сообщал Буланже: «Лежу и ничего не делаю и совершенно неожиданно для меня всё обдумываю самую неинтересную для меня вещь Хаджи Мурата».[2455]

В связи с новым обдумыванием «Хаджи-Мурата» Толстой возобновил изучение источников. В письме к Т. Л. Сухотиной от 22 апреля 1902 г.

Ю. И. Игумнова сообщала: «Сейчас вечер, и мы все сидим в гостиной. Колечка[2456] читает о Шамиле» — книгу Вердеревского «Плен у Шамиля», очевидно привезенную из Ясной Поляны.

Будучи в Крыму, Толстой дважды посетил Алупку.

20 июня 1902 г., через две недели после выздоровления от брюшного тифа, Толстой ездил в третий раз в Алупку. Буланже рассказывает: «Мы отправились в Алупку и там осматривали дворец кн. Воронцова. Л. Н. с особенным вниманием останавливался на портретах Воронцовых и рассказывал разные подробности о Воронцовых, в особенности о жене Михаила Семеновича — гр. Браницкой. Его острый взгляд как бы запечатлевал все штрихи и оттенки глядевших из рам портретов лиц».[2457]

27 июня 1902 г. Толстой вернулся из Крыма в Ясную Поляну. 29 июня он писал брату Сергею Николаевичу: «Я теперь пишу обращение к рабочему народу... Когда кончу, хочу кончить рассказ о Хаджи Мурате. Это баловство и глупость, но начато и хочется кончить».

VII

22 июня 1902 г. Толстой закончил статью «Обращение к рабочему народу» и сейчас же после этого, как отметил потом в Дневнике,[2458] приступил к работе над «Хаджи-Муратом». 24 июля 1902 г. записано в «Настольном календаре»: «Пересмотрел всего Хаджи Мурата». Пересмотр рукописи должен был потребовать много времени, так как рукописей за предыдущие годы по «Хаджи-Мурату» накопилось большое количество. 25 июля в «Настольном календаре» отмечено: «Начал Хаджи Мурата с его рождения». В этот же день Толстой вторично перечитал прежние варианты и записал: «Пересмотрел старое. Много годного».

Для описания жизни Хаджи-Мурата Толстой использовал выкинутую из третьей редакции (1897) главу II, начинавшуюся словами: «Хаджи-Мурат родился в 1812 г. в небольшом аварском семействе Гаджиевых». Толстой решил дать в начале произведения биографию героя, а потом перейти к последним трагическим событиям его жизни. К отрывку из третьей редакции был присоединен отрывок из редакции шестой (1898), в котором

говорится о любви матери к Хаджи-Мурату и о его детских чувствах к ней. Была написана сцена: знакомство Хаджи-Мурата с мюридами. Сделана вставка о расправах царских властей с горцами. Вставка выросла в большую обличительную главу, для которой материалом послужили частично факты, почерпнутые из книги Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка» (т. II, стр. 327—332) и из «Записок Н. Н. Муравьева» («Русский архив», 1899, кн. I, стр. 575). Толстой много и упорно работал над этой главою, но в окончательный текст она не вошла. Затем дано описание бегства Хаджи-Мурата в горы (по «Воспоминаниям муталима»). Хаджи-Мурата ловят. Красавица Салтанет уговаривает ханшу простить его. Его берут в ханский дворец. Жизнь в роскоши и увеселениях в ханском дворце отвлекает Хаджи-Мурата от намерения стать мюридом. Хаджи-Мурат вместе с аварскими ханами признает себя подвластным русским. Гамзат-бек грозит Аварии, Хаджи-Мурат едет в Тифлис с Омар-ханом просить у русских помощи. Гамзат-бек захватывает Аварию. Хаджи-Мурат со своим братом убивает его. Народ избирает Хаджи-Мурата правителем, но по ложному доносу его арестовывают, ведут на допрос, он бросается с обрыва, разбивается, выздоравливает и присоединяется к Шамилю.

Использование в этой девятой редакции повести нескольких печатных источников указывает на новое их внимательное изучение. Произведение быстро разрасталось. Толстой работал с большим увлечением. 27 июля 1902 г. в «Настольном календаре» записано: «Работаю охотно Хаджи Мурата — всё сначала».[2459] Работа шла успешно, в течение недели было написано около десяти глав. Затем темп работы стал спадать. Толстой отмечает 29 июля: «Пишу неохотно»; 30 июля: «Пишу неохотно — стыдно».[2460]

А.Б. Гольденвейзер, находившийся в эти дни в Ясной Поляне, рассказывает: «По поводу того, что Лев Николаевич пишет сейчас «Хаджи-Мурата», он сказал: «Я помню, давно уже мне кто-то подарил очень удобный дорожный подсвечник. Когда я показал этот подсвечник яснополянскому столяру, он посмотрел, потом вздохнул и сказал: «Это всё — младость». Вот

и эта моя теперь работа — всё младость!»[2461] В письме к брату Сергею Николаевичу от 30 июля 1902 г. Толстой писал: «Я теперь занят писанием кавказской истории, и это мне стыдно. И, кажется, брошу».[2462]

Однако работа еще продолжалась два дня. 1 августа 1902 г. в «Настольном календаре» отмечено: «Плохо писал. Совестно писать пустяки». На другой день Толстой совсем бросил работу, как и предвидел в письме к брату. 2 августа 1902 г. в «Настольном календаре» отмечено: «Ничего не писал»; 5 августа: «Ничего не писал, обдумал Хаджи Мурата».[2463] В Дневнике Толстой записал 5 августа: с «22-го июля... писал Хаджи Мурата, то с охотой, то с неохотой и стыдом... 4-й день не пишу. Расстрялся[2464] мыслями о Хаджи-Мурате. Теперь, кажется, уяснил».[2465]

По поводу этих своих неудач в работе Толстой говорил Х. Н. Абрикосову в начале августа 1902 г.: «Перечел все варианты повести, всё, что было раньше написано, и всё, что написал теперь. Вел, вел и запутался... и не знаю, что лучше: то ли, что написано раньше было, или то, что написал теперь. Раньше повесть была написана как бы автобиография, теперь написана объективно. И та и другая имеют свои преимущества» (письмо Х. Н. Абрикосова В. Г. Черткову от 12 августа 1902 г.).

В течение четырех дней, со 2 по 5 августа 1902 г., Толстой не писал, но был занят исключительно «уяснением» работы, перемещая в своем воображении в разнообразных комбинациях лица, сцены, намечая план повести.

VIII

Наряду с «уяснением», Толстой вновь обратился к старым рукописям «Хаджи-Мурата» как к материалам для новой работы. Он отобрал варианты, переписанные еще в 1899 г. его дочерью Татьяной Львовной на пишущей машинке в одну общую тетрадь. В тетради было 137 листов. Она заключала:

1) Пролог из редакции первой (1896).

2) Редакцию вторую (1897) полностью.

3) Редакцию третью (1897) полностью.

4) Выпущенную гл. II редакции третьей (1897).

5) Часть текста редакции первой от слов: «Вспоминал он про бал, на котором присутствовал» до слов: «Сафедин вздрогнул и злобно улыбнулся, оскаля зубы. — Всё будет. — Завтра».

6) Одну страницу из редакции шестой (1898) от слов: «Два раза в своей жизни Хаджи-Мурат изменял хазавату и вот теперь изменил ему третий раз» до слов: «И теперь должно было разрешиться тем же».

7) Часть редакции первой (копия, рук. № 2) — начало: «он представил себе то, что было им пережито»; конец: «Ана, Ана, —проговорил Хаджи-Мурат, упал навзничь и уже не двинулся».

8) Прибавку к заключительной сцене первой редакции для «Хазавата» — начало: «Тогда Ахмет-хан подбежал, наступил на шею Хаджи-Мурата»; конец: «И он погиб».

6 августа 1902 г. была начата новая работа (редакция десятая).

В «Настольном календаре» в этот день записано: «Писал с начала Хаджи Мурата».[2466] Из главы II редакции второй (1897), помещенной в машинописной копии, вынуты листы, начинавшиеся словами: «Хаджи Мурат был один из искуснейших и храбрейших и потому опаснейших для русских наибов Шамиля», и по ним развит рассказ о прежних подвигах Хаджи-Мурата, т. е. то, с чего Толстой уже не раз начинал. И опять, как прежде, это начало его не удовлетворило. Он откидывает его и пишет новое начало. 7 августа 1902 г. отмечено: «Писал опять с начала Хаджи-Мурата».[2467]

Теперь Толстой использовал маленький набросок из редакции второй, в котором описывается вечер в ауле.

Этой сцене Толстой предпослал небольшое вступление, начинающееся словами: «Это было на Кавказе, в 50-х годах...» Новое начало заключалось словами: «В эту самую ночь, когда Хаджи-Мурат подъезжал к аулу, в крепости...» На этом фраза обрывалась для соединения со сценой выхода солдат в секрет (гл. I редакции второй, 1897 г.).

Рукопись от 7 августа почти без помарок, но Толстой остался не удовлетворен ею. 8 августа 1902 г. он занес в «Настольный календарь»: «Писал плохо».[2468]

С. А. Толстая 9 августа 1902 г. записала в дневнике: «Он пишет повесть «Хаджи-Мурат» и сегодня, видно, плохо работалось. Он долго раскладывал пасьянс — признак, что усиленно работает мысль и не уясняется то, что нужно».[2469]

9 августа Толстой записал в «Настольном календаре»: «Почти не работал. Решил не печатать»,[2470] имея в виду «Хаджи-Мурата».

Несмотря на решение «не печатать», 10 августа 1902 г. Толстой принялся за работу с удвоенной энергией. Работа пошла настолько удачно, что он впервые после большого перерыва с удовлетворением отметил в «Настольном календаре»: «Писал порядочно».[2471]

Написанная 7 августа 1902 г. вступительная часть о прошлом Хаджи-Мурата расширяется. Она начинается словами: «Героем этой повести был один из наибов (генерал-губернаторов) Шамиля...», переделывается семь раз и становится I главой произведения. Главой II стала сцена в секрете, главой III — въезд Хаджи-Мурата в аул. Затем производится перестановка. Сцена въезда в аул делается главой II, а в секрете — главой III. Затем I вступительная глава — о прошлом Хаджи-Мурата, как ни трудно она далась Толстому, совсем выкидывается. Толстой отказался после многочисленных попыток дать общую характеристику Хаджи-Мурата посредством рассказа о прошлой жизни героя. Главою I окончательно становится въезд Хаджи-Мурата в аул. Эта завязка, наконец, удовлетворила Толстого.

Для главы I Толстой широко использовал горский фольклор из «Сборника сведений о кавказских горцах». Так, Хаджи-Мурат спрашивает старика-чеченца: «Что нового?»; старик отвечает: «Хорошего нового ничего нет... Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать...» Это измененная горская поговорка: «Каждую ночь зайцы совещаются о том, как им

прогнать орлов. К рассвету разбегаются, еще не решив дела».[2472]

Старик говорит: «На прошлой неделе русские собаки у Мичицких сено сожгли, раздерись их лицо...» Это видоизмененное горское проклятие: «Сдерись твое лицо».[2473]

Прерывая словоохотливого Бату, Хаджи-Мурат говорит: «Веревка хороша длинная, а речь короткая». Это видоизмененная горская поговорка: «Хорошо слово короткое, а веревка длинная».[2474]

В конце главы I Хаджи-Мурат благодарит кунака: «Да получишь ты радость и жизнь». Это переделанное горское приветствие: «Да дадутся тебе сердечная радость и жизнь».[2475]

Толстой приводит «обычное» горское приветствие «селям-алейкум» с ответным «алейкум-селям», а также другие, употреблявшиеся редко, обычно при дружелюбном отношении к человеку: жена Садо говорит Хаджи-Мурату: «Приход твой к счастью». По горским обычаям, так могла бы сказать только женщина. Хаджи-Мурат ей отвечает: «Сыновья твои чтобы живы были».

В уста матери в редакции четвертой вложены слова, обращенные к Хаджи-Мурату — ребенку: «Это свет глаз моих... Это звезда, жемчужина моя». Это характерное для горского фольклора обращение матери к детям.

Жена и дочь Садо, «тихо двигаясь, устанавливали принесенное перед гостем». Слова «тихо двигаясь» отражают действительную деталь быта горцев: поведение женщины в присутствии чужих мужчин.

В главе I старик подходит к Хаджи-Мурату, сидящему на лошади, и прикасается к его стремени. Это горцы делали, встречая почетных гостей.

В главе VI Хаджи-Мурат, подаривший сыну Марьи Васильевны кинжал, говорит: «Таков их закон, что всё, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку». Это же он говорит в гл. XX, даря Марье Дмитриевне бурку. Напоминание русским «кунакам» этого «закона» было обычно у горцев.

Глубокое знание горцев, их нравов и быта основано у Толстого на личных наблюдениях в молодости и на

пристальном, несколько раз повторенном, изучении печатных материалов. Об обстоятельном изучении им «Сборника сведений о кавказских горцах» в 1902 г. можно судить по запискам, вложенным в каждый том этого издания, на которых по его поручению рукой Ю. И. Игумновой обозначены десятки страниц.

Глава I переделывалась Толстым одиннадцать раз. Вот варианты только двух начальных фраз этой главы:

1) Было раннее осеннее утро...

Был ноябрьский холодный, но тихий вечер...

Был ясный ноябрьский вечер...

Был ноябрьский без снега светлый, холодный, ясный, тихий вечер.

Был холодный, ясный ноябрьский вечер.

2) По крутой каменной дороге... подъезжал Хаджи-Мурат с молодым аварцем Сафедином.

Хаджи-Мурат с Сафедином верхами на измученных лошадях въезжали в аул по крутой каменистой дороге.

Хаджи-Мурат с Сафедином въезжал в аул. Дорога шла по крутому каменному подъему.

Перед I главой Толстой помещает «Пролог», как и во всех предыдущих редакциях. Пролог удовлетворял Толстого с момента его написания в 1896 г. Он сохранял его на протяжении всей своей работы, внося лишь стилистические поправки. В начальных фразах пролога: «Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года» — в течение всех шести лет работы не переставлено ни одно слово.

В первых вариантах главы II (выход солдат в секрет) фигурировало три солдата: Панов, Кондицкий (он же Кондаков) и Никитин. В дальнейшем ряд черт Кондицкого и Никитина соединяется в образе Авдеева.

В основу главы III — вечер у молодого Воронцова — положен текст главы II редакции второй.

Глава эта так же, как предыдущие две и как все последующие, не сразу заняла свое положение, а

перекладывалась с места на место. Некоторые черновые страницы «Хаджи-Мурата» пронумерованы до пятнадцати раз, что обозначает такое же количество их перемещений. По стольку же раз перемещались целые части произведения и отдельные главы. Композиция создавалась в основном в процессе работы, а не по предварительному плану и конспектам, которые были нужны только в первое время «уяснения» сюжета.

Материалом для главы IV — Хаджи-Мурат ночью в ауле перед выходом к русским — послужила редакция вторая и последняя часть «начала», написанного 7 августа 1902 г. Толстой в этой главе много работал над образом шурина Хаджи-Мурата. В первом варианте он не искренен, внешне рад Хаджи-Мурату, а на самом деле желает, чтобы Хаджи-Мурат скорее уехал, затем он постепенно приобретает черты, которыми наделен в последней редакции и которые напоминают «кунака» Толстого в молодости Садо, чьим именем он и назван. Толстой писал о своем кунаке Т. А. Ергольской 6 января 1852 г.: «Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя разным опасностям для меня; у них это считается за ничто — это стало привычкой и удовольствием».[2476] Таков и Садо в «Хаджи-Мурате».

Для главы V взят текст главы III редакции второй. По машинописной копии сделаны многочисленные изменения. Первоначально в главу должна была войти, помимо сцены рубки леса и падения чинары, также сцена встречи Полторацкого с молодым Воронцовым перед выходом Хаджи-Мурата. Но затем она соединена со сценой выхода Хаджи-Мурата, что составило особую, VI главу. В главу VI вводится барон Фрезе, товарищ Полторацкого, разжалованный офицер, ради которого Полторацкий устраивает стычку с горцами, чтобы дать Фрезе возможность отличиться. Прототипом Фрезе послужил барон Розен, тоже, как Фрезе, бывший кавалергард, разжалованный и сосланный на Кавказ. О нем рассказано в «Воспоминаниях» Полторацкого, но Полторацкий не говорит, что он устраивал для своего товарища сражение. На это, возможно, навели Толстого следующие строки Зиссермана: «Один раз была снаряжена

маленькая экспедиция в ближайший неприятельский аул... Сочинена она была собственно для того, чтобы предоставить приехавшему в отряд адъютанту главнокомандующего, Клавдию Ермолову (сыну Алексея Петровича), случайно получить награду...»[2477]

В редакции второй солдат Никитин погиб при падении чинары, в главе VI — от случайной пули горцев, преследовавших Хаджи-Мурата. Теперь Никитин становится Авдеевым. Вводятся 5 мюридов Хаджи-Мурата: 1) Балта, 2) Муртазил, 3) Курбан-Магомет, «знаменитый бегун, прыгун, стрелок и вместе с тем ученый человек, оскорбленный Шамилем и ненавидевший его, житель Кази-Кумыцкого ханства», 4) Сафедин и 5) чеченец Гомчаго. Имена эти взяты из «Сборника сведений о кавказских горцах». Глава перерабатывается пять раз и соединяется с предыдущей. Вследствие упразднения главы VI следующая глава VII должна была стать VI, но переписчиком не было сделано соответствующего исправления, почему все последующие главы пронумерованы на один номер больше, чем следовало. В последующем описании мы сохраняем эту неисправленную нумерацию, так как Толстой ошибки не заметил и в дальнейшей работе обозначал главы согласно этой ошибочной нумерации.

Для главы VII — прием Марьей Васильевной Хаджи-Мурата и столкновение Воронцова-сына с Меллер-Закомельским — взят текст главы III редакции второй. Глава переделывалась два раза.

Глава VIII — смерть Авдеева — написана впервые и переделывалась три раза.

Глава IX — семейные Авдеева на молотьбе — написана впервые, в один прием и в дальнейшем не подвергалась исправлению.

10 августа 1902 г. в Ясную Поляну приехал В. В. Стасов. Сохранилась записка, в этот день переданная ему Толстым, с перечислением материалов, которые Толстой просил Стасова выслать ему из Публичной библиотеки:

«1) Историю Николая.

2) Камер-фурьерский журнал.

3) Биографию Воронцова.

(Всё в 1852 г.)

4) Если можно, донесение письмо Воронцова Чернышеву (по-французски).

5) Карту подробную Чечни и Дагестана».

10 августа 1902 г. глава о Николае I еще не была написана, но, как видно из данного списка, Толстой уже намеревался включить ее в повесть. Вероятно, она была намечена при обдумывании общего содержания повести еще в первых числах августа 1902 г.

По поводу материалов для главы о Николае I Толстой обращался и к другим лицам: 13 августа 1902 г. П. А. Буланже писал Толстому: «Надеюсь, вы получили книги из Румянцевского музея, которые я, для ускорения, отправил вам через начальника станции. Гоф-курьерских журналов нет за то время, которое вас интересует, они есть только до 1814 г.».

О ходе своей работы над «Хаджи-Муратом» Толстой делал краткие отметки в «Настольном календаре»: 14 августа: «Немного дурно писал»; 15 августа: «Писал: недурно, но мало»; 16 августа: «Писал порядочно»; 17 августа: «Плохо работал. Опять расстрясся»; 19 августа: «Писал плохо и мало»; 20 августа: «Очень дурно писал».[2478]

В основу главы X — М. С. Воронцов, наместник Кавказа — положен текст редакции третьей, с введением рассказа генерала о «сухарной экспедиции». Первоначально этот генерал также наполняет свою речь словечком «как», подобно генералу Козловскому в главе XXII повести.

Образ Воронцова в процессе работы значительно изменялся: сначала он был более положительным, но потом постепенно наделялся отрицательными чертами.

Глава XI — прием Воронцовым Хаджи-Мурата — новая глава. К тексту присоединена сцена посещения Хаджи-Муратом тифлисской оперы, перенесенная из третьей редакции. Исправлялась всего один раз.

Глава XII — рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своем прошлом. В основу положен текст редакции третьей, подвергшийся большой переработке. Написана с

использованием материалов Зиссермана в его книге «История 80-го пехотного Кабардинского полка» и «Записки Лорис-Меликова». Толстой много и упорно работал над языком Хаджи-Мурата, для которого не имел образца, так как речь Хаджи-Мурата в «Записке Лорис-Меликова» передана канцелярским языком времени Николая I.

Толстой работал не только над тем, чтобы язык Хаджи-Мурата был возможно лаконичнее и ярче, но и над тем, чтобы не заключал в себе ничего несвойственного его образу и был проникнут спокойствием и достоинством.

После тщательной работы Толстой настолько воссоздал своеобразие языка Хаджи-Мурата, что в последних рукописях передает его речь, не исправляя ее в дальнейшем.

Признав неудачным рассказ о жизни героя в третьем лице, от автора, не поместив его в начале повести, Толстой продолжал считать необходимым сохранение его для характеристики героя и перенес в середину повести, где Хаджи-Мурат рассказывает о себе Лорис-Меликову.

Глава XIII первоначально заключала вторую часть рассказа Хаджи-Мурата, теперь — написанную вновь беседу Лорис-Меликова с нукерами. Исправлялась один раз.

Глава XIV содержит окончание рассказа Хаджи-Мурата. В основу положен текст третьей редакции.

Глава XV содержит письмо Воронцова к Чернышеву, полностью перенесенное из редакции третьей. Сначала оно предшествовало рассказу Хаджи-Мурата о своем прошлом, затем помещено после этого рассказа. Не найдя оригинала, писанного по-французски,[2479] Толстой вынужден был воспользоваться переводом письма, помещенным в книге Зиссермана (приведено в повести без всяких изменений).

Глава XVI — Николай I — написана вновь. Переделывалась три раза. Работая над ней, 20 августа 1902 г. Толстой обратился с письмом к вел. кн. Николаю Михайловичу, в котором просил указать дополнительные материалы о Николае I: «Я занят окончанием давно начатого и всё разрастающегося одного эпизода из кавказской истории 1851—52 годов. Не можете ли вы помочь мне, указав, где я мог бы найти переписку Николая I и

Чернышева с Воронцовым за эти годы, так же как и надписи Николая на докладах и донесениях, касающихся Кавказа этих годов».[2480] Отложив работу над главой о Николае I до получения материалов, Толстой перешел к следующим главам, и работа опять пошла успешно.

В «Настольном календаре» от 21 августа 1902 г. читаем: «Очень много писал».[2481] В письме от 23 августа 1902 г. О. К. Толстая сообщала А. К. Чертковой: «Лев Николаевич работал до 3-х часов». 25 августа в «Настольном календаре» отмечено: «Плохо работал»; 26 августа: «Хорошо писал»; 27 августа: «Писал очень хорошо две главы»; 28 августа: «Порядочно писал».[2482]

После главы о Николае I следует вновь написанная глава XVII — выход отряда в набег, — для которой была использована редакция восьмая, называвшаяся «Воспоминания старого военного». Введен Бутлер, который сначала был Гороховым, а до Горохова — автором «Воспоминаний старого военного». О Бутлере сказано, что он был «перешедший из гвардии высокий красивый офицер» и «что он проигрался в карты в Петербурге». Таков и явившийся его прототипом Ф. Ф. Кутлер, описанный в «Воспоминаниях» Полторацкого и лично знакомый Толстому.[2483]

Однако образ Бутлера, каким он дан в окончательном тексте, был создан не сразу. Вначале Бутлер был наделен лишь положительными чертами. Отношения его к Марье Дмитриевне более чисты и поэтичны. Толстой сравнивает их с отношением Гринева к Маше в «Капитанской дочке» Пушкина, но такой образ был бы не типичен для кавказской офицерской среды, к которой принадлежал Бутлер, и Толстой, следуя своей реалистической манере, постепенно снижает образ Бутлера.

Материал для начала XVII главы Толстой мог найти в книге Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка» (т. III, стр. 79), где приводится рассказ офицера Власова о походе его отряда.

При отделке XVII главы Толстой вставил деталь, не имевшуюся ни в одном из ее предыдущих вариантов: «Ротный мохнатый, серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера...»

Глава XVIII — разорение аула — новая глава, написана по личным воспоминаниям. В Дневнике Толстого от 28 февраля 1852 г.[2484] отмечено его участие «в делах 17 и 19 числа», а в его формулярном списке: «17-го... истребление аулов... 25-го... лагерь у разоренного аула».[2485] Глава написана в один прием, без помарок. Перечитывая впоследствии главу, Толстой усилил текст вставкой: «желание истребления», «как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

В основу главы XIX — приезд Хаджи-Мурата в крепость к Ивану Матвеевичу и Марье Дмитриевне — положен текст первых двух глав седьмой редакции. Переделывалась она два раза.

Глава XX — Шамиль — новая глава. Сыну Хаджи-Мурата, во всех прежних вариантах называвшемуся Вали-Магома, дано имя Юсуф. Глава исправлялась четыре раза. Главным материалом для нее послужила книга Е. А. Вердеревского «Плен у Шамиля».

Гл. XXI — отъезд Хаджи-Мурата из крепости. В основу положен текст главы III редакции восьмой.

24 августа 1902 г. Толстой получил письмо от В. В. Стасова о том, что сочинение Шильдера о Николае I, о котором он, очевидно, рассказывал Толстому во время своего пребывания в Ясной Поляне, еще не издано. Выписку же из «Камер-фурьерских журналов», а также «Воронцовский архив», биографию Воронцова и его переписку и кавказские карты Стасов обещал прислать в ближайшее время.

29 августа 1902 г. Толстой отметил в «Настольном календаре»: «Писал мало. Поправлял начало».[2486] Толстой был занят в этот день главным образом исправлением начала произведения. 1 сентября 1902 г. записано: «Вчера поправил 1-ю главу. Нынче поправлял одну главу».[2487]

При исправлении внимание было обращено не столько на добавление художественных деталей, сколько на сокращение текста от излишних подробностей. Стилистическая правка свидетельствует о стремлении Толстого к предельному лаконизму и четкости фразы.

Для предстоящей работы над отложенной главой о Николае I Толстой решил, не дожидаясь ответа от вел. кн. Николая Михайловича, обратиться по вопросу о материалах и к другим лицам, в том числе через Буланже к находившемуся в Москве грузинскому писателю И. П. Накашидзе. Последний 30 августа 1902 г. писал Толстому: «Был я в Румянцевском музее, и там мы вместе с заведывающим библиотекой пересматривали всё, что есть о времени царствования Николая I и лично о нем. Все мелочи, разбросанные по разным книжкам «Русской старины», «Русского архива», «Исторического вестника» и т. д. Единственно цельный свод, это сочинение Lacroix, которое я вам прислал, к сожалению не пригодившееся вам. Мне посоветовали в Румянцевском музее, чтобы мы обратились в Петербургскую публичную библиотеку, что там может найтись больше материала, чем у них». Тогда же Накашидзе по поручению Толстого посетил в Москве редактора журнала «Русский архив» П. И. Бартенева, который в письме от 31 августа советовал Толстому «поглядеть в «Русской старине» «Записки барона Корфа», в «Русском архиве» «Письма Булгакова» и в особенности в большой биографии Паскевича».

Для главы XXII — проводы генерала Козловского — послужил материалом рассказ Полторацкого о прощальном обеде, данном в честь этого генерала. В главе говорится о Барятинском, с которым Толстой встречался в молодости. Упоминания об отношениях Барятинского с Марьей Васильевной основаны на толках, распространенных в 1850-х гг.[2488] и, конечно, известных еще тогда Толстому.

В основу главы XXIII — Хаджи-Мурат в Нухе— положены тексты: 1) отвергнутой главы II редакции третьей от слов: «8 апреля 1852 г. вечером Хаджи-Мурат» до слов: «больше всего томила его»; 2) «Репья» от слов: «Вспоминал он про бал, на котором он присутствовал» до слов: «Сафедин вздрогнул и злобно улыбнулся, оскаля зубы. — Всё будет. Завтра»; 3) «Репья» от слов: «то ему живо представлялась его жена» до слов: «И какой ряд неудач». Песню о плененном соколе Толстой заимствовал из очерков своего брата Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе».[2489]

31 августа 1902 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Я здоров и всё пишу Хаджи Мурата — балуюсь. Довел до того же, до чего доведены Отец Сергий и др., но хочется отделывать. А многое требуется более важное, как мне кажется».

В первых числах сентября Толстой получил от В. В. Стасова обещанные книги о Николае I и его времени. С. А. Толстая писала Стасову 6 сентября: «Лев Николаевич получил книги и очень вас благодарит. Пишет он своего «Хаджи-Мурата» с большой энергией и усидчивостью».

10 сентября М. Л. Оболенская сообщала А. Б. Гольденвейзеру: «Хаджи-Мурат» всё растет, всё лучшает и очень радует. Красоты удивительные».

В основу главы XXIV — Хаджи-Мурат ночью перед побегом — положены тексты: 1) из редакции шестой — начало: «Два раза в своей жизни Хаджи-Мурат изменял хазавату», конец: «И теперь должно было разрешиться тем же»; из «Репья» от слов: «В ночь его отъезда» до слов: «и лестные слова старого князя»; 3) песни о Хамзате из «Сборника сведений о кавказских горцах»; 4) песня «Высохнет земля на могиле моей» из «Сборника сведений о кавказских горцах».

В основу главы XXV — привоз Каменевым головы Хаджи-Мурата — положен текст главы V редакции восьмой. Сцена привоза головы Хаджи-Мурата, еще до описания его смерти, впервые приведенная в «Репье» и повторенная в седьмой и восьмой редакциях, сохраняется. Глава переделывалась четыре раза.

11 сентября в «Настольном календаре» отмечено: «Писал конец — порядочно».[2490] Это была XXVI глава, в основу которой положена последняя часть «Репья» — от слов: «было разрешено Хаджи-Мурату кататься верхом» кончая словами: «Ана! Ана! — проговорил Хаджи-Мурат», и пять строк из позднейшей прибавки к «Репью». Переделывалась шесть раз. Особенно упорно Толстой работал над описанием подробностей предсмертных минут Хаджи-Мурата. Основным материалом для этой главы послужила книга Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе», ч. II, стр. 87—96.

11 же сентября 1902 г. Толстой написал четыре письма в связи с своей работой над «Хаджи-Муратом»: два письма В. В. Стасову, одно вел. кн. Николаю Михайловичу, одно П. И. Бартеневу. В первом письме Стасову, написанном утром, Толстой благодарил его за присланные книги и просил выслать еще X том «Актов кавказской археографической комиссии»,[2491] во втором письме к нему, написанном вечером, просил не высылать X тома, так как он получит этот том от вел. кн. Николая Михайловича, от которого в этот же день было письмо о собирании им в Тифлисе нужных Толстому сведений при посредстве лучшего знатока кавказской старины и архивов Е. А. Вайденбаума, готового найти всё необходимое, при условии точного указания, по каким именно докладам и за какие годы требуются Толстому резолюции Николая I. Толстой тотчас отвечал великому князю: «Очень благодарен вам, дорогой Николай Михайлович, за сообщенные мне сведения. Это больше того, что я ожидал, и я буду очень, очень благодарен вам, если вы найдете возможным дать мне на время (короткое) доклады, донесения и резолюции государя, относящиеся к управлению Кавказом со времени назначения Воронцова и до 1852 года, а также и X том «Актов кавказской военно-архивной комиссии». Я бы бережно получил, прочел и возвратил их».[2492] П. И. Бартеневу 11 сентября 1902 г. Толстой писал: «Спасибо за письмецо, любезный Петр Иванович. Мне нужен Ник. Павл. 1852 г. и его отношения к Воронцову во время его наместничества на Кавказе. Нет ли этого в архиве Воронцова. У меня есть письмо Воронцова к Чернышеву о Хаджи-Мурате в русском переводе, а писаны они были по французски. Где бы их достать в оригинале».[2493]

Вопреки предположению Толстого, отмеченному в «Настольном календаре» 11 сентября 1902 г. о том, что он писал «конец», работа продолжалась и после этого. 12 сентября: «писал порядочно»; 14 сентября: «писал очень хорошо». Удовлетворение работой теперь всё время не оставляет Толстого. 15 сентября: «Писал порядочно»; 18 сентября: «Писал порядочно. Кончил»; 19 сентября: «Писал порядочно.

Кончаю».[2494] 21 сентября Толстой проставил на рукописи дату окончания произведения: «21 сентября 1902 г. Ясн. Пол.».

В этот же день Н. Л. Оболенский сообщал В. Г. Черткову: «Лев Николаевич говорит, что окончил «Хаджи-Мурата», и просит нас заняться перепиской его, внимательно замечая то, что еще требует исправления».

Несмотря на то, что на рукописи уже стояла дата окончания, работа не приостановилась. В «Настольном календаре» 22 сентября 1902 г. отмечено: «поправлял Хаджи Мурата».[2495] 22-го же сентября 1902 г. Ясную Поляну посетил П. А. Сергеенко. В его дневнике записано: «Рассказывает, что кончил сегодня «Хаджи-Мурата». Я говорю: «Вы, конечно, говорите им что-нибудь?» — «Нет, представьте, меня увлекла чисто художественная сторона». И, вспоминая что-то в своем «Хаджи-Мурате», просит меня сказать в Москве редактору «Русского архива» Бартеневу, чтобы прислал ему старые №№ журнала, где есть о Ермолове и Воронцове. В «Хаджи-Мурате» выставлены Воронцов и Николай I. Эти главы только и могут представить затруднения для напечатания в России... Как он заботится о материалах для «Хаджи-Мурата». В то время П. А. Сергеенко нового произведения Толстого еще не читал, так что соображение о «затруднении» напечатания глав о Николае высказано ему Толстым и свидетельствует, что решение Толстого не опубликовывать повесть при жизни тогда несколько поколебалось.

Считая работу законченной, Толстой, однако, еще 23 сентября 1902 г. отметил в Дневнике: «Всё поправлял Хаджи Мурата».[2496] Это — последняя дата работы над повестью, длившейся 49 дней (с 6 августа по 23 сентября). В этот период Толстой был настолько поглощен ею, что даже не вел Дневника, о чем говорит в записи 20 сентября 1902 г.: «Полтора месяца не писал. Всё время писал Хаджи Мурата».[2497]

Август — сентябрь 1902 г. — наиболее напряженный и плодотворный период работы Толстого над «Хаджи-Муратом».

IX

Бартенев в письме от 18 сентября 1902 г. писал Толстому, что материалами о Николае I могла бы служить переписка Воронцова с Ермоловым, напечатанная в «Русском архиве» за 1888 и 1890 гг. Толстой 24 сентября 1902 г. отвечал, что «Русского архива» 1888 и 1890 гг. у него нет, и просил прислать. «А что же вы не ответите на вопрос о переименовании государственных крестьян в удельные?»[2498] Об этом Толстой, очевидно, запрашивал Бартенева через И. П. Накашидзе еще в августе 1902 г. История обращения Николаем I нескольких тысяч государственных крестьян в личную собственность крайне занимала Толстого как яркий штрих к характеристике царя. Об этом есть упоминания во всех вариантах главы о Николае. Но Бартенев не дал Толстому удовлетворительной справки, и Толстой ограничился лишь указанием на это мероприятие Николая I.

24 сентября 1902 г. Толстой писал А. Н. Дунаеву, что «отложил» на время «Хаджи-Мурата», и просил Дунаева больше не заботиться о приобретении материалов. Письмо являлось ответом на письмо Дунаева от 21 сентября 1902 г., в котором последний извинялся, что до сих пор не выслал Толстому записок Чернышева и Бенкендорфа о Николае I, так как в Москве их не оказалось ни у одного букиниста, но один его знакомый написал в Петербург, рассчитывая, что там они найдутся.

Отдав рукопись «Хаджи-Мурата» Оболенским для переписки, Толстой в Дневнике 26 сентября 1902 г. записал: «Оставил Хаджи Мурата... а как будто хочется писать художественное».[2499] Об этом же С. Т. Семенов писал Л. Ф. Анненковой: «Я был там (в Ясной Поляне) 27 сентября... Он (Толстой) очень бодр, много работает... Говорил, что его захватывает художественная полоса» (письмо от 16 октября 1902 г.). Сам Толстой писал Т. Л. Сухотиной 27 сентября 1902 г.: «Я всё это время писал Хаджи Мурата, и совестно было, а когда кончил, то захотелось продолжать художественную работу. Теперь я на распутьи и сам не знаю, за что примусь».

В начале октября 1902 г. Оболенские еще не закончили переписку рукописи, и 6 октября 1902 г. Н. Л. Оболенский

сообщал Чертковым: «Всё это время мы переписывали и приводили в окончательный вид «Хаджи-Мурата», но думаю, что он далеко еще не кончен, тем более, что Лев Николаевич сам говорит, что боится, что, получив новые материалы, опять возьмется за него».

9 октября 1902 г. Х. Н. Абрикосов писал Чертковым: «Хаджи-Мурата» он кончил и отложил в сторону, печатать при жизни не хочет. Вот бы вы ему написали и попросили бы его, чтобы он дал мне рукопись переписать для вас». Толстой в письме к В. Г. Черткову от 11 октября сообщил: «Кончил Хаджи Мурата, который в неотделанном вполне виде отложил и при жизни не буду печатать».

Поколебавшееся было решение «не печатать» теперь стало бесповоротным. Оно, однако, как и в первый раз, ни в малейшей степени не ослабило желания Толстого работать над произведением. При свидании 14 октября 1902 г. с П. А. Буланже[2500] Толстой опять хлопочет о материалах о Николае I, поручая Буланже переговорить в Москве с И. П. Накашидзе относительно выписки архивных дел из Тифлиса. В письме от 17 октября 1902 г. Накашидзе писал Толстому: «Вчера Павел Александрович передал мне вашу просьбу рекомендовать кого-нибудь в Тифлисе, кто может прислать дело из архива. Пишу вам адрес моего приятеля». И далее: «Тут мы вам разыскали двух старичков, солдат — свидетелей войны с Шамилем. Если будет нужно, напишите, и они приедут к вам». Просьба Толстого к Накашидзе относительно материалов в Тифлисе была вызвана тем, что в записке Е. А. Вайденбаума на имя вел. кн. Николая Михайловича, присланной последним Толстому с письмом от 5 октября 1902 г., сказано, что «ни начальник окружного штаба, ни директор канцелярии главноначальствующего никогда не согласятся отправить к частному человеку несколько десятков, а может быть и сотен важнейших архивных дел», содержащих доклады и донесения Воронцова с резолюциями Николая I, и что от Толстого «зависит уполномочить кого-нибудь собрать необходимые сведения».

В письме к И. П. Накашидзе от 26 октября 1902 г. Толстой благодарил за указание способа получения из Тифлиса

материалов, а «также за старых солдат».

23 октября 1902 г. в Ясной Поляне состоялось первое чтение вслух «Хаджи-Мурата», как это отмечено в дневнике С. А. Толстой[2501].

Весть об окончании «Хаджи-Мурата» быстро и широко распространилась в периодической печати, что вызвало многочисленные предложения Толстому издать повесть. Пользуясь сведениями, полученными из Ясной Поляны, газета «Русские ведомости» (№ 89 от 28 октября 1902 г.) напечатала по этому поводу заметку, в которой сказано: «Нам сообщают, что Л. Н. Толстой ни с какими книгоиздательскими фирмами по поводу издания своего последнего произведения в соглашение не входил... В близких к Л. Н. Толстому кругах господствуют слухи, что маститый писатель решил вовсе не печатать своего последнего произведения при жизни».

2 ноября 1902 г. М. Л. Оболенская писала А. Б. Гольденвейзеру: «Хаджи-Мурат» вернулся к отцу на стол». Повесть была переписана, и Толстой снова принялся за работу над ней. 5 ноября 1902 г. правка, состоявшая, главным образом, в стилистических изменениях, была закончена, что видно из даты, проставленной на рукописи рукою Ю. И. Игумновой.

10 ноября 1902 г. новая рукопись читалась вслух в Ясной Поляне приехавшим в этот день М. А. Стаховичем.

11 ноября 1902 г. Толстой писал Т. Л. Сухотиной: «Кончил подмалевку Хаджи Мурата, решив не печатать его при жизни».[2502]

В письме к вел. кн. Николаю Михайловичу от 11 ноября 1902 г. Толстой опять делает запрос о X томе «Актов кавказской археографической комиссии», всё еще им не полученном. К этому же времени относятся две следующие пометки в Записной книжке о деталях к «Хаджи-Мурату», из которых видно, что он вновь готовился к «отделке» повести. Первая запись: «Наполеон не Наполеон, а Мюрат. Хаджи Мурат. Сказал очень глупый, но чрезвычайно тонко *льстивый* грузин»[2503] (вставлено в главу IX). Вторая: «Собаку Хаджи Мурата»[2504] — деталь к главе XXIII, где она вставлена в воспоминания Хаджи-Мурата о своем детстве («вспомнилась худая собака, лизавшая его лицо»).

Когда В. Г. Чертков обратился к Толстому с просьбой прислать ему копию повести, Толстой отвечал ему 17 ноября 1902 г.: «Хаджи Мурата я оставил и, разумеется, рад дать списать его для вас (но, право, не стоит в теперешнем виде), с уговором не выпускать его из рук даже и не давая чужим читать»[2505].

О прекращении своей работы над «Хаджи-Муратом» Толстой писал и в письме от 17 ноября 1902 г. Д. П. Сильчевскому: «Я имел уже все те материалы, о которых вы пишете, и воспользовался ими. Пожалуйста, не утруждайте свои больные глаза для меня, во-первых, потому, что моя работа не стоит ваших глаз, а во-вторых, потому, что я теперь отложил занятие над «Хаджи-Муратом и работаю другое»[2506].

Письмо это — ответ на три письма библиографа Д. П. Сильчевского от 25 октября, 1 и 8 ноября 1902 г., в которых он писал, что, не считаясь с начинающеюся слепотой, разыскал по просьбе В. В. Стасова сведения о Хаджи-Мурате. Сильчевский посылал выписки из «Воспоминаний В. А. Полторацкого» («Исторический вестник», 1893, т. I, II), и «Записок Клюки-фон-Клюгену» («Русская старина», 1876, т. XVI), а также № 3 журнала «Русская старина» за 1881 г.

Однако не прошло и пяти дней, как Толстой снова принялся за «Хаджи-Мурата». В «Настольном календаре» от 22 ноября 1902 г. запись: «Писал Хаджи Мурата»; такого же рода отметки сделаны с 27 по 29 ноября.[2507] Они свидетельствуют о новой напряженной работе над повестью. 30 ноября в Дневнике Толстой написал: «Взялся опять за Хаджи Мурата и, должно быть, если буду жив, завтра кончу»;[2508] но, как обычно, окончание работы затянулось, прежняя дата «5 ноября 1902 г.» была переделана рукою Ю. И. Игумновой на «3 декабря 1902 г.». В этот период работы (от 22 ноября до 3 декабря) Толстой внес в копии повести громадное количество вставок и стилистических исправлений, поверх первоначальной «подмалевки».

Листы, на которых Толстой сделал в этот раз особенно много поправок, были заново переписаны. Листы с малоизмененным текстом не переписывались. Из тех и других листов образовалась новая рукопись, представляющая собою

вторую по счету версию окончательной редакции повести или вторую ее «отделку».

Наибольшей обработке в этот раз подверглась глава о Николае I. Толстому опять недоставало для нее источников, и в письме к В. В. Стасову от 30 ноября 1902 г. он просил прислать «газеты за декабрь 1851 г. и январь 1852 г. московские или петербургские или «Правительственный вестник». Потом нельзя ли список всех министров и главных сановников в 1852-м году (календарь). И еще нельзя ли какую-нибудь историю Николая».

X

5 декабря 1902 г. Толстой тяжело заболел; несмотря на это, находившийся при нем П. А. Буланже занес 8 декабря 1902 г. в его «Настольный календарь»: «Ночью записал сам вставку к статье К духовенству и к Хаджи Мурату[2509]. 10 декабря Толстой сделал запись, относящуюся к главе о Николае I: «Вся жизнь его, от того страшного часа, когда люди присягали ему, и до того часа, когда он лежал с отпуском грехов по голову, — была сплошным неперестающим рядом прегрешений».[2510] 12 декабря 1902 г. Толстой записывает: «К Хаджи Мурату. Крепостное право в рассказе Авдеева и сцене дома. Старика на барщину, снег в саду разметать».[2511] Из записей видно, что «Хаджи-Мурат» продолжал сильнейшим образом владеть творческим сознанием Толстого.

Однако замысел этот не был осуществлен, и ни та, ни другая сцены не вошли в окончательный текст «Хаджи-Мурата».

Интерес к «Хаджи-Мурату» не покидал Толстого во всё время его болезни. Буланже рассказывает: ночью с 12 на 13 декабря «в жару Лев Николаевич стал шептать слова, смысла которых мы никак не могли уловить. Мы думали, что он бредит. Можно было разобрать только: «граф, князь»...[2512] «Лев Николаевич обратился к дежурившему около него близкому человеку: «Если вам не скучно, достаньте, пожалуйста, вон там на полке книгу. Посмотрите, в каком году Воронцов был сделан князем, надо будет переделать: везде в «Хаджи-Мурате» я

называю Воронцова князем». Пока находилась справка, Лев Николаевич заснул. Через час он проснулся и вопросом его было: «Ну что, в котором году Воронцова сделали князем?» — «В августе 45 года». — «В таком случае — верно. Переделывать не надо»[2513].

В первых числах декабря 1902 г. Толстой получил письмо от В. В. Стасова, который сообщал, что отправляет ему: «1) «Московские ведомости» 1851 г. 2) Устрялов, История Николая I. 3) Адрес-календарь 1851 и 1852 г. 4) Московские ведомости» 1852 г. 5) «Северная пчела» 1852 г. 6) Lacroix».[2514]

20 декабря 1902 г., еще находясь в постели, Толстой писал В. В. Стасову: «Спасибо, Владимир Васильевич, за книги. Оба транспорта в исправности получил. Теперь невозможная просьба: знаю, что гоф-фурьерский журнал не напечатан в тех годах, какие мне нужны, но нельзя ли из рукописного в архиве получить выписку хоть дней пяти или шести конца 51 и конца[2515] 52 года. Если это возможно, то поручите это сделать кому-нибудь за вознаграждение, которое я охотно заплачу... Да нет ли иностранных историй Николая с отрицательным отношением к нему. Custin'a стоит ли читать? Есть ли в нем о личности Николая? Простите пожалуйста: как всегда, прибавляю, что если вы даже, не ответив, бросите письмо в корзину, я найду, что так и нужно, и буду вам благодарен.

Да нет ли книжки резолюций Николая, хоть не прислать книгу, но позволить выписать из нее самые характерные резолюции. Я тогда попросил бы кого-нибудь выписать такие с 1848 по 1852 г. Хоть бы десяток».[2516]

В тот же день в «Настольном календаре» Толстого рукою М. Л. Оболенской записано: «Читал «Акты», материалы для Хаджи Мурата. Написал Стасову и Накашидзе о материалах»[2517]. В письме к И. П. Накашидзе от того же числа Толстой писал: «Вы были так добры, обещали мне помощь ваших друзей в Тифлисе для выписок из дел архива. Обращаюсь теперь к вам с этой просьбой: попросите их или его выписать мне самые характерные резолюции Николая Павловича по самым разнообразным делам, преимущественно от 45 до 55 года,

главное же конца 51-го и начала 52 года. Нет ли его резолюций о Хаджи Мурате. Может быть, ваших друзей, друга, допустят и так, но на всякий случай прилагаю письмо к начальнику архива. Я понемножечку укрепляюсь, но еще очень слаб». К письму было приложено письмо на имя начальника тифлисского архива (неверно адресованное не генералу Потто, а Вайденбауму) от 20 декабря с просьбой разрешить сделать выписки.

Чтение «Актов археологической комиссии» ничего не дало Толстому для главы о Николае I. Он нашел в «Актах» лишь новые данные о Хаджи-Мурате.

На другой день, 21 декабря, Толстой писал Г. А. Русанову о том, что позволяет себе заниматься «Хаджи Муратом в виде отдохновения».

25 декабря 1902 г. в «Настольном календаре» рукою М. Л. Оболенской записано: «Получил письмо от сына Карганова, продиктовал ответ по поводу Хаджи Мурата».[2518] Письмо было из Москвы от И. И. Карганова, сына уездного начальника г. Нухи, в ведении которого некогда находился Хаджи-Мурат. Узнав из газет о работе Толстого над «Хаджи-Муратом», Карганов предлагал сообщить некоторые сведения о Хаджи-Мурате. Толстой был еще настолько слаб после болезни, что не мог сам писать, но тотчас же продиктовал ответ Карганову: «Вы не могли доставить мне большего удовольствия, как то любезное обещание ваше сообщить мне подробности о пребывании Хаджи-Мурата в вашем доме. Буду очень, очень благодарен за всё, что вы сообщите мне, в особенности желал бы знать подробности о внешности лиц, участвовавших в этом событии, как-то: вашего батюшки, приставленного к Хаджи-Мурату пристава и самого Хаджи-Мурата и его нукеров. — Простите, что вместо того, чтобы быть просто благодарным вам за вашу любезность, я еще позволяю себе заявлять свои желания, но когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности. На всякий случай выпишу несколько вопросов, на которые, если вы ответите или не ответите, буду одинаково благодарен. 1) Жил ли Хаджи-Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца. Устройство дома. 2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды

обыкновенных горцев. 3) В тот день, как он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за плечами или без них. — Много бы хотелось спросить еще, но боюсь утруждать вас и сам чувствую себя очень слабым... Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительны они ни казались вам, тем более буду благодарен».

В ответ на это письмо И. И. Карганов прислал Толстому свои «Воспоминания», сопроводив их письмом от 29 декабря 1902 г., в котором советовал обратиться к его матери, проживавшей в Тифлисе. По словам Карганова, несмотря на свой престарелый возраст, она обладала хорошей памятью и могла бы сообщить ценные сведения. 8 января 1903 г. Толстой отвечал Карганову: «Очень вам благодарен за письмо ваше и интересные подробности, которые вы мне сообщаете. С вашего разрешения я позволю себе обратиться к вашей матушке с некоторыми вопросами или, если найду знакомого в Тифлисе, который возьмет на себя это дело, попрошу его лично обратиться к вашей матушке, чтобы менее утрудить ее, чем письменно отвечать на мои вопросы. Еще раз сердечно благодарю вас за вашу обязательность».

В тот же день Толстой продиктовал письмо матери Карганова: «Ваш сын, Иван Иосифович, узнав о том, что я пишу о Хаджи Мурате, был так любезен, что сообщил мне многие подробности о нем и кроме того разрешил мне обратиться к вам с просьбой о более подробных сведениях об этом, жившем у вас в Нухе, наибе Шамиля. Хотя сведения Ивана Иосифовича и очень интересны, но так как он был в то время десятилетним ребенком, то многое могло остаться для него неизвестным или ложно понятым. И потому позволю себе обратиться к вам, уважаемая Анна Авессаломовна, с просьбой ответить мне на некоторые вопросы и сообщить мне всё, что вы помните об этом человеке, об его бегстве и трагическом конце.

Всякая подробность о его жизни во время пребывания у вас, об его наружности и отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ничтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень интересно и ценно.

Вопросы же мои следующие:

1) Говорил ли он хоть немного по-русски.

2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать. Его собственные или данные ему. И хороши ли это были лошади и какой масти.

3) Заметно ли он хромал.

4) Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад.

5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов: пятикратной молитвы и др.

Простите, уважаемая Анна Авессаломовна, что утруждаю вас такими пустяками, и примите мою искреннюю благодарность за всё то, что вы сделаете для исполнения моей просьбы.

Еще вопрос 6) какие были и чем отличались те мюриды, которые были и бежали с Хаджи Муратом». В конце письма приписано рукою М. Л. Оболенской: «Пишет не своей рукой, потому что лежит больной. Мария Оболенская».

«И еще вопрос: 7) Когда они бежали, были ли на них ружья».

С просьбой о подыскании лица, которое навестило бы в Тифлисе А. А. Карганову, Толстой опять обратился к И. П. Накашидзе.

За собирание сведений взялся преподаватель словесности тифлисской гимназии С. Н. Шульгин, который в письме к Толстому от 3 февраля 1903 г. писал: «Через третье лицо нижеподписавшемуся предложено собрать для вас нужные сведения в архивах и у г-жи Каргановой. Я с удовольствием принял это предложение и буду себя считать счастливым, если чем-нибудь окажусь для вас полезным. У г-жи Каргановой я был два раза, но удалось добыть немногое, что я и посылаю вам при настоящем письме. Эта дама уже достаточно преклонных лет (ей, говорят, 87 лет) и многое перезабыла, но, что помнит, о том говорит с уверенностью.

Был и у Василия Александровича Потто и вручил ему ваше письмо...»

К письму Шульгина был приложен рассказ А. А. Каргановой и ее ответы на вопросы Толстого.

Одновременно с этим Толстой получил письмо от начальника Военно-исторического отдела Тифлисского архива ген.-лейт. В. А. Потто, в котором тот писал, что «считает за честь выполнить» просьбу Толстого.

Толстой отвечал С. Н. Шульгину письмом от 21 февраля 1903 г.: «Желательно мне теперь иметь все распоряжения о Хаджи Мурате, если есть таковые, Николая Павловича: его личные заметки или приказания и замечания, передаваемые Чернышевым Воронцову. Желательно бы кроме того иметь распоряжение Николая вообще о ведении Кавказской войны во время наместничества Воронцова. Сколько я знаю, Николай сначала в 45 году требовал решительных действий, а потом, противореча сам себе и не замечая этого, требовал медленного воздействия на горцев вырубкой лесов и набегами. — Интересно бы найти указания на это».[2519]

С. С. Эсадзе в письме от 5 февраля 1903 г. писал Толстому о полученном им от Потто поручении извлечь из дел архива штаба округа материалы, касающиеся деятельности Хаджи-Мурата, но он не знает точно, какие именно вопросы интересуют Толстого. Толстой отвечал ему 19 февраля 1902 г.: «Очень благодарен за вашу любезную готовность помочь мне. Мне желательно иметь только то, что 1) касается Хаджи Мурата, и то, кроме всего того, что есть печатного об этом (всё это я знаю), и того, что есть в X томе актов, и 2) распоряжения императора Николая I о Хаджи Мурате и вообще о кавказской войне во время наместничества Воронцова и в особенности 50, 51 и 52 годов».

В то время, как в Тифлисе извлекались архивные материалы, касавшиеся Николая I, в Петербурге действовал в том же направлении В. В. Стасов. В письмах от 28, 29 и 30 декабря 1902 г. он писал об отыскании им источников. В письме от 11 января 1903 г. Стасов писал, что посылает «выписки... из камер-фурьерских журналов конца 1851 и начала 1852 гг.». В письме от 23 января 1903 г. — о посылке трех немецких книг: 1) Aus der Petersburger Gesellschaft, 2) Idem, продолжение, 3) Bernhardi, «Unter Nicolas I» и напоминал Толстому о статьях Богуславского, относящихся к царствованию Николая I,

напечатанных в «Русской старине», томы XXVI и XXVII, «а вся «Старина», — прибавляет Стасов, — кажется, у вас уже есть».[2520]

Одновременно с этим Толстой получил от своей двоюродной тетки Александры Андреевны Толстой, лично знавшей Николая I, письмо, в котором она писала: «С удивлением узнала я, что вы пишете биографию императора Николая. Но если уже вы вздумали заняться этим, мне, конечно, хочется быть сколько-нибудь вам полезной». Далее А. А. Толстая пишет, что за год до смерти Н. К. Шильдера она передала ему некоторые сведения о Николае I, теперь же посылает рукопись записок П. Д. Киселева[2521] и может прислать рассказ о последних минутах Николая I его лейб-медика Мандта. Толстой отвечал ей 26 января 1903 г.: «Я лежу больной и слабый, как видите, и не пишу своей рукой, а пишет дочь Маша... Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести Хаджи Мурат. А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю, ayant, так сказать, coudées franches,[2522] то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру. Вот для этого-то я собираю, читаю всё, что относится до его жизни и характера. То, что вы прислали, мне очень драгоценно, но еще бы нужнее то, что вы отдали Шильдеру. Я надеюсь достать это у Шубинского, получившего бумаги Шильдера. Мне нужно именно подробности обыденной жизни, то, что называется la petite histoire.[2523] История его интриг, завязывавшихся в маскараде, его отношение к Нелидовой и отношение к нему его жены. Записки Мандта, если вам не трудно, тоже, пожалуйста, вышлите».[2524]

В связи с предыдущим письмом А. А. Толстой Д. Д. Оболенский писал редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому 26 января 1903 г.: «Я вчера был у гр. Л. Н. Толстого... Толстой продолжает писать и занят окончанием главы в своем «Хаджи-Мурате», в которой он рисует Николая I. Я ему, т. е. Толстому, передал наш разговор (при встрече у А. С. Суворина), что шильдеровские материалы в ваших руках — и

граф Лев Николаевич очень был бы благодарен, если бы вы могли ему сообщить, что есть печатного у Шильдера, а кроме того еще специальная просьба. Тетка Толстого, А. А. Толстая, передала Н. К. Шильдеру свои записки, где многое говорит об Николае I. Вот эти-то записки своей тетки Л. Н. Толстой и просит вас, не можете ли вы их сообщить ему — на это есть и согласие графини Александры Андреевны Толстой (она живет в Петербурге), а Льву Николаевичу записки очень нужны. Можно с них снять копию. — Сделайте одолжение и исполните просьбу нашего дорогого писателя». По поводу письма Д. Д. Оболенского С. Н. Шубинский писал Толстому 26 января 1903 г., что сочинение Шильдера выйдет в марте 1903 г., записок же А. А. Толстой у него нет.

XI

В течение всего января 1903 г. Толстой не принимался за «Хаджи-Мурата» и лишь собирал и изучал материалы о Николае I. В первых числах февраля 1903 г. Ясную Поляну посетила Е. Ф. Юнге,[2525] в молодости своей несколько раз видевшая Николая I. Толстой рассказывал ей о своей работе над «Хаджи-Муратом» и вызвал ее на воспоминания о Николае, которые Юнге по его просьбе вскоре написала и прислала ему.

В дневнике С. А. Толстой 20 февраля 1903 г. записано: «У Льва Николаевича сидит старичок, николаевских времен солдат, сражавшийся на Кавказе, и рассказывает ему, что помнит»[2526]. Беседа с этим стариком состоялась и на следующий день, как об этом сказано в «Ежедневнике» С. А. Толстой от 21 февраля: «Лев Николаевич беседовал на балконе с николаевским солдатом». Данных об этом старике не имеется, но можно предполагать, что он один из тех двух «старичков-солдат, свидетелей войны с Шамилем», о которых Накашидзе писал Толстому 17 октября 1902 г.

27 февраля 1903 г. Толстой писал Т. Л. Сухотиной о намеченных им работах, в числе которых упоминает «Хаджи-

Мурата», с тем чтобы «кончить и внести Николая Павловича — деспотизм».[2527]

Однако в течение февраля 1903 г. Толстой к работе над этой главою не приступал, не чувствуя себя в полном «обладании» предметом.

И. П. Накашидзе в письме от 27 февраля 1903 г. писал Толстому, что извлечение материалов из тифлисского архива идет медленно. «Архив в таком состоянии, что надо переписывать все дела... Присылаю пока то, что найдено нами до сих пор». В письме от 2 марта 1903 г. Накашидзе спрашивал, известен ли Толстому «Кавказский сборник», I том которого вышел в 1876 г., последний, 22-й, в 1902 г. Имя Хаджи-Мурата упоминается в первых десяти томах сборника 140 раз. Накашидзе рекомендовал обратиться по этому поводу в Публичную библиотеку в Петербурге.

С. С. Эсадзе при письме от 3 марта 1903 г. посылал Толстому сделанные им копии с некоторых документов из тифлисского архива, а также составленный им «Биографический указатель литературы о кавказско-горской войне (1817—1845), мюридизме, Кази-мулле, Гамзат-беке и Шамиле», в котором перечислено 183 источника.

Толстой в письме к Накашидзе от 7 марта 1903 г. писал: «Вы читали начало моего рассказа. Если помните, там солдаты сидят в секрете, высланном из крепости Воздвиженской, и принимают присланного от Хаджи Мурата лазутчика. Всё это, как мне вспоминается теперь, неверно. Для того, чтобы исправить эти неверности, мне нужны ответы на следующие вопросы: не можете ли вы найти старого служаку, пехотного офицера, служившего в 1852 г., который бы ответил на эти вопросы:

1) Высылались ли из крепости секреты?

2) Если не высылались, то где стояли караульные часовые, ограждавшие крепость от внезапного нападения?

3) Каким образом принимали часовые приходящих лазутчиков и поставляли их к начальству?

Всякий пехотный офицер-кавказец 1852 года должен знать это, тем более служивший в Куринском полку в крепости

Воздвиженской. Само собой, что чем подробнее будут ответы, тем лучше».[2528]

В письме В. В. Стасову от 7 марта 1903 г. Толстой писал: «Мне из Тифлиса пишут, что есть XXII тома Кавказского сборника, издаваемого под иждивением е. и. в. и т. д. Я знаю «Сборник сведений о кавказских горцах», и у меня есть VI томов этого сборника, и я брал из Румянцевского музея VII и VIII и, кажется, IX-й. Одно ли и то же «Кавказский сборник» и «Сборник сведений о кавказских горцах»?.. Если не одно и то же, то пришлите мне первые 10 томов; если же одно и то же, то пришлите мне последние от IX-го тома. Вот как я стал бессовестен».[2529] Стасов в письме от 10 марта 1902 г. сообщал Толстому, что «Сборник сведений о кавказских горцах» и «Кавказский сборник» — два разных издания и что первые десять томов «Кавказского сборника» по распоряжению Стасова высылаются Толстому. В письме от 20 марта 1903 г. Толстой, выражая благодарность Стасову, писал, что ему «больше ничего не нужно».[2530]

Изучение материалов происходило в этот раз в течение четырех месяцев (с декабря 1902 г. по март 1903 г.) главным образом для работы над главою о Николае I. Наконец работа над повестью была начата. В письме Н. Н. Ге-сыну от 20 марта 1903 г. Толстой сообщал: «Работаю и важное: ту философию, которую, помните, я вам рассказывал, идя по левой стороне Хамовнического переулка и пустяки — Хаджи Мурат». 21 марта Черткову: «Понемногу исправляю «Хаджи-Мурата». Совестно, но стараюсь делать это только в moments perdus».[2531]

Одновременная работа Толстого над статьей «К рабочему народу» и «Хаджи-Муратом» продолжалась более двух недель — до первых чисел апреля 1903 г. В письме к М. Л. Оболенской от 1 апреля 1903 г. Толстой сообщал: «Мало пишу, всё ковыряюсь с послесловием к статье К рабочему народу и немножко Хаджи Муратом».

Но работа над третьей отделкой «Хаджи-Мурата» была на самом деле очень большая. Толстой исправлял рукопись, датированную 5 декабря 1902 г. Обозначение глав изменено; их стало окончательно двадцать пять. По всей рукописи сделано

много поправок; особенно упорно Толстой работал над главами X, XIII, XXI, XXIII, XXV. В главу XIII внесена в сокращенном и несколько измененном виде переписка Хаджи-Мурата с генералом Клюгенау из присланной С. С. Эсадзе копии статьи: «1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе», напечатанной в «Кавказском сборнике», Тифлис, т. X. На обороте листа 3 своей рукописи Толстой отметил: «Гамзало и Элдар — убиты, Хан-Магома и Ханефи — бежали». Эти имена взяты из «Актов кавказской археографической комиссии», т. X, стр. 540. Толстой заменил ими прежние вымышленные имена нукеров Хаджи-Мурата. В «Актах» Толстой нашел ряд не известных ему данных (письмо Толстого к С. Н. Шульгину от 21 февраля о том, что Хаджи- Мурат решил бежать к русским еще задолго до осуществления своего намерения, что у него было несколько жен и четыре дочери и ряд других сведений, но не воспользовался ими.

Из Тифлиса поступали материалы в болышом количестве. В письме И. П. Накашидзе от 19 марта 1903 г. Толстой писал, что ему больше «ничего не нужно» кроме ответа на вопрос о том, как высылались из крепости секреты. Накашидзе отвечал Толстому 11 апреля 1903 г., что не смог собрать этих данных, а извлеченные из архива материалы всё же будут ему посылаться. В письме к Накашидзе от 27 апреля 1903 г. Толстой вторично просит «не трудиться больше». «Я и приостановил теперь работу над Хаджи Муратом, да и вообще эта повесть не стоит того труда, которые для нее полагают добрые люди». О том же Толстой говорит в письме к С. С. Эсадзе от 6 мая 1903 г., произведшего главную работу по извлечению тифлисских материалов.[2532] Всего Эсадзе собрал и собственноручно переписал 151 документ «Военно-исторического отдела штаба Кавказского округа» (хранится в библиотеке Ясной Поляны). Толстой использовал из этого материала лишь переписку Клюгенау с Хаджи-Муратом.

XII

4 мая 1903 г. в Ясную Поляну вновь приехала Е. Ф. Юнге; С. А. Толстая записала в «Ежедневнике»: «Разговоры с Е. Ф. Юнге, чтение ее записок». Очевидно, речь идет о воспоминаниях Е. Ф. Юнге о Николае I, написанных ею для Толстого после ее посещения Ясной Поляны в феврале 1903 г.

6 мая 1903 г. Толстой писал М. Л. Оболенской: «Пересматривал Хаджи Мурата. Не хочется оставить со всеми промахами, а заниматься им на краю гроба, особенно когда в голове более подходящие к этому положению мысли, — совестно. Буду делать от себя потихоньку».[2533]

В своем дневнике П. А. Сергеенко, приехавший 17 мая 1903 г. в Ясную Поляну, сообщает: «Л. Н. усиленно работает над «Хаджи-Муратом» и, видимо, доволен своей работой, которая идет у него, как по маслу».

В этот же день, 17 мая 1903 г., Толстой записал в Дневнике: «Поправлял Хаджи Мурата. Дошел до Николая Павловича и как будто уясняется»[2534].

Главы I—XIV подверглись в этот период работы четвертой «отделке». По характеру исправлений можно судить, что работа действительно шла «очень успешно». Но на главе XV, о Николае I, работа опять затянулась. 18 мая 1903 г. Толстой сообщал брату Сергею Николаевичу: «Я пишу про Николая Павловича, и очень интересно это мне».[2535]

Теперь в начале главы XV делается вставка о посягательствах Чернышева на майорат декабриста Захара Чернышева, все сцены развиваются и дополняются, в каждую фразу вносятся художественные детали, пишется начало «второй» главы о Николае I. «Что велико перед людьми, то мерзость перед богом...» (варианты №№ 145 и 146, рук. 60); затем эта глава вычеркивается и вместо нее пишется к главе XV дополнение по «Камер-фурьерскому журналу» (обед в Зимнем дворце, посещение Николаем балета). После этого пишется «третья» глава о Николае I. При переработке этой главы Толстой вносит фразу: «Несмотря на то величие, которым он был окружен, Николай теперь, после 27-летнего царствования был глубоко, непоправимо и одиноко несчастен», которая расчленяет «третью» главу на две, с выделением из нее

самостоятельной «четвертой» главы о Николае I (рук. № 63), содержащей описание его детства, материалом для чего послужила книга Н. К. Шильдера «Император Николай I, его жизнь и царствование», СПБ. 1903.

Работа разрасталась, расширялась, хотя и мало удовлетворяла автора. В Дневнике Толстого 27 мая 1903 г. записано: «Всё вожусь с Николаем Павловичем. Всё нехорошо;[2536] 1 июня 1903 г.: «Всё пытаюсь написать главу Николая Павловича»[2537].

В письме к Т. Л. Сухотиной от 3 июня 1903 г. Толстой писал: «Получил от Суворина Александра II Татищева, новое издание Пушкина... а главное Николая I Шильдера, чему очень рад. Всё работаю над Николаем I и, кажется, только теперь начинаю находить ключ к нему».

В тот же день он писал дочери М. Л. Оболенской: «Занят я Николаем Павловичем, и как будто уясняется то, что нужно. Это сделалось дня два тому назад. И мне приятно это. Это, понимаешь, есть иллюстрация того, что я пишу о власти».[2538]

Мысль показать на Николае I зло деспотизма теперь всё сильнее и сильнее захватывала Толстого, и он пишет о нем ряд резких вариантов.

В письме к П. И. Бирюкову от 3 июня 1903 г. он говорит: «Хаджи Мурата» поправляю и теперь бьюсь над главою о Николае Павловиче, которая если и будет непропорциональна, но мне кажется важна, служа иллюстрацией моего понимания власти».[2539]

Толстой продолжал усиленные поиски материалов. В письме к Стасову от 3 июня 1903 г. он спрашивал: «Нет ли книги, содержащей все указы и утверждения законов (работ 2-го отделения) Николая. Мне нужны эти сведения не за всё царствование, а хотя за один год, от половины 51-го до половины 52-го. Это мне очень нужно».[2540] По сообщению, полученному нами от племянницы Толстого Е. С. Денисенко, посетившей его в описываемый период, Толстой получал тогда «транспорты за транспортом книг. Один раз получил такую

большую посылку, что даже расставил книги вокруг себя на полу».

3 июня 1903 г. Толстой записал в Дневнике: «Вчера хорошо писал о Николае». Здесь же записано к характеристике царя: «Николай считал всех людей такими же, как те, которые окружали его. А те, которые окружали его, были подлецы; и потому он всех людей считал подлецами».[2541] Этот штрих был после развит в вариантах главы XV.

В Дневнике 4 июня 1903 г. записано: «Вчера читал Николая I. Очень много интересного. Надо прежде, чем продолжать — прочесть».[2542]

5 июня 1903 г. записано: «Читаю Николая». 9 июня 1903 г. Толстой пишет в Дневнике: «Немного подвигаюсь в Николае Павловиче», и далее перечисляются задуманные им «три новые вещи», одна из которых — «рассказ о бале и сквозь строй».[2543]

Так зародился сюжет рассказа «После бала», написанного позже, в августе 1903 г. — непосредственно в связи со сценой экзекуции горцев в вариантах «Хаджи-Мурата» и чтением печатных источников о Николае I, в которых встречается много сообщений о «прогнании сквозь строй».

11 июня 1903 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Кое что пишу в «Хаджи-Мурате», о Николае Павловиче отдельную главу, которая, хотя будет и непропорциональна с целым, чрезвычайно привлекает меня».[2544]

15 июня 1903 г. в Ясную Поляну приезжал С. Н. Шульгин, принимавший участие в собирании в Тифлисе материалов для «Хаджи-Мурата». Впоследствии в своих воспоминаниях Шульгин сообщал, что, кроме записей воспоминаний Каргановой, он еще посылал Толстому в начале 1903 г. записанный им рассказ о Хаджи-Мурате зятя Шамиля. Теперь Шульгин приехал к Толстому с просьбой разрешить ему напечатать этот рассказ. По поводу своей работы над главами о Николае I Толстой сказал Шульгину: «Приходится окунуться с головой в эпоху Николая и пересмотреть большой материал — и печатный и рукописный. И всё это, быть может, только для того, чтобы извлечь какие-нибудь две-три черты, которых читатель, пожалуй, и не заметит, а между тем они очень важны. Меня здесь занимает не один

Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая, представляющих вместе как бы два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского. В частности же, в Николае поражает одна черта — он сам себе часто противоречит, совсем того не замечая и считая себя всегда безусловно правым. Так, видно, воспитала его окружающая среда, дух разлитого вокруг него подобострастного угодничества...

— Когда, вы думаете, дойдет черед до присланного нами материала о Хаджи-Мурате? — полюбопытствовал я.

— О, еще не так-то скоро, — ответил Лев Николаевич».[2545]

В письме от 21 июля 1903 г. Шульгин присылал Толстому справки по вопросам, которые были записаны им под диктовку Толстого:

«1) Адресы детей Хаджи-Мурата.

2) Из каких лиц состоял совет Шамиля.

3) Джемал-Эдин ходатайствует за изменившего Шамилю Хаджи-Мурата.

4) Совещание Шамиля с народом о выкупе княгини Чавчавадзе и Орбелиани.

5) О Шамиле (обряд Истихар-Намаз)».

Из этой беседы 15 июня 1903 г. с Шульгиным видно, что Толстой предполагал внести в повесть еще ряд сцен.

В собирании материалов для Толстого принимали участие многочисленные знакомые и родные. Так, М. М. Кантакузен посылал Толстому записки графа Бенкендорфа и Фаддея Вылежинского из журнала «Исторический вестник». В письме к нему от 30 июня 1903 г. Толстой благодарил за присылку этих материалов.[2546]

Намерен был помочь Толстому доставкой источников и А. П. Чехов, как это видно из письма П. А. Сергеенко к Чехову: «Дорогой Антон Павлович, извини, пожалуйста, что напоминаю тебе, но вспомни о Николае I... Николай I нужен Льву Николаевичу для «Хаджи-Мурата». При сложившихся условиях я считаю вполне возможным помещение «Хаджи-Мурата» в

«Русской мысли» (не датировано, но рукою Чехова помечено: «1903, VI»).

Было ли что послано Чеховым Толстому, неизвестно.

Сосредоточившись на образе Николая I и отвлекшись от остального материала повести, Толстой стал рассматривать написанное о Николае I уже как новое произведение. П. А. Сергеенко записал с его слов в своем дневнике: «Глава о Николае I из «Хаджи-Мурата» выделилась в отдельное произведение».

В Дневнике 18 июня 1903 г. Толстой записал: «Решил Николая Павловича оставить почти как есть, а если понадобится, то писать отдельно».[2547]

Оставить главу о Николае I «почти как есть» означало ограничиться в «Хаджи-Мурате» только одною главою XV, а остальные главы о Николае I исключить. Намечая 18 июня в Дневнике новые свои замыслы, Толстой прибавляет: «Всё это много важнее глупого Хаджи Мурата»[2548]. Однако вскоре его опять привлекает тема повести, и он пишет Черткову 30 июня 1903 г.: «Читаю о Николае Павловиче, который очень интересует меня, поправляю Хаджи Мурата, чтобы больше не трогать».[2549]

30 же июня 1903 г. Толстой в письме Стасову сообщал об отсылке ему назад использованных им для главы о Николае I газет за 1851 и 1852 гг. и благодарил за присылку «Свода законов» 1852 г. Толстой надеялся в «Своде» найти какие-либо характерные для Николая I указы. Намерение писать отдельно от «Хаджи-Мурата» произведение о Николае I не оставляло его.

В Дневнике 4 июля 1903 г. записано: «Поправлял Хаджи Мурата»,[2550] в «Ежедневнике» С. А. Толстой от 5 июля 1903 г.: «Лев Николаевич утомлен, пишет «Хаджи-Мурата».

Толстой был теперь занят пятой «отделкой» повести, с главы I по XIII. Как при предыдущих исправлениях, работа заключалась в сокращениях, в перестановке частей, во внесении художественных деталей и новых сцен, в стилистических поправках и в устранении разных ошибок, своих и переписчиков.

XIII

При «отделках» Толстой обращал большое внимание на лаконизм языка. Он не стремился к словесному единообразию, к благозвучности, гладкости, отточенности фразы, а только к ее точности и выразительности.

В «Хаджи-Мурате» одни и те же слова пишутся и склоняются по-разному: «английский» и «аглицкий», «кофе» и «кофей», «гошпиталь» и «госпиталь», «ханьша» и «ханша», «колени» и «колена», «волосы» и «волоса», «ребры» и «ребра», «деревьев» и «дерев», «из леса» и «из лесу», «набрал меду» и «набрал меда», «подсыпал из натруски сухого пороха» и «подсыпал свежего пороху», «не прошло часу» и «не прошло часа», «из дому» и «из дома», «табаку» и «табака», «Хаджи-Мурат все прибавлял ходу» и «Хаджи-Мурат продолжал ехать... не уменьшая хода»; «от мала до велика» — «от малого до великого».

Такая, например, неправильно построенная фраза, как в главе II: «Накурившись, между солдатами завязался разговор», во всех вариантах остается нетронутой. Этот своеобразный оборот нередко им употреблялся и дальше:

«...Размягченный воспоминаниями о своем любимом детище, сыне Вали-Магоме, вдруг лицо его преобразилось...»

«Увидав Хаджи-Мурата, которого она считала убитым, лицо ее просияло».

«Рассердившись же, всё уже, что останавливало его внимание, сердило его».

«Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор».

В «Хаджи-Мурате» есть ряд редко встречающихся выражений: «намернулся» (глава XI), что означает «набросился», «замахнулся»; в главе XXV «прòезд», «прòездом» — кавалерийское выражение, не объясненное ни в одном из русских толковых словарей, означающее убыстренный шаг лошади. В особенном смысле употреблен Толстым и союз «и»: «Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и

Николай жил в нем еще в верхнем этаже» (глава XVI). Ни в одном варианте Толстой не поставил «но» вместо противительного «и», редко употребляемого в русском языке.

Из рукописей «Хаджи-Мурата» видно, что при «отделках» Толстой добивался того, чтобы все его персонажи, главные и второстепенные, говорили своим особенным языком.

XIV

Работая в конце июня и начале июля 1903 г. над пятой «отделкой» глав I—XIII, Толстой дошел до главы XV о Николае I, и работа вновь приостановилась. Вопреки принятому 18 июня 1903 г. решению ограничиться одною этою главою и не изменять ее, он вновь намеревался расширить тему о Николае I. 10 июля 1903 г. С. А. Толстая записала: «Лев Николаевич очень занят историей Николая I и читает много материалов — это включится в «Хаджи-Мурата».[2551]

Сам Толстой 10 июля записал в Дневнике: «Уяснил также Николая Павловича».[2552] Приступив к новой работе, Толстой соединил текст главы «первой» о Николае (т. е. XV в окончательном тексте повести) с главою «третьей» о нем же (это составило «пятую» главу о Николае I), написал сцену встречи Николая с учеником Училища правоведения, вставку о раздражении Николая против вел. кн. Елены Павловны и его рассуждение по поводу ее просветительной деятельности, а также сцену — Николай ночью.

На этот раз работа удовлетворила Толстого. Закончив ее, он начал «шестую» главу о Николае I, непосредственно связанную с предыдущей и начинающуюся словами: «В то время, как Николай, сидя в литерной ложе большого театра» (вариант № 163). Эта глава является резкой критикой царствования Николая I и написана со всею силою обличительного пафоса Толстого. 9 августа 1903 г. он писал Черткову о своей работе: «Много читал, думал и писал в двух главах Хаджи Мурата о Николае Павловиче. Это не кончено, но то, что задумано мною и как задумано, кажется мне хорошо и важно».[2553]

Работу над главами о Николае Толстой не считал законченной. В середине августа 1903 г. в Ясной Поляне И. В. Денисенко читал вслух эти главы. Присутствовавший при чтении А. Б. Гольденвейзер рассказывает: «Лев Николаевич сидел у себя, и ему хотелось притти ко всем. Он несколько раз входил и всё говорил: «Это неинтересно, бросьте». Наконец сказал даже: «Это дрянь». Тогда М. С. Сухотин спросил его: «Зачем же вы, Л. Н., это писали?» — «Да ведь это и не готово еще. Вы пришли ко мне на кухню, и неудивительно, что воняет чадом».[2554] И Толстой снова решил возобновить работу над ними. В Дневнике 27 августа 1903 г. записано: «Всё обдумывал Николая I. Надо кончать, а то загромаждывает путь других работ».[2555]

Глава о Николае I, как видно, загромождала автору «путь» и к работе над второй половиной повести (главы XVI—XXV). Первые тринадцать глав подверглись пяти «отделкам», последние главы правились только три раза.

С 11 по 14 сентября 1903 г. в Ясной Поляне гостил В. В. Стасов. В письме к М. Н. Стасовой от 12 сентября 1903 г., рассказывая об утре этого дня в Ясной Поляне, он говорит: Толстой «уже ушел писать «Хаджи-Мурата».[2556]

Несмотря на то, что недавно Толстому казалось, что образ Николая I ему совсем ясен, он снова просил Стасова прислать ему еще некоторые источники.

23 сентября 1903 г. Стасов писал М. Н. Стасовой: «Продолжение «Хаджи-Мурата» опять разыгралось у него в воображении».[2557] В архиве Стасова сохранилась записка Толстого от 14 сентября 1903 г. следующего содержания:

«Герлаха записки 1827, 28.

Custine, 39.

Гоффур. журнал 27 и 30 с дек. 25 по 5 янв. 40-го года. Бородинск. памят. дней 5.

Русская старина с 1894 по 1902.

Шильдера Николай I поздней эпохи.

(Истор. вестник)».[2558]

16 сентября 1903 г. В. В. Стасов писал Толстому из Петербурга, что посылает ему: «1) «Русскую старину», все годы

1894—1902 гг., 2) Gerlache, Denkwürdigkeiten, 2 тома, 3) Custine; что же касается камер-фурьерских журналов, то завтра я с утра поеду в придворный архив и двину дело».[2559] В письме от 17 сентября 1903 г. Стасов сообщал: «Статьи Шильдера о Николае I (из непервых эпох) еще не можем найти, но, вероятно, скоро найдем и пошлем».[2560] В письме от 23 сентября 1903 г. В. В. Стасов извещал, что посылает выписки из камер-фурьерских журналов 1827—1828 гг.; «что касается до выписок из времен бородинской годовщины, то это немного задержалось».[2561] Относительно этих выписок Толстому писал заведующий Придворным архивом А. В. Половцев, к которому обращался Стасов: «В камер-фурьерском журнале за 1839 г. не имеется данных о выезде Николая I на бородинские торжества. Это обычный пробел в камер-фурьерских журналах: когда царь выезжал из Петербурга, журнал велся лишь «на половине императрицы». Однако для того, чтобы у Толстого был какой-либо материал об этом эпизоде, Половцев посылал ему собственную статью «Бородинская годовщина», напечатанную в журнале «Царь-колокол» за 1889 г.[2562]

В письме от 20 сентября 1903 г. Толстой благодарил Стасова: «Всё, что высылаете, то самое, что мне нужно».[2563]

Из переписки со Стасовым видно, что у Толстого зарождался новый план работы о Николае I — представить Николая I и в ранний и в поздний периоды его жизни.

Историк царствования Николая I С. С. Татищев, узнав от А. С. Суворина о собирании Толстым материалов о Николае I, послал Толстому свои книги: «Внешняя политика императора Николая I» и «Император Николай I и иностранные дворы», за которые Толстой благодарил его в письме от 20 сентября 1903 г.[2564]

О посылке Татищевым своих книг Толстому узнал редактор «Записок Вылежинского» К. А. Военский, который в свою очередь послал Толстому выпущенное им издание. Насколько тема о Николае интересовала в описываемый период Толстого, можно судить по его ответу К. А. Военскому от 6 октября 1903 г.: «Прошу принять мою искреннюю и большую благодарность за

ваши книги. Содержание их в высшей степени важно, интересно и для меня особенно нужно».[2565]

Но работу над главами о Николае I, для которых Толстому были нужны эти материалы, он не возобновлял. В течение декабря 1903 г. и в январе 1904 г. продолжалось лишь изучение материалов о Николае I.

И. К. Дитерихс в письме к А. К. Чертковой от 9 февраля 1904 г. писал: «Сегодня вечером после обеда Лев Николаевич вычитывал нам очень понравившиеся ему места из сочинения Custine'a, посетившего Россию в царствование императора Николая I и дающего удивительно меткое описание его и русской жизни его времени. Затем он достал оба тома нового сочинения Шильдера «Царствование императора Николая», и мы рассматривали портреты его и его современных деятелей. Л. Н. взялся опять за «Хаджи-Мурата», т. е. он, повидимому, хочет дополнить уже имеющееся об Николае по новым данным» (АЧ). Через две недели после этого Толстой осуществил свое намерение, но поработал только один день. В Дневнике его 25 февраля 1904 г. записано: «Нынче поправил Николая Павловича в Хаджи Мурате и бросил. Если будет время, то напишу отдельно о Николае».[2566]

В этот раз решение оставить в повести только одну главу XV о Николае, принятое впервые девять месяцев назад — 9 июня 1903 года — и затем неоднократно нарушавшееся, стало окончательным.

25 февраля 1904 г. в главе XV были опущены «шутка Ростопчина» о Чернышеве и сцена приема Блудова, сделаны стилистические исправления, вставлена деталь о трясущейся голове императрицы, заимствованная из книги Кюстина. Дополнительная же «риторическая» «шестая» глава о Николае, которая прежде не нравилась Толстому, выпущена совсем. Это была последняя отделка главы XV. Больше Толстой никогда к этой главе не возвращался, хотя и продолжал быть неудовлетворен ею, как об этом сообщал А. Ф. Кони, читавший повесть во время своего пребывания в Ясной Поляне 1—4 апреля 1904 г.: «Толстой считал главу о Николае Павловиче неоконченной и даже хотел вовсе ее уничтожить, опасаясь, что

внес в описание не любимого им монарха слишком много субъективности в ущерб спокойному беспристрастию».[2567]

Толстой просил Кони при чтении сделать замечания. Кони, собиравший в то время материалы для своей книги о вел. кн. Елене Павловне и потому изучивший придворный быт 1850-х гг., после своего отъезда из Ясной Поляны писал Толстому 21 апреля 1904 г.: «Оказалось, что из двух моих фактических замечаний на вашего берущего за сердце «Хаджи-Мурата» одно оказалось неверным. Действительно, в. к. Елена Павловна могла приехать с красным лакеем. Лакеи в. княгинь носят также красную ливрею, но лишь шляпу надевают поперек головы, а не вдоль, но треугольные шляпы генералов отменены 9 мая 1844 года и заменены касками, так что в описываемое время Чернышев уже не мог надевать шляпы с петушиными перьями».

На это Толстой отвечал 1 мая 1904 г.: «Тронула меня ваша заботливость о таких пустяках, как подробности одежд при Николае. Жена утверждает, что она помнит плюмажи в 50-х годах. Может быть, они оставались у генералов, а государь уже не носил их. Постараюсь при случае справиться по портретам Николая 50-х годов».[2568] Толстому не пришлось навести справки, и соответствующее исправление в текст внесено не было.

Из дневниковой записи Толстого от 7 мая 1904 г. видно, что у него возникло желание выразить в художественной форме свои мысли о Николае I и о декабристах.[2569] В письме к Стасову от 8 мая 1904 г. он опять писал, что ему хочется в этом сочинении изобразить «психологию деспотизма».[2570]

7 июля 1904 г. Толстого посетил писатель С. Т. Семенов, который в своих воспоминаниях приводит слова Толстого о том, что к художественным произведениям он, вероятно, не возвратится, но если умрет, не поправивши такие вещи, как «Хаджи-Мурат», «Отец Сергий», то они ничего от этого не потеряют.[2571] В первых числах сентября 1904 г. в Ясной Поляне гостили В. В. Стасов и скульптор И. Я. Гинцбург, который вспоминал: «6 сентября... гуляли днем в парке. Лев Николаевич рассказал сущность содержания «Хаджи-Мурата».

Находившийся тут же Стасов начал зондировать почву, когда будет напечатано о Шекспире, «Хаджи-Мурат» и пр. Лев Николаевич, улыбаясь, говорит: «Я столько напечатал глупостей, что надо что-нибудь оставить и после смерти».[2572]

В дальнейшем Толстой лишь однажды вернулся к работе над «Хаджи-Муратом». Д. П. Маковицкий записал в своем дневнике 19 декабря 1904 г.: «Сегодня Лев Николаевич усиленно работает: поправлял «Хаджи-Мурата» (его воспоминания о своем сыне Юсуфе)». В этот день Толстой работал над главой XXIII, внеся в нее ряд вставок и стилистических исправлений и выкинув из воспоминаний Хаджи-Мурата замечательную сцену восхождения его сына Юсуфа на гору с соколом на плече.

Над другими главами повести Толстой в этот раз не работал и больше никогда за них не принимался. Таким образом, окончательный текст повести сложился в результате многочисленных исправлений: главы I—XIII — пять раз, глава XIV — не отделывалась, как заключающая письмо Воронцова, глава XV — восемь раз, главы XVI—XXII — два раза, глава XXIII — три раза, главы XXIV—XXV — два раза. Ввиду того, что Толстой не исправил второй части в той мере, в какой намеревался, повесть не может считаться вполне законченным произведением.

Хотя Толстой и не брался в последующие годы за работу над «Хаджи-Муратом», интерес к повести не утратился до последних дней его жизни. 26 января 1905 г. С. А. Толстая под диктовку Толстого записала отрывок под названием: «Продиктовал Лев Николаевич» (см. вариант № 169), заключающий краткий рассказ о жизни Хаджи-Мурата.

К 1905—1906 гг. относится сообщение П. И. Бирюкова: «Мне помнится, как уже в последние годы его жизни, когда я собирал биографический материал и обращался к нему за разъяснениями, я попросил его припомнить обстоятельства его последнего путешествия в Оптину пустынь. Я знал, что он тогда гостил у своей сестры в Шамардинском монастыре, и я спросил его, чем он был тогда занят.

Совсем сконфузившись, шопотом, чтобы никто не слыхал, приблизившись ко мне и вместе с тем с заблестевшими глазами, он сказал: «Я писал «Хаджи-Мурата». Это было сказано тем тоном (простите за вульгарное выражение), каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное. Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем. Конечно, он оставался великим художником до конца дней своих».[2573]

В декабре 1909 г. Толстой получил из Тифлиса «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, 1909, со статьей С. Н. Шульгина «Предание о шамилевском наибе Хаджи-Мурате». В оглавлении книги рукою Д. П. Маковицкого написано: «Лев Николаевич прочел 31/XII 1909 года и рассказал» (хранится в библиотеке Ясной Поляны). С. Н. Шульгин в своих воспоминаниях по этому поводу рассказывает: «В начале января настоящего (1910) года я получил письмо от друга Льва Николаевича, доктора Д. П. Маковицкого, в котором сообщалось, что Л. Н. прочел мое предание о Хаджи-Мурате, сказав домашним и гостям, что нашел его согласным с тем, как ему некогда рассказывали и как он сам описал в своей неизданной повести».[2574]

За четыре месяца до своей смерти Толстой опять получил от того же С. Н. Шульгина эту статью, напечатанную отдельной брошюрой, под заглавием «Из дагестанских преданий о Шамиле и его сподвижниках» (Тифлис 1910), с надписью: «Гр. Льву Николаевичу Толстому в знак глубокого почтения от автора. Июль 1910». Брошюру Толстой просматривал, что видно из того, что она была разрезана им (хранится в библиотеке в Ясной Поляне).

Возможно, что Толстого не оставляла мысль когда-нибудь вернуться к работе над не вполне отделанной второй половиной повести, почему он постоянно держал при себе рукопись. В «Списке всего, что находится у Л. Н. Толстого в письменных столах», составленного в августе 1906 г. М. Л. Оболенскою, упоминается «Хаджи-Мурат». Рукопись повести Толстой держал при себе вплоть до 28 октября 1910 г., когда ночью покинул навсегда Ясную Поляну.

История печатания

После смерти Толстого В. Г. Чертков приступил к немедленной подготовке к печати его неизданных художественных произведений. В число их входила повесть «Хаджи-Мурат». Ввиду отмены после 1905 г. «предварительной цензуры» Чертков опасался, что издание могло по выходе быть конфисковано. По его ходатайству, в изъятие из общих правил, для издания был установлен предварительный просмотр, порученный поэту гр. А. А. Голенищеву-Кутузову, причем Черткову из Министерства двора неофициально было передано желание Николая II самому быть главным цензором Толстого, подобно тому, как его прадед Николай I был цензором Пушкина. Затем положение дел изменилось. Предварительный просмотр издания был возложен на начальника Главного управления по делам печати А. В. Бельгарда, который признал в «Посмертных произведениях» Толстого много «противозаконного», особенно в «Хаджи-Мурате», где по мнению Бельгарда, «император Николай I подвергается недопустимым, крайне грубым и оскорбительным для его памяти нападкам», и кроме того «изложены в дерзостной, неуважительной форме отзывы о нем как носителе верховной власти, а также о царствовавших ранее государях и государынях».[2575] Вследствие этого «Хаджи-Мурат» при первом своем появлении в издании «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», М. 1912, напечатан с рядом цензурных пропусков.

В результате глава о Николае I, которая должна была занять более 10 страниц, в томе III «Посмертных художественных произведений» занимает всего 41/2 страницы.

В главе XVII была напечатана лишь начальная строка: «Аул, разоренный набегами, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским». Остальной текст со слов: «Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат» до слов: «тотчас же принялись за восстановление нарушенного» выпущен.

Одновременно с изданием «Посмертных художественных произведений» в том же 1912 г. в русском издательстве И. П.

Ладыжникова в Берлине (в трехтомном издании посмертных сочинений Толстого) В. Г. Чертковым был напечатан «Хаджи-Мурат» полностью, с восстановлением всех цензурных пропусков.

Многочисленные издания, вышедшие до 1917 г., перепечатывались с русского издания «Посмертных художественных произведений», с 1918 г. большинство — с берлинского издания.

В изданиях 1912 г., как русском, так и берлинском, был напечатан один и тот же текст «Хаджи-Мурата», подготовленный к печати П. А. Буланже, не располагавшим первоначальными рукописями.

В настоящем издании публикуется текст, выверенный по всем автографам Толстого. Помимо устранения ошибок переписчиков, исправлены некоторые авторские описки. Так, в главе IX у Толстого сказано, что Воронцов получил донесение о переходе Хаджи-Мурата на сторону русских «4-го декабря». Надо 7 декабря, так в главе X сказано, что «на другой день после этого донесения Хаджи-Мурат явился к Воронцову», приехал же Хаджи-Мурат в Тифлис 8 декабря. В той же главе дважды упоминается 1852 год, тогда как надо 1851 год, указанный в начале повести.

Основное же редакторское исправление относится к главе XI, где приводится рассказ Хаджи-Мурата о его раннем детстве. Такой же текст, в одних и тех же выражениях, повторяется в главе XXIII, и редакторы делали произвольные сокращения этих двух глав с целью соблюдения стройности произведения. Двукратное приведение этого текста произошло по ошибке переписчицы, не заметившей сделанного Толстым карандашом в рукописи № 58 знака отчеркивания, означавшего исключение этого места из текста главы XI. Этот текст сохранен теперь только в главе XXIII, в которую внесены позднейшие авторские исправления.

У Толстого в первой части повести четыре нукера, во второй — пять. Но эта несогласованность неустранима, так как вторая часть не подверглась, как сказано выше, окончательной обработке.

Список источников

Звездочкой отмечены источники, использованные Толстым; без звездочек — читанные, но неиспользованные.

1. «Акты, собранные кавказскою археографическою комиссией», т. X, Тифлис 1895.

* 2. Андреев А. И., «По дебрям Дагестана» — «Исторический вестник», 1899, 10.

3. «Архив князей Воронцовых», М. 1875—1877, IX, XI.

4. «Aus der Petersburger Gesellschaft», 5-е изд., 1880—1881, тт. I, II.

5. Бенкендорф А. Х. гр., «Записки» — «Исторический вестник», 1903, I—II.

6. Богуславский, «Записки» — «Русская старина», XXVI, XXVII.

7. Булгаков А. Я., «Из писем к брату его» — «Русский архив», 1899—1900.

8. Bernhardi, «Unter Nicolas I», Leipzig 1899, I.

* 9. Вердеревский Е. А., «Плен у Шамиля», Спб. 1856.

10. Воронцов М. С. князь и А. П. Ермолов, «Переписка» — «Русский архив», 1888—1890.

11. Вылежинский Фаддей, «Записки», Спб. 1903.

12. Географические карты Чечни и Дагестана.

13. Gerlach Leopold, «Denkwurdigkeiten», Berlin 1891, 1—2.

* 14. Дондуков-Корсаков А. М., «Воспоминания» — Сборник «Старина и новизна», Спб. 1902, 5.

15. Захарьин-Якунин И. Н., «Встречи и воспоминания. Из литературного и военного мира», изд. Пирожкова, Спб. 1903.

* 16. Здекауер Н. Ф., «Императорская Спб. медико-хирургическая академия в 1833—1863 гг.» — «Русская старина», 1891, IV.

* 17. Зиссерман А. Л., «Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский», М. 1889—1890, тт. I, II, III.

* 18. Зиссерман А. Л., «Двадцать пять лет на Кавказе», Спб. 1879, части I, II.

* 19. Зиссерман А. Л., «История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя А. И. Барятинского

полка», Спб. 1881, тт. I, II, III.

* 20. Зиссерман А. Л., «Хаджи-Мурат, сподвижник Шамиля. Материалы» — «Русская старина», 1881, 3.

* 21. «Императоры Александр I и Николай I. Исторические материалы, к ним и их эпохам относящиеся» — «Русская старина», 1883, 12.

* 22. «Исторический вестник» — за ряд лет.

23. «Кавказ», газета, 1852, № 12.

24. «Кавказский календарь на 1861» (со статьей А. Руновского «Шамиль»).

25. «Кавказский сборник», Тифлис 1876, I—X.

* 26. Казбек Г. Н., «Куринцы в Чечне и Дагестане», Тифлис 1885.

* 27. Камер-фурьерский журнал (выписки) за 1827—1828, 1839; конец 1851, начало 1852.

* 28. Карганова А. А., «Воспоминания о Хаджи-Мурате» (читано в рукописи).

* 29. Карганов И. И., «Воспоминания о Хаджи-Мурате» (читано в рукописи).

30. Киселев И. Д., «Записки» (читано в рукописи).

31. Клюки-фон-Клюгенау Ф. А., барон, «Записки» — «Русская старина», 1876, т. XVI.

32. Корсунский И., «По поводу полувека со времени возобновления Зимнего дворца» — «Русский архив», 1889, 3.

33. Корф Н. А., барон, «Записки». — «Русская старина», 1884, 3—5.

* 34. Custine, marquis de, «La Russie en 1839», Bruxelles 1843, 1—2.

* 35. Lacroix Paul, «Histoire de la vie et du regne de Nicolas I», Paris 1864—1873, тт. I—VI.

36. Мандт М. И., лейб-медик, «Записки» (рукопись).

37. Марков Е. Л., «Очерки Кавказа», Спб. 1887.

38. Марлинский А. А., «Аммалат-бек», Спб. 1847, ч. V. «Мулла-Нур», Спб. 1847, ч. IX.

39. «Московские ведомости», газета, 1852.

40. Муравьев-Карский Н. Н., «Записки» — «Русский архив», 1891, I.

41. Надеждин П. П., «Кавказский край. Природа и люди», Тула 1895.

* 42. Неверовский, «Краткий взгляд на северный и средний Дагестан в топографическом и статистическом отношениях», Спб. 1847.

43. Неверовский, «Краткий взгляд на северный и средний Дагестан до уничтожения влияния лезгинов на Закавказье», Спб. 1848.

44. Неверовский, «Истребление аварских ханов в 1834 г.», Спб. 1848.

* 45. N. N., «Государь Николай Павлович» — «Русский архив», 1881, 2.

* 46. N. N., «Тяжелые времена (Из воспоминаний доктора)» — «Исторический вестник», 1884, V.

* 47. N. N., «Шамиль и Чечня» — «Военный сборник», 1859, IX.

* 48. Огарков В. В., «Воронцовы», Спб. 1892.

49. Окольничий Н., «Перечень последних военных событий в Дагестане» — «Военный сборник», 1859.

50. Ольшевский М. Я., «Записки» — «Русская старина», 1893—1895.

51. «С.-Петербургские ведомости», газета, 1851—1852.

* 52. Полторацкий В. А., «Воспоминания» — «Исторический вестник», 1893, 1895.

53. Половцев А. В., «Бородинская годовщина» — Календарь-альманах «Царь-колокол», Спб. 1889.

* 54. Потто В. А., «Гаджи-Мурат» — «Военный сборник», 1870, II.

* 55. Потто В. А., «История 44-го драгунского Нижегородского полка», десять томов, Спб. 1895.

56. Потто В. А., «Вступительная глава к истории Дагестанского конно-иррегулярного полка». Рукопись (библиотека Ясной Поляны, «Материалы к «Хаджи-Мурату»).

57. Прушановский, штабс-капитан генерального штаба — выписка из путевого журнала. Составлена в 1841 г. (рукопись, 77 стр. — библиотека Ясной Поляны, «Материалы к «Хаджи Мурату»).

58. Руновский А., «Записки о Шамиле пристава при военнопленном», Спб. 1860.

* 59. Руновский А., «Кодекс Шамиля» — «Военный сборник», 1862; «Русский архив», 1888, 1890.

* 60. «Русская старина», 1870—1902.

* 61. «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. I—X, Тифлис 1869—1881.

62. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. I—XL, Тифлис 1881—1902 (библиотека Ясной Поляны).

63. Свод законов Российской империи за 1852 г., Спб. 1857.

64. «Северная пчела», газета, 1852.

65. И. Соколов, «Воспоминания о государе Николае Павловиче» — «Русский архив», 1886, 2.

66. В. А. Сологуб, «Воспоминания», Спб. 1887.

67. Татищев С. С., «Внешняя политика императора Николая I», Спб. 1887.

68. Татищев С. С., «Воцарение императора Николая I» — «Русский вестник», 1893, 3—4.

* 69. Толстой Л. Н., Дневники 1850-х гг.

* 70. Толстой Н. Н., «Охота на Кавказе» — «Современник», 1857, 2.

71. Устрялов Н. Г., «Историческое обозрение царствования императора Николая I», Спб. 1847.

* 72. Филипсон Г. И., «Записки» — «Русский архив», 1884, I.

* 73. Чистович Я. А., «Записки» — «Русская старина», 1886, XII.

74. Шульгин С. Н., «Из дагестанских преданий о Шамиле и его сподвижниках», Тифлис 1910. — Читано Толстым в рукописи в 1903 г. и в напечатанном виде в 1909 г.

75. Шильдер Н. К., «Император Николай I в 1848—1849 гг.» — «Исторический вестник», 1899, LXXVIII.

76. Шильдер Н. К., «Император Николай I и Аракчеев» — «Исторический вестник», 1900.

* 77. Шильдер Н. К., «Император Николай I, его жизнь и царствование», Спб. 1903, 1—2.

* 78. Щербинин М. П., «Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова», Спб. 1858.

* 79. Эсадзе С. С., «Материалы военно-исторического отдела штаба Кавказского округа», 151 выписка (библиотека Ясной Поляны, «Материалы к «Хаджи-Мурату»).

* 80. Юзефович М. В., «Памяти Пушкина» — «Русский архив», 1880, III.

* 81. Юнге Е. Ф., «Воспоминания о Николае I» (читано в рукописи).

82. Янжул М. А., «Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й артиллерийской бригады», 1—2, Тифлис 1886—1887.

Примечания

Запись 1896 г.

1. 2754 *Газета «Кавказ».* — Взято из книги А. Л. Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка», т. II, стр. 73.

2. 2757 *Гюль-Салим.... Карим-гюль,* — Женские имена, взяты из «Сборника сведений о кавказских горцах», вып. VIII, отд. III, ст. В. В. Цветкова «Из горской криминалистики», стр. 2—3.

3. 2757 *Патимат*, — Женское имя (там же, стр. 35).

4. 2758 *Нур-Магома*, *Джамал* — Мужские имена (там же, стр. 4).

5. 2759 *Аймисей* — Женское имя (там же, стр. 7).

6. 27510 *Саит-юрт* — Название «сильнейшего аула у подножья черных гор» («Воспоминания» В. А. Полторацкого — «Исторический вестник», 1893, май, стр. 359).

7. 27511 *Майортуп*, или Маюр-туп — Чеченский аул, упоминается во многих источниках. Толстым это название записано при чтении о «деле в Майортупском лесу» в «Воспоминаниях» В. А. Полторацкого (там же, стр. 360).

8. 27512 *Автуры* — Аул (там же, стр. 360, а также «Русская старина», 1881, 3, стр. 677). Близ этого аула Хаджи-Мурат принял решение передаться русским.

9. 27513 *В Хунзахе* — Записано по книге А. Л. Зиссермана «История 80-го пех. Каб. полка», стр. 245, где сказано: «...старый ханский дворец, обращенный в казарму».

10. 27514 *Турлучный плетень.* — «Больные помещались в турлучных землянках» («турлук» — плетень, обмазанный глиной) (там же, стр. 246).

11. 27515 *Саманный кирпич.* — «Укрепление наше... сложенное из булыжного камня на глине и частью из саманного кирпича, в сущности было довольно плохо» (там же, стр. 297).

12. 27516 *С матерью.... за дровами* — Художественная деталь, относящаяся к детству Хаджи-Мурата; возникла у Толстого при чтении слов: «нередко женщины... на своих плечах приносили хворост» (там же, стр. 247).

13. 27517 *Требование русских властей...* — «На жителях лежала... поправка дорог, которая в горах повторялась каждый год по нескольку раз, а весною и осенью требовала особых трудов» (там же, стр. 247—248).

14. 27518 [18]25 *Проповедь Кази-Муллы* — Там же, стр. 18.

15. 27519 *Осада Хунзаха* — Там же, стр. 19.

16. 27519-24 Поезд*ка в Тифлис.... Цельмес-аул.* — Записи по статье В. Потто «Гаджи-Мурат» — «Военный сборник», 1870, №11, стр. 160—162.

17. 27525-26 *Ахмет-хан аварский.... Гасан*, *брат Ахмет-хана.* — Записи по статье «Мехтулинские ханы» — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. II, отд. IV, стр. 4—5.

18. 27527-28 *Ходили в каракуле.... навыворот.* — Записано по статье Абдуллы Омарова «Как живут лаки». — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. II, отд. III, стр. 7.

19. 27529 *Приносят траву.... спят* — «...После ужина каждое семейство выходит на крышу, где сушится сено, принесенное хозяйкою с поля, и... располагается на отдых» (там же, стр. 9).

20. 27531 *Перетаскивают снопы.* — «...Семейства, у которых давно уже вышел свой собственный хлеб... спешили приносить с поля по несколько снопов и выколачивали колосья палкою» (там же, стр. 8).

21. 27532 «*Даллай*» — *веселая аварская песня.* — Записано по статье Владимира Вилльер де Лиль-Адам «Две недели в Даргинском округе» — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. VIII, отд. II, стр. 8—9.

22. 27533-34 *Из ущелья выходит пар...* — «...Из ущелья поднялся пар и, быстро разгоняемый легким ветром, распространился во все стороны и вскоре покрыл всю местность туманом» (там же, стр. 10).

23. 2761 *Злые собаки.* — «...Я пошел гулять по аулу... множество больших и злых собак, с яростью кидающихся на прохожих» (там же, стр. 10).

24. 2761 *Улашин.* — Распространенное на Кавказе название собак; в источниках не встречается; было известно Толстому раньше (в его рассказе «Кавказский пленник», 1875 г., название «злой-презлой» собаки — «Уляшин»), очевидно, вспомнилось ему при чтении о «злых собаках».

25. 2762-4 *Красные шаровары.... по-египетски* — «...Красные шаровары, серовато-синий бешмет с красными ластовиками и такого же цвета платок... Головной убор их живо напоминает повязку древних египетских женщин» (там же, стр. 12).

Пометы 1897 г. к «Сборнику сведений о кавказских горцах», вып. I, II, III, IV, VI, VII

Материалы Х[аджи]-М[урата]

26. 27623-24 *1) О примирении за убийство.... Комаров, стр. 35.* — Записки по статье А. В. Комарова «Адаты и судопроизводство по ним», вып. I, отд. II.

На стр. 33—35 приведены случаи полюбовных соглашений с убийцами и описывается обряд примирения.

27. 27625-28 *2) Свадебные обряды.... чудесные песни... 28—31.* — Записи по статье А. П. Ипполитова «Этнографические очерки Аргунского округа», вып. I, отд. III, стр. 7—12. Дано

подробное описание горских свадебных обычаев, стр. 13, 18—19, 21, 27—31.

28. 27629-38 *3) Приветствия.... Песня о Хачбаре, удивительная, 41, 42.* — Записи

по статье «Кое-что о словесных произведениях горцев», вып. I, отд. V.

На стр. 6 подчеркнуты Толстым горские приветствия «салям алейкум», «алейкум салям». На стр. 7 подчеркнуты горские проклятия: «утони ты в крови», «да выпьет ворон твои глаза». Отметки Толстого на стр.: 10—12, 14, 16—20, 34—35, 37—42.

29. 27639 *4) Наср Эдин.* — Ссылка Толстого относится к статье: «Казикумухские (лакские) народные сказания», вып. I, отд. V, стр. 68—71, где приведены «Анекдоты» муллы Наср Эдина, «одного из самых популярных лиц на восточном Кавказе» (вып. I, отд. V, стр. 26).

30. 27640-41 *5) С*[*борник*] *к*[*авказских*] *г*[*орцев*] *1. Воспоминания Муталима.* — Запись по статье Абдуллы Омар-оглы «Воспоминания муталима», вып. I, отд. VII, стр. 13—64, где подробно описывается быт горцев.

31. 27642-43 *6) ...Из горск. криминалистики 57, 66.* — В статье «Из горской криминалистики (Извлечение из дел кавказского горского управления)», вып. I, отд. VIII, стр. 57—59, описывается побитие камнями «женщины, обвиненной в прелюбодеянии». На стр. 59—67 — дело об убийстве молодой женщиной семилетнего мальчика, сына от первой жены. Это убийство повлекло за собою ряд убийств, сама женщина была застрелена мужем по требованию разъяренной толпы.

32. 27645—2772 *1) Учение Зикра.... Воззвание.... Шариат, тарикат и марефат 15.* — Зикра по-чеченски — молитвословие. Под тем же названием было известно религиозно-политическое учение, существовавшее на Кавказе в 70-х годах.

Запись относится к статье А. П. Ипполитова «Учение Зикр и его последователи в Чечне и Аргунском округе», вып. II, отд. II, стр. 6, 12—13, 15.

33. 2773-7 *2) История Джемал-Эдина.... Любовь.... О сердце правоверного (30 стр.)* — Толстым отчеркнуто на стр. 3—6 вып.

II, отд. III предисловие к «Учению о тарикате» Джемал Эдина его сына, Сеида Абдурахмана.

Отчеркнуты также на стр. 10 основные правила тариката, на стр. 16 мысли о любви.

На стр. 30 Толстым отчеркнуто: «Сердце боговедающего человека шире всего в мире: если бы престол божий и все, что окружает его, увеличить в 1 000 000 раз и бросить в один из углов сердца правоверного, последний даже не заметил бы этого».

34. 2778 *То, что испытывает дед.* На стр. 35—36 рассказывается о духовном состоянии последователей тариката. Очевидно, отмечено Толстым для характеристики деда Хаджи-Мурата, который по первоначальному плану должен был фигурировать в повести.

35. 2778-9 *Красноречие в письмах.... с людьми.* — На стр. 35—48 приводятся образцы писем последователей тариката, изобилующие художественными сравнениями.

36. 27710-12 *3) Материалы для истории Дагестана 7.... События 42-го года 35, 36.* — Отмечается статья А. К. «Казикумухские и кюринские ханы», вып. II, отд. IV, стр. 7, 28—29, 34—38.

37. 27712-14 *Мехтул*[*инские*] *ханы.... Тарков*[*ским*]. — Статья «Мехтулинские ханы», без подписи, вып. II, отд. IV; на стр. 7 сказано: «Паху-бике домогалась, чтобы с поступлением сыновей ее в подданство России им возвращен был удел их отца из Мехтулинского ханства». На той же странице отчеркнуто место, где сказано, что Салтанет-бике, дочь аварской ханши, была замужем за Шамхалом Тарковским.

38. 27716-17 *Влезают на крышу.... 5) Свадебные обычаи у кабард*[*инцев*]. — Запись по статье Н. Ф. Грабовского «Свадьба в горских обществах Кабардинского округа», вып. II, отд. VI, где на стр. 3 рассказывается, что молодежь карабкалась на плоские крыши саклей, чтобы видеть свадебный поезд.

На стр. 12—24 описываются свадебные обычаи кабардинцев.

39. 27718-24 *6) горе по мертвому.... 7).... Что будет при конце света...* — Записи по статье Абдуллы Омар-оглы

«Воспоминания муталима», вып. II, отд. VII, стр. 3, 5, 27, 29—30, 31, 32, 59.

40. 27725-26 *С*[*борник*] *к*[*авказских*] *г*[*орцев*] *III.... Молитва 15—18.* — На стр. 7—10, вып. III, отд. I, в статье «Низам Шамиля» приведено «Положение о наибах». На стр. 12 указывается, что армия Шамиля делилась на сотни и десятки; на стр. 16 приводится молитва о ниспослании побед Шамилю.

41. 27729 *Привилегир*[*ованные*] *сословия кабард*[*инского*] *ок*[*руга*]. Под этим названием в вып. III, отд. I, стр. 1—12, помещена статья о кабардинских владетельных князьях.

42. 27731—2782 *2) Время молитв.... 20) Брачный пир*, *зурна. 29* — Записи №№2— 20 произведены по статье Н. Львова «Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского племени», вып. III, отд. III, стр. 2, 5, 6, 8, 9, 10—14, 18, 22—27.

43. 2783-40 *21) Буттай — папа.... 54) Чуреки с мятой.* — Толстой отмечает места из воспоминаний Абдуллы Омарова «Как живут лаки», напечатанных в вып. III, отд. III, стр. 5—10, 12—18, 21—24, 28—30, 33—36, 38, 42—46.

44. 27841-47 *Путешествие по Дагестану.... 59) Костюмы и пляска «той», 35.* — Записи сделаны по статье Н. И. Воронова «Из путешествия по Дагестану», вып. III, отд. III, на стр. 18, 19, 27, 32—34.

45. 27849 *60) Уголовные случаи.* — Имеются в виду случаи убийств и самоубийств, изложенные в статье «Из горской криминалистики», вып. III, отд. IV, стр. 1—28.

46. 2791-4 61*) С*[*борник*] *К*[*авказских*] *Г*[*орцев*] *VI.... 63) Анекдот о свинье.* — Записи сделаны по статье Умалата Лаудаева «Чеченское племя», вып. VI, отд. I, в которой много мест отчеркнуто рукой Толстого, стр. 36, 54—56.

47. 2795-11 64) *Кабардинск*[*ая*] *старина.... 70) Гладки*, *как коровы яловые.* — «Кабардинская старина», вып. VI, отд. II — рассказы из жизни кабардинцев, стр. 20, 23, 47, 50—64, 70.

48. 27913 *71) Строгает палочку.* — Соответствующего текста в данном выпуске «Сборника» не имеется. Возможно, что это художественная деталь, вспомнившаяся Толстому, которую он тут же записал, чтобы после ею воспользоваться.

49. 27914 *72) Вытянув мертвому как следует руки и ноги.* — На стр. 80 рассказывается, что один горец убил другого горца, после чего «прикрыл его буркой, вытянув ему, как следует, руки и ноги».

50. 27915 *73) Все сказки кабардинские.* — «Кабардинские сказки» напечатаны на стр. 104—128.

51. 27916-19 *С*[*борник*] *К*[*авказских*] *Г*[*орцев*]*,* IV.... *Пословицы.* — Записи сделаны по статье А. И. фон-Плотто «Природа и люди Закатальского округа», вып. IV, отд. I. На стр. 2—3 — описание фауны и флоры Алазанской долины, на стр. 23—28 подробное описание жилища, обстановки и одежды жителей Алазанской долины; на стр. 28—42 описание свадьбы, на стр. 42—46 описание похорон; на стр. 59—61 пословицы и поговорки жителей Алазанской долины.

52. 27920-28 *Истинн*[*ые*] *последоват*[*ели*] *Тари*[*ката*]*.... 81) Пророк лучше*, *чем сами.* Записи по статье «Истинные и ложные последователи тариката», перевод с арабского, с предисловием А. Омарова, вып. IV, отд. I. Отмечены гл. I, III — VI.

53. 27929 *82) Ичкерит — умирая завещал (13).* — Запись по статье И. М. Попова «Ичкерия», вып. IV, отд. I, стр. 13: «Аварцы, опустошив часть аула, уже отступали обратно, когда Бэрсан догнал главу партии и выстрелом нанес ему смертельную рану. Раненый, падая с лошади, сказал: «Бэрсан, я шейх Гада; истинно следуя закону пророка Магомеда, я учил народ идти путем правым; умирая от руки твоей, я именем аллаха завещаю тебе силу моего слова и учения пайхомара (пророка): обращай народ в мусульманство и прими его прежде сам». Сказав последние слова, Гада умер. Бэрсан возвратился домой печальным от первого впечатления случившегося, но вскоре принял мусульманство и начал проповедывать учение Магомеда».

54. 27930-32 *83) Голубь.... 84) Пословицы. — 83)* Народная легенда о голубе, прочитанная Толстым в статье Ч. Ахриева «Несколько слов о героях в ингушевских сказаниях», вып. IV, отд. II, стр. 3. Содержание легенды в том, что Солса перед смертью мучила страшная жажда и когда в предсмертной агонии, после отказа вороны и волка принести ему воды, он

обратился с тою же просьбою к пролетавшему мимо голубю, голубь принес ему в красных чевяках воды, и Солса, утоливши жажду, умирает, поблагодарив голубя и погладив его по шейке. Оттого-то, будто бы, говорят ингуши, у голубя шея золотистая, и кричит-то он так: «как солсан кок». *(84)* Сказки и пословицы в той же статье, стр. 4—33.

55. 27933-46 *85) Как живут лаки.... 98) Топливо: бурьян и кизяк.* — Записи по статье Абдуллы Омарова «Как живут лаки», вып. IV, отд. III.

На стр. 2 Омаров рассказывает *(85)* об обычае «кунаков по преданию»: «Каждый горец имеет в прочих аулах по одному камаличу, т. е. близко знакомому человеку, у которого он гостит в случае, если ему приходится бывать в чужом ауле».

В следующих записях *(86)* Толстой отмечает описание полевых работ (жатву) горских женщин и провозглашение «выхода серпа», стр. 3, 7—18, 20, 22—24.

56. 27947 *99) Невеста.... Сватьба осетин (28)* — Запись сделана по статье Джантемира Шанаева «Свадьба у северных осетин», вып. IV, отд. III, стр. 2, где рассказывается, что в первое время пребывания невестки в семействе обычай запрещает ей говорить с кем бы то ни было из семейства громко; по крайней мере, два или три месяца она должна говорить вполголоса.

57. 2801-2 *100) Из горск*[*ой*] *кримина*[*листики*]*.... пение Зикарло* — Записи по статье «Из горской криминалистики», вып. IV, отд. IV, стр. 53—86. Толстым отчеркнуто несколько мест, касающихся Тазы Экмирзаева, поднявшего в 1865 г. восстание жителей аула Харачой. В одном из его воззваний (стр. 57) говорится: «приготовляйтесь к войне и изгнанию неверных из земель наших». На стр. 61 рассказывается, как *(101)* «неграмотный пастух, Таза Экмирзаев, находясь в полубредовом состоянии, объявил себя духовным вождем, имамом, и нашел приверженцев. При провозглашении его имамом раздавалось пение зикарло». (*Зикарло* от слова «зикр» — молитвословие.)

58. 2804-12 *103) С*[*борник*] *О К*[*авказских*] *Г*[*орцах*]*,* VII — *110).... и положил шашку.* — Записи по статье Гаджи-Али «Сказание очевидца о Шамиле», вып. VII, отд. I. На стр. 11

Толстой отмечает место, где сказано, что *(105)* при избрании Шамиля имамом «кадий, подняв руки к нему, произнес «фатиха», что значит: кончено, быть посему, и, по обычаю, погладил обеими руками бороду».

На стр. 12 отмечается место *(106),* где говорится, что 11-летнего сына ранее убитой Гамзат-беком аварской ханши, Булач-хана, Шамиль приказал бросить в реку с моста.

На стр. 17 Толстым отчеркнуто: «Перед прибытием в Телетль, Шамиль послал с возвышенности Каралал в Андалал *(107)* письмо следующего содержания: «Я и вы — братья по религии. Две собаки дерутся, но когда увидят волка, то, забыв свою вражду, вместе бросаются на него. Хотя мы враги между собою, но русские — волк наш, а потому прошу вас соединиться со мною и сражаться против общего врага; если же вы не поможете мне, то бог — моя помощь». На стр. 37 приведена речь Шамиля *(108),* которую он произнес по прибытии в Ахты.

(109) «Когда Шамиль увидел, что народ, наибы и даже самые приближенные изменили ему и что он окружен с четырех сторон русскими, то, оставив в Ичичах орудия, железо, хлеб, медную посуду, постели, одеяла и много разной домашней утвари, бежал с горстию мюридов на Гуниб, взяв с собою: на 6-ти лошадях золото и серебро, на каждой лошади по 4 т. руб.; на одной лошади разные драгоценности; на 17-ти лошадях книги; на 3-х лошадях ружья; на 3-х лошадях шашки, пистолеты, кинжалы и панцыри; на 40 лошадях разные вещи, платья жен, сукна и прочее. В четверг 4-го сафара 1276/1859 года Шамиль выехал из Ичича с гумбетовцами и их наибом Уцми. Они провожали его до моста Конхидатльского, а там, распростившись с ним, со слезами на глазах возвратились домой» (стр. 58). На стр. 67 сказано, что *(110)* в последние минуты перед сдачей русским Шамиль «приготовился защищаться, положив перед собою шашку и заткнув полы за пояс».

59. 28014-39 *111) Среди горц*[*ев*] *Северн*[*ого*] *Даг*[*естана*]*.... 124) Вухка-той-тойче.* — Записи по статье Гаджи-Мурада Амирова «Среди горцев Дагестана (из дневника гимназиста)»,

вып. VII, отд. III, стр. 13, 16, 19, 23—25, 27, 29—32, 34—38, 41—44, 48, 56, 59—62, 64, 72—77.

Запись 1898 г.

60. 28042 *Османли Гаджиев — дед.* — Дед Хаджи-Мурата. Имя взято из книги А. Л. Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка», т. II, стр. 37.

61. 28043 *Абдулл — отец.* — Действительное имя отца Хаджи-Мурата — Итин-Магомет; упоминается А. Неверовским в брошюре «Истребление аварских ханов в 1834 г.», Спб. 1848, стр. 30. Но Толстой в 1896 г. брошюру Неверовского не читал и дал отцу Хаджи-Мурата вымышленное имя.

62. 2811 К*ази-Мулла атак*[*ует*] *Хунзах.* — Взято из той же книги Зиссермана, стр. 19.

63. 281*2 Смерть Кази-Муллы* — Кази-Мулла при наступлении на Хунзах в 1832 г. «с 60 лучших своих приверженцев был убит в башне» (там же, стр. 28).

64. 2812 <*убийство*> *хан*[*ов*].— Убийство трех молодых аварских ханов Гамзат-беком, произошло 13 августа 1834 г. (там же, стр. 36).

65. 2813 <*убийство*> *и Гамзат Бека.* — Гамзат-бек после завоевания им Хунзаха был убит в мечети 19 сентября 1834 г. братьями Османом и Хаджи-Муратом (там же, стр. 38).

66. 2814-5 *По 36 год Гадж*[*и*]*-Мур*[*ат*].... *Магом*[*ед*] *Мирза*, *слабый характер*[*ом*] *и здоровьем.* — В этих записях Толстой отмечает историю управления Аварией Хаджи-Муратом в первые годы после убийства Гамзат-бека («Русская старина», 1881, 3, стр. 669).

За его управлением было поручено наблюдать Аслан-хану, а после смерти Аслан-хана 17 апреля 1836 г. барон Розен назначил сыновей Аслан-хана Нуцал-Агу и Магомеда-Мирзу. Последний был «слабый здоровьем и характером и потому малоспособный к управлению» («Сборник сведений о кавказских горцах», вып. II, отд. IV, стр. 29—30).

67. 2817-8 *Убили Гарун-Бека.... 31* — После смерти Аслан-хана и его сына Нуцал-Аги, не успевших отомстить Гарун-Беку за его участие в убийстве Муртузали — их родственника, Гарун-Бек отправился к Магомед-Мирзе, чтобы выразить свое сожаление о смерти его брата Нуцал-Аги. Магомед-Мирза, обедавший в это время с Ахмед-ханом Мехтулинским, едва только увидел вошедшего Гарун-Бека, велел своим «нукерам отрубить ему голову» (там же, стр. 31).

68. 2819 *Гаджи-Ягья.* — После отъезда Магомед-Мирзы из Хунзаха управлял одно время Аварией его двоюродный брат Гаджи-Ягья (там же, стр. 31).

69. 28110-11 *Ахмед-Хан 1836 г.... к орудию.* — С октября 1836 г. управление Аварией было поручено Ахмед-хану Мехтулинскому (там же, стр. 31), личному врагу Хаджи-Мурата. О нем Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову: «Ахмет-хан обвинил меня в тайных сношениях и переписке с Шамилем, отвел к коменданту крепости, где я содержался в продолжение 9 дней привязанным к орудию» («Русская старина», 1881, 3, стр. 669).

70. 28113 *Жена чеченка.* — «Жена моя чеченка», — рассказывал Хаджи-Мурат Лорис-Меликову («Русская старина», 1881, 3, стр. 676).

71. 28114-16 *Туту... Шамай.* — «Ту-ту-бике была родная сестра Аслан-хана... Из семейства Аслан-хана остались в живых только жена его Умми-Гюльсеум-бике и его малолетняя внучка Шамай-бике» («Сборник», вып. II, отд. IV, стр. 32).

72. 28117-18 *Шамиль берет.... Буцал-Хана и убивает его.* — Об этом Толстой прочитал у Зиссермана в «Истории 80-го пехотного Кабардинского полка», где сказано: после убийства Гамзат-бека Шамиль «вытребовал у тестя Гамзат-бека всё собранное им имущество и младшего из сыновей несчастной ханши Паху-бике, Булач-хана. Этого десятилетнего мальчика Шамиль приказал убить и тело бросить с кручи» (т. II, стр. 37).

73. 28120 *В Цельмесе.... Клюге фон Клюгенау.* — Запись из рассказа Хаджи-Мурата Лорис-Меликову своей биографии («Русская старина», 1881, 3).

74. 28121 *И мюридизм.* — Возможно, что Толстой имеет в виду главу II во втором томе «Истории 80-го пехотного Кабардинского полка» Зиссермана, о возникновении мюридизма, а может быть, отмечает свое намерение описать новое стремление Хаджи-Мурата к мюридизму после разочарования в русских.

75. 28122 *38-й год.* — Дальнейшие записи Толстой произвел на основании рассказа Хаджи-Мурата Лорис-Меликову («Русская старина», 1881, 3, стр. 669—677).

76. 28122 *первое сражение с русскими.* — Даты 1838 г. в источниках нет. Первое сражение Хаджи-Мурата с русскими войсками происходило в 1840 г., вскоре после ареста Хаджи-Мурата и его первого бегства от русских (там же, стр. 669).

77. 28123 *Убит Бакунин.* — В 1841 г. в сражении с Хаджи-Муратом был убит начальник отряда молодой генерал Бакунин (там же, стр. 669).

78. 28124 *Ахмет-Хан убил двоюрод*[*ных*] *братьев 3-х.* — После сражения 1841 г. Ахмет-хан, прибыв в Хунзах, заковал трех двоюродных братьев Хаджи-Мурата и через несколько дней приказал жителям убить их (там же, стр. 670).

79. 28125 *С 38 по 50 — воевал с русскими.* — Действительные даты участия Хаджи-Мурата в войне против русских: 1840—1851 гг. Толстой указывает годы с 38 по 50 на основании рассказа Хаджи-Мурата, который говорит: «Авария подпала под власть Шамиля. Назначенный наибом Аварии... я в продолжение двенадцати лет воевал с русскими» (там же, стр. 670).

80. 28126 *В 43 г. 7000 бар*[*анов*]*.... скота* — «В 1843 г.... я... угнал 7000 баранов, 100 лошадей и 300 голов скота» (там же, стр. 671—672).

81. 28127 *46... Нох Бике.* — Об этом событии Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову: «Питая вражду к дому Ахмет-хана Мехтулинского, я с партиею в 200 человек, в 1846 г., ночью вошел в селение Джунгутай и увез вдову его Нох-Бике» (там же, стр. 672).

82. 28128 *600 гол*[*ов*] *скота.* — Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову, как он «отбил 600 голов скота» (там же, стр.

672). 1847 г. — дата Толстого.

83. 28129 *В 49 году.... лавки.* — Об этом Хаджи-Мурат рассказывал: «В 1849 г., желая разгромить лавки, я ночью ворвался в Темир-Хан-Шуру» (там же, стр. 673).

84. 28130 *50.... Хаджи Агу* — Продолжая свой рассказ, Хаджи-Мурат говорит: «В 1850 г. хотел взять в плен Хаджи Агу Илисуйского, собрал партию и отправился туда, но он, узнав о пребывании моем, бежал» (там же, стр. 674).

85. 28131 *51. Убил Золотухина.* — Там же, стр. 674.

86. 28132 *Мунафики.* — Написано па полях и дважды подчеркнуто Толстым. Это же слово подчеркнуто им в статье Абдуллы Омарова, «Воспоминания муталима» — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. II, отд. VI, стр. 11, где в примечании сказано: «мунафик (араб.) означает безбожный, принужденный, притворяющийся мусульманин... Мюриды называли вообще всех покорных русскому правительству мусульман мунафиками».

Конспект 1902 г.

87. 28136 *25-й год. Ему 13 лет.* — Год рождения Хаджи-Мурата в источниках не указан. Толстой относит его к 1812 г. на основании ряда датированных событий в жизни Хаджи-Мурата.

88. 28136 *у деда проповедь хазавата.* — Источником послужил рассказ Абдуллы Омар-оглы о трех старцах, проповедниках мюридизма, которых он застал у отца «сидящих рядом, положа под себя ноги, с четками в руках» («Сборник сведений о кавказских горцах», вып. I, отд. VII, стр. 20).

89. 28137-38 *Нападение на Хунзах* — Осада Хунзаха Кази-Муллой в действительности происходила в 1832 г. У Потто она отнесена к «тридцатым годам» («Военный сборник», 1870, 11, стр. 159).

90. 28138 *Смерть отца* — Источники этого события: «Военный сборник», 1870, № 11, стр. 159, и рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову — «Русская старина», 1881, стр. 668.

91. 28138 *Он мюрид.... в горы.* — См. ред. первая, четвертая и седьмая.

92. 28139 *28-й год.* — Дата Толстого, в источниках ее нет.

93. 28139 *Он муталим.* — Об этом в источниках нет. Толстой хотел использовать «Воспоминания муталима» («Сборник сведений о кавказских горцах», вып. I, отд. VII).

94. 28139 *Казнь женщины.* — См. прим. 31.

95. 28139 *Он нукер Омар-Хана.* — По источникам Хаджи-Мурат не был нукером Омар-хана.

96. 28140 *Женится.* — О женитьбе Хаджи-Мурата в источниках данных нет. Для описания свадебных обычаев на Кавказе Толстой отметил много материалов в «Сборнике сведений о кавказских горцах».

97. 28141 *под Гимрами.* — Гимры — аул в северном Дагестане, где в 1832 г. произошло сражение между отрядами бар. Розена и Кази-Муллы, в котором последний был убит. См. прим. 65.

98. 28141-42 *Дружба с ханами.... Молодечество.* — О дружбе Хаджи-Мурата с аварскими ханами в источниках нет. О молодечестве взято из статьи А. Омарова «Как живут лаки» («Сборник сведений о кавказских горцах», вып. IV, отд. III).

99. 28143—2823 *33. Гамзат-бек угрожает.... Хаджи-Мурат выбран.* — Источником послужили сочинения Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка», т. II, стр. 29—31, В. Потто, «Гаджи Мурат» — «Военный сборник», 1870, №11, стр. 160, и «Русская старина», 1881, 3, стр. 668—669. Данных, свидетельствующих об укреплении в Хаджи-Мурате ненависти и презрения к русским под впечатлением его пребывания в Тифлисе, в источниках не имеется.

100. 2824 *35*, *36* — 1835 и 1836 годы — даты Толстого.

101. 2825-6 *Награды.... честолюбие.* — О наградах Хаджи Мурат говорил Лорис-Меликову: «По занятии Хунзаха русскими войсками, я пользовался особенным расположением Клюки-фон-Клугенау, получая часто денежные награды» («Русская старина», 1881, 3, стр. 669).

102. 2827 *Фези.... Ахмет-хан.* — Фези — «страшный для горцев генерал», занявший Хунзах 27 мая 1837 г. (В. Потто,

«Гаджи-Мурат» — «Военный сборник», 1870, № 11, стр. 161). Повидимому, у Толстого было намерение связать приход в Аварию Ахмет-хана Мехтулинского с взятием Хунзаха генералом Фези. В действительности управление Аварией было поручено Ахмет-хану в октябре 1836 г. («Сборник сведений о кавказских горцах», вып. II, отд. IV, стр. 31).

103. 2828 *38. Интриги против Ахмет-хана.* — 1838 г. — дата Толстого. Здесь очевидная описка, следует понимать: «интриги Ахмет-хана против Хаджи-Мурата» («Русская старина», 1881, 3, стр. 669; Потто, «Военный сборник», 1870, 11, стр. 162).

104. 2829-11 *39. Набег — Отправляет жену с детьми.* — В источниках о набеге Хаджи-Мурата в 1839 г. ничего нет. Об отправке жены и детей к Шамилю также нет в источниках.

105. 28214 *43 г. война (Бакунин убит).* — В действительности сражение с русскими, в котором участвовал Хаджи-Мурат и в котором был убит Бакунин, происходило не в 1843 г., а в 1841 г. (см. прим. 79).

106. 28215 *Сухарная экспедиция.* — О своем участии в этой экспедиции — «походе русских в Дарго» в 1845 г. — сам Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову («Русская старина», 1881, 3, стр. 672).

107. 28216 *в Кабарду.* — См. там же, стр. 672—673.

108. 28216 *жену взял еще оттуда.* — Об этом в источниках не упоминается.

109. 28217 *Гергебиль.... с Шамилем.* — Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову: «В 1848 г., перед осадою русскими Гергебиля, я был болен и позже других наибов присоединился к сборам. Враги мои, пользуясь тем, успели очернить меня пред Шамилем, уверив его, что я не хочу воевать с русскими» (там же, стр. 673).

110. 28220 *У Дербента отогнал табун*, *убил Золотухина.* — Хаджи-Мурат рассказывал Лорис-Меликову: «В 1851 году, на покосах близ Дербента, на рассвете, отогнал табун и, боясь преследования, быстро направился к Озени... Загородив себя бревнами, я расположился там для ночлега... Русские два раза штурмовали мой завал, но были отбиты, на втором штурме я

был ранен драгунским полковником Золотухиным шашкою в руку, который тут же убит мною» (там же, стр. 674).

111. 28221 *убил в его доме.* — Об этом Хаджи-Мурат рассказывал: «...Я выехал в селение и направился прямо к дому Шах-Вали, брата Шамхала, ни он сам, ни жители не хотели сдаваться... Дом его был занят, сам он убит с оружием в руках, жена, трое детей и служители их взяты в плен» (там же, стр. 674).

112. 28222 *52. Шамиль требует 2500 р. ... на его место* — (там же, стр. 675—676).

Конспекты 1902 г.

113. 282—283 Составлены по тем же источникам, что конспект №5.

Запись 1902 г.

114. 28328-29 *Ляиляха иллаллах.... ррахил* — Взято из статьи Абдуллы Омарова «Как живут лаки» — «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. III, отд. III, стр. 9—10.

Запись 1902 г. (?)

115. 28332-35 *Абунунцал-хан.... полковник Аварии.* — Запись сделана по книге А. Л. Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка», т. II, стр. 35—38.

Словарь горских слов

В эпоху, к которой относятся события, описанные в «Хаджи-Мурате», многочисленные мелкие племена, населявшие Кавказ, не имели одного общего языка, а каждое племя говорило на

своем собственном наречии. Всех наречий насчитывалось около шестидесяти. Но для сношения разных племен между собою существовал татарский язык в двух его разветвлениях: 1) на юго-восточном Кавказе — адирбеджанский, 2) на северо-восточном — кумыкский. Почти каждый горец имел кое-какие познания в межплеменном языке, как и в языках соседних племен.

Кроме того, в языки горцев входили многие арабские выражения, сохранившиеся со времен покорения Кавказа арабами и прививавшиеся исламом. Были у горцев в употреблении также многие персидские и турецкие слова ввиду близости горцев к Персии и Турции. Толстому хорошо была известна вся эта своеобразная смесь кавказской речи по его непосредственным наблюдениям в молодости, а также по позднейшему изучению печатных источников. Поэтому, начиная с первого наброска повести и кончая последней ее редакцией, Толстой вкладывал в уста Хаджи-Мурата, аварца родом, не только аварские слова, но и татарские (кумыкские), чеченские, арабские и др. Так же говорят в повести и остальные горцы. Большинство приведенных Толстым горских слов заимствовано им не из печатных источников, а сохранялось в его памяти со времени пребывания на Кавказе. Написание горских слов у Толстого не всегда одинаково, особенно разнообразно пишется мусульманское молитвословие: «Нет бога, кроме бога». В свою Записную книжку за сентябрь 1902 г. Толстой старательно вписал точное начертание этой фразы: «ляилаха илла ллах» явно для того, чтобы придерживаться этой транскрипции

Абрек (черкесск.) — беглый горец, разбойник.

Аварцы — самая многочисленная народность, населявшая средний Дагестан.

Адат (арабск.) — обычай, освященный давностью, обычное право кавказских горцев.

Айя (ногайск.) — да.

Алейкум-селям (арабск.) ответное приветствие, см. селям-алейкум.

Аманат (арабск.) — заложник.

Ана (кумыкск.) — мать.

Ана сени алесин о n сини алейсин) (кумыкск.) — ругательство: да плачет его мать.

Анджимах (казикумыкск.) — праздник весны.

Атлар (кумыкск.) — лошадь.

Аул (турецк.) — селение.

Бабай (казикумыкск.) — мать.

Байрам — см. Курбан-Байрам.

Бар (кумыкск.) — есть.

Баранчук (кумыкск.) — ребенок.

Бешмет (турецк.) — нижняя стеганая или суконная поддевка.

Бисмилля хиррах мани ррахил (арабск.) — во имя бога всемилостивейшего; молитвословие, стоящее в начале каждой главы корана.

Бу[о]лур (кумыкск.) — будет.

Буттай (казикумыкск.) — отец.

Вука (кумыкск.) — коллективные земледельческие работы.

Гирекма (кумыкск.) — можно ли.

Гу (арабск.) — о ты, который есть — молитвословие.

Гумбетовцы — жители селения Гумбет в Аварии.

Гурда (чеченск.) — «шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру Гурда» (объяснение Толстого в «Казаках», т. 6, стр. 55).

Давар (арабск.) — вечерние чтения корана в мечети, во время которых слушающие сидят вокруг фонаря.

Далай (аварск. и др.) — народный припев, исполняемый хором или соло.

Джаваат (арабск.) — совет старейших.

Джигит (кабардинск.) — искусный наездник.

Джины (арабск.) — добрые и злые духи.

Закат (арабск.) — десятая часть урожая, жертвуемая в мечеть и в пользу бедных.

Зикарло — множ. число от слова «зикр».

Зикр[а] (арабск.) — молитвословие.

Иллах — см. Ляилаха илла ллах.

Ила хара (аварск.) — оборотись — выкрикивания при танцах.

Имам (арабск.) — мусульманский владыка, соединяющий в своем лице высшую духовную и светскую власть.

Истихар-намаз (арабск.) — особая молитва, к которой Шамиль прибегал, когда сомневался; состояла в загадывании: если приснится что-либо белое или зеленое, дело можно начинать, если черное или красное, надо отложить дело.

Ичкериты — небольшая горская народность, ответвление чеченцев.

Иок (кумыкск.) — нет.

Кадий (арабск.) — духовное лицо, исполняющее обязанности судьи.

Казикумухцы — см. Лаки.

Кайсубулинцы — жители общины Кайсубул в Аварии.

Карахцы — жители общины Карах в Аварии.

Качаг (кумыкск.) — то же, что абрек.

Кизяк (кумыкск.) — смешанный с соломой и высушенный навоз, употребляемый для топлива.

Кистинцы — небольшая народность, ответвление черкесов, проживавшая в глубоком ущелье рек Арм-хи и Кистин.

Кошкильды — или хошгельди (кумыкск.) — о n мир вам (объяснение Толстого в «Казаках», т. 6, стр. 45).

Коран (арабск. — чтение) — священная книга мусульман.

Куди (кумыкск.) — резать.

Кумган (кумыкск.) — высокий медный кувшин с носиком и крышкою.

Кумыки — народность тюркского племени, проживавшая в Дагестане на берегу Каспийского моря.

Кунак (турецк.) — друг, товарищ.

Курбан-Байрам (арабск.) — главный мусульманский праздник, связанный с легендой о жертвоприношении

библейского праотца Авраама.

Курпей (кумыкск.) — верх папахи.

Лаилах — см. Ляилаха илла ллах.

Лаки (казикумухцы) — тюркское племя, обитавшее в среднем Дагестане.

Ламорой (чеченск.) — презрительное название жителей гор.

Ляилаха илла ллах (арабск.) — нет бога, кроме бога (одно из главных мусульманских молитвословий, часто повторяемых).

Мегирек (кумыкск.) — всё равно.

Месахи-акебар (арабск.) — мировое начало.

Минарет (арабск.) — башня при мечети.

Мичицкие — жители аулов, расположенных по берегам реки Мичик.

Морифат (арабск.) — высшая ступень духовного совершенства.

Мугаммадунрасуллах (арабск.) — Магомет есть посол божий (мусульманское молитвословие).

Мунафик (арабск.) — неискренний, лицемерный мусульманин.

Муталим (арабск.) — воспитанник духовной школы.

Муэдзин (арабск.) — служитель мечети, выкрикивающий с высоты минарета призывы к молитве.

Мюрид (арабск.) — послушник, «искатель истины». «Слово мюрид имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем» (объяснение Толстого в «Набеге», т. 3, стр. 30).

Мюридизм — националистическое религиозное движение, наиболее реакционное проявление ислама, основанное на угнетении народных масс и поддерживавшееся в 1820—1850 гг. Турцией и Англией.

Мюршид (арабск.) — руководитель мюрида.

Наиб (арабск.) — «наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления» (объяснение Толстого в «Набеге», т. 30, стр. 30).

Намаз (персидск.) — повседневная молитва мусульман, совершаемая пять раз в сутки.

Нахабар (кумыкск.) — что нового.

Низам (арабск.) — порядок; также — регулярное войско.

Ноговицы — одни голенища, без головок.

Нукер (персидск.) — служитель, телохранитель.

Отур (кумыкск.) — садись.

Пешкеш (персидск.) — подарок.

Пильгиши (чеченск.) — пельмени или клецки с начинкой.

Рамазан (арабск.) — 9-й месяц мусульманского года, месяц главного о

Саубул (кумыкск.) — «будь здоров» (объяснение Толстого в «Казаках», т. 6, стр. 129).

Сакля (грузинск.) — хижина.

Сардарь (персидск.) — главнейший правитель, командующий войсками, у горцев — царский наместник Кавказа.

Селям-алейкум (арабск.) — привет тебе, здравствуй.

Селям-алейкум-рахматум (арабск.) — привет тебе, здравствуй, благословляю тебя.

Сераль (персидск.) — дворец.

Сулук (кабардинск.) — род ковша из толстого сафьяна, хранившийся под седлом наездника.

Тавлинцы — общее название жителей северного горного Дагестана.

Тарикат (арабск.) — религиозное мусульманское учение о подвижнической жизни.

Той (кумыкск.) — пирушка с музыкой, песнями и плясками.

Тулумбасы (персидск.) — музыкальный ударный инструмент.

Уйде (кумыкск.) — «дома» (объяснение Толстого в «Казаках», т. 6, стр. 60).

Улан (кумыкск.) — мальчик.

Улан-якши (кумыкск.) — молодец, парень.

Фатиха (арабск.) — свершилось!

Хаджи (арабск.) — звание мусульманина, совершившего паломничество в Мекку и Медину для поклонения священному камню и гробу Магомета.

Хаджи-Мурат (арабск.) — «Хаджи» — то же, что предшествующее слово, «мурат» — дорогой. У горцев были распространены двойные имена: Нурсул-ислам («нурсул» — сияние, «ислам» — религия), Курбан-али («курбан» — жертвующий, «али» — храбрейший) и др. Имена собственные, взятые из религиозной терминологии, теряли свое первоначальное значение, и если бы герой повести Толстого совершил паломничество в священные места, то именовался бы «Хаджи Хаджи-Мурат»; фамилий у горцев не было, некоторые роды имели общее название. Род Хаджи-Мурата назывался «Гаджии».

Хабар иок (кумыкск.) — нет ничего нового.

Хазават (арабск.) — т. наз. «священная» война против иноверцев, один из лозунгов воинствующего мусульманства.

Хевсуры — небольшая горская народность.

Хинкал (аварск.) — лепешка из пряного теста.

Хозыри (арабск. — готовые к стрельбе) — футлярчики для патронов по обеим сторонам груди.

Чайпильгиши — см. Пильгиши.

Чихирь (кумыкск.) — молодое вино.

Чугуре (аварск.) — духовой музыкальный инструмент.

Шейх (арабск.) — духовный наставник.

Шариат (арабск.) — гражданское законодательство, основанное на коране и других священных мусульманских книгах.

Эмджек (кумыкск.) — молочный брат.

Ягу — см. Гу.
Я кайюм (арабск.) — о боже сущий!
Я каххар (арабск.) — о боже мститель!
Якши (кумыкск.) — хорошо.
Яхакк (арабск.) — о праведный боже!

Описание рукописей

Рукописи «Хаджи-Мурата» сохранились в большей своей части, общее их количество составляет 2166 листов.

Основные собрания рукописей хранятся в Государственном Толстовском музее. Первое собрание, в количестве 1664 листа, поступило в Государственный Толстовский музей в 1939 г. из Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, получившей их от С. А. Толстой в 1915 г. при передаче ею своего архива из Исторического музея.

Второе собрание, 442 лл., хранилось до 1940 г. в Институте литературы Академии наук СССР, куда поступило в 1913 г. от В. Г. Черткова по использовании для издания «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

Третье собрание: 1) 38 листов поступило в Государственный Толстовский музей из музея-усадьбы «Ясная Поляна» в 1931 г., 2) 1 лист поступил от В. Г. Черткова в 1929 г.

Четвертое собрание — 18 листов составляет собственность проф. А. Б. Гольденвейзера (образовалось из автографов и правленных Толстым копий, переписывавшихся в свое время А. Б. Гольденвейзером).

Один лист хранится в Русском отделении национального музея в Праге.

Один лист находится у С. А. Толстой.

Один лист хранится в музее-усадьбе «Ясная Поляна».

В отделе «Записей, помет и конспектов» под №№ 1, 2 и 8 приводятся места из Записных книжек Толстого за 1896, 1897 и 1902 гг. О рукописях этих записей см. тт. 52 и 54.

1. Автограф на 4 листах почтовой бумаги, исписанных с обеих сторон. *Начало:* «1) О примирении за убийство»; *конец:* «124) Вука — тойтойче (76, 77)». Вверху проставлено рукою Толстого: «Материалы Х[аджи] М[урата]». Рукопись представляет собою список помет к выпускам I, II, III, IV, VI, VII «Сборника сведений о кавказских горцах», Тифлис, 1868—1873 гг. Печатается в отделе конспектов под № 3.

2. Автограф на обороте листа 5 из рукописи № 8. *Начало:* «Осман Гаджиев — дед»; *конец:* «51 убил Золотухина (Мунафики)». Запись 1898 г. Печатается в отделе конспектов под № 4.

3. Автограф на 1 листе почтового формата, исписанном с обеих сторон. *Начало:* «25-й год. Ему 13 лет»; *конец:* «наиба поставленного на его место». Вверху проставлено рукою Толстого: «Х[аджи] М[урат]». Конспект редакции девятой 1902 г. Печатается в отделе конспектов под № 5.

4. Автограф на 1 листе серой бумаги почтового формата. Очевидно, лист оторван от одного из писем В. Г. Черткова. Написано карандашом на одной лицевой стороне. *Начало:* «1) Мальчик видит истязания»; *конец:* «15) Смерть». Конспект-план редакции девятой, 1902 г. Печатается в отделе конспектов под № 6.

5. Автограф на разорванном пополам листе в 4°: представляет собою конспективные заметки начала повести. Печатается в отделе конспектов под № 7.

6. Автограф на 1 л. из Записной книжки. Печатается в отделе конспектов под № 9.

7. Автограф на 18 лл. в 4°, исписанных с обеих сторон. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «14 Августа 1896. Шамардино. Л. Толстой». Рукопись заключена в обложку, на которой рукою М. Л. Толстой написано: «Репей. 1-ая версия». На первом листе написано ее же рукой сбоку на полях: «Первая версия». На том же листе перед текстом рукою Толстого: «Репей». Пагинация рукою Толстого через лист. На обороте л. 3 и на лицевой стороне л. 8 знаки к вставкам, написанным в 1901 г. и вошедшим в рукопись № 30. По всей рукописи сбоку на полях рукой автора вопросы, относящиеся к тексту: «Сакля дом.

Ходят ли женщины за водой?» и др. Исправлений немного, несколько вставок на полях. Судя по почерку и цвету чернил, писано в три приема. Текст состоит из пролога и шести частей. Каждая часть отделена чертой.

Рукопись представляет собою *редакцию первую повести «Репей»*. Впервые опубликовано в книге Л. Мышковской «Работа Толстого над произведением», М. 1931. Печатается полностью в вариантах под № 1.

8. Копия предыдущей рукописи на 69 лл. в 4°. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «14 Авг. 1896 г. Шамардино». Лл. 1—40 написаны рукою Т. Л. Сухотиной, лл. 41—69 — рукою М. Л. Оболенской. В дальнейшем целостный характер этой рукописи был нарушен: 1) лл. 1—6 и 32—69 использованы для редакции восьмой 1901 г., см. рук. № 30; 2) лл. 50—51 для редакции шестой 1898 г.; 3) на л. 5 об. автограф конспекта. См. рукопись № 1; 4) на л. 6 об. написан конец варианта № 12 (редакция третья); 5) на лицевой стороне л. 6 сбоку на полях — автограф нового начала; 6) на л. 33 на полях вставка-автограф, сделанная для редакции седьмой, см. рук. № 30; 7) на л. 50 вставка-автограф к редакции шестой.

9. Автограф на 2 листках из Записной книжки. Вставка к рукописи № 7, сделанная для редакции шестой. *Начало:* «Тогда Ахмет-хан подбежал, наступил ногой на шею Хаджи-Мурата и кинжалом отрезал голову...»; *конец:* «И он погиб».

Тут же копия, сделанная рукою С. А. Толстой, с двойной пагинацией 59—60 и 79—80, карандашом, проставленной в 1898 г. при подборе текстов для редакции шестой. Конец вставки, начиная от слов: «Лорис-Меликов» отчеркнут Толстым с надписью: [Пропустить].

10. Рукопись состоит из двух автографов, являющихся вставками 1901 г. к предыдущей рукописи («Репья»):

1) Автограф на 6 лл. (4 лл. в 4°, 2 лл. почтового большого размера). Пагинация красным карандашом рукою Толстого. *Начало:* «— Ну?! Не может быть!»; *конец:* «Этого-то баснословного героя пришлось встретить и принять Марье Дмитриевне». См. вариант № 42, стр. 382—385. На листе 1 знак

кружок с крестом внутри, соответствующий такому же знаку на листе 3 об. рукописи № 7.

2) Автограф на 4 лл., 2 лл. в 4° и 2 лл. почтовой бумаги малого размера. Пагинация рукою Толстого красным карандашом 1—3. *Начало:* «Нет, вы всё расскажите по порядку...» *Конец:* «мы долго смотрели на эти глаза, желтую кожу и рот». См. вариант № 42, стр. 391—394.

11. Автограф на 19 лл., из них 16 лл. в 4°, л. 17 размером 20 × 12, лл. 18—19 размером 27 × 21. Исписано с обеих сторон. Заключено в обложку, на которой рукою М. Л. Толстой написано: «Хаджи Мурат (Репей) 2-ая версия». Без заглавия. *Начало:* «Это было на Кавказе в декабре 1851 года»; *конец:* «отправить Хаджи Мурата с его мюридами в Грозную, а оттуда в Тифлис». Сбоку на полях вопросы: «Где жили солдаты?» и т. д. На л. 1 об. после слов: «страстный игрок и мужиковатый шутник» следует выпущенное в дальнейшем процессе работы место: *начало:* «Другие два игрока»; *конец:* «составляло большую важность».

На листах 5—10 наброски главы 3. Эти листы представляют собою самую трудную по разбору текста часть из всех рукописей «Хаджи-Мурата». Ряд кусков текста зачеркивается, от них остается несколько строк, затем и эти строки вычеркиваются. В конце концов целиком зачеркиваются несколько страниц. Написав первоначальный вариант, Толстой затем производит перестановку текста, обозначая отдельные куски его номерами, причем после цифр «1, 2», ставит «4», по ошибке пропустив «3». Под № 2 написано четыре отрывка, такое же количество отрывков под № 4.

На л. 3 об. сбоку написан список, относящийся к сочинению «Христианское учение» — *Начало:* 1) Опьян[ение]; *конец:* 2) Соб[ственность].

На лл. 11—13 новая третья глава, ошибочно обозначенная цифрой «II» и зачеркнутая. Вверху л. 11 рукою С. А. Толстой написаны строки из письма Толстого к Александру III, которые зачеркнуты. Рукопись представляет собою *редакцию вторую повести.*

Извлекаем варианты №№ 2—10.

12. Копия рукою М. Л. Толстой предыдущей рукописи с исправлениями Толстого на 1 л. в 4°. *Начало: «*Это было на Кавказе»; *конец:* «жена, дети, свои дела, работа».

13. Копия рукою С. А. Толстой, М. Л. Толстой и Н. Л. Оболенского рукописи 12 (лл. 1—3) и рукописи 11 (лл. 4—30), на 30 лл. в 4°. *Начало:* «В самый разгар войны»; *конец:* «с его мюридами в Грозную и оттуда в Тифлис». По всей рукописи исправления Толстого. Печатается полностью в вариантах под № 11.

14. Копия предыдущей рукописи на 2 л. в 4°. *Начало:* «В самый разгар войны...»; *конец:* «Как служба: руби и руби».

15. Автограф на 6 лл. (лист 1 размером 28 × 22, остальные в 4°). *Начало:* <«45 лет тому назад»>; *конец:* «и Гамзат вступил в Хунзах». На обороте первого листа — 7 строк рукой М. Л. Толстой из сочинения: «Христианское учение». *Начало:* «и соблазны, оправдывающие грех»; *конец:* «познания воли бога». На л. 2 об. сбоку на полях вставка. Тут же внизу содержание следующей главы: «Читал книги Тариката и Лорис-Меликову рассказывал свою историю и всё вспомнилось». На листах 2 и 3 — глава вторая, после исключенная. На обороте листа 4 вставка к листу 5. Листы 5 и 6 — второй вариант гл. II. На лицевой стороне листа 5 многочисленные поправки. Это *редакция третья повести. И*звлекаем вариант № 12.

16. Копия рукою М. Л. Толстой предыдущей рукописи на 5 лл. в 4°. Пагинация рукою М. Л. Толстой 8—11. *Начало:* «8-го Апреля 1852 г.

вечером Хаджи Мурат»; *конец:* «И всю прежнюю жизнь свою». Л. 1 — отрез от наклейки на листе 1 рукописи № 17. Печатается полностью в вариантах под № 13.

17. Автограф на 8 лл. в 4°. *Начало:* «Так и писали и думали»; *конец:* «надвигается последнее и страшное наказание». Продолжение текста рук. 15. Лист 1 состоит из наклейки отреза от листа 1 рук. 16 и копии рукою С. А. Толстой автографа, описанного в рукописи № 28. Вставка эта зачеркивается и поверх пишется новый текст, тоже зачеркнутый. *Начало:* «Рассказ этот заставил Хаджи Мурата вспомнить свою жизнь»; *конец:* «и не возвращаясь к мужу». На л. 1 об.

отчеркнуто карандашом с надписью «пр.» текст, *начало которого:* «За несколько дней перед отъездом в Нуху»; *конец* (на полях листа 8-го): «и начинал резать палочку и вспоминать». Листы 7—8, находившиеся в начале рукописи, были из нее выключены. На листе, пронумерованном цифрой «12», переписанном рукою М. Л. Толстой, конец л. 4 рукописи № 15. Извлекаем варианты №№ 14 и 15.

18. Автограф на 5 лл. в 4°. *Начало:* «И я решил принять хазават»; *конец:* «Но Ахмет хан был зол на меня». На л. 1 семь строк рукою Н. Л. Оболенского — копия последних строк листа 5-го рукописи 15, за которыми следует продолжение рассказа Хаджи-Мурата.

19. Рукопись на 44 лл. в 4°. С поправками Толстого. *Начало:* <«45 лет тому назад»>; *конец:* «Х[аджи] М[урат] стал проситься в Нуху и переехал туда».

Листы 1—6 — копия рукою М. Л. Оболенской листов 1—2 рукописи № 15, листы 7—18 — выписка из журнала «Русская старина», март 1881 г. — письмо Воронцова к Чернышеву — написано детским почерком; листы 19—33 — копия рукою Н. Л. Оболенского рукописи № 17; листы 34—41 — копия рукою С. А. Толстой рук. № 18; листы 42—44 — автограф. Печатается в вариантах под № 16.

20. Автограф на 1 л. *Начало:* «<Жила в> <лет> <в начале>; *конец:* «управляла всем жена старуха». Набросок конца 1897 г., № 1, вместе с другими набросками того же времени, составляет *редакцию четвертую повести.* Печатается в вариантах под № 19.

21. Автограф на 4 лл. в 4°. *Начало:* «Хаджи Мурат <В 1830 году>»; *конец:* «и подошел». Печатается в вариантах под №№ 17 и 18.

22. Копия рукою А. П. Иванова рукописи № 21 с многочисленными поправками Толстого на 2 л. размером 211/2 × 261/2.

Заглавие: «Хаджи Мурат». *Начало:* «Это было в 1830 году»; *конец:* «прихватив сверху третьей подпругой». Набросок конца 1897 г. Печатается в вариантах под № 20.

23. Автограф на 1 л. в 4°. На лицевой стороне набросок: *начало:* «Это было в 1834 году на Кавказе»; *конец* (на л. 2-м рукописи № 24, куда он перенесен): «Как служил ее мужу». На обороте отрывок — *начало:* «Это было в 1834 году в Аварском ханстве»; *конец:* «конных и пеших составляли его войско». Набросок конца 1897 г. Печатается в вариантах под №№ 21 и 22.

24. Автограф на 2 лл. *Начало:* «Это было в 1834 году на Кавказе»; *конец:* «велела тебе приехать». Набросок конца 1897 г., № 6. Печатается в вариантах под № 23.

25. Тетрадь из 86 лл. в 4°, гладкой нелинованной бумаги, в клеенчатом черном переплете, фабричная марка: «Мюр и Мерилиз. Москва № 34—24. Ц. 2900—25». На внутренней стороне переплета рукою М. Л. Толстой: «1) Новое рабство. 2) Матерьялы к Хад. Мур.» — Тетрадь заключена в голубую обложку с надписью рукою А. П. Сергеенко: «Находилось в бумагах, оставшихся после ухода Л. Н-ча из Ясной Поляны». В начале тетради на девяти листах, исписанных с обеих сторон черными чернилами, автограф первоначального варианта статьи «Где выход?», датированной рукой автора: «17 Мая 1897. Яс. Пол.» Непосредственно за этим следуют наброски «Хаджи-Мурата».

Набросок № 1. Автограф. Написан на 11/2 листах с обеих сторон черными чернилами, без поправок. Заглавие «Хаджи Мурат». *Начало:* «Это было давно, 70 лет тому назад»; *конец:* «и для этого дружила с ними». Зачеркнуто поперек крупной чертой черными чернилами. На полях рукою Толстого вычитание:

Печатается полностью в вариантах под № 24.

Набросок № 2. Автограф. Написан вслед за наброском № 1 на 21/2 листах с обеих сторон черными чернилами. Заглавие: «Х. М.» *Начало:* «1. Х[аджи] М[урат] родился на Кавказе»; *конец:* «28. Смерть». Текст состоит из отдельных параграфов. Параграфы 4 и 6 написаны сбоку на полях в виде вставок. Печатается в варианте под № 25.

Набросок № 3. Автограф. Следует за предыдущим, отделяясь от него чертой. Заглавие: «Хаджи Мурат». *Начало:* «<Когда> Накануне того дня, как Патимат родила»; *конец:*

«женщиной более красивой, сильной и». Написан на 3/4 листа. Печатается в вариантах под № 26.

Набросок № 4. Автограф. Следует за предыдущим, отделяясь от него чертой. Написан на 21/4 листах. *Заглавие:* «Х[аджи] М[урат]». *Начало:* «Когда Патимат, жена Аслан-бека»; *конец:* «в кормилицы к ханам». Перед текстом цифра 1, что, повидимому, означало главу первую. В конце текста цифра 2 — очевидно гл. II, которая не написана. Печатается в вариантах под № 28.

Набросок № 5. Автограф. Следует за предыдущим на 61/4 листах. Заглавие: «Х[аджи] М[урат]». *Начало:* «Х[аджи] М[урату] было 10 лет, когда»; *конец:* «в том, что они любили свою родину. 12 января 98 г. Не годится». Перед текстом: «Опять сначала», после чего проведена черта. В тексте исправления, наибольшие в конце гл. II. В главе IV оставлено пустое место, по размеру соответствующее восьми строкам для обвинительного приговора по делу горцев, приведенных на экзекуцию. Первые шесть строк наброска написаны на обороте листа 13. Остальной текст на шести листах, вырезанных из тетради и использованных для редакции шестой.

В начале наброска сбоку на полях написано: «Это пропустите до #». Такой же знак стоит в правом углу на предпоследней странице наброска после слов: «долго смотрел на звезды, думая о том, как истребить этих неверных собак русских». Указание это относится к наброску № 6, оно означает: переписать начало наброска 6 и затем присоединить к нему текст данного наброска.

В тексте гл. II и гл. III проставлены параграфы 13—25. Это та часть текста, которая включена в набросок № 6. Печатается в вариантах под № 29.

Набросок № 6. Автограф следует непосредственно за наброском № 5, отделяясь от него чертой. Заглавие: «Х[аджи] М[урат]». *Начало:* «1. Хаджи Мурат был второй сын»; *конец:* «они поступили так, как должно было». Написан отдельными пронумерованными параграфами.

Начало наброска, 8 параграфов и параграфы 13—15 хранились в АТБ, р. 14, параграфы 5—12 на листе 14 в черной

клеенчатой тетради. После параграфа 12 написано: «13) назад знак

Приведенные наброски составляют *пятую редакцию* повести, наброски 1, 2 и 4 были опубликованы П. А. Буланже в статье «Как Толстой писал Хаджи Мурата» — «Русская мысль», 1913, 3.

26. Автограф на 1 л. почтового формата. *Начало:* «Может быть Х[аджи] М[урат] и остался бы в России»; *конец:* «Вспоминал он прежде всего». Представляет собою вставку к наброску 5-му рук. № 29, при использовании его для редакции шестой.

27. Рукопись на 5 лл. *Начало:* «с разрешения воинского начальника»; *конец:* «с отцом родным уйти». Рукопись состоит из трех частей:

1) Автограф на 2 листах в 4°, лист 1 исписан с обеих сторон, лист 2 с лицевой стороны. *Начало:* «С разрешения воинского начальника»; *конец:* «Х[аджи] М[урат] любил его брата Османа».

2) Копия на 2 лл. в 4° рукою С. А. Толстой конца главы I и начала гл. II наброска 5-го редакции пятой (см. вар. № 29), с многочисленными исправлениями и вставками Толстого. *Начало:* «И Сулейман убил бы жену»; *конец:* «показать пример русским».

3) Автограф на 1 листе в 4° на лицевой стороне: *Начало*: «Хаджи Мурат с умилением»; *конец*: «сам собирался бежать и только боялся».

На оборотной стороне: «Прочел Х[аджи] М[урат] воззвание, в котором сказано было, что хазават, война за веру, выше всего и нет греха в убийстве в войне этой, хотя бы и драться с отцом родным. Уйти». Рукопись представляет собою часть *редакции шестой повести.*

28. Рукопись на 2 лл. в 4°. Копия рукою С. А. Толстой предыдущей рукописи с исправлениями Толстого. *Начало:* «Вскоре после этого, в тот же год...»; *конец:* «другой молодой мюрид Кази-мулла».

29. Рукопись на 5 лл. в 4°, из них 3 лл. — копия рукой С. А. Толстой предыдущего. *Начало:* «лазутчики встали и ушли»; *конец:* «была на крыше и рассказывала». Рукопись состоит из 4-х частей: 1) Копия части рук. № 8, лл. 50, 51. *Начало:* «Лазутчики

встали и ушли; *конец:* «Все будет завтра». 2) Копия автографа из рук. № 27. *Начало:* «Два раза в своей жизни Хаджи Мурат изменял хазавату»; *конец:* «И теперь должно было разрешиться тем же». 3) Л. 3 рук. № 27 с исправлениями Толстого. *Начало:* «Завтра он бежит в горы»; *конец:* «он в первый раз стал». 4) Автограф.

Начало: «сидели рядом и, очевидно, совершенно равнодушные»; *конец:* «была на крыше и рассказывала». К этому листу присоединен л. 5 из рук. № 25 (набр. 5, гл. III) с поправками Толстого. *Начало:* «Русский генерал, которому поручено было»; *конец:* «с золотыми наплечниками. Вокруг». Извлекаем варианты №№ 31—35.

30. Рукопись на 38 лл., из них 36 л. в 4°, л. 2-й разм. 18 × 5, л. 20 разм. 28 × 22, рукой С. А. Толстой и Ю. И. Игумновой. *Начало:* «ним минут пять по одной разрывая волокна»; *конец:* «и мы долго смотрели на нее [*5 неразобр.*]» (неверно прочитано последнее слово, следует вместо «нее» и неразобранного читать: «эти глаза, желтую кожу и рот». Первые 2 листа «Пролога» зачеркнуты и перенесены Толстым в рук. № 45, где на обороте их написан автограф нового текста, л. 4 таким же образом перенесен в рук. № 51 (гл. VIII), где на обороте тоже новый автограф. Первоначальная копия без исправлений Толстого является *редакцией седьмой повести* («Репей», с двумя новыми вставками, описанными под № 10).

Извлекаем вариант № 42.

После многочисленных исправлений и вставок Толстого рукопись составила самостоятельную *редакцию восьмую*, в которой рассказ ведется от имени первого лица. Извлекаем вариант под № 43.

На л. 10 от слов: «И слезы и восторженное удивление Марьи Дмитриевны» до слов на л. 22-м: «спрашивая разрешения, как поступить» отчеркнуто Толстым, как подлежавшее выпуску. На л. 21 об. автограф новой гл. II *Начало*: «Канцелярия была недалеко»; *конец:* «у Шамиля в руках его семья».

31. Копия предыдущей рукописи рукою Ю. И. Игумновой, с многочисленными исправлениями Толстого, на 17 лл. в 4°.

Начало: «Во время моей службы на Кавказе»; *конец:* «к великой радости Ив[ана] М[атвеевича] Х[аджи] М[урат] уезжал». Пагинация рукою Ю. И. Игумновой 1—5, 6а, 6б, 7—15. Печатается в вариантах под № 44.

32. Копия предыдущей рукописи рукою Ю. И. Игумновой. На 10 листах в 4°. *Начало:* «разницей, что жена Ивана Матвеевича»; *конец:* «особенно с рыжим, кото...»

33. Копия предыдущей рукописи рукою Ю. И. Игумновой, с многочисленными исправлениями Толстого. На 15 лл. в 4°. В эту же рукопись перенесены из предыдущей лл. 1, 12, 15—17. Вследствие перестановки текста лл. 15—17 следуют после л. 11, от которого вырезано 3/4 текста, присоединенного к листу 12-му, помещенному вслед за л. 17-м. *Начало:* «<Во время моей службы на Кавказе>»; *конец:* «и для этого ему». Извлекаем вариант № 45.

34. Копия соответствующих частей предыдущей рукописи рукою Ю. И. Игумновой на 8 лл. в 4°, с многочисленными поправками Толстого. *Начало:* «загородившая всю улицу»; *конец:* «не пил, не курил и ничего не ел». Лл. 4, 13—14 перенесены из предыдущей рукописи. Копия с этих листов перенесена в рукопись № 51, гл. XIX. Извлекаем вариант № 46.

35. Рукопись на 3 лл. в 4°. Л. 1 — копия рукою М. Л. Толстой из рук. № 15, с многочисленными исправлениями Толстого. *Начало:* <«Хаджи Мурат родился>»; *конец:* «<Они вместе охоти[лись]>». Л. 2. — автограф, перенесенный из рукописи № 27. *Начало:* «Х[аджи] М[урат] помнил из первого детства»; *конец:* «не столько думал, сколько представлял». По контексту следует непосредственно за листом первым л. 3 — копия рукою С. А. Толстой лл. 2 и 3 рук. № 27. *Начало:* «В это же время»; *конец:* «и привязывал и поил». С исправлениями Толстого. Начало *редакции девятой повести.*

Извлекаем вариант № 47.

36. Копия рукою А. Б. Гольденвейзера и др. предыдущей рукописи с многочисленными исправлениями Толстого на 7 лл. в 4°. *Начало:* «В 1812 году в ауле Цельбесе»; *конец:* «еще более сильном Кази-мула». Л. 5 оторван от л. 4 рук. № 29. Лл. 6—7

автограф. *Начало:* «дед был не на хуторе»; *конец:* «в белой черкеске и большими ушами».

37. Копия предыдущей рукописи на 7 лл. в 4°. *Начало:* «В 1812 г. в ауле Цельбесе, в Аварии»; *конец*: «и густым хвостом, настоящий кабардинец», с многочисленными исправлениями Толстого. Извлекаем варианты №№ 48 и 49.

38. Рукопись на 7 лл. в 4°. *Начало:* «Когда Х[аджи] М[урату] минуло 10 лет»; *конец:* «эти бритые люди». Л. 1 — копия л. 5 предыдущей рукописи. Лл. 2, 3 и 7 — копия рукой С. А. Толстой л. 5 из рук. № 27, лл. 4 и 5 из рук. № 27, лл. 4—6 — копия рукой М. Л. Толстой л. 5 рук. № 17. По всей рукописи обильная правка Толстого. Извлекаем варианты №№ 50—54.

39. Рукопись на 18 лл., из них 12 лл. в 4° и 6 лл. — обрезки. *Начало:* «когда он явится к нему»; *конец:* «откладывал свое решение». 1) Лл. 1, 2, 11 и 12 — копия рукой С. А. и М. Л. Толстых лл. 2, 3, 7 предыдущей рукописи; 2) лл. 3 и 4 — копия рукой С. А. Толстой лл. 1 и 2 рук. № 28; 3) л. 5 — копия рукой С. А. Толстой об. л. 5 рук. № 36; 4) лл. 6—8 — выписка рукою М. А. Шмидт из книги А. Л. Зиссермана «История 80-го пехотного Кабардинского полка», т. 2, стр. 16—17; 5) лл. 9, 10 и 18 — копия рукой С. А. Толстой л. 4 рук. № 29 и отрезок л. 5 рук. № 27; 6) лл. 13—16 — копия рукой С. А. Толстой лл. 3 — оборот 5 рук. № 26. На всех листах обильная правка Толстого. Извлекаем варианты №№ 55 и 56.

40. Рукопись на 21 лл., из них 12 лл. в 4°, 9 лл. — отрезы. *Начало:* «Одно, что удерживало Хаджи Мурата»; *конец:* «солдат, грабивших их». Лл. 1—13 — копия рукою А. Б. Гольденвейзера и др. листов 1—13 предыдущей рукописи. На листе 9 наклейка нескольких строк рукою С. А. Толстой, оторванных от л. 10 рук. № 39. Лл. 14—16 — копия рукою С. А. Толстой лл. 5—7 рук. № 26, лл. 17—21 — листки малого формата из Записной книжки, автограф. *Начало:* «То, что видел Х[аджи] М[урат]»; *конец:* «солдат, грабивших их», на л. 13 — отрез (*начало*: «В аул пришли войска...») от наклейки на л. 2 рук. № 41.

41. Рукопись на 2 лл. в 4°. Л. 1 — копия рукою М. Л. Толстой соответствующей части предыдущей рукописи. *Начало:* «аулы, побил сотни людей»; *конец:* «не подозревая того, что ожидало

их». На л. 2-м наклейка — отрез от копии рукою С. А. Толстой листа 4 рук. № 26. Извлекаем вариант № 57.

42. Копия рукой А. Б. Гольденвейзера, С. А. Толстой и др. на 9 лл. в 4°. *Начало:* «к ним солдат, грабивших их»; *конец:* «С. к. г., II, примеч. 12; 13 стр.». Лл. 1 и 2 — копия л. 1 рук. № 41, лл. 3—5 — лл. 11—12, 15—17 рук. № 37, лл. 6—9 — л. 5 об. рук. № 26. На всех листах многочисленные исправления Толстого.

43. Копия рукой М. Л. Толстой, А. Б. Гольденвейзера и др. на 6 лл. в 4°. *Начало:* «Вслед за этим»; *конец:* «больше и укреплялось в нем»; л. 1 — копия л. 15 предыдущей рукописи; л. 2 — листа 9 рук. № 40, л. 3 — копия рукою А. Б. Гольденвейзера и др. с лл. 1 и 2 рук. № 41. Извлекаем вариант № 58.

44. Рукопись на 5 лл. в 4°. *Начало:* «Ханша, управлявшая после мужа ханством»; *конец:* «Так прошло два года». Л. 1 — копия рукою М. Л. Толстой листа 6 рук. № 43. Далее па этом листе — автограф гл. V, *начало:* «Но решиться бежать в горы»; *конец:* «проповедывавшими хазават и собра». (Продолжение текста в собр. А. Б. Гольденвейзера, № 2. *Начало:* «[собра]вшими под своей властью»; *конец:* «всех трех ханов». На этом листе рукою А. Б. Гольденвейзера карандашом проставлено: «29 июля 902 г.»); л. 2 — отрез от л. 1 рук. № 37; лл. 3—4 — копия несохранившегося автографа. Л. 5 — копия рукою М. Л. Толстой лл. 5—6 рук. № 43. Извлекаем вариант № 59.

45. Рукопись на 30 лл. в 4°. *Начало:* «Так Патимат и не пошла кормить хана»; *конец:* «за его коварство и погибель его друга». Лл. 1—22 — копия соответствующих частей рукописей №№ 37—42 рукою М. Л. Толстой, А. Б. Гольденвейзера и др. На всех листах многочисленные исправления Толстого. На л. 22 — автографы гл. VI, *начало:* «Так прошло два года и Хаджи Мурат стал не только любимцем». Продолжение этого автографа на л. 23. Верхняя строка л. 23 написана рукою переписчика, что является окончанием листа, хранящегося в ГЛМ под № 459—19. *Начало его:* «После ужина в 9-м часу»; *конец:* «Место», который является копией листа 1 рук. № 11. С листа 23 автограф переходит на л. 24, представляющий собою письмо Metaphysisches Hauptquartier. На лл. 25—27 автограф начала гл.

VII. На обороте двух последних лл. — копия рукою Ю. И. Игумновой листов 1—2 рук. № 30. Л. 28 — автограф, написанный на оборотной стороне копии рукою А. Л. Толстой с поправкой Толстого листа 3 рук. № 30. *Начало:* «были вымазаны черноземной грязью». Лл. 29—30, *начало:* «Гад[жиев] жалел о том». Копия рукою М. Л. Толстой листа 4 рук. № 15. Поверх копии — автограф гл. VIII. *Начало:* «Хаджи Мурат ехал рядом с Абунунцалом».

46. Копия рукою Ю. И. Игумновой, Н. Л. Оболенского и др. отдельных листов предыдущей рукописи на 13 лл. в 4°. *Начало:* «Если она не пойдет»; *конец:* «часть их была убита, часть убежала». Пагинация непоследовательная. На всех листах многочисленные исправления Толстого. На л. 11 автограф конца гл. VIII и начала гл. IX, лл. 12—13 (*начало:* «и ушел к деду») — копия рукою М. Л. Толстой с автографа, написанного на лл. 6—7 рук. № 8. На обороте этих листов продолжение автографа гл. IX.

47. Автограф на 2 лл. 4°. *Начало:* «И вот совершенно для себя неожиданно»; *конец:* «наиб Шамиля управлять Авариею». Рукопись представляет собою последнюю главу редакции девятой повести. Хранится в собрании А. Б. Гольденвейзера.

48. Копия рукою А. Б. Гольденвейзера, Н. Л. Оболенского, М. Л. Толстой на 70 лл. в 4°. *Начало:* «Хаджи Мурат родился»; *конец:* «власть, которую он намеревался передать им». Пагинация чернилами, синим и черным карандашом. По всей рукописи поправки Толстого. Рукопись представляет собою *полный текст редакции девятой повести.* Печатается в вариантах под № 60. Выпущенная глава о колониальной политике царского правительства; печатается в вариантах под № 61.

49. Машинописная копия листов 1—5 рукописи № 6. (Пролог) на 5 лл. в 4°. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «в моем воспоминании и воображении вот какая». По всей рукописи многочисленные исправления автора.

50. Копия рукою Д. В. Никитина предыдущей рукописи на 1 л. в 4°. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; конец: «Я набрал большой букет этих».

51. Рукопись *редакции десятой* повести на 493 лл. в 4°. Перед текстом рукой Толстой: «Хаджи Мурат. Глава I». *Начало:* «Хаджи Мурат был одним из знатнейших»; *конец:* «Раздавленный репей среди вспаханного поля». 26 глав повести, каждая глава в отдельной обложке, где разложены последовательно рукописи всех глав, составленные из: а) автографов, б) копий и обрезов предшествующих рукописей и в) отдельных листов из этой же рукописи, но перенесенных из других обложек. Копии — машинописные и переписанные рукой: М. Л. и Н. Л. Оболенских, Ю. И. Игумновой, А. Б. Гольденвейзера, Д. В. Никитина, О. К. Толстой, С. А. Толстой и др. Все рукописи подверглись обильной авторской правке. Извлекаем варианты №№ 62—114.

Гл. I (Въезд Хаджи-Мурата в аул) — 13 рукописей, первая из которых начинается машинописной копией листа 11 рукописи № 13. Вторая рукопись — автограф на трех лл. большого почтового формата. *Начало:* «Хаджи Мурат. Это было на Кавказе в 60-х годах»; *конец:* «<когда Хаджи Мурат подъезжал к аулу, в крепости>». В седьмой рук. на л. 5 — автограф нового начала первой главы: «Хаджи Мурат, знаменитый в горах Кавказа и среди русских наиб Аварии». Остальные рукописи этой главы составляют копии рукописей, заключающихся в той же обложке, с многочисленными поправками Толстого.

Гл. II (В секрете) — 10 рукописей, первая из которых машинописная копия гл. I ред. второй из рук. № 13.

Гл. III (Вечер у молодого Воронцова) — 2 рукописи, первая из них машинописная копия гл. II из рук. № 13.

Гл. IV (Хаджи-Мурат ночью в ауле перед выходом к русским) — 6 рукописей. Из них 1, 2, 3 и 6 составились из соответствующих листов машинописной копии и рукописи № 13 (гл. III редакции второй).

Гл. V, *VI, VII* (Выход Хаджи-Мурата к русским. Хаджи-Мурат в доме молодого Воронцова) — 6 рукописей. На л. 2 рукописи второй *зачеркнуто:*

— Хаджи Мурат моя, — сказал Хаджи Мурат, рукой, на которой висела плеть, ударяя себя в грудь. — Кенезь (князь) Воронцов надо. Можно?

— Да, да, — сказал Полторацкий, поворачивая лошадь, — он здесь. Айда.

Гл. VIII (Смерть Авдеева) — автограф на трех листах в 4°. *Начало:* «Никитина принесли в военный госпиталь»; *конец:* «что давало всему набегу больше значения». Лл. 1 и 3 написаны на обороте л. 4 рукописи № 30, л. 2 написан на об. л. 11 рук. № 44. На обороте л. 3 вставка-автограф. *Начало:* «Когда вечером пришли товарищи, Авдеев»; *конец:* «Дай бог ему. Я рад».

Гл. IX (Семейные Авдеева на молотьбе) — одна рукопись, автограф на 5 лл. в 4°, исписанных с обеих сторон. *Начало:* «В этот самый день, когда Петруха»; *конец:* «как он и говорил ей, когда склонял ее к любви» (Собрание А. Б. Гольденвейзера).

Гл. X (М. С. Воронцов, наместник Кавказа) — 5 рукописей, из них первая рукопись — машинописная копия соответствующей части ред. третьей (рук. № 17); на обороте л. 1 вставка-автограф. *Начало:* «Замешательства передавшегося всем присутствующим»; *конец:* «заговорив с генералом про удобства его помещения в Тифлисе». Л. 3 — автограф. *Начало:* «Воронцов принял Хаджи Мурата»; *конец:* «показать ему Тифлис и веселить его». Во второй рукописи на л. 7 сбоку вставка. *Начало:* «так как он был очевидцем его»; *конец* (на отдельном листе): «хорошем расположении духа». В четвертой рукописи на л. 1 — автограф-вставка. *Начало:* «Вечером 4-го декабря 1852 г. к Тифлисскому дворцу»; *конец:* «с белым крестом на шее вышел в гостиную». Остальные листы — копия предыдущей рукописи. На л. 9 — автограф. *Начало:* «Тут был и вчерашний генерал»; *конец:* «с кн. Тархановым в дверь кабинета».

Гл. XI, *XII* (Прием Воронцовым Хаджи-Мурата. Рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своем прошлом) — 3 рукописи, первая из них представляет собою машинописную копию соответствующей части редакции третьей, рук. № 19.

Гл. XIII (Беседа Лорис-Меликова с нукерами Хаджи-Мурата) — 2 рукописи, из них на первой автограф на 5 лл. в 4°. *Начало:* «А теперь довольно, молиться надо»; *конец:* «Это мюршид зовет тебя, — обратился он, вернувшись к Лорис-Меликову». На полях

лл. 1 и 2 сделаны большие вставки. Недостающие в этой рукописи листы перенесены в рукопись 52.

Гл. XIV (Хаджи-Мурат заканчивает свой рассказ Лорис-Меликову) — одна рукопись, из которой л. 1 — автограф. *Начало:* «Когда Л. М. вернулся в гостиную»; *конец:* «проситься в Чечню и переехал туда». Вверху автографа стоит «XIV (14)», лист является отрезком от л. 5 первой рукописи главы XIII. Лист 7 — копия рукою Д. В. Никитина листа рук. № 17. Недостающие лл. перенесены в гл. XIV рук. № 52.

Рукописей главы XV не имеется, так как в дальнейшем процессе работы главою XV (письмо Воронцова к Чернышеву) стала глава, первоначально числившаяся главою XII.

Гл. XVI (Николай I) — две рукописи, из которых рукопись первая — автограф на 3 лл. большого почтового формата. *Начало:* «Донесение это было получено в Петербурге на третий день Рож[д]ества»; *конец:* «я жду исполнения моих предначертаний». Судя по почерку и чернилам, написано в один прием. В тексте незначительное количество поправок. Вверху на л. 1 стоит: «XIV (14)».

Гл. XVII (Выход отряда в набег) — две рукописи, из которых рук. первая — автограф на 5 лл. в 4°. *Начало:* «В небольшом укреплении»; *конец:* «и пошел к себе спать!». Вверху перед зачеркнутым куском текста проставлено: «XIV (14)», в середине листа 1-го — «XIII». В дальнейшем процессе работы глава становится XVII. Из этой рукописи 8 листов перенесено в рукопись 52.

Гл. XVIII (Разоренный аул) — одна рукопись — автограф на 2 лл. большого почтового формата. *Начало:* «Бутлер в особенности после своего знакомства с Х[аджи] М[уратом]»; *конец:* «тотчас же принялись за восстановление нарушенного». Верхняя часть листа 1-го представляет собою копию рукою П. А. Буланже двух абзацев статьи «К рабочему народу». В середине листа 1-го проставлено: «XVII (17)». В дальнейшем процессе работы глава становится XVIII.

Гл. XIX (Приезд Хаджи-Мурата в крепость к Ивану Матвеевичу и Марье Дмитриевне) — одна рукопись на 14 лл. в 4°, являющаяся копией рукописи № 33.

Гл. XX (Шамиль) — 4 рукописи, из которых рук. первая — автограф на 5 лл. в 4° и 4 лл. из блокнота (первые 8 строк написаны рукою М. Л. Оболенской). *Начало:* «детей и ослеплением старшего сына»; *конец:* «уже ко времени полуночной молитвы».

Гл. XXI (Отъезд Хаджи-Мурата из крепости) — одна рукопись на 3 лл. в 4°, копия рукой Ю. И. Игумновой рук. № 33.

Гл. XXII (Проводы ген. Козловского) — 3 рукописи, из них рук. 1 — автограф на 3 лл. большого формата. *Начало:* «В укреплении»; *конец:* «потихоньку вышел и пошел домой». Перед текстом вверху проставлено: «XVIII (18)», в дальнейшем процессе работы глава стала XXII. Л. 1 написан на обороте листа, помеченного цифрой «20» и являющегося копией рук. № 19.

Гл. XXIII (Хаджи-Мурат в Нухе) — 3 рукописи, из них рукопись 1 на 2 лл. в 4° является машинописной копией главы II редакции третьей (рук. № 16). На полях новое *начало главы:* «не достигнув своей цели в Чечне»; *конец:* «требуемые законом молитвы». Перед текстом стоит: «XVIII», «XIX (19)», «XVI (16)», в дальнейшем процессе работы глава становится XXIII.

Гл. XXIV (Хаджи-Мурат ночью перед побегом) — 3 рукописи, из них рук. 1 на 5 лл. в 4° и 1 отрез. *Начало:* «В ночь его отъезда должны были выехать»; *конец:* «Когда будет? Я скажу». Рукопись, пронумерованная цифрами 113—117, является машинописной копией рук. № 8 с многочисленными поправками Толстого.

Гл. XXV (Привоз Каменевым головы Хаджи-Мурата) — 5 рукописей, из них рукопись первая на 2 лл. в 4°, копия рукою Ю. И. Игумновой рукописи № 33 (6 версия редакции восьмой с поправками Толстого). Перед текстом вверху проставлено: «XXII (22), XXIV (24)».

Гл. XXVI (Смерть Хаджи-Мурата) — 5 рукописей, из них рукопись первая на 15 лл. (13 лл. в 5°, 1 л. — отрез). Первые три листа пятой рукописи являются машинописной копией соответствующих частей рукописи № 10.

52. Рукопись на 383 лл. в 4°. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «раздавленный репей среди вспаханного поля».

Перед текстом рукою С. А. Толстой: «Хаджи-Мурат». В конце рукописи ее же рукою: «Лев Толстой. 21 Сент. 1902. Ясн. Пол. Конец». Копия рукою А. Б. Гольденвейзера, М. Л. Оболенской, Д. В. Никитина, Ю. И. Игумновой, Н. Л. Оболенского и др. предыдущей рукописи. Часть листов — машинописная копия ред. 1, 2, 3. Полный текст повести, гл. I—XXVI, без главы VI. Пагинация рукою переписчиков несистематическая, на некоторых листах переправлявшаяся до 12 раз. На большинстве листов поправки Толстого.

Наибольшей правке подверглась последняя глава, в начале которой рукою Толстого проставлено: «XXVI (26)».

Ряд мест выкидывается. В гл. XII на л. 149а после: «Хаджи Мурат опустился против него на низкой тахте... оперся руками на колени» *зачеркнуто:* «подвижное лицо его приняло тотчас же выражение приветливой ласки и почтения».

В той же гл. XII на лл. 151—154 красным карандашом отчеркнут текст, относительно которого дано указание в рукописи № 54. *Начало отчеркнутого текста:* «Мать моя, когда родила старшего брата»; *конец:* «и мы играли с детьми ханскими и ханша любила нас».

На л. 322 в главе XXVI *после:* «Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу и он как рыба всхлипывая умирал» *зачеркнуто*: «а старушка мать его на Тихом Дону в это время сватала ему невесту, красневшую при имени Степана Петракова, красавицу Маланью». Поправки сделаны чернилами и карандашом, что указывает на то, что Толстой дважды читал рукопись этой главы. После: «Он лег в канаву и опять вырвал из бешмета кусок ваты, заткнул рану» *вставлено:* «рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает». К этому присоединен текст, ранее находившийся в конце главы, о предсмертных воспоминаниях Хаджи-Мурата. Извлекаем варианты №№ 115—121.

53. Рукопись на 62 лл., из них л. 2 размером 21 × 13, листы 9—14, 25—27, 36, 43—47, 50—53, 58—62 — обрезы, остальные листы размером 28 × 22. *Начало:* «В конце 1851 года один из самых знаменитых»; *конец:* «все более и более отдалялись от них и». Копия рукою М. Л. и Н. Л. Оболенских предыдущей

рукописи. Рукопись состояла из 189 листов. Недостающие листы перенесены в рук. №№ 54 и 60, количество глав то же, что в рукописи № 51. Все листы, за исключением лл. 54—58, испещрены авторскими поправками. Большой переделке подверглась глава XI. Воспоминания Хаджи-Мурата о матери, деде, фонтане и проч. перенесены в гл. XXIII. Наибольшей правке в рукописи подверглась гл. XVI (Николай I). Она на 8 лл., пронумерована цифрами 114—120. *Начало:* «Донесение это было послано 26-го дек.»; *конец:* «тотчас же изменял его, когда ему это было нужно». На л. 114 кружок с крестом внутри, относящийся к вставке. *Начало:* «Главное же за то, что он знал, что Воронцов»; *конец:* «он надеялся повредить Воронцову». К л. 115 приклеен отрез из трех строк от л. 116. К л. 116 внизу сделана вставка на двух лоскутках. *Начало:* «Да, брат, видно в России только один честный человек» и *конец:* «весь интерес же был перенесен на себя, на свою роль. Было». От л. 117 сохранилась средняя часть текста, верхняя и нижняя часть переложены в рук.

№ 60, л. 120 переложен сначала в рук. № 57, затем в рук. № 60. Извлекаем варианты №№ 122—128.

54. Рукопись на 199 лл. разных размеров — копия рукой М. Л. и Н. Л. Оболенских и А. Л. Толстой. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «раздавленный репей среди вспаханного поля». Рукопись образовалась из копии соответствующих частей предыдущей рукописи и извлеченных из нее же малоправленных листов. Рукою Ю. И. Игумновой надписано на обложке: «Хаджи-Мурат. 1 версия. Гл. I—XXV. О Ник. Пав. (XV) нет». На л. 3 об. рукою Толстого написано: «Гамзало и Элдар убиты. Хан Магома и Ханефи бежали». В начале главы I *зачеркнуто:* «В конце 1851 года один из самых знаменитых своими военными подвигами наибов Шамиля Хаджи Мурат поссорился с Шамилем и бежал к русским». Прежние имена нукеров Хаджи-Мурата переделываются: Саффедин становится Элдаром, Муртазил — Ханефи, Гончаго — Гамзало, Балта — Хан-Магомой. Обозначение глав исправлено рукою Ю. И. Игумновой: I—XXV.

В гл. XIII на л. 32 рукою Толстого написано: «выписать из Х[аджи] М[урата] отмеченное 1, выписать из Х[аджи] М[урата] отмеченное 2, выписать 3, выписать 4». Это относится к переписке Хаджи-Мурата с ген. Клюки-фон-Клюгенау, присланной Толстому из Тифлисского архива.

Гл. XV (Николай I) извлечена из рукописи (см. рук. № 59).

По всей рукописи авторские поправки, наибольшее количество их в гл. XI, XIII, XXI, XXIII, XXV.

На последнем листе, переписанном рукою Н. Л. Оболенского, проставлена дата: «21 сент. 1902 г.». Затем, по внесении Толстым новых поправок, рукою Ю. И. Игумновой дата эта исправлена на «5 ноября 1902 г.». Наконец ее же рукою проставлено: «3 декабря 1902 г.». Извлекаем варианты №№ 129—133.

Рукопись № 54 составляет *окончательный текст гл. XVI—XXV повести.*

55. Рукопись на 13 лл., из них 1, 6, 8, 13 — отрезы, остальные в 4°. *Начало:* «то одного, то другого»; *конец:* «он погорячился и установился мир».

Первые 5 листов — копия на пишущей машинке соответствующей части гл. I предыдущей рукописи с многочисленными исправлениями Толстого. Лл. 6—7 копия на пишущей машинке соответствующей части гл. III предыдущей рукописи. Лл. 9—10 — вставка-автограф к гл. III; *начало:* «Тогда ему стало досадно, и он стал барабанить каблуком в запертую дверь»; *конец:* «и, выкурив в темноте толстую папиросу, заснул».

Данная рукопись состоит преимущественно из листов рукописи № 56, правленных Толстым и вновь переписанных. Л. 11 — автограф-вставка к гл. IV. *Начало:* «Военные успехи Хаджи Мурата»; *конец:* «оглаживая своего седогривого кабардинца». Л. 12 — копия соответствующей части предыдущей рукописи с многочисленными поправками, л. 13 — копия на пишущей машинке соответствующей части гл. VI предыдущей рукописи с поправками Толстого.

56. Рукопись на 66 лл. в 4°. *Начало:* «Это было в конце 1851 года; *конец:* «на меня нашел страх и я убежал». Копия на

пишущей машинке рукописей 54 п 55. Гл. I—XI. Недостающие листы перенесены в рук. № № 57 и 58. По всей рукописи многочисленные исправления Толстого, преимущественно стилистического характера. В гл. IV автограф-вставка. *Начало:* «один из сидевших у костра людей»; *конец:* «облокотив руки на ляжки, опустив голову, задумался». В гл. VI к л. 61 вставка-автограф. *Начало:* «оставшись один. Позвав Элдара Х[аджи] М[урат]», *конец:* «В 5-м часу его позвали обедать к князю».

В гл. XI на л. 95 *после:* «Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было» *зачеркнуто:* «Моя мать кормила старшего хана Абунунцала. От этого и я стал близок с ханами». *Поверх зачеркнутого написано:* «Здесь вписать из старого экземпл. отчеркнутое красны[м] на 153, 154 стр.». Надпись эта относится к рукописи № 52. Извлекаем варианты №№ 34—36.

57. Рукопись на 6 лл. в 4°. *Начало:* «он прислушался и ясно услыхал шаги»; *конец:* «муж с женой в третьем часу легли спать». Копия на пишущей машинке соответствующих частей рукописи № 56. Отдельные листы гл. II, III, IV — с многочисленными поправками Толстого, заново переписанные для рукописи № 58.

58. Рукопись на 125 лл., из них 119 лл. в 4°, 6 — отрезков. *Начало:* «Я возвращался домой полями»; *конец:* «Вот всё, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел». Заключена в обложку с надписью рукою Н. Н. Гусева. На внутренней обложке рукою Ю. И. Игумновой написано: «Хаджи Мурат. 2 версия. Гл. I—XIV». Копия на пишущей машинке рукописей 52—57. По всей рукописи поправки Толстого преимущественно стилистического характера.

В гл. XI на л. 95 об. — вставка-автограф, *начало:* «— отчего же переменились мысли? — спросил Лор.-Мел.»; *конец:* « — не приняли, а стали думать, — сказал Х[аджи] М[урат] и продолжал свой рассказ». Извлекаем варианты №№ 137—143.

Рукопись № 58 составляет текст *окончательной редакции глав I—XIII повести.*

59. Рукопись на 7 лл. (из которых 4 лл. 27 × 21, лл. 3—5, 7 — отрезы). *Начало:* «причиной этой усталости»; *конец:* «был его план». Копия гл. о Николае I из рукописи 54, откуда вынута Толстым для самостоятельной работы. Лл. 117 и 119 разрезаны на несколько частей. Печатается полностью в вариантах под № 144.

60. Копия предыдущей рукописи с многочисленными исправлениями Толстого на 13 лл., из них: лл. 1, 2, 11 — отрезы, остальные 27 × 21. *Начало:* «Было половина 10-го, когда в тумане»; *конец:* «и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис». Тройная пагинация: 1) рукою переписчицы чернилами — 101—111, 2) ее же рукой чернилами 102—110 (на некоторых листах еще несколько цифр), 3) красным карандашом рукою Ю. И. Игумновой 8—16. Последняя нумерация указывает на то, что данная рукопись первоначально следовала за рукописью № 61, которая также пронумерована красным карандашом «1—7». Первый отрез от л. 8 переложен в рук. № 61, второй отрез от листа 8 находится в рук. № 61. К листу восьмому сделана вставка на лоскутке бумаги, линованной в клетку, на котором рукою Толстого написано: «XVII. Было половина 10-го, когда в тумане 20 градусного мороза». Лист 12 хранится у А. Б. Гольденвейзера. К листу 13, бывшему 120 и перенесенному в данную рукопись из рук. № 53, сделана вставка на лоскутке, оторванном от вставки к л. 8. *Начало:* «После Долгорукого вышел в ленте и штатском мундире»; *конец:* «Бибиков наклонил свою черную седеющую голову. Отпустив Бибикова». На листе 120 об. — автограф, *начало:* «С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью»; *конец:* «не отказывать миру в своем содействии». Непосредственно за этим следует автограф второй главы. *Начало:* «XVI. Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом»; *конец:* «не мог уже остановиться ни в своей лжи, ни в своих преступлениях». Эти строки несколько раз зачеркнуты. На последнем листе, не пронумерованном, большого почтового размера, такой же бумаги в клетку — автограф. *Начало:* «После обедни Николай прошел к Волконскому, министру двора»; *конец:* «и разбивая лица

ямщиков поскакал в Тифлис». Автограф этот является новым концом главы о Николае I. Извлекаем варианты №№ 145 и 146.

61. Рукопись на 7 лл., из них лл. 1, 3, 4 — отрезы; л. 2 — полулист почтовой бумаги; лл. 5, 7в 4°; л. 6 — 22 × 28. *Начало:* «Донесение это было послано 27 декабря»; *конец:* «Он рос здоровый, сильный, беззаботный и свободный». Пагинация рукою Ю. И. Игумновой красным карандашом. Л. 1 — отрез от л. 8 рукописи № 60, на нем в трех местах кружок с крестом внутри, относящийся ко второму листу. Такие же два кружка имеются на втором отрезе от рукописи № 60. Лл. 2—7 — автограф, представляющий собою третью главу о Николае I, по первоначальному замыслу предшествующий рукописи № 60. На л. 5 вверху рукою М. А. Шмидт написаны и зачеркнуты Толстым строки из ст. «К рабочему народу». Судя по почерку и чернилам, рукопись написана в один прием, многочисленные исправления, повидимому, сделаны после. Печатается полностью в вариантах под № 147.

62. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи на 6 лл., из них лл. 1, 5, 6 — отрезы, остальные в 4°. *Начало:* «О передаче всех имений Захара Чернышева»; *конец:* «и когда это сознание прорывалось». Рукопись первоначально состояла из 13 лл., пронумерованных внизу рукою Ю. И. Игумновой. Из нее переложены: а) в рук. № 63 отрез от л. 5, л. 12, б) в рук. № 65 лл. 8—10; отрез от л. 11 и лл. 13—14, в) в рук. № 69 отрезы от лл. 5 и 11 и г) в рук. № 73 отрез от л. 1. По всей рукописи исправления Толстого. Извлекаем вариант № 148.

63. Копия рукою Ю. И. Игумновой и автограф на 4 лл., перенесенных из рук. № 62 (лл. 12, 5—7). *Начало:* «наружу, он вслух говорил»; *конец:* «делала его непоправимо, глубоко и одиноко несчастным». На л. 1 («12») — автограф, расчленивший третью главу на две части. *Начало:* «Несмотря на то величие»; *конец:* «Осадок этот был огромен в душе Николая». Конец не сохранился. По всей рукописи поправки Толстого. Печатается в вариантах под № 149.

64. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи, правленная Толстым на 3 лл. в 4°. *Начало:* «Жить совершенно свободно и радостно»; *конец:* «и каторгой лучших русских

людей». Вверху перед текстом рукою Толстого написано и после зачеркнуто: «XVII, XVI».

65. Рукопись на 10 лл., из них 9 лл. в 4°, 1 — отрез. *Начало*: «и смутно чувствуют это»; *конец:* «была сплошным ужаснейшим преступлением». Копия предыдущей рукописи и соответствующих частей рукописей №№ 61—64. Рукопись заключается выпиской из Записной книжки Толстого от 10 до 25 дек. 1903 г. (т. 54, стр. 336 и 338), сделанной рукою М. Л. Оболенской и правленной Толстым. Печатается в вариантах под № 150.

66. Рукопись на 3 лл. в 4°. *Начало:* «принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было»; *конец:* «Отрочество Николая было такое счастливое, как и детство». Л. 1 — копия л. 5 рукописи № 61. Вырезанная внизу этого листа часть не сохранилась. На этом же листе на полях автограф, являющийся началом варианта четвертой главы о Николае I. *Начало:* «Николай с первого дня своего рождения»; *конец:* «и успех в предприятиях». К данному автографу присоединены листы 13 и 14 из рукописи № 60. *Начало:* «Самое рождение Николая»; *конец:* «сильный, беззаботный и свободный. В половине». *После слов:* «Завистливо покачала головой» следует автограф, *начало:* «как бы задумавшись о том, не взять ли»; *конец:* «было такое счастливое, как и детство».

67. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи с поправками Толстого, на 5 лл. (4 лл. в 4°, 1 отрезок). *Начало:* «Как бы задумавшись о том»; *конец:* «и чаще бывал в мрачном расположении духа». Л. 5 — отрез — копия листа 1 предыдущей рукописи.

68. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи без поправок Толстого на 6 лл. в 4°. *Начало:* «Николай с первого дня своего рождения; *конец:* «такое же счастливое как и детство». Печатается полностью в вариантах под № 151.

69. Копия рукою О. К. Толстой, Ю. И. Игумновой и др. рукописи № 60 на 10 лл. в 4° (лл. 6—8, 10 — отрезы). *Начало:* «Было половина 10-го, когда в тумане»; *конец:* «и лентах ожидали его». В середине красным карандашом проведена черта — знак: оставить при переписке пустое место. Рукопись

представляет собою пятую главу о Николае I — соединение глав первой и третьей. По всей рукописи многочисленные исправления Толстого. Извлекаем вариант № 152.

70. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи с многочисленными поправками Толстого на 18 лл., из них лл. 1, 2, 9, 13, 14, 16 — отрезы, остальные в 4°. *Начало:* «Глаза его всегда тусклые»; *конец:* «чувствуя, что все взгляды с трепетным». На л. 15 на оставленном по указанию Толстого пустом месте сделана вставка, *начало:* «Он долго не мог заснуть и думал, как и всегда, только о себе»; *конец:* «тяжелое мучительное чувство». Между листами 15 и 16 вставлен лист 6 из рук. № 64 (перемеченный здесь л. 21), из л. 16 вырезана часть текста, переложенная через один лист. После л. 16 следует автограф, *начало:* «опять то мучительное чувство»; *конец: «и* выпятив грудь пошел дальше». После вырезанного из л. 16 текста следует другой автограф, *начало*: « — Дура, — подумал он»; *конец:* «за то он не любил ее». Автограф этот написан на обороте наклеенных отрезов от листов 5 и 11 из рук. № 62; на л. 34 вставка сбоку, *начало:* «и о цензоре штатском советнике, посаженном на гауптвахту»; *конец:* «знали, что власть возможна только при отсутствии просвещения». Данная рукопись была заключена в обложку, на которой рукою переписчицы проставлено: «Черновики от 9 июня 1903 г. Хаджи Мурата». Извлекаем варианты №№ 153—160.

71. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи с многочисленными поправками Толстого на 10 лл. 4°, из них лл. 6 и 10 — отрезы. *Начало:* «пошел дальше»; *конец:* «позвав балетмейстера благодарил его». Рукопись имела 43 листа, из них 33 листа перенесены в последующие рукописи.

72. Копия рукою Ю. И. Игумновой предыдущей рукописи с многочисленными поправками Толстого на 9 лл., из них 7 лл. — отрезы, 2 в 4°. *Начало:* «очевидности лесть окружающих его людей»; *конец:* «отказывал миру в своем содействии».

73. Копия предыдущей рукописи с добавлением листов, перенесенных из рукописей 60—72. Правлены Толстым. На 34 лл. в 4°, из них 6 отрезов. *Начало:* «Донесение это было отправлено из Тифлиса»; *конец:* «и разбивая лица ямщиков

поскакал в Тифлис». Заключена в обложку, на которой рукою переписчицы написано: «Черновики от 9 июня 1903 года Хаджи Мурата».

74. Конверт с шестью отрезами соответствующих частей предыдущей рукописи с многочисленными поправками Толстого. *Начало:* «и давил этих людей»; *конец:* «что война кавказская теперь должна».

75. Копия рукою О. К. Толстой, Ю. И. Игумновой и др. рукописей 73 и 74 с добавлением листов, перенесенных из рукописей 69—72 на 47 лл., в 4°. Переписано в августе 1903 г., правлено в феврале 1904 г. *Начало:* «Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря»; *конец:* «и разбивая лица ямщиков поскакал в Тифлис». Извлекаем варианты: №№ 165—168.

Рукопись № 75 является окончательным текстом главы XV.

76. Автограф на 2 л. в 4°. *Начало:* «В то время, как Николай сидя в литерной ложе»; *конец:* «каковы были примеры бывшие перед ним». Вверху перед текстом проставлено: «XVII». Лист 1 написан на л. 36 из рукописи 71. Новая глава о Николае I, по счету шестая. Извлекаем вариант № 161.

77. Копия предыдущей рукописи с многочисленными поправками Толстого на 5 лл. в 4°. *Начало:* «[казе]матах крепости, добрые образованные»; *конец:* «вся жизнь его была приготовлением к этому». На л. 4 автограф. *Начало:* «люди властители, управляющие другими», *конец:* «Вся жизнь его была приготовлением к этому». Автограф написан на копии листа 35 из рукописи № 71.

78. Копия соответствующей части предыдущей рукописи, испещренная поправками Толстого на 1 л. в 4°. *Начало:* «не вешали, не ссылали, не разоряли бы»; *конец:* «и Николай был один из тех его». На л. 1 об. — автограф. *Начало:* «стрельцами и крестами»; *конец:* «И Николай был один из таких».

79. Копия рукописей 74 и 75. С поправками Толстого на 3 лл. в 4°. *Начало:* «не вешали, не ссылали на каторгу»; *конец:* «приготовлением к этому». Извлекаем вариант № 162.

80. Копия соответствующих частей рукописей 76—79 с многочисленными поправками Толстого на 10 лл. в 4°. *Начало:* «В то время, как Николай, сидя в литерной ложе»; *конец:* «Вся жизнь его была приготовлением к этому». Печатается полностью в вариантах под «№ 163.

81. Автограф на 1 л. почтового размера. *Начало:* «Решение судьбы Х[аджи] М[урата]»; *конец:* «вершины своей власти и своего самообожания». Начало седьмой главы о Николае I. Печатается полностью в вариантах под № 164.

82. Рукопись на 1 л. в 4°. *Начало:* «Продиктовал Лев Николаевич. История Хаджи Мурата такая»; *конец:* «Писано гр. Софией Андреевной Толстой под диктовку Льва Николаевича 28 января 1905 года». Весь текст написан рукою С. А. Толстой без поправок Толстого. Печатается полностью в вариантах под № 169.

83. Автограф. Конверт большого размера с карандашной надписью рукою Толстого: «Черновые разные версии начал Х[аджи] М[урата].

Предисловие

В настоящем томе публикуется часть произведений позднего периода творчества Л. Н. Толстого: повесть «Хаджи-Мурат» с ее многочисленными вариантами, над которой он работал с 1896 по 1904 г., и публицистические статьи 1902—1903 гг.: «К рабочему народу», «К политическим деятелям», «Что такое религия и в чем сущность ее?», «О Шекспире и о драме».

В этих произведениях с большой силой сказались и величие и слабость Толстого как художника и мыслителя, в них предельно ярко отразились гениально вскрытые В. И. Лениным противоречия его творчества.

Острейшие противоречия в творчестве Толстого — это отражение тех в высшей степени противоречивых условий, в которые была поставлена жизнь пореформенной России эпохи подготовки революции 1905 года. «Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции»[2576], — писал В. И. Ленин.

I

Мировоззрение Толстого отразилось в «Хаджи-Мурате» во всей своей сложности и противоречивости. Сюжет повести находится в полном соответствии с действительными историческими событиями. Но вместе с тем, Толстой освещает эти события с позиций, характерных для него как выразителя идеологии патриархального крестьянства.

Естественность жизни горцев, их цельность, близость к природе, чистоту нравов Толстой резко противопоставляет лжи, лицемерию, цинизму и разврату «цивилизованного» общества.

Своеобразие «Хаджи-Мурата», сравнительно с другими произведениями позднего Толстого, заключается в том, что идея непреклонной борьбы «до последнего» звучит в повести как

основной мотив, объективно опровергая проповедь «непротивления злу насилием».

Художественные особенности повести — лаконичность, законченность характеристик, лирическая взволнованность повествования — свидетельствуют о необычайной творческой силе Толстого, обогащенной долголетним писательским опытом. Поэтому художественное воздействие «Хаджи-Мурата» на читателя не уступает по своей силе воздействию других величайших произведений писателя. Горький говорил об этой повести: «Да, когда я читаю Толстого или Чехова, какое огромное спасибо говорю им. И мне кажется, что эти творцы умели выражать всё. Разве можно написать «Хаджи-Мурата» лучше? — Нам кажется — нет. Толстому казалось можно!»[2577]

На содержании и художественной форме повести сказались и новые требования, предъявленные Толстым к искусству и сформулированные незадолго до создания «Хаджи-Мурата» в трактате «Что такое искусство?». Ценителем искусства должен быть весь народ, и потому по форме оно должно быть доступным и понятным народу. «Краткость, ясность и простота выражения», эти непременные требования Толстого к подлинному искусству, отразились в совершенстве формы повести, в ее безыскусственной поэзии, гениальной простоте.

Как видно из содержания повести, из ее многочисленных вариантов, и как это показано в статье А. П. Сергеенко «История писания «Хаджи-Мурата», Толстой интересовался борьбой горцев Кавказа на протяжении почти всей своей литературной деятельности. Он тщательно изучал исторические, этнографические и мемуарные источники, относящиеся к Кавказу, и потому сумел дать в своей повести верную до мельчайших деталей картину исторической и бытовой обстановки Кавказа и происходивших там во время царствования Николая I событий.

Однако действительный историзм заключается не только в воссоздании верной картины обстановки исторических событий, но прежде всего в раскрытии их объективно-исторического смысла, т. е. в правильной оценке изображаемых событий и лиц.

Присоединение Кавказа к России было исторически прогрессивным делом, так как ввело территорию Кавказа в сферу европейского рынка и связало отсталые производственные силы Кавказа с развивающейся капиталистической экономикой России. Бесспорно и то, что огромное значение для развития культуры кавказских народов имело установление связей с великой русской культурой. Энгельс в письме к Марксу от 23 мая 1851 г. писал: «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку».[2578]

Но это лишь одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что присоединение Кавказа происходило насильническим путем, в процессе колониальных войн царизма. Это вызывало гневный протест Толстого, ярко отраженный в повести «Хаджи-Мурат». Однако движение горцев было использовано религиозными фанатиками-мюридами и Шамилем, опиравшимся на Турцию и Англию, в своих деспотических целях и приобрело поэтому реакционный националистический характер. Мюридизм, разжигая ненависть кавказских племен к русским, вместе с тем стремился увековечить самые отсталые черты феодально-патриархального быта горцев. Администрация Шамиля, наибы — наместники областей — зачастую, особенно в последние годы войны, превращались в новую феодальную знать, начинавшую эксплоатировать бедняцкие массы горцев ничуть не хуже старых феодалов. Известны неоднократные массовые возмущения против наибов.

Толстой в «Хаджи-Мурате» резко осуждал и вождя горцев Шамиля и колонизаторскую политику Николая I.

В одном из вариантов главы о Николае I он писал:

«Гибли сотни тысяч солдат в бессмысленной муштровке на учениях, смотрах, маневрах и на еще более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивающих свою свободу то в Польше, то в Венгрии, то на Кавказе».

Но, бичуя самодержавный деспотизм Николая I и его сатрапов, обличая в оценке кавказской войны лживость официальной историографии, Толстой в то же время пытается истолковать изображаемые события и поведение своих героев в

морально-этическом плане, оценить их с точки зрения «вечных истин» религии, дополнить реакционной проповедью «непротивленства». Всё это не может не нарушить жизненной правды и художественной цельности произведения.

К оценке действующих в повести исторических лиц — Николая I и Воронцова — Толстой подходит также с морально-этической точки зрения, но, постепенно углубляя их характеристики, рисует всё же исторически верные, обличительные портреты, что является безусловной победой реализма Толстого. Таков образ наместника Кавказа Воронцова-старшего; читатель «Хаджи-Мурата» ясно видит, что это тот самый царский сатрап Воронцов, у которого младшим чиновником служил сосланный Пушкин, давший ему бичующе меткую характеристику:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Образу Николая I Толстой уделяет особое внимание. Материал о Николае I, собранный и изученный Толстым, значительно больше того, что вошло затем в повесть «Хаджи-Мурат» и в другие произведения Толстого. Очевидно, в «Хаджи-Мурате» Толстой ограничился одной главой о Николае I потому, что не хотел нарушить художественную пропорцию повести, надеясь в дальнейшем написать о нем самостоятельное произведение. Тема о Николае I так и осталась незавершенной в творчестве Толстого. Но если не завершена тема, то художественный образ Николая I в «Хаджи-Мурате» вполне закончен.

Николай I в изображении Толстого — это олицетворение крайнего деспотизма, воплощение тупой и мертвой силы, которая мешает жить людям. Такова общая морально-этическая оценка, с точки зрения которой Толстой и проводит в «Хаджи-Мурате» прямую параллель между Николаем и Шамилем,

представляющими, по его мнению, «два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского». В целом ряде эпизодов Толстой дает сопоставление этих двух лиц, сближая их поступки иногда даже в деталях. Для Толстого Шамиль такой же, как Николай I, бездушный, лицемерный, ослепленный фанатизмом насильник. Не сосредоточивая своего внимания в повести «Хаджи-Мурат» на образе Шамиля, Толстой более развернуто и детально рисует образ Николая I со всеми его отвратительными качествами как самодержца и как человека.

Представителям азиатского и европейского деспотизма в повести противопоставлен Хаджи-Мурат, человек искренний и цельный, ищущий естественной свободы и страстно, «до последнего» отстаивавший ее. Толстой интересовался историей и действительной жизнью Хаджи-Мурата и сделал всё возможное для выяснения деталей его биографии. В бытность свою на Кавказе писатель, повидимому, не встречался с Хаджи-Муратом, но о выходе его к русским знал. Сочувствуя уже тогда борьбе горцев, Толстой дал оценку этому событию в письме от 23 декабря 1851 г. к брату Сергею Николаевичу: «Второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях предался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».[2579] Но в повести, написанной более чем через полвека, Толстой отказался от своей прежней оценки поступка Хаджи-Мурата и дал этот образ опять-таки в морально-этическом, но не социально-политическом, плане.

Таким образом, историзм Толстого в «Хаджи-Мурате» имеет как сильные, так и слабые стороны, обусловленные противоречивостью Толстого-художника, мыслителя, проповедника.

II

В статьях, публикуемых в 35 томе, отразились почти все стороны учения Толстого. Он выступает, по определению Ленина, «как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства».[2580]

«Толстовские идеи, это — зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, — писал В. И. Ленин в 1908 г., — отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости «хозяйственного мужичка».[2581]

Толстой отражает настроение патриархального крестьянства «так верно, — подчеркивал Ленин, — что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег». Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого».[2582]

Отчуждение от политики, от борьбы и обращение к богу свойственно тем социальным слоям, которые отчаялись найти реальный выход из бедственного положения. А русское патриархальное крестьянство после реформы 1861 г. являлось именно таким социальным слоем. Весь опыт человеческой истории показал, что крестьянство, вследствие того, что оно было связано с отсталым способом производства, из-за своей раздробленности, неорганизованности, политической несознательности не могло само, своими силами добиться освобождения. Будучи беспомощным в деле своего освобождения, крестьянство не могло иметь сколько-нибудь цельного и тем более последовательного революционного мировоззрения. Временами стихийно возмущавшиеся крестьянские массы России искали выхода из своего бесправного и угнетенного состояния и не могли найти его.

Толстой сочувствовал бедственному положению крестьянства, но вместо действительных средств его освобождения: борьбы, революции — проповедовал самоусовершенствование и «непротивление злу насилием» и тем самым обнаружил, по словам Ленина, «в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю».[2583]

В статье «К рабочему народу», написанной в 1902 г., ярко проявились черты реакционной проповеди Толстого. В этой

статье Толстой вскрывает враждебный народу эксплоататорский характер царского самодержавия и одновременно пророчит провал всякой попытки с помощью революционного насилия положить конец этой власти. Из того исторического факта, что крестьянские бунты никогда не приводили к освобождению трудящихся от эксплоатации, Толстой сделал реакционный вывод, будто никогда никакой «бунт» или революция (что для него равнозначно) не приведет к освобождению. Толстой не видел, не понимал качественного отличия рабочего класса от крестьянства. Для него рабочие, занятые на фабриках и заводах, — это те же крестьяне, только испорченные и развращенные тем, что искусственно вырваны из естественной и якобы единственно полезной и нужной для всякого человека деревенской жизни и втиснуты во вредные людям условия городской цивилизации.

Толстой страстно обличал капитализм, но считал, что спасение человечества состоит в возвращении от городской «порочной» цивилизации к земледельческому труду.

Мешает этому возвращению, по его мнению, то, что земля, которой хватит «на всех», в огромном количестве составляет частную собственность людей, не только на земле не работающих, но при помощи ее угнетающих других. Эта система охраняется всеми силами государства, а в особенности его главной силой — войском. Нужно поэтому только одно, — говорит Толстой, — изыскать средства вернуть землю народу. Лучшим проектом возвращения земли он считает проект Генри Джорджа, которого Ленин назвал «буржуазным национализатором земли». Согласно этому проекту должно быть точно определено количество земли, нужное отдельному человеку для собственного прокормления. Вся земля сверх этой нормы облагается единым поземельным налогом в таком размере, который сделал бы для владельцев просто невыгодным владеть лишней землей. Это вызовет естественное перераспределение земли и, как следствие — переустройство всего общества. Государство, которое всегда стояло за неработающих, будет, конечно, мешать этому, но если рабочие

откажутся служить в войске, то государство сделается бессильно, и таким образом «всё образуется».

Не менее реакционна и беспомощная попытка Толстого критиковать социализм, которого он не знал, не понимал и не мог понять, так как являлся выразителем настроений большинства того крестьянства, которое не видело еще, какие общественные силы способны принести избавление трудящимся массам.

Бичуя буржуазно-помещичье государство и его аппарат насилия — войско, ясно видя уродливость буржуазной цивилизации и предлагая утопические проекты спасения от ее «язв», Толстой выражал настроения русского крестьянина, который с ужасом видел, как почва ускользает из-под его ног, как задыхается он от безземелья и малоземелья, как отнимается его земля, а сам он превращается в сельского пролетария. Всё это, в представлении патриархального крестьянина, шло из города и от города.

Требование земли было всеобщим требованием русского крестьянства накануне первой революции. Эти настроения русского крестьянства и его мечту о земле и выразил Толстой в статье «К рабочему народу».

Вопрос о земле был одним из тех великих вопросов, которые писатель поставил, но разрешить оказался не в состоянии.

Вопрос о земле был правильно поставлен и действительно разрешен лишь партией большевиков. Русское трудящееся крестьянство пошло по пути, указанному Лениным, и получило землю только в результате Великой Октябрьской социалистической революции.

В статье «К политическим деятелям» Толстой пытался обосновать предложенные им средства искоренения общественных зол путем того же самоусовершенствования и «непротивления злу насилием» и убедить политических деятелей, защищающих правительства эксплоататоров, в том, что их деятельность безнравственна, а борющихся против правительства — в том, что их борьба ни к чему не приведет, а лишь ухудшит положение трудящихся.

В век технического прогресса, писал Толстой, власть стала несокрушима, «Чингис-хан с телеграфом» еще более непобедим, чем прежний Чингис-хан. Если революция и победит, то новая власть якобы всё равно не обеспечит свободы людям, и вообще стремление людей к материальному благополучию недостойно человека и т. д. Поскольку средства и силы, поддерживающие правительства, благодаря техническому прогрессу изменились, то и средства искоренения зла должны быть новыми. Эти новые средства и предлагает Толстой — самоусовершенствование и «непротивление злу насилием».

Реакционность подобной проповеди Толстого, одинаково обращенной и к хозяину и к работнику, очевидна. От нее веет духом идеологии «восточного строя, азиатского строя».

«Отсюда, — писал Ленин, — и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «всё — ничто, всё материальное ничто»... и вера в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей души», и т. д.».[2584]

Толстой понимал, что идущая долгие века борьба в человеческом обществе — это в основном борьба между властью и народом, а не между разными группами властителей, как ее пытались представить дворянские и буржуазные идеологи. Но Толстой не видел того, что это была классовая борьба между угнетенными и угнетателями, не видел экономической основы этой борьбы, а поэтому весь процесс общественного развития представлялся ему как чисто механическая смена «одной власти другою, и этой другой еще третьею и т. д.», пока, наконец, власть не сделалась «несокрушима».

Толстой просмотрел то, что вместе с новыми условиями (т. е. эпохой капитализма) возникла и совершенно новая сила — промышленный пролетариат, которому суждено стать могильщиком капитализма.

Ценность статьи «К политическим деятелям» заключается в той уничтожающей критике, с которой Толстой обрушился на буржуазные демократии. Великий художник отчетливо видел, что

форма государства, существующая в так называемых демократических странах: Англии, Франции и «обетованной земле» капитализма — Америке, ничуть не лучше для народа, чем царское самодержавие, а своими тягчайшими формами угнетения трудящихся, утонченным лицемерием и маскировкой самой беззастенчивой эксплоатации колониальных народов зачастую еще хуже. Толстой указывает, что истинное лицо буржуазной демократии — в рабстве негров в Соединенных Штатах, в уничтожении независимости буров, в милитаризме Франции. В то время как буржуазные либералы на все лады прославляли западный парламентаризм, считая его образцом для России, «горячий протестант, страстный обличитель» Толстой бичевал буржуазную демократию за ее антинародную, эксплоататорскую сущность.

В третьей из публикуемых в настоящем томе статей — «Что такое религия и в чем сущность ее?» — Толстой излагает свое религиозное учение, а вместе с тем резко критикует официальную церковь за ее фальшь, лицемерие, эксплоататорский характер. Это — типично толстовская противоречивость. У Толстого, писал Ленин, «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс».[2585] Толстой стремился дать «очищенную» религию, т. е. приведенную в соответствие с развивающимся знанием человека об окружающей его природе, свободную от всяких чудес, легенд и т. п., а также и от связей с государством, словом, такую религию, которая, по его словам, должна была не разъединять, а объединять всех людей.

Религия Толстого обладает основным, определяющим признаком всякой религии, т. е. в конечном итоге опирается не на знание, не на обобщенный человеческий опыт, не на науку, а на веру и, как всякая религия, закабаляет человека.

Совершенно правильно подчеркивая, что церковь во все века защищала и поддерживала эксплоататоров и что всякая религия всегда приспосабливалась к их нуждам, Толстой не замечал того, что и его «чистая» религия льет воду на ту же

мельницу, так как ставит «на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению».

Критикуя в этой же статье буржуазную науку, Толстой справедливо указывает на то, что она оторвана от народа, служит интересам хозяев и потому многие ее завоевания способствуют еще большему закабалению трудящихся масс.

Совершенно неверно довольно распространенное представление о том, что Толстой вообще отрицал всякое значение положительных наук. Это решительно опровергается неослабевающим интересом, с которым Толстой следил за развитием математики, физики, химии, естествознания, о чем он много писал в дневниках, записных книжках и письмах.

Основная ошибка Толстого в оценке науки заключалась в том, что он не верил в возможность науки правильно объяснить окружающий мир и поэтому обращался к вере, которая с необходимостью приводила его к проповеди религии.

Толстой справедливо бичевал буржуазную науку за продажность, за демагогию и фразу, за стихию и анархию, за беспредметность в научных исследованиях, а главное — за полную ее неспособность заняться главным и первейшим делом науки — разумным устройством жизни человеческого общества.

Но Толстой не знал, не хотел знать того непреложного факта, что революционная наука, выражающая интересы и стремления класса-освободителя всех трудящихся — пролетариата, уже есть, что учение о разумном устройстве общества — научный социализм Маркса и Энгельса — дает рабочему народу подлинное руководство в жизни.

III

Статья Толстого о Шекспире при своем первом появлении в печати в 1906 г. вызвала многочисленные отклики самого разноречивого характера. Большинство критиков, конечно, резко нападало на Толстого, стараясь доказать ему, что он «не понял», «не знал» Шекспира или даже «завидовал» его славе!

Известно, что Толстой на протяжении всей своей деятельности интересовался Шекспиром, и его мнение о шекспировских пьесах было за малым исключением всегда отрицательным.

Творчество Шекспира было порождено той эпохой, когда буржуазия только что выдвигалась на арену истории и выступала носительницей прогрессивного по тому времени способа производства. Передовые деятели эпохи Возрождения, олицетворявшие, по выражению Энгельса, «идеализированный рассудок буржуазной эпохи», выступали тогда под знаменем гуманизма, борьбы за свободного человека, против схоластики, мракобесия и феодального аскетизма. Правда, буржуазия не осуществила и десятой доли тех принципов, которые были выдвинуты ее передовыми идеологами. Требование свободы она обратила в свободу наживы, торговли, эксплоатации. Лозунги гуманизма, любви к ближнему она сделала лицемерным прикрытием для компромисса с феодальным дворянством за счет народных масс. Не случайно, что в произведениях писателей той эпохи, в том числе и в творчестве Шекспира, появляются мотивы облагораживания представителей дворянства, «добрых» рыцарей и королей.

Не вдаваясь в подробный анализ оценки Толстым творчества Шекспира, необходимо всё же остановиться на некоторых основных причинах отрицательного отношения Толстого к великому английскому драматургу, наиболее резко и полно выраженного в статье «О Шекспире и о драме».

Толстой критикует Шекспира как представителя отрицаемой им буржуазной культуры, как одного из тех писателей, в творчестве которого ярко проявилось «выделение исключительного искусства высших классов от народного искусства». Он заявляет, что причиной славы Шекспира является массовый гипноз, переходящий из поколения в поколение и начавшийся в узкой группе западных писателей, которые в свое время превозносили его творчество.

В статье о Шекспире сказались взгляды Толстого на искусство, выраженные им в трактате «Что такое искусство?». Именно с точки зрения своей христианской морали Толстой

подходит к оценке поступков действующих лиц «Короля Лира» и других драм Шекспира.

Антиисторизм оценки Толстым Шекспира сказывается в том, что он рассматривает шекспировские пьесы с точки зрения тех требований, которые могли быть предъявлены к писателю в конце XIX века, а не во времена Шекспира, который создавал свои произведения в эпоху зарождения реалистического искусства.

Требуя от искусства естественности, простоты, общедоступности, Толстой критикует аллегории, пышные сравнения, гиперболы и прочие художественные приемы Шекспира. В глазах Толстого — это признаки стиля «исключительного искусства высших классов». Одной из причин отрицательного отношения Толстого к Шекспиру было, видимо, и то, что художественный метод самого Толстого резко отличался от художественного метода Шекспира: если в своем творчестве Толстой стремился создать типичный образ через изображение отдельного человека в разных стадиях и проявлениях его внутренней жизни, то Шекспир лепил свои фигуры из типичных качеств многих людей, часто создавая гиперболические образы.

Критика Толстым Шекспира в значительной мере субъективна и не повлияла на отношение к великому английскому драматургу русского зрителя.

Шекспир с его воспеванием свободы и достоинства человека уже давно не нужен современному буржуазному миру, который приближается к своей окончательной гибели и культура которого находится ныне в состоянии маразма и вырождения.

Шекспир на Западе, в том числе и на его родине, в Англии, время от времени используется в наше время для прикрытия прогнившего содержания капиталистической культуры. Только в Советском Союзе, в социалистическом государстве, законном наследнике всего лучшего, что дала история человеческой культуры, Шекспир нашел свое второе рождение.

Современный советский зритель относится с живым интересом к пьесам Шекспира и умеет выделять в них то, что созвучно нашей великой эпохе.

Произведения, входящие в 35 том, отражая общие черты позднего творчества Толстого, с несомненностью свидетельствуют о том, что, как бы резко ни звучали его противоречия, какими бы реакционными и утопичными ни были его «рецепты спасения человечества», — Толстой велик уже тем, что, «стремясь дойти до корня», на протяжении всей своей литературной деятельности непрестанно ставил самые острые вопросы общественной жизни во всей их широте и неутомимо искал на них ответа.

«Л. Толстой, — говорит Ленин, — сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».[2586]

Н. Родионов.

Редакционные пояснения

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с воспроизведением всех больших букв и особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов соблюдаются следующие правила.

Слова, не написанные явно по рассеянности, печатаются в прямых скобках.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-рый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[ак] к[ак]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте неразобранных слов ставится: [*1 неразобр.*] или: [*2 неразобр.*] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

На месте слова, неудобного в печати, ставится его начальная буква и число точек, равное числу выпускаемых букв.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что признает редактор важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: *, ** в оглавлении томов, на шмуц-титулах и в тексте при номерах вариантов означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого.

Смерть Ивана Ильича

I.

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные Ведомости.

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь наверно получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 руб. прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него собственно было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Всё собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней, у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна

сестра Ивана Ильича, знакомая, другая незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем; он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. На счет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шопотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович всё крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами

на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано; и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, т. е. что ничто не может помешать нынче же вечером щелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шопотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшаяся

от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала: «Сейчас будет панихида; пройдите».

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...» и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу.

«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама

стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не всё отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда всё это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 руб. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выражавший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я всё сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно.

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голосу,

кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с нами за 1/4 часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидал опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичем, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичем (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверьте...», и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он

видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: всё то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в 13—14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида, — свечи, стоны, ладон, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат, Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, подсадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладона, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно застал их при конце 1-го робера, так что ему удобно было вступить пятым.

II.

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер 45-ти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они всё-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от 6-ти до 10-ти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был le phenix de la famille,[1] как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из 5-го класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал всё то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни

мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности, и тщеславию, и — под конец в высших классах — либеральности, но всё в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: respice finem,[2] простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и, вместе с тем, приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и bon enfant,[3] как

говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но всё это носило на себе такой высокий тон порядочности, что всё это не могло быть называемо дурными словами: всё это подходило только под рубрику французского изречения: il faut que jeunesse se passe.[4] Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван. Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии, и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut'ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в Шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот

он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело,

быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцовал; судебным же следователем он уже танцовал как исключение. Он танцовал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям, и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцовал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» сказал он себе.

Девица Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что

Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, de gaité de coeur,[5] как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить попрежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, т. е. не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять,

потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич всё более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того, чтобы исполнять свой долг, т. е. вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — всё это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась всё ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичем отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство

предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы всё больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он всё меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, — всё это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала итти так, как он считал, что она должна была итти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже 16 лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна на зло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III.

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья нехватает на жизнь; с другой — что все его забыли, и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы, Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать *их,* тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в 1-й класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на-днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение.

Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на всё министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые

были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10-го сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти всё из провинции, прикупить, призаказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда всё устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, всё время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына, — всё как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и всё росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу,

какою она будет. Глядя на гостиную, еще неоконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их. Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя всё это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет 15. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — всё то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему всё это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его,

между прочим, как он упал? он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я не даром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь 500 руб. — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не всё было устроено и надо было еще устраивать; то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что всё кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в 9, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать всё то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих

отношений Иван Ильич делает всё, всё решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой, и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Всё было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, т. е. читал бумаги, справлялся с законами, — сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта, — то это было всё-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцовали. И Ивану Ильичу было весело, и всё было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять всё у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 руб. Ссора была

большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцовал с княгинею Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках, или устроить спектакль. Так они жили. И всё шло так, не изменяясь, и всё было очень хорошо.

IV.

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастие ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя

страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Всё было, как он ожидал; всё было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и очевидно ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы всё устроим, — у нас известно и несомненно, как всё устроить, всё одним манером для всякого человека, какого хотите. Всё было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение, или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Всё это было точь в точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянув сверху очков на

подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем всё равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь, или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал всё, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Всё грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное, значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада, — сказала жена; — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю

Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич всё-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушиванье к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастие или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это

озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? » сказал он себе. «Пустяки! Всё вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!.. » Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился всё страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое

и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идет попрежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха; но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от него, что он говорил и делал. Отношение это было такое: «Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что̀ велено, и во̀-время ляжет; завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа».

«— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою, — один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Всё равно, я не мог спать от боли...

— Да там уж от чего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас».

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал, или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью,

жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их 7. Партнер сказал: без козырей и поддержал 2 бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему всё равно. И ужасно думать, отчего ему всё равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». — Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают робер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отрава эта не ослабевает, а всё больше и больше проникает всё существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V.

Так шло месяц и два. Перед новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило всё.

— Что переменился?

— Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на отоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «почка, блуждающая почка». Он вспомнил всё то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к

Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель-доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Jean? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель-доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он всё понял.

Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Всё это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и всё поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В 11 часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстановлялась правильная деятельность. «Да, это всё так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. — «Только равномерно принимать и

избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, — наощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка», — сказал он себе. — «Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, — уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Всё равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть. Да, смерть. И они никто не знают и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им всё равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать всё сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и всё такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я всё шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. — Неужели смерть?» Опять на него нашел

ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она метала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, Jean?

— Ниче...го. У...ро...нил. «Что же говорить. Она не поймет», думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, Jean, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом?

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: нет. Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

VI.

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос; но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это? »

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только

мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — всё то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке, рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «неужели только *она* правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего — это то, что *она* отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не. столько

разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через всё, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, — то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот établissement с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но всё было хорошо, потому что он не помнил о *ней, ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидал *ее. Она* мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит всё то же, всё так же ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему всё?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

VII.

Как это сделалось на 3-м месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке

и чистой ситцевой рубахе, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно сдерживая, чтоб не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошел к судну.

— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич всё так же сидел на кресле.

— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... всё делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?

— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Всё переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так подержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь,

долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (в роде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь еще; или когда он вдруг, переходя на ты, прибавлял: кабы ты не больной, а то отчего же не послужить? Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно; но ему всё-таки

хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII.

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — всё было всё равно, всё было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно всё уходящей, но всё не ушедшей еще жизни; надвигающаяся всё та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю? » — подумал он. — Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». — Петр, подай мне лекарство. — «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Всё это вздор, обман», решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. «Нет, уж не могу

верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Всё то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти! »

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да, —сказал он, —чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало, особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось всё. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Всё то же. То капля надежды блеснет, то взбушуется море отчаяния, и всё боль, всё боль, всё тоска и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось, доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам всё устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко

подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж всё исправит.

— Ну, что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: — как вы провели ночь?

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Всё так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукиванья, прослушиванья.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что всё это вздор и пустой обман, но, когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души

ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни всё то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает во-время. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить». Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она всё над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на

которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли. возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, стклянки и то же свое болящее страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали вспрыскиванье, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь, и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой à la Capoul с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: Нет; а вы уж видели?

— Да, в Adrienne Lecouvreur.

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза

первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

— Однако, *если ехать*, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Всё та *же* боль, всё тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Всё хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, всё то же, и всё нет конца, и всё страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.

IX.

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услыхал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела услать Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: — Нет. Иди.

— Ты очень страдаешь?

— Всё равно.

— Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и всё дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль.

— Уйди, Герасим, — прошептал он.

— Ничего, посижу-с.

— Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем Ты всё это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к

голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом всё это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и всё то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В

общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так как должно?» приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал всё, как следует?» говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное.

Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет!..» Суд идет, идет суд, повторил он себе. Вот он суд! «Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что? » И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать всё об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

X.

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал всё те же не разрешающиеся страдания и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке, и тем реальнее сознание наступающей смерти, Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном

чернослив, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском чернослив в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже», думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя», — говорил он себе. — «Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно», говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. «Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI.

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичем свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучить?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо, и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему

вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное всё могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, — всё это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой всё это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, — сказал он себе, — и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил всё, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это было не то, всё это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— Jean, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.

Когда пришел священник и исповедывал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. Жить, жить хочу, говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — всё сказало ему одно: «не то. Всё то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой погибели. Что-то сделалось новое: стало винтить и стрелять и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII.

С этой минуты начался тот, три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «не хочу!» и так продолжал кричать на букву «у». Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на всё усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

«Да, всё было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.

25 марта 1886 г.

Неопубликованное, неотделанное и неоконченное

[Варианты к «Смерти Ивана Ильича».]

№ 1.

Я узналъ о смерти Ивана Ильича въ судѣ.[6] Въ перерывѣ засѣданія по скучнѣйшему дѣлу Мальвинскихъ мы сошлись въ кабинетѣ Ивана Егоровича Шебекъ. Нашъ товарищъ открылъ газету и перебилъ нашъ разговоръ.

— Господа: Иванъ Ильичъ умеръ.[7]

— Неужели?

— Вотъ читайте.

И я прочелъ: *едоровна Головина съ душевнымъ прискорбьемъ извтьщаетъ родныхъ и знакомыхъ, что 4-го Февраля скончался ея мужъ членъ Московской судебной Палаты Иванъ Ильичъ*[8] *ла <будетъ>.... и т. д.*

[9]Иванъ Ильичъ былъ нашъ товарищъ и хорошій знакомый.[10] Онъ давно болѣлъ[11]и было соображеніе о томъ, что Винниковъ, вѣроятно, займетъ его мѣсто. Алексѣевъ на мѣсто Винникова, и я могу получить мѣсто Алексѣева, что составитъ для меня 800 р. прибавки кромѣ канцеляріи.

— Такъ умеръ. А я такъ и не былъ у него съ пріѣзда. Все собирался.

— Что было у него состояніе?

— Кажется, ничего. Жалко. Надо будетъ заѣхать. Они гдѣ жили?

— На Прѣснѣ домъ Бѣловой — знаете, какъ, проѣдете мостъ.....

И мы поговорили еще кое о чемъ и пошли въ засѣданіе. Какъ всегда бываетъ при извѣстіи о смерти знакомаго, я подумалъ столько: Каково: умеръ таки; а я вотъ нѣтъ.[12] Скучны эти визиты соболѣзнованія, а надо заѣхать.

Вечеромъ я заѣхалъ. Я вошелъ съ[13] тѣмъ обыкновеннымъ чувствомъ превосходства, свойственнымъ живымъ передъ мертвыми. Внизу, гдѣ послѣдній разъ мы расходились послѣ винта, въ которомъ я назначилъ шлемъ безъ двухъ, у вѣшалки стояла крышка гроба съ вычищеннымъ новенькимъ галуномъ. Двѣ дамы въ черномъ сходили съ лѣстницы. Одна — его сестра. Товарищъ[14] нашъ Шебекъ съ англійскими бакенбардами, во фракѣ, на верхней ступени узналъ меня и кивнулъ черезъ дамъ, подмигивая, какъ бы говоря: какъ глупо. То ли дѣло мы съ вами.[15] Я вошелъ, пропустивъ дамъ, пожалъ руку[16] Шебеку, и онъ вернулся, я зналъ, затѣмъ, чтобы сговориться, гдѣ повинтить нынче. Я[17] вошелъ въ комнату мертвеца, какъ обыкновенно, съ недоумѣніемъ о томъ, что собственно надо дѣлать. Одно я знаю, что креститься въ этихъ случаяхъ никогда не мѣшаетъ.[18] Я крестился и кланялся и вмѣстѣ оглядывалъ комнату. Молодые два человѣка, кажется, племянники, выходили,[19] потомъ старушка молилась, дьячекъ городской бодрый, рѣшительный, читалъ съ выраженьемъ, исключающимъ всякое противорѣчіе, буфетный мужикъ Герасимъ[20] что то посыпалъ по полу.[21] Въ послѣднее посѣщеніе мое Ивана Ильича я засталъ этого мужика въ кабинетѣ, онъ исполнялъ должность сидѣлки,[22] и стоялъ гробъ. Я все крестился и слегка кланялся[23] по серединному направленію между гробомъ, дьячкомъ и образами. Потомъ, когда это движеніе крещенія рукою показалось мнѣ уже слишкомъ продолжительно, я пріостановился и сталъ разглядывать мертвеца. Онъ лежалъ, какъ всегда, особенно утонувши въ гробу — и въ глаза бросались восковой лобъ, вострый носъ немного на бокъ и руки, желтыя его руки, слабыя,[24] съ отогнутыми кверху послѣдними суставами пальцевъ. Онъ очень перемѣнился, но, какъ всѣ мертвецы, былъ очень хорошъ и серьезенъ. Серьезность эта мнѣ показалась неумѣстной.[25] Я посмотрѣлъ и только что почувствовалъ, что зрѣлище это притягиваетъ меня, я быстро повернулся и пошелъ прочь къ[26] Шебеку, ждавшему меня у притолки. Я зналъ, что онъ молодедъ, и если мнѣ какъ то неловко было бы сѣсть нынче за винтъ, онъ не посмотритъ на

это и весело щелкнетъ распечатанной[27] колодой въ то время, какъ лакей будетъ раставлять 4 необозженныя свѣчи. Но видно, не судьба была винтить нынче вечеромъ. Прасковья Ѳедоровна, толстая, желтая, вся въ черномъ, съ совершеннымъ видомъ вдовы (мнѣ поразило, глядя на нее, какъ однообразенъ видъ вдовъ, — сколько я видалъ точно такихъ), подошла ко мнѣ, вздохнула взяла меня за руку.

— Я знаю, что вы были истиннымъ другомъ....

Какъ тамъ надо было креститься, здѣсь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «повѣрьте».... Я такъ и сдѣлалъ и почувствовалъ, что я тронутъ и она тронута.

— Пойдемте, дайте мнѣ руку, — сказала она. — Мнѣ нужно поговорить съ вами.

Я подалъ руку, и мы направились во внутреннія комнаты мимо[28] Шебека, который печально подмигнулъ мнѣ.[29] «Вотъ те и винтъ! Ужъ не взыщите, другаго партнера возьмемъ. Нечто впятеромъ, когда отдѣлаетесь». Я вздохнулъ еще глубже и печальнѣе, и Прасковья Ѳедоровна благодарно пожала мнѣ руку.

Мы сѣли въ обитую розовымъ кретономъ ея комнату. (Я помню какъ онъ устроивалъ эту комнату и совѣтовался со мной о кретонѣ). — Она начала плакать. И можетъ быть долго не перестала бы еслибы не пришелъ Соколовъ, ихъ буфетчикъ, съ докладомъ[30] о томъ, что мѣсто[31] то, которое назначила Прасковья Ѳедоровна, будетъ стоить 200 р. — Она перестала плакать съ видомъ жертвы взглянула на меня, сказала по французски, что это ей очень тяжело, но занялась съ Соколовымъ и даже я слышалъ, что очень внимательно распорядилась о пѣвчихъ. — Я все сама дѣлаю сказала она мнѣ. Я нахожу притворствомъ увѣренія, что не могу. Всегда можно. И меня сколько можетъ развлекать — дѣлать для него же. — Она опять достала платокъ. И вдругъ какъ бы встрехнулась. — Однако у меня дѣло есть къ вамъ: Въ послѣдніе дни, онъ ужасно страдалъ.[32]

— Страдалъ?

— Ахъ, ужасно. Послѣднія не минуты, а часы. Онъ не переставая кричалъ 18 часовъ.[33] За тремя дверьми слышно было.

— Ахъ, что я вынесла.

— Неужели?

— 18 часовъ корчился и кричалъ не переставая. — Я вздохнулъ, и тяжело. Мнѣ пришло въ голову: что какъ и я также буду 18 часовъ, но тотчасъ же я понялъ, что это глупо. Иванъ Ильичъ умеръ и кричалъ 18 часовъ, это такъ, но я это другое дѣло. Таково было мое разсужденье, если вспомнить хорошенько; и я успокоился и съ интересомъ сталъ распрашивать подробности о кончинѣ Ивана Ильича, какъ будто смерть[34] было такое приключеніе, которое совсѣмъ не свойственно мнѣ.

Я особенно подробно описываю мое отношеніе къ смерти тогда[35] потому, что именно тутъ въ этомъ кабинетѣ съ розовымъ кретономъ, я получилъ то, что измѣнило совсѣмъ мой взглядъ на смерть и на жизнь.

Я получилъ именно отъ Прасковьи Ѳедоровны записки ея мужа, веденныя имъ во время послѣднихъ 2-хъ мѣсяцовъ его смертной болѣзни. Послѣ разныхъ разговоровъ о подробностяхъ дѣйствительно ужасныхъ физическихъ страданій, перенесенныхъ Иваномъ Ильичемъ (подробности эти я узналъ только по тому какъ мученія Ивана Ильича дѣйствовали на нервы Прасковьи Ѳедоровны) послѣ разныхъ разговоровъ Прасковья Ѳедоровна передала сущность ея дѣла ко мнѣ. Оказывается, что за 5 дней до смерти, когда у Ивана Ильича еще были промежутки безъ страшныхъ болей по часу, по получаса, въ одинъ изъ этихъ промежутковъ Прасковья Ѳедоровна застала его за писаньемъ. И открылось, что онъ два мѣсяца пишетъ свой дневникъ. Одинъ только Герасимъ, буфетный мужикъ, зналъ про это. На вопросъ: что? зачѣмъ? На упреки, что онъ вредитъ себѣ, Иванъ Ильичъ отвѣчалъ, что это одно его утѣшенье — самимъ съ собой говорить правду.[36] Сначала онъ сказалъ ей: «сожги ихъ послѣ меня»; но потомъ задумался и сказалъ! «А впрочемъ, отдай Творогову (т. е. мнѣ). Онъ все таки болѣе человѣкъ чѣмъ другіе, онъ пойметъ».

И вотъ Прасковья Ѳедоровна передала мнѣ записную графленую книжечку счетную въ осьмушку, въ которой онъ писалъ.

— Что жъ это? — спросилъ я. — Вы читали?

— Да, я пробѣжала. Ужасно грустно. Ни по чемъ не видно такъ, как по этому, какъ страданія его имѣли вліяніе на душу. Вотъ это ужасно, и нельзя не признать правду за матерьялистами. Онъ уже былъ не онъ. Такъ это слабо, болѣзненно. Нѣтъ, связи, ясности, силы выраженья. А вы[37] знаете его стиль. Его отчеты это были шедевры. Мнѣ самъ П. М. Онъ былъ у меня (это былъ главный нашъ начальникъ) и очень былъ добръ. Истинно какъ родной. Онъ мнѣ сказалъ, что это было первое, лучшее перо въ министерствѣ. А здѣсь, — сказала она, перелистывая пухлыми, въ перстняхъ пальцами книжечку, — такъ слабо, противурѣчиво. Нѣтъ логики, той самой, въ которой онъ былъ такъ силенъ. Мнѣ все таки это дорого, вы возвратите мнѣ, какъ дорого все, что онъ. Ахъ! Мих. Сем. какъ тяжело, какъ ужасно тяжело — и она опять заплакала. Я вздыхалъ[38] и ждалъ когда она высморкается. Когда она высморкалась, я сказалъ: повѣрьте... и опять она разговорилась и высказала мнѣ то, что было, очевидно, ея главнымъ интересомъ[39] — имущественное свое положеніе. Она сдѣлала видъ, что спрашиваетъ у меня совѣта о пенсіонѣ, но я видѣлъ, что она уже знаетъ до малѣйшихъ подробностей то, чего я не зналъ, все то, что можно вытянуть отъ казны для себя и для дѣтей. — Когда она все разсказала, я пожалъ руку, поцѣловалъ[40] даже и съ книжечкой пошелъ въ переднюю. Въ столовой съ часами, которыя онъ такъ радъ былъ, что купилъ въ брикабракѣ, я встрѣтилъ въ черномъ его красивую, грудастую, съ тонкой таліей дочь. Она имѣла мрачный и гнѣвный, рѣшительный видъ. Она поклонилась мнѣ, какъ будто я былъ виноватъ. Въ передней никого не было. Герасимъ, буфетный мужикъ, выскочилъ изъ комнаты покойника, перешвырялъ своими сильными руками всѣ шубы, чтобы найти мою, и подалъ мнѣ.

— Что, братъ, Герасимъ, жалко.[41]

— Божья воля. Всѣ тамъ же будемъ, — сказалъ Герасимъ, улыбаясь и живо отворилъ мнѣ дверь, кликнулъ кучера, поглядѣлъ и захлопнулъ дверь.

Я взялъ записки и вечеромъ послѣ клуба, оставшись одинъ, взялъ эту книжечку на ночной столикъ и сталъ читать.[42] —

Вотъ эти записки.

<16 Декабря 1881.[43]

6-ю ночь я не сплю и не отъ тѣлесныхъ страданій. Они все таки давали мнѣ спать, но отъ страданій душевныхъ ужасныхъ, невыносимыхъ. Ложь, обманъ, ложь, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокругъ меня ложь, жена моя ложь, дѣти мои ложь, я самъ ложь, и вокругъ меня все ложь.[44] Но если я страдаю отъ нея,[45] я вижу, значить, и эту мерзкую ложь есть во мнѣ и правда. Если бы я весь былъ ложь, я бы не чувствовалъ ее. Есть[46] во мнѣ, видно, маленькая, крошечная частица правды, и она-то — я самый, и она то теперь, передъ смертью, заявляетъ свои права; и она то страдаетъ, ее то душатъ со всѣхъ сторонъ, забиваютъ, и это мнѣ больно, больно такъ, что хоть бы скорѣе смерть. Пусть потухнетъ или разгорится эта искра. Теперь же одна жизнь моя — это самому съ собой среди этой лжи думать[47] правду. Но чтобы яснѣе думать ее, чтобы найти эту правду, когда ложь затопитъ меня, я хочу написать ее. Буду писать пока силы есть, буду перечитывать, а кто нибудь послѣ прочтетъ и можетъ быть очнется.

Начну сначала, какъ это все сдѣлалось со мной.>

Записки эти ужасны. Я прочелъ ихъ, не спалъ всю ночь и поѣхалъ на утро къ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ и сталъ разспрашивать про ея мужа. Она мнѣ много разсказала и отдала его переписку, его прежній дневникъ. Когда уже похоронили Ивана Ильича, я еще нѣсколько разъ былъ у Прасковьи Ѳедоровны, разспрашивалъ ее, разспрашивалъ его дочь, Герасима, который поступилъ ко мнѣ. И изъ всего этаго я составилъ себѣ описаніе послѣдняго года жизни Ивана Ильича.

Исторія эта и самая простая и обыкновенная и самая ужасная. Вотъ она:

Иванъ Ильичъ умеръ 42 лѣтъ, членомъ судебной палаты. Онъ былъ сынъ Петербургскаго чиновника Государственныхъ Имуществъ Тайнаго Совѣтника, составившаго себѣ маленькое состояніе. Иванъ Ильичъ былъ 2-й сынъ, старшій былъ полковникъ, а меньшой неудался и служилъ по желѣзнымъ дорогамъ, сестра была замужемъ за Барономъ Гриле. И Баронъ былъ Петербургскимъ же чиновникомъ. Иванъ Ильичъ воспитывался въ Правовѣденіи, говорилъ по французски, бывалъ на балахъ у Принца б., спрашивалъ, сынъ ли онъ отца, былъ долженъ швейцару и за пирожки, носилъ respice finem медальку, былъ на ты съ товарищами, по выходѣ заказалъ фракъ и вицмундиръ у Шармера. Было веселое время, тонкій, ловкій правовѣдъ тотчасъ по протекціи отца поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ начальнику губерніи и высоко и весело носилъ первые два года знамя comme il faut-наго правовѣда — честный, общительный, порядочный, съ чувствомъ собственнаго достоинства и съ непоколебимой увѣренностью, что онъ свѣтитъ во мракѣ провинціи. Иванъ Ильичъ танцовалъ, волочился, кутилъ; изрѣдка и ѣздилъ по уѣздамъ съ новенькимъ петербургскимъ чемоданомъ и въ шармеровскомъ вицмувдирѣ, походкой порядочнаго человѣка всходилъ въ кабинетъ начальника и оставался обѣдать и[48] говорить по французски съ начальницей. — Было веселое, легкое, спокойное время. Была связь съ одной изъ дамъ, навязывавшихся щеголеватому правовѣду, и связь эта чуть было не затянула Ивана Ильича. Но пришла перемѣна по службѣ, связь разорвалась.

Перемѣна по службѣ тоже была веселой. Были новые судебные учрежденія. Нужны новые люди. Уже и такъ Иванъ Ильичъ несъ знамя порядочности и прогресса; а тутъ еще на знамѣ написалось: европеизмъ, прогрессъ либеральность, гласный судъ — правый и короткій. Сомнѣнья въ томъ, что быть судебнымъ слѣдователемъ дѣло нетолько хорошее, но прелестное, не могло быть. Права огромны, несмѣняемость, въ 5 классѣ. И Иванъ Ильичъ сталъ судебнымъ слѣдователемъ такимъ же совершеннымъ[49] и[50] comme il faut-нымъ. Дѣло кипѣло. Иванъ Ильичъ хорошо писалъ и любилъ элегантно

писать. И былъ увѣренъ въ себѣ. И дѣло шло. Но тутъ, въ другой провинціи, прежде чѣмъ завязалась новая связь, наскочила не старая, но уже и не молодая дѣвица. Иванъ Ильичъ прельщалъ ее, какъ всѣхъ. Дѣвица прельстилась, но понемногу стала затягивать Ивана Ильича и затянула. И Иванъ Ильичъ женился. Женитьба Ивана Ильича была первый актъ жизни, съуживающій первый размахъ. Прасковья Ѳедоровна была стараго дворянскаго рода, не дурна, полна, чувственна, было маленькое состояньице. Все бы это ничего. Но Иванъ Ильичъ могъ расчитывать на самую высокую партію, а это была партія ниже средней. Впрочемъ, что же, женитьба не мѣшаетъ карьерѣ. И если я уже попался, то могу сказать себѣ, что я не продаю сердце. Такъ и сказалъ себѣ Иванъ Ильичъ. И мечталъ о супружескомъ счастьи такъ, что кромѣ прежнихъ удовольствій холостой жизни будетъ еще домашняя поэзія. Но тутъ оказалось, что жена ревнива, зла, язычна, скупа, безтолкова, и что удовольствія холостой жизни, даже самые невинные, какъ танцы, клубъ надо оставить, а вмѣсто поэзіи очага имѣть ворчливость,[51] привередливость, укоризны. — Это была первая тяжелая пора жизни Ивана Ильича, но онъ съумѣлъ найтись. Вся энергія Ивана Ильича перешла на службу. Онъ сталъ[52] честолюбивъ: И служба — бумага хорошо написанная стала понемногу цѣлью и радостью его жизни. Пошли дѣти, состояньице жены ушло на обзаведеніе, жена стала укорять и требовать. И потому служба и честолюбіе усилились еще тѣмъ, что одна служба могла давать деньги. И Иванъ Ильичъ работалъ много, охотно, и его цѣнили какъ хорошаго служаку, и повысили. Но тутъ случилось другое непріятное событіе. Будучи уже товарищемъ прокурора и лучшимъ, правя всегда должность, Иванъ Ильичъ ждалъ, что его не обойдутъ при первомъ назначеніи въ Прокуроры. Оказалось, что Гопе, Товарищъ Прокурора, забѣжалъ какъ-то въ Петербургъ, и его, младшаго, назначили, а Иванъ Ильичъ остался. Иванъ Ильичъ сталъ раздражителенъ, ввязался въ дѣло съ Губернаторомъ. Онъ былъ правъ; но начальству суда было[53] неудобно имѣть непріятность съ губернаторомъ. Къ нему стали холодны. Все это взбѣсило Ивана Ильича, онъ бросілъ все и пошелъ на мѣсто

ниже своего въ другое вѣдомство. — Надо было переѣзжать. Жена замучила его упреками. Жизнь и служба были непріятные. Жалованья было больше, но жизнь дороже, климатъ дурной — говорили доктора. Умеръ сынъ. Жена говорила, что отъ климата, что онъ виноватъ во всемъ. Жена со скуки кокетничала съ губернаторомъ. Повышенія и перехода назадъ не предвидѣлось, самъ онъ заболѣлъ ревматизмами. Положеніе было дурное со всѣхъ сторонъ. Но Иванъ Ильичъ не отчаявался, поѣхалъ въ Петербургъ. Тамъ черезъ друзей отца и одну даму устроилъ себѣ вновь переходъ въ министерство юстиціи на мѣсто выше того, которое занималъ его товарищъ. Ему обѣщали, но перевода все не было до[54] 1880 года. — Этотъ то годъ былъ самый тяжелый въ жизни Ивана Ильича. — Но тутъ помогла вдругъ и его энергія и счастье, и стало все понемногу устроиваться. Вотъ съ этого то времени и начинается эта ужасная исторія послѣдняго года жизни Ивана Ильича, которую я хочу разсказать.

Въ концѣ[55] Августа Иванъ Ильичъ вернулся изъ Петербурга въ деревню къ зятю, у котораго жила жена съ дочерью.

Отношенія Прасковьи Ѳедоровны съ семействомъ[56]..... были самые натянутые. Подразумѣвалось и всѣмъ такъ разсказывалось, что мы такъ давно не видались и такъ счастливы провесть лѣто вмѣстѣ, что нетолько разговора, но и мысли не можетъ быть о томъ, что семейство Ивана Ильича занимаетъ комнаты, ѣсть, пьетъ, дѣлаетъ нечистоты, которые должна исправлять все таже прислуга, подразумѣвалось, что всѣ этимъ очень счастливы, въ дѣйствительности же своякъ Ивана Ильича, хозяинъ, каждый день ложась спать, говорилъ женѣ:[57]

— Несносно. Вѣдь надо честь знать, эта безсовѣстность — поселиться и жить. — Эта каторга. И эти претензіи!

— Да ну, чтоже, теперь уже недолго.

— Недолго! Я конца не вижу этому. Очевидно, онъ испортилъ своей самоувѣренностью, и ему ничего не дадутъ. Да и что онъ за драгоцѣнность, что ему сейчасъ мѣсто предсѣдателя? Ничего ему не дадутъ. А мы неси все это.

Такъ было со стороны хозяевъ. Со стороны гостей было тоже. Прасковья Ѳедоровна говорила, что такой ladrerie[58] (она ее замѣчала) она не видывала и не ожидала и что это — мученье, которое въ жизнь не забудетъ. Видѣть, что трясутся надъ каждымъ кускомъ. (Она преувеличивала; но въ этомъ была и доля правды) и что если бы она знала, она лучше бы въ избѣ на черномъ хлѣбѣ жила. Но въ избѣ на черномъ хлѣбѣ она и не пыталась жить. Говорила же она это все[59] въ такой преувеличенной формѣ для того, чтобы мучать этими рѣчами Ивана Ильича. И Ивана Ильича это мучало ужасно. И[60] Иванъ Ильичъ въ это послѣднее время не видалъ добраго лица на своей женѣ, не слыхалъ добраго слова. — Что было еще хуже, дочь отъ скуки и жиру начала кокетничать съ учителемъ. И во всемъ этомъ былъ виноватъ[61] Иванъ Ильичъ. Такъ было внутри, наружно же все было очень прекрасно.[62] Когда пріѣзжалъ сосѣдъ и послѣ обѣда выходилъ съ гостями на каменную терасу и лакей въ бѣломъ галстукѣ разносилъ кофе, и всѣ другъ другу улыбались, и невѣстка улыбалась, и хозяинъ говорилъ, что у нихъ нынче особенно весело лѣтомъ, гостямъ казалось, что тутъ рай. А тутъ былъ адъ. И въ этомъ аду съ страхомъ того, что изъ него не выберешься, жилъ Иванъ Ильичъ. Въ послѣднее свое пребываніе въ деревнѣ у зятя онъ,[63] щепетильный и самолюбивый человѣкъ, замѣтилъ, что онъ въ тягость, и что въ отношеніяхъ къ нему примѣшивается оттѣнокъ презрѣнія, а отъ жены и дочери кромѣ упрековъ не слыхалъ ничего.

Въ Августѣ, почти въ отчаяніи успѣть въ своемъ дѣлѣ, Иванъ Ильичъ поѣхалъ еще разъ въ Петербургъ. Онъ ѣхалъ только за однимъ[64] — исхитриться выпросить мѣсто въ 7 тысячъ жалованья. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія, рода дѣятельности. Ему нужно было мѣсто — мѣсто съ 7-ю тысячами. Безъ мѣста съ 7-ю тысячами — погибель. Онъ не допускалъ возможности этой погибели; но в эту поѣздку онъ уже рѣшилъ, что не по юстиціи, то по администраціи, по банкамъ, по желѣзнымъ дорогамъ, императрицы Маріи, даже таможни — но 7 тысячъ. И онъ ѣхалъ, везя себя на базаръ,[65] кому понадобился, кто дастъ больше.

Опять эта цѣль поѣздки его была настоящая, существенная; но подразумѣвалось совсѣмъ не то — подразумѣвалось, что отецъ Ивана Ильича былъ очень плохъ. Онъ жилъ въ Царскомъ, и давно уже[66] ждали его смерти. «Il est allé voir mon pauvre beau père. Il ne fera pas du vieux os. Et Jean a toujours été son favori»,[67] — говорила Прасковья Ѳедоровна и говорилъ Иванъ Ильичъ. И вотъ эта поѣздка Ивана Ильича увѣнчалась удивительнымъ, неожиданнымъ успѣхомъ. Въ Курскѣ подсѣлъ въ 1-й классъ къ Ивану Ильичу знакомый и сообщилъ свѣжую телеграмму, полученную утромъ губернаторомъ, что въ министерствахъ произойдетъ на дняхъ перетасовка: Петръ Петровичъ, новое лицо, поступалъ на мѣсто Ивана Петровича, Иванъ Ивановичъ на мѣсто Пет. И., П. И. на мѣсто И. П., а Ив. П. на мѣсто Ивана Ивановича. До самой Москвы Иванъ Ильичъ бесѣдовалъ съ знакомымъ о томъ, какіе и какіе послѣдствія выйдутъ для Россіи отъ этой перемѣны. Въ разговорѣ тоже подразумѣвалось — для Россіи, въ дѣйствительности же интересъ разговора состоялъ въ соображеніи послѣдствій отъ этой перетасовки для полученія мѣстъ съ деньгами для самихъ себя и своихъ знакомыхъ. Предполагаемая перетасовка, вводя новое лицо — Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, была въ высшей степени благопріятна для Ивана Ильича. Захаръ Ивановичъ былъ товарищу другъ и человѣкъ обязанный Ивану Ильичу. Въ Москвѣ извѣстіе подтвердилось. А пріѣхавъ въ Петербурга, Иванъ Ильичъ нашелъ Захара Ивановича и получилъ обѣщаніе вѣрного мѣста въ томъ же своемъ министерствѣ. И черезъ недѣлю телеграфировалъ женѣ: «Захаръ мѣсто Шлеера при первомъ докладѣ получаю назначеніе Москву».

Всѣ ожиданія Ивана Ильича оправдались. Онъ получилъ назначеніе то, которое даже уже не ожидалъ, получилъ такое назначеніе, въ которомъ онъ сталъ на двѣ степени выше своихъ товарищей, 8 тысячъ жалованья и подъемныхъ 3500.

Какъ горе одно не ходитъ, такъ и радости. Для Прасковьи Ѳедоровны къ радости этого извѣстія примѣшивалось одно еще горе — это вопросъ о томъ, какъ переѣхать и меблировать домъ такъ, чтобы можно было выѣзжать въ высшемъ московскомъ

свѣтѣ (это была 20-лѣтняя мечта Прасковьи Ѳедоровны) подъ предлогомъ вывоза дочери. Денегъ не было. Мебель, оставшаяся въ провинціи, была не такая, при которой бы можно было выѣзжать, а на 3500 ничего завести нельзя. Это одна гостиная. И тутъ же въ этомъ мѣсяцѣ разрѣшилось и это затрудненіе. Старикъ отецъ Ивана Ильича умеръ двѣ недѣли послѣ назначенія своего сына. У старика ничего не было, кромѣ пенсіи въ 6000; но у него была прелестная мебель и вещи. Домъ его былъ игрушка художественной vieux saxe — бронзы, мебель старинная — та самая, что въ модѣ, и все это перешло къ Ивану Ильичу. Первая телеграмма Ивана Ильича была такая: «Папа тихо скончался 17-го въ 2 часа дня. Похороны субботу. Не жду тебя. «Вторая телеграмма: «Акціи и билеты поровну намъ и Сашѣ. Всего было на 12 тысячъ, движимость вся мнѣ».

— Я очень рада за Jean, — говорила Прасковья Ѳедоровна, — что онъ закрылъ глаза своему отцу. Я его мало знала, но тоже любила. Моя судьба не выходить изъ траура.

Такъ что вдругъ изъ самого труднаго положенія Иванъ Ильичъ. съ семьей пришелъ въ самое пріятное.

Когда Иванъ Ильичъ вернулся въ деревню съ разсказами о томъ, какъ его всѣ чествовали, какъ всѣ тѣ, которые были его. врагами, были посрамлены и подличали теперь передъ нимъ, какъ ему завидуютъ за его положеніе, в особенности какъ всѣ его сильно любили въ Петербургѣ, Прасковья Ѳедоровна уже привыкла къ этой манерѣ разсказа Ивана Ильича, когда онъ былъ въ духѣ. Сама она никогда не замѣчала, чтобы въ ее присутствий другіе особенно нѣжно обращались къ Ивану Ильичу, но по его разсказамъ, когда онъ былъ въ духѣ, всегда выходило, что у всѣхъ людей въ Петербургѣ за его послѣднее пребываніе тамъ была одна забота, одна радость — чествовать Ивана Ильича, услуживать ему, говорить ему пріятное. — Отношенія въ семьѣ зятя тотчасъ же тоже перемѣнились. Головины собрались уѣзжать, какъ только готова будетъ квартира въ Москвѣ, и уже ими нетолько не тяготились, а ухаживали за ними, стараясь загладить прошедшее.

Иванъ Ильичъ пріѣхалъ на короткое время 10 сентября, ему надо было принимать должность и, кромѣ того, нужно было

время устроиться въ Москвѣ, перевезти все изъ провинціи, изъ Петербурга, прикупить, призаказать еще многое — однимъ словомъ, устроиться такъ, какъ это рѣшено было давно въ душѣ Прасковьи Ѳедоровны. И планъ Прасковьи Ѳедоровны, дома элегантнаго, свѣтскаго, высокаго лица, вывозящаго дочь, нравился Ивану Ильичу. Нетолько нравился, но Иванъ Ильичъ, притворяясь, что это — планъ жены, самъ лелѣялъ эту мысль. И теперь, когда все устроилось такъ удачно и когда они сходились съ женою въ цѣли, и кромѣ того, они мало жили вмѣстѣ, они такъ дружно сошлись, какъ не сходились съ первыхъ лѣтъ женатой своей жизни. Таничка дочь совсѣмъ разсіяла, бросила кокетничать съ студентами и вся отдалась прелестному будущему в Москвѣ.

Иванъ Ильичъ было думалъ увезти семью тотчасъ же; но настоянія сестры и зятя: «Какъ это можно? Куда же вы въ гостинницу? Теперь еще такъ хорошо въ деревнѣ; а для насъ такая радость. А Jean пусть устраиваетъ и можетъ пріѣзжать — тутъ десять часовъ въ поѣздѣ — и у насъ». И рѣшено было ѣхать одному Ивану Ильичу. Иванъ Ильичъ уѣхалъ, и веселое расположеніе духа и удача, одно усиливающее другое, все время не оставляли его.

Нашлась квартира прелестная — то самое, что мечтали мужъ съ женой — широкіе, высокіе, въ строгомъ стилѣ пріемныя комнаты, удобный, скромный кабинетъ, комнаты женѣ и дочери, все какъ нарочно придумано для нихъ, все чисто, грандіозно, но не ново. Иванъ Ильичъ самъ взялся за устройство, распаковывалъ ящики изъ Петербурга, выбиралъ обои, подкупалъ мебель, обивку, и все росло росло и приходило къ тому идеалу, который онъ составилъ себѣ, и даже, когда онъ до половины устроилъ, превзошло его ожиданье. Онъ понялъ тотъ рѣдко изящный и широкій характеръ, который приметъ все, когда устроится. Онъ не ждалъ, что такъ полюбитъ это дѣло. Засыпая онъ представлялъ себѣ залу, какою она будетъ. Глядя на гостиную, еще не конченную, онъ уже видѣлъ каминъ, экранъ, этажерку и эти стульчики, разбросанные и эти прелестные отцовскіе бронзы, когда они всѣ станутъ по мѣстамъ. Его радовала мысль, какъ онъ поразитъ Пашу и

Таничку. Они никакъ не ожидаютъ этого. Въ особенности отцовскія вещи. Онъ въ письмахъ своихъ и при свиданіи нарочно представлялъ все хуже, чѣмъ есть, чтобы поразить ихъ. Они предчувствовали это и радовались. Это такъ занимало его, что даже новая служба его, любящаго это дѣло, занимала меньше, чѣмъ онъ ожидалъ. Въ засѣданіяхъ у него бывали минуты разсѣянности: онъ задумывался о томъ, какіе карнизы на гардины, прямые или подобранные. Онъ такъ былъ занятъ этимъ, что самъ часто возился, переставлялъ даже мебель и самъ перевѣшивалъ гардины.

Разъ онъ влѣзъ на[68] лѣсенку, чтобы показать непонимающему обойщику, какъ онъ хочетъ драпировать,[69] оступился и упалъ, но, какъ сильный и ловкій человѣкъ, удержался, только бокомъ стукнулся объ ручку рамы. Ушибъ былъ не важный и скоро прошелъ. Вообще же Иванъ Ильичъ, какъ и писалъ и говорилъ, чувствовалъ себя отъ этой физической работы по дому лучше, чѣмъ когда нибудь.

Онъ писалъ: «Чувствую что съ меня соскочило лѣтъ 15». Онъ думалъ кончить въ сентябрѣ, но затянулось до половины октября. За то было прелестно. Нетолько онъ говорилъ, но ему говорили всѣ, кто видѣли. Когда я былъ у Ивана Ильича и видѣлъ его помѣщеніе, оно было уже обжито, и теперь, зная, сколько[70] труда было положено имъ и радости это ему доставило, я стараюсь вспомнить, но тогда я не замѣтилъ. Это было то самое, что видишь вездѣ: штофъ, цвѣты, ковры, черное дерево, бронзы, темное и блестящее, — все то, что всѣ извѣстнаго рода люди дѣлаютъ, чтобы быть похожими на всѣхъ людей извѣстнаго рода. И у него было такъ похоже, что нельзя было обратить вниманіе, потому что видѣлъ это самое тысячу разъ. А оказывается, что ему добиться этого сходства стоило большого труда, а главное, вполнѣ заняло всего его.

Когда онъ, встрѣтивъ своихъ на станціи желѣзной дороги, привезъ ихъ въ свою освѣщенную готовую квартиру, и лакей въ бѣломъ галстукѣ отперъ дверь въ убранную цвѣтами переднюю, а потомъ они вошли въ гостиную, кабинеты и ахали отъ удовольствія, онъ былъ[71] очень счастливъ, водилъ ихъ вездѣ, впивалъ въ себя ихъ похвалы и сіялъ отъ удовольствія.

Въ этотъ же вечеръ за чаемъ Прасковья Ѳедоровна, получившая письмо объ его паденіи, спросила его,[72] не ушибся ли онъ? Онъ сказалъ, что нисколько.

— Я не даромъ гимнастъ, другой бы убился, а я чуть чуть ударился вотъ тутъ, когда тронешь, еще больно, но уже проходитъ, просто синякъ.

— Нѣтъ, какъ Таничкинъ кабинетъ хорошъ, съ какимъ вкусомъ.

— Да папа ужъ сдѣлаетъ. Прелесть.

И они начали жить въ новомъ помѣщеніи съ новыми достаточными (какъ всегда почти) средствами, и было очень хорошо.[73] — Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще[74] устроивать то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Когда уже нечего было устраивать стало немножко скучно, но тутъ уже сдѣлались знакомства и привычки, и жизнь наполнилась.

Расположеніе духа Ивана Ильича было хорошо; хотя и страдало немного именно отъ помѣщенія. Всякое пятно на скатерть, на штофъ, оборванный снурокъ гардины раздражало его. Онъ столько труда положилъ на устройство, что ему больно было всякое разрушеніе. Но вообще жизнь Ивана Ильича казалась ему совершенно полною, пріятною и хорошею. Онъ вставалъ въ 9, пилъ кофе, читалъ «Голосъ». Потомъ надѣвалъ вицмундиръ, ѣхалъ въ Судъ. Тамъ уже обмялся тотъ хомутъ, въ которомъ онъ работалъ, онъ сразу попадалъ въ него, Просители, справки въ канцеляріи, сама канцелярія, засѣданія публичныя и распорядительныя. Во всемъ этомъ надо было дѣйствовать и жить одной стороной своего существа — внѣшней служебной.[75] Надо было не допускать съ людьми никакихъ отношеній помимо служебныхъ. И поводъ къ отношеніямъ долженъ былъ быть только служебный, и самыя отношенія только служебныя. Напримѣръ, приходитъ человѣкъ и желаетъ узнать что нибудь. Иванъ Ильичъ какъ человѣкъ не долженъ и не можетъ имѣть никакихъ отношеній ни къ какому человѣку; но если есть отношеніе этого человѣка къ члену такое, которое можетъ быть выражено на бумагѣ съ заголовкомъ, въ предѣлахъ этихъ отношеній Иванъ Ильичъ дѣлаетъ все, все

рѣшительно, что можно, и при этомъ соблюдаетъ подобіе человѣческихъ дружелюбныхъ отношеній. Какъ только кончается отношеніе служебное, такъ кончается всякое другое. Этимъ умѣніемъ отдѣлять отъ себя эту паутину служебную, не смѣшивая ее съ своей настоящей жизнью, Иванъ Ильичъ владѣлъ въ высшей степени. И долгой практикой и талантомъ выработалъ его до такой степени, что онъ даже, какъ виртуозъ, иногда позволялъ себѣ какъ бы шутя смѣшивать человѣческое и служебное отношеніе. Онъ позволялъ это себѣ, какъ виртуозъ, потому что чувствовалъ въ себѣ умѣнье во всякое мгновеніе опять подраздѣлить то, что не должно быть смѣшиваемо. Дѣло это шло у Ивана Ильича легко и даже пріятно, потому что виртуозно. Въ промежуткахъ отъ куренія пилъ чай, бесѣдовалъ немножко о политикѣ, немножко объ общихъ и больше всего о назначеніяхъ. И усталый, но съ чувствомъ виртуоза, отчетливо отдѣлавшаго свою важную партію, одну изъ первыхъ скрипокъ въ оркестрѣ, возвращался домой. — Вотъ тутъ дома передъ обѣдомъ чаще всего Иванъ Ильичъ замѣчалъ пятно на штофѣ, оцарапанную ручку кресла, отломанную бронзу и начиналъ чинить и сердиться. Но Прасковья Ѳедоровна знала это и торопила людей подавать обѣдать.

Послѣ обѣда, если не было гостей, Иванъ Ильичъ читалъ «Голосъ» уже внимательно, иногда, очень рѣдко, книгу, про которую много говорятъ. И вечеромъ садился за дѣла, т. е. читалъ бумаги, справлялся съ законами, сличая показанія и подводилъ подъ законы. Ему это было не скучно, не весело. Скучно было, когда можно было играть въ винтъ, но если не было винта, то это было всетаки лучше, чѣмъ сидѣть одному или съ женой.

Удовольствія же Ивана Ильича были обѣды маленькіе, на которые онъ звалъ важныхъ по свѣтскому положенію дамъ и мущинъ, и такое времяпрепровожденіе съ ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровожденіе времени такихъ людей, также какъ гостиная его была похожа на всѣ гостиные. Одинъ разъ у нихъ былъ даже вечеръ. Танцовали. И Ивану Ильичу было весело. И все было хорошо, только вышла ссора съ женой изъ-за тортовъ и конфетъ: у Прасковьи Ѳедоровны

былъ свой планъ, а Иванъ Ильичъ настоялъ на томъ, чтобы взять все у Альбера, и взяли много тортовъ. И ссора была за то, что торты остались, а счетъ Альбера былъ въ 45 рублей. Ссора была большая и непріятная, такъ что Прасковья Ѳедоровна сказала ему: «дуракъ кислый». А онъ схватилъ себя за голову и въ сердцахъ что-то упомянулъ о разводѣ. Но самъ вечеръ былъ веселый. Было лучшее Московское общество и Иванъ Ильичъ танцовалъ съ княгиней Турфоновой, сестрой той, которая извѣстна учрежденіемъ находящагося подъ покровительствомъ императрицы общества «унеси ты мое горе». Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія. Но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ.[76] Онъ признавался, что послѣ всего, послѣ какихъ бы то ни было событій радостныхъ въ его жизни, радость, которая, какъ свѣча, горѣла передъ всѣми другими, это сѣсть съ хорошими игроками и не крикунами партнерами въ винтъ и непремѣнно вчетверомъ (впятеромъ ужъ очень больно выходить, хоть и притворяешься, что я очень[77] люблю) и[78] вести умную серьезную игру (когда карты идутъ) съ толковымъ понимающимъ партнеромъ.

Поужинать, выпить стаканъ вина. А спать послѣ винта, особенно когда въ маленькомъ выигрышѣ (большой — непріятно), Иванъ Ильичъ ложился въ особенно хорошемъ расположеніи духа.

Такъ они жили.[79] Кругъ общества составился у нихъ самый лучшій. Во взглядѣ на кругъ своихъ знакомыхъ мужъ, жена и дочь были совершенно согласны. И не сговариваясь одинаково оттирали отъ себя и освобождались отъ всякихъ разныхъ пріятелей и родственниковъ замарашекъ, которые разлетались съ нѣжностями[80] въ Москву въ гостиную съ майоликовыми блюдами по стѣнамъ. Скоро эти[81] друзья замарашки перестали разлетаться и дѣлать диспаратъ, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Ѣздили и важные люди и молодые люди. Молодые люди ухаживали за Таничкой, и Петрищевъ, сынъ Дм. Ив. Петрищева и единственный наслѣдникъ его состоянія, судебный слѣдователь сталъ

ухаживать за Таничкой. Такъ что Иванъ Ильичъ уже поговаривалъ объ этомъ съ Прасковьей Ѳедоровной. Такъ они жили. И все шло такъ не измѣняясь. Всѣ были счастливы и здоровы. Нельзя было назвать нездоровьемъ то, что Иванъ Ильичъ говорилъ иногда, что у него странный вкусъ во рту и что то неловко въ лѣвой сторонѣ живота.

№ 2.

Нельзя и нельзя и нельзя такъ жить какъ я жилъ какъ я еще живу и какъ мы всѣ живемъ.

Я понялъ это вслѣдствіи смерти моего знакомаго Ивана Ильича и записокъ которыя онъ оставилъ.

Опишу то какъ я узналъ о его смерти и какъ я до его смерти и прочтенія его записокъ смотрѣлъ на жизнь.

К главе 1.

И. П. засталъ еще партію и успѣлъ сыграть два робера. Въ одномъ изъ нихъ онъ назначалъ малый шлемъ безъ онеровъ я выигралъ, и это очень волновало его. Въ 3-мъ ужъ часу онъ легъ въ постель. Жена уже спала. И. П. раздѣлся, легъ и, какъ всегда на ночь, сталъ читать французскій романъ. Онъ остановился на томъ, какъ героиня поступила на сцену въ кафе-шантанъ и имѣла успѣхъ, и мужъ вновь влюбился въ нее, не узнавая ее; но узналъ только по аріи, которую она спѣла. И вдругъ въ связи съ аріей Ив. Петровичу вспомнилась арія изъ Риголето, давнишняя арія donna e mobile, которую онъ очень любилъ въ бытность свою въ Правовѣденіи, и онъ, какъ сейчасъ, услыхалъ эту арію, такъ какъ онъ слышалъ ее въ первый разъ послѣ оперы. Это было въ дортуарѣ 3-го класса. Всѣ спятъ, рядъ постелей, храпъ, дыханье сонное, тишина. Надзиратель вышелъ.[82] Въ дортуарѣ свѣтло вверху и темно внизу. И вотъ, недалеко, черезъ двѣ кровати, вдругъ странные, слабые, чистые и прелестные звуки на какомъ-то неслыханномъ инструментѣ — звуки донна е мобиле. И. П. привсталъ, поглядѣлъ, на третьей кровати сидитъ поднявшись маркиза: такъ прозывали И. И. въ Правовѣденіи, и это онъ на чемъ то играетъ. Это онъ, щелкая по зубамъ, играетъ

арію чисто, нѣжно, съ такими вѣрными интонаціями.[83] Иванъ Петр. всталъ молча и подошелъ. Головинъ[84] И. И. сидитъ въ ночной рубашкѣ; шея тонкая, нѣжная, волоса мягкіе, спутанно вьются,[85] и косичка на затылкѣ, вьющаяся сзади, та косичка, которая служитъ примѣтой того, что слѣдующій членъ семьи будетъ сестра. И точно была сестра. Та самая несносная безтолковѣйшая барыня желтая и злая, которая была нынче на панихидѣ. И. П. помнилъ эту сестру молодой, а теперь что изъ нея сдѣлалось. А самъ И. И. съ косичкой? Гдѣ онъ? Что изъ него сдѣлалось? То, что лежитъ на гробовой подушкѣ, выставивъ восковой носъ и ноздри и сложивъ[86] худыя жилистыя и окаменѣвающія бѣлыя руки, и увѣряетъ меня, что и я сдѣлаюсь тѣмъ же. И. П. вздрогнулъ и пробурчалъ что-то и повернувшись заскрипѣлъ кроватью. Жена чмокнула губами просыпаясь. «Это невыносимо, — сказала она, — пріѣдешь къ утру, и то не спишь и другимъ не даешь спать. Надо хоть немножко совѣсти имѣть». Ив. Петр. подулъ на свѣчку, и она не задулась. Онъ пальцами потушилъ ее, легъ и затихъ. Но не могъ удержаться и тяжело вздохнулъ. «Надо думать о другомъ». И чтобы развлечься, онъ сталъ думать о томъ странномъ маломъ шлемѣ, который они выиграли безъ онеровъ. Шлемъ этотъ даже можно было выиграть прямо назначеніемъ въ товарищи предсѣдателя, какъ то пришло ему въ голову. И ему представилась еще другая игра, которая бы могла придти даже безъ фигуръ. Только одна дама червей, и тогда 800 рублей выигрывается. Потомъ дама червей стала что-то разсказывать и поднимать то самое, что[87] Марья Ѳедоровна, дама изъ Казани, поднимала и разсказывала[88] въ прошлую ночь, и онъ заснулъ.

Страница черновой рукописи «Смерти Ивана Ильича».
(Размер подлинника).

№ 4.

К главе II

Но тутъ вдругъ явилось что то такое новое, неожиданное, непріятное, тяжелое и неприличное, отъ чего никакъ нельзя

было отдѣлаться и чему никакъ нельзя было придать характеръ легкой пріятности и приличія.

Оказалось, что жена была ревнива, скупа, безтолкова и что въ домашней жизни ничего не выходило, кромѣ[89] тяжести и скуки. Придать жизни съ ней веселый, пріятный и приличный характеръ не было никакой возможности.

Это былъ первый ухабъ, въ который заѣхала катившаяся такъ ровно до тѣхъ поръ жизнь Ивана Ильича.[90]

№ 5.

К главе III.

Послѣ семи лѣтъ службы въ одномъ городѣ[91] Ив. Ил. получилъ предложеніе на мѣсто прокурора въ другомъ городѣ. И. И. принялъ.

Жена пробовала было противодѣйствовать ему, но тутъ Иванъ Ильичъ[92] окрысился и такую страшную сцену сдѣлалъ женѣ, что она уже, увидавъ, что онъ въ этомъ отношеніи злѣе ея, покорилась ему, какъ онъ прежде покорялся ей.[93]

Они переѣхали. Денегъ было мало, и женѣ не понравилось то мѣсто, куда они переѣзжали.[94] Но все таки переѣхали. Жалованья было хоть и больше прежняго, но жизнь была дороже. Климатъ былъ дурной, и умеръ ребенокъ, сынъ второй. Уже было трое дѣтей. Осталась старшая дѣвочка и мальчикъ неудачный — золотушный, слабый, нелюбимый.

Жена говорила, что Иванъ Ильичъ виноватъ во всемъ — и въ смерти ребенка, и говорила, что она въ отчаяніи.

Въ семьѣ была постоянная война. Большинство предметовъ разговора наводило на вопросы, по которымъ были воспоминанія ссоръ, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только кое какіе островки, на которыхъ можно было кое какъ держаться не раздражаясь. Но всякую минуту оба были готовы соскочить въ море вражды, которое заливало его со всѣхъ сторонъ, и всякую минуту вспыхивали ссоры, отъ которыхъ оба супруга не могли удерживаться даже при прислугѣ и при дѣтяхъ. Одно спасеніе Ивана Ильича была

служба, одно утѣшеніе — его важность. Только въ служебномъ мірѣ еще оставался у него тотъ уголокъ, гдѣ онъ могъ проводить въ жизнь свою вѣру о томъ, что жить надо легко, пріятно и прилично.

Такъ прожилъ онъ еще семь лѣтъ. Послѣдніе два года жизнь для Ивана Ильича стала тяжелѣе: жена стала физически противна, ревность же ея все увеличивалась и не давала ему покоя, въ особенности тѣмъ, что именно ревность ея и возбуждала въ немъ желаніе сближенія съ другими женщинами. Оставалась одна служба. А служба начинала терять прелесть и интересъ, потому что случилось одно непріятное обстоятельство. И. И. ждалъ мѣста Предсѣдателя, но Гоппе, товарищъ его, забѣжалъ какъ то въ Петербургѣ впередъ и получилъ это мѣсто. И. И. раздражился, сталъ дѣлать упреки и поссорился съ ближайшимъ начальствомъ. Къ нему стали холодны. И въ слѣдующемъ назначеніи его опять обошли. Иванъ Ильичъ, очевидно, былъ умышленно забытъ, и товарищи его всѣ ушли впередъ его.[95] И это очень огорчило его.

Такъ было до 1880-го года. Этотъ годъ былъ самый тяжелый въ жизни Ивана Ильича. Въ этомъ году оказалось, съ одной стороны, что жалованья не хватаетъ на жизнь, съ другой, что всѣ его забыли и что то, что казалось для него по отношенію къ нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другимъ представлялось совсѣмъ обыкновеннымъ дѣломъ. Даже отецъ не считалъ своей обязанностью помогать ему. Онъ почувствовалъ, что всѣ покинули его, считая его положеніе съ 3500 жалованья самымъ нормальнымъ и даже счастливымъ. Онъ одинъ зналъ, что съ сознаньемъ тѣхъ несправедливостей, которыя были сдѣланы ему, и съ вѣчнымъ пиленіемъ жены, и съ долгами, которые онъ сталъ дѣлать, живя сверхъ средствъ, онъ одинъ зналъ,[96] какъ тяжело его положеніе.

Въ такомъ тяжеломъ положеніи почти что всегда, за исключеніями рѣдкими, въ ссорѣ съ женой, съ недовольствіемъ на дѣтей, съ отсутствіемъ интереса къ службѣ, въ зависти и досадѣ на всѣхъ, Иванъ Ильичъ этотъ тяжелый годъ рѣшилъ выдти изъ своего министерства и искать другаго мѣста. И сталъ хлопотать объ этомъ. Ему обѣщали. Но прошло полгода, и

ничего опредѣленнаго не было. Лѣто этаго года для облегченія средствъ онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ съ женой прожить лѣто въ деревню у брата Прасковьи Ѳедоровны.

Въ деревнѣ безъ службы для Ивана Ильича была скука невыносимая, которую ничѣмъ нельзя было разогнать.

Въ Августѣ Иванъ Ильичъ[97] поѣхалъ еще разъ въ Петербурга хлопотать о мѣстѣ. Онъ ѣхалъ за однимъ: выпросить мѣсто въ пять тысячъ жалованья. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія или рода дѣятельности. Ему нужно было только мѣсто, мѣсто съ пятью тысячами.[98]

№ 6.

К главе IV.

Только два мѣсяца тому назадъ И. И. въ задушевномъ и серьезномъ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ друзей,[99] вѣчно ноющемъ о несчастномъ положеніи нетолько Россіи, но и всего человѣчества,[100]И. И. сказалъ, что[101] онъ совсѣмъ не такъ смотритъ на жизнь, что, по его мнѣнію, въ этихъ условіяхъ жизни можно найти удовлетвореніе.

— Да что-же, вы счастливы? — спросилъ его собесѣдникъ.

— Я? Разумѣется — счастливъ.

— Я счастливъ потому, — сказалъ И. И., — что я не задаюсь неисполнимыми и внѣ меня находящимися цѣлями. Я ставилъ всегда себѣ цѣли очень близкія и исполнимыя и счастливъ, когда я достигаю ихъ. Вы знаете, у меня были неудачи по службѣ, это заставляло меня страдать. И самолюбіе — я не скрываюсь. Но потомъ я взялъ свое. Я получилъ теперешнее мѣсто въ томъ городѣ, гдѣ я хотѣлъ. Для семьи моей хорошо. Есть средства образованія. Средства денежныя, хотя и не вполнѣ удовлетворяютъ нашимъ потребностямъ. Я надѣюсь, что они улучшатся. Я стѣснился нѣсколько переѣздомъ. Я чувствую, что на моемъ мѣстѣ я приношу пользу. Безъ ложной скромности скажу, что болѣе шансовъ на то, чтобы на моемъ мѣстѣ былъ человѣкъ менѣе добросовѣстный и полезный, чѣмъ я. Дальнѣйшій ходъ по службѣ для меня ясенъ, и не тороплюсь.

Если меня и еще 5 лѣтъ оставятъ на моемъ мѣстѣ, я буду очень доволенъ. Ближайшая цѣль моя —это воспитаніе дѣтей и хорошее замужество дочери, т. е. честнаго человѣка нашего круга. И, разумѣется, интересы моей службы, которые всегда мнѣ близки. Признаюсь, мнѣ пріятно думать, что я дѣлаю дѣло свое хорошо, что я имѣю вѣсъ и значеніе. Общіе же вопросы интересуютъ меня, но не волнуютъ, потому что я убѣжденъ, что разрѣшеніе ихъ зависитъ не отъ меня, а отъ условій жизни и времени. Осуждайте меня, если хотите, но я совершенно счастливъ и ничего не желаю и не боюсь — даже смерти не боюсь. Нечто по отношеніи семьи, которую хотѣлось бы лучше обезпечить. А для себя[102] я не желаю ее, но и не боюсь, какъ нельзя бояться неотвратимаго.

Такъ говорилъ И. И., и такъ ему казалось, что онъ и думалъ за 2 мѣсяца до своей смерти, но въ тѣ два мѣсяца, которые онъ проболѣлъ до своей смерти, мысли эти его очень много измѣнились.

№ 7.

К главе IV.

Только три мѣсяца тому назадъ Иванъ Ильичъ въ разговорѣ съ этимъ самымъ И. П., высказывавшемъ какъ то свой страхъ передъ смертью и особенно передъ предсмертными страданіями, совершенно искренно, какъ ему казалось, сказалъ: «Вотъ я, такъ долженъ вамъ сказать, что я даже совершенно не понимаю этаго страха передъ смертью. Я живу, пользуюсь тѣми благами, которыя мнѣ даетъ жизнь. И въ общемъ мнѣ кажется, что благъ больше, чѣмъ золъ».

Иванъ Ильичъ искренно говорилъ это, потому что послѣднее время своей жизни онъ достигъ того, чего долго желалъ, и былъ доволенъ жизнью.

«Я пользуюсь тѣми благами, которыя мнѣ даетъ жизнь, — продолжалъ онъ, — и не считаю нужнымъ думать о томъ, что не подлежитъ моему рѣшенію, тѣмъ болѣе, что когда придетъ рѣшеніе того вопроса смерти, который такъ смущаетъ васъ, я найду сейчасъ очень большое количество антицедентовъ

(Иванъ Ильичъ любилъ это слово), которые укажутъ наилучшее рѣшеніе. Затѣмъ[103] долженъ вамъ сказать, что всякое рѣшеніе этихъ вопросовъ на религіозной почвѣ я считаю совершенно относительнымъ и произвольнымъ. Еще въ Правовѣдѣніи мы прочли Бюхнера и Молешота, и помню тогда были горячіе споры между товарищами, но для меня тогда же вопросъ былъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что мы не имѣемъ данныхъ для рѣшенія[104] его, и потому лучшее, что мы можемъ сдѣлать, это[105] воздержаться отъ поспѣшнаго и бездоказательнаго рѣшенія.

Затѣмъ, съ одной стороны, условія моего положенія и служебнаго и семейнаго таковы, что я долженъ соблюдать извѣстный decorum[106] по отношенію внѣшнихъ сторонъ религіозныхъ установленій, и я соблюдалъ и соблюдаю и эти формы, хотя и не приписываю ему[107] рѣшающаго значенія. Затѣмъ, съ другой стороны, я не могу не признать того, что въ пользу религіозныхъ учрежденій говоритъ ихъ древность, всеобщность, если можно такъ выразиться, и потому я никакъ не возьму отрицать ихъ безъ строгаго изслѣдованія и полагаю, что они помѣшать никакъ не могутъ. И вотъ я прожилъ такъ четверть столѣтія et je m'en trouve très bien,[108] чего и вамъ желаю».

Такъ говорилъ Иванъ Ильичъ, и ему казалось, что онъ и думалъ совершенно такъ за три мѣсяца до своей смерти, но въ тѣ три мѣсяца, которые онъ проболѣлъ до своей смерти, мысли эти его очень измѣнились.

№ 8.

К главе IV.

Теперь же[109] всякая неудача подкашивала его и ввергала въ апатію и[110] отчаяніе. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что эти отчаянія и апатія происходятъ отъ болѣзни; но онъ дѣлалъ совершенно обратное разсужденіе: онъ говорилъ, что эти неудачи и непріятности производятъ его болѣзни, и только больше сердился на людей и на случайности.[111] Ухудшало его

положеніе то, что онъ читалъ медицинскія книги и совѣтовался съ докторами. Ухудшеніе шло такъ равномѣрно, что онъ могъ себя обманывать, сравнивая одинъ день съ другимъ — разницы было мало.[112] Но когда онъ не совѣтовался съ докторами,[113] тогда ему казалось, что идетъ къ худшему; и очень быстро.[114] Его тянуло къ больнымъ — у каждаго больнаго онъ разспрашивалъ про его болѣзнь, прикидывая къ своей, и радовался, когда состояніе того больнаго было хуже его. Но его тянуло къ докторамъ.[115] И не смотря на это, онъ постоянно совѣтовался съ докторами.

№ 9.

К главе IV.

Въ судѣ Иванъ Ильичъ замѣчалъ или думалъ, что замѣчаетъ, что на него приглядываются, какъ на человѣка, имѣющаго скоро опростать мѣсто. И если старались уменьшить его работу, брать ее на себя, то, ему казалось, только для того, чтобы меньше и меньше онъ занималъ мѣста, а потомъ бы и вовсе стереть его. Все это ему смутно казалось, накладывая новыя тѣни на его все омрачающую жизнь; но онъ не сознавалъ этаго ясно и боролся по инерціи съ однимъ только желаніемъ не сдавать — быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ прежде. Ему казалось, что онъ прежде былъ чѣмъ-то.[116]

№ 10.

К главе IV.

И странное, ужасное дѣло, такое, котораго никакъ не ожидалъ Иванъ Ильичъ, ширмы семейной жизни, любовь къ семьѣ, забота о женѣ, дѣтяхъ, то самое, что онъ часто выставлялъ какъ главный мотивъ его дѣятельности, какъ оправданіе многихъ и многихъ поступковъ, въ которые онъ самъ вѣрилъ, — эта приманка къ жизни исчезла прежде всѣхъ другихъ, исчезла сразу безвозвратно и нетолько никогда не

могла успокоивать его, но эти отношенія его къ женѣ, дѣтямъ только раздражали его.

Сразу, какъ только *она* посмотрѣла сквозь эти ширмы, онъ понялъ, что все это хуже, чѣмъ вздоръ, что это былъ обманъ съ его стороны, что онъ никогда ничего не дѣлалъ для семьи, для дѣтей, что онъ все дѣлалъ для себя и пользовался только этимъ предлогомъ для того, чтобъ, скрывая свой эгоизмъ, дѣлать то, что ему пріятно. И ложь эта теперь ему была противна. Онъ къ женѣ чувствовалъ нетолько равнодушіе, но гадливость при воспоминаніи о прежнихъ отношеніяхъ; и досаду, злобу даже за ея равнодушіе къ его смерти и притворство заботы о его положеніи, которое онъ видѣлъ, что она признаетъ безнадежнымъ.

Къ дочери было тоже чувство. Онъ видѣлъ, что она тяготится его положеніемъ. Сына было жалко немножко за то, что онъ придетъ, рано ли, поздно ли, къ тому же отчаянію и той же смерти.

Главное же, между нимъ и семьею было лжи, лжи ужасно много. Эти поцѣлуи ежедневные, эти денежныя отношенія, эти соболѣзнованія ежедневныя, одинакія, эти предложенія ходить за нимъ, ночевать въ его комнатѣ, дѣлаемыя со страхомъ, какъ бы онъ не принялъ ихъ, — все это была ложь, и было гадко.

Такъ разлетались прахомъ всѣ его прежнія утѣшенія настоящей жизни. Такъ же разлетались и воспоминанія прошедшаго, которыя онъ вызывалъ одно за другимъ въ свои длинныя, мучительныя, безсонныя — главное одинокія, совсѣмъ одинокія ночи.

Онъ перебиралъ все, что манило его въ жизни, и прикидывалъ воображеніемъ къ тому, что было теперь.

«Ну что, если бы теперь то, что было тогда, могъ ли бы и я жить?» говорилъ онъ себѣ. И онъ вызывалъ самыя сильныя радости. И что же *она* сдѣлала съ ними? Всѣ эти радости стали ужасомъ. Всѣ —кромѣ первыхъ воспоминаній дѣтства. Тамъ было что то такое, къ чему хотѣлось вернуться, съ чѣмъ можно было жить, если бы оно вернулось. Но это было какъ бы воспоминаніе о комъ то другомъ.

Того Вани съ любовью къ нянѣ,[117] съ нѣжностью къ[118] игрушкѣ,[119] — тотъ былъ, и того уже не стало. О немъ, о потерѣ того Вани, только хотѣлось плакать. Но какъ только начиналось то, чего результатомъ былъ теперешній онъ, Иванъ Ильичъ, такъ всѣ. казавшіяся тогда радости превращались подъ *ея* вѣяніемъ.во что то ужасное, отвратительное.

Начиналось это съ Правовѣдѣнія. Ему вспоминалось, какъ онъ недавно еще съ товарищами подъ освѣщеніемъ воспоминанія, подобнаго лунному освѣщенію, перебиралъ все — и швейцара, и учителей, и воспитателей, и товарищей, и какъ все выходило весело, поэтично, даже тепло, радостно; и вдругъ теперь, подъ этимъ яркимъ, яркимъ, жестокимъ освѣщеньемъ, которое произвела *она*, — все это представлялось другимъ, ужаснымъ!

На первомъ мѣстѣ выступила дѣтская, но тѣмъ болѣе жестокая гордость, хвастовство, аристократизмъ, отдѣленіе себя отъ другихъ, жадность къ деньгамъ для сластей, обманы учителя, уроки — безсмысленность, тоска, отупѣнія..... и потомъ дортуары, нужникъ, тайныя сближенія, мерзость, цинизмъ. И надъ всѣмъ этимъ все одѣвающая и все загрязняющая растерянность чувственности. Потомъ новыя формы грязной чувственности, опьяненіе табакомъ, виномъ, и при этомъ какая-то фанаберія, хвастовство грязью и искусство держаться въ предѣлахъ приличной грязи. Потомъ служба, опять развратъ, опять фанаберія, и еще подслуживанье, скрытое, но все такое же какъ и всякое честолюбіе, желаніе быть лучше, выше другихъ и щелканіе. самолюбія и борьба и ненависть къ людямъ.

Потомъ женитьба — такъ нечаянно, и разочарованіе, и запахъ изо рта жены, и чувственность, и притворство, и простая, самая подлая гоньба за деньгами, и такъ годъ, и два, и десять и двадцать — и все та же ложь... И вотъ готово, умирай!

Такъ что жъ это? Зачѣмъ? Не можетъ быть. Не можетъ быть, чтобъ такъ безсмысленна, гадка была жизнь? А если точно она такъ гадка и безсмысленна была, такъ зачѣмъ же еще умирать?

Но сколько онъ ни повѣрялъ оба положенія: 1) о томъ, что вся жизнь была глупость и — первое — гадость, и 2) о томъ, что

онъ навѣрное умираетъ, — оба[120] настоятельно требовали того, чтобы И. И. призналъ ихъ. Въ жизни ничего не было, и что смерть была тутъ, гдѣ то внутри — это говорило все существо его, но онъ не хотѣлъ признать этого.

И съ сознаніемъ этого, да еще съ болью физической, да еще съ ужасомъ надо было ложиться въ постель, часто не спать[121] отъ боли, вставать, одѣваться, ѣхать въ судъ, говорить, писать, а если и не ѣхать, дома быть съ тѣми же 24 часами въ сутки, изъ которыхъ каждый былъ мученіемъ. И жить такъ на краю погибели одному, безъ однаго человѣка, который бы понялъ и пожалѣлъ.

№ 11.

К главе VIII.

Былъ консиліумъ. М. М., Н. Н. ничего не понимали, но притворялись, что они понимаютъ и уважаютъ непонятное мнѣніе другъ друга и что они очень заняты. <Иванъ Ильичъ тоже притворялся, что онъ вѣритъ имъ и что они ему нужны. Ему ничего не нужно было.>

———

Комментарии Л. П. Гроссмана[122]

Смерть Ивана Ильича.

История писания и печатания.

Начало писания Толстым «Смерти Ивана Ильича» до сих пор не было хронологически точно определено. По соображениям В. И. Срезневского повесть могла писаться всего семь месяцев — с 22 августа 1885 г. по 25 марта 1886 г. Заключение это строится на следующих данных: «в письме к Урусову от 22 августа Толстой, напоминая Урусову о плане повести, про который он ему когда-то прежде рассказывал, говорит, что он хочет дать в повести «описание простой смерти простого человека, *описывая из него*», т. е. от лица самого Ивана Ильича. Изложение в первом лице в виде записок Ивана Ильича сохранилось в части текста одной из рукописей «Смерти Ивана Ильича». По отношению к другим рукописям эта рукопись представляет первоначальную редакцию; поэтому можно думать, что работа, о которой он говорит в письме к Урусову, и есть именно то, что видим в данной рукописи, и таким образом, что именно тогда, в августе 1885 г. началось писание».[123]

Между тем признаки композиции повести в форме дневника сохранилось не в одной, а в трех рукописях, и потому нет нужды датировать первую запись «Смерти Ивана Ильича» августом 1885 года. Форма первого замысла (дневник умирающего) сохранялась довольно устойчиво до поздней стадии работы, когда рассказ в первом лице уступил место объективному повествованию. В силу этого формою Ich-Erzählung'a нельзя аргументировать приурочение начала писания повести к августу 1885 года, так как этот композиционный принцип мог возникнуть и осуществляться значительно раньше и только сохраниться в процессе работы и к указанному моменту. Не более убедительно и указание «Справочника по Толстому» С. Балухатого и О.

Писемской, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 10, где начало писания «Смерти Ивана Ильича» отнесено *к октябрю 1885 года* (без указания источника или соображений данной датировки).

Между тем именно в октябре 1885 года Толстой сообщает Софье Андреевне, что работа над «Смертью Ивана Ильича», уже тянущаяся несколько лет», теперь *приближается к концу*. Таким образом оба хронологических приурочения (август или октябрь 1885 г.) не находят подтверждения в материалах истории «Смерти Ивана Ильича».

Обращаясь к этим данным, мы находим в пра-истории повести факт, от которого следует хронологически исходить при определении всех дальнейших датировок «Смерти Ивана Ильича». Это — смерть Ивана Ильича Мечникова, отчасти послужившего Толстому прототипом для героя задуманной повести. Об этом имеется свидетельство самого автора. По поводу посещения Ясной поляны приехавшим из Парижа Ильей Ильичем Мечниковым, Толстой на следующий день рассказывал: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича, — даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку, бывшему прокурору тульского суда».[124]

Приведем также сообщение проф. Н. Ф. Голубова, предшествующее приведенному заявлению Толстого. В публичной лекции о болезни и смерти у Толстого и Зола, напечатанной в «Практическом враче» 1909 года, Голубов говорит: «... Иван Ильич Головин, герой рассказа «Смерть Ивана Ильича», лицо не вполне выдуманное автором. Мне случайно стало известным, что Иван Ильич существовал в действительности, что это брат одного из знаменитейших в настоящее время русских ученых и что он служил в нашей магистратуре. Не знаю, насколько фактически верно описана Толстым семейная и духовная жизнь Ивана Ильича, но болезнь его и обстоятельства смерти были на самом деле таковы, какими они изображены нашим гениальным писателем. Я считаю возможным указать вам даже источник, из которого я почерпнул эти сведения: мне сообщил их, лечивший Ивана Ильича, покойный профессор Захарьин».[125] Наконец весьма

ценные указания по истории «Смерти Ивана Ильича» имеются в воспоминаниях Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной поляне», ч. III (1864—1868, М., 1926). Свояченица Толстого сообщает ряд сведений об «Иване Ильиче Мечникове, тульском прокуроре», о котором Лев Николаевич отзывался: «умен, очень умен». «Иван Ильич Мечников был человек лет 36 — 38. Прошлое его я не знаю. Кажется, он был правовед. Он умер раньше своей жены и послужил Льву Николаевичу прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу. Я видела, как в пребывание Мечникова в Ясной Поляне Лев Николаевич прямо влюбился в него, почуяв своим художественным чутьем незаурядного человека. Повесть «Смерть Ивана Ильича» написана была позднее (Т. А. Кузминская, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (1864—1868), ч. III, стр. 153—154, М., 1926).

Иван Ильич Мечников умер 2 июля 1881 года.[126] С этой датой связывается замысел рассказа «Смерть судьи» («описание простой смерти простого человека»), первые наброски к которому могли быть сделаны тогда же, но повидимому оставлены в зачаточном виде. Некоторые личные переживания Толстого в первую половину 1880-х годов в связи с тяжелыми болезнями и смертью близких ему людей — И. С. Тургенева (1883) и Л. Д. Урусова (1885)[127] сосредоточивают его мысли на этой теме. «Смерть судьи», которая намечалась, обдумывалась и, вероятно, частично записывалась с 1881 года по 1884 г., весною этого года выдвигается как очередная литературная работа. Это момент непосредственного приступа Толстого к писанию повести, 27 апреля 1884 г. Толстой записывает в Дневник: «Хочу начать и кончить новое: либо смерть судьи, либо записки сумашедшего». Через три дня 30 апреля Толстой заносит в Дневник: «пробовал писать — нейдет. «Смерть Ив. Ильича» достал — хорошо и скорее могу». Это последнее указание («... достал») указывает, что какие-то записи прежнего времени уже имелись; предыдущая же запись («хочу начать и кончить... смерть судьи») показывает, что эти записи

носили эмбриональный характер. Следующая запись о работе над повестью — 1 мая: «Стал поправлять «Ив. Ил» и хорошо работал. Вероятно мне нужен отдых от той работы, и это — художественная — такая». Дальнейшая работа идет с большими перерывами.

В письме от 4 декабря 1884 г. С. А. Толстая сообщает Т. А. Кузминской: «На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо: вот пишет-то, точно пережил что-то важное, когда прочел и такой маленький отрывок. Назвал он это нам: Смерть Ивана Ильича. Левочка был всё время очень мил, добр, ласков даже с чужими. Он отделывает статью и обещает после этой статьи продолжать этот прочтенный нам рассказ. Дай то бог».

Нужно думать, по состоянию рукописей и свидетельству дневников, что работа над «Смертью Ивана Ильича» затем снова прервалась на довольно длительный срок и возобновилась только к концу лета следующего года. В письме от 20[128] августа 1885 г. к Л. Д. Урусову Толстой сообщает: «... Теперь я прихожу напротив в писательское состояние и хочется писать, а работы слишком много. *Начал нынче кончать и продолжать* [курсив наш] смерть Ивана Ильича. Я кажется рассказывал вам план: описание простой смерти простого человека, описывая из него. Жены рождение 22-го и все наши ей готовят подарки, а она просила *кончить эту вещь* [курсив наш] к ее новому изданию, и вот я хочу сделать ей *«сюрприз»* и от себя». Работа на этот раз увлекает Толстого, он видимо усиленно занят ею в сентябре 1885 г., так как 6 октября он сообщает жене: «Ужасно желаю написать «Ивана Ильича», и сейчас ездил и думал о нем; но не могу тебе выразить, до какой степени я весь поглощен этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу».

С начала 1886 г. работа над повестью проходит вполне отчетливо и имеет различные этапы, поддающиеся довольно точному хронологическому приурочению. В письме от 16 или 17 января 1886 г. к В. Г. Черткову Толстой сообщает: «Нынче немножко пописал Ивана Ильича и скоро стал путаться». Тем не менее в январе 1886 г. изготовляется список повести для

типографии (АТБ, I, 14.I); эту редакцию еще нельзя считать окончательной, так как значительная переработка будет произведена по гранкам и даже сверстанным листам. Рукопись переписана начисто рукою писца (начало повести) и С. А. Толстой (весь остальной текст); имеются авторские вставки, дополнения и сокращения. На первой странице рукою С. А. Толстой сделана пометка для типографии: «Шрифт Сочинений Гр. Л. Н. Толстого. 12-я часть. Присылать гранки». Во второй половине января или в самом начале февраля 1886 г. рукопись сдается в типографию: гранки набора, отосланные на авторскую корректуру, носят типографскую помету: «15 февраля 1886 г.»

По гранкам набора Толстой производит новую работу чрезвычайно значительных и многочисленных изменений. Если начало повести (первая глава) не подвергается переработке вне обычной стилистической правки, весь остальной текст терпит такие существенные и обширные изменения, что всё после набора оказывается сплошь покрытым новыми записями и даже оборотная сторона гранок служит Толстому для продолжения его литературной работы. Обилие и малая разборчивость этой авторской «корректуры» вынуждает прибегнуть к помощи переписчика. Полосы набора проложены длинными склеенными листами, на которые С. А. Толстая переписала новые дополнительные отрывки повести. Последняя часть «Смерти Ивана Ильича» (гл. X, XI, XII) сохранилась в сплошной переписке на обычных листках писчей бумаги, сложенных в 4 (АТБ I.14, 2); это экземпляр, снова посланный в типографию и бывший вторично в наборе; на переписке имеется ряд новых авторских изменений и дополнений, но уже менее обширных и значительных, чем в гранках. Работа эта производится Толстым во вторую половину февраля 1886 г. (помета на гранках 15 февраля 1886 г.) и должна была закончиться не позже начала марта, так как новый выправленный набор в сверстанном виде уже был готов к середине марта. Сохранившиеся листы верстки, начиная с конца III-й главы носят печати 17, 18 и 21 марта. С середины марта до 25 марта прочитывается верстка и подвергается новой авторской правке. Эта работа, устанавливающая последнюю и окончательную редакцию,

заканчивается *25 марта 1886 года* (дата, поставленная при первой публикации повести после текста).

Об этой последней усиленной стадии работы имеется упоминание в письме Толстого к Н. Н. Ге из Москвы в марте 1886 г.: «Я очень много работал. Всё то, что должно войти в 12-й том... Я нового ничего не делал: Крестник легенда и Смерть Ивана Ильича».

Все эти соображения по истории написания «Смерти Ивана Ильича» подтверждаются надписью на гранках, которую и следует признать решающей в вопросе датировки собственно-литературной работы Толстого над повестью.

На первой гранке сохранившегося набора надписано рукой Н. Н. Страхова:

«Шмуц-титул:

Смерть Ивана Ильича Повесть (1884—1886)»

Надпись эта является редакторской инструкцией типографии, т. е. исходит из авторских кругов и заслуживает полного доверия. Она действительно с полной точностью воспроизведена перед первой публикацией повести. Такая хронологическая помета имеет обыкновенно в виду весь период *писания* произведения, а не предварительной работы обдумывания.

Эта датировка сохранилась в прижизненных изданиях Толстого (см. напр. Соч. гр. Л. Н. Толстого, изд. 11-е, М. 1903, ч. XII, стр. 3). Она находится в полном согласии с записями Дневника 1884 г. и подтверждает диктуемое ими соображение, что начало непосредственной работы над повестью относится к апрелю — маю этого года, и что до этого момента имелись только первоначальные наброски.

Вкратце хронология «Смерти Ивана Ильича» выражается в следующих датах:

1881 июля 2. Смерть Ивана Ильича Мечникова. В связи с этим событием у Толстого возникает замысел повести «Смерть судьи» («описание простой смерти простого человека»), к которой вероятно и делаются первые наброски.

1884 апреля 27. Толстой записывает в Дневнике о своем желании „начать и кончить «Смерть судьи»“.

апреля 30 и мая 1. Записи в Дневнике о работе над «Смертью Ивана Ильича».

ноябрь-декабрь. Толстой читает семье отрывки из «Смерти Ивана Ильича».

1885 августа 20 Толстой сообщает в письме к Л. Д. Урусову: ,,Начал нынче кончать и продолжать «Смерть Ивана Ильича»“.

Конец августа, *сентябрь*, *октябрь.* Усиленная работа над повестью.

Октябрь. Толстой сообщает С. А. Толстой, что он «весь поглощен этой работой, уже тянущейся несколько лет и теперь приближающейся к концу».

1886 начало года (вероятно январь 1886 или самый конец 1885 г.) Перебеленная рукопись сдается в набор.

Февраля 15. Повесть набрана в гранках и отсылается на корректуру автору (штемпель на гранках).

Вторая половина февраля (до начала марта). Переработка повести по гранкам.

С середины марта до 21. Типография выпускает сверстанные листы повести.

С середины марта до 25-го. Толстой устанавливает по гранкам окончательную редакцию повести.

Марта 25. «Смерть Ивана Ильича» закончена.

С момента возникновения замысла и первых набросков прошло около пяти лет, с момента начала его литературной обработки около двух лет.

Рукописи повести дают возможность установить три отчетливых стадии работ Толстого над «Смертью Ивана Ильича».

1. Рассказ в первом лице товарища Ивана Ильича о посещении им вдовы скончавшегося сослуживца и о жизни покойного. Записки Ивана Ильича о своей болезни.

2. Рассказ от имени автора о жизни и смерти Ивана Ильича. Ряд эпизодов, исключенных из окончательной редакции и отсутствие ряда описаний и размышлений, имеющихся в печатном тексте.

3. Окончательная редакция.

Рассмотрим последовательно эти наслоения повествования.

По первоначальному замыслу рассказ ведется всё время в первом лице, от имени двух участников повести — члена палаты, товарища скончавшегося, по фамилии Творогова (в позднейших редакциях Петра Ивановича) и затем от имени самого Ивана Ильича. Схема построения сводится к вступлению, в котором Творогов рассказывает о беседе членов палаты в кабинете Ивана Егоровича Шебек по поводу траурного объявления о кончине их товарища И. И. Головина и затем о своей поездке к вдове покойного, от которой он получает предсмертный дневник Ивана Ильича. Дальнейшая повесть строится в виде записок умирающего о его жизни, болезни и угасании. Таким образом повесть строилась первоначально в виде сопоставления двух Ich-Erzählung'ов — самого Ивана Ильича и его друга. В окончательной редакции, как известно, Толстой отказался от обоих автобиографических рассказов и повел всё повествование в традиционном эпическом стиле от своего собственного лица.

Повесть в первой редакции начиналась так: «Я узнал о смерти Ивана Ильича в суде, в перерыве заседания по скучнейшему делу Мельвинских.... Петр Иванович подал мне свежий, пахучий еще номер» и т. д. «... Тотчас же после обеда, я, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал». Следует довольно близкий к окончательной редакции эпизод посещения рассказчиком вдовы, беседа с ней и проч.

Сюжетная необходимость первой главы — посещения вдовы Ивана Ильича другом покойного, получающим из ее рук его дневник, исчезает из последних редакций, и визит Петра Ивановича к Прасковье Федоровне носит здесь уже только характер вступления, как бы ввода читателя в семейный круг Ивана Ильича, некоторого бытового жанра «панихиды» и проч. Композиционная целесообразность этой главы в первой редакции утрачивается в дальнейших переработках («Прасковья Федоровна передала мне сущность ее дела ко мне», т. е. поручение покойного вручить товарищу его предсмертный дневник). В позднейших редакциях для сохранения сцены

развертывается разговор о пенсии, не представляющий для хода действия характера необходимости.

На первой странице рукописи на полях над текстом надписано, как бы в виде формулировки основной темы повести и главного принципа ее построения:

«Нельзя, нельзя и нельзя такъ жить какъ я жилъ и какъ мы всѣ живемъ. — Это открыла мнѣ смерть Ивана Ильича и оставленныя имъ записки. — Опишу то какъ я смотрѣлъ на жизнь и смерть до этаго событія и передамъ его записки какъ они дошли до меня съ прибавленіемъ только тѣхъ подробностей, которыя я узналъ отъ его домашнихъ».

Таким образом в первой стадии работы в центре замысла записки умирающего Ивана Ильича, для опубликования которых и дается предварительное вступление (посещение рассказчиком вдовы). В процессе работы Толстой приходит к заключению, что это вступление недостаточно, что необходимо познакомить читателя с прошлой жизнью героя; вести же этот рассказ от его имени неудобно, так как дневник Ивана Ильича пишется им в кратких промежутках между припадками смертельной болезни, не допускающих возможности вести обстоятельные и связные автобиографические мемуары. Толстой прибегает к новому композиционному приему: товарищ Ивана Ильича, получивший его дневник, предваряет публикацию записок составленной им биографией своего покойного друга. Он собирает у близких материалы для этого жизнеописания. Переход к истории жизни героя имеется и в другой рукописи: «Чтобы записки эти были другим так же понятны, как они понятны мне, надо вкратце рассказать историю жизни Ивана Ильича». В дальнейших стадиях работы эта история жизни естественно сливается с историей болезни и смерти героя. Отпадает форма его дневника, вступительная часть теряет характер записи его друга, вся повесть получает форму объективного рассказа — спокойного и последовательного повествования простой жизни и простой смерти одного обыкновенного человека, не понимавшего ужаса своего существования.

Следующая стадия работы, представляющая вторую редакцию повести, определяется отказом от обоих рассказов в

первом лице и переходом к тому «авторскому повествованию», которое и сохранилось в окончательной редакции. Указания дневников и последовательность рукописей дают основание отнести работу над этой второй редакцией к осени 1885 г. Эта промежуточная стадия работы еще во многом отличается от заключительного ее состояния. Здесь имеется ряд эпизодов и сцен, выпавших из окончательного текста: воспоминание Ивана Петровича об Иване Ильиче в правоведении (ночная сцена в дортуаре, где Иван Ильич, прозванный «маркизой», наигрывает на зубах арию «la donna e mobile»); разговор с знакомым журналистом о положении России и заявление Ивана Ильича о своем совершенном счастьи; разговор с Иваном Петровичем об отсутствии у Ивана Ильича страха смерти; кончина отца Ивана Ильича и получение наследства; ряд размышлений во время болезни и проч.

В противовес этому по набору повести в последней редакции получают значительное развитие главные моменты биографии героя, его жизнь и служба в провинции, его женитьба и супружеская жизнь, его предсмертные воспоминания о своем детстве и проч. Из окончательной редакции удаляется ряд конкретных деталей в целях придания вещи большей обобщенности. Устраняются, напр., указания на Москву, как на место действия повести («московские расстояния», «лучшее московское общество», «лечиться к Иверской», родственники «разлетались с нежностями в Москву» и проч.); вычеркиваются фамилии известных московских фирм (Альберт заменяется «дорогим кондитером»), обобщаются названия газет (вместо «Голоса» — просто «ведомости»). Эта третья редакция устанавливалась по набору повести с середины февраля до 25 марта 1886 года.

В окончательной редакции жизнь, болезнь и смерть Ивана Ильича располагаются в явственно различимом хронологическом порядке. Попытаемся восстановить намеченную автором датировку событий биографии Ивана Ильича, от которой, впрочем, Толстой в некоторых случаях непроизвольно уклонился, что создает при внимательном

чтении некоторую несогласованность в ряде обстоятельств последней редакции.

По намеченной изложением событий биографической хронологии героя обстоятельства его жизни отмечаются следующими датами.

1837 г. Рождение Ивана Ильича Головина в Петербурге в семье тайного советника Ильи Ефимовича Головина.

С начала 1850-ых годов до 1859 года Иван Ильич проходит курс в училище Правоведения.

1859 г. Окончание училища Правоведения и отъезд в провинцию чиновником особых поручений при губернаторе.

1859—1864 гг. Служба чиновником особых поручений.

1864 г. Перевод в другую губернию судебным следователем.

1866 г. Женитьба на Прасковье Федоровне Михель.

1867 г. Рождение дочери Лизы.

» Производство Ивана Ильича в товарищи прокурора.

1868—1869 гг. Рождение сына Василия. В 1860-е годы рождаются еще трое детей.

1871 г. Иван Ильич переводится в третью губернию на место прокурора.

Начало 1870-х годов. Смерть двух детей.

Вторая половина 1870-х годов. Смерть ребенка.

1878 г. Сын Василий отдан в гимназию.

Конец 1870-х годов. Иван Ильич ждет место председателя в университетском городе. Место это получает его сослуживец Гоппе. Ссора Ивана Ильича с Гоппе и с ближайшим начальством.

1880 г. При новых назначениях начальство обходит Ивана Ильича. Лето — поездка в деревню к шурину и в Петербург. Получение нового места с 5000-ным окладом в Москве.[129]

1880 г., 10 сентября. Иван Ильич вступает в новую должность. Сентябрь. Устройство квартиры. Падение Ивана Ильича с лестницы и ушиб в бок.

1880 г. В половине октября. Иван Ильич устроил квартиру в Москве. Приезд семьи.

1881 г. Ноябрь — декабрь. Болезнь Ивана Ильича. Посещение известных врачей.

В самом конце года. Приезд шурина.

1882 г. Начало января. Ухудшение болезни. Бессонница (опиум, морфин). Визит знаменитого врача.

2-я половина января. Обручение дочери Лизы с Федором Петровичем Петрищевым, судебным следователем. Резкое ухудшение болезни Ивана Ильича.

Февраль 1—2. Начало агонии.

Февраля 4. Смерть Ивана Ильича.

От этой хронологии, которая устанавливается точными показаниями повести, в процессе рассказа, особенно к концу, происходит ряд отступлений. Установленное временное течение событий нарушается. Так, напр., в начале 3-й главы сообщается: «так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение *17 лет* со времени женитьбы» (относится к концу 70-х годов). Между тем Иван Ильич женился в 1866 году, так что в конце 70-х годов он был женат всего 12—13 лет. Согласно с установленной хронологией оказывается неправильным и заявление Прасковьи Федоровны о том, что она «*двадцать лет»* выносит ужасный характер мужа (если не считать ото обобщающим разговорным выражением). Отсюда же и противоречия в возрасте детей Ивана Ильича: старшая дочь Лиза родилась в 1867 году, так что согласно установленной автором хронологии в конце 70-х гг. ей могло быть 11—12 лет, а не 16, как сообщает автор в конце II-й главы; в момент же смерти отца ей могло быть не более 15 лет; по последним же главам повести ей в это время уже около 20 лет, она выходит «разодетая с обнаженным молодым телом» и «Петрищев сделал формальное предложение». По этим указаниям рождение Лизы следует отнести к 1862 году, когда Иван Ильич еще находился на первом месте своей службы чиновником особых поручений при губернаторе (женился же он на втором месте службы, после введения уставов 1864 года, уже будучи судебным следователем). Такая же неувязка в возрасте сына, которому в 1882 году 13—14 лет; между тем по разнице возраста с сестрою он мог родиться, согласно основной хронологии, лишь в 1873—1874 году, и в момент смерти отца быть в возрасте 8—9 лет. Датировка последних событий

оказалась несогласованной с первоначальной историей службы Ивана Ильича.

В «Смерти Ивана Ильича» Толстой с большой точностью воспроизводит ряд подлинных фактов, близко придерживаясь действительности. Возраст Ивана Ильича, как и его имя с полной точностью воспроизводят моменты из биографии Ив. Ил. Мечникова, который умер 45 лет: он родился 13 июня 1836 г., а скончался 2 июля 1881 г. (хронология жизни толстовского героя: 1837—1882). Смерть Мечникова от рака воспроизводится Толстым с такой клинической убедительностью, что в специальной медицинской печати «Смерть Ивана Ильича» признана самым сильным в мировой литературе описанием этой болезни.[130] Даже второстепенные подробности повествования строго учитывают реальную обстановку повести. Так исторически совершенно безошибочен эпизод поездки семьи умирающего на спектакль Сары Бернар. Гастроли знаменитой французской актрисы в Петербурге и Москве происходили зимою 1881-1882 гг. (декабрь—январь), т. е. как раз в период предсмертного ухудшения болезни Ивана Ильича.

В основу текста настоящего издания положена первая публикация «Смерти Ивана Ильича» по изданию С. А. Толстой — «Сочинения графа Л. Н. Толстого». Часть двенадцатая. Произведения последних годов. М., 1886, стр. 394—469 (с проверкой по рукописям). С этой первой публикации производились последующие без существенных изменений и, видимо, без пересмотров автора. Мелкие отклонения позднейших изданий от первопечатной редакции (абзацы, начертания отдельных слов, размещения тире при чужой речи) следует отнести на счет типографских корректур. Имеющиеся в первой публикации явные опечатки и ошибки (напр. приятель Ивана Ильича *Петр Иванович* дважды назван в конце первой главы «Иваном Петровичем») исправлены. Все остальные особенности первой редакции и, в частности, толстовской транскрипции (напр. «Правоведение» с прописной буквы, ладон, Ильичём и проч.) сохранены, как и все абзацы первопечатного те кота.

Описание рукописей.

Рукописный материал, относящийся к «Смерти Ивана Ильича», хранится в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина и Архиве Толстого в Государственном Толстовском музее (Архив В. Г. Черткова).

1 (АЧ, XIV, 9). Автограф первой редакции «Смерти Ивана Ильича». На двенадцати листах писчей бумаги, сшитых в тетрадку в 4° и исписанных с обеих сторон. Широкие поля, местами заполненные поправками и вариантами. Всех страниц 24 (ненумерованных). Рассказ ведется от лица товарища Ивана Ильича, приводящего начало его предсмертного дневника «Вчера уходя изъ дома...». Рукопись обрывается на описании начала болезни Ивана Ильича: «нельзя было назвать нездоровьемъ то, что Иванъ Ильичъ говорилъ иногда, что у него странный вкусъ во рту и что-то неловко въ лѣвой сторонѣ живота». Данную редакцию даем целиком в вариантах под № 1.

2 (АЧ, XIV, 9,а). Автограф на отдельном листке почтовой бумаги с записью основной мысли произведения и программы изложения. *Начало:* «Нельзя и нельзя и нельзя такъ жить, какъ я жилъ». *Конец:* «до его смерти и прочтенія его записокъ смотрѣлъ на жизнь». Даем целиком в вариантах под № 2.

3. Копия с рукописи № 1, рукой неизвестного переписчика и продолжение повести рукою автора 25 лл. 4° с большими полями, л. 21 — почтового размера. Первые листы утрачены. *Начало:* «...(рас) порядилась и о пѣвчихъ»...; *конец:* «Онъ видѣлъ, что онъ умираетъ, и б[ылъ] въ постоянномъ отчаяніи». С листа 18 начинается новый сплошной текст автора, представляющий продолжение повести с того момента, на котором обрывается автограф №1: *начало: «* но случилось, что неловкость эта». В копии есть исправления отдельных мест, неправильно разобранных переписчиком (рукою А. П. Иванова). Копия подверглась значительной авторской переработке (обширные вставки на полях, вычеркнутые места и т. д.). Из этой рукописи в ее первоначальном виде 11 листов *(начало:* «притворяясь, что это планъ жены»...; *конец:* «и все шло такъ не измѣняясь, и все»... перешли в наборную рукопись (см. № 8).

4. Неполная копия с предыдущей рукописи рукою А. П. Иванова. 11лл. 4°, исписанных с обеих сторон с небольшими полями. *Начало:* («нельзя, нельзя и нельзя такъ жить»...); *конец:* «...рассказывала въ прошлую ночь, и онъ заснулъ». Имеются дополнения и вставки автора, и вычеркнутые места: опущено целиком всё, касающееся предсмертных записок Ивана Ильича.

Рассказ от имени товарища Ивана Ильича в первом лице меняется на рассказ от имени автора (вместо «я» всюду инициалы «И. П.»).

5. Копия с предыдущей рукописи рукою А. П. Иванова и продолжение повести рукою автора. Первоначально рукопись имела 14 лл. 4° с небольшими полями. *Начало:* «Въ большомъ зданіи судебныхъ учрежденій»...; *конец:* «мысли эти его очень много измѣнились». Новая запись повести начинается на л. 13 словами: «только два мѣсяца тому назадъ».

Первые 12 лл. целиком вошли в наборную рукопись № 8, так что в данной рукописи остались только два листа 13 и 14. Из этой рукописи даем варианты №№ 3 и 6.

6. Копия с лл. 13 и 14 предыдущей рукописи рукою С. А. Толстой. 2 лл. с небольшими полями в 4°. *Начало:* «...безъ онеровъ. Шлемъ этотъ даже»... *Конец:* «Мысли эти его очень измѣнились». Почти весь текст перечеркнут с нанесением новых записей на поля.

7. Копия с рукописи № 3 (начиная с л. 5, об.) и продолжение повести рукою Толстого. *Начало:*«прошедшая исторія жизни Ивана Ильича»; *конец:* «что же то? спросилъ онъ себя». Рукопись первоначально состояла из 63 лл. в 4°, исписанных с обеих сторон, кроме последнего листа, совершенно неиспользованного. Копия выполнена рукою С. А. Толстой, Н. Н. Ге, неизвестного переписчика и В. Г. Черткова. Из этой рукописи 37 листов перешло в наборный экземпляр, так что в данной рукописи осталось 26 лл. Лл. 24—25 представляют собой оборванный полулист писчей бумаги, сложенный пополам. Вся рукопись подверглась весьма значительной авторской переработке: судя по чернилам, правки производились в разное время и привели к исключению больших кусков и замене их

новым текстом между строк и на полях. Новый текст Толстого начинается на листе 7 об. словами: «онъ знaлъ, что умираетъ».

8. Полная копия всей повести, бывшая в наборе, 81 лл. в 4° с полями, исписанных с обеих сторон рукою А. П. Иванова, С. А. Толстой, неизвестного переписчика, Н.Н. Ге и В. Г. Черткова. Последний лист не использован, предпоследний исписан только с лицевой стороны. Листы нумерованы цыфрами 1—38, далее ошибочно цыфрами 35 и т. д. *Начало:* «Въ большомъ зданіи судебныхъ учрежденій»...; *конец:* «И онъ умеръ». На первой странице помета С. А. Толстой: «шрифт сочинений Гр. Л. Н. Толстого. 12-я часть. Присылать гранки». Местами значительная переработка рукописи.

Из этой рукописи даем варианты №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11.

9. Копия части рукописи № 7. 3 лл. рукою С. А. Толстой, исписанные с обеих сторон, с значительными исправлениями и дополнениями автора. *Начало:* «указывало ему его чувство приличія»...; *конец:* «ничего не выходило, кроме тяжести». Листы нумерованы цыфрами 16—18 и представляют первоначальную переписку соответствующих листов из рукописи № 7. Они входили первоначально в рукопись № 8, но вследствие того, что листы эти подверглись значительной авторской правке, их пришлось переписать вторично и изъять из рукописи № 8, заменив новой перепиской.

10. Полулист писчей бумаги, сложенный вдвое и служивший обложкой рукописи. На 1-й странице рисунки карандашом: стрелы в разных направлениях, заштрихованные трехугольники. Здесь же наискосок конспективная запись:

Въ типографіи
холстины
Онъ повернулся
лицомъ къ стѣнѣ.
Утѣшаютъ. Операція
Махаетъ рукой.
Періоды отчаянія (смерть)
и надежды. (Кишка).
Меньше и меньше

послѣдніе
Оглянулся — паденіе
и добра жизни и самой жизни
Стало это кошмаромъ.
(Не знаетъ, что убываетъ)

11. Корректуры в гранках: 38 гранок. Штампы типографии А. И. Мамонтова — 15 и 28 февраля и 8 марта 1886 г. Корректуры подверглись усиленной авторской правке: поля многих гранок сплошь заняты новым текстом, в дополнение или в замену прежнего. Оказалось необходимым для ясности переписать многие исправленные Толстым гранки, что и было сделано С. А. Толстой. Переписанные авторские листы подложены или подклеены к гранкам; всех таких листов — 6; на них также имеются исправления автора. На гранки нанесены корректурные исправления рукою С. А. Толстой.

12. Неполная корректура в сверстанном виде. От слов: «чувством виртуоза, отчетливо отделав его» до конца повести. Стр. 425—463. Листы 28—30 тома XII «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», издание 5-е. Штампы типографии А. И. Мамонтова: 17—18 марта 1886 г. Первые 2 лл. 28—29, на которых исправлений автора сравнительно немного, имеют помету С. А. Толстой: «Исправив, печатать», лист же 30 имел две обширные собственноручные вставки автора на трех листах, из которых первые два исписаны с обеих сторон, имея много исправлений и на полях. В силу этого С. А. Толстая сделала на листе 30 помету: «Перебрать всё» и, начиная со стр. 460 (от слов: «повернувшись лицом к стене») переписала для ясности весь конец повести. Переписка заняла 14 лл. 4°, из которых последний был исписан с обеих сторон. Переписка вновь была просмотрена автором, сделавшим в ней немало исправлений. Четвертый лист (*начало:* «другой ему представлялись картины»; *конец:* «больше было добра въ жизни») был так значительно исправлен, что пришлось его переписать целиком.

13. Новый набор л. 30 (стр. 457—468) двенадцатого тома «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изд. 5-е. *От слов:* «очевидно

негодуя на нихъ» до конца повести. Штамп типографии А. И. Мамонтова: 21 марта 1886 г. Исправления автора значительны, вследствие чего издательницей сделана помета: «Исправив, прислать».

Рукописи и корректуры, описанные нами под №№ 3—13, хранятся в АТБ (п. 1,14).

14. Последняя корректура лл. 26—31, стр. стр. 393—470 тома XII «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» с начала до конца повести, с 23 буквенными и стилистическими правками рукой Толстого и С. А. Толстой. Штампы на листах типографии А. И. Мамонтова: 14, 17, 19 и 24 марта 1886 г. Все листы подписаны к печати С. А. Толстой. Ею же поставлена авторская дата: «25 марта 1886 г.» и надписано: «(это число печатать)».

Корректура эта хранится в Государственном литературном музее (Москва).

Записки сумасшедшего

1883. 20 Октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумашедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумашедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумашедшее дело. Они признали меня подверженным афектам, и еще что-то такое, но — в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумашедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Всё, что беспокоит меня, пройдет. О что бы я дал, чтобы это прошло. Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и отчего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумашествие. До 35 лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве, до 10 лет было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно вот так.

Помню раз я ложился спать, мне было 5 или 6 лет. Няня Евпраксия — высокая, худая, в коричневом платье, с чаплыжкой на голове и с отвисшей кожей под бородой,[1] раздела меня и подсадила в кровать.

— Я сам, сам, — заговорил я и перешагнул через перильца.

— Ну ложитесь, ложитесь, Фединька — вон Митя умник уже легли, — сказала она, показывая головой на брата.[2]

Я прыгнул в кровать, всё держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «я люблю няню, няня любит меня и Митиньку, а я люблю Митиньку, а Митинька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митинька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят и всем хорошо». И вдруг я слышу

вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил:

— А не будешь, не будешь, — приговаривал он и всё бил. Мальчик сказал «не буду». А тот приговаривал «не будешь» и всё бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумашествия. Помню другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали:

— Расскажи еще про Иисуса Христа.

— Нет, теперь некогда.

— Нет, расскажи, — и Митинька просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. — Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он всё молился и не осудил их.

— Тетя, за что же его мучили?

— Злые люди были.

— Да ведь он был добрый.

— Ну будет, уже 9-й час. Слышите.

— За что они его били? Он простил, да за что они били. Больно было. Тетя, больно ему было?

— Ну будет, я пойду чай пить.

— А может быть это не правда, его не били.

— Ну будет.

— Нет, нет, не уходи.

И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену.

———

Так это находило на меня в детстве. Но с 14-ти [лет], с тех пор, как проснулась во мне половая страсть, и я отдался пороку, всё это прошло, и я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные, без

физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей, мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин и так, ища наслаждений и находя их, я жил до 35 лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумашествия. Эти 20 лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением.

Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На 10-м году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства.

Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить именье. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход, или лес с именья покрыл бы покупку, и я бы получил именье даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак, и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду?

Куда я еду?» пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Всё ему было хорошо и весело, а мне всё было постыло. Но всё-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное заснуть легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу.

— А что не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?

— Что ж, отлично.

— Что далеко еще до города?

— От той версты 7.

Ямщик был степенный, акуратный и молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там всё пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие, белые. И всё это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха — лечь. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке, пятно это мне показалось ужасным, показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.

— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

— Есть нумерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно

квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол корельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало всё. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь». — Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Всё существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечей обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, всё говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая

бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, всё тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет 20, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, Отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь.

———

К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборал ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастие, и я только мог на время забывать его; но оно было там на дне души и владело мной.

Мы приехали вечером. Старичок управляющий, хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый блестящий самовар. Крупная чайная посуда, мед к чаю. Всё было хорошо. Но я как старый забытый урок неохотно спрашивал его об именьи. Всё невесело было. Ночь однако я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по прежнему; но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть

урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски. — Домой я вернулся благополучно, именья не купил, денег не достало, и начал жить по прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По прежнему мне казалось, но уже не по прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне всё было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал. Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на Московском подворьи, на Мясницкой, и нынче же поехать в Фауста. Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то — верно старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь» подумал [я].

— Развяжи, пожалуйста, голубчик, — сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей, и в театр».

Дворник развязал.

— Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в 8-й номер, со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему.

Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор, подумал я, чего я боюсь, точно дитя. Привидений я не боюсь. Да, привидений... лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. — Чего? — Ничего... Себя... Ну вздор». Я однако надел жесткую, холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сертук, новые

ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в Фауста. Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, всё было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился.

Во 2-м часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные 2 стакана вина; но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер.

Я провел ужасную ночь, хуже Арзамасской, только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. — Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? — Говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе; но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. «Если ты есть, открой мне: зачем, что я такое?» Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один, сам с собой. И я давал себе ответы заместо Того, Кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы Ты был, Ты бы сказал, мне, людям. А нет Тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его.

Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне Себя. Я делал всё, что все делают, но Он не открывался. Просите, и дастся вам, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от него. — Ты на пядень, а Он от тебя на сажень. — Я не верил в Него, но просил, и Он всё-таки не открыл мне ничего. Я считался с Ним и осуждал Его, просто не верил.

———

На другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать ходу этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам, я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой — энергии не было, — а чтением журналов, газет, романов, картами по-маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед охотник с гончими на волков. Я поехал с ним. На месте мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна, волки прорвались сквозь облаву. Я услыхал это издалека и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Всё глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я, снег

изменял всё. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться замерзнешь. Итти силы ослабеют. Я покричал, всё тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь Арзамасский и Московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу. Руки и ноги всё так же дрожали и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинетце и стал молиться, прося прощенья и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало. Но я вспомнил их, и они мне гадки стали.

———

С тех пор я начал читать священное писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал Жития Святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые всё возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Всё не то казалось мне. Как, что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно именье. Я поехал, всё было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были задаром за пастьбу убирать поля помещика, так оно и было. Я всё это оценил, всё это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о

дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах именья, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого именья, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди — братья, сыны Отца, как сказано в Евангелии. Вдруг как что-то давно щемившее меня оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно. — Это было начало моего сумашествия. Но полное сумашествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне больше прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперти я роздал, что у меня было, 36 рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом.

Варианты к «Запискам сумасшедшего».

* № 1.

<Я сумашедший. Всѣ[3] говорятъ это; но если бы они и не говорили, я самъ это знаю. Случилось это со мной недавно. Недавно я узналъ, что я совсѣмъ сумашедшій, но давно уже это со мной началось, съ самаго дѣтства. Съ самаго перваго дѣтства, когда мнѣ было лѣтъ 5, находило это на меня. Находило то, что мнѣ вдругъ представлялось, что я всѣхъ люблю, что всѣ меня любятъ и что въ этомъ одномъ жизнь, и что другой жизни нѣтъ. — Находило это на меня иногда днемъ, а чаще по вечерамъ, особенно когда я ложился въ кроватку. Кроватка у меня была съ перильцами и такая же у моего>

* № 2.

<На меня находила мысль[4] о томъ, что когда я выросту большой, я сдѣлаю такъ, что все будетъ вездѣ всегда такъ, какъ у насъ было съ ней, когда она укладывала меня, а что ни сахарницы, ни Ѳоки съ мальчикомъ никогда нигдѣ не будетъ. Я сдѣлаю такъ, что этого не будетъ и всѣмъ будетъ всегда хорошо.>

* № 3.

<За что они его били? Зачѣмъ они меня мучаютъ? Я бы убилъ ихъ. Нѣтъ, если бы я былъ Богъ, я бы не сдѣлалъ ихъ. Зачѣмъ они его мучали? И я былъ несчастенъ и засыпалъ несчастнымъ.>

* № 4.

<Нѣтъ экономки, нѣтъ Ѳоки, нѣтъ мучителей. И не можетъ быть, а есть только няня, тетя, Христось, я и любовь. Я закрывался плотнѣе и видѣлъ, чувствовалъ одну любовь, и власть любви, которая должна была уничтожить все зло въ мірѣ. Я говорилъ себѣ — теперь я маленькой, я не могу. Но дай я выросту. Этого ничего злого уже не будетъ. Я сдѣлаю такъ. Потомъ это находило на меня въ гимназіи съ Васей Жуковымъ. Потомъ когда я женился. Но сдѣлалось совсѣмъ послѣ женитьбы и вотъ какъ.>

№ 5.

<Это была пустыня, черезъ которую я проходилъ, пустыня наслажденій плотскихъ, отупѣнія душевнаго и мертвенности. — И вступленіе въ эту пустыню и выходъ изъ нея сопровождались одинаково борьбой и страданіями. 14 лѣтъ это были борьба и страданія смерти, 35 лѣтъ это были борьба и страданія родовъ. 14 лѣтъ, когда я узналъ порокъ тѣлеснаго наслажденія, и[5] ужаснулся ему. Все существо мое стремилось[6] къ нему и все же существо, казалось, противилось ему.>

* № 6.

Съ этого дня началось мое сумашествіе постоянное. Я называю его постояннымъ потому, что хотя и бывали періоды здороваго состоянія, я въ здоровомъ состояніи чувствовалъ страданіе. Я вернулся домой счастливый и веселый, <но во время моего отсутствія пріѣхалъ къ намъ шуринъ съ женою. Я вошелъ въ переднюю и первое, что услыхалъ — это громкій голосъ жены>. Со мной отъ самой церкви шло трое нищихъ: одна старушка, давно странствующая. Она по дорогѣ попала въ церковь. Солдатъ старикъ николаевскій и мальчикъ сирота. Я ихъ всѣхъ пригласилъ къ себѣ, чтобы вопервыхъ накормить, а потомъ одѣть и оставить даже у себя, если они захотятъ.[7] Я пришелъ въ переднюю. Нищіе мои остановились у двери, снявъ шапк[и]. Мнѣ самому въ первую минуту показалось, что это такъ надо. Но я вспомнилъ Е[вангеліе], то, что мы братья, и я преодолѣлъ ложный стыдъ, который удерживалъ меня, и ввелъ ихъ въ переднюю.

— Войдите, войдите, сейчасъ, — говорилъ я, еще болѣе испытывая ложный стыдъ, когда они вошли въ переднюю. — Сейчасъ я дойду къ женѣ, узнаю, спрошу.

Я пошелъ въ[8] свой кабинетъ, но тутъ

Комментарии Б. М. Эйхенбаума[9]

Записки сумасшедшего.[10]

Замысел этой вещи относится к 1884 г.; 11 апреля этого года в Дневнике записано: «Пришло в голову Записки не сумашедшего» и тут же прибавлено: «ох, живо я их пережил». Последние слова указывают на связь этого замысла с личной жизнью Толстого. Действительно, в сентябре 1869 г. Толстой ездил со своим слугой С. П. Арбузовым в Пензенскую губернию для покупки имения и, остановившись по дороге в Арзамасе на постоялом дворе, пережил ночью приступ тоски и страха, о котором писал 4 сентября С. А. Толстой: «Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал.... Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее». Упоминаемые в «Записках» лица взяты прямо из действительности: тетя, рассказывающая про Христа, — это — Татьяна Александровна Ергольская; няня Евпраксия — та самая, о которой Толстой пишет в «Воспоминаниях детства» («няней Евпраксией, высокой сморщенной старухой, с висячим у подбородка, как у индюка, кадыком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать»); даже поездка в Москву и посещение оперы с помещиком имеет фактическую основу — зимой 1870 г. Толстой ездил в Москву и был 3 декабря вместе с кн. С. С. Урусовым на представлении «Марты» в Большом театре.

Точная дата сохранившихся автографов «Записок сумашедшего» неизвестна, но работа над этой вещью началась, очевидно, вскоре после записи в Дневнике 1884 г. На обороте одного из листов рукописи «Власти тьмы» (1886 г.) сохранился текст, несомненно относящийся к «Запискам сумашедшего». В письме к В. Г. Черткову от 18 января 1887 г. Толстой просит»: „Пришлите мне и «Записки сумашедшего»“.

В позднейшие годы он возвращался к этому произведению и, повидимому, собирался заново писать. 26 декабря 1896 г. записано: «Думал нынче о *«Записках Сумашедшего»*. Главное понял свою сыновность Богу, братство, — и отношение ко всему миру изменилось. В записи от 5 января 1897 г. Толстой выписывает из Записной книжки: «2) (К *Запискам сумашедшего* или к драме.) «Отчаяние от безумия и бедственности жизни. Спасение от этого отчаяния в признании Бога и сыновности своей Ему. Признание сыновности есть признание братства. Признание братства людей и жестокий, зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит к признанию сумашедшим себя или всего мира».

В. И. Срезневский высказывает предположение, что дневниковые записи 1880-ых гг. относятся к неизвестному нам произведению, которое сохранилось в архиве С. А. Толстой, а напечатанный среди посмертных произведений текст написан в 1897 г. и связан с Дневником 1896—1897 гг. (Л. Толстой, Полное собрание художественных произведений, ГИЗ, 1928, т. XII, стр. 240.) Однако, рукопись «Записок сумашедшего», по всем признакам (бумага, почерк, цвет чернил) относится именно к 1880-ым годам. Надо полагать, что в 1890-ых годах Толстой хотел вернуться к старому наброску и использовать его для большой вещи (запись в Дневнике от 5 января 1891 г.) или написать под тем же заглавием новую вещь. Итак, мы оставляем для «Записок сумашедшего» дату 1884—1886 г.

«Записки сумашедшего» впервые напечатаны в издании А. А. Толстой: «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого. Под редакцией В. Черткова». М. 1912, т. III, стр. 125—137.

Автограф «Записок сумашедшего» хранится в ИРЛИ (шифр 22. 5. 4). Этот автограф состоит из двух частей:

1. 4 листа из расшитой тетради (сохранились следы розовой обложки). Текст на обеих сторонах. На л. 1 над текстом стоят буквы: З. С. — очевидно заглавие: «Записки сумашедшего».

Начало: «Я сумашедшій». После вычерка *следует:* «Помню разъ я ложился спать» (см. второй абзац печатного текста, стр. 472—475). *Конец:* «Чисто выбѣленная квадратная комнатка».

Под этими словами проведена черта, указывающая место всему этому автографу (см. ниже).

На обложке чужой рукой (карандашом) написано: «Из расшитой тетради. 7. Черновое «Записки сумашедшего». Наверху и внизу пометка той же рукой: «Из Англии».

2. 8 листов из расшитой тетради. Текст на обеих сторонах. На л. 1 над текстом стоят, как и в первом автографе, буквы: «3. С. »

Автограф *начинается датой записи:* «1883. 20 Октября», после слов «а не такъ какъ теперь постоянно» на поле *пометка:* «назадъ» и знак, а в тексте черта; это означает, что сюда должен войти весь первый автограф (кончая словами: «Чисто выбѣленная комнатка»). После черты следует: «Какъ я помню мучительно мнѣ было» и т. д.

———

Божеское и человеческое

I

Это было в 70-х годах в России, в самый разгар борьбы революционеров с правительством.

Генерал-губернатор Южного края, здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом, в военном сюртуке, с белым крестом на шее, сидел вечером в кабинете за столом с четырьмя свечами в зеленых абажурах и пересматривал и подписывал бумаги, оставленные ему правителем дел. «Генерал-адъютант такой-то», — выводил он с длинным росчерком и откладывал.

В числе бумаг был и приговор к смертной казни через повешение кандидата Новороссийского университета Анатолия Светлогуба за участие в заговоре, имеющем целью низвержение существующего правительства. Генерал, особенно нахмурившись, подписал и эту. Белыми, сморщенными от старости и мыла, выхоленными пальцами он аккуратно сравнял края листов и отложил в сторону. Следующая бумага касалась назначения сумм на перевозку провианта. Он внимательно читал эту бумагу, думая о том, верно или неверно высчитаны суммы, как вдруг ему вспомнился его разговор с своим помощником о деле Светлогуба. Генерал полагал, что найденный у Светлогуба динамит еще не доказывает его преступного намерения. Помощник же его настаивал на том, что, кроме динамита, было много улик, доказывающих то, что Светлогуб был главой шайки. И, вспомнив это, генерал задумался, и под его сюртуком с ватой на груди и крепкими, как картон, лацканами неровно забилось сердце, и он стал так тяжело дышать, что большой белый крест, предмет его радости и гордости, зашевелился на его груди. Можно еще воротить правителя дел и если не отменить, то отложить приговор.

«Воротить? Не воротить?»

Сердце еще неровнее забилось. Он позвонил. Скорым неслышным шагом вошел курьер.

— Иван Матвеевич уехал?

— Никак нет-с, ваше высокопревосходительство, в канцелярию изволили пройти.

Сердце генерала то останавливалось, то давало быстрые толчки. Он вспомнил предупреждение слушавшего на днях его сердце врача.

«Главное, — сказал врач, — как только почувствуете, что есть сердце, кончайте занятия, развлекайтесь. Хуже всего — волнения. Ни в коем случае не допускайте себя до этого».

— Прикажете позвать?

— Нет, не надо, — сказал генерал. «Да, — сказал он сам себе, — нерешительность хуже всего волнует. Подписано — и кончено. Ein jeder macht sich seia Bett und muss d'rauf schlafen [Как постелешь, так и поспишь (нем.)] , — сказал он сам себе любимую пословицу. — Да и это меня не касается. Я исполнитель высшей воли и должен стоять выше таких соображений», — прибавил он, сдвигая брови, чтобы вызвать в себе жестокость, которой не было в его сердце.

И тут же ему вспомнилось его последнее свидание с государем, как государь, сделав строгое лицо и устремив на него свой стеклянный взгляд, сказал: «Надеюсь на тебя: как ты не жалел себя на войне, ты так же решительно будешь поступать в борьбе с красными — не дашь ни обмануть, ни испугать себя. Прощай!» И государь, обняв его, подставил ему свое плечо для поцелуя. Генерал вспомнил это и то, как он ответил государю: «Одно мое желание — отдать жизнь на служение своему государю и отечеству».

И, вспомнив чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю, он отогнал от себя смутившую его на мгновение мысль, подписал остальные бумаги и еще раз позвонил.

— Чай подан? — спросил он.

— Сейчас подают, ваше высокопревосходительство.

— Хорошо, ступай.

Генерал глубоко вздохнул и, потирая рукой место, где было сердце, тяжелой походкой вышел в большую пустую залу и по

свеженатертому паркету залы в гостиную, из которой слышались голоса.

У жены генерала были гости: губернатор с женой, старая княжна, большая патриотка, и гвардейский офицер, жених последней, незамужней дочери генерала.

Жена генерала, сухая, с холодным лицом и тонкими губами, сидя за низким столиком, на котором стоял чайный прибор с серебряным чайником на конфорке, фальшиво-грустным тоном рассказывала толстой молодящейся даме, жене губернатора, о своем беспокойстве за здоровье мужа.

— Всякий день новые и новые донесения открывают заговоры и всякие ужасные вещи… И это все ложится на Базиля, он должен все решать.

— Ах, не говорите! — сказала княжна. — Je deviens féroce quand je pense à cette maudite engeance [Я свирепею, когда думаю об этой проклятой породе (франц.)] .

— Да, да, ужасно! Верите ли, он работает двенадцать часов в сутки, и с его слабым сердцем. Я прямо боюсь…

Она не договорила, увидав входящего мужа.

— Да, вы непременно послушайте его. Барбини — удивительный тенор, — сказала она, приятно улыбаясь губернаторше, о вновь приехавшем певце так натурально, как будто они только об этом и говорили.

Дочь генерала, миловидная полная девушка, сидела с женихом в дальнем углу гостиной, за китайскими ширмочками. Она встала и вместе с женихом подошла к отцу.

— Каково, мы и не видались нынче! — сказал генерал, целуя дочь и пожимая руку ее жениху.

Поздоровавшись с гостями, генерал подсел к столику и разговорился с губернатором о последних новостях.

— Нет, нет, о делах не разговаривать, запрещено! — перебила речь губернатора жена генерала. — А вот кстати и Копьев; он нам что-нибудь веселое расскажет. Здравствуйте, Копьев.

И Копьев, известный весельчак и остряк, действительно рассказал последний анекдот, который рассмешил всех.

II

— Да нет, этого не может быть, не может, не может! Пустите меня! — кричала, взвизгивая, мать Светлогуба, вырываясь из рук учителя гимназии — товарища сына, и доктора, которые старались удержать ее.

Мать Светлогуба была не старая, миловидная женщина, с седеющими локонами и звездой морщинками от глаз. Учитель, товарищ Светлогуба, узнав о том, что смертный приговор подписан, хотел осторожно подготовить ее к страшному известию, но только что он начал говорить про ее сына, она по тону его голоса, по робости взгляда угадала, что случилось то, чего она боялась.

Это происходило в небольшом номере лучшей гостиницы города.

— Да что вы меня держите, пустите меня! — кричала она, вырываясь от доктора, старого друга их семьи, который одной рукой держал ее за худой локоть, другой ставил на овальный стол перед диваном склянку капель. Она рада была, что ее держат, потому что чувствовала, что ей надо что-то предпринять, — а что — она не знала и боялась себя.

— Успокойтесь. Вот, выпейте валерьяновых капель, — говорил доктор, подавая в рюмке мутную жидкость.

Она вдруг затихла и почти сложилась вдвое, склонив голову на впалую грудь, и, закрыв глаза, опустилась на диван.

И ей вспомнилось, как сын ее три месяца тому назад прощался с ней с таинственным и грустным лицом. Потом вспомнила она восьмилетнего мальчика в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными вьющимися колечками белокурых волос.

«И его, его, этого самого мальчика… сделают с ним это!»

Она вскочила, оттолкнула стол и вырвалась из рук доктора. Дойдя до двери, она опять упала на кресло.

— А они говорят — бог есть! Какой он бог, если он позволяет это! Черт его возьми, этого бога! — кричала она, то рыдая, то закатываясь истерическим хохотом. — Повесят, повесят того, кто бросил все, всю карьеру, все состояние отдал другим, народу, все отдал, — говорила она, всегда прежде упрекавшая сына за это, теперь же выставлявшая перед собой заслугу его

самоотречения. — И его, его, с ним сделают это! А вы говорите, что есть бог! — вскрикнула она.

— Да я ничего не говорю, я только прошу вас выпить капли.

— Ничего не хочу. Ха-ха-ха! — хохотала и рыдала она, упиваясь своим отчаянием.

К ночи она так измучилась, что не могла уже ни говорить, ни плакать, а только смотрела перед собой остановившимся, сумасшедшим взглядом. Доктор вспрыснул ей морфий, и она заснула.

Сон был без сновидений, но пробуждение было еще ужаснее. Ужаснее всего было то, что люди могли быть так жестоки, не только эти ужасные генералы с бритыми щеками и жандармы, но все, все: коридорная девушка, с спокойным лицом приходившая убирать комнату, и соседи в номере, которые весело встречались и о чем-то смеялись, как будто ничего не было.

III

Светлогуб второй месяц сидел в одиночном заключении и за это время пережил многое.

С детства Светлогуб бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека, и, хотя старался заглушить в себе это сознание, ему часто, когда он встречался с нуждой народа, а иногда просто, когда самому было особенно хорошо и радостно, становилось совестно за тех людей — крестьян, стариков, женщин, детей, которые рождались, росли и умирали, не только не зная всех тех радостей, которыми он пользовался, не ценя их, но и не выходили из напряженного труда и нужды. Когда он кончил университет, чтобы освободиться от этого сознания своей неправоты, завел школу у себя в деревне, образцовую школу, лавку потребительного товарищества и приют для бездольных стариков и старух. Но, странное дело, ему, занимаясь этими делами, еще гораздо более было совестно перед народом, чем когда он ужинал с товарищами или заводил дорогую верховую лошадь. Он чувствовал, что все это было не то, и хуже, чем не то: тут было что-то дурное, нравственно нечистое.

В одном из таких состояний разочарования в своей деревенской деятельности он приехал в Киев и встретился с одним из наиболее близких товарищей по университету. Товарищ этот три года после этой встречи был расстрелян во рву киевской крепости.

Товарищ этот, горячий, увлекающийся и с огромными дарованиями человек, привлек его к участию в обществе, цель которого состояла в просвещении народа, вызове в нем сознания его прав и образования в нем объединенных кружков, стремящихся к освобождению себя от власти землевладельцев и правительства. Беседы с этим человеком и его друзьями как бы привели в ясное сознание все то, что до тех пор смутно чувствовалось Светлогубом. Он понял теперь, что ему надо было делать. Не прерывая сношений с новыми товарищами, он уехал в деревню и начал там совсем новую деятельность. Он сам стал школьным учителем, устроил классы для взрослых, читал им книги и брошюры, объяснял крестьянам их положение; кроме того, он издавал нелегальные народные книги и брошюры и отдавал все, что мог, не отнимая у матери, на устройство таких же центров по другим деревням.

С первых же шагов этой новой деятельности Светлогуб встретил два неожиданных препятствия: одно в том, что большинство людей народа не только было равнодушно к его проповедям, но почти презрительно смотрело на него. (Понимали его и сочувствовали ему только исключительные личности и часто люди сомнительной нравственности.) Другое препятствие было со стороны правительства. Школа была запрещена ему, и у него и у близких ему людей были сделаны обыски и отобраны книги и бумаги.

Светлогуб мало обратил внимания на первое препятствие — равнодушие народа, так как был слишком возмущен вторым препятствием: притеснениями правительства, бессмысленными и оскорбительными. То же испытывали и его товарищи в своей деятельности и в других местах, и чувство раздражения против правительства, взаимно разжигаемое, дошло до того, что большая часть этого кружка решила силою бороться с правительством.

Главою этого кружка был некто Меженецкий — человек, как его считали все, непоколебимой силы воли, непобедимой логичности и весь преданный делу революции.

Светлогуб подчинился влиянию этого человека и с той же энергией, с которой он прежде работал в народе, отдался террористической деятельности.

Деятельность эта была опасна, но эта-то опасность более всего и привлекала Светлогуба.

Он говорил себе: «Победа или мученичество, а если и мученичество, то мученичество это та же победа, но только в будущем». И огонь, загоревшийся в нем, не только не потухал в продолжение семи лет его революционной деятельности, а все более и более разгорался, поддерживаемый любовью и уважением тех людей, среди которых он вращался.

Тому, что он отдал почти все свое состояние — состояние, перешедшее ему от отца, — на это дело, он не приписывал никакой важности, не приписывал и тем трудам и той нужде, которые он переносил часто в этой деятельности. Одно только огорчало его: это то горе, которое он доставлял этой деятельностью своей матери и той девушке, ее воспитаннице, которая жила с его матерью и любила его.

В последнее время мало любимый им и неприятный товарищ, террорист, преследуемый полицией, просил его спрятать у себя динамит. Светлогуб без колебания согласился именно потому, что не любил этого товарища, и на следующий день в квартире Светлогуба сделан был обыск и найден динамит. На все вопросы о том, как, откуда он приобрел динамит, Светлогуб отказался отвечать.

И вот то мученичество, которое он ожидал, началось для него. В последнее время, когда столько друзей его было казнено, заключено, сослано, когда пострадало столько женщин, Светлогуб почти желал мученичества. И в первые минуты ареста и допросов он чувствовал особенное возбуждение, почти радость.

Он испытывал это чувство, когда его раздевали, обыскивали и когда ввели в тюрьму и заперли за ним железную дверь. Но когда прошел день, другой, третий, прошла неделя, другая,

третья в грязной, сырой, наполненной насекомыми камере и в одиночестве и невольной праздности, прерываемой только перестукиваниями с товарищами заключенными, передававшими всё недобрые и нерадостные вести, да изредка допросами холодных, враждебных людей, старавшихся выпытывать от него обвинения товарищей, нравственные силы его вместе о физическими постоянно ослабевали, и он только тосковал и желал, как он говорил себе, какого-нибудь конца этого мучительного положения. Тоска его увеличилась еще тем, что он усомнился в своих силах. На второй месяц своего заточения он стал заставать себя на мысли сказать всю правду, только бы быть освобожденным. Он ужасался на свою слабость, но не находил уже в себе прежних сил и ненавидел, презирал себя и тосковал еще больше.

Самое же ужасное было то, что ему в заточении так жалко стало тех молодых сил и радостей, которыми он так легко жертвовал, пока был на воле, и которые ему теперь казались так обаятельны, что он раскаивался в том, что считал хорошим, раскаивался иногда во всей своей деятельности. Ему приходили мысли о том, как счастливо, хорошо он мог бы жить на свободе — в деревне, на воле, за границей, среди любимых и любящих друзей. Жениться на ней, а может быть и на другой, и жить с ней простой, радостной, светлой жизнью.

IV

В один из мучительно однообразных дней заключения второго месяца смотритель при обычном обходе передал Светлогубу маленькую книжку с золоченым крестом на коричневом переплете, сказав, что тюрьму посетила губернаторша и оставила Евангелия, которые разрешено передать заключенным. Светлогуб поблагодарил и слегка улыбнулся, кладя книжку на привинченный к стене столик.

Когда смотритель ушел, Светлогуб переговорился стуками с соседями о том, что был смотритель и ничего не сказал нового, а только принес Евангелие, и сосед ответил, что и ему тоже.

После обеда Светлогуб раскрыл склеившуюся от сырости листами книжонку и стал читать. Светлогуб никогда еще, как книгу, не читал Евангелия. Все, что он знал о ней, было то, что в

гимназии проходил законоучитель и что нараспев читали в церкви попы и дьяконы.

«Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду… — читал он. — Зоровавель родил Авиуда», — продолжал он читать. Все это было то самое, чего он ожидал: какая-то запутанная, ни на что не нужная бессмыслица. Если бы это было не в тюрьме, он не мог бы дочесть одной страницы, а тут он продолжал читать для процесса чтения. «Как гоголевский Петрушка», — подумал он про себя. Он прочел первую главу о рождении девой и о пророчестве, состоящем в том, что нарекут рожденному имя Эммануил, означающее «с нами бог». «И в чем же тут пророчество?» — подумал он и продолжал читать. Он прочел и вторую главу — о ходячей звезде, и третью — об Иоанне, питающемся стрекозами, и четвертую — о каком-то дьяволе, предлагавшем Христу гимнастическое упражнение с крыши. Так все это казалось ему неинтересно, что, несмотря на скуку тюрьмы, он уже хотел закрыть книгу и начать обычное свое вечернее занятие — ловлю блох в снятой рубашке, как вдруг вспомнил, что на экзамене пятого класса гимназии он забыл одну из заповедей блаженства и розоволицый, кудрявый батюшка вдруг рассердился и поставил ему двойку. Он не мог вспомнить, какая была эта заповедь, и прочел блаженства. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное», — прочел он. «Это, пожалуй, и к нам относится», — подумал он. «Блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас. Радуйтесь и веселитесь: так гнали и пророков, бывших прежде вас». «Вы — соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».

«Это совсем уж к нам относится», — подумал он и продолжал читать дальше. Прочтя всю пятую главу, он задумался: «Не сердитесь, не прелюбодействуйте, терпите зло, любите врагов».

«Да, если бы все так жили, — думал он, — и не нужно бы и революции». Читая дальше, он все больше и больше вникал в смысл тех мест книги, которые были вполне понятны. И чем

дальше он читал, тем все больше и больше приходил к мысли, что в этой книге сказано что-то особенно важное. И важное, и простое, и трогательное, такое, чего он никогда не слыхал прежде, но что как будто было давно знакомо ему.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе».

— Да, да, это самое! — вдруг вскрикнул он со слезами на глазах. — Это самое я и хотел делать. Да, хотел этого самого: именно, отдать душу свою; не сберечь, а отдать. В этом радость, в этом жизнь. «Многое я делал для людей, для славы людской, — думал он, — не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил: Наташи, Дмитрия Шеломова, — и тогда были сомнения, было тревожно. Хорошо мне было только тогда, когда я делал только потому, что этого требовала душа, когда хотел отдать себя, всего отдать…»

С этого дня Светлогуб большую часть времени стал проводить за чтением и обдумыванием того, что было сказано в этой книге. Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, которой он прежде никогда не сознавал в себе. Он думал о том, почему люди, все люди не живут так, как сказано в этой книге. «Ведь жить так хорошо не одному, а всем. Только живи так — и не будет горя, нужды, будет одно блаженство. Только бы кончилось это, только бы быть мне опять на свободе, — думал он иногда, — выпустят же они меня когда-нибудь или сошлют в каторгу. Все равно, везде можно жить так. И буду жить так. Это можно и надо жить так; не жить так — безумие».

V

В один из тех дней, когда он находился в таком радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему, и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель

сказал, что он сейчас пришлет; и действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички.

«Должно быть, кто-нибудь походатайствовал за меня», — подумал Светлогуб и, закурив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены.

На другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допрашивать. Но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом.

Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и с значительными, унылыми лицами слушали.

В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью ниспровержение, в более близком или далеком будущем, существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение.

Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов: в более близком или далеком будущем и лишения прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано.

Только долго после того, как ему сказали, что он может идти и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено.

«Тут что-то не то, не то… Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть», — говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму.

Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти: не мог соединить сознания своего «я» с смертью, с отсутствием «я».

Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было, не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его.

«Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми, — думал он, — он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей, — меня убьют, повесят! Кто, зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», — говорил он себе.

Пришел смотритель. Светлогуб не слыхал его входа.

— Кто это? Что вы? — проговорил Светлогуб, не узнавая смотрителя. — Ах да, это вы! Когда же это будет? — спросил он.

— Не могу знать, — сказал смотритель и, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым, нежным голосом проговорил: — Тут наш батюшка желал бы… напут… желал бы видеть вас…

— Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите! — вскрикнул Светлогуб.

— Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно, — сказал смотритель.

— Да, да, пришлите. Я напишу. Смотритель ушел.

«Стало быть, утром, — думал Светлогуб.— Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет… Нет, этого не может быть, это сон».

Но пришел сторож, настоящий, знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон.

«Надо не думать, не думать. Да, да, писать. Напишу маме», — подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать.

«Милая, родная! — написал он и заплакал. — Прости меня, прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». — «Да это я уже написал, — подумал он. — Ну, да все равно, теперь некогда переписывать».— «Не тужи обо мне, — писал он дальше. — Немного раньше, немного позже… разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня. И не сердись на них — ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе: прости им, они не знают, что творят. Я не

смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокоивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные, старые руки! — Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. — Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и оттого, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби. Особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека — врага — такое счастье. Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души сознавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай!»

Он перечел письмо и, в конце его прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть, наверное прочтут, и это погубит Прохорова.

— Боже мой, что я наделал! — вдруг вскрикнул он и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе.

Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным.

Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове.

«Милая, голубушка мама! — писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. — Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце! Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно и почти непонятно. Прости же меня и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне.

Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть тридцатью годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже».

«Но что я философствую, — подумал он, — надо сказать то, что было в том письме, — что-то хорошее в конце.— Да». — «Друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда».

Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колена и глотая слезы.

Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться. И эта мысль навела его на другую: о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню? Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему; но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать. Мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая.

«Как же? Что же будет? — опять вспомнил он. — Ничего? Нет, не ничего. А что же?»

И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа.

«Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем? Да, зачем? Не надо спрашивать, надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда… любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить. И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца».

Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно.

— Вот я написал письмо матери, отдайте, пожалуйста, — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери.

Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его.

— Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности? — сказал он, ласково трогая его за рукав.

Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал:

— Надо же жить.

— А вы оставьте эту должность. Ведь всегда можно устроиться. Вы такой добрый. Может быть, я бы мог…

Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира.

Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем.

И он вспомнил слова Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно», — думал он.

«Заснуть бы, — вдруг подумал он, — чтобы не ослабеть потом». Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул.

Он проснулся в шесть часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему.

Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю. И он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять!» — думает Светлогуб, но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и как, отворяясь, скрипит дверь.

Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой.

«Смерть? Ну, так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо», — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.

VI

В той же тюрьме, где содержался Светлогуб, содержался и старик раскольник, беспоповец, усомнившийся в своих руководителях и искавший истинную веру. Он отрицал не только никонианскую церковь, но и правительство со времени Петра, которого считал антихристом, царскую власть называл «табачной державой» и смело высказывал то, что думал, обличая попов и чиновников, за что и был судим и содержим в остроге и пересылаем из одной тюрьмы в другую. То, что он не на воле, а в тюрьме, что над ним ругались смотрители, что на него надевали кандалы, что над ним издевались сотоварищи узники, что все они, так же как и начальство, отреклись от бога и ругались друг над другом и оскверняли всячески в себе образ божий, — все это не занимало его, все это он видел везде в миру, когда был на воле. Все это, он знал, происходило оттого, что люди потеряли истинную веру и все разбрелись, как слепые щенята от матери. А между тем он знал, что истинная вера есть. Знал он это потому, что чувствовал эту веру в своем сердце. И он искал эту веру везде. Больше всего он надеялся найти ее в откровении Иоанна.

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною,

чтобы воздать каждому по делам его». И он постоянно читал эту таинственную книгу и всякую минуту ждал «грядущего», который не только воздаст каждому по делам его, но и откроет всю божескую истину людям.

В утро казни Светлогуба он услыхал барабаны и, влезши на окно, увидал через решетку, как подвезли колесницу и как вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу. В небольшой белой руке юноши была книга. Юноша прижимал к сердцу книгу, — раскольник узнал, что это было Евангелие, — и, кивая в окна заключенным, улыбаясь, переглянулся с ним. Лошади тронулись, и колесница с сидевшим в ней светлым, как ангел, юношей, окруженная стражниками, громыхая по камням, выехала за ворота.

Раскольник слез с окна, сел на свою койку и задумался. «Этот познал истину, — думал он. — Антихристовы слуги затем и задавят его веревкой, чтоб не открыл никому».

VII

Было пасмурное осеннее утро. Солнца не видно было, С моря дул влажный теплый ветер.

Свежий воздух, вид домов, города, лошадей, людей, смотревших на него, — все это развлекало Светлогуба. Сидя на скамейке колесницы, спиною к кучеру, он невольно вглядывался в лица конвоирующих его солдат и встречавшихся жителей.

Выл ранний час утра, улицы, по которым его везли, были почти пусты, и встречались только рабочие. Обрызганные известкой каменщики в фартуках, поспешно шедшие ему навстречу, остановились и вернулись назад, равняясь с колесницей. Один из них что-то сказал, махнул рукой, и все они повернулись и пошли назад к своему делу; извозчики-ломовики, везущие гремящие полосы железа, своротив своих крупных лошадей, чтобы дать дорогу колеснице, остановились и с недоумевающим любопытством смотрели на него. Один из них снял шапку и перекрестился. Кухарка в белом фартуке и чепчике, с корзинкой в руке, вышла из ворот, но, увидав колесницу, быстро вернулась во двор и выбежала оттуда с другой женщиной, и обе, не переводя дыхания, широко

раскрытыми глазами проводили колесницу до тех пор, пока могли видеть ее. Какой-то растерзанно одетый, небритый седоватый человек что-то, очевидно неодобрительное, с энергическими жестами внушал дворнику, указывая на Светлогуба. Два мальчика рысью догнали колесницу и с повернутыми головами, не глядя перед собой, шагали рядом с ней по тротуару. Один, постарше, шел быстрыми шагами; другой, маленький, без шапки, держась за старшего и испуганно глядя на колесницу, короткими ножонками с трудом, спотыкаясь, поспевал за старшим. Встретившись с ним глазами, Светлогуб кивнул ему головой. Этот жест страшного человека, везомого на колеснице, так смутил мальчика, что он, выпучивши глаза и раскрыв рот, собрался плакать. Тогда Светлогуб, поцеловав свою руку, ласково улыбнулся ему. И мальчик вдруг неожиданно ответил милой, доброй улыбкой.

Во все время переезда сознание того, что ожидает его, не нарушало спокойно-торжественного настроения Светлогуба.

Только когда колесница подъехала к виселице и его свели с нее и он увидал столбы с перекладиной и слегка качавшейся на ней от ветра веревкой, он почувствовал как будто физический удар в сердце. Ему вдруг стало тошно. Но это продолжалось недолго. Вокруг помоста он увидал черные ряды солдат с ружьями. Впереди солдат ходили офицеры. И как только его стали сводить с колесницы, раздался неожиданный, заставивший его вздрогнуть треск барабанной дроби. Позади рядов солдат Светлогуб увидал коляски господ и дам, очевидно приехавших смотреть на зрелище. Вид всего этого в первую минуту удивил Светлогуба, но тотчас же он вспомнил себя, какой он был до тюрьмы, и ему стало жалко того, что люди эти не знают, что́ он знал теперь. «Но они узнают. Я умру, но истина не умрет. Они будут знать. И как все — уж не я, а, все они могли бы быть и будут счастливыми».

Его ввели на помост, и вслед за ним вошел офицер. Барабаны замолкли, и офицер прочел ненатуральным голосом, особенно слабо звучавшим среди широкого поля и после треска барабанов, тот глупый смертный приговор, который ему читали на суде: о лишении прав того, кого убивают, и о близком и

далеком будущем. «Зачем, зачем они делают все это? — думал Светлогуб. — Как жалко, что они еще не знают и что я уже не могу передать им всего, но они узнают. Все узнают».

К Светлогубу подошел худощавый, с длинными редкими волосами священник в лиловой рясе, с одним небольшим золоченым крестом на груди и с другим большим серебряным крестом, который он держал в слабой, белой, жилистой, худой руке, выступавшей из черно-бархатного обшлага.

— Милосердный господь, — начал он, перекладывая крест из левой руки в правую и поднося его к Светлогубу.

Светлогуб вздрогнул и отстранился. Он чуть было не сказал недоброго слова священнику, участвующему в совершаемом над ним деле и говорящему о милосердии, но, вспомнив слова Евангелия: «Не знают, что творят», сделал усилие и робко проговорил:

— Извините, мне не надо этого. Пожалуйста, простите меня, но мне, право, не надо! Благодарю вас.

Он протянул священнику руку. Священник переложил опять крест в левую руку и, пожав руку Светлогуба, стараясь не смотреть ему в лицо, спустился с помоста. Барабаны опять затрещали, заглушая все другие звуки. Вслед за священником, колебля доски помоста, быстрыми шагами подошел к Светлогубу среднего возраста человек с покатыми плечами и мускулистыми руками, в пиджаке сверх русской рубахи. Человек этот, быстро оглянув Светлогуба, совсем близко подошел к нему и, обдав его неприятным запахом вина и пота, схватил его цепкими пальцами за руки выше кисти и, сжав их так, что стало больно, загнул их ему за спину и туго завязал. Завязав руки, палач на минуту остановился, как бы соображая и взглядывая то на Светлогуба, то на какие-то вещи, которые он принес с собой и положил на помосте, то на висевшую на перекладине веревку. Сообразив то, что ему нужно было, он подошел к веревке, что-то сделал с ней, подвинул Светлогуба вперед ближе к веревке и обрыву помоста.

Как при объявлении смертного приговора Светлогуб не мог понять всего значения того, что объявлялось ему, так и теперь он не мог обнять всего значения предстоящей минуты и с

удивлением смотрел на палача, поспешно, ловко и озабоченно исполняющего свое ужасное дело. Лицо палача было самое обыкновенное лицо русского рабочего человека, не злое, но сосредоточенное, какое бывает у людей, старающихся как можно точнее исполнить нужное и сложное дело.

— Еще сюда вот подвинься… или подвиньтесь… — проговорил хриплым голосом палач, толкая его к виселице. Светлогуб подвинулся.

«Господи, помоги, помилуй меня!» — проговорил он.

Светлогуб не верил в бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в бога. Он и теперь не верил в бога, не верил потому, что не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, к кому обращался, — он знал это, — было нечто самое реальное из всего того, что он знал. Знал и то, что обращение это было нужно и важно. Знал это потому, что обращение это тотчас успокоило, укрепило его.

Он подвинулся к виселице и, невольно окинув взглядом ряды солдат и пестрых зрителей, еще раз подумал! «Зачем, зачем они делают это?» И ему стало жалко и их и себя, и слезы выступили ему на глаза.

— И не жалко тебе меня? — сказал он, уловив взгляд бойких серых глаз палача.

Палач на минуту остановился. Лицо его вдруг сделалось злое.

— Ну вас! Разговаривать! — пробормотал он и быстро нагнулся к полу, где лежала его поддевка и какое-то полотно, и, ловким движением обеих рук сзади обняв Светлогуба, накинул ему на голову холстинный мешок и поспешно обдернул его до половины спины и груди.

«В руки твои предаю дух мой», — вспомнил Светлогуб слова Евангелия.

Дух его не противился смерти, но сильное, молодое тело не принимало ее, не покорялось и хотело бороться.

Он хотел крикнуть, рвануться, но в то же мгновение почувствовал толчок, потерю точки опоры, животный ужас задыханья, шум в голове и исчезновение всего.

Тело Светлогуба, качаясь, повисло на веревке. Два раза поднялись и опустились плечи.

Подождав минуты две, палач, мрачно хмурясь, положил руки на плечи трупу и сильным движением потянул его. Все движения трупа прекратились, кроме медленного покачивания висевшей в мешке куклы с неестественно выпяченной вперед головой и вытянутыми в арестантских чулках ногами.

Сходя с помоста, палач объявил начальнику, что труп можно снять с петли и похоронить.

Через час труп был снят с виселицы и отвезен на неосвященное кладбище.

Палач исполнил то, что хотел и что взялся исполнить. Но исполнение это было нелегко. Слова Светлогуба: «И не жалко тебе меня» — не выходили у него из головы. Он был убийца, каторжник, и звание палача давало ему относительную свободу и роскошь жизни, но с этого дня он отказался впредь исполнять взятую на себя обязанность и в ту же неделю пропил не только все деньги, полученные за казнь, но и всю свою относительно богатую одежду, и дошел до того, что был посажен в карцер, а из карцера переведен в больницу.

VIII

Один из главарей революционеров террористической партии, Игнатий Меженецкий, тот самый, который увлек Светлогуба в террористическую деятельность, пересылался из губернии, где его взяли, в Петербург. В той же тюрьме сидел и старик раскольник, видевший казнь Светлогуба. Его пересылали в Сибирь. Он все так же думал о том, как и где бы ему узнать, в чем истинная вера, и иногда вспоминал про того светлого юношу, который, идя на смерть, радостно улыбался.

Узнав, что в одной с ним тюрьме сидит товарищ этого юноши, человек одной с ним веры, раскольник обрадовался и упросил вахтера, чтобы он свел его к другу Светлогуба.

Меженецкий, несмотря на все строгости тюремной дисциплины, не переставал сноситься с людьми своей партии и ждал каждый день известия о том подкопе, который им же был выдуман и придуман для взрыва на воздух царского поезда. Теперь, вспоминая некоторые упущенные им подробности, он

придумывал средства передать их своим единомышленникам. Когда вахтер пришел в его камеру и осторожно, тихо сказал ему, что один арестант хочет видеться с ним, он обрадовался, надеясь, что это свидание даст ему возможность сообщения с своей партией.

— Кто он? — спросил он.

— Из крестьян.

— Что ж ему нужно?

— Об вере говорить хочет. Меженецкий улыбнулся.

— Ну, что же, пошлите его, — сказал он. «Они, раскольники, тоже ненавидят правительство. Может быть, и пригодится», — подумал он.

Вахтер ушел и через несколько минут, отворив дверь, впустил в камеру сухого, невысокого старика, с густыми волосами и редкой седеющей козлиной бородкой, с добрыми, усталыми голубыми глазами.

— Что вам надо? — спросил Меженецкий.

Старик вскинул на него глазами и, поспешно опустив их, подал небольшую, энергическую, сухую руку.

— Что вам надо? — повторил Меженецкий.

— Слово до тебя есть.

— Какое слово?

— Об вере.

— О какой вере?

— Сказывают, ты одной веры с тем вьюношем, что в Одесте антихристовы слуги задавили веревкой.

— Каким юношей?

— А в Одесте по осени задавили.

— Верно, Светлогуб?

— Он самый. Друг он тебе? — старик при каждом вопросе пытливо взглядывал своими добрыми глазами в лицо Меженецкого и тотчас опять опускал их.

— Да, близкий был мне человек.

— И веры одной?

— Должно быть, одной, — улыбаясь, сказал Меженецкий.

— Об этом самом и слово мое к тебе.

— Что же, собственно, вам нужно?

— Веру вашу познать.

— Веру нашу… Ну, садитесь, — сказал Меженецкий, пожимая плечами. — Вера наша вот в чем. Верим мы в то, что есть люди, которые забрали силу и мучают и обманывают народ, и что надо не жалеть себя, бороться с этими людьми, чтобы избавить от них народ, который они эксплуатируют, — по привычке сказал Меженецкий, — мучают, — поправился он. — И вот их-то надо уничтожить. Они убивают, и их надо убивать до тех пор, пока они не опомнятся.

Старик раскольник вздыхал, не поднимая глаз.

— Вера наша в том, чтобы не жалеть себя, свергнуть деспотическое правительство и установить свободное, выборное, народное.

Старик тяжело вздохнул, встал, расправил полы халата, опустился на колени и лег к ногам Меженецкого, стукнувшись лбом о грязные доски пола.

— Зачем вы кланяетесь?

— Не оманывай ты меня, открой, в чем вера ваша, — сказал старик, не вставая и не поднимая головы.

— Я сказал, в чем наша вера. Да вы встаньте, а то я и говорить не буду.

Старик поднялся.

— В том и вера того юноши была? — сказал он, стоя перед Меженецким и изредка взглядывая ему в лицо своими добрыми глазами и тотчас же опять опуская их.

— В том самом и была, за то его и повесили. А меня вот за ту же веру теперь в Петропавловку везут.

Старик поклонился в пояс и молча вышел из камеры.

«Нет, не в том вера того юноши, — думал он. — Тот юнош знал истинную веру, а этот либо хвастался, что он одной с ним веры, либо не хочет открыть… Что же, буду добиваться. И здесь и в Сибири. Везде бог, везде люди. На дороге стал, о дороге спрашивай», — думал старик и опять взял Новый завет, который сам собой раскрывался на Откровении, и, надев очки, сел у окна и стал читать его.

IX

Прошло еще семь лет. Меженецкий отбыл одиночное заключение в Петропавловской крепости и пересылался на каторгу.

Он много перенес за эти семь лет, но направление его мыслей не изменилось, и энергия не ослабела. При допросах, перед заключением в крепость, он удивлял следователей и судей своей твердостью и презрительным отношением к тем людям, во власти которых он находился. В глубине души он страдал оттого, что был пойман и не мог докончить начатого дела, но не показывал этого: как только он приходил в соприкосновение с людьми, в нем поднималась энергия злобы. На вопросы, которые ему делали, он молчал и только тогда говорил, когда был случай уязвить допрашивающих — жандармского офицера или прокурора.

Когда ему сказали обычную фразу: «Вы можете облегчить свое положение искренним признанием», он презрительно улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Если вы думаете выгодой или страхом заставить меня выдать товарищей, то су́дите по себе. Неужели вы думаете, что, делая то дело, за которое вы меня судите, я не готовился к самому худшему? Так вы ничем не удивить, ни испугать меня не можете. Делать со мной можете, что хотите, а говорить я не буду.

И ему приятно было видеть, как они смущенно переглянулись между собой.

Когда его в Петропавловской крепости поместили в маленькую, с темным стеклом в высоком окне, сырую камеру, он понял, что это не на месяцы, а на годы, — и на него нашел ужас. Ужасна была эта благоустроенная мертвая тишина и сознание того, что он не один, а что тут, за этими непроницаемыми стенами, сидят такие же узники, приговоренные на десять, двадцать лет, убивающиеся, и вешаемые, и сходящие с ума, и медленно умирающие чахоткой. Тут и женщины и мужчины, и друзья, может быть… «Пройдут годы, и ты так же сойдешь с ума, повесишься или умрешь, и не узнают про тебя», — думал он.

И в душе его поднималась злоба на всех людей и в особенности на тех, которые были причиной его заключения. Злоба эта требовала присутствия предметов злобы, требовала движения, шума. А тут мертвая тишина, мягкие шаги молчаливых, не отвечающих на вопросы людей, звуки отпираемых, запираемых дверей, в обычные часы пища, посещение молчаливых людей и сквозь тусклые стекла свет от поднимающегося солнца, темнота и та же тишина, те же мягкие шаги, и одни и те же звуки. Так нынче, завтра… И злоба, не находя себе выхода, разъедала его сердце.

Пробовал он стучать, но ему не отвечали, и стук его вызывал только опять те же мягкие шаги и ровный голос человека, угрожавшего карцером.

Единственное время отдыха и облегчения было время сна. Но зато ужасно было пробуждение. Во сне он всегда видел себя на свободе и большей частью увлекающимся такими делами, которые он считал несогласными с революционной деятельностью. То он играл на какой-то странной скрипке, то ухаживал за девицами, то катался в лодке, то ходил на охоту, то за какое-то странное научное открытие был провозглашен доктором иностранного университета и говорил благодарственную речь за обедом. Сны эти были так ярки, а действительность так скучна и однообразна, что воспоминания мало отличались от действительности.

Тяжело было в сновидениях только то, что большей частью он просыпался в тот момент, когда вот-вот должно было совершиться то, к чему он стремился, чего желал. Вдруг толчок сердца — и вся радостная обстановка исчезала; оставалось мучительное, неудовлетворенное желание, опять эта с разводами сырости серая стена, освещенная лампочкой, и под телом жесткая койка с примятым на один бок сенником.

Сон был лучшим временем. Но чем дольше продолжалось заключение, тем меньше он спал. Как величайшего счастья он ждал сна, желал его, и чем больше желал, тем больше разгуливался. И стоило ему задать себе вопрос: «Засыпаю ли я?» — и проходила вся сонливость.

Беганье, прыганье по своей клетке не помогало. От усиленного движения только делалась слабость и еще большее возбуждение нервов, делалась головная боль в темени, и стоило только закрыть глаза, чтобы на темном с блестками фоне стали выступать рожи лохматые, плешивые, большеротые, криворотые, одна страшнее другой. Рожи гримасничали самыми ужасными гримасами. Потом рожи стали являться уже при открытых глазах, и не только рожи, но целые фигуры, стали говорить и плясать. Становилось страшно, он вскакивал, бился головой о степу и кричал. Форточка в двери отворялась.

— Кричать не полагается, — говорил спокойный, ровный голос.

— Позовите смотрителя! — кричал Меженецкий. Ему ничего не отвечали, и форточка закрывалась.

И такое отчаяние охватывало Меженецкого, что он одного желал — смерти.

Один раз в таком состоянии он решил лишить себя жизни. В камере был душник, на котором можно было утвердить веревку с петлею и, став на койку, повеситься. Но не было веревки. Он стал разрывать простыню на узкие полосы, но полос этих оказалось мало. Тогда он решил заморить себя голодом и не ел два дня, но на третий день ослабел, и припадок галлюцинаций повторился с ним с особенной силой. Когда принесли ему пищу, он лежал на полу без чувств, с открытыми глазами.

Пришел доктор, положил его на койку, дал ему брому и морфину, и он заснул.

Когда на другой день он проснулся, доктор стоял над ним и покачивал головой. И вдруг Меженецкого охватило знакомое ему прежде бодрящее чувство злобы, которого он давно уже не испытывал.

— Как вам не стыдно, — сказал он доктору в то время, как тот, наклонив голову, считал его пульс, — служить здесь! Зачем вы меня лечите, чтобы опять мучить? Ведь это все равно как присутствовать при сечении и разрешать повторить операцию.

— Потрудитесь на спинку лечь, — сказал невозмутимо доктор, не глядя на него и доставая инструмент для оскультации

из бокового кармана.

— Те залечивали раны, чтобы догнать остальные пять тысяч палок. К черту, к дьяволу! — вдруг закричал он, скидывая ноги с койки.— Убирайтесь, издохну без вас!

— Нехорошо, молодой человек, на грубости есть у нас свои ответы.

— К черту, к черту!

И Меженецкий был так страшен, что доктор поспешил уйти.

X

Произошло ли это от приемов лекарств, или он пережил кризис, или поднявшаяся злоба на доктора вылечила его, но с этой поры он взял себя в руки и начал совсем другую жизнь.

«Вечно держать меня здесь они не могут и не станут, — думал он. — Освободят же когда-нибудь. Может быть, — что всего вероятнее, — изменится режим (наши продолжают работать), и потому надо беречь жизнь, чтобы выйти сильным, здоровым и быть в состоянии продолжать работу».

Он долго обдумывал наилучший для этой цели образ жизни и придумал так: ложился он в девять часов и заставлял себя лежать — спать или не спать, все равно — до пяти часов утра. В пять часов он вставал, убирался, умывался, делал гимнастику и потом, как он себе говорил, шел по делам. И в воображении он шел по Петербургу, с Невского на Надеждинскую, стараясь представлять себе все то, что могло встретиться ему на этом переходе: вывески, дома, городовые, встречающиеся экипажи и пешеходы. В Надеждинской он входил в дом своего знакомого и сотрудника, и там они, вместе с пришедшими товарищами, обсуживали предстоящее предприятие. Шли прения, споры. Меженецкий говорил и за себя и за других. Иногда он говорил вслух, так что часовой в окошечко делал ему замечания, но Меженецкий не обращал на него никакого внимания и продолжал свой воображаемый петербургский день. Пробыв часа два у приятеля, он возвращался домой и обедал, сначала в воображении, а потом в действительности, тем обедом, который ему приносили, и ел всегда умеренно. Потом он, в воображении, сидел дома и занимался то историей, математикой и иногда, по воскресеньям, литературой. Занятие историей состояло в том,

что он, избрав какую-нибудь эпоху и народ, вспоминал факты и хронологию. Занятие математикой состояло в том, что он делал наизусть выкладки и геометрические задачи. (Он особенно любил это занятие.) По воскресеньям он вспоминал Пушкина, Гоголя, Шекспира и сам сочинял.

Перед сном он еще делал маленькую экскурсию, в воображении ведя с товарищами, мужчинами и женщинами, шуточные, веселые, иногда серьезные разговоры, иногда бывшие прежде, иногда вновь выдумываемые. И так шло дело до ночи. Перед сном он для упражнения делал в действительности две тысячи шагов в своей клетке и ложился на свою койку и большей частью засыпал.

На другой день было то же. Иногда он ехал на юг и подговаривал народ, начинал бунт и вместе с народом прогонял помещиков, раздавал землю крестьянам. Все это, однако, он воображал себе не вдруг, а постепенно, со всеми подробностями. В воображении его революционная партия везде торжествовала, правительственная власть слабела и была вынуждена созвать собор. Царская фамилия и все угнетатели народа исчезали, и устанавливалась республика, и он, Меженецкий, избирался президентом. Иногда он слишком скоро доходил до этого, и тогда начинал опять сначала и достигал цели другим способом.

Так он жил год, два, три, иногда отступая от этого строгого порядка жизни, но большей частью возвращаясь к нему. Управляя своим воображением, он освободился от непроизвольных галлюцинаций. Только изредка на него находили припадки бессонницы и видения, рожи, и тогда он глядел на отдушник и соображал, как он укрепит веревку, как сделает петлю и повесится. Но припадки эти продолжались недолго. Он преодолевал их.

Так прожил он почти семь лет. Когда срок его заключения кончился и его повезли на каторгу, он был вполне свеж, здоров и в полном обладании своих душевных сил.

XI

Везли его, как особенно важного преступника, одного, не давая ему сообщаться с другими. И только в красноярской

тюрьме ему в первый раз удалось войти в общение с другими политическими преступниками, тоже ссылавшимися на каторгу; их было шесть человек — две женщины и четверо мужчин. Это были всё молодые люди нового склада, незнакомого Меженецкому. Это были революционеры следующего за ним поколения, его наследники, и потому они особенно интересовали его. Меженецкий ожидал встретить в них людей, идущих по его стопам и потому долженствующих высоко оценить все то, что было сделано их предшественниками, особенно им, Меженецким. Он готовился ласково и снисходительно обойтись с ними. Но, к неприятному удивлению его, эта молодежь не только не считала его своим предшественником и учителем, но обращалась с ним как бы снисходительно, обходя и извиняя его устарелые взгляды. По мнению их, этих новых революционеров, все то, что делал Меженецкий и его друзья, все попытки возмущения крестьян и, главное, террор и все убийства: губернатора Кропоткина, Мезенцова и самого Александра II — все это был ряд ошибок. Все это привело только к реакции, торжествовавшей при Александре III и вернувшей общество назад, почти к крепостному праву. Путь освобождения народа, по мнению новых, был совсем иной.

В продолжение двух дней и почти двух ночей не переставали споры между Меженецким и его новыми знакомыми. Особенно один, руководитель всех, Роман, как его все звали только по имени, мучительно огорчал Меженецкого непоколебимой уверенностью в своей правоте и снисходительным, даже насмешливым отрицанием всей прошедшей деятельности Меженецкого и его товарищей.

Народ, по понятию Романа, грубая толпа, «быдло», и с народом, стоящим на той степени развития, на которой он стоит теперь, ничего сделать нельзя. Все попытки поднять русское сельское население — это все равно, что пытаться зажечь камень или лед. Нужно воспитать народ, нужно приучить его к солидарности, и это может сделать только большая промышленность и выросшая на ней социалистическая организация народа. Земля не только не нужна народу, но она-

то и делает его консерватором и рабом. Не только у нас, но и в Европе. И он на память приводил мнения авторитетов и статистические цифры. Народ надо освободить от земли. И чем скорее это сделается, тем лучше. Чем больше их идут на фабрики, и чем больше забирают в руки землю капиталисты, и чем больше угнетают их, тем лучше. Уничтожиться деспотизм, а главное капитализм, может только солидарностью людей народа, а солидарность эта может быть достигнута только союзами, корпорациями рабочих, то есть только тогда, когда народные массы перестанут быть земельными собственниками и станут пролетариями.

Меженецкий спорил и горячился. Особенно раздражала его одна из женщин, недурная волосатая брюнетка с очень блестящими глазами, которая, сидя на окне и как будто не принимая прямого участия в разговоре, изредка вставляла словечки, подтверждавшие доводы Романа, или только презрительно посмеивалась на слова Меженецкого.

— Разве можно переделать весь земледельческий народ в фабричный? — говорил Меженецкий.

— Отчего же нельзя? — возражал Роман. — Это общий экономический закон.

— Почему мы знаем, что закон это всеобщий? — говорил Меженецкий.

— Прочтите Каутского, — презрительно улыбаясь, вставила брюнетка.

— Если и допустить, — говорил Меженецкий, — (я не допускаю этого) что народ переделается в пролетариев, то почему вы думаете, что он сложится в ту, вперед предназначенную ему вами форму?

— Потому что это научно обосновано, — вставляла брюнетка, поворачиваясь от окна.

Когда же речь зашла о форме деятельности, которая нужна для достижения цели, разногласие стало еще больше. Роман и его друзья стояли на том, что нужно подготавливать армию рабочих, содействовать переходу крестьян в фабричных и пропагандировать социализм среди рабочих. И не только не бороться открыто с правительством, а пользоваться им для

достижения своих целей. Меженецкий же говорил, что надо прямо бороться с правительством, терроризировать его, что правительство и сильнее и хитрее вас. «Не вы обманете правительство, а оно вас. Мы и пропагандировали народ и боролись с правительством».

— И как много сделали! — иронически проговорила брюнетка.

— Да, я думаю, что прямая борьба с правительством — неправильная трата сил, — сказал Роман.

— Первое марта трата сил! — закричал Меженецкий. — Мы жертвовали собой, жизнями, а вы спокойно сидите по домам, наслаждаясь жизнью, и только проповедуете.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — спокойно сказал Роман, оглядываясь на своих товарищей, и победоносно расхохотался своим незаразительным, но громким, отчетливым, самоуверенным смехом.

Брюнетка, покачивая головой, презрительно улыбалась.

— Не очень-то наслаждаемся жизнью, — сказал Роман. — А если и сидим здесь, то обязаны этим реакции, а реакция — произведение именно первого марта.

Меженецкий замолчал. Он чувствовал, что задыхается от злобы, и вышел в коридор.

XII

Стараясь успокоиться, Меженецкий стал ходить взад и вперед по коридору. Двери камер до вечерней переклички были открыты. Высокий белокурый арестант, с лицом, добродушие которого не нарушалось до половины выбритой головой, подошел к Меженецкому.

— Арестантик тут, в нашей камере, увидал ваше степенство, — позови, говорит, его ко мне.

— Какой арестант?

— «Табачная держава», так ему прозвище. Старичок он, из раскольников. Позови, говорит, ко мне того человека. Про ваше степенство, значит.

— Где же он?

— Во тут, в нашей камере. Покличь, говорит, того барина.

Меженецкий вошел с арестантом в небольшую камеру с нарами, на которых сидели и лежали арестанты.

На голых досках, под серым халатом, на краю нар, лежал тот самый старик раскольник, который семь лет тому назад приходил к Меженецкому расспрашивать о Светлогубе. Лицо старика, бледное, все ссохлось и сморщилось, волоса все были такие же густые, редкая бородка была совсем седая и торчала кверху. Глаза голубые, добрые и внимательные. Он лежал навзничь и, очевидно, был в жару: на мослаках щек был болезненный румянец.

Меженецкий подошел к нему.

— Что вам? — спросил он.

Старик с трудом поднялся на локоть и подал трясущуюся сухую небольшую руку. Он, собираясь говорить, как бы раскачиваясь, стал тяжело дышать и, с трудом переводя дыханье, тихо заговорил:

— Не открыл ты мне тогда, — бог с тобой, а я всем открываю.

— Что же открываете?

— Про агнца… про агнца открываю… тот юнош с агнцем был. А сказано: агнец победит я, всех победит… И кто с ним, те избраннии и вернии.

— Я не понимаю, — сказал Меженецкий.

— А ты понимай в духе. Цари область приимут со зверем. А агнец победит я.

— Какие цари? — сказал Меженецкий.

— И цари седмь суть: пять их пало и един остался, другий еще не прииде, не пришел, значит. И егда приидет, мало ему есть… значит, конец ему придет… понял?

Меженецкий покачивал головой, думая, что старик бредит и слова его бессмысленны. Так же думали и арестанты, товарищи по камере. Тот бритый арестант, который звал Меженецкого, подошел к нему и, слегка толкнув его локтем и обратив на себя внимание, подмигнул на старика.

— Всё болтает, всё болтает, табачная держава наша, — сказал он. — А что, и сам не знает.

Так думали, глядя на старика, и Меженецкий и его сотоварищи по камере. Старик же хорошо знал, что говорил, и то, что он говорил, имело для него ясный и глубокий смысл. Смысл был тот, что злу недолго остается царствовать, что агнец добром и смирением побеждает всех, что агнец утрет всякую слезу, и не будет ни плача, ни болезни, ни смерти. И он чувствовал, что это уже совершается, совершается во всем мире, потому что это совершается в просветленной близостью к смерти душе его.

— Ей гряди скоро! Аминь. Ей гряди, господи Иисусе! — проговорил он и слегка значительно и, как показалось Меженецкому, сумасшедше улыбнулся.

XIII

«Вот он, представитель народа, — подумал Меженецкий, выходя от старика. — Это лучший из них. И какой мрак! Они (он разумел Романа с его друзьями) говорят: с таким народом, каков он теперь, ничего нельзя сделать».

Меженецкий одно время работал свою революционную работу среди народа и знал всю, как он выражался, «инертность» русского крестьянина; сходился и с солдатами на службе и отставными и знал их тупую веру в присягу, в необходимость повиновения и невозможность рассуждением подействовать на них. Он знал все это, но никогда не делал из этого знания того вывода, который неизбежно вытекал из него. Разговор с новыми революционерами расстроил, раздражил его.

«Они говорят, что все то, что делали мы, что делали Халтурин, Кибальчич, Перовская, что все это было ненужно, даже вредно, что это-то и вызвало реакцию Александра III, что благодаря им народ убежден, что вся революционная деятельность идет от помещиков, убивших царя за то, что он отнял у них крепостных. Какой вздор! Какое непонимание и какая дерзость думать так!» — думал он, продолжая ходить по коридору.

Все камеры были закрыты, исключая одной той, в которой были новые революционеры. Подходя к ней, Меженецкий услышал смех ненавистной ему брюнетки и трескучий,

решительный голос Романа. Они, очевидно, говорили про него. Меженецкий остановился слушать, Роман говорил:

— Не понимая экономических законов, они не отдавали себе отчета в том, что делали. И большая доля тут была…

Меженецкий не мог и не хотел дослушать, чего тут была большая доля, но ему и не нужно было знать этого. Один тон голоса этого человека показывал то полное презрение, которое испытывали эти люди к нему, к Меженецкому, герою революции, погубившему двенадцать лет жизни для этой цели.

И в душе Меженецкого поднялась такая страшная злоба, какой он еще никогда не испытывал. Зло на всех, на всё, на весь этот бессмысленный мир, в котором могли жить только люди, подобные животным, как этот старик с своим агнцем, и такие же полуживотные палачи и тюремщики, эти наглые, самоуверенные, мертворожденные доктринеры.

Вошел дежурный вахтер и увел политических женщин на женскую половину. Меженецкий отошел в дальний конец коридора, чтобы не встречаться с ними. Вернувшись, вахтер запер дверь новых политических и предложил Меженецкому войти к себе. Меженецкий машинально послушался, но попросил не запирать своей двери.

Вернувшись в свою камеру, Меженецкий лег на, койку, лицом к стене.

«Неужели в самом деле так понапрасну погублены все силы: энергия, сила воли, гениальность (он никогда никого не считал выше себя по душевным качествам) погублены задаром!» Он вспомнил недавно, уже по дороге в Сибирь, полученное им письмо от матери Светлогуба, упрекавшей его по-женски, глупо, как он думал, за то, что он погубил ее сына, увлекши в террористическую партию. Получив письмо, он только презрительно улыбнулся: что могла понимать эта глупая женщина о тех целях, которые стояли перед ним и Светлогубом. Но теперь, вспомнив письмо и милую, доверчивую, горячую личность Светлогуба, он задумался сначала о нем, а потом и о себе. Неужели вся жизнь была ошибка? Он закрыл глаза и хотел заснуть, но вдруг с ужасом почувствовал, что возвратилось то состояние, которое он испытывал первый месяц в

Петропавловской крепости. Опять боль в темени, опять рожи, большеротые, мохнатые, ужасные, на темном фоне с звездочками, и опять фигуры, представляющиеся открытым глазам. Новое было то, что какой-то уголовный, в серых штанах, с бритой головой, качался над ним. И опять, по связи идей, он стал искать отдушника, на котором можно бы было утвердить веревку.

Невыносимая злоба, требующая проявления, жгла сердце Меженецкого. Он не мог сидеть на месте, не мог успокоиться, не мог отогнать своих мыслей.

«Как? — стал он уж задавать себе вопрос. — Разрезать артерию? Не сумею. Повеситься? Разумеется, самое простое».

Он вспомнил о веревке, которой была перевязана вязанка дров, лежащая в коридоре. «Стать на дрова или на табуретку. В коридоре ходит вахтер. Но он заснет или выйдет. Надо выждать и тогда унести к себе веревку и утвердить на отдушнике».

Стоя у своей двери, Меженецкий слушал шаги вахтера в коридоре и изредка, когда вахтер уходил в дальний конец, выглядывал в отверстие двери. Вахтер все не уходил и все не засыпал. Меженецкий жадно прислушивался к звукам его шагов и ожидал.

В это время в той камере, где был больной старик, среди темноты, чуть освещаемой коптящей лампой, среди сонных ночных звуков дыханья, ворчанья, кряхтенья, храпа, кашля, происходило величайшее в мире дело. Старик раскольник умирал, и духовному взору его открылось все то, чего он так страстно искал и желал в продолжение всей своей жизни. Среди ослепительного света он видел агнца в виде светлого юноши, и великое множество людей из всех народов стояло перед ним в белых одеждах, и все радовались, и зла уже больше не было на земле. Все это совершилось, старик знал это, и в его душе и во всем мире, и он чувствовал великую радость и успокоение.

Для людей же, бывших в камере, было то, что старик громко хрипел предсмертным хрипом, и сосед его проснулся и разбудил других; и когда хрип кончился и старик затих и похолодел, товарищи его по камере стали стучать в дверь.

Вахтер отпер дверь и вошел к арестантам. Минут через десять два арестанта вынесли мертвое тело и понесли его вниз в мертвецкую. Вахтер вышел за ними и запер дверь за собою. Коридор остался пустой.

«Запирай, запирай, — подумал Меженецкий, следивший из своей двери за всем, что делалось, — не помешаешь мне уйти от всего этого нелепого ужаса».

Меженецкий не испытывал уже теперь того внутреннего ужаса, который до этого томил его. Он весь был поглощен одной мыслью: как бы что-нибудь не помешало ему исполнить свое намерение.

С трепещущим сердцем он подошел к вязанке дров, развязал веревку, вытянул ее из-под дров и, оглядываясь на дверь, понес к себе в камеру. В камере он влез на табуретку и накинул веревку на отдушник. Связав оба конца веревки, он перетянул узел и из двойной веревки сделал петлю. Петля была слишком низко. Он вновь перевязал веревку, опять сделал петлю, примерил на шею и, беспокойно прислушиваясь и оглядываясь на дверь, влез на табуретку, всунул голову в петлю, оправил ее и, оттолкнув табуретку, повис…

Только при утреннем обходе вахтер увидал Меженецкого, стоявшего на согнутых в коленях ногах подле лежавшей на боку табуретки. Его вынули из петли. Прибежал смотритель и, узнав, что Роман был врач, позвал его, чтобы оказать помощь удавленнику.

Были употреблены все обычные приемы для оживления, но Меженецкий не ожил.

Тело Меженецкого снесли в мертвецкую и положили на нары рядом с телом старика раскольника.

Крейцерова соната

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матфея V, 28).

«Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Матфея XIX, 10, 11, 12).

I.

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старый, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами, быстро перебегавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла

еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливанье или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во всё время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый, морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то известного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шопотом, и

что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

— Не успеете, — сказал мне общительный адвокат, — сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

— Затем она прямо объявила своему супругу, — улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, — что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда всё затихло, и я опять услыхал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе, и как у нас всё чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

— В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и читать шопотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дожидался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить:

— Бывало, сударь, и прежде, только меньше, — сказал он. — По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованы стали.

Поезд, двигаясь всё быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

— Да чем же худо образование? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. — Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так по-вашему это лучше? — говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

— Уж очень образованы стали, — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

— Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

— Нет, уж это время прошло, — сказала она. Но адвокат остановил ее.

— Нет, позвольте им выразить свою мысль.

— Глупости от образованья, — решительно сказал старик.

— Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору. — Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — очевидно желая уязвить купца, говорила она.

— Напрасно так говорите, сударыня, — сказал старик, — животное скот, а человеку дан закон.

— Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? — всё торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

— Прежде этого не разбирали, — внушительным тоном сказал старик, — нынче только завелось это. Как что, она сейчас говорит: «я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, — говорит, — вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно, удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря но тому, как она будет принята.

— Какой же страх? — сказала дама.

— А такой: да боится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

— Ну, уж это, батюшка, время прошло, — даже с некоторой злобой сказала дама.

— Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

— Да это вы, мужчины, так рассуждаете, — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, — сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами, небось, себе всё позволяете.

— Позволенья никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жено — утлый сосуд, — продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но всё еще не сдавалась.

— Да, но, я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

— Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. — Небось, полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно поправился приказчику, и он издал одобрительный звук.

— Да нет, не полюбит, — заговорила дама, — а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

— Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? — сказал адвокат.

— Этого не полагается, — сказал старик, — за этим смотреть надо.

— А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

— У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

— Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, всё хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

— Потому он дурак, — сказал старик. — Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы, небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

— Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то всё пропадет.

— Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? — сказал я, не выдержав.

— Эта статья особая, — сказал купец и погрузился в молчанье.

Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II.

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

— Старого завета папаша, — сказал приказчик.

— Вот Домострой живой, — сказала дама. — Какое дикое понятие о женщине и о браке!

— Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, — сказал адвокат.

— Ведь главное то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак, и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидали моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сидения, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно, и на щеке вздрагивал мускул.

— Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? — сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

— Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, — сказала дама.

— Да-с, но что разуметь под любовью истинной? — неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь, — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

— А я не знаю, — сказал господин. — Надо определить, что вы разумеете...

— Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, — сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нет-с, я про то самое.

— Они говорят, — вступился адвокат, указывая на даму, — что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности — любовь, если хотите, не имеет в себе ничего нравственно-обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

— Засим... — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

— Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

— На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, — сказала дама, пожимая плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

— Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

— Да-с, я знаю, — перекрикивал нас седой господин, — вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

— Ах, это ужасно, чтò вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

— Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

— Но может быть и взаимность, — сказал адвокат.

— Нет-с, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это всё равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.

— Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама.

— Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся.

— Но позвольте, — сказал адвокат, — факт противоречит тому, что̀ вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что всё человечество или большинство его живет брачной жизнью, и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

— То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте, — сказал адвокат, — я говорю только, что существовали и существуют браки.

— Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и всё-таки

живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, — говорил он всё быстрее, не давая никому вставить слова и всё больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко.

— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

— Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

— Нет, я не имею удовольствия.

— Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

— Ну, всё равно, — сказал он, издавая свой звук. — Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

— Да нет, помилуйте... — сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же всё курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне.

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О, нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок. — Он налил мне чаю. — Они говорят... И всё лгут... — сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да всё про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было.

— Да, если вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай, действительно, был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III.

— Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

— Коли рассказывать, то надо рассказывать всё с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, т.-е. в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был предводителем. Жил до женитьбы, как все живут, т.-е. развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбив меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, — вдруг крикнул он на меня. — Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, всё равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидал всё совсем в другом свете. Всё навыворот, всё навыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV.

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, чтò должно быть, и потому увидал весь ужас того, чтò есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно 16 лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент 1-го курса. Я не знал

еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, т. е. самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении ut в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слыхал, чтобы это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалованье следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

— Отчего же наука? — сказал я.

— Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

— Да отчего же не лечить сифилис?

— А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А всё-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник

может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V.

— Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как послышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал — эмблема чистоты — прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь по место. Здесь чистые, невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. Авось он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, — ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые

мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился всё возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился всё более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

— Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту но оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. — Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой, и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает всё, всё, чтò я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства, и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женящихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или

тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, чтò было с ним, с интересным героем прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как, уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI.

— Нет, впрочем так лучше, так лучше! — вскрикнул он. — Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на

деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, — всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат всё врет о высоких чувствах — ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и всё то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, которая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорил он, перебивая меня. — Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных, презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, грудей и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье.

Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемы, проститутки на долгие — уважаемы.

VII.

— Да, так вот меня эти джерси и локоны и нашлепки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь, не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него — каша и 1 фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в 30 пудов. И ему как раз так. Ну а мы, поедающие по 2 фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, куда это идет? На чувственные эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, всё благополучно; но прикройте клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И всё было налицо: и восторги, и умиленье, и поэзия. В сущности же эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамаши и портних, с другой — избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в

нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт — а то он случайно прикрылся как-то на это время, — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII.

— Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз но удавалось, а тут удалось. В роде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом, по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». — А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них всё устроено. Глядь, не поберегся, — хлоп, тут и есть!

— Так как же быть? — сказал я. — Что же, женщине делать предложение?

— Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в 1000 раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И чтò ведь

ужасно — это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то всё обман. — «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» — О, мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX.

— Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властвованье женщин, от которого страдает мир, всё это происходит от этого.

— Как властвованье женщин? — сказал я. — Права, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижении, с другой стороны, — что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», говорят евреи. — «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей — заниматься этими делами не составляет никаких прав, — а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо.

Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина.

И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

— Да где же эта особенная власть? — спросил я.

— Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работают бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А всё оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, всё от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противузаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

Да, вы смеетесь! — закричал он на меня, — а это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это всё

равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие канканы, — хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

X.

— Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах — корысть была не при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, — я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была Сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Всё, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот

безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — всё это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, которой не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, — подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело то всё только в этом. Выходит что-то в роде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI.

— Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он. — Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье, и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Всё было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо

говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто в роде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслажденье от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслажденье.

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

— Как же, — сказал я, — как же бы продолжался род человеческий?

— Да вот как бы не погиб род человеческий! — сказал он злобно иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. — Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, — это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, — это можно; а заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, — батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток, другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? — сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне всё равно, и тогда он поспешно, как всё, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

— Всё-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

— Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? — сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. — Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? — сказал он.

— Как зачем? иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, — говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. — Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и т. д., то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая и упорная — половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то

не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигается цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, Богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, т. е. опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. — Он помолчал. — Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал я, — нечто подобное утверждают шекеры.

— Да, да, и они правы, — сказал он. — Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым

надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене.

XII.

— В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Всё время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было всё, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промолчав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Всё лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. Как? что? думал я. Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она! Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на

такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл зто ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, т. е. два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, т. е. влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились, и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще больнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, — и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидал опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я

ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, т. е. чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучала меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастие не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось всё время и всё усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я *попался,* что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

XIII.

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

— Ведь что, главное, погано, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь не даром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления — и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? — Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я всё рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. Дурачье! думают, что я убил её тогда, ножом, 5 октября. Я не тогда убил её, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

— Да чем же? — спросил я.

— Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедывать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так, что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых

для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, т. е. воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере не слыхать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, т. е. матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе — кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается — чем же? — страшно подумать! И толкуют о свободе, о правах женщин. Это всё равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Всё это было ново и поразило меня.

— Так как же? Если так, то, — сказал я, — выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

— Мужчине необходимо, — подхватил он. — Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению,

необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и всё это будет необходимо. Выходит, что Бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Изволите видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и всё от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, т. е. пакости, губит, — что же? — половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, — повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

XIV.

— Вот такой-то свиньей я и жил, — продолжал он опять прежним тоном. — Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек, и что я ни в чем

не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов, и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Всё пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном, всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «Wein, Weiber und Gesang»,[1] и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе и на Грачевке и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслажденье, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а всё-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это всё делают, а взгляд на нее всё тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Всё равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользованье одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут, отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это

сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она всё такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина всё такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, т. е. будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, — больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека — стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет всё-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, это ничего не изменит. Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для властвованья над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это — дети, и то тогда, когда женщина не урод, т. е. сама кормит. Но тут опять доктора.

С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, т. е. мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во всё время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, т. е. безнравственно.

XV.

— Я во всё время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более, что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

— Однако вы не любите докторов, — сказал я, — заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

— Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев — их пропасть, — в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то, благодаря заразам везде, во всём, людям надо не итти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «ты живешь дурно, живи лучше», нельзя этого сказать ни себе ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или т. п. И надо пойти к ним, а они пропишут на 35 копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей, и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, всё

случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я в роде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, — это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI.

— Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословенье Божие, дети — радость.

Ведь это всё ложь. Всё это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мученье и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не

страдать. Наслажденье, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, — меньше страданья, которое они испытывают — не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей за этот эгоизм — не поднимается рука, когда вспомнишь всё то, что они перемучаются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей, и она вся была поглощена ими, — ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что всё, что она в этих случаях делала и говорила, — она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных, — отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее

цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И делая это, знает, что она делает всё, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить попрежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях — как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, — на всё это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не во-время, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить, и что есть такая наука и такие люди — доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, — и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали во-время Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых во-время, по совету доктора, разъехались по гостиницам и остались живы, а не разъехались — и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг — и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она во-время узнает то,

что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только Бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и кончено, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клестиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети и чем больше

они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми.

У каждого из нас был свой любимый ребенок — орудие драки.

Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать, и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII.

— Ну-с, так и жили. Отношения становились всё враждебнее и враждебнее. И наконец дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был несогласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло

болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, — всё дела, которые ни для того ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная! И смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, — думал я на нее, — а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседанье». — «Тебе хорошо, — не только думала, но и говорила она, — а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

— Который час? — спросил он.

Я взглянул, было два часа.

— Вы не устали? — спросил он.

— Нет, но вы устали.

— Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая всё, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII.

— Да, я всё увлекаюсь, — начал он. — Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и всё это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, всё занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы,

гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожития. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройства в новом городе, на новой квартире, и еще занятие — переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело всё то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни — дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужику, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они — лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызать, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, *все* это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводить нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас всё делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и

занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоющая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX.

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

— Извините меня, — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. — Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, — начал он опять, закурив папиросу. — Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта — страдание вечное о детях — стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не воротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей! Мука эта истомила ее. И вот, благодаря услужливым докторам, она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, — для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-

то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, т. е. говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того — отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого всё и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

— Да-с, явился этот человек. — Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

— Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. — Он опять замолчал.

— Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его — помещик, сосед моего отца. Он — отец — разорился, и дети — три было мальчика — все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант

к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был... — Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: — Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже, и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про всё говорить намёками и отрывками, как будто вы всё это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что всё случилось из ревности. Ничуть не бывало, т. е. не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж, и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется по-ихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, т. е. мое свинство. Всё произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX.

— Да, это так было, и недолго перед тем.

Жили мы как будто в перемирьи, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...», — «нет, я не говорил», — «стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает всё твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, чтò мне больное всего, туда-то она и колет. Дальше, больше. Я кричу: «молчи!» или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «не лги!» — «Ведь это уж не в первый раз!» кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «не притворяйся!» Она говорит: «для тебя всё притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» — «О, хоть бы ты издохла!» кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я

мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю, куда. Она не отвечает. «Ну, и чорт с ней», говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить всё это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я всё это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее, и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрят на меня. Пьем молча чай. Ее всё нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и Бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать, и тут не ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа — ее всё нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь — ее нет.

Всё в доме идет по-старому, но все в недоуменьи и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что

всё это от меня. А во мне всё та же борьба — злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

— Да ведь не может же это так оставаться, — говорит сестра.

— Всё ее дело, а не мое, — говорю я. — Я первого шага не сделаю. Разойтись, так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала, и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

— Не говори больше, ты раскаешься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в словах.

— Что? что-нибудь сделалось?

— Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в

чувство. Еще слезы и наконец примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить всё это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И всё одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт — ссора продолжалась два дня, — но потом опять полуобъяснение, полупримирение — и я остался.

XXI.

— Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на ты. Он попытался серединными фразами между ты и вы удержаться на ты, но я прямо дал тон на вы, и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоюще красива. Он, видимо, понравился ей с первого

взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтоб уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя, мысленно сказал я ей, — или чтоб я боялся тебя», мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. От меня зависит, думал я, сделать так, чтобы никогда не видать его. Но сделать так, значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же, в передней,

зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем не свойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильное жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «можно?» и ответил: «о, да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому.

Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по-писанному. Мучался я особенно том, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен

был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее всё, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, — не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук.

— Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, — начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. — Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, чтò это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, чтò это было, и вернулся в переднюю, чтобы поверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Всё, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена и слышу оттуда равномерное arpeggio и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком.

Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было — жалость к себе. «При детях, при няне!» думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать? — спросил я себя. — Войти? Я не могу, я Бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти arpeggio своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

— Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, — сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснить мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью, и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Всё было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что всё это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) — это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может

видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю всё, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, — и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

XXII.

— Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный

час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах — робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

— Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, — и она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

— Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, — сказала она.

— Я нисколько не недоволен, — сказал я.

— Разве я не вижу?

— Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка...

— Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

— Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (чорт с тобой), но честь семьи.

— Да что, что?

— Убирайся, ради Бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

— Ты решительно стал невозможен, — начала она. — Это такой характер, с которым ангел но уживется, — и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). — После этого меня уж ничто не удивит от тебя, — сказала она.

«Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

— Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

— Вася, что ты, что с тобой?

— Уходи! — заревел я еще громче. — Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы всё-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «уходи!», швырнул его о-земь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать о-земь их, продолжая кричать:

— Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла — и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странна даже ей

казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Всё было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так всё и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII.

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на всё отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что всё, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Всё, что было в нем непорядочного, всё это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это всё должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я всё-таки был

ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока но началась музыка. Я всё еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно-равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость — робость преимущественно перед своим умением, — с притворным видом села за рояль, и начались обычные *la* на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Она взяла первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам и ответил роялю. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнул он. — У!... Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевота, как смех; мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего; смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, — это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет.

И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния

было очень радостно. Всё те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое andante с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещицы. Всё это было хорошо, но всё это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Всё это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я всё это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Всё было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

XXIV.

— Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На

другой день мне в присутствие принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! — сказал я себе. — Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им всё кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, — говорил я себе, — нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то в роде наемного скрипача, известный за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, *моя* жена! Что за нелепость!» представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящем в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может

удержать его? Ничто. Всё, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? — говорил я себе, вспоминая их лица, — разве не ясно было, что между ними всё совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, всё кончено», говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое: «это что-то нашло на тебя, этого не может быть», говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, — куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видать противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его на лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV.

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая, всё время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор, и в полутемном вагоне послышался только треск стекол двигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его всё более и более взволнованный, страдающий голос.

— Ехать надо было 35 верст на лошадях и восемь часов по чугунке. На лошадях ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шины выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду, и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой — в первом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником, всё это еще больше развлекло меня. Сумерками всё было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслажждался, почти совсем не думая о том, чтò меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, чтò меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство — кончилось с поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в

вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только с тех пор, как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и всё о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку, и есть пухлость некоторая, — думал я за него, — но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». — «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, — говорил я себе. — Притом она безопасна». — «Нет, это невозможно! Что я думаю! — ужасаясь, говорил я себе. — Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, всё лжет!» — вскрикивал я — и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только

двое — старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами всё точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

— Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! — продолжал он. — Я говорил себе: «буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоялого двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук — мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что сделается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Всё, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что — любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидал, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семячек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он

много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, — говорил я себе, — правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучался — говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), — и потом всё кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящею; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было, и что всё это вздор. О, как хорошо бы это!» — «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто ото было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое, и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать, ни ему ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед виселицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и проч. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI.

— На предпоследней станции, когда кондуктор пришел сбирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и

сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих и дворников и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, — не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

— Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», как будто говорил я себе.

— А дети?

— Слава Богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал — несчастье, а оказывалось всё хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно всё то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно всё в действительности. Вот оно всё...

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «ты плачь, сантиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство — вы не поверите — чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе — я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

— Не надо, не надо, — сказал я Егору, хотевшему итти в гостиную, — а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его коморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слыхали звонка. «Только бы не вышли теперь», думал я. Егор надел свое пальто с астраханским барашком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один, и что мне надо сейчас действовать. Как — я еще не знал. Я знал только, что теперь всё кончено, что сомнений в ее невинности не может быть, и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «а может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», теперь уж этого не было. Всё было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Всё ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики и возможности наказать. И с тем,

чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что̀ она подумает, узнав всё, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я — честный человек, я — сын своих родителей, я — всю жизнь мечтавший о счастьи семейной жизни, я — мужчина, никогда не изменявший ей... И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, всё время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидал всё ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю», — говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: всё-таки она была недурна, главное же, по крайней мере было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось

действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и всё только с одною определенною целью.

XXVII.

— Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое всё время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость. Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услыхав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкапу. На его лицо было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть, не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновенье, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать.

Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновенье я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали...

— Вот не ждала, — в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что̀ разрывало сразу всё, что они говорили. Я бросился к ней, всё еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидал, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

— Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза встретились с моими, он вдруг побледнел, как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжеле повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть, и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому.

Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил всё время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти

руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попалась. Я по крайней мере ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

— Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, т. е. что всё было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое всё шло crescendo[2] и должно было продолжать так же возвышаться. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда всё-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, — это вздор, неправда. Я всё помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что̀ я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что̀ я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что̀ я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер, и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное,

такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

— Няня! он убил меня!

Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Я всё стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу, и это самое и должен был сделать. Я подождал, пока она упала, и няня с криком: «батюшки!» подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, чтò я делаю», сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. Что теперь надо делать? спросил я себя и тотчас же понял, что.

Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его — он был заряжен, — и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

— Слышал ты, что случилось? — сказал я, — скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, — подумал я, просыпаясь. — Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

— Вася! что это? — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

— Что надо? — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

— Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. — Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

— Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. — Ну так что ж?

— Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, — сказала она.

«Пойти к ней?» задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо итти к ней. «Если так делается, то надо итти, — сказал я себе. — Да если нужно будет, всегда успею», подумал я о своем намерении

застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», сказал я себе.

— Постой, — сказал я сестре, — глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII.

— И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости, — иодоформ, карболка — поразил меня. Нет, всё было. Проходя по коридору мимо детской, я увидал Лизаньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей, и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, всё черное от крови. На нашей двуспальной постели, на моей даже постели — к ней был легче подход — лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах иодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

— Подойди, подойди к ней, — говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», подумал я. «Простить? Да, она умирает и можно простить ее», думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

— Добился своего, убил... — И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. Детей... я всё-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоющим упоминать.

— Да, полюбуйся на то, что ты сделал, — сказала она, глядя в дверь, и всхлипнула. В двери стояла сестра с детьми. — Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека. И так ничтожно мне показалось всё то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «прости!» но но смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

— Зачем всё это было? Зачем?

— Прости меня, — сказал я.

— Прости? Всё это вздор!.. Только бы не умереть!.. — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. — Да, ты добился своего!.. Ненавижу! Ай! Ах! — очевидно в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. — Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался всё время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в 8 часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев 11 месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удержать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

— Я начал понимать только тогда, когда увидал ее в гробу... — Он всхлипнул, но тотчас же торопливо продолжал: — только тогда, когда я увидал ее мертвое лицо, я понял всё, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого

никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!... — вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

— Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, — это было в 8 часов утра — я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

— Прощайте, — сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Варианты литографированной редакции «Крейцеровой сонаты»

(Ссылки на страницы и строки — по настоящему изданию. Литографированная редакция сокращенно обозначается: *лит. ред.)*

Стр. 7.

Цитаты из «*Евангелия*» *от Матфея, XIX*, *10, 11, 12 в лит. ред. нет.*

Стр. 7, строка 2.

Слов: Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 7, строки 8—11.

Вместо: господин с порывистыми движениями, *кончая:* необыкновенно блестящими глазами, — *в лит. ред.:* чрезвычайно нервный, среднего возраста человек, с замечательно притягивающими к себе неопределенного цвета блестящими глазами,

Стр. 7, строки 11—17.

Слов: Он был одет в старое, *кончая:* на начатый и оборванный смех. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 7, строки 18—19.

Вместо: старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. — *в лит. ред.:* не познакомился ни с кем из пассажиров, как бы старательно избегая этого.

Стр. 7, строка 20—стр. 8, строка 2.

Вместо: или читал, или, глядя в окно, *кончая:* пил чай или закусывал. — *в лит. ред.:* начинал упорно глядеть в окно.

Стр. 8, строка 3.

Вместо: Мне казалось, — *в лит. ред.:* А между тем мне казалось,

Стр. 8, строка 3.
Слова: своим — *в лит. ред. нет.*

Стр. 8, строки 3—4.
Вместо: и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, — *в лит. ред.:* Онъ видел, что я понимаю это, и
Стр. 8, строки 6—7.
Вместо: брался за книгу или смотрел в окно. — *в лит. ред.:* всё-таки избегал разговора со мной.

Стр. 8, строки 8—12.
Вместо: Во время остановки, *кончая:* пить чай на станцию. — *в лит. ред.:* Во время остановки перед вечером на большой станции господин с хорошими вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой пошли пить чай на станцию.

Стр. 8, строки 15—17.
Вместо: в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. — *в лит. ред.:* в широкой шубе и высоком картузе.

Стр. 8, строки 18—19.
После слов: на этой станции. — *в лит. ред.:* Сначала приказчик сказал, что место напротив занято, на это старик ответил, что он только на одну станцию. И с этого у них начался разговор.

Стр. 8, строка 21.
Вместо: не проходил, — *в лит. ред.:* не говорил.

Стр. 8, строки 22—38.
Вместо: Купец объявил сначала о том, *кончая:* про что-то оживленно разговаривавшие. — *в лит. ред.:* Они говорили сначала о ценах, о торговле. Назвали кого-то знакомого обоим и заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик хотел

похвастать чьими-то кутежами на ярманке, но старик не дал ему ходу и, перебивая его, стал сам рассказывать про былые кутежи в Кунавине и про свое участие в них. Он, видимо, гордился своим участием в них и, вероятно, полагая, что это нисколько не нарушает того степенства, которое он изображал всей своей фигурой и манерами, с гордостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказывать шопотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба. Разговор мне был не интересен, и я вышел из вагона размять ноги до отхода поезда. В дверях встретились адвокат с дамой.

Стр. 8, строка 39.
Слова: общительный — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 9, строки 2—3.
Вместо: между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. — ***в лит. ред.:*** адвокат с дамой оживленно разговаривали.

Стр. 9, строки 3—5.
Вместо: Старый купец молча сидел *кончая:* жуя зубами. — ***в лит. ред.:*** Купец молча сидел против них.

Стр. 9, строка 8.
Вместо: не желает жить — ***в лит. ред.:*** не хочет жить
Стр. 9, строки 10—12.
Вместо: Вслед за мной прошли *кончая:* не слышно было разговора. — ***в лит. ред.:*** за проходом кондуктора и нового пассажира.

Стр. 9, строка 14.
Слова: уже — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 9, строки 15—32.

Вместо: Адвокат говорил о том, *кончая:* и я пересел ближе. — *в лит. ред.:* — И засим является разлад, финансовые затруднения сторон, и супруги расходятся, — говорил адвокат. — В старину этого не было. Не правда-ли? — обратился общительный адвокат к старику-купцу, желая вовлечь его в этот разговор.

Но в это время поезд тронулся, и старик, не отвечая, снял свой картуз, три раза перекрестился и прошептал что-то. Окончив это и надев прямо и глубоко свой картуз, он сказал:

— Было, сударь, и прежде, только меньше. По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованы стали.

Адвокат что-то ответил старику, но поезд, двигаясь всё быстрее и быстрее, уже погромыхивал на стычках, и мне не слышно было, а интересно было знать, что скажет старик, и я пересел ближе.

Стр. 9, строка 32.

Слов: с блестящими глазами, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 10, строка 13.

Вместо: — Глупости от образованья, — решительно сказал старик. — *в лит. ред.:* — А потому что страху нет, — сказал старик.

Стр. 10, строка 13.

После слов: сказал старик. — *в лит. ред.:* — Да как же быть, когда

Стр. 10, строки 14—21.

Вместо: а потом удивляются, что несогласно живут, *кончая:* говорила она. — *в лит. ред.:* Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислушивался к разговору.

Стр. 10, строки 24—26.

Вместо: всё торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми. — *в лит. ред.:* сказала дама, очевидно поощряемая общим вниманием и сочувствием.

Стр. 10, строки 38—39.

Слов: даже с некоторой злобой сказала дама. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 11, строки 7—8.

После слов: себе всё позволяете. — *в лит. ред.:* — Мужчина — дело особое.

— Так мужчине, по вашему, всё позволено?

Стр. 11, строка 18.

Слов: и губами. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 11, строка 25.

Вместо: — Этого не полагается, — *в лит. ред.:* Этого не должно быть,

Стр. 11, строка 28.

После слов: сказал старик. — *в лит. ред.:* — Ну, а если какой глупый муж не может управить женой, тому по делом. А всё же скандал делать не приходится. Люби, хоть не люби, а дома не расстраивай. Всякий муж жену укоротить может, на то ему дана власть. Только дурак не может.

Стр. 12, строки 7—9.

Вместо: — Ну, а как же вы сами *кончая:* сказал я, не выдержав. — *в лит. ред.:* — А самим в Кунавине кутить с красотками можно? — улыбаясь, сказал адвокат.

Стр. 12, строки 10—13.

Вместо: сказал купец *кончая:* вышел на тормоз. — *в лит. ред.:* сказал купец строго. — Прощенья просим, — прибавил он,

вставая, запахнулся, приподнял картуз и, достав мешок, вышел на тормоз.

Стр. 12, строки 20—21.

После слов: сказал адвокат. — ***в лит. ред.:*** Во-первых — права женщины, затем гражданский брак, засим развод, как нерешенный еще вопрос...

Стр. 12, строка 28 — стр. 13, строка 16.

Вместо: В средине речи дамы позади меня *кончая:* — Нет-с, я про то самое. — ***в лит. ред.:*** — Какая же это любовь освящает брак? — неожиданно сказал голос нервного господина, который незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно, на лбу надулась жила, и вздрагивал мускул щеки. — Какая это такая любовь освящает брак? — повторил он.

— Как какая любовь? — сказала дама. — Обыкновенная любовь между супругами.

— Как же это может обыкновенная любовь освящать брак? — продолжал нервный господин. Он волновался, как будто сердился и хотел сказать неприятное даме. Она чувствовала это и тоже волновалась.

— Как? очень просто, — сказала дама.

Нервный господин тотчас же подхватил это слово:

— Нет, не просто!

Стр. 13, строка 14.

Вместо: — Да-с, но что разуметь под любовью истинной? *кончая:* проговорил седой господин и засмеялся. *после слов:* не дав адвокату договорить, начал:, *стр. 13 строка 29*, — ***в лит. ред.:*** — Да-с, но что разуметь под любовью, которая одна освящает брак?

— Всякий знает, что такое любовь, — сказала дама.

— А вот я не знаю и желаю знать, как вы определяете?

— Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или

одной перед всеми остальными, — сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? на два дни? на полчаса? — с особенною злостью сказал господин.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

Стр. 13, строки 27—29.

Вместо: продолжал речь адвокат, *кончая:* с трудом удерживался — *в лит. ред.:* хотел продолжать свою речь адвокат. Но нервный господин, очевидно, с трудом удерживался

Стр. 13, строка 34.

Слов: сказала дама, пожимая плечами. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 13, строки 36—37.

Вместо: другими на года, что очень редко, — *в лит. ред.:* другими редко на года,

Стр. 13, строки 38—39.

Слов: говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 14, строка 3.

Вместо: — перекрикивал нас седой господин, — *в лит. ред.:* перекрикивал он нас,

Стр. 14, строка 6.

После слова: женщине. — *в лит. ред.:* и менее всего к своей жене. Но на то и пословица, она не врет: «Чужая жена — лебедушка, а своя — полынь горькая».

Стр. 14, строки 10—20.

Вместо: Если допустить даже, что мужчина *кончая:* говорил он, жадно затягиваясь. — *в лит. ред.:* Если допустить даже, что Менелай предпочел бы Елену на всю жизнь, то Елена предпочла Париса, и так всегда было и есть на свете. И не может быть иначе, так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не

невероятность одна, а, наверное, пресыщение Елены Менелаем или наоборот. Вся разница только в том, что у одного раньше, у другого позднее. Только в глупых романах пишут, что они любили друг друга всю жизнь. И только дети могут верить этому. Любить всю жизнь одну или одного — это всё равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь.

Стр. 14, строка 23.
Слов: сказала дама. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 14, строки 24—25.
Вместо: — Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — ***в лит. ред.:*** — Отчего же не допустить,

Стр. 14, строки 25—26.
Вместо: А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся. — ***в лит. ред.:*** А то единство идеалов встречается не между старухами, а всё между молодыми и красивыми, — сказал он и неприятно засмеялся. — Да-с, я утверждаю, что любовь, настоящая любовь, не освящает брак, как мы привыкли разуметь его, на всю жизнь, а напротив, разрушает его.

Стр. 14, строка 32.
Вместо: Седой господин опять засмеялся. — ***в лит. ред.:*** Нервный господин злобно засмеялся.

Стр. 14, строка 33.
Вместо: — То вы говорите, — ***в лит. ред.:*** — Так как же? Вы говорите,

Стр. 14, строки 35—36.
Вместо: тем, что существуют браки. — ***в лит. ред.:*** браками.

Стр. 14, строка 36.

Вместо: один обман! — ***в лит. ред.:*** обман и насилие.

Стр. 14, строка 39.

Вместо: — Существуют. Да только отчего они существуют? — ***в лит. ред.:*** — Да как и от чего они существуют?

Стр. 15, строка 2.

После слов: а у нас их нет. — ***в лит. ред.:*** и они только лицемерие и насилие. И вот мы чувствуем это и, чтобы избавиться от этого, проповедуем свободную любовь. В сущности же проповедь свободной любви есть не что иное, как призыв к возвращению назад, к смешению полов, — извините меня, — обратился он к даме, — к свальному греху. Износилась старая основа, надо найти новую, а не проповедовать разврат. — Он так горячился, что все замолчали и смотрели на него. — А вот переходное-то положение и ужасно. Люди чувствуют, что нельзя же допустить свальный грех, надо как-нибудь определить половые сношения, а основы для этого нет, кроме старой, в которую никто не верит.

Стр. 15, строки 2—3.

Вместо: У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, — ***в лит. ред.:*** и люди женятся по старому, не верят в то, что они делают,

Стр. 15, строка 8.

После слов: всю жизнь — ***в лит. ред.:*** и сами не знают, зачем, за что,

Стр. 15, строка 9.

Вместо: уж ненавидят друг друга, желают разойтись — ***в лит. ред.:*** уж желают разойтись

Стр. 15, строки 12—13.

Слов: говорил он всё быстрее, не давая никому вставить слова и всё больше и больше разгорячаясь. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 15, строка 13.

Вместо: Все молчали. — *в лит. ред.:* Все помолчали.

Стр. 15, строка 15.
Слов: без сомнения, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 15, строки 15—16.
После слов: в супружеской жизни, — *в лит. ред.:* Вот, например, дело Позднышева,

Стр. 15, строка 16.
Вместо: прекратить — *в лит. ред.:* остановить

Стр. 15, строка 17.
После слов: горячий разговор, — *в лит. ред.:* — как он из ревности убил жену, — читали вы?
Дама сказала, что не читала. Нервный господин ничего не сказал и изменился в лице.

Стр. 15, строки 18—19.
Вместо: тихо и как будто спокойно сказал седой господин. — *в лит. ред.:* вдруг сказал он.

Стр. 15, строки 21—24.
Вместо: тот, с которым случился тот критический эпизод, *кончая:* и все молчали. — *в лит. ред.:* Произошло молчание. Он покраснел, опять побледнел.

Стр. 15, строка 26.
Слов: издавая свой звук. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 15, строка 27.
После слов: стеснять вас. — *в лит. ред.:* И он ушел на свое место.

Стр. 15, строка 28 — стр. 16, строка 17.
Концу II главы от слов: — Да, нет, помилуйте... — *в лит. ред. соответствует III глава и следующее ее начало:*

Я вернулся тоже на свое место. Господин с дамою шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал. Я хотел поговорить с ним, но не знал, с чего начать, и так мы проехали час до станции. На следующей станции господин с дамой и даже приказчик вышли, и мы остались одни во всем вагоне с Позднышевым.

— Они говорят! И или лгут или не понимают.

— Т. е. о чем это вы?

— Да всё о том же.

Он облокотился руками на колени и сжал виски руками.

— Любовь, брак, семья! Всё ложь, ложь, ложь!.. Он встал, задернул занавеску у фонаря и лег, облокотившись на подушку, и закрыл глаза. Он пролежал так минуту.

— Вам не неприятно сидеть со мною, зная, кто я?

— О нет.

— Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите — я вам расскажу свою жизнь?

В это время прошел кондуктор; он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда этот ушел. В продолжение же рассказа потом он уже ни разу не останавливался и ни даже вновь входящие пассажиры не прерывали его. Во время его рассказа лицо его несколько раз переменялось совершенно, так что ничего не было похожего с прежним лицом, и глаза, и рот, и усы, борода даже — всё было другое: то было прекрасное, трогательное, новое лицо. И перемены эти происходили в полусвете вдруг, и минут пять было одно лицо, и нельзя было никак видеть прежнего, а потом, неизвестно как, делалось другим, и тоже нельзя было никак изменить его.

Стр. 16—17.

Главе III в лит. ред. соответствует глава IV.

Стр. 16, строки 19—20.

Вместо: Да вы точно хотите? — Я повторил, что очень хочу. — *в лит. ред.:* всю свою жизнь и всю свою страшную историю.

Страшную, именно страшную. Вся история страшнее конца.

Стр. 16, строка 20.
После слова: руками — *в лит. ред.:* закрытое

Стр. 16, строки 25—30.
Вместо: Жил я до женитьбы, *кончая:* что я вполне нравственный человек. — *в лит. ред.:* Во-первых, скажу вам, кто я. Я сын богатого степного дворянина, бывшего предводителя, и воспитанник университета, кандидат, юрист. Женился я 30-ти съ чем то лет, но прежде чем сказать о женитьбе, надо сказать, как я жил прежде и как смотрел на семейную жизнь. Жил я до женитьбы, как живут все так называемые порядочные люди нашего круга, т. е. развратно, и, так же как и большинство людей нашего круга, живя развратно, был убежден, что я среди развратных людей исключительно нравственный человек. Происходило это, т. е. то, что я считал себя нравственным, оттого, что в нашей семье не было того особенного, специального разврата, который был так обыкновенен в нашей помещичьей среде, и что потому, воспитавшись в семье, где ни отец ни мать не изменяли друг другу, я с ранних лет лелеял мечту о самой возвышенной и поэтической семейной жизни. Жена моя должна была быть верхом совершенства. Любовь наша взаимная должна была быть самая возвышенная. Чистоты наша семейная жизнь должна была быть голубиной.

Думать — я так думал и всё время хвалил себя за возвышенные мысли. И вместе с этим лет десять жил взрослым человеком, не торопясь жениться, и вел то, что я называл степенную, благоразумную холостую жизнь, которой я даже гордился перед моими сверстниками и сотоварищами, предававшимися разным специальным развратам.

Стр. 16, строки 31—32.
Слов: как это делали многие из моих сверстников, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 16, строки 32—33.

Вместо: степенно, прилично, для здоровья. — ***в лит. ред.:*** в приличных, общепринятых формах, и наивно был уверен, что я вполне нравственный человек. Женщины, с которыми я сходился, были не мои, и мне до них не было никакого дела, кроме удовольствия, которое они мне доставляли. И мне тут не казалось ничего безобразного. Напротив, я в этом то, в том, что я не сближался с ними сердцем, а платил им деньгами, я в этом то и видел свою нравственность.

Стр. 16, строка 36—стр. 17, строка 3.

Вместо: И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим. *кончая:* а разврат, истинный разврат — ***в лит. ред.:*** И живя так, я считал себя нравственным человеком. Я не понимал, что разврат не состоит в чем-либо физическом, что никакое безобразие физическое не есть еще разврат, а что истинный разврат состоит

Стр. 17, строка 13.

После слов: каких я был. — ***в лит. ред.:*** Если вы согласны, о теперь, а прежде вы это не думали. И я не думал, и если бы не сказали то, что я теперь вам говорю, не было бы того, что со мною было.

Стр. 17, строка 16.

Слов: — Что ужасно? — спросил я. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 17, строка 117.

После слова: заблуждения — ***в лит. ред.:*** и разврата,

Стр. 17, строки 17—26.

Вместо: относительно женщин и отношений к ним, *кончая:* внушительный и приятный голос. — ***в лит. ред.:*** по отношению к истинному женскому вопросу.

— Т. е., что вы понимаете под истинным женским вопросом?

— Вопрос о том, что такое то особенное от мужчин организованное существо и как она сама и мужчина должны смотреть на нее.

Стр. 17—19.

Главе IV в лит. ред. соответствует глава V, начинающаяся словами: — Да, я 10 лет жил в самом безобразном разврате, мечтая о чистой, возвышенной любви, даже во имя ее. Да, я хочу рассказать, как я убил свою жену, и, чтобы рассказать это, должен рассказать, как я развратился. Я убил ее прежде, чем я ее знал, я убил женщину в первый раз, когда не любя познал ее, и тогда уже убил жену свою.

Стр. 17, строка 28.

Вместо: — Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, — *в лит. ред.:* — Да-с, только перестрадав, перемучавшись, как я перемучался,

Стр. 17, строка 29.

После слов: где корень всего, — *в лит. ред.:* понял себя, свой и наш общественный грех.

Стр. 17, строка 32.

Вместо: эпизоду. — *в лит. ред.:* несчастью.

Стр. 18, строка 1.

После слов: Я мучался, — *в лит. ред.:* — наверное, и вы мучались,

Стр. 18, строки 5—6.

После слов: человеческое существо. — *в лит. ред.:* Я бы мог еще спастись.

Стр. 18, строка 6.

Вместо: Но вот — *в лит. ред.:* И вот

Стр. 18, строка 10.

Вместо: пятнадцатилетний — *в лит. ред.:* 16-ти летний

Стр. 18, строка 13.

Слов: Да и теперь никто не услышит. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 18, строка 14.

Вместо: есть это в заповеди, — *в лит. ред.:* было это в заповеди,

Стр. 18, строка 26.

Вместо: попечительное правительство — *в лит. ред.:* правительство

Стр. 18, строки 27—28.

Вместо: обеспечивает разврат для гимназистов. — *в лит. ред.:* обеспечивает разврат для нас, для гимназистов.

Стр. 18, строка 36.

После слова: Они. — *в лит. ред.:* Кто развращает женщин, научая и придумывая средства не рожать?

Стр. 18, строки 36—37.

Вместо: А потом с ужасной важностью лечат сифилис. — *в лит. ред.:* Кто лечит сифилис с восторгом? Они.

Стр. 18, строка 39.

Вместо: — А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, — *в лит. ред.:* А вот оттого, что лечить сифилис — всё равно, что обеспечивать разврат, всё равно, что воспитательный дом для младенцев.

— Нет, но всё-таки...

— Да, только 0,01 этих усилий,

Стр. 19, строки 20—21.

Вместо: — Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено — *в лит. ред.:* Да-с, отношения к женщине были погублены

Стр. 19, строка 34.

Слов: и это-то и погубило меня. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 19—22.

Главе V в лит. ред. соответствует глава VI до слов: — Нет, впрочем так лучше.

Стр. 20, строка 3.

Вместо: когда мы, бывало, — *в лит. ред.:* когда мы

Стр. 20, строка 8.

После слов: эмблема чистоты — прелесть! — *в лит. ред.:* О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь.

Стр. 20, строки 9—30.

Слов: Ведь вы подумайте, что бы должно было быть и что есть. *кончая:* в которой мы сидели. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 20, строки 33—34.

Вместо: приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. — *в лит. ред.:* приглядывался к подходящим для этой цели девушкам.

Стр. 20, строки 39—40.

После слов: разорившегося пензенского помещика. — *в лит. ред.:* По правде сказать, без ложной скрытности, меня ловили и поймали. Мамаша — папаши не было — устраивала всякие ловушки, и одна — именно катание на лодках — удалась.

Стр. 21, строка 1.

Вместо: В один вечер, — *в лит. ред.:* Я решил в один вечер,

Стр. 21, строки 10—15.

Слов: Удивительное дело, *кончая:* что она чудо как умна и нравственна. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 21, строки 16—17.

Вместо: она верх нравственного совершенства, — *в лит. ред.:* она верх совершенства,

Стр. 21, строка 18.

После слов: сделал предложение. — ***в лит. ред.:*** — Нет, как хотите, а мы живем по уши в таком омуте лжи, что если нас не треснет по голове, как меня, мы не можем опомниться.

Стр. 21, строки 21—22.

Вместо: не был бы женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. — ***в лит. ред.:*** не был бы женат уже раз десять прежде брака.

Стр. 21, строки 32—33.

Вместо: их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. — ***в лит. ред.:*** их не дают в руки девушкам.

Стр. 21, строки 33—36.

Вместо: Сначала притворяются перед девушками *кончая:* что этого распутства совсем нет. — ***в лит. ред.:*** Все перед девушками, а наконец и сами перед собой притворяются, что то, что наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, т. е. распутство, как удовольствие жизни, в котором все принимают участие, что этого нет.

Стр. 21, строки 36—38.

Вместо: Потом так приучаются к этому притворству, *кончая:* в нравственном мире. — ***в лит. ред.:*** И притворяются так старательно, что наконец сами начинают верить.

Стр. 22, строки 6—8.

Вместо: И отчего она не бросила!.. *кончая:* еще глоток чаю. — ***в лит. ред.:*** И какое бы это было счастье для нас! — Он помолчал.

Стр. 22—23.

Главе VI в лит. ред. соответствует вторая половина главы VI, *от слов:* — Нет, впрочем так лучше,

Стр. 22, строки 13—14.

Вместо: знают это прекрасно. — *в лит. ред.:* знают это.

Стр. 22, строка 37.

После слов: Ведь если откинуть только — *в лит. ред.:* те условные разъяснения, почему и для чего это делается, главное, откинуть

Стр. 23, строка 1.

После слов: на жизнь наших высших — *в лит. ред.:* да и низших

Стр. 23, строки 11—12.

Вместо: обтягивание выставленного зада, — *в лит. ред.:* обтягивание зада,

Стр. 23, строка 18.

Глава VII в лит. ред начинается после слов: Да, так вот меня эти джерси и локоны и нашлепки поймали.

Стр. 23, строки 23—27.

Вместо: Удивляйтесь, не удивляйтесь, *кончая:* как вон та барыня. — *в лит. ред.:* Мужчины нашего мира содержатся и кормятся, как случные жеребцы. Стоит ведь только придержать спасительный клапан, т. е. развратному молодому человеку пожить немного времени воздержанной жизнью, и тотчас же получится страшное беспокойство и возбуждение, которое, проходя через призму искусственных условий нашей общественной жизни, выражается влюблением. Все наши любви и браки, все большею частью обусловлены пищей. Вы удивляетесь? А надо удивляться, как мы не видим этого.

Стр. 23, строка 28.

Вместо: Да-с, около меня — *в лит. ред.:* Около меня

Стр. 23, строка 29.

Вместо: Обыкновенная пища малого из крестьян — *в лит. ред.:* Обыкновенную пищу малого из крестьян вы знаете:

Стр. 24, строки 1—2.

Вместо: которое, проходя через призму, *кончая:* иногда даже платоническим. — *в лит. ред.:* которое, если его перегнать через призму романов, повестей, стихов, музыки, через праздную, роскошную обстановку нашей жизни, — и будет влюбление самой чистой воды. Иногда даже платоническое влюбление.

Стр. 24, строки 4—7.

Вместо: любовь была произведением *кончая:* катаний на лодках, — *в лит. ред.:* любовь была устроена мамашей и портнихами. Не будь катаний на лодке,

Стр. 24, строки 9—13.

Вместо: а будь я, с другой стороны, *кончая:* ничего бы этого не было. — *в лит. ред.:* я бы не влюбился, и меня бы не поймали.

Стр. 24, строки 15—18.

Вместо: — Ну, а тут так подошло: *кончая:* так и устраиваются, как капканы. — *в лит. ред.:* — Заметьте еще лганье мира. Это то, каким образом устраиваются наши браки.

Стр. 24, строки 20—21.

Вместо: Так и делалось в старину. — *в лит. ред.:* Ан нет! Тут начинается новое лганье. В старину

Стр. 24, строка 21.

Вместо: родители устраивали брак. — в *лит. ред.:* ее родители, знающие больше жизнь, не увлекающиеся влюблением минутным, а вместе с тем любящие ее не меньше себя, часто родители устраивали брак.

Стр. 24, строки 31—33.

Вместо: и очень довольны, *кончая:* — хлоп, тут и есть! — *в лит. ред.:* И толкуем о правах женщин, о свободе, которая как то приобретается на курсах.

Стр. 24, строка 38 — стр. 25, строка 1.

Вместо: женщина или раба на базаре или привада в капкан. — ***в лит. ред.:*** женщина — раба на базаре, и так как она не может соглашаться быть рабой, не может и сама делать предложение, то вот и начинается эта еще другая и безобразнейшая ложь, которая иногда называется «выезжать в свет», иногда — «веселиться», которая есть не что иное, как ловление женихов.

Стр. 25, строки 11—12.

Слов: А на лодках!..» — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 25, строки 13—14.

Слов: — О, мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 25, строки 16—17.

Вместо: — Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — ***в лит. ред.:*** — Вы знаете, вдруг перебил он,

Стр. 25, строки 19—21.

Вместо: — Права, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — ***в лит. ред.:*** — Все плачутся на то, что они не имеют прав, что они задавлены.

— Это, это самое, — подхватил он.

Стр. 26, строки 13—14.

Вместо: бесполезные украшения, экипажи, мебель, игрушки на женщин. — ***в лит. ред.:*** бесполезные украшения на женщин.

Стр. 26, строки 21—22.

Вместо: что мужчина не может спокойно обращаться — ***в лит. ред.:*** что молодой человек, да и старый, не может спокойно обращаться

Стр. 26, строка 22.

После слов: спокойно обращаться с женщиной. — *в лит. ред.:* Посмотрите в праздник в народе и на наших вечерах и балах; женщина знает, как она действует, это вы можете видеть в ее торжествующей улыбке. И вот

Стр. 26, строки 22—23.

Вместо: Как только мужчина подошел — *в лит. ред.:* как только молодой человек подошел

Стр. 26, строки 24—25.

Вместо: разряженную даму в бальном платье, — *в лит. ред.:* разряженную женщину и бабу в красном платке с подкладными юбками и нашу даму в бальном платье;

Стр. 26, строка 30.

Слов: Да, вы смеетесь! — закричал он на меня, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 26, строки 35—36.

Вместо: которые допускаются для женщин в нашем обществе. — *в лит. ред.:* которые допускаются нашими женщинами.

Стр. 26, строки 38—40.

Слов: Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз! — *в лит. ред. нет.*

Стр. 27, строки 4—5

Вместо: представлял тоже верхом совершенства. — *в лит. ред.:* представлял таким же совершенным человеком.

Стр. 27, строки 35—36.

Вместо: — всё это только подробности, сопутствующие таинству. — *в лит. ред.:* всё это подробности дела, освященного

таинством.

Стр. 27, строки 37—38.

Вместо: который не только не верит *кончая:* некоторое обязательство, — *в лит. ред.:* который не то что верит в таинство (верить или не верить в это не важно), но не верит в то, что он обещает,

Стр. 28, строка 2.

Слов: при всяком удобном случае, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 28, строка 6.

Слов: выходит, что дело то всё только в этом. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 28, строка 8.

Вместо: обставляют эту продажу известными формальностями. — *в лит. ред.:* обставляют эту продажу самым приятным образом.

Стр. 28, строки 10—12

Вместо: и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он. — *в лит. ред.:* И если бы только знали молодые люди, мечтающие о медовом месяце, какое это разочарование! И всегда разочарование. Но почему-то все считают нужным скрывать это.

Стр. 28, строки 25—26.

Вместо: Неловко, стыдно, — *в лит. ред.:* Восторгов медового месяца нет никаких, а, напротив, неловко, стыдно,

Стр. 28, строки 27—29.

Вместо: что я испытывал, *кончая:* что мне очень приятно. — *в лит. ред.:* что испытывает юноша, когда приучается курить, когда его тянет рвать, и текут слюни, и он глотает их, делая вид, что ему очень приятно.

Стр. 28, строки 37—38.

Вместо: Да, совершенно не ... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. — ***в лит. ред.:*** И это убедился я, испорченный, развращенный человек. Что же бы было, если бы я не был развращенный человек? Для девушки, для всякой неразвращенной девушки это в высшей степени неестественно, точно для детей.

Стр. 29, строка 9.

После слов: всегда ненавидит это. — ***в лит. ред.:*** Девушка чистая желает одного — детей. Детей — да, но не мужа.

Стр. 29. строка 10.

Вместо: — Как же, — сказал я, — ***в лит. ред.:*** — Как же, — сказал я с удивлением,

Стр. 29, строка 12—стр. 31, строка 20.

Вместо: — Да, вот как бы не погиб род человеческий! *кончая:* а именно — и главное — к своей жене. — ***в лит. ред.:***

— Да зачем же ему продолжаться? — неожиданно возразил он.

— Как зачем? Иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— Зачем жить? Ведь Шопенгауеры, Гартманы, да и все Буддисты утверждают, что благо в том, чтобы не жить. И они правы в том, что благо человеческое совпадает с самоуничтожением. Только они не так выражаются: они говорят, что роду человеческому надо уничтожиться, чтобы избавиться от страданий, что цель его — самоуничтожение. Это неправда. Цель человечества не может быть избавление от страданий через самоуничтожение, потому что страдания есть последствия деятельности: цель деятельности не может состоять в уничтожении ее последствий. Цель как человека, так и человечества, — благо. Для достижения же блага человечеству дан закон, который оно должно исполнять. Закон же в единении людей. Мешают этому единению страсти. Из страстей самая

сильная и злая — половая, плотская любовь, и потому если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них — плотская любовь, то единение совершится, человечество исполнит свой закон, и ему незачем будет жить.

— Ну, а пока не исполнит?

— Ну вот и дан спасительный клапан. Признак неисполненного закона есть присутствие плотской любви. А как только есть плотская любовь, так вследствие именно ее и является новое поколение, в котором может осуществиться закон. Не осуществило и то, опять следующие — до тех пор, пока осуществится всё. Когда же осуществится, тогда вследствие этого самого осуществления и сам собою уничтожится род человеческий, по крайней мере мы не можем себе представить жизни или той жизни, которую мы знаем, при условии полного единения людей.

XII.

— Странная теория, сказал я.

— Что тут странного? По всем учениям церковным придет конец мира, по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое? «Могущие вместить — да вместят», сказал Христос. И я прямо понимаю это, как он сказал. Для того чтобы между людьми была нравственность в половом отношении, нужно, чтобы целью они себе ставили полное целомудрие. Стремясь к целомудрию, человек падает; падет, и будет брак нравственный; но если человек, как в нашем обществе, стремится уже прямо к плотской любви, то хотя бы он облек ее и в мнимо-нравственную форму брака, будет только разрешение на разврат с одной, будет всё-таки безнравственная жизнь, та, в которой я погиб и ее погубил и которая у нас называется нравственной семейной жизнью. Вы заметьте, какое у нас извращение понятий, когда самое счастливое положение для человека — свобода, безбрачие считается чем то жалким, смешным. Высший идеал,

лучшее положение женщины — быть чистой, весталкой, девственницей — есть страх и посмешище в нашем обществе. Сколько и сколько молодых девушек приносит в жертву свою чистоту этому Молоху мнения, выходя замуж за негодяев, только бы не остаться девой, т. е. высшим существом. Из страха, что она будет находиться в высшем положении, она губит себя.

Ну, я тогда не понимал этого, не понимал того, что слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно и главное — к своей жене. Я не понимал этого и думал, что этот медовый месяц и мои поступки в этот медовый месяц были самые прекрасные, что удовлетворить похоть с своей женой есть нечто вполне хорошее.

Стр. 31, строки 22—24.

Слов: — В нашем же мире *кончая:* воздержание уже не нужно. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 31, строки 24—25.

Вместо: Ведь эти отъезды после свадьбы, — ***в лит. ред.:*** Вы поймите, что ведь эти отъезды,

Стр. 31, строки 27—29.

Вместо: Но нравственный закон сам за себя отплачивает, *кончая:* ничего не выходило. — ***в лит. ред.:*** Я тогда не видел в этом ничего дурного или стыдного и, ожидая себе великих радостей, стал проводить медовый месяц. И, разумеется, ничего не выходило.

Стр. 31, строка 29.

После слов: ничего не выходило. — ***в лит. ред.:*** Но я верил в медовый месяц и во что бы то ни стало старался устроить его себе. Но чем больше я усиливался, тем меньше выходило.

Стр. 32, строка 1.

Вместо: промолчав о матери. — ***в лит. ред.:*** промолчав о родителях.

Стр. 32, строка 2.

Вместо: а мать была только отговорка. — ***в лит. ред.:*** а родители была только отговорка.

Стр. 32, строки 2—6.

Вместо: Но она тотчас же обиделась *кончая:* выразилось раздражение, — ***в лит. ред.:*** Она не слушала меня, тогда я упрекнул ее в капризе и что-то подтрунил над ее печалью, и вдруг слезы исчезли,

Стр. 32, строки 8—9.

Вместо: Всё лицо ее выражало полнейшую холодность, *кончая:* увидав это. — ***в лит. ред.:*** Всё лицо ее выражало одну злобу, и злоба эта была направлена на меня. Не могу передать того ужаса, который я испытал, увидав это.

Стр. 32, строка 10.

Вместо: вместо этого вот что! — ***в лит. ред.:*** вместо этого ненависть ко мне! Ко мне? Что это такое? за что?

Стр. 32, строка 22.

После слов: один через другого, — ***в лит. ред.:*** два друг другом хотящие воспользоваться люди.

Стр. 32, строки 22—26.

Вместо: Я называл ссорой то, *кончая:* враждебное отношение — ***в лит. ред.:*** То, что я называл ссорой, было наше действительное отношение друг к другу, обнаруживавшееся при прекращении чувственности. Я тогда не понимал, что это холодное и враждебное отношение

Стр. 32, строка 33.

Вместо: наступил опять период — ***в лит. ред.:*** наступил еще период

Стр. 32, строка 34.

Вместо: произошла опять ссора. — *в лит. ред.:* произошла вторая ссора.

Стр. 32, строки 34—35.

Вместо: Вторая ссора эта поразила — *в лит. ред.:* Вторая ссора поразила

Стр. 32, строка 36.

После слов: не была случайностью, — *в лит. ред.:* ошибкой,

Стр. 33, строки 8—9,

Вместо: поразившую меня жестокую, холодную враждебность. — *в лит. ред.:* поразившую меня ненависть.

Стр. 33, строка 14.

Вместо: что это не случайность, — *в лит. ред.:* что это не ошибка,

Стр. 33, строки 15—20.

Вместо: и я ужаснулся тому, *кончая:* так же, как я, думают, — *в лит. ред.:* я уже не ужасался, а только удивлялся одному — почему я именно, я один только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, почему этого нет между другими супругами? Я не знал еще тогда, что со всеми супружествами то же самое, но что все, так же как и я, думают,

Стр. 33, строки 22—23.

После слов: сами себе не признаются в этом, — *в лит. ред.:* Так было и со мной.

Стр. 33, строка 35.

После слов: достаточных поводов. — *в лит. ред.:* Как это бывает у весело смеющейся молодежи, не успевающей придумывать смешное, чтобы смеяться, и смеющейся своему смеху, так мы не успевали придумывать повода для своей

ненависти и ненавидели друг друга просто оттого, что в душе была ненависть друг к другу.

Стр. 33, строки 37—38.

Вместо: ох! гадко и теперь вспомнить — ***в лит. ред.:*** всегда с ужасом вспоминаю

Стр. 34, строки 2—6.

Вместо: Взошли два пассажира *кончая:* — Ведь что главное погано, — начал он, — ***в лит. ред.:*** — Все, все, и мужчины и женщины, все мы воспитаны в каком то благоговении к тому чувству, которое у нас принято называть любовью. Я с детства готовился влюбляться и влюблялся и всю молодость влюблялся и радовался, что влюблен. Мне было внушено, что это самое благородное и возвышенное в мире занятие — быть влюбленным. Ну, вот наконец приходит это ожидаемое чувство, человек отдается ему. Но тут и обман:

Стр. 34, строки 6—7.

Вместо: предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, — ***в лит. ред.:*** предполагается в теории любовь идеальная, возвышенная,

Стр. 34, строка 12.

После слов: что мерзкое и стыдное — прекрасно и возвышенно. — ***в лит. ред.:*** Буду грубо, коротко говорить.

Стр. 24, строка 28.

Слов: На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 34, строка 30.

Вместо: а гораздо раньше. — ***в лит. ред.:*** а гораздо прежде.

Стр. 34, строка 32—стр. 35, строка 16.

Вместо: — Да чем же? — спросил я. *кончая:* И сил не может хватить. — *в лит. ред.:* Вы поймите, в нашем мире существует разделяемый всеми взгляд на то, что женщина дает мужчине наслаждение (и обратно, вероятно, но я этого не знаю, я свое знаю), Wein, Weiber und Gesang, и так в стихах поэты говорят. Женщина с вином и песнями. Да что! возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с ножек Пушкина и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения: она такова на Трубе, на Грачевке и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, гадость, так так бы и знать, что гадость, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяют, что они боготворят женщину (боготворят, а всё-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь же уверяют, что уважают женщину, одни уступают ей место, поднимают ей платки, другие признают ее права на занимание всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это всё делают, а взгляд на нее всё тот же. Она — орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Всё равно, как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не желали пользоваться трудами других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут, отменят внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других, и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она всё такая же приниженная, развращенная раба, а мужчина всё такой же развращенный рабовладелец. Да, как для уничтожения рабства нужно, чтобы

общественное мнение считало бы позором пользование трудами других людей для своего удовольствия, так и для освобождения женщины нужно, чтобы общественное мнение считало позорным воззрение на женщину как на орудие наслаждения. Эмансипация женщины — не на курсах и не в палатах, а в спальне. Да, борьба с проституцией не в домах терпимости, а в семьях. Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя — и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев докторов предупреждать зарождение плода, т. е. будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, — больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть без возможности духовного развития.

— Да отчего же? — спросил я.

— Вот это то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедывать доктора, но про что они молчат. Мужчина хочет наслаждаться и знать не хочет закона природы — детей, но дети являются и становятся препятствием для постоянного наслаждения, и желающему только наслаждаться мужчине приходится выдумывать средство обходить это препятствие. И вот придумали три обхода. Один — по рецепту мерзавцев — сделать жену уродом, тем, что всегда составляло и должно составлять несчастие женщины — бесплодной; тогда он может спокойно и постоянно наслаждаться; другой — многоженство, не честное, как магометанское, а подлое, наше европейское, исполненное лжи и обмана; третий обход — даже не обход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, которое совершают все мужья в народе и большинство мужей в так называемых честных семьях. Так жил и я. Мы не дошли ни до Европы, до Парижа, до «Zwei Kinder-System»[3], ни до Магомета и своего ничего не придумали, потому что вовсе и не думали об этом. Чуем, что что-то скверное и в том и в другом, и хотим

иметь семью, но дикий взгляд на женщину тот же, и потому выходит еще хуже.

Женщина должна быть у нас и беременной и любовницей, и кормилицей и любовницей. А сил не может хватить.

Этот текст лит. ред. часто буквально или почти буквально покрывается текстом, входящим в главы XIII и XIV окончательного печатного текста.

Стр. 35, строка 18.

Вместо: у девушек, у чистых, нет кликушества, — *в лит. ред.:* у девок нет кликушества,

Стр. 35, строки 19—22.

Вместо: Так у нас. *кончая:* полон мир. — *в лит. ред.: Я*сно отчего, и вот от этого упадок духовный и нравственный женщины и ее принижение.

Стр. 35, строки 23—24.

Вместо: когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. — *в лит. ред.:* когда она носит или кормит.

Стр. 36, строки 4—5.

Вместо: развенчаются эти волхвы — *в лит. ред.:* развенчаются эти мерзавцы

Стр. 36, строки 20—22.

Слов: Да-с, да-с, — повторил он *кончая:* желая несколько успокоиться. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 36, строка 24—25.

Вместо: — Вот такой-то свиньей я и жил, — продолжал он опять прежним тоном. — Хуже же всего было то, — *в лит. ред.:* — Да, много хуже животного человек, если он живет не по-человечески. И таким я был. Что же было всего хуже, это то,

Стр. 36, строка 27.

Вместо: что поэтому я живу — ***в лит. ред.:*** что я живу

Стр. 36, строка 35—стр. 38, строка 20.

Вместо: Толкуют о каком-то новом женском образовании, *кончая:* Так это было и будет. — ***в лит. ред.:*** Как часто приходится слышать и читать суждения о неправильности женского воспитания и о том, как следует изменить его. Но всё это пустые слова. Воспитание женщины вытекает из истинного, а не притворного взгляда людей на призвание женщины. По существующему в нашем обществе взгляду — призвание женщины, главное, в том, чтобы давать наслаждение мужчине, и такое и дается ей воспитание. Смолоду она обучается только тому, чем она может увеличить свою привлекательность. И всякая девушка приучается думать только об этом. Как крепостные были воспитываемы так, чтобы уметь угождать господам, и это не могло быть иначе, так и все они, наши женщины, воспитываемы так, чтобы уметь привлекать к себе мужчин, и это не может быть иначе. Но вы скажете, может быть, что это касается только дурно воспитанных девушек, то, что у нас принято презрительно называть барышней, и что есть другое, серьезное воспитание — гимназия — даже классическая, акушерство, медицинские и высшие курсы. Это неправда. Всякие, какие бы то ни были женские воспитания имеют в виду только пленение мужчин. Одни пленяют музыкой и локонами, а другие ученостью и гражданской доблестью. Цель-то одна и не может быть не одна, потому что другой нет, цель — прельстить мужчину, чтобы овладеть им. Можете вы себе представить женские курсы и ученость женскую без мужчин, т. е. что они будут учены, но мужчины не будут знать про это? Я не могу. Никакое воспитание, никакое образование не может изменить это до тех пор, пока высший идеал женщины будет брак, а не девство и свобода от чувственности. До тех пор она будет рабой.

Ведь стоит подумать только, забыв про их всеобщность, те условия, в которых воспитывается наша барышня, чтобы не то что удивляться тому разврату, который царствует среди женщин наших обеспеченных классов, но чтобы удивляться обратному,

как еще так мало этого разврата. Ведь вы подумайте только: с раннего детства наряды, украшение себя, чистота, грация, танцы, музыка, чтение стихов, романов, пение, театры, концерты в наружном и внутреннем употреблении, т. е. слушают или сами играют. При этом полнейшая физическая праздность и холя для тела и самая сладкая и жирная пища. Ведь мы только не знаем этого, потому что всё это шито и крыто, что переживают эти несчастные девушки от возбуждения чувственности, из 10—9 мучаются и страдают невыносимо в период первой зрелости и потом, если за 20 лет не выходят замуж. Ведь это мы только хотим не видать, но у кого глаза есть, тот видит, что большинство этих несчастных так возбуждены этой скрытой (хорошо, как еще скрытой) чувственностью, что они ничего не могут делать, они оживляются только в присутствии мужчин. Вся жизнь их проходит в приготовлениях к кокетству и в кокетстве. При мужчинах они оживляются через край, начинают жить чувственною энергией, но стоит уйти мужчине — и вся энергия падает, и жизнь кончается. И это не то, что известный мужчина, а всякий. Только бы они не были совсем отвратительны. Вы скажете: это исключение. Нет, это правило. Только в одних девушках это проявляется сильнее, в других — слабее, но все они не живут вполне своею жизнью, а только в зависимости от мужчин. Пока же этого нет, все они одинаковы и не могут не быть одинаковыми, потому что для всех их привлечение к себе как можно больше мужчин есть высший идеал как их девичьей, так и замужней жизни. И от этого у них нет чувства сильнее этого женского не скажу тщеславия, но животной потребности всякой самки привлекать к себе как можно больше самцов с тем, чтобы иметь возможность выбора.

Стр. 38, строки 20—21.

Вместо: Так это в девичьей жизни в нашем мире, — ***в лит. ред.:*** Так это в девичьей жизни,

Стр. 38, строка 24.

Вместо: подавляет на время это, — ***в лит. ред.:*** подавляет на время это стремление —

Стр. 38, строка 37.
Вместо: в это самое время — *в лит. ред.:* в это время

Стр. 38, строка 39.
Вместо: это женское кокетство. — *в лит. ред.:* это самое женское кокетство.

Стр. 38, строка 40—стр. 39, строка 3.
Вместо: которые не переставая терзали *кончая:* т. е. безнравственно. — *в лит. ред.:* которые я испытывал и прежде, но только в гораздо меньшей степени.

Стр. 39.
Глава XV в лит. ред. начинается со следующего текста отсутствующего в окончательной редакции:

XV.

— Да, ревность — это еще один из всем известных и от всех скрываемых секретов супружества. Кроме общей причины ненависти друг к другу супругов, заключающейся в соучастии осквернения человеческого существа, и еще других причин, источник постоянной грызни супругов между собой есть еще взаимная ревность. Но по взаимному соглашению решено скрывать это от всех, и так и скрывается. Зная это, каждый про себя предполагает, что это только его несчастная особенность, но не общий удел. Так было и со мной. Оно так и должно быть. Ревность не может не быть между супругами, безнравственно живущими между собой. Если они оба не могут пожертвовать своим удовольствием для блага своего ребенка, то оба справедливо заключают, что они никак не пожертвуют своим удовольствием для — не скажу — блага или спокойствия (потому что можно грешить так, что не узнают), а только для добросовестности. Каждый хорошо знает про другого, что

сильных нравственных препятствий для измены нет ни у того ни у другого, знают это потому, что друг с другом нарушают нравственные требования, и потому они не верят друг другу и караулят друг друга.

Ох, какое это ужасное чувство — ревность! Я не говорю о той настоящей ревности, которая имеет хоть какое-нибудь основание: эта ревность настоящая мучительна, но она имеет и обещает исход; но я говорю о той бессознательной ревности, которая неизбежно сопутствует всякому безнравственному супружеству и которая, не имея причины, не имеет и конца. То — нарыв зубной, а это — один зуб болит своей костяной неподвижной болью день, ночь и опять день, ночь, и так без конца. Ревность эта ужасна, именно ужасна. Ревность это такая: молодой мужчина говорит с женой, улыбаясь смотрит на нее и, как мне кажется, оглядывает ее тело. Как он смеет думать про нее, думать про возможность романа с ней! И как она, видя это, может переносить это? Но она не только переносит, она, видимо, очень довольна. Даже я вижу, что она для него делает то, что она делает. И в душе поднимается такая ненависть к ней, что всякое слово, всякий жест ее — противен. Она замечает это и не знает, что ей делать, и начинает делать вид равнодушного оживления. А! я страдаю, а ей это-то и весело, она очень довольна! И ненависть удесятеряется, но не смеешь дать ей хода, потому что в глубине души знаешь, что настоящих поводов нет. И сидишь, притворяешься равнодушным, напускаешь на себя особенное внимание и учтивость к нему. Потом сам на себя сердишься и хочешь выдти из комнаты и оставить их одних и, действительно, выходишь. Но стоит выдти, и тебя охватывает ужас о том, чтò там без тебя делается. Входишь опять, придумывая предлог, а иногда не входишь, а останавливаешься у двери и подслушиваешь. Как она может так унижать себя и меня, ставя — кого же? — меня в такое подлое положение подозренья, подслушиванья! О мерзкая! О животное гадкое! А онъ, онъ! Онъ что ж? Он то, что все мужчины, что был я, когда не был женат. Ему это удовольствие. Он даже улыбается, глядя на меня, как будто говорит: «что же делать! теперь мой черед». Ужасно это чувство! Ядовитость этого чувства ужасна: стоило

мне излить это чувство хоть раз на какого-нибудь человека, стоило раз заподозрить человека в замыслах на мою жену, и уже навеки этот человек был для меня испорчен, точно серной кислотой облит. Стоило мне хоть раз приревновать человека, и уже никогда я не мог восстановить к нему простых человеческих отношений. Навеки уж у меня с ним бегают мальчики в глазах, когда мы глядим друг на друга.

Жену же, которую я много и много раз обливал этой серной кислотой, этой ревнивой ненавистью, я уже всю изуродовал. В период этой моей безосновательной ревности к ней я всю ее развенчал, испозорив в моем воображении. Я придумывал все самые невозможные плутни с ее стороны. Я подозревал ее в том, что, совестно сказать, что она, как эта царица «Тысячи и одной ночи», изменяет мне с рабом почти на моих глазах, смеясь надо мною. Так что во всякий новый прилив ревности (я все говорю о безосновательной ревности) я впадал в прорытую уже прежде колею грязных подозрений о ней и все глубже и глубже прорывал эту колею. То же делала и она. Если я имел основания ревновать, то она, зная мое прошедшее, имела их в 100 раз больше. И она еще хуже ревновала меня. И страдания, испытываемые мною от ее ревности, были совсем другие и тоже очень, очень тяжелые. Это выражалось так: живем мы более или менее спокойно, я даже весел, доволен, вдруг начинается разговор о самом обыкновенном, и вдруг она не соглашается с тем, с чем всегда, бывало, соглашалась. Мало того, я вижу, она без всякой надобности раздражается. Думаю, что она не в духе или, точно, ей неприятно то, о чем говорим. Но начинается разговор о другом, и опять то же, опять цепляет, и опять раздражение. Я удивляюсь, ищу: что? отчего? Она молчит, отвечает односложно или говорит, очевидно намекая на что-то. Я начинаю догадываться, что причина та, что я прошел по саду с ее кузиной, о которой я и думать не думал, или что-нибудь подобное. Я начинаю догадываться, но сказать это нельзя. Тем, что я скажу, я подтвержу ее подозрения. Я начинаю допытываться, спрашивать. Она не отвечает, а догадывается, что я понимаю, и еще более утверждается в своих подозрениях.

— Что с тобой? — говорю я.

— Ничего. Я такая же, как всегда, — говорит она, а сама, как сумасшедшая, говорит бессмысленные, ничем необъяснимые злые вещи.

Терпишь иногда, но иногда прорвется, раздражишься, и тогда прорывается и ее раздражение, и выливается поток ругательств и какое-нибудь уличение тебя в воображаемом преступлении. И всё это доведенное до самой превосходной степени, с рыданиями, слезами, беганьем из дому в самые необычные места. Начинаешь искать. Совестно перед людьми, детьми, но делать нечего. Она в таком состоянии, что ты чувствуешь — она на всё готова. Бегаешь за ней, отыскиваешь. Проходят мучительные ночи. И оба с истерзанными нервами наконец, после самых жестоких слов и обвинений, наконец затихаем.

Стр. 39, строки 5—6.

Вместо: — Я во всё время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. — *в лит. ред.:* — Да-с, ревность, безосновательная ревность — это условие нашей развращенной брачной жизни, и я всё время моей женитьбы никогда не переставал испытывать ее и мучаться ей.

Стр. 39, строки 7—9.

Вместо: И один из таких периодов *кончая:* Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, — *в лит. ред.:* Это было два периода: один — это был после первого ребенка, когда доктора не велели кормить, а кормила кормилица, я особенно ревновал, во-первых, потому,

Стр. 39, строка 12.

Вместо: во-вторых, потому, что — *в лит. ред.:* главное же потому, что

Стр. 39, строка 19.

Вместо: особенно злое выражение голоса — *в лит. ред.:* особенно злое выражение лица и голоса

Стр. 39, строка 31.

Вместо: не может разродиться, — ***в лит. ред.:*** не может родить,

Стр. 40, строки 11—12.

Вместо: Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей, — ***в лит. ред.:*** Я говорил про то, что она прекрасно кормила детей,

Стр. 40, строки 12—15.

Вместо: и что это ношение и кормление детей *кончая:* она кормила сама. — ***в лит. ред.:*** и что это кормление и ношение детей, вообще дети умеряли мои муки ревности, но зато вызывали другого рода мучения.

Стр. 40, строки 16—36.

Слов: — Где же они теперь, ваши дети? *кончая:* я и то благодарен. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 40, строка 38 — стр. 43, строка 33.

Вместо: — Вот вы напомнили про детей. *кончая:* Жена была чадолюбива и легковерна. — ***в лит. ред.:***

Дети пошли скоро один за другим, и пошло всё то, что бывает в нашем мире с детьми и с докторами. Да-с, дети, материнская любовь к детям — это тоже мудреная вещь. Дети для женщины нашего мира — не радость, не гордость, не исполнение призвания, а страх, тревога, неперестающее страдание, казнь; они прямо так и говорят, так и думают, так и чувствуют. И дети для них точно мучение, не потому, что они не хотят рожать, кормить и ходить за ними, — они, женщины с сильным материнским инстинктом, к которым и принадлежала моя жена, готовы на это, — но потому, что дети могут болеть и умирать. Они не хотят рожать для того, чтобы не полюбить, а полюбив, не бояться за здоровье и жизнь ребенка. Для этого же они не хотят кормить. «Если буду кормить, — говорят они, — я слишком полюблю его, а что как он умрет?» Оказывается, что им бы лучше было, если бы дети были гуттаперчевые, такие, которые не могли бы болеть и умирать, а такие, которых бы

всегда можно было починить. Ведь что за путаница в головах и в сердцах этих несчастных! Ведь для чего делают мерзости, чтобы не рожать? Для того, чтобы не полюбить. Любовь, самое радостное состояние души, представляется опасностью. А отчего это? Оттого, что когда человек не живет по человечески, то ему много хуже животного. Ведь женщина наша не умеет смотреть на ребенка иначе, как только на удовольствие. Больно, правда, рожать, но зато ручки.... Ах, ручки! Ах, ножки!.. Ах, улыбается! Ах, всё тельце! Ах и чмокает, икает! Одним словом, животное материнское чувство — чувственность. Мысли же о том таинственном значении появления нового человеческого существа, которое заменит нас, нет никакой. Нет того, что при крещении говорят и делают над ребенком. Ведь никто не верит в это, а между тем ведь это было не что иное, как напоминание о человеческом значении младенца. Это бросили, не верят, а ничем не заменили, и остались одни ленточки, кружева, ручки, ножки. Осталось то, что есть у животного. Но дело в том, что у животного нет воображения, нет предвидения, нет размышления, нет докторов, да, опять докторов. У курицы, у коровы — зачичкался цыпленок, теленок издохнет, она поквокчет, помычит и живет дальше. А у нас заболеет ребенок — что такое? как лечить? где лечить? какого выписывать доктора? куда ехать? Ну, а если помер — где-же ножки, ручки? зачем всё это было? зачем эти мученья? Корова не спрашивает этого, и вот от этого дети — мученье. У коровы нет воображенья, и потому она не может думать того, как бы она могла спасти ребенка, если бы сделала то-то и то-то, и поэтому ее горе, сливающееся с физическим состоянием и продолжающееся определенно короткое время, есть состояние, а не горе, которое раздувается при праздности и сытости до отчаяния. У нее нет рассудка, который бы спрашивал, зачем это? Зачем перенесены были все страдания, зачем вся моя любовь, если они должны умереть? Нет рассуждения, которое говорило-бы, что впредь и не нужно рожать, а если родишь нечаянно, не нужно кормить и вообще не нужно любить, а то хуже. А так именно рассуждают наши женщины. И выходит, что когда человек не живет, как человек, то ему хуже животного.

— Да как же надо, по вашему, по человечески обращаться с детьми? — спросил я.

— Как? Любить их человечески.

— Ну, что же? Разве матери не любят своих детей?

— Не любят по-человечески, почти никогда не любят и поэтому любят даже не по-собачьи. Ведь вы заметьте: курица, гусыня, волчица — всегда будут для женщины недосягаемыми образцами животной любви. Редкая женщина бросится с опасностью жизни на слона отбивать у него своего ребенка, но ни одна курица, ни одна воробьиха даже не преминет броситься на собаку, и всякая отдает всю себя за детей, тогда как женщина редкая это сделает. Вы заметьте: женщине — человеку дана возможность воздержаться от физической любви к детям, чего не дано животному. Что же, разве это оттого, что женщина ниже животного? Нет, оттого, что она — выше (да и выше неправильно: не выше, а женщина — другое существо), у нее другие обязанности — человеческие, она может воздержаться от животной любви, перенеся эту любовь на душу ребенка. Это-то и свойственно женщине-человеку, и этого-то никогда нет в нашем мире. Мы читаем про героинь-матерей, жертвовавших детьми во имя чего-то высшего, и нам кажется, что это только сказки из древнего мира, которые до нас не касаются. А между тем я думаю, что если у матери нет того, во имя чего она может пожертвовать животными чувствами к своему ребенку, если она эту духовную силу, не находящую приложения, перенесет на попытки делать невозможное, физически сохранить своего ребенка, в чем ей будут помогать доктора, то ей будет много хуже, и она будет страдать, как она страдает. Так было с моей женой. Один ли был ребенок или их было пятеро — это было всё равно. Даже лучше немножко, когда их стало пятеро. Вся жизнь была постоянно отравлена страхом за детей, действительными или воображаемыми болезнями детей и даже самым присутствием детей. Я по крайней мере всё время всей моей женатой жизни постоянно чувствовал, что жизнь моя со всеми моими интересами всегда висит на волоске и зависит от здоровья детей, состояния детей, от учения детей. Дети — важное дело, что говорить, но ведь надо всем жить! В наше же

время большим уже жить нельзя. Правильной жизни для больших нет: вся жизнь семейная теперь всякую секунду висит на волоске, и жизни семейной, жизни супругов — нет. Какое бы у вас ни было для вас важное дело, если вы вдруг получаете известие, что Васю рвет или Лиза сходила кровью, всё мгновенно должно быть брошено, забыто, превращено в ничто. Всё ничтожно.... Важны только доктора, клестир, температура. Не говоря уже о том, что никогда вы не начнете разговора, чтобы в самом интересном месте не прибежал Петя, с озабоченным видом спрашивая, можно ли есть яблоко или какую надевать курточку, или не пришла няня с ревущим ребенком. Правильной, твердой семейной жизни нет. Как вы живете, где живете, а потому и чем занимаетесь, всё это зависит от здоровья детей, а здоровье детей ни от кого не зависит, а благодаря докторам, которые говорят, что они могут помогать здоровью, ваша жизнь вся, всякую минуту может быть вся нарушена. Нет жизни. Это какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступающая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасение, постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоющейся о детях для того, чтобы победить меня, так это заманчиво просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось тогда, что всё, что она делала и говорила тогда, она говорила на мой счет, но теперь я вижу, что сама она, моя жена, мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. Но кроме того, дети для нее были еще и средством забыться — пьянством. Часто я замечал, когда ей очень бывало тоскливо, ей легче становилось, когда заболевал ребенок, и она могла уйти в это опьянение. Но опьянение было невольное. Ведь другого ничего не было. И со всех сторон внушалось, что вот у Екат. Сем. умерло двое, а у М. Н. доктор такой-то спас, а у тех сейчас разъехались по гостиницам и тоже спасли. Разумеется, доктора с значительным видом подтверждали всё это, поддерживали ее в этом. И она рада бы не бояться, но доктор сказал какое-нибудь словечко — заражение крови, скарлатина, а помилуй Бог, дифтерит, и всё пропало. И нельзя

ведь иначе. Ведь если бы у них была, как в старину у женщин, вера, что Бог дал, Бог и взял, что ангельская душа к Богу идет, что ему, умершему ребенку, лучше умереть невинному, чем умереть в грехах и т. п., чему ведь верили же люди; если бы у них было что-нибудь подобное этой вере, то они могли бы переносить спокойнее болезни детей, а то ведь этого нет ничего, следа нет. Веры в это нет. А вера должна быть во что-нибудь, и вот они верят, нелепо верят в медицину, и не в медицину, а в докторов, — одна в И. И., другая в П. И. и, как верующие, не видят нелепости своей веры, верят quia absurdum.[4] Ведь в самом деле, если бы они не верили бессмысленно, ведь видна же бы им была нелепость того, всего того, что предписывают эти разбойники. Скарлатина — заразительная болезнь, для этого надо в большом городе переезжать из своего дома в гостиницу половине семьи (мы так два раза переезжали). Но ведь всякий человек в городе — это центр проходящих через него бесчисленных диаметров, несущих нити всякой заразы, и преграды нет никакой: хлебник, портной, извозчик, прачки. Так что я берусь для каждого переехавшего из своего дома от известной ему заразы в другое место — в этом другом месте найти столь же близкую другую или ту же заразу. Но этого мало. Все знают богачей, после дифтерита в доме истребляющих всё и во вновь отделанных домах заболевающих, и все знают десятки людей, вместе с больными не заражающихся. Ну, да всё, ведь стоит только послушать. Одна говорит другой, что ее доктор хороший. Другая отвечает: «Помилуйте, он уморил того-то и того-то». И наоборот. Ну, приведите к барыне уездного доктора, она не поверит ему; привезите в карете такого, который точно то же знает, по таким же книгам и опытам лечит и скажет, что ему надо заплатить 100 рублей, — она поверит.

Всё дело в том, что наши женщины — дикие. Нет у них веры в Бога, и потому одни верят в порчу, которую напускают злые люди, а другие — в доктора И. И. за то, что берет дорого за визиты. Кабы была у них вера, так они бы знали, что скарлатины и т. п. совсем не так страшны, потому что от них не может нарушиться то, что может и должен любить человек — душа, а может произойти то, чего никто из нас не может избежать —

болезни и смерть. А то как нет веры в Бога, они и любят только физически, и вся энергия их направлена на то, чтобы сохранить жизнь, то, чего нельзя и что только доктора уверяют дураков и в особенности дур, что они могут спасти. — Ну, и надо их звать.

Стр. 43, строки 34—36.

Вместо: Так что присутствие детей *кончая:* повод к раздору. — *в лит. ред.:* Так что присутствие детей не только не улучшало наших отношений, не соединяло, а, напротив, еще больше разъединяло нас.

Стр. 43, строки 37—39.

Вместо: дети были *кончая:* орудием борьбы; — *в лит. ред.:* дети были орудием борьбы;

Стр. 44, строка 10.

Вместо: — Ну-с, так и жили. — *в лит. ред.:* — Жили сначала в деревне, потом в городе. *и далее отсутствующее в окончательном тексте:* И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался, но чувствовал, что что-то не ладно. Чувствовал я, главное, то, что я — мужчина, который по моим понятиям должен был властвовать, что я попал, как говорят, под башмак и никак не могу из-под него выскочить. Главное, что держало меня под этим башмаком, — это были дети. Я хотел подняться, утвердить свою власть, но никак не выходило. У нее были дети и, опираясь на них, она властвовала. Я не понимал тогда того, что ей нельзя было не властвовать, главное потому, что она, выходя замуж, нравственно была несравненно выше меня, как и всегда всякая девушка несравненно выше мужчины, потому что несравненно чище его. Вы заметьте удивительную вещь: женщина наша, средняя женщина нашего круга — большею частью очень плохое существо, без нравственных основ, эгоистка, болтунья, самодурка, но девушка, рядовая девушка, молодая девушка до

20-ти лет — большею частью прелестное существо, готовое на всё самое прекрасное и высокое. Отчего это? Ясно, что это оттого, что мужья развращают, нравственно принижают своих жен до своего уровня. В самом деле, если мальчики и девочки родятся одинаково, то всё-таки преимущество девушек огромно. Во-первых, девушка не подвергается тем развращающим условиям, которым подвергаемся мы: у нее нет ни курения, ни вина, ни карт, ни учебных заведений, ни товарищества, ни службы, а во-вторых, и главное, — она плотски чиста. И потому девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа. Она выше мужчины и девушкой и становясь женщиной в нашем быту, где для мужчин нет необходимости непосредственного добывания пропитания, становится большею частью и выше его по важности того дела, которое она делает, когда начинает рожать и кормить. Женщина, рожая и кормя, ясно видит, что дело ее более важно, чем дело мужчины, заседающего в земском собрании, в суде, в Сенате. Она знает, что во всех этих делах важно одно — получить за это деньги. Деньги же получить можно различными другими способами, и потому самое дело не есть несомненно необходимое, как кормление ребенка. Так что женщина непременно выше мужчины и должна властвовать над ним. Мужчина же нашего круга не только не признает этого, но, напротив, всегда смотрит на женщину с высоты своего величия, презирая ее деятельность.

Так моя жена презирала меня с моей земской деятельностью на основании того, что она рожает и кормит детей. Я же, поддерживаемый установившимися взглядами мужчин, я считал, что бабья возня: пеленки, сиськи, соски, соски, как я это шутливо называл, — есть деятельность самая презренная, над которой можно и должно подтрунивать. «Бабы там знают, как управиться». Так что кроме всех других причин, нас еще разделяло взаимное презрение.

Стр. 44, строки 16—24.

Вместо: что понять друг друга, *кончая:* был всегда свят перед нею. — *в лит. ред.:* что общения духовного нет и не может быть, и не делалось уже попыток. О самых простых

вещах мы оставались неизменно каждый при своем мнении, не пытались даже убедить друг друга. С самыми посторонними лицами и я и она — мы говорили о разнообразных и задушевных предметах, но не между собой. Иногда, слушая, как она при мне говорила с другими, я говорил себе: «какова! и всё лжет!» И я удивлялся, как собеседник ее не видел, что она лжет.

Стр. 44, строка 30.

После слов: чтобы вспыхнуло раздражение. — ***в лит. ред.:*** Присутствие 3-го лица облегчало нас. Через 3-ье лицо мы еще кое-как общались. Она считала себя всегда совершенно, вероятно, правой передо мной, а уж я для себя был всегда свят перед нею в своих глазах.

Периоды того, что мы называли любовью, приходили так же часто, как и прежде, но они были грубее, голее, без всякого прикрытия. Но периоды эти были непродолжительны и тотчас сменялись периодами злобы без всякой причины, злобы, питаемой самыми непонятными предлогами.

Стр. 44, строка 38.

Вместо: возникали во мне — ***в лит. ред.:*** возникали

Стр. 45, строка 12.

Вместо: здоровьем детей. — ***в лит. ред.:*** и — главное — здоровьем детей.

Стр. 45, строки 12—18.

Вместо: У меня же было свое пьянство — *кончая:* не спала с ребенком». — ***в лит. ред.:*** Всё это были занятия, не вытекающие из прямой потребности, а относилась она к ним всегда так, что как будто жизнь ее и детей зависит от того, что пирожки к супу не будут подожжены, что не будет повешена гардина, окончено платье, выучен урок и принято какое-то лекарство. Мне ясно было, что всё это было для нее — главное — средством забвения — пьянством, таким, каким для меня было пьянство службы, охоты, карт; правда, у меня было кроме этого в прямом смысле пьянство: табаком, которого я выкуривал пропасть, и вином, которым я не напивался, но которого я

выпивал — перед едой водку, да за едою стакана два вина, так что постоянный туман застилал от нас неладность нашей жизни.

Эти новые теории гипнотизма, душевных болезней, истеричности — всё это не простая, а вредная, гадкая глупость. Про жену мою Шарко непременно бы сказал, что она была истерична, а про меня сказал бы, что я не нормален и, пожалуй, стал бы лечить. А лечить тут нечего было. Вся эта душевная болезнь наша происходила оттого, что мы жили безнравственно. От безнравственной жизни нам было больно, а чтобы заглушить эту боль, мы и делали различного рода ненормальные поступки, то самое, что эти доктора называют признаками душевной болезни, истеричностью. Лечение этих болезней не у Шарко, не у них. Никакими внушениями и бромами этого вылечить нельзя, а надо ясно увидать, отчего боль, — всё равно, как на гвоздь сел: увидишь гвоздь, увидишь, что неправильно в твоей жизни, и перестанешь делать, прекратится боль, и нечего будет заглушать. От неправильности нашей жизни была боль: и мои муки ревности, моя раздражительность, моя потребность поддерживания себя охотой, картами и — главное — вином и табаком в постоянном состоянии опьянения. От этой же неправильности было: ее страстность отношения ко всем занятиям, ее переменчивость настроения — то мрачность, то странная веселость, ее болтливость — всё это вытекало из потребности постоянного отвлечения внимания от себя самой, от своей жизни: постоянное опьянение какими-нибудь делами, которые всегда бывали к спеху.

Стр. 45, строки 20—24.

Слова: И если бы не случилось того, что случилось, *кончая:* в которой я барахтался. — *в лит. ред. находятся в начале XVII главы*, *после слов:* Жили сначала в деревне, потом в городе.

Стр. 45, строка 25.

Вместо: А мы были — *в лит. ред.:* Мы были

Стр. 45, строки 33—34.

После слов: И вот является потребность переезда в город. — *в лит. ред.:* Так и с нами случилось, и мы переехали в город.

Стр. 45, строка 36 — стр. 46, строка 8.

Вместо: Мы подходили к станции *кончая:* и всё это хочется сказать. — *в лит. ред.:* Потом он выпил залпом оставшийся стакан чаю и продолжал.

Стр. 46, строка 28.

Вместо: но она с легкомысленным упорством — *в лит. ред.:* но она с легкостью, но с упорством

Стр. 46, строки 37—39.

Слов: Или мы искусственно избавляемся *кончая:* Оправданий нет. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 47, строки 7—8.

Вместо: И Марья Павловна и Иван Захарыч. — *в лит. ред.:* и М. П. и И. З.

Стр. 47, строки 19—22.

Вместо: Вид ее наводил беспокойство. *кончая:* запряженная лошадь, — *в лит. ред.:* Вид ее наводил страх: в роде как застоявшаяся горячая запряженная лошадь,

Стр. 47, строка 24.

Слов: и мне было страшно. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 47, строки 26—29.

Слов начала XIX гл.: Он вдруг приподнялся *кончая:* и опять сел против меня. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 47, строки 30—32.

Вместо: глаза жалкие *кончая:* закурив папироску. — *в лит. ред.:* глаза жалкие, совсем чужие, носу почти нет, и усы и борода поднялись к самым глазам, и рот стал огромный, страшный.

— Да-с, так

Стр. 48, строки 28—30.

Слов: Он опять повернулся к окну, *кончая:* продолжал:
— Да-с, — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 48, строка 40—стр. 49, строка 1.
Слов: Не он, так другой, это должно было быть. — Он опять замолчал. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 49, строки 8—9.
Слов: Человек он был..... — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 49, строка 10.
После слова: воздержался — ***в лит. ред.:*** остановился
Стр. 49, строки 17—18.
Слов: как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 49, строка 18.
Вместо: Лезущий в фамильярность, — ***в лит. ред.:*** Приличный, знаете, лезущий в фамильярность,

Стр. 49, строка 20.
Вместо: с соблюдением внешнего достоинства — ***в лит. ред.:*** по с соблюдением внешнего достоинства

Стр. 49, строка 37.
Слов: т. е. мое свинство. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 49, строки 37—38.
Вместо: Всё произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, — ***в лит. ред.:*** всё произошло оттого, что явился этот человек в то время, когда между нами была та страшная пучина,

Стр. 50, строка 6.
Вместо: живущие так, как я жил, — ***в лит. ред.:*** живущие на тех же основах брака, как я жил,

Стр. 50, строки 12—16.

Вместо: — Да, это так было, *кончая:* Начинается спор. — *в лит. ред.:* — Чтобы вы поняли, надо рассказать, как это бывало. Ну, вот живем мы; всё, кажется, хорошо. Вдруг начинается разговор о воспитании детей. Не помню, какие слова я сказал или она, но начинается спор, пререкания.

Стр. 50, строки 23—26.

Вместо: нарочно перетолковывает всякое твое слово, *кончая:* туда то она и колет. — *в лит. ред.:* и понимает, но нарочно перетолковывает всякое твое слово, каждое же ее слово пропитано ядом: всё, что только мне дорого, — всё это она срамит и поганит.

Стр. 50, строки 29—30.

Вместо: Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: — *в лит. ред.:* и делаю ей больно. Она кричит:

Стр. 50, строки 30—31.

После слов: Я кричу: «не лги!» — *в лит. ред.:* Она продолжает говорить что-то лживое только для того, чтобы уязвить меня:

Стр. 50, строка 31.

Слов: кричит она, — *в лит. ред. нет.*

Стр. 51, строка 16.

Вместо: где madame? — *в лит. ред.:* où est madame?

Стр. 51, строки 17—19.

Вместо: дети, в особенности старшая *кончая:* Пьем молча чай. Ее всё нет. — *в лит. ред.:* дети — Лиза — старшая — с ужасом, вопросительно смотрит на меня. А ее всё нет.

Стр. 51, строка 20.

Вместо: злоба — *в лит. ред.:* ненависть

Стр. 51, строка 23.

Слов: Я бы поехал за ней. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 51, строки 25—26.

Слов: А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 51, строка 27—28.

Вместо: сделала над собой?.. — *в лит. ред.:* сделала?..

Стр. 51, строка 28.

Вместо: Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, — *в лит. ред.:* 11, 12, 1 — не сплю, не иду в спальню.

Стр. 51, строки 31—32.

Вместо: Три, четыре часа — ее всё нет — *в лит. ред.:* Ее нет.

Стр. 51, строки 33—36.

Вместо: но все в недоумении *кончая:* и беспокойство за нее. — *в лит. ред.:* но все в недоумении, вопросительно, а дети укоризненно смотрят на меня. И опять то же чувство беспокойства за нее и ненависть за это самое беспокойство.

Стр. 52, строки 1—5.

Вместо: — Да ведь не может же это так оставаться? *кончая:* не сделаю первого шага, — *в лит. ред.:* и первого шага не сделаю. Развод, так развод! Свояченица не допускает этой мысли и так уезжает ни с чем. На меня находит упрямство, и я смело сказал; говоря с ней, что не сделаю первого шага.

Стр. 52, строка 8.

Вместо: И рад бы его сделать, но не знаю как. — *в лит. ред.:* Но я связал себя своими словами.

Стр. 52, строка 29.

Вместо: чего я не разбираю, — *в лит. ред.:* чего я не понимаю,

Стр. 52, строки 28—31.

Вместо: в душе у каждого та же старая злоба *кончая:* Но надо же как нибудь кончить всё это, — *в лит. ред.:* в душе, очевидно злоба у каждого друг против друга, но надо же как-нибудь кончить всё это,

Стр. 52, строки 33—36.

Вместо: Один раз я уже взял заграничный паспорт — *кончая:* и я остался. — *в лит. ред.:* один раз я совсем хотел бежать, но опять по какой-то слабости остался.

Стр. 52, строки 38—39.

После слов: когда явился этот человек. — *в лит. ред.:* Правда, человек дрянной, но что же — такой же, как все мы. *Затем идет глава XXI.*

Стр. 52, строка 39 — стр. 53, строка 1.

Вместо: Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. — *в лит. ред.:* Приехав в Москву, этот господин — фамилия его Трухачевский — явился ко мне.

Стр. 53, строки 4—5.

Вместо: Он мне очень не понравился с первого взгляда. — *в лит. ред.:* Он мне очень не понравился; с первого взгляда я понял, что это был грязный блудник, и стал ревновать его еще прежде, чем он увидал жену.

Стр. 53, строки 9—10.

Вместо: заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. — *в лит. ред.:* заговорил об его игре, о том, что я слышал, что он бросил скрипку.

Стр. 53, строка 14.

После слов: Удивительное дело! — *в лит. ред.:* отчего в важных событиях нашей жизни, в тех, в которых решается

судьба человека, как для меня решилась тогда, — отчего в этих делах нет ни прошедшего ни будущего?

Стр. 53, строки 16—18.

Вместо: Что то было напряженное *кончая:* и приписывал им важность. — *в лит. ред.:* У меня было сознание страшного бедствия, связанного с этим человеком. Но, не смотря на это, я не мог не быть ласков с ним.

Стр. 53, строки 19—22.

Слов: Тотчас же зашел разговор о музыке, *кончая:* понравился ей с первого взгляда. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 53, строка 23.

Вместо: Кроме того, она обрадовалась тому, — *в лит. ред.:* Она, видимо, обрадовалась, вероятно, сначала только потому,

Стр. 53, строки 25—26.

Слов: и на лице ее выразилась эта радость. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 53, строка 31.

Вместо: не интересовало его. — *в лит. ред.:* не интересует его.

Стр. 53, строка 35.

Слова: вероятно — *в лит. ред. нет.*

Стр. 53, строки 38—39.

Слов: Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 53, строка 39.

Вместо: Поговорили — *в лит. ред.:* Мы поговорили

Стр. 54, строка 2.

Слов: в эту минуту — *в лит. ред.* нет.

Стр. 54, строки 2—3.

Вместо: потому, что в эту минуту я мог не позвать его, — *в лит. ред.:* потому что я мог не позвать его. Я мог не позвать его,

Стр. 54, строки 5—6.

Слов: «или чтоб боялся тебя», мысленно сказал я ему — *в лит. ред. нет.*

Стр. 54, строки 6—7.

Вместо: пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, — *в лит. ред.:* пригласил его привозить нынче же вечером скрипку,

Стр. 54, строка 10.

Слов: и я еще больше настаивал. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 54, строки 16—17.

Вместо: Но сделать так, значило признаться, что я боюсь его. — *в лит. ред.:* Но неужели я, я боюсь его?

Стр. 54, строки 24—25.

Вместо: устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. — *в лит. ред.:* предлагал, помогал.

Стр. 54, строка 26 — стр. 55, строка 5.

Вместо: Он играл превосходно, *кончая:* и потому читал в его душе как по писанному. — *в лит. ред.:* Он играл превосходно и то что называется — тон сильный и нежность; трудностей же для него не существовало. Как только начал он играть, лицо его изменилось: он сделался серьезен и гораздо более симпатичен, он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей просто и естественно и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и приятна. Во весь вечер я сам представлялся не только перед другими, но и перед самим собой заинтересованным только музыкой. В сущности же я не переставая мучался ревностью. С первой минуты, как он

встретился глазами с женой, я видел, что он смотрел на нее как на не неприятную женщину, с которой при случае не неприятно вступить в связь. Если бы я был чист, я бы не думал о том, что бы он мог про нее думать, но я, так же как и большинство, думал про женщин и потому понимал его и мучался этим.

Стр. 55, строки 14—16.

Вместо: должен был победить, смять, *кончая:* всё, что захочет. — ***в лит. ред.:*** должен был победить ее и сделать из нее всё, что захочет.

Стр. 55, строка 16.

Вместо: и я страдал ужасно: — ***в лит. ред.:*** и не мог не страдать и не ревновать. И я ревновал и страдал ужасно.

Стр. 55, строки 19—20.

Вместо: Для жены ли или для него я это делал, чтобы показать, — ***в лит. ред.:*** Для жены ли я это делал, чтоб показать,

Стр. 55, строка 24.

Слов: дорогим вином, — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 55, строка 26.

Вместо: обедать и еще играть с женою. — ***в лит. ред.:*** обедать и играть.

Стр. 55, строка 28.

Слов: Да так и кончилось. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 55, строки 29—33.

Слов: И Позднышев в сильном волнении *кончая:* чтобы быть спокойным. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 55, строки 33—35.

Вместо: — Возвращаюсь с выставки *кончая:* и вдруг чувствую, — ***в лит. ред.:*** На второй или на третий день после

этого дня возвращаюсь откуда-то, вхожу в переднюю и разговариваю с знакомым и вдруг чувствую,

Стр. 56, строки 3—4.

Вместо: Прохожу не через гостиную, а через классную в залу. — ***в лит. ред.:*** Прохожу мимо гостиной через классную.

Стр. 56, строки 5—8.

Вместо: Дверь в залу затворена *кончая:* поцелуи, может быть. — ***в лит. ред.:*** В гостиной слышу равномерное arpeggio и сдержанный голос его и ее отрицание. Она что-то сказала: «но нет, нет» и еще что-то. Как будто кто-то нарочно на фортепиано заглушает слова.

Стр. 56, строка 10.

Слова: тогда — в *лит. ред. нет.*

Стр. 56, строки 13—15.

Вместо: Должно быть, я был страшен, *кончая:* Войти? — ***в лит. ред.:*** Она позорит меня. Уйду я,

Стр. 56, строки 16.

Вместо: Но не могу и уйти. *кончая:* понимает мое положение. — ***в лит. ред.:*** Но не могу и пройти. Няня взглянула на меня так, как будто она понимала и советовала смотреть в оба.

Стр. 56, строка 18.

Вместо: быстро отворил дверь. — ***в лит. ред.:*** сам не помня себя, отворил дверь.

Стр. 56, строки 21—22.

Вместо: услыхала и взглянула на меня. — ***в лит. ред.:*** услыхала меня и взглянула на меня.

Стр. 56, строка 33.

После слов: или маленькие вещицы? — ***в лит. ред.:*** И говоря это, он взглянул на нее.

Стр. 56, строка 40.

После слов: опасная близость между мужчиной и женщиной. — *в лит. ред.:* при известных, допускаемых обществом условиях.

Стр. 57, строка 47.

После слов: может видеть тут что-либо нежелательное. — *в лит. ред.:* Муж не должен так думать, а тем более совать свой нос и мешать,

Стр. 57, строки 10—11.

Вместо: Я, очевидно, смутил *кончая:* я долго ничего не мог сказать. — *в лит. ред.:* Я, очевидно, смутил их тем, что долго ничего не мог сказать.

Стр. 57, строки 13—15.

Вместо: но я чувствовал, *кончая:* Я так и сделал. — *в лит. ред.:* но я ничего не мог сделать. Напротив, я чувствовал, что *я* помешал им и что виноват в этом.

Стр. 57, строка 20.

Вместо: сгладить неприятное впечатление, — *в лит. ред.:* сгладить первое неприятное впечатление.

Стр. 57, строки 20—21.

Вместо: когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, — *в лит. ред.:* когда я вдруг вошел с испуганным лицом,

Стр. 57, строка 29.

Вместо: его белую, мягкую руку. — *в лит. ред.:* эту белую мягкую руку.

Стр. 57, строки 38—39.

Вместо: лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. — *в лит. ред.:* Вдруг ее шаги, ее походка.

Стр. 58, строка 7.

Вместо: красивая фигура. — ***в лит. ред.:*** грациозная, ленивая и гибкая фигура;

Стр. 58, строки 19—20.

Вместо: Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка.... — ***в лит. ред.:*** Только тебе всякая подлость приятна, а мне ужасна.

Стр. 58, строка 25.

После слов: — Убирайся, ради Бога убирайся! — ***в лит. ред.:*** Но она не ушла.

Стр. 58, строки 26—28.

Вместо: Притворялась она, что не понимает, *кончая:* а остановилась посередине комнаты. — ***в лит. ред.:*** Но она не ушла. Притворялась она, что не понимает о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась.

Стр. 58, строки 29—32.

Вместо: Это такой характер, *кончая:* мой поступок с сестрой — ***в лит. ред.:*** или что-то в этом роде о моем характере, стараясь, как всегда, уязвить меня как можно больнее, — после твоего поступка с сестрой

Стр. 58, строка 33.

Вместо: сестре своей — ***в лит. ред.:*** ей

Стр. 58, строки 34—35.

Вместо: — После этого меня уж ничто не удивит от тебя, — сказала она. — ***в лит. ред.:*** меня уж ничто не удивит от тебя.

Стр. 58, строки 27—28.

Вместо: такая страшная злоба — ***в лит. ред.:*** неописуемая злоба

Стр. 58, строка 40.

Вместо: Я вскочил и двинулся к ней; — *в лит. ред.:* Я вскочил,

Стр. 59, строки 1—2.

Вместо: хорошо ли отдаться этому чувству, — *в лит. ред.:* хорошо ли отдаваться этой злобе,

Стр. 59, строка 4.

Вместо: я еще стал разжигать ее в себе — *в лит. ред.:* я еще стал подстегиваться

Стр. 59, строка 5.

Вместо: больше разгорается во мне. — *в лит. ред.:* больше клокотала во мне.

Стр. 59, строки 6—11.

Вместо: закричал я, подойдя к ней *кончая:* — Вася, что ты, что с тобой? — *в лит. ред.:* закричал я нарочно страшным голосом и схватил ее за руку. Она не уходила. Тогда я повернул ее и сильно толкнул.

— Что с тобой? Опомнись! — сказала она.

Стр. 59, строка 12.

После слов: заревел я еще громче. — *в лит. ред.:* выкатывая глаза.

Стр. 59, строка 13.

После слов: Я не отвечаю за себя! — *в лит. ред.:* Уходи!

Стр. 59, строка 17.

Вместо: и потому, *кончая:* прокричав: «уходи!», — *в лит. ред.:* и воздерживался. Я отошел от нее и, подбежав к столу, схватил пресс-папье,

Стр. 59, строки 20—21.

Слов: Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 59, строки 21—23.

Вместо: пока еще она видела *кончая:* и бросать о-земь их, — *в лит. ред.:* пока еще она не скрылась (я сделал это, чтобы она видела), я схватил подсвечник, бросил о-земь, барометр со стены,

Стр. 59, строки 26—27.

Вместо: что у жены истерика. — *в лит. ред.:* что у нее истерика.

Стр. 59, строки 28—29.

После слов: но была истинно больна. — *в лит. ред.:* Послали за доктором, и я всю ночь ходил за ней.

Стр. 59, строки 34—35.

Вместо: ей казалось, как она говорила, — *в лит. ред.:* ей показалась возможность

Стр. 59, строка 37.

Вместо: кроме удовольствия, доставляемого музыкой? — *в лит. ред.:* кроме удовольствия музыки?

Стр. 59, строка 40 — стр. 60, строка 1.

Слов: главное, он сам, — *в лит. ред. нет*

Стр. 60, строка 22.

После слов: она не могла унизиться. — *в лит. ред.:* Не столько от уверений жены, сколько от того мучительного страдания, которое я испытывал, ревнуя ее

Стр. 60, строки 23—25.

Слов: Во первых, я перемучался *кончая:* и верил им. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 60, строки 25—26.

Вместо: несмотря на то, что я не ревновал, — ***в лит. ред.:*** несмотря на то,

Стр. 60, строка 28.

Вместо: Я всё еще следил за движениями и взглядами их обоих. — ***в лит. ред.:*** Я невольно следил за каждым движением, взглядом их обоих.

Стр. 60, строки 29—30.

После слов: Довольно рано началась музыка. — ***в лит. ред.:*** Он пошел за скрипкой. Жена подошла к роялю и стала разбирать ноты.

Стр. 61, строки 1—6.

Вместо: Она взяла первый аккорд, *кончая:* и опять остановился. — ***в лит. ред.:*** Они в одно время ударили аккорд — она на рояли, он на скрипке.

Стр. 61, строка 8.

Вместо: вскрикнул он. — У!... — ***в лит. ред.:*** У!... вскрикнул он и долго молчал.

Стр. 61, строка 10.

Вместо: Я не понимаю. — ***в лит. ред.:*** Я не знаю.

Стр. 62, строка 4.

После слов: первое престо. — ***в лит. ред.:*** — да и много таких вещей есть.

Стр. 62, строки 4—7.

Вместо: Разве можно играть *кончая:* и говорить о последней сплетне. — ***в лит. ред.:*** Разве можно играть в гостиных среди декольтированных дам или в концертах — сыграть, потом похлопать и потом сыграть другое?

Стр. 62, строки 9—11.

Вместо: соответствующие этой музыке *кончая:* настроила эта музыка. — ***в лит. ред.:*** соответствующие этой музыке

поступки.

Стр. 62, строка 19.

После слов: было очень радостно. — ***в лит. ред.:*** В этом новом состоянии ревность уже не имела места.

Стр. 62, строка 20.

После слов: совсем в другом свете. — ***в лит. ред.:*** Меня вынесла эта музыка в какой-то такой мир, в котором ревность уже не имела места. Ревность и чувство это, вызывавшее ее, казались такими пустяками, о которых не стоило думать.

Стр. 62, строки 26—27.

Слов: Всё это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 62, строки 36—37.

Вместо: Вечер кончился благополучно, и все разъехались. — ***в лит. ред.:*** Я весь вечер почти не ревновал.

Стр. 62, строка 37.

Вместо: Зная, что я должен был — ***в лит. ред.:*** Я должен был

Стр. 62, строки 37—39,

*Вместо:*Трухачевский, прощаясь, сказал, *кончая:* нынешнего вечера. — ***в лит. ред.:*** и он, прощаясь, собрал все свои ноты и спрашивал, когда я вернусь, желая проститься со мною перед отъездом.

Стр. 63, строки 1—2.

Вместо: Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся. — ***в лит. ред.:*** Оказывалось, что я едва ли вернусь до его отъезда, так что мы с ним прощались совсем.

Стр. 63, строки 6—7.

После слов: были очень довольны вечером. — *в лит. ред.:* В самых общих выражениях говорили о впечатлении, произведенном музыкой, но были так близки и дружны в этот вечер, как редко уже бывали в последнее время.

Стр. 63, строки 12—14.

Вместо: На другой день *кончая:* Она писала — *в лит. ред.:* Вечером 2-го дня, вернувшись на свою квартиру в уездном городе, я нашел от нее письмо, в котором она писала мне

Стр. 63, строка 16.

Вместо: и обещал играть еще, — *в лит. ред.:* и предлагал играть еще,

Стр. 63, строки 19—22.

Вместо: Но дела было столько, *кончая:* показался мне натянутым. — *в лит. ред.:* Я перечел письмо: в письме было что-то натянутое, робкое, и мне стало ужасно тяжело: сердце заныло.

Стр. 63, строки 24—28.

Вместо: «Какое мерзкое чувство эта ревность!» *кончая:* о делах, предстоящих на завтра. — *в лит. ред.:* «Какое мерзкое чувство это ревность! Что может быть естественнее того, что она пишет?» сказал я себе, и лег в постель, казалось, спокойный. Я стал думать о делах, предстоящих на завтра, и заснул без мысли о ней.

Стр. 63, строка 29.

Вместо: я заснул очень скоро. — *в лит. ред.:* я заснул сейчас же.

Стр. 63, строка 35.

После слов: унижать ее и себя, — *в лит. ред.:* себя главное,

Стр. 64, строка 2.

Вместо: женился на ней, — *в лит. ред.:* женился на своей жене,

Стр. 64, строка 11.

Слов: Да кто она? — *в лит. ред. нет.*

Стр. 64, строки 19—20.

Вместо: что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, — *в лит. ред.:* что между ними не только не было уже никакой преграды,

Стр. 64, строки 23—24.

Слов: когда я подошел к фортепиано. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 64, строка 37.

Вместо: и в пять часов, решив, что — *в лит. ред.:* и в пять часов, хотя еще было темно, решил, что

Стр. 64, строки 38—39.

Вместо: я встал, разбудил сторожа, — *в лит. ред.:* Поезд отходил со станции в 8 часов. Я разбудил сторожа,

Стр. 65, строки 4—11.

Слов начала XXV гл.: Вошел кондуктор *кончая:* страдающий голос. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 65, строка 17.

Слов: Когда рассвело и я поехал, мне стало легче. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 65, строка 17.

Вместо: Глядя на лошадей, — *в лит. ред.:* Я как то, глядя на лошадей,

Стр. 65, строки 19—20.

Вместо: что я просто еду, что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. — *в лит. ред.:* что я просто еду, катаюсь, так буду ехать до конца жизни и света.

Стр. 65, строка 24.

После слова: тарантас — *в лит. ред.:* совершенно новый,

Стр. 65, строки 24—28.

Слов: Поломка эта имела большое значение, *кончая:* а должен был уже ехать на пассажирском — *в лит. ред. нет.*

Стр. 66, строки 12—13.

Вместо: не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. — *в лит. ред.:* не смотреть на них, стереть их, не вызывать их.

Стр. 66, строка 14.

После слов: тем более я верил в их действительность. — *в лит. ред.:* забывая то, что не было никакого основания этого.

Стр. 66, строка 35.

Вместо: она лжет, всё лжет!» — *в лит. ред.:* она лжет!»

Стр. 67, строка 3.

Вместо: И Позднышев вскочил — *в лит. ред.:* И мой рассказчик вскочил

Стр. 67, строки 6—7.

Вместо: Да, ужасно! — продолжал он. — Я говорил себе: «буду думать о другом. — *в лит. ред.:* Ну, опять садился, — продолжал он, — и говорил себе: «буду думать о другом.

Стр. 67, строки 12—25.

Вместо: Нет, нет... *кончая:* сознания своего унижения — *в лит. ред.:* Я страдал так, что наконец не знал, что с собой делать, и мне пришла уже мысль, очень даже понравившаяся мне, — выйти на путь, лечь под вагон, кончить всё. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывающая ненависть к ней, к нему, к нему — не столько. К нему было какое-то странное чувство сознания своего унижения

Стр. 67, строки 28—29.

Слов: Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 67, строки 36—37.

Слов: потому что продолжал думать о своем. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 68, строки 20—21.

Слов: я могу что-нибудь сделать. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 69, строки 33—34.

Вместо: и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, — ***в лит. ред.:*** и читал вывески —

Стр. 69, строки 1—3.

Вместо: не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. — ***в лит. ред.:*** не могу себе уяснить теперь, почему я так торопился.

Стр. 69, строки 36—40.

Вместо: явилось странное чувство — *кончая:* злым и хитрым зверем. — ***в лит. ред.:*** явилась животная потребность физической ловкой, хитрой и решительной деятельности. Я помню, что я сделался зверем, умным зверем.

Стр. 70, строки 13—14.

Вместо: я сейчас накажу ее и кончу мои отношения — ***в лит. ред.:*** я сейчас кончаю мои отношения

Стр. 70, строка 23.

Вместо: возможности наказать. — ***в лит. ред.:*** и мучительного наслаждения наказать, — да, — казнить.

Стр. 70, строки 24—25.

Вместо: пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, — *в лит. ред.:* пошел в гостиную, где они сидели, не через залу,

Стр. 71, строки 18—19.

Вместо: Мне живо вспомнилось — *в лит. ред.:* Мне, главное, вспомнилось

Стр. 71, строки 20—21.

Вместо: ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. — *в лит. ред.:* вступить в то же зверское состояние.

Стр. 71, строка 26.

Вместо: и всё только — *в лит. ред.:* и всё время

Стр. 71, строки 29—36.

Слова: — Первое, что я сделал, *кончая:* в одних чулках пошел туда. — *в лит. ред. заключают главу XXVI.*

Стр. 71, строка 37.

Вместо: И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. — *в лит. ред.: Я* не только не знаю, как я шел, каким шагом, через какие комнаты я шел, как я подходил к гостиной, как отворил дверь, как вошел в нее, — я ничего не помню.

Стр. 71, строки 37—38.

Вместо: Помню выражение их лиц. — *в лит. ред.:* Помню только выражение их лиц, когда я открыл дверь.

Стр. 72, строка 2.

Вместо: которое выступило — *в лит. ред.:* которое выразилось

Стр. 72, строки 6—7.

Вместо: На ее лице было то же выражение — *в лит. ред.:* на ее лице то же выражение

Стр. 72, строка 17.

Вместо: начнется еще что-то — *в лит. ред.:* начнется еще

Стр. 72, строка 34.

Слов: Я выбрал это место с самого начала. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 72, строки 38—39.

Вместо: Его глаза встретились с моими, — *в лит. ред.:* Верно, я был страшен, потому что

Стр. 73, строка 35.

Слов: Какая жесткая шея была... — *в лит. ред. нет.*

Стр. 73, строки 36—37.

Вместо: и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом — *в лит. ред.:* за которое я душил ее, и я ударил ее кинжалом

Стр. 74, строка 21.

Слов: только на мгновенье, — *в лит ред. нет.*

Стр. 74, строки 26—27.

Слов: Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. — *в лит. ред. нет.*

Стр. 74, строка 31.

После слов: из-под ее корсета — *в лит. ред.:* как из гвоздя,

Стр. 75, строка 3.

После слов: сел на диван — *в лит. ред.:* всем телом.

Стр. 75, строки 18—19.

Вместо: Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. — *в лит. ред.:* Я вспомнил сопротивление корсета и потом.....

Стр. 77, строка 9.

После слов: увидал в ней человека, — *в лит. ред.:* сестру.

Стр. 77, строка 18.

После слов: — Прости меня! — сказал я. — ***в лит. ред.:*** — Да, если бы ты не убил меня! вдруг вскрикнула она, и глаза ее заблестели лихорадочно.

Стр. 77, строки 19—20.

Слов: вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 77, строки 21—22.

Вместо: Ай! Ах! — очевидно в бреду, *кончая:* Ну, убивай, убивай, я не боюсь!... — ***в лит. ред.:*** Потом сделался бред. Она стала пугаться, кричать: «стреляй, я не боюсь... Только всех убей. Ушел, ушел!

Стр. 77, строка 24.

Вместо: Она не узнавала никого. — ***в лит. ред.:*** Она не узнавала детей, даже Лизаньку, которая прорвалась к ней.

Стр. 77, строка 37.

Вместо: холодная, — ***в лит. ред.:*** вся холодная,

Стр. 77, строки 39—40.

Слов: У! у! у!... — вскрикнул он несколько раз и затих. — ***в лит. ред. нет.***

Стр. 78, строки 1—2.

После слов: и трясся молча передо мной. — ***в лит. ред.:*** Лицо его сделалось тонкое, длинное, и рот во всю ширину его.

— Да, сказал он вдруг. — Если бы я знал, что я знаю теперь, так бы совсем другое было бы. Я бы не женился.

Опять мы долго молчали.

Стр. 78, строки 3—13.

Вместо: — Ну простите... *кончая:* и заключил весь рассказ. — ***в лит. ред.:*** — Да-с, вот что я сделал и вот что я пережил. Да-

с, надо понять настоящее значение, что слова Евангелия Матф. V, 28. — о том, что всякий, кто смотрит на женщину с похотью, прелюбодействует, относятся к женщине, к сестре, не к одной чужой, посторонней женщине, а преимущественно к своей жене.

Неопубликованное, неотделанное и неоконченное

[Первая редакция «Крейцеровой сонаты».]

Мы ѣхали 2-е сутки.

Въ вагонъ входили и выходили ѣдущіе на короткія разстоянія, но трое ѣхали уже 2-ю ночь. Это были[5] — невысокій человѣкъ въ хорошемъ платьѣ, съ пріятными мягкими пріемами, лѣтъ 50, молодая некрасивая[6] дама, скромно, хорошо одѣтая, съ[7] умнымъ и пріятнымъ лицомъ, и[8] средняго роста худощавый человѣкъ, съ желтымъ цвѣтомъ лица, черными блестящими глазами, быстро перебѣгавшими съ предмета на предметъ,[9] и съ[10] быстрыми нервными движеніями и съ рано посѣдѣвшими густыми и вьющимися жесткими волосами. Этотъ господинъ везъ съ собой дѣвочку 3-хъ лѣтъ и ухаживалъ за ней, какъ нянька или мать. И дѣвочка миленькая, очевидно, привыкла къ нему, какъ къ нянькѣ или матери, и властвовала надъ нимъ. Со всѣми пассажирами и кондукторами этотъ госдодинъ былъ какъ будто грубъ: такъ онъ рѣзко отрывалъ свои слова, какъ будто онъ говорилъ: что нужно, я вамъ скажу, сдѣлаю, а въ остальномъ оставьте меня въ покоѣ. Не желаю съ вами сближаться и не нуждаюсь ни въ комъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ казалось, что ему мучительно одиночество и что ему нужно говорить съ кѣмъ нибудь. Онъ видѣлъ, что я понимаю это, и когда глаза наши встрѣчались, что случалось часто, онъ отворачивался и все таки не вступалъ ни съ кѣмъ въ разговоръ. Когда въ вагонъ попала старуха съ мѣшками и не могла успѣть внести ихъ, онъ вдругъ выскочилъ, какъ будто онъ хотѣлъ ее вытолкать, и схватилъ ее мѣшки, испугавъ ее (она, вѣрно, думала, что онъ ихъ выкинетъ), внесъ ихъ, уложилъ ихъ ей и, сунувъ, посадилъ ее и быстро вернулся на свое мѣсто, издавъ какой-то странный звукъ, которымъ онъ и все время пугалъ пассажировъ, звукъ похожій или на начатую и оборванную рѣчь

или на сдержанный не то смѣхъ, не то рыданіе. Господинъ пріятный въ обращеніи и съ хорошими сафьянными мѣшочками познакомился ужъ въ началѣ перваго дня съ дамой и со мной, и мы ѣхали какъ знакомые, неразъ услуживая другъ другу. И то читали книжки или газеты, а то разговаривали другъ съ другомъ и съ входящими разговорчивыми пассажирами.[11] Сѣдой господинъ сидѣлъ все одинъ съ своей дѣвочкой наискосокъ противъ меня, глядя передъ собой и быстро поворачиваясь на каждое входящее лицо и изрѣдка испуская свои странные звуки. Господинъ съ хорошими вещами хотѣлъ было заговорить съ нимъ. Дама хотѣла черезъ дѣвочку сблизиться, но онъ не давался, обрывалъ свои рѣчи и отзывалъ дѣвочку. Только со мной, какъ съ сосѣдомъ, онъ вошелъ въ нѣкоторое общеніе. Я уступилъ ему свое мѣсто. На 2-е сутки путешествія, когда смерклось, кондукторъ зажегъ фонарь, и на большой станціи вышло и вошло нѣсколько новыхъ пассажировъ. Господинъ съ хорошими вещами и пріятная дама пошли пить чай,[12] вернулись оживленные и еще болѣе добрые и общительные. Противъ ихъ лавочки сѣлъ[13] высокій желтый старикъ въ длинномъ пальто и бобровомъ картузѣ съ длиннымъ козырькомъ.[14] Молодой человѣкъ, прикащикъ, познакомившись съ господиномъ съ хорошими вещами и съ дамой, хотѣлъ услужить имъ и сказалъ старику, что мѣсто это занято.[15] Старикъ, не отвѣчая, сѣлъ, прямо глядя передъ собой. Когда вошелъ господинъ съ хорошими вещами съ дамой, прикащикъ опять обратился къ старику:

— Я говорилъ вамъ, что занято.

Старикъ также упорно смотрѣлъ передъ собой, какъ будто готовый разразиться чѣмъ-то дурнымъ, но господинъ съ хорошими вещами не далъ ему времени.

— Сдѣлайте одолженіе, — сказалъ господинъ съ хорошими вещами, — всѣмъ мѣсто будетъ; спать еще рано. Побесѣдуемъ. И сѣлъ съ дамой. Старичекъ сказалъ, что онъ только на 3 станціи.[16] Господинъ съ хорошими вещами обратился къ сосѣдкѣ и сталъ продолжать разговоръ. У нихъ нашелся общій знакомый. Общій знакомый ихъ имѣлъ несчастье съ женой: онъ

ли, она ли его оставила, но они разошлись, и у нихъ было разводное дѣло. Я прислушивался къ разговору.[17]

— Да, сколько теперь этихъ разводовъ, — сказалъ господинъ съ хорошими вещами. — У насъ въ Петербургѣ это безпрестанно.

— А это все отъ того, что я и говорила, что женщина была раба совсѣмъ, а теперь полураба, — сказала дама.

— Въ этомъ я не согласенъ съ вами, — улыбаясь сказалъ господинъ съ хорошими вещами, какъ бы о предметѣ, который уже былъ разобранъ имъ, и, взглянувъ на старика, сидѣвшаго противъ и смотрѣвшаго на него, спросилъ, отчего это прежде не было.

— Было и прежде, только меньше, — сказалъ старикъ. — По нынѣшнему времени нельзя этому не быть.

— Отчего же вы думаете? — спросила дама. — Отчего нельзя этому не быть?

— А потому, что[18] волю себѣ дали, сударыня, — сказалъ старикъ.

— Какъ?[19] Какую волю?

— Прелесть разводить стали, — сказалъ старикъ. — И женются-то не по людски.[20] Всякій пупленокъ ужъ объ любви говоритъ. По любви и женятся, а не какъ Богъ велитъ.

Дама даже разсмѣялась.

— Да какъ же безъ любви?[21]

Съ этихъ словъ начался оживленный разговоръ, и я пересѣлъ на сосѣднюю лавочку, чтобы слушать.[22]

— Да какъ же, вѣдь это единственная связь. Напротивъ, отъ того, что этаго нѣтъ, нѣтъ настоящей любви между молодыми людьми, а ихъ женятъ, отъ этаго и выходятъ дурные браки.

Господинъ съ хорошими вещами не далъ отвѣчать старику и тоже напалъ на него.

— Такъ неужели же лучше бракъ по домострою, когда брачущіеся не видали даже другъ друга, не знали, есть ли симпатія, а выходили изъ-подъ фаты по волѣ родителей?

— Да позвольте, — оживленно говорилъ старикъ.

Голоса такъ оживились, что прикащикъ съ другого конца пересѣлъ къ проходу и перегнулся въ темнотѣ къ разговаривающимъ.

— Нѣтъ, ужъ это время прошло... — заговорила дама.

Но господинъ съ хорошими вещами остановилъ ее:

— Нѣтъ, позвольте имъ выразить свою мысль.

Старикъ дожидался. Когда затихли, онъ сказалъ:

— Вотъ то-то и бѣда, сударыня, — сказалъ онъ, обращаясь все къ дамѣ, — что[23] по любви женятся, а не по закону.

— Да что жъ вреднаго въ любви? Вѣдь это самое высшее чувство.

— Позвольте мнѣ вамъ доложить такъ: живу я, примѣрно, у родителей, возращаютъ они меня. У меня умъ ребяческій, ничего я не знаю, а кровь играетъ, вотъ я на ту дѣвушку погляжу, на эту, ахъ, хороша! и эта хороша. И всякія глупости у меня въ головѣ. Ну, что какъ мнѣ не будетъ устраху, а мнѣ еще внушеніе будетъ отъ умныхъ людей и въ книжкахъ, что это самое хорошее чувство, какъ у нашихъ у купчиковъ, у богатенькихъ, да и у господъ (отъ нихъ то и научились). Я про себя скажу. Въ родительскомъ домѣ прислуга тоже. И дьяволъ сбиваетъ, а пуще товарищи дурные. Ну, да страхъ есть. Думаешь себе: родители знаютъ, что къ худу, что къ добру. У меня, Богъ далъ, родители были богобоязненные. Ну и воздержался. Понялъ, что это глупость одна и прелесть. Книгъ я тоже сквернespecialъ не читалъ, да и некогда было, все при дѣлѣ. Такъ и не повадился, а потомъ слышу, женить хотятъ. Тутъ тоже объ любви какой то. Но романсовъ этихъ не было. А думаю, какъ новую жизнь поведу. Вотъ показали невѣсту. Мнѣ 19 лѣтъ было. Красоты особенной не было, а дѣвица какъ надобно. 19 лѣтъ все хорошо. У кого зубы есть, все сгложетъ. Ну и принялъ законъ. Такъ и понималъ, что законъ Божій принимаю, такъ и старушка понимала. Ну вотъ и живемъ 63-й годъ женатые. И никакихъ глупостей не было. Потому[24] — не поважены.

— Ну что же, и не было у васъ искушеній? — улыбаясь сказала дама.

— Сказать, что не было. Потому закрѣплено, въ сердцѣ у насъ закрѣплено отъ родителей.[25]

— Ревности неужели не было?

— Ревности? Было, — улыбаясь сказалъ старикъ. Было и это, да какъ не поважены мы съ ней, такъ и ничего.

— Что же, она васъ ревновала или вы ее?

— Не запомню.[26] Нѣтъ. Ну, былъ разъ прикащикъ у насъ щеголь, бабникъ такой скверный. Молодцы про него сказали мнѣ разъ. Ну и запало мнѣ въ голову, что какъ станетъ онъ за ней виснуть, глупости какія говорить. И запало мнѣ въ голову, что и она чаще на крыльцо выходитъ. И такъ скучно мнѣ стало. Я и говорю ей: «покаюсь я тебѣ: такъ и такъ. Смущаетъ меня объ тебѣ нечистый». Вся сгорѣла она. Эхъ, думаю, ужъ и ей не запало ли что въ мысль? Думаю, бабочка молодая, изгадится. Такъ жалко, жалко мнѣ ее стало.

Въ это время вдругъ подлѣ самыхъ разговаривающихъ раздался громкій звукъ оборвавшагося смѣха или рыданья. Всѣ оглянулись. На ручкѣ кресла сидѣлъ сѣдой господинъ и, впиваясь глазами въ разскащика, слушалъ. Когда на него оглянулись, онъ быстро всталъ, повернулся, пошелъ въ свой уголъ, что-то покопался надъ дѣвочкой и сейчасъ же опять вернулся.

Старикъ продолжалъ:

— И жаль было прикащика, хорошій малый былъ, разсчелъ — вотъ и все. И такъ и вѣкъ прожилъ, не знаю, что за любви эти такія. Все это отъ романсовъ, сударыня.

— Да какъ же отъ романовъ, — улыбаясь сказала дама. — Ну, а какъ проснется любовь, да увлечется. Ну, какъ бы вы не хватились во время, да (извините меня, я вѣдь только къ слову) жена бы ваша влюбилась да въ связь вошла бы?

— Ну такъ чтожъ? Развѣ она бы другая стала, развѣ убудетъ что? Ну чтожъ, скучно, извѣстно. А все же ее жаль. Еще жалче. Помочь надо.

— Ну да развѣ вы бы могли съ ней жить?

— Отчего жъ?

— Да она бы не захотѣла.

— Эхъ, какъ не захотѣть. Легче мужниныхъ хлѣбовъ нѣту. Законъ вѣдь.

— Да вѣдь любви бы ужъ не было.

— Отчего же любви бы не было? Любовь, сударыня, христіанская, братская сильнѣе каменныхъ стѣнъ. А что вы изволите говорить, это не любовь, это романсы. А отъ романсовъ-то и любви нѣтъ.

Опять крикнулъ что-то черный и остановился. Всѣ помолчали.

Прикащикъ пошевелился, еще подвинулся и, видимо страстно желая говорить, улыбаясь началъ:

— Да-съ, вотъ тоже у нашего молодца такой же скандалъ одинъ вышелъ. Тоже разсудить весьма трудно. Тоже попалась такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и съ образованіемъ. Сначала съ конторщикомъ, уговаривалъ онъ тоже добромъ. Не унялась. Всякія пакости дѣлала и его деньги стала красть. И билъ онъ ее. Чтожъ, все хужѣла. Съ Евреемъ свела шашни. Чтожъ ему дѣлать? Бросилъ ее совсѣмъ. Такъ и живетъ холостой, а она слоняется.

— Неправильно, — сказалъ старикъ.

Въ это время пришелъ кондукторъ спрашивать, у кого до Варвина билеты. Старикъ подозвалъ кондуктора и отдалъ билетъ.

— Скоро Варвино то, голубчикъ?

— Подходимъ.

— А неправильно. Терпѣть надо, — сказалъ онъ, доставая мѣшокъ. — Кабы законъ понималъ, была бы любовь христіанская, не прогналъ бы, пожалѣлъ бы. Прощенья просимъ.

Онъ всталъ, поднялъ картузъ и пошелъ. Черный господинъ проводилъ его глазами и остался на ручкѣ кресла.

Только что старикъ, завладѣвшій разговоромъ, ушелъ, поднялся разговоръ въ нѣсколько голосовъ.

— Стараго завѣта папаша, — сказалъ прикащикъ.

— Вотъ домострой живой, — сказала дама.

— Есть доля правды, — сказалъ господинъ съ хорошими вещами.[27]

— Ему кажется это просто при той почти животной жизни, дальше которой онъ не видитъ, — сказала дама. — Для него не

существуетъ еще вся та сложная игра страсти, которая составляетъ поэзію человѣческой жизни.

— Да, но на его сторонѣ выгода та, что вопросъ все таки разрѣшается для него, тогда какъ для насъ, въ нашемъ сложномъ цивилизованномъ обществѣ, онъ представляется неразрѣшимымъ.

— Совсѣмъ не неразрѣшимымъ, — сказала дама. — Рѣшеніе въ свободѣ, въ признаніи правъ.

Прикащикъ слушалъ во всѣ уши и улыбался, желая запомнить для употребленія сколько можно больше изъ умныхъ разговоровъ.

— Свобода? Какая свобода? — вдругъ неожиданно сказалъ мой сосѣдъ. — Какъ это свобода разрѣшаетъ вопросы? Позвольте узнать.

Дама какъ бы испугалась сначала, но потомъ отвѣчала:

— Свобода разрѣшаетъ вопросъ тѣмъ, что нѣтъ насильно навязанныхъ узъ.

— Да и безъ навязанныхъ узъ страсть можетъ быть, ревность. Я хочу женщину и другой хочетъ. Какъ быть?

— То есть какъ? Вѣдь женщина человѣкъ. Что она хочетъ?

— А если она не знаетъ, чего она хочетъ? Она хочетъ и того и другого.

— Я васъ не понимаю.

Онъ только крикнулъ, дернулся и замолчалъ.

Господинъ съ хорошими вещами вступился, желая разъяснить.

— Они говорятъ, — сказалъ онъ, указывая на даму, — что если бы была свобода, то какъ женщина, такъ и мущина, будучи вольны избирать себѣ по своей симпатіи, было бы больше согласія. А въ случаѣ ошибки могли бы свободно расходиться. Тогда только и правильнѣе бы сходились, и не было бы столкновеній при исправленіи разъ сдѣланныхъ ошибокъ. Такъ ли я васъ понялъ? — обратился онъ къ дамѣ.

— А страсти? — А развитыя, какъ онъ говоритъ, романсами страсти куда дѣть?

— Подчинить разсудку.

— Распустить во весь ходъ паровозъ, снять тормаза, а потомъ сразу остановить?

— Нѣтъ, почему же не отказаться добровольно, свободно избрать наилучшій выходъ?[28] Положимъ, я люблю своего мужа, — сказала дама, — но вижу, что онъ любитъ другую. Какже я могу жить съ нимъ? Развѣ не очевидно, что только одно средство выдти изъ того ада, въ который мы поставлены, — это дать ему свободу. Иначе мы будемъ страдать оба.[29] И я знаю такихъ супруговъ. Я вамъ разсказывала, — обратилась она къ господину съ хорошими вещами, — про моего шурина. Онъ любилъ ее и всетаки отказался для другаго. И самъ спокоенъ и счастливъ.[30]

— Онъ никогда не любилъ, — рѣзко сказалъ мой сосѣдъ.

— Нѣтъ, почему же. Вотъ я знаю, товарищъ мнѣ...

И господинъ съ хорошими вещами разсказалъ, какъ его знакомый, узнавъ о невѣрности жены, вызвалъ на дуэль того, ранилъ, а потомъ развелся и женился, и тотъ женился на его женѣ и живутъ прекрасно.[31]

— Гмъ! это не любовь даже. Это удобство. Такъ холостяки живутъ не любя.

— Почему же не любовь? — сказала дама.

— А потому, что если есть любовь, какже разойтись, уступить другому? Рыбамъ разойтись можно, молоки и икру класть, одной другой не мѣшать, а животныя не расходятся такъ легко.[32]

— Да зачѣмъ же говорить про животныхъ, когда мы говоримъ про людей?

— Про людей... Люди тоже не расходятся. Про людей![33] А то то и дѣло, что мы выставляемъ принципъ, а потомъ не держимся его. Если любовь, любовь къ одной женщинѣ, — великое, высокое чувство — романсы, такъ какже я отдамъ другому ту женщину, которую я люблю? Во имя чего? Нельзя отдать, если есть эта любовь.[34] А если могу отдать и быть доволенъ съ другою, то и любви ее этой нѣтъ, а есть самое низкое рыбье свойство.

— А человѣкъ что сдѣлаетъ, по вашему? — спросила дама.

— Человѣкъ настоящій, какъ я понимаю, сдѣлаетъ нѣчто особенное, да не о немъ рѣчь. Рѣчь о человѣкѣ нашего общества, вѣрящаго въ высоту чувства любви и любящаго. Если такой человѣкъ не рыба, онъ не разойдется[35] и не отдастъ. Нетъ того, во имя чего отдать.[36] Есть рыбы — всѣ рыбы, есть животныя, есть иногда и люди, только рѣдко.

— Почему же не можетъ человѣкъ, любя, отдать?

— А оттого что нельзя. Это хорошо разсуждать, что дѣлать, когда крушеніе будетъ, а какъ начнется крушеніе, того не сдѣлаешь. Вы слышали, вѣрно, дѣло разбиралось въ К. судѣ — Позднышева, — сказалъ онъ оглядываясь, какъ будто вошелъ кто-то.

Никто изъ насъ не слыхалъ про Позднышева.

— Не слыхали, такъ я вамъ скажу: убилъ[37] жену, потому что любилъ ее. И не могъ не сдѣлать этаго.[38]

— Ну ужъ это я не понимаю.[39]

— Женился Позднышевъ какъ всѣ. Работалъ въ университетѣ, работалъ потомъ, добился своего. Потомъ заговорило это чувство. Встрѣтились. Она молода, красива, очень красива,[40] съ состояньицемъ, въ пансіонѣ была, не доучилась. Локоны, платьицы модныя, хорошенькая, глупенькая, добренькая, главное — хорошенькая. Чтожъ, думаетъ, развѣ я не человѣкъ? Кромѣ моей химіи, есть тамъ еще эти радости, красота, любовь.[41] Чтожъ, я такъ и буду глазами хлопать, пока другіе разберутъ, да и года пройдутъ? Нѣтъ, дудки, и моя денежка не щербатая. Взялъ, женился. Все продѣлалъ какъ надо. Всю собачью сватьбу. Онъ домострой? При домостроѣ, когда женили по волѣ родителей, и не видали невѣсты, и романсовъ не было, тогда и перины, и бѣлье, и платья, и смотрины — все чисто и честно. Но у насъ, когда въ душѣ-то у всѣхъ, кто участвуетъ въ сватьбѣ, одна собачья сватьба, когда и въ таинство-то не вѣрятъ (онъ ученый, стало-быть, не вѣ[ритъ], тогда всѣ эти постели, бѣлье, халатъ, туалеты, капоты, шоколады — вѣдь это просто пакость. Ну, продѣлалъ всю эту пакость, женился и узналъ, что кромѣ химіи еще вонъ какія пріятныя штучки есть. И понравилось, очень

понравилось. Пойдетъ, работаетъ, вернется, а дома, вмѣсто пыли, скуки, прелесть, грація, изящество, красота, наслажденіе.[42] Чего лучше? Какъ, думаетъ, я давно не догадался? Такъ и думалъ, что кромѣ этихъ всѣхъ удовольствій ничего не будетъ. Анъ съ первыхъ же недѣль явилось новенькое и совсѣмъ неожиданное. Явились слезы, досады, требованія чего то для себя такого, что не сходилось [съ] тѣмъ, что нужно было для него. Случилось, какъ это всегда случается, что то подобное тому, что вы бы испытали, если бы вы завели себѣ удобство — кресло у камина, чтобъ отдыхать, и вдругъ кресло поворачивается кверху ножками и заявляетъ свои желанія — какія? — поиграть, отдохнуть. Вы удивляетесь, какъ можетъ кресло чего то для себя желать. Ведь оно — кресло. Вы поворачиваете кресло, хотите сѣсть, а оно опять свое. Вотъ тоже со всѣми бываетъ. И начинается разладъ, ссоры. Да какія ссоры! Такія, какія бываютъ между людьми, которые совсѣмъ не понимаютъ, не хотятъ понимать требованій жизни другъ друга. И эти ссоры озадачиваютъ: какъ такъ? Была такая сильная любовь 6 часовъ тому назадъ, и вдругъ ничего не осталось — кресло было мягкое, покойное, и вдругъ торчатъ одни рожны. Не можетъ же быть, чтобъ была такая сильная любовь, и ничего не осталось, хоть кусочка. Хвать-похвать, ничего нѣтъ, ни капельки. Совсѣмъ чужой озлобленный человѣкъ, и начинается потасовка. Вѣдь это секретъ, который всѣ другъ отъ друга скрываютъ, но всѣ знаютъ. Начинаются ссоры, злоба, какъ между звѣрями, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ сильнѣе было то, что называется любовь. Такія злобы, которыя доводятъ до искренняго желанія смерти себя и ея, его и себя. Такъ и идетъ, пока опять обманъ страсти не заслонитъ. Такъ шло. А кромѣ того явилось и еще неожиданное обстоятельство, а именно то, что онъ, устроивъ себѣ удовольствіе, не разсчиталъ, что охотниковъ на эти удовольствія очень много, да еще такихъ умныхъ людей, которые нетолько знаютъ, что иногда очень пріятно жить съ женщиной, но знаютъ еще и то, что для этаго не нужно всѣхъ этихъ хлопотъ и непріятностей, связанныхъ съ женатой жизнью. А что гораздо пріятнѣе и безъ хлопотъ собирать сливочки съ того подоя, который другіе устроятъ. Жена была прекрасивая,

знаете, съ вызывающей замѣтной красотой. Ну и замѣтили тѣ-то, болѣе умные. Вотъ одинъ изъ этихъ болѣе умныхъ и взялся за дѣло. А! Да. Ну вотъ тутъ и начинаются всѣ эти вопросы, какъ разойтись по согласію, по свободѣ. Какъ разойтись такъ по свободѣ, что вотъ имъ — онъ указалъ на прикащика — понадобилась ваша вотъ эта рука, такъ чтожъ, — очень просто. Чѣмъ стѣсняться, пускай онъ возьметъ мою руку да и пойдетъ. У него будетъ три руки, а у меня одна. И я спокойно такъ и отдамъ. Вотъ и началось это, что по вашему такъ просто рѣшается. Главная трудность просто то рѣшать та, что никогда вопроса не ставится. А чортъ его знаетъ, хочетъ моя жена обмануть меня, обманула ли ужъ давно или вотъ только приладилась сегодня обмануть? Это никто не знаетъ — ни мужъ, ни жена, ни тотъ, кто чужую жену караулитъ. Онъ говоритъ: «авось, нынче подвинется дѣло». У него это дѣломъ называется. А жена говоритъ себѣ: «какія-то странныя чувства и хорошія, какъ люблю», а кого, сама не знаетъ. А мужъ думаетъ: «нѣтъ, это мнѣ показалось»; а черезъ минуту думаетъ: «это удивительно, что я не видалъ, что у нихъ ужъ все кончено». А черезъ минуту думаетъ: «а можетъ быть, и нѣтъ. Надо не думать». И начинаетъ заниматься тѣмъ, чтобы не думать о бѣломъ медвѣдѣ. Пріятное занятіе. Кто не испыталъ, тотъ пріятности этой понять не можетъ.

Вотъ это то и началось. И пошло, и пошло, и пошло. Такъ шло 2 года. Оказалось, что удовольствіе то — удовольствіе, и пріятности и удобствъ много, но и жестко. Ухъ, жестко![43]

— Она была женщина безъ образованья, — сказала дама.

Опять онъ разсердился на даму и, не глядя на нее, отвѣчалъ господину съ хорошими вещами:

— Образованья она была того самаго, при которомъ женщины про себя говорятъ: женщина образованная. Вѣдь если женщина по англійски говоритъ, она про всѣхъ тѣхъ, которые не говорятъ, говоритъ — необразованные, а если она, помилуй Богъ, про естественный подборъ знаетъ, тогда всѣ необразованы. Она знала про подборъ. Онъ развивалъ ее, давалъ ей читать, самъ читалъ съ ней. Она читала, поднимала вопросы, особенно въ присутствіи тѣхъ умныхъ, которые ее караулили. Это все было, но это была все ложь. Онъ зналъ,

зачѣмъ онъ ее взялъ, — развитія ему ее никакого не нужно было. А такъ ужъ заведено такъ, для приличія развивалъ. И она знала, что она, и зачѣмъ она нужна, и въ чемъ ее сила, и такъ только дѣлала видъ, что ее что-нибудь интересуетъ. Интересовало ее (У!), бѣдняжку, одни ее лицо, и тѣло, и его покровы, и дѣти. Былъ ребенокъ. Ну чтожъ, ребенокъ тоже очень красиво: и колыбель, и ванночка, и платьицы — все занимало, но и въ дѣтской кокетничала очень хорошо. Такъ что нельзя разобрать было, что она моетъ, чтобы вымыть, или чтобы локти свои бѣлые показать, и ласкаетъ, что[бы] приласкать или рядомъ свою голову съ головкой ребенка поставить.

Такъ шло, шло и дошло, что что-то какъ будто случилось.

Да и случилось такъ, что нельзя было знать, случилось или не случилось. Для мужа осталось не то что тайной (кабы тайна, лучше бы), а то все тотъ же бѣлый медвѣдь, про котораго надо не думать, чтобы не разорвалось сердце.

— Да чтожъ случилось?

— А вотъ что: было дѣло на дачѣ. У! (Я тамъ же жилъ). Жилъ съ ними рядомъ художникъ. Милый такой мальчикъ, одинъ изъ тѣхъ, что поумнѣе, тѣ, которые и безъ женитьбы устраиваются, лѣтъ 28, хорошенькій, бѣлый, глазки блестящіе, голубые, губки красненькія, усики съ рыжинкой. Ну, чего же еще? Писалъ онъ все какія то деревья съ желтыми листьями и все съ мѣста на мѣсто ходилъ съ своимъ мольбертомъ въ шляпѣ и пледѣ. И познакомился съ ними и бывалъ.[44] Все та же началась эта паутина, которая стала обматывать его со всѣхъ сторонъ и въ которой онъ все больше и больше путался. Все тоненькія ниточки, совѣстно ихъ разрывать — за что? Но одна за другой, одна за другой, и не успѣлъ оглянуться, какъ ужъ онъ весь запутанъ по рукамъ, по ногамъ. Она любитъ живопись, еще въ пансіонѣ оказывала способности, но не было руководителя. Начинала нѣсколько разъ, но тутъ какъ не воспользоваться такимъ удивительнымъ случаемъ? Знаменитость, и такой любезный, услужливый, и такая простота. Никакихъ интересовъ нѣтъ, очевидно, между ними, кромѣ высокаго искусства. Ахъ, какая прелесть это пятнышко, какъ свѣжо. Покажетъ мужъ

признакъ ревности, чуть выпуститъ когти, сейчасъ же оскорбленная невинность, намеки на то, чего и въ мысляхъ не было. «Только вызываетъ дурныя мысли». И спрячетъ опять ревность. А она есть. Простота отношеній удивительная, ровность, веселость, шутливость. Присутствіе мужа ни на волосъ не измѣняетъ простоты тона. И мужъ принимаетъ этотъ же тонъ, а въ душѣ адъ. Разъяснить дѣло нельзя, не выдавъ себя. Начать разъяснять хоть съ ней — значитъ снять запоры съ звѣрскаго чувства. А не разъяснить вопросъ — еще ужаснѣе. Главное дѣло, вѣдь самое ужасное въ этихъ случаяхъ то, что онъ видѣлъ, что то самое, что она для него — услада нѣкоторыхъ минутъ жизни, то самое она должна еще въ большей степени быть для другихъ. И то самое, что онъ для нея, для нея въ сто разъ больше должны быть другіе и по новизнѣ и просто по внѣшности.[45] По здравому смыслу ей надо предпочесть того. Внутреннихъ преградъ вѣдь никакихъ мужъ ни за собой не знаетъ, ни за ней. Стало-быть, ей надо это сдѣлать, если она будетъ не дура. Одна помѣха — это огласка, худая слава, непріятности, стало-быть, она должна сдѣлать такъ, чтобъ никто не узналъ. А если она такъ станетъ дѣлать или уже сдѣлала, то я не узнаю.

Но нѣтъ, она не сдѣлала, а между тѣмъ она уже все лѣто была въ связи съ художникомъ. И[46] если тонко разбирать, то онъ зналъ это, несомнѣнно зналъ,[47] не такъ зналъ, какъ знаютъ то, на что имѣютъ внѣшнія доказательства, но какъ зналъ свои ощущенія — несомнѣнно, но не видно. Знаю я одинъ характерный эпизодъ изъ ихъ жизни за это время. Вѣдь чтобы понятно было послѣдующее, надо дать понятіе объ ихъ чувствахъ.

Одинъ разъ она поѣхала въ городъ. Нужны оказались тѣ вещи, которыя, вы знаете, всегда нужны дамамъ, до зарѣзу нужны. Онъ, художникъ, долженъ былъ особенныя деревца на пруду дописывать.[48] Она поѣхала. Очень спѣшила. Очень хороша была собой, онъ говорилъ. И она раза два между разговора упомянула, что ей скучно дѣлать порученіе художника въ городѣ, давая понимать, что онъ на дачѣ.

Вдругъ на него нашло сознаніе, что все кончено. Она измѣнила. Онъ пошелъ къ художнику; его сожитель сказалъ, что онъ въ ночь уѣхалъ въ городъ.[49] Тутъ вспомнились ему поѣздки въ городъ частыя, въ пыль, безъ достаточныхъ предлоговъ.[50]

Стало быть, все уже было. Она уже сдѣлала такъ, какъ ей по здравому разсудку слѣдовало сдѣлать.[51] Онъ не могъ усидѣть дома и поѣхалъ въ городъ. И не просто поѣхалъ, а взялъ ривольверъ, чтобъ убить ее и его.

Это страшное рѣшеніе пришло ему какъ самое естественное. Но вышло совсѣмъ другое. Они встрѣтились на дорогѣ. Онъ увидалъ ее еще издалека. Она возвращалась домой свѣжая, веселая, довольная. И въ первую минуту встрѣчи онъ увидалъ на ней то сіяніе счастья, которое было для него всегда главнымъ внутреннимъ доказательствомъ ея измѣны. Когда она увидала его, она улыбнулась, ему показалось — насмѣшливо (надъ нимъ смѣется и съ нимъ), но сейчасъ же выразила безпокойство.

— Что съ тобой. Куда ты?

Онъ хотѣлъ солгать, но не могъ. Онъ сѣлъ къ ней въ пролетку и раздавилъ картины, которыя она везла. Это разсердило ее. Какъ будто она имѣла еще право сердиться.

— Что съ тобой? Что ты какъ шальной?

— Я не могу такъ больше.

Они вышли и пѣшкомъ пошли до дома.

— Я измучался.

— Ахъ, это Леонидъ Николаевичъ? Полно, какъ тебѣ не совѣстно.

И началось. Въ губахъ радостная игра улыбки, которую не въ силахъ сдержать. И насмѣшки и не увѣренія, она не хотѣла спуститься до увѣреній. Какъ можно думать и мучаться такимъ вздоромъ? Такъ все хорошо. Зачѣмъ портить жизнь?

— Ну, если тебя мучаетъ, я не буду видѣть его. Хоть это глупо, унизительно для меня. Но какъ хочешь, мнѣ дороже всего ты, твое спокойствіе.

А она уже измѣнилаему и хотѣла продолжать измѣнять. Но онъ повѣрилъ ей, и никогда она такъ прекрасна не казалась ему. Никогда онъ такъ страстно не любилъ ее.[52] Онъ въ первый разъ,

взявъ пистолетъ, далъ ходъ звѣрскому чувству, и усилилось другое звѣрское чувство. Оно одно, только съ другого конца.

Этотъ эпизодъ кончился. Художника она явно не видала больше, да онъ уѣхалъ. И жизнь пошла какъ будто лучше. Но все тоже карауленье другъ друга.[53] Но годъ прошелъ хорошо, ревности и поводовъ къ ней не было. Только были ссоры и тѣже иногда отчаяніе у него, раскаяніе, зачѣмъ онъ навязалъ себѣ на шею эту муку, попытки избавиться и сознаніе, что погублена жизнь, надо тянуть до конца, и тѣже примиренія и сближенія. Но внутренней связи никакой. Каждый смотрѣлъ на другого какъ на существо, которое ему нужно, на которое онъ имѣлъ права, но которое своихъ правъ не имѣетъ.

Жили они еще годъ. Но тутъ наступилъ тотъ самый экзаменъ, на которомъ ему надо было показать, какъ вы изволите говорить, что какъ легко по здравому разсудку, по свободѣ разойтись, чтобъ никому не было хуже, а всѣмъ было лучше. Какъ можно пріятнѣе и лучше.

Вотъ такъ-то и шло дѣло еще[54] годъ. Родился еще ребенокъ. Увеличивались и привычка, и прелесть женатой жизни, и страданія. И кажется, непропорціонально. Если бы тогда вы видѣли его, вы бы не сказали, что онъ несчастенъ, онъ самъ бы не сказалъ этаго про себя. Какъ человѣкъ съ началомъ губительной болѣзни узнаетъ весь ужасъ своего положенія послѣ, когда болѣзнь разразилась. То, что его мучало больше всего, про то-то и нельзя было говорить, особенно съ самымъ близкимъ человѣкомъ, съ женою. Онъ послѣ уже говорилъ мнѣ, что мученіе увеличивалось тѣмъ, что онъ не зналъ, его ли этотъ послѣдній ребенокъ или того бѣлаго художника, который писалъ на пруду деревья; то онъ былъ увѣренъ, что да, то былъ увѣренъ, что нѣтъ. Бѣдствовалъ онъ ужасно. А отчего бѣдствовалъ? Оттого, что его супруга была для него только, только сладкій, вкусный кусокъ, который онъ ѣлъ, и чѣмъ слаще былъ кусокъ, тѣмъ яснѣе ему было, что непремѣнно этотъ сладкій кусокъ хотятъ съѣсть и съѣли отчасти или рано или поздно съѣдятъ другіе. Ѣздили они заграницу. Все будто бы она развивалась. А собственно одно и у ней было. Она знала, что она сладкій кусокъ, и надо увеличивать, поддерживать и

сохранять его сладость. Такъ и дѣлала.[55] Что жъ, это особенная была натура, мелкая, ничтожная? Нисколько. Это былъ звѣрь, какъ звѣрь, хорошій звѣрокъ, ласковый, хитрый, красивый и умный.[56]

Ну вотъ-съ, продолжали они жить примѣрными супругами. И вотъ случилось, поѣхали они на лѣто въ деревню къ его брату, совсѣмъ въ другой сторонѣ, гдѣ была дача. Онъ началъ заниматься агрономіей. Было дѣло въ серединѣ лѣта.[57] У ней были знакомыя сосѣдки: женщина врачъ — славный человѣкъ — тоже о свободѣ толковала. Приходитъ онъ разъ домой изъ сада за забытыми черенками, — онъ прививалъ, — и видитъ, она идетъ домой.

— Откуда ты?

— Я гуляла?

— Гуляла?

Смотритъ, сіяетъ ея лицо. Такъ сіяетъ, какъ сіяетъ только отъ любви, отъ[58] звѣрской. Вернулся онъ домой, нашелъ докториху, слово за слово, и разсказала она ему, что недѣлю тому назадъ пріѣхалъ художникъ и живетъ у священника. Пришла обѣдать. Хочетъ удержать сіянье и не можетъ. Такъ хороша, какъ никогда не была. Моя она,[59] а не я причиной этаго сіянья, а онъ. Не сталъ ничего говорить и тоже, какъ звѣрь, какъ тигръ, скрылъ все и только проще, естественнѣе былъ. И такъ и оставилъ. Моя, но не моя, еще слаще она показалась ему. Не моя, но моя. Онъ что больше любилъ, то больше ненавидѣлъ. И ненависть перерастать стала. Онъ жилъ и стерегъ. Художникъ не показывался.[60] Что онъ перестрадалъ! Онъ ничего не зналъ, но видѣлъ, что она знаетъ, что онъ тутъ, и видитъ его. Упомянуть его имя онъ не могъ. Такъ прошла недѣля. Онъ объявилъ, что ѣдетъ въ городъ на сутки, и уѣхалъ. И, разумѣется, отослалъ лошадей и вернулся домой вечеромъ, ночью и видѣлъ самъ, какъ онъ бокомъ, оглядывая[сь], подошелъ къ балконной двери, поколебался и быстро шмыгнулъ. Нѣтъ, ножъ садовый не хорошъ. Я вбѣжалъ къ себѣ, у меня былъ кинжалъ. Да. Я не помню, какъ я вбѣжалъ. Да, мою, мою жену, мою! Онъ выскочилъ въ окно. На ней была одна

рубашка, она подняла обнаженныя руки и сѣла на постели. Да! Какъ же, отдамъ я свое! Я подбѣжалъ и воткнулъ кинжалъ съ низу и потянулъ кверху. Она упала, схватила за руку меня. Я вырвалъ кинжалъ руками. Кровь хлынула. Мнѣ мерзко стало отъ крови ея.

— Гадина, пропади, — и я[61] кулакомъ ударилъ ее по лицу и вышелъ къ горничной и къ слугѣ.

— Подите, скажите уряднику. Я убилъ жену.

Я сѣлъ у себя и выкурилъ папироску. Докториха пришла.

— Подите къ ней.

— Зачѣмъ?

— Подите.

— Умретъ?

— Да.

Что-то дрогнуло во мнѣ. «Ну, и лучше». Я подошелъ къ двери. Открылъ. Она лежитъ, изуродованное лицо, и распухла, и посинела щека и глазъ. Боже мой! Что я сдѣлалъ. Я только что, самъ не зная зачѣмъ, хотѣлъ упасть на колѣни, просить чего-то. У! Она поманила.

— Прости меня, прости, — сказала она.

Я молчалъ.

— Я не могла, я не знала. Я гадкая, но я не виновата, право, не виновата. Прости. Но неужели я умру? Неужели нельзя помочь? Я бы жила хорошо... Я бы... искупила.

Откуда она взяла эти слова? Но ничего нельзя было сдѣлать. Она умерла, меня судили. Я Позднышевъ. И оправдали, скоты. Такъ вотъ что. Вотъ и перенесите. А что старикъ вретъ.

— Да вѣдь старикъ это самое и говоритъ, — робко сказалъ господинъ съ хорошими вещами.

— Старикъ! У! Да, онъ это и говоритъ, и я это говорю. Только на ея одрѣ я полюбилъ. Какъ полюбилъ! Боже мой, какъ полюбилъ!

Онъ зарыдалъ.

— Да не она виновата. Будь она жива, я бы любилъ не ея тѣло и лицо, а любилъ бы ее и все простилъ бы. Да если бы я любилъ, и нечего бы прощать было.

На слѣдующей станціи онъ вышелъ. Дѣвочка, которая была съ нимъ, была та ея дочь, про которую онъ не зналъ, онъ ли былъ ея отецъ.

[Третья (незаконченная) редакция «Крейцеровой сонаты».]

Мы ѣхали цѣлый день. Вагонъ нашъ 3-го класса былъ почти пустой. Входили и выходили проѣзжающіе на короткіе переѣзды, но изъ постоянныхъ пассажировъ были только мы двое: я и этотъ притягивающій мое вниманіе, не старый, сильный, не красивый, высокій господинъ въ тепломъ пальто, очень поношенномъ, но, очевидно, когда то дорогомъ и модномъ, и въ круглой шляпѣ.

Человѣкъ этотъ былъ замѣчателенъ, во первыхъ, тѣмъ, что онъ везъ съ собою хорошенькую дѣвочку 3-хъ лѣтнюю и ухаживалъ за ней, какъ мать, именно какъ мать, а не какъ отецъ: онъ не нѣжничалъ съ нею, не суетился, а видно было, какъ мать, помнилъ ее всякую секунду, и дѣвочка была къ нему довѣрчива и требовательна, какъ бываютъ дѣти къ нянямъ и къ матерямъ, которыми они вполнѣ завладѣли. Вовторыхъ, этотъ человѣкъ и самъ собою былъ замѣчателенъ: не тѣмъ только, что, несмотря на его небогатую одежду и вещи въ истертомъ чемоданѣ и въ узлѣ съ собой въ вагонѣ, и 3-й классъ, и чайникъ съ собой, онъ по всѣмъ пріемамъ своимъ, потому, какъ онъ сидѣлъ, какъ держалъ руки, главное потому, какъ онъ ни на что не смотрѣлъ, а видѣлъ, что дѣлалось въ вагонѣ, какъ онъ учтиво сторонился передъ проходящими, помогалъ тѣмъ, кому нужна была помощь, по всему видно было, что это человѣкъ нетолько благовоспитанный, но умный и многосторонний. Но не это одно. Главная черта его, невольно притягивающая къ нему вниманіе, была та, что онъ, очевидно, дѣлалъ все, что дѣлалъ, для себя, а не для другихъ, что ему совершенно все равно было, какимъ онъ кажется другимъ. Его довольно странное положеніе однаго мущины съ ребенкомъ, обращавшее на него вниманіе, нисколько не стѣсняло его. На обращенія къ нему онъ

отвѣчалъ учтиво, но просто и коротко, какъ бы не желая сближаться ни съ кѣмъ. За предложеніе помощи женщинъ благодарилъ, но ему ничего не нужно было: все у него было обдуманно, прилажено, такъ что онъ никому не мѣшалъ,[62] и ему ничего не нужно было. Наружность его была[63] такая: хорошо, тонко сложенный, высокій, очевидно очень сильный (видно, бывшій гимнастъ), немного сутуловатый, ранне лысый, съ маленькой, не сплошной полурыжей-получерной бородкой, оставлявшей незаросшими части лица подъ углами губъ, съ правильнымъ носомъ, толстыми губами и карими, быстрыми и усталыми глазами, изъ которыхъ одинъ косилъ. Быстрыя, сильныя и красивыя всѣ движенья, большія красивыя жилистыя руки. Во всемъ чувствовалась сдержанная нервная напряженность.[64] Ни колецъ, ни pince-nez, ни папиросъ, ни книги — у него ничего не было. Онъ оправлялъ спящаго ребенка, или ухаживалъ его, или становился у окна и сидѣлъ, глядя прямо передъ собой или въ окно и, очевидно, думалъ и хорошо, важно, серьезно думалъ, только изрѣдка отрываясь и взглядывая на дѣвочку, и бѣглымъ взглядомъ, мгновенно охватывавшимъ все на лицахъ[?] въ вагонѣ. Когда онъ встрѣчался со мной глазами, онъ тотчасъ же отводилъ взглядъ, какъ будто понималъ меня и то, что я наблюдаю его. И это ему было какъ будто не то что непріятно, но докучливо. Меня онъ очень занималъ. Мнѣ хотѣлось заговорить с нимъ, но именно потому, что мнѣ очень этаго хотѣлось, совѣстно было и не хотѣлось начать съ какой нибудь глупости. Онъ ѣхалъ до Кіева, судя по вагону, и я тоже, и я надѣялся, что найдется случай.

Дѣло шло къ вечеру, кондукторъ зашелъ зажечь фонари. Онъ посторонился на своей лавочкѣ, и когда у кондуктора не закрывался фонарь, всталъ и очень ловко и скоро поправилъ задвижку и спросилъ, гдѣ можно взять воды горячей въ чайникъ. Кондукторъ сказалъ, что мы подходимъ къ буфету. Онъ досталъ изъ подъ лавки жестяной чайникъ, развязалъ узелокъ, засыпалъ чай и всталъ, но въ это время дѣвочка его проснулась и заплакала.

Въ вагонѣ почти всѣ спали, кромѣ меня. Онъ оглянулся на всѣхъ и встрѣтился глазами со мной.

— Я не выйду, — сказалъ я. — Я побуду съ ней.

Онъ улыбнулся прекрасной, умной, доброй, чуть замѣтной улыбкой. И какъ это часто бываетъ, этотъ короткій взглядъ, улыбка показала намъ наше родство духовное, освободила, такъ сказать, связанную теплоту. Онъ понялъ, что я просто желаю ему быть полезенъ, а я понялъ, что ему это пріятно.[65]

— Нѣтъ, ужъ если вы хотите, то возьмите воды горячей — вотъ деньги. — Онъ подалъ мнѣ пятакъ.

Я взялъ чайникъ и деньги и пошелъ на станцію. Когда я вернулся, дѣвочка ужъ успокоилась и заснула. Онъ очень благодарилъ меня и предложилъ мнѣ напиться чаю. Я согласился. Мы сѣли рядомъ съ дѣвочкой на пустыя лавочки, передъ собой поставили чай. Онъ казался именно тѣмъ самымъ, какимъ я предполагалъ его, благовоспитаннымъ, образованнымъ и тонкимъ, но очень сдержаннымъ человѣкомъ: онъ какъ будто старался не выдать себя и съ особенной скромностью, которую я сначала принялъ за гордость, старался избѣгать фамильярности, т. е. того, что могло бы вызвать насъ на личныя откровенности.

Разговоръ нашъ начался, какъ часто начинается въ желѣзной дорогѣ, въ родѣ того что въ маскарадѣ: мы, разговаривая объ общихъ предметахъ, о поклоненіи мощамъ въ Кіевѣ, о воспитаніи, о спиритизмѣ, осторожно выщупывали другъ друга, т. е. преимущественно я. Онъ же охотно и умно, не пошло, а своеобразно говорилъ обо всемъ, но о себѣ не говорилъ и обо мнѣ не желалъ знать. Но, не смотря на это, странно сказать, я просто полюбилъ этаго человѣка, нѣжно полюбилъ, и мнѣ казалось, да я и увѣренъ, что и онъ также. Мы иногда такъ улыбались, такъ смотрѣли въ глаза другъ другу, какъ смотрятъ влюбленные. Да и прекрасные были у него глаза и въ особенности улыбка. Только сдержанность была въ немъ большая, удерживающая и меня.

Онъ ошибся, много засыпалъ чаю, и чай вышелъ крѣпкій, какъ пиво. Оттого ли, что намъ обоимъ хотѣлось пить, или что мы разговорились и, не замѣчая, пили этотъ чай, мы напились оба (по крайней мѣрѣ про себя я это знаю) пьянымъ чаемъ. Я почувствовалъ, что въ вискахъ у меня стучитъ, сердце бьется

быстро, мысли съ большей ясностью возникаютъ и смѣняются и, главное, что говоришь и слышишь, представляется въ такихъ живыхъ образахъ, какъ будто это все видишь передъ собой. Онъ, вѣроятно, испытывалъ тоже самое и даже замѣтилъ это. Особенному нервному возбужденію, вѣроятно, содѣйствовало и тряска, и шумъ вагона, и темнота.

Мы такъ оживились, опять я особенно, — я былъ тогда совсѣмъ молодъ и влюбленъ, мнѣ было 28 лѣтъ и ѣхалъ въ семью моей будущей жены сдѣлать предложеніе, — я такъ оживился, что совсѣмъ уже забылъ про свое любопытство узнать о томъ, кто и что онъ. Мнѣ казалось, что я уже зналъ его вполнѣ, зналъ его душу и люблю ее, такъ что подробности внѣшнія о его жизни ничего ужъ не могли мнѣ прибавить. Мы говорили о воспитаніи. Я высказалъ свой взглядъ на то, что вся судьба человѣчества зависитъ отъ воспитанья, что если бы люди только понимали всю важность этаго дѣла и подчинили бы ему все остальное, и внѣшнюю, и внутреннюю политику, и экономическія условія, и только тогда бы возможно было поставить воспитаніе такъ, какъ оно должно стоять. А то что же теперь воспитанье, когда дѣтей ставятъ — именно въ виду воспитанія, въ самыя невоспитательныя условія; везутъ въ городъ, отдаютъ въ школы къ чужимъ людямъ, имѣющимъ совсѣмъ постороннія цѣли?[66]Онъ слушалъ улыбаясь.

— Да, это такъ, — говорилъ онъ, — но вы забываете...

Но я перебилъ его и продолжалъ свое... Но потомъ остановился и спросилъ:

— Вы хотѣли сказать что-то?

— Нѣтъ, ничего, — сказалъ онъ нахмурившись. — Нѣтъ ничего, а можетъ, забылъ.

— Нѣтъ, вы сказали: «вы забываете».

— Ахъ да, ну да это не стоитъ... Вы не женаты? — вдругъ спросилъ онъ.

— Нѣтъ, но я ѣду жениться, — сказалъ я.

— А! Да то то вы такъ смѣло говорите о томъ, какимъ должно быть воспитаніе, — сказалъ онъ, грустно улыбаясь. — Вы хотите провести его въ жизнь?

— И проведу, разумѣется, проведу. Если у меня будутъ дѣти. Впрочемъ, я говорю, будутъ. А еще и не женатъ.

Я покраснѣлъ, замялся. Онъ улыбнулся.

— Вы простите меня, что я спросилъ васъ.

— Ахъ нѣтъ, я радъ, вѣдь это странно сказать, — сказалъ я смѣло подъ вліяніемъ того же чайнаго возбужденія, — но вотъ вы человѣкъ, котораго я вижу первый разъ, и мнѣ пріятно говорить вамъ про самыя задушевныя дѣла, потому что я вижу, что вы понимаете. Отчего же не сказать? Я ѣду жениться. Да, я люблю одну дѣвушку. И вѣрю, что она меня любитъ. А если есть любовь, то будетъ и любовь къ дѣтямъ, а будетъ любовь къ дѣтямъ, она и укажетъ то, что нужно для блага дѣтей, а не поведетъ по этимъ битымъ дорожкамъ...

Сказавъ это, я взглянулъ на него: онъ смотрѣлъ на меня не то что улыбаясь, но весь преобразившись. Все лицо его свѣтилось любовью. Онъ смотрѣлъ на меня, какъ мать смотритъ на любимаго ребенка, радуясь на него и жалѣя его. Онъ, очевидно, любилъ меня. Я поглядѣлъ на него и остановился и даже єпросилъ:

— Что?

— Что? — повторилъ онъ. — Я только хотѣлъ спросить, что понимать подъ любовью? — сказалъ онъ.

— Что понимать, — сказалъ я, улыбаясь отъ радости его участія. — Любить — все отдать, объ одномъ думать, однаго желать. Я ѣду, я говорю съ вами, а думаю о ней. Да чтоже, вы меня не знаете и не узнаете, а тѣмъ более ее.

Его грустное, доброе, любящее меня лицо, изъ котораго смотрѣли на меня, притягивая къ себѣ, его глубокіе сѣрые глаза, еще более возбуждало меня.

— Тотъ, кто не зналъ этаго чувства, тотъ его не можетъ, не можетъ понять, — говорилъ я. — Я не знаю, красива, некрасива она (всѣ говорятъ, что красива), но знаю, что вотъ я говорю съ вами, и я вижу ее, ея улыбку, слышу ея голосъ, вижу ея душу. Это пошло, но это то самое, что называется сліяніемъ душъ... — Я остановился. — Вы вѣрно знаете это чувство?

— Да хорошее ли это чувство? — сказалъ онъ.

— Это чувство? — вскрикнулъ я. — Какъ хорошо ли? Да одно только и есть хорошее. Одно чувство, которое даетъ намъ образецъ высшаго счастья, вѣчнаго. Только то и хорошее чувство, которое похоже на это.[67]

— Ну, а уступили бы вы ее другому, если бы знали, что она будетъ счастлива съ другимъ?

— Да развѣ можно это знать? — сказалъ я, отвиливая отъ вопроса.

— Нѣтъ, я помню, гдѣ то читалъ: еслибы человѣкъ истинно любилъ женщину, онъ ни за что въ мірѣ не пожелалъ бы быть ея мужемъ, еслибы не зналъ навѣрно, что онъ самый лучшій мужъ, котораго она можетъ имѣть. Такъ ли вы любите?

Меня поразило это замѣчаніе.

— Положимъ, — сказалъ я всетаки, — что есть доля эгоизма въ любви, но это не мѣшаетъ любви быть высочайшимъ чувствомъ.

— Ахъ, какое это ужасное чувство! — сказалъ онъ для себя больше, чѣмъ для меня.

— Какъ ужасное![68] — сказалъ я.

— Да, ужасное, ужасное, ужасное, — сказалъ онъ, и глаза его заблестѣли гнѣвомъ на кого то. И тотчасъ же онъ поглядѣлъ на дѣвочку и утихъ. — Любите, — сказалъ онъ потомъ, — любите того, кого любите, отдавайтесь этому чувству, но не восхваляйте его, не воображайте себѣ, что это чувство лучше, чѣмъ оно есть.

— Но когда я чувствую, я знаю, что у меня крылья, я люблю черезъ нее всѣхъ, и васъ, и всѣхъ.

Онъ ничего не отвѣтилъ, и мы замолчали. Трутутумъ, только подрагивали подъ нами колеса по рельсамъ.

— Нѣтъ, нельзя этаго передать другому, — сказалъ онъ.

— Чего?

— Того, в чемъ обманъ, въ чемъ ужасъ этой вашей любви.

— Да въ чемъ же?

Онъ не отвѣчалъ, а все пилъ свой чай и предложилъ его мнѣ. Я думалъ, что онъ хочетъ прекратить разговоръ, такъ долго мы молчали, но онъ вдругъ поставилъ стаканъ.[69]

— Въ чемъ ужасъ? — повторилъ онъ.

— Я не понимаю.

— А поймете, когда узнаете, кто я.

Я вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Я Степановъ. Леонидъ Степановъ.

— Я не знаю.

— Я Степановъ, судившійся 4 года тому назадъ въ Казанскомъ окружномъ Судѣ, — сказалъ онъ, глядя на меня твердымъ, но холоднымъ взглядомъ.

— Да, Степановъ, но нѣтъ, я не знаю, я не слыхалъ, не читалъ.

— А я думалъ, что это дѣло надѣлало столько шума, что вы знаете.[70]

— Но что общаго съ нашимъ разговоромъ? — сказалъ я.

— Что общаго? Дѣло это — исторія любви, самой, по вашему, возвышенной, хорошей любви.

Я молчалъ.

— Да, вамъ нужно это знать. Можетъ быть, вы не захотите знать меня послѣ, но мне все равно, я для васъ скажу и для себя.[71]

— Женился я, какъ женятся всѣ такъ называемые порядочные люди нашего круга, то есть обманывалъ, лгалъ и себѣ и другимъ, и меня обманывали, и мнѣ лгали, и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ увѣренъ,[72] что женясь, я дѣлаю что то очень прекрасное и, главное, съ раннихъ лѣтъ я лелѣялъ мечту о семейной жизни. Жена моя должна была быть верхъ совершенства. Любовь наша взаимная должна была быть самая возвышенная. Чистоты наша семейная жизнь должна была быть голубиной. Думать я такъ думалъ и лѣтъ 10 жилъ взрослымъ человѣкомъ, не торопясь выбирать предметъ любви, не торопясь излить на какую нибудь женщину всѣ богатства моего сердца. Я приглядывался ко многимъ, но все было не то, все было далеко отъ того совершенства, которое было достойно меня.[73] Это еще лучшее воспитаніе, такое, при которомъ хотя въ воображеніи представляется идеалъ чистой, любовной, поэтической семейной жизни. У меня былъ такой идеалъ, потому что и родители мои были хорошіе люди, и воспитанъ я былъ матерью, вдовой, чудесной женщиной, всегда въ

удивительномъ свѣтѣ рисовавшей мнѣ семейную жизнь. Такъ я жилъ и мечталъ, но не торопился, какъ я вамъ говорилъ, жениться и велъ, по русски называя, распутную жизнь (она и не можетъ быть иною для 30-лѣтняго, здороваго, не связаннаго ничѣмъ богатаго человѣка), но которую я, въ сравненіи съ безобразнымъ развратомъ, окружающимъ меня, считалъ хорошею, чистою. Я жилъ спокойно въ тихомъ, пріятномъ развратѣ и мечталъ о возвышенной любви и чистой семейной жизни. Женщины, съ которыми я сходился, были не мои, и мнѣ до нихъ не было никакого дѣла, кромѣ удовольствія, которое онѣ мнѣ доставляли; но будущая жена должна была быть моя, и эта то моя должна была быть все, что есть святаго и прекраснаго, потому что она будетъ моя жена. И мнѣ тутъ не казалось ничего невозможнаго. Такъ шло до 30 лѣтъ. Въ 30 лѣтъ я нашелъ ту, которая должна была осуществить все то, о чемъ я мечталъ.[74] Это была одна из 3-хъ дочерей однаго средняго чиновника. Я рѣшилъ въ одинъ вечеръ, послѣ того какъ мы ѣздили въ лодкѣ и уже ночью, ворочаясь домой, сидѣли на кормѣ и говорили о томъ, что жизнь должна быть также хороша въ насъ, какъ она хороша въ природѣ, я рѣшилъ, что это *она.* Понялъ я, что это она, мнѣ казалось, потому, что я увидалъ ея душу, удивительную душу, достойную меня, увидалъ ее въ улыбкѣ чуть замѣтной, во взглядѣ, во всей ея граціозной фигуркѣ съ очень тонкой таліей, широкими плечами и бюстомъ и маленькой головкой съ тяжелыми волосами.[75] Я[76] понялъ,[77] что она понимаетъ меня, понимаетъ все, все, что я чувствую и думаю. И вернулся домой въ восторгѣ и рѣшилъ что она верхъ совершенства и достойна быть *моей* женой.[78] Достойна быть моей! Ведь это прелесть, что за безуміе! Возьмите какого хотите молодаго человѣка — хоть вы — и въ трезвыя минуты оцѣните себя. Ну, я, по крайней мѣрѣ, оцѣнивалъ себя въ трезвыя минуты и зналъ очень хорошо, что я такое, такъ себѣ человѣкъ, такой же, какъ милліоны, — даже скорѣе плохой, чѣмъ хорошій, безъ особеннаго дарованія, завистливый, слабый, безхарактерный, увлекающійся, бѣшенный въ припадкахъ гнѣва, какъ всѣ слабые люди. И вотъ я то, такой человѣкъ, находя въ ней всѣ высшія совершенства и именно потому, что она

заключаетъ ихъ въ себѣ, я считаю ее достойной себя. Главный обманъ того безумія, который мы называемъ любовью, не тотъ, что мы придаемъ предмету любви несвойственныя ему добродѣтели, но себѣ въ это удивительное время безумья. — Ахъ! Ахъ! Ахъ! мы живемъ по уши въ такомъ омутѣ лжи, что, если насъ не треснетъ по головѣ, какъ меня, страшное несчастье, мы не можемъ опомниться. Вѣдь что это за путаница лжи — нашъ *честный* бракъ. Предполагается, и это le secret de la comédie,[79] что мущина женится чистый, тогда какъ еще въ гимназіи считается однимъ изъ самыхъ лихихъ молодецкихъ подвиговъ за одно — курить, пить и распутничать. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ мое время. Теперь есть ужъ, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующіе и знающіе, что это не шутка, а великое дѣло. Помоги имъ Богъ. Но въ мое время, да и теперь, вѣдь это повально. Во всѣхъ романахъ до подробностей описаны чувства героевъ, кусты, около которыхъ они ходятъ, но, описывая ихъ великую любовь къ какой нибудь Эленѣ, ничего не пишется о томъ, что было прежде. Всѣ притворяются, что то, что наполняетъ половину жизни нашихъ городовъ и деревень даже, что этаго нѣтъ. И дѣвушки бѣдныя нѣкоторыя вѣрятъ въ это совсѣмъ серьезно по незнанію, а другіе, всѣ родители, желаютъ вѣрить и притворяются, что вѣрятъ. Но женщины — матери, тѣ, съ своимъ практическимъ смысломъ, притворяясь, что вѣрятъ, на дѣлѣ ведутъ своихъ дочерей совсѣмъ обратно. Они знаютъ, что такое тѣ мущины — женихи ихъ дочерей, знаютъ, на какую удочку ихъ ловить; отъ этаго эти Джерси мерзкіе, эти нашлепки на задницы, эти голыя плечи, руки, почти груди. Вѣдь это одинъ сплошной домъ терпимости, только одинъ, признаваемый такимъ, на краткіе сроки, а другой, не признаваемый, — на болѣе долгіе сроки. Вы удивляетесь напрасно. Если люди различны по внутреннему содержанію, то это различіе непремѣнно отразится и во внѣшности, но посмотрите на тѣхъ — не называемыхъ, а на самихъ высшихъ свѣтскихъ барынь: тѣже наряды, тѣже фасоны, тѣже духи, тѣже камни и золото, тѣже увеселенья, танцы и музыка, пѣнье, и ѣда, и питье. Никакой разницы. Строго

опредѣляя, надо только сказать, что проститутки на короткіе сроки обыкновенно презираемы, на долгіе — уважаемы.

Да, но я влюбился, какъ всѣ влюбляются. Я думалъ, что я самъ. А совсѣмъ нѣтъ: это устроили мамаши и портнихи. Мамаши съ катаньями на лодкахъ, портниха съ таліями и т. п.

Заманиванье, ловленіе жениховъ мамашами — вѣдь это другой, всѣмъ извѣстный секретъ. Признаться въ заманиваньи — помилуй Богъ, но вѣдь на этомъ проходитъ вся жизнь семей съ дѣвицами. И родители и дочери въ запуски другъ передъ другомъ только это и дѣлаютъ, ссорятся, соревнуютъ, хитрятъ, мошенничаютъ. А когда сдѣлаютъ и пока дѣлаютъ, показываютъ видъ, что это дѣлается само собой. Не могу безъ злобы говорить про это, потому что все отъ этаго.

Ну, вотъ я и женился. Женился какъ всѣ, то есть сложились извѣстныя обстоятельства: съ одной стороны, меня поймали, съ другой стороны, я самъ влетѣлъ, потому что подошло такое время, т. е. по той же самой причинѣ, по которой я случайно сходился и съ другими женщинами. Но разница была въ томъ, что тамъ я ничего о себѣ не воображалъ хорошаго, а тутъ я за это себя почему то вознесъ до небесъ и почелъ это дѣло чѣмъ то необыкновеннымъ и особеннымъ. Въ сущности же я (если откинуть безуміе), я женился затѣмъ, чтобы избавиться отъ неудобствъ неправильной жизни, имѣть подъ рукой всегда свою жену, чистую, красивую, молодую.

— Нѣтъ, ну какже это возможно?

— Да, если бы мнѣ тогда это сказали, я бы убилъ того. Это было совсѣмъ другое въ моемъ представленіи. Но горькимъ опытомъ я узналъ, что это было ничто иное. Тогда я былъ во всемъ разгарѣ лжи. Но и тогда, я помню, нѣкоторыя подробности сватьбы оскорбили меня. Я почувствовалъ, что что то не то. Вѣдь вы помните, что если женятся по домострою, какъ онъ говорилъ, то пуховики, приданое, постель — все это подробности нѣкотораго законнаго дѣла, освящаемаго таинствомъ. Но у насъ, когда изъ 10 брачущихся едва ли есть одинъ, который вѣритъ въ таинство, когда изъ 100 мущинъ едва ли одинъ есть уже не женатый прежде, какое ужасное значеніе получаютъ всѣ эти подробности: постели, халата, капота, бѣлья,

туалета «jeune mariée»,[80] шоколаду. Ложь ложью, а когда до дѣла, то собачья сватьба и больше ничего. Это немножко оскорбило меня, но ничего, я, какъ и всѣ, просмотрѣлъ это, то есть воображалъ себѣ ложь, а дѣлалъ гнусную правду.

Я женился, и устроилось то, чего я въ дѣйствительности желалъ, вступая въ бракъ, т. е. нѣкоторыя удобства жизни, но того, о чемъ я мечталъ, разумѣется, не было и признака. Я женился для того, чтобы спокойно жить с женою, но пока я не жилъ спокойно съ своей женою, я жилъ съ другими женами, на то время находя это болѣе удобнымъ, и потому невольно сдѣлалъ заключеніе о томъ, что другіе люди, не женившіеся, должны смотрѣть на мою жену, какъ я смотрѣлъ на другихъ. И тутъ начались мученія ревности, не одной ревности, но гордости оскорбленнаго самолюбія и еще негодованія на покушенія противъ моей законной собственности, купленной мною дорогой цѣной. Кромѣ того, очень скоро послѣ моей женитьбы я сдѣлалъ необыкновенное открытіе о томъ, что жена моя, кромѣ своей любви ко мнѣ, даже, какъ мнѣ казалось, въ противоположность этой любви, имѣла свои чувства, привычки, то, что называютъ убѣжденіями, и еще больше неожиданное открытіе (столь же неожиданное и оскорбительное для меня, какъ и то, что она храпѣла), что она сердилась и, когда сердилась, говорила очень ядовитыя мнѣ вещи. Тутъ же она забеременила, начались капризы и ссоры. Я служилъ тогда предводителемъ. На съѣздъ пріѣзжалъ къ намъ товарищъ прокурора, который повадился ѣздить. И у меня началась ревность.

Я, женившись, рѣшилъ быть вѣренъ своей женѣ и, признаюсь, гордился этимъ, гордился тѣмъ, что, будучи 10 лѣтъ развратникомъ, я былъ вѣренъ моей женѣ. О томъ, чтобы она была невѣрна мнѣ, она, *моя* жена, я не могъ подумать безъ ужаса.[81] И потому чувства, которыя вызывало во мнѣ ухаживанье этаго товарища прокурора, были ужасно мучительны. Должно быть, я сталъ непріятенъ. Она стала еще непріятнѣе. И не прошло еще году, какъ я узналъ еще новый, всѣмъ извѣстный секретъ, именно тотъ, что супружеская жизнь 99/100 есть неперестающій адъ и мученія, и что всѣ супруги сговорились скрывать отъ всѣхъ этотъ всѣмъ извѣстный

секретъ. У насъ шелъ адъ, а для людей было похоже на ту жизнь, которую я воображалъ себѣ; но похоже было только снаружи, т. е. тѣ, которые смотрѣли на насъ, могли признавать, что мы жили любовной жизнью, но изнутри это было не такъ.[82] Стычки были безпрестанныя. Слова все болѣе и болѣе жестокія говорились другъ другу. Тогда я не понималъ того, что насъ связывала вовсе не любовь, а нѣчто совсѣмъ противуположное; находили періоды просто злобы другъ на друга безъ всякой видимой причины, подъ самыми непонятными предлогами — за кофе, за пролетку, за ломберный столъ, все дѣла, которыя ни для того ни для другаго не имѣли никакой важности. Я не замѣчалъ тогда, что эти періоды злобы возникали совершенно правильно и равномѣрно, соотвѣтственно періодамъ того, что мы называли любовью. Періодъ любви — періодъ злобы, длинный періодъ [любви][83] — длинный періодъ [злобы].[84] Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были тоже самое чувство, только съ разныхъ концовъ. Такъ шло 12 лѣтъ. Старшему мальчику было 11, дѣвочкѣ 9, еще два мальчика были 7 и 5 лѣтъ. 3-хъ лѣтній былъ послѣдній.

Случилось, что послѣ одной болѣзни жены ей нельзя было рожать. Отношенія наши все время были тѣже отвратительныя. Часто бывали времена, что я говорилъ себѣ въ душѣ: «ахъ кабы она умерла!» и ужасала эта мысль и не могъ ее отогнать. Не знаю, думала ли она тоже. Должно быть. Ссоры бывали жестоки. Потомъ уже узнали силы другъ друга и не доходили до послѣднихъ предѣловъ, но ненависть другъ къ другу кипѣла страшная. Снаружи же все было прекрасно. Мы были вѣрны другъ другу, воспитывали дѣтей и были приличны. Я еще не зналъ тогда, что 99/100 такъ называемыхъ хорошихъ супружествъ живутъ такъ. Я думалъ, что это я одинъ такой несчастный, и скрывалъ, но она была привлекательна и еще больше красива съ тѣхъ поръ, какъ перестала рожать.

Тутъ же я отслужилъ 3-е трехлѣтіе, и рѣшено было для воспитанія дѣтей ѣхать жить въ городъ. Удивительно, какъ все совпадаетъ и въ правильной и даже неправильной жизни. Какъ разъ когда родителямъ жизнь становится невыносимой другъ отъ друга, необходимы и городскія условія для воспитанія дѣтей,

спасающія родителей отъ скуки и ненависти. Переѣхали въ городъ.[85] Такъ называемое воспитаніе дѣтей достигло вполнѣ своей цѣли, чувство мое къ моей собственной женѣ, которое мы называемъ любовью, начинавшее охладѣвать въ деревнѣ, тотчасъ же оживилось въ городѣ, въ особенности ревностью, которую я держалъ въ себѣ и не позволялъ себѣ выказывать. Моя жена возбуждала чувства другихъ, и чувства другихъ возбуждали мои. Когда она пріѣзжала домой въ цвѣтахъ и бальномъ платьѣ, которое она снимала при мнѣ, я чувствовалъ новый приливъ того, что я называлъ любовью къ ней. Но странное дѣло, въ городѣ, при все учащенномъ щекотаніи ревности, это чувство все больше и больше перемѣшивалось съ недобрымъ чувствомъ. Но все было хорошо, и особенныхъ причинъ ревновать мнѣ не было, и *моя* жена вела себя хорошо. Заботилась о домѣ, о дѣтяхъ и веселилась, какъ мы это называемъ.[86] Удивительное дѣло! Я говорилъ себѣ, что люблю свою жену и любимъ ей, мнѣ казалось. Я, напримѣръ, былъ въ горѣ истинномъ, когда она заболѣла, еще въ большемъ горѣ, когда у нея выкрошился одинъ зубъ. Но о томъ, что у нея было въ душѣ, цѣлы ли были ея душевные зубы, я не то что не зналъ, я не хотѣлъ или, скорѣе, не могъ знать, какъ будто что то мѣшало мнѣ знать это. Я, наблюдательный человѣкъ, довольно тонко понимающій людей, ничего не могъ, не хотѣлъ видѣть въ ея душѣ. Движенія ея рукъ, ногъ, пальцевъ, рѣсницъ я зналъ до малѣйшихъ подробностей и все еще и еще изучалъ, но души ея не видѣлъ, не зналъ и не думалъ, что она живетъ. А она жила. И жила сильно, потому что, да, потому что это было мало что прелестная красотой женщина, это былъ человѣкъ нѣжный, добрый. Да, она была прекрасный человѣкъ, но я не видалъ его. Я видѣлъ *мою* жену и только.

Началось это съ музыки, она прекрасно играла на фортепіано. И какъ мы всѣ страдаемъ отъ скуки и спасаемся, какъ умѣемъ, она спасалась музыкой. Пріѣхалъ[87] нѣкто Трухачевской,[88] скрипачъ. Вы думаете, что вы все поняли? Нѣтъ, вы ничего не поняли. Если вы видѣли, какъ умираютъ люди, вы все таки ничего не знаете о томъ, какъ онъ умиралъ,

тотъ кто умиралъ. Надо, чтобъ онъ разсказалъ. Вотъ я и разскажу, да, разскажу все. Вы слушаете?

Лицо стало совсѣмъ другое, глаза жалкіе, совсѣмъ чужіе, носу почти нѣтъ, и усы и борода поднялись къ самымъ глазамъ, а ротъ сталъ огромный, страшный.

— Надо вамъ сказать, что такое было за существо моя жена. Утонченная, съ маленькими руками, ногами, съ правильнымъ носомъ, граціозными движеніями, всегда элегантная и грубая, глупая и невѣжественная до послѣдней степени и вмѣстѣ съ тѣмъ наивная, добрая и честная. Ну, да этого разсказать нельзя, надо было все пережить, какъ я пережилъ. Она была чистая отъ природы, кокетство дѣвичье давно забыто; по немъ ужъ прошло 12 лѣтъ материнской жизни, но безсознательной, нечаянной.

Да, это нельзя такъ разсказывать. Ну вотъ. Сидимъ мы дома одни. Обычный ходъ жизни: встали, напились кофею вмѣстѣ, не побранились, но пошпынялись изъ за пустяковъ. Трудъ привычный — хорошо, но праздность привычная — это мука. Ранней было осенью. Мы зажились въ городѣ. Я не признавался въ этомъ, но мнѣ было невыносимо скучно. Хуже даже: странное дѣло, жена мнѣ прискучила, со мной начало случаться то, чего не было со времени моей женитьбы: я сталъ смотрѣть на женщинъ какъ на женщинъ; я сталъ оглядываться на нихъ и самъ злился на себя и, странное дѣло, на нее за это. Былъ періодъ полнаго охлажденія. Она, милая, ничего не видѣла, не знала этаго. Она просто жила, удовлетворяясь тѣми мелкими заботами жизни, которыя не казались ей мелкими, — она одѣвалась, играла, ѣздила въ гости и принимала гостей, смотрѣла за дѣтьми, училась вязать что то новое, модное. У ней все было просто, твердо, низменно и правдиво. Разъ я вернулся домой со скуки [изъ] клуба. Она сидѣла за столомъ въ гостиной съ меньшей дочерью и учила ее вязать, тетушка раскладывала пасьянсъ. Она спросила, гдѣ я былъ, попросила лошадей на завтра и послѣ всего, когда ужъ я сталъ уходить, вернула меня.

— Ахъ да,[89] пріѣзжалъ Трухачевъ. Я не приняла его.

Трухачевъ былъ одинъ изъ трехъ сыновей сосѣда моего отца, разорившагося, важничавшаго и всегда говорившаго по

французски барина. Мальчики ѣздили къ намъ, потомъ я ихъ потерялъ изъ вида; одинъ какія то аферы дѣлалъ, женился на богатой, гадости какія то дѣлалъ и сгинулъ какъ то. Второй былъ пьяница, билъ квартальныхъ, его или онъ кого то высѣкъ. Ну, однимъ словомъ пропащіе, самаго низкаго и круга, и воспитанья, и взгляда люди. Третій оказался большой талантъ музыкальный. Его крестная мать — богачка отдала его въ консерваторію въ Парижъ, и тамъ онъ пошелъ очень хорошо и въ Европѣ игралъ въ концертахъ на водахъ. Всѣ три были красивые брюнеты съ чѣмъ то еврейскимъ въ типѣ. Я и этаго потерялъ изъ вида. И вотъ онъ явился. Жена была рада послушать его и поиграть съ нимъ. Она игрывала съ наемнымъ скрипачемъ. На другое утро Трухачевъ этотъ явился. Съ трудомъ я могъ узнать черты мальчика, такъ они заросли всѣмъ прожитымъ. И прожитое было не чисто, что то влажное, жирное, нечистое, какъ бы смазанъ онъ саломъ. Особенно влажные глаза, но то, что женщины называютъ не дуренъ, высокій, нескладный, слабый, но не уродливый. Задъ особенно развитъ, какъ у женщины. Очень приличный, этакой заискивающій, но безъ подлости и съ тѣмъ парижскимъ оттѣнкомъ во всемъ отъ ботинокъ до капулевской прически. Простота искусственная и веселость. Такая манера, знаете, про все говоритъ намеками и отрывками, какъ будто вы все это знаете. Были мы когда то на ты. Онъ, вѣрно, хотѣлъ, но я удержался, но ласково принялъ его, особенно для жены. И мысли объ опасности его для жены у меня не было — такъ онъ казался мнѣ ничтоженъ.

— Пріѣзжайте вечеромъ, привозите скрипку.

— Ахъ, я очень радъ.

— Жена славно играетъ, по настоящему хорошо.

И дѣйствительно, я часто удивлялся, откуда у ней это бралось, эта точность, даже сила и выраженіе въ ея маленькихъ, пухленькихъ, красивыхъ рукахъ и съ ея спокойнымъ, тихимъ, красивымъ лицомъ. Я представилъ его женѣ. Онъ поговорилъ о музыкѣ. Онъ уѣхалъ. Вечеромъ играли, несовсѣмъ ладилось, не было тѣхъ нотъ. Но игралъ онъ отлично и былъ въ восхищеніи отъ игры жены. Она оживилась, раскраснѣлась. На той же недѣлѣ онъ у насъ обѣдалъ, два раза,

и одинъ день вечеромъ; кое кто былъ, пріятельницы жены. Они играли. И играли удивительно. Я ужасно любилъ музыку. Теперь я ненавижу ее, не потому что она связывается съ нимъ, а потому что она и прелесть и мерзость. Играли они 2-й разъ сонату Бетховена, посвященную Крейцеру. Какая ужасная вещь это 1-е аллегро. Никогда я не видѣлъ жену такою, какою она была въ этотъ вечеръ. Эти блестящіе глаза, эта строгость, значительность выраженія, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая то, слабая, жалкая и блуждающая улыбка. Одно, что я замѣтилъ, — она почти не смотрѣла на него.

Черезъ два дня у меня былъ съѣздъ мировыхъ судей, да и скука, я поѣхалъ въ уѣздъ. Поѣхалъ спокойный, безъ[90] сомнѣній. Были, какъ всегда, мысли ревнивыя, но я отгонялъ ихъ, не позволяя себѣ оскорблять ее и, главное, себя. Хитрыми подходами однако (не выдавая себя), я далъ почувствовать, что безъ меня не нужно звать Т[рухачева]. Я уѣхалъ. Тамъ на своей скучной квартирѣ я получилъ одно письмо, въ которомъ она пишетъ мнѣ, что тетка хотѣла непремѣнно слышать Т[рухачева] и привезла его, и они опять играли. Въ письмѣ я замѣтилъ осторожность при упоминаніи Т[рухачева] и изысканную простоту. Но я легъ въ постель совершенно спокойный. Мнѣ всегда долго не спалось на новомъ мѣстѣ, но тутъ я заснулъ сейчасъ же. И какъ это бываетъ, знаете, вдругъ толчекъ электрическій, и просыпаешься. Такъ я проснулся и проснулся съ мыслью о женѣ и о Т[рухачевѣ] и о томъ, что все кончено. Ужасъ, презрѣніе, злоба стиснули мнѣ сердце, но я сталъ образумливать себя. Ничего нѣтъ, не было, нѣтъ никакихъ основаній. И какъ я могу такъ унижать ее и себя, себя главное, предполагая такіе ужасы. Молодой человѣкъ ничтожный, что то въ родѣ наемнаго скрипача, извѣстный за дряннаго мальчика, и вдругъ женщина высокаго относительно положенія, мать семейства, моя жена. Что за нелѣпость! — представлялось мнѣ съ одной нашей свѣтской стороны нашей привычной, закоренѣлой лжи, которую я считалъ правдой и которой хотѣлъ вѣрить. С другой же стороны представилось самое простое, ясное: то самое, во имя чего я женился на своей женѣ, то самое, что мнѣ въ ней нужно, то самое нужно и другимъ и этому[91]

музыканту. Онъ человѣкъ не женатый, не только безъ правилъ, но, очевидно, съ правилами о томъ, чтобы пользоваться тѣми удовольствіями, которыя представляются. И между ними связь самой утонченной похоти чувства. Его ничто удержать не можетъ, все привлекаетъ, напротивъ. Она? Она тайна, какъ была, такъ и есть. Я не знаю ея. Это говорилъ здравый смыслъ, но я считалъ, что это ложь, которая мнѣ подсказываетъ унизительное чувство ревности. Я старался заглушить этотъ голосъ, но не могъ. Мало того, что здравый смыслъ мнѣ говорилъ, что это должно быть, во мнѣ возникало какое-то несомнѣнное сознаніе того, что это навѣрное есть. Только теперь я вспомнилъ тотъ вечеръ, когда они играли Крейцерову сонату, и ихъ лица. «Какъ я могъ уѣхать? — говорилъ я себѣ, вспоминая ихъ лица, — развѣ не ясно было, что между ними все совершилось въ этотъ вечеръ, и развѣ не видно было, что не только между ними не было ужъ никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали нѣкоторый стыдъ послѣ того, что случилось съ ними?» Они рѣдко смотрѣли другъ на друга. Но за ужиномъ, когда онъ наливалъ ей воды, какъ они взглянули другъ на друга и чуть улыбнулись! Да, все кончено. Но нѣтъ, это что то нашло на меня. И страшно страдая, я не заснулъ всю ночь. На утро я кое какъ покончилъ дѣла, которыя бросилъ, и уѣхалъ.

Онъ еще разъ былъ утромъ безъ меня. Она была добра, кротка и что то какъ будто знала радостное про себя. Разумѣется, говорить ни про что нельзя было; я и не говорилъ, и она не говорила. Мы оба знали, что насъ мучало, и оба молчали. Собрались уѣзжать въ деревню. Все было уложено. Собирались ѣхать завтра, но оказалось, что неготово пальто дочери. Вдругъ мнѣ стало ясно, что это была хитрость; я не сказалъ, но упрекнулъ въ неакуратности. Стала оправдываться, я упрекнулъ во лжи. Меня упрекнули въ неделикатности. Я вскипѣлъ и потоки[?] упрековъ полили изъ меня. Она не разсердилась, не отвѣчала, а улыбнулась презрительно (только ея любовь и невѣрность мог[ли] дать ей эту силу и эту хитрость) и сказала, что послѣ моего поступка съ сестрой (это былъ мой гадкій поступокъ съ сестрой. Она знала, что это мучитъ меня, и въ это мѣсто кольнула меня) ее ничто отъ меня не удивитъ.

— Ты[92]... — закричалъ я, схватилъ ее за горло и сталъ душить. Потомъ опомнился и сталъ колотить все, что тамъ было въ комнатѣ. Она убѣжала отъ меня. Бывали и у насъ сцены, но такихъ никогда. Мы уѣхали. Узнать я ничего не узналъ, и мы помирились опять подъ вліяніемъ того чувства, которое мы называли любовью, но надрывъ былъ большой. Одинъ разъ я даже признался ей, что ревновалъ ее. Мнѣ стыдно было, но я признался. Боже мой, откуда взялась хитрость у этой женщины? Такъ просто, съ такимъ яснымъ взглядомъ успокаивать меня, жалѣть меня, говорить о томъ, что это немыслимо — измѣнить и для кого? И что кромѣ удовольствія музыки къ такому человѣку развѣ возможно что нибудь въ порядочной женщинѣ? Да, она говорила все это, а ребенка, вотъ этаго самаго, котораго она родила послѣ этаго, она родила отъ него.

Онъ замолчалъ и раза два сряду издалъ свои странные звуки, которые теперь уже были совсѣмъ похожи на сдержанныя рыданія. Онъ помолчалъ, выпилъ залпомъ остывшій стаканъ чаю и продолжалъ.

— Да-съ, такъ я прожилъ 12-ть лѣтъ. Если бы не случилось того, что случилось, и я такъ же бы прожилъ еще до старости, я такъ бы и думалъ, умирая, что я прожилъ хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, какъ всѣ; я бы не понималъ той бездны несчастій и гнойной лжи, въ которой я барахтался.

Послѣ этаго случая съ «нимъ» у насъ какъ будто сдѣлалась передышка. Она стала мягче, больше уступала и хотя я, по мѣрѣ ея уступчивости, сталъ еще злѣе и придирчивѣе, но всетаки было спокойнѣе между нами. Во мнѣ установилось очень опредѣленное чувство презрѣнія къ ней, которое я считалъ самымъ законнымъ. Я рѣшилъ себѣ, что она не человѣкъ, что такое выпало мнѣ несчастье жениться на животномъ в образѣ человѣческомъ, и что же дѣлать, надо было нести. (Я не зналъ тогда изрѣченія Лесинга, который говоритъ, что сужденіе каждаго мужа о своей женѣ такое: была одна скверная женщина въ мірѣ, и она то и моя жена.) Нести же это было мнѣ довольно легко, потому что особенно съ тѣхъ поръ, какъ она перестала рожать, она была очень свѣжая,

красивая и чистоплотная и всегда расположенная къ моимъ ласкамъ любовница. Такъ мы и жили. Рѣшено было съ обѣихъ сторонъ и опытомъ извѣдано, что общенія духовнаго между нами нѣтъ и не можетъ быть. О самыхъ простыхъ вещахъ, которыхъ нельзя не рѣшить единогласно, мы оставались каждый неизмѣнно при своемъ мнѣніи и не пытались даже убѣдить другъ друга. Съ самыми посторонними лицами, и я[93] и она, мы говорили о разнообразныхъ и задушевныхъ предметахъ, но не между собой. Иногда, слушая, какъ она при мнѣ говоритъ съ другими, я говорилъ себѣ: «какова! И все лжетъ». И я удивлялся, какъ собесѣдники ея не видѣли, что она лжетъ. Вдвоемъ мы были почти обречены на молчаніе или на такіе разговоры, которые, я увѣренъ, животные могутъ вести между собой: который часъ? пора спать, какой нынче обѣдъ? куда ѣхать? что написано въ газетѣ? горло болитъ у Маши, послать за докторомъ. Стоило на волосокъ выступить изъ этаго до невозможности съузившагося кружка разговоровъ, чтобы вспыхнуло раздраженіе. Присутствіе 3-го лица облегчало насъ. Черезъ 3-ье лицо еще мы кое какъ общались. Она считала себя, вѣроятно, правой, а ужъ я былъ святъ передъ нею въ своихъ глазахъ. Я увѣренъ, что она думала: какъ бы хорошо было, коли бы онъ умеръ. А я такъ очень часто, въ минуты озлобленія, со страхомъ сознавалъ, что я всей душой желаю этаго. Я привыкъ къ той мысли, что она красивый звѣрокъ, больше ничего, и что съ этимъ звѣркомъ мнѣ надо доживать жизнь и доживать, глядя за этимъ звѣркомъ въ оба. Такъ я и дѣлалъ.

Онъ помолчалъ.

— А! А вѣдь она была человѣкъ, и хорошій человѣкъ. И она и я — мы не хотѣли такъ жить. И не этаго хотѣли, когда женились. Тогда я и не вспоминалъ того, что она была дѣвушкой. Мнѣ казалось, что все то было кокетство, обманъ. А нѣтъ, это было не обманъ.[94] Теперь я гляжу на всѣхъ дѣвушекъ, теперь и ее вспоминаю. Вы знаете еще — удивительная вещь, которая мнѣ открылась теперь только. Знаете что? Дѣвушка, обыкновенная, рядовая дѣвушка какого хотите круга, не особенно безобразно воспитанная, — это святой человѣкъ, это лучшій представитель человѣческаго рода въ нашемъ мірѣ, если

она не испорчена особенными исключительными обстоятельствами. Да и обстоятельства эти только двухъ родовъ: свѣтъ, балы, тщеславіе и несчастный случай, сближеніе съ другимъ мущиной, разбудившимъ въ ней чувственность. Но это случаи рѣдкіе. А рядовая дѣвушка — это лучшее существо въ мірѣ. Да посмотрите, въ ней нѣтъ ничего развращающаго душу, ни вина, ни игры, ни разврата, ни товарищества, ни службы ни гражданской ни военной. Вѣдь дѣвушка, хорошо воспитанная дѣвушка — это полное невѣденіе всѣхъ безобразій міра и полная готовность любви ко всему хорошему и высокому. Это тѣ младенцы, подобнымъ которымъ намъ велѣно быть.[95] Я обсудилъ свое прошедшее влюбленье. Въ немъ было безумное превознесеніе себя и ея, именно ея, надо всѣми, но дѣвушка, какъ дѣвушка, сама по себѣ, ее нельзя не любить. Только дѣло въ томъ, что мы, мущины, входя въ общеніе съ ней, вмѣсто того чтобы понять свою низость, свою гадость, вмѣсто того чтобы стараться подняться до нея, мы ее хотимъ развить, научить. Ну и научаемъ. Я теперь только вспоминаю ее, какою она была, когда я сталъ сближаться съ нею. Помню ея дневникъ, который я почти насильно отнялъ у нея, ея философствованіе, исканіе истины, а главное, ея готовность отдаться другому и жить не для себя. Еще прежде того дня на лодкѣ, когда я еще не былъ женихомъ, я проводилъ у нихъ вечеръ. Были ея сестры и еще одна дѣвушка. Помню, читали «Мертвый домъ» Достоевского — описаніе наказанія шпицрутенами. Кончили главу въ молчаніи. Одна спросила:

— Какъ же это?

Я растолковалъ.

— Да зачѣмъ же они бьютъ, солдаты? — сказала другая. — Я бы на ихъ мѣстѣ отказалась. Всѣ бы отказались.

Жена же моя сидѣла молча, и слезы у ней были на глазахъ. Потомъ, не помню кто, сказалъ какую то глупость, и всѣ защебетали, захохотали, только бы поскорѣе отогнать мучительное впечатлѣніе. Больше всѣхъ хохотала моя жена. У ней былъ чудесный, заразительный смѣхъ. Она рѣдко смѣялась, но когда смѣялась, всѣ смѣялись, не зная чему. Въ этотъ же вечеръ мы остались вдвоемъ, и это было первое почти

признаніе наше въ любви, не высказанное словами. Мы говорили о совершенно постороннемъ, но знали, что мы говоримъ о нашей любви и о томъ, что мы хотимъ соединить нашу жизнь. Я разсказывалъ ей о своей дѣятельности.[96] Она слушала меня и съ своей манерой напряженія вниманія, со складкой во лбу, поднимая кверху голову, какъ бы вспоминая, слегка кивала головой.[97]

— Да, да, — приговаривала она.

Я не успѣвалъ говорить о томъ, какъ я хочу устроить, какъ она уже подсказывала мнѣ. Ей такъ легко и естественно казалось,[98] что моя дѣятельность всегда полезна, важна, благородна. Она[99] готовилась служить мнѣ, вѣря тому, что то, что я дѣлаю, добро. Куда бы я не повелъ ее, она пошла бы за мной. Ну, и куда я повелъ ее? Мнѣ некуда было вести ее. Я никуда не повелъ ее, а остановился съ нею, утѣшаясь радостями любви. Помню, я испытывалъ нѣкоторое чувство стыда за то, что моя дѣятельность далеко не такая, какою она воображала себѣ ее. Страшное дѣло то, что въ нашемъ мірѣ совершается при выходѣ хорошо воспитанной дѣвушки замужъ. Для мущины, какъ это было для меня, это пріобрѣтеніе большихъ удобствъ и пріятностей жизни, для дѣвушки — это начало жизни дѣйствительной, которая была до тѣхъ поръ только въ возможности. Разница главная въ томъ, что мущина можетъ ни послѣ ни до женитьбы ничего не дѣлать, даже дѣлать зло, воображая, что онъ нѣчто совершаетъ; но для женщины это нельзя. Она, хочешь, не хочешь, начинаетъ дѣлать самое великое дѣло жизни — людей, и поэтому она требуетъ, также какъ мущина требуетъ отъ женщины, чтобы она была плодородна, требуетъ, чтобы условія жизни, въ которыхъ она будетъ рожать и ростить дѣтей, были также значительны, опредѣленны и тверды, какъ и ея дѣло. И она, любя перваго мущину, вѣритъ, что это такъ и есть. Я помню мое смущеніе. Я помню, что я чувствовалъ, что ввожу ее въ обманъ, позволяя ей приписывать такое значеніе моей дѣятельности. «А что же, — думалъ я притомъ, — если она такъ думаетъ, можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ это такъ?» Главное же, я думалъ только о томъ, чтобы овладѣть ей. И вотъ я овладѣлъ. И она увидала нетолько

пустоту моей дѣятельности, но, главное, мое отношеніе къ ней, какъ къ игрушкѣ. Знаю я много браковъ, и во всѣхъ одно и тоже. Чѣмъ бы ни занимался въ нашемъ мірѣ мущина: революціей, наукой, искусствомъ, службой, все это игрушки, и люди относятся къ этому какъ къ игрушкамъ, и женщины видятъ это и разочаровываются нетолько въ своихъ мужьяхъ, но и въ своихъ идеалахъ, нужныхъ имъ, чтобы растить дѣтей. Спросите у женщины, чѣмъ она хочетъ видѣть своихъ сыновей. Из 1000 одна скажетъ, *чего она* хочетъ. Но всѣ безъ исключенья скажутъ: «только не то, что былъ мой мужъ». Она разочаровывается въ томъ, что ей казалось въ ея мужѣ, и, напротивъ, увлекается тѣмъ, что дѣйствительно было въ ея мужѣ — чувственностью. Этому одному мы можемъ научить нашихъ женъ и научаемъ. И я научилъ. Да-съ, когда я былъ женихомъ, я стыдился своей несостоятельности и того, что она считала меня лучшимъ, чѣмъ я есть, но потомъ пересталъ и стыдиться. Мы всѣ супруги хотимъ поддерживать другъ друга, а намъ не на чемъ самимъ стоять. Какъ же поддерживать, когда не на чемъ стоять? Все это я вспомнилъ потому, что въ самое послѣднее время, на 13-мъ году нашей жизни, передъ самой катастрофой, какъ я говорилъ вамъ, у насъ было затишье, и мы жили довольно хорошо, духовно отдѣлившись другъ отъ друга. И вотъ, помню, разъ какъ то въ одно и тоже время на обоихъ насъ нашло хорошее расположеніе духа, и мы попытались разбить этотъ ледъ между нами. Но Боже мой! какой страшной толщины выросъ ужъ этотъ ледъ. Мы почти не слыхали другъ друга. Началось это съ разговора о романѣ, который мы читали одинъ послѣ другаго. Она сказала о мущинахъ, о томъ, что они не понимаютъ женщинъ и низко цѣнятъ ихъ, о томъ, какъ разлетѣлись ея мечты. Я сказалъ, что тоже и я испыталъ. Мы взглянули вдругъ въ глаза другъ друга, какъ будто испугавшись сначала того, что переступили заказанную грань, но она ласково смотрѣла на меня. Я продолжалъ:

— Мелочи нарушаютъ единеніе. Да что ходить кругомъ да около? Развѣ мы не знаемъ, что мы отдалены другъ отъ друга?

— А отчего? — сказала она, — отъ того, что ты не вѣрилъ мнѣ.

У насъ начался хорошій разговоръ, но я сказалъ, что причина всему та, что она не хочетъ принимать участіе въ моей жизни. Я теперь ужъ не стыдился, какъ прежде, отсутствія серьезности моей жизни, я выставлялъ ее какъ нѣчто важное. Я сказалъ, что хочу выдти въ отставку, заняться... Еще я не успѣлъ сказать чѣмъ, какъ ужъ на ея лицѣ выразилось уныніе и полное отсутствіе интереса, она не вѣрила мнѣ. Да я самъ себѣ не вѣрилъ. И разсердился отъ этаго. Она упрекнула меня, я ее, и мы разбѣжались въ разныя стороны, хлопая дверями. Это была послѣдняя попытка. Да, послѣднія минуты мы ужъ не выходили изъ узенькаго, узенькаго кружка нашего словеснаго общенія. Въ этотъ ужасный годъ дѣлали операцію сыну, дурацкую операцію: онъ косилъ, такъ ему рѣзали глаза, и остались на дачѣ подъ городомъ.

Все шло по старому. Вдругъ въ одинъ день...

[Варианты к «Крейцеровой сонате».]

№ 1.

— Да, сколько теперь этихъ разводныхъ дѣлъ, — сказалъ господинъ съ хорошими вещами. — У насъ въ Петербургѣ это стало повально.

— Я удивляюсь одному, — сказала дама, — какъ правительство не регулируетъ этихъ дѣлъ. Фактъ существуетъ и совершается, но общество какъ будто не признаетъ его. Все это дѣлается какими-то обходами.

— Да, для многихъ товарищей моихъ это хлѣбъ, — улыбаясь сказалъ господинъ.

— Пора признать существующій фактъ — свободу любви и невозможность подчиненія ея внѣшнимъ формамъ.

— Въ этомъ я не совсѣмъ согласенъ съ вами, какъ вы знаете, — улыбаясь сказалъ господинъ съ хорошими вещами, какъ бы о предметѣ, который уже былъ разобранъ ими, — брачущіеся не могутъ руководиться одной любовью, симпатіей: они по самому существу дѣла вступаютъ во внѣшнія

обязательства, которыя должны быть скрѣплены внѣшними формами. Хоть бы гражданскій бракъ во Франціи.

— Но вѣдь внѣшнія формы не обезпечиваютъ, обезпечиваетъ только внутренняя связь. Внѣшняя связь только обманъ передъ людьми. И то, что теперь такъ часты эти разводныя дѣла, только доказываетъ то, что необходимы, должны выработаться новыя формы.

— Да, сказалъ господинъ, — какъ бы не желая вступать въ разсужденія, — поразительные теперь случаи. Сплошь да рядомъ разводятся, жена выходитъ за другого, и мужъ женится. Прежде это былъ рѣдкій случай, а теперь рѣдко кто не разводится — право. Въ старину этого не было. Не правда ли? — обратился онъ къ старику, смотрѣвшему все время на него.

№ 2.

Старикъ дожидался, когда затихнетъ. Онъ сказалъ:

— Зачѣмъ мучаться? — сказалъ онъ. — Женились встарину и вѣкъ проживали безъ муки. А вотъ нынче поглядишь, какъ всякій пупленокъ вотъ такой уже объ любви, нынче и на рѣдкость чтобъ честно вѣкъ прожили. А все отъ любви отъ этой.

— Да какъ же иначе, какъ не по любви? Вѣдь животныя только безъ любви, — сказала дама, оглядываясь на господина и на меня.

— Понимаю я, сударыня, къ чему вы это клоните, да только неправильно. Жениться надо по закону, законъ принять, а не по любви.

— Да вотъ принимаютъ законъ, да и расходятся потомъ, — презрительно сказала дама.

— Въ комъ страха нѣтъ, тѣ расходятся. А когда страхъ есть, живутъ.

— Да если по старому жену вещью считать да бить, чтобы страхъ былъ, это ужъ нельзя, да и не прочно.

— Зачѣмъ бить? Это напрасно думаютъ, кто не понимаетъ: страхъ надо, да не тотъ. Страхъ Божій, а не плетка.

— Всѣ такъ говорятъ, а посмотрѣть, такъ рѣдко хорошо живутъ.

— Не знаю про другихъ, а про себя скажу: прожилъ вѣкъ съ старухой, и теперь жива. Ничего мы этихъ глупостей не знаемъ. Женили меня 19 лѣтъ. Красоты особенной не было, а дѣвица какъ надобно. Въ 19 лѣтъ все хорошо. У кого зубы есть, все сгложетъ. Ну, и принялъ законъ. Такъ и понималъ, что законъ Божій принимаю, такъ и она — невѣста моя понимала. Ну вотъ и живемъ 53-й годъ. И никакихъ глупостей не было. Потому любви этой, романсовъ, значитъ, не знали.[100]

— Да вѣдь это не отъ романсовъ, а искушенія бываютъ у всѣхъ. Развѣ у васъ и у нея не было? — улыбаясь сказала дама.

— Сказать, что не было. Потому закрѣплено, въ сердцѣ у насъ закрѣплено отъ родителей.

— Да все таки.

— Было, — улыбаясь, сказалъ старикъ. — Было и это, да какъ не поважены мы съ ней, такъ и ничего.

— Что жъ, она васъ ревновала или вы ее?

— И то и другое было. Да все не дошло до грѣха. Запилъ я разъ и сбился съ пути. Запалъ въ сердцѣ грѣхъ. Совсѣмъ погибалъ было, да пришелъ къ ней, покаялся, и развязался грѣхъ.

Дама улыбаясь оглянулась на меня, какъ бы удивляясь милой откровенности старика и приглашая слушать дальше.

— Ну вы ее ревновали? — спросила она.

— Было и это. И тоже Богъ миловалъ. Жилъ прикащикъ у насъ щеголь...

№ 3.

Вѣдь нѣсколько есть такихъ дѣлъ, при которыхъ устанавливается неприличное отношеніе между мущиной и женщиной, которое считается не только приличнымъ, но чѣмъ-то возвышеннымъ и чему препятствовать уже никакъ нельзя, если не хочешь прослыть уродомъ и посмѣшищемъ. Такія дѣла: вопервыхъ, здоровье, медицина, доктора и ихъ заботы, вовторыхъ, свѣтъ, танцы, увеселенія свѣтскія, въ 3-хъ, искусства — прекрасныя, изящныя искусства, т. е. пакость, мерзость. Они же, эти прекрасныя искусства, погубили и меня и ее. Ее, ее

бѣдную! Писать съ натуры — чтожъ тутъ, кромѣ самаго высокаго: она пишетъ, онъ показываетъ. Ну чтожъ тутъ стоять и караулить, и притомъ такъ ясно, что никакихъ интересовъ нѣтъ между ними, кромѣ высокаго искусства.

№ 4.

«Но нѣтъ, она не сдѣлала», думаешь себѣ, а между тѣмъ сейчасъ же послѣ думаешь: можетъ быть, она уже все лѣто въ связи съ нимъ. Такъ это шло все лѣто. Я мучался страшно, и дѣло это ничѣмъ не кончилось. Я такъ ничего и не знаю объ этомъ. Послѣ этого она родила 3-хъ дѣтей, и мы жили благополучно и даже сильной ревности не было. И объ этомъ эпизодѣ я не сталъ бы и говорить, если бы этотъ самый эпизодъ не произвелъ бы того страшнаго внутреннего не разрыва, а обнаженія нашихъ отношеній. Послѣ этого обнаженія оказалось, что насъ связываетъ только одна внѣшняя цѣпь и чувственность. Случилось, казалось бы, пустое обстоятельство, но я помню всѣ его ужасныя подробности. Это былъ первый шагъ къ тому, что случилось послѣ. Это было въ то же 1-е лѣто, когда она не кормила ребенка и по случаю этого живописецъ проклятый

№ 5.

— Да отчего же человѣку поступать какъ животному, а не какъ человѣку?

— А оттого-съ, — закончилъ онъ, что для того, чтобы поступать по человѣчески, много надобно. И не къ тому готовятъ людей въ нашемъ мірѣ. — Онъ такъ взволнованно и горячо говорилъ, что дама испугалась немного, да и всѣ замолчали. — Да съ, если бы мущины и женщины, мужья и жены, точно любили бы другъ друга хоть животной любовью, про которую въ романахъ пишутъ, они бы давно всѣ перерѣзали другъ друга; а то и того нѣтъ. Холодный развратъ, и на улицахъ и въ семьяхъ

одинакій. Они идутъ на развратъ и прощаютъ развратъ, потому что они ниже животнаго.

— Нѣтъ, отчего же? — сказалъ я.

— А отъ того, что такъ есть. Вѣдь все ложь, ложь, вѣдь мы живемъ въ такой сплошной непролазной лжи, что всякую вещь надо открывать. Мы ничего не знаемъ про самихъ себя. Вѣдь мы ниже животныхъ. А какъ храбримся! По домострою былъ бракъ — законъ принять. Онъ не знаетъ, зачѣмъ законъ, но законъ священный, и знаетъ, что отъ него дѣти. Ну, пока держались закона и тѣ, кто держатся, еще хорошо. Но въ нашемъ то мірѣ что?[101] Законъ нарушенъ, не вѣрятъ въ него. Это что Домострой! И одни притворяются для видимости, что вѣрятъ въ бракъ, другіе и не притворяются и прямо говорятъ, что не вѣрятъ, свобода выбора, отношеній. Да вѣдь горе въ томъ, что сходиться надо, хочется. А нѣтъ того, во имя чего сходиться. Остается одна любовь — романсы. И весь міръ полонъ романсовъ. Ну, что же любовь? То самое, что у животныхъ. Но человѣкъ, если не человѣкъ, хуже животнаго. Онъ не доходитъ до животнаго. Закона нѣтъ, и въ большей части случаевъ любви нѣтъ, а есть отправленія, и это называется принципами свободы.

— Но отчего же любовь недостаточна? — спросилъ я.

— Она достаточна, но результаты ея — животная борьба. Отъ того я и говорю, что въ нашемъ мірѣ давно бы жены отравили бы всѣхъ му[жей], если бы любили, и мужья порѣзали бы женъ; а то и того нѣтъ. Есть холодный лживый развратъ.[102]

— Но отчего же?

— А вотъ отъ того самаго, отчего Познышевъ убилъ свою жену.

— Да вѣдь мы не знаемъ, отчего г. Познышевъ убилъ свою жену, — сказалъ господинъ съ хорошими вещами холоднымъ петербургскимъ тономъ требованія ясности и точности въ разговорѣ.

— Я я знаю съ. А! Потому что я самый Познышевъ и есть. Я убилъ. Меня оправдали. Но дѣло осталось какъ есть, и если человѣкъ любитъ по вашему, то рано [или] поздно убьетъ. Да съ. Извините. А! не буду стѣснять васъ.

Онъ ушелъ на свое мѣсто. Всѣ замолчали. Господинъ съ дамой стали шептаться. Я вернулся на свое мѣсто.

— Можетъ быть, вамъ непріятно сидѣть съ убійцей? — вдрутъ сказалъ онъ. — Тогда подите.

Мнѣ до слезъ стало его жалко. Я только пожалъ его руку и не могъ ничего сказать. Онъ понялъ это и не всталъ, но продолжалъ вертѣться на своемъ мѣстѣ, то поправлялъ безъ всякой надобности одѣяло дѣвочки, то перевертывался, то закрывалъ лицо руками и издавалъ свои особенные звуки.

— Ахъ, Боже мой. Вы не хотите спать?

— Нѣтъ. —

— Хотите чаю?

Онъ залилъ себѣ чайникъ и было забылъ про него. Теперь онъ вспомнилъ и предложилъ мнѣ. Мы стали пить.

— Они говорятъ. А тутъ какъ, какъ тутъ они бы сдѣлали?

— То есть о чемъ это вы?

— Да все о томъ же. Какъ бы они разошлись, когда...

— Разумѣется, — сказалъ я, — есть такія условія ужасныя.

— Совсѣмъ нѣтъ, закричалъ онъ, — не особенныя, а это общія условія всѣхъ. Да хотите, я вамъ разскажу? хотите?

— Да, я очень радъ, если вамъ не тяжело.

— Мнѣ? Мнѣ тяжело молчать и думать. А вы поймите. Хотите?

Онъ облокотился руками на колѣни и, сжавъ виски, началъ.[103]

Разойтись по добру по здорову, свобода, права. Все ложь, ложь, ложь. Такъ не бываетъ. А вы тутъ разберите да разойдитесь, когда вы страстно физически любите, когда она хороша,[104] молода, сильна и любила и теперь любит васъ, когда у васъ дѣти, когда у васъ честная семья, которую вы блюли 10 лѣтъ и которой гордитесь, и когда вы эгоистъ, какъ всѣ эгоисты нашего міра, и ничего другого не знаете, кромѣ своего наслажденія, своей гордости, своей любви. Случилось, послѣ 10 лѣтъ семейной жизни, которая людямъ казалась счастливою, приличною, но про внутреннее достоинство которой знали только они одни. Да съ, послѣ 10 лѣтъ такъ называемой счастливой жизни явился въ семью этотъ человѣкъ. Онъ былъ

не виноватъ, онъ тоже былъ то, что долженъ былъ быть. — Онъ... Но нѣтъ надо разсказать съ начала. Но вамъ, можетъ быть, непріятно? — опять сказалъ онъ.

— Нѣтъ, напротивъ. Я не знаю, какое то у меня странно особенное чувство къ вамъ, — сказалъ я. — Я просто полюбилъ васъ и какъ я готовъ вамъ всю душу открыть.

Но онъ не слушалъ меня. Онъ[105] всталъ, покрылъ раскидавшуюся дѣвочку, вернулся, сѣлъ противъ меня, поднялъ голову, закинувъ назадъ, какъ бы вспоминая, потомъ всталъ еще, задернулъ занавѣску у фонаря и опять сѣлъ.[106] Въ это время прошелъ кондукторъ. Онъ сердито, гнѣвно проводилъ его молча глазами и началъ только тогда, когда тотъ ушелъ. Впродолженіи же разсказа потомъ онъ уже ни разу не останавливался и никто, даже вновь входящіе пассажиры, не прерывали его. Только дѣвочку онъ поглядывалъ и изрѣдка поправлялъ, почти не переставая разсказ[ывать]. Во время его разсказа лицо его 20 разъ перемѣнялось совершенно такъ, что ничего не было похожаго съ прежнимъ лицомъ: и глаза, и ротъ, и усы, и борода даже — все было другое — то было прекрасное, трогательное новое лицо, то безобразное, ужасное, ни на что не похожее новое лицо. И перемѣны эти происходили въ полусвѣтѣ, вдругъ: минутъ пять было одно лицо, и нельзя было никакъ видѣть прежняго, а потомъ неизвѣстно [какъ] дѣлалось другое, и тоже нельзя было никакъ его измѣнить.

Вотъ что онъ разсказалъ мне:

— Мнѣ теперь 43 года, а было тогда 30,[107] какъ и вамъ. И также, какъ и вы, я думалъ что только мнѣ одному 23 года, и что всѣ, кто старше, никакъ не могутъ понять, что такое 23 года. Ну да не въ томъ дѣло. Тоже было представленіе о любви. Вамъ кажется, что никто не понимаетъ такъ любви къ женщинѣ, какъ вы, ну а ужъ мнѣ казалось, что никто въ мірѣ никогда не только не испытывалъ, но и вообразить не могъ ничего подобнаго моей любви и того предмета любви, той женщины, которую я буду любить.

Вѣдь мы всѣ такъ воспитаны. Думать я такъ думалъ и не торопился выбирать предметъ любви, не торопился излить на какую-нибудь женщину всѣ богатства своего сердца, но это не

мѣшало мнѣ, какъ и вамъ, я думаю, шалить съ женщинами. Все вѣдь это у насъ идетъ рядомъ. Идеалъ возвышенной любви и самая гнусная гнусность. Право, тѣ лучше, которые ужъ съ одной гнусностью живутъ. Меньше лжи.

Ну вотъ я и жилъ такъ. Семья чопорная, я единственный матушкинъ сынъ, и по французски, по англійски говорю, и мазурку <танцую, и университетъ кончилъ, все какъ надо>. Лелѣю возвышенныя мечты о любви и женитьбѣ, а самъ живу въ тихомъ и приличномъ развратѣ. Женщины, съ которыми я сходился, были не мои, и мнѣ до нихъ не было другого дѣла, кромѣ удовольствія, но въ виду была женщина, будущая жена, уже *моя,* и эта то моя должна была быть все что есть святого и прекраснаго, потому что она будетъ *моя* жена. Ну, да этого я не понималъ, какъ и вы не понимаете. Вышелъ я изъ университета, былъ за границей, <потомъ послужилъ по земству, потомъ бросилъ, пожилъ въ Петербургѣ, скаковыхъ лошадей завелъ. Мать жива была. Идеала совершенства женщины, достойной быть моей, все еще не находилъ, тѣмъ болѣе, что я гордъ былъ, какъ всѣ развращенные люди, и потому прикидывалъ взять жену тамъ, гдѣ не можетъ быть рѣчи объ отказѣ>. Такъ шло до 30 лѣтъ. [Въ] 30 лѣтъ подошли такія обстоятельства, теперь я знаю чисто физическія, что случилось мнѣ встрѣтиться съ дѣвушкой въ деревнѣ у знакомыхъ, видѣть ее въ спектаклѣ. Я зналъ ее прежде, и мнѣ казалось что не она, но тутъ вдругъ она играла служанку въ фартукѣ съ голыми руками по плечи. Мнѣ казалось, что эти руки не при чемъ, но только при свѣтѣ этихъ рукъ и фартучка и еще разныхъ обстоятельствъ я увидалъ вдругъ и ея глаза и улыбку, увидалъ, какъ мнѣ казалось, родственную, высокую, нѣжную душу, которая просилась навстрѣчу мнѣ. Я видѣлъ что между нами начало происходить чудесное. Я думалъ, я испытывалъ чувство, и въ ней отзывались всѣ оттѣнки моихъ мыслей и чувствъ. Да, я рѣшилъ неожиданно, что она достойна быть моей, не я быть ея, но она моей. Въ этомъ все. Достойна быть моей! Вѣдь это прелесть, что за безуміе! Возьмите какого-нибудь молодого человѣка — хоть вы — и въ трезвыя минуты оцѣните себя. Ну я, по крайней мѣрѣ, оцѣнивая себя въ трезвыя минуты, зналъ очень хорошо, что я такъ себѣ

человѣкъ, какихъ сотни тысячъ, даже и гаденькій и развратненькій и слабый и страшно бѣшенный, вспыльчивый, упивающійся своимъ бѣшенствомъ, какъ всѣ слабые люди. И вотъ я-то, такой человѣкъ, находилъ въ ней всѣ высшія совершенства человѣчества и только потому, что она заключала ихъ въ себѣ, считалъ ее достойной себя. Главный обманъ при любви не тотъ, что мы придаемъ предмету любви несвойственныя ему добродѣтели, но себѣ въ это удивительное время. Мы женились, и началась жизнь немного похожая на то, что я воображалъ, но недолго. Она забеременѣла, стала рожать, сама кормила, начались капризы, ссоры. <Я пошелъ въ предводители въ нашемъ уѣздѣ, мы жили въ деревнѣ, и я жилъ честно, то есть вѣренъ былъ>.

№ 6.

— Ну а какже, когда любви нѣтъ къ мужу или къ женѣ, а есть къ другому?

— Это другое дѣло, — сказалъ старикъ. — Это само собой. Только законъ нарушать нельзя.

— Да какже его не нарушать?

— А такъ, терпи.

— Да вѣдь искушенія бываютъ у всякаго. Развѣ у васъ не было? — улыбаясь сказала дама.

— Не сказать, чтобъ не было, — улыбаясь сказалъ старикъ, и въ улыбкѣ его обозначился, странно сказать, веселый, сластолюбивый человѣкъ. — Все бывало. И молодъ былъ и жилъ. Да все таки законъ держалъ, виду не показывалъ. А на дѣтей посмотрю, на зятей или на снохъ. Какъ только они проживутъ, и Богъ ихъ знаетъ. И то уже одна дочь разошлась съ мужемъ.[108]

— Да какже быть? — сказала дама. — Мущинѣ, значитъ, вы позволяете грѣшить, а женщинѣ то какъ?

— Женщина — другое дѣло. Мущина всякіе соблазны долженъ видѣть въ жизни, — сказалъ онъ улыбаясь, — а женское дѣло — что. Сиди, домашнимъ хозяйствомъ занимайся.

— Ну вотъ вы права эти дали мущинѣ, и женщина говоритъ: «и я хочу ихъ».

— Женщинѣ это, сударыня, первое дѣло, безъ надобности, а второе, у ней долженъ страхъ быть. А теперь только ей скажи что, она сейчасъ говоритъ: «а коли такъ — говоритъ — я отъ тебя уйду». У мужиковъ на что — и то эта самая мода завелась. «На — говоритъ — вотъ тебѣ твои рубахи, портки, а я пойду съ Ванькой. Онъ кудрявѣй тебя». Ну вотъ и толкуй.

— Да какже вы хотите дать эти права мущинѣ, а женщина чтобъ была раба? Это ужъ время прошло.

— Эхъ, сударыня, доложу вамъ — всѣ мы люди, всѣ грѣшны. Это понимать надо. Ну чтожъ, ну и ошибся коли мужъ или хоть, скажемъ, грѣшнымъ дѣломъ жена. Ну, побилъ ее. А всетаки соръ не выноси, не срами самъ себя и домъ не разстраивай, а живи какъ надо — по закону. А то, чуть что, сейчасъ: «не могу жить» — и врозь. Мало того, что скверность, примѣръ. И торговля ущербъ отъ этаго несетъ. И государство тоже. Долженъ быть сынъ отечества. Свое горе притаи, а дѣло не разстраивай.

— Нѣтъ, простите меня, — горячо заговорила дама, — ужъ все лучше, чѣмъ такое лицемѣріе. Это лицемѣріе и обманъ. А по моему — все пропади, а нельзя. Я не знаю, какъ муж[ья], а я женщина — и пропадай все, если меня мужъ не любитъ и я не люблю его; не могу я съ нимъ жить. Лучше разстаться.

— Все отъ образованія, — сказалъ старикъ, — жили же прежде.

— Нѣтъ, да какъ же вы скажете, — сказалъ адвокатъ, — развѣ можно мужу простить жену, когда она его обманула?

№ 7.

— Ахъ, мерзавцы! мерзавцы!

— Кто? — спросилъ я.

— Всѣ. Смѣшно отвѣчать такъ, а иначе нельзя. Ну развѣ не мерзавцы родители? Я и тогда и послѣ слышалъ такихъ: что предстоитъ сыну? Сдѣлать несчастіе дѣвушкѣ — дурно, замужняя женщина — тоже не хорошо. Остается одно — домà.

И я первый поведу сына. Я слышалъ сколько разъ такія слова. Но какъ ни храбрился, все таки стыдъ сильнѣе, и никогда отецъ не только не поведетъ, но говорить съ сыномъ не достанетъ силъ. Но правительство. Вѣдь если [въ немъ] есть смыслъ, то оно блюдетъ добрую жизнь гражданъ, и вотъ оно устраиваетъ домà и обезпечиваетъ развратъ для насъ, для гимназистовъ. Нѣтъ, но это все простительно. Но доктора съ своей наукой, утверждающей, что это нужно.

№ 8.

<Помню, товарищъ брату, устроивъ нашу погибель, уѣхалъ, и мы остались одни съ двумя женщинами — моей и братниной. Помню, ничего страшнаго, отталкивающаго, что мнѣ всегда представлялось въ послѣдствіи въ такихъ женщинахъ, я не видѣлъ тогда въ этихъ домахъ. Одна — моя — была русая, рябая, нѣсколько добродушная, глуповатая, высокая, полная женщина, братнина была тоненькая, высокая, съ вздернутымъ носомъ, бѣлокурая, съ очень доброй и тонкой улыбкой. Братъ тоже въ первый разъ познавалъ женщину и былъ въ томъ же размягченномъ состояиіи, какъ и я. Я какъ во снѣ вспоминаю это. Мы сидѣли всѣ 4 полураздѣтые въ маленькой пропахнувшей особеннымъ запахомъ комнатѣ и говорили — о чемъ же? Мы оба говорили — братъ началъ, а я поддерживалъ — о томъ, что имъ надо бросить эту жизнь, пойти хоть въ услуженіе. Братнина — Надежда (звали ее Надежка) отшучивалась, улыбалась, говорила, что это невозможно, и я видѣлъ, она не столько себя при этомъ жалѣла, сколько насъ, брата, что она должна разочаровать его. Но она была радостна. Этого нашего разговора я послѣ него не вспоминалъ до самаго послѣдняго времени. Этотъ эпизодъ записанъ въ моемъ воспоминаніи въ отдѣлѣ стыдныхъ, и я только уже послѣ моего несчастія, перебирая все, нашелъ тамъ этотъ эпизодъ, единственный свѣтлый въ воспоминаніяхъ этого рода, записанныхъ въ стыдныхъ.>

№ 9.

Все мнѣ казалось легко, весело. Мало того: былъ самый главный признакъ настоящаго влюбленія: чувственность совсѣмъ не говорила по отношенію къ ней. Она таилась тамъ гдѣ-то внизу, подъ поворохами нагроможденныхъ на нее раздутыхъ чувствъ. Только изрѣдка, изрѣдка и чѣмъ ближе къ сроку сватьбы, тѣмъ чаще, она прорывалась, и показывало себя то, на чемъ все было построено.

— Да, но есть же любовь къ женщинѣ не чувственная. — Я не договорилъ еще, какъ онъ уже перебилъ меня:

— Никогда! т. е. влюбленья нѣтъ. Отчего жъ всегда любятъ тѣхъ, которыя одѣваются по модѣ, и причесываются и выставляютъ..., а не экономку, тетушку? Нѣтъ, батюшка, это все она, тоже похоть, но разведенная въ большомъ количествѣ поэтической воды и окрашивающая ее всю.[109]

И доказательство, что это она, что какъ только она явится наголо и удовлетворится, вся эта вода сдѣлается просто прѣсной водой, и вся постройка рухается. Поэтическая любовь и похоть — два выраженія одного и того же, какъ сила [и] тепло. Если оно въ одной, въ другой нѣтъ. — Ну, да это послѣ. Такъ вотъ я былъ влюбленъ по всѣмъ правиламъ, и я не могу выразить, какъ я, болванъ, былъ этимъ доволенъ и какъ хвалилъ себя за это. Вѣдь, кромѣ общаго безумія, было у меня еще что?

№ 10.

— Главная ложь, главный обманъ — это любовь. Любовь! L’amour! та самая, про которую они говорили. — Онъ указалъ на то мѣсто, гдѣ сидѣла дама съ адвокатомъ. — Всѣ, всѣ, и мущины и женщины, воспитаны въ этомъ благоговѣніи къ любви. Я съ дѣтства уже готовился влюбляться и влюблялся и всю молодость влюблялся, радовался, что влюбленъ.

Это главное и самое благородное и возвышенное въ мірѣ занятіе быть влюбленнымъ. Мнѣ говорятъ, нельзя отрицать, что

чувство это есть. Разумѣется, есть, какъ и тысячи другихъ чувствъ, но тѣ зародыши остаются зародышами и проявляются случайно въ одномъ человѣкѣ изъ многихъ, и то временно, точно также, какъ чувство обжорства, охоты и многія другія. Но когда почва такова, что все развиваетъ это чувство, тогда оно, это чувство влюбленія, разрастается до тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ оно въ нашемъ развратномъ, праздномъ обществѣ. Такъ оно разрасталось во мнѣ, и хотя я влюблялся и прежде, но въ жену свою я влюбился ужъ во всю. Я приберегъ всю силу любви къ супружеству. И вотъ она пришла. Все было по настоящему: пришла любовь и увѣнчалась успѣхомъ. Романы, поэмы, романсы, оперы, музыка, философія даже — все восхваляетъ любовь. Вѣдь надо бы хоть немножко разобраться, что такое эта столь хваленая любовь? Ну, во-первыхъ, буду грубо, коротко говорить![110]

Я увѣрялъ себя и всѣхъ, что я люблю ее возвышенно, а поступалъ съ ней, какъ не поступаютъ животныя съ своими самками. Это вѣдь ужасно. Люди хуже, грязнѣе животныхъ. А лгутъ то какъ! Любовь къ дѣтямъ! Я знаю, что ребенокъ, отнятый отъ груди, теряетъ половину шансовъ жизни, статистика мнѣ доказываетъ это. И моя жена, кормилица этого ребенка, беременѣетъ. А я распинаюсь въ любви. Только бы не лгать. Палъ ниже животнаго, признайся въ этомъ, кайся, и ты будешь все таки человѣкъ. Но жить, какъ мы живемъ, — въ гноѣ восхваляемой нами любви, довольные собой — это ужасно. Это не то что хуже животныхъ — это черти. Эмансипація вотъ гдѣ. Съ проституціей борьба вотъ гдѣ. Истерика и слабость вотъ отчего.

№ 11

— Такъ я жилъ, развратничалъ, воображая, что я чуть не святой и живу честной семейной жизнью. Жена моя была женщина, какъ я ее теперь понимаю, женщина самая средняя. Если была у нея особенность выдающаяся, то это было[111] желаніе нравиться, тщеславіе, но женское.

Образованья она была, что называется, очень хорошаго, она имѣла все, что можетъ[112] дать ученье. Она знала языки, воспитана англичанкой по теперешней модѣ, прошла все, что проходятъ въ гимназіяхъ, держала экзаменъ и, кромѣ того, писала масляными красками недурно и играла на фортепіано даже очень хорошо. Она не была даровита. Еще къ музыкѣ у ней была нѣкоторая способность, но, какъ это бываетъ у дамъ, не искусство интересовало ее, а дѣйствіе производимое ею на другихъ. Кромѣ того, она и читала и могла говорить о многомъ, но это ее не интересовало въ сущности. Она знала, что она, и зачѣмъ она нужна, и въ чемъ ея сила, и такъ только дѣлала видъ, что ее что нибудь интересуетъ. Интересовало ее, бѣдняжку, (У!) одно: ея привлекательность, ея дѣйствіе на людей и, замѣтьте, на людей новыхъ. Ей хотѣлось нравиться, заставлять смотрѣть на себя, любоваться собой. И потому, очевидно, интересъ ея не могъ состоять въ томъ, чтобы заставить меня любоваться собой. Это ужъ было сдѣлано, и на меня она имѣла другія возжи: интересъ ея былъ въ томъ, чтобы другихъ людей заставлять любоваться собой, чужихъ людей, и чѣмъ болѣе чужихъ, тѣмъ интереснѣе. Не думайте, чтобы она была исключительная кокетка, совсѣмъ нѣтъ, она была, пожалуй, средняго уровня кокетства нашихъ женщинъ. Но всѣ онѣ таковы и не могутъ не быть таковы, потому что у нихъ нѣтъ ничего, чтобы стояло для нихъ выше, чтобы было сильнѣе этаго женскаго тщеславія. Перевѣсъ этому тщеславію дѣлаетъ въ нашемъ быту только одно — дѣти, и то тогда, когда женщина не уродъ, то есть сама кормитъ.

№ 12.

Главное то дѣло въ томъ, что всѣ мущины — я помню чувство къ моему лучшему другу — я знаю какъ смотрятъ на женщинъ. И я смотрѣлъ такъ и понимаю, что можно смотрѣть, но только не на мою жену. Завидовать мнѣ даже я не позволяю. А еще мучало меня то, что она при другихъ мущинахъ говорила то, что она, бывало, говорила мнѣ, или то, чего, я знаю, она не думала, и я видѣлъ, что слова ея ничего не значатъ, что и слова

ея, какъ и одежда, — это только средство заманить, понравиться. Единственный отдыхъ въ этомъ отношеніи бывалъ мнѣ, когда она беременѣла и потомъ когда кормила. Слѣдующаго ребенка, несмотря на запрещеніе мерзавцевъ, она сама стала кормить и выкормила прекрасно. И послѣ этаго ребенка всѣхъ остальныхъ. И вотъ началась та почти одинаковая наша семейная жизнь съ рожденіемъ и воспитаніемъ дѣтей, которая продолжалась 10 лѣтъ, больше — 12 лѣтъ. Со стороны, я увѣренъ, что жизнь наша представлялась счастливой, но мы знали, что это было. Это не только не была счастливая жизнь, это былъ адъ. Адъ потому, что мы, просто говоря, ненавидѣли другъ друга и не признавались себѣ въ этомъ и не нарушали семейной связи. Я много разъ замѣчалъ, что невѣрные супруги гораздо лучше живутъ. И это просто отъ того, что они уже не грѣшатъ другъ съ другомъ, не испытываютъ отравляющаго чувства сообщничества и раскаянія и не смотрятъ другъ на друга какъ на собственность, не желаютъ, не ревнуютъ, не пресыщаютъ другъ друга.

№ 13.

XXII.

— Да-съ. Такъ все и кончилось. Черезъ нѣсколько дней мы уѣхали все таки не такъ, какъ я хотѣлъ, а какъ она хотѣла. Она, должно быть, видѣлась съ нимъ еще. По всѣмъ доказательствамъ и разсужденіямъ я долженъ былъ знать, что ничего между ними не было, но безъ всякихъ доказательствъ, въ глубинѣ души, я достовѣрно зналъ, что она измѣнила мнѣ, и ненавидѣлъ ее всѣми силами души. Прежде бывало, что чѣмъ больше я предавался плотской любви, тѣмъ больше я ее ненавидѣлъ. Такъ теперь выходило тоже съ другой стороны: чѣмъ больше я ее ненавидѣлъ, тѣмъ сильнѣе я желалъ ее. Но тутъ, несмотря на предписанія мерзавцевъ не рожать, она родила вотъ эту самую крошку, и вышелъ перерывъ въ моихъ

отношеніяхъ къ ней, перерывъ, еще сильнѣе разжегшій во мнѣ къ ней ненависть. Помню эти мучительные роды, эти страданія, не вызывавшія во мнѣ сочувствія, не примирившія меня съ ней. Ну, родилась дѣвочка. Взяли опять кормилицу. Она опять стала свободна. Отношенія наши были ужасны. Они дошли до такого напряженія, что ясно было намъ обоимъ, что что-нибудь необычайное должно случиться, намъ обоимъ было страшно.

Я въ это лѣто жилъ, казалось, какъ всегда, но вѣдь человѣкъ никогда не живетъ какъ всегда, а постоянно или растетъ или гніетъ. Я гнилъ. Я былъ предводителемъ, но это надоѣло мнѣ, тщеславіе предводительское износилось совсѣмъ. Хозяйство?... Какъ у большинства насъ — запуталось, стало на такую ногу, что выбраться цѣлымъ нельзя, то есть что все идетъ въ убытокъ: видишь это, но не имѣешь силъ перевернуть все. И идетъ все по старому, и знаешь, что по скверному, и потому интересоваться имъ нельзя. А все по привычкѣ что то дѣлаешь. Къ дѣтямъ, къ воспитанію ихъ приступиться — значитъ заниматься не воспитаньемъ, а бранью съ женою. А это ужъ измучало и даже подъ конецъ становилось страшно. Оставались пьянства всякаго рода, именно пьянство охоты: я его ждалъ въ концѣ Іюня, потомъ пьянство романовъ, которые я читалъ не переставая, потомъ пьянство ѣды, настоящее — вина и изрѣдка — картъ, и все это въ неугасимомъ пьянствѣ табаку и сверхъ того — пьянство и жены. Такъ такъ я жилъ. Все это было старое, но все это, повторяясь 12-й годъ, стало скучно, тяжело, душило, давило какъ то, какъ гробъ, ходили смутныя мечты что нибудь сдѣлать такое, которое оборвало бы все это, вывело бы куда нибудь въ новое. Кромѣ того, два обстоятельства не переставая мучали меня; хотя я не позволялъ себѣ думать о нихъ, но они мучали: это исполненіе совѣта мерзавца чтобъ не рожать и эпизодъ съ Трухачевскимъ, о которомъ я старался не думать, какъ о бѣломъ медвѣдѣ. Такъ шло.

Дѣло было въ началѣ Іюля. Я ждалъ, что подкосятъ хлѣба, чтобы ѣхать въ даль на болота, и по вечерамъ ходилъ около дома. Прихожу 3-го Іюля съ охоты. Она на террасѣ, моя сестра съ дѣтьми, пріѣхавшая вчера, пьетъ чай. Простокваша, ягоды, малина. Всѣ веселы, разговоръ идетъ хорошій; но, смотрю, она

что-то выпытывающе взглядываетъ на меня. Что это я ей интересенъ? Ну, разумѣется, мелькнула въ головѣ мысль о Трухачевскомъ, но я отогналъ ее, такъ какъ велѣно не думать о бѣломъ медвѣдѣ. Вѣдь карауленье другъ друга — это общее радостное занятіе супруговъ. Ну, караулю. И вдругъ обнаруживается.

— А мы съ Полиной (это моя сестра) рѣшили съѣздить завтра въ городъ. Отлично будетъ, Полина. Возьмемъ пирожки, кофейникъ, подставу. Вѣдь можно лошадей?

— Зачѣмъ это? — спрашиваю самымъ равнодушнымъ образомъ.

— Ахъ, какже зачѣмъ? Вотъ всегда такъ начинается съ мѣста, чтобы я оправдывалась. Машу доктору нужно же показать. Вѣдь запустить легко, а потомъ ужъ не поправишь. Потомъ мнѣ необходимо... — То, что имъ всегда необходимо, то есть чего запомнить даже нельзя. — Ну, и потомъ, кажется, ужъ я сижу. Я вѣдь не выѣзжала больше 2-хъ мѣсяцевъ.

Ну, отвѣчать нечего, главное хочетъ. Ну и пускай. Съ Полиной ѣдутъ, дѣтей не берутъ, одну Машу. Ну такъ, нашла рѣзвость дѣлать что-то необыкновенное.

XXIII.

Ну, поѣхали утромъ. Все бы хорошо, но что-то въ ея улыбкѣ, ея взглядѣ, ея жестахъ, въ ея движеніяхъ — что-то сдержанно радостное и таинственное. Но о бѣломъ медвѣдѣ не велѣно думать, такъ и проводилъ ихъ.

Я цѣлый день пролежалъ въ кабинетѣ, читалъ романъ. Хотѣлъ ѣхать дупелей посмотрѣть, да заѣхалъ нашъ мировой судья. Надо было остаться обѣдать съ нимъ. Послѣ обѣда поздно. За обѣдомъ начинаетъ мнѣ разсказывать мировой судья (онъ ѣхалъ въ городъ), что въ городъ пріѣхалъ Трухачевскій, хочетъ дать концертъ, и онъ непремѣнно уговоритъ его дать концертъ въ пользу пріюта.

«Неужели? нѣтъ.[113] Неужели она такая с.... Не можетъ быть.

Нечаянно? Совпаденіе? Не можетъ быть». Все это я себѣ говорилъ и забылъ всѣхъ, и забылъ, что я за столомъ. Гувернантка замѣтила.

— Вѣрно, вы опять страдаете? — спросила она.

— Нѣтъ, а что?

— Да вы блѣдны.

— И въ самомъ дѣлѣ, что съ вами?

— Ничего, говорю, — ничего... — хочу подавить волненье, а сердце бьетъ, бьетъ объ стѣнки чего-то и вотъ-вотъ разорветъ что-то. И этому, и этому она виною. Я умру отъ разрыва. Да ей что? Да не хочу я, не стоитъ эта мерзавка, чтобы я волновался. Не хочу, успокоюсь. Да, схватило сердцебіеніе, это бываетъ со мною. Пью воду и немного успокаиваюсь и говорю, какъ во снѣ, о постороннемъ.

Мировой судья уѣхалъ, я остался одинъ. Взялся было за романъ. Ничего не понимаю. Сердце бьетъ молоткомъ, бьетъ, бьетъ и вдругъ остановится. И чѣмъ мнѣ больнѣе, тѣмъ я злѣе на нее.

Пошелъ въ болото. Немного развлекся. Пришелъ домой, легъ спать. Не спалъ до утра. Утромъ рѣшилъ ѣхать въ городъ. Поѣхалъ было, вернулся съ половины дороги. И это срамъ. Всѣ видятъ, что я какъ шальной. И въ этомъ кто виноватъ? Она же. И это кто же? *Моя*, моя жена! моя жена, когда я ей вѣрный мужъ, при всѣхъ условіяхъ былъ и буду вѣрный, и это она, мать четырехъ дѣтей, почтенная женщина! Какъ она взглянетъ на меня? «Да погоди, сдѣлала ли еще она что? Виновата ли?» говорилъ я себѣ; но не вѣрилъ тому, чтобы можно было иначе отвѣчать на этотъ вопросъ, какъ: да, разумѣется!

Не помню, какъ прошелъ день. Вечеромъ поздно она пріѣхала. Первый взглядъ ея на меня: испуганный, хитрый и вопросительный, и видъ ея — счастливой удовлетворенности — сказалъ мнѣ все. Да, она все сдѣлала. Это вѣрно! Но какъ я узнаю? Узнаю такъ, чтобы не было сомнѣнья, чтобы можно было уничтожить эту радость, это сіянье въ глазахъ и вызвать то испуганное выраженье, когда я душилъ ее. И руки и пальцы мои сжимались.

Какъ, отчего это сдѣлалось? Но несмотря на все это, что я передумывалъ, на меня нашло внѣшнее спокойствіе. Онѣ почти ничего не замѣтили. Такъ, я дурно спалъ — было достаточное объясненіе.

XXIV.

— И вотъ начинаю я, какъ тигръ, подкрадываться, чтобъ растерзать, навѣрное растерзать. «Нужно узнать, нужно доказать» — говорю я себѣ, но въ сущности мнѣ нужно одно: растерзать. Откуда бралось что, я не знаю, но я сдѣлался веселъ, и она ничего не замѣчала. Мало того, что я сдѣлался веселъ, я почувствовалъ къ ней особенно сильно то, что я называлъ любовью въ этотъ вечеръ. Она была, казалось мнѣ, особенно хороша.

Ну, все сдѣлали, веселились, смѣшныя приключенья, дѣтямъ гостинцы, докторъ сказалъ, что Машѣ надо то-то. О немъ ни слова. И я ни слова, но только тонко выпытываю, было ли ей время быть съ нимъ наединѣ, разлучалась ли она съ Полиной.

Оказалось, да. Болѣе двухъ часовъ Полина была у игуменьи въ монастырѣ, а жена ждала ее дома. Для всякаго человѣка это ничего бы не значило, но для меня это было такое же доказательство, какъ бы я видѣлъ ихъ въ объятіяхъ другъ друга. Узнать это мнѣ было даже страшно. Хотѣлось узнать, не была ли она съ кѣмъ нибудь въ это время. Нѣтъ, она была одна. Стало быть, все ясно. На минуту забилось сердце, но опять затихло. Некогда было, теперь надо было дѣйствовать. И я торопился дѣйствовать. Все должно было разъясниться ночью, вечеромъ...

XXV.

Будетъ она, какъ жена Урія, искать сближенія съ мужемъ, чтобы скрыть грѣхъ свой? Будетъ, то нѣтъ сомнѣнія, и я знаю, что сдѣлать. Руками? Нѣтъ, нѣтъ, руками долго и можно ослабѣть.

И когда всѣ еще сидѣли за чаемъ, я вышелъ въ кабинетъ и взялъ маленькій кривой булатный кинжалъ, который висѣлъ у меня съ ягташемъ, и вынулъ и, ощупавъ, остро ли лезвіе, вложилъ его въ ножны. Да, этимъ. Отчего же не этимъ? Чѣмъ нибудь же надо. А себя? Себя? Зачѣмъ? Да надо же. Ну, хорошо, и себя. Но тамъ видно будетъ. Главное — чтобы ей перестало быть забавно.

Мы посидѣли еще, простились, и я пошелъ раздѣваться.

— Ты, пожалуйста, не засидись, а приходи скорѣе. Я устала, а ты опять разбудишь.

И она улыбалась заманивающей улыбкой. И два яда слились въ моемъ сердцѣ: ядъ страсти плотской любви къ этой женщинѣ и ядъ ревности, получившей подтвержденіе этимъ обращеніемъ.

Я пришелъ въ кабинетъ, раздѣлся, надѣлъ халата и сѣлъ задумавшись. Мнѣ стало страшно то, передъ чѣмъ я стоялъ. Надо было разобраться. Трудно было, но надо было. Я попробовалъ было подумать, какъ еще поступить. Сказать ей? Вызвать ея признанье, уѣхать, оставивъ письмо, или еще какъ? Но и то, и другое, и третье было слишкомъ сложно, трудно, и, главное, при этомъ надо было отказаться отъ половой любви, а я никогда такъ страстно не желалъ ея и никогда такъ страстно ее не ненавидѣлъ. «Нѣтъ, этого не разберешь», сказалъ я себѣ, и тотчасъ же рука моя потянулась за папироской, и я жадно ихъ выкурилъ двѣ — одну за другой — и всталъ и пошелъ къ ней. Выходя изъ двери, я взглянулъ на ягташъ съ висѣвшимъ подъ нимъ ножикомъ. Какъ она будетъ ждать меня? Въ какомъ положеніи? Это рѣшитъ многое. Она сказала, что устала. Если это правда, она давно успѣла уже лечь. Но нѣтъ, она, чего я ждалъ и чего боялся, она сидѣла передъ туалетомъ еще безъ кофточки, поднявъ полныя, бѣлыя [руки] надъ головой, устраивая свою ночную прическу. Она оглянулась. Да, это жена Урія. Я — Урій. Такъ, этотъ мальчишка, грязное существо,

валявшееся во всѣхъ гнояхъ Парижа, — онъ Давидъ, онъ Царь, а я нуженъ только для того, чтобъ скрыть....

XXVI.

Да, чѣмъ страстнѣе были ея ласки, тѣмъ злѣе была моя ненависть и тѣмъ тверже устанавливалось мое рѣшеніе. Она продолжала вѣрить мерзавцамъ, она спорила, пока еще я спорилъ о томъ, что благоразумнѣе посвятить себя тѣмъ дѣтямъ, которыя есть, чѣмъ рожать вновь, что тутъ грѣха нѣтъ, и ни на минуту не сдавалась. Но тутъ она вдругъ забыла это и согласилась со мной. Я уже было забылъ все, я былъ побѣжденъ нѣгой страсти, но тутъ уже была очевидность. Я отошелъ отъ нея и пошелъ къ двери.

— Куда же ты?

Да, всѣ эти ласки только слабыя повторенія того, что было тамъ.

— Я? Ничего. Я...

— Что съ тобой? Что ты? Вася, что ты?

Я слышалъ ея испуганный голосъ, и онъ еще больше подтверждалъ меня. Я, ни минуты не останавливаясь, пробѣжалъ въ кабинетъ, схватилъ ножъ, вынулъ изъ ноженъ, бросилъ ихъ. Они завалились за спинку дивана. «Надо будетъ поднять ихъ послѣ, а то забудешь». И я тихо вошелъ въ ея комнату.

Она сидѣла на краю постели и улыбнулась, увидавъ меня.

— А я испугалась. Что съ тобой сдѣлалось? Я ду....

— Ты думала, что можно быть моей женой и отдаваться другому..

— Вася, что ты?

Но я не слушалъ ее, я слушалъ свои слова. Я говорилъ, что убью, и убью, и какъ это сдѣлалось, я не знаю. Она поднялась ко мнѣ, увидавъ ножъ и желая схватить меня за руки, но я вырвалъ руку и запустилъ кинжалъ снизу и почувствовалъ, что онъ пошелъ кверху. Она упала, схватила за руку меня, я

вырвалъ кинжалъ руками. Кровь хлынула... Мнѣ мерзко стало отъ крови ея. И чтобы мерзость стала больше еще, чтобы все потонуло въ мерзости, я кулакомъ ударилъ ее по лицу. Она упала.

XXVII.

Я вышелъ къ горничной.

— Подите, скажите всѣмъ. Я убилъ жену.

Я ушелъ въ кабинетъ, сѣлъ у себя и выкурилъ папироску.

Сестра въ кофточкѣ, блѣдная, плачущая вышла ко мнѣ.

— Базиль. Что это? Что ты сдѣлалъ?

— Я убилъ.

— Боже мой! Но она жива, она мучается... Поди къ ней.

— Зачѣмъ?

— Поди къ ней.

— Умретъ она?

— Не знаю, ахъ, Боже мой!

Я подошелъ къ двери, открылъ. Она лежала изуродованная, лицо распухло, и посинѣли щека и глазъ. Мнѣ не жалко было. Мнѣ было только гадко. И одинъ вопросъ мучалъ меня: а что какъ я ошибся? У! — Она поманила.

— Прости меня, прости, — сказала она.

Я молчалъ.

— Я не могла, я не знала... Я гадкая, но я не виновата, право не виновата. Но неужели я умру? Неужели нельзя помочь? Я бы жила хорошо... Я бы... искупила...

Откуда она взяла это слово? Она сознавалась, стало быть. Сознавалась! А мнѣ было жалко только себя.

Тутъ только, съ этой минуты, я проснулся....

XXVIII.

Она умерла, меня судили...

И оправдали, скоты! Такъ вотъ что. Вотъ и перенесите. А что старикъ вретъ...

— Да вѣдь старикъ это самое и говоритъ, — робко сказалъ я.

— Старикъ? У! Да онъ это и говоритъ, и я это говорю. Только на ея одрѣ я полюбилъ ее. Какъ по любилъ! Боже мой, какъ полюбилъ!

Онъ зарыдалъ.

— Да, не она виновата. Будь она жива, я бы любилъ не ея тѣло и лицо, а любилъ бы ее и все простилъ бы. Да если бы я любилъ, и нечего бы прощать было....

№ 14.

Только что старикъ ушелъ, поднялся разговоръ въ нѣсколько голосовъ.

— Старого завѣта папаша, — сказалъ прикащикъ.

— Вотъ домострой живой, — сказалъ адвокатъ.

— Да, много еще пройдетъ время, пока выработается человѣческое отношеніе къ женщинѣ, — сказала дама.

— <Положимъ, — сказалъ адвокатъ, — но согласитесь, что при его взглядѣ легче опредѣленіе отношеній.

— Легче, но за то это отношеніе дикихъ. Держать въ рабствѣ женщину, которая уже не любитъ.>

— Однако, — сказалъ адвокатъ, — въ Европѣ уже вырабатываютъ новые формы — во-первыхъ, гражданскій бракъ, во-вторыхъ, разводъ.

— Только мы отстали, — сказала дама. — Разводъ разрѣшаетъ все. Какъ только есть разводъ, то будетъ и бракъ истинный, когда люди будутъ знать, что они не на вѣки связаны, не рабы.

Прикащикъ слушалъ улыбаясь, желая запомнить для употребленія сколько можно больше изъ ученыхъ разговоровъ.

— Какже такъ разводъ исправитъ бракъ? — неожиданно сказалъ голосъ нервнаго господина, который незамѣтно подошелъ къ намъ. Онъ стоялъ въ коридорѣ, положивъ руки на

спинку сидѣнья и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно, на лбу надулась жила, и вздрагивалъ мускулъ щеки. — Это все равно, что сказать, если разорвался вотъ рукавъ, такъ его совсѣмъ оторвать.

— Я не понимаю вашего вопроса, — сказала дама.

— Я говорю: почему разводъ закрѣпитъ бракъ?

Господинъ волновался, какъ будто сердился и хотѣлъ сказать непріятное дамѣ. Она чувствовала это и тоже волновалась.

— Признакъ, признакъ — любовь. Есть любовь, то люди соединяются, нѣтъ любви — люди расходятся. Это очень просто, — сказала дама.

Нервный господинъ тотчасъ же подхватилъ это слово.

— Нѣтъ-съ, не просто. Каждый мужъ и каждая жена въ первый же годъ разъ 20 думаютъ, что они перестали любить, и опять начинаютъ. Какъ же тутъ быть?

— Должна быть полная любовь. И бракъ долженъ опредѣляться только любовью. Тогда не будетъ этихъ ошибокъ.

— Не понимаю.

— Онѣ говорятъ, — вступился адвокатъ, указывая на даму, — что если бы былъ разводъ, то какъ женщина, такъ и мущина, зная впередъ, что ихъ соединяетъ только ихъ желаніе, что каждый можетъ всегда покинуть другаго, зная это, брачующіеся серьезнѣе относились бы къ браку, а въ случаѣ ошибки могли бы свободно расходиться, и не было бы тѣхъ недоразумѣній и неясности, которыя существуютъ теперь. Такъ ли я понимаю? — обратился онъ къ дамѣ. — Я тоже полагаю...

Дама движеніемъ головы выразила одобреніе разъясненію своей мысли.

Но нервный господинъ, очевидно, съ трудомъ удерживался и, не давъ адвокату договорить, началъ:

— Да, но по какимъ бы признакамъ узнавать, что наступило время развода? Вы говорите, что признакъ того, что супруги не могутъ жить вмѣстѣ, есть прекращеніе любви. Да какже рѣшить, прекратилась любовь или нѣтъ?

— Да какже не знать? Это чувствуется.

— Какже чувствуется? А ссоры, которыя бываютъ между всякими супругами, — что же онѣ — прекращеніе любви?

— Нѣтъ, ссоры если бываютъ, то это ссоры, а все таки есть любовь. Развестись слѣдуетъ, когда нѣтъ любви.

— Да какъ это узнать?

— Всякій знаетъ, что такое любовь.

— А вотъ я не знаю и желаю знать, какъ вы опредѣляете.

— Какъ? Очень просто: любовь есть исключительное предпочтеніе одного или одной передъ всѣми остальными.

— Предпочтеніе на сколько времени? На годъ? на мѣсяцъ? на два дни? на...

— Нѣтъ, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нѣтъ, я про то самое, про предпочтеніе одного или одной передъ всѣми другими, но я только спрашиваю: на сколько времени?

— На сколько времени? надолго, иногда на всю жизнь.

— Да вѣдь этого никогда не бываетъ.[114]Только въ романахъ. А въ жизни никогда. Въ жизни бываетъ это предпочтеніе одного передъ другимъ рѣдко на года, чаще на мѣсяцы, а то на недѣли, на дни, на часы.

— Ахъ, что вы! Да нѣтъ, нѣтъ, позвольте, — въ одинъ голосъ заговорили мы всѣ трое. Даже прикащикъ издалъ какой-то неодобрительный звукъ.

— А я говорю, что въ дѣйствительности такъ. Нынче мужъ предпочитаетъ всѣмъ свою жену и жена мужа, а завтра ужъ нѣтъ. Что жъ, это значитъ кончилась любовь?

— Да нѣтъ-съ, позвольте, — сказала дама, — вы говорите о животномъ чувствѣ, а мы говоримъ о любви.

— Да любовь между мущиной и женщиной основана только на животномъ чувствѣ. Другой нѣтъ.[115]

— Но позвольте-съ, сказалъ адвокатъ, — если бы дѣло было такъ, какъ вы изволите говорить, то совсѣмъ бы не было честныхъ браковъ, супруги постоянно предавались бы своимъ увлеченіямъ, и не было бы ни тѣхъ семей, живущихъ согласно и мирно, которыхъ мы видимъ теперь. Есть, слѣдовательно, и другія, болѣе высокія и нравственныя, такъ сказать, чувства въ нашемъ мірѣ.

Нервный господинъ злобно, иронически засмѣялся.

Рукопись шестой-седьмой редакции „Крейцеровой сонаты“, написанная рукой М. Л. Толстой и исправленная рукой Толстого (л.л. 127 об. и 128 вар. № 14)

Размер подлинника

— Да, если есть честные по внѣшности, только по внѣшности, браки среди насъ, то только отъ того, что въ нашемъ обществѣ живы тѣ домостроевскія <фарисейскія> правила, которыя вонъ онъ высказывалъ, — сказалъ нервный господинъ, указывая на мѣсто, гдѣ сидѣлъ старикъ. — Только благодаря тому, что есть инерція этихъ правилъ, въ которыя когда-то вѣрили, этихъ правилъ, т. е. плетки, есть что-то по внѣшнему похожее на бракъ.[116] Въ нашемъ мірѣ, и у образованныхъ и въ народѣ, теперь вмѣсто брака есть одинъ обезьяній развратъ, т. е. что всякій развращенный мущина ищетъ любви съ всякой привлекательной женщиной и точно также всякая женщина. А такъ какъ въ нашемъ мірѣ всѣ развращены или 0,99, то всѣ и предаются этому разврату и прощаютъ его другъ другу.

— Ахъ, это ужасно, что вы говорите. Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое длится не мѣсяцы и годы, а всю жизнь?[117]

— Нѣтъ, нѣту. Менѐлай, можетъ быть, и предпочиталъ Элену всю жизнь, но Элена предпочла Париса, и такъ всегда было и есть на свѣтѣ. И не можетъ быть иначе, также, какъ не можетъ быть, что въ возу гороха двѣ замѣченныя горошины легли бы рядомъ. Да кромѣ того, тутъ не невѣроятность одна, а, навѣрное, пресыщеніе Элены[118] Менелаемъ или наоборотъ. Вся разница только въ томъ, что у одного раньше, у другаго позднѣе. Только въ глупыхъ романахъ пишутъ, что они любили другъ друга всю жизнь. И только дѣти могутъ вѣрить этому. Любить всю жизнь одну или однаго — это все равно, что сказать, что одна свѣчка будетъ горѣть всю жизнь.

— Но вы все говорите про плотскую любовь.

— Какже назвать ту любовь, которая бываетъ только къ молодымъ и красивымъ, никогда не бываетъ къ старикамъ и дѣтямъ?

— Но позвольте опять повторить тоже, — сказалъ адвокатъ. — Фактъ противорѣчитъ тому, что вы говорите. Мы видимъ супружества, доживающія всю жизнь въ любви и согласіи.

— Да только благодаря тому, что въ этихъ семьяхъ, какъ у этаго купца, совсѣмъ нѣтъ любви, а есть, съ одной стороны, фарисейство, съ другой — тайный развратъ. А любви, которую проповѣдуютъ, теперь нѣтъ. Если бы же была любовь безъ разврата, то была бы рѣзня. Мы бы всѣ перерѣзали другъ друга.

— Да отчего же? — спросилъ адвокатъ.

— А отъ того, что въ нашемъ мірѣ такъ называемый бракъ есть ничто иное, какъ собачья сватьба. Только хуже. Если бы была собачья сватьба, т. е. была бы любовь, про которую вы говорите, то была бы грызня, а то и той нѣтъ. Старыя основы брака, домостроевскія, какъ вы называете, износились, а новыхъ нѣтъ. Мало того, вмѣсто новыхъ подставляются прямо требованія любви, про которую вы говорите. А въ сущности проповѣдь свободной любви есть ничто иное, какъ призывъ къ возвращенію назадъ, къ полному смѣшенію половъ. Износилась старая духовная основа брака, надо найти новую, а не проповѣдывать развратъ.

Онъ такъ горячился, что всѣ замолчали и смотрѣли на него.

— Да-съ, по опыту, по ужасному опыту знаю все это именно потому, что не вѣрилъ въ теорію купца, а вѣрилъ въ вашу. Вы, какъ я вижу, узнаете, кто я?

— Нѣтъ, я не имѣю удовольствія.

— Удовольствіе не большое. — Произошло молчаніе. Онъ покраснѣлъ, опять поблѣднѣлъ. — Ну, все равно, — сказалъ онъ. — Впрочемъ, извините, — сказалъ онъ. — А! Не буду стѣснять васъ. — И ушелъ на свое мѣсто.

№ 15.

Женщина нашего міра любитъ въ ребенкѣ только то, что ей доставляетъ наслажденіе, — ручки, нѣжное, красивое тѣльцо, любитъ чувственностью къ дѣтямъ. Также и большинство отцевъ. Отъ этого то и происходитъ то, что изъ 100 случаевъ въ 99 являются ненависть, взаимное соперничество всѣхъ родовъ между вырастающими дѣтьми и родителями, чувства, которыя бы не могли быть, если бы сначала была любовь человѣческая. И что ужаснѣе всего — это то, что при этомъ предполагается, что родители и дѣти любятъ другъ друга. <Да что жъ называется человѣческою любовью? Любовь, ищущая только блага другаго. Вѣдь слова столь смущающія многихъ: «Вы же любите ненавидящихъ васъ, то если вы любите любящихъ васъ, какая же въ этомъ заслуга», вѣдь это самое точное опредѣленіе любви.> Вѣдь развѣ я могу сказать, что люблю по человѣчески человѣка, который за мной ухаживаетъ, меня веселитъ и радуетъ? Я люблю его такъ, какъ любитъ собака того, кто ее кормитъ. Развѣ я могу сказать, что люблю женщину, которая даетъ *мнѣ* наслажденія даже не одной плотской любви, но производитъ во мнѣ то состояніе возбужденія, которое меня счастливитъ, развѣ я могу сказать, что я люблю ее по человѣчески? Также гастрономъ любитъ свое старое бургундское. Также точно и мать любитъ то существо, которое доставляетъ ей восторги и радости, — развѣ она можетъ сказать, что она любитъ его по человѣчески? Любить по человѣчески можно только то, что совсѣмъ мнѣ не нужно, <но какъ трудно найти совсѣмъ безразличное, то, чтобы не ошибиться, вѣрнѣе всего сказать: любить по человѣчески можно только тѣхъ которые нарушаютъ твое спокойствіе и счастье. Такъ и сказано: «люби ненавидящихъ». Такъ вотъ это любовь человѣческая.> А такъ какъ такой любви нѣтъ въ нашихъ женщинахъ, то любовь нашихъ матерей — это только пристрастіе, пьянство своего рода, въ которое женщина уходитъ съ головой, и тѣмъ больше уходитъ, чѣмъ запутаннѣе для нея ея семейная жизнь. А такъ какъ супружеская свиная жизнь всегда запутана, то и всѣ онѣ въ наше время съ страстью уходятъ въ это пьянство.

№ 16.

Всякая дѣвушка, выходя за нечистаго мущину, выше его, а между тѣмъ онъ то смотритъ на нее съ высоты своего величія безнравственности и старается образовать ее по своему.

Она выше мущины и дѣвушкой и становясь женщиной. Продолжаетъ быть выше еще и потому, что у женщины, какъ только она начинаетъ рожать, есть дѣло настоящее, а у мущины его нѣтъ. Женщина, рожая, кормя, твердо убѣждена, что она, дѣлая это, исполняетъ волю Божью, а мущина, хоть бы онъ предсѣдательствовалъ въ нѣмецкомъ рейстагѣ, или строилъ мостъ черезъ Миссисипи, или командовалъ милліонной арміей, или открывалъ новыя бактеріи или фонографы, не можетъ имѣть той увѣренности.[119] И женщина видитъ это. Никакіе мудрецы не убѣдятъ ее въ томъ, что произнести рѣчь въ парламентѣ, сдѣлать смотръ войскамъ, докончить опытъ культивированія бактерій также важно, какъ накормить кричащаго ребенка. И разъ убѣдившись въ этомъ, она, какъ человѣкъ необразованный, мало мыслящій, убѣдившись, что мужская дѣятельность нашего круга ниже ея, считаетъ, что эта ея дѣятельность есть высшая на свѣтѣ дѣятельность, тогда какъ эта ея дѣятельность есть ни высшая ни низшая, а совершенно безразличная дѣятельность, которая можетъ быть и прекрасной и отвратительной, смотря по тому, что въ нее вложатъ, т. е. что въ томъ, чтобы рожать, кормить и воспитывать дѣтей, нѣтъ ничего ни хорошаго, ни дурнаго, какъ нѣтъ ничего ни хорошаго ни дурнаго въ томъ, чтобы двигать мускулами, а хорошее и дурное только въ томъ, для чего воспитывать дѣтей, какъ и въ томъ, для чего двигать мускулами.

№ 17.

— Вася, опомнись, что ты? Что съ тобой? Ничего нѣтъ, ничего, ничего. Клянусь.

Я бы еще помедлилъ, но эта ложь подожгла еще мое бѣшенство. «Ну чтожъ, ее, а потомъ себя».

— Не лги, мерзавка, — завопилъ я и выстрѣлилъ разъ и два. Она вскрикнула и упала на полъ. И въ ту же минуту вбѣжала няня.

— Я убилъ ее, — сказалъ я. И въ это время въ двери показалась Лизанька въ одной рубашенкѣ съ ужасными глазами. Я встрѣтился съ ней глазами, и бѣшенство мое прошло. Я повернулся и пошелъ въ кабинетъ и сталъ курить, дрожа всѣмъ тѣломъ и ничего не понимая и ничего не думая. Я слышалъ, что тамъ что то возились. Слышалъ, какъ пріѣхалъ Егоръ съ корзинкой. Онъ внесъ въ кабинетъ корзинку.

— Слышалъ? Я убилъ жену, — сказалъ я ему. — Скажи дворнику, чтобъ далъ знать въ полицію.

Онъ ничего не сказалъ и ушелъ. Я опять сталъ курить, прислушиваясь къ звукамъ въ квартирѣ. Кто то пришелъ. Я думалъ, что полиція, и придетъ ко мнѣ, но это былъ докторъ. Вдругъ скрипнула дверь. А можетъ быть, это она, и ничего не было; но это была не она, шаги были чужіе. «Да, теперь надо и себя», сказалъ я себѣ, но я говорилъ это, но зналъ, что я не убью себя. Однако я всталъ и взялъ опять въ руки револьверъ. Въ дверь вошла няня. Няня въ кофточкѣ вошла робко и сказала, что она меня зоветъ къ себѣ. Да вѣдь я убилъ ее. Няня вдругъ заплакала (а она была прехолодный и непріятный человѣкъ).

— Васъ просятъ. Онѣ въ постели. Докторъ перевязалъ. Едва ли живы будутъ, очень слабы, — сказала она, какъ бы говоря о болѣзни независимой отъ меня.

«Да, если нужно будетъ, то всегда успѣю», сказалъ я себѣ и положилъ револьверъ. «Фразы. Гримасы. Ну, да Богъ съ ней. Пойду». Только что я вошелъ, странный запахъ пороха поразилъ меня. Проходя по коридору мимо дѣтской, я опять увидалъ Л[изаньку]. Она смотрѣла на меня испуганными глазами. Мнѣ показалось даже, что тутъ были и другіе — всѣ пятеро смотрѣли на меня. Я подошелъ къ двери, и горничная тотчасъ же изнутри отворила мнѣ и вышла. Она лежала на нашей двуспальной постели, на моей даже постели, къ ней былъ легче подходъ. Она лежала на высоко поднятыхъ за спиною подушкахъ въ кофтѣ бѣлой, не застегнутой, съ открытой грудью, на которой видна была повязка раны. Но не это поразило меня. Прежде и больше

всего меня поразило ее распухшее и синѣющее по отекамъ лицо, часть носа и подъ глазомъ. Это было послѣдствіе удара моего локтемъ, когда она хотѣла удерживать меня. Этотъ видъ былъ ужасенъ. Мнѣ стало гадко, но еще не жалко.

XX.....

Жалко мнѣ стало только тогда, когда глаза наши встретились. Такое было жалкое, забитое, усмиренное, покорное лицо. Боже, что какъ я ошибся?!» подумалъ я.

Она поманила меня и начала тихо-тихо. Я подошелъ вплоть. Не спуская съ меня взгляда, она тихо-тихо проговорила:

— Прости, Вася.

И это слово, этотъ взглядъ, очевидно умирающей, не нуждающейся уже ни въ чемъ женщины сразу убили во мнѣ животное, то одно и тоже животное, которое испытывало къ ней то, что кощунственно называется среди насъ любовью, и то животное, которое убило ее. Я въ первый разъ увидалъ въ ней человѣка, сестру, и не могу выразить того чувства умиленія и любви, которое я испыталъ къ ней.

— Прости меня, я виновата, но я не могла, я не могла, я не знаю, что со мной сдѣлалось. Прости.

Я молчалъ, потому, что не могъ говорить. Изуродованное лицо сморщилось.

— Зачѣмъ это все было? Прости.

— Я не могу прощать, я отмстилъ, — сказалъ я.

— Какъ? — вдругъ вскрикнула она, приподнялась, и глаза ея заблестѣли лихорадочно. — И ты говоришь, что[120] я умру? Нѣтъ, нѣтъ, я не умру. Я не хочу. Я не могу. Я бы хорошо жила. Я искуплю.

Потомъ сдѣлался бредъ. Она стала пугаться, кричать.

— Стрѣляй! я не боюсь, только всѣхъ убей.[121] Ушелъ! ушелъ!

Про дѣтей только она не вспомнила ни разу ни въ бреду ни въ свѣтлыя минуты. Она не узнала даже Л[изаньку], которая

прорвалась къ ней. Я не видалъ, какъ она умерла въ тотъ же день, къ полдню. Меня въ 8 часовъ отвезли въ часть, а оттуда въ острогъ. И тамъ то, просидя эти 11 мѣсяцевъ, дожидаясь суда, я обдумалъ себя, свое прошедшее и понялъ его.

Мы долго сидѣли молча. Онъ всхлипывалъ и трясся молча передо мной. Лицо его сдѣлалось тонкое, длинное и ротъ во всю ширину его.

— Да, — сказалъ онъ вдругъ. — Если бы я зналъ, что знаю теперь, какъ я былъ [бы] счастливъ и какъ бы она могла быть счастлива. Я бы не женился на ней ни за что. И ни на комъ не женился бы.

Опять мы долго молчали.

— Да-съ, вотъ что я сдѣлалъ и вотъ что я пережилъ. Такъ я знаю, что такое половыя отношенія. <Если шекеры правы, половыя отношенія въ нашемъ обществѣ должны быть регулированы, теперь же они совсѣмъ безъ контроля.> Прежде, когда былъ домострой, были религіозныя вѣрованія, опредѣлявшія брачныя отношенія, было опредѣленіе этихъ отношеній, но теперь, когда не вѣрятъ больше, нѣтъ никакого опредѣленія ихъ. А сходиться мущинамъ и женщинамъ хочется отъ праздности и отъ того, что имъ внушено, что это есть нѣкотораго рода partie de plaisir.[122] Вотъ они и сходятся, а основаній, на которыхъ бы они могли сходиться, нѣтъ никакихъ, кромѣ животнаго удовольствія. Они это называютъ любовью, но дѣло отъ этаго не изменяется. Вотъ какой-то жидъ написалъ книгу: «Convenzionelle Luegen». *Условныя лжи*, которая считается всѣми передовой, и тамъ онъ прямо совѣтуетъ людямъ спуститься опять назадъ съ той ступени развитія, въ семейномъ отношеніи доведшей людей до единобрачія, и спуститься опять въ половой развратъ, только назвавъ половое влеченіе хорошимъ словомъ — любовью. Но назадъ люди не ходятъ и не бросаютъ завоеваннаго. И въ этомъ отношеніи людямъ надо идти не назадъ, но впередъ. И знаете, я право думаю, что шекеры правы.

(Вписать то, что въ XII и XIII главахъ).[123]

— Да съ, надо понять настоящее значеніе, что слова Евангелія Матфея V, 28, о томъ, что «всякій, кто смотритъ на

женщину съ похотью, прелюбодѣйствуетъ», относятся не къ одной посторонней, а преимущественно къ своей женѣ.

1889, 28 Августа.

Я[сная] П[оляна].

Л. Т.

№ 18.

— Надо вамъ сказать, что такое было за существо моя жена. Во-первыхъ, никакъ нельзя сказать про нее, *какое* она была существо, надо сказать, *какія* два существа была моя жена. Мы — и всѣ люди — я всегда удивлялся, отчего писатели романисты, которыхъ главное дѣло описывать характеры, — никогда не описываютъ того, что всякій человѣкъ не одинъ характеръ и даже не два, а иногда много. И въ женѣ моей было много разныхъ, но два, нѣтъ три совсѣмъ разныхъ существа. Одно[124] — мученица въ обоихъ смыслахъ, т. е. женщина, желающая мучать себя и всѣхъ людей, но прежде всего себя, и другая — страстная, но неумѣлая кокетка, тщеславная и лгунья. И въ самой глубинѣ души — добрый, великодушный, почти святой человѣкъ, способный мгновенно, безъ малѣйшаго колебанія и раскаянія, отдать себя всего, всю свою жизнь другому. Ну, да этаго разсказать нельзя, надо было все пережить, какъ я пережилъ.

№ 19.

<Возвращаюсь я разъ съ мужскаго обѣда. Сидитъ она съ дядей моимъ[125] и молодымъ слѣдователемъ, добрымъ, не опаснымъ юношей, который часто бывалъ у насъ и которого я почти не ревновалъ. Сидятъ и играютъ въ винтъ. Дѣти ужъ уложены спать. Старшій,[126] Вася, тотъ, котораго кормила кормилица (ему было десять лѣтъ, онъ былъ въ приготовительномъ классѣ), потомъ[127] Лиза, 8 лѣтъ дѣвочка, потомъ Ваня и Митя и Анночка, послѣдняя, двухъ лѣтъ.

Я сѣлъ за нее, а она, по просьбѣ дяди, сѣла за фортепіано.

— Ахъ да, — говоритъ она, — пріѣзжалъ Трухачевскій, я не приняла его.>

№ 20.

<Все, что я дѣлалъ, я дѣлалъ съ большой точностью, не торопливостью и ловкостью, какъ это дѣлаютъ звѣри и люди въ моменты физическаго возбужденія.

Я послушалъ у двери гостиной. Были слышны голоса, и по звуку этихъ голосовъ ничего нельзя было заключить. Но заключеніе, какое мнѣ нужно было, уже было сдѣлано. Ничто теперь ужъ не могло разувѣрить меня въ ея виновности. Теперь, разбирая мои чувства, я могу опредѣлить ихъ такъ. Я былъ виноватъ въ своемъ животномъ и безчеловѣчномъ отношеніи къ женѣ. Я чувствовалъ эту свою вину въ глубинѣ души, но чтобы не признавать свою вину, мнѣ нужна была ея виновность: отъ этаго этотъ мучительный восторгъ, который я испытывалъ при всякомъ поводѣ, который она мнѣ подавала, обвинять ее. Отъ этаго же желаніе ея вины и ни на чемъ не основанная увѣренность въ ея дѣйствительности. Увѣренность замѣнялась злобой противъ нея и всѣмъ тѣмъ, что возбуждало ее.>

Комментарии Н. К. Гудзия

Цитаты из дневников и записных книжек, приводимые в комментариях ко всем произведениям данного тома, извлекаются из неопубликованных пока автографов, хранящихся в Архиве Толстого в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Выдержки из неопубликованных писем Толстого и к Толстому в комментариях извлекаются также из автографов, хранящихся в различных рукописных собраниях. Сокращенные ссылки, делаемые при этом, означают: АТ — Архив Толстого, хранящийся в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, АЧ — Архив В. Г. Черткова, хранящийся в Государственном Толстовском музее и частично у В. Г. Черткова, ГТМ — Государственный Толстовский музей, ИРЛ — Институт русской литературы Академии наук СССР.

«Крейцерова соната».

История писания и печатания «Крейцеровой сонаты»

Работа над «Крейцеровой сонатой» заняла у Толстого с перерывами не менее двух лет. В этот же промежуток времени он начерно написал комедию «Плоды просвещения» и повесть «Дьявол», работал над статьей об искусстве и начал и закончил ряд других статей.

Еще в конце 1870-х годов Толстой начал, но не окончил рассказ «Убийца жены»,[128] в котором можно видеть ранний эмбрион «Крейцеровой сонаты».

Как видно из дальнейшего, путь создания «Крейцеровой сонаты» был очень сложен, и она в процессе писания подверглась многочисленным переработкам и коренным переделкам. Толстой далеко не сразу пришел к тому тексту повести, какой представлен ее окончательной редакцией; первоначальные ее варианты значительно отличаются от последнего. Ряд записей, сделанных Толстым в дневнике и

записной книжке в связи с работой над «Крейцеровой сонатой», свидетельствуют о значительных его колебаниях в развитии ее сюжета. Кое-что из того, что в этих записях было намечено, не нашло себе в повести никакого отражения.

Так же постепенно, как и сюжетное оформление «Крейцеровой сонаты», созидалось и ее идейное наполнение. В письме к В. И. Алексееву от 10 февраля 1890 г., говоря о «Крейцеровой сонате», Толстой пишет: «Содержание того, что я писал, мне было так же ново, как тем, которые читают. Мне в этом отношении открылся идеал столь далекий от деятельности моей, что сначала я ужаснулся и не поверил, но потом убедился, покаялся и порадовался тому, какое радостное движение предстоит другим и мне» (ГТМ). О том же в сходных выражениях он пишет Г. А. Русанову в письме от 25 апреля того же года.[129] В «Послесловии» к повести, сказав о том, что мысли, высказанные в нем, покажутся многим странными и даже противоречивыми, Толстой далее говорит: «Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужаснулся своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было».[130]

Мы не можем с точностью установить время начала работы над повестью которая впоследствии получила название «Крейцеровой сонаты». Но приблизительно это время определяется следующими строками письма Толстого к Г. А. Русанову от 14 марта 1889 г.: «Слух о повести имеет основание. Я уже года два тому назад написал начерно повесть действительно на тему половой любви, но так небрежно и неудовлетворительно, что и не поправляю, а если бы занялся этой мыслью, то начал бы писать вновь».[131] Таким образом, первый набросок повести относится, видимо, к 1887 г. Это, несомненно, тот самый автограф без заглавия, который описан ниже под № 1. С. А. Толстая в записи своего дневника от 28 декабря 1890 г. сообщает, что мысль создать «Крейцерову сонату» внушил Толстому актер В. Н. Андреев-Бурлак. «Он же — записывает Софья Андреевна — рассказал ему, что раз на

железной дороге один господин сообщил ему свое несчастье от измены жены, и этим то сюжетом и воспользовался Левочка».[132] Как явствует из другой записи С. А. Толстой в том же дневнике — от 21 июня 1887 г., Андреев-Бурлак приехал в Ясную поляну, чтобы познакомиться с Толстым, 20 июня 1887 г.[133] Следовательно, если полагаться на слова Софьи Андреевны, первая редакция повести не могла быть написана ранее этого срока.

Существенные особенности текста первого наброска сводятся к следующему.

Он прежде всего по объему значительно кратче текста повести в окончательной редакции. В нем еще нет тех пространных общих рассуждений, какие там ведет Позднышев, и отношения между его женой и любовником, а также сопровождающие эти отношения эпизоды рассказаны и по другому и гораздо сжатее. Любовник — не музыкант, а художник, и о музыке в этой ранней редакции совсем нет речи. Первые и последние встречи жены Позднышева с любовником происходят на даче, там же происходит и убийство ее. Встреча и затем связь с художником у нее случается гораздо скорее после замужества, чем в окончательной редакции, судя по словам Позднышева: «Так шло 2 года» и по тому, что до этого у нее был всего лишь один ребенок. Между первыми подозрениями жены в неверности и убийством проходит сравнительно значительное время, во всяком случае, больше года: художник уезжает и долгое время не встречается с женой Позднышева; за это время отношения между супругами как будто вновь налаживаются, затем он поселяется в той самой деревне, где на лето поселился Позднышев с женой. Любовная связь возобновляется, муж это подозревает, так как знает о том, что художник живет в той же деревне, и, чтобы проверить свои подозрения, сказав жене, что уезжает на сутки в город, возвращается в ту же ночь, замечает у балконной двери быстро шмыгнувшую фигуру художника, выскочившего затем в окно, вбегает в дом и убивает жену.

В этой ранней редакции повести о Позднышеве говорится, что он по образованию химик. В двух местах, позднее зачеркнутых, Толстой говорит о нем как об ученом, химике и

даже профессоре химии. С начала до конца всё, что говорит Позднышев, он говорит, обращаясь к «господину с хорошими вещами» и к даме, с которыми у него и происходит разговор; рассказчик же остается в стороне и ни разу в разговор не вмешивается. Судя по зачеркнутым строкам, убийца сразу же должен был объявить присутствующим, кто он, но вместо этого он ведет речь о Позднышеве как о своем знакомом и лишь в конце рассказа, под влиянием волнения, третье лицо — «он» заменяет первым — «я» и, наконец, заявляет: «Я Позднышев». Общие высказывания Позднышева касаются непосредственно существа половой любви: в них еще нет ни конкретных иллюстраций его мыслей ни рассуждений о детях, о воспитании юношей и девушек, о половом воздержании женатых, о безнравственности искусственных мер против деторождения; нет и нападок на медицину и докторов. Позднышев едет не один, а с девочкой трех лет, которая, может быть, дочь не его, а художника.

Если в ближайших последующих редакциях в центре повести — судьба людей дворянского, светского крута, то этого никак нельзя сказать о первой ее редакции. Ниоткуда здесь не видно, чтобы Позднышев был дворянин или светский, богатый человек. Он прежде всего человек интеллигентной профессии, трудом добывающий свою жизненную карьеру. О нем сказано: «работал в университете, работал потом, добился своего». Нет речи и о беззаботных, безответственных связях Позднышева с женщинами до женитьбы и о том, чтобы он вел холостую жизнь на манер светской молодежи. Про его жену сказано только, что она была «с состояньицем», училась в пансионе, но не доучилась, и при этом зачеркнуто указание на ее социальное происхождение: «купеческая дочка». Художник, любовник жены Позднышева, также, видимо, человек не из светской среды: он, так же как и Позднышевы, живет на даче, а не в имении, и при том с сожителем, а затем селится на квартире у священника.

Из прочих персонажей повести в первой ее редакции особенно выделяется фигура старика-купца; он изображен здесь также иначе, чем в редакции окончательной. Ему приданы черты внутреннего благообразия и традиционного благочестия.

Разводы становятся часты, по его мнению, оттого, что люди «по любви женятся, а не по закону» (в окончательной редакции оттого, что «уж очень образованы стали»). Сам он, воспитанный богобоязненными родителями в традиционной морали, женится именно «по закону», а не «по любви», и потому живет с женой любовно и в согласии больше шестидесяти лет. Искушений у него не было, потому что «в сердце у нас закреплено от родителей», ревность же была побеждена заботой о жене и жалостью к ней. Но если бы жена и изменила ему, он, по его словам, пожалел бы ее, помог бы ей и продолжал бы жить с ней, любя ее любовью христианской, а не той, которой учат «романсы».

Образ старика и его речи прямо контрастны образу Позднышева, его поступкам и его речам — почти до самого конца повести: всё у старика было как-раз наоборот по сравнению с тем, что было у Позднышева, и этим контрастным сопоставлением двух видов супружеских отношений, приемом антитезы Толстой, видимо, хотел усилить художественный и психологический эффект повести, в конце которой Позднышев высказывается уже совершенно в духе старика-купца.

В копии, сделанной с автографа (см. описание рукописей, № 2), повесть Толстым была сильно исправлена и значительно дополнена. Историю своей женитьбы и убийства жены Позднышев рассказывает теперь уже не трем пассажирам, а одному лишь рассказчику, причем рассказ этот значительно подробнее, чем в автографе. Между женитьбой и встречей с художником проходит десять лет, во время которых у Позднышевых родилось уже несколько детей. При обрисовке старика-купца несколько сбавлено его благочестие: после женитьбы он запил и «сбился с пути», но покаялся перед женой, и «развязался грех». Социальная физиономия Позднышева уже не та, что в тексте первой редакции: он не интеллигент, человек умственного труда, а помещик-дворянин, единственный сын в чопорной семье, говорящий на иностранных языках, побывавший за границей. Далее зачеркнуты его слова, в которых говорится о том, что он завел скаковых лошадей, эпизодически служил то по земству, то предводителем

дворянства. До женитьбы он ведет легкомысленную жизнь светского холостяка. Одним словом, в основном Позднышев охарактеризован так же, как и в окончательной редакции повести.

И эта — вторая редакция повести не поддается точной датировке. Можно лишь предположить, что она относится по времени до марта 1888 г., когда между Чертковым и Толстым завязалась переписка на тему о половой любви (см. ниже): многие из тех мыслей, которые в этой переписке высказывал Толстой, повторены затем в последующих обработках повести, но в данной редакции они еще не высказаны.

Написанное и переделанное было на время оставлено, и Толстой принялся затем писать повесть заново (см. описание рукописей, № 3), присоединив лишь к новому автографу часть текста (около 31/2 страниц) из ее второй редакции. Эта третья редакция повести однако не была закончена. В ней фигурируют в качестве пассажиров лишь рассказчик и убийца жены с трехлетней девочкой.[134] Имя и фамилия убийцы — Леонид Степанов. Подробно охарактеризована его наружность и несколько раз подчеркнуты его аристократизм, учтивость, тонкость, образованность и сдержанность. (В первой и во второй редакциях о Позднышеве сказано, что он производил впечатление грубого человека.) Между ним и рассказчиком устанавливается взаимная симпатия, даже любовь. Спутники заводят разговор на тему о воспитании. По ходу беседы рассказчик сообщает Степанову о том, что он едет жениться на девушке, в которую влюблен. Восторженное настроение жениха, идеализирующего любовь и брак, побуждает Степанова высказать свое мнение о любви. Он ее называет «ужасным чувством», затем сообщает, кто он, и рассказывает историю своей женитьбы и убийства жены. В этом рассказе повторено иногда буквально, кое-что из того, что вошло во вторую редакцию повести, но и привнесены новые подробности. Степанов говорит о том, как женятся молодые люди, как матери, девушки и портнихи заманивают женихов, как женился он сам и что он при этом думал и испытывал. Обо всем этом говорится сходно с тем, что сказано в окончательной редакции повести.

Мысль о женитьбе на девушке — одной из трех дочерей одного среднего чиновника — приходит Степанову в голову, как и в окончательной редакции, во время катанья с ней на лодке, а не во время спектакля, в котором участвует его будущая жена, как во второй редакции. В характеристике Степановым своей жены здесь не чувствуется злоба против нее — скорее сочувственное к ней отношение. Он обвиняет самого себя за то, что, зная хорошо все детали ее внешнего облика, не знал ее души и не интересовался ею. Жена — по его словам — была одновременно и грубая, глупая и невежественная до последней степени и вместе с тем прекрасный человек, нежная, добрая, наивная и честная женщина.

Вскоре после женитьбы начинаются ссоры между супругами и уже во время первой беременности жены ревность Степанова к товарищу прокурора, ездившему к нему в дом. Место художника занимает музыкант, Трухачевский. Характеристика его в основном та же, что и в окончательной редакции. О нем сказано, что он сын разорившегося барина-помещика, всегда говорившего по-французски. Два его брата — один аферист, другой — пьяница — «люди пропащие, самого низкого круга». Но, судя по зачеркнутым строкам, вначале о нем говорилось как о бывшем кавалергарде, страстном любителе музыки. Здесь впервые, хотя не так подробно, как в окончательной редакции, идет речь о Крейцеровой сонате, которую играют жена Степанова и Трухачевский. Встреча между ними происходит в городе, куда переселились Степановы для воспитания детей, через двенадцать лет после женитьбы Степановых; жена родила уже пятеро детей, и врачи запретили ей больше рожать. Через два дня после исполнения Крейцеровой сонаты муж уезжает на съезд мировых судей и так же, как и в окончательной редакции, получив от жены письмо, в котором она писала о визите Трухачевского в его отсутствие, взволнованный ревностью, уезжает домой, не окончив дел. Дальнейший текст не находит себе соответствия в окончательной редакции. Ничего не сказано ни о переживаниях мужа по дороге домой ни о том, когда и как он приехал. Между супругами в день приезда мужа устанавливаются мучительные отношения, никак на первых

порах не высказываемые, но вскоре между ними происходит бурная ссора из-за того, что жена отложила отъезд в деревню и тем усилила подозрения мужа. По приезде в деревню наступает наружное примирение. Жена хитрит, муж это понимает, но под влиянием любовного возбуждения, соединенного с чувством презрения к жене, живет сравнительно покойно. Внутреннего общения между супругами нет, и вдвоем они обречены почти на полное молчание.

Последние страницы текста третьей редакции посвящены апологии девушки, как существа «лучшего в мире». Мужчины виноваты в том, во что превращается девушка, выходя замуж. Очень сочувственно и уважительно говорит Степанов затем о своей жене, вспоминая, какой отзывчивой, склонной к деятельному добру была она, будучи девушкой. Он винит себя за то, что на первых же порах своей супружеской жизни не умел поддержать и развить в ней хороших душевных задатков, и за то, что сам в своей жизни был не на высоте. После этого текст обрывается на полуфразе: «Всё шло по старому. Вдруг в один день»...

Эту редакцию повести следует датировать весной 1888 г. на следующем основании. Как сообщает биограф Толстого П. И. Бирюков, поводом для написания «Крейцеровой сонаты»[135] послужило исполнение как то весной в Москве, в хамовническом доме Толстых, сонаты Бетховена, посвященной Крейцеру, скрипачем Лясоттой и С. Л. Толстым (последним на рояле). Среди многих слушателей был художник Репин и актер Андреев-Бурлак. В этот день давно знакомая Толстому соната произвела на него особенно сильное впечатление,[136] и он, обратившись к Репину и Андрееву-Бурлаку, предложил изобразить эту сонату доступными всем трем средствами искусства. Сам он взялся написать рассказ, который должен был прочесть перед публикой Андреев-Бурлак — прекрасный чтец, а Репину предложено было написать на эту тему картину, которая должна стоять на сцене во время чтения Андреевым-Бурлаком рассказа. Предложение это было принято, но выполнено одним лишь Толстым. Бирюков сообщает, что ему пришлось присутствовать на чтении Толстым начала повести Андрееву-Бурлаку, тут же попробовавшему

читать ее».[137] Так как Андреев-Бурлак умер 10 мая 1888 г., то, следовательно, незаконченная третья редакция, которая впервые связалась с «Крейцеровой сонатой», была написана до этого времени. Само же исполнение сонаты в Москве в присутствии Репина и Андреева-Бурлака состоялось, очевидно, незадолго до этого, также весной этого года, так как с Андреевым-Бурлаком Толстой, как сказано выше, познакомился лишь в июне 1887 г.

После этого в работе над «Крейцеровой сонатой» наступает перерыв, длящийся около года. В списке намеченных Толстым к разработке сюжетов, хранящемся в Государственном Толстовском музее в Москве и датируемом приблизительно концом ноября 1888 г.,[138] значится и «Крейцерова соната». Возобновилась работа над повестью, видимо, не ранее апреля месяца 1889 г. 23 марта этого года Толстой поехал в гости к своему другу кн. С. С. Урусову в с. Спасское и привез туда с собой начатые работы. В Спасском Толстой пробыл до 8 апреля и работал над комедией «Исхитрилась!» (позднее озаглавленной «Плоды просвещения»), над корректурами статьи об искусстве и над «Крейцеровой сонатой». 3 апреля 1889 г. он записывает в дневник: «Хотел писать новое, но перечел только все начала и остановился на «Крейцеровой сонате». В ближайшие дни в дневнике сделаны следующие записи в связи с работой над «Крейцеровой сонатой». 4 апреля: «Начал «Крейцерову сонату» поправлять». 5 апреля: ,,«Очень много и недурно писал «Крейцерову сонату»“. 6 апреля: «Долго не писалось, а потом опять писал «Крейцерову сонату». После обеда читал ее Урусову[...] Урусову очень нравится. Да и правда, что ново и сильно». 7 апреля: «Опять писал довольно много». Следующая дневниковая запись — 9 апреля сделана уже в Москве: «Записал в дневник и хочу писать «Крейцерову Сонату». И пописал до завтрака». На этом апрельские записи дневника, связанные с работой над «Крейцеровой сонатой», прекращаются, и больше в апреле и в начале мая Толстой к работе над повестью, видимо, не возвращался. Несомненно, что в Спасском у Толстого шла работа над рукописью, описанной под № 4. Текст этой рукописи в целом приходится датировать

временем после 29 марта 1889 г. на основании следующей дневниковой записи Толстого от этого числа: «За обедом беседовали с Урусовым, и мне пришло в голову о том, как я и большинство людей губят свою невинность — не от соблазнов, не то, чтобы женщина прельстила, а просто à froid[139] решают, что вот есть еще удовольствие — блуд, как курить, пить, и идут совершать блуд». Во вставке, написанной Толстым и вошедшей в рукопись № 4, на листе 22 об., читаем: «Дело в том, что со мной да и с 9/10, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал чувственному соблазну прелести женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что хотел пасть, не то, что пасть (я не понимал, что тут есть падение), а я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны известному возрасту, как я начал пить, курить....» Таким образом текст вставки развивает текст дневниковой записи и, следовательно, написан после этой записи. Текст рукописи № 4, как это видно из ее описания, возник на основе комбинации второй и третьей (незаконченной) редакции повести и образовал четвертую ее редакцию.

Работа над текстом повести, проделанная в Спасском, в основном свелась к следующему.

В результате комбинации второй и третьей редакций в повесть вновь были введены персонажи, отсутствующие в третьей редакции, — господин с хорошими вещами, о котором сказано, что он адвокат, дама, старик-купец и приказчик. Фамилия убийцы — вновь Позднышев. С ним попрежнему едет трехлетняя девочка. О своей жизни и семейной драме Позднышев рассказывает, обращаясь лишь к рассказчику. Образ старика-купца значительно изменен: нравственное благообразие его очень сбавлено, сбавлен и морализирующий элемент в его речах. Зачеркнут его рассказ о своей женитьбе «по закону», а не по «романсам», о его «грехе», о приказчике, к которому он приревновал жену. Вместо этого написан новый текст, который приближает характеристику старика к той, какая читается в окончательной редакции. Жену свою, которая теперь

оказывается уже дочерью не среднего чиновника, а когда-то очень богатого и разорившегося барина, Позднышев характеризует здесь как «женщину самую среднюю», тщеславную, недаровитую и озабоченную только тем, чтобы нравиться окружающим. Все положительные черты ее, особенно в пору ее девичества, приданные ей в тексте третьей редакции, здесь исключены, и вместе с этим ослаблена сила самобичевания Позднышева за свое отношение к жене. Упоминание о товарище прокурора и о ревности к нему Позднышева выпущено. Далее — впервые написаны страницы, в которых идет речь в подробностях о жизни Позднышева до женитьбы, о его первом падении (в зачеркнутом варианте описаны две проститутки и разговор с ними мальчика Позднышева и его брата), о половых излишествах в супружеской жизни, о рабстве женщины (ср. главы IV, XIII и XIV в окончательной редакции).

По возвращении из Спасского в Москву Толстой продолжал работу над «Крейцеровой сонатой», переделывая ранее написанное и комбинируя прежний материал с вновь написанным. Результатом этой работы на первых порах было создание новой — пятой законченной редакции повести, которая создалась на основе объединения четвертой и второй редакций. Процесс этой работы закреплен полностью или частично в материалах рукописей, описанных под №№ 5, 2, 6 и 7. Технически это было сделано так. С большей части рукописи № 4 до того места, где рассказывается о встрече жены Позднышева с Трухачевским, была снята копия, значительно потом переработанная и расширенная, и к ней присоединены копия рукописи № 2, начиная с того места, где речь идет о встрече с художником, и последние листы рукописи № 2, оказавшиеся мало исчерканными поправками. Таким образом музыкант был вновь заменен художником, и мотив музыки из повести удален. Роман жены Позднышева с художником и убийство ее рассказано здесь очень близко к тексту второй редакции. Добавлено в этой редакции рассуждение Позднышева о властвовании женщин, о целомудрии, как идеале всякого человека, и о половом воздержании в браке, рассказ его о

ссорах с женой, о ревности, о детях (соответственно главам IX, XI, XII, частично XV и XVI окончательной редакции).

В это время Толстой занялся чтением книг о шекерах, американской секте, проповедывавшей безбрачие, общность имущества и обязательный труд для всех членов секты. В то же время он получил от одного шекера письмо с приложением книг и трактатов, посвященных учению шекеров. 9, 10 и 13 апреля и 22 мая Толстой отмечает в дневнике, что читал шекеров. 9 апреля он записывает: «Читал шекеров. Прекрасно. Полное половое воздержание. Как странно, что я теперь, когда занят этими вопросами, получил это», и в записи 13 апреля добавляет: «Всё думаю, и вопрос остается вопросом». 11 апреля он пишет Черткову о том, что, гостя у Урусова, кончил статью об искусстве и комедию «Исхитрилась!» (позднее озаглавленную «Плоды просвещения») и затем добавляет: «И потом писал и пишу повесть, рассказ о любви плотской, о половых отношениях в семье. И это серьезнее. Может быть нужно. И как всегда бывает, когда чем занят хорошим, в этом направлении, поддерживая его, складываются внешние события. На днях получил письма и брошюры от шекеров из Америки. Знаете ли вы их учение? В особенности против брака, т. е. не против брака, а за идеал чистоты сверх брака? Это вопрос, который занимает меня и именно как вопрос» (АЧ). Знакомство с идеями шекеров еще более утвердило Толстого в его взгляде на абсолютное целомудрие, как на то, к чему должен стремиться всякий человек. Этот взгляд заявлен был впервые Толстым в письмах к Черткову от 9 [?] октября и 10 ноября 1888 г.; в первом письме Толстой писал: «Я думаю, что для блага человека, ему, мужчине и женщине, должно стремиться к полной девственности, и тогда выйдет с человеком то, что должно» (АЧ).

О своем согласии с идеями шекеров Толстой писал в октябре 1889 г. шекеру А. Г. Холлистеру, отвечая на его письмо от 23 сентября того же года, следующее: «Прошлую весну я был занят писанием книги о браке[140] и пришел к совершенно новым взглядам на этот вопрос. Одновременно я читал книги, которые смог достать об общинах в Америке... В этих книгах я нашел совершенно новые для меня сведения о шекерах. В то же самое

время я получил письмо от одного шекера с книгами, трактатами и тремя фотографиями. Я прочел эти книги и был очень благодарен брату, приславшему их мне [...] Теперь получил ваши книги, трактаты и письмо, прочитал всё это и благодарю вас. Всё это подкрепляет мой взгляд на брак, излагаемый в книге, которую сейчас пишу» (цитируем по копии, хранящейся в АЧ).

Результатом знакомства с учением шекеров, укрепившим Толстого в его взгляде на брак и целомудрие, были страницы, написанные на эту тему и вошедшие в рукопись № 5. Здесь в тексте, соответствующем XI главе окончательной редакции, на этих страницах читается между прочим следующая фраза: « — А вы знаете, что я убедился, что шекеры правы. — Какие шекеры? — Шекеры, американская секта, проповедующая безбрачие, утверждающая, что Христос был не женат и что Христа не может быть женатого». С другой стороны, на этих страницах Толстой развивал, а иногда только перефразировал мысли на эту тему, высказанные им в письмах к Черткову от 23—25 марта и 9 [?] октября и 10 ноября 1888 г. В этих письмах Толстой отвечал на вопросы и сомнения по поводу целомудрия и брака, высказанные как самим Чертковым, так и сектантом Е. М. Ещенко, корреспондентом Толстого. Таким образом можно думать, что вопросы половой любви, волновавшие Черткова и некоторых других корреспондентов Толстого и вызывавшие последнего на пространные и обстоятельные ответы на них, предопределили собой введение в повесть тех пространных общих рассуждений на тему о половой любви, которые вложены в уста Позднышева.

Сам Толстой косвенно подтверждает зависимость «Крейцеровой сонаты» от тех обращений, с которыми к нему адресовались его корреспонденты. Так, в дневнике под 9 мая 1890 г. он записывает: «Нынче думал: 1) многие из тех мыслей, которые я высказывал в последнее время, принадлежат не мне, а людям, чувствующим родство со мною и обращающимся ко мне с своими вопросами, недоумениями, мыслями, планами. Так, основная мысль, скорее сказать чувство «Крейцеровой сонаты» принадлежит одной женщине, славянке, писавшей мне

комическое по языку письмо, но значительное по содержанию, об угнетении женщины половыми требованиями. Мысль о том, что стих Матфея: «если взглянешь на женщину с вожделением» и т. д. относится не только к чужим женам, но и к своей, передана мне англичанином, писавшим это. И как много других».[141] Работа над пятой редакцией повести продолжалась, приблизительно, полтора месяца. 9 мая 1889 г. Толстой пишет жене: «Попов сидит и переписывает так называемую «Крейцерову сонату».[142] В рукописях № 5, 6 и 7 как-раз впервые появляется рука Е. И. Попова, на долю которого приходится значительное количество переписанных страниц. 17 мая Толстой отмечает в дневнике: „Утро переписывал и поправлял «Крейцерову сонату“. В тот же день он пишет П. И. Бирюкову о том, что на время отложил работу над статьей об искусстве и стал писать «Крейцерову сонату». «Это пошло легко» — добавляет он (АТ). Под 18 мая в дневнике читаем: «Писал «Крейцерову сонату» — о целомудрии. Недурно». (Автограф этой главы в рукописи № 5.) 21 мая в дневнике записано: «После кофе пописал немного «Крейцерову сонату», ходил по засеке, записал мысли об искусстве и к «Крейцеровой сонате». Мысли к «Крейцеровой сонате», записанные в записной книжке под тем же 21 мая, следующие: 1) «Женщины унижены сладострастием. Тем же отплачивают, оттого их власть. Как евреи». 2) «Во время беременности я мучал ее нервы и поползновения ревности, потом при некормлении попытка убить». Вторая мысль в рукописных материалах, относящихся к повести, не получила прямого развития, первая же выражена в рукописи № 5.[143] 22 мая в дневнике записано: «Пытался писать. Не идет. Читаю о шекерах». Возможно однако, что Толстой пытался писать в этот день не «Крейцерову сонату», а статью об искусстве. 4 и 5 июня там же Толстой отмечает, что немного поработал над «Крейцеровой сонатой». 6 июня в записной книжке читаем зачеркнутую и никак в рукописях повести не отразившуюся запись: «Сладострастие блудить и развратничать с той, которая имеет власть над тобой — одно. Арапка царица». 8 июня там же запись, которая покрывается в большей своей части текстом рукописей № 5 и отчасти № 6: «К «Крейцеровой

сонате». Страшное впечатление 1-й ссоры, страшное впечатление 2-й ссоры, что это не исключение. С 3-й ссоры желание ссориться. Получше, но пошло всё хуже. Ревность — главное.[144] Не удовлетв[оренная?] похоть, друж[ба?]. 10 лет жизни с детьми. Кого оболью ядом ревности, навек чужд и враг.[145] И ревность 3-х сортов. Он унижает, она унижает и настоящая зависть. Караулить. Ревность к брату или другу.[146] Оттого, что решено, что можно.

Настоящая пытка и белый медведь под конец. Пытка, чтоб кончилась, вызвала убийство. Тщеславие ею, но до предела: любуйтесь и завидуйте только.[147] Страх мой оттого, что я видел, как она может лгать, как слова для нее ничего не значат, слова — только украшенье».[148]

В тот же день Толстой записал в дневник: «Переправлял «Крейцерову сонату», но почти что ничего не сделал». Очевидно, записи записной книжки были использованы позднее этого числа. 9 и 10 июня в дневнике также отмечено, что в эти дни писалась «Крейцерова соната». 12 июня Толстой писал Бирюкову: «Всё пишу «Крейцерову сонату». Не хорошо» (АТ). 15 июня в дневнике записано: «Все то же. Те же тщетные попытки писать. Впрочем, перестаю пытаться». (Эта запись может относиться, впрочем, и к писанию статьи об искусстве.) 20 июня в записной книжке читается такая запись: «К «Крейцеровой сонате». Думал устроить себе дома бордель, да огонь, везде огонь, везде жжет». В тексте рукописного материала повести эта запись никак не расшифрована и не развита. 23 июня в письме к Н. Н. Ге-старшему Толстой пишет: «Пишу и комедию,[149] и повесть и об искусстве»,[150] а 24-го записывает в дневник: «Писал «Крейцерову сонату». Подвинулся немного». На следующий день, 25-го, там же записано: «Писал довольно хорошо «Крейцерову сонату». Подвинулся». 2 июля в дневнике следующая запись: «Писал «Крейцерову сонату». Недурно. Кончил всё. Но надо всё теперь сначала поправить. Запрещение рожать надо сделать центральным местом. Она без детей доведена до необходимости пасть. Еще про эгоизм матери. Самопожертвование матери ни хорошо ни дурно, так же, как

труд. И то и другое хорошо только, когда разумно, любовно. А труд для себя и самопожертвование для своих исключительно детей — дурно».[151]

Нужно думать, что запись 2 июля указывает на окончание пятой редакции «Крейцеровой сонаты». Вслед за этим Толстой стал довольно интенсивно работать над переделкой этой редакции, и в результате создалась шестая редакция повести, закрепленная текстом частично рукописи № 6, рукописей №№ 7 и 8 и частично рукописи № 9.

Существенные ее отличия от предыдущих сводятся к следующему.

Упоминание о девочке, едущей с Позднышевым, зачеркнуто, но дальше, во второй половине текста, во вставке, Толстой, очевидно по забывчивости, заставляет Позднышева говорить следующее: «Но тут, несмотря на предписанье мерзавцев не рожать, она родила вот эту самую крошку» (рукопись № 2, л. 1). Особенно много дополнений сделано во второй половине текста: почти заново написана глава о ревности, о воспитании детей и эгоистической любви к ним матерей, о нравственной высоте девушек. Осуществлено и то, что намечено в записи дневника 2 июля. Вторая часть повести и развязка ее в этой редакции такова. Уехав на съезд мировых судей, Позднышев начинает ревновать жену к Трухачевскому и стремительно уезжает домой. Дома он застает жену одну за обычными занятиями, но от тетки узнает, что в его отсутствие был Трухачевский. Жена откладывает условленный заранее отъезд в деревню, муж укрепляется в своих подозрениях. Между супругами происходит бурная ссора и затем примирение. Жена обещает не встречаться с Трухачевским. Через несколько дней Позднышевы уезжают в деревню. Несмотря на запрещение врачей рожать, жена родит девочку, как догадывается Позднышев, не от него. Жизнь в деревне проходит у Позднышева в «пьянстве» охоты, чтения романов, в «пьянстве» курения, еды, вина, карт, — всё это делается для того, чтобы забыться. Однажды жена под разными предлогами с сестрой уехала в город. У Позднышева закрадывается подозрение, что жена не спроста это сделала. Подозрение это усиливается

после того, как приехавший к нему мировой судья сообщает ему о том, что в город приехал Трухачевский, с тем чтобы дать концерт. Позднышев в волнении, с которым он не в силах совладать. Он не спит ночь, и окружающие замечают его возбуждение. Поздно вечером приезжает жена, и по ее счастливому, удовлетворенному виду Позднышев убеждается в том, что она в город ездила для встречи с Трухачевским и там с ним действительно встретилась. Под маской спокойствия он всё же старается окольными вопросами выяснить, могла ли она видеться наедине с Трухачевским, и убеждается, что это могло быть. Остается последний и самый верный способ узнать истину: будет ли она ночью, как жена Урии, искать сближения с мужем, чтобы скрыть свой грех? Так именно и случается, и Позднышев, окончательно убежденный в измене жены, закалывает ее кинжалом.

К работе над шестой редакцией «Крейцеровой сонаты» относятся следующие записи и упоминания в дневнике, записной книжке и письмах.

3 июля в записной книжке записано: «Эгоизм матери. В роде того, что хорошо труд, но только для чего? И так как дети были эгоизм, то была одна мука». Это вариация записи дневника от 2 июля. И та и другая запись развиты в шестой редакции повести в главе, трактующей о воспитании детей и об эгоизме материнской любви.

4 июля Толстой записывает в дневник: «Утром и вчера вечером много и ясно думал о «Крейцеровой сонате». Соня переписывает, ее волнует, и она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям. Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться. Вся драма повести, всё время не выходившая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, наряжена, и все соблазны искусства.

Как же ей не пасть? Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого,[152] что он убил ее прежде, когда возненавидел, что искал предлога и рад был ему. Да, вчера

мужики подтвердили, что кликушество бывает только у баб, а не у девок. Стало быть, справедливо, что происходит от половых эксесов».[153]

7 июля с пометкой ,,К «Крейцеровой сонате»“ Толстой записывает в записной книжке: *«Настроение* — дьявол, дура и добра и проницательна». В тот же день он заносит в дневник: «Думаю о «Крейцеровой сонате». 1) Различие настроений жены — две женщины.[154] 2) Соблазнитель-музыкант своим долгом считает соблазнить. Притом же: не в б[ордель] же ему ездить, еще можно заразиться». 8 июля в записной книжке записано: «У музыканта догмат: соблазнить чужую жену — без этого он не исполнит своей обязанности. И потом куда же ему — не в бордель же идти». О нем рассказывали.[155] Мучения в присутствии человека, которого ревновал».[156]

10 июля в дневнике отмечено: «Перечитывал «Крейцерову сонату» и поправлял недурно». 11 июля в записной книжке записано: «Ревность первая безосновательная — легкая. Ревность, доходящая до подозрения, что она с ним в нужнике. Это я ростил своего дьявола».[157] Вслед за тем идет ряд дневниковых записей. 16 июля: «Взялся было за работу — «Крейцерова соната» — не идет». 18 июля: «Читал трактаты об искусстве и прочел то, что начато. Начал поправлять, потом начал «Крейцерову сонату». И не мог продолжать ни того ни другого». 19 июля: «После кофе писал «Крейцерову сонату» о детях.[158] Не хорошо, не сильно». Вероятно, записи 21 июля — «Пробовал писать — не мог», 22 июля — «Утро пробовал писать — не мог» и 23 июля — «Утро пробовал писать — мешают» — также относятся к «Крейцеровой сонате». 21 июля Толстой писал Бирюкову: «Я немного пишу «Крейцерову сонату», пишу и о вас думаю и желаю вам прочесть» (АТ). 24 июля в дневнике записано: «Я начал «Крейцерову сонату». Думал: я пишу «Крейцерову сонату» и даже «Об искусстве» — и то и другое — отрицательное, злое, а хочется писать доброе... Поработал над «Крейцеровой сонатой». Кончил начерно. Понял, как всю надо преобразовать, внеся любовь и сострадание к ней».

Закончив начерно работу над повестью 24 июля, Толстой вскоре принялся за ее переработку, которая составила седьмую редакцию «Крейцеровой сонаты». Она закреплена преимущественно в рукописи № 9, датированной 28 августа 1889 г. и озаглавленной «Как муж убил жену», и, вероятно, отчасти в рукописи № 6, текст которой Толстой стал исправлять, судя по дневниковой записи, через два дня после того, как повесть начерно была закончена. А за это время переписчики не могли успеть снять копию с текста рукописи № 6. Но определить, какие исправления в рукописи № 6 относятся к шестой редакции и какие к седьмой, большей частью не представляется возможным. Можно лишь утверждать, что определение того, что такое блудник, впервые встречающееся в рукописи № 6 (см. ниже), судя по дате соответствующей записи в записной книжке, сделано в седьмой редакции.

Намерение «преобразовать» повесть, внеся в нее «любовь и сострадание к ней», т. е. к жене Позднышева, о чем говорится в дневниковой записи 24 июля, Толстым было осуществлено и в работе над седьмой редакцией «Крейцеровой сонаты» лишь в минимальной степени. Оно обнаружилось только в следующих словах Позднышева, в которых передается, его отношение к жене после убийства ее: «Я в первый раз увидал в ней человека, сестру, и не могу выразить того чувства умиления и любви, которое я испытал к ней».

Важнейшие отличия седьмой редакции от предыдущей следующие.

Вслед за эпизодом первой игры Трухачевского с женой Позднышева введен эпизод его визита в отсутствие Позднышева: Позднышев возвращается с выставки домой и застает у себя Трухачевского. Это возбуждает его ревность (ср. конец XXI главы в окончательной редакции). Вслед затем идет эпизод ссоры Позднышевых, их примирение и краткий сравнительно с окончательной редакцией эпизод игры «Крейцеровой сонаты». Далее рассказывается об отъезде Позднышева на съезд мировых судей и об его неожиданном возвращении домой. Эпизод обратной поездки из уезда к себе домой и сопутствовавшие ей переживания Позднышева, а также

эпизод убийства и всё дальнейшее до конца повести написано заново. Ряд подробностей, имеющихся в этих эпизодах в окончательной редакции, здесь еще пока отсутствует. Застав жену наедине с Трухачевским, Позднышев стреляет дважды в убегающего Трухачевского, но не попадает в него, и затем двумя выстрелами смертельно ранит жену. Умирающая женщина просит у Позднышева прощения, а не выказывает ему свою ненависть, как в окончательной редакции. В начале Толстой решил было рассуждения Позднышева о целомудрии и о браке, вошедшие в окончательной редакции повести в XI главу, перенести в самый конец повести, но затем отказался от этого намерения.

В этой редакции, кроме того, сделан целый ряд смысловых и стилистических исправлений сравнительно второстепенного характера. Общее понятие о них дают описание рукописи № 9 и варианты №№ 13—17.

Работа над седьмой редакцией «Крейцеровой сонаты», судя по дневниковой записи, началась 26 июля 1889 г. В этот день Толстой записывает в дневник: «Начал было поправлять сначала «Крейцерову сонату», но сделал мало». В ближайшие дни уже речь идет не об исправлениях повести, а о писании ее. 27 июля Толстой записывает в дневник: „«Немного пописал «Крейцерову сонату»“; 28-го — „«Писал до завтрака «Крейцерову сонату»“; 29-го — «Писал «Крейцерову сонату». Порядочно», 30-го — „«Писал лучше всех дней «Крейцерову сонату»“; 1 августа — ,,«Записал кое-что к «Крейцеровой сонате»“. В то же время в записной книжке делаются следующие записи. — 28 июля: «Середины нет: страданье от детей или чувственность. Состояние духа вызывающее «Вот еще!» и т. д. Она даже не хороша, а только чтобы не платить в б[ордель]»;[159] 30 июля: *«Моя* жена. Как он смеет. А почему она моя?»;[160] 1 августа: «К «Крейцеровой сонате». Дети плачут и кричат после того, как убил. И всё сделал этот мерзавец. Так гибнет жена из-за мерзавца, из его экономии. Я бы дал ему 10 рублей за дорогую».[161] 7[?] августа Толстой пишет П. И. Бирюкову: «Сам всё работаю над повестью о браке» (АТ). 11 августа он записывает в дневник: «Ходил за грибами и думал о

«Крейцеровой сонате» и об искусстве. «Крейцерова соната»: надо сделать бред умирающей, просящей прощение и не верящей тому, что он убил ее».[162] 15 августа там же записано: «Писал, поправлял «Крейцерову сонату». Очень хорошо». 19 августа в записную книжку заносится такая запись: «С тех пор, как я имел двух, я сделался блудник, как морфинист». И под тем же числом эта запись распространяется в дневнике: «Думал к «Крейцеровой сонате»: блудник есть не ругательство, но состояние (думаю то же и блудница), состояние беспокойства, любопытства и потребности новизны, происходящее от общения ради удовольствия не с одной, а с многими. Как пьяница, может воздерживаться, но пьяница — пьяница и блудник — блудник, при первом послаблении внимания падет. Я блудник». Эта запись развита, в свою очередь, в тексте седьмой редакции.[163]

22 августа в записной книжке записано: «Эпиграф к «Крейцеровой сонате» 5 глава Матвея, стихи 28—30. Писать скорей. К «Крейцеровой сонате». Поехал и вернулся».[164] На следующий день в дневник занесено: «Эпиграф к «Крейцеровой сонате» Матвея V, стихи 28 по 30. Глядишь на женщину как на предмет наслаждения, хотя бы то была, и даже тем более, если это твоя жена, то ты прелюбодействуешь и грешишь. При исполнении закона хлебного труда совокупление имеет цель внеличного наслаждения — помощники, продолжатели, но при избытке — один разврат».[165] 24 августа в дневнике записано: «Немного писал»; 25-го августа там же записано: «Хотел писать — слабость, задремал»; 26-го — «Писал много. Всё не могу кончить»; 28-го — «Встал рано и сейчас же сел за работу и часа 4 писал «Крейцерову сонату». Кончил. Казалось, что хорошо, но пошел за грибами и опять недоволен, не то». В тот же день в записную книжку Толстой записал: «Я рад, что убил, я хоть полюбил ее. А если бы она сама умерла, я бы только радовался. Только теперь я понял, как неизбежно было ее падение от средств мерзавца. Со мной или с другим — всё равно».[166] На следующий день, 29 августа, Толстой отмечает в дневнике: «Немного поправлял до завтрака» и в тот же день записывает: «Думал о том, что я вожусь с своим писаньем «Крейцеровой

сонаты» из-за тщеславия; не хочется перед публикой явиться не вполне отделанным, нескладным, даже плохим. И это скверно. Если что есть полезного, нужного людям, люди возьмут это из плохого. В совершенстве отделанная повесть не сделает доводы мои убедительнее. Надо быть юродивым и в писании».

Судя по этой записи, Толстой, закончив 29 августа работу над седьмой редакцией «Крейцеровой сонаты», решил, видимо, не подвергать повесть дальнейшим переделкам. В дневнике под 31 августа записано: „Вечером читал всем «Крейцерову сонату». Поднял всех. Это очень нужно. Решил печатать в «Неделе»“.

Факт чтения повести окружающим и решение ее печатать свидетельствуют о том, что Толстой считал в это время свою повесть уже более или менее законченной. 1 сентября он читал «Крейцерову сонату» вновь — Н. Н. Ге-старшему и сыну Льву Львовичу, о чем говорит дневниковая запись под этим числом: «Вечером читал Н. Н. Ге и Леве, который уезжает завтра «Крейцерову сонату». На всех, и больше всего на меня, произвело большое впечатление: всё это очень важно и нужно. Очень взволновало». 9 сентября Толстой пишет Черткову: «Повесть «Крейцерова соната» или «Как муж жену убил» я почти кончил и рад, что написал это. Знаю, что то, что там написано, нужно людям». О том, что повесть «почти кончил», Толстой пишет в письмах и П. И. Бирюкову от 11 сентября (АТ) и Н. Н. Страхову от 12 сентября.[167] Обоим, так же, как и Черткову, он сообщает, что повесть посылает Гайдебурову в «Неделю». Однако вскоре он испытывает неудовлетворенность тем, что им написано.

17 сентября в дневнике им записано: «Перечел «Крейцерову сонату». Очень не понравилось». В связи с этим отправка повести в печать была отложена, и Толстой вновь принялся за работу над ней. 17 сентября он записывает в дневник: ,,«Встал и с охотой взялся за работу над «Крейцеровой сонатой»“. Это была работа над восьмой редакцией повести, длившаяся месяц с лишним. Эта редакция распространилась в многочисленных списках и литографированных и гектографированных изданиях и стала достоянием широких читательских кругов. В дальнейшем называем ее общо —

«литографированной редакцией». Работа над ней закреплена в рукописях, описанных под №№ 10, 11, 12 и частично 13 и 14 (см. описание рукописей). Текст ее устанавливается в результате сопоставления указанных рукописей с рукописью, описанной под № 15 и с текстами литографированных изданий повести. По сравнению с предшествующей редакцией в ней, в деталях, очень много изменений и дополнений.

Важнейшие отличия восьмой редакции от седьмой сводятся к следующему.

Текст XIV главы, заключающей в себе рассуждения Позднышева о воспитании женщин, значительно дополнен. В тексте XV главы, кроме новых деталей в рассуждениях Позднышева о ревности, в его уста вложены суровые нападки на докторов. Сюда впервые введен эпизод бурной ссоры Позднышева с женой незадолго до появления Трухачевского, ссоры, закончившейся уходом жены к сестре и попыткой отравиться (глава XX). Значительным исправлениям подверглись все последние главы повести, начиная с эпизода появления Трухачевского в доме Позднышева. Прежде всего Толстой еще раз попытался указать на положительные стороны в натуре жены Позднышева на ряду с отрицательными, как это видно из текста варианта № 18. Она, несмотря на ряд отталкивающих качеств, — «в самой глубине души добрый, великодушный, почти святой человек, способный мгновенно, без малейшего колебания и раскаяния, отдать себя всего, всю свою жизнь другому». Отрицательная характеристика двух братьев Трухачевского, бывшая в предшествующих редакциях, зачеркивается. В текст XXIII главы введено рассуждение Позднышева о музыке и его рассказ о впечатлении, произведенном на него исполнением Крейцеровой сонаты. Зачеркнуты следующие слова Позднышева, в которых он передает то, что услышал, подойдя к двери, за которой находились его жена и Трухачевский: «Да, я услыхал то, что не оставило во мне ни малейшего сомнения. И они не спешили, не торопились». В результате явное доказательство физической измены жены заменилось лишь более или менее правдоподобной догадкой о такой измене. Орудие убийства —

вновь кинжал, а не револьвер. Так же, как и в окончательной редакции, умирающая женщина выказывает Позднышеву свою ненависть, а не просит у него прощения.

К работе над этой редакцией «Крейцеровой сонаты» относятся следующие упоминания.

Вслед за записью 17 сентября в дневнике записано под 18 сентября: «Сел за работу». 19 сентября там же записано: «Усердно писал, поправляя «Крейцерову сонату». До начала действия всё исправно, потом нехорошо». Последнюю запись нужно понимать, очевидно, в том смысле, что «все исправно» до эпизода появления Трухачевского в доме Позднышева, откуда, собственно, и начинается действие. Как-раз эта часть повести, в которой развертывается «действие», подверглась особенно усиленной переделке.

20 сентября, очевидно в связи с работой над «Крейцеровой сонатой», Толстой записал в дневник: «Писал мало». На следующий день, 21-го, он там же записывает: «Писал немного. Окончательно решил переделать, не надо убийства». Но это решение никак не отразилось в работе над повестью: в рукописном материале, относящемся к «Крейцеровой сонате», нет никаких намеков на то, что Толстой это свое намерение привел в исполнение или даже пытался его осуществить. Нужно думать, что дальше замысла дело не пошло, судя по дневниковой записи следующего дня в которой идет речь о том, что убийство должно быть исключительно из-за ссоры: «Стал заниматься «Крейцеровой сонатой», которая уж совсем не «Крейцерова соната». Всё клонится к тому, чтобы убийство было просто из-за ссоры. Прочел историю убившегося мужа и жены, убившей детей, и это еще больше подтвердило».

История, о которой пишет здесь Толстой, — драма, происшедшая в Одессе в семье учителя Заузе. Нелады между супругами привели к тому, что муж повесился, а жена после этого зарезала троих своих детей и затем сама покончила с собой, выбросившись с четвертого этажа. Об этом случае Толстой прочел в № 38 газеты «Неделя» от 17 сентября 1889 г.

Но и эта версия не была никак разработана и не нашла себе никакого отражения в рукописях повести.

23 сентября в дневник записано: «Встал рано, сел за «Крейцерову сонату». Мало сделал. Да, с Бестужевым, который нападал на мысль о целомудрии с точки заботы о продолжении рода, говорил следующее: по церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно также должна кончиться и жизнь человека на земле и сама земля. Что же так возмущает людей, что нравственная добрая жизнь тоже приведет к концу род человеческий? Может быть, это совпадает. В статье шекеров говорится то же самое. Там говорится: почему же людям воздержанием не избавить себя от насильственной смерти?» Эта запись развита в тексте, относящемся к восьмой редакции повести.[168]

24—25 сентября Толстой пишет Черткову: «Свою повесть о брачных отношениях всё не кончил и всё подвигаюсь. И вам доставлю хоть в черновом виде, как только будет можно» (АЧ). Видимо, с работой над «Крейцеровой сонатой» связана и запись в дневнике от 26 сентября: «Писал много. Вчера и нынче». 27 сентября Толстой пишет Бирюкову: «Я всё поправляю, изменяю, отделываю «Крейцерову сонату». Но мало, лениво пишу»(АТ). 27 сентября в дневнике записано: ,,Немного пописал. Записал кое-что к «Крейцеровой сонате»“. Под этим числом в записной книжке Толстой записал следующее: «Барыня говорит на купца: вот кто мешает. А седой говорит им: вы только держитесь. Все перережутся. А не перережутся — застрелятся, а не застрелятся — проституты, а не проституты — страдальцы. «К[рейцерова] с[оната]»: Если есть что похоже, то только по инерции этого самого, но и это распадается. Я 20 раз желал ей смерти, мечтал о своей свободе». Эти записи явственно на работе над текстом повести однако не отразились. Видимо, к работе над «Крейцеровой сонатой» относятся дальнейшие дневниковые записи — 28 сентября — «Немного пописал» и 5 октября — «Писал». 1 октября Толстой записал в дневник: «Утром писал новый вариант «Крейцеровой сонаты» недурно, но лениво. Делаю для людей, и потому так трудно». Вероятно, здесь имеется в виду текст рукописи № 11, в которой написан эпизод ссоры Позднышева с женой незадолго до появления в их доме Трухачевского (глава XX). 9 октября в дневнике, также,

очевидно, в связи с работой над «Крейцеровой сонатой», записано: «Много поправил, начало». К этому времени Толстой уже охладел к своей работе над повестью, и это охлаждение, возможно, было результатом общего упадка его настроения. О том и о другом свидетельствуют следующие дневниковые записи. — 10 октября: «Пересматривал и поправлял всё сначала. Испытываю отвращение от всего этого сочинения. Упадок духа большой». 13 октября: «Хорошо поправлял надоевшую повесть». 12 октября в записной книжке Толстой записал: «Должно быть, я вырвал, ужаснувшись, но потом решил, что так надо».[169] Видимо, к работе над повестью относятся дневниковые записи 14 октября — «Я писал» и 15 октября — «Писал». 16 октября в дневнике записано: «Унылость, грусть, раскаяние, только бы вредить себе и другим. Много писал, поправлял «Крейцерову сонату». Давно не испытывал такого подавленного состояния». 18 октября там же отмечено: „«Всё так же поправлял, и не без пользы, «Крейцерову сонату»“, а 21 октября Толстой записывает: «Я очень усердно, до 5 часов, поправлял последнюю часть «Крейцеровой сонаты». Недурно».

Видимо, этим числом нужно датировать окончание работы Толстого над восьмой редакцией «Крейцеровой сонаты», т. е. над той редакцией, которая получила преимущественное распространение в литографированных изданиях и рукописных списках.

После этого работа над повестью была на некоторое время отложена. 31 октября Толстой записывает в дневник: «Вчера получил длинное письмо от Черткова. Он критикует «Крейцерову сонату». Очень верно, желал бы последовать его совету, да нет охоты. Апатия, грусть, уныние».[170]

2 ноября он там же записывает: «Получил письмо от Тани-сестры о чтении «Крейцеровой сонаты». Производит впечатление. Хорошо, и мне радостно». В письме этом,[171] обращенном Т. А. Кузминской к С. А. Толстой, идет речь о чтении на квартире у Кузминских в Петербурге 28 октября списка повести, привезенного М. А. Кузминской и частично ею же исправленного (см. рукопись № 15). На чтении в числе многих

других присутствовали Н. Н. Страхов, беллетрист Г. П. Данилевский, поэт А. Н. Апухтин, А. А. Толстая. Читал повесть А. Ф. Кони.[172] Таким образом к 28 октября редакция, легшая в основу литографированных изданий, была переписана и стала достоянием слушателей, а вскоре и читателей. 7 ноября Толстой записывает в дневник: «Получаю письма, что «Крейцерова соната» действует, и радуюсь. Это нехорошо». Видимо, вскоре же после окончания работы над восьмой редакцией Толстой принялся за писание «Послесловия» к повести, и дальнейшая работа над самой повестью замедлилась.

Сознавая недостатки своей повести с художественной точки зрения, Толстой однако не чувствовал себя в силах устранить их. В ответ на критические замечания Н. Н. Страхова по поводу «Крейцеровой сонаты», высказанные им в письме от 6 ноября, Толстой писал ему 17 ноября: «Спасибо, Николай Николаевич, за письмо. Я очень дорожил вашим мнением и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал. В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали. Но всё-таки оставляю как есть и не жалею, не от лени, но не могу поправить: не жалею же оттого, что знаю верно, что то, что там написано, не то что небесполезно, а наверное очень полезно людям и ново отчасти. Если художественное писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу».[173]

Отказавшись от коренной переработки «Крейцеровой сонаты» в плане чисто художественном, Толстой однако не отказывался от мысли вообще о дальнейшей ее переработке и исправлении. Еще до написания письма Страхову он записал в дневник под 12 ноября: „Вписал в «Крейцерову сонату»“. В ноябре же месяце он писал к Т. А. Кузминской: «Отношение мое ко всему, что я пишу, теперь такое, как будто я умер, и я потому ничего не разрешаю и ничего не запрещаю. Личное же мое желание об этой повести то, чтобы ее не давать читать, пока она не исправлена. Всё, что ты писала и пишешь о суждениях о повести, мне очень интересно. Жалею только, что я увлекся

теперь другими занятиями и не так занят этой повестью, как прежде». (ГТМ, архив Т. А. Кузминской.)

С 10 по 24 ноября Толстой был поглощен работой над «Историей Фредерикса» — позднее озаглавленной «Дьявол». Всё же и в ноябре месяце работа над повестью шла, как это явствует и из только что приведенных строк письма Толстого к Т. А. Кузминской, и из дневниковой записи от 12 ноября, и из следующих слов из письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 2 ноября: «Левочка всё сидит над своей повестью и другими работами» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской). Но интенсивная работа над переделкой «Крейцеровой сонаты» падает на начало декабря, когда была закончена последняя — девятая по счету редакция повести, закрепленная частично в рукописях №№ 13—15. 5 декабря Толстой записывает в дневник: «Сел за «Крейцерову сонату» и не разгибаясь писал, т. е. поправлял до обеда. После обеда тоже». На следующий день там же им записано: «Встал в 7 и тотчас за работу. Прошелся перед завтраком и опять за работу, и до самого обеда. Просмотрел вычеркнутое. Просмотрел, вычеркнул, поправлял, прибавлял «Крейцерову сонату» всю. Она страшно надоела мне. Главное тем, что художественно неправильно, фальшиво». 7 декабря в дневнике Толстой вновь отмечает, что он «занимался» «Крейцеровой сонатой». Наконец, последняя дневниковая запись, относящаяся к работе над «Крейцеровой сонатой», — 8 декабря: ,,Поправлял «Крейцерову сонату»,,. Надоела «Крейцерова соната»“. Этим числом нужно, видимо, датировать окончание работы Толстого над девятой и последней редакцией «Крейцеровой сонаты». Работа эта закреплена в рукописях, описанных под № № 13 и 14. (О двух второстепенных стилистических поправках, сделанных Толстым позднее в рукописи № 15, см. ниже.)

Существенные ее отличия от редакции предшествующей сводятся к следующему.

В восьмой (литографированной) редакции, во II главе, адвокат говорит: «Да, бывают критические эпизоды в супружеской жизни. Вот, например, дело Позднышева... Как он из ревности убил жену, — читали вы?» После этого Позднышев

решает, что его узнали, и подтверждает, что он, действительно, Позднышев. В окончательной же редакции адвокат говорит лишь следующее: «Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни». Фамилия Позднышева не названа, но мнительность его такова, что в этих словах адвоката он усматривает намек на себя, и открывается.

В XIV главе смягчено рассуждение Позднышева о воспитании девушек, сводящемся, по его мнению, единственно к пленению мужчин, и совершенно выброшено место, где идет речь о страданиях девушек от возбуждения чувственности и о проявлении ее у них в присутствии мужчин: в литографированной редакции идет речь о том, что всякая девушка, даже такая, которая стремится к учености или гражданской доблести, главной задачей своей ставит пленить мужчину, и что из десяти девять невыносимо страдают в период зрелости и потом, если они в двадцать лет не выходят замуж, а в присутствии любого мужчины чрезмерно оживляются и возбуждаются.

Из XV главы исключена большая часть ее, именно почти всё, что говорится о ревности вообще и в частности о ревности Позднышева к своей жене. С другой стороны, в этой главе добавлен рассказ Позднышева о судьбе его детей и сказано, что он едет на юг, где у него есть домик и садик.

Глава XVI, в которой идет речь о воспитании детей, коренным образом переделана и сокращена. Из нее удалено всё, что говорится об отсутствии у матерей духовной любви к своим детям, а также сокращено то место, где сопоставляется любовь к детям у женщин и животных.

В главе XVII в литографированной редакции Позднышев говорит о том, что его жена, выходя замуж, нравственно была несравненно выше его, как всегда всякая девушка несравненно выше мужчины, потому что несравненно чище его, что «рядовая девушка, молодая девушка до двадцати лет, большею частью прелестное существо, готовое на всё самое прекрасное и высокое», и что, наконец, девушка, становясь женщиной, продолжает быть выше мужчины в нашем быту. И далее Позднышев объясняет, почему всё это так. В окончательной

редакции вся эта речь Позднышева о преимуществах девушек и женщин над мужчинами исключена.

Вообще окончательная редакция, по сравнению с предшествующей, кратче. В ней, кроме того, некоторые абзацы переставлены иногда из одной главы в соседнюю и сделано много стилистических исправлений.

В письме к Толстому от 25 декабря Чертков просит поблагодарить М. Л. Толстую за переписанный ее рукой экземпляр «Крейцеровой сонаты», на-днях им полученный (вероятно это тот самый экземпляр, описанный под № 15 и содержавший в себе предпоследнюю редакцию повести, который М. А. Кузминской был отвезен в Петербург и затем, очевидно, передан Черткову). Очень высоко расценивая повесть в целом, Чертков указывал на излишество рассудочных отступлений в речах Позднышева, не вяжущихся с его состоянием в момент рассказа. Эти рассуждения, по мнению Черткова, а также А. К. Чертковой и И. И. Горбунова, с которыми Чертков советовался, следовало бы выделить особо. Тут же Чертков предлагает Толстому вернуть ему экземпляр повести с разметками тех мест, которые следовало бы выделить. В заключение он вновь настаивает на необходимости написать послесловие, в котором были бы сведены к единству все мысли, высказанные в повести (АТ).

Но письмо это было получено Толстым уже после того, как им была закончена работа над последней редакцией «Крейцеровой сонаты». Всё же Толстой и после этого не покидал мысли воспользоваться сделанными ему указаниями. В письме к Черткову от 31 декабря он писал: «В том, что вы говорите мне, очень много есть справедливого, и я рад всегда совету от вас. Я Стаховича просил заехать к вам и сказать, что я очень желаю видеть ваши и Ивана Ивановича[174] отметки в моей повести. Непременно воспользуюсь ими» (АЧ).

Как видно из письма Черткова к Толстому от 7 января 1890 г., к этому времени Чертковым был уже отправлен в Ясную поляну экземпляр повести, переписанный М. Л. Толстой и заключавший в себе замечания самого Черткова и И. И. Горбунова. Чертков писал: «Очень прошу вас доставить мне

экземпляр, лишь только вы кончите, так как я вам вернул свой, а здесь собираются литографировать эту вещь в первоначальном черновом виде, и мне очень хотелось бы дать им экземпляр в окончательном исправленном виде, если только успею» (АТ). В записи дневника от 10—15 января 1890 г. Толстой отмечает: «Получил письмо от Черткова с заметкой о «Крейцеровой сонате». Судя по этой записи, а также по ниже приводимой цитате письма Толстого к Черткову от 15 января и по тому, что в возвращенном Чертковым экземпляре повести (рукопись № 15) отчеркнутые и зачеркнутые места рукописи были последовательно пронумерованы, Чертков, помимо нескольких замечаний, сделанных на самом экземпляре рукописи, отдельно написал замечания к тем местам повести, которые казались ему спорными. Но эти замечания не сохранились. Одно из замечаний Черткова касалось высказанной в повести мысли о том, что идеал человечества — не плодовитость, а достижение царства небесного. По этому поводу Толстой 15 января писал Черткову: «В памяти у меня, главное, ваши заметки на мою повесть. Всё совершенно верно, со всем согласен, но «Послесловие» хотя и начал писать, едва ли напишу, и потому место о том, что идеал человечества есть не плодовитость, а исполнение закона достижения царства небесного, совпадающего с чистотою и воздержанием, это место надо оставить как есть. Мне тяжело теперь заниматься этим, да и просто не могу, а misunderstanding'ов[175] не минуешь» (АЧ). Здесь же Толстой сообщает о том, что М. Л. Толстая наносит на присланный Чертковым экземпляр повести все поправки, и что этот экземпляр будет Черткову прислан.[176] В нем, как указано было при описании рукописи № 15, были сделаны рукой Толстого лишь две второстепенные стилистические поправки, относящиеся, судя по тому, что они не введены в текст восьмой — литографированной редакции, к январю 1890 г. Пообещав воспользоваться замечаниями Черткова и Горбунова (см. выше, письмо от 31 декабря 1889 г.), Толстой однако не сделал этого и в основном никак не изменил редакции повести, окончательно сложившейся в начале декабря.

Но прежде чем повесть была окончательно отделана, текст ее в восьмой редакции стал распространяться в списках, сначала рукописных, а затем, кроме них, еще и в многочисленных литографированных и гектографированных. Все они восходят к списку, переписанному рукой М. Л. Толстой и привезенному в Петербург М. А. Кузминской (рукопись № 15, первый ее слой). Непосредственно вслед за тем, как этот список был прочтен в обществе, собравшемся на квартире у Кузминских, с него стали сниматься копии. По воспоминаниям сотрудника «Посредника» Ю. О. Якубовского, история первоначального распространения «Крейцеровой сонаты» в списках рисуется так.

На следующий день после чтения повести у Кузминских, 29 октября 1889 г., состоялось чтение ее в редакции «Посредника», там же, в Петербурге, по экземпляру Кузминских. Так как его необходимо было срочно вернуть Кузминским, то сейчас же вслед за чтением несколько человек, разделив рукопись по частям, взялись за ее переписку и к утру воспроизвели полный ее список. «Таким образом, — пишет Ю. О. Якубовский, — помимо воли автора, уже на третий день рукопись «Крейцеровой сонаты», в первой версии, получила распространение в Петербурге. К воскресенью уже было готово 300 литографированных списков, которые моментально облетели весь читающий Петербург. Но это оказалось каплей в море; во многих домах списки гектографировались на домашних гектографах и получали немедленно распространение. В книжных магазинах и у букинистов такие списки ценились по 10—15 рублей».[177]

В № 6 еженедельника «Неделя» за 1890 г., стр. 198—199, была напечатана следующая заметка: ,,В Петербурге идут нескончаемые толки о «Крейцеровой сонате». Черновой набросок ее, неотделанный, незаконченный, прошедший в публику благодаря медвежьей услужливости друзей Л. Н. Толстого, — даже этот черновой список сделался событием.

Некоторые нескромные газеты рассказали даже кое-что о содержании «Крейцеровой сонаты»“.

А. А. Толстая в своих воспоминаниях так рассказывает о распространении «Крейцеровой сонаты» и «Власти тьмы» сейчас же после того, как эти произведения стали известны в рукописях: «Трудно себе представить, что произошло, например, когда явились «Крейцерова соната» и «Власть тьмы». Еще недопущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались везде с неимоверною страстностью; казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой».[178]

Из Петербурга литографированные и рукописные списки «Крейцеровой сонаты» в предпоследней редакции стали распространяться по Москве, а затем по провинции. В архиве Толстого в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина хранится большое количество писем к Толстому, написанных со всех концов России и из-за границы и являющихся читательскими откликами на «Крейцерову сонату» в ее незавершенной редакции. Уже эта редакция успела породить ряд печатных критических откликов русских и заграничных авторов, а также несколько беллетристических произведений, в большинстве случаев полемизирующих с основной идеей «Крейцеровой сонаты». Наиболее значительным из таких произведений был один из «Рассказов кстати» („По поводу «Крейцеровой сонаты»“) Лескова, с эпиграфом, взятым из предпоследней редакции толстовской повести: «Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа. Она выше его и девушкой и становясь женщиной в нашем быту». Эти слова, являющиеся слегка перефразированной цитатой из предпоследней редакции «Крейцеровой сонаты», отсутствуют в последней ее редакции, как отсутствует в ней вообще сочувственная оценка девушки и женщины по сравнению с

мужчиной, а между тем то и другое определило собой весь тон лесковского рассказа.

Когда Чертковым была привезена в Петербург окончательная редакция «Крейцеровой сонаты», она была прочитана, как сообщает Якубовский, на квартире Черткова. Собралось свыше пятидесяти человек, среди которых были Лесков, Эртель, Леонтьев (Щеглов), Л. Е. Оболенский, Гайдебуров, Рубакин, Хирьяков, Савихин, Меньшиков. Читал хороший чтец Н. И. Горбунов, брат И. И. Горбунова.[179] Автор воспоминаний не сообщает определенно, были ли сделаны после этого списки с окончательной редакции. Среди сохранившихся в различных библиотеках рукописных, гектографированных и литографированных экземпляров повести мы не встречали текстов, восходящих к этой редакции. Когда „Послесловие к «Крейцеровой сонате»“ в предпоследней своей редакции, датированной 6 апреля 1890 г., дошло до столицы, оно также стало распространяться в списках сначала отдельно, а затем в соединении с повестью.

Огромное большинство списков повести, рукописных, литографированных и гектографированных, восходит к тексту списка, переписанного рукой М. Л. Толстой (первый слой рукописи № 15). В процессе переписывания и перепечатывания копий с копий текст, естественно, искажался и в большей или меньшей степени отходил от своего первичного оригинала. Различные списки написаны разными переписчиками; литографированные и гектографированные — воспроизводят текст, написанный от руки или на пишущей машинке. Большинство списков повести датировано 26 августа 1889 г., т. е. тем же числом, каким ошибочно датирована рукопись № 15, переписанная рукой М. Л. Толстой. Некоторые датированы ноябрем 1889 г. На одном известном нам экземпляре стоит в конце текста дата — 1890 г. Ряд экземпляров вовсе не датирован. Заглавие — в большинстве случаев — «Крейцерова соната». Один из литографированных списков с этим заглавием, заключающий в себе текст повести с датой 26 августа 1889 г. и «Послесловия» с датой 6 апреля 1890 г. (текст написан на пишущей машинке), заключен в обложку, на которой, кроме

заглавия, — литографированный рисунок, изображающий пашущего крестьянина (года издания и указания типографии на обложке нет). Другой, также литографированный список (текст написан первоначально от руки), не имеющий даты в конце повести, но снабженный датой 26 сентября 1890 г. [sic!] в конце «Послесловия», заключен в обложку, на которой отлитографировано заглавие «Крейцерова соната 1888 г., или повесть о том, как муж убил свою жену». Заглавие окружает собой рисунок, изображающий фигуру смерти с косой, приподымающую занавес, за которым видна пустая кровать; слева от края фигуры нарисованы соха и лопата, справа — книга и ноты. Внизу обложки — обозначение места и года издания — Москва, 1890.

Текст всех этих списков, содержащих в себе разнородные ошибки и искажения, восходя к первоначальному слою рукописи, написанной М. Л. Толстой, в основном однороден.

Но среди литографированных списков нам встретился один, написанный первоначально от руки (два почерка), в котором первые двадцать глав воспроизводят восьмую, предпоследнюю редакцию, а следующие восемь — редакцию последнюю.

В 1890 г. в берлинском «Библиографическом бюро» был напечатан текст «Крейцеровой сонаты» по одному из списков, восходящих к списку М. Л. Толстой (к первоначальному его слою), Берлин, 1890, Книжный магазин Б. Бера (Вальтер Циммерман). В том же году в том же издательстве вышло второе издание повести в соединении с «Послесловием». Текст повести в обоих изданиях один и тот же. В нем большое количество искажений и опечаток. Вероятно, в том же году, также в Берлине (Stuhr’sche Buch-und Kunsthandlung), без обозначения года вышло «новое издание» «Крейцеровой сонаты» вместе с «Послесловием», «пересмотренное и исправленное», как значится на обложке, неким А. Н., учителем русского языка при Королевской военной академии и русским переводчиком при Королевском камергерихте в Берлине. Текст его, содержащий меньшее количество искажений, чем предыдущие два издания, воспроизводит также восьмую, предпоследнюю редакцию повести. Вслед за ней напечатано и

«Послесловие». Со второго издания «Библиографического бюро» в Москве был сделан литографированный список, датированный на обложке 1890 г. и озаглавленный «Крейцерова соната, или повесть о том, как муж свою жену убил». На обложке же помета: «(с берлинского печатного издания)». Подзаголовка в этом издании однако нет.

Предпоследняя редакция «Крейцеровой сонаты» распространилась среди читателей помимо какого-либо участия Толстого, даже отчасти вопреки его желанию, как это явствует из его слов в письме к Т. А. Кузминской от ноября 1889 г.: «Личное же мое желание об этой повести то, чтобы ее не давать читать, пока она не исправлена» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской).

Впервые вопрос о напечатании повести, в издательстве «Посредник», еще задолго до ее окончания, был поднят Чертковым. В письме к Толстому от 15 мая 1889 г. он писал ему: «Вы очень поддержали бы наши издания, если бы дали нам книжку, написанную вами. Нельзя ли напечатать вам у нас ту повесть о любви, о которой вы мне писали?» (АТ). В ответ на эту просьбу Толстой передал свое согласие через И. И. Горбунова, уехавшего из Ясной поляны в Петербург 20 мая. В письме от 30 мая Чертков благодарит Толстого за согласие: «Меня очень обрадовало — пишет он — то, что вы хотите отдать в наши народные издания вашу повесть о плотской любви». Но впоследствии, по настоянию С. А. Толстой, хотевшей напечатать «Крейцерову сонату» в подготовлявшейся ею тринадцатой части собрания сочинений Толстого, Толстой изменил свое первоначальное намерение: напечатанная отдельным изданием повесть широко разошлась бы и повредила бы распространению того тома сочинений, в котором она была бы потом перепечатана. Поэтому Толстой решил впервые опубликовать ее в еженедельнике П. А. Гайдебурова «Неделя», о чем записал впервые в дневник под 31 августа 1889 г. В письме к Черткову от 10 сентября, сообщая о том, что почти кончил «Крейцерову сонату», он писал ему: «Думаю напечатать всё у Гайдебурова. У него без цензуры. Иначе нельзя. И это решено и решено женою, которая на это согласна» (АЧ).

Но занявшись переработкой повести, Толстой отложил ее печатание.

Между тем друг Толстого Н. Н. Страхов, узнав, что «Крейцерова соната» заканчивается писанием, обратился к Толстому в письме от 31 августа 1889 г. с просьбой напечатать ее в «Русском вестнике» на тех условиях, которые поставит сам автор.[180] В ответ на это Толстой написал Страхову 12 сентября: «Свое писание, которое я почти кончил, я с Татьяной Андреевной[181] посылаю в Петербург для напечатания у Гайдебурова. Я выбрал Гайдебурова потому, что его издание бесцензурно и не враждебно христианству. Условия мои одни — то, чтобы не было условий и чтобы тут же заявить, что это сочинение не составляет ничьей собственности, и я прошу всех перепечатывать и переводить его. Говорят, что оно опять нецензурно, принимая во внимание нашу теперешнюю. Вообще вы поможете, я надеюсь и прошу вас, в этом деле, в печатании, в исключении, изменении чего нужно».[182] В ответ на это письмо Страхов в письме от 16 сентября, изъявляя полную готовность быть полезным Толстому в печатании повести, просил его разрешения напечатать «Крейцерову сонату» одновременно с тем, как она будет напечатана в «Неделе» или непосредственно вслед за этим, и в «Русском вестнике».[183] На эту просьбу Толстой ответил Страхову не письменно, а, видимо, через Т. А. Кузминскую, вернувшуюся из Ясной поляны в Петербург. Точное содержание этого ответа однако неизвестно. В письме к Толстому от 27 сентября Страхов, сообщая о том, что Т. А. Кузминская говорила ему о планах издания повести, рекомендует Толстому напечатать ее по очень дешевой цене отдельной книгой, не анонимно, а под своим именем, и объявить, что автор отказывается от прав собственности на свое произведение, позволяя безвозмездно перепечатывать его кому угодно.[184] Очевидно, судя по этому письму, Толстой задумал было напечатать повесть без своего имени и тогда же решил отказаться от права литературной собственности на нее.

Но первоначальные планы печатания повести были изменены в виду решения Толстого напечатать ее в

готовившемся сборнике в память умершего 26 декабря 1888 г. редактора «Русской мысли» С. А. Юрьева, с которым Толстой издавна был в приязненных отношениях. 5 декабря Толстой записал в дневник: «Я решил отдать в Юрьевский сборник «Крейцерову сонату», и Соня довольна». 7 декабря 1889 г. С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «В настоящее время я усиленно переписываю «Крейцерову сонату», которую, к радости своей, выпросила для сборника, издаваемого в память Юрьева и в пользу его семьи, которая очень бедствует. После сборника, который выйдет в ограниченном количестве экземпляров, напечатаю и я в 13-м томе, что мне и выгодно и приятно. А главное, сборник этот дело почтенное, бескорыстное и полезное, а печатать в газетах[185] я всегда ненавидела. Левочка много работает, поправляет, и на-днях отдаем в печать» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской). В тот же день Толстой писал И. Д. Ругину: «Я решил «Крейцерову сонату» отдать в Юрьевский сборник, и меня мучает то, что это огорчит Гайдебурова. Если можно, смягчите это как-нибудь. Если что еще напишу цензурное, на что надеюсь, то напечатаю у него» (ГТМ).

10 декабря он записывает в дневник: «Вчера получил письмо от Эртеля и Гайдебурова, что «Крейцерову сонату» не пропустят. Только приятно». Через А. И. Эртеля, возвращавшегося из Ясной поляны в Москву, Толстой передал Н. И. Стороженко, одному из инициаторов сборника в память Юрьева, свое желание напечатать повесть в этом сборнике. В письме от 7 декабря Эртель, сообщая Толстому о том, что Стороженко очень обрадован решением Толстого, пишет в то же время о неприятной новости, услышанной им от его приятеля и касающейся «Крейцеровой сонаты»: один из влиятельных членов главного управления по делам печати сообщил этому приятелю, что повесть, известная главному управлению по рукописи, ни в каком случае в России не будет разрешена к печати (АТ). Гайдебуров же в письме от 8 декабря не только ничего не писал о готовящемся цензурном запрещении «Крейцеровой сонаты», но, напротив, просил Толстого подтвердить его намерение печатать повесть в «Неделе». В более позднем письме, от 20 декабря, Гайдебуров

действительно сообщал Толстому о цензурных препятствиях к опубликованию повести. Он писал: «Самое неприятное в истории с «Сонатой» вот что. Сегодня ко мне приезжал секретарь здешнего цензурного комитета с официальным порученном от Феоктистова.[186] В виду дошедших до них слухов, что «Соната» появится в «Неделе», мне категорически объявлено, что она ни в каком случае не будет допущена к выпуску в свет и что книжка с этой повестью будет уничтожена: очевидно после этого она уже не может появиться ни в Юрьевском сборнике ни где бы то ни было... Вот поистине плачевный результат преждевременного чтения «Сонаты» в петербургских «сферах».[187] Если бы повесть стала известна цензуре в промежуток тех 4-х дней, когда журнал находится на ее рассмотрении, быть может, эти господа не решились бы ее задержать (тем более, что — как я слышал — вы пишете о ней заключение); теперь же, когда известно мнение Победоносцева и других влиятельных лиц, цензура уже не могла бы, если бы даже хотела, дозволить «Сонату». Таким образом удовлетворение суетного любопытства нескольких десятков слушателей (в том числе прямо вам враждебных) лишило всё русское общество произведения, которого оно ждало с таким напряженным интересом. Мне тяжело передавать вам это, но, повторяю, мне сообщено *официально* распоряжение цензуры, и я считаю себя не в праве скрыть его от вас» (АТ).

Несмотря на это, Толстой всё-таки не терял надежды напечатать «Крейцерову сонату» в России. В письмах к П. А. Буланже и Л. Ф. Анненковой от 25 декабря он пишет о том, что собирается печатать повесть в сборнике в память Юрьева, но тут же указывает на цензурные препятствия. Непонятно, почему в письме к С. Т. Семенову от того же 25 декабря Толстой пишет о том, что повесть будет напечатана, должно быть, в «Неделе».

Повесть всё же была передана Н. И. Стороженко для напечатания ее в сборнике в память Юрьева. 15 января 1890 г. Толстой писал А. И. Эртелю: «Насчет повести моей: вчера отдал ее Стороженко. Он хочет попытаться пропустить ее с вырезками» (ГТМ). Но так как цензура не давала разрешения на ее напечатание, она в этот сборник не попала, и вместо нее в

сборнике были напечатаны «Плоды просвещения». Хлопотать о напечатании «Крейцеровой сонаты» перед высшими петербургскими бюрократическими сферами взялись свояк Толстого А. М. Кузминский, Н. Н. Страхов и Н. И. Стороженко, но хлопоты их оказались безуспешными. 22 января Н. Н. Страхов писал С. А. Толстой: «Недавно был у Победоносцева. Оказалось, что он и не читал «Сонаты Крейцеровой», но что Феоктистов наговорил ему разные ужасы. Я защищал, объясняя ему, в чем нравственный смысл повести. Кто-то мне рассказывал, что Победоносцев потом, ссылаясь на меня, говорил, что не знает, кому верить: Феоктистову или мне. «Не читал и не буду читать» — сказал он мне. — Отчего? — «Зачем я стану наполнять свое воображение тяжелыми и отвратительными образами?» (АТ)[188] 15 февраля 1890 г. Т. А. Кузминская писала С. А. Толстой о том, что «Крейцерову сонату» читали министр внутренних дел И. Н. Дурново, начальник главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов, Победоносцев, государь и государыня. Александр III, по словам Кузминской, был доволен повестью, государыня шокирована; главной же помехой во всем были Победоносцев и Феоктистов. По мнению Т. А. Кузминской, следовало бы просить о напечатании «Крейцеровой сонаты» в собрании сочинений, иначе ее вряд ли пропустят (ГТМ, архив Т. А. Кузминской).

Вскоре же С. А. Толстая обратилась к Дурново с просьбой пропустить «Крейцерову сонату» в составе тринадцатой части собрания сочинений. В ответ на это Феоктистов писал Софье Андреевне в письме от 10 марта: «Г. министр внутренних дел, получив письмо вашего сиятельства, поручил мне известить вас, что при всем желании оказать вам услугу, его высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцерова соната», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, как вы изволите предполагать, встречающиеся в ней неудобные выражения» (АТ).

До конца 1890 г. вопрос о печатании «Крейцеровой сонаты» не подвинулся вперед. 16 декабря этого года С. А. Толстая в дневнике в числе своих забот упоминает и „тринадцатую часть с запрещенной «Крейцеровой сонатой».“[189] Дело в том, что,

печатая тринадцатую часть собрания сочинений своего мужа, С. А. Толстая решила на ряду с отрывками статей «О жизни», «Плодами просвещения» и др., включить в него и «Крейцерову сонату», которая и набиралась для тома, несмотря на то, что цензурное разрешение для ее напечатания получено не было. С середины декабря 1890 г. С. А. Толстая стала держать корректуры этого тома. 12 января 1891 г. она записывает в дневник о том, что получила корректуру «Крейцеровой сонаты», а затем 13, 19 и 25 января там же отмечает, что с помощью Т. А. Кузминской поправляла корректуры «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней. В феврале большая часть тринадцатой части была отпечатана, но 25 февраля на нее был наложен арест. 28 февраля С. А. Толстая записывает в дневник: «Из Москвы известие, что арестован весь XIII том. Не знаю, чем это кончится, и ничего не решила»,[190] а 2 марта она пишет Т. А. Кузминской: «Слышали ли вы в Петербурге что либо о моем напечатанном тринадцатом томе? В Москве с начала опечатали одну «Крейцерову сонату»,[191] а потом и весь тринадцатый том» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской). Судя по тому, что Софья Андреевна отмечает в записях своего дневника от 27 мая и 5 июня 1891 г. о чтении ею корректур «Крейцеровой сонаты»,[192] часть тома, содержащая «Крейцерову сонату» и «Послесловие», была лишь набрана, а не отпечатана. Записи же 27 мая и 5 июня, видимо, обозначают, что в эти дни читались сверстанные корректуры повести и «Послесловия» к ней. 13 марта С. А. Толстая записывает в дневник: «Еду в Москву, выпущу 12 частей с объявлением о задержке XIII». 20 марта там же она записывает: «Провела в Москве 15 и 16 число... В Москве узнала, что XIII часть запретили в Петербурге. В Москве была арестована только «Крейцерова соната». Еду в Петербург, употреблю все старания, чтобы увидать государя и отвоевать XIII том».[193] При помощи Е. Г. Шереметевой, двоюродной сестры Александра III, С. А. Толстая добилась с государем свидания, которое произошло 13 апреля в Петербурге. Предлогом для свидания была просьба Софьи Андреевны, чтобы Александр III был сам цензором произведений Толстого. Предварительно С. А. Толстая побывала у Феоктистова и добилась у него

разрешения выпуска в свет тринадцатой части, за исключением «Крейцеровой сонаты». Разрешение на печатание последней, но лишь в полном собрании сочинений, было дано Александром III. В ответ на просьбу быть впредь цензором художественных произведений Толстого, он, по словам С. А. Толстой, ответил согласием.[194] В связи с намерением жены хлопотать о выпуске запрещенного цензурой тома Толстой писал 26 марта 1891 г. Н. Н. Страхову о том, что Софья Андреевна, к его «великому сожалению», едет в Петербург хлопотать о выпуске тринадцатого тома. «Вы не можете себе представить — продолжает он, — какое тут было прежде трагическое, а теперь комическое недоразумение: Софья Андреевна хлопочет, и как будто для меня, о выходе этого тома, тогда как всё в выходе этого тома мне только неприятно — прежде очень, но теперь чуть-чуть, но всё-таки неприятно: неприятно, что выходят отрывки статей с урезками, неприятно, что продаются мои сочинения, неприятно, что просто появляются теперь, в этой пошлой форме полного собрания».[195]

15 апреля того же года Толстой писал Черткову: «Жена вчера приехала из Петербурга, где она видела государя и говорила с ним про меня и мои писанья — совершенно напрасно. Он обещал ей разрешить «Крейцерову сонату», чему я вовсе не рад. А что-нибудь скверное было в «Крейцеровой сонате». Она мне страшно опротивела, всякое воспоминание о ней. Что-нибудь было дурное в мотивах, руководивших мною при писании ее. Такую злобу она вызвала. Я даже вижу это дурное. Буду стараться, чтобы впредь этого не было, если придется что кончить» (АЧ).

Несмотря однако на разрешение Александра III, том с «Крейцеровой сонатой» задерживался цензурой. 5 мая С. А. Толстая писала Т. А. Кузминской: «Знаешь, результат моего свидания с государем, говорят, тот, что «Крейцерову сонату» запретили в Москве бумагой из Петербурга еще строже, чем когда-либо. Я написала министру. Теперь жду ответа и всё не выпускаю 13-й части» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской). Наконец, к 10-му мая от министра внутренних дел И. Н. Дурново было получено разрешение на выпуск в свет тринадцатой части с

«Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» к ней, о чем была извещена типография, в которой печаталась эта книга.[196] О разрешении печатать «Крейцерову сонату» в тринадцатой части сочинений Толстого известил С. А. Толстую и И. Н. Дурново письмом от 6 мая (АТ). 8 мая 1891 г. последовал циркуляр за № 2217, сообщавший, что «напечатанную в XIII ч. сочинений графа» Л. Н. Толстого повесть «Крейцерова соната» министр внутренних дел не признал возможным выпустить в свет отдельным изданием». Циркуляром от 26 сентября того же года за № 4453, со ссылкой на предыдущий циркуляр, вновь предписывалось «не допускать повесть графа Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» с «Послесловием» отдельным изданием». Наконец, запрещение отдельных изданий «Крейцеровой сонаты» с «Послесловием» было подтверждено и циркуляром от 4 ноября 1893 г. за № 5198. Отменено это запрещение лишь в 1900 г., «по высочайшему повелению», циркуляром от 17 февраля за № 1192.[197]

В июне 1891 г. вышла, наконец, в свет тринадцатая часть сочинений Толстого с «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» к ней, отпечатанная в Москве, в типографии А. И. Мамонтова и помеченная на титульном листе 1890-м годом, а на обложке, отпечатанной в типографии М. Г. Волчанинова, — 1891-м годом.[198] Том поделен на два отдела. В первом напечатаны статьи «В чем счастье?», «О переписи в Москве», отрывки из «Так что же нам делать?», статья «О том, в чем правда в искусстве»; во втором, имеющем подзаголовок «Новейшие произведения» — «Ручной труд и умственная деятельность», «Последние главы из книги «О жизни», «Праздник просвещения 12 Января», «Трудолюбие или торжество земледельца», «Плоды просвещения», «Для чего люди одурманиваются?», «Крейцерова соната» и «Послесловие» к ней.

Так как этот том вышел в ограниченном количестве экземпляров (3000) и очень скоро разошелся, то С. А. Толстая вскоре же задумала новое издание его. 11 июля она писала Т. А. Кузминской: «13-й том, думают в цензуре, можно будет повторить, и я заказываю» (ГТМ, архив Т. А. Кузминской). 16

июля 1891 г., по возвращении из Москвы в Ясную поляну, Софья Андреевна записывает в дневник: «После ее (А. А. Толстой, *Н. Г.)* отъезда я на другой день уехала в Москву заказывать 20000 XIII части к прежним изданиям; ее было только 3000, и все разошлись очень быстро. Пришлось очень утомляться, чтоб найти бумагу готовую, чтоб найти типографию, которая взялась бы сделать в 2 недели».[199] Новое издание тринадцатой части по объему существенно отличалось от предыдущего. В него вошел лишь отдел «Новейших произведений», четыре же статьи, составлявшие первый отдел тринадцатого тома в предыдущем издании и ранее напечатанные в предшествовавших изданиях сочинений, не были включены в том, очевидно, для того, чтобы удешевить его печатание и облегчить для покупателя его приобретение. На обложке тома и на титульном листе к пометке «Произведения последних годов» добавлено «Издание первое». Год издания — 1891, типография — М. Г. Волчанинова. Но набор в обоих изданиях один и тот же, так что, видимо, в типографии Волчанинова лишь вторично печаталась книга, набранная в типографии Мамонтова.

Набор текста «Крейцеровой сонаты» для тринадцатой части, как указано в описании рукописей, производился с оригинала, переписанного рукой С. А. Толстой и содержавшего в себе ряд отступлений от последней, авторизованной рукописи повести и, кроме того, очень большое количество ошибок и пропусков, сделанных переписчицей по рассеянности. Количество искажений подлинного толстовского текста в «Крейцеровой сонате», как она была напечатана в тринадцатой части, увеличивается тем, что и последняя авторизованная рукопись заключала в себе, в свою очередь, ряд ошибочных чтений, незамеченных Толстым и переходивших из копии в копию. В правке корректуры Толстой никакого участия не принимал, а С. А. Толстая правила ее исключительно по оригиналу, сданному в набор, в редких случаях внося исправления по собственному почину и таким образом еще увеличивая количество отступлений от подлинного текста.

В результате всего этого текст «Крейцеровой сонаты» в тринадцатой части — издания 1891 г. — заключает в себе

огромное количество искажений (около 200) сравнительно с подлинным текстом повести, сделанных частью сознательно большей же частью бессознательно.

Приводим все сознательные искажения и важнейшие образцы искажений бессознательных по сравнению с верными чтениями текста рукописи № 14.[200]

Сознательные искажения вызывались прежде всего стремлением С. А. Толстой избегнуть рискованных и в печати неудобных, по ее мнению выражений.

Так, в главе V, стр. 20, строка 20, слова: «за сифилитиков» заменены словами: «за больных известной болезнью»; в главах VI и VII, стр. 22, 23, строки 32, 12, 18, слова: *«нашлепки на зады», *«зада», *«нашлепки» заменены соответственно словами: «турнюры», «турнюра», «турнюры»; в главе XIV, стр. 37, строка 7, слова: *«на придворном бале» заменены словами: «на утонченнейшем бале»; в главе XVIII, стр. 46, строка 26, слова «мерзавцы не велели» заменены словами: «доктора не велели»; в главе XXV, стр. 66, строки 23, 24, слова: *«публичные дома» заменены словами: «известные дома». В следующих трех случаях замены сделаны С. А. Толстой, видимо по мотивам субъективного свойства. Так, в главе XI, стр. 28, строки 31—32, слова: *«надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок» заменены словами: «надо, чтоб супруг воспитал в жене этот порок»; в главе XVI, стр. 42, строки 32—33, слова: «виновата она, сделала не то» заменены словами: «виноваты мы, сделали не то»; в главе XIX, стр. 48, строка 7, к словам: «и тут же неожиданную муку — детей» перед словом «детей» добавлено: «столько».

В одном случае, в тексте X главы, следующее стилистически неотделанное, хотя и авторизованное Толстым место — «Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство», стр. 27, строки 36—38, исправлено так: «Но у нас, когда из десяти брачущихся наверное девять не только не верят в таинство, но не верят даже в то, что то, что они делают, есть некоторое обязательство». В другом случае, в XV главе, фраза: «И всех

она кормила сама», стр. 40, строка 15, после слова «всех» логически правильно дополнена словами: «кроме первого», так как выше в той же главе речь идет о том, что жена Позднышева, к которой эта фраза относится, по настоянию докторов не кормила сама первого ребенка.

В последней главе, после слов: «и трясся молча передо мною», стр. 78, строки 1—2, напечатано следующее место, отчеркнутое в рукописи № 14 с пометкой рукой Толстого «пр[опустить]»: «Лицо его сделалось тонкое, длинное, и рот во всю ширину его. — Да, сказал он вдруг. Если бы я знал, что я знаю теперь, так бы совсем другое было бы. Я бы не женился на ней ни за что, и никак не женился бы. — Опять мы долго молчали».

В нескольких случаях С. А. Толстая, видимо также сознательно, сделала некоторые исправления слога, с целью «улучшить» его. Так, в главе I, стр. 10, 11, строки 21, 34, вместо «говорила она» ею написано: «говорила дама», вместо «уговаривал он» — «уговаривал муж», в главе XVIII, стр. 47, строка 14, вместо «мерзавцев» — «мерзавцев-докторов», в главе XIX, стр. 49, строка 4, вместо *«Он — отец» — «Его отец»; в главе XXV, стр. 65, строка 10, вместо «не видно его было», «не видно было Позднышева».

Что касается бессознательных искажений авторского текста, сделанных в рукописи, с которой набиралась повесть, и затем попавших в печатный текст издания 1891 г., то они часто сводятся к пропуску тех фраз и слов, которые начинаются тем же словом, которым начинается следующая за пропущенными словами фраза, или — чаще — кончаются тем словом, которым кончается предшествующая пропущенным словам фраза. Случаи эти следующие. Перед словами: «У нас люди женятся», стр. 15, строка 2, пропущено: «*а у нас их нет».[201] После слов: «делала и говорила», стр. 41, строки 36—37, пропущено: *«она делала и говорила». Перед словами «В городе человек может», стр. 46, строка 10, пропущено: *«В городе несчастным людям жить лучше».[202] После слов: «Узды не было никакой, как» стр. 47, строка 23, пропущено: *«нет никакой». После слов: «Что может удержать его?», стр. 64, строка 10, пропущено: *«Ничто.

Всё, напротив, привлекает его». После слов: «одну за другой», стр. 66, строка 8, пропущено: *«и одну циничнее другой». После слов: «Страдания были», стр. 67, строка 19, пропущен целый ряд строк, начиная от слов: *«так сильны» и кончая словами: «*К нему же было».[203] В результате этого пропуска и еще нескольких ошибок из оставшихся слов получилась явно лишенная смысла фраза: «Страдание было какое-то странное чувство — и ненависть сознания своего унижения и его побед». После слов: «и явилось странное чувство», стр. 69, строки 36—37, пропущено: *«вы не поверите — чувство». Перед словами: «ее доктор», стр. 75, строка 38, пропущено: *«доктор».[204]

Кроме того, С. А. Толстой при переписке его рукописи № 14 допущены следующие искажения.

Вместо «она сейчас говорит», стр. 10, строки 28—29, напечатано: «жена сейчас говорит»; вместо «пропадет», стр. 12, строки 5—6, — «пропало»; вместо «любовь... любовь... любовь», стр. 12, строка 35, — «любовь... любовь»; вместо «взаимность», стр. 14, строка 14, — «взаимное»; вместо «тут не невероятность», стр. 14, строка 17, — «тут не вероятность»; вместо «и вы, вы», стр. 17, строка 12, — «и вы», вместо *«виделось» стр. 18, строка 25—«предвиделось»; вместо «но и та ведь предвидена», стр. 18, строки 25—26, — «но и то ведь предвидено»; после слов: «нужно для здоровья? — Они», стр. 18, строки 36—37, пропущено: *«А потом с ужасной важностью лечат сифилис. — Да отчего же не лечить сифилис?»[205] (в результате этого пропуска следующая фраза: «А оттого...» логически не связана с контекстом);[206] вместо «отозвать в сторону», стр. 20, строка 12, — «отозвать его в сторону»; вместо *«Ригольбош», стр. 20, строка 17, — «Ригольбож»; вместо «как, уже будучи женихом, я показал», стр. 21, строка 40, «как я, будучи женихом, показал»; вместо «Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю», стр. 22, строка 8, — «Он издал свой звук, отпил еще глоток чаю и помолчал»; вместо «в самом заманчивом свете», стр. 22, строка 36, — «в самом обманчивом, но привлекательном свете»; вместо «вошла в возраст дева», стр. 24, строка 21, — «Вошла в возраст девка»; вместо «Боже», стр. 25, строка 3, — «Боже мой»; вместо

*«сопутствующие таинству», стр. 27, строки 35—36, — «соответствующие таинству»; вместо *«что десяток, другой хочет», стр. 29, строки 20—21, — «что хочет»; вместо *«нарушаешь его», стр. 31, строка 28, — «нарушишь его»; вместо «вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение», стр. 34, строка 30, — «следствие прекращения чувственности, обнаружившее наше действительное отношение»; вместо «как они теперь убивают», стр. 32, строки 23—25, — «как они все теперь убивают»; вместо «мужчина смотрит», стр. 37, строка 2, — «мужчины смотрят»; после слов: «кормила следующих детей», стр. 39, строки 16—17, пропущено: «сама»; вместо «любви и не любви», стр. 39, строка 21, напечатано: «любви или не любви»; вместо «изменяющиеся правила», стр. 42, строка 27, — «сменяющиеся правила»; вместо «начали рожаться дети», стр. 42, строка 31, — «начали рожать детей»; вместо «а не захватил», стр. 42, строка 29, — «а не захватишь»; после слова «говорят верующие», стр. 43, строка 8, пропущено: *«бабы».[207] После слов: «от Бога не уйдешь», стр. 43, строка 9, пропущен значительный по объему конец абзаца, написанный Толстым в рукописи № 14 на обороте листа от слов: *«Она бы думала» и кончая: *«и то не всегда»; вместо «Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею», стр. 44, строки 23—24, напечатано: «Она считала себя всегда, вероятно, совершенно правой передо мной, а уж я, для себя, был всегда свят перед нею в своих глазах»; вместо «до невозможного», стр. 44, строка 29, — «до невозможности»; вместо «друг другу», стр. 45, строка 26, — «друг друга»; вместо «была уже не то», стр. 48, строка 12, — «была уже не та»; вместо «называется», стр. 49, строки 31—32, — «называют»; вместо «чувствуешь», стр.50, строка 19, — «чувствуется»; вместо «что они могли выскочить из меня», стр. 50, строки 38—39, — «что они выскочили у меня»;[208] вместо *«недоброжелательно смотрят», стр. 51, строки 18—19, — «неодобрительно смотрят»; вместо «сменяются», стр. 51, строка 20, — «меняются»; вместо «и тут не ложусь», стр. 51, строка 29, — «а тут же ложусь»;[209] вместо «письма», стр. 51, строка 30, —

«письмо»; вместо *«Три, четыре часа, ее всё нет», стр. 51, строки 31—32, — «Три, четыре часа, ее нет»; вместо «Около одиннадцати», стр. 51, строка 37, — «Около 11-ти утра»; вместо *«и достигаю того, что бессознательно желаю», стр. 52, строка 8—9, — «и достаточно того, что бессознательно желаю»; вместо «этот человек», стр. 52, строки 38—39, — «тот человек»; вместо «устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы», стр. 54, строки 24—25, — «устраивая ему пюпитр, переворачивая страницы»; вместо *«и по своей внешней элегантности», стр. 55, строка 9, — «по всей внешней элегантности»; вместо *«сговаривались», стр. 56, строка 36, — «сговорились»; вместо *«хочет скрыть», стр. 58, строка 1, — «хотела скрыть»; вместо *«как кокотка», стр. 58, строка 20, — «как кокетка». После этого слова напечатаны слова: «Только тебе всякая подлость приятна, а мне ужасна», в рукописи № 14 зачеркнутые, затем восстановленные и потом опять зачеркнутые. Вместо *«уже не позволял», стр. 60, строка 23, напечатано: «не позволял»; вместо «зевающего», стр. 61, строка 22, — «зевающих»; вместо «смеющегося», стр. 61, строка 23, — «смеющихся»; вместо «важные поступки», стр. 62, строка 10, — «поступки»; вместо «представлялись совсем в другом свете», стр. 61. строка 20, — «представлялись в другом свете»; вместо *«После этого престо», стр. 61, строка 21, — «После этого allegro»; вместо «вспомнились», стр. 61, строка 34, — «вспоминались»; вместо «известный за дрянного человека», стр. 63, строка 37, — «известного за дрянного человека»; вместо *«куришь», стр. 64, строка 34, — «курил»; вместо *«не вставляя новой», стр. 65, строка 5, — «не вставляя новую»; вместо «забывал, куда я еду», стр. 65, строка 18, — «я забывал, куда еду»; вместо *«Это было очень давно», стр. 66, строка 22, — «Это было давно»: вместо «Ничего, ничего подобного нет», стр. 66, строка 32, — «Ничего нет подобного, ничего»;[210] вместо «О как хорошо бы это!», стр. 68, строки 7—8, — «О как хорошо бы это было!»; вместо «Ванька-ключничек», стр. 68, строка 18, — «Ванька-ключник»; вместо «наказать», стр. 69, строка 38, — «доказать»; вместо «на свой диван», стр. 70, строка 31, — «на диван»; вместо «чулках», стр. 71, строки 29, 35, — «носках»;[211] вместо *«только

мгновенье», стр. 72, строка 14, — «только мгновенно»; вместо «Иван Федорович», стр.75, строки 37—38, — «Иван Захарыч»; вместо «бросилось мне в глаза», стр. 76, строка 20, — «бросилось мне»; вместо «всё черное», стр. 76, строка 21, — «всё почерневшее»; вместо «На месте раны было что-то наложено», стр. 76, строки 24—25, — «На место раны было что-то положено»;[212] вместо «удерживать меня», стр. 76, строка 28, — «удержать меня»; вместо *«с запинками проговорила», стр. 76, строка 36, — «с заминками проговорила»; вместо «очевидно, в бреду», стр. 77, строка 21, — «очевидно, уже в бреду»; вместо «Бред продолжался всё время», стр. 77, строка 24, — «Бред продолжался уже всё время»; вместо «померла», стр. 77, строка 25, — «умерла» и т. д.

Целый ряд слов, никак не выделенных Толстым в издании 1891 г., напечатан курсивом.

К этим ошибкам и искажениям текста нужно присоединить те, которые, как сказано выше, вкрались в последнюю авторизованную рукопись № 14 и перешли в рукопись, с которой делался набор, а из нее — в печатный текст. Они отмечаются ниже.

Кроме того, в печатный текст тринадцатой части издания 1891 г. не попало из наборной рукописи следующее: 1) 12-й стих XIX главы «Евангелия» от Матфея («Ибо есть скопцы» и т. д.); 2) конец главы VI, стр. 23, строки 14—17, от слов: *«Строго определяя»; 3) слово «проституточных» из главы IX, стр. 26, строка 38; 4) из главы XI, стр. 28, строка 38, стр. 29, строка 5, от слов: *«Моя сестра очень молодая», кончая: «чего он хотел от нее»; 5) конец главы XI, стр. 31, строки 8—20, от слов: *«Так что же странного»; 6) в главе XIII, стр. 35, строки 34—36, от слов *«Я бы им, этим волхвам», кончая: «Что бы они тогда заговорили?» Всё это, кроме слова «проституточных», в оригинале перечеркнуто частью карандашом, частью пером. Судя по легкому нажиму того и другого, зачеркивания сделаны не до сдачи в набор (иначе они были бы сделаны более энергично), а во время работы над корректурой, очевидно рукой С. А. Толстой. Возможность предположения о том, что это было сделано цензурой, отпадает прежде всего потому, что цензура отвергла

повесть в целом, а не в частях, и что зачеркнутые места в общем контексте повести с цензурной точки зрения вряд ли могли показаться более одиозными, чем многие другие, незачеркнутые. Нет, в частности, оснований полагать, что замечания цензурного характера Победоносцева, сделанные им в цитированном выше письме к Феоктистову, отразились на тексте повести: они не покрываются теми пропусками, которые в ней сделаны.

Еще до напечатания «Крейцеровой сонаты» в тринадцатой части сочинений Толстого она в последней редакции вместе с «Послесловием» была напечатана в 1890 г. в Женеве, в издании М. К. Элпидина: «Крейцерова соната. Графа Л. Н. Толстого. По исправленной рукописи», 8°, 123 стр. В списке, по которому напечатан текст повести в этом издании, отсутствовали многие ошибки списка С. А. Толстой, с которого повесть позже была напечатана в тринадцатой части, но далеко не все. Оригинал элпидинского издания представляет собой случайную комбинацию текста списка С. А. Толстой с текстом последней авторизованной рукописи повести.

Текст «Крейцеровой сонаты», печатавшийся в последующих изданиях сочинений Толстого, принадлежавших С. А. Толстой, до двенадцатого издания 1911 г., представляет собой механическую перепечатку текста тринадцатой части издания 1891 г.,[213] от которого пошли и многочисленные перепечатки повести в отдельных изданиях, появлявшихся начиная с 1900 г. Большое количество этих отдельных изданий было обусловлено тем, что Толстой при выходе в свет двенадцатой и тринадцатой частей его сочинений отказался от права собственности как на произведения, помещенные в этих частях, так и на все последующие.

Текст «Крейцеровой сонаты», напечатанный в двенадцатой части двенадцатого издания сочинений Толстого (1911 г.) и перепечатанный в издании И. Д. Сытина под редакцией П. И. Бирюкова («Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого», т. XII, М. 1913), исправляя многие (но далеко не все) ошибки текста тринадцатой части издания 1891 г. и восстанавливая пропуски, вместе с тем допускает ряд новых, не

обоснованных авторизованными текстами словарных разночтений сравнительно с авторизованным текстом последней редакции повести. Эти словарные варианты в огромном большинстве восходят к тексту рукописи, описанной под № 15, и от него, видимо, зависят. (Перечисление их см. выше при описании рукописи № 15.)

Относительно текста «Крейцеровой сонаты», напечатанного в XII томе «Полного собрания художественных произведений Л. Толстого», Государственное издательство, М. — Л. 1928, оговорено, что он печатается по изданию «Сочинений Л. Н. Толстого, ч. XIII, М., 1891». На самом же деле он является прихотливой комбинацией текста указанного издания с текстом двенадцатого издания 1911 г. То же нужно сказать и относительно текста, напечатанного издательством «Огонек» в собрании художественных произведений Толстого, т. X, М. 1928.

Таким образом ни один из печатных текстов «Крейцеровой сонаты» не является авторитетным (наиболее искажен текст издания 1891 г.). Поэтому в настоящем издании текст «Крейцеровой сонаты» печатаем по последней авторизованной Толстым рукописи, описанной под № 14, не принимая однако позднейших поправок, сделанных в ней в небольшом количестве рукой посторонних лиц. Но так как эта рукопись представляет собой исправленную копию, в которую из предшествующих авторизованных копий попали ошибочные чтения, не замеченные Толстым, то текст ее сверяем с автографическими текстами в их окончательной редакции.[214] В результате этой сверки в печатный текст сравнительно с рукописью № 14 вносим следующие исправления. (Не отмечаем нескольких ошибочных чтений рукописи № 14, исправленных С. А. Толстой в рукописи № 16 или в корректуре.)[215]

В главе I, стр. 8, строка 33, печатаем: «ярманке» вместо «ярмарке» — по рукописи № 9, л.[216] 4.

*В главе II, стр. 13, строки 12—13, печатаем: «на два дни,[217] на полчаса» вместо «на два или на полчаса» — по рукописи № 9, л. 17 и № 12, л. 8.

В той же главе, стр. 13, строка 40, печатаем: «Ах, что вы!» вместо «Ох! что вы!» — по рукописи № 9, л. 17.

В главе V, стр. 20, строка 2, печатаем: «а как послышишь» вместо «а как послушаешь» — по рукописи № 4, л. 23 об.

В той же главе, стр. 20, строки 10—11, печатаем: «когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин» вместо «когда в обществе к моей сестре, дочери подступит такой господин» — по рукописи № 13, л. 20 об.

В той же главе, стр. 20, строка 18, печатаем: «следы, нездоровье» вместо «следы нездоровья» — по рукописи № 13, л. 20 об.

В той же главе, стр. 20, строки 19—20, печатаем: «выданы родителями с восторгом за сифилитиков» вместо: «выданы родителями с восторгом за больных сифилисом». Так именно написано рукой Толстого в рукописи № 13, л. 21; в рукописи № 14 С. А. Толстая вместо «за сифилитиков» написала «за больных» и далее поставила многоточие, поверх которого Толстой написал «сифилисом». Получилось явно компромиссное чтение, имеющее смысл не вполне сходный с первоначальным написанием Толстого.

В той же главе, стр. 21, строка 2, печатаем: «ворочались» вместо «возвращались» — по рукописи № 12, л. 21.

В той же главе, стр.21, строки 11—12, печатаем: «ты не слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное» вместо «ты не слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное» — по рукописи № 13, л. 22.

В той же главе, стр. 21, строка 22, печатаем: «или тысячу» вместо «и тысячу» — по рукописи № 13, л. 22.

В той же главе, стр. 21, строки 38—39, печатаем: «Девушки же» вместо «Девушки» — по рукописи № 12, л. 25.

В главе VI, стр. 12, строка 30, печатаем: «но всякая невинная девушка» вместо «всякая невинная девушка» — по рукописи № 4, л. 28.

В той же главе, стр. 22, строка 32, печатаем: «От этого эти джерси» вместо «Оттого эти джерси» — по рукописи № 3, л. 7.

В той же главе, стр. 22, строка 36, печатаем: «заманчивом свете» вместо «обманчивом свете» — по рукописи № 6, л. 23 об.

В той же главе, стр. 23, строка 11, печатаем: «грудей» вместо «груди» — по рукописи № 6, л. 24.

В той же главе, стр. 23, строка 17, печатаем: «уважаемы» вместо «обыкновенно уважаемы» — по рукописи № 3, л. 7.

В главе VII, стр. 23, строка 28, после слов «около меня» добавляем «нынче» — по рукописи № 6, л. 25.

В той же главе, стр. 23, строки 34—35, печатаем: «по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства» вместо «по два фунта мяса и дичи, и рыбы, и всякие горячительные яства» — по рукописям № 6, л. 25 и № 13, л. 26.

В той же главе, стр. 24, строка 10, печатаем: «человека, поглощающего» вместо «человек, поглощающий» — по рукописи № 13, л. 27.

В главе VIII, стр. 24, строка 27, печатаем: «А девки ждут» вместо «А девы ждут» — по рукописи № 4, л. 28 об.

В той же главе, стр. 24, строки 31—32, печатаем: «что это для них всё устроено» вместо «что это так всё для них устроено» — по рукописи № 13, л. 29.

В той же главе, стр. 25, строки 8, 10, 12, печатаем «Лиза», «Лизу» вместо «Лили», — всюду по рукописи № 6, л. 28 об.

В главе IX, стр. 25, строки 19—20, печатаем: «преимущества» вместо «преимущество» — по рукописи № 13, л. 30.

В той же главе, стр. 25, строка 38, печатаем: «того права» вместо «этого права» — по рукописи № 6, л. 29 об.

В той же главе, стр. 26, строка 13, печатаем «работают» вместо: «работает» — по рукописи № 5, л. 5 об.

*В главе X, стр. 27, строка 23, печатаем: «останемся» вместо «остаемся» — по рукописи № 5, л. 10 об.[218]

В главе XI, стр. 29, строка 4, печатаем: «ни за что, ни за что» вместо «ни за что» — по рукописи № 5, л. 6 об.

В той же главе, стр. 30, строки 34—35, печатаем: «положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели» вместо

«положим бы, достигли после многих тысяч лет» — по рукописи № 12, л. 20.[219]

В главе XII, стр. 33, строка 34, печатаем: «несвойственное» вместо «неестественное» — по рукописи № 5, л. 15.

В той же главе, стр. 33, строка 26, печатаем: «*попался*» вместо «пропал» — по рукописи № 5, л. 16.

В главе XIII, стр. 36, строка 13, печатаем: «приятно» вместо «приятное» — по рукописи № 4, л. 39 об.

В главе XIV, стр. 37, строк 9—10, печатаем: «уверяли» вместо «уверяют» — по рукописи № 5, л. 14 об.

В той же главе, стр. 37, строка 38, печатаем: «на самую себя» вместо «на себя, самою[220] себя» — по рукописи № 4, л. 37—37 об.

В главе XV, стр. 40, строка 8, печатаем: «а они пропишут» вместо «и они пропишут» — по рукописи № 10, л. 22 об.

В той же главе, стр. 40, строка 11, печатаем: «Но не в этом дело» вместо «Но и не в этом дело» — по рукописи № 10, л. 22 об.

*В главе XVII, стр. 45, строки 12—13, печатаем: «У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт» вместо «У меня же было свое пьянство: пьянство, служба, охота, карты» — по рукописи № 13, л. 54.[221]

В той же главе, стр. 45, строки 16—17, печатаем: «а мне заседанье» вместо «а у меня заседанье» — по рукописи № 13, л. 55.

В той же главе, стр. 45, строка 18, после слов: «а я всю ночь не спала с ребенком», исключаем слова: «Эти новые теории гипнотизма, душевных болезней, истеричности — всё это не простая, но вредная, гадкая глупость. Про жену мою Шарко непременно сказал бы, что она была истерична, а про меня сказал бы, что я ненормален, и, пожалуй, стал бы лечить. А лечить тут нечего было». Делаем это на том основании, что в рукописи № 13, л. 55, эти слова вместе с примыкающим к ним довольно большим отрывком отчеркнуты рукой Толстого с пометкой его же рукой «пр[опустить]». Но в рукописи № 14 переписчица С. А. Толстая из всего предназначенного к исключению отрывка переписала указанные слова, очевидно, не

заметив, что и они обведены чертой, и к ним также относится пометка «пропустить». Так как в тексте этой главы в рукописи № 14 есть одно лишь исправление рукой Толстого, то можно думать, что он прочел его бегло и не заметил ошибки переписчицы.

В главе XVIII, стр. 45, строка 16, печатаем: «а то сразу две, три знаменитости» вместо «а то и две, три знаменитости» — по рукописи № 13, л. 63.

В той же главе, стр. 46, строка 35, печатаем: «И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого» вместо «И оправданий свиной жизни для нас нет никаких» — по рукописи № 12, л. 53.

*В той же главе, стр. 47, строка 3, печатаем: «совести» вместо «совесть» — по рукописи N° 12, л. 53.[222]

*В главе XIX, стр. 48, строка 21, печатаем: «когда есть молодость» вместо «что есть молодость» — по рукописи № 9, л. 58.

*В той же главе, стр. 48, строка 31, печатаем: «свои» вместо «своим» — по рукописи № 10, л. 52.[223]

В той же главе, стр. 49, строка 22, печатаем: «галстука» вместо «галстуков» — по рукописи № 9, л. 59 об.

В той же главе, стр. 49, строка 23, печатаем: «новизне» вместо «новизны» — по рукописи № 13, л. 65.

В той же главе, стр. 49, строка 33, после слова «смысл» добавляем: «дела» — по рукописи № 11, л. 1.

*В той же главе, стр. 49, строка 40, печатаем: «друг к другу» вместо «друг на друга» — по рукописи № 13, л. 67.

В той же главе, стр. 50, строка 2, печатаем: «в последнее время» вместо «последнее время» — по рукописи № 13, л. 67.

В главе XX, стр. 51, строка 28, печатаем: «одиннадцать, двенадцать, час» вместо «Одиннадцать, двенадцатый час» — по рукописи № 13, л. 71.

В той же главе, стр. 51, строка 28, печатаем: «Не иду» вместо «Я не иду» — по рукописи № 13, л. 71.

В той же главе, стр. 51, строка 30, печатаем: «ничего не могу» вместо «но ничего не могу» — по рукописи № 13, л. 71.

В той же главе, стр. 51, строка 37, печатаем: «послом от нее» вместо «от нее послом» — по рукописи № 13, л. 71.

В той же главе, стр. 52, строка 4, после слов: «Я смело сказал» добавляем: «говоря с ней» — по рукописи № 13, л. 71.

В той же главе, стр. 52, строка 6, печатаем: «я уже готов» вместо «я уже готов был» — по рукописи № 13, л. 72.

В той же главе, стр. 52, строка 18, печатаем: «вскрикивает»: вместо «выкрикивает» — по рукописи № 11, л. 2.

В той же главе, стр. 52, строка 22, печатаем: «сделалось» вместо «случилось» — по рукописи № 11, л. 2.

В той же главе, стр. 52, строка 25, после слов: «на кровати» добавляем: «без чувств» — по рукописи № 11, л. 2.

В той же главе, стр. 52, строка 26, печатаем: «на столике» вместо «на столе» — по рукописи № 11, л. 2.

В той же главе, стр. 52, строка 27, печатаем: «Еще слезы» вместо «Слезы» — по рукописи № 11, л. 2.

В той же главе, стр. 52, строка 27, печатаем: «И не примиренье» вместо «Не примиренье» — по рукописи № 11, л. 2.

В главе XXI, стр. 53, строка 29, печатаем: «блудники» вместо «безнравственные люди» — по рукописи № 10, л. 54.

В той же главе, стр. 53, строка 37, печатаем: «одинаковость» вместо «как бы одинаковость» — по рукописи № 10, л. 54.

В той же главе, стр. 53, строки 37—38, печатаем: «выражений, взглядов» вместо «выражения взглядов» — по рукописи № 13, л. 77 об.

В той же главе, стр. 53, строка 38, печатаем: «Она краснела — и он краснел» вместо «Она краснела — он краснел» — по рукописи № 13, л. 77 об.

В той же главе, стр. 54, строка 3, печатаем: «ничего бы не было» вместо «ничего бы и не было» — по рукописи № 10, л. 55.

*В той же главе, стр. 54, строка 5, после слов: «сказал я» добавляем: «ей» — по рукописи № 13, л. 77 об.[224]

В той же главе, стр. 54, строка 5, печатаем: «чтоб я боялся» вместо «чтоб боялся» — по рукописи № 13, л. 77 об.

В той же главе, стр. 55, строка 3, печатаем: «Если бы я был чист» вместо «Если бы я сам был чист» — по рукописи № 11, л. 3.

В той же главе, стр. 55, строки 21—24, печатаем: «сношений моих с ним» вместо «сношений с ним» — по рукописи № 12, л. 56.

В той же главе, стр. 55, строка 24, печатаем: «дорогим вином» вместо «дорогими винами» — по рукописи № 13, л. 80.

В той же главе, стр. 55, строка 33, печатаем: «Возвращаюсь с выставки» вместо «Возвращаюсь я с выставки» — по рукописи № 13, д. 80.

В той же главе, стр. 55, строка 33, печатаем: «про себя и его» вместо «про себя и про него» — по рукописи № 13, л. 84.

*В главе XXII, стр. 58, строки 27—28, печатаем: «Она встала, но не ушла» вместо «и не ушла» — по рукописи № 15, л. 79.

В главе XXIII, стр. 60, строка 38, печатаем: «оглянулись» вместо «оглянувшись» — по рукописи № 12, л. 63.

В той же главе, стр. 61, строка 1, печатаем: «Она взяла первый аккорд» вместо «Он взял первые аккорды» — по рукописи № 13, л. 86.

В той же главе, стр. 61, строки 3—4, печатаем: «и ответил роялью» вместо «Рояль ответила ему» — по рукописи № 13, л. 86.

В той же главе, стр. 61, строка 5, печатаем: «Он» вместо «Позднышев» — по рукописи № 13, л. 86.

В той же главе, стр. 61, строка 7, после слов: «Они играли Крейцерову сонату Бетховена» исключаем слова: «продолжал он» — по рукописи № 13, л. 86.

В той же главе, стр. 61, строка 8, печатаем: «У!..» вместо «У! Ууу!» — по рукописи № 9, л. 62 об.

В той же главе, стр. 61, строка 9, печатаем: «Именно» вместо «И именно» — по рукописи № 12, л. 61 об.

В той же главе стр. 61, строка 20, печатаем: «чего не понимаю» вместо «чего я не понимаю» — по рукописи № 12, л. 61 об.

В той же главе, стр. 61, строка 20, печатаем: «что могу» вместо «что я могу» — по рукописи № 12, л. 61 об.

В той же главе, стр. 62, строка 34, печатаем: «открылись, как будто вспомнились» вместо «открывались, как будто

вспоминались» — по рукописи № 12, л. 63.

*В главе XXIV, стр. 63, строка 17, печатаем: «чтобы он обещал» вместо «что он обещал» — по рукописи № 12, л. 64.

В той же главе, стр. 63, строки 21—22, печатаем: «без меня был» вместо «был без меня» — по рукописи № 13, л. 88 об.

В той же главе, стр. 64, строка 4, печатаем: «и этому музыканту» вместо «этому музыканту» — по рукописи № 3, л. 13 об.

В главе XXV, стр. 65, строка 15, печатаем: «шипы выпечатываются на масляной дороге» вместо «шины выпечатываются на засаленной дороге» — по рукописи № 12, л. 68.

В той же главе, стр. 66, строки 7—8, печатаем: «было действительность» вместо «было действительностью» — по рукописи № 12, л. 69.

В той же главе, стр. 66, строка 31, после слов: «Нет, это невозможно!» добавляем: «Что я думаю!» — по рукописи № 9, л. 69 об.

В той же главе, стр. 66, строка 33, печатаем: «что-нибудь предполагать подобное» вместо «предполагать что-нибудь подобное» — по рукописи № 9, л. 69 об.

В той же главе, стр. 68, строки 23—24, печатаем: «Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна была желать» вместо «Я не мог бы сказать чего я желал. Я желал, чтоб она не хотела того, что она должна была хотеть» — по рукописи № 12, л. 72.

В главе XXVI, стр. 69, строка 16, печатаем: «его шинель» вместо «шинель» — по рукописи № 12, л. 73.

В той же главе, стр. 69, строка 17, печатаем: «точно я ждал» вместо «потому что ждал» — по рукописям № 9, л. 70 об. и № 12, л. 73.

В той же главе, стр. 69, строки 22—23, печатаем: «как будто желал порадовать» вместо «как будто порадовать» — по рукописи № 9, л. 70 об.

В той же главе, стр. 69, строки 23—24, печатаем: «что есть еще кто» вместо «что есть еще кто-нибудь» — по рукописи № 9, л. 70 об.

В той же главе, стр. 69, строка 24, после слова «кто» добавляем: «Никого-с» — по рукописи № 12, л. 73.

В той же главе, стр. 70, строка 15, печатаем: «я говорил себе» вместо «и я говорил себе» — по рукописи № 12, л. 74 об.

В той же главе, стр. 70, строки 16—17, печатаем: «теперь уж этого не было» вместо «теперь этого уж не было» — по рукописи № 12, л. 74 об.

В той же главе, стр. 71, строка 2, печатаем: «с своей этой талией» вместо «с своей талией» — по рукописи № 12, л. 76.

В той же главе, стр. 71, строка 12, печатаем: «Да, и я сижу» вместо «Да, я сижу» — по рукописи № 9, л. 72.

В той же главе, стр. 71, строка 15, печатаем: «по крайней мере было» вместо «было по крайней мере» — по рукописи № 12, л. 76.

В той же главе, стр. 71, строка 18, печатаем: «выталкивал» вместо «вытолкал» — по рукописи № 12, л. 76.

В главе XXVII, стр. 71, строка 32, печатаем: «страшно острый» вместо «очень острый» — по рукописи № 12, л. 77.

В той же главе, стр. 72, строка 8, печатаем: «не случилось бы» вместо «и не случилось бы» — по рукописи № 12, л. 78.

В той же главе, стр. 72, строка 22, печатаем: «В это же мгновенье» вместо «В это-то мгновенье» — по рукописи № 12, л. 78.

В той же главе, стр. 72, строка 25, печатаем: «начала и она» вместо «начала она» — по рукописи № 12, л. 78.

В той же главе, стр. 74, строка 15, печатаем: «И поступок сознавался» вместо «Поступок сознавался» — по рукописи № 12, л. 80 об.

В той же главе, стр. 75, строки 20—21, печатаем: «и, достав папироски и спички, стал курить» вместо «и достал папироски и спички и стал курить» — по рукописи № 12, л. 81.

В той же главе, стр. 75, строка 23, печатаем: «дружны» вместо «друзья» — по рукописи № 12, л. 81.

В той же главе, стр. 75, строка 17, печатаем: «Я ничего не отвечал, решая вопрос» вместо «Я ничего не ответил и решал вопрос» — по рукописи № 12, л. 81.

В той же главе, стр. 75, строка 27, печатаем: «спрашивал» вместо «спросил» — по рукописи № 12, л. 81.

В главе XXVIII, стр. 76, строка 15, печатаем: «иодоформ, карболка» вместо «иодоформа, карболки» — по рукописи № 12, л. 83.

В той же главе, стр. 76, строка 26, печатаем: «больше» вместо «более» — по рукописи № 9, л. 74.

В той же главе, стр. 76, строка 27, печатаем: «под глазом» вместо «под глазами» — по рукописи № 9, л. 74.

*В той же главе, стр. 77, строка 22, печатаем «Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его», вместо «Стреляй, я не боюсь... Только всех убей!» — по рукописи № 15, л. 91.

Оставляем в неприкосновенности указанное выше явно неотделанное и стилистически ошибочное место X главы, стр. 27, строка 36—38: «Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство». Оно в рукописи № 14 получило такую форму в результате исправлений, сделанных рукой самого Толстого. Исправление этого места, сделанное в тринадцатой части издания 1891 г., точно так же, как и другое исправление, сделанное в тексте двенадцатого издания 1911 г. («Но у нас, когда из десяти брачущихся едва ли есть один, который верит если уж не в таинство, то хотя бы в то, что то,[225] что брак есть некоторое обязательство»), мы не принимаем, так как принадлежность их Толстому ничем не может быть доказана.

По той же причине не принимаем и логически правомерного дополнения «кроме первого» после слов: «И всех», стр. 40, строка 15.

В виду того, что предпоследняя, восьмая редакция «Крейцеровой сонаты» получила очень широкое распространение в литографированных и гектографированных изданиях и по существу представляет собой как бы первую печатную публикацию повести, печатаем ее варианты в сопоставлении с окончательным текстом «Крейцеровой сонаты», напечатанным в настоящем издании. При этом текст этой редакции общо называем литографированной редакцией.

Так как он не закреплен сплошь в какой-либо одной рукописи (авторизованная рукопись, содержавшая его, подверглась дальнейшим исправлениям рукой Толстого, и отдельные ее листы вошли в новую текстовую комбинацию), то устанавливаем его путем сопоставления ряда литографированных изданий с текстом рукописи, описанной под № 15, представляющим собой в первом своем слое авторитетную копию с авторизованной предпоследней, восьмой редакции повести. Текст же рукописи № 15, в свою очередь, контролируем и исправляем при помощи предшествующих ей автографических текстов, как это было сделано и при установлении окончательного текста «Крейцеровой сонаты» в ее последней редакции.

Описание рукописей, относящихся к «Крейцеровой сонате».

Рукописи, относящиеся к «Крейцеровой сонате», хранятся в Государственном Толстовском музее в Москве (сокр. ГТМ), (Архив В. Г. Черткова, папка 14, и основное собрание, папка 27), и в Архиве Толстого в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (сокр. АТ), папки 54 и 55. Кроме того, часть ценной рукописи — автограф находится у Ст. Цвейга (Зальцбург).

В ряде случаев отдельные рукописи повести разбиты, так что часть рукописи хранится в одном собрании, другая же ее часть — в другом.

1. Автограф ГТМ и АТ на 13 листах в 4° (расшитая тетрадь), исписанных с обеих сторон (2 листа — вставки, хранятся в АТ; основной же текст хранится в ГТМ). Заглавия нет. Первая редакция повести. В рукописи очень много помарок и приписок на полях и между строк. Впервые — по подлинной рукописи, но с пропусками — напечатан в Юбилейном сборнике. «Лев Николаевич Толстой». Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. Государственное издательство, М. — Л. 1928, стр. 7—20. По неисправной копии с еще бо̀льшими пропусками текст этого автографа был напечатан в «Толстовском ежегоднике 1913 года», Спб. 1914, стр. 3—11. Печатаем его полностью.

2. Рукопись АТ и ГТМ на 25 частично нумерованных листах в 4°, исписанных большей частью с обеих сторон рукой Т. Л. и С.

А. Толстых и исправленных рукой Толстого. *Начало:* <«нѣкоторое общеніе»>. *Конец:* <«что онъ не былъ ея отецъ»>. Не вполне исправная копия автографа. Начало ее (первые 2 листа) и 3 листа из середины перенесены в рукопись, описанную под № 4. На 4-х листах рукой Толстого написана вставка, тут же переписанная рукой С. А. Толстой, причем вторая половина копии этой вставки также перенесена в рукопись № 4. Оборотная сторона 4-го листа, занятого вставкой, зачеркнута, зачеркнута и лицевая сторона 5-го листа, на котором — продолжение текста вставки, а оборотная сторона этого листа, на котором написано продолжение зачеркнутого текста, вошла в состав рукописи, описанной под № 3. Из крупных исправлений, сделанных в этой рукописи, отметим следующие. Текст от слов: «Да сколько теперь этих разводов», стр. 355, строка 3, кончая; «отчего это прежде не было?», стр. 355, строка 12, заменен вариантом, который печатаем под № 1. Отрывок от слов: «Старик дожидался. Когда затихли», стр. 366, строка 9, кончая: «Что ж она вас ревновала или вы ее?», стр. 357, строка 4, заменен вариантом, который печатаем под № 2. Отрывок от слов: «Он никогда не любил», стр. 360, строка 3, кончая: «Ну уж это я не понимаю», стр. 365, строка 14, зачеркнут и вместо него написан новый текст, покрывающийся текстом окончательной редакции. После слов: «готов показывать и руководить», написанных вместо зачеркнутых: «и такая простота», стр. 364, строка 22, на полях дописан текст, который печатаем в вариантах (№ 3). Абзац: «Но нет, она не сделала»... стр. 365, строки 5—11, заменен новым незаконченным абзацем, который печатаем в вариантах (№ 4). Последний абзац рукописи («На следующей станции» — «что он не был ее отец» стр. 369, строки 24—26) зачеркнут. В этой рукописи Позднышев открывает себя и говорит об убийстве жены, уже не прикрываясь личностью своего знакомого. Слово «Позднышев» и относящиеся к нему «он», «его» и т. п. заменены всюду словами «я», «меня» и т. п. Исповедь свою он обращает не к трем оставшимся пассажирам, а лишь к рассказчику. В тексте сделан ряд стилистических исправлений. Так, слова «Ну что ж, скучно, известно, а всё же ее жаль, еще жалче. Помочь надо» стр. 357, строки 29—30,

исправлены так: Ну что жъ, обидно, досадно, а все жъ жена, съ ноги не снимешь, какъ сапогъ. Слова «с Евреем свела шашни», стр. 358, строка 17, исправлены так: съ некрещенымъ, съ Евреемъ, съ позволенія сказать, свела шашни. Во фразе «Старик подозвал кондуктора и отдал билет», стр. 358, строка 21, после слова «и» добавлено: нѣсколько трясущейся, сморщенной рукой. В конце текста фраза: «Боже мой», что сделал. Я только что, сам не зная зачем, хотел упасть на колени, просить чего то», стр. 369, строки 4—5, исправлена так: Мнѣ не жалко было, Мнѣ было только гадко. И одинъ вопросъ мучалъ меня. А что, какъ я ошибся?

Вставку — автограф (беседа Позднышева с рассказчиком в ее начальной стадии) печатаем в вариантах (№ 5), присоединяя зачеркнутый конец этой вставки, попавший в состав рукописи, описанной под № 3.

Варианты №№ 2 и 5 впервые опубликованы в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты». Редакция Н. К. Гудзия и Н. Н. Гусева. «Academia» — ГИХЛ, 1933, стр. 55—57, 62—67.

3. Автограф АТ на 18 ненумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон. Незаконченный текст новой — третьей редакции повести. Как и в первом автографе, здесь также нет заглавия. В тексте много исправлений и приписок на полях, ряд мест зачеркнут. Судя по контексту и по цвету чернил, к этой рукописи прилажено окончание вставки (около 31/2 страниц), которая (на 4 листах) вошла в состав рукописи, описанной под № 2. Печатаем автограф полностью.

Впервые он частично опубликован в книге «Звенья». Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, под редакцией Влад. Бонч-Бруевича и А. В. Луначарского. II. «Academia». М. — Л. 1933, стр. 603—611; полностью в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты», стр. 31—55.

4. Рукопись ГТМ на 55 частично нумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой Т. Л., С. А. и Л. Н. Толстых и исправленных рукой Толстого. *Начало*: «Мы ѣхали 2-е сутки». *Конец:* «вдругъ въ одинъ день». Первые 2 листа взяты из рукописи, описанной под № 2, следующие 15 листов

представляют собой копию продолжения той же рукописи: остальные листы являются не вполне исправной копией автографа, описанного под № 3, начиная от слов: «Женился я, как женятся все». Они написаны рукой С. А. Толстой, и здесь, помимо ряда мелких ошибок и описок, следующие более значительные отступления от автографа. Переписчица умышленно заменила выражение «нашлепки на задницы», стр. 377, строка 32, словами: «нашлепки на зады». Быть может, также умышленно не переписаны слова: «Я не знал тогда изрѣченія Лесинга, который говоритъ, что сужденіе каждого мужа о своей женѣ такое: была одна скверная женщина в мірѣ, и она то и моя жена», стр. 385, строки 12—15. По рассеянности пропущено несколько строк от слов: «И вот, помню раз» кончая: «не слыхали друг друга», стр. 388, строки 16—20, так как предшествующая фраза оканчивается также словом «друга». Листы 34, 40, 42 перенесены сюда из рукописи, описанной под № 2, и текст этих листов исправлен применительно к контексту рукописи № 4. 4 листа из этой рукописи, в свою очередь, перенесены в рукопись, описанную под № 7. К разным местам рукописи, начиная с 19-го листа, рукой Толстого написаны вставки на 16 листах. Исправления и дополнения в рукописи сводятся к следующему. В тексте, соответствующем I главе окончательной редакции, значительно переработаны те места, в которых фигурирует пассажир-старик. Многие места, идеализирующие его образ, зачеркнуты. В результате получился новый вариант, который печатаем под № 6. О «господине с хорошими вещами» сказано, что он петербургский адвокат, и в дальнейшем «господин с хорошими вещами» исправлено на «адвокат». На шести листах рукой Толстого написана вставка, довольно близко соответствующая почти всей III главе, всей IV и началу V окончательной редакции. В этой вставке после слов: «свой и наш общественный грех», написано: И про него то мнѣ хочется говорить вамъ всѣмъ. Кабы умѣлъ, я написалъ бы, да и напишу; после слов: «Жрецы науки», стр. 18, строка 35, написано: то есть первые мерзавцы. Извлекаем из нее варианты №№ 7 и 8. Последний в рукописи зачеркнут. Некоторые варианты в этой вставке, не вошедшие в окончательный текст,

вошли в текст литографированной редакции. В тексте, соответствующем пятой главе, после слов: «Это была одна из трех дочерей», стр. 376, строка 25, зачеркнуто: «одного среднего чиновника» и написано: когда то знаменитаго богатствами, но разорившагося барина. В том же тексте после слов: «и в трезвые минуты оцените себя», стр. 376, строка 39, дописано:

Я, разумѣется, не понималъ тогда того, что я въ дѣйствительности былъ, т. е. что я былъ гадина, измазанная всѣмъ тѣмъ гноемъ разврата, въ которомъ я барахтался, гадина, отвратительнѣе которой для дѣвушки трудно себѣ что-нибудь представить. Да вы не думайте, что я только такая гадина: вы, навѣрно, точно такой же, если посмотрѣть на себя строго. Я, разумѣется, не понималъ этого, но

После слов: «И вот я то», стр. 377, строка 4, дописано: отвратительная гадина въ дѣйствительности и ничтожный, плохой человѣкъ по своей оцѣнкѣ, я то. Вставки, сделанные на полях и на листах в дальнейшем тексте, соответствующем главам V—VIII, значительно приближают его к тексту этих глав в окончательной редакции. В части, соответствующей VII главе, нет еще однако текста, соответствующего двум последним абзацам этой главы (от слов: «Да-с, около меня весной работали мужики»). Нет и текста, соответствующего IX главе. Дальнейший текст, благодаря вставке на отдельном полулисте писчей бумаги, приближен к тексту X главы в окончательной редакции. Из этой вставки извлекаем вариант № 9, исключенный в ближайшей копии. Будущие главы XI и XII в этой рукописи едва лишь намечены. Текст, соответствующий главам XIII и XIV, здесь также впервые написан, главным образом, на отдельных вставных листах. Он следует преимущественно в порядке обратном расположению текста в этих главах в окончательной редакции и, будучи кратче последнего, заключает в себе два значительных по объему варианта, которые печатаем под №№ 10 и 11. В дальнейшем нет уже тех значительных по размерам вставок и дополнений, какие встречались раньше. Ряд поправок приближает текст к окончательной редакции, но в целом здесь эта часть повести гораздо ближе к тексту автографа (рукопись № 3) и литографированному, чем к окончательному печатному

тексту. Зачеркнуты следующие места: от слов: «Я служил тогда предводителем», кончая: «У нас шел ад» (стр. 337, строки 10—23), от слов: «Переехали в город», кончая: «и веселились, как мы это называем» (стр. 380, строки 19—33), от слов: «А она жила. И жила сильно», кончая: «Я видел *мою* жену и только» (стр. 381, строки 3—7), от слов: «Она была чистая», кончая: «но бессознательной, нечаянной» (стр. 381, строки 24—27), от слов: «Я уверен, что она думала», кончая: «Он помогал» (стр. 383, строки 13—17). Отрывок от слов: «Я теперь только вспоминаю», кончая: «воображала себе ее» (стр. 386, строка 24—стр. 387, строка 15) отчеркнут с боку чертой с пометкой: «пр[опустить]». Отрывок от слов: «Она разочаровывается в этом», кончая: «Это была последняя попытка» (стр. 388, строки 4—41) зачеркнут.

Варианты №№ 8, 10 и 11 впервые опубликованы в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты», стр. 68—70.

5. Рукопись АТ и ГТМ на 26 листах в 4°, исписанных большей частью с обеих сторон рукой П. И. Бирюкова и Е. И. Попова и Толстого и исправленных рукой Толстого. *Начало:* «Я тогда перенесъ много». *Конец:* «Какъ человѣкъ». Остатки копии, восходящей в первой большей своей части к первым 42 листам рукописи, описанной под № 4, во второй же части — к рукописи, описанной под № 2, начиная с 18-го листа. Дальнейший текст — на 4 последних листах рукописи № 2, которые, очевидно, первоначально были присоединены к рукописи № 5. Недостающие 27 листов, в том числе 4 начальных, из этой рукописи перенесены в рукопись, описанную под № 6, и 1 лист в рукопись, описанную под № 7. 9 листов в этой рукописи сплошь исписаны рукой Толстого. На них написан текст, близко соответствующий главам IX окончательной редакции (кроме двух последних абзацев, пока еще не имеющих себе никакого соответствия в рукописи), XI и большей части XII, а также частично главам XV и XVI. Из текста, соответствующего главе XV, извлекаем вариант № 12. Варианты, имеющиеся в других главах, будучи исправлены в дальнейших рукописях, вошли в текст литографированной редакции, в вариантах которой и приводятся. Большая часть исправлений сделана в направлении

к окончательной редакции. Между прочим исключен вариант № 9.

Вариант № 12 впервые опубликован в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты», стр. 71.

6. Рукопись ГТМ и АТ[226] на 58 нумерованных листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой П. И. Бирюкова, М. Л. Толстой, С. А. Толстой и Б. И. Попова и исправленных рукой Толстого и, очевидно под его диктовку, в двух местах рукой М. Л. Толстой. Его же рукой написаны здесь две вставки — одна на 1 листе, другая — на 5 (листы не нумерованы). 27 листов сюда перенесены из рукописи, описанной под № 5, остальные, кроме 6 листов со вставками, — копия первой части той же рукописи и второй части рукописи, описанной под № 4; 8 последних листов из рукописи № 6 перенесены в рукопись № 9. *Начало:* «Мы ѣхали вторые сутки въ некурящемъ вагонѣ 3-го класса». *Конец:* «выпилъ залпомъ остывшій стаканъ чаю и продолжалъ». Заглавия нет. Вверху первой страницы рукой Толстого написано: M, V 28 (выписать). Текст, соответствующий первым восемнадцати главам повести в окончательной редакции, поделен на восемнадцать глав, причем деление это не совпадает с окончательным. Важнейшие исправления и дополнения в рукописи таковы. К словам: «Мы ехали вторые сутки» приписано: въ некурящемъ вагонѣ 3-го класса. После слов: «но трое ехало» вместо зачеркнутого: уже вторую ночь написано: отъ самаго Кіева. Характеристика внешности дамы-пассажирки исправлена так. Вместо зачеркнутого: молодая, некрасивая дама, скромно но и хорошо одѣтая, съ умнымъ и выразительнымъ лицомъ, написано: некрасивая молодая дама въ полумужскомъ пальто, по моимъ соображеніямъ акушерка, курсистка или учительница, <но скорѣе всего актриса>. О ее спутнике вместо зачеркнутого: Первый былъ невысокій, въ хорошемъ платьи человѣкъ съ пріятными, мягкими пріемами, лѣтъ 40, съ замѣчательно новыми, чистыми и красивыми вещами, тигровымъ пледомъ и сафьянными мѣшками. — написано: ея знакомый, человѣкъ лѣтъ 40, съ аккуратными новыми вещами, подушкой, пледомъ, мѣшками. Характеристика

внешности Позднышева исправлена близко к окончательной редакции. Вслед за этим дописано:

На немъ было пальто, когда то военное или чиновничье, и такая же фуражка безъ кокарды. Вещи его были старыя, безпорядочныя, но у него все было съ собой, и онъ не выходилъ ѣсть на станціяхъ.

Далее зачеркнуто всё, что говорится о дочери Позднышева.

Вообще в тексте, соответствующем первой главе окончательной редакции, сделано много исправлений и сокращений, большей частью в направлении к окончательной редакции. Дальнейшие исправления текста менее радикальны и в меньшей степени приближают рукопись к тексту окончательной редакции. На первой вставке написан текст, соответствующий большей части VII главы. В тексте, соответствующем главам XIV—XVIII, сделаны существенные исправления и дополнения в направлении к тексту литографированной редакции. Понятие об этих исправлениях и дополнениях дают варианты этих глав, извлеченные из указанной редакции. После слов: «Да, много хуже животного, если человек не человек», зачеркнуто:

И потому тотъ хваленый медовый мѣсяцъ, да и весь первый годъ, да и всѣ года — женатая жизнь моя была мука. Но медовый мѣсяцъ и первый годъ были особенно тяжелы. Внутренній разладъ, въ періоды охлажденія доходившій до бѣшенства, до желанія убѣжать, даже убить себя, былъ ужасенъ.[227] Чувство еще не обмозолилось, какъ послѣ, и потому было особенно больно. Все происходило отъ свиной моей жизни.

После слов: «чтобы уметь привлекать к себе мужчин» в рукописи зачеркнуто:

Такъ она выходила замужъ. Она была готова на все высокое, и отъ меня зависѣло указать ей путь и дѣятельность. Но что же я могъ указать ей? Да и къ чему же я сталъ бы ей указывать, если бы я и зналъ? Мнѣ вѣдь нужно было совсѣмъ другое. И она все больше и больше привыкала къ той мысли, что въ ея воздѣйствіи на мущинъ вообще и на меня въ особенности, что въ этомъ одномъ ея призваніе.

7. Автограф АТ на 4 листах в 4°, исписанных с обеих сторон. В середине два или три листа, заключающие в себе конец XXIII главы, главу XXIV и начало XXV, отсутствуют. Они находятся, судя по опубликованному фотографическому снимку, у Ст. Цвейга (Зальцбург).[228] Начало третьего листа занято зачеркнутым окончанием текста, написанным рукой Е. И. Попова и в основной своей части вошедшим в состав рукописи, описанной под № 5. В начале для обозначения главы поставлена цыфра XXII, в середине цыфра XXVI. *Начало:* Да-съ. Такъ все и кончилось». *Конец:* «но я вырвалъ руку и». Фраза не дописана, так как она должна была войти в соединение с ранее написанной редакцией конца повести, начиная со слов: «запустилъ кинжалъ».

8. Рукопись ГТМ на 8 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой С. А. Толстой и исправленных рукой Толстого. Нумерована по листам (62—69). *Начало:* «еще сильнѣе разжегшій во мнѣ». *Конец:* «и нечего бы прощать было». Копия автографа и, начиная со слов: «запустилъ кинжалъ», — последних двух листов рукописи, описанной под № 2. Весь этот текст, представлявший собой по первоначальному замыслу окончание повести в рукописи, описанной под № 9, вначале входил в состав рукописи, описанной под № 6, но затем был удален из нее, причем начало копии, попавшее в рукопись № 9, написанное на обороте листа, первоначально обозначенного цифрой 61, зачеркнуто, а следующий лист оторван так, что края его остались при предыдущем листе. Текст рукописи вместе с зачеркнутым началом ее, находящимся в рукописи № 9, печатаем в вариантах (№ 13), сверяя его с сохранившейся частью автографа. Вариант этот первоначально опубликован в сборнике «Звенья», II, стр. 611—617.

9. Рукопись ГТМ на 76 нумерованных листах — почти все в 4°, исписанных с обеих сторон рукой С. А. Толстой, М. Л. Толстой, В. П. Золотарева, Л. Ф. Анненковой, М. В. Алехина, П. Г. Хохлова и Толстого и исправленных рукой Толстого. Авторские исправления, судя по цвету чернил, производились не менее двух раз. Заключена в обложку, на которой рукой Толстого написано заглавие: «Какъ мужъ убилъ жену». Внутренняя

страница второго листа обложки занята концом текста повести, собственноручно, как и предшествующие 6 листов, написанным рукой Толстого. Вслед за эпиграфом из Матфея, V, 28, *начало:* «Я ѣхалъ въ некурящемъ вагонѣ 2-го класса». *Конец:* «а преимущественно къ своей женѣ». Вслед за этим дата и подпись: «1889, 28 Августа, Ясная Поляна, Л. Т.». Данная рукопись в первой, большей своей части — значительно исправленная и частично дополненная копия рукописи, описанной под № 6. Из нее 23 листа, заключающих в себе большую часть IV главы и глав V—X — по счету рукописи, перенесены в рукописи, описанные под №№ 11 и 12. Вслед за текстом, заключающим в себе копию рукописи № 6, идет 8 листов, перемежающихся двумя вставками и перенесенных сюда из той же рукописи, и 7 листов, на которых рукой Толстого написано новое окончание повести. Исправления и дополнения в рукописи сделаны, большей частью, в направлении к тексту литографированной редакции. Отметим важнейшие.

В тексте, соответствующем главе I после слов: «быстро перебегавшими с предмета на предмет», стр. 753, строка 9, взамен нескольких зачеркнутых строк написано:

Одѣтъ былъ этотъ господинъ въ пальто, очевидно когда то самое модное и дорогое, но очень изношенное; шапка высокая барашковая была такая же — благороднаго происхожденія; такія же были и его вещи съ собой. Но все было старое. Новое было только — жестяной чайникъ и корзинка съ провизіей, совсѣмъ не подходящіе къ его одеждѣ и манерамъ.

Отрывок этот обведен сбоку чертой, рядом с которой Толстой сделал пометку «пр[опустить]». Такой же чертой и пометкой обозначены эпизод с вещами старухи, от слов: «Когда в вагон попала старуха», кончая «не то смех, не то рыдание» (стр. 353, строка 23, стр. 8, строка 1) и следующие слова старика-купца, почти заново здесь написанные вместо зачеркнутых:

— Вѣдь это хорошо при праздной жизни сводиться да разводиться. А пора тутъ въ торговомъ дѣлѣ [перестать] эту музыку разводить! Такъ то у насъ одинъ почтенный разорился на отдѣлку отъ этаго самаго. А по моему, дрязги эти оставлять

надо, а заниматься дѣломъ, если ты истинный сынъ своего отечества, — заключилъ онъ значительно.

Говоря о спутнице адвоката, Толстой сначала в нескольких местах зачеркнул слово «дама» и заменил его словом «курсистка», но затем «курсистка» зачеркнул и восстановил «дама».

II глава радикально переработана. Так как в ближайшей копии она вновь так же радикально переработана, печатаем ее в вариантах (№ 14). Дальнейшие исправления сделаны в направлении к тексту литографированной редакции.

Из текста, соответствующего XVI и XVII главам, извлекаем варианты №№ 15 и 16. Текст, соответствующий главам XVIII и XIX, значительно дополнен. Дальнейший текст, до XXIII главы, очень близок к тексту литографированной редакции. Текст, соответствующий XXIV главе, значительно кратче текста этой главы в литографированной и окончательной редакциях: в нем отсутствует рассуждение о музыке и эпизод прощания с Трухачевским Позднышева и его жены. В тексте, соответствующем XXIV главе, в связи с письмом, полученным Позднышевым от жены, к словам: что жена хотѣла непремѣнно слышать Трухачевского и привезла его, и они опять играли. Въ письмѣ я замѣтилъ осторожность при упоминаніи Трухачевского и изысканную простоту — дописано: Она писала: играли мы Моцарта, и Трухачевскій хуже игралъ, у него нѣтъ того génie [?],[229] которое нужно для Моцарта. Но затем это ранее написанное и дописанное к нему зачеркнуто и вместо зачеркнутого написано: о дѣтяхъ, о дядѣ, о нянюшкѣ, о покупкахъ, но ни слова о Трухачевском и музыкѣ. Это бы все было ничего, но въ письмѣ было что то скрытое, робкое, нечистое. Я прочелъ письмо, и мнѣ стало ужасно тяжело, и сердце забилось. В тексте, соответствующем XXVI главе, после слов «и к себе в кабинет», стр. 70, строки 30—31, вначале было написано:

Тамъ я сѣлъ на свое кресло и закурилъ папиросу. Что дѣлать? Идти къ нимъ, сдѣлать видъ, что это естественно, заигрались, сидятъ, и потомъ убить его на дуэли, а ее прогнать? Да, такъ и надо. Но предо мной лежали, какъ я оставилъ ихъ,

охотничьи принадлежности и три ножа. Да, но дуэль съ нимъ? Ложь, сентиментальная пошлость. Няня. Дѣти. Нѣтъ, нельзя, нельзя. Я схватилъ грузинскій кривой въ серебряной оправѣ ножъ. Я вынулъ его съ трудомъ и бросилъ ножны (они завалились за кушетку. Надо будетъ не забыть послѣ поднять ихъ) и пошелъ къ двери столовой.

Затем это зачеркнуто и после зачеркнутого речь идет о переживаниях Позднышева и его размышлениях в связи с неверностью жены. После этого написано: Я вскочилъ, схватилъ кривой грузинскій кинжалъ, выдернулъ изъ ноженъ, но затем вся фраза, начиная с третьего слова, зачеркнута и вместо зачеркнутого написано: взялъ револьверъ, который висѣлъ у меня всегда заряженнымъ на стѣнѣ. Несколько ниже написано: Помню одно, что когда я вынималъ револьверъ, я зацѣпилъ за ковшикъ. Онъ соскочилъ съ гвоздика, завалился за кушетку. Я себѣ сказалъ: надо будетъ поднять послѣ, а то забудешь и будешь искать.

В самом начале текста, соответствующего XXVII главе, зачеркнуто:

Я видѣлъ того и другаго. Когда я вошелъ, она сидѣла, почти лежала на диванѣ, лицомъ къ двери. Смятая прическа, платье, разогрѣвшееся лицо и счастливый, удовлетворенный взглядъ, направленный на него. Онъ сидѣлъ у стола ко мнѣ спиной и что то смѣясь говорилъ.

После слов: «и восторга бешенства», стр. 72, строки 29—30, зачеркнуто:

— А ты думала, что ты можешь быть моей женой и любовницей этого? — И чтобы указать на мерзавца, я размахнулся кинжаломъ съ увѣренностыо, что проткну ему животъ и пришпилю его къ шкапу, у котораго онъ стоялъ.

Вместо зачеркнутого написано:

— Будетъ лгать. Слушайте, — и поднялъ револьверъ съ намѣреніемъ высказать прежде,

После слов: «Это была она», стр. 73, строки 2—3, читается следующий вариант:

Я съ дикимъ ругательствомъ, давъ полный ходъ своему бѣшенству и внутренно радуясь на него, поощряя его, ткнулъ ее

локтемъ въ самое лицо и, отбросивъ ее, выстрѣлилъ въ убѣгающаго два раза. Я видѣлъ, что я не попалъ. Онъ, какъ заяцъ, побѣжалъ въ переднюю <и когда я прибѣжалъ, уже я слышалъ изъ растворенной двери его шаги внизъ по лѣстницѣ.

Я остановился>. Я хотѣлъ бѣжать за нимъ. Я былъ въ припадкѣ страшнаго на видъ бѣшенства, но я все помнилъ.

Вслед за этим после сравнения страха и ненависти убитой жены со страхом и ненавистью крысы всё написанное дальше, от слов «Вася, опомнись, что ты?» и до конца значительно отличается от соответствующего текста литографированной и окончательной редакций, и потому печатаем это в вариантах (№ 17).

Варианты №№ 14—17 впервые опубликованы в книге «Лев Толстой. Неизданные тексты», стр. 56—62, 71—77.

10. Рукопись АТ, заключающая в себе 49 нумерованных листов в 4° и 12 обрезков, исписанных с одной стороны рукой В. А. Кузминской, Л. Ф. Анненковой, С. А. Толстой, В. С. Толстой, М. Л. Толстой, с исправлениями и вставками Толстого на полях, между строк, на оборотных чистых страницах и на отдельных двух листах. Остаток копии с рукописи № 9. *Начало:* «своей женѣ, когда большинство смотритъ». *Конец:* «и дѣлала видъ, что ей все равно». В рукописи не хватает начальных и конечных листов, а также многих листов в середине. Все они переложены в рукописи, описанные под №№ 12—14. Рукопись начинается с листа, занумерованного цыфрой 58 (конец XI главы) и кончается листом, занумерованным цыфрой 139 (начало XXIII главы). В рукописи сделаны следующие важнейшие исправления. Текст, соответствующий XIV главе литографированной редакции, увеличен приблизительно вдвое приписками на полях и на оборотной чистой странице. В этом же тексте зачеркнут следующий вариант:

Никогда за всѣ двенадцать лѣтъ, которые я жилъ съ нею, она не пропустила ни одной моды. Изъ всѣхъ книгъ и журналовъ одинъ, съ которымъ она никогда не разставалась, это былъ модный журналъ. Все это, разумѣется, дѣлалось незамѣтно, даже съ видомъ пренебреженія, но результатъ былъ всегда тотъ, что того, что бросали носить, на ней не было, а то, что

начинали носить, было на ней, и надѣто къ лицу. Да, самое сильное, никогда не покидавшее ее желаніе было то, чтобы возбуждать во мнѣ и въ другихъ мущинахъ тѣ чувства, которыя принято называть въ низкой степени «нравиться», въ высшей степени — «влюбленьемъ».

В тексте той же главы дважды слово «мерзавцы» зачеркнуто и вместо этого рукой Толстого написано: «доктора»; в третий раз вместо «мерзавцы эти» написано: «доктора эти милые». В дальнейшем слово «мерзавцы» в применении к докторам также большей частью зачеркнуто. Приписками на полях, на чистой оборотной стороне листа и на отдельной вставке текст, соответствующий XV главе литографированной редакции, также увеличен приблизительно в полтора раза, до полного почти совпадения с текстом этой главы в указанной редакции. В тексте, соответствующем XVI и XVII главам, зачеркнуты варианты, напечатанные под №№ 15 и 16. Из текста, соответствующего XIX главе литографированной и печатной редакций, извлекаем варианты №№ 18 и 19, относящиеся к началу и середине главы; они вписаны в предыдущую рукопись, затем здесь исправлены и в следующей рукописи вариант № 18 исключен, а вариант № 19 обведен чертой с пометкой «пр[опустить]». Такие же черта и пометка относятся и к примыкающему к этому варианту тексту, в котором рассказывается об отце и братьях Трухачевского и о том впечатлении, какое произвело на Позднышева сообщение жены о приезде Трухачевског.

Все остальные исправления, дополнения и сокращения сделаны в направлении к литографированной редакции повести.

11. Автограф АТ на 4 нумерованных (1—3) рукой Толстого листах в 4°, из которых 1 чистый (остальные исписаны с обеих сторон). В нижнем углу рукой Толстого сделана, видимо, посторонняя запись, скорее всего набросок плана письма: «Провѣрка всего вѣнецъ. Въ связи съ грѣхами ищете во внѣ, въ дочери, а истина въ отреченіи». *Начало:* «Вѣдь на судѣ было представлено». *Конец:* «И я ревновалъ и страдалъ ужасно». Текст автографа, во многих местах исправленный и исчерканный, соответствует частично главе XIX

литографированной и печатной редакций (отношение суда к преступлению Позднышева), всей XX, части XXV («Я раз слышал от него в разговоре с холостой молодежью рассуждение о том, что порядочному человеку незачем ездить в дома, всегда можно найти чистую и безопасную женщину из *порядочных*») и XXI (качества Трухачевского, обусловливавшие его успех у жены Позднышева).

12. Рукопись АТ, без трех начальных листов, заключающая в себе 73 нумерованных листа в 4° и 13 обрезков, исписанных с одной стороны рукой М. Л., Т. Л., С. А. Толстых, В. А. Кузминской, В. В. Рахманова, Л. Ф. Анненковой, с исправлениями и дополнениями на лицевых и оборотных чистых страницах и на отдельных вставных листах рукой Толстого. Окончательная нумерация — синим и красным карандашом (4—173). *Начало:* [ва]гонъ, а старикъ тоже засмѣялся». *Конец:* «а преимущественно къ своей женѣ». Недостающие листы в начале и середине рукописи перенесены в рукописи, описанные под №№ 13 и 14. Рукопись составилась частично из листов, перенесенных в нее из рукописи, описанной под № 10, частично — из копий отдельных листов этой рукописи. Листы, на которых была написана копия рукописи № 11, включенной первоначально в состав данной рукописи, перенесены из нее в следующую рукопись. В конце рукописи рукой переписчика переписана дата 28 августа 1889 г.

В рукописи очень большое количество исправлений. Почти все они сделаны в направлении к тексту литографированной редакции. Особенно радикальным исправлениям подверглись части рукописи, соответствующие главам II, XII, XVI, XXIII этой редакции. В текст XXIII главы на отдельных вставках введено рассуждение Позднышева о музыке и его рассказ о впечатлении, произведенном на него исполнением «Крейцеровой сонаты». Дальнейший текст, и в нем сцена убийства, также подвергся усиленным исправлениям, очень приблизившим его к тексту литографированной редакции (ср. этот последний с текстом варианта № 17). Орудие убийства — револьвер — заменяется кинжалом. Извлекаем отсюда

зачеркнутый вариант № 20, соответствующий части текста XXVII главы в окончательной редакции.

13. Рукопись АТ, заключающая в себе 67 листов в 4° и 27 обрезков, исписанных большей частью с одной стороны рукой М. Л., С. А. и Т. Л, Толстых и В. В. Рахманова, с исправлениями и дополнениями на лицевых и оборотных чистых страницах и на отдельной вставке рукой Толстого. Большая часть листов нумерована чернилами и красным и синим карандашом (1—217). Вслед за эпиграфом из «Евангелия» от Матфея, V, 28, рукой Толстого написано: «Гл. XIX, 10, 11, 12», *Начало:* «Это было ранней весной». *Конец:* «повторилъ онъ то же слово, которымъ и заключилъ весь разсказъ». В конце дата рукой переписчика — 28 августа 1889 г. В середине рукописи недостает многих листов, которые перенесены в рукопись, описанную под № 14. Кроме того, несколько листов из нее утрачено. Рукопись составилась частично из листов, перенесенных в нее из рукописей, описанных под №№ 10 и 12, частично — из копий отдельных листов этих рукописей. Данная рукопись исправлялась Толстым дважды. Это явствует из того, что часть исправлений вошла в литографированную редакцию, часть же, большинство, не вошла и нашла себе место лишь в окончательном печатном тексте. Так, например, в литографированной редакции повесть начинается со слов «В вагон входили и выходили». В рукописи эти слова следуют за зачеркнутыми фразами: «Я ехал в некурящем вагоне 2-го класса. Это было осенью». Вместо зачеркнутого написано: «Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки». Но вновь написанные слова в литографированной редакции отсутствуют, и ими начинается текст окончательной печатной редакции. Таких примеров в рукописи значительное количество; сама же рукопись таким образом представляет собой переходное звено от редакции литографированной к окончательной, печатной.

Большая часть исправлений, а также перестановок в тексте сделана в направлении к окончательной печатной редакции. Из текста, соответствующего XVII главе литографированной и печатной редакций, с пометкой «пр[опустить]» сбоку чертой отчеркнуто всё то, что говорится о нравственном превосходстве

девушек и женщин (с начала главы и кончая словами: «разделяло взаимное презрение», стр. 321, строка 30—стр. 322, строка 23), и затем текст от слов: «Эти новые теории гипнотизма», кончая: «делами, которые всегда бывали к спеху», стр. 323, строки 18—41 Существенных вариантов, не покрывающихся текстом литографированной и печатной редакций, в рукописи нет.

14. Рукопись ГТМ на 216 нумерованных листах в 4°, исписанных с одной стороны вперемежку рукой С. А., М. Л. и Т. Л. Толстых, В. А. Кузминской, Л. Ф. Анненковой, В. В. Рахманова, Е. И. Попова и исправленных рукой Толстого. Полный экземпляр повести, образовавшийся частью из листов, извлеченных из рукописей №№ 10, 12, 13, частью из копий отдельных листов этих рукописей. Текст двух первых и двух последних глав не покрывается предшествующими авторизованными текстами; следовательно, часть промежуточного материала между рукописями № 12—14, относившегося к этим главам и содержавшего исправленные рукой Толстого копии, утрачена. В переписанном рукой С. А. Толстой есть ряд отступлений от оригинала, в большинстве характера описок. В соответствии с новой комбинацией, в которую вступили листы из предшествующих рукописей, они часто подвергались новым исправлениям. Кроме того, прежняя нумерация их исправлена. Цыфры следуют в таком порядке: 1—12, 25—229, но перерыв в нумерации не нарушает цельности текста. *Начало:* «Это было ранней весной». *Конец:* «которымъ заключилъ» и весь разсказъ». Вслед за этим — ранее поставленная рукой С. А. Толстой дата 29 августа 1889 г. Рукопись поделена, большей частью рукой переписчика, на главы следующим образом. I и II главы рукописи соответствуют тем же главам печатного текста, главы III и IV, первоначально заключавшие в себе тот же текст, что и в печатной редакции соединены в одну главу, занумерованную цыфрой III (цыфра IV зачеркнута). Далее все цыфры, обозначающие главы вплоть до цыфры XIX (вслед за цыфрой XIX, исправленной на XVIII, идет опять цыфра XIX, для обозначения следующей главы) соответственно уменьшены на единицу, но так как в рукописи вслед за главой, обозначенной

цыфрой XI, следовала глава, обозначенная цыфрой XIII, то, начиная с XII главы, вплоть до XXI, счет глав в рукописи и в печатном тексте сравнялся. Следующая XXII глава рукой Толстого обозначена цыфрой XXIII (цыфра XXII для обозначения главы отсутствует), но следующие две главы обозначены переписчиком одной и той же цыфрой XXIV. Для обозначения предпоследней главы поставлена переписчиком опять ошибочно цыфра XXVIII вслед за XXVI, но им же она зачеркнута, и цыфра XXVII поставлена несколько выше, чем она стояла в рукописи и стоит во всех, кроме настоящего, печатных текстах, именно перед словами: «Первое, что я сделал», стр. 71, строка 29. Последняя глава, так же как и в печатной редакции, занумерована цыфрой XXVIII.

Важнейшие авторские исправления в этой рукописи сводятся к следующему.[230] В тексте XIII главы слово «мерзавцы» в применении к докторам всюду заменено словами: «милые жрецы науки», «они», «волхвы». В главе XIV вместо зачеркнутого: «ножек Пушкина» написано: «любовных стихов». В той же главе зачеркнуто: Эмансипація женщины не на курсахъ и не въ палатахъ, а въ спальнѣ. Да, борьба съ проституціей не въ домахъ терпимости, а в спальняхъ. Из главы XV исключена вся первая — большая ее часть, в которой говорится о ревности — от слов: «Да, ревность — это еще один из всем известных», кончая: «развращенной брачной жизни»), стр. 314, строка 23— стр. 316, строка 39.[231] В дальнейшем особенно существенные исправления и дополнения сделаны в XVI главе. В нескольких местах рукой С. А. Толстой, В. Г. Черткова и неизвестного сделаны позднейшие поправки, очевидно не проконтролированные Толстым.

15. Рукопись ГТМ, расшитая тетрадь на 96 нумерованных по страницам листах в 4°, исписанных с обеих сторон первоначально рукой М. Л. Толстой (3 последних листа чистые), затем исправленных ее же рукой, рукой М. А. Кузминской и В. Г. Черткова и в двух местах рукой Толстого. Исправления сделаны поверх зачеркнутых строк и на отдельных вставных листах и обрезках бумаги (9 листов, из них один чистый и 4 обрезка).

В конце рукописи рукой М. Л. Толстой написана дата — 26 августа 1889 г. (цыфра 26, очевидно, поставлена ошибочно вместо 28). На отдельных страницах сделаны замечания рукой Черткова. Первоначально написанный текстовой слой представляет собой копию рукописи, описанной под № 13 до ее вторичной авторской правки и до изъятия из нее листов, перенесенных в рукопись № 14. Этот текстовой слой должен быть признан особенно авторитетным в смысле наибольшего соответствия утраченной в процессе исправлений автентичной редакции текста, легшего в основу литографированных и затем печатных заграничных изданий. Авторитетность его обусловливается тем, что рукопись написана рукой внимательной и точной в работе переписчицы.

Исправления первоначального текста сделаны по тексту рукописи, описанному под № 14, причем исправления, относящиеся к главам I—XX, сделаны рукой М. Л. Толстой и М. А. Кузминской, к главам XXI, XXIV, XXVII и XXVIII — рукой В. Г. Черткова и к главам XXII и XXVI — рукой М. Л. Толстой и Черткова. Кроме того, рукой Черткова сделаны, видимо, вторичные поправки на протяжении всего текста.

Сравнительно с рукописью № 14 в данном списке, во втором его текстовом слое, следующие отступления, не оправдываемые сохранившимися автографическими текстами: вместо «барашковым воротником», стр. 7, строки 12—13 —«барашком»; вместо «известного обоим богача-купца», стр. 8, строка 27, — «известного богача-купца»; вместо «перешли», стр. 15, строка 35, — «пересели»; вместо «переговаривались», стр. 15, строка 36, — «переговорились»; вместо «Что ужасно? — спросил *я»,* стр. 17, строка 16, — «Что ужасно?»; вместо «как это интересно!», стр. 25, строка 8, — «как интересно!»; слово «женились», стр. 27, строка 11, исправлено на «которые женились» (переписчица, очевидно, восстановила слово, зачеркнутое в рукописи № 14); вместо «развенчаются эти волхвы», стр. 36, строки 4—5, написано: «развенчаются эти мерзавцы» («мерзавцы» зачеркнуто Толстым в рукописи № 13 и заменено словом «волхвы»); вместо «за ход в винте», стр. 44, строка 32, — «за ход в винт»; вместо «смотрит на меня», стр. 51,

строка 20, — «глядит на меня»; вместо «меня и всех детей», стр. 51, строка 21, — «меня и детей»; вместо «вскрикивает», стр. 52, строка 18, — «выкрикивает»; после слов: «поднялось во мне», стр. 56, строка 9, написано: «что я представил себе», зачеркнутое еще в рукописи № 13; вместо «я был уверен», стр. 56, строка 35, «я видел и был уверен» («видел» зачеркнуто еще в рукописи № 13); вместо «Я не помнил», стр. 63, строка 9, — «Я же не помнил»; вместо «известный за дрянного», стр. 63, строка 37, — «известный за дурного». Кроме того, в рукописи находим несколько более мелких разночтений. Разночтения частично, видимо, объясняются недосмотром переписчика, частично же тем, что в копии в трех случаях оказались не принятыми в расчет те авторские исправления, которые сделаны были при вторичной правке рукописи № 13. Кроме того, рукой В. Г. Черткова сделано несколько собственных стилистических исправлений. Перед словами: «Было неловко», стр., 15, строки 13—14, им добавлено слово «Всем»; слова: «рядом с Позднышевым», стр. 15, строки 31—32, исправлены: «против Позднышева»; после слов «что наконец», стр. 21, строки 36—37, им же, очевидно, зачеркнуты слова «как англичане»; слова: «Васей (старшим), а она Лизой», стр. 44, строка 1, исправлены: «Лизой, а она Васей»; слова «Если бы оно было одно», стр. 72, строка 8, исправлены: «Если бы было одно только выражение ужаса»; перед словом «показалось», стр. 72, строка 10, добавлено: «так».

Все эти разночтения и поправки Черткова отмечаются потому, что большая часть их вошла в текст «Крейцеровой сонаты», напечатанный в двенадцатой части 12-го издания сочинений Толстого. Рукой же Черткова ряд мест в первоначальном текстовом слое (всего восемнадцать) от нескольких строк до нескольких страниц зачеркнут или отчеркнут синим или красным карандашом, причем все зачеркнутые или отчеркнутые места последовательно перенумерованы. Часть текста от слов: «и даже самым присутствием детей», кончая: «или не пришла няня с ревущим ребенком», стр. 319, строки 17—33, помимо того что зачеркнута, снабжена следующим замечанием В. Г. Черткова: «Это

рассуждение мужчины-эгоиста. В богатой обстановке дети изолированы, а в бедной, в хате, — жизнь детей со всеми мелочами вплетена нераздельно в общую жизнь, и всё это должно быть не тягота, а радость». Среди зачеркнутого Чертковым выделена одна фраза — «Всё ничтожно... Важны только доктора, клестир, температура». К ней, впереди ее, им дописаны слова: «Характер, нравственное воспитание, приучение к труду» и сделана пометка: «Эту фразу можно оставить — это характерно». Далее к зачеркнутой Чертковым части текста от слов: «Ведь в самом деле», кончая: «заплатить 100 рублей — она поверит», стр. 320, строки 21—41 им же сделана пометка: «растянутость и повторение».

Рукой Толстого сделаны следующие две поправки. После слов «обиделась и рассердилась», стр. 58, строка 27, дописано: Она встала, но; слова «стрѣляй, я не боюсь... Только всѣхъ убей» исправлены: Ну убивай, убивай, я не боюсь... Только всѣхъ, всѣхъ, и его, стр. 77, строка 22.

Эти исправления, несомненно, сделаны были после того, как в рукопись был нанесен второй текстовой слой, так как их нет в тексте литографированной редакции.

16. Рукопись ГТМ на 100 листах в 4°, исписанных с обеих сторон рукой С. А. Толстой и ею же пронумерованных. Исправлений рукой Толстого нет. Один лист и одна страница — чистые. Цыфрой 40 ошибочно пронумерованы два соседних листа, почему последняя цыфра нумерации — 99. Судя по типографским пометам и свинцовым пятнам, эта рукопись была в наборе: с нее набирался текст для первого русского издания повести, появившегося в тринадцатой части сочинений Толстого, М. 1891. Судя по тому, что рядом с заглавием, написанным по-русски, стоит и французский перевод его («Une sonate de Beethoven dédiée à Kreutzer»), этот список предназначался первоначально для отсылки Вогюэ, переведшему затем «Крейцерову сонату» на французский язык. Данная рукопись представляет собой копию рукописи, описанной под № 14, изобилующую ошибками и в некоторых случаях сознательными искажениями авторского текста.

Предисловие к двадцать седьмому тому.

Основная работа над входящими в 27 том художественными произведениями протекала у Толстого в конце 1880-х годов и в 1890 году. Одно из этих произведений («Дьявол») Толстым не было окончательно отделано и впервые напечатано лишь после его смерти.

Из вышедших в свет при жизни Толстого произведений «Крейцерова соната» перепечатывалась в большинстве изданий с текста, впервые опубликованного в 1890 г. в тринадцатой части сочинений Толстого и напечатанного по копии, переписанной С. А. Толстой, заключавшей в себе множество отступлений от подлинного толстовского текста — бессознательных и частью сознательных. Ни этой копии ни корректур повести Толстой не читал. Отсюда большое число искажений, вкравшихся в печатный текст «Крейцеровой сонаты» и лишь частично устраненных по неавторитетным спискам в некоторых заграничных изданиях и преимущественно в двенадцатом издании сочинений Толстого 1911 г., но вновь спорадически появлявшихся в последующих изданиях повести.

Что касается „Послесловия к «Крейцеровой сонате», также не авторизованного Толстым ни в копии, с которой оно печаталось, ни в корректурах, то текст его в России вплоть до последнего времени печатался с существенными цензурными пропусками (исключение представляет собой единственная перепечатка «Послесловия» с заграничного издания В. Г. Черткова в брошюре «О половом вопросе. Мысли графа Л. Н. Толстого, собранные В. Г. Чертковым», напечатанной в журнале «Всемирный вестник» за 1906 г. и изданной затем отдельно).

Рассказ «Франсуаза» всё время печатался или по тексту, искаженному в интересах «благоприличия» А. С. Сувориным и впервые напечатанному в его газете «Новое время», или, реже, по искусственно скомбинированному тексту И. И. Бирюкова, в который лишь частично были введены купюры, сделанные Сувориным.

В настоящем издании все эти произведения — в результате изучения относящегося к ним рукописного материала — впервые появляются в печати в неискаженном виде.

Помимо вариантов литографированных редакций «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней, печатаются ранние рукописные редакции, планы и варианты входящих в этот том художественных произведений, доселе в большинстве неопубликованные.

Из статей, входящих в состав данного тома, впервые публикуются три неоконченных отрывка. К статьям: «Для чего люди одурманиваются?» и «Предисловие к «Севастопольским воспоминаниям» Ершова» даны обширные варианты, впервые извлеченные из черновых рукописей автора; в статье «Для чего люди одурманиваются?» восстановлен пропуск, сделанный по цензурным условиям. В комментариях к статье «О соске» приводятся толстовские тексты, затерявшиеся в проредактированной им рукописи другого автора. Из других статей Предисловие к «Злой забаве» В. Г. Черткова и «Carthago delenda est» до сих пор не включались в собрания сочинений Толстого. Тексты всех статей проверены по рукописям.

Художественные произведения данного тома приготовлены к печати, редактированы и комментированы Н. К. Гудзием.

Вся работа по подготовке к печати текстов статей и составлению комментариев к ним сделана В. Д. Пестовой, под редакцией Н. Н. Гусева.

В составлении указателя к тому принимала участие А. И. Толстая-Попова.

Н. Гудзий

Н. Гусев.

Редакционные пояснения к двадцать седьмому тому.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «кый» вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[ак]» лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил

писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 *неразобр.*] или: [2 *неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных ‹ › скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмутц-титулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого, *** — что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** — что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Дьявол

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну

Матфея V, 28, 29, 30

I

Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям — Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в именье, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся именьем, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой именье бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по именью, помещик, имевший дела с стариком Иртеневым, то есть имевший вексель на него и приезжавший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно — Семеновское с

четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весною (отец умер постом) в именья и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством с тем, чтобы удержать главное именье. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или единовременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы — это старики, а новаторы — это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы — это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце — отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в саду, и в хозяйстве он, разумеется, с изменениями, свойственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда — все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтоб устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести, где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения — сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими

зубами и губами и с негустыми, мягкими и вьющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал так же. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Возили лес, плотники уже работали, и навоз возили на восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен.

Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообразив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и здесь. Только бы сделать это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще беспокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за это

старый Данила. «Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится». Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу. «Можно», — подумал Евгений.

— Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не займался.

«Нельзя», — подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

— Как же ты такими делами нехорошими занимался?

— А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны—предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

«Да, можно сказать», — подумал Евгений и тотчас же приступил.

— А знаешь, — он почувствовал, как он багрово покраснел, — знаешь, Данила, я измучался. — Данила улыбнулся. — Я все-таки не монах — привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

— Что ж, вы бы давно сказали, это можно, — сказал он. — Вы только скажите какую.

— Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

— Понял! — откусил Данила. Он подумал. — Ох, хороша штучка есть, — начал он. Опять Евгений покраснел. — Хороша штучка. Изволите видеть, выдали ее по осени, — Данила стал шептать, — а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

— Нет, нет, — заговорил он. — Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот — солдатка или эдак…

— Зпаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городу, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю — пойди, а она…

— Ну, так когда же?

— Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

— Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. «Что такое будет? Что такое крестьянка? Что—нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивы, — говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. — Но что я скажу, что я сделаю?»

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях; и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услыхал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противуположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно—бурой паневе, красном ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

— Тут кругом тропочка, обошли бы, — сказала она. — А мы давно. Голомя.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: «Довольны ль, барин?» — дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. «Чья бишь она? — говорил он себе. — Печникова он сказал? Какая же это Печникова? [В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников] Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь».

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни — невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое: иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать именье, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная. Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

— Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? — спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

— Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что? Евгений рассказал матери про письмо.

— Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

— Но должны мы ей?

— То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте…

— Да, но папа считал это долгом.

— Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

— Из этого я вижу, что надо платить, — сказал сын. — Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

— Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать, — говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, они питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о матерьяльном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

IV

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего—то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное — он чувствовал — нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видать Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий «голомя», тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

— Ну что же, как же ты.,. — Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

— Чего как же? — спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

— Ну как же вот ты ко мне ходишь?

— Вона, — весело проговорила она. — Он, я чай, там гуляе. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходиться помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему

нравилась. Он думал, что ему необходимо такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то, по крайней мере, не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехало семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, покуда могла достать рука, все было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиною. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гуменном сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

«Просто для здоровья надо же, — думал Евгений. — Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно,

рассказала и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю, — думал Евгений, — да что делать, ну да ненадолго».

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидал мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

— Другого такого нет в деревне, — с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

— А Михаила намедни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет. Я сказал, не знаю. Да а то, говорю, лучше с барином, чем с мужиком.

— Ну, что ж он?

— Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей задам.

«Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил», — думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока продолжались. «Когда надо будет, оборву, и ничего не останется», — думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же — он даже не называл это связью — с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но зто продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

V

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мучжин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только

когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

VI

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Добрая ли она была или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не comme il faut, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидала с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее оставаться. И вопрос

оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых задушевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

— А я хотела тебе сказать, Шеня. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывала этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что добрая Марья Павловна суется — правда, любя, — но все—таки суется туда, куда ей не надо и чего она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

— Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня, — сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у… Пчелышковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно, к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым — тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидала краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное

закуриванье папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

— Да, главное, в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

— Маменька, — сказал вдруг Евгений, — я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то, что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

— Ну, я рада, — сказала мать. — Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к церкви, стал встречать народ, шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодайка с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

«Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой, — мелькнуло ему в голове. — Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила». Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На Красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела

уехать, но Евгений, а главное — Лиза упросили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину именья на имя жены. Так он и сделал.

Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала в шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смирная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый, — она могла зацепиться за колесо, — но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла справиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи, приехавшей тотчас же, как заболела Лиза, — все это сделало для Евгения год этот еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и

медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что, как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обрученья, что из всех людей в мире есть один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой. Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чуяла — ему казалось, часто лучше его самого — всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, полезным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами. Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность — ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопутствовала ему, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любуются ею, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она

только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

IX

Это было под Троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикировками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под Троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в поломойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым — конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. «У него теперь жена есть, — думала она. — А лестно посмотреть барыню, ее заведенье, хорошо, говорят, убрано».

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне Троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дома, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую траву, повторяя, как это часто бывает, произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую

он повторял, была: «Фосфориты оправдают», — что, перед кем — он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

«Матушки! какую Лиза затеяла перечистку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяюшка, — сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее. — Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяюшка-то-с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в ней маленький Иртенев новый, — подумал он. — Да, фосфориты оправдают». И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, в нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

— Иди, иди, я не пойду, коли вы… — начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

«Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть», — хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

«Да что же я смотрю, — сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видать ее. — Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие». И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидать ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

«Ах, что я делаю, — вскрикнул он в душе. — Она может подумать. Даже наверно она уже подумала».

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

«Эта вышла, и придет та, Степанида — одна», — вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

«Боже мой! Что я думаю, что я делаю!» Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамаши за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

«Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!» — подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

X

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел беспрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

— Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда, — сказала она мужу. — А так хочется все перебрать.

— Ну как ты, спала после меня?

— Да, я спала, мне хорошо.

— Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце, — сказала Варвара Алексеевна, ее мать. — И без жалузи или маркиз. У меня всегда маркизы.

— Да ведь здесь тень с десяти часов, — сказала Марья Павловна.

— От этого и лихорадка. От сырости, — сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное

тому, что говорила сейчас. — Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

— Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть…

— Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу, — сказала Варвара Алексеевна, — но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

— Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

— Мне не надо. Я могу и с сырыми.

— Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась, — сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

— Да нет, я не хочу нынче. — И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: — Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

— Да я не хочу, не хочу.

— Лиза! Лиза! тише, — сказала Марья Павловна. — Ей вредны эти быстрые движения.

— Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное, — сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались один Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел простой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил

задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

XI

После завтрака все разошлись. Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу за другою, думая. Его страшно удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее, — этого он и думать не хотел, — а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

«Нет, это невозможно так оставить», — сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что—то ему говорившего.

— Василий Николаевич!

— Что прикажете?

— Мне поговорить с вами.

— Что прикажете?

— Да вот кончите.

— Разве не принесешь? — сказал Василий Николаевич скотнику.

— Тяжело, Василий Николаевич.

— Что это? — спросил Евгений.

— Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас велю запрячь лошадь. Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.

Скотник ушел.

— Вот видите ли, — краснея и чувствуя это, начал Евгений. — Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи… Вы, может быть, слышали…

Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:

— Это насчет Степашки?

— Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, но берите вы ее на поденную в дом… Вы понимаете, неприятно очень мне…

— Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.

— Так пожалуйста… Ну так как же, рассыпят остальное? — сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.

— Да вот поеду сейчас.

Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не видав ее, так будет и теперь.

«Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого», — говорил себе Евгений и радовался тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. «Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд». Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

XII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василию Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. «Верно, его огорчала эта пикировка между мамашами. В самом

деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то», — думала Лиза.

Следующий день был Троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес завивать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли а нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за ним планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевках и картузах и красных рубахах, с неперестающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издалека поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папиросой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

— Барьшя зовут, — сказал малый, подходя к не слыхавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергичная, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

— Да, да, — сказал он, снимая и надевая пенсне. — Да, да, — говорил он. «Стало быть, нельзя мне избавиться от нее», — думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, а именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что она видит его и видит то, что он любуется ею. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы но видать ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закурив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов по аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом расстегае и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. «Куда-то они шли?»

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

— Евгений Иваныч, Евгений Иваныч! Я к вашей милости, — заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хороводу.

XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба — эта Анна Прохорова, — очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

«Да, погибнет, — он иначе не понимал этого, — изменить своей молодой, любящей жене в деревне с бабой, на виду всех, разве это не была погибель, страшная погибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры».

«Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? — говорил он себе. — Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней, — приказывал он себе. — Не думать!» — и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтоб лечить ее, положил другую руку на жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. «Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть». И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. «Ну, думай о ней теперь», — иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. «Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видать ее, — уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это», — говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. «Куда это она пошла?» — вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рука с рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напомаженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

— Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

— Можно. Пожалуйте. Мы отпили.

— Нет, пойдемте со мной лучше.

— Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой, — сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение.

— Я, Василий Николаевич, опять о том же, — сказал Евгений, — об этой женщине.

— Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

— Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

— Куда ж их удалишь? — недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

— Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

— Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего кореня? Да и на что вам? Что она вам мешает?

— Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

— Да кто же ей скажет?

— Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

— И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

— Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

— Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

— Но вы все-таки скажите.

— Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главное, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

XIV

В этот же самый Троицын день, после обода, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но охнула, и в лице ее муж увидал не только испуг, но и боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

— Нет, погоди немного, Евгений, — сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него. — Просто нога подвернулась.

— Вот я всегда говорю, — заговорила Варвара Алексеевна. — Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

— Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

— Да, мне нехорошо, — и она шепнула что-то матери.

— Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить, — кричала Варвара Алексеевна. — Погодите, я пришлю людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

— Ты не боишься, Лиза? Я снесу тебя, — сказал Евгений, обхватив ее левой рукой. — Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

— Тебе тяжело, милый, — говорила она, улыбаясь. — Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

— Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

— Да я прекрасно несу.

— Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь. — И она забежала за угол аллеи.

— Ничего, это пройдет, — говорила Лиза, улыбаясь.

— Да только бы не было последствий, как тот раз. — Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мама. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

— Ну, ты поди, — сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее. — Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

— Ну что? — спросил он.

— Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

— Варвара Алексеевна! — вскрикнул он. — Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь, — он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался. — Как вам не больно это?

— Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

«Многоуважаемый Николай Семенович, — написал Евгений врачу, — вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в…» и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других — увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. «А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность».

Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

— Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву, — сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

— Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

— Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

— Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

— Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне, — сказал Евгений.

— Да это и видно.

— Что?

— Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала. «Переноси ее для меня. Ведь она не помешает нам любить друг друга», — говорил ее взгляд.

— Не буду. Это так, — прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

— Неужели опять то же? — сказал он. — Как ты чувствуешь?

— Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив, — сказала она, глядя на свой живот.

— Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояние Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть и встала бы. К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного

указания нет, но так как нет и противу показания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападок сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболеет, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходиться.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу, и услыхав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней, — так он думал, — он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз

он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше — и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратить этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был заметен этот стыд, — темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от погибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это — жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время,

полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес.

Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издалека, но ни разу не сошелся с нею.

XVI

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменой, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостил только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбегались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

— Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли, — сказал он. Он встал и пошел.

— Ты возьми зонтик.

— Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попалась она в высоко над

белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

— Что ты? — спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

— Теленку ищу. Куда же это вы в ненастье-то? — сказала она, точно каждый день видала его.

— Приходи в шалаш, — вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла, — в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намереньем завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

— Барин, — послышался ему сзади голос. — Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

«Боже мой, второй раз ты спасаешь меня», — подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидали из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слыхала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услыхала их, «Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою». Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте и капающем с своей соломы. «А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти». Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покатившейся, был на ней. «Да,

она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней». Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиною его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву, Он знал, как она боялась и самих родов, и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

— Нет, это невозможно, — говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. — Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

— Взойдите, — сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послом от жены.

— Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену, — сказал он, — и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное дело, но что ты хочешь, que veux tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей. И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

— Дядюшка, — вдруг заговорил Евгений, — можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

— Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

— Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня, — сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет

свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унизится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

— Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя полюбил, — заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен.

— Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец.

— Ну, что ты, — надуваясь горлом, начал дядюшка.

— Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! — надо ведь знать ее чистоту, любовь, — когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

— То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

— Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы… теперь бы. Я не знаю, что бы я сделал.

— Но позволь, ты объясни мне…

— Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле…

— И хорошенькая? — сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

— Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней, — Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния, — —потом вдруг, уж я не знаю отчего, — право, иногда веришь в привороты, — я увидал ее, и червь залез мне в сердце — гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

— Как, в дождь?

— Да, я измучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

— Да, разумеется, в своем именье это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем именье?

Опять Евгений постарался не слыхать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

— Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

— Да, положим, — сказал дядюшка. — Но неужели ты так влюблен?

— Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда…

— Ну вот и выходит по-моему, — сказал дядюшка, — Поедемте-ка в Крым.

— Да, да, поедемте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгений ездил в город доставать денег на поездку, распоряжался из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женою и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Стенаниду, он уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминания. В Крыму они встретили прежних знакомых и особенно сблизились с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизились там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа

Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртеневы поехали домой уже сам—четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евгений вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее полюбил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятий хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уж говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

— Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? — спросил он.

— Нет, все в городе.

— А баба его?

— Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.

«Ну и прекрасно, — подумал Евгений. — Как удивительно мне все равно и как я изменился».

XIX

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Совсем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое дает работу, по прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. «Вот и этот», — думал он, проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

— Ну что, можно поздравить? — сказал дядюшка.

— Да, выбрали.

— Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сенного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он,

как будто гуляя, остановился тут, закуривая папироску. Баба-соседка увидала его, и он, проходя назад, услыхал, как она говорила кому-то:

— Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, Дура!

Он видел, как баба — она — побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

XX

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освобождаться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела…

"Да, вот и перервал, когда захотел, — говорил он себе. — Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоровой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо услать ее,

как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь — это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор а жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть, — продолжал он думать, — может так быть. Лиза заболеет да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя [С этого места начинается вариант конца повести]. Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще…

Ах, да, третий есть: себя, — сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. — «Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. «Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет».

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

XXI

Он накинул газету на револьвер.

— Опять то же, — с испугом сказала она, взглянув на него.

— Что то же?

— То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

— Ты знаешь? Пока.

— Скажи, скажи, скажи. Не пущу тебя. Он улыбнулся жалкой улыбкой.

«Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить».

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

— Так ты скажешь. Я сейчас приду.

— Да, может быть…

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. «Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет».

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть, борьбу, соблазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. «Нет, лучше это». И пожал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату, — она только что успела спуститься с балкона, — он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

(ВАРИАНТ КОНЦА ПОВЕСТИ «ДЬЯВОЛ»)

…сказал он себе и, подойдя к столу, достал из него револьвер и, осмотрев его — одного заряда недоставало, — положил его в карман штанов.

— Боже мой! что я делаю? — вдруг вскрикнул он, и, сложив руки, он стал молиться. — Господи, помоги мне, избавь меня. Ты знаешь, что я не хочу дурного, но я не могу один. Помоги мне, — говорил он, крестясь на образ.

«Да я могу же владеть собой. Пойду похожу и обдумаю».

Он вышел в переднюю, надел полушубок, калоши и вышел на крыльцо. Не замечая этого, шаги его направились мимо сада по полевой дороге к хутору. На хуторе все еще гудела молотилка и слышались крики погонщиков-мальчиков. Он вошел в ригу. Она была тут. Он тотчас же увидал ее. Она сгребала колос, и, увидав его, она, смеясь глазами, бойкая, веселая, рысью побежала по раскиданному колосу, ловко сдвигая его. Евгений не хотел, но не мог не смотреть на нее. Он опомнился только, когда она перестала быть видима. Приказчик доложил, что теперь домолачивают слежавшиеся и что от этого дольше и выхода меньше. Евгений подошел к барабану, изредка стучавшему при пропуске плохо распластанных снопов, и спросил приказчика, много ли таких слежавшихся снопов.

— Возов пять будет.

— Так вот что… — начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая колос, и обожгла его своим смеющимся взглядом.

Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях. Евгений почувствовал себя в ее власти, но не хотел сдаваться.

Он вспомнил свою молитву и попытался повторить ее. Он стал про себя говорить ее, но тотчас же почувствовал, что это было бесполезно.

Одна мысль теперь поглотила его всего: как незаметно от других назначить ей свидание?

— Если нынче кончим, прикажете начинать новый скирд или уж до завтрова? — спросил приказчик.

— Да, да, — отвечал Евгений, невольно направляясь за нею к вороху, к которому она с другой бабой пригребала колос.

«Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе. — Неужели я погиб? Господи! Да нет никакого бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох.

— Батюшки! родимые! что ж это? — кричали бабы.

— Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее, — закричал Евгений. — Посылайте за становым.

Он пришел домой и, ничего не сказав жене, вошел в свой кабинет и заперся.

— Не ходи ко мне, — кричал он жене через дверь, — узнаешь все.

Через час он позвонил и у пришедшего лакея спросил:

— Поди узнай, жива ли Степанида.

Лакей уж знал все и сказал, что померла с час назад.

— Ну и прекрасно. Теперь оставь меня. Когда приедет становой или следователь, скажи.

Становой и следователь приехали на другое утро, и Евгений, простившись с женой и ребенком, был отвезен в острог.

Его судили. Это были первые времена суда присяжных. И его признали временно душевнобольным и приговорили только к церковному покаянию.

Он пробыл в остроге девять месяцев и в монастыре месяц.

Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, невменяемым алкоголиком.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной, психопат. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

Отец Сергий

I

В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского всё это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в

солдаты, если бы директор корпуса не скрыл всё дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, — а он часто езжал к ним, — когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

— Знайте, что всё мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было

только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, повидимому, самая разнообразная, но в сущности всё одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцовать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение

не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света — и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но всё обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, — и он дожидался этого, — или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг всё изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение, и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью, осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренно не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, — такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

— Я только теперь узнал всё то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

— Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

— Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

— Вы знаете, ты знаешь, ну, всё равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

— Да, ты вот сказала... — он замялся, ему показалось это слишком дерзко, — ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, — подумала она. — Всё равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать всё. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

— Вы хотите знать, кого? Да, его, государя.

— Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

— Нет, после. Это было увлеченье, но потом прошло. Но я должна сказать...

— Ну, так что же?

— Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

— Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

— Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

— Боже мой, что я сделала, Стива!

— Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

— Вы что, князь? Я... — Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

— Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, — вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, довернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает всё то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и

оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский, так же как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, всё это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь всё это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища — молитва церковная — для

поддержания духовной жизни. Он верил в это, и, действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во всё большем и большем покорении своей воли, во всё большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он всё отдал в монастырь и не жалел его, лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг всё то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и — ужасно сказать — раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание — работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И всё, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за всё

это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это всё более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Всё то, чему надо было учиться, всё то, чего надо было достигнуть, — он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось всё сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Всё внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий

отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что. написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов — часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, — Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, — подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец

Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

— Lise, regardez à droite, c'est lui,[1] — послышался ему женский голос.

— Où, où? Il n'est pas tellement beau[2].

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение» и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился.

— Очень рад видеть вас в ангельском образе, — сказал генерал, протягивая руку, — надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Всё лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард — всё это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

— Ваше преподобие изволили звать меня? — И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

— Да, повидаться с генералом.

— Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, — сказал он, бледнея и с трясущимися губами. — За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

— Иди, иди, — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей, не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи попрежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

— В Т[амбино], отсюда двенадцать верст, — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?

— А потом на Л. через монастырь.

— Там, где отец Сергий этот живет?

— Да.

— Касатский? Этот красавец пустынник?

— Да.

— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Т[амбине] отдохнем, закусим.

— Но мы не поспеем ночевать домой.

— Ничего, ночуем у Касатского.

— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

— Нет, я у Касатского буду ночевать.

— Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

— Невозможно? Пари.

— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

— A discrétion.[3]

— А вы тоже!

— Ну, да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, — и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масленая дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Всё одно и то же, и всё гадкое: красные, глянцовитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и всё вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы всё это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да наверно подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я по крайней мере хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был».

— Иван Николаич! — сказала она.

— Что прикажете?

— Да ему сколько лет?

— Кому?

— Да Касатскому.

— Кажется, лет за сорок.

— И что же, он принимает всех?

— Всех, но не всегда.

— Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в

своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомненье, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! — думал он. — За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. — Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. — Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», — начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил по́лы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он

установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», и ему не только легко, но радостно умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою постилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было, или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! — он плюнул. — Нет, мне кажется», — сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосушке. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол... — и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. — Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

— Кто вы? Зачем вы? — сказал он.

— Да отоприте же, — с капризным самовластьем сказала она. — Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.

— Да ведь я монах, отшельник.

— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

— Да как вы...

— Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

— Ах, извините! — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», — подумала она.

— Ничего, ничего. Вы простите меня, — сказала она, проходя мимо его. — Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

— Пожалуйте, — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного», — не переставая молился он не только внутренно, но и невольно наружно шевеля губами.

— Пожалуйте, — сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

— Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... — начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

— Да, так, — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. — Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога

была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку — доску, только покрытую ковриком, — и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, пóтом и землей. Всё нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его — этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», — сказала она себе.

— Отец Сергий! Отец Сергий! Так ведь вас звать?

— Что вам надо? — отвечал тихий голос.

— Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

— Простите меня, — отвечал тихий голос, — я ничем не могу служить.

— Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, — очевидно, молится.

— Вы не взойдете сюда? — спросила она улыбаясь. — А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и — как он ни бормочи молитвы — и страстное лицо! — думала она. — Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

— Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю, — думала она. — Но не откланяется он, — проговорила она. — Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

— Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

— Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, — заговорила она страдающим голосом. — Ох, ох! — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что всё болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

— Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! — Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. — Ох! ох!

Всё это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он всё слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

— Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг — он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

— Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

— Сейчас я приду к вам, — проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

— Сейчас, — сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

— Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

— Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергий... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

— Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

— Что вы сделали с рукой? — Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

— Простите меня, — сказала она. — Чем выкуплю я грех свой?

— Уйди.

— Дайте я перевяжу вам рану.

— Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела ожидая. С надворья послышались бубенцы.

— Отец Сергий. Простите меня.

— Уйди. Бог простит.

— Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

— Уйди.

— Простите и благословите меня.

— Во имя отца и сына и святого духа, — послышалось из-за перегородки. — Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

— Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

— Всё равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергий еще семь лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Всё то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Всё время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить всё больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла всё дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну? — просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за

водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали всё, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, — место, где он мог благословлять приходящих.

Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал всё больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он

думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже всё обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли всё, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые минуты; но самое обыкновенное

состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё были господа и купцы — богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

— Что с вами? Батюшка! Отец Сергий! Голубчик! Господи! — заговорили голоса женщин. — Как платок стали.

Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

— Ничего, ничего, — улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, — не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», — подумал он.

— Святой! Ангел божий! — послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к

святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Всё это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив при том слова евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

— Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, — сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

— Отец! — послышалось в толпе. — Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязом, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

— Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

— Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, — говорила старушка.

— Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

— Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю, — отвечал купец, — ведь они ради доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра. И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике — не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию — немножко полегчило; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег — ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

— Отец святый, благослови дщерь мою болящую исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. — И он сложил горсточкой руку на руку. Всё это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию

показалось, что всё это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привесть ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

— Что же, она очень слаба? — сказал отец Сергий.

— Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привесть ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя, восстановите род его — молитвами своими спасите болящую дщерь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

— Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. — И он закрыл глаза. — Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

— Покушать, батюшка, — сказал келейник.

— Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергий остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и сам всё делал для себя, и питался одной просвирой и хлебом.

Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что раз лопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светлозеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам,

которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают» — думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня», — повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее

слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть, или нет.

«Неужели я так пал? — подумал он. — Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот — соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться, и долго молился, до тех пор пока мысли эти исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

— Я к папаше хочу, — сказала она.

— Не бойся, сказал он. — Что у тебя болит?

— Всё у меня болит, — сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

— Ты будешь здорова, — сказал он. — Молись.

— Что молиться, я молилась, ничего не помогает. — И она всё улыбалась. — Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

— Как видела?

— Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. — Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. — Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

— Как тебя звать? — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.

— Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

— Что ты? — сказал он. — Марья. Ты дьявол.

— Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели всё это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Всё было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят:

дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают насмех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим всё ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. — Где она? Что с ней? Так ли она всё несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, — это было за триста верст, — и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это но застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а всё будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

— Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула.

— И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье, — сказала она себе, — вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был всё тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.

— Да, он самый, — тихо проговорил Сергий. — Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

— Сядьте сюда, сейчас, — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

— Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шопотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

— Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

— Куда?

— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.

— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

— За счастье почту. Вечером можно?

— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

— Ах, а я сказала дочери.

— Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий. — Теперь можно поговорить?

— И за что мне такое счастие, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала всё съездить к вам, писала

вам, и вдруг такое счастье.

— Пашенька! Пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! Я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.

— Но надо жить. И я, который думал, что всё знаю, который учил других, как жить, — я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь за бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

— Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?

— Всё было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучала его ревностью, которую не могла в себе победить.

— Он пил, я слышал.

— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

— Да ведь у вас было именье.

— Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел, уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

— Мамаша, — перебила ее речь дочь. — Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее — и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

— Чем же он болен?

— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я всё надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

— Лукерья! — послышался его голос, сердитый и слабый. — Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша...

— Сейчас, — опять перебила себя Прасковья Михайловна. — Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

— Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

— Ну, чем же вы живете?

— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

— Чтò же вам платят за уроки?

— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

— Да, да, — говорил Касатский, наклоняя голову. — Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спросил он.

— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила, с детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

— А отчего же не бываете сами?

— Да правду сказать, — она покраснела, — да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

— Ну, а дома молитесь?

— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

— Да, да, так, так, — как бы одобряя, подговаривал Касатский.

— Сейчас, сейчас, — ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

— Я им не сказала, кто вы, — начала она робко, — а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

— Нет...

— Ну, я сюда принесу.

— Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы. поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

— Благословите.

— Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял всё и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что Протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но всё это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы

радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pélérins,[4] которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

— Demandez leur, — сказал француз, — s'ils sont bien sûrs de ce que leur pélérinage est agréable à Dieu.[5]

Их спросили. Старушки отвечали:

— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

— Раб божий.

— Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.[6]

— Il dit qu'il est un serviteur de Dieu.[7]

— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?[8]

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

— Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé;[9] чай, чай, — улыбаясь, — pour vous, mon vieux,[10] — сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

— Спаси Христос, — ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое — взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у о него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

Последняя страница первой законченной редакции повести «Отец Сергий»

Размер подлинника

Планы и варианты

Отец Сергий

№ 1 (рук. № 1).

Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, а то забуду: Служил в сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку воспитанник Пажеского корпуса князь Касатский-Ростовцев. Он был красив, молод, не беден, и любим товарищами и начальством. Жизнь он вел не распутную, как все, а всё собирался жениться. И выбрал он девушку, но накануне сватьбы он узнал, что девушка эта обманывала его, а была любовницей важного лица, и ее выдавали за него замуж, чтобы прикрыть грех. Он отказался. Девушка заболела и через год умерла в чахотке. Она любила его. Он был при ее смерти. Она каялась ему и просила его прощения. А он чувствовал себя виноватым перед ней. Когда она умерла, он стал думать иначе о жизни и смерти. Он еще смолоду, 18 лет, был очень набожен и хотел идти в монахи. Тогда его уговорили родные делать, как все, служить, и он поступил в полк. Теперь он вернулся к тем мыслям и чувствам, которые были в нем тогда, но теперь уже он не сомневался в том, что он был прав, когда хотел думать не о теле и мирской жизни, а о душе и о боге, и решил выйти в отставку и посвятить свою жизнь служению богу. Он так и сделал. Отца у него не было. Мать сама была набожна и, хотя отговаривала сына, боясь того, чтобы он не раскаялся в своем намерении, в душе одобряла его. Касатский-Ростовцев вышел в отставку, отрекся от мира и поступил в монастырь, известный строгостью жизни братии. Ему тогда только минуло 30 лет. Первое время ему очень трудно было в монастыре. <Главная борьба его была с плотью, похотью женскою и с гордостью.> Плотской похоти он боялся больше всего и постоянно вооружался против нее. Оружием против нее было у него 1-е то, чтобы, думая о женщинах, думать прежде всего об умирающей, обманутой

своей невесте, так, чтобы ее образ, вызывавший в нем одну жалость, закрывал от него все другие женские образы; и 2-е то, чтобы никогда не видать женщин.[11]

<Другая борьба его была с гордостью. Он не гордился ни своим родом, ни своим образованием, умом, красотою,[12] он смирялся перед всеми братьями, и он думал, что победил гордость, но в душе своей он гордился именно своим смирением и тем, что он пожертвовал всем этим для бога. И все окружающие, восхваляя его за это, поддерживали в нем эту гордость.>

Он прожил в монастыре 7 лет и на 5-м году своей жизни был пострижен в иеромонахи. На 7-м году его жизни с ним случилось, казалось бы, ничтожное событие, но такое, вследствие которого он оставил монастырь <и удалился в уедине[нный] скит, уединенную келью, построенную в лесу, недалеко от монастыря.>

Случай, по которому он оставил монастырь, был такой: Великим постом он говел и был в особенно радостном состоянии духа, в котором, как он говорил, он чувствовал близость бога. Он стоял в один день у всенощной на обычном своем месте, когда монах, отец Никодим, подошел к нему и, поклонившись, сказал, что игумен, служивший в этот день, зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий — такое имя в монастыре носил Кас[атский]-Ростовцев — всегда не любивший допускать разговоры во время службы, нынче особенно не желавший нарушать своего настроения, поклонился Никодиму и, исполняя обет монастырского послушания, тотчас же пошел, куда его звали.

В алтаре стоял настоятель в облачении и, улыбаясь, говорил что-то с генералом, который сейчас же узнал отца Сергия. Это был бывший командир их полка. Генерал этот теперь занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, как отец игумен ласкался к нему. Вид этот оскорбил и огорчил отца Сергия и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как только на то, чтобы удовлетворить любопытство генерала увидать своего прежнего сослуживца, как

он выразился. — Очень рад вас видеть в ангельском образе, — сказал генерал, протягивая руку, — надеюсь, что вы не забыли старого товарища. — Всё лицо иг[умена], среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, всё это взорвало отца Сергия. Он поклонился иг[умену] и сказал: — Вы призвали меня. Что вам угодно? — Игумен сказал: — Да, повидаться с генералом.

— Отец игумен, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов. <Я не довольно силен, чтобы противиться искушению.> За что же вы здесь подвергаете меня им во время молитвы и в храме божием? — Иди, иди,[13] — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день было объяснение, вследствие которого отец Сергий оставил монастырь. Он просил прощенье у иг[умена] и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить монастырь. Отец Сергий еще и в миру и особенно в монастыре сделал себе привычку решать все свои сомнения с богом. Если ему надо было на что решиться, он становился на молитву и до тех пор молился, пока сомнение уничтожалось, и он слышал, как он говорил, голос, который произносил решение, которое он должен был принять. — Так было и теперь. Голос сказал ему, что он должен оставить монастырь и поселиться в пустыне. Он еще не знал, где и как он поселится, как через неделю после этого[14] архимандрит, посетивший монастырь, узнавши о случившемся, предложил отцу Сергию поселиться в заброшенном скиту около его монастыря в другой соседней губернии. Отец Сергий принял предложение и поселился в одной из келий заброшенного скита. Нашлись люди, которые захотели служить отцу Сергию и стали доставлять ему пищу. <Пищу отец Сергий принимал только хлеб.>

В уединенной келье этой прожил отец Сергий еще 7 лет. Сначала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили, — и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже устанавливал свою жизнь отец Сергий, отказываясь от

всего лишнего, и наконец дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Всё то, что приносили ему, раздавал бедным, приходившим к нему. Всё время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. Посетителей стало приходить всё больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. После 7 лет прошла далеко слава про отца Сергия, как всегда преувеличив[ая] его подвиги. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Первое посещение больного 14-летнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он исцелил его, было для него тяжелым испытанием. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну? Каялась в своих грехах, просила ради Христа; на утверждения отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, 14-летним бледным исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнения в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение; а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом. И выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном. Через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех

пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился. И исцелялись другие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так дожил отец Сергий до 50-летнего возраста. Он уже 20 лет был монахом, из которых 7 лет прожил в монастыре и 13 лет в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые. —

На масленице этого 20-го года жизни Сергия в монастыре из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мущин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и 4-х женщин. 2 были жены офицера и помещика, одна была девица, сестра помещика, и 4-ая была <вдова> разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехав 8 верст за город, три тройки остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше. —

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

— В Т. Отсюда 12 верст, — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?

— А потом на Л., через монастырь, где Касаткин живет.

— Касаткин? Этот красавец пустынник?

— Да.

— Медам! Господа. Едемте к Касаткину. В Т. отдохнем, закусим.

— Но мы не поспеем ночевать домой.

— Ничего, ночуем у Касаткина.

— Положим, там есть гостиница монастырская и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. —

— Нет, я у Касаткина буду ночевать.

— Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

— Невозможно? Пари.

— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
— A discrétion.
— А вы тоже!
— Ну, да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами; дамы закутались в белые собачьи шубы; ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья.

№ 2 (рук. № 2).

В сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку служил князь Степан Касатский-Ростовцев. Он был красив, молод и не беден; он имел 300 душ крестьян, с которых получал, за вычетом того, что платилось в ломбард, 5600 рублей доходу, что позволяло ему жить безбедно с его скромными вкусами. Вкусы у него были скромные, сравнительно с его товарищами, для которых всякого рода разврат, пьянство, игра, буйство, побои и главное распущенность половая, всякого рода соблазны невинных девиц, посещение распутных дам и прелюбодеяния с чужими женами составляли предметы похвальбы. Касатский выделялся от своих товарищей относительной чистотой своей жизни. Товарищи называли его красной девицей, несмотря на то, что он был далеко не невинность, и добродушно смеялись над ним. Но относились к нему добродушно, а не зло, потому что любили его за то, что он был добрый товарищ и необыкновенно твердый в делах чести, которые он понимал так же, как понимали ее военные люди того, да и всякого времени. Несмотря, на древнюю фамилию, Касатский-Ростовцев не принадлежал к высшему обществу. Он не принадлежал и к низшему, но не принадлежал, не был как дома, у себя, в высшем обществе. Происходило это от того, что воспитывался он один матерью вдовою, и что отец его не занимал важных придворных должностей, и не было у него ни дядей, ни дедов при дворе, и вместе с тем и он [и] его мать были горды, не заискивали сближения, с так называемым высшим обществом, которое

составляется из 1) людей знатных, богатых и придворных, 2) из людей придворных и потому богатых, 3) из людей богатых и подделывающихся к первым, и из бедных ловких, подделывающихся к 1 и 2-м.

28 лет от роду Касатский-Ростовцев, будучи поручиком, сошелся с дочерью старого генерала и сделал ей предложение. Касатский-Ростовцев был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все занимавшиеся скандальной хроникой города, что его невеста была за год тому назад в близких сношениях с важным лицом города. За две недели до назначенного дня сватьбы Касатский-Ростовцев получил анонимное письмо, в котором ему грубо объявляли это. Письмо было написано вдовой, с которой Касатский-Ростовцев был в сношениях. Касатский-Ростовцев поверил письму, свел к одному всё, что он замечал прежде, и приехал к невесте вне себя. Он сам не помнил, что он говорил. Знал только, что он кричал что-то ужасное и, хлопнув дверью, выбежал (он был всегда тих и кроток, но в минуты гнева совершенно терял самообладание) и разорвал все сношения с ними. Генерал с дочерью уехали за границу, а Касатский-Ростовцев, стараясь забыть о них, продолжал служить <,съездив прежде в Москву к матери и объяснив ей причину разрыва>. Дело было весною. Летом он провел в отпуску в деревне, устраивал свои дела, и у матери в подмосковной. Осенью он вернулся в Петербург <и продолжал служить. Так прожил он зиму, еще более чем прежде уединяясь от людей. Весной он получил письмо из Ниццы от своей бывшей невесты: она просила его приехать проститься с ней, простить ее перед смертью, потому что она знала, что она умирает чахоткой. Она присылала ему в доказательство портрет. Она и всегда была похожа на чахоточную своими блестящими глазами и ярким румянцем, но теперь это были мощи. Точно как будто болезнь и предстоящая смерть имели какую-то логическую силу убеждения, Касатский-Ростовцев почувствовал вдруг, что все его укоризны, обвинения ей, все вдруг разрушены, опровергнуты этими выступившими обтянутыми скулами и видом этой руки с костями и сухожильями без мяса. И он взял отпуск и уехал к ней. Он не застал уже ее в

живых, не застал даже похорон. Но он тем более простил ее и обвинил себя.> К удивлению всех товарищей, в то время как ему дали командованье лейб-эскадроном, подал в отставку. Удивление всех еще усилилось, когда узнали, что Касатский-Ростовцев поступает в мон[ахи]. <Теперь он вернулся к тем мыслям и чувствам, которые были в нем тогда, но теперь он уже не сомневался более в том, что в мире нет ничего, кроме страданий, обманов и зла и что спасение одно в боге. Найти же бога можно только в уединении и молитве. И он решил выйти в отставку, пойти в монахи.>

№ 3 (рук. № 5).

Кроме того он был красив, <силен> и ловок <и возмужал очень рано>. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его <всегда> и после, так что ему пророчили флигель-адъютантство. Состояние у него было небольшое, но такое, при котором он легко мог содержать себя в этом роскошном полку, в который он поступил, в особенности <при воздержной> с помощью матери, которая и любила его и гордилась им.

[*В дальнейшем описании внутренней работы Касатского по самосовершенствованию зачеркнуто следующее место:*]

И чем труднее давалось ему то, за что он брался, тем с большей энергией, он работал над этим.

[*Ниже:*]

Потом он задался мыслью <обратить на себя внимание Николая Павловича и добился этого>.

№ 4 (рук. № 2).

[*После слов «и залились колокольчики, и завизжали полозья» следовала характеристика Маковкиной, перечеркнутая прямой чертой:*]

Маковкина была одна из тех даровитых привлекательных женщин, которые легко и тонко понимают всё хорошее, имеют отвращение от всего дурного, но которые <по слабости> не делают ничего из того хорошего, что они понимают, и живут в том <дурном, которое их отталкивает>.

№ 5 (рук. № 2).

[*После слов «он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье» зачеркнуто:*] и еще прежде чем она начала звать его, он вдруг, сам не зная, как это сделалось, осторожно, как вор, сошел с места, подошел к щели сучка в перегородке и впился в нее глазами. Он сам не знал как, но он был побежден и уже не имел воли. Прежде чем она начала звать его, он уже решил, <что> войдет к ней, потушит лампадку и отдастся любви, потому что он знает, что она хочет этого. Он <стоял пожирая ее глазами и только что> отстранился от щели и хотел идти, <как она вдруг сказала:> <Но как только он решил идти, так тотчас же он очнулся и ужаснулся себя>.

№ 6 (рук. № 2).

[*После слов «и купец прогнал всех» зачеркнуто:*]

и вернувшись к отцу Сергию, сказал: — Вы бы покушали, батюшка.

— И то, — сказала Софья Ивановна, — так себя морят, так морят. Ведь вы нужны нам, батюшка.

— Ну хорошо, хорошо, приносите, я съем что-нибудь.

И отец Сергий [велел] принести ему его ужин — кашку и просвирку.

№ 7 (рук. № 2).

На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели всё это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что ж я сделаю? Вот он тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и

вбежал в келью. Она лежала раскинувшись и спала. Он подошел, примерил[ся] и, взмахнув топором, ударил ее вдоль головы ниже темени. Она не крикнула, но вся привскочила и тотчас же опять упала, а он <взял свою шапку и хлеб и> выбежал и пошел вниз к реке, у которой он не был 4 года. <На реке шел плот. — Братцы, возьмите меня. — Кто ты? — Грешник. Свезите.> Вдоль реки шла <большая> дорога, он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Да, надо кончить, нет бога.

Комментарии Л. П. Гроссмана

«Отец Сергий»

История писания и печатания

По свидетельству П. И. Бирюкова, замысел повести «Отец Сергий» возник у Толстого в конце 1889 или в начале января 1890 г.[15]

В бытность В. Г. Черткова 28—30 января 1890 г. в Ясной Поляне Толстой выразил желание рассказать ему содержание задуманной им повести. Однако Чертков, опасаясь, что устное изложение может помешать Толстому осуществить свой замысел, попросил Льва Николаевича сообщить ему сюжет этой повести в ближайшем письме, рассчитывая таким путем втянуть писателя в литературную работу.[16]

Через четыре дня после отъезда из Ясной Поляны Черткова Толстой, гостя в имении своего старшего брата Пирогове, рассказал своей невестке замысел будущего «Отца Сергия». В Дневнике Толстого 3 февраля 1890 г. записано: «Хохотал с доброд[ушной] Мар[ьей] Мих[айловной] и рассказывал ей историю жития и музыкальной учительницы. — Хорошо бы написать. — Купеческая дочь больная — соблазнител[ьна?] своей болезнью — и преступлением — убивает. — Духовник Ел. Серг. грубый мужик. От нас все к тебе ездят. Она всё собиралась. А она, как ты святой был, была святее тебя. Всё не то делаю» (т. 51, стр. 16).

Эта первая запись Толстого к «Отцу Сергию» довольно отчетливо отразила основные мотивы будущей повести: «история жития» — это, очевидно, этапы жизни героя в монастыре, скиту и в миру, «история музыкальной учительницы» — эпизод с Прасковьей Михайловной (Пашенькой), к которой относится, видимо, также запись: «А она, как ты святой был, была святее тебя»; «она всё собиралась» — почти буквально приведено в последней редакции: «Я мечтала всё съездить к

вам, писала вам» и пр.; «больная и соблазнительная купеческая дочь», конечно, Марья; слово «убивает» относится не к ней, а к герою повести, который в одном из вариантов (№ 7) зарубил топором свою соблазнительницу; «от нас все к тебе ездят» — соответствует главе о «славе» отца Сергия, к которому стекаются издалека верующие, приводят больных и пр. Некоторые мотивы этой первой дневниковой записи (например, «духовник Ел. Серг. грубый мужик»), видимо, не получили дальнейшего развития. Но в целом эта беглая запись свидетельствует о широте первоначального замысла и намечает основные эпизоды будущей повести.

Следующая запись к «Отцу Сергию» сделана Толстым 11 февраля 1890 г. В Записной книжке под этим числом в перечне творческих замыслов значится: «Рука сжигает[ся] пустын[ником] и учительн[ица] музыки» (т. 51, стр. 125).

Таким образом, очевидно, что Толстой продолжал обдумывать сюжет, рассказанный им в Пирогове 3 февраля.

Первоначальный набросок повести был сделан Толстым в письме к В. Г. Черткову, напечатанном в т. 87 настоящего издания (стр. 12—17) под датой: «февраль 1890 г.».

П. А. Буланже в комментарии к первой публикации этой повести в «Посмертных художественных произведениях» Л. Н. Толстого сообщает, что Толстой послал Черткову сделанный им набросок повести в первом же письме, адресованном Черткову после его отъезда из Ясной Поляны (30 января). Это неверно: первое письмо после отъезда Черткова датировано 1 февраля (т. 87, стр. 7). Кроме того, судя по содержанию наброска повести, можно с уверенностью сказать, что письмо, излагающее этот набросок, не могло быть написано ранее 11 февраля. Набросок заканчивается поездкой веселящейся компании в монастырь и решением Маковкиной провести ночь у Касатского. В повести этот эпизод завершается отсечением пальца Касатского. Намек на этот эпизод с отсечением пальца сделан Толстым в записи 11 февраля («рука сжигается пустынником»). Следовательно, начало повести могло быть послано Черткову только после 11 февраля.

Между тем это не произошло ни в середине, ни в конце февраля 1890 г. Каждый день февраля отмечен в Дневнике Толстого точным указанием писательской работы за истекшее число. Судя по тому, что о таком крупном творческом событии, как первая редакция «Отца Сергия», здесь нет ни одного упоминания, письмо Черткову с началом повести не было послано ни в середине, ни в конце февраля. Пропустить такой выдающийся факт при описании своего рабочего дня Толстой, конечно, не мог.

Против датировки первой редакции «Отца Сергия» февралем 1890 г. свидетельствует и то, что свою копию записи повести вместе с письмом Толстого Чертков послал ему только 3 июня. Таким образом, если считать началом переписки новой повести первые числа февраля, то на копирование восьми почтовых страниц малого формата корреспондент Толстого потратил около четырех месяцев.[17] Если вспомнить, какое значение придавал Чертков этому произведению, как он неоднократно убеждал Толстого приступить к разработке этого замысла, такое предположение само собою отпадает.

Анализ всех материалов по ранней творческой истории «Отца Сергия» приводит к заключению, что первая редакция повести была написана не ранее марта 1890 г. и не позже мая того же года. Точнее датировать этот вариант повести нет пока возможности.

В обоснование датировки следует разъяснить еще одно обстоятельство. Начальная фраза записи: «Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, а то забуду» — неправильно понималась как указание на близость момента записи к первой попытке Толстого рассказать «историю» Черткову. Приведенная фраза имеет тот смысл, что у Толстого до некоторой степени уже определился характер развития сюжета, обозначились основные эпизоды повести. Отсюда желание «поскорее рассказать, а то забуду»; опасно было забыть не первоначальный замысел, а этот «разросшийся сюжет». Но само это «разрастание» не могло завершиться в несколько дней. Более того, оно потребовало более пристального изучения

темы, ознакомления с обстановкой, с действительностью, как это всегда происходило в творческой лаборатории Толстого.

Так, несомненно, обстояло дело и с «Отцом Сергием». До написания необходимо было собрать материалы и обдумать. Уже к двадцатому февраля возникает план поездки в Оптину пустынь, очевидно с целью освежить и углубить свои впечатления о том быте, который предстояло изобразить в новой повести. Впечатление от этой поездки Толстой вынес резко отрицательное. В записях Дневника, который он вел в пути, Толстой высказывается против демонстративного аскетизма, еле прикрывающего «соблазны» и праздную жизнь. Такое «духовное сибаритство» монастыря резко осуждается Толстым. «С ними дьявол», — записывает он свое впечатление о «старцах». Они живут чужим трудом. «Это святые, воспитанные рабством». Знаменитый Амвросий «жалок, жалок своими соблазнами до невозможности». Деньги, внешняя обрядность, тунеядство, нелепые и лицемерные поучения — вся эта закоснелая церковность подлежит, по Толстому, отмене. «Уничтожить все внешние обряды», «разделать эту божественность» — вот вывод из его оптинских впечатлений,[18] который отразился в первой же записи «Отца Сергия» и в облике игумена-карьериста и в фанатическом аскетизме монаха и старца, бессильного сломить свою страстную и гордую натуру.

Благоприятными оказались впечатления лишь о некоторых лицах, живших в монастыре. Двоюродный брат С. А. Толстой, Б. В. Шидловский, решивший принять схиму, «умилил» Толстого; «прекрасно беседовал» Толстой и с писателем Константином Леонтьевым, готовившимся к тайному постригу.

Интерес писателя вызвал, несомненно, быт Оптиной пустыни. По первой записи «Отца Сергия» герой после столкновения с игумном удаляется в уединенный лесной скит недалеко от своего монастыря (по дальнейшему изложению — в соседнюю губернию, где имелся монастырь с заброшенными лесными кельями). Такой скит для пустынножителей, расположенный в 170 саженях от монастыря в густом бору, имелся в Оптиной обители. Здесь селились «пустынники», «старцы», «угодники», привлекавшие нередко многочисленных

посетителей. Возможно, что Толстой в свою поездку 1890 г., когда он обдумывал тему отшельничества и старчества, посетил и эти места. «Святая целебная сила старца Сергия», описанная Толстым уже в первой эпистолярной редакции повести, связана с его непосредственными наблюдениями оптинского «старчества».

Все это заметно отразилось на первой записи «Отца Сергия», сообщенной в письме В. Г. Черткову. Эта эпистолярная редакция будущего «Отца Сергия» заключала первоначальную характеристику князя Касатского-Ростовцева, беглый очерк его жизненной судьбы, его уход в монастырь и начало эпизода с молодой вдовой Маковкиной, решившей соблазнить отшельника. Рассказ обрывался на моменте отъезда веселящейся компании к келье отца Сергия. Мы воспроизводим целиком эту запись в отделе вариантов (№ 1).

Получив письмо с записью начала повести, Чертков переписал полностью весь текст толстовской записи, оставив широкие пробелы между строками, большие поля и несколько чистых листов для дальнейшей авторской разработки первой редакции. Эту копию вместе с оригиналом, то есть письмом Толстого, Чертков послал ему 3 июня 1890 г. Копия Черткова действительно послужила основой для развертывания и развития первоначальной записи; но этому предшествовало длительное обдумывание Толстым идеи и главных ситуаций задуманной «истории».

6 июня 1890 г. Толстой записал в Дневнике: «Начал Отца Сергия и вдумался в него. Весь интерес — психологические стадии, которые он проходит» (т. 51, стр. 47). 11 июня 1890 г. он сообщает В. Г. Черткову: «Рассказ «Отца Сергия» очень заинтересовал меня, я кончил теперь предисловие к книге Алексеева и займусь им. Очень может быть интересно» (т. 87, стр. 30). Под тем же числом Толстой заносит в свою Записную книжку: «К Отцу Сергию. Сам[ый] святой так[ой] же чорт, как и сам[ый] грешный» (т. 51, стр. 139). К 13 июля 1890 г. относится запись Толстого: «После кофе писал Отца Сергия. — Не дурно. Но не то. Надо начать с поездки блудницы». К 14 июля: «Хочется и начать Отца Сергия сначала» (т. 51, стр. 62).

Таким образом, в середине лета 1890 г. меняется композиционный план повести. Однако, судя по рукописям, к осуществлению этого нового плана Толстой не приступал.

28 июля 1890 г. Толстой в ответ на несохранившееся письмо Черткова писал ему: «Спасибо, что напоминаете об Отце Сергии. Я возьмусь за него. А то всё отвлекался предисловием к декларации Гаррисона и катехизису Баллу, которое разрастается в большую и очень нужную статью об обмане церкви.[19] Может быть, и кончу после, а теперь хочется кончить Сергия» (т. 87, стр. 37). Однако работа над повестью летом 1890 г. выразилась, главным образом, в обдумывании замысла. 3 августа 1890 г. Толстой записывает в свой Дневник: «Писал немного Отца Сергия. Ясно обдумывалось»; 4 августа: «Думал хорошо об Отце Сергии, записал и потерял записную книжку»; 4 августа в Записной книжке: «К «Отцу Сергию». Она ушла, и он в отчаянии за свою плохоту. Она ждет величественного, и вдруг простой, конфузится, перебирает бороду, но глаза... Это-то и разжигает ее». 6 августа: «Нашел записную книжку. Было записано к Отцу Сергию. Она объясняет свой приезд, говорит чепуху, и он верит, потому что она — красота. Она в охоте. Он не видит подвига, а напротив, ему стыдно, что он поддался. Уже после она идет в монастырь...»[20] (см. т. 51, стр. 71, 72 и 160). Эти сюжетные варианты не получили дальнейшего развития, кроме последнего: моральное потрясение Маковкиной в келье отца Сергия приводит к полному перелому ее жизни («через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре»). Попутно уясняется и моральная эволюция главного героя: «К Отцу Сергию. Описать новое состояние счастия — свободы, твердости человека, потерявшего всё и не могущего упереться ни на что, кроме бога. Он узнает впервые твердость этой опоры»[21] (запись 10 августа 1890 г., т. 51, стр. 74).

К этому времени относится углубление первоначального замысла об отшельнической «гордости» героя в сцене встречи его с свитским генералом по вызову карьериста-игумена (намеченной уже в первой редакции). 11 августа Толстой записывает: «К Отцу Сергию. Он предался гордости святости в

монастыре — и пал с генералом и игумном. В затворе он кается и высок в то время, как приезжает блудница» (т. 51, стр. 74).

Одновременно обдумываются конкретные детали повествования. 14 августа: «Думал: к *Отцу Сергию.* Когда он падает, он видит рожи. Пухлые рожи, и ему думается, что это черти». 18 августа: *«К Отцу Сергию*. Подробность, долженствующая дать уровень реальности. *Адвокат на морозе втягивает сопли. И от*[22] *него пахнет духами*, *табаком и ртом.*[23] Всё глубже и глубже забирает эта история. Соблазн славы людской и прославления, т. е. обман, чтобы скрыть веру» (т. 51, стр. 75 и 78).

Не получая известий о работе Толстого над повестью «Отец Сергий», Чертков запросил его о ней 4 сентября 1890 г.: «Ну что, Лев Николаевич, делает отец Сергий? Он ведь живет не так далеко; очень уж долго едет к нему компания на тройках, а ведь передний ямщик повернулся боком, повел кнутовищем — собрался живо довезти».

«Сергия» я начал писать, — отвечал Толстой 17 сентября, — и он мне очень понравился, т. е. разросся сюжет и хотелось выразить то, что я думал о нем. Не берусь же за него потому, что на дороге стоит всё заключение к провозглашению Гаррисона и «Катехизису» Ballou» (т. 87, стр. 47).

Осенью 1890 г. Толстой обращается к углублению характера своего героя, стремясь осветить полнее его религиозно-нравственный кризис (уход в монастырь). Дневниковая запись 31 октября сообщает: «Стал писать Сергия сначала. Кое-что поправил, но, главное, уяснил себе. Надо рассказать всё, что было у него в душе: зачем и как он пошел в монахи. Большое самолюбие (Куз[минский] и Ур[усов]), честолюбие и потребность безукоризненности» (т. 51, стр. 98). Толстой, как видим, связывает некоторые особенности в характере отца Сергия с реальными чертами близких ему людей: тульского вице-губернатора Л. Д. Урусова и свояка

А. М. Кузминского.

Идейный замысел «Отца Сергия» определился с самого начала, но в дальнейшем процессе работы над ним, особенно в

течение 1891 г., он получил значительное развитие и углубление.

16 февраля 1891 г. Толстой в письме к Черткову уже так определяет основную идею повести: идея «Отца Сергия» не борьба с похотью, но, главным образом, борьба с тщеславием, гордостью, — «славой людской». «На дороге стоит статья о науке и искусстве и о непротивлении злу, — пишет он. — О Сергии не смею думать. А кое-как не хочется. Я его и отложил оттого, что он очень мне дорог. Борьба с похотью тут эпизод, или скорее одна ступень; главная борьба с другим — с славой людской (т. 87, стр. 71).

Об этом же Толстой сообщает в письме к В. П. Золотареву от 14 марта 1891 г.: «Вы спрашиваете о моей истории Отца Сергия. Там я хотел бы выразить эти две различные основы деятельности. То он думал, что живет для бога, а под эту жизнь так подставилось тщеславие, что божьего ничего не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги» (т. 65, стр. 268). Так продолжался процесс обдумывания «Отца Сергия» с редкими записями и небольшими дополнениями к первой редакции.

«Чертковскую рукопись», то есть копию Черткова с первоначальной записи, отчасти разработанную и дополненную Толстым в летние месяцы 1890 г., переписывает 3 июля 1891 г. дочь писателя Мария Львовна. В эту копию Лев Николаевич вносит ряд мелких поправок и дополнений и приписывает к ней небольшой отрывок в три страницы — размышления отца Сергия о самоубийстве и воспоминание его о кузине Пашеньке.

Мы не можем принять указание первого комментатора «Отца Сергия» П. А. Буланже: «Только летом 1891 г. Лев Николаевич стал писать снова «Отца Сергия». Он стал исправлять переписанный Чертковым экземпляр и широко воспользовался оставленными между строками местами, исписав их своими поправками и затем значительно дополнив первоначальный набросок». Этим как бы отрицается работа Толстого над историей князя Касатского летом и осенью 1890 г. Между тем в эти месяцы, как свидетельствует Толстой в своем

Дневнике, он писал «Отца Сергия» и, очевидно, дополнял «переписанный Чертковым экземпляр». Летом следующего, 1891 г., он продолжал работу, доведя ее до финального эпизода (встречи с Пашенькой).

К этому времени четко определились ведущие идеи повести. 10 июня 1891 г. Толстой заносит в Дневник: *«К Отцу Сергию*. Он узнал, что значит полагаться на бога только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей. Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают, — ему всё равно. — Два состояния: первое — славы людской— тревога, второе — преданность воле божьей, полное спокойствие» (т. 52, стр. 39); и 12 августа 1891 г. заносится в Дневник мысль, которая может считаться основной для «Отца Сергия»: не нужно «искать добрых дел, подвигов», а «делать, что от тебя требуется сейчас, в том положении, в каком ты находишься, наилучшим образом».

6 ноября: «Нынче думал *к Сергию. Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях бога*» (т. 52, стр. 57—58).

К лету 1891 г. относится ряд дневниковых записей Толстого, разъясняющих развитие его замысла. 22 мая 1891 г.: «Забыл записать, что один из этих последних дней я писал Отца Сергия. Решил кончить всё начатое. Написал дурно, но пригодится». 2 июня: «В Туле же видел женщину: глаза близко и прямые брови, как будто готова плакать, но пухлая, миловидная, жалкая и возбуждающая чувственность. Такая должна быть купчиха, соблазнившая Отца Сергия». 17 июня: «*К Отцу Сергию. После того как он убил*, *сидит в темноте и вдруг видит*, *что заря занимается*, *светлеет и будет день — свет. Ужас*». Тогда же занесено в Записную книжку. «Отец Сергий ждет солнца» (т. 52, стр. 34, 36, 41 и 172). В повести этому соответствует отрывок из

главы VII: «Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца». Сергий думает о самоубийстве, затем видит во сне свою кузину Пашеньку и решает идти к этой несчастной и кроткой женщине.

Одновременно Толстой обдумывает и тему борьбы Сергия с мирскими соблазнами, со своей чувственностью. 22 июня 1891 г. Толстой записывает: *«К Отцу Сергию.* Когда он пал с купеческой дочерью и мучается, ему приходит мысль о том, что если падать, то лучше бы ему пасть тогда с красавицей А., а не с этой гадостью. И опять гадость захватывает его». В сентябре 1891 г. Толстой заносит в Записную книжку: «К Отцу Сергию. От похоти затемняется мир». Этому соответствует запись в Дневнике 18 сентября 1891 г.: «Приступы половой похоти порождают путаницу мыслей, скорее отсутствие мыслей. Весь мир потемнеет; теряется отношение к миру. Случайность, мрак, бессилие» (т. 52, стр. 46, 53 и 186).

Тогда же, во время поездки в Епифанский уезд, в места, пораженные неурожаем, Толстой берет с собою рукопись «Отца Сергия» и прочитывает ее у брата в Пирогове. «К удивлению недурно как есть». Впрочем, «начал поправлять начало, но не пошло» (запись 25 сентября 1891 г., т. 52, стр. 55).

В октябре заносится в Записную книжку: «Человек, который не терпит поправки, идет всё дальше и дальше в самомнении. Сережа. Товарищи Отца Сергия» (т. 52, стр. 187).

Так определилась работа Толстого над «Отцом Сергием» за весь первый период творческой истории этого произведения. В 1890—1891 гг. были подробно разработаны обстоятельства ранней биографии Касатского-Ростовцева и оба эпизода «искушения» отца Сергия (Маковкиной и Марьей), хотя и по-иному, чем в окончательной версии. По ранней редакции отец Сергий после падения с купцовой дочерью убивает ее. Всю эту стадию работы и представляет «чертковская рукопись», то есть копия «эпистолярной» редакции, переписанная Чертковым весною 1890 г. и разработанная Толстым в летние месяцы 1890 и 1891 гг. На обложке чертковской рукописи рукою Марии Львовны Толстой написано: «Отец Сергий. 1891 год.

Лето». Эта дата означает, что летом 1891 г. шла основная работа по развитию и дополнению первой записи, частично уже

разработанной в 1890 г.

После 1891 г. работа над «Отцом Сергием» прерывается почти на семь лет, если не считать записи в Записной книжке 1893 г.: «Первый ученик в пажеском корпусе» и в Дневнике 29 мая 1893 г. о «юродстве»: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он отступается и попадает в худшую яму славы людской». Главное в борьбе со славолюбием — «не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни». «Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того» (т. 52, стр. 82 и 240). Наконец в Дневнике Толстого 18 марта 1895 г. имеется запись: «Один раз немного пописал к «Отцу Сергию», но не хорошо» (т. 53, стр. 13).

Только в 1898 г., когда в связи с преследованием духоборов сочувствующие им лица стали собирать средства для их отъезда в Канаду, Толстой, уже выступавший в русской и иностранной печати с призывами к оказанию общественной помощи переселенцам, решил с теми же целями напечатать одно из своих произведений. В середине июля 1898 г. он сообщил Черткову, что намерен опубликовать для оказания помощи духоборам три имеющиеся у него в рукописях повести: «Воскресение», «Дьявол» и «Отец Сергий». Еще с начала лета он приступил к обработке последнего из этих трех замыслов и в течение целого месяца не прекращал работы над ним.

Об этом в Дневнике имеются следующие записи: 12 июня 1898 г.: «Нынче совсем неожиданно стал доканчивать «Сергия»; 14 июля: «Оба дня писал Отца Сергия. Недурно уясняется»; 28 июня: «Нынче писал Отца Сергия.... недурно»; 30 июня: «Эти дни писал Сергия — не хорошо»; 17 июля: «Решил отдать свои повести: Воскресение и Отец Сергий в печать для духоборов», и под тем же числом записаны мысли к повести: 1) «К «Отцу Сергию». Один хорош, с людьми падает». 2) «Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей; ни тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, стр. 197, 199, 201, 203, 204).

Вероятно, решение Толстого срочно сдать «Отца Сергия» в печать вызвало в 1898 г. переписку на ремингтоне всей предшествующей редакции (по копии М. Л. Толстой). По этому машинописному экземпляру Толстой развивает рассказ о невесте князя Касатского-Ростовцева, о пребывании отца Сергия в монастыре и скиту, вычеркивает описание убийства Марьи, вносит эпизод с Пашенькой и главу о странствиях героя. Заключительная встреча странника с нарядной компанией, мнение которой о нем ему совершенно безразлично, как бы завершает весь путь его исканий. «Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь». Он нашел свою правду в безвестности и незаметном служении людям («учит детей и ходит за больными») (см. описание рук. № 6).

Такова последняя редакция повести, в которую включен один из предшествующих автографов (начало рассказа), переписанный М. Н. Ростовцевой, вместе с значительно дополненными отрезками машинописной копии. На этом заканчивается работа Толстого над «Отцом Сергием».

В октябре 1900 г. Толстой получил письмо от редактора голландского журнала «Vrede» Феликса Орта, запрашивавшего его, насколько справедливы газетные сообщения о его работе над романом «Отец Сергий». «Я начал несколько вещей, — отвечал ему 18 октября 1900 г. Толстой, — между прочими роман, о котором вы упоминаете, но времени у меня осталось мало и совесть требует писать не то, что мне приятно, а то, что мне кажется нужным» (т. 72, стр. 480).

Тогда же (8 октября 1900 г.) Толстой рассказал посетившему его в Ясной Поляне Горькому содержание «Отца Сергия» (об этом см. в предисловии к настоящему тому).

В последнее десятилетие своей жизни Толстой к работе над «Отцом Сергием» не возвращался.

Подведем итоги.

Пользуясь условным цифровым обозначением глав печатной редакции, можно считать, что в основном главы I, II, III и часть IV были написаны в 1890 г.; вторая половина главы IV, V, VI и VII — в 1891 г., глава VIII — в 1898 г. Но нужно помнить, что эти обозначения приблизительны и некоторые отрывки из

указанных глав могли писаться дополнительно, при позднейших переработках и даже в последней стадии работы (то есть — в 1898 г.).

В печати при жизни Толстого повесть не появлялась. Он считал ее незаконченной, но вчерне установленной, то есть доведенной до той стадии, «когда связно и последовательно, но хочется отделывать» (письмо к В. Г. Черткову от 31 августа 1902 г., т. 88). К этой стадии окончательной отделки текста «Отца Сергия» Толстой так и не приступил. Повесть сохранилась в виде черновой редакции, состоящей из разновременно написанных частей.

При жизни Толстого был опубликован лишь один небольшой отрывок из «Отца Сергия» в виде факсимиле страницы из автографа. В известной книге П. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», М. 1898, на стр. 53 помещен снимок с черновой рукописи «Отца Сергия» с многочисленными поправками, зачеркнутыми строками, вписанными между строк дополнениями и пр. Этот отрывок из главы печатного текста от слов: «за это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри» до слов: «и дурное чувство это разразилось. Случилось это вот как:».

Впервые в печати «Отец Сергий» появился в 1911 г. Он вошел во второй том «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого под редакцией В. Черткова, М. 1911, стр. 3—48. Повесть разделена на восемь глав с внутренним делением некоторых глав на небольшие эпизоды (разделенные линейкой). В примечаниях указывалось, что «разделение повести на главы частью принадлежат автору, частью же сделано редакцией, так как в черновых рукописях автора разделение это было начато, но не доведено до конца». В тексте первых глав редакция была вынуждена сделать ряд пропусков по цензурным соображениям (пропущенные места были заменены соответственным количеством многоточий). Пропуски касались упоминаний Николая I и особенно его любовных историй. Редакция внесла в свой текст ряд исправлений, устраняя противоречия, неточности и описки различных черновиков. В примечаниях указано одиннадцать

таких исправлений, согласующих тексты разных редакций. Там же приводился заключительный вариант второй редакции (1891) об убийстве Марьи от слов: «он схватил топор» до: «Да, надо кончить. Нет бога». Наконец редакция давала заметку Буланже, излагавшую краткую историю работы Толстого над «Отцом Сергием» по свидетельствам В. Г. Черткова, Дневникам, письмам и Записным книжкам Льва Николаевича.

Почти одновременно был опубликован текст повести и за границей. В 1912 г. в Берлине вышел второй том «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого под редакцией В. Г. Черткова.[24] Текст берлинского издания отличался от русской публикации отсутствием цензурных пропусков. Все места, опущенные в московском издании, были воспроизведены в заграничном с включением их в прямые скобки. Нумерация глав была несколько изменена (шесть глав вместо восьми). Отсутствовали примечания русского издания, так что редакторские конъектуры остались здесь неоговоренными. Впрочем, редакционных поправок в берлинском издании оказалось значительно меньше, чем в русском.

Текст первого русского посмертного издания неоднократно воспроизводился впоследствии почти без изменений.

При первом опубликовании «Отца Сергия» во втором томе «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого редакция внесла в текст ряд поправок для согласования противоречий черновых редакций:

1. «В оригинале сказано: «в монастыре, близком к столице и много посещаемом» [стр. 12, строка 6]. Мы выпустили слова: «близком к столице», потому что дальше сказано, что первые семь лет монашества отец Сергий провел в монастыре, не близком к столице».

2. «В оригинале: «в монастырь» [стр. 12, строка 29]. Наша поправка основана на том, что в начале повести сказано, что Касатский, перед поступлением в монахи, отдал свое имение сестре».

3. «В оригинале сказано: «второго года» [стр. 17, строка 18], но в главе VI говорится, что событие это произошло после пяти лет жизни Сергия в затворе. Соответственное исправление

пришлось сделать также и в начале главы V, которая в оригинале начинается словами: «Отец Сергий жил четвертый год в затворе».

4. «В оригинале — «архитектор» [стр. 19, строка 12]. Мы исправляем: «адвокат», так как в начале главы в составе компании катающихся упомянут адвокат, а не архитектор».

5. «В оригинале сказано: «отрубленный сустав» [стр. 25, строка 32]. Это, очевидно, описка, так как из дальнейшего изложения видно, что отец Сергий прихватил оставшийся сустав, а отрубленная часть пальца осталась лежать в сенях».

6. «В оригинале: «семь лет в монастыре» [стр. 28, строка 16]. Но из главы III видно, что Сергий пробыл семь лет в одном монастыре и два в другом, — всего в обоих монастырях девять лет».

7. «В оригинале: «в келью» [стр. 37, строка 2]. Эти слова мы заменяем словами, «за перегородку», чтобы устранить неясность вследствие того, что словам: «прошел в келью» в рукописи предшествуют слова: «вошел в келью».

8. «В оригинале после этих слов следует: «По 50 за час» [стр. 38, строка 26]. Эти слова исключаются как не соответствующие тому, что говорит далее Прасковья Михайловна Сергию о цене даваемых ею уроков».

9. «В оригинале стоит: «200 верст» [стр. 39, строка 27]. Исправляем 200 на 300 для согласования со сказанным раньше в конце главы VII».

10. «В оригинале: «почти 30 лет» [стр. 39, строка 33]. Мы исправляем согласно концу главы VI, где сказано, что Сергий пробыл девять лет в монастырях и тринадцать в затворе». (Примечания к «Отцу Сергию». «Посмертные художественные произведения» Л. Н. Толстого, т. II, стр. 236—238.)

В настоящем издании текст повести «Отец Сергий» печатается по рукописям. В публикуемый текст вносятся четыре исправления по сравнению с текстом рукописи. Они

соответствуют №№ 3, 4, 6 и 9 приведенных выше поправок, принятых в первопечатном тексте. Согласно первопечатному тексту проводится и деление повести на восемь глав. По рукописям видно, что Толстой имел в виду разделить «Отца Сергия» на главы-эпизоды, обозначив их римскими цифрами: в одной из редакций проставлена перед началом цифра I, затем в двух местах повторяется III, но принцип деления не проведен последовательно по всем рукописям. Естественное деление повести по главным эпизодам на восемь глав с внутренними подразделениями принято нами ввиду явно выраженного, но неосуществленного намерения Толстого. В некоторых случаях сплошной текст рукописи делится на абзацы.

Описание рукописей

В рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого хранятся следующие рукописи «Отца Сергия».

1. Автограф. 4 лл. почтового формата, исписанных с обеих сторон, и 1 л. 4°, согнутый вдвое (исписана одна страница). Первая редакция начала повести, посланная в письме к В. Г. Черткову. Печатается в вариантах под № 1.

2. Копия предыдущей рукописи рукой В. Г. Черткова. 8 лл. большого почтового формата, исписанных с обеих сторон, и 16 лл. 4° автографа — продолжения повести. *Начало:* «Ну вот вам история. *Конец:* «Да, надо кончить, нет бога».

Первая часть рукописи (копия В. Г. Черткова) представляет собою переписку с широкими пробелами между строк и большими полями. В первых страницах пространство между строк и поля почти сплошь заполнены новыми записями Толстого, значительно расширяющими биографию героя.

Менее переработаны отрывки об отце Сергии в затворе, об исцелениях и пр., как и начало эпизода с Маковкиной (почти без изменений). Начиная со страницы 15, идет новая черновая запись Толстого, представляющая собою продолжение повести (этим заняты последние две страницы чертковской копии и все последующие страницы автографа).

Вторая часть рукописи (автограф) содержит изложение двух основных эпизодов повести: ночь с Маковкиной и случай с купеческой дочерью. Черновая запись заканчивается убийством Марьи (не вошло в окончательную редакцию) и уходом отца Сергия из монастыря.

В тексте на полях двух страниц занесены два кратких конспекта. На одной странице:

Осуждение монахов. Их смирение и покорность церкви.

В нем поднимается честолюбие монашеское, но он поборает его и гордится этим. От этого так жестоко отвечает.

На другой:

Он поехал к старцу и покорился ему. Старец дает послушание, жизнь в скиту. Просит благословения на затвор.

Вся рукопись вложена в обложку с надписью рукою М. Л. Толстой: «Отец Сергий. 1891 год. Лето». Извлекаются варианты №№ 2, 4—7.

3. Копия рукописи № 2 рукою М. Л. Толстой с поправками автора. 52 лл. 4° и 2 отрезка. На обложке рукою М. Л. Толстой обозначено: «3 июль 1891 год. Отец Сергий». В конце копии — автограф продолжения повести: раздумье Сергия о самоубийстве, о невозможности молиться («бога не было»), краткий сон, воспоминание о девочке Пашеньке, о ее дальнейшей жизни. Запись обрывается на словах: «Он знал город, в котором живет, — это было за 300 верст, и пошел туда».

4. Часть машинописной копии рукописи № 3. 1 л. и небольшой отрезок второго листа на тонкой бумаге большого почтового формата, заполненной текстом с одной стороны, с поправками Толстого. Это остаток большой машинописной копии, представляющей собой вступление к повести (начало биографии Касатского-Ростовцева). Остальная часть машинописи, то есть нижний отрезок второго листа и еще несколько страниц, переложена в рукопись № 6. *Начало:* «В сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку». *Конец:* «и из бедных, ловких, подделывающихся к первым и вторым».

5. Автограф. 2 лл. 4°. Исписаны три страницы. *Начало:* «Отец Степана Касаткина, отставной полковник гвардии».

Конец: «отец его никогда не был придворным». Извлекается вариант № 3.

6. Черновики последней редакции. 15 лл. 4°, 6 лл. большого почтового формата, 1 л. почт. формата и 5 отрезков. Рукопись состоит из следующих текстов: в основу положена копия первой (эпистолярной) редакции отрывка повести, сделанная рукою М. Н. Ростовцевой. Это начало повести (воспитание Касатского-Ростовцева, его характеристика) заканчивается описанием четырех слоев «высшего общества». Первая страница копии заменена новым авторским вариантом. Вложены листы машинописи из рукописи № 4. Переработано начало повести в целях оживления вступительной части: «В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие» (первые два абзаца печатной редакции). Копия была переработана Толстым и покрылась многочисленными и обширными дополнениями, составляющими новую рукописную редакцию отдельных мест: здесь впервые рассказывается о влюбленности юного Касатского в Николая Павловича и о замечании царя в кадетском корпусе. Значительно переработана история отношений с невестой. Исключено описание смерти девушки за границей и поездки туда Касатского и пр. и развернута сцена объяснения с ней.

На последних двенадцати страницах дана первая черновая запись конца повести — посещение Пашеньки, странничества Сергия, встреча с господами в шарабане и заключительный отрывок («Восемь месяцев проходил так Касатский»).

На поле последней страницы вдоль написано карандашом рукою Толстого крупным почерком: «Всё очень скверно».

В настоящем состоянии в рукописи отсутствует несколько страниц. Отсутствие одной из них оговорено вставкой: «Следующая страница оригинала «Отца Сергия» находится у П. А. Сергеенко». Фотография с нее приложена к изданному им III тому писем Льва Николаевича («Новый сборник писем Л. Н. Толстого», собрал П. А. Сергеенко, под редакцией А. Е. Грузинского, М. 1912, стр. 123).

Предисловие к тридцать первому тому.

В настоящий том входят художественные произведения и статьи Л. Н. Толстого второй половины девяностых годов.

Крупнейшее произведение этого периода — роман «Воскресение» — и относящиеся к нему варианты напечатаны в 32 и 33 томах.

Трактат «Что такое искусство?» (1897—1898 гг.) вместе с другими статьями об искусстве входит в 30 том.

Из произведений, включенных в 31 том, только некоторые были напечатаны при жизни Толстого, и те, в большинстве случаев, с цензурными изъятиями. Другие были опубликованы в издательстве «Свободное слово» за границей (например, «Две войны») или после смерти Толстого — в томах посмертных художественных произведений и в отдельных изданиях; впервые полностью печатается в настоящем томе статья «К итальянцам».

Эти произведения Толстой создавал в конце века, в период промышленного подъема и роста революционного движения в стране. Рабочий класс, эксплуатируемый фабрикантами и заводчиками, уже открыто заявлял о своих правах, о своей революционной решимости. Стихийный протест против угнетения и бесправия назревал и в среде трудового крестьянства, страдавшего от безземелья и разорения. Царское правительство отвечало на растущие волнения народных «низов» репрессиями и террором.

Произведения, Дневники и письма Толстого этих лет показывают, как живо он откликался на общественные и политические события, как остро реагировал на факты религиозного и политического насилия, как неутомимо и вдумчиво размышлял над теми проблемами, которые стояли перед страной.

Во второй половине девяностых годов, по мере обострения противоречий социальной действительности, обострились и противоречия, характерные для мировоззрения и творчества Толстого. Писатель ясно видел, в каком бедственном и тяжелом

положении находятся народные массы, сочувствовал их борьбе против царизма, гнета помещиков и капиталистов, отчетливо понимал, что Россия находится на пути к революции. Защищая интересы этих масс, он обрушивался с беспощадной критикой на самодержавие, на полицейско-бюрократический аппарат, на все то, что давило и угнетало трудовой народ. Но, выражая настроения «всей той многомиллионной массы русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними»,[25] Толстой верил в возможность мирного разрешения всех общественных противоречий, предотвращения революционной бури.

Революционный способ уничтожения ненавистного ему социального строя он стремился заменить глубоко реакционной, ошибочной теорией непротивления злу насилием, личного совершенствования, любви и христианского братства.

Великий писатель выступает в эти годы и в роли гневного обличителя социальной несправедливости и в роли проповедника «новой религии», христианского смирения и кротости.

Одной из тем художественного творчества писателя в девяностые годы является тема нравственного «воскресения» — пробуждения в человеке нового взгляда на жизнь, критического отношения к окружающему его социальному злу. Воскресение толстовского героя, как правило принадлежащего к привилегированным кругам, сопровождается острым кризисом его мировоззрения, потребностью в изменении всего образа жизни, поисками новых путей.

Повесть «Отец Сергий» принадлежит к тем творениям Л. Толстого, в которых рассказывается мучительная история прозрения и «воскресения» героя и изображаются различные стадии его духовных исканий.

По своему сюжету повесть отдаленно напоминает рассказы из «житий святых». В ней также описывается жизнь человека, уединившегося от общества и борющегося с искушениями и соблазнами. Но действие повести перенесено в реальную обстановку конца XIX века, а по своему содержанию она направлена не на прославление затворничества и церковной святости, а на его разоблачение. Толстой, автор «Отца Сергия», обличает официальную религию, отрицает монастырское отрешение от мира, показывает, что оно не в состоянии принести ни удовлетворения тем, кто ищет нравственного идеала, ни помощи тем нищим и страждущим, которые нуждаются в реальных, земных благах.

Герой повести князь Степан Касатский уходит в монастырь, разочарованный в аристократическом обществе, которое, после пережитой им личной драмы, предстало перед ним в подлинном своем неприглядном виде.

Аристократ Степан Касатский отрекается от всех мирских интересов, уединяется в келье, глубоко убежденный, что, став отцом Сергием, он найдет новую, справедливую жизнь. «Поступая в монахи, он показывал, что презирает всё то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал».[26] Но всем ходом повествования писатель разбивает иллюзии своего героя. Сталкивая его с реальной действительностью, ставя его в типические условия церковного быта, Толстой показывает, что высота эта мнимая. В монастыре Касатский находит ту же суету сует, ложь, фальшь и корысть, от которых он с отвращением бежал. Показная парадность, лицемерие, чисто внешняя обрядность, эгоизм, тщеславие, неискренность пронизывают весь монастырский быт. Писатель критически рисует монашескую среду, типы монахов: глава монастыря, игумен — «светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру»; ризничий — льстив, угодлив; монахи преследуют только корыстные цели и повинуются, главным образом, «монашескому честолюбию». Атмосфера чинопочитания и рабского холопства перед сильными мира сего

и явного пренебрежения к простому люду, пришедшему на богомолье, ничем, по сути, не отличается от тех отношений социального неравенства, которые составляют основу светского общества.

Драма героя повести в том, что, проведя многие годы в монастыре, в скитском уединении, он вдруг увидел — что его трудный и мучительный подвиг нужен только князьям церкви как «средство привлечения посетителей и жертвователей к монастырю», что его святость ни в какой степени не способствует улучшению жизни людей, а ему самому она не дает внутреннего удовлетворения и покоя. Самый принцип отрешения человека от внешнего мира, отлучения от земных радостей оказывается порочным и гибельным. Борьба отца Сергия с чувственными соблазнами так трудна и мучительна, требует такого огромного внимания к своей собственной личности, что в конце концов она становится препятствием к осуществлению долга перед людьми, мешает простому и непосредственному общению с ними.

Рисуя духовную драму отца Сергия, человека большой воли, незаурядного ума, страстного правдоискателя, гуманист Толстой разоблачает церковные учреждения с их искусственной формой общежития, тираническим насилием над живой человеческой личностью. Но, ниспровергая официальную религию, клерикализм, Толстой не приходит к отрицанию религии вообще. Он пытается утвердить как истинную религию — всепрощение, самопожертвование, непротивление злу насилием. Традиционным церковным формам писатель противопоставляет смиренный подвиг любовного служения людям в обыденной житейской обстановке. Уже в самом раннем упоминании о возникновении у писателя замысла «Отца Сергия» намечено это противопоставление. 3 февраля 1890 года он записывает в Дневнике, что рассказывал «историю жития и музыкальной учительницы» и тут же добавляет: «хорошо бы написать».[27] Несколько позднее он вносит в перечень задуманных сюжетов: «Рука сжигается пустынником и учительница музыки».[28]

В лице Пашеньки, простой учительницы музыки, которая «не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми», отец Сергий находит свой положительный идеал, ответ на мучившие его долгие годы нравственные и религиозные вопросы. Глядя на постаревшую, задавленную бедностью, но добрую и незлобивую женщину, он приходит к убеждению, что «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей».[29]

Под влиянием этой встречи прославившийся своей святостью отец Сергий превращается в бездомного странника, смиренного проповедника любви и добрых дел. Здесь находит свое отражение одна из наиболее реакционных и вредных тенденций Толстого — возвеличение юродства, реакционная проповедь кротости и смирения перед тем «злом», против которого страстно восставал сам Толстой.

Толстой создал яркий и сильный образ человека, готового на борьбу и страдания во имя истины, ради всеобщего блага, но принявшего, вопреки своей мятежной натуре, толстовскую философию юродства и смирения. Горький, слышавший эту повесть в пересказе самого писателя, восторженно отозвался о ней, но при этом отметил двойственность и противоречивость авторского замысла. «Я слушал рассказ ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей, — писал Горький. — И смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную творческую силищу. Изумительно велик этот человек, и поражает он живучестью своего духа, так поражает, что думаешь — подобный ему невозможен. Но и жесток он! В одном месте рассказа, где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего Сергия, предварительно измучив его, — я чуть не заревел от жалости».[30]

Горький был потрясен величием толстовского гения, его мастерством в изображении человеческого характера, но в то же время он не смог не почувствовать двойственности Толстого и известную его непоследовательность. Любя своего героя,

сочувствуя его исканиям и стремлениям, Толстой, художник сложный и противоречивый, не мог привести его к такой истине, которая избавила бы его от ложных блужданий и падений, возвеличила его, укрепила бы его в борьбе за высокие идеалы.

Отвлеченно-моралистическая, религиозная философия Толстого, проявившаяся и в самой повести и в трактовке главного персонажа, его ложная концепция решения социальных и этических проблем ослабили реализм Толстого и образ отца Сергия.

Смысл повести «Отец Сергий» не только в личной драме князя Касатского. Драма Касатского, в изображении Толстого, порождена уродливым социальным строем, ложью собственнических отношений. За ложью, фальшью и грязью «святой» монастырской жизни стоит ложь, фальшь, грязь и несправедливость общественного строя, разделенного на паразитические господствующие классы и угнетаемые трудовые «низы». И Толстой в этой своей повести выступает обличителем, гневно и остро протестующим против такой общественной системы, которая препятствует гармоническому существованию человеческой индивидуальности.

II

Несравненно острее «Отца Сергия» по социальной направленности драма «И свет во тьме светит», представляющая большой автобиографический интерес. В ней с исключительной полнотой отразились переживания самого Толстого, его сложные семейные отношения, его личные искания и убеждения.

В драме критически обрисованы быт и психология представителей господствующего класса с их паразитическим и праздным образом жизни, с полным равнодушием к вопиющим фактам социального неравенства, убежденностью в разумности и справедливости общественного уклада, который предоставил только им право пользоваться всеми житейскими благами. Толстой создает ряд образов типичных представителей

помещичье-дворянской среды: Марья Ивановна — жена Сарынцева, ограниченная женщина, целиком поглощенная интересами семьи, воспринимающая сложившиеся жизненные условия как абсолютно нормальные; без собственности и богатства она не мыслит себе счастья и благополучия своей семьи, своих детей. С ней полностью солидаризируются сестра Александра Ивановна и ее муж.

Поглощенные корыстными заботами о собственном благе, они не задумываются над судьбами нищего и замученного непосильным трудом простого народа. Толстой в своей драме обличает праздную, порочную, пустую жизнь господ, жестокость и ничтожество блюстителей общественного порядка. Им он противопоставляет полную труда, страданий и лишений жизнь крестьян, вынужденных вести тяжелую борьбу за свое существование.

Реалистически-правдиво воспроизведенный писателем быт дворянско-помещичьей семьи делает душевную драму главного героя пьесы Николая Сарынцева, переживающего острый конфликт со своей средой, закономерной и оправданной.

Заглавие драмы «И свет во тьме светит» восходит к евангельскому тексту: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».[31] Дневниковые записи Толстого раскрывают смысл, который он вкладывал в эти слова.

«Средство служить людям одно: быть лучше, — отмечает Толстой в одной из записей. — *Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного*» (15 февраля 1889 г.).[32] «Не стараться делать добро надо, а стараться быть добрым; не стараться светить надо, а стараться быть чистым» (13 марта 1890 г.).[33]

Таким образом, в своей пьесе Толстой стремился утвердить силу духовного сознания, противостоящего воздействию окружающей среды, силу примера совершенствующейся личности, стойко и твердо отказывающейся от участия в зле. Однако развитие действия драмы показывает обратное, и в этом ее глубокое общественное значение. Бессильным оказывается Сарынцев в борьбе за новые формы жизни в кругу своих домашних. Бессильным оказывается и его последователь Борис

в своем столкновении с властями при отказе от воинской повинности. Его готовность на мученичество в сущности бесплодна, как это и было в действительности с наиболее мужественными последователями Толстого, поступавшими подобно Борису. Военная каста остается как надежная и верная опора самодержавия, а Бориса за его бунт наказывают заключением в дисциплинарный батальон. Среди солдат и жандармов проповедь Бориса естественно не только не встречает отклика, но кажется им наивной и глупой. Молодой священник Василий Никанорович, под влиянием Сарынцева снявший сан, вскоре раскаивается и возвращается к своим пастырским обязанностям. Невеста Бориса Люба, одно время сочувствовавшая ему, в конце концов становится невестой преуспевающего чиновника-карьериста.

С безбоязненной правдивостью, отказываясь от всякого самообмана, Толстой рисует, как простые люди иронически-недоверчиво относятся к исканиям Николая Ивановича. «Что ж, господа, известное дело. Всего хотят доходить», — говорит столяр, обучающий Николая Ивановича столярному ремеслу. Относительно его раздумий о праве владения имением он высказывается резко и прямо: «Стыдно, так раздайте», и в ответ на сбивчивые пояснения Николая Ивановича: «Хотел, да не удалось, жене передал», — добавляет: «Да вам и нельзя. Привыкли».[34]

Глубокая духовная усталость и подавленность слышатся в словах Николая Ивановича в финале четвертого действия — после неудавшейся попытки ухода из семьи: «Василий Никанорович вернулся, Бориса я погубил, Люба выходит замуж. Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю тебе? Нет. Отец, помоги мне».[35] Здесь нашел отражение тот замысел, о котором Толстой записал в Дневнике: «Думал к драме о жизни: отчаяние человека, увидавшего свет, вносящего этот свет в мрак жизни с надеждой, уверенность освещения этого мрака, и вдруг мрак еще темнее» (5 февраля 1890 г.).[36]

Но закончить всю пьесу на признании бессилия своего героя Толстой не считал возможным. В сохранившемся конспекте пятого действия драмы намечена мелодраматическая развязка:

княгиня, мать Бориса, доведенная до отчаяния заключением сына в дисциплинарный батальон, стреляет в Николая Ивановича, считая его виновником гибели Бориса; Николай Иванович, умирая, прощает ее, говорит, что застрелился нечаянно сам. В целом эта пьеса с ее большим социальным содержанием показывает победу реализма художника над его утопическими и наивными теориями. Всем содержанием своей драмы Толстой вопреки своему замыслу утверждает невозможность путем личного самосовершенствования, добрым примером изменить существующие общественные отношения. И хотя проблема преобразования действительности, истинных «путей жизни» остается в пьесе нерешенной, объективно она утверждает необходимость решительной ломки всей социальной системы дворянско-буржуазного общества.

В этом томе публикуется переведенная Толстым с английского языка индийская сказка «Карма», привлекшая внимание писателя тем, что в ней хорошо разъясняется та истина, «что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием».[37] Но в сущности эта наивная, несколько примитивная история опровергает проповедываемую сказкой идеологию покорности и примирения. Она хорошо показывает мнимость и иллюзорность принципа, что «тот, кто делает больно другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает себе», — исправление жизни с помощью добрых дел. Ибо на практике эта философия оставляет нетронутой всю систему общественных и человеческих отношений, отношения господ и рабов. Следование идеям кармы не избавило земледельца от бедности и унижения, раба Магадуту — от задавленного и бесправного существования, а только помогло богатому и властному ювелиру умножить свои богатства. Таким образом, сама сказка убедительно говорит о том, что одни «добрые дела» не спасают человечество от «зла».

Изложению своих философских и религиозных взглядов, опровержению доводов противников посвящены аллегорические притчи Толстого. Однако и эти притчи, и в особенности первая и последняя, своей абстрактностью, чисто умозрительным

характером доказательств, не только не утверждают справедливости толстовских положений, но скорее, наоборот, свидетельствуют о глубоких внутренних противоречиях мировоззрения писателя.

III

Ленин указывал, что в произведениях Толстого поставлены «*конкретные* вопросы демократии и социализма»,[38] наиболее острые и актуальные для его эпохи проблемы.

Демократические позиции Толстого особенно явно выступают в статье «Стыдно» (1895), направленной против применения к крестьянам телесных наказаний.

Толстой расценивает систему телесных наказаний для крестьян как пережиток, сохранившийся от времен крепостного права.

В статье «Стыдно» остро вскрывается чудовищность социального неравенства, при котором надругательство над человеческим достоинством крестьянина рассматривается как нормальное явление. Обличительный пафос статьи усиливается рядом включенных в нее эпизодов, изображающих с присущим Толстому мастерством избиение и истязание мужиков.

Статья проникнута величайшим уважением и сочувствием к крестьянству, которое Толстой характеризует как «лучшее сословие», величайшим негодованием против его узаконенного бесправия. С горьким сарказмом Толстой клеймит ложь и лицемерие либеральных попыток смягчить установленную систему жалкими ограничениями и компромиссами. В одном из вариантов статьи он со страстной убежденностью заявляет: «Нельзя почтительнейше просить о том, чтобы этого не было, можно только кричать на весь мир, вопить о том, что это не может продолжать совершаться, что этого не должно быть и что преступны все те, которые участвуют в этом, и еще более те, которые могут прекратить это и не прекращают».[39]

Знаменательно, что все редакции статьи начинаются воспоминаниями о декабристах, которые в свое время

отказались от применения телесных наказаний в подчиненных им воинских частях. Знаменательно, — как выражение того неизменного интереса и сочувствия Толстого к деятельности декабристов, которые проявились не только в троекратном возвращении к замыслу романа «Декабристы», но и в целом ряде упоминаний о декабристах в устных высказываниях, Дневниках и художественных произведениях. В своей статье Толстой характеризует декабристов как «цвет» тогдашней молодежи, причем в одном из вариантов подчеркивает связь их идей с идеями французской революции: «Это были всё люди тогдашнего европейского образования, в котором звучали еще основные принципы большой французской революции и религиозного возбуждения, последовавшего за наполеоновскими войнами».[40]

Не случайна проставленная Толстым в одной из редакций статьи «Стыдно» дата: 14 декабря 1895 г. (день семидесятилетия со дня восстания). В одном из последних вариантов статья даже была озаглавлена «Декабристы и мы». Гуманному отношению дворянских революционеров к народу Толстой противопоставляет чудовищные и бесчеловечные деяния современных ему крепостников.

Гневным протестом против всего общественно-политического режима царской России звучит также статья «Бессмысленные мечтания», явившаяся откликом Толстого на позорную, открыто защищавшую самодержавие от малейшей попытки его ограничения речь только что вступившего на престол Николая II перед земскими деятелями, в самых почтительных выражениях заикнувшимися о праве «доводить до сведения царя» нужды народа. Сурово критикуя поведение царя, ответившего на это заявление грубым окриком, Толстой ставит вопрос о нелепости самого принципа наследственности и неограниченности царской власти, выступает непримиримым врагом самодержавия.

Решительно отрицая божественное происхождение царской власти, Толстой убежденно говорит о невозможности править людьми, «не зная, как живут люди и в чем их нужды».

Давая убийственную характеристику всего самодержавно-бюрократического аппарата, Толстой показывает, что самодержавная власть приводит к тому, что страной правит «стая жадных, пронырливых, безнравственных чиновников», чуждая, далекая и глубоко враждебная народу.

Особенно резко звучит в одном из вариантов характеристика царствований Александра II и Александра III, их политика репрессий и гонений, их равнодушие к нуждам трудящихся. С нескрываемым сочувствием говорит Толстой о революционерах, которые, по его словам, хотели только больше свободы и нисколько не были «звероподобными людьми, ищущими убийств для убийств, и злодеями, которых надо беречься и которых надо истреблять»,[41] какими их изображает реакционная правительственная пресса.

Это не свидетельствует, конечно, о признании Толстым правоты революционеров и их методов борьбы. Непротивленческие тенденции явно обнаруживаются в том, как он изображает столкновение старого рабочего с зазнавшимся барчуком: рабочему удается поставить барчука на место полным достоинства, спокойным, сдержанным словом.

В одном из писем этого периода (24 ноября 1894 г.) Толстой писал: «Если бы новый царь спросил у меня, что бы я ему посоветовал сделать, я бы сказал ему: употребите свою неограниченную власть на уничтожение земельной собственности в России и введите систему единого налога [Генри Джорджа], а затем откажитесь от власти и дайте народу свободу управления».[42] В каких утопических, отвлеченных формах представлял себе Толстой эту «свободу управления», можно судить по многочисленным высказываниям, а также по незаконченному произведению этого периода, включенному в настоящий том, — «Сон молодого царя».

Статья «Бессмысленные мечтания» осталась неоконченной. При резкости ее тона вряд ли можно было рассчитывать на возможность напечатания и распространения в царской России. К попыткам организованного общественного выступления по поводу речи царя Толстой отнесся несочувственно. Причиной этого являлось, с одной стороны, вполне основательное

недоверие Толстого к бесплодной либеральной шумихе, с другой — характерное для него отрицание организованной общественной борьбы.

Неоконченной осталась и другая статья, «О студенческом движении» (1899), направленная против всей внутренней политики царского правительства. Но в сохранившемся наброске с большой силой звучит негодующий протест против правительственных репрессий, его сочувствие оппозиционной молодежи, не соглашавшейся пополнить собой ряды правительственных чиновников и бюрократии.

IV

Статьи Толстого «К итальянцам» (1895) и «Две войны» (1898), первая из которых связана с поражением итальянцев в войне с Абиссинией, вторая — с событиями американо-испанской войны за остров Кубу, содержат резкое выступление против милитаризма и колониального порабощения. Война Италии с Абиссинией и Америки с Испанией за обладание Кубой знаменовали собой начало новой кровавой эры, борьбы империалистов за передел мира. Толстой с присущей ему проницательностью разгадал грабительский характер разыгравшихся на далеких от него материках событий. Он со всей страстностью обрушился на зачинщиков этих кровопролитных сражений, разоблачая их глубоко враждебный интересам и потребностям народа характер. Своими выступлениями Толстой срывал маску с современных ему буржуазно-демократических государств, показывал, что за либеральной болтовней о мире скрывается лихорадочная подготовка новых сражений, новых бойнь.

Толстой справедливо утверждает, что войны нужны правительствам и правящим классам, а не мирному трудящемуся народу. Он высказывает глубокое убеждение, что дело мира находится в руках самих народов: «Ведь придет же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий, изнуренные, искалеченные, измученные народы

скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или к богу, к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в покое.... Нам важно то, чтобы беспрепятственно пользоваться плодами своих трудов; еще важнее обмениваться плодами этих трудов с дружественными, того же самого желающими, другими народами» («К итальянцам»)[43].

Он разоблачает преступления, совершаемые слывущей самой передовой и демократической страной — Америкой. «Ужаснее всего то, — пишет Толстой, — что главные участники в этой войне — это люди той самой молодой передовой нации, которая справедливо гордилась своей разумностью и свободой от кровожадных инстинктов европейских народов. И что же? Никогда ни один народ не доходил, кажется, до такого грубого зверства и до такого одурения, до которого дошла теперь масса американского народа» («Две войны», вариант № 2).[44]

Однако незнание подлинных путей преобразования социальной действительности приводит Толстого к тому, что системе капиталистического угнетения, империалистических войн, грозной силе пушек и непрестанно развивающейся военной технике он противопоставляет мужество и стойкость осознавшей требования «христианской любви» личности. Поэтому в отказе от военной службы, в пассивном «неучастии в зле», личном самоусовершенствовании он видит единственное средство уничтожения армии, военной клики и постоянно висящей над человечеством угрозы кровопролитных войн. Выступления Толстого против разбойничьих империалистических войн, направленных на укрепление и упрочение основ буржуазного общества, и сегодня близки передовым людям, борющимся за мир.

Идеалистические основы мировоззрения Толстого и связанные с ними противоречия особенно явственно выступают в предисловии к статье Карпентера «Современная наука».

Критикуя буржуазную науку за ее классовую тенденциозность, Толстой справедливо обвиняет эту науку в

том, что она занимается, «с одной стороны, оправданием существующего порядка, с другой — игрушками», «разрешением вопросов праздного любопытства». Утверждая, что все завоевания науки и техники в буржуазном обществе «прилагаются только к губительным для народа фабрикам, к орудиям истребления людей, к увеличению роскоши, разврата», ведут к ухудшению положения трудового люда, Толстой абсолютно прав. Для него несомненно, что в результате неправильно устроенного общественного порядка, при котором власть принадлежит небольшой кучке, неизбежно превращение науки в средство угнетения и порабощения народа.

В своей статье Толстой приходит к единственно правильному и логическому выводу, что необходимо прежде всего изменить это «дурное устройство». Но в соответствии со своим утопическим, идеалистическим учением полагает, что все формы жизни могут быть изменены только путем изменения сознания людей.

В своей критике современного состояния наук Толстой исходит из требований «разумного рабочего человека», который «ждет от науки, что она разрешит для него те вопросы, от которых зависит благо его и всех людей», то есть «вопросы» религиозно-морального порядка: «как надо жить, как обходиться с семейными, как с ближними, как с иноплеменниками, как бороться с своими страстями, во что надо, во что не надо верить». Так Толстой с идеалистических позиций ошибочно определяет круг вопросов, от решения которых, по его мнению, зависит благо рабочего человека, порабощенного и эксплуатируемого, задавленного нищетой и непосильным трудом, страдающего от бесправия и неравенства.

Поэтому от науки он требует прежде всего разрешения этических и религиозных проблем: «Наша наука для того, чтобы сделаться наукой и действительно быть полезной.... должна.... вернуться к тому единственному, разумному и плодотворному пониманию науки, по которому предмет ее есть изучение того, как должны жить люди»[45].

В отличие от Карпентера Толстой подвергает серьезной критике буржуазную науку за ее оторванность от народа и его

нужд, за ее классовый характер. Не видя различия между буржуазной социологией и марксизмом, Толстой, однако, прав, утверждая, что для буржуазной социологии характерно стремление оправдать существование классов и капиталистическую систему. Толстой ошибался, подвергая сомнению полезность и достоверность физики, химии и других точных наук, но глубоко справедлива его критика общества, в котором все достижения науки являются привилегией небольшой кучки людей.

В своих лекциях, прочитанных в 1906 году на Капри, Горький остановился на ошибочных идеалистических взглядах Карпентера и Толстого, выраженных Толстым в предисловии к книге английского философа. Цитируя утверждение Карпентера, что современная наука оставляет «все самые важные вопросы без всякого разрешения», он говорит: «Ничего особенно оригинального в этих словах нет, повторялись они тысячу раз, повторяются и в наши дни, их источник — чувство протеста против тех обязанностей, которые налагает на человека современное развитие знаний.

Каков смысл всей суммы наших знаний? Они говорят нам: главный враг человека — природа, а потому люди, существа разумные, должны соединить всю силу своего разума во единую целостную энергию и противопоставить ее стихиям, в целях победы над ними.

Далее — знание истории учит нас, что при современных общественных отношениях люди не могут объединиться для дружной борьбы с природой, что классовая рознь создает ряд противоречий, что эти противоречия, развиваясь при сознательном нашем вмешательстве в их игру, пожрут, наконец, сами себя, и человек освободится от экономического и политического рабства.

С этой точки зрения все, а равно и рост знаний наших — развитие науки, как орудия нашей самозащиты, — все стоит в зависимости от общественно-экономических отношений, кои и должны быть изменены прежде всего.

Так учит очевидность, так говорит весь нам известный опыт, и, говоря так, он обязывает нас к активному вмешательству во

все дела жизни»[46].

Но такому активному вмешательству в жизнь глубоко враждебна вся проповедь Толстого.

Неизмеримо высоко оценивая Толстого как писателя-реалиста и обличителя, Горький вслед за Лениным всегда подчеркивал глубокий вред его философских и религиозно-нравственных идей и подвергал уничтожающей критике идеалистические основы миропонимания Толстого.

«Мы не должны останавливаться на выводах Толстого, — писал Горький, — на его грубо-тенденциозной проповеди пассивизма; мы знаем, что эта проповедь в конечных выводах своих глубоко реакционна, знаем, что она была способна причинить вред и причинила даже — все это так! Но — за всем этим остаются широко написанные, живые и яркие картины русской жизни во всех ее слоях, остаются глубоко взятые, изумительно просто и правдиво рассказанные человеческие жизни, душевные переживания. И эта работа имеет цену неоспоримую, она — колоссальна, она есть нечто, чем мы имеем право гордиться, что может научить нас уважать человека, понимать жизнь и безбоязненно думать о всех вопросах»[47].

Произведения, публикуемые в этом томе, отчетливо показывают и силу и глубину критики Толстого самодержавной России и ложность и вред его реакционно-утопического учения.

Отвергая его реакционную теорию, его религиозно-нравственное учение, мы с глубоким интересом относимся ко всем произведениям большого художника-гуманиста, в которых он дает глубокую и верную критику собственнического мира, обличает господствующие классы, защищает идеал гармонического и свободного развития человеческой личности.

А. Озерова

Редакционные пояснения к тридцать первому тому.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [*1, 2, 3 и т. д. неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора делаются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что печатается впервые.

После бала

(Рассказ)

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что всё дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б... — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати

лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо — как будто не могла иначе, — откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцовал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец, так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до

шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцовал до упаду, танцовал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцовал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцовал не с нею, но в действительности танцовал я почти всё время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «encore».[1] И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну как же не чувствовали, я думаю очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы кроме тела ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил

Alphonse Karr — хороший был писатель — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то, что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

— Да. Так вот танцовал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к ее месту.

— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она, улыбаясь.

— Я не дам, — сказал я.

— Дайте же веер, — сказала она.

— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папà просят танцовать, — сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру ее отца полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, ma chère,[2] отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, à la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки, николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцовать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, во-время укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцовал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки

ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну всё равно, пройдитесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцовал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое всё росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «*гордость?* да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит

на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцовитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, всё было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня

всё время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» подумал я и по проезжанной по середине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только, когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно

выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О, господи, — проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, всё так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и всё так же били барабаны и свистела флейта, и всё так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу, — услыхал я его гневный голос. — Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?»

А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем

тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять всё и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на-нет. — Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

Ясная Поляна.

20 августа

Планы и варианты

После бала

№ 1 (рук. № 1).

ДОЧЬ И ОТЕЦ

(Рассказ)

— Вот вы говорите, что надо самому понять, что хорошо, что дурно. А как понять это мальчику, когда он видит вокруг себя дурное, а люди всё это дурное считают хорошим. Я про себя скажу. — Так заговорил почтенный Иван Васильич после разговора, шедшего между молодежью о том, чем должно руководствоваться для определения нравственного и безнравственного. Никто, собственно, не говорил, что надо самому понять, что нравственно и что безнравственно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора, мысли, и по случаю этих мыслей рассказывать целые эпизоды из своей длинной, интересной жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, и увлекал рассказом тем более, что рассказывал очень искренно [и] очевидно правдиво. Так он сделал и теперь. — Да, вот и разберитесь, что хорошо, что дурно, когда вам 20 лет да еще вы влюблены.

— Это вы, Иван Васильевич, были влюблены? — спросила у него бойкая, хорошенькая приятельница его дочери.

— Да еще как, — самодовольно улыбаясь под седыми усами, сказал Иван Васильевич. — Был я студентом. Обыкновенно на провинциальные университеты смотрят свысока, а по-моему провинциальные университеты лучше столичных. И тебе советую отдать сыновей куда-нибудь в

Харьков, Казань, Киев, а не в Москву. Не знаю, как теперь, а в мое время никаких у нас в университете идей и тем паче политических теорий и демонстраций не было. Были хорошие профессора, и были студенты, которые сильно любили науку и учились под руководством старших, как и свойственно юношам от 16 до 20—25 лет, и были студенты, к которым я принадлежал, которые учились только настолько, чтобы переходить с курса на курс, и занимались тем, чтобы шалить, петь, играть, иногда выпить, а главное влюбляться. И я, право, благодарен за эту судьбу: за то, что я был в провинциальном университете и принадлежал к этому роду юношей, а не был занят, как теперь ваша молодежь, — простите, — невежественная, самоуверенная, заучившая одну какую-нибудь последнюю теорию по книжке и воображающая,[3] что она всё знает и что ей надо не учиться, а учить. Я благодарен за то, что смолоду был молод, а стал думать об общих вопросах жизни тогда, когда ум окреп, и я узнал жизнь. Ну да не в том дело. Был я из веселых молодых студентов и богатеньких. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), устраивал с товарищами вечеринки с шампанским (в то время мы из вина ничего кроме шампанского не пили) и, главное, танцовал на вечерах и балах (у нас были прекрасные балы). Танцовал я хорошо. И теперь могу стариной тряхнуть и был не безобразен.

— Ну нечего скромничать, — перебила его опять бойкая барышня, — мы ведь видим вас теперь в 75 лет и знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были раскрасавец.

— Красавец — так красавец, но не в том дело. Я говорил, что влюблялся, но строго говоря я был в это время по-настоящему влюблен только три раза. — И загибая пальцы большой левой руки, Иван Васильевич назвал три фамилии. — Последняя была Варинька Б..... Это была моя самая прекрасная и сильная любовь, и про нее-то я и хочу рассказать.

— Варенька эта была очень хороша. Вот это была точно красавица. Иначе и назвать ее нельзя было: высокая, стройная, необыкновенно прямо державшаяся, — она иначе не могла — и

это давало ей царственный, величественный вид, который был бы смущающий, если бы не ласковая, ласковая, всегда веселая улыбка у рта, и прелестных блестящих глаз, и щек, и ямок, и всего милого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как не расписывай, расписать нельзя. Ну вот на маслянице был бал у губернского предводителя — богача хлебосола, добродушнейшего старичка с великолепной женой, всегда в брильянтовой фероньерке, и с буфетом разливанного моря шампанского. Я танцовал и, разумеется, не пил шампанского, потому что был совсем пьян от любви. Варинька была не из богатого семейства, она была дочь полковника, воинского начальника гарнизона. Мать ее была совсем вульгарная женщина. Но их везде приглашали и по положению отца — для губернии и воинский начальник гарнизона лицо, — а, главное, за неоспоримую, признаваемую всеми прелесть дочери, украшавшей всякий бал.

Мне не удалось с ней танцовать мазурку. Препротивный инженер, Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я, заезжая к парикмахеру за перчатками, опоздал. Я танцовал с маленькой миленькой немочкой, но был очень неучтив — не говорил с ней и не смотрел на нее, я видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые, блестящие глаза. Не я один. Я замечал, что все смотрели на нее и любовались ею, любовались и отвергнутые ею мущины и завидующие ей женщины, которых она затмила всех.

По закону, так сказать, я не танцовал с нею, но по духу всю мазурку мы танцовали только с нею. Она не смущаясь через всю залу шла ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она делала презрительную гримаску, подавая руку в высокой лайковой перчатке не тому, кому хотела. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, улыбаясь, хоть и запыхавшись, говорила мне: encore. Она обещала мне

кадриль после ужина, и когда я передавал назад ее веер, она оторвала от него перышко и дала мне. Я поцеловал его и спрятал в перчатку. Я был не только весел и доволен, но я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно доброе.

Усталые музыканты перешли опять с вальса на мазурку, из гостиных поднялись от карточных столов папаши и маменьки, <ливрейные> лакеи забегали, пронося что-то. Очевидно, дело шло к ужину.

— Вот славная парочка, — услышал я чьи-то слова в то время, как мы с Варенькой в сотый раз пролетали вдоль залы, и я делал задерживающее па, в то время как она плавно в своих белых атласных башмачках обходила вокруг меня.

— Смотрите, папа просят танцовать, — сказала мне Варенька, еще веселее улыбаясь и глазами указывая на высокую <красивую> статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и подошли к двери, у которой стояли полковник, хозяйка и вышедшие из-за карточных столов родители.

— Ну пожалуйста, пройдитесь с дочерью, — говорила хозяйка полковнику. Старик, который был похож на дочь, несмотря на белые короткие волоса и белые à la Nicolas I, подстриженные усы и подведенные к ним белые же бакенбарды. Та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в глазах и губах старого полковника и в связи с его сединой казалась мне особенно привлекательной. Я обнимал в то время весь мир своей любовью, освобожденной во мне любовью к Вареньке, но к отцу ее я испытывал в эту минуту какое-то обожание. Когда же он, поломавшись немного, вынул шпагу из портупеи и отдал ее услужливому хозяйскому племяннику и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», улыбаясь, сказал он — и, взяв руку дочери, стал в четверть оборота прочь от нее, выжидая такт, я был в восхищении от него.

Он топнул раз, другой, и огромная фигура его то легко и плавно, то шумно и бурно с топотом каблуков и ноги об ногу

задвигалась вокруг залы. Не знаю, кто из них был лучше. Оба казались мне прелестны. Но и не я один. Вся зала с восторгом смотрела на них, и все громко зааплодировали, когда он, подпрыгнув вдруг, с прыжка упал на одно колено, обвел ее вокруг себя. Окончив танец, он нежно, мило обхватил ее руками за шею и поцеловал в лоб, повел к ее кавалеру, раскланялся и простился с хозяевами. Его уговаривали остаться ужинать, но он сказал, что не может, потому что у него на завтра есть дело. После ужина я танцовал с нею. Мы ничего не говорили о своей любви, но я почти был уверен, что она любит меня, и был невыразимо счастлив и не хотел портить своего счастия.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о постели, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко с ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне уезжая, когда садилась в карету, и я подсадил ее мать, а потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собою то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, говорит мне: «вы <лопух> розан?», слышу ее голос или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из подлобья смотрит на меня ласкающими глазами; но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается подле него, с гордостью и радостью за себя и за него взглядывает на любующуюся публику. Так что я вижу и ее и его и соединяю их в одном нежном, умиленном чувстве.

Заснуть было немыслимо. Я оделся, вышел в переднюю, надел шинель и пошел бродить по городу. Была самая масляничная погода. Снег таял, и был туман. С бала я уехал часа в 4, дома просидел часа два, так что, когда я, выйдя со двора, проходил в темноте с час, начало светать. Я вдруг почувствовал усталость, и мне захотелось спать. Я повернул к дому, но вдруг услыхал с площади странные звуки флейты и барабана. Невольно я направился к площади. Было уже совсем светло, когда я вышел на площадь. На площади была, как мне показалось сначала, толпа солдат в черных мундирах, и среди них слышались звуки флейты, барабана и еще какие-то странные звуки. Я подошел ближе и увидал высокую фигуру полковника в фуражке и шинели с своим румяным лицом,

белыми усами и бакенбардами. Лицо его было совсем другое, чем на бале. Глаза были нахмурены, скулы сжаты, и изредка он что[-то] сердито и мрачно выкрикивал. Когда я подошел ближе к редкой толпе зрителей, которые смотрели на то, что делалось, я увидал, что то, что мне показалось толпой солдат, было странное построение. Солдаты стояли кругом друг против друга на расстоянии 5 или 6 шагов. У каждого солдата в руке была гибкая палка длиною более двух аршин и толщиною с палец, два барабанщика и флейтщик стояли посередине круга. В середине же круга был офицер; с внешней же стороны круга ходил полковник Б. Он не поглядел в мою сторону и не узнал меня, а что-то сделал с одним из солдат, сердито прокричав что-то. Я всё не понимал, что это, до тех пор, пока к тому месту, где я остановился, не стали приближаться шедшие люди между двумя рядами солдат. Шедшие люди были два солдата с скрещенными ружьями, к которым к самым штыкам привязано было руками маленькое черноватое существо с <оголенной> спиною и задом, на которых, мне показалось, было надето что-то странное. Только когда эти люди поравнялись со мною, я понял, что это было. Привязанный к ружьям человек был прогоняемый сквозь строй, сквозь 3000 палок, как мне сказали, бежавший солдат татарин. Все солдаты, вооруженные палками, должны были ударять по спине проводимого мимо их человека. Полковник кричал на людей, которые недостаточно крепко били, и бил их за это, угрожая еще жестоким наказанием. Солдаты взмахивали один за другим палками и ударяли по спине волочимого мимо них человека. Спина этого человека была так избита, имела такой странный, вспухший кровавый вид, что я принял эти раны за одежду. Влекомый на ружьях человек то откидывался назад, и тогда солдаты со средоточенными, серьезными лицами толкали его вперед; то падал наперед, и тогда те же солдаты удерживали его от падения и медленно вели вперед, доставляя возможность солдатам, стоящим в строю, наносить маленькому татарину самые сильные удары. Татарин так слабо стонал, что из-за равномерно с двух сторон с свистом и шлепаньем падавших ударов палок, стоны его слышны были только в самой близи. За каждым ударом,

шлепавшим по сырому окровавленному мясу спины, маленький, черноватый, с серым лицом татарин поворачивался с слабым стоном в ту сторону, с которой падал удар.

— Я тебя научу, как мазать, — услыхал я голос полковника. — <Петров, займи Игнатова>. Я тебе помажу. — И вслед за этим послышались удары и зверские крики: — Будешь мазать, будешь?

———

Что ж вы думаете, что я решил, что полковник изверг, что то, что я видел, было преступленье. Ничуть. Правда, любовь моя, т. е. та прелесть, поэзия любви, которую я испытал в тот вечер, кончилась. Я не мог теперь не видеть в ней, в ее этой ласкающей улыбке, того, что я видел в ее отце на площади. Но я не смел, не мог решить, что то, что я видел, было дурно. Это было ужасно, но если оно делалось, значит оно было необходимо, оно было стихийно <вроде как грозы, бури>, и спорить с этим нельзя было, а надо было понять это и подчиниться этому. И я не мог ни того, ни другого, но и не мог решить, что это дурно. Вот и говорите после этого.

Л. Т.

1903, 6 августа Ясн. Пол.

№ 2 (рук. № 3).

<Хорошо было во всех то, что мы не лгали, представляя из себя[4] людей, озабоченных только решением общественных вопросов, мучениками принципов — это 20-то лет, — а были просто молодые люди, какие всегда были и бывают молодые люди. Были такие, что интересовались точно наукой; были — большинство — такие, которые учились для карьеры и для того, чтобы папаша с мамашей не сердились;[5] и были такие, к каким и я принадлежал, которые были заняты только тем, чтобы как можно веселее провести время.> И я право благодарен судьбе за то, что был в провинциальном университете в 40-х годах, <а не был, как теперешняя молодежь, — простите, — невежественная, самоуверенная, гордящаяся тем, что она

молодежь. По-моему молодежь, как и невинность, мила, когда она не знает себе цены, а когда же она хвастается этим, она противна. Я благодарен судьбе за то, что и с молоду был молод, а стал думать об общественных вопросах жизни тогда, когда ум окреп и узнал жизнь.>

№ 3 (рук. № 2).

Когда делали фигуры мазурки, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбаясь, говорила мне: «encore». И я вальсировал еще и еще, <и когда надо было кончать, как-то неестественно казалось выпустить ее руки и перестать чувствовать движение ее тонкой спины на своей обнимающей ее левой руке.>

№ 4 (рук. № 5).

Заснул я только к вечеру и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян, так что только на другой день опомнился совсем и стал ходить в университет и жить попрежнему.

Ну как же тут разобрать: хорошо это или дурно? Если это делалось и делалось всеми по приказанию свыше, то стало быть это так нужно было. Я так и рассуждал и после университета поступил в военную службу и хотя и не сумел выработать в себе такой же твердости, как у полковника, как видите, вышел в отставку поручиком, все-таки считал, что военная служба хорошее дело.

— Ну, а как же любовь? — спросили мы.

— Любовь как-то с этого самого бала пошла на убыль. Когда она так же, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице на минуту задумывалась, выражение лица ее казалось мне холодно жестоким, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось[6] как-то неловко, неприятно. И я всё реже и реже стал видаться с ней. Так и кончилось ничем. А она вышла замуж, и прекрасная вышла женщина.

— Ну, у вас все прекрасные, — сказал кто-то.

— Нет, истинно-прекрасная жена и мать. И, может быть, я бы счастливее был, кабы женился на ней, разумеется, если бы она пошла. Вот и судите тут, а вы говорите.

№ 5 (рук. № 6).

Я реже стал видаться с ней. И любовь моя так и кончилась ничем, а я поступил, как хотел, в военную службу и старался выработать в себе такое же твердое сознание своего долга, — я так называл это, — как у полковника, и отчасти достигал этого. И только к старости теперь понял весь ужас того, что я видел и что сам делал. Вот и судите тут, а вы говорите.....

Комментарии Б. М. Эйхенбаума

«После бала»

История писания и печатания

27 апреля 1903 г. к Толстому обратился писатель Шолом-Алейхем (С. Н. Рабинович) с просьбой дать что-нибудь для литературного сборника в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. 6 мая 1903 г. Толстой отвечал Шолом-Алейхему: «Я очень рад буду содействовать вашему сборнику и постараюсь написать что-либо соответствующее обстоятельствам. К сожалению, то, что я имею сказать, а именно, что виновник не только кишиневских ужасов, но всего того разлада, который поселяется в некоторой малой части — и не народной — русского населения — одно правительство, к сожалению, этого я не могу сказать в русском печатном издании» (т. 73). Вскоре после этого письма, 9 июня 1903 г., Толстой в Дневнике, среди других замыслов, называет «Рассказ о бале и сквозь строй» (т. 54, стр. 177). В последующие дни, обдумывая сюжеты новых произведений, Толстой записывает в Дневник: «2) В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в <Ко[рейшу]> красавицу, дочь воинск[ого] начал[ьника]-поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленной бессонной ночи звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинск[ий] начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)» (т. 54, стр. 178).

Первый набросок рассказа, как это видно по дате, поставленной Толстым под текстом, сделан был в Ясной Поляне 6 августа 1903 г. Его название — «Дочь и отец». 7 августа была сделана копия с этого текста и в нее внесены большие поправки. Об этом периоде работы над рассказом записано в дневнике А. Б. Гольденвейзера: «За два дня моего пребывания в Ясной (6-го и 7-го) Л. Н. написал совсем новый, очень сильный рассказ —

«Отец и дочь», который, как он сказал, «пока так и останется». Рассказом этим Л. Н. сам, кажется, остался очень доволен и думает, что можно будет в нем ничего не переделывать» (А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого» I, М. 1922, стр. 114). Действительно, 9 августа 1903 г. в Дневнике Толстого отмечено: «Написал в один день Дочь и отец. Не дурно» (т. 54, стр. 189). Однако, как видно по копиям, Толстой тотчас же принялся за переделку рассказа. Последняя копия датирована 20 августа 1903 г. Под этим же числом есть запись и в Дневнике: «Только нынче кончил сказки — и не три, а две. Недоволен. Зато «А вы говорите»[7] недурно» (там же, стр. 189). Особенно сильным переделкам подверглась вторая часть рассказа (сцена экзекуции), в первом наброске очень сжатая, и заключение. Однако окончательной отделки рассказ не получил и при жизни Толстого напечатан не был.

В рассказе «После бала» нашли отражение действительные события, о которых в статье «Николай Палкин» (1886) Толстой, описывая сцену экзекуции, замечает: «Что было в душе тех полковых и ротных командиров: я знал одного такого, который накануне с красавицей дочерью танцовал мазурку на бале и уезжал раньше, чтобы на завтра рано утром распорядиться прогонянием на смерть сквозь строй бежавшего солдата татарина, засекал этого солдата до смерти и возвращался обедать в семью» (т. 26, стр. 559). Это воспоминание относится, повидимому, к казанскому периоду жизни Толстого (см. т. 54, стр. 519—520).

Самой экзекуции Толстой, однако, не наблюдал. В 1898—1899 гг. он встретился в Москве с писателем И. Н. Захарьиным (Якуниным), который рассказал, как ему пришлось по наряду присутствовать при наказании солдата — прогоне сквозь строй. Толстой очень заинтересовался: «Вы не описали этого ужасного наказания?» — «Нет». — «Напрасно. Такие вещи непременно надо печатать... Вы непременно, непременно это напишите, и у вас это, я уверен, выйдет хорошо... Рассказ должен производить самое тяжело-страшное впечатление. Мне, к счастью, не довелось видеть этого ужаса» (И. Н. Захарьин-Якунин, «Встречи и воспоминания» СПб. 1903, стр. 224).

Впервые рассказ «После бала» был напечатан в издании: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого под редакцией В. Черткова», I, М. 1911, стр. 117—128.

В настоящем издании печатается этот текст, проверенный и исправленный по рукописям Толстого.

Описание рукописей

Общее количество рукописного материала, относящегося к рассказу «После бала», исчисляется в 104 листа.

1. Автограф — в «Яснополянском синем альбоме», лл. 12 об. — 20.

Печатается в вариантах под № 1.

2. Машинописная копия, с многочисленными исправлениями Толстого, 11 лл. 4°. На обложке надпись рукой переписчика: «Дочь и отец. 7 августа». На об. лл. 1, 4 и 9 вставки-автографы. *Начало:* «Вот вы говорите, что надо». *Конец:* «А вы говорите после этого».

3. Машинописная копия предыдущей рукописи, с множеством исправлений Толстого. Первоначально содержала 14 лл. 4°. На обложке заглавие «Отец и дочь» зачеркнуто Толстым и вместо него надписано: «А вы говорите». При исправлении копии Толстым значительно сокращена характеристика провинциальных университетов и сильно изменен и расширен конец рассказа. После исправления 6 лл. переложены в следующую рукопись. *Начало:* «Вот вы говорите, что надо». *Конец:* «как бывает, а вы говорите».

4. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4°. На обложке надпись рукой переписчика: «<Дочь и отец>. А вы говорите. 11 августа и 5 августа». Авторская правка значительна в сцене экзекуции; большим изменениям и дополнениям подвергся снова конец рассказа.

После исправления 5 лл. переложены в следующую рукопись. *Начало:* «сказал Иван Васильевич». *Конец:* «А вы вот говорите».

5. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4°. Значительной правке подвергся лишь конец рассказа, начиная со сцены экзекуции. После исправления 10 лл. были переложены в следующую рукопись. *Начало:* «м[у]зыку, которую я услыхал». *Конец:* «Вот и осудите тут, а вы говорите».

6. Машинописная копия предыдущей рукописи. Первоначально содержала 16 лл. 4°. Рукопись правилась дважды. Исправления значительны по всей рукописи. После исправления два листа были переложены в следующую рукопись. *Начало:* «Вот вы говорите». *Конец:* «Вот и судите тут, а вы говорите».

7. Машинописная копия части предыдущей рукописи, 3 лл. 4°. Рукопись неполная. Часть листов не сохранилась; часть переложена в следующую рукопись. Исправления Толстого значительны лишь в первой части описания экзекуции. *Начало:* «<музыку, которую я услыхал>» *Конец:* «тащили его вперед унтер-офицеры».

8. Машинописная копия части рукописи № 6 и рукописи № 7 и, очевидно, несохранившихся листов рукописи № 7, 17 лл. 4°. Большим исправлениям подверглось начало рассказа.

9. Машинописная копия предыдущей рукописи, 11 лл. 4°. Л. 12 не сохранился. Заглавие «А вы говорите» зачеркнуто, вместо него вписано: «После бала». Исправления значительны во второй половине рассказа, начиная со сцены экзекуции. После исправления 6 лл. и отрезков переложены в следующую рукопись. *Начало:* «своих маленьких белых атласных». *Конец:* «как видите, не годился <и нигде не служил>».

10. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 10 л. 4° (конца нет). Большой правке подверглась вторая половина рассказа: сцена экзекуции и заключение рассказчика. После исправления часть листов была переложена в следующую рукопись. *Начало:* «[вытяги]вающегося по-военному грудью». *Конец:* «поторопился уйти домой».

11. Машинописная копия части предыдущей рукописи. Первоначально содержала 14 лл. 4° и 1 отрезок. Конца рукописи

нет. Правилась Толстым дважды. Большой правке подверглась сцена экзекуции. После исправления часть листов была переложена в следующую рукопись. *Начало:* «Жили мы тогда одни». *Конец:* «с искренней досадой сказал Иван Васильевич».

12. Машинописная копия части предыдущей рукописи, 14 лл. 4°. Последний лист — копия, списанная Н. Л. Оболенским, частью с рукописи № 11, частью с несохранившегося листа. *Начало:* «Вот вы говорите, что человек». *Конец:* «А вы говорите... закончил он». Первоначальное заглавие «А вы говорите» зачеркнуто Толстым и начато «Дочь»; затем и это слово зачеркнуто и надписано «После бала», с подзаголовком: «Рассказ». Рукопись правилась дважды. Исправления немногочисленны, сводятся, в основном, к сокращению текста. В конце рукописи Н. Л. Оболенским поставлена дата: «Ясная Поляна. 20 августа 1903 г.».

Предисловие к тридцать четвертому тому.

В 34 томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатаются его художественные и публицистические произведения начала 900-х годов.

Это были годы, когда рабочий класс России поднимался на революционную борьбу с царской властью. «Революционные выступления рабочих и крестьян показывали, что в России назревает и близится революция».[8]

Лев Толстой пристально следил за событиями, происходившими в стране. Острейший интерес у писателя вызывали рабочие стачки и демонстрации, крестьянские восстания и студенческие «беспорядки». В произведениях Толстого начала 900-х годов нашло свое отражение быстрое назревание революционного кризиса в стране.

В канун первой русской революции с особой силой выявились действительно «кричащие противоречия» в мировоззрении и творчестве Толстого. Наряду с беспощадным обличением и критикой буржуазного строя его произведения содержали такие утопические и реакционные «рецепты спасения человечества», которые приносили «самый непосредственный и самый глубокий вред»[9] развертывавшемуся революционному движению.

Резкая критика самодержавно-полицейского государства, правящих классов капиталистического общества, казенной церкви, буржуазной науки и искусства сочеталась в произведениях Толстого этих лет, как и раньше, в 80—90-е годы, с попыткой найти мирный выход из острейших противоречий действительности и своей проповедью религии, «непротивления злу насилием» удержать массы от участия в приближающейся революции.

С обострением революционного кризиса в стране Толстой все более отчетливо представлял себе свои задачи обличителя старого несправедливого общественного устройства.

В июле 1900 года он сообщал дочери Марии Львовне, что статью «Рабство нашего времени» «еще поправляет и все

делает ее ядовитее и ядовитее».[10] 31 августа 1900 года он записывает в Дневнике: «Все яснее и яснее представляется обличение неверия и разбойничьего царства. Это *нужно* писать»[11].

Царское правительство ненавидело и боялось Толстого, великого и бесстрашного критика буржуазно-помещичьего строя. Не осмеливаясь подвергнуть всемирно-знаменитого писателя аресту и заточению, оно преследовало его единомышленников, запрещало многие его произведения, организовало дикую травлю Толстого в охранительной и церковной печати.

Еще в 80-х годах в общество проникли слухи о готовящемся отлучении Толстого от православной церкви и о заточении «еретика» в Суздальский монастырь. В конце 90-х годов, когда был опубликован роман «Воскресение» с его беспощадно обличительным описанием богослужения в тюремной церкви, церковники потребовали расправы с писателем. Мрачный изувер Победоносцев, бывший не только обер-прокурором святейшего синода, но и ближайшим советчиком царя, был изображен Толстым в устрашающей фигуре палача и мистика Топорова. Ни Победоносцев, ни руководимые им пастыри не могли простить писателю его выступлений против казенной церкви, разоблачения церковного обмана.

24 февраля 1901 года «Церковные ведомости при святейшем правительствующем синоде» опубликовали «Определение святейшего синода от 20—22 февраля 1901 г... о графе Льве Толстом». Составлял это «Определение» Победоносцев, редактировал митрополит Антоний, одобрил царь Николай II. Синод приказал во всех церквах Российской империи предать имя Льва Толстого, «еретика и вероотступника», «проклятию и анафеме».

Передовые люди России, трудовой народ ответили на решение синода могучей волной сочувствия великому писателю. В адрес Толстого хлынул поток приветственных писем и телеграмм. 25 марта посетители XXIV передвижной выставки в Петербурге устроили горячую овацию в честь Толстого перед портретом писателя работы И. Е. Репина. Портрет был немедленно снят с выставки. Победоносцев в письме к

редактору «Церковных ведомостей» вынужден был признать, что «Послание» синода о Толстом вызвало целую «тучу озлобления» против руководителей церкви и государства.[12]

В. И. Ленин писал в 1910 году по поводу отлучения Толстого: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки».[13]

Актом отлучения Толстого от церкви правительство Николая II добилось только того, что имя писателя стало еще более популярным в стране и за ее пределами. К голосу Толстого миллионы людей во всем мире стали прислушиваться с особенным вниманием.

В «Ответе синоду» Толстой показал, что он не устрашился «анафемы» и не раскаялся в своем «еретичестве». Свой ответ на отлучение он использовал для новых обличений казенной церкви, ближайшей помощницы царского правительства.

Прошло немногим более недели со дня отлучения Толстого от церкви, как общественное мнение России было взволновано и возмущено новым репрессивным актом самодержавия. 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, полиция напала на демонстрацию и зверски избила многих ее участников. Волна протеста прокатилась по всей стране.

Толстой, узнав об этих событиях, послал приветственный адрес комитету Союза взаимопомощи русским писателям, закрытому за то, что его члены решительно протестовали против полицейской расправы с участниками демонстрации. Тогда же он написал сочувственное письмо Л. Д. Вяземскому, высланному из Петербурга за попытку остановить избиение демонстрантов.

Под непосредственным впечатлением мартовских событий в Петербурге и полицейских репрессий против студентов Толстой пишет свое обращение «Царю и его помощникам».

Толстой ждал ответа на свое обращение, но его не последовало. Тогда он написал Николаю II пространное письмо о современном положении России. Это письмо 16 января 1902

года было отослано в Петербург. Толстой горячо убеждал царя в том, что «самодержавие есть форма правления отжившая» и что его необходимо заменить демократическим правлением. Он угрожал царю надвигающейся революцией и требовал «развязать рот» народу, уничтожить гнет, «который мешает народу высказать свои желания и нужды».[14]

До глубины души возмущался Толстой полицейскими мерами царского правительства и активно выступал в защиту народа и его передовых людей. В мае 1901 года он горячо вступился за молодого Горького, арестованного и посаженного в Нижегородскую тюрьму. Заступничество Толстого и широкое общественное возмущение помогли освобождению Горького.

Весной 1902 года Толстой, находясь на лечении в Крыму, был потрясен известием о жестоком подавлении крестьянских волнений на Украине, в Харьковской и Полтавской губерниях. «Страшное правительственное сообщение о беспорядках, — записал он в Дневнике. — Хочется писать об этом».[15] Подробности о происшедших событиях Толстому сообщил В. Г. Короленко, навестивший его в Гаспре 25 мая 1902 года. Выслушав рассказ Короленко о захвате крестьянами помещичьих экономий, скота, сельскохозяйственных орудий, Толстой «сказал уже с видимым полным одобрением: «И молодцы!»...

«С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?» Толстой ответил: «Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?»[16]

В этом прямом одобрении захвата крестьянами земли и орудий сельскохозяйственного труда Короленко закономерно увидел способность Толстого заражаться настроениями народных масс.

Нет сомнения, что под прямым влиянием «народных настроений» обличающий голос Толстого становился все более суровым и могучим.

В своих произведениях писатель ставил самые насущные, коренные вопросы времени. Посетивший его в 1902 году Горький сообщал в одном из своих писем: «Лев Николаевич...

пишет статью по земельному вопросу, а! Экая силища, экое изумительное понимание запросов дня!»[17]

В годы кануна первой русской революции жизнь со всей остротой выдвинула перед Толстым «рабочий вопрос». 21 ноября 1901 года он сообщал в письме Т. Л. Сухотиной: «Нынче известие о побоище рабочих в Ростове».[18] Толстой говорит здесь о жестокой расправе войск царского правительства с рабочими Ростова, проводившими крупную стачку.

В ростовской стачке, а также в стачках, происходивших в других промышленных центрах страны, Толстой видел близость рабочей революции. Еще в трактате «Так что же нам делать?», написанном в середине 80-х годов, и во многих других позднейших статьях Толстой говорил о приближении «развязки» и угрожал правящим классам, не желавшим «переменить свою жизнь», народной расправой.

Толстой видел, что «ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем». Толстой ясно понимал, что «возвратиться к старому нельзя», что «ужасная развязка приближается».[19]

Все его сочинения 80-х, 90-х и особенно 900-х годов проникнуты этим предчувствием близящейся «развязки» и, с другой стороны, стремлением найти выход путем мирного, «полюбовного» разрешения конфликта, избежать «ужасов» неизбежной «рабочей революции».

«Толстой, — писал В. И. Ленин, — с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку. Но его учение оказалось в полном противоречии с жизнью, работой и борьбой могильщика современного строя, пролетариата».[20]

В. И. Ленин разъяснил, чьи настроения и чаяния нашли отражение в произведениях Льва Толстого: «Его устами

говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними.[21]

Устами Льва Толстого говорила многомиллионная патриархальная крестьянская Россия. «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого», — писал В. И. Ленин.[22]

Став голосом стомиллионного крестьянского народа, Толстой «поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость».[23]

В свете этих высказываний Ленина о Толстом становятся ясными смысл и значение литературно-художественной, публицистической и общественной деятельности великого русского писателя.

Из художественных произведений Толстого, печатающихся в настоящем томе, центральное место занимает драма «Живой труп» (1900). Как и большинство других произведений Толстого, драма была написана на материале современной писателю действительности. В основу ее сюжета легло судебное дело супругов Н. С. и Е. П. Гимер. Материал, взятый из «текущей» жизни, Толстой подверг художественной обработке и создал произведение, направленное не только против буржуазного суда, но и против всей комедии «законного» брака, освящаемого казенной церковью, против изуверских порядков полицейского государства и всего буржуазно-дворянского общества.

Главный герой драмы — Федор Протасов — один из очень близких и дорогих сердцу автора образов. «По поводу «Трупа» Лев Николаевич сказал, что сюжет только тогда хорош, когда он находит в душе отклик и сливается с невысказанными

желаниями»; что его очень интересует Федор Протасов, что он «чисто русский тип... отличной души человек».[24]

Внутренний мир Феди Протасова раскрывается в откровенных беседах, которые он ведет с князем Абрезковым, художником Петушковым и другими действующими лицами. «Что я ни делаю, — признается Федя, — я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно... А уж быть предводителем, сидеть в банке — так стыдно, так стыдно...»

В этих признаниях Протасова звучит голос самого Толстого, писавшего в «Исповеди», трактате «Так что же нам делать?» и других своих публицистических произведениях, созданных после пережитого им идейного перелома, о чувстве мучительного стыда от сознания паразитизма своего класса, о жгучем желании разорвать узы, связывающие его с этим классом.

«Всем ведь нам в нашем круге, в том, в котором я родился, — говорит Федя, — три выбора, — только три: служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно, может быть, не умел, но, главное, было противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо быть героем, а я не герой. Или третье: забыться — пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся».

Протасов не нашел в себе сил, чтобы бороться с бессердечием и эгоизмом, ханжеством и консерватизмом людей «высших классов», превративших жизнь в «пакость», которую надо всеми силами разрушать. Он бежал от них на «дно». Но и там ему не дали жить спокойно. Вмешался «закон», вмешались шантажисты, полицейские, чиновники, получающие, как говорит Федя, «по двугривенному за пакость».

Протасова сделали «живым трупом», а затем толкнули на самоубийство не только тупые полицейские «законы», но и «корректные», «благовоспитанные» люди, от которых он бежал, как от чумы.

Драма «Живой труп» была опубликована после смерти Толстого. Обличительная сила драмы привела в ярость реакционную критику, увидевшую в «Живом трупе» «ниспровержение основ».

В печати появились также заявления о том, что пьесу нельзя ставить на сцене, ибо она «антитолстовская», противоречащая главным убеждениям «учителя жизни».[25] Толстой — сторонник единобрачия и даже аскетизма. Как же мог он выступить в своей драме против законов, запрещающих расторжение брака?! Толстой организовал «Согласие против пьянства», сочинял «противопьянственные» пьесы и рассказы. Как же мог он оправдать кутежи и все «беспутства» героя пьесы Федора Протасова?! Толстой сурово осудил самоубийство, а Протасова окружил мученическим ореолом и оплакал его гибель!

Должно быть, предвидя недоумение и недовольство своих «критиков», Толстой сказал устами одного из действующих лиц драмы: «Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна?»

Глубокая искренность и правдивость художника-реалиста позволили Толстому в «Живом трупе» изобразить жизнь во всей ее сложности и противоречивости, не укладывающейся в рамки проповеднических доктрин, опрокидывающей принципы и его «вероучения».

Подобно роману «Воскресение», драма «Живой труп» была направлена против такого общественного строя, который основан на деспотизме и полицейском произволе, на обмане и лицемерии. И в этом сила «Живого трупа». Но пьеса имеет и свои слабые стороны. Они нашли выражение прежде всего в образе главного героя драмы. С одной стороны, он показан как горячий протестант и обличитель, смело обнажающий фальшь и лицемерие буржуазно-дворянского общества, его лживую мораль, его бесчеловечные законы. С другой стороны, рисуя образ Протасова, Толстой выступает сторонником пассивного «неучастия в зле», как метода «борьбы» с социальной несправедливостью. Всем своим поведением Федор Протасов как будто заявляет: «Я, как все, скверный, гадкий, но я не могу больше лгать и притворяться, не могу служить в ваших грязных учреждениях, участвовать во всех ваших обманных делах. Мне стыдно и больно, я вижу зло, но не могу с ним бороться, потому что я «не герой».

В «Живом трупе», как и в «Воскресении», Толстой, изображая представителей буржуазно-дворянского общества, срывает с них маски, и они предстают со всей своей фальшью, фарисейством, эгоизмом. Но устами своего «не героя» Толстой проповедует незлобивость, самоустранение от «зла», бегство от жизни. Так самый суровый и трезвый толстовский реализм соединяется в драме с отвлеченной проповедью «добра», ставящей целью примирение, сглаживание острейших общественных противоречий.

Но в «Живом трупе», как и в «Воскресении» и в других произведениях Толстого, проповедь любви и «добра» не подкрепляется жизненно-убедительными примерами, не выдерживает проверки жизнью и вопреки намерениям автора обнаруживает свою полную несостоятельность. Не в проповеди любви и всепрощения сила гениального художника-реалиста. Сила Толстого-художника — в искренней, страстной и беспощадной критике всех современных ему государственных, церковных, общественных устоев.

Герой драмы Федор Протасов со всей определенностью говорит о том, что выход из тупика все-таки один: «разрушать эту пакость» — разрушать собственнический, несправедливый общественный строй, обрекающий людей на невыносимые муки и горе. Рисуя трагическую судьбу Протасова, Толстой объективно звал не к примирению, а к разрушению буржуазно-полицейского государства с его законами, моралью, религией — всей фальшью общественных и семейных отношений.

Пьеса Толстого глубоко волнует подлинным драматизмом, гневным пафосом обличения, могучей силой изображения человеческих характеров и чувств.

Из воспоминаний Н. К. Крупской мы знаем о том впечатлении, которое произвела пьеса Толстого на В. И. Ленина. Было это в 1910-е годы, когда Ленин находился в эмиграции. «Мы редко ходили в театр, — рассказывает Н. К. Крупская. — Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, — зря деньги переводим. Но раз Ильич досидел до

конца; это было, кажется, в конце 1915 г., в Берне, ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой».[26]

«Живой труп» — пьеса новаторская. В ней Толстой-драматург отказался от традиционного строгого деления на акты. Пьеса написана картинами с расчетом на частую и быструю смену места действия для того, чтобы нагляднее показать «текучесть жизни». Будучи произведением «позднего» Толстого, драма «Живой труп» служит свидетельством неувядавшей силы громадного таланта писателя и его неутомимых поисков нового в искусстве.

По силе обличения и художественному мастерству близок к «Живому трупу» и замечательный рассказ Толстого «После бала». Писатель рисует в нем страшную картину экзекуции: сквозь строй под тупые удары барабана прогоняют солдата-татарина.

Драма «Живой труп» и рассказ «После бала» тематически связаны со статьей «Стыдно» (1895) и со всей публицистикой Толстого 80-х, 90-х и 900-х годов, главное содержание которой составляет беспощадное обличение господствующих классов царской России.

В начале 900-х годов Толстой продолжает разрабатывать и жанр нравственно-поучительной, «назидательной» литературы. Произведениями этого жанра он старается широко пропагандировать свое учение.

Одним из ярких образцов «назидательных» произведений Толстого является легенда «Разрушение ада и восстановление его».

В этом небольшом по размеру произведении Толстой высказал свое отношение к церковной религии, к «христианскому» браку и воспитанию, к самодержавию, к буржуазной науке и культуре. Стремясь доказать, что люди извратили «истинное учение Христа», Толстой устами дьяволов, «заведующих» блудом, грабежом, убийствами, наукой, техническими усовершенствованиями, разделением труда и т. д., дает глубокую и резкую критику «порядков» современного

капиталистического общества. Критика казенной церкви, монархии, буржуазно-парламентских правительств, уродств буржуазной цивилизации и многих других сторон эксплуататорского общества достигает в легенде такой разящей силы, что она была отнесена царской цензурой к числу самых «кощунственных» произведений Толстого.

Но в легенде, как и в других «назидательных» произведениях Толстого, с полной очевидностью обнаруживаются и слабые, реакционные стороны его мировоззрения. Резко и справедливо обличая «хозяев жизни» и их помощников, как поработителей народа, Толстой в то же время зачеркивает завоевания науки и техники, выступает против материализма и социализма, называет бесплодными занятия ученых, ведущих «исследования явлений материального мира», изучающих общественную жизнь.

Заканчивается легенда мрачной картиной торжества Вельзевула, торжества дьяволов, сбивших людей с «истинного» пути. Толстой не видит иного исхода, кроме нового разрушения восстановленного дьяволами ада. Но какими же путями могут освободиться люди из-под «дьявольской» власти? Ответить на это Толстой пытается в сказке «Три вопроса», где в самой краткой форме он выражает свое определение основных этических норм поведения человека. «Как знать, какие люди самые нужные, и как не ошибаться в том, какое дело изо всех дел самое важное?»

В ответах на эти вопросы выражен ряд коренных положений толстовского учения с его реакционным отрицанием общественной борьбы, с его признанием, что «все материальное — ничто», что человеку надо заботиться только о спасении своей души, что ему незачем думать о завтрашнем дне, что он должен делать только «добро» и потому не противиться злу насилием.

Тот же смысл вложен Толстым и в легенду «Труд, смерть и болезнь», являющуюся своеобразным продолжением или дополнением легенды о разрушении и восстановлении ада. Чтобы вернуть людей на истинный путь, — пишет Толстой, — бог решил заставить их трудиться, надеясь, что «труд соединит

их». Но вышло так, что разъединение людей еще более углубилось, ибо люди «тратили время и силы на борьбу, и всем было дурно».

Но вот, — говорит Толстой, — «в самое последнее время» появились люди, которые стали понимать, что труд, который служит пугалом для одних и принудительной каторгой для других, «должен быть общим радостным делом, соединяющим людей». Они стали понимать, что «единственно разумное дело всякого человека» состоит в том, чтобы прожить свою жизнь в согласии и любовном общении с другими людьми.

Так прославление труда сопровождается в легенде проповедью толстовских религиозно-нравственных «истин».

Назидательным целям посвящены и рассказы Толстого «Ассирийский царь Асархадон», «Это ты», рисующие превращение жестоких тиранов в людей, понявших «истинный» смысл жизни. Под влиянием мудрецов они постигают все зло своей жестокой деятельности, отказываются от власти и богатства, становятся проповедниками всепрощения, незлобивости, любви к врагам.

Не забудем, что эти рассказы и легенды создавались писателем в канун революционной грозы. Они и тесно связанные с ними публицистические произведения возникли как прямые отклики Толстого на все обострявшуюся классовую борьбу в стране. Тиранов и деспотов он призывал образумиться, отказаться от власти и богатства, от угнетения народа и заняться спасением своей души. Порабощенный народ, стонущий под ярмом эксплуатации, он призывал не озлобляться, а прощать врагам своим, не заботиться об изменении «внешних», материальных условий жизни, а отдаваться радостно своему труду, думать лишь о спасении души.

Эта проповедь Толстым всепрощения и непротивления злу насилием в годы приближения первой русской революции приносила большой и глубокий вред; она была широко использована буржуазными партиями и группами в борьбе против революции. Они объявили Толстого «всеобщей совестью», «учителем жизни». Отвечая им, В. И. Ленин писал в 1910 году: «Это — ложь, которую сознательно распространяют

либералы, желающие использовать противореволюционную сторону учения Толстого. Эту ложь о Толстом, как «учителе жизни», повторяют за либералами и некоторые бывшие социал-демократы.

Только тогда добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир, — у пролетариата».[27]

В 1901 году Толстой написал предисловие к роману немецкого писателя В. фон-Поленца «Крестьянин». К анализу и оценке этого произведения он подошел с тех эстетических позиций, которые изложил в своем знаменитом трактате «Что такое искусство?», опубликованном в 1897—1898 годах. Толстой признал роман «Крестьянин» подлинным и высоким произведением искусства за то, что роман правдив, и за то, что он художественен. Как особое достоинство произведения Поленца Толстой подчеркивает, что «вся книга написана прекрасным, благородным, т. е. простым немецким языком, особенно сильным, когда вводится грубый, мужественный рабочий язык».[28]

В предисловии к роману Поленца, как и во всех других своих эстетических статьях, написанных в 90-е и 900-е годы, Толстой резко обрушился на упадочное буржуазно-декадентское искусство и литературу, а также на натурализм. «Положение литературы и вообще искусства в наше время очень опасное», — говорит Толстой. В извращении эстетических вкусов самую вредную роль играет буржуазная пресса. «Газеты же находятся в руках денежных дельцов, — справедливо указывает Толстой. — Газета, журнал есть большое денежное предприятие».[29] Монополизированные кучкой богачей газеты и журналы «выдвигают и восхваляют всегда самые грубые художественные произведения, отличающиеся только необычностью, фальшивым пафосом и тем, что они чудны, выставляя их как нечто самое утонченное и, главное, последнее по моде».[30]

В предисловии к роману Поленца отразились не только сильные, но и слабые стороны эстетических взглядов Толстого. Резко и справедливо критикуя буржуазно-декадентские и натуралистические «произведения», выступая за реалистическое, правдивое искусство, близкое народу, Толстой в основу своего понимания народности искусства положил патриархально-крестьянские, религиозные идеалы.

В романе «Крестьянин» Толстого привлекают показанные Поленцом «и прелесть земледельческой жизни, и жалость к ее погибели, и любовь к природе и к семье, и жалость к невежеству, к грубости».[31] Особые симпатии вызывают у Толстого те сцены, в которых изображены согласные с его учением незлобивость и кротость.

II

Быстрое назревание революционного кризиса в стране, резкое обострение классовых противоречий между трудящимися и их угнетателями, неминуемое приближение «развязки» — вот что определило содержание и направление публицистики Толстого начала 900-х годов. Во всей остроте встал перед Толстым в эти годы «рабочий вопрос». Писатель стремится лично познакомиться с условиями работы и жизни рабочих на фабриках и заводах, на железных дорогах. Плодом этого изучения и явилась статья Толстого «Рабство нашего времени» (1900) и целый ряд его других статей и выступлений.

Во введении к статье «Рабство нашего времени» Толстой не случайно напоминает о своем трактате «Так что же нам делать?», написанном пятнадцать лет назад. Он указывает, что в этих сочинениях поставлены в сущности одни и те же вопросы и даны на них одинаковые ответы, хотя автор и стремился привести «новые доводы», вытекающие из перемен, происшедших в жизни.

Толстой сам указывает на главную мысль, лежащую в основе книги «Так что же нам делать?» и статьи «Рабство нашего времени»: «Основная мысль, как той книги, так и этой

статьи — отрицание насилия». Толстой указывает источник, откуда он позаимствовал эту мысль: «Это отрицание я понял и узнал из евангелия».

Но и в трактате «Так что же нам делать?» и в статье «Рабство нашего времени» Толстому пришлось выйти далеко за пределы религиозно-нравственной темы.

В первой главе статьи «Рабство нашего времени» привлекает внимание яркое описание встречи писателя с грузчиками, работающими по тридцать семь часов подряд. Толстой лично познакомился с условиями работы грузчиков на товарной станции Московско-Казанской железной дороги. Видел он и условия труда рабочих-каменщиков на Тульском чугунолитейном заводе. Из своих наблюдений Толстой сделал вывод, что капиталистическая эксплуатация трудящихся по своей жестокости превосходит рабский и крепостнический гнет. Капиталистическую эксплуатацию трудящихся он и назвал «рабством нашего времени».

Вторая глава статьи посвящена критике «равнодушия общества перед погибелью людей». В третьей, четвертой и пятой главах Толстой критикует буржуазную экономическую науку за «оправдание существующего положения» и выясняет, «почему ученые экономисты говорят неправду». Толстой отчетливо показывает, что буржуазная наука состоит на службе у господствующих классов, что главной своей задачей она считает оправдание существующего рабства.

Но критикуя «ученых экономистов», Толстой не смог встать на конкретно-историческую почву, а к характеристике и оценке выводов политэкономии подошел с точки зрения отвлеченных «вечных истин».

О слабости и ошибочности этих позиций писал В. И. Ленин, обратив внимание на то, что еще в рассказе «Люцерн» (1857) Толстой критиковал буржуазную «цивилизацию», обращаясь с апелляциями к «Всемирному Духу». «В «Рабстве нашего времени» (писано в 1900 году), — указывал В. И. Ленин, — Толстой, повторяя еще усерднее эти апелляции к Всемирному Духу, объявляет «мнимой наукой» политическую экономию за то, что она берет за «образец» «маленькую, находящуюся в самом

исключительном положении, Англию», — вместо того, чтобы брать за образец «положение людей всего мира за все историческое время».[32]

В. И. Ленин разъясняет далее, что «весь мир» для Толстого — это «весь так называемый Восток» с его вековой «неподвижностью» и отсталостью, и заключает: «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все — ничто, все — материальное ничто» («О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей души», и т. д.»[33]

Все эти отмеченные В. И. Лениным слабые, реакционные черты мировоззрения Толстого в полной мере проявились и в статье «Рабство нашего времени» и в других произведениях писателя, посвященных характеристике и оценке острейших вопросов своего времени.

Главу шестую «Рабства нашего времени» Толстой назвал: «Несостоятельность социалистического идеала». Он подверг критике теорию социалистов-утопистов, состоящую, по его словам, в том, что рабочие, «все соединяясь в союзы, товарищества, воспитывая в себе солидарность, дойдут, наконец, посредством союзов, стачек и участия в парламентах до того, что овладеют всеми, включая и землю, орудиями производства». Толстой заявляет, что в осуществление этой теории поверить так же трудно, как и в рай для рабочих на том свете, обещанный теологами, ибо господствующие классы никогда добровольно не согласятся поступиться своими выгодами в пользу рабочих.

Отвергнув теории утопических социалистов, Толстой не приходит, однако, к выводу о необходимости революционной борьбы и выдвигает свои «рецепты» избавления рабочего народа от капиталистического рабства. Он предлагает два ответа на вопрос: «Что должен делать каждый человек?» Сильные духом люди, — говорит Толстой, — должны отказаться

от всякого участия в «организованном насилии»: не платить податей, не служить в войсках, не выполнять никаких «узаконений» правительства. Для людей послабее Толстой предъявляет единственное требование: всемерно уменьшать свои потребности. Он обращает это требование и к хозяевам, и к рабочим, ибо и тех и других считает одинаково виноватыми в существовании «нового рабства». Рабочих Толстой обвиняет в том, что они... нанимаются на фабрики и заводы, вместо того чтобы оставаться в деревне и заниматься земледельческим трудом.

Значение статьи «Рабство нашего времени», как и других публицистических произведений Толстого, состоит, однако, не в этих утопических «рецептах спасения человечества», а в беспощадном обличении капиталистического общества, обличении, которое и доныне не утратило своей остроты и силы.

Толстой близок и дорог нам тем, что в своих произведениях он обнажил все язвы и уродства буржуазной цивилизации, выразил горячее сочувствие порабощенному капитализмом трудовому народу.

В «Рабстве нашего времени» и других статьях по «рабочему вопросу» Толстой резко обрушился на идеологов буржуазии, утверждавших «извечную незыблемость» капиталистического общественного строя. Существующий порядок вещей, — заявил он о буржуазном строе, — не есть нечто неизбежное, стихийное, неизменное. Капиталистическое рабство, — утверждает Толстой, — «рабство нашего времени очень ясно и определенно произведено не каким-либо железным стихийным законом, а человеческими узаконениями: о земле, о податях и о собственности».[34]

Характеризуя эпоху рождения капитализма, Толстой ссылается на «Капитал» Карла Маркса: «Сельское население сначала насильственно обезземеливали, говорит К. Маркс, изгоняли и доводили до бродяжничества, а затем, в силу жестоких законов, его пытали, клеймили каленым железом, наказывали плетьми, с целью подчинить требованиям наемного труда».[35] В одной из подготовительных редакций статьи «Рабство нашего времени» Толстой приводит большую цитату

из «Капитала» К. Маркса, в которой речь идет о способах первоначального капиталистического накопления.[36]

Нужно подчеркнуть, что среди большого числа книг по вопросам политической экономии, которые были изучены Толстым в связи с его работой над статьей «Рабство нашего времени», именно у Маркса он нашел неопровержимые доказательства, разоблачающие миф об «извечности» капитализма.

Толстой беспощадно критикует буржуазных экономистов, особенно либералов, болтающих об улучшении положения рабочих на существующих фабриках и заводах при существующем эксплуататорском строе.[37]

Толстой подчеркивает, что в условиях капитализма никакие «заботы» либералов о народе не приводят и не могут привести к улучшению положения трудящихся. В полных боли и гнева словах рисует писатель бедственное положение народа в капиталистическом обществе. «...В России, — заявляет он, — отбирается от народа треть всего дохода, а на самую главную нужду, на народное образование, употребляется 1/50 часть всего дохода, и то на такое образование, которое больше вредит народу, одуряя его, чем приносит ему пользу. Остальные же 49/50 употребляются на ненужные и вредные для народа дела». И Толстой называет эти «дела»: безудержное вооружение, крепости и тюрьмы, содержание духовенства, царского двора, огромной своры чиновников, «которые поддерживают возможность отбирать эти деньги у народа».[38]

Ограбление народа, — говорит Толстой, — происходит не только в деспотических, монархических государствах, а и в любом конституционном государстве, в любой буржуазно-демократической республике. Во всех государствах капиталистического мира «деньги отбираются у большинства народа не столько, сколько нужно, а столько, сколько можно, и совершенно независимо от согласия или несогласия облагаемых (все знают, как составляются парламенты и как мало они представляют волю народа) и употребляются не для общей пользы, а на то, что для себя считают нужным правящие

классы: на войну в Кубе и Филиппинах, на отнятие и удержание богатств Трансвааля и т. п.»[39]

Толстой называет кичливую английскую и американскую демократию «мнимо-свободной» и говорит, что английская и американская конституции имеют целью такой же обман народа, как и японская и турецкая конституции, ибо «все знают, что не только в деспотических, но и в самых мнимо-свободных государствах: Англии, Америке, Франции и других, узаконения устанавливаются не по воле всех, а только по воле тех, которые имеют власть», и выгодны эти узаконения только «тем, кто имеет власть...»[40]

Толстой возмущается бесчеловечным характером капиталистической организации труда, когда рабочий превращен в механический придаток машины, выжимающей из него все силы, все соки.

Главной особенностью этого нового рабства Толстой считает его «безличный» характер: новые рабы не принадлежат лично тому или иному господину, фабриканту. Но от этого их положение не стало лучше в сравнении с положением крепостных рабов. Наоборот, говорит Толстой, «безличное рабство... в 1000 раз хуже самого жестокого личного» по той простой причине, что, например, владельцу «крещеной собственности», помещику, было невыгодно замучить на работе своего крепостного: он «берег» его, как берег лошадей и другой рабочий скот. А фабриканту незачем беречь своих безличных рабов, ибо место каждого из них, свалившегося от непосильной работы, тотчас готовы занять десятки и сотни других, погибающих на улицах городов от безработицы.

Главную причину этого зла, или, как говорит Толстой, «корень зла», он видит в том, что у трудового земледельческого народа отнята земля. От лица миллионов разоренных «законами» и «реформами» крестьян Толстой обращается к правящим классам с такими словами:

«Вы говорите, что вы для нашего блага ограждаете земельную собственность, но ваше ограждение делает то, что вся земля или перешла, или переходит во власть неработающих компаний, банкиров, богачей; а мы, огромное большинство

народа, обезземелены и находимся во власти неработающих. Вы со своими законами о земельной собственности не ограждаете земельную собственность, а отнимаете ее у тех, кто работает».[41]

Ссылаясь на «общественное мнение народа» в городах и в деревнях, которое «за последние пять-шесть лет поразительно изменилось», Толстой заявляет: «Весь русский народ на моей памяти не признавал земельной собственности».[42]

В статьях 900-х годов Толстой рассматривает «фабричное рабство» как порождение и следствие «земельного рабства». Исходя из этого убеждения, он и предлагает решить рабочий вопрос путем «освобождения земли».

При «кричащих противоречиях» в своем мировоззрении Толстой, — как указывал В. И. Ленин, — «не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции».[43]

В 80-е годы Толстой с тревогой писал о «раскрестьянивании» пореформенной деревни, о пролетаризации крестьянских масс. Дав еще в «Анне Карениной», написанной во второй половине 70-х годов, гениальную характеристику пореформенной эпохи («все переворотилось и только укладывается»), Толстой не хотел признать, что Россия вступила на путь капиталистического развития. «Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй», — говорил о Толстом В. И. Ленин.[44]

Участвуя в 1882 году в переписи московского населения, лицом к лицу столкнувшись с ужасами городской нищеты, вызванной развитием капитализма, Толстой писал: «Забудемте про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и сердцу...»[45]

В публицистике 80-х, 90-х и 900-х годов Толстой настойчиво развивает эту же мысль. Путь к решению всех общественных противоречий, порожденных развитием капитализма, к

уничтожению социального неравенства, к избавлению народа от всех форм эксплуатации Толстой видел в «освобождении земли» от частной собственности. В пору стремительного развития капитализма в России и быстрого роста пролетариата, объединявшегося для борьбы с самодержавием и буржуазией, Толстой заявлял в статье «Великий грех», что «русский народ не опролетариться должен, подражая народам Европы и Америки, а, напротив, разрешит у себя земельный вопрос упразднением земельной собственности и укажет другим народам путь разумной, свободной и счастливой жизни вне промышленного, фабричного капиталистического насилия и рабства... в этом его великое историческое призвание».[46]

Произведения Толстого 900-х годов являются ярким подтверждением мысли Ленина, что «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину...»[47]

Статья «Где выход?» по своему содержанию тесно примыкает к «Рабству нашего времени». В ней писатель ставит те же вопросы — о земельном рабстве, о фабричном рабстве, о способах освобождения трудового народа. Толстой утверждает, что земельное рабство будет существовать до тех пор, пока земля находится в собственности у «неработающих землевладельцев». Рабство фабричных рабочих будет до тех пор, пока средства и орудия производства находятся в руках капиталистов. И никакие частичные улучшения условий труда не избавят трудящихся от рабства в капиталистическом обществе.

Где же выход? Толстой указывает на проект буржуазного американского экономиста Генри Джорджа, называя его разумным и вполне исполнимым. Но он тут же признает, что за 30 лет агитации за проект Г. Джорджа его сторонники ни в Америке, ни в Англии не добились никаких практических результатов. «Если же в Америке и Англии проект этот не приняли и не принимают, то еще меньше надежды, чтобы проект

этот был принят в государствах монархических, как в Германии, Австрии, России».[48]

Из всех «мирных» путей освобождения народа от земельного и капиталистического рабства Толстому долгое время представлялся разумным и осуществимым путь, предлагавшийся Генри Джорджем.

Еще в конце 90-х годов, в частности в романе «Воскресение», Толстой заявлял себя сторонником теории Генри Джорджа, предложившего ввести «единый налог» на землю. Жизнь князя Нехлюдова, одного из главных героев «Воскресения», Толстой намерен был посвятить осуществлению проекта «единого налога» на землю.

В статье «Рабство нашего времени» Толстой выступил открытым противником программы Генри Джорджа, этого «буржуазного национализатора земли», как его назвал В. И. Ленин. Земельная обязательная рента, предлагаемая Генри Джорджем и его сторонниками, — справедливо указывает Толстой, — «неизбежно установит новую форму рабства, потому что человек, вынуждаемый к уплате ренты или единого налога, при всяком неурожае, несчастии должен будет занять деньги у того, у кого они есть, и попадет опять в рабство».[49]

Проект Г. Джорджа и другие, подобные ему проекты Толстой называет паллиативами, заплатами на раздираемый противоречиями буржуазный строй, подлежащий замене новым общественным строем.

За два года до написания статьи «Рабство нашего времени» Толстой сделал в Дневнике знаменательную запись: «Сила в рабочем народе. Если он несет свое угнетение, то только потому, что он загипнотизирован. Вот в этом-то все дело — уничтожить этот гипноз».[50]

Задаче уничтожения самых различных форм «гипноза» и были посвящены многие публицистические произведения Толстого 90-х и 900-х годов. В ряде статей Толстой обрушивался на буржуазные правительства за проповедь шовинизма, за раздувание национальной розни. Он решительно разоблачал старания буржуазных правительств болтовней о мире прикрыть бешеную подготовку к новым войнам. Толстой указывал в

качестве примера на Гаагскую мирную конференцию, участники которой притворялись, что они очень озабочены установлением мира между народами.

Как известно, Гаагская конференция закончилась страшным кровопролитием — войной в Трансваале, хищным нападением Англии на маленький народ — буров, мужественно отстаивавший свою независимость. Война в Трансваале разоблачила лживость «мирных стремлений» буржуазных правительств.

Толстой характеризует буржуазное правительство, буржуазное государство как орудие «организованного насилия», осуществляемого правящим меньшинством над угнетенным громадным большинством народа.

Выступая против империалистической агрессии европейских буржуазных государств, Толстой неизменно выражал свое горячее сочувствие народам колониальных и зависимых стран. С этой стороны значительный интерес представляет впервые публикуемое в настоящем томе «Обращение к китайскому народу». В нем разоблачается агрессия, направленная против миролюбивого китайского народа.

Однако Толстой не ограничивается в своем воззвании обличением империалистических хищников, прикрывающих грабительские цели лживыми разговорами о своей «христианской миссии» в странах Востока. Разоблачая империалистов, Толстой одновременно выступает проповедником «истинного» христианства. В своем обращении к китайскому народу, вопреки историческим фактам, он утверждает, что в феодальном Китае существовала «истинная» свобода. Известно, что в своих последующих статьях, письмах, высказываниях, посвященных Китаю, Толстой всячески предостерегал китайцев от перенесения в их страну буржуазно-европейских порядков и от подражания империалистической Японии. В то же время Толстой ратовал за сохранение «восточной неподвижности», за сохранение «прежних порядков».

Статья «Не убий», явившаяся откликом Толстого на убийство анархистами итальянского короля Гумберта, имеет целью также разоблачение «гипноза», при помощи которого правящие классы держат народ в подчинении. Короли и императоры, — говорит Толстой, — повинны в убийствах сотен тысяч и миллионов людей. Так что «едва ли придется один убитый король или император на сто тысяч, а может быть, и миллион убитых и убиваемых по распоряжениям и с согласия королей и императоров».[51] Поэтому короли и императоры не возмущаться должны убийством Александра II, Гумберта и т. д., а удивляться, что еще «так редки такие убийства».

Но Толстой не оправдывает и не одобряет террористические акты, совершаемые анархистами над королями, императорами и другими правителями. Как только убили одного короля, на его место тотчас же «выскакивает» другой король. «Так зачем же убивать их?» — спрашивает Толстой.

Отвергая террор, он, однако, отрицает и активную, революционную борьбу народа против существующего «устройства общества» и советует не казнить властителей, а «разъяснить им то, что они сами убийцы, и, главное, не позволять им убивать людей, отказываться убивать по их приказанию».[52]

Дав яркую характеристику «злодейств» Вильгельма, Николая II и других коронованных убийц и палачей народов, Толстой все дело свел к пассивному неучастию в их грязных, кровавых делах и к задаче «разъяснения» властителям «зла», которое они причиняют людям.

Побуждаемый именно этим стремлением разъяснить и обличить зло существующего правления, пишет Толстой в 1901 году обращение «Царю и его помощникам».

Нужно, однако, отметить, что в своих обращениях к русским царям Толстой от личных «увещеваний», какими отличается, например, его письмо к Александру III с просьбой помиловать народовольцев, казнивших 1 марта 1881 года Александра II, переходит в 900-е годы к требованиям, которые он заявляет не от себя лично, а от многомиллионного трудового народа.

Одновременно с обращением Толстой составляет «программу», озаглавив ее красноречивыми словами: «Желания народа», а впоследствии «Чего прежде всего желает большинство людей русского народа». Желания и требования народа, сформулированные Толстым в этой статье, были включены им в текст обращения.

Толстой говорит в обращении к царю о жестокой борьбе, разделившей русский народ на два враждебных лагеря. Он указывает, что, несмотря на репрессии, которыми царское правительство пытается задушить общественное движение в стране, «недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа». Толстой советует царю не верить министру внутренних дел, заявившему в своем циркуляре, что «если полиция будет во-время разгонять толпу и во-время стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно». Таким путем уже нельзя справиться с «волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры».[53]

Толстой открыто заявляет, что в создавшемся общественном возбуждении и недовольстве виноваты не «беспокойные» люди, преследуемые полицией, а правительство, не желающее Хвидеть ничего, кроме своего спокойствия, и отрешиться «от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления».[54]

В своем обращении Толстой излагает четыре пункта программы, включающей в себя, по его словам, «самые скромные и легко исполнимые желания... огромного большинства русского общества».

Первое требование — уравнение крестьянства во всех правах с другими сословиями. Крестьянство, — заявляет Толстой, — «находится в положении раба, связанного особыми, исключительными законами».[55] Толстой требует освободить крестьян: от выкупных платежей за землю («давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель»), от позорного телесного наказания, от власти земских начальников, от

бесчисленных податей и повинностей, от всяких других притеснений.

Второе требование — это отмена «правил усиленной охраны», вызывающих грубое насилие, «употребляемое часто против рабочих, входящих в столкновения с хозяевами и землевладельцами», и отмена смертной казни.

Третье требование — уничтожение всех преград к образованию, воспитанию и преподаванию. Толстой здесь решительно выступает против классовых, сословных и национальных привилегий в деле образования, ратует за обучение на родном языке, за разрешение частных школ, протестует против всевозможных преград для образования народа.

Четвертый пункт программы Толстого выражает с его точки зрения «самое важное» требование — «уничтожить все стеснения религиозной свободы».

Только тогда успокоится общество, — заявляет Толстой царю и его помощникам, — когда будет «хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество».[56]

Не трудно увидеть, что эта «программа» выражала настроения и желания, сложившиеся у многомиллионного крестьянства накануне буржуазно-демократической революции в России.

Однако к революционным методам борьбы народа за осуществление этих требований Толстой относился отрицательно. Он осуждал революционное свержение буржуазного общественного строя, уподобив революцию «тушению огня огнем».

По мнению Толстого, путь революционной борьбы не приведет трудящихся к освобождению от рабства. При этом он ссылается на исторический опыт, указывает на потерпевшие поражение революции в Англии, Франции и Германии в XVII, XVIII веках и первой половине XIX века. «С тех пор, — говорит он, — была только одна революция в 1871 году, и та в исключительных условиях. В наше же время революции и свержение правительств прямо невозможны».[57]

Толстому казалось, что правительства в буржуазно-помещичьих государствах настолько укрепились в связи с завоеваниями науки и техники, особенно в военной области, что их революционное свержение неосуществимо. «Пока в руках правительства, живущего податями и связанного с собственниками земли и капиталов, солдаты, — революция невозможна... круг замкнут, и выхода как будто нет никакого»,[58] — заявляет Толстой.

Однако он все же пытается указать «выход». Ему представляется, что только одно «несомненно уничтожает всю столь сложно и искусно и так давно устроенную правительственную машину порабощения народа»: пассивный отказ от участия в ней. В предисловии к составленным им солдатской и офицерской памяткам Толстой выражает надежду, что эти его обращения к военному сословию «уменьшат братоубийственную бойню». Он пытается в своих памятках убедить солдат и офицеров отказаться от военной службы и удержать их от кровопролития в предстоящей революции, удержать солдат от убийства своих братьев, рабочих и крестьян.

Но Толстой был далек от мысли о том, чтобы повернуть солдатские штыки против палачей и грабителей народа, чтобы призвать армию на защиту прав народа, на помощь народу в его революционной освободительной борьбе.

Например, его статья «Неужели это так надо?» заканчивается выражением уверенности в том, что буржуазный строй, основанный на жесточайшей эксплуатации трудящихся, не может и не будет существовать вечно. И здесь же Толстой призывает отказаться от участия в революции, от борьбы за социализм и предлагает направить все силы на изобличение ложного христианского учения и на проповедь «очищенного», «истинного» христианства.

Накануне революционной грозы писатель хорошо сознает, что «из... тяжелого и угрожающего положения... есть только два выхода: первый, хотя и очень трудный — кровавая революция, второй — признание правительствами их обязанности не итти против закона прогресса, не отстаивать старого или, как у нас,

возвращаться к древнему — поняв направление пути, по которому движется человечество, вести по нем свои народы».[59]

Писатель говорит, что именно этот второй путь он пытался указать в двух письмах к Николаю II, но первый, революционный, путь Толстой безусловно отрицает.

Слабые, реакционные стороны взглядов Толстого определили его «жалость» и к палачам и жертвам, и капиталистам и эксплуатируемым рабочим. В незаконченной статье «Корень зла», например, Толстой пишет, что ему жалко не только бедных, но и богатых, не только угнетенных, но и угнетателей, потому что, по его мнению, богатые, «хотя они и думают, что получили уже свою награду, они страдают так же, как и бедные». Правда, тут же Толстой оговаривается: «Но больше всего жалко мне бедных».[60]

Все, что писатель мог предложить народу в качестве выхода из капиталистического рабства, — это пассивное неучастие в «правительственных деятельностях»: отказ от военной службы и службы в любых учреждениях, уменьшение своих потребностей, надежда на то, что правящие классы «одумаются» и сами откажутся от владения землей и другой собственностью.

В этих «рецептах» обнаружилась с полной очевидностью вся несостоятельность толстовской проповеди пассивизма, непротивления злу насилием и личного самоусовершенствования.

В статьях, публикуемых в настоящем томе, со всей остротой проявились кричащие противоречия взглядов Толстого.

Статьи Толстого «Рабство нашего времени», «Единственное средство», «Где выход?» и другие показывают, как «борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении злу», привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гг.»[61]

Статьи Толстого «О веротерпимости», «К духовенству» и другие еще раз убеждают в том, что его «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс».[62]

«Рабство нашего времени», «Где выход?», «Корень зла», «Неужели это так надо?» и другие работы Толстого о земельном вопросе свидетельствуют, что его «отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем землевладении и его политическом орудии власти, т. е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям».[63] Они показывают, что у Толстого «обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат».[64]

Всей душой сочувствуя трудовому народу, со всей страстью разоблачая его угнетателей, Толстой в то же время был далек от понимания истинных задач и целей революционной борьбы народа. Его обращения к народу, его призывы к трудящимся массам отказаться от участия в революции, вооруженной борьбе — играли вреднейшую, реакционнейшую роль. Вот почему в самый разгар первой русской революции В. И. Ленин горячо поддерживал выступления Горького против «толстовщины» и «достоевщины». Вот почему В. И. Ленин говорил, что «Толстому ни «пассивизма», ни анархизма, ни народничества, ни религии спускать нельзя».[65]

Произведения, публикуемые в 34-м томе, показывают, насколько велик был Толстой в постановке острейших вопросов своей эпохи, в стремлении «дойти до корня», обнаружить истинную причину бедствий, испытываемых трудовым народом в капиталистическом обществе. В то же время очевидно, что Толстой не смог понять ни причин кризиса, ни общественной силы, способной избавить трудовой народ от рабства старого и нового времени. И в этом заключалась слабость взглядов Толстого.

В. И. Ленин учит различать в наследии Толстого разум писателя и его предрассудки. В. И. Ленин учит правильному пониманию исторических причин и сущности противоречий Толстого, учит понимать, чьи надежды, настроения и чаяния выразились в произведениях великого писателя.

Критикуя и отвергая все то, что в наследии Толстого составляет «исторический грех толстовщины» (Ленин), мы высоко ценим и любим писателя Толстого, могучего обличителя, великого критика капитализма, бесстрашного обвинителя самодержавия, борца против всякого гнета, всякой эксплоатации человека человеком, гениального художника, рядом с которым, — по определению В. И. Ленина, — «в Европе поставить некого».[66]

К. Ломунов

Редакционные пояснения к тридцать четвертому тому.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, что всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [*1, 2, 3 и т. д. неразобр.*],где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора даются с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что печатается впервые; ** — что напечатано было впервые после смерти Толстого.

Фальшивый купон

Часть первая.

I.

Федор Михайлович Смоковников, председатель казенной палаты, человек неподкупной честности, и гордящийся этим, и мрачно либеральный и не только свободномыслящий, но ненавидящий всякое проявление религиозности, которую он считал остатком суеверий, вернулся из палаты в самом дурном расположении духа. Губернатор написал ему преглупую бумагу, по которой можно было предположить замечание, что Федор Михайлович поступил нечестно. Федор Михайлович очень озлобился и тут же написал бойкий и колкий ответ.

Дома, Федору Михайловичу казалось, всё делалось ему наперекор.

Было без 5 минут 5 часов. Он думал, что сейчас же подадут обедать, но обед не был еще готов. Федор Михайлович хлопнул дверью и ушел в свою комнату. В дверь постучался кто-то. «Кой чорт еще там», подумал он и крикнул:

— Кто там еще?

В комнату вошел гимназист пятого класса, пятнадцатилетний мальчик, сын Федора Михайловича.

— Зачем ты?

— Нынче первое число.

— Что? Деньги?

Было заведено, что каждое первое число отец давал сыну жалованья на забавы 3 рубля. Федор Михайлович нахмурился, достал бумажник, поискал и вынул купон в 21/2рубля, потом достал штучку с серебром и отсчитал еще 50 копеек. Сын молчал и не брал.

— Папа, пожалуйста, дай мне вперед.

— Что?

— Я не просил бы, да я занял на честное слово, обещал.

Я, как честный человек, не могу... мне надо еще три рубля, право, не буду просить... не то что не буду просить, а просто... пожалуйста, папа.

— Тебе сказано...

— Да папа, ведь один раз...

— Ты получаешь жалованья 3 рубля, и всё мало. Я в твои года не получал и 50 копеек.

— Теперь все товарищи мои больше получают. Петров, Иваницкий 50 рублей получают.

— А я тебе скажу, что если ты так поведешь себя, ты будешь мошенник. Я сказал.

— Да что же сказали. Вы никогда не войдете в мое положение, я должен буду подлецом быть. Вам хорошо.

— Пошел вон, шалопай. Вон.

Федор Михайлович вскочил и бросился к сыну.

— Вон. Сечь вас надо.

Сын испугался и озлобился, но озлобился больше, чем испугался, и, склонив голову, скорым шагом пошел к двери. Федор Михайлович не хотел бить его, но он был рад своему гневу и долго еще кричал, провожая сына, бранные слова.

Когда пришла горничная и сказала, что готово обедать, Федор Михайлович встал.

— Наконец, — сказал он. — Мне уже и есть не хочется.

И насупившись пошел к обеду.

За столом жена заговорила с ним, но он так буркнул сердито короткий ответ, что она замолчала. Сын тоже не подымал глаз от тарелки и молчал. Поели молча и молча встали и разошлись.

После обеда гимназист вернулся в свою комнату, вынул из кармана купон и мелочь и бросил на стол, а потом снял мундир, надел куртку. Сначала гимназист взялся за истрепанную латинскую грамматику, потом запер дверь на крючок, смел рукой со стола в ящик деньги, достал из ящика гильзы, насыпал одну, заткнул ватой и стал курить.

Просидел он над грамматикой и тетрадями часа два, ничего не понимая, потом встал и стал, топая пятками, ходить по комнате и вспоминать всё что было с отцом. Все ругательные

слова отца, особенно его злое лицо, вспоминались ему, точно он сейчас слышал и видел его. «Шалопай. Сечь надо». И что больше он вспоминал, то больше злился на отца. Вспомнил он, как отец сказал ему: «Вижу, чтò из тебя выйдет — мошенник. Так и знай». — «И выйдешь мошенником, если так. Ему хорошо. Он забыл, как был модод. Ну, какое же я сделал преступление? Просто поехал в театр, не было денег, взял у Пети Грушецкого. Что же тут дурного? Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать. Вот когда у него чего-нибудь нет — это крик на весь дом, а я мошенник. Нет, хоть он и отец, а не люблю я его. Не знаю, все ли так, но я не люблю».

В дверь постучалась горничная. Она принесла записку.

— Велели ответ непременно.

В записке было написано: «Вот уже третий раз я прошу тебя возвратить взятые тобой у меня 6 рублей, но ты отвиливаешь.

Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать с сим посланным. Мне самому нужда дозарезу. Неужели же ты не можешь достать?

Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирающий или уважающий тебя товарищ

Грушецкий».

«Вот и думай. Экая свинья какая. Не может подождать. Попытаюсь еще».

Митя пошел к матери. Это была последняя надежда. Мать его была добрая и не умела отказывать, и она, может быть, и помогла бы ему, но нынче она была встревожена болезнью меньшого, двухлетнего Пети. Она рассердилась на Митю за то, что он пришел и зашумел, и сразу отказала ему.

Он что-то проворчал себе под нос и пошел из двери. Ей стало жалко сына, и она воротила его.

— Постой, Митя, — сказала она. — У меня нет теперь, но завтра я достану.

Но в Мите всё еще кипела злоба на отца.

— Зачем мне завтра, когда нужно нынче? Так знайте, что я пойду к товарищу.

Он вышел, хлопнув дверью.

«Больше делать нечего, он научит, где часы заложить», подумал он, ощупывая часы в кармане.

Митя достал из стола купон и мелочь, надел пальто и пошел к Махину.

II.

Махин был гимназист с усами. Он играл в карты, знал женщин, и у него всегда были деньги. Он жил с теткой. Митя знал, что Махин нехороший малый, но, когда он был с ним, он невольно подчинялся ему. Махин был дома и собирался в театр: в грязной комнатке его пахло душистым мылом и одеколоном.

— Это, брат, последнее дело, — сказал Махин, когда Митя рассказал ему свое горе, показал купон и пятьдесят копеек и сказал, что ему нужно девять рублей. — Можно и часы заложить, а можно и лучше, — сказал Махин, подмигивая одним глазом.

— Как лучше?

— А очень просто. Махин взял купон. —

— Поставить единицу перед 2 р. 50, и будет 12 р. 50.

— Да разве бывают такие?

— А как же, а на тысячерублевых билетах. Я один спустил такой.

— Да не может быть?

— Так что ж, валить? — сказал Махин, взяв перо и расправив купон пальцем левой руки.

— Да ведь это нехорошо.

— И, вздор какой.

«И точно», подумал Митя, и ему вспомнились опять ругательства отца: мошенник. «Вот и буду мошенник». Он посмотрел в лицо Махину. Махин смотрел на него, спокойно улыбаясь.

— Что же, валить?

— Вали.

Махин старательно вывел единицу.

— Ну, вот теперь пойдем в магазин. Вот тут на углу: фотографические принадлежности. Мне кстати рамка нужна, вот

на эту персону.

Он достал фотографическую карточку большеглазой девицы с огромными волосами и великолепным бюстом.

— Какова душка? А?

— Да, да. Как же...

— Очень просто. Пойдем.

Махин оделся, и они вместе вышли.

III.

В входной двери фотографического магазина зазвонил колокольчик. Гимназисты вошли, оглядывая пустой магазин с полками, установленными принадлежностями, и с витринами на прилавках. Из задней двери вышла некрасивая с добрым лицом женщина и, став за прилавком, спросила, что нужно.

— Рамочку хорошенькую, мадам.

— На какую цену? — спросила дама, быстрой ловко перебирая руками в митенках, с опухшими сочленениями пальцев, рамки разных фасонов. — Эти на 50 копеек, а эти подороже. А вот это очень миленький, новый фасон, рубль двадцать.

— Ну, давайте эту. Да нельзя ли уступить? Возьмите рубль.

— У нас не торгуются, — достойно сказала дама.

— Ну, Бог с вами, — сказал Махин, кладя на витрину купон.

— Давайте рамочку и сдачу, да поскорее. Нам в театр не опоздать.

— Еще успеете, — сказала дама и стала близорукими глазами рассматривать купон.

— Мило будет в этой рамочке. А? — сказал Махин, обращаясь к Мите.

— Нет ли у вас других денег? — сказала продавщица.

— То-то и горе, что нету. Мне дал отец, надо же разменять.

— Да неужели нет рубля двадцати?

— Есть 50 копеек. Да что же, вы боитесь, что мы вас обманываем фальшивыми деньгами?

— Нет, я ничего.

— Так давайте назад. Мы разменяем.

— Так сколько вам?

— Да стало-быть, одиннадцать с чем-то.

Продавщица пощелкала на счетах, отперла конторку, достала 10 рублей бумажкой и, пошевелив рукой в мелочи, собрала еще 6 двугривенных и два пятака.

— Потрудитесь завернуть, — сказал Махин, неторопливо взяв деньги.

— Сейчас.

Продавщица завернула и завязала бечевкой.

Митя перевел дыхание только, когда колокольчик входной двери зазвенел за ними, и они вышли на улицу.

— Ну вот тебе 10 рублей, а эти дай мне. Я тебе отдам.

И Махин ушел в театр, а Митя пошел к Грушецкому и рассчитался с ним.

IV.

Через час после ухода гимназистов хозяин магазина пришел домой и стал считать выручку.

— Ах, дура косолапая! Вот дура-то, — закричал он на свою жену, увидав купон и тотчас же заметив подделку. — И зачем брать купоны.

— Да ты сам, Женя, брал при мне, и именно двенадцатирублевые, — сказала жена, сконфуженная, огорченная и готовая плакать. — Я и сама не знаю, как они меня обморочили, — говорила она, — гимназисты. Красивый молодой человек, казался такой комильфотный.

— Комильфотная дура, — продолжал браниться муж, считая кассу. — Я беру купон, так знаю и вижу, что на нем написано. А ты, я чай, только рожу гимназистов рассматривала на старости лет.

Этого не выдержала жена и сама рассердилась.

— Настоящий мужчина! Только других осуждать, а сам проиграешь в карты 54 рубля — это ничего.

— Я — другое дело.

— Не хочу с тобой говорить, — сказала жена и ушла в свою комнату и стала вспоминать, как в ее семье не хотели выдавать

ее замуж, считая мужа ее гораздо ниже по положению, и как она одна настояла на этом браке; вспомнила про своего умершего ребенка, равнодушие мужа к этой потере и возненавидела мужа так, что подумала о том, как бы хорошо было, если бы он умер. Но, подумав это, она испугалась своих чувств и поторопилась одеться и уйти. Когда ее муж вернулся в квартиру, жены уже не было. Она, не дожидаясь его, оделась и одна уехала к знакомому учителю французского языка, который звал нынче на вечер.

V.

У учителя французского языка, русского поляка, был парадный чай с сладкими печениями, а потом сели за несколько столов в винт.

Жена продавца фотографических принадлежностей села с хозяином, офицером и старой, глухой дамой в парике, вдовой содержателя музыкального магазина, большой охотницей и мастерицей играть. Карты шли к жене продавца фотографических принадлежностей. Она два раза назначила шлем. Подле нее стояла тарелочка с виноградом и грушей, и на душе у нее было весело.

— Что же Евгений Михайлович не идет? — спросила хозяйка с другого стола. — Мы его пятым записали.

— Верно, увлекся счетами, — сказала жена Евгенья Михайловича, — нынче расчеты за провизию, за дрова.

И вспомнив про сцену с мужем, она нахмурилась, и ее руки в митенках задрожали от злобы на него.

— Да вот легок на помине, — сказал хозяин, обращаясь к входившему Евгенью Михайловичу. — Что запоздали?

— Да разные дела, — отвечал Евгений Михайлович веселым голосом, потирая руки. И, к удивлению жены, он подошел к ней и сказал:

— А знаешь, я купон-то спустил.

— Неужели?

— Да, мужику за дрова.

И Евгений Михайлович рассказал всем с большим негодованием, — в рассказ его включала подробности его жена, — как надули его жену бессовестные гимназисты.

— Ну-с, теперь за дело, — сказал он, усаживаясь за стол, когда пришел его черед, и тасуя карты.

VI.

Действительно, Евгений Михайлович спустил купон за дрова крестьянину Ивану Миронову.

Иван Миронов торговал тем, что покупал на дровяных складах одну сажень дров, развозил ее по городу и выкладывал так, что из сажени выходило 5 четверок, которые он продавал за ту же цену, какую стоила четверть на дровяном дворе. В этот несчастный для Ивана Миронова день он рано утром вывез осьмушку и, скоро продав, наложил другую еще осьмушку и надеялся продать, но провозил до вечера, добиваясь покупателя, но никто не купил. Он всё попадал на опытных городских жителей, которые знали обычные проделки мужиков, продающих дрова, и не верили тому, что он привез, как он уверял, дрова из деревни. Сам он проголодался, иззяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке; мороз к вечеру дошел до 20 градусов; лошаденка, которую он не жалел, потому что собирался продать ее драчам (живодерам), совсем стала. Так что Иван Миронов готов был даже с убытком отдать дрова, когда ему встретился ходивший за табаком в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович.

— Возьмите, барин, задешево отдам. Лошаденка стала совсем.

— Да ты откуда?

— Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие.

— Знаем мы вас. Ну, что возьмешь?

Иван Миронов запросил, стал сбавлять и, наконец, отдал за свою цену.

— Только для вас, барин, что близко везти, — сказал он.

Евгений Михайлович не очень торговался, радуясь мысли, что он спустит купон. Кое-как, сам подтягивая за оглобли, Иван

Миронов ввез дрова во двор и сам разгрузил их в сарай. Дворника не было. Иван Миронов сначала замялся брать купон, по Евгений Михайлович так убедил его и казался таким важным барином, что он согласился взять.

Войдя с заднего крыльца в девичью, Иван Миронов перекрестился, оттаял сосульки с бороды и, заворотив полу кафтана, достал кожаный кошелек и из него 8 рублей 50 копеек и отдал сдачу, а купон, завернув в бумажку, положил в кошелек.

Поблагодарив, как водится, барина, Иван Миронов, разгоняя уж не кнутом, но кнутовищем насилу передвигавшую ноги, объиндевевшую, обреченную на смерть клячонку, порожнем погнал к трактиру.

В трактире Иван Миронов спросил себе на 8 копеек вина и чая и, отогревшись и даже распотевши, в самом веселом расположении духа беседовал с сидевшим у его же стола дворником. Он разговорился с ним, рассказал ему все свои обстоятельства. Рассказал, что он из деревни Васильевского, в 12 верстах от города, что он отделенный от отца и братьев и живет теперь с женой и двумя ребятами, из которых старший только ходил в училище, а еще не помогал ничего. Рассказал, что он здесь стоит на фатере(квартире) и завтра пойдет на конную продаст своего одра и присмотрит, а если и придется — купит лошадку. Рассказал, что у него набралось теперь без рубля четвертная и что у него половина денег в купоне. Он достал купон и показал дворнику. Дворник был безграмотный, но сказал, что он менивал для жильцов такие деньги, что деньги хорошие, но бывают поддельные, и потому советовал для верности отдать здесь у стойки. Иван Миронов отдал половому и велел принести сдачи, но половой не принес сдачу, а пришел лысый, с глянцовитым лицом приказчик с купоном в пухлой руке.

— Деньги ваши не годятся, — сказал он, показывая купон, но не отдавая его.

— Деньги хорошие, мне барин дал.

— То-то что не хорошие, а поддельные.

— А поддельные, так давай их сюда.

— Нет, брат, вашего брата учить надо. Ты с мошенниками подделал.

— Давай деньги, какую ты имеешь полную праву?

— Сидор! кликни-ка полицейского, — обратился буфетчик к половому.

Иван Миронов был выпивши. А выпивши он был неспокоен. Он схватил приказчика за ворот и закричал:

— Давай назад, я пойду к барину. Я знаю, где он.

Приказчик рванулся от Ивана Миронова, и рубаха его затрещала.

— А, ты так. Держи его.

Половой схватил Ивана Миронова, и тут же явился городовой. Выслушав, как начальник, в чем дело, он тотчас же решил его.

— В участок.

Купон городовой положил себе в портмонэ и вместе с лошадью отвел Ивана Миронова в участок.

VII.

Иван Миронов переночевал в участке с пьяными и ворами. Уже около полудня его потребовали к околоточному. Околоточный допросил его и послал с городовым к продавцу фотографических принадлежностей. Иван Миронов запомнил улицу и дом.

Когда городовой вызвал барина и представил ему купон и Ивана Миронова, утверждавшего, что этот самый барин дал ему купон, Евгений Михайлович сделал удивленное и потом строгое лицо.

— Что ты, видно с ума спятил. В первый раз его вижу.

— Барин, грех, умирать будем, — говорил Иван Миронов.

— Что с ним сделалось? Да ты, верно, заспал. Ты кому-нибудь другому продал, — говорил Евгений Михайлович. — Впрочем, постойте, я пойду у жены спрошу, брала ли она вчера дрова.

Евгений Михайлович вышел и тотчас же позвал дворника, красивого, необыкновенно сильного и ловкого щеголя, веселого малого Василья, и сказал ему, что если у него будут спрашивать,

где взяты последние дрова, чтобы он говорил, что в складе, а что у мужиков дров не покупали.

— А то тут мужик показывает, что я ему фальшивый купон дал. Мужик бестолковый, Бог знает что говорит, а ты человек с понятием. Так и говори, что дрова мы покупаем только в складе. А это я тебе давно хотел дать на куртку, — прибавил Евгений Михайлович и дал дворнику 5 рублей.

Василий взял деньги, блеснул глазами на бумажку, потом на лицо Евгения Михайловича, тряхнул волосами и слегка улыбнулся.

— Известно, народ бестолковый. Необразованность. Не извольте беспокоиться. Я уж знаю, как сказать.

Сколько и как слезно ни умолял Иван Миронов Евгения Михайловича признать свой купон и дворника подтвердить его слова, и Евгений Михайлович и дворник стояли на своем: никогда не брали дров с возов. И городовой свел назад в участок Ивана Миронова, обвиняемого в подделке купона.

Только по совету сидевшего с ним пьяного писаря, отдав пятерку околоточному, Иван Миронов выбрался из-под караула без купона и с семью рублями вместо двадцати пяти, которые у него были вчера. Иван Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецки пьяный приехал к жене.

Жена была беременная на сносях и больная. Она начала ругать мужа, он оттолкнул ее, она стала бить его. Он, не отвечая, лег брюхом на нары и громко заплакал.

Только на другое утро жена поняла, в чем было дело, и, поверив мужу, долго кляла разбойника барина, обманувшего ее Ивана. И Иван, протрезвившись, вспомнил, что ему советовал мастеровой, с которым он пил вчера, и решил итти к аблакату жаловаться.

VIII.

Адвокат взялся за дело не столько из-за денег, которые он мог получить, сколько из-за того, что поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика.

На суд явились обе стороны, и дворник Василий был свидетелем. На суде повторилось то же. Иван Миронов поминал про Бога, про то, что умирать будем. Евгений Михайлович, хотя и мучался сознанием гадости и опасности того, что он делал, не мог уже теперь изменить показания и продолжал с внешне спокойным видом всё отрицать.

Дворник Василий получил еще 10 рублей и с улыбкой спокойно утверждал, что видом не видал Ивана Миронова. И когда его привели к присяге, хотя и робел внутренно, наружно спокойно повторил за вызванным старичком священником слова присяги, на кресте и святом Евангелии клянясь в том, что будет говорить всю правду.

Дело кончилось тем, что судья отказал Ивану Миронову в иске, положил взыскать с него 5 рублей судебных издержек, которые Евгений Михайлович великодушно простил ему. Отпуская Ивана Миронова, судья прочел ему наставление о том, чтобы он вперед был осторожнее в взведении обвинений на почтенных людей и был бы благодарен за то, что ему простили судебные издержки и не преследуют его за клевету, за которую он отсидел бы месяца три в тюрьме.

— Благодарим покорно, — сказал Иван Миронов и, покачивая головой и вздыхая, вышел из камеры.

Всё это, казалось, кончилось хорошо для Евгения Михайловича и дворника Василья. Но это только казалось так. Случилось то, чего никто не видел, но что было важнее всего того, что люди видели.

Василий уже третий год ушел из деревни и жил в городе. С каждым годом он подавал отцу всё меньше и меньше и не выписал к себе жену, не нуждаясь в ней. У него здесь, в городе, жен, и не таких, как его нехалява, было сколько хочешь. С каждым годом Василий всё больше и больше забывал деревенский закон и освоивался с городскими порядками. Там всё было грубо, серо, бедно, неурядливо, здесь всё было тонко, хорошо, чисто, богато, всё в порядке. И он всё больше и больше уверялся, что деревенские живут без понятия, как звери лесные, здесь же — настоящие люди. Читал он книжки хороших сочинителей, романы, ходил на представления в народный дом.

В деревне и во сне того не видишь. В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не ешь, не щеголяй, а здесь люди умные, ученые — значит, знают настоящие законы, — живут в свое удовольствие. И всё хорошо. До дела с купоном Василий всё не верил, что у господ нет никакого закона насчет того, как жить. Ему всё казалось, что он не знает их закона, а закон есть. Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от которой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а, напротив, вышло еще 10 рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов, и надо жить в свое удовольствие. Так он и жил, так и продолжал жить. Сначала он пользовался только на покупках жильцов, но этого [было] мало для всех его расходов, и он где мог стал таскать деньги и ценные вещи из квартир жильцов и украл кошелек Евгения Михайловича. Евгений Михайлович уличил его, но не стал подавать в суд, а расчел его.

Домой Василию итти не хотелось, и он остался жить в Москве с своей любезной, отыскивая место. Место нашлось дешевое к лавочнику в дворники. Василий поступил, но на другой же месяц попался в краже мешков. Хозяин не стал жаловаться, а побил Василья и прогнал. После этого случая места уже не находилось, деньги проживались, потом стала проживаться одежа, и кончилось тем, что остался один рваный пиджак, штаны и опорки. Любезная бросила его. Но Василий не утратил свое бодрое, веселое расположение и, дождавшись весны, пошел пеший домой.

IX.

Петр Николаевич Свентицкий, маленький, коренастенький человечек в черных очках (у него болели глаза, ему угрожала полная слепота), встал, по обыкновению, до света и, выпив стакан чаю, надел крытый, отороченный мерлушкой полушубочек и пошел по хозяйству.

Петр Николаевич был таможенным чиновником и нажил там 18 тысяч рублей. Лет 12 тому назад он вышел в отставку не совсем по своей воле и купил именьице промотавшегося

юноши-помещика. Петр Николаич был на службе еще женат. Жена его была бедная сирота старого дворянского рода, крупная, полная, красивая женщина, не давшая ему детей. Петр Николаич во всех делах был человек основательный и настойчивый. Ничего не зная о хозяйстве (он был сын польского шляхтича), он так хорошо занялся хозяйством, что разоренное имение в 300 десятин через 10 лет стало образцовым. Все постройки у него, от дома до амбара и навеса над пожарной трубой, были прочные, основательные, крытые железом и во-время крашенные. В инструментом сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны. Сбруя была вымазана. Лошади были не крупные, почти всё своего завода — саврасой масти, сытенькие, крепенькие, одна в одну. Молотилка работала в крытой риге, корм убирался в особенном сарае, навозная жижа стекала в мощеную яму. Коровы были тоже своего завода, не крупные, но молочные. Свиньи были аглицкие. Был птичник и особенно ноской породы куры. Сад фруктовый был обмазан и подсажен. Везде всё было хозяйственно, прочно, чисто, исправно. Петр Николаич радовался на свое хозяйство и гордился тем, что всего этого он достигал не притеснением крестьян, а, напротив, строгой справедливостью к ним. Он даже среди дворян держался среднего, скорее либерального, чем консервативного, взгляда и всегда перед крепостниками защищал народ. Будь с ними хорош, и они будут хороши. Правда, он не спускал промахов и ошибок рабочих, иногда и сам поталкивал их, требовал работы, но зато помещения, харчи были самые хорошие, жалованье всегда было выдано во-время, и в праздники он подносил водку.

Ступая осторожно по талому снегу, — это было в феврале, — Петр Николаич направился мимо рабочей конюшни к избе, где жили рабочие. Было еще темно; еще темнее от тумана, но в окнах рабочей избы был виден свет. Рабочие вставали. Он намеревался поторопить их: по наряду им надо было на шестером ехать за последними дровами в рощу.

«Это что?» подумал он, увидав отворенную дверь в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отозвался. Петр Николаич вошел в конюшню.

— Эй, кто тут?

Никто не отзывался. Было темно, под ногами мягко, и пахло навозом. Направо от двери в стойле стояла пара молодых саврасых. Петр Николаич протянул руку — пусто. Он тронул ногой. Не легла ли? Нога ничего не встретила. «Куда ж они ее вывели?» подумал он. Запрягать — не запрягали, сани еще все наружи. Петр Николаич вышел из двери и крикнул громко:

— Эй, Степан.

Степан был старший рабочий. Он как раз выходил из рабочей.

— Яу! — откликнулся весело Степан. — Это вы, Петр Николаич? Сейчас ребята идут.

— Что у вас конюшня отперта?

— Конюшня? Не могу знать. Эй, Прошка, давай фонарь.

Прошка прибежал с фонарем. Вошли в конюшню. Степан сразу понял.

— Это воры были, Петр Николаич. Замок сбит.

— Врешь?

— Свели, разбойники. Машки нет, Ястреба нет. Ястреб здесь. Пестрого нет. Красавчика нет.

Трех лошадей не было. Петр Николаич ничего не сказал. Нахмурился и тяжело дышал.

— Ох, попался бы мне. Кто караулил?

— Петька. Петька проспал.

Петр Николаич подал в полицию, к становому, земскому начальнику, разослал своих. Лошадей не нашли.

— Поганый народ! — говорил Петр Николаич, — что сделали. Я ли им добро не делал. Погоди же ты. Разбойники, все разбойники. Теперь я не так с вами поведу дело.

X.

А лошади, тройка саврасых, были уже на местах. Одну, Машку, продали цыганам за 18 рублей, другого, Пестрого, променяли мужику за 40 верст, Красавчика загнали и зарезали. Продали шкуру за 3 рубля. Всему делу этому был руководчиком

Иван Миронов. Он служил у Петра Николаича и знал порядки Петра Николаича и решил вернуть свои денежки. И устроил дело.

После своего несчастья с фальшивым купоном Иван Миронов долго пил и пропил бы всё, если бы жена не спрятала от него хомуты, одежу и всё, что можно было пропить. Во время пьянства своего Иван Миронов не переставая думал не только о своем обидчике, но о всех господах и господишках, которые только тем живут, что обирают нашего брата. Пил один раз Иван Миронов с мужиками из-под Подольска. И мужики дорогой, пьяные, рассказали ему, как они свели лошадей у мужика. Иван Миронов стал ругать конокрадов за то, что они обидели мужика. — «Грех это, — говорил он, — у мужика лошадка всё равно брат, а ты его обездолишь. Коли уводить, так у господ. Эти собаки того стоят». Дальше, больше, разговорились, и подольские мужики сказали, что у господ свести лошадей хитро. Надо знать ходы, а без своего человека нельзя. Тогда Иван Миронов вспомнил про Свентицкого, у которого он жил в работниках, вспомнил, что Свентицкий не додал при расчете полтора рубля за сломанный шкворень, вспомнил и про саврасеньких лошадок, на которых он работал.

Автотипия начала первого автографа „Фальшивого купона”. *Размер подлинника*.

Иван Миронов сходил к Свентицкому как будто наниматься, а только затем, чтобы высмотреть и узнать всё. И узнав всё: что караульщика нет, что лошади в денниках, в конюшне, — подвел воров и сделал всё дело.

Поделив о подольскими мужиками выручку, Иван Миронов с пятью рублями приехал домой. Дома делать нечего было: лошади не было. И с той поры Иван Миронов стал водиться с конокрадами и цыганами.

XI.

Петр Николаич Свентицкий из всех сил старался найти вора. Без своего не могло быть сделано дело. И потому он стал подозревать своих и, разузнав у рабочих, кто не ночевал в эту ночь дома, узнал, что не ночевал Прошка Николаев — молодой малый, только что пришедший из военной службы солдат, красивый, ловкий малый, которого Петр Николаич брал для выездов вместо кучера. Становой был приятель Петра Николаича, он знал и исправника, и предводителя, и земского начальника, и следователя. Все эти лица бывали у него в именины и знали его вкусные наливки и соленые грибки — белые, опенки и грузди. Все жалели его и старались помочь ему.

— Вот, а вы защищаете мужиков, — говорил становой. — Правду я говорил, что хуже зверей. Без кнута и палки с ними ничего не поделаешь. Так вы говорите, Прошка, тот, что с вами кучером ездит?

— Да, он.

— Давайте его сюда.

Прошку призвали и стали допрашивать:

— Где был?

Прошка тряхнул волосами, блеснул глазами.

— Дома.

— Как же дома, все рабочие показывают, что тебя не было.

— Воля ваша.

— Да не в моей воле дело. А где ты был?

— Дома.

— Ну, хорошо же. Сотский, сведи его в стан.

— Воля ваша.

Так и не сказал Прошка, где был, а не сказал потому, что ночь он был у своего дружка, у Параши, и обещал не выдавать ее, и не выдал. Улик не было. И Прошку выпустили. Но Петр Николаич был уверен, что это всё дело Прокофья, и возненавидел его. Один раз Петр Николаич, взяв Прокофья за кучера, выслал его на подставу. Прошка, как и всегда делал, взял на постоялом дворе две меры овса. Полторы скормил, а на полмеры выпил. Петр Николаич узнал это и подал мировому судье. Мировой судья приговорил Прошку на 3 месяца в острог. Прокофий был самолюбив. Он считал себя выше людей и

гордился собой. Острог унизил его. Ему нельзя было гордиться перед народом, и он сразу упал духом.

Из острога Прошка вернулся домой не столько озлобленный против Петра Николаича, сколько против всего мира.

Прокофий, как говорили все, после острога опустился, стал лениться работать, стал пить и скоро попался в воровстве одежи у мещанки и попал опять в острог.

Петр же Николаич узнал об лошадях только то, что была найдена шкура с саврасого мерина, которую Петр Николаич признал за шкуру Красавчика. И эта безнаказанность воров еще больше раздражила Петра Николаича. Он не мог теперь без злобы видеть мужиков и говорить про них и где мог старался прижать их.

XII.

Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем, жена его Мария Васильевна не могла простить ни себе, что поддалась обману, ни мужу за жестокие слова, которые он сказал ей, ни, главное, тем двум мальчишкам-негодяям, которые так ловко обманули ее.

С того самого дня, как ее обманули, она приглядывалась ко всем гимназистам. Раз она встретила Махина, но не узнала его, потому что он, увидав ее, сделал такую рожу, которая совсем изменила его лицо. Но Митю Смоковникова она, столкнувшись с ним нос с носом на тротуаре недели две после события, тотчас же узнала. Она дала ему пройти и, повернувшись, следом пошла за ним. Дойдя до его квартиры и узнав, чей он сын, она на другой день пошла в гимназию и в передней встретила законоучителя Михаила Введенского. Он спросил, что ей нужно. Она сказала, что желает видеть директора.

— Директора нет, он нездоров; может быть, я могу исполнить или передать ему?

Мария Васильевна решила всё рассказать законоучителю.

Законоучитель Введенский был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Еще в прошлом году он встретился в одном обществе с отцом Смоковникова и, столкнувшись о ним в

разговоре о вере, в котором Смоковников разбил его по всем пунктам и поднял на смех, решил обратить особенное внимание на сына и, найдя в нем такое же равнодушие к Закону Божию, как и в неверующем отце, стал преследовать его и даже провалил его на экзамене.

Узнав от Марии Васильевны про поступок молодого Смоковникова, Введенский не мог не почувствовать удовольствия, найдя в этом случае подтверждение своих предположений о безнравственности людей, лишенных руководства церкви, и решил воспользоваться этим случаем, как он старался себя уверить, для показания той опасности, которая угрожает всем отступающим от церкви, — в глубине же души для того, чтобы отомстить гордому и самоуверенному атеисту.

— Да, очень грустно, очень грустно, — говорил отец Михаил Введенский, поглаживая рукой гладкие бока наперсного креста. — Я очень рад, что вы передали дело мне; я, как служитель церкви, постараюсь не оставить молодого человека без наставлений, но и постараюсь как можно более смягчить назидание.

«Да, я сделаю так, как подобает моему званию», говорил себе отец Михаил, думая, что он, совершенно забыв недоброжелательство к себе отца, имеет в виду только благо и спасение юноши.

На следующий день на уроке Закона Божия отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист.

— Поступок дурной, постыдный, — сказал он, — но запирательство еще хуже. Если, чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться.

Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса.

Мать Мити, узнав про это, выпытала вою правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила 12 рублей 50 копеек хозяйке и уговорила ее скрыть

имя гимназиста. Сыну же велела всё отрицать и ни в каком случае не признаваться отцу.

И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав всё дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудителен и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение.

— Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного, правдивого мальчика.

— Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан.

— Наплевать мне на ваш сан.

— Ваши превратные понятия, — дрожа подбородком, так что тряслась его редкая бородка, заговорил законоучитель, — известны всему городу.

Господа, батюшка, — старался успокоить спорящих директор. Но успокоить их нельзя было.

— Я по долгу своего сана должен заботиться о религиозно-нравственном воспитании.

— Полноте притворяться. Разве я не знаю, что вы ни в чох, ни в смерть не верите?

— Я считаю недостойным себя говорить с таким господином, как вы, — проговорил отец Михаил, оскорбленный последними словами Смоковникова в особенности потому, что он знал, что они справедливы. Он прошел полный курс духовной академии и потому давно уже не верил в то, что исповедывал и проповедывал, а верил только в то, что все люди должны принуждать себя верить в то, во что он принуждал себя верить.

Смоковников не столько был возмущен поступком законоучителя, сколько находил, что это хорошая иллюстрация того клерикального влияния, которое начинает проявляться у нас, и всем рассказывал про этот случай.

Отец же Введенский, видя проявления утвердившегося нигилизма и атеизма не только в молодом, но старом поколении, всё больше и больше убеждался в необходимости борьбы с

ним. Чем больше он осуждал неверие Смоковникова и ему подобных, тем больше он убеждался в твердости и незыблемости своей веры и тем меньше чувствовал потребности проверять ее или согласовать ее с своей жизнью. Его вера, признаваемая всем окружающим его миром, была для него главным орудием борьбы против ее отрицателей.

Эти мысли, вызванные в нем столкновением с Смоковниковым, вместе с неприятностями по гимназии, происшедшими от этого столкновения, — именно, выговор, замечание, полученное от начальства, — заставили его принять давно уже, со смерти жены, манившее его к себе решение: принять монашество и избрать ту самую карьеру, по которой пошли некоторые из его товарищей по академии, из которых один был уже архиереем, а другой архимандритом на вакансии епископа.

К концу академического года Введенский покинул гимназию, постригся в монахи под именем Мисаила и очень скоро получил место ректора семинарии в поволжском городе.

XIII.

Между тем Василий дворник шел большой дорогой на юг.

День он шел, а на ночь десятский отводил его на очередную квартиру. Хлеб ему везде давали, а иногда и сажали за стол ужинать. В одной деревне Орловской губернии, где он ночевал, ему сказали, что купец, снявший у помещика сад, ищет молодцов караульных. Василью надоело нищенствовать, а домой итти не хотелось, и он пошел к купцу-садовнику и нанялся караульщиком за пять рублей в месяц.

Жизнь в шалаше, особенно после того, как стала поспевать грушевка и с барского гумна караульщики принесли большущие вязанки свежей, из-под молотилки, соломы, была очень приятна Василью. Лежи целый день на свежей, пахучей соломе подле кучек, еще более, чем солома, пахучих падали ярового и зимового яблока, поглядывай, не забрались ли где ребята за яблоками, посвистывай и распевай песни, А песни петь Василий был мастер. И голос у него был хороший. Придут с деревни

бабы, девки за яблоками. Пошутит с ними Василий, отдаст, как какая приглянется, побольше или поменьше яблок за яйца или копеечки — и опять лежи; только сходи позавтракать, пообедать, поужинать.

Рубаха на Василье была одна розовая ситцевая, и та в дырах, на ногах ничего не было, но тело было сильное, здоровое, и, когда котелок с кашей снимали с огня, Василий съедал за троих, так что старик-караульщик только дивился на него. По ночам Василий не спал и либо свистал, либо покрикивал и, как кошка, далеко в темноте видел. Раз забрались с деревни большие ребята трясти яблоки. Василий подкрался и набросился на них; хотели они отбиться, да он расшвырял их всех, а одного привел в шалаш и сдал хозяину.

Первый шалаш Василья был в дальнем саду, а второй шалаш, когда грушевка сошла, был в 40 шагах от барского дома. И в этом шалаше Василью еще веселее было. Целый день Василий видел, как господа и барышни играли, ездили кататься, гуляли, а по вечерам и ночам играли на фортепьяно, на скрипке, пели, танцовали. Видел он, как барышни с студентами сидели на окнах и ласкались и потом одни шли гулять в темные липовые аллеи, куда только полосами и пятнами проходил лунный свет. Видел он, как бегали слуги с едой и питьем и как повара, прачки, приказчики, садовники, кучера — все работали только затем, чтобы кормить, поить, веселить господ. Заходили иногда молодые господа и к нему в шалаш, и он отбирал им и подавал лучшие, наливные и краснобокие яблоки, и барышни тут же, хрустя зубами, кусали их и хвалили и что-то говорили — Василий понимал, что об нем — по-французски и заставляли его петь.

И Василий любовался на эту жизнь, вспоминая свою московскую жизнь, и мысль о том, что всё дело в деньгах, всё больше и больше западала ему в голову.

И Василий стал всё больше и больше думать о том, как бы сделать, чтобы сразу захватить побольше денег. Стал он вспоминать, как он прежде пользовался, и решил, что не так надо делать, что надо не так, как прежде, ухватить где плохо лежит, а вперед обдумать, вызнать и сделать чисто, чтобы

никаких концов не оставить. К рожеству богородицы сняли последнюю антоновку. Хозяин попользовался хорошо и всех караульщиков и Василья расчел и отблагодарил.

Василий оделся — молодой барин подарил ему куртку и шляпу — и не пошел домой, очень тошно ему было думать о мужицкой, грубой жизни, — а вернулся назад в город с пьющими солдатиками, которые вместе с ним караулили сад. В городе он решил ночью взломать и ограбить ту лавку, у хозяина которой он жил и который прибил его и прогнал без расчета. Он знал все ходы и где были деньги, солдатика приставил караулить, а сам взломал окно со двора, пролез и выбрал все деньги. Дело было сделано искусно, и следов никаких не нашли. Денег вынул 370 рублей. 100 рублей Василий дал товарищу, а с остальными уехал в другой город и там кутил с товарищами и товарками.

XIV.

Между тем Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным конокрадом. Афимья, его жена, прежде ругавшая его за плохие дела, как она говорила, теперь была довольна и гордилась мужем, тем, что у него тулуп крытый и у ней самой полушалок и новая шуба.

В деревне и в округе все знали, что ни одна кража лошадей не обходилась без него, но доказать на него боялись, и, когда и бывало на него подозрение, он выходил чист и прав. Последняя кража его была из ночного в Колотовке. Когда мог, Иван Миронов разбирал, у кого красть, и больше любил брать у помещиков и купцов. Но и у помещиков и купцов было труднее. И потому, когда не подходили помещичьи и купеческие, он брал и у крестьян. Так он и захватил в Колотовке из ночного каких попало лошадей. Сделал дело не он сам, но подговоренный им ловкий малый Герасим. Мужики хватились лошадей только на заре и бросились искать по дорогам. Лошади же стояли в овраге, в казенном лесу. Иван Миронов намеревался продержать их тут до другой ночи, а ночью махнуть за 40 верст к знакомому дворнику. Иван Миронов проведал Герасима в лесу, принес ему пирога и водки и пошел домой лесной тропинкой, где надеялся

никого не встретить. На беду его он столкнулся с сторожем-солдатом.

— Али по грибы ходил? — сказал солдат.

— Да нет ничего нынче, — отвечал Иван Миронов, показывая на лукошко, которое он взял на всякий случай.

— Да, нынче не грибное лето, — сказал солдат, — нешто постом пойдут, — и прошел мимо.

Солдат понял, что тут что-то неладно. Незачем было Ивану Миронову ходить рано утром по казенному лесу. Солдат вернулся и стал шарить по лесу. Около оврага он услыхал лошадиное фырканье и пошел потихоньку, к тому месту, откуда слышал. В овраге было притоптано, и был лошадиный помет.

Дальше сидел Герасим и ел что-то, а две лошади стояли привязанные у дерева.

Солдат побежал в деревню, взял старосту, сотского и двух понятых. Они с трех сторон подошли к тому месту, где был Герасим, и захватили его. Гераська не стал запираться и тотчас же спьяна во всем сознался. Рассказал, как его напоил и подговорил Иван Миронов и как обещался нынче прийти за лошадьми в лес. Мужики оставили лошадей и Герасима в лесу, а сами сделали засаду, выжидая Ивана Миронова. Когда смерклось, послышался свист. Герасим откликнулся. Только Иван Миронов стал спускаться с горы, на него набросились и повели в деревню. На утро перед Старостиной избой собралась толпа.

Ивана Миронова вывели и стали допрашивать. Степан Пелагеюшкин, высокий, сутуловатый, длиннорукий мужик, с орлиным носом и мрачным выражением лица, первый стал допрашивать. Степан был мужик одинокий, отбывший воинскую повинность. Только что отошел от отца и стал справляться, как у него увели лошадь. Проработав год в шахтах, Степан опять справил двух лошадей. Обеих увели.

— Говори, где мои кони, — мрачно глядя то в землю, то в лицо Ивана, заговорил, побледнев от злобы, Степан.

Иван Миронов отперся. Тогда Степан ударил его в лицо и разбил нос, из которого потекла кровь.

— Говори, убью!

Иван Миронов молчал, сгибая голову. Степан ударил своей длинной [рукой] раз, другой. Иван всё молчал, только откидывал то туда, то сюда голову.

— Все бей! — закричал староста.

И все стали бить. Иван Миронов молча упал и закричал:

— Варвары, черти, бейте на смерть. Не боюсь вас.

Тогда Степан схватил камень из заготовленной сажени и разбил Ивану Миронову голову.

XV.

Убийц Ивана Миронова судили. В числе этих убийц был Степан Пелагеюшкин. Его обвинили строже других, потому что все показали, что он камнем разбил голову Ивана Миронова. Степан на суде ничего не таил, объяснил, что когда у него увели последнюю пару лошадей, он заявил в стану, и следы по цыганам найти можно было, да становой его и на глаза не принял и не искал вовсе.

— Что ж нам с таким делать? Разорил нас.

— Почему ж другие не били, а вы? — сказал обвинитель.

— Неправда, все били, мир порешил убить. А я только прикончил. Что ж понапрасну мучить.

Судей поразило в Степане выражение совершенного спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его.

Степан действительно не видел ничего страшного в этом убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, как тогда, так ж при убийстве Ивана Миронова, он не видал ничего страшного. Убили, так убили. Нынче его, завтра меня.

Степана приговорили легко, к одному году тюрьмы. Одежу мужицкую с него сняли, положили под номером в цехгауз, а на него надели арестантский халат и коты.

Степан никогда не имел уважения к начальству, но теперь он вполне убедился, что всё начальство, все господа, все, кроме царя, который один жалел народ и был справедлив, все были разбойники, сосущие кровь из народа. Рассказы ссыльных и каторжных, с которыми он сошелся в тюрьме, подтверждали

такой взгляд. Один ссылался в каторгу за то, что обличал начальство в воровстве, другой — за то, что ударил начальника, когда стал занапрасно описывать крестьянское имущество, третий — за то, что подделал ассигнации. Господа, купцы, что ни делали, всё им сходило с рук, а мужика-бедняка за всё про всё посылали в остроги вшей кормить.

В остроге посещала его жена. Без него ей и так плохо было, а тут еще сгорела и совсем разорилась, стала с детьми побираться. Бедствия жены еще больше озлобили Степана. Он и в остроге был зол со всеми и раз чуть не зарубил топором кашевара, за что ему был прибавлен год. В этот год он узнал, что жена его померла и что дома его нет больше...

Когда Степану вышел срок, его позвали в цехгауз, достали с полочки его одежу, в которой он пришел, и дали ему.

— Куда же я пойду теперь? — сказал он, одеваясь, каптенармусу.

— Известно, домой.

— Дома нет. Должно, на дорогу итти надо. Людей грабить.

— А будешь грабить, опять к нам попадешь.

— Ну, это как придется.

И Степан ушел. Направился он всё-таки к дому. Больше итти некуда было.

Не доходя до дома, зашел он ночевать в знакомый постоялый двор с кабаком.

Двор держал толстый владимирский мещанин. Он знал Степана. И знал, что попал он в острог по несчастью. И оставил Степана у себя ночевать.

Мещанин этот богатый отбил у соседнего мужика жену и жил с ней как с работницей и женой.

Степан знал всё это дело — как обидел мещанин мужика, как эта скверная бабенка ушла от мужа и теперь разъелась и потная сидела за чаем и из милости угостила чаем и Степана. Проезжих никого не было. Степана оставили ночевать на кухне.

Матрена убрала всё и ушла в горницу. Степан лег на печке, но спать не мог и всё трещал по лучинам, которые сохли на печке. Не выходило у него из головы толстое брюхо мещанина, торчавшее из-под пояска ситцевой мытой-перемытой,

слинявшей рубахи. Всё ему в голову приходило ножом полоснуть это брюхо, сальник выпустить. И бабенке тоже. То он говорил себе: «ну, чорт с ними, уйду завтра», то вспоминал Ивана Миронова и опять думал о брюхе мещанина и белой, потной глотке Матрены. Уж убить, так обоих. Пропел второй петух. Делать, так теперь, а то рассвенет. Нож он приметил с вечера и топор. Он сполз с печи, взял топор и нож и вышел из кухни. Как раз он вышел, и за дверью щелкнула щеколда. Мещанин вышел в двери. Он сделал не так, как хотел. Ножом не пришлось, а он взмахнул топором и рассек голову. Мещанин повалился на притолку и наземь.

Степан вошел в горницу. Матрена вскочила и в одной рубахе стояла у кровати. Степан тем же топором убил и ее.

Потом зажег свечу, вынул деньги из конторки и ушел.

XVI.

В уездном городе в отдалении от других строений жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница, с двумя дочерьми и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь, старшая же, вдова Мария Семеновна, сморщенная, худая, пятидесятилетняя женщина, одна только содержала всех: у ней была пенсия в 250 рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым, пьяным стариком отцом и за ребенком сестры, и готовила, и стирала. И, как это всегда бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были, и ее же все трое и ругали и даже бил зять в пьяном виде. Она всё переносила молча и с кротостью, и, тоже как всегда бывает, чем больше у ней было дела, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными.

Работал раз у Марии Семеновны хромой, безногий портной деревенский. Перешивал он поддевку старику и покрывал сукном полушубок для Марии Семеновны — зимой на базар ходить.

Хромой портной был человек умный и наблюдательный, по своей должности много видавший разных людей и, вследствие своей хромоты, всегда сидевший и потому расположенный думать. Прожив у Марии Семеновны неделю, не мог надивиться на ее жизнь. Один раз она пришла к нему в кухню, где он шил, застирать полотенцы и разговорилась с ним об его житье, как брат его обижал, и как он отделился от него.

— Думал лучше будет, а всё то же, нужда.

— Лучше не менять, а как живешь, так и живи, — сказала Мария Семеновна.

— Да я и то на тебя, Мария Семеновна, дивлюсь, как ты всё одна да одна во все концы на людей хлопочешь. А от них добра, я вижу, мало.

Мария Семеновна ничего не сказала.

— Должно, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете.

— Про это нам неизвестно, — сказала Мария Семеновна, — а только жить так лучше.

— А в книгах это есть?

— И в книгах есть, — сказала она и прочла ему нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался. И когда рассчитался и пошел к себе, всё думал о том, что видел у Марии Семеновны и что она сказала и прочла ему.

XVII.

Петр Николаич изменился к народу, и народ изменился к нему. Не прошло и года, как они срубили 27 дубов и сожгли не застрахованную ригу и гумно. Петр Николаич решил, что жить с здешним народом нельзя.

В это же время Ливенцовы искали управляющего на свои именья, и предводитель рекомендовал Петра Николаича, как лучшего хозяина в уезде. Именья Ливенцовские, огромные, не давали ничего дохода, и крестьяне пользовались всем. Петр Николаич взялся привести всё в порядок и, отдав свое имение в аренду, переехал с женой в дальнюю поволжскую губернию.

Петр Николаич и всегда любил порядок и законность, а теперь тем более не мог допустить того, чтобы этот дикий, грубый народ мог бы, противно закону, завладеть не принадлежащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в острог, другого собственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. О лугах, про которые шел спор и крестьяне считали своими, Петр Николаич объявил крестьянам, *что* если они выпустят на них скотину, то он заарестует ее.

Пришла весна, и крестьяне, как они делали это в прежние года, выпустили скотину на барские луга. Петр Николаич собрал всех работников и велел загнать скотину на барский двор. Мужики были на пахоте, и потому работники, несмотря на крики баб, загнали скотину. Вернувшись с работы, мужики, собравшись, пришли на барский двор требовать скотину. Петр Николаич вышел к ним с ружьем за плечами (он только что вернулся с объезда) и объявил им, что скотину он отдаст не иначе, как по уплате 50 копеек с рогатой и 10 с овцы.

Мужики стали кричать, что луга ихние, что их и отцы и деды ими владали и что нет таких правов забирать чужую скотину.

— Отдай скотину, не то худо будет, — сказал один старик, наступая на Петра Николаича.

— Что худо будет? — весь бледный, подступая к старику, закричал Петр Николаич.

— От греха отдай. Шаромыжник.

— Что? — крикнул Петр Николаич и ударил в лицо старика.

— Ты драться не смеешь. Ребята, бери силом скотину.

Толпа надвинулась. Петр Николаич хотел уйти, но его не пускали. Он стал пробиваться. Ружье выстрелило и убило одного из крестьян. Сделалась крутая свалка. Петра Николаича смяли. И через пять минут изуродованное тело его стащили в овраг.

Над убийцами назначили военный суд, и двоих приговорили к повешению.

XVIII.

В селе, из которого был портной, пять богатых крестьян снимали у помещика за 1100 рублей 105 десятин пахотной, черной, как деготь, жирной земли и раздавали ее мужичкам же, кому по 18, кому по 15 рублей. Ни одна земля не шла ниже двенадцати. Так что барыш был хороший. Сами покупщики брали себе по пяти десятин, и земля эта приходилась им даром. Умер у этих мужиков товарищ, и предложили они хромому портному итти к ним в товарищи.

Когда стали наемщики делить землю, портной не стал пить водку, и, когда речь зашла о том, кому сколько земли дать, портной сказал, что обложить всех надо поровну, что не надо брать лишнего с наемщиков, а сколько придется.

— Как так?

— Да али мы нехристи. Ведь это хорошо господам, а мы крестьяне. По-божьему надо. Такой закон Христов.

— Где же закон такой?

— А в книге, в Евангелии. Вот приходи воскресенье, я почитаю и потолкуем.

И [в] воскресенье пришли не все, но трое к портному, и стал он им читать.

Прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-божьему. И в семье его так жить стали. От земли лишней отказался, только свою долю взял.

И стали к портному и к Ивану ходить, и стали понимать, и поняли, и бросили курить, пить, ругаться сквернымиловами, стали друг другу помогать. И перестали ходить в церковь и снесли попу иконы. И стало таких дворов 17. Всех 65 душ. И испугался священник и донес архиерею. Архиерей подумал, как быть, и решил послать в село архимандрита Мисаила, бывшего законоучителем в гимназии.

XIX.

Архиерей посадил Мисаила с собой и стал говорить о том, какие новости проявились в его епархии.

— Всё от слабости духовной и от невежества. Ты человек ученый. Я на тебя надеюсь. Поезжай, созови и при народе разъясни.

— Если владыка благословит, буду стараться, — сказал отец Мисаил. Он был рад этому поручению. Всё, где он мог показать, что он верит, радовало его. А обращая других, он сильнее всего убеждал себя, что он верит.

— Постарайся, очень я страдаю за свою паству, — сказал архиерей, неторопливо принимая белыми, пухлыми руками стакан чая, который подавал ему служка.

— Что ж одно варенье, принеси другого, — обратился он к служке. — Очень, очень мне больно, — продолжал он речь к Мисаилу.

Мисаил был рад себя заявить. Но, как человек небогатый, попросил денег на расходы поездки и, опасаясь противодействия грубого народа, попросил еще распоряжения губернатора о том, чтобы местная полиция в случае надобности оказывала ему содействие.

Архиерей всё устроил ему, и Мисаил, собравши с помощью своего служки и кухарки погребец и провизию, которою нужно было запастись, отправляясь в глухое место, поехал к месту назначения. Отправляясь в эту командировку, Мисаил испытывал приятное чувство сознания важности своего служения и притом прекращения всяких сомнений в своей вере, а напротив, совершенную уверенность в истинности ее.

Мысли его были направлены не на сущность веры, — она признавалась аксиомой, — а на опровержение тех возражений, которые делались по отношению ее внешних форм.

XX.

Священник села и попадья приняли Мисаила с большим почетом и на другой день его приезда собрали народ в церкви. Мисаил в новой шелковой рясе, с крестом наперсным и расчесанными волосами, вошел на амвон, рядом с ним стал священник, поодаль дьячки, певчие, а у боковых дверей

полицейские. Пришли и сектанты — в засаленных, корявых полушубках.

После молебна Мисаил прочел проповедь, увещевая отпадших вернуться в лоно матери церкви, угрожая муками ада и обещая полное прощение покаявшимся.

Сектанты молчали. Когда их стали спрашивать, они отвечали.

На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов и что в писании не только не показано это, но в пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками, Чуев отвечал: «Да ты переверни, какую хочешь икону, сам увидишь». Когда их спросили, почему они не признают священство, они отвечали, что в писании сказано: «даром получили, даром и давайте», а попы только за деньги свою благодать раздают. На все попытки Мисаила опереться на священное писание портной и Иван спокойно, но твердо возражали, указывая на писание, которое они твердо знали. Мисаил рассердился, пригрозил властью мирской. На это сектанты сказали, что сказано: «Меня гнали — и вас будут гнать».

Кончилось ничем, и всё бы прошло хорошо, но на другой день у обедни Мисаил сказал проповедь о зловредности совратителей, о том, что они достойны всякой кары, и в народе, выходившем из церкви, стали поговаривать о том, что стоило бы проучить безбожников, чтобы они не смущали народ. И в этот день, в то время как Мисаил закусывал семгой и сигом с благочинным и приехавшим из города инспектором, в селе сделалась свалка. Православные столпились у избы Чуева и ожидали их выхода, чтобы избить их. Сектантов было человек 20 мужчин и женщин. Проповедь Мисаила и теперь сборище православных и их угрожающие речи вызвали в сектантах злое чувство, которого не было прежде. Завечерело, пора было бабам коров доить, а православные всё стояли и ждали и вышедшего было малого побили и загнали опять в избу. Толковали, что делать, и не соглашались.

Портной говорил: терпеть надо и не обороняться. Чуев же говорил, что если так терпеть, они всех перебьют и, захватив кочергу, вышел на улицу. Православные бросились на него.

— Ну-ка, по закону Моисея, — крикнул он и стал бить православных и вышиб одному глаз, остальные выскочили из избы и вернулись по домам.

Чуева судили и за совращение и за богохульство приговорили к ссылке.

Отцу же Мисаилу дали награду и сделали архимандритом.

XXI.

Два года тому назад из земли Войска Донского приехала в Петербург на курсы здоровая, восточного типа, красивая девушка Турчанинова. Девушка эта встретилась в Петербурге с студентом Тюриным, сыном земского начальника Симбирской губернии, и полюбила его, но полюбила она не обыкновенной женской любовью с желанием стать его женой и матерью его детей, а товарищеской любовью, питавшейся преимущественно одинаковым возмущением и ненавистью не только к существующему строю, но и к людям, бывшим его представителями, и [сознанием] своего умственного, образовательного и нравственного превосходства над ними.

Она была способна учиться и легко запоминала лекции и сдавала экзамены и, кроме того, поглощала новейшие книги в огромном количестве. Она была уверена, что и призвание ее не в том, чтобы рожать и воспитывать детей, — она даже с гадливостью и презрением смотрела на такое призвание, — а в том, чтобы разрушить существующий строй, сковывающий лучшие силы народа, и указать людям тот новый путь жизни, который ей указывался европейскими новейшими писателями. Полная, белая, румяная, красивая, с блестящими черными глазами и большой черной косой, она вызывала в мужчинах чувства, которых она не хотела, да и не могла разделять, — так она была вся поглощена своей агитационной, разговорной деятельностью. Но ей всё-таки было приятно, что она вызывала эти чувства, и потому она хоть и не наряжалась, не

пренебрегала своей наружностью. Ей приятно было, что она нравится, а на деле может показать, как она презирает то, что так ценится другими женщинами. В своих взглядах на средства борьбы с существующим порядком [она] шла дальше большинства своих товарищей и своего друга Тюрина и допускала, что в борьбе хороши и могут быть употребляемы все средства, до убийства включительно. А между тем эта самая революционерка Катя Турчанинова была в душе очень добрая и самоотверженная женщина, всегда непосредственно предпочитавшая чужую выгоду, удовольствие, благосостояние своей выгоде, удовольствию, благосостоянию и всегда истинно радовавшаяся возможности сделать кому-нибудь — ребенку, старику, животному — приятное.

Лето Турчанинова проводила в приволжском уездном городе, у товарки своей, сельской учительницы. В этом же уезде у отца жил и Тюрин. Все трое, вместе с уездным врачом, часто видались, обменивались книгами, спорили и возмущались. Именье Тюриных было рядом с тем именьем Ливенцовых, куда управляющим поступил Петр Николаич. Как скоро приехал Петр Николаич и взялся за порядки, молодой Тюрин, видя в ливенцовских крестьянах самостоятельный дух и твердое намерение отстаивать свои права, заинтересовался ими и часто ходил в село и разговаривал с крестьянами, развивая среди них теорию социализма вообще и в частности национализации земли.

Когда случилось убийство Петра Николаича и наехал суд, кружок революционеров уездного города имел сильный повод для возмущения судом и смело высказывал его. То, что Тюрин ходил в село и говорил с крестьянами, было выяснено на суде. У Тюрина сделали обыск, нашли несколько революционных брошюр, и студента арестовали и свезли в Петербург.

Турчанинова уехала за ним и пошла в тюрьму для свидания, но ее не пустили в обыкновенный день, а допустили только в день общих свиданий, где она виделась с Тюриным через две решетки. Свидание это еще усилило ее возмущение. Довело же до крайнего предела ее возмущение ее объяснение с красавцем жандармским офицером, который, очевидно, готов был на

снисхождение в случае ее принятия его предложений. Это довело ее до последней степени негодования и злобы против всех начальствующих лиц. Она пошла к начальнику полиции жаловаться. Начальник полиции сказал ей то же, что говорил и жандарм, что они ничего не могут, что на это есть распоряжение министра. Она подала докладную записку министру, прося свидания; ей отказали. Тогда она решилась на отчаянный поступок и купила револьвер.

XXII.

Министр принимал в свой обыкновенный час. Он обошел трех просителей, принял губернатора и подошел к черноглазой, красивой, молодой женщине в черном, стоявшей с бумагой в левой руке. Ласково-похотливый огонек загорелся в глазах министра при виде красивой просительницы, но, вспомнив свое положение, министр сделал серьезное лицо.

— Что вам угодно? — сказал он, подойдя к ней.

Она, не отвечая, быстро вынула из-под пелеринки руку с револьвером и, уставив его в грудь министра, выстрелила, но промахнулась.

Министр хотел схватить ее руку, она отшатнулась и выстрелила другой раз. Министр бросился бежать. Ее схватили. Она дрожала и не могла говорить. И вдруг расхохоталась истерически. Министр не был даже ранен.

Это была Турчанинова. Ее посадили в Дом Предварительного Заключения. Министр же, получив поздравления и соболезнования от самых высокопоставленных лиц и даже самого государя, назначил комиссию исследования того заговора, последствием которого было это покушение.

Заговора, разумеется, никакого не было; но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалованье и содержание: вставая рано утром, в темноте, делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много

раз допрашивали Турчанинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников.

Министр был по душе добрый человек и очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они ни трудны ему. И когда его бывший товарищ, камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турчанинову, министр пожал плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете, и сказал:

— Je ne demanderais pas mieux que de lâcher cette pauvre fillete, mais vous savez — le devoir.[1]

А Турчанинова между тем сидела в доме Предварительного Заключения и иногда спокойно перестукивалась о товарищами и читала книги, которые ей давали, иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.

XXIII.

Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя.

— Что, Мария Семеновна, казну получили? — прокричал он ей с другой стороны улицы.

— Получила, — ответила Мария Семеновна, — только дыры заткнуть.

— Ну, денег много, и дыры заткнете, останется, — сказал учитель и, прощаясь, прошел.

— Прощайте, — сказала Мария Семеновна и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и строгим лицом.

Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длиннорукого человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел.

Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно. Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала визжавшую от радости Трезорку, ей опять стало хорошо, и она,

отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней.

Человек, с которым она столкнулась, был Степан.

Из постоялого двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминание об убийстве дворника не только не было ему неприятно, но он по нескольку раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям всё с той же стороны: как можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломовому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил и их и ушел, не ночуя, из города. За городом, в деревне, он вошел в трактир и там выспался.

На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но всё-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он взломал замок и вошел в горницу. Первая услыхала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с зятем, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку. За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степана испуганными, кроткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.

— Где деньги? — сказал он, не поднимая глаз.

Она молчала.

— Где деньги? — сказал Степан, показывая ей нож.

— Что ты? Разве можно? — сказала она.

— Стало быть, можно.

Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему, но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила:

— Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь... О-ох! — вскрикнула она.

Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. — «Разговаривать с вами». — Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он отвернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобрав, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую ночь.

Часть вторая.

I.

Лежа в канаве, Степан не переставая видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: «Разве можно?», говорил ее особенный, ее шепелявящий жалостный голос. И Степан опять переживал всё то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтоб вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно: «с ней покончил — и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза и опять видел ее и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее и гадко и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять черные.

К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. Насилу добрел до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник.

— Ты чей будешь? — спросил его урядник.

— А тот самый, я вчерась у Добротворова всех перерезал.

Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта буяна и теперь великого злодея, строго принял его.

— Смотри, у меня не шалить, — нахмуря свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель. — Если только замечу что — запорю. От меня не убежишь.

— Что мне бегать, — отвечал Степан, опустив глаза, — я сам в руки дался.

— Ну, со мной не разговаривать. А когда начальство говорит, смотри в глаза, — крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть.

Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слыхал того, что говорил ему смотритель.

— Чаво? — спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу.

— Ну, ну — марш, нечего прикидываться.

Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда ни заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и всё что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов: он был рассеян, не слушал вопросов; когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности: «Вышел он, — рассказывал Степан про

первое убийство, — босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взялся за бабу» и т. д. При обходе прокурором камер острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант?

— Не надивлюсь на него, — отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. — Второй месяц он у нас, примерного поведения. Только боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной.

II.

Первый месяц тюрьмы Степан не переставая мучался всё тем же: он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога — гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов и вместе с [тем] видел ее — с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой, морщинистой шеей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: *«Чужие души и свою губишь*. *Разве это можно?»* Потом голос затихал, и являлись те трое — черные. И являлись всё равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая: покончи, покончи. Петлю можно сделать, зажечь можно. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начинал читать молитвы, какие знал: Богородицу, Вотче, и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою жизнь: вспоминал отца, мать, деревню, Волчка-собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей и

потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых, сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали.

В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и два дня готовил полотняные ленты из мешка, на котором спал (когда входил вахтер он накрывал койку халатом). Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил всё это, он не мучался. Когда всё было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер. Позвали фельдшера, и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился, и его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру.

В общей камере он жил среди двадцати человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и всё так же мучался. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и попрежнему видел ее, слышал ее голос, потом опять являлись черные с своими страшными глазами и дразнили его.

Опять, как прежде, он читал молитвы и, как прежде, они не помогали.

Один раз, когда, после молитвы, она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтоб она отпустила, простила его. И когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она, с своей худой, сморщенной, перерезанной шеей пришла к нему.

— Что ж, простишь?

Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала.

— Простишь?

И так до трех раз он спросил ее. Но она всё-таки ничего не сказала. И он проснулся. С тех пор ему легче стало, и он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить с своими товарищами по камере.

III.

В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке, и Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий всё время или пел песни своим прекрасным голосом или рассказывал товарищам свои похождения.

Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и Псалтырь.

На вопрос Степана о том, за что его ссылали, Чуев объяснил ему, что его ссылали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенньм богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли.

— Ну, а за дурные дела что будет? — спросил Степан.

— Всё сказано.

И Чуев прочел ему:

«Когда же приидет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов — по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи!

когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня; был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи! когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». (Матф. XXV, 31—46.)

Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой.

— Верно, — решительно проговорил он, — идите, мол, проклятые, в муку вечную, никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо. Ну-ка дай, я почитаю, — прибавил он, желая похвастаться своим чтением.

— Ну, а прощение разве не будет? — спросил Степан, молча; опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение.

— Погоди, помолчи, — сказал Чуев Василью, который всё приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. — Погоди, что ль, — повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил большой, побелевшей в остроге, сильной рукой листы.

«И вели с ним, с Христом, значит, — начал Чуев, — на смерть и двух злодеев. И, когда пришли на место, называемое лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

«Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают»... И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя

самого, если он Христос, избранник Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, надписанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мной в раю». (Луки XXIII, 32—43.)

Степан ничего не сказал и сидел задумавшись, как будто слушая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев.

«Так вот она в чем истинная вера, — думал он. — Спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А всё-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай». Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое: что милостивые пойдут в рай, а немилостивые — в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми, а что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив. Всё это было совершенно ново для Степана; он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он всё свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди — братья и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, всё, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию.

И с этого времени Степан стал другим человеком.

IV.

Степан-Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и смотрителя, и вахтеров, и товарищей происшедшей в нем переменой. Он без приказания, вне очереди, совершал все самые тяжелые работы, в том числе и очищение параши. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его, зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбился, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него всё, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и в перемещении в одиночную камеру.

Одиночная камера была для него тяжела тем, что разлучила его с Чуевым и Евангелием, и, кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных. Но видений не было. Вся душа его была полна новым, радостным содержанием. Он бы был рад своему уединению, если бы он мог читать и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но читать он не мог.

Мальчиком он начал учиться грамоте по-старинному: аз, буки, веди, но не пошел по непонятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелие. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Буквы он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он ни бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, всё думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь [напала], что он не мог отгрестись от нее.

— Что ж, всё не дошел? — спросил его раз вахтер.

— Нет.

— Да ты Отче знаешь?

— Знаю.

— Ну вот читай ее. Вот она, — и вахтер показал ему Отче наш в Евангелии.

Степан стал читать Отче, сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылась тайна сложения букв, и он стал читать. Это была большая радость. И с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение.

Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана.

Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его, для того чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру.

V.

Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие, и одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое: каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания в тюрьме исполнял свои обязанности, оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение.

Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанности. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал — он был хорошо грамотен — бумагу губернатору, в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу, и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых денег; теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача.

— А плети забыл? — крикнул начальник тюрьмы.

— Что ж, плети — так плети, а убивать закона нет.

— Что ж это ты, от Пелагеюшкина набрался? Нашелся пророк острожный, погоди же ты.

VI.

Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятливый человек и умел хорошо вести дела.

Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими ответами простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят и отведут под замок два солдата, что это человек вполне свободный, нравственно недосягаемо высоко стоящий над ним.

И потому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком.

— И тебе не жалко было их? — спрашивал Махин.

— Не жалко. Я не понимал тогда.

— Ну, а теперь?

Степан грустно улыбнулся.

— Теперь на огне меня жги, того бы не сделал.

— Отчего же?

— Оттого что понял, что все люди братья.

— Что же, и я тебе брат?

— А то как же.

— Как же, я брат, а сужу тебя в каторгу?

— От непонятия.

— Что же я не понимаю?

— Не понимаете, коли судите.

— Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел?..

Больше же всего поразило Махина то, что он узнал от смотрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина, который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.

VII.

На вечере у Еропкиных, где были две барышни — богатые невесты, за которыми обеими ухаживал Махин, после пения романсов, в котором особенно отличался очень музыкальный Махин, — он и вторил прекрасно и аккомпанировал, — он рассказал очень верно и подробно — у него была прекрасная память — и совершенно безучастно про странного преступника, который обратил палача. Махин потому так хорошо и помнил и мог передать всё, что он всегда был совершенно безучастен к тем людям, с которыми имел дело. Он не входил, не умел входить в душевное состояние других людей и потому-то и мог так хорошо запоминать всё, что происходило с людьми, что они делали, говорили. Но Пелагеюшкин заинтересовал его. Он не вошел в душу Степана, но невольно задался вопросом: что у него в душе, и, не найдя ответа, но чувствуя, что это что-то интересное, рассказал на вечере всё дело: и совращение палача, и рассказы смотрителя о том, как странно ведет себя Пелагеюшкин, и как читает Евангелие, и какое сильное влияние имеет на товарищей.

Всех заинтересовал рассказ Махина, но больше всех меньшую Лизу Еропкину, восемнадцатилетнюю девушку, только что вышедшую из института и только что опомнившуюся от темноты и тесноты ложных условий, в которых она выросла, и точно вынырнувшую из воды, страстно вдыхавшую в себя свежий воздух жизни. Она стала расспрашивать Махина о подробностях и о том, как, почему произошла такая перемена в Пелагеюшкине, и Махин рассказал то, что он слышал от Степана о последнем убийстве, и как кротость, покорность и бесстрашие смерти этой очень доброй женщины, которую он последнюю убил, победили его, открыли ему глаза и как потом чтение Евангелия докончило дело.

Долго в эту ночь не могла Лиза Еропкина заснуть. В ней уже несколько месяцев шла борьба между светской жизнью, в которую увлекала ее сестра, и увлечением Махиным, соединенным с желанием исправить его. И теперь последнее взяло верх. Она и прежде слышала про убитую. Теперь же, после этой ужасной смерти и рассказа Махина со слов Пелагеюшкина, она до подробностей узнала историю Марии Семеновны и была поражена всем тем, что узнала о ней.

Лизе страстно захотелось быть такой Марией Семеновной. Она была богата и боялась, что Махин ухаживает за ней из-за денег. И она решила раздать свое имение и сказала об этом Махину.

Махин рад был случаю выказать свое бескорыстие и сказал Лизе, что он любит ее не из-за денег, и это, как ему казалось, великодушное решение тронуло его самого. У Лизы, между тем, началась борьба с ее матерью (имение было отцовское), не позволявшей раздавать имение. И Махин помогал Лизе. И чем больше он поступал так, тем больше он понимал совсем другой, чуждый ему до тех пор мир духовных стремлений, который он видел в Лизе.

VIII.

Всё утихло в камере. Степан лежал на своем месте на нарах и не спал еще. Василий подошел к нему и, дернув его за ногу, мигнул ему, чтобы он встал и вышел к нему. Степан сполз с нар и подошел к Василью.

— Ну, брат, — сказал Василий, — ты уж потрудись, пособи мне.

— В чем пособить-то?

— Да вот бежать хочу.

И Василий открыл Степану то, что у него всё готово, чтоб бежать.

— Завтра я их взбаламучу, — он указал на лежащих. — На меня скажут. Переведут в верхние, а уж там я знаю как. Только ты мне пробой из мертвецкой вышатай.

— Это можно. Куда пойдешь-то?

— А куда глаза глядят. Разве мало народу плохого?

— Это, брат, так, только не нам судить их.

— Да что ж, я разве душегуб какой. Я ни одной души не погубил, а что воровать? Что ж тут плохого? Разве они не грабят нашего брата?

— Это их дело. Они отвечать будут.

— Да что ж им в зубы-то смотреть? Ну вот я церковь обобрал. Кому от этого худо? Я теперь хочу так сделать, чтобы не лавчонку, а хватить казну и раздавать. Добрым людям раздавать.

В это время поднялся с нар один арестант и стал прислушиваться. Степан и Василий разошлись.

На другой день Василий сделал, как хотел. Он стал жаловаться на хлеб, что сыр, подбил всех арестантов звать к себе смотрителя, заявить претензию. Смотритель пришел, обругал всех, и узнав, что затейщик всего дела Василий, велел посадить его отдельно в одиночную камеру верхнего этажа.

Этого только и нужно было Василью.

IX.

Василий знал ту верхнюю камеру, в которую его посадили. Он знал пол в ней и как только попал туда, так стал разбирать пол. Когда можно было пролезть под пол, он разобрал потолочины и спрыгнул в нижний этаж, в мертвецкую. В этот день в мертвецкой лежал на столе один мертвый. В этой же мертвецкой были сложены мешки для сенников. Василий знал это и на эту камеру рассчитывал. Пробой в этой камере был вытащен и вложен. Василий вышел из двери и пошел в строящийся нужник в конце коридора. В этом нужнике была сквозная дыра с третьего этажа до нижнего, подвального. Ощупав дверь, Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед, мертвеца полотно (он коснулся его руки, когда снимал), потом взял мешки, связал их узлами так, чтобы сделать из них веревку, и снес эту веревку из мешков в нужник; там привязал веревку к перекладине и полез по ней вниз. Веревка не доставала до пола. Много ли, мало она не хватала

— он не знал, но делать нечего было, он повис и прыгнул. Ноги отбил, но ходить мог. В подвальном этаже было два окна. Пролезть можно бы, но вделаны железные решетки. Надо было выломать их. Чем? Василий стал шарить. В подвальном этаже лежали отрезки досок. Он нашел один отрезок с острым концом и стал им выворачивать кирпичи, державшие решетки. Долго он работал. Петухи второй раз уже пели, а решетка держалась. Наконец одна сторона вышла. Василий подсунул отрезок и понапер, решетка выворотилась вся, но упал кирпич и загремел. Часовые могли услыхать. Василий замер. Всё тихо. Он полез в окно. Вылез. Бежать ему надо было через стену. В углу двора была пристройка. Надо было влезть на эту пристройку и с нее через стену. Надо взять с собой отрезок доски. Без него не влезешь. Василий полез назад. Опять выполз с отрезком и замер, слушая, где часовой. Часовой, как он и рассчитал, ходил по другой стороне квадрата двора. Василий подошел к пристройке, приставил отрезок, полез. Отрезок соскользнул, упал. Василий был в чулках. Он снял чулки, чтобы цепляться ногами, поставил опять отрезок, вскочил на него и ухватился рукой за желоб. — Батюшка, не оторвись, выдержи. — Он схватился за желоб, и вот коленка его на крыше. Часовой идет. Василий лег и замер. Часовой не видит и опять отходит. Василий вскакивает. Железо трещит под ногами. Еще шаг, два, вот стена. До стены легко достать рукой. Одна рука, другая, вытянулся весь, и вот на стене. Только бы не расшибиться, спрыгивая. Василий переворачивается, виснет на руках, вытягивается, пускает одну руку, другую, — Господи, благослови! — На земле. И земля мягкая. Ноги целы, и он бежит.

В предместьи Маланья отпирает, и он залезает под стеганое из кусочков теплое, пропитанное запахом пота одеяло.

X.

Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как яловая корова, жена Петра Николаича видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна (так звали

вдову Петра Николаича), как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства. Когда же вся толпа скрылась за оградой сада и гул голосов затих, и босая Маланья, прислуживавшая им девка, с выпяченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаича убили и бросили в овраге, из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое: чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые 19 лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству, сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое, волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же, в квартире следователя, двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый с длинной белокурой бородой в завитках, с спокойным и строгим, красивым лицом, другой был цыганского склада, не старый человек с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, чтò знала, признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руки Петра Николаича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами из-под движущихся бровей, укоризненно сказал: «Грех, барыня! Ох, умирать будем», несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа.

Но, когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что 8 человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его звали, были приговорены к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо.

Казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедни, Маланья, в новом платье и новых

башмаках, доложила барыне, что строят виселицу и к середе ждут палача из Москвы и что воют семейные не переставая, по всей деревне слышно.

Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видать ни виселиц, ни народа, и одного желала: чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.

XI.

Во вторник к Наталье Ивановне заехал знакомый становой. Наталья Ивановна угостила его водкой и солеными грибками ее приготовления. Становой, выпив водки и закусив, сообщил ей, что казни завтра еще не будет.

— Как? Отчего?

— Удивительная история. Палача не могли найти. Один был в Москве, и тот, рассказывал мне сын, начитался Евангелия и говорит: не могу убивать. Сам за убийство приговорен к каторжным работам, а теперь вдруг — не может по закону убивать. Ему говорили, что плетьми сечь будут. Секите, говорит, а я не могу.

Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей.

— А нельзя их простить теперь?

— Как же простить, когда приговорены судом. Один царь простить может.

— Да как же царь узнает?

— Имеют право просить о помиловании.

— Да ведь их за меня казнят, — сказала глупая Наталья Ивановна. — А я прощаю.

Становой засмеялся.

— Что ж, просите.

— Можно?

— Известно, можно.

— Да ведь теперь не успеешь?

— Можно телеграммой.

— К царю?

— Что ж, и к царю можно.

Известие о том, что палач отказался и готов пострадать скорее, чем убивать, вдруг перевернуло душу Натальи Ивановны, и то чувство сострадания и ужаса, которое просилось несколько раз наружу, прорвалось и захватило ее.

— Голубчик, Филипп Васильевич, напишите мне телеграмму. Я хочу просить [у] царя помилования.

Становой покачал головой.

— Как бы нам не влетело за это?

— Да ведь я в ответе. Я про вас не скажу.

«Эка добрая баба, — подумал становой, — хорошая баба. Кабы моя такая была, рай бы был, а не то, что теперь».

И становой написал телеграмму царю: «Его Императорскому Величеству Государю Императору. Верноподданная Вашего Императорского Величества, вдова убитого крестьянами коллежского асессора Петра Николаевича Свентицкого, припадая к священным стопам (это место телеграммы особенно понравилось составлявшему ее становому) Вашего Императорского Величества, умоляет Вас помиловать приговоренных к смертной казни крестьян таких-то, такой-то губернии, уезда, волости, деревни».

Телеграмма была послана самим становым, и на душе у Натальи Ивановны было радостно, хорошо. Ей казалось, что если она, вдова убитого, прощает и просит помиловать, то царь не может не помиловать.

XII.

Лиза Еропкина жила в неперестающем восторженном состоянии. Чем дальше она шла по открывшемуся ей пути христианской жизни, тем увереннее она была, что это путь истинный, и тем радостнее ей становилось на душе.

У ней были теперь две ближайшие цели: первая обратить Махина или, скорее, как она говорила это себе, вернуть к себе, к своей доброй, прекрасной натуре. Она любила его, и при свете своей любви ей открывалось божественное его души, общее всем людям, но она видела в этом общем всем людям начале

жизни его ему одному свойственную доброту, нежность, высоту. Другая цель ее была в том, чтобы перестать быть богатой. Она захотела освободиться от имущества, для того чтобы испытать Махина, а потом для себя, для своей души — по слову Евангелия захотела сделать это. Сначала она начала раздавать, но ее остановил отец, и еще больше, чем отец, толпа нахлынувших личных и письменных просителей. Тогда она решила обратиться к старцу, известному своей святой жизнью, с тем, чтобы он взял ее деньги и поступил с ними, как найдет нужным. Узнав это, отец рассердился и в горячем разговоре с ней назвал ее сумасшедшей, психопаткой и сказал, что он примет меры к тому, чтобы оградить ее, как сумасшедшую, от самой себя.

Сердитый, раздраженный тон отца передался ей, и она не успела опомниться, как злобно расплакалась и наговорила отцу грубостей, называя его деспотом и даже корыстолюбцем.

Она просила прощенье у отца, он сказал, что не сердится, но она видела, что он был оскорблен и в душе не простил ее. Махину она не хотела говорить про это. Сестра, ревновавшая ее к Махину, совсем отдалилась от нее. Ей не с кем было поделиться своим чувством, не перед кем покаяться.

«Богу надо покаяться», сказала она себе и, так как был великий пост, решила говеть и на исповеди сказать всё духовнику и попросить его совета о том, как ей поступать дальше.

Недалеко от города был монастырь, в котором жил старец, прославившийся своей жизнью, поучениями и предсказаниями и исцелениями, которые приписывали ему.

Старец получил письмо от старого Еропкина, предупреждающее его о приезде дочери и об ее ненормальном, возбужденном состоянии и выражающее уверенность в том, что старец наставит ее на путь истинный — золотой середины, доброй христианской жизни, без нарушения существующих условий.

Усталый от приема, старец принял Лизу и стал спокойно внушать ей умеренность, покорность существующим условиям, родителям. Лиза молчала, краснела и потела, но, когда он

кончил, она с слезами, стоящими в глазах, начала говорить, сначала робко, о том, что Христос сказал: «оставь отца и мать и иди за мной», потом, всё больше и больше одушевляясь, высказала всё то свое представление о том, как она понимала христианство. Старец сначала чуть улыбался и возражал обычными поучениями, но потом замолчал и стал вздыхать, только повторяя: «О, Господи».

— Ну, хорошо, приходи завтра исповедываться, — сказал он и сморщенной рукой благословил ее.

На другой день он исповедывал ее и, не продолжая вчерашний разговор, отпустил ее, коротко отказавшись взять на себя распоряжение ее имуществом.

Чистота, полная преданность воле Бога и горячность этой девушки поразили старца. Он давно уже хотел отречься от мира, но монастырь требовал от него его деятельности. Эта деятельность давала средства монастырю. И он соглашался, хотя смутно чувствовал всю неправду своего положения. Его делали святым, чудотворцем, а он был слабый, увлеченный успехом человек. И открывшаяся ему душа этой девушки открыла ему и его душу. И он увидал, как он был далек от того, чем хотел быть и к чему влекло его его сердце.

Скоро после посещения Лизы он заперся в затвор и только через три недели вышел в церковь, служил и после службы сказал проповедь, в которой каял себя и уличал мир в грехе и призывал его к покаянию.

Каждые две недели он говорил проповеди. И на проповеди эти съезжалось всё больше и больше народа. И слава его, как проповедника, разглашалась всё больше и больше. Было что-то особенное, смелое, искренное в его проповедях. И от этого он так сильно действовал на людей.

XIII.

Между тем Василий сделал всё, как хотел. С товарищами он ночью пролез к Краснопузову, богачу. Он знал, как он скуп и развратен, и залез в бюро и вынул деньгами 30 тысяч. И Василий делал, как хотел. Он даже пить перестал, а давал

деньги бедным невестам. Замуж отдавал, из долгов выкупал и сам скрывался. И только то и забота была, чтобы хорошо раздать деньги. Давал он и полиции. И его не искали.

Сердце у него радовалось. И когда всё-таки взяли его, он на суде смеялся и хвалился, что деньги у толстопузого дурно лежали, он и счета им не знал, а я их в ход пустил, ими добрым людям помогал.

И защита его была такая веселая, добрая, что присяжные чуть не оправдали его. Приговорили его в ссылку.

Он поблагодарил и вперед сказал, что уйдет.

XIV.

Телеграмма Свентицкой к царю не произвела никакого действия. В комиссии прошений сначала решили даже не докладывать о ней царю, но потом, когда за завтраком у государя зашла речь о деле Свентицкого, завтракавший у государя директор доложил про телеграмму от жены убитого.

— C’est très gentil de sa part,[2] — сказала одна из дам царской фамилии.

Государь же вздохнул, пожал плечами с эполетами и сказал: «Закон» и подставил бокал, в который камер-лакей наливал шипучий мозельвейн. Все сделали вид, что удивлены мудростью сказанного государем слова. И больше о телеграмме не было речи. И двух мужиков — старого и молодого — повесили с помощью выписанного из Казани жестокого убийцы и скотоложника, татарина-палача.

Старуха хотела одеть тело своего старика в белую рубаху, белые онучи и новые бахилки, но ей не позволили, и обоих закопали в одной яме за оградой кладбища.

———

— Мне говорила княгиня Софья Владимировна, что он удивительный проповедник, — сказала раз мать государя,

старая императрица своему сыну: — Faites le venir. Il peut prêcher à la cathédrale.[3]

— Нет, лучше у нас, — сказал государь и велел пригласить старца Исидора.

В дворцовой церкви собралось всё генеральство. Новый, необыкновенный проповедник был событием.

Вышел старичок седенький, худенький, оглянул всех: «Во имя отца и сына и святого духа», и начал.

Сначала шло хорошо, но что дальше, то хуже. «Il devenait de plus en plus agressif»,[4] как сказала потом императрица. Он громил всех. Говорил о казни. И приписывал необходимость казни дурному правлению. Разве в христианской стране можно убивать людей?

Все переглядывались, и всех занимало только неприличие и то, как неприятно это было государю, но никто не выказал этого. Когда Исидор сказал: «Аминь», к нему подошел митрополит и попросил его к себе.

После беседы с митрополитом и обер-прокурором старичка отправили тотчас же назад в монастырь, но не в свой, а в Суздальский, где настоятелем и комендантом был отец Михаил.

XV.

Все сделали вид, что ничего неприятного не было от проповеди Исидора, и никто не упоминал про нее. И царю казалось, что слова старца не оставили в нем никакого следа, но раза два в продолжение дня он вспоминал о казни крестьян, о помиловании которых просила телеграммой Свентицкая. Днем был парад, потом выезд на гулянье, потом прием министров, потом обед, вечером театр. Как обыкновенно, царь заснул, как только донес голову до подушки. Ночью его разбудил страшный сон: в поле стояли виселицы, и на них качались трупы, и трупы высовывали языки, и языки тянулись дальше и дальше. И кто-то кричал: «Твоя работа, твоя работа». Царь проснулся в поту и стал думать. В первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем, и все слова старичка вспомнились ему...

Но он видел в себе человека только издалека и не мог отдаться простым требованиям человека из-за требований, со всех сторон предъявляемых к царю; признать же требования человека более обязательными, чем требования царя, у него не было сил.

XVI.

Отбыв второй срок в остроге, Прокофий, этот бойкий, самолюбивый щеголь-малый, вышел оттуда совсем конченным человеком. Трезвый он сидел, ничего не делал и, сколько ни ругал его отец, ел хлеб, не работал и, мало того, норовил стащить что-нибудь в кабак, чтобы выпить. Сидел, кашлял, харкал и плевал. Доктор, к которому он ходил, послушал его грудь и покачал головой.

— Тебе, брат, надо того, чего у тебя нет.

— Это известно, всегда надо.

— Пей молоко, не кури.

— Ныне и так пост, да и коровы нет.

Раз весною он всю ночь не спал, тосковал, хотелось ему выпить. Дома нечего захватить было. Надел шапку и вышел. Прошел по улице, дошел до попов. У дьячка борона наружу стоит прислонена к плетню. Прокофий подошел, вскинул борону на спину и понес к Петровне в корчму, «Авось, даст бутылочку». Не успел он отойти, как дьячок вышел на крыльцо. Уж совсем светло, — видит, Прокофий несет его борону.

— Эй, ты что?

Вышел народ, схватили Прокофья, посадили в холодную. Мировой судья присудил на 11 месяцев в тюрьму.

Была осень. Прокофья перевели в больницу. Он кашлял и всю грудь разрывал. И не мог согреться. Кто посильнее был. те всё-таки не дрожали. А Прокофий дрожал и день и ночь. Смотритель загонял экономию дров и не топил больницу до ноября. Больно страдал Прокофий телом, но хуже всего страдал духом. Всё ему противно было, и ненавидел он всех: и дьячка, и смотрителя за то, что не топил, и вахтера и соседа по койке с раздутой красной губой. Возненавидел и того новенького

каторжного, которого привели к ним. Каторжный этот был Степан, Он заболел рожей на голове, и его перевели в больницу и положили рядом с Прокофьем. Сначала Прокофий возненавидел его, но потом полюбил его так, что ждал только того, когда поговорить с ним. Только после разговора с ним утишалась тоска в сердце Прокофья.

Степан всегда всем рассказывал свое последнее убийство, и как оно подействовало на него.

— Не то что закричать или что, — говорил он, — а вот на, режь. Не меня, мол, себя пожалей.

— Ну, известно, душу загубить страшно, я и барана раз взялся резать, сам не рад был. А вот никого не загубил, а за что они меня, злодеи, погубили. Никому худого не делал...

— Что ж, это тебе все зачтется.

— Где там?

— Как где? А Бог?

— Что-то не видать Его; я, брат, не верю, — думаю, помрешь — трава вырастет. Вот и вся.

— Как же думаешь? Я сколько душ загубил, а она, сердечная, только людям помогала. Что же, думаешь, мне с ней одно будет? Нет, погоди...

— Так, думаешь, помрешь, душа останется?

— А то как же. Это верно.

Тяжело было Прокофью умирать, задыхался он. Но в последний час вдруг легко стало. Позвал он Степана.

— Ну, брат, прощай. Видно, пришла смерть моя. И вот боялся, а теперь ничего. Только скорей хочется.

И Прокофий помер в больнице.

XVII.

Между тем дела Евгения Михайловича шли всё хуже и хуже. Магазин был заложен. Торговля не шла. В городе открылся другой магазин, а проценты требовали. Надо было занимать опять за проценты. И кончилось тем, что магазин и весь товар был назначен к продаже. Евгений Михайлович и его жена

бросались повсюду и нигде не могли достать тех 400 рублей, которые нужны были, чтобы спасти дело.

Была маленькая надежда на купца Краснопузова, любовница которого была знакома с женой Евгения Михайловича. Теперь же по всему городу было известно, что у Краснопузова украли огромные деньги. Рассказывали, что украли полмиллиона.

— И кто ж украл? — рассказывала жена Евгения Михайловича. — Василий, наш бывший дворник. Говорят, он швыряет теперь этими деньгами, и полиция подкуплена.

— Негодяй был, — сказал Евгений Михайлович. — Как он тогда легко на клятвопреступление пошел. Я никак не думал.

— Говорят, он заходил к нам на двор. Кухарка говорила, что он. Она говорит, что он четырнадцать бедных невест замуж отдал.

— Ну, они выдумают.

В это время какой-то странный пожилой человек в казинетовой куртке вошел в магазин.

— Что тебе?

— Вам письмо.

— От кого?

— Там написано.

— Что же, ответа не надо? Да подожди.

— Нельзя.

И странный человек, отдав конверт, торопливо ушел.

— Чудно!

Евгений Михайлович разорвал толстый конверт и не верил своим глазам: сторублевые бумажки. Четыре. Что это? И тут же безграмотное письмо Евгению Михайловичу: «По Евангелию говорится, делай добро за зло. Вы мине много зла исделали с купоном и мужичка я дюже обидел, а я вот тебя жилею. На, возьми 4 екатеринки и помни своего дворника Василья».

— Нет, это удивительно, — говорил Евгений Михайлович, говорил и жене и сам себе. И когда вспоминал об этом или говорил об этом жене, слезы выступали у него на глаза, и на душе было радостно.

XVIII.

В Суздальской тюрьме содержалось четырнадцать духовных лиц, всё преимущественно за отступление от православия; туда же был прислан и Исидор. Отец Михаил принял Исидора по бумаге и, не разговаривая с ним, велел поместить его в отдельной камере, как важного преступника. На третьей неделе пребывания Исидора в тюрьме отец Михаил обходил содержащихся. Войдя к Исидору, он спросил: не нужно ли чего?

— Мне многое нужно, не могу сказать при людях. Дай мне случай говорить с тобою наедине.

Они взглянули друг на друга, и Михаил понял, что ему бояться нечего. Он велел привести Исидора в свою келью и, когда они остались одни, сказал:

— Ну, говори.

Исидор упал на колени.

— Брат! — сказал Исидор. — Что ты делаешь? Пожалей себя. Ведь хуже нет злодея тебя, ты поругал всё святое...

———

Через месяц Михаил подал бумаги об освобождении, как раскаявшихся, не только Исидора, но и семерых других и сам попросился в монастырь на покой.

XIX.

Прошло 10 лет.

Митя Смоковников кончил курс в техническом училище и был инженером с большим жалованьем на золотых приисках в Сибири. Ему надо было ехать по участку. Директор предложил ему взять каторжника Степана Пелагеюшкина.

— Как каторжника? Разве не опасно?

— С ним не опасно. Это святой человек. Спросите у кого хотите.

— Да за что он?

Директор улыбнулся.

— Шесть душ убил, а святой человек. Уж я ручаюсь.

И вот Митя Смоковников принял Степана, плешивого, худого, загорелого человека, и поехал с ним.

Дорогой Степан ходил, как он ухаживал за всеми, где мог, как за своим детищем, за Смоковниковым и дорогой рассказал ему всю свою историю. И то, как и зачем и чем он живет теперь.

И удивительное дело. Митя Смоковников, живший до тех пор только питьем, едой, картами, вином, женщинами, задумался в первый раз над жизнью. И думы эти не оставили его, а разворачивали его душу всё дальше и дальше. Ему предлагали место, где была большая польза. Он отказался и решил на то, что у него было, купить именье, жениться и, как сумеет, служить народу.

XX.

Он так и сделал. Но прежде приехал к отцу, с которым у него были неприятные отношения за новую семью, которую завел отец. Теперь же он решил сблизиться с отцом. И так и сделал. И отец удивлялся, смеялся над ним, а потом сам перестал нападать на него и вспомнил многие и многие случаи, где он был виноват перед ним.

———

Неопубликованное, неотделанное и неоконченное

[Варианты к «Фальшивому купону».]

№ 1.

<Махинъ былъ прежній товаршцъ; его выгнали изъ гимназіи въ прошломъ году за кутежи и нехорошія дѣла. Тогда Митя былъ съ нимъ друженъ и теперь видалъ его, несмотря на то, что родители запрещали ему съ нимъ видѣться. Теперь Митя рѣшилъ итти къ нему именно потому, что приказаній отца, который его считаетъ мошенникомъ, онъ не хотѣлъ соблюдать, и потому, что Махинъ знаетъ, какъ добыть денегъ и гдѣ заложить часы и, кромѣ того, Махинъ придумаетъ что-нибудь. Съ тѣмъ чтобы Махинъ что-нибудь придумалъ,> Митя досталъ изъ стола купонъ и мелочь и надѣлъ пальто и пошелъ къ Махину.

№ 2.

Все, что узналъ Петръ Николаичъ объ лошадяхъ, было то, что была найдена шкура съ саврасаго мерина, которую Петръ Николаичъ призналъ за шкуру Красавчика, и это еще больше раздражило Петра Николаича. Онъ не могъ теперь безъ злобы видѣть мужиковъ и говорить про нихъ.

Не могъ Петръ Николаичъ и простить земскому начальнику того, что онъ не обвинилъ Прокофія. На судѣ онъ, какъ свидѣтель, настаивалъ, но земскій начальникъ не могъ обвинить Прокофія, и Петръ Николаичъ возненавидѣлъ и земскаго начальника и, встрѣтившись съ нимъ черезъ двѣ недѣли въ дворянскомъ собраніи, высказалъ ему свое неудовольствіе такъ грубо, что земскій начальникъ, человѣкъ очень вспыльчивый, съ своей стороны наговорилъ ему много непріятностей, въ томъ

числѣ самое казавшееся обиднымъ Петру Николаичу слово, что его шляхетскій гоноръ напрасно такъ возмущается.

Вслѣдъ за этимъ на выборахъ Петръ Николаичъ положилъ земскому начальнику налѣво, а когда на земскомъ собраніи шло дѣло о передачѣ земскихъ школъ духовенству, Петръ Николаичъ неожиданно перешелъ на сторону консерваторовъ и своимъ голосомъ рѣшилъ въ пользу приходскихъ школъ. Когда предводитель — либералъ сталъ спрашивать его, зачѣмъ онъ поступилъ такъ, онъ объявилъ, что не намѣренъ быть на одной сторонѣ съ крамольникомъ, какъ земскій начальникъ.

— Какой же онъ крамольникъ? — спросилъ предводитель.

— Какъ же, когда они получаютъ запрещенные листки и раздаютъ ихъ.

— Да это не онъ, а сынъ.

— Развѣ не все равно?..

Случилось вскорѣ послѣ этого, что у земскаго начальника, у котораго былъ сынъ студентъ, сдѣлали обыскъ и нашли революціонные листки. Студента арестовали и посадили въ тюрьму.

Семья земскаго начальника была убѣждена, что это все было по доносу этого мерзкаго полячишки, и ненависть между двумя семьями дошла до послѣдней степени.

Дочь земскаго начальника — курсистка рѣшила, что при теперешнемъ общественномъ строѣ нельзя жить, и вмѣстѣ съ пятью студентами и тремя товарками составили заговоръ измѣненія существующаго правленія, при чемъ допускали необходимость жертвъ. У нихъ были двѣ партіи: одни говорили, что можно и должно убивать, если нужно, а другіе говорили, что нельзя. Заговоръ открыли и несчастную чахоточную Людмилу посадили въ домъ предварительнаго заключенія.

№ 3.

Степана посадили въ острогъ съ ссыльными. Въ острогѣ онъ сошелся съ Николаевымъ. Николаевъ разсказывалъ ему, какъ можно поживиться, только бы съ умомъ дѣлать. И Степанъ соблазнился разсказами Николаева и собирался работать съ

нимъ вмѣстѣ, когда выйдетъ. Въ одномъ онъ не согласился съ Николаевымъ. Николаевъ говорилъ, что убивать нехорошо, на душѣ нехорошо бываетъ, а Степанъ говорилъ, что ничего, убивать все одно какъ теленка или курицу. Все равно помретъ.

Николаевъ открылъ ему, что онъ бѣжитъ, и просилъ его выплатать пробой той камеры, въ которой сидѣлъ. Вмѣстѣ бѣжать нельзя, и Николаевъ совѣтовалъ Степану бѣжать изъ Серпухова и разсказалъ, какъ это сдѣлать.

И Степанъ, разспросивъ подробно, какъ надо дѣлать и гдѣ найти Николаева, ждалъ, когда ихъ прогонятъ въ Серпуховъ.

№ 4.

Степанъ исполнилъ все, какъ сказалъ Николаевъ, и бѣжалъ изъ Серпухова. Острогъ совсѣмъ озлобилъ, озвѣрилъ его. Онъ бѣжалъ безъ денегъ, безъ одежи. Онъ попросился ночевать къ лѣснику-сторожу. Ночью убилъ сторожа и жену, взялъ одежу и денегъ 2 р. 70 и билетъ. За ночь прошелъ 30 верстъ и очутился въ другомъ уѣздѣ, тамъ, гдѣ обѣщалъ сойтись съ Николаевымъ. Николаевъ, узнавъ про его дѣла, не захотѣлъ съ нимъ быть. Тогда Степанъ[5] ушелъ и сталъ ходить одинъ. Онъ загубилъ 12 душъ, когда попался.

Послѣднее убійство его было въ уѣздномъ городѣ. Онъ забрался ночью, убилъ старика, его сына, дѣвочку и, услыхавъ, что въ чуланѣ ворочаются, зашелъ туда. Тамъ лежала женщина. Она смотрѣла на Степана не испуганными, но кроткими глазами и крестилась.

— Жаль мнѣ тебя, — сказала она.

— Ну, разговаривать съ вами, — сказалъ Степанъ и полоснулъ ее ножомъ по горлу. Она не противилась и только прижала руку къ груди.

Обобравъ, что нужно было, Степанъ ушелъ и усталый легъ въ канаву.

№ 5.

Всѣ помѣщики были ему незнакомы. Сошелся онъ здѣсь невольно только съ семействомъ[6] одновладѣльца села Максима Петровича Иванова. Максимъ Петровичъ былъ человѣкъ мрачный, скучный и непріятный. <Женился на богатой помѣщицѣ, промоталъ ея состояніе, овдовѣлъ и жилъ съ свояченицей Маріей Семеновной, у которой оставалось еще состояніе и которая жалѣла племянниковъ и отдавала все, что имѣла, и весь свой трудъ этимъ племянникамъ. Это была старая, сморщенная 50-лѣтняя дѣвица, тихая, кроткая, всегда дѣятельная и спокойная. Она не только заботилась о племянникахъ, но и всѣ бѣдные въ деревнѣ были ей какъ дѣти; она ухаживала за больными, отдавала все, что позволялъ ей отдавать ея зять, и народъ зналъ и любилъ ее. Съ ней сошелся и Петръ Николаичъ и его жена, полюбившая сосѣдку. Марія Семеновна, узнавъ, зачѣмъ пріѣхалъ Петръ Николаичъ, очень отговаривала его настаивать на требованіяхъ помѣщиковъ отъ крестьянъ: «они хороши, только упрямы, и не уступятъ».

— Знаю, какіе они хорошіе, — отвѣчалъ Петръ Николаичъ и строго взялся за дѣло.>

Попрежнему крестьяне выпустили скотину на барскіе луга, Петръ Николаичъ велѣлъ ихъ загнать. Мужики собрались на сходку и решили отнять силой скотину. Когда они пришли на барскій дворъ, Петръ Николаичъ вышелъ къ нимъ съ ружьемъ. Мужики стали кричать, наступать на него, онъ ударилъ одного. Толпа надвинулась, сдѣлалась свалка, ружье выстрѣлило. Убило одного старика. Всѣ набросились на Петра Николаича, смяли его и съ крикомъ начали бить его. <Марія Семеновна изъ своего дома услыхала это и бросилась къ мужикамъ. Портной кроилъ у нея и, узнавъ, въ чемъ дѣло, удерживалъ ее, говоря, что теперь убьютъ ее мужики.

— Пускай убьютъ. Что вы дѣлаете, что вы дѣлаете! — кричала она, пробиваясь сквозь толпу. Но ее отвели насильно.

— Тебѣ тутъ не мѣсто, Семениха, — сказалъ ей старикъ.

— Не пущу, — кричала она и рвалась въ толпу.

Ее помяли, но Петра Николаича убили до смерти и стащили его тѣло въ оврагъ и тамъ бросили. Пріѣхалъ судъ, забрали

мужиковъ, стали допрашивать и главныхъ виновниковъ посадили въ острогъ.

Марію Семеновну допрашивали. Она отказалась показывать и только плакала, умоляя судей простить мужиковъ: «они, какъ когда скотина зыкается, они ошалѣли, они не хотѣли. Ихъ нечистый попуталъ». Судьи не слушали ее, смѣялись надъ ней, но портной, котораго тоже допрашивали, который прожилъ 1 1/2 мѣсяца у Маріи Семеновны, видя ея жизнь, сталъ задумываться.>

———

Комментарии Н. К. Гудзия

Приводимые в комментарии цитаты из неопубликованных дневников и записных книжек Толстого извлекаются из автографов, хранящихся в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке имени Ленина и в Государственном Толстовском музее. Выдержки из неопубликованных писем Толстого и к Толстому извлекаются также из автографов, хранящихся в различных рукописных собраниях. Сокращенные ссылки, делаемые при этом, как и в других случаях, означают: АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке им. Ленина, АЧ — Архив В. Г. Черткова, хранящийся в Государственном Толстовском музее и частично у В. Г. Черткова, ГТМ — Государственный Толстовский музей, ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР.

«Фальшивый купон».

Мы не можем сколько-нибудь точно определить время начала работы над «Фальшивым купоном». В редакторских примечаниях к Дневникам Толстого за 1895—1899 гг., изданных под редакцией В. Г. Черткова, сказано, что эта повесть начата в конце 1880-х годов. В этом утверждении очень много вероятия. Косвенно за вторую половину 1880-х годов говорит то, что срок начала действия купона в черновом автографе первой главы — 1 января 1885 г. (см. ниже). Бумага, на которой написан этот автограф, также отличается всеми признаками давности. Наконец, то, что первая копия этого автографа написана была рукой В. Г. Черткова (см. ниже), также ведет нас к 1880-м годам, так как именно в эти годы Чертков чаще всего переписывал произведения Толстого. Во всяком случае, «Фальшивый купон» был задуман не позднее, чем задуманы «Плоды просвещения», написанные в 1889 г. На клочке бумаги, хранящемся во Всесоюзной библиотеке им. Ленина (АТБ, папка XXIV) рукой Толстого записан ряд задуманных им тем. Под № 7 записано:

«Комедія, Спириты», а под № 8 — «Передача купона, Убійца». «За что». На другом листочке, хранящемся в АЧ среди черновых рукописей и бумаг, переданных Толстым В. Г. Черткову, записано рукой Толстого десять задуманных им сюжетов и среди них на втором месте повесть «Миташа», на третьем — «Фальшивый купон», на четвертом — «Крейцерова соната», на пятом — комедия «Исхитрилась!» и на последнем месте — «История улья», «Сказка о трех загадках» и «Записки сумашедшего». Точно определить время этой записи не представляется возможным. Приблизительно же она определяется следующими данными. «Крейцерова соната» была окончена в 1889 г., комедия «Исхитрилась!», озаглавленная затем «Плоды просвещения», также была написана в 1889 г. и в начале 1890 г. лишь отделывалась. Таким образом запись сделана не позднее 1889 г. Однако она сделана и не ранее 1887 г., судя по заглавию «Крейцерова соната». Повесть, получившая это заглавие, была вчерне написана не ранее 1887 г. (см. комментарий к ней в 27 томе настоящего издания), но первая черновая редакция, в которой действующее лицо не музыкант, а художник, не заключает в себе никаких упоминаний о музыке, в частности о сонате Бетховена, посвященной Крейцеру, и потому заглавие «Крейцерова соната» относятся уже к позднейшей стадии работы над повестью. Другие заглавия, приведенные в той записи, не дают материала для датировки записи, так как произведения с этими заглавиями, задуманные и частью начатые в 1880-х годах, или были только набросаны и оставлены или разрабатывались значительно позднее. Вероятно, правильнее всего датировать запись концом 1888 г.[7]

В таком случае запись на клочке бумаги, хранящемся в АТБ, относится к еще более раннему времени: задуманная комедия в ней называется не «Исхитрилась!», как называется она во всех первоначальных ее рукописях, а «Спириты». Очевидно, что заглавие «Исхитрилась!» хронологически позднее заглавия «Спириты».

Замысел же самой темы, легшей в основу «Фальшивого купона», относится к еще более раннему времени. В записи Толстого от 15 сентября 1886 г. дана программа

предполагавшегося рассказа о богатом человеке Миташе,[8] помеченного и в приведенной выше записи сюжетов. В этой программе читаются между прочим следующие строки: «И попался ему купон поддельный, и увидал он сон. Светлый юноша показал ему всю историю поддельного купона: откуда он взялся и как разносилось зло и как пресеклось. И он увидал, что зло расходится, но не поборает добра. А добро также расходится и поборает зло».

29 мая 1889 г. Толстой записывает в Дневнике: «Как хороша могла бы быть история об убийце, раскаявшемся на незащищавшейся женщине». Из этой мысли, как известно, в повести развился эпизод убийства Степаном Пелагеюшкиным Марьи Семеновны и раскаяния убийцы. В записной книжке 1890 г. под 11 февраля среди задуманных и, видимо, обрабатываемых сюжетов помечен и «Купон». 31 июля 1891 г. в Дневнике записано: «Сюжет впечатления и история человека, бывшего в золотой роте и попавшего в сад караульщиком около господского дома, в котором он видит близко господскую жизнь и даже принимает в ней участие». Замысел этот, не получивший самостоятельной разработки, в дальнейшем нашел себе воплощение в «Фальшивом купоне» в образе дворника Василия, не бывшего однако в золотой роте.

Следующее упоминание о «Фальшивом купоне», принадлежащее Толстому, относится к марту 1895 г. 12 марта этого года он записывает в Дневник: «Нынче захотелось писать художественное. Вспомнил что да что у меня не кончено. Хорошо бы всё докончить». И далее в числе девяти произведений, которые хорошо бы было докончить, упоминается и «Купон». 14 ноября 1897 г. в Дневнике записано: «Думал в pendant к Хаджи Мурату написать другого русского разбойника, Григория Николаева, чтобы он видел всю незаконность жизни богатых, жил бы яблочным сторожем в богатой усадьбе с lawn-tennis’ом». В записи Дневника от 13 декабря 1897 года Толстой в числе сюжетов, которые он хочет записать и которые стоит и можно обработать, называет и «Фальшивый купон» и далее с пометкой «прекрасно» — «Разбойник убивающий беззащитных», т. е. тот же сюжет о

Степане Пелагеюшкине, влившийся впоследствии в «Фальшивый купон», но до этого включенный в качестве эпизода в четвертую редакцию «Воскресения», над которой Толстой работал в период с конца августа 1898 г. до середины января 1899 г. и где идет речь о каторжнике Федорове, убившем чиновника и его дочь-вдову.[9]

Во всяком случае к середине 1898 г. часть повести была уже написана, что явствует из записи Дневника от 12 июня этого года: «Рассказ Купона очень хочется дописать». Но и в 1898 и в следующем году работа над повестью, очевидно, ушла очень недалеко. 20 декабря 1899 г. Толстой записывает в Дневник: «Думал нынче о Купоне хорошо. Может быть, напишу». После этого вплоть до 1902 г. у Толстого мы не встречаем никаких упоминаний о работе над «Фальшивым купоном». Лишь 6 октября 1902 г. он записывает в Дневник: „Вчера начал поправлять и продолжать «Фальшивый купон»". Работа над «Фальшивым купоном» далее отмечается в записях записной книжки от 8 и 9 октября 1902 г. Если полагаться на дату, проставленную М. Л. Оболенской на обложке рукописи, описанной под № 2 (см. ниже), то к ноябрю 1902 г. Толстым написано было первых семь глав повести. Следующее упоминание об этой работе — в записи записной книжки от 4 декабря 1902 г. и затем лишь 2 декабря 1903 г. Толстой записывает в Дневник, что он решил начать новую работу — или драму, или статью о религии, или взяться за окончание «Фальшивого купона». До этого в списке художественных сюжетов, сделанном около 4 июля 1903 г., — читаем на первом месте «Купон» и на восьмом — зачеркнутое «Разбойник кается» (см. т. 54, стр. 340). 19 декабря в Дневнике следующая запись: „«Фальшивый купон» обдумал, но не писал". Наконец, в записи Дневника от 25 декабря 1903 г. читаем: «Начал писать «Фальшивый купон». Пишу очень небрежно, но интересует меня тем, что выясняется новая форма, очень sobre».[10] Очевидно, только с этого времени Толстой принялся вплотную за систематическую работу над повестью. 3 января 1904 г. он записывает в Дневнике: «Понемногу подвигаюсь в «Фальшивом купоне». Но очень уж беспорядочно». Далее — упоминания о

работе над повестью в записях Дневника от 6, 18, 22, 28 января, 2 февраля и в письме к сыну Л. Л. Толстому от 19 января 1904 г.: «Я пишу «Фальшивый купон», если помнишь, я давно начал, и дополнение о религии» (ГТМ).

Часть черновых автографов и исправленных Толстым копий «Фальшивого купона» заключены в обложки, на которых рукой М. Л. Оболенской и А. Л. Толстой обозначены даты работы Толстого над отдельными частями повести: 1903 г. декабря 15, 26, 28—31, 1904 г. января 3, 6, 14, 15, 23, 26, 27, 29, 31, февраля 1—4, всего 19 дат.

В начале февраля 1904 г. работа над «Фальшивым купоном», очевидно, оборвалась и к продолжению ее Толстой более не возвращался. Последняя дневниковая запись, относящаяся к повести, — «Работаю над Купоном» (2 февраля) — не свидетельствует о том, что Толстой считал свою работу близкой к завершению. В новом списке сюжетов, относящемся к декабрю 1904 г., упоминается одна из центральных тем «Фальшивого купона»: «Убийца, ужаснувшийся непротивления». Весной — 1907 г.

для «Детского крута чтения» Толстой написал маленький рассказ о разбойнике Федотке, убившем старуху, раскаявшемся, признавшемся в убийстве и после каторги ставшем «другим человеком».

К «Фальшивому купону» относятся следующие рукописи, хранящиеся в ИРЛИ (шифр 22.5.16) и в ГТМ (АЧ, папки 82 и 78) (все материалы, относящиеся к работе над повестью, — автографы и копии — до последнего кусочка сохранились).

1. Автограф ИРЛИ на 3 листах в 4°, из которых два первых исписаны с обеих сторон, а третий лишь в начале лицевой страницы. Заключает в себе текст первой главы и начинается прямо с изложения повести. Заглавия нет. *Начало:* «Какъ важны бываютъ люди, а все же есть и важнѣе ихъ». Конец: «надѣлъ пальто и пошелъ къ Махину».

2. Рукопись ГТМ на 10 листах. На первых пяти листах формата большого полулиста почтовой бумаги — копия автографа первой главы, написанная рукой В. Г. Черткова и исправленная рукой Толстого. Вслед за заглавием («Фальшивый

купонъ») — *начало:* «Какъ ни важны бываютъ люди». На недописанной переписчиком части пятого листа, на лицевой его странице, идет начало автографа следующих глав повести, до седьмой включительно. Автограф продолжается на листе почтовой бумаги большого формата, исписанного с обеих сторон, и на трех четвертушках писчей бумаги, также исписанных с обеих сторон. Деление на главы в рукописи сначала отсутствует, и появляется оно лишь с VI главы. Автограф кончается словами: «и мертвецки пьяный пріѣхалъ къ женѣ». Рукопись вложена в обложку с надписью рукой М. Л. Оболенской: «Фальшивый купон. Черновик полный. Ноябрь 1902 год». К слову «полный» неизвестной рукой карандашом приписана частица «не».

3. Рукопись ИРЛИ на 151 нумерованных рукой библиотекаря листах, считая листом любого формата и любого размера бумажную единицу в две страницы. Рукопись эта составилась в результате подбора копий автографов, исправленных рукой Толстого и впоследствии целиком или частично вновь переписанных, и самих автографов, обычно продолжающих текст копий. Материал, относящийся к копиям, на полулистах писчей бумаги, согнутых пополам, на четвертушках и их долях разной величины — написан рукой М. Л. Оболенской, А. Л. Толстой и на пишущей машинке и исправлен рукой Толстого. Автографы написаны, кроме указанных форматов бумаги, еще и на полулистах почтовой бумаги большого и малого формата. Данная рукопись заключает в себе решительно весь автографический материал повести. Ни одна строка из этого материала не утрачена.

4. Одиннадцать обрезков — автографов (ИРЛИ), в которых речь идет о чертях, по первоначальному замыслу фигурировавших в повести и символически истолковывавших отдельные ее моменты. Эти обрезки представляют собой приписки Толстого к копиям отдельных глав, вырезанные из этих копий. Обрезки помещены в конверт, на котором рукой Ю. И. Игумновой написано: «Фальшивый купон».

5. Три четвертушки, хранящиеся в ГТМ и заключающие в себе исправленный рукой Толстого и затем зачеркнутый,

переписанный на пишущей машинке текст, относящийся к XI и XIII главам первой части повести.

Недописанные лицевые и чистые оборотные страницы этих четвертушек использованы были впоследствии Толстым для черновиков статьи «Одумайтесь!»

6. Рукопись ИРЛИ на 140 нумерованных окончательно рукой А. Л. Толстой листах в 4°, написанная с одной стороны на пишущей машинке[11] и от руки — М. Л. Оболенской, А. Л. Толстой и Ю. И. Игумновой, с поправками в большей части глав рукой Толстого. Составилась эта рукопись из ранее сделанных и исправленных Толстым копий, причем страницы или части их, особенно сильно исправленные, были вновь переписаны, иногда вновь исправлены. В результате получился сплошной связный текст «Фальшивого купона», поделенный на главы. Однако деление это не всюду последовательное. Большая часть приписок рукой Толстого, в которых идет речь о чертях, вырезана и на место их вклеены копии, переписанные преимущественно рукой Ю. И. Игумновой. Почти все эти приписки обведены чертой, рядом с которой рукой Толстого написано «пр[опустить]». (Не сделал этой надписи Толстой лишь при приписках о чертях в X и XI главах второй части, очевидно по рассеянности. Рукопись заключена в обложку, на которой рукой М. Л. Оболенской написано: «Фальшивый купон. Ноябрь 1902 год. Ясная поляна». Неизвестной рукой цыфра 1902 зачеркнута и вместо нее карандашом проставлено 1904. Там же, на первой странице обложки, рукой Толстого карандашом написан в колонну следующий план:

1) Отецъ, 2) Сынъ, 3) Гимназ., 4) П. Ф., 5) Его жена, б) Ив. Мир., 7) П. Н., 8) Прокофій, 9) Священ., 10) Дмитрій Ж., 11) Убійца П. Н., 12)...[12]

Первый приступ к «Фальшивому купону» — автограф 1 главы[13] — от последней редакции этой главы отличается

следующими особенностями. Начинается повесть сентенцией общего характера:

Какъ ни важны бываютъ люди, а все есть важнѣе ихъ, и достается и важнымъ отъ тѣхъ, кто повыше ихъ.

Это начало, как и несколько ближайших к началу фраз, свидетельствуют о том, что повесть задумана в стиле, близком к стилю народных рассказов. Такъ то было и съ Федоръ Михайловичемъ Смоковниковымъ. Случилась ему непріятность по службѣ: оконфузилъ его старшій начальникъ, и вернулся Федоръ Михайловичъ домой злой, презлой, и дома все ему было наперекоръ».

Однако вслед за этим стиль заметно меняется, и повествование ведется в тоне обычном для большей части художественных произведений Толстого.

После обеда Митя у себя в комнате не один, как в последней редакция главы, а с пришедшим к нему готовить уроки товарищем, не названным по имени. Этот товарищ, не зная еще, что Митя нуждается в деньгах, рассматривая купон, на котором написано: «Предъявителю сего 1-го января 1885 года 2.50», предлагает поставить впереди цыфры 2 — единицу. Митя на этот раз отказывается последовать совету товарища. В конце главы, после того как сказано о том, что Митя решил итти к Махину, чтобы тот научил его, как заложить часы, речь шла о Махине и об отношении к нему Мити. Но всё это тут же зачеркнуто (см. вариант № 1). Отличается автограф первой главы и некоторыми словарными и стилистическими особенностями, о которых ниже.

После того как автограф 1 главы был переписан В. Г. Чертковым, копия подверглась исправлению Толстого, и вслед за этим на оставшейся недописанной части последнего листа копии и на следующих листах Толстым были написаны следующие шесть глав повести.

Исправления носят преимущественно стилистический, отчасти словарный и смысловой характер. Отметим наиболее существенные. Так, первоначальное «Хлопнулъ чиновникъ дверью» исправлено на «Федоръ Михайловичъ хлопнулъ дверью». Митя в ответ отцу на то, что он в годы сына получал 50

копеек, начинал свою реплику словами: «Да не тѣ времена были». Эти слова в копии зачеркнуты. Первоначальное «Сынъ озлобился и испугался, но испугался больше, чѣмъ озлобился» — исправлено: «Сынъ испугался и озлобился, но озлобился больше, чѣмъ испугался». Во фразе «и пошелъ къ обѣду» после «и» вставлено «насупившись». В первоначально написанной фразе «Сынъ тоже хмурился» «хмурился» зачеркнуто и исправлено на «не поднималъ глазъ отъ тарелки». Первоначально написанная фраза «Мать была добрая и баловница, но отъ этого то она и не могла помочь ему. Она ему уже все передавала» исправлена так, что всё, стоящее после запятой зачеркнуто и вместо этого написано: «и она, можетъ быть, помогла бы ему». Написанное в автографе «Нынче у нея былъ больной ребенокъ» заменено более конкретной фразой: «Но нынче она была встревожена болѣзнью меньшого двухлѣтняго Пети». Первоначальное «Онъ пошелъ отъ двери» исправлено на: «Онъ что то проворчалъ себѣ подъ носъ и пошелъ отъ двери». После слов «онъ научитъ, гдѣ часы заложить» добавлено: «подумалъ онъ, ощупывая часы въ карманѣ».

Кроме того, рассказ о приходе к Мите после обеда товарища зачеркнут и вместо него написан новый текст, очень близкий к соответствующему месту главы в последней редакции.

Что касается автографа глав II — VII, то он, написанный с небольшим числом помарок, очень близок к последней редакции соответствующих глав. В нем лишь отсутствует разговор Евгения Михайловича с дворником (в главе VII) и окончание VII главы, начиная от слов «Жена была беременная».

С копии исправленной первой главы и автографа следующих шести глав М. Л. Оболенской и А. Л. Толстой снята была копия, исправленная и продолженная Толстым: им дописана была VII глава, кончая словами: «долго кляла разбойника — барина, обманувшаго Ивана», и написана новая глава, обозначенная как восьмая и соответствующая IX главе и первому абзацу X главы в последней редакции. Несколько страниц, особенно радикально исправленных Толстым, были переписаны на пишущей машинке. В результате поправок текст

первых семи глав был почти окончательно установлен. Главное, что его еще отличает от последней редакции, — это введение чертей, символизирующих постепенное нарастание зла.

В 1 главе после слов «и тут же написал бойкий и колкий ответ», стр. 5, строка 12, приписано:

И хотя онъ не могъ видѣть этого, въ тотъ самый моментъ, какъ онъ читалъ бумагу начальника губерніи, маленькій чертенокъ, сидѣвшій на бумагѣ, перескочилъ на плечо Федора Михайловича и, сидя на немъ, нѣсколько увеличился.

В той же главе, после слов «Вон! сечь их надо!», стр. 6, строка 6, приписано:

И въ ту минуту, какъ Федоръ Михайловичъ всталъ со стула и закричалъ, чертенокъ, сидѣвшій на его плечѣ, надулся, раздвоился, и тотъ, который былъ поближе, перескочилъ на плечо гимназисту.

В той же главе, после слов «и долго еще кричал, провожая сына, бранные слова», стр. 6, строка 17, приписано:

Чертенокъ весело танцовалъ на его плечѣ, дѣлая странныя гримасы.

В той же главе, после слов «а потом снял мундир и надел куртку», стр. 6, строка 27, приписано:

Чертенокъ, въ то время какъ онъ переодѣвался, держась на воздухѣ, опустился ему на плечо только тогда, когда куртка была надѣта.

В той же главе, после слов «Не знаю все ли так, но я не люблю», стр. 6, строка 43, приписано:

Чертенокъ на плечѣ гимназиста сталъ величиною уже съ маленькаго мышенка.

В той же главе, после слов «Он что то проворчал себе под нос и пошел из двери», стр. 7, строка 14, приписано:

Чертенокъ на его плечѣ раздвоился и хотѣлъ вскочить на плечо матери, но въ то время, какъ онъ приближался къ ней, ей стало жалко сына.

Во II главе, после слов «Что же валить? — Вали!», стр. 8, строки 6—7, приписано:

Чертенокъ на плечѣ Мити перевернулся отъ радости черезъ голову.

К концу III главы приписано:

Между тѣмъ чертенокъ, сидѣвшій на плечѣ Мити, распухъ до порядочной величины, раздвоился и двойника своего оставилъ въ лавкѣ фотографическихъ принадлежностей.

В IV главе, после слов «И зачем брать купоны», стр. 9, строка 20, приписано:

Чертенокъ, оставшійся въ лавкѣ, сначала не зналъ, гдѣ пристроиться, но какъ только хозяинъ закричалъ, онъ уже сидѣлъ у него на плечѣ и радостно смѣялся.

В VI главе, после слов «порожнем погнал к трактиру», стр. 11, строка 27, приписано:

Чертенокъ распухалъ на плечѣ Евгенія Михайловича, раздвоился, и двойникъ его побѣжалъ за Иваномъ Мироновымъ.

В той же главе, после слов «Давай деньги, какую ты имеешь полную праву?», стр. 12, строка 5, приписано:

Чертенокъ, взошедшій за Иваномъ Мироновымъ въ трактиръ, вдругъ раздвоился, и одинъ вскочилъ на плечо Ивана Миронова, другой на плечо буфетчика.

В VII главе, после слов «В первый раз его вижу», стр. 12, строка 30, приписано:

Чертенокъ, сидя на плечѣ Евгенія Михайловича, все раздувался и сталъ величиною уже въ большую крысу или маленькаго котенка.

Что касается автографа, следующего за текстом VII главы, то он очень близок к последней редакции IX главы.

На переписанной на машинке последней странице, заключавшей в себе окончание VII главы, Толстым приписана была к главе еще одна заключительная фраза, в которой сказано, что Иван Миронов решил итти к адвокату жаловаться на Евгения Михайловича, и вслед за этим написана вся VIII глава, так же как и предыдущая, обозначенная цыфрой VIII и соответствующая VIII главе последней редакции. От нее она отличается более кратким концом и тем, что после слов «но что было важнее всего того, что люди видели», стр. 14, строки 5—6, следовали строки о чертях:

Чертенокъ, оставшійся послѣ раздвоенія на плечѣ Евгенія Михайловича, не только самъ увеличился, но еще испустилъ изъ

себя другого, гораздо большаго, чѣмъ онъ самъ, дьявола, который помѣстился на плечѣ бойкаго, красиваго, всегда веселаго Василія-дворника.

VIII и IX главы после этого были переписаны на пишущей машинке, слегка исправлены, переставлены одна на место другой и присоединены к первым семи отредактированным главам. Последний абзац IX главы стал начальным абзацем главы X.

Вслед за этим Толстым написана была новая глава, не обозначенная никакой цыфрой, но, очевидно, мыслившаяся им как десятая (автограф на двух согнутых пополам полулистах писчей бумаги, исписанных, кроме последней четвертушки, с обеих сторон). Рукопись по содержанию соответствует X главе последней редакции и заключает в себе также и материал, легший в основу XI и частью XIII глав. Про Прокофия здесь говорится большей частью то, что позднее связалось с именем Василия.

Часть автографа, соответствующая X главе, в дальнейшем не подверглась никаким поправкам. Лишь в конце Толстым сделана была следующая приписка:

Чертенокъ, жившій на его плечѣ, сталъ больше, особенно послѣ того, какъ онъ раздвоился и двойника своего оставилъ у Петра Николаевича.

Эта часть, будучи переписана на пишущей машинке, в качестве X главы присоединена была к ранее отредактированным первым девяти главам.

Вторая часть автографа в существенном совпадает с началом XI главы в ее последней редакции, кончая словами «Улик не было. И Прошку выпустили», стр. 17, строка 44. Далее сказано было следующее. Когда Прокофий вернулся домой, Парашу просватали за другого. Дома делать было нечего. С обиды Прокофий пошел в губернский город, где жил поденной работой, пропивая всё, что зарабатывал. Решив вернуться ко второму Спасу к себе домой, он по дороге зашел в деревню переночевать и тут узнал, что купец, снявший помещичий сад, ищет караульщика. К этому купцу и нанимается Прокофий за пять рублей в месяц. Далее о Про кофии сказано:

Обида Петра Николаевича жила въ Прокофьѣ. Нѣтъ, нѣтъ, да вспомнитъ, какъ его обидѣли, какъ Параша измѣнила и отецъ избилъ. Не вѣрится, чтобы были на свѣтѣ добрые люди, а живутъ всѣ, только бы себѣ побольше забрать, а объ другихъ никто не думаетъ.

Получив у хозяина расчет, Прокофий отправился на постоялый двор, где, встретившись с двумя приятелями-поденщиками, подбил их ограбить вместе с ним лавку.

Рукопись кончается после этого так:

Денегъ вынули 800 рублей. 700 онъ оставилъ себѣ, а 100 роздалъ товарищамъ. Посдѣ лавки онъ залѣзъ къ богатому купцу и тамъ захватилъ всѣ капиталы. Сотенный билетъ подкинули назадъ, а 27 тысячъ денегъ Прокофій увезъ съ собой въ другой городъ. Въ другомъ городѣ попались всѣ трое въ кражѣ шубы.

Всѣхъ посадили въ острогъ, товарищей Прокофія въ общую камеру, а Прокофія отдѣльно.

Эта вторая часть автографа, будучи переписана на пишущей машинке была вновь радикально переделана.

После того как сказано о том, что Парашу просватали за другого, добавлено:

И Прошка вернулся домой озлобленный противъ Петра Николаевича и всего міра. Чертенокъ, жившій на плечѣ Петра Николаевича, отрядилъ своего двойника на плечо Прокофія.

После двукратных исправлений работа над XI главой была почти закончена. Глава оканчивалась фразой, которая потом Толстым была отчеркнута и рядом с которой им было написано: «пр[опустить]».

Въ острогѣ онъ сталъ харкать кровью и совсѣмъ отчаялся, ненавидѣлъ людей, и себя, и Того, Кто послалъ его въ міръ.

Но, очевидно, вначале эта вторая часть автографа не была выделена в особую главу и мыслилась Толстым как вторая половина X главы, на что указывает проставленная им цыфра X перед словами «Петръ Николаевичъ Свентицкій изъ всѣхъ силъ старался...»

То, что говорится дальше о Прокофье, было отрезано, и в дальнейшем исправленное и связанное с именем Василия

образовало XIII главу.

В какой стадии работы над повестью была установлена последняя редакция этой главы, мы не можем сказать с уверенностью; во всяком случае, это было сделано после написания ряда последующих глав, так как в них всё еще вместо Василия фигурирует Прокофий Николаев. Глава дважды переписывалась на пишущей машинке и дважды исправлялась и дополнялась. В копиях она была помечена цыфрой XVI. После того, как сказано о слугах, которые работали, чтобы кормить, поить и веселить господ, приписано:

Около всѣхъ этихъ господъ, и старыхъ и молодыхъ, вились въ большомъ количествѣ, какъ мошки въ жаркій день, маленькіе чертенята, и всякій разъ какъ Василій говорилъ себѣ: хорошо бы такъ пожить, чертенята эти раздваивались, перелѣзали къ нему на плечо и превращались въ одного увеличивающагося большого, пухлаго дьявола.

Продолжение работы над повестью — в автографе на 6 листах, нумерованных рукой Толстого (1—6). Текст поделен на главы — XI—XVI, причем из XVI главы написана всего лишь одна строка: «Степанъ исполнилъ все, какъ сказалъ ему Николаевъ». В XI главе речь шла о ссоре Петра Николаевича с земским начальником, оправдавшим Прокофия, и о том, что сын земского начальника и его дочь Людмила, настроенные революционно, из-за Петра Николаевича попали в тюрьму (см. вариант № 2). После того как эта глава была переписана, она была зачеркнута Толстым, а эпизод с сыном земского начальника и его невестой, заменившей в фабуле сестру, разработан заново.

Текст XII главы автографа соответствует тексту XIV главы последней редакции и отличается от него лишь очень незначительными частностями, кроме конца главы, в котором вместо Степана фигурирует Кондратий. Он бьет Миронова по лицу, но о том, что он убийца, — не сказано: убивает вора толпа.

Текст XIII главы соответствует тексту XV главы последней редакции, но значительно кратче его. Здесь в числе убийц назван Степан Пелагеюшкин, но убивает он Миронова камнем не потому, что сводит с ним личные счеты, а потому, что мир

порешил убить вора. О Степане сказано, что он «высокій, красивый малый». После слов «Нынче его, завтра меня» стр. 24, строка 7, идет вариант, в котором рассказывается о встрече Степана с Прокофием в остроге и о замысле их совершить побег. Этот вариант впоследствии был развит в III и VIII главах второй части повести, где Прокофий заменен был Василием. Печатаем его под № 3.

Текст XIV главы соответствует тексту XXII главы последней редакции, но он также кратче и схематичнее его. Женщина, стрелявшая в министра, не названа по имени. О ней сказано лишь, что она была невестой одного из заговорщиков, сидевших в тюрьме вместе с Людмилой.

Текст XV главы соответствует IX главе второй части повести в последней редакции. То, что там говорится о Василии, здесь сказано в применении к Прокофию Николаеву. Глава начинается следующими словами:

Въ ту ночь, когда Николаевъ рѣшилъ бѣжать, въ острогѣ умеръ отъ тифа арестантъ, содержавшійся за сопротивленіе властямъ. Въ острогѣ былъ тифъ, и умирало по человѣку почти каждый день, а то и по два.

В дальнейшем изложение близко к тому, что говорится в IX главе второй части последней редакции; лишь отсутствуют некоторые детали, введенные Толстым в копию, при ее исправлении.

С автографа XI — XV глав снята была копия на пишущей машинке, исправлена, и на оставшихся чистых ее страницах Толстым написаны следующие главы повести.

В XI главе, после того как сказано, что земский начальник попрекнул Петра Николаевича шляхетским гонором, Толстым приписано:

Дьяволенокъ, сидѣвшій на плечѣ Петра Николаевича, еще раздвоился и послалъ своего двойника земскому начальнику.

Слова «и ненависть между двумя семьями дошла до послѣдней степени» (см. вариант № 2, стр. 420, строки 16—17) были зачеркнуты и вместо них написано:

И вся семья земскаго начальника возненавидѣла Петра Николаевича, и дьяволъ, перешедшій отъ Петра Николаевича къ

земскому начальнику, утвердился въ этой семьѣ, гдѣ озлобленіе противъ Петра Николаевича скоро перешло на предводителя, губернатора, на всѣхъ жандармовъ.

Вслед за этим остальная часть первоначальной XI главы была радикально переработана и выделена в самостоятельную XII главу. В ней выступает уже Турчанинова — дочь казачьего офицера, заменяющая собой в фабуле повести сестру студента — Людмилу.

Здесь кратко рассказывается то, что позднее сказано в XXI главе последней редакции. Но причины ареста студента прежние — предполагаемый донос Петра Николаевича, а не те, о которых сказано в XXI главе. Заканчивается глава словами:

Дьяволъ, жившій въ семьѣ земскаго начальника, свилъ теперь гнѣздо на ея плечѣ и съ каждымъ днемъ становился все больше и больше.

После этого глава эта была еще дважды переработана в копиях, переписанных на пишущей машинке. В первой переработке названы имя и фамилия арестованного студента — Валентин Тюрин, сделано много поправок, приближающих текст главы к последней ее редакции, но причины ареста студента остаются всё те же. Вторая переработка представляет собой последнюю редакцию главы. Здесь многое по сравнению с первой переработкой было Толстым исправлено и дополнено. Арестовывают Тюрина за агитацию среди крестьян того села, в котором управляющим был Петр Николаевич. Глава попрежнему помечалась цыфрой XII.

После такой мотивировки ареста Тюрина большая часть первоначальной XI главы, где речь шла о ссоре отца Тюрина — земского начальника с Петром Николаевичем и о том, что арест студента связывался с предполагавшимся доносом Петра Николаевича, сама собой устранялась, и она была зачеркнута. От главы остался лишь первый абзац, который был присоединен к концу предыдущей главы, ставшей теперь одиннадцатой.

В первоначальной XII главе исправлен лишь конец: исключено упоминание о Кондратии, а о Степане и об убийстве им Ивана Миронова сказано буквально то же, что говорится в

XIV главе последней редакции. Лишь в конце сделана следующая приписка:

И дьяволъ, жившій на немъ, раздвоился, растроился, расчетверился, расчленился на десятокъ дьяволовъ и вошелъ во всѣхъ тѣхъ, кто билъ Ивана Миронова.

Цыфра XII стерта и заменена цыфрой XIV.

Первоначальная XIII глава была переписана и исправлена дважды. Трудно сказать, к какой стадии работы над повестью должны быть приурочены эти исправления. Во всяком случае, они были сделаны позже написания первоначальной XVIII главы (см. ниже). В первой копии Толстой колебался, какое убийство приписать Степану — Ивана Миронова или Петра Николаевича: всюду, где говорится об убийстве Миронова, его имя было зачеркнуто и сверху написано «П[етра] Н[иколаевича]», но потом второе имя было также зачеркнуто и восстановлено первое. Имя Прокофия, с которым в этой редакции главы Степан встречается в остроге, заменено именем Василия.

При вторичной правке глава была, с одной стороны, сокращена, с другòй — значительно дополнена. Выброшен эпизод встречи Степана с Василием в остроге, нашедший себе затем место в более развитом виде в III и в VIII главах второй части повести, и добавлено всё, что говорится о Степане в последней редакции XV главы первой части.

В обеих копиях глава эта помечена цыфрой XX.

Первоначальная XIV глава исправлена и дополнена так, что она соответствует почти буквально тексту XXII главы в последней редакции. В ней лишь отсутствует еще часть текста, начинающаяся словами «Заговора, разумеется, никакого не было» и кончающаяся словами «mais vous savez — le devoir», стр. 31, строка 39 — стр. 32, строка 12. Эта часть текста добавлена была в следующей копии главы, которая, будучи слегка исправлена и дополнена, образовала последнюю редакцию главы. Кроме того, в конце главы было написано:

Дьяволъ, жившій въ ней, не уменьшался, но раздвоился въ тотъ самый моментъ, когда она стрѣляла въ министра, и, перескочивъ на министра, уже не оставлялъ его.

Цыфра XIV, обозначавшая главу, исправлена на XIII.

Первоначальная XV глава была исправлена так, что текст ее совпал с текстом IX главы второй части повести в последней редакции. Исправление главы в описываемой копии, очевидно, происходило дважды (во второй раз тогда, когда поступки Прокофия приписаны были Василию). Цыфра XV заменена цыфрой XVI.

Все эти замены одних цыфр другими указывают на перестановку глав. Эта перестановка не была окончательной, и впоследствии установлен был иной порядок глав.

Вслед за тем на оставшихся 3 1/2 чистых страницах Толстым написано продолжение повести — две главы полностью и одна частично. Обозначены они цыфрами XVII, XVIII и XIX.

Глава XVII автографа соответствует по содержанию тексту XVII главы последней редакции, но кратче его. Весь рассказ ведется от имени автора, диалог отсутствует. О том, что два крестьянина были приговорены к повешению, еще не сказано.

Глава XVIII представляет собой первоначальный набросок текста, легшего позднее в основу второй половины XV главы и всей XXIII главы. Вместо Василия фигурирует пока еще Николаев. Кратко, чисто описательно и внешне перечисляются убийства, которые совершил Степан: он убил лесника — сторожа и его жену, взяв у них 2 рубля 70 копеек денег, билет и одежду, затем убил еще двенадцать человек. Эпизод убийства в уездном городе Марьи Семеновны рассказан кратко, без тех психологических подробностей, которые имеются в описании этого эпизода в его последней редакции, и самое имя убитой не названо (см. вариант №4).

Глава XIX, лишь начатая в этом автографе, соответствует по содержанию началу I главы второй части. Тут речь идет о том, что Степан мучился последним убийством трое суток, а на четвертые пошел к становому.

Автограф переписан был на пишущей машинке (3 четвертушки, исписанные с одной стороны). Затем на полях, на оборотных страницах копии, на оставшейся недописанной части третьей четвертушки и на четырех полулистах почтовой бумаги,

исписанных с обеих сторон, он был исправлен и сильно дополнен.

В главе XVII, после того как сказано, что крестьяне сожгли у Петра Николаевича ригу и гумно, приписано:

Сдѣлалъ это Прокофій. Всѣ знали это, но уличить его не могли.

Затем добавлен новый абзац, в котором идет речь о знакомстве Петра Ивановича в поволжской губернии с одновладельцем села Максимом Петровичем Ивановым и его свояченицей Марией Семеновной. Характеристика Марии Семеновны очень близка к характеристике той Марии Семеновны, которая фигурирует в XVI главе последней редакции и которую позже убивает Степан. Когда мужики убивают Петра Николаевича, она бросается в толпу, чтобы защитить его. На суде она просит простить убийц. Тут же упоминается о портном, который жил и работал у Марии Семеновны и который под влиянием примера ее жизни, стал задумываться (см. вариант 5). Бо̀льшая часть абзаца, в том числе всё то, что говорится о Марии Семеновне, зачеркнуто Толстым, и ее образ, как и имя, а также фигура портного были использованы им затем в другой обстановке и в другом окружении.

После этого глава эта, будучи дважды переписана на пишущей машинке, дважды была исправлена и дополнена Толстым.

Глава XVIII автографа исправлена и дополнена в направлении к тому, что говорится в главе XXIII последней редакции об убийстве Степаном семьи Марии Семеновны. Но самое имя это еще не названо, отсутствует и ряд подробностей, в роде того, что Степан не мог переносить голоса и взгляда убиваемой женщины, что после убийства он закурил папиросу и почистил свою одежду, и др. Но введена новая фраза, впоследствии вычеркнутая:

Тамъ лежала та самая женщина, про которую говорили Степану, что ее пожалѣть надо, что она всѣхъ бѣдныхъ призираетъ, больныхъ лечитъ, заключенныхъ посѣщаетъ.

В дальнейшем Толстой сильно переработал и расширил материал этой главы. Часть его вошла в состав XV главы последней редакции, другая часть образовала XXIII главу, и по связи с этой последней была написана XVI глава. XXIII глава редактировалась пять раз (т. е. пять раз переписывалась и исправлялась), XVI — три раза. Конец XVI главы от слов «Получила раз Мария Семеновна» и кончая словами «Человек, с которым она столкнулась, был Степан», стр. 32, строки 19—38, был сделан началом XXIII главы.

Обработка XXIII главы (по окончательному счету) шла в направлении психологической детализации и натуралистичности описаний. Так, сцена убийства жены извозчика и ее детей, прежде чем получить последнюю обработку, постепенно преодолевая голый схематизм стиля, последовательно прошла через следующие промежуточные стадии:

[1] Потомъ Степанъ одинъ зашелъ къ мѣщанину въ городъ, сказалъ, что дѣло есть, подождетъ хозяина. И когда жена пустила его, онъ убилъ ее и двухъ дѣтей.

[2] Изъ постоялаго двора, гдѣ Степанъ убилъ мѣщанина, онъ не пошелъ въ деревню, а вернулся въ городъ. Въ городѣ онъ зашелъ къ извощику-легковому — изъ ихъ деревни. Извощика дома не было. Онъ сказалъ, что подождетъ, и сидѣлъ, разговаривая съ бабой. Потомъ, когда она повернулась къ печи, онъ схватилъ ножъ и убилъ ее. Дѣти стали кричать, онъ убилъ и ихъ.

Следовавшая вслед за этим в ранней редакции фраза:

Потомъ онъ зашелъ въ караулку ночевать, убилъ топоромъ старуху и старика, взялъ поддевку и 40 копеекъ денегъ —

была зачеркнута, так как она разрослась в целый эпизод, приуроченный к концу XV главы, где идет речь об убийстве Степаном содержателя постоялого двора и его жены.

Работа над эпизодом убийства Степаном Марии Семеновны также прешла через ряд стадий. Помимо большого количества второстепенных, большей частью стилистических исправлений и дополнений, было добавлено, что Степан не мог больше переносить взгляда Марии Семеновны и потому ускорил убийство ее. Далее была добавлена такая подробность: после

убийства Марии Семеновны «Степанъ закурилъ папироску, посидѣлъ, почистилъ свою одежду и вышелъ». Образ Марии Семеновны далеко не сразу определился в этом эпизоде. Лишь в процессе работы над эпизодом Марии Семеновны усвоены были и имя и — в общих чертах — самый облик той Марии Семеновны, свояченицы Максима Петровича Иванова, о которой Толстой первоначально говорил в главе, связанной со сценой убийства Петра Николаевича. Оттуда же и фигура портного, которая вместе с характеристикой Марии Семеновны нашла себе место в особой XVI главе (первоначально фигурировали два портных — один взрослый, другой малый — ученик).

Фигура портного организовала собой ряд эпизодов повести, вначале, видимо, не предусмотренных Толстым. Сама она, очевидно, понадобилась для мотивировки превращения крестьян-покупщиков земли в сектантов (глава XVIII). Дальнейшая судьба сектантов рассказана в главах XIX в XX. Но события, о которых говорится в двух последних главах, требовали предварительно написания XII главы, в которой сказано о повороте в судьбе священника Михаила Введенского, в главах XIX и XX фигурирующего в качестве архимандрита Мисаила. Мы имеем автографы главы XII (четвертушка писчего листа и полулист почтового листа) и глав XVII — XX (полулист писчей бумаги, согнутый пополам, и полулист почтовой бумаги). Качество бумаги обоих автографов, цвет чернил и детали почерка совершенно одинаковы — указание на то, что они писались почти одновременно, один вслед за другим.

Судьба текста XII главы, которая и в автографе и в копиях всюду помечена цыфрой XII, такова.

В автографе вся глава значительно кратче, чем в последней редакции. Речь в ней ведется целиком от лица автора, диалоги отсутствуют. Ничего не говорится о размышлениях законоучителя по поводу увеличивающихся безнравственности и атеизма, нет и таких деталей, как указание на то, что законоучитель говорил, «поглаживая рукой гладкие бока наперсного креста», или «дрожа подбородком, так что тряслась его редкая бородка». Ничего еще не сказано о причинах вражды

между законоучителем и Смоковниковым, отсутствует и сцена их столкновения. Жена владельца магазина, прежде чем отправиться в гимназию, идет с жалобой на гимназиста к его отцу — Федору Михайловичу. Сын (по забывчивости Толстой всюду его называет здесь Ваней вместо Мити) сначала отпирается, потом признается. Отец бьет его и прогоняет. По жалобе Федора Михайловича в Петербург законоучителя увольняют, и тогда законоучитель решается итти в монахи. Заканчивается глава словами:

Проповѣди его, вЪ которыхъ онъ громилъ невѣріе, а главное, крамолу, стали обращать на себя вниманіе, и въ то время, какъ совершили покушеніе на министра, онъ написалъ и прочелъ умилительную проповѣдь о добродѣтели министра и о вредѣ, ужасѣ, и безнравственности крамольниковъ, служителей дьявола.

Въ высшихъ кругахъ стали знать и цѣнить Михаила. Онъ былъ призванъ въ архимандриты и назначенъ викаріемъ въ одну изъ дальнихъ губерній.

Автограф трижды был исправлен и дополнен в копиях, переписанных на пишущей машинке. Во всех этих копиях сын Федора Михайловича неизменно называется Ваней. Во второй копии впервые жена хозяина магазина фотографических принадлежностей называется по имени и отчеству — Марией Васильевной. В определении дальнейшей судьбы законоучителя после ухода его из гимназии Толстой колебался. В автографе законоучитель после назначения его ректором семинарии получает сан архимандрита и назначается викарием в одну из дальних губерний. Далее — он оказывается миссионером в одной из южных губерний, зараженных штундизмом; в следующей редакции речь идет только о том, что законоучитель получил место ректора и был переведен в столицу. Наконец, в последней редакции сказано о том, что законоучитель постригся в монахи под именем Мисаила и получил место ректора семинарии в поволжском городе, т. е. в тех местах, где произошло и убийство Петра Николаевича.

В копиях троекратно вводятся эпизоды с чертями.

В конце первого абзаца главы приписано:

Чертенокъ, помѣстившійся на спинѣ ея мужа, раздвоился и не покидалъ теперь жену.

После слов, с которыми законоучитель обращается к Марии Васильевне, добавлено:

Такъ говорилъ отецъ Михаилъ и не зналъ, что чертенокъ, сидѣвшій на плечѣ Маріи Васильевны, распухъ, раздался и перескочилъ на плечо отца Михаила.

Наконец, в конце следующего абзаца, после слов «имеет в виду только благо и спасение юноши», стр. 19, строки 17—18, также добавлено:

И въ то время, какъ онъ такимъ образомъ обманывалъ себя, чертенокъ, вскочившій на его плечо, какъ гутаперчевая раздуваемая подушка, сталъ быстро распухать и увеличиваться.

В автографе главы XVIII—XX обозначены цыфрами XXIII и XXIV, причем XXIII глава автографа соответствует XVIII главе повести в последней редакции, а глава XXIV была разбита на две, соответствующие главам XIX и XX в последней редакции.

XXIII глава автографа, будучи переписана однажды на пишущей машинке, слегка исправлена рукой Толстого. Еще в автографе Толстой колебался, куда отнести место действия этой главы. В начале оно происходило «въ глухомъ селѣ Кіевской губерніи Васильковскаго уѣзда». Затем эти слова были зачеркнуты и вместо них написано. «Въ Землянскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи». В копии последние слова были зачеркнуты, вновь восстановлены, опять зачеркнуты и вместо них написано: «Въ селѣ, изъ котораго былъ портной». Ни Киевская, ни Воронежская губернии не подходили потому, что события, рассказанные в этой главе, необходимо было связать с местом служения архимандрита Мисаила, который действовал в одной из поволжских губерний.

По забывчивости в автографе всех трех глав Толстой называет архимандрита его мирским именем — Михаилом. В этой копии, как и в копиях следующих глав, Толстой слово «Михаил» всюду исправил на «Мисаил». Цыфра XXIII, обозначавшая главу, рукой Толстого исправлена на XIX, а затем рядом с ней посторонней рукой поставлена цыфра XVIII.

Первая часть первоначальной XXIV главы была переписана на пишущей машинке и исправлена рукой Толстого дважды. Она обозначена переписчиком цыфрой XIX.

В первой копии рукой Толстого в самом начале главы дописано:

Въ Воронежской епархіи появилась среди крестьянъ секта людей, не признающихъ иконъ и таинствъ. Люди эти бросили пить вино, курить табакъ, перестали ругаться и помогали другъ другу.

Толстой зачеркнул это вступление, так как о том же говорилось в предыдущей главе. Далее после слов «сказал отец Мисаил», стр. 28, строки 11—12, было добавлено всё продолжение от слов «Он был рад этому поручению» до конца абзаца.

Во второй копии после слов «сказал архиерей», стр. 28, строки 15—16, были зачеркнуты следующие слова, имевшиеся в автографе:

а это было совсѣмъ неправда, ему никакого дѣла не было до нихъ, только у него забота была, что жить роскошно, ѣсть, пить сладко и быть почитаемымъ.

Вместо этого сказано, как архиерей принимал пухлыми руками чашку чая, и добавлено его обращение к служке насчет второго варенья к чаю.

В третьем от конца главы абзаце «Но не забывая себя» исправлено на «Но, как человек небогатый». Затем приписаны два последние абзаца главы.

Вторая часть первоначальной XXIV главы в копии была исправлена Толстым однажды. Глава обозначена рукой Толстого неопределенно — цыфрой X с многоточиями. Исправлений довольно много, особенно в конце главы, но они большей частью не вносят существенных смысловых и стилистических вариантов по сравнению с автографом. Забыв, что Мисаил уже ранее был назван архимандритом, Толстой в копии к концу главы приписал: «Отцу же Мисаилу дали награду и сдѣлали архимандритомъ».

Между тем к переписанному началу первоначальной XIX главы автографа, о котором речь идет на стр. 569, присоединено

продолжение, соответствующее вместе с этим началом начальным главам второй части последней редакции повести. Эти главы обозначены цыфрами XIX, XX и XXI.

Глава XIX автографа отличается от соответствующей ей I главы второй части в последней редакции следующими существенными особенностями. После трехдневных мучений Степан сам идет к становому и отдается в руки властей. Далее несколько раз подчеркивается покорность Степана, его смирение и религиозное настроение, в результате чего получается ощущение резкого перехода от образа необычно жестокого разбойника к образу покаянному. Так, про Степана сказано, что он отвечает смотрителю «покорно». Когда смотритель его бьет кулаком в челюсть, он говорит: «благодарю васъ, такъ мнѣ и надо. Я того стою». Сидя в камере, Степан что-то шепчет, плачет или молится. На допросах следователя он не только правдив, но и тих. Далее — он «про себя разсказывалъ не только правдиво, но какъ будто нарочно усиливалъ свою и одну свою вину: товарищей же онъ, очевидно, выгораживалъ». В ответ на совет следователя говорить правду, потому что полное сознание облегчит его наказание, «Степанъ отвѣчалъ, что онъ стоитъ наказанія самаго тяжелаго». Когда его спрашивает прокурор, не имеет ли он жалоб и не нужно ли ему чего, «онъ отвѣчалъ, что онъ не стоитъ того, чтобы съ нимъ такъ хорошо обращались, а что просилъ бы объ одномъ, чтобы ему дали книгу — Евангеліе» (он оказывается здесь немного грамотным). Прокурор поражен «кроткимъ, спокойнымъ и достойнымъ видомъ Степана». Про Степана же смотритель тюрьмы говорит: «Батюшка его исповѣдывалъ, говорить тоже, что вполнѣ раскаянный человѣкъ».

XX глава автографа соответствует II главе и части IV главы второй части последней редакции повести. Здесь нет еще эпизода попытки Степана к самоубийству, нет рассказа о сне Степана, в котором он видел убитую им Марию Семеновну. Степан вспоминает между прочим, как он добил Петра Николаевича; вспоминает и свои дела с Прокофием Николаевым. Евангелие он стал читать до встречи с сектантами. С ними он сталкивается впервые в общей камере, куда его

переводят после того, как отдельная камера понадобилась для присланных политических. О сектантах, встрече с ними Степана и впечатлении, произведенном ими на него, сказано общо:

Въ общей камерѣ были судимые за распространение ложнаго ученія сектанты. Съ ними особенно сблизился Степанъ, и ученіе, которое передалъ ему сектантъ, объяснило для Степана то, что онъ смутно начиналъ понимать при чтеніи Евангелія. И съ тѣхъ поръ Степанъ понялъ, что жизнь его духовная, свободная и, не заботясь о себѣ, думалъ только о томъ, какъ бы сделать такъ, чтобы всѣ люди поняли это, и кончилось бы воровство, грабежи, убійства, развратъ, наказанія, и всѣ люди жили бы одной семьей, не враждуя другъ съ другомъ, а помогая другъ другу.

Начало XXI главы автографа соответствует началу VI главы второй части последней редакции повести.

Автограф переписан был на пишущей машинке (6 четвертушек, исписанных с одной стороны, и полулист, на котором исписано было лишь начало первой страницы). Переписанное было исправлено и дополнено рукой Толстого на полях, на одной оборотной чистой странице и на оставшихся чистых страницах полулиста.

В результате исправлений XIX главы, после этого еще раз переписанной и слегка исправленной, установлена была последняя редакция текста, как она читается теперь в I главе второй части. Все черты кротости и покорности, приданные первоначально Толстым Степану, были устранены, и облик его стал сурово-замкнутым, сдержанным.

XX глава лишь в первом абзаце приблизилась к последней редакции II главы второй части повести. Здесь впервые выведена фигура сектанта Чуева, с которым сближается Степан:

Совсѣмъ же его видѣнія прошли, когда онъ сошелся съ Чуевымъ, сидевшимъ въ одной тюрьмѣ съ нимъ. Чуевъ объяснилъ ему, что законъ церковный ложный, а что истинный законъ только въ Евангеліи, и читалъ ему Евангеліе. Но Чуева перевели въ другой острогъ. И тогда Степанъ захотѣлъ самъ читать Евангеліе.

Вслед за этим к этой главе приписано окончание, в котором речь идет о каторжнике-палаче Махоркине и которое почти буквально соответствует V главе второй части повести.

После этого глава эта, будучи несколько раз переписана на пишущей машинке, была обрабатываема, исправляема и дополняема не менее четырех раз. Одновременно отдельные абзацы ее были переставлены при помощи ножниц. В результате одна глава сначала была разбита на две — вторую и третью, а затем на четыре, и таким образом образовалась последняя редакция глав II, III, IV и V второй части повести. Существенных стилистических и смысловых вариантов эти переделки и дополнения не дают. Вероятно, одновременно с этим был написан автограф VIII главы второй части повести. Будучи переписан на пишущей машинке, этот автограф был исправлен и дополнен Толстым, так что текст его увеличился почти вдвое. В копии глава эта была обозначена цыфрой IV, затем уже переделанной на IX.

В III и VIII главе второй части был развит эпизод, который, как указывалось выше, намечен был в первоначальной XIII главе первой части повести.

В связи с этим первоначальная XIV глава была исправлена так, что сказанное там о Прокофии Николаеве было применено к Василию и образовало IX главу второй части. Эта IX глава после переделки вначале помечена была цыфрой V. Таким образом, очевидно, IV и V главы второй части повести стали VIII и IX после того, как первоначальная XX глава, ставши II главой второй части повести, была окончательно разбита на четыре главы.

Заметим попутно, что следующая натуралистическая деталь — «Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед, мертвеца полотно (он коснулся его руки, когда снимал полотно)» — вписана была Толстым лишь в последнюю редакцию главы.

Переписанная часть первоначальной XXI главы, слегка исправленная, была продолжена Толстым на оставшихся чистых страницах полулиста.

Там же вслед за ней написана остальная часть следующей главы, кончая словами «И теперь последнее взяло верх», стр.

42, строки 13—14. Эта глава обозначена была первоначально цыфрой XXII. Будучи переписаны на пишущей машинке и исправлены, обе главы были обозначены цыфрами VI и VII и вошли в состав второй части повести. При этом к VII главе был дописан конец. В нем убитая женщина, смутившая совесть Степана, названа Толстым ранее не фигурировавшей фамилией Мининой, и то, что тут Толстой говорит о ней, совершенно расходится с тем, что сказано было о Марии Семеновне:

Она до подробности узнала исторію Мининой. Минина была удивительная женщина. Она была богата и съ молоду начала помогать бѣднымъ, но такъ широко, что дядя ея вступился въ ея дѣла, угрожая взять ее въ опеку, и уговорилъ переѣхать къ нимъ. Дядя отобралъ у нея всѣ деньги и давалъ ей 30 рублей въ мѣсяцъ, которые она раздавала бѣднымъ. Это отношеніе Мининой къ имуществу особенно поразило Лизу.

В копии первая фраза этого варианта была исправлена Толстым так: «Она до подробностей узнала исторію Маріи Семеновны и была поражена всѣмъ тѣмъ, что узнала о ней». Затем всё продолжение варианта было зачеркнуто и вместо последней его фразы написано: «Лизѣ страшно захотѣлось быть такой Маріей Семеновной».

Вслед за этим Толстым написана была глава, обозначенная им вторично цыфрой XXII и соответствующая главам X и XI второй части повести. В копии эта глава была разделена на две, причем часть текста, соответствующая главе X второй части, занумерована была Толстым цыфрой VI, а часть текста, соответствующая XI главе, — цыфрой VII. Переписчиком же обе главы обозначены цыфрой IX, поставленной на месте стертой XXII, затем рядом с IX карандашом написано X. Копия автографа не заключает в себе почти никаких поправок. Но в трех местах в ней сделаны добавления о чертях. В X главе после первого абзаца Толстым приписано:

Тотъ дьяволъ, который жилъ на шеѣ Петра Николаевича, перешелъ къ ней.

В XI главе, после слов «Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей», стр. 45, строки 34—35, добавлено:

И дьяволъ, сидѣвшій у нея на плечѣ, сталъ безпокоиться: подниматься и опускаться.

Затем в той же главе добавлено после слов «А я прощаю», стр. 45. строка 42:

И услыхавъ эти глупыя слова, дьяволъ соскочилъ съ ея плеча и не смѣлъ ужъ болѣе сѣсть на него.

На оставшихся чистыми страницах полулиста, на котором кончалась копия X — XI (первоначально XXII) главы, написана была следующая глава (соответствующая XII главе второй части в последней редакции) и затем на девяти отдельных листках — все остальные главы повести.

В первую очередь были написаны главы, соответствующие главам XIV, XV, XVIII и XX второй части повести в окончательной редакции и пронумерованные рукой Толстого цыфрами от XXIV до XXVIII. Затем — три главы, соответствующие главам XIII, XVI и XVII второй части. Они точно не нумерованы: каждая из них снабжена цыфрой XX с последующим рядом палочек. Такая нумерация обозначала, что Толстой не определил еще этим главам их места среди других.

Всё окончание повести было переписано на пишущей машинке, и главы, видимо, по указанию Толстого, размещены в том порядке, в каком они печатаются во всех изданиях. Рукой Толстого исправления сделаны были лишь в главах XIII, XV, XVI и XVII, причем серьезному исправлению подвергся лишь последний абзац XV главы, который первоначально читался так:

И всѣ, знавшіе царя и прежде и послѣ, не могли не видѣть, какъ съ этого дня измѣнился царь и сталъ строже къ себѣ, внимательнѣе къ своему дѣлу и добрѣе и кротче рѣшалъ дѣла, подлежавшія его рѣшенію.

На этом работа Толстого над повестью остановилась. Из предшествовавших копий были отобраны исправленные Толстым в последний раз, причем некоторые страницы, заключавшие в себе особенно много поправок, были вновь переписаны и частью подверглись новой легкой авторской правке. После этого получилась цельная рукопись текста «Фальшивого купона», описанная у нас под № 6 и

представляющая собой последний этап в работе Толстого над этим произведением.

22 января 1904 г. Толстой записал в Дневник: «Нынче занимался Купоном и колеблюсь, оставить или уничтожить чертей». В конце концов чертей он решил уничтожить и всюду, за исключением трех мест (главы X и XI второй части), приписки с упоминанием чертей были им отчеркнуты с пометкой «пр[опустить]». Эта пометка, разумеется, относится и к обеим указанным главам второй части и не поставлена там по рассеянности.

Повесть обрывается на начале XX главы второй части. Какая часть повести не дописана, сказать трудно. Во всяком случае, во многом в ней не сведены концы. Не рассказана до конца судьба Турчаниновой, Махина, Василия и некоторых других персонажей. Кроме того, в последней редакции не устранены некоторые противоречия, о которых ниже. Это указывает на то, что и написанное Толстым окончательно не отделано им.

Прототипом для Прокофья Толстому послужил его кучер Ларион, о котором Толстой в своих «Записках христианина», написанных в 1881 году, говорит следующее.

«Не помню, как и через кого попал ко мне кучером только что вышедший в бессрочные артиллерист Ларивон, из деревни Тросны, за 8 верст от меня. Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им, и Ларивон, которого я подолгу во время наших переездов видал перед собой на козлах, мало занимал меня. Помню, молодцоватый высокий парень-щеголь. Он завел себе шляпу с павлиньими перьями, красную рубаху и безрукавку. И помню, едем мы раз, встречаем баб, и они что-то сказали. Ларивон обернулся ко мне и улыбаясь говорит: «вишь, говорят, не на барина смотреть, а на кучера». Помню я его тщеславную добродушную улыбку, помню всегдашнюю расторопность, исправность, веселость и хоть и привычную нам, но в Ларивоне поражавшую смелость. Была пристяжная кавказская, гнедая, злая лошадь. Завизжит, бывало, и бьет нарочно в человека, когда попадет постромка за ногу или вожжа под хвост. Ларивон

подходил к заду и как с теленком обращался с ней. Так он и отслужил у меня, пока я не уехал. И осталось у меня воспоминание славного, доброго, веселого и хорошего парня. Такой он и был.

В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба..... — Что скажешь? — Да об своей горькой вдове — Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас.

Я вспомнил с трудом Ларивона....

Я стал расспрашивать, и вот что мне рассказала старуха. Ларивон после меня женился на ее дочери, завелся хозяйством с братом и жил хорошо. Но, человек уже оторванный от своей прежней жизни, изломанный солдатством, он дома уже был не жилец, и его опять тянуло на должность, чисто ходить, сытней есть, чай пить. Брат отпустил его, и он поступил в кучера к очень хорошему человеку, мировому судье. Опять, как со мной, он стал ездить, щеголять в безрукавке. И мировой судья был им доволен. Случилось раз, отправил мировой судья лошадей домой и велел покормить дорогой на постоялом. Ларивон покормил, но на четверку овса показал, а не скормил и выпил на эти деньги. Узнал это мировой судья. Как поучить человека, чтоб он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой судья подал товарищу прошение. Мировой судья надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге кого следует, предоставил право защите, встал и по указу его императорского величества приговорил к меньшей мере наказания, пожалел человека, на два месяца в острог в г. Крапивну....

Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадаться, что с ним сделалось. Теща его говорила, что он и прежде пивал, но с тех пор ослаб. Несмотря на то, что он ослаб, мировой судья взял его опять к себе, и он продолжал жить у него, но стал больше пить и меньше подавать домой брату. Случилось ему отпроситься на престольный праздник. Он напился. Подрались мужики и одного прибили больно. Опять пошло дело к мировому судье. Опять цепь, опять присяга, опять по указу его императорского

величества. И Ларивона посадили на 1 [год] и 2 месяца. После этого он вышел, уже вовсе ослабел. Стал пить. Прежде и выпьет, разума не теряет, а теперь стакан выпьет и пьян, не стали его уже и держать в кучерах. От работы отбился. Работал с братом через пень колоду. И только и норовил, что бы где выпить.

Старуха рассказывала, как в последнее она видела его на воле: «Пришла я к дочери. У них сватьба была у соседа. Пришли со сватьбы, легли. Ларивон просил 20 копеек на выпивку, ему не дали. Лег он на лавке. — Старуха рассказывала: — только стал свет брезжить, слышу, Ларивон встал, заскрипели половицы, пошел в дверь. Я еще окликнула его: куда мол. Голоса не отдал и ушел. Только мы полежали, поднялась я. Слышу на улице крик — вышла. Идет Ларивон и на спине борону несет, а вдовая дьячиха за ним гонит, кричит караул, замок в клети сломал, борону украл. А уж белый свет. Собрался народ, староста, взяли, связали, отправили в стан. Потом уж и дьячиха тужила, не знала, что будет за борону. Не взяла бы, говорит, греха на душу».

Повели Ларивона в острог. Суда дожидался 6 месяцев, вшей кормил, потом опять присяга, свидетели, права, по указу его императорского величества посадили Ларивона в арестантские роты на 3 года. Там он не дожил 3 лет, помер чахоткой» (ГТМ).

Эпизод убийства крестьянами управляющего имением Петра Николаевича Свентицкого, рассказанный в XVII главе I части «Фальшивого купона», почти точно воспроизводит случай убийства крестьянами 14 апреля 1887 г. А. В. Станиславского, управляющего имением Н. А. Тучковой-Огаревой Долгоруково. По этому делу, как и по делу Свентицкого, было повешено двое крестьян. Эта казнь очень взволновала Толстого, и еще в 1904 г. он говорил о ней в беседе с А. Б. Гольденвейзером. (Подробные обстоятельства убийства Станиславского см. в комментарии Н. Н. Гусева к статье Толстого «По поводу дела Скублинской», т. 27 наст. изд., стр. 741—743.)

Впервые «Фальшивый купон» был напечатан в первом томе «Посмертных художественных произведений Льва Николаевича Толстого» под редакцией В. Г. Черткова, в издании А. Л. Толстой, Москва, 1911, однако с цензурными урезками. В первой части исключено: в XII главе фраза «Наплевать мне на ваш сан», стр. 19, строка 45; в XV — от слов «Степан никогда не имел уважения к начальству», кончая «посылали в остроги вшей кормить», стр. 24, строки 11—21; в XVIII — фраза «И перестали ходить в церковь и снесли попу иконы», стр. 27, строка 44 — стр. 28, строка 1; в XX главе — бо̀льшая ее часть, от слов «На вопрос о том, почему они отпали» и кончая «выскочили из избы и вернулись по домам», стр. 29, строки 6—40. Во второй части, в III главе, исключены слова: «что его ссылали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают» и затем слова «что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине», стр. 37, строки 4—6, 7—9, от XIV главы уцелел лишь последний абзац, глава XV исключена целиком.

Эти пропуски отсутствуют в тексте повести, напечатанном в первом томе вышедшего одновременно в Берлине в издании «Свободного слова», также под редакцией В. Г. Черткова, собрания посмертных произведений Толстого.

Что касается текстологической стороны, то оба эти издания выполнили ее в общем удовлетворительно, хотя и не избегли кое-каких ошибок, большей частью мелких; московское издание отредактировано тщательнее берлинского. Как то, так и другое, основывались не только на последней хронологически рукописи — на исправленной копии, но привлекали, хотя и не систематически, автографы.[14] Необходимость привлечений этих последних диктуется тем, что переписчики часто небрежно или неверно воспроизводили написанное Толстым; Толстой же не замечал сплошь и рядом этих промахов копий и не исправлял их.

Оба издания вводят также конъектуры, устраняющие противоречия текста, окончательно не отделанного и не

проверенного Толстым, причем московское издание прибегает к конъектурам чаще, чем берлинское.

Большая часть этих конъектур оговорена в примечаниях к московскому изданию.

Вот они:

1) В XX главе первой части исключены заключительные слова главы, читающиеся в рукописях: «и сделали архимандритом», так как из главы XVIII видно, что Мисаил уже был архимандритом.

2) В XXI главе той же части в словах «где она виделась с Тюриным» стр. 31, строка 70, в целях синтаксической правильности «где» исправлено на «и».

3) В V главе второй части, стр. 40, строка 15, стоящее в рукописях слово «Пензу» исправлено на «Симбирск», так как в XXI главе первой части сказано, что имение Ливенцовых, в котором произошло убийство Петра Николаевича, было в Симбирской губернии. Пенза, как место казни двух крестьян, было указано Толстым в связи с тем, что действительный факт убийства крестьянами управляющего Станиславского имел место в Пензенской губернии, где было имение Тучковой-Огаревой.

4) В VII главе второй части в автографе было написано: «то, что он слышал от Ст. о последнем убийстве». Здесь «Ст.» обозначало «Степана», но переписчик написание «Ст.» расшифровал как «станового». Толстой не заметил ошибки переписчика и приписал к переписанной фразе: «и то, что рассказал сам Пелагеюшкин о том, как кротость» и т. д. В виду того что эта приписка вызвана была ошибкой в копии, редактор вполне основательно исключает ее, восстанавливая вместо ошибочного «станового» правильное «Степана», стр. 42, строки 5—6.

5) В той же главе в автографе и в копии было написано: «у Лизы между тѣмъ началась борьба съ ее матерью (имѣніе было отцовское)». Но дальше, в XII главе, речь идет о борьбе Лизы с отцом, почему редактор вводит здесь перестановку, стр. 42, строки 24—25.

Кроме того, сделаны следующие неоговоренные конъектуры:

6) В IX главе первой части, стр. 15, строка 13, поставлена цыфра 10 вместо стоящей в последней копии 15, во фразе «имение в 300 десятин через 15 лет стало образцовым». В автографе цыфры 10 и 15 написаны одна на другой, так что нет возможности решить, что на что исправлено: 10 на 15 или наоборот. Но логически правильна лишь цыфра 10, так как выше сказано, что имение Петром Николаевичем приобретено было 12 лет назад.

7) В XII главе той же части и в XIX главе второй части гимназист Смоковников называется «Митя» вместо стоящего в автографе и в копиях «Ваня». Конъектура эта сделана на том основании, что в первых трех главах гимназист всюду называется Митей.

8) В XIV и XVIII главах второй части стоящее в автографах и в копиях имя архимандрита «Михаил» исправлено редактором на «Мисаил», так как из предыдущего известно, что свое мирское имя Михаил законоучитель переменил на имя Мисаил, когда поступил в монахи.

В берлинском издании из этих восьми конъектур приняты только первая, пятая, шестая, седьмая и восьмая.

Как в московском, так и в берлинском изданиях, особенно в последнем, в ряде мест текст оригинала, как сказано было выше, воспроизведен недостаточно точно; это происходило тогда, когда — в отдельных случаях — редактор вынужден был полагаться лишь на копии, не сверяя их с автографами. Так, например, в VI главе первой части в обоих изданиях после слов «и надеялся продать, но провозил», стр. 10, строки 40—41, пропущено стоящее в автографе «до вечера»; там же после слов «Иван Миронов готов был», стр. 11, строка 3, пропущено «даже»; там же после слов «Рассказал, что», стр. 11, строка 32, напечатано отсутствующее в автографе «был»; там же после слов «Сидор! кликни ка», стр. 12, строка 6, вместо стоящего в автографе «полицейского» напечатано «помощника», и т. д.

В вышедшем в 1930 году XIV томе полного собрания художественных произведений Толстого (Государственное

издательство, Москва — Ленинград, 1930, редакция К. Халабаева и Б. Эйхенбаума) текст «Фальшивого купона», как заявлено редакцией, вновь был напечатан по автографам и копиям. В результате — ряд ошибочных чтений московского и берлинского изданий был устранен, но часть таких чтений, в том числе и все выписанные выше, и в этом издании были удержаны. Произошло это оттого, что редакция, видимо, не воспользовалась рукописью ГТМ, описанной под № 2. Все конъектуры московского издания, за исключением 2-й, приняты и в этом новейшем издании.

В настоящем издании печатаем «Фальшивый купон» по автографам и исправленным рукой Толстого копиям, каждый раз сверяя копии с автографами. Считая конъектуры московского издания логически правильными, в настоящее издание вводим однако лишь четвертую, шестую и седьмую, как бесспорные.

Предисловие к тридцать шестому тому.

В настоящий том входят произведения, написанные Толстым в период 1904—1906 гг. Художественные произведения, напечатанные в этом томе, не только не получили окончательной авторской отделки, как и все так называемые «посмертные произведения», но и в большей своей части (три из пяти) не закончены. Печатаются они однако, в согласии с принятым в этом издании распорядком, в начале тома, перед законченными статьями, по новой орфографии, но тем набором (корпусом без шпон), которым печатаются незаконченные, неотделанные и неопубликованные при жизни произведения Толстого. Впервые публикуются здесь две до сих пор не опубликованные статьи Толстого — «Как и зачем жить?» и «Три неправды», а также варианты из черновых рукописей к произведениям, ранее опубликованным.

Указатель собственных имен составлен В. С. Мишиным

Н. Гудзий.

———

Редакционные пояснения к тридцать шестому тому.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Толстого, а также тексты посмертных художественных произведений, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов статей и незаконченных черновых редакций и вариантов художественных произведений, *непечатавшихся при жизни* Толстого, соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимения «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «абревиатуры») типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью; причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» — лишь, в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 *неразобр*.] или [*2 неразобр.*], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, в одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом, дважды подчеркнутое — курсивом о оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки препинания в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем

отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях — с оговоркой в сноске: *Абзац редактора.*

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуц-титулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * — что печатается впервые, ** — что напечатано после смерти Толстого, *** — что

не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** — что ранее печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Холстомер

История лошади.

Посвящается памяти М. А. Стаховича.[1]

Глава I.

Всё выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Ноо! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. — Куда? — крикнул он замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им всё равно, и не торопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Ноо! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а

понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбранили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он всё-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность итти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пущай наперед матки пройдут» и т. д.

Ворота заскрипели, Васька сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить, молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула; но всё-таки не посмела забежать вперед серой, старой осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок, печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, — думал мерин. — Я рад этому, потому что, рано поутру с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного, досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел по середине дороги.

Глава II.

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. — Любит, старый пес! — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахывая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то, и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стрыгунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким, пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как

будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого — не менее 2-х аршин 3-х вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен; одно на голове с кривой, с боку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота, третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной, шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от чолки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на

ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка, черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, в роде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. —

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, и тонкую шкуру и волос. — Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Глава III.

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца, и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по низу. Старые, пофыркывая, прокладывали по росе светлый следок и всё выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять — старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность итти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который дрожа коленами ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая чолка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, — щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами чолкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который

скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противуположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржат отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком в повалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, всё еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полу-рысью, полу-тропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположеньи в это утро. Веселый стих нашел на нее, так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их,

потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржаньи. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, — говорило ржанье шалуньи, — а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначущее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее возжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, чтò бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а

потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи, больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV.

Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало-быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. — Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.... Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было всё впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он всё-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный 3 года тому назад за 80 рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, чтò это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя, лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не

глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, — бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно-фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади — молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и

тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

.....
.....

Глава V.

По середине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

.....
.....

ночь 1-я.

— Да, я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й. Я Мужик 1-й по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам Граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедя.

.....
.....

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий*, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью стоял на ногах. Помню, что мне всё чего-то хотелось и всё мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были

в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые всё видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом, — то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась, — сказал он и стал отворять задвижку, он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. — Глянь-ка, Тарас, — крикнул он, — пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь чертенок, — проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь какой шустрый, — говорил конюх, — не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина, — сказал он, — генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, — обратился он к моей матери. — Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого чорта он уродился, точно мужик, — продолжал он, — в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, — говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок — и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то

время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, — но дверь была заперта, и я только слышал всё удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И всё оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами — и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне всё прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на всё, что бы я ни сделал. Это продолжалось не долго. Тут скоро случилось со мной ужасное. — Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. — Заскрыпели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI.

ночь 2-я.

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью, — продолжал пегий, — и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, — но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по-двое и по-трое — и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил Император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и как струнки ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во всё время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастие я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня..... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить

меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя событие завтрашнего дня.

На утро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что всё исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

.....
.....

.....
.....

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне всё было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услыхал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастие. Они приближались, и я различал по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно по старой памяти заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, — но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им видимо и гадко, и жалко, и совестно, и главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую — невыразительную шею, большую голову (я похудел в

это время), — на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг всё понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастие и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми — теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый, — сказал он, — ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись, говорит, и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего*, *его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и всё отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими.* Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не Богу и

себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по 3-му году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганьи рысью. С каждым днем я делал бо̀льшие и бо̀льшие успехи, так что чрез три месяца сам Генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Всё это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII.

ночь 3-я.

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего по середине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего, — продолжал пегий, — было то, что то, что составляет главную заслугу нашу — резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он всё-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что померять моего Пегаша?» крикнул он, и когда Лебедь поровнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал ровняться, обходить и обошел. Попытали другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. — Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Всё это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадью.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай, и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание; потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волненье и, оставив мерина, окружила больную. — К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII.

ночь 4-я.

Вечером, когда ворота затворили и всё затихло, пегий продолжал так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за 800 р. продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу прямую как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать

ложись. — За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» и толконет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол как чорт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и бывало серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется убьет — нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали чолку и гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышевые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «пущай!». И играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездют не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой чолкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит чуть оборачивая красивую голову и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, всё шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» как будто у кучера болит что нибудь, а не понятное: «Пади берегись!». — Пади берегись! — покрикивает Феофан, и народ сторонится и останавливается и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, ровняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, ровняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя всё удаляющиеся его звуки. А князь и Феофан и я мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота и послышались голоса Нестера и Васьки.

ночь 5-я.

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю.

— Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце 2-й зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастие. — Это было на маслянице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет, — говорил он, — это не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа, — расстегнул полость, сел.

— На Стожинку. — Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй». И свиснул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и на век перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли

копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того барышник мучал меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она всё к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX.

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил — серую в яблоках, — говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья — хороша, — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера; и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что, видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смело могу сказать, нет лошади в России, — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да, — говорил он рассеянно.

— Ты взгляни, — говорил хозяин, не отвечая, — ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж — пойдем?

— Пойдем. — Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот росписной-то! — сказал он. — Такой-то у меня был пегий, помнишь я тебе рассказывал.

Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X.

.....
.....
.....
.....

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных 10-ти летних сигар, каких ни у кого не было по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет 25-ти, свежий, холенный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III и мышиные хвостики были напомажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей великолепный в своем фраке и белом жилете и галстуке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу в цветах стояло фортепьяно incrusté.[2] От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Всё было очень хорошо, но на всем

был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился видимо физически и морально и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 мильона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, т. е. хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же собственно он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина

унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

— Что вам ничего сигары, Мари, — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он скорее хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо. — Он достал сигарочницу. — Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним.

— Я очень люблю сигары. — Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту, — продолжал не чуткий хозяин. — Другие те послабее. Фриц, bringen sie noch *eine* Kasten, — сказал он, — dort zwei.[3]

Немец лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, — продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

— Так во сколько тебе пришелся Атласный? — сказал он.

— Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но по крайней мере уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу.

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с Воейковским Вороным. Каналья наездник сбил 4 сбоя, а то бы за флагом оставил.

— Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу, — сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал 3 тысячи. Ласковую 2 тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. — Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду, — сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI.

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил у Воейкова купил, — сказал Серпуховской, как будто небрежно.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне всё хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел, — сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему 20 тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж верно про него говорят это. — Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж когда выпить?» думал Серпуховской. «Непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробудешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. — Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, чтò просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублев, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... — начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да, — сказал он. — Ведь это у вас у заводчиков только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была. Ты не мог знать; это было в 42-м году, я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу — пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? 1000 рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был, тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин, — но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного 1-го, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. — Эх, хорошее было время. Мне было 25 лет, у меня было 80 тысяч серебром дохода тогда, ни

одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, всё удается, и всё кончилось.

— Ну тогда не было той резвости, — сказал хозяин, пользуясь перерывом. — Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без.....

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. — Серпуховской, когда, — говорят, — ты заведешь рысистых? — Мужиков-то ваших, чорт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит. — Да вот не обегает. — Пари 1000 рублей. — Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, 1000 рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке 100 верст в 3 часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они всё сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать, — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и отдуваясь пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну всё равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! — Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII.

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и всё чесался.

«Что-то больно чешется», думал он.

Прошло 5 дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: — Не к чему.

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить [о] брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, — подумал он. — Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, чтò будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он

вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось всё тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Всё так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была, — сказал Васька.

— Кабы посытее, хороша бы кожа была, — сказал драч.

———

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, чтò зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

———

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. — Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила всё маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два маслака, остальное всё было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело.

———

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но всё-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на 4-х углах, потом положить этот новый гроб в другой свинцовый и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать всё землею.

———

Неопубликованное, неотделанное и неоконченное

Варианты к «Холстомеру».

*№ 1.

<съ уходящаго Васьки, пошелъ къ дому. Проходя мимо господскаго манежа, онъ[4] остановился, долго смотрѣлъ на вычурный уже состарѣвшійся расписной фронтонъ, который онъ видѣлъ уже болѣе 30 лѣтъ, потомъ снялъ шляпу, почесалъ голову, опять надѣлъ шляпу, покачалъ головой и усы и борода раздвинулись отъ недоумѣвающей не то укоризненной, не то насмѣшливой улыбки. Чудно! и онъ еще засмѣялся и еще покачалъ головой, при чемъ шляпа попала на мѣсто.

Между тѣмъ> все выше и выше поднималось небо.

*№ 2.

<На варкѣ же, какъ только спустили его съ оброти, онъ прошелъ подальше отъ толпы молодежи по за столбами въ свой привычный уголъ и отставивъ ногу опустилъ голову.

— Что, взялъ, старая дрянь, сволочь, — заговорили кобылки. — Тоже кусаться, мужикъ сиволапый, Богъ знаетъ откуда взятъ, родился отъ мужички изъ сохи и гдѣ нибудь на задворкѣ и меня, Сметанкину правнучку смѣетъ... Скотина! — Меринъ не отвѣчалъ и только переставилъ ногу. — И мать то его свинья какая нибудь была, а не лошадь и отецъ не одинъ можетъ быть.....

— Нѣтъ! это слишкомъ, — вдругъ вскричалъ пѣгой. — Я не хотѣлъ говорить, но ежели ужъ вы семейство мое хотите позорить, я долженъ говорить, я не могу молчать...

Кобылки засмѣялись было.

— Смотри, смотри, какъ расходился.

— Молчать!! — крикнулъ пѣгой, величественно вскинувъ голову и отдѣливъ хвостъ. — Съ кѣмъ вы говорите, дрянь. Вы сволочь! Кто я, вы хотите знать?

— Да.

— Такъ знайте же.

Кобылки притихли. Что-то было повелительное и величавое въ звукахъ и движеньяхъ старика.

— Кто тотъ, на комъ возятъ воду и загоняютъ васъ, кто тотъ, у кого нѣтъ цѣлаго мѣста на спинѣ, уши прорваны, копыты обиты, ноги поломаны, кто тотъ, у кого нѣтъ ни друга, ни защитника, ни между вами, ни между [людьми], кто тотъ, чья участь хуже участи собаки, кто посмѣшище и чучела для всякой дѣвчонки? Кто я? — Да я былъ лошадь, я былъ силенъ, былъ счастливъ и любимъ.

— Да кто же ты? что такъ кричишь, шута изъ себя дѣлаешь? — проговорила приподнимая голову старая жеребая кобыла, улегшаяся на соломѣ.

— Шута? Да. — Все больше и больше разгорячаясь прокричалъ меринъ. — Кто я? — Онъ долго помолчалъ и на варкѣ все затихло. — Я Хлостомѣръ, — проговорилъ онъ внятнымъ и Мочаловскимъ шопотомъ.

<Аа! Аа! О! — послышалось со всѣхъ сторонъ и> Со всѣхъ сторонъ зашевелилось по соломѣ и головы столпились подъ навѣсомъ около стараго мерина.

— Да, я Хлостомѣръ, друзья мои! — повторилъ меринъ тронутый и смягченный[5] выраженьемъ удивленія и раскаянья, отразившагося на всемъ табунѣ и всѣмъ сообщившагося. — Да, я знаменитый пѣгой, сынъ Добраго 1-го и Телки, — сказалъ [онъ], — я любимецъ Его, я тотъ, котораго отъыскиваютъ и не находятъ охотники. — Хотя и было въ тонѣ и словахъ мерина такая сила убѣжденія, что невольно толпа съ перваго мгновенія повѣрила ему, но во вторую за тѣмъ минуту явилась тѣнь сомнѣнія и многія оглянулись на старую, съ обсыпанной гречкой головой, старую Вязопуршу, дочь Добраго 2-го, <слѣдовательно кузину Хлостомѣра>, которая медленно волоча ноги, услыхавъ общее движенье <и слова[6] Хлостомѣра>, подходила къ нему.

— Ты Хлостомѣръ, — проговорила она дрожащимъ голосомъ. — Боже! И какъ я любила тебя и какъ ты хорошъ былъ. Да это онъ. Но ужасно!

— И ты какъ перемѣнилась, — сказалъ Х[лостомѣръ], — я не хотѣлъ открываться, зачѣмъ будить сладкія, невозвратимыя

воспоминанія. Я любилъ тебя. — Они ближе подошли другъ къ другу и перегнувъ шеи другъ за друга долго чесали холки и въ глазахъ у нихъ были слезы.[7] Остальные молчали. Когда прошла первая радость и испугъ свиданья, Вязопурша подняла голову и спросила, какъ спрашиваютъ кобылы, чтобы онъ разсказалъ ей все, что дѣлалъ съ тѣхъ поръ, какъ они не видѣлись.

— Цѣлая жизнь не разсказывается въ двухъ словахъ, — грустно улыбаясь отвѣчалъ Хлостомѣръ, — но мнѣ спать не хочется и я разскажу тебѣ въ общихъ чертахъ.....

— Нѣтъ, все, все разскажи, — отвѣчала она.

— Все, все разскажите, — подхватили молодые голоса.

Хлостомѣръ помоталъ головой какъ будто припоминая, подвинулся къ навѣсу такъ, чтобы всѣмъ были слышны его слова, и началъ. Молодежь молча и тихо толпилась около него, кладя другъ другу шеи на спины. Вязопурша, самая старая изъ кобылъ, еще изъ Хрѣнового, подошла, положила голову на шею мерина, почесала его, тяжело вздохнувъ легла подлѣ на свѣжую солому. Было темно. Мѣсячный свѣтъ только виднѣлся изъ-за навѣса, самаго мѣсяца не видно было, роса была опять свѣжая и ложилась на солому двора и серебрила воздухъ. Подъ навѣсомъ тѣни были черны. За дворомъ постукивалъ караульщикъ и лаяли собаки. Изрѣдко шевелились ноги по соломѣ и стучали копыты о стѣны. Все было тихо и меринъ разсказывалъ.

Вечеръ 1-й.

— Я родился въ Хрѣновомъ, — началъ Хлостомѣръ. — Отца своего я не зналъ, какъ и всѣ благородныя лошади. Только впослѣдствіи мать говорила мнѣ про него, когда ее водили къ нему. Она говаривала, что это былъ Богъ Аполлонъ и она весной всегда бывала влюблена въ него. Мать моя Телка была первая красавица всего Хрѣноваго. Она была еще молода. Старшему брату было 4 года и онъ не имѣлъ цѣну. Я разъ только видѣлъ его. Онъ возвращался съ наѣздникомъ съ проѣздки, когда мы возвращались съ поля. Всѣ кобылы заржали и даже мать, не зная, что это былъ ея сынъ. Онъ былъ гнѣдой и хорошъ, какъ[8] ясный день.

Самъ Графъ былъ тутъ. Съ нимъ были человѣкъ 5 охотниковъ. Онъ указалъ на меня и сказалъ: — Вонъ этотъ пѣгашка его братъ. — Хорошъ! — сказалъ кто-то. — Пѣгой, — сказалъ другой. Я не понялъ его.

Онъ былъ отъ другаго гнѣдаго отца, а я отъ сѣраго и потому вышелъ пѣгой. Пѣжина составила всю мою участь и счастье и несчастье.

*№ 2-а.

<Ему не дали покоя и тутъ. Началась такая возня, что Конюшій сказалъ табунщику и табунщикъ пришелъ на дворъ и разогналъ всѣхъ. Меринъ былъ избитъ и искусанъ. Онъ легъ. Всѣ столпились вокругъ него.

Все затихло. Онъ тяжело вздыхалъ и пошевеливалъ ушами. Всѣ вокругъ него точно слушали, точно удивились всѣ чему-то и зашевелились по соломѣ.>

*№ 3.

Все затихло, только слышались вздохи и переставленіе ногъ по свѣжей соломѣ. Меринъ молча поводилъ прорванными черными губами . . . . . .

— Да, друзья мои, говорилъ пѣгой меринъ, я, какимъ вы меня видите, опоеннымъ, кривобокимъ, безъ цѣлаго мѣста на тѣлѣ, безъ хвоста и гривы, подъ сѣдломъ табунщика, водовозъ — я не то, что думаютъ обо мнѣ эти люди и что вы думали, я Хлыстомѣръ.

*№ 4.

Что значили слова: моя лошадь? Я понимаю, что значитъ: моя нога, моя голова, мой хвостъ; но почему же моя лошадь? Ежели бы это значило то, что тотъ, кто меня называетъ своимъ, тотъ и кормитъ меня, я бы понялъ, — но <кормили меня различные люди>, кормилъ меня конюхъ, не называвшій меня своимъ. Ежели бы это значило, что бьетъ меня тотъ, кто называетъ своимъ, я бы понялъ; но и били меня различные люди.

*№5.

Въ этомъ заключается главная страсть людей, и для того, чтобы говорить про какую либо вещь — мое, они готовы всѣмъ пожертвовать.

*№ 6.

Я провелъ ужасную ночь. Я передумалъ[9] много въ эти 12 часовъ; но за это время навсегда рѣшились судьба и направленіе моей жизни. Всѣ радости жизни навсегда были потеряны; но несмотря на то я жилъ, и долженъ былъ долго жить, я это чувствовалъ.

*№ 7.

Государь говорить: Государство мое; но Государство это не содѣйствуетъ нисколько Его личному благосостоянію. Онъ не имѣетъ вслѣдствіе этой собственности ни больше силы, ни больше ума, ни больше образованія, ни главнаго, что дороже всего каждому животному, — ни больше досуга.

*№ 8.

Люди подлежать желанію называть вещи — мое, а мы свободны отъ[10] низкаго инстинкта. Прежде отыскивая эту истину, я спрашивалъ себя: не означаетъ ли — мое какой нибудь прямой и существенной выгоды права или силы или обязанности для человѣка?

*№ 9.

Первое, моя пѣгая шерсть, сдѣлавшая меня въ глазахъ людей какимъ-то выродкомъ, несмотря на мою красоту и силу моего тѣла. Второе, измѣна и непостоянство моей матери; и третье, пріобрѣтеніемъ права конюшева между людьми называть меня своимъ жеребенкомъ.

*№ 10.

Что мнѣ было дѣлать? Какъ провести эту жизнь? Какъ заглушить въ себѣ[11] сознаніе того исключительно несчастнаго положенія, въ которомъ я находился? Какъ въ этомъ, такъ и во многихъ другихъ случаяхъ есть только одно спасеніе для лошади. Это спасеніе есть трудъ. Вѣчный, непрестанный трудъ съ сознаніемъ того, что трудъ этотъ не приноситъ никакой пользы для себя и едва ли другимъ приноситъ какую либо пользу. Но какъ было трудиться стоя въ денникѣ? Никто не запрягалъ меня, а я готовъ бы былъ возить воду, ходить по

колесу на рушалкѣ. Ожидая этаго времени, я сталъ оказывать усердіе при каждомъ удобномъ случаѣ. Я сталъ ѣсть, пить и спать, приготовляя себя къ труду. И скоро признаки моего усердія увѣнчались успѣхомъ.

*№ 11.

Одинъ разъ ѣздили Лебедя. Ген[ералъ] смотрѣлъ на часы. Лебедь[12] была самая рѣзвая лошадь того времени. Онъ былъ хорошъ, гордъ, благороденъ,[13] а я бѣжалъ шибче его, но никто не обращалъ на меня вниманія и не мѣрилъ моихъ шаговъ.

*№ 12.

Удивительное дѣло, — продолжалъ Холстомѣръ въ[14] этотъ вечеръ. Я пришелъ въ своемъ разсказѣ къ тому лучшему времени жизни, которое выпало мнѣ во время моихъ скитаній.[15] И это время я провелъ именно у этого толстаго, стараго, обрюзгшаго человѣка, котораго вы сейчасъ видѣли. Онъ не узналъ меня. Онъ человѣкъ, но я узналъ его, потому что любилъ его. Да, я любилъ его. Мы оба были не такіе, какъ теперь.

*№ 13.

Фамилія[16] его князь Серпуховской. Онъ былъ богачъ, красавецъ и счастливецъ. Онъ гдѣ-то числился на службѣ, носилъ гусарскій мундиръ и жилъ въ Москвѣ.

*№ 14.

Конюшій же долженъ былъ продать меня за то, что разъ неосторожно пустивъ меня при Генералѣ поравняться съ Лебедемъ, я объѣхалъ Лебедя. Конюшій боялся гнѣва Графа и сбылъ меня.

*№ 15.

Молодецъ и красавецъ. Всѣ горничныя были[17] безъ ума отъ него, даже одна барыня любила его. Денегъ у него всегда было въ волю. Гусаръ съ выигрыша давывалъ ему по 50 р. на чай (тогда считали на ассигнаціи). Все удавалось и барину и кучеру. Бывало поѣдетъ <гусаръ> въ театръ, мѣстъ нѣтъ, а его пустятъ, увидитъ женщину,[18] кажется невозможно, а поѣдетъ день, другой и она его. Денегъ нѣтъ, овса купить не на что, получитъ долгъ или деньги изъ деревни или выиграетъ, и опять дѣвать некуда. И кучеръ былъ такой же, все рисковалъ и все удавалось.

Не пускаютъ на гулянья одиночку, тронетъ возжами, жандармъ посторонится, и летитъ мимо квартальныхъ посерединѣ рядовъ. Кажется невозможно проскользнуть мимо экипажа, летитъ во весь махъ, проскользнетъ на волосокъ, а проскочитъ.

*№ 16.

Разъ въ трактирѣ 4-хъ купцовъ одинъ перебилъ и ничего не было. Напьется, баринъ никуда не ѣдетъ. А въ любви такъ счастливь былъ, что даже гадко было смотрѣть на него. И несмотря на счастье этихъ людей и на то, что мнѣ тяжело было у нихъ

*№ 17.

Утро обыкновенно онъ каталъ то самаго Князя, то какую нибудь изъ его любовницъ. Никогда[19] меня не били кнутомъ. Къ вечеру Князь обѣдалъ, потомъ перепрягали, иногда и самъ Х[олстомѣръ] возилъ въ театръ и оттуда въ клубъ, къ цыганамъ и на цѣлую ночь. — Одинъ разъ Князь поѣхалъ на бѣгъ, вошелъ въ бесѣдку къ пріятелямъ. Бѣжали лошади знакомыя:[20] вороной Атласный[21] и Молодецкій. Они пробѣжали.[22]Атласный пришелъ къ[23] столбу.[24] Князь сталъ смѣяться, что въ[25] такія секунды[26] его пѣгашка[27] придетъ.[28]

— Пари 1000 рублей.

— Идетъ.

Пустили[29] меня съ[30] Атласнымъ. Понеслись.[31] Я безъ поддужнаго,[32] онъ съ поддужнымъ.[33] Въ заворотѣ я его кинулъ; хохотъ и громъ рукоплесканій. Меня стали проваживать. Я хожу поматываю головой и хвостомъ. Сошли смотрѣть. Все гадкія рожи, покупать. Князь не продалъ.[34] Я былъ радъ, но можетъ быть я бы не погибъ такъ рано, если бы онъ продалъ меня. — Скоро послѣ этого меня погубили и я сталъ тѣмъ одромъ, котораго вы знаете.

Тутъ все продали и я попалъ къ М. И. Яковлевой, къ Ник[олѣ] Явлен[ному].

———

Уже стало разсвѣтать, табунъ выгнали. Лошади стали шалить. Сначала посмѣялись между собой, потомъ стали задирать. Не было силы и красоты, такъ чтожъ, что она была.

Такъ у лошадей. Въ этотъ вечеръ встрѣтили хозяина. Однако вечеромъ собрались слушать. — Вы видѣли его. Такъ то и со мной. Старушка была набожна. Мы, лошади, считаемъ, что въ старости одно утѣшенье, знать, что я отжилъ, что я никуда не годенъ и пора мнѣ на покой въ другую жизнь, а у нихъ и воздухъ, поручи, свѣчи, монахи. Она сѣкла кучера. Мы, бывало, часто говорили съ нимъ. Лучше бы меньше попамъ давала, а людей бы жалѣла, я соглашался съ нимъ. — Сынъ ея просилъ. Она не дала и послала меня въ деревню. Тамъ объѣлся. У меня въ коридорѣ сѣкли стариковъ иногда. Все пошло хуже и хуже, былъ я у краснорядца, былъ на почтѣ, на кругу. Сначала я попалъ на почту. Тутъ... но ворота заскрипѣли, вошелъ Васька и погналъ даже галопомъ — въ кабакъ. Тамъ лизались.

.....
.....

В[аська], Н[естеръ] были позваны къ барину. Какже могла быть короста. Коновалъ тутъ. Ободрать.

На другой день пришли съ страшнымъ человѣкомъ.[35] Но было поздно. Онъ умеръ своей смертью. Табунъ проходя шарахнулся и полетѣлъ.

*№ 18.

Да, лучшее время своей жизни я провелъ у Серпуховского и онъ провелъ лучшее время своей жизни тогда, когда былъ со мной. <Я любилъ его и нельзя было не любить его>. Тотъ обрюзглый старикъ, который сейчасъ поддакивалъ вашему хозяину и льстилъ ему, это былъ онъ, тотъ самый мой бывшій хозяинъ-красавецъ, счастливецъ, который никого не любилъ и котораго всѣ любили. Онъ не узналъ меня, потому что онъ человѣкъ, но я тотчасъ же узналъ его..... не его, а его трупъ, движущійся и ходящій на ногахъ. Не тотъ онъ былъ, когда 20 лѣтъ тому назадъ онъ поѣхалъ со мной на бѣгъ и смѣясь сталъ говорить, что онъ на Пѣгашѣ на своемъ объѣдетъ Атласнаго и пустилъ меня. Это было послѣднее блестящее наше время.

*№ 19.

Но гость не слушалъ.

— Откуда у тебя эта лошадь? — повторялъ гость перемѣнившимся голосомъ.

Хозяинъ оглянулся.

— Какая?

Онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что гость его съ измѣнившимся лицомъ смотрѣлъ на пѣгаго мерина, на которомъ ѣхалъ табунщикъ, и гладилъ рукою его костлявую голову.

— Да что ты? Этотъ одеръ-то? Да ну, табунная лошадь какая то!

— [36]Нѣтъ, ей Богу, ну двѣ капли воды мой пѣгой. Ну двѣ капли воды мой Хлыстомѣръ, съ которымъ я въ 30-хъ годахъ видѣлъ столько горя и радости. — И онъ ласкалъ его рукой. Хлыстомѣръ вѣроятно узналъ стараго хозяина, онъ закрылъ лѣвый глазъ, глядѣлъ однимъ правымъ и на правомъ глазу вѣка его нервически дрожала. Табунъ отдалился въ это время. Отъ того ли, что онъ отдалился, или оттого, что Хлыстомѣръ узналъ хозяина, но онъ попробовалъ заржать, чего онъ уже давно не дѣлалъ.

— Видишь, узналъ! Постарѣли мы съ тобой, Хлыстомѣрушка! — грустно сказалъ гостъ и, шлепнувъ его большой рукой по крупу, пошелъ съ хозяиномъ разсматривать другихъ лошадей.

*№ 20.

но гость не слушалъ. Онъ смотрѣлъ на пѣгаго подъ табунщикомъ.

— Да, да, — говорилъ онъ разсѣянно. — Откуда у тебя пѣгашъ этотъ?

— Ты взгляни, — говорилъ хозяинъ, не отвѣчая, — ноги взгляни, струна...

— Да, да. Откуда у тебя пѣгашъ этотъ? — повторилъ гость. — Хозяинъ оглянулся.

— Этотъ одеръ-то? Купили гдѣ то на ярмонкѣ.

— Помнить, я тебѣ говорилъ, —сказалъ гость, — про своего знаменитаго Холстомѣра, — ну двѣ капли воды, пѣжины такія же. Охъ, лошадь же была.

Холстомѣръ вѣроятно не узналъ стараго хозяина.

*№ 21.

Можетъ быть такіе[37] люди непріятны бываютъ, но[38] этотъ человѣкъ, сидѣвшій за чайнымъ столомъ, такъ очевидно былъ

счастливъ и[39] доволенъ своимъ счастьемъ, что сердце радовалось глядя на него, <несмотря на то, что у[40] него была французская бородка съ хвостиками, а у[41] нея такъ много ненужныхъ и некрасивыхъ брильянтовъ.>

*№ 22.

Онъ былъ одѣтъ въ военную шинель[42] мундира коннозаводства. Военный пальто былъ все таки такой, какого бы никто себѣ не сдѣлалъ, кромѣ богача, бѣлье тоже. Часы были тоже англійскіе. Сапоги на какихъ-то чудныхъ въ палецъ толщины подошвахъ, очень можетъ удобныхъ для ходьбы по лондонской мостовой, но не для <мягкихъ> устеленныхъ листьями дорогъ русской деревни. Но ужъ, видно, такъ надо было.

*№ 23.

и добрые отъ счастья, особенно ухаживали за бѣднымъ Никитой. Видъ счастья его друга и молодой еще болѣе заставлялъ его обратившись къ своему прошедшему пасть духомъ.

*№ 24.

Онъ досталъ свою сигарочницу.— У меня есть очень хорошія, попробуй моихъ; и въ глазахъ его мелькнулъ опять страхъ и безпокойство: не подумалъ бы его юноша пріятель, что у него нѣтъ хорошихъ сигаръ.

Мари поторопилась отвернуться. Ей ужасно жалко было его. Она знала его еще во всемъ блескѣ и ежели бы только онъ захотѣлъ, могла быть и его.

— Нисколько. Вы смѣетесь надо мной, — сказала она и улыбнулась своей красивой доброй улыбкой.

*№ 25.

Хозяинъ разсказывалъ, наивно и добродушно хвастаясь своимъ богатствомъ и не замѣчая, какъ больно это было его гостю.

*№ 26.

— Онъ прогорѣлъ, — сказалъ Серпуховской и опять испуганно посмотрѣлъ кругомъ. Онъ проигралъ Никитѣ 120 тысячъ. — Что ты не играешь? — Нѣтъ. — Абаза чертовски играетъ теперь американскіе, знаешь? — Нѣтъ. Онъ разсказалъ

ему. — Я ужъ не играю. Такое несчастье, не можешь себѣ представить! — Онъ замолкъ. Жена ушла. Онъ оглянулся. — Что жъ ты долго? — Да вотъ до бѣговъ самъ поведу, а потомъ за границу. — Будешь ужинать? — Какъ вы? — Мы ужинаемъ, только надо раньше. Фрицъ. Накрылъ столъ. Тоже съ штуками. Сифоны, куколки на пробкахъ. Она не вышла, хозяинъ все выбѣгалъ къ ней. — Нездоровится, знаешь, она беременна... За ужиномъ Серпуховской выпилъ много кромѣ водки передъ ужиномъ. — Давай выпьемъ бутылочку.

*№ 27.

Онъ помолчалъ. Славный малый! — подумалъ хозяинъ и подлилъ ему вина. У Серпуховскаго были слезы какъ будто. Онъ видимо разсердился на себя, выпилъ. — Ну какой же рѣзвѣе всѣхъ у тебя ѣдетъ? Нечего дѣлать было, хоть и не хотѣлъ онъ отвѣта, а надо было отвѣчать. Хозяинъ отвѣтилъ. — Изъ молодыхъ кобылъ вчера проѣзжали безъ 5 секундъ. — Хорошо, только двѣ лошади бѣжали рѣзвѣе. Д[обрый] и Полканъ. — Нѣтъ, братъ, не двѣ, а рѣзвѣе Полкана и Добраго бѣжала моя лошадь, Хлыстомѣръ. Ты его не знавалъ у меня. Да что, ты былъ мальчишка. Хлыстомѣръ у меня былъ.

*№ 28.

— Обѣжитъ, вонъ у меня пѣгой заложенъ, я для рѣдкости у барышника купилъ, давайте кто хочетъ пари? Я предлагаю 1000 р. — Ну полно врать. — Я говорю пари, — сказалъ С[ерпуховской] тѣмъ тономъ увѣренности, силы и чистоты, которымъ онъ вѣрно говаривалъ въ старину. — Съ кѣмъ хотятъ бѣгу. Вызвались Воейковъ и Сип., назначили день, пріѣхали на бѣгъ. Пустили Лебедя и моего. — Пять секундъ раньше пришелъ, 1000 р. выигралъ пари. Покупали у меня, не продалъ. — Точно такой, какъ твой пѣгой. Ушелъ спать одинъ и долго вспоминалъ ночь проигрыша и молодость и любовь.

Страница черновой рукописи 1885 г. «Холстомера».

(Размер подлинника).

Теперь умирать, хоть бы пришелъ кто нибудь. — Надо занять или поиграть или соблазнить ее. Ахъ я подлецъ! Подлецъ! вспомнилъ Шев. треплящимъ по плечу. Онъ зашелъ къ

нему у него просить денегъ, и говоритъ: я подлецъ. — На другой день онъ уѣхалъ, денегъ было мало въ кошелькѣ на столѣ.

*№ 29.

Серпуховской ходилъ взадъ и впередъ. Я подлецъ — застрѣлиться, нѣтъ. Водки.

*№ 30.

Позвольте цыганамъ продать. — Нѣтъ, собакамъ рѣжутъ же. Зарѣжьте. Утро тихое, ясное. Табунъ пошелъ въ полѣ. Хлыстомѣръ остался, пришелъ страшный человѣкъ, повелъ его. Зарѣзали. Собаки рвутъ, кобель особенно. Лошади шарахаются.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Хозяинъ сказалъ женѣ: — Можешь себѣ представить, Серпуховской пьетъ запоемъ водку и болѣнъ такъ, что ему, говорятъ, не долго жить.

———

Комментарии Б. М. Эйхенбаума[43]

Холстомер.

История писания.

Еще 31 мая 1856 г., скоро после окончания «Двух гусар», Толстой записал в Дневнике: «Хочется писать историю лошади». Замысел этот возник тогда у Толстого, вероятно, под влиянием знакомства с А. А. Стаховичем, владельцем большого конного завода в Орловской губернии и основателем Петербургского бегового общества. Стахович вспоминает: «Еще в начале пятидесятых годов я заинтересовался рассказами старых коннозаводчиков о необыкновенной резвости «Холстомера», пробегавшего 200 сажен в 30 секунд, еще в начале восьмисотых годов в Москве на Шабловскомском бегу графа А. Г. Орлова-Чесменского. По смерти графа управляющий конным заводом, немец-берейтор графини А. А. Орловой, — вылегчил и продал вороного «Холстомера» за большие отметины и огромную лысину. Лошади с именем «Холстомера» никогда не было в Хреновой. После долгих изысканий мне удалось установить, что «Холстомер» была кличка, данная гр. Орловым за длинный и просторный ход (словно холсты меряет), вор. «Мужику 1-му», родивш. в Хреновском заводе в 1803 году от «Любезного 1-го» и «Бабы», выхолощенному в 1812 году». («Литературный вестник» 1903 г., т. VI, кн. 7—8, стр. 255.)

Историей Холстомера заинтересовался брат А. А. Стаховича, писатель М. А. Стахович (сотрудник «Москвитянина», автор пьесы «Ночное» и комедии «Наездники»). Он собирался написать повесть — «Похождения пегого мерина». Как вспоминает А. А. Стахович, план этой повести был следующий: «как покупает «Холстомера» на Хреновском аукционе богач московский купец (тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников

резвых орловских меринов, за которых плачивали они «большие тысячи»); потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил «Холстомер» и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу-разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью — к сельскому попу, потом в борону мужика, и умирает под табунщиком».

М. Стахович не успел написать эту повесть: в 1858 г. он был убит своими крестьянами.

Судя по приведенной записи в Дневнике, Толстой в 1856 г. собирался написать нечто аналогичное. К этому году или к ближайшему относится, вероятно, и воспоминание И. С. Тургенева — о том, как Толстой гулял с ним по выгону и, остановившись перед старым мерином, стал рассказывать, что думает и чувствует эта лошадь: «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью». Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади». («Исторический вестник» 1890 г., №2, стр. 276. Ср. «Исторический вестник» 1911 г., № 3, стр. 861.) Возможно, что Толстой слышал про историю Холстомера от М. А. Стаховича. Надо, впрочем, сказать, что такого рода сюжеты были тогда, повидимому, довольно распространенными (ср. аналогичную историю лошади в очерке А. Башуцкого «Водовоз» — см. в книге Б. М. Эйхенбаума «Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы», Лнгр. 1931). Во всяком случае возврат к этому замыслу произошел после разговора Толстого с А. А. Стаховичем, уже после смерти М. А. Стаховича. «В 1859 или 1860 году (вспоминает А. Стахович) ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа».

Неизвестно точно, в какой момент взялся Толстой за писание «Холстомера». 3 марта 1863 г. в Дневнике записано:

«Мерин не пишется, фальшиво. А изменить не умею». Затем следует рассуждение о том, что люди делают всё по требованиям природы, после чего опять о рассказе: «В Мерине всё нейдет, кроме сцены с кучером сеченным и бега». Известно, что в это же время Толстой деятельно занимался хозяйством и собирался строить винокуренный завод (ср. в его письме к М. Н. Толстой от 8 марта 1863 г.: «Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканию ребенка в утробе Сони, пишу роман и повесть и приготавливаюсь к постройке винокуренного завода»). Документом, отражающим в себе оба дела — писание «Холстомера» и постройку винокурни, является сохранившийся среди рукописей лист бумаги с конспектом повести и с двумя чертежами: планом винокурни и планом конюшни (см. в описании рукописей, № 5-6)

Приводим здесь конспект повести:

КОНСПЕКТЪ.

Пѣгой. Посѣщеніе хозяина. Несправедливость. Любовность и притворство матери. Случка. Дружба съ Вязопурихой.

Вторая

1-я и послѣдняя любовь. Всѣ меня любятъ. Счастье. Чуть было. Ночь послѣ этого. Мечты на завтра.

3.

Меринъ. Внутренняя работа, насмѣшки. Трудъ. — ѣзда по городу. Счастливые жестоки. Любовники катаются. Несчастные кротки. Пьяный сѣченый кучеръ. Слезы солоны. —

4.

Встрѣча съ родными у подъѣздовъ, въ театрѣ. Бѣгъ. Торжество. — Кутила покупаетъ, раззорился, опаиваетъ. Барышникъ. Я и такъ стараюсь — бьютъ. Къ старушкѣ. Въ церковь — тихая жизнь. Умерла.

5.

<Севастополь.> Венгерская война, раны. Трусость и храбрость. Зависть <къ верховымъ> и презрѣнье. Офицеръ. Окормился пшеницей. Въ деревню. Продали (огороднику) краснорядцу. Захромалъ. Не виноватъ. Мужику. Выкормилъ. Я васъ. видѣлъ. Помѣщику. Жизнь тутъ. —

———

Пьяный Васька за водкой. Худоба, короста. Просятъ купить. Нѣтъ собакамъ, и покупаю. Всѣ грустны. Бурую кобылку случать. Въ тотъ же день. Шарахаются около ободраннаго.

Как видно, конспект этот очень схож с написанной повестью — за исключением одного пункта: после старушки Холстомер должен был еще попасть на войну (1848 г.).

В Дневнике, кроме приведенных выше записей, нет больше никаких упоминаний о работе над «Холстомером». В письме к Фету (повидимому, в апреле 1863 г.) Толстой, между прочим, сообщал: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Однако далее следует: «Впрочем теперь как писать? теперь незримы усилия даже зримые, и притом *я в юхванстве* опять по уши». (А. Фет, «Мои воспоминания», ч. I. М. 1890, стр. 418). Надо полагать, что «Холстомер» был вакончен только в 1864 г.

После неудачной попытки напечатать эту повесть в журнале (в каком — точно неизвестно, но есть основания предполагать, что в несостоявшемся журнале М. Погодина «Старовер», о чем см. в истории печатания) и отзыва В. А. Сологуба (см. его письмо в книге «Письма Толстого и к Толстому», Юбилейный сборник, М. 1928, стр. 260 — 262) рукопись была положена в стол, где и лежала до 1885 г. В этом году С. А. Толстая, издавая собрание сочинений Толстого, включила повесть в третий том.

Как видно по самым рукописям (см. Описание рукописей), Толстой в 1885 г. дал заново переписать ту часть прежней рукописи, в которую он внес много изменений, и написал новый конец (№ 2-в). В переписке участвовал сын А. А. Стаховича, М. А. Стахович. Заглавие повести было «Хлыстомѣръ». А. Стахович вспоминает: «Я послал с сыном исправленное название «Холстомер» и специальные сведения о нем и о Хреновой 1803. года. Мой сын рассказывал мне, как при нем заканчивая и отделывая повесть, Лев Николаевич говорил, что после тяжелого труда, многолетних писаний философских статей, начав писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазий... Когда Толстой писал смерть «Холстомера», мой сын стоял за его стулом и с восторгом следил, как ложились на бумагу чудные строки; а гениальный писатель с улыбкой говорил: «вот вам петушок, еще петушок». Отметим кстати, что в этом финале повести, как он переписан рукой М. А. Стаховича, есть некоторые отличия от автографа. Так, например, слов: « — Тоже лошадь была, — скаэал Васька» в автографе нет, они появились прямо в копии. Возможно, значит, что финал этот был продиктован или что изменения эти были внесены устно.

История печатания.

До последнего времени считалось, что, написав «Холстомера», Толстой решил не печатать его; но недавно опубликованное письмо В. А. Соллогуба, содержащее в себе отзыв о«Холстомере» («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», ГИЗ, М. 1928, стр. 260), показывает, что дело было не совсем так. Соллогуб советует Толстому переделать повесть, находя ее в таком виде слишком грубой и даже циничной («Предоставьте это Писемскому. Цинизм его атмосфера» и т. д.). Письмо кончается словами: «Пишу вам официально еще от редакции». Последние слова не оставляют сомнений, что «Холстомер» был передан Толстым, черев Соллогуба, в редакцию какого-то журнала, в котором Соллогуб

принимал ближайшее участие. Какой это был журнал? В письме Соллогуба нет никаких на это указаний.

Письмо датировано 20 марта, но без года. Редактор (Л. Бухгейм) датирует его предположительно 1863 годом. Однако эту датировку следует признать ошибочной. В Дневнике Толстого 3 марта 1863 г. записано: «Мерин не пишется». По дальнейшим записям видно, что Толстой занялся хозяйством и бросил писание (11 апреля 1863 г.: «Мы во всем разгаре хозяйства»), а потом взялся за работу над «Декабристами». Сопоставление этих фактов приводит к мысли, что «Холстомер» был закончен не весной 1863 г., а позднее. Если это так, то письмо Соллогуба можно датировать не 1863, а 1865-ым годом. При такой датировке является возможность высказать догадку и относительно журнала.

В 1865 г. М. П. Погодин вместе с В. А. Соллогубом затеяли издавать журнал. 9 июня 1865 г. Погодин писал П. А. Вяземскому: «Мы затеваем журнал с Соллогубом, который сбирается работать: Старовер. Ведь грустно смотреть на нынешнее пренебрежение литературы. Надо восстановить предание». («Старина и новизна», книга 4-я, 1901, стр. 77.) Сообщение это было, вероятно, сделано уже тогда, когда вся подготовительная работа по организации журнала была окончена. Вполне возможно, эначит, что Толстой, именно в это время подружившийся с Погодиным (см. его письма к Погодину в журнале «На литературном посту», 1929, № 10, стр. 65) и очень сочувствовавший его взглядам, решил предложить «Холстомера» в этот самый журнал. Это могло быть сделано в начале 1865 г. (Вместо журнала в 1866 г. вышел сборник «Утро».) Оставшийся тогда ненапечатанным «Холстомер» лежал в столе до 1885 г., — когда С. А. Толстая, издававшая «Собрание сочинений» (5-е издание), включила в него и эту повесть. В переработанном виде повесть появилась в т. III пятого издания (1886 г., стр. 503—553), с посвящением памяти М. А. Стаховича.

Как видно из воспоминаний А. К. Чертковой («Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», ГИЗ. 1928, стр. 157), корректуру повести читала С. А. Толстая: «Вот у меня как раз

лежит корректура... Я ведь сама всё делаю... Вы умеете править корректуру? Да? Так вот не хотите ли мне помочь немножко. — Ах, пожалуйста! — с восторгом откликнулась я. Графиня встала и, взяв с другого стола пачку бумаг, вернувшись на свое место, подавая мне корректурные гранки, раскрывает перед собою тетрадку. Это оказывается повесть «Холстомер». Я пожалела, что мне пришлось читать не сначала (первые гранки были уже проверены), и мы начали с середины какой-то главы... С трепетным волнением я стала читать. Софья Андреевна следила по тетрадке, изредка останавливая меня для внесения поправок в корректуру».

Итак, всё дело печатания, включая чтение корректур «Холстомера», было в руках С. А. Толстой. Понятно, что при таком положении не только остались неисправленными те ошибки, которые были сделаны при переписке, но и прибавились новые. В дальнейших изданиях количество ошибок, конечно, не уменьшилось, а увеличилось. Таким образом, при сверке печатного текста «Холстомера» с автографом количество ошибок всякого рода (пропуски, неверно разобранные слова, нивеллировка языка и пр.) оказалось очень солидным.

В настоящем издании все эти ошибки исправлены. Главные из этих исправлений следующие:

Стр. 3, строки 11—12. В изд. 1886 г.: «сказал старый табунщик, быстро отворяя». В автографе: «сказал старый табунщик Нестер отворяя». Слово «быстро» — неверно разобранное «Нестер». Эта ошибка повлекла за собой ряд изменений и перестановок, сделанных Толстым (не сверявшим копии с автографом и потому не заметившим ошибки) в копии и не позволяющих вернуться к автографу. Пришлось прибегнуть к коньектуре: удалить, по крайней мере, совершенно чужое, в автографе несуществующее и совсем не соответствующее характеру и возрасту старого табунщика слово «быстро».

Стр. 6, строка 33. В изд. 1886 г.: «встряхнул». В автографе сначала было: «встряхнул замочившейся гривой»: потом слово «встряхнул» исправлено на «отряхнул», а слова: «замочившейся гривой» заменены словом «голову». С. А.

Толстая переписала неверно: «стряхнул голову»; Толстой прибавил в копии букву «в». Мы возвращаемся к автографу.

Стр. 8, строка 20. Слова: «кое-где, около болотца, и над лесом» пропущены в копии и отсутствовали в печати.

Стр. 8, строки 37—38. Слова «который дрожа» кончая: «как» пропущены в копии и отсутствовали в печати; после слова «сосунчика» в копии произвольно появилось несуществующее в автографе слово: «молодая», а слово «атласная» написано с большой буквы — как название лошади. Мы берем по автографу.

Стр. 9, строка 37. В автографе первоначально было: «и иногда всфыркнув и подняв», потом «всфыркнув» изменено на «всхрапнув», в копии ошибочно: «встрепенув», вычеркнутое Толстым. Мы возвращаемся к автографу.

Стр. 20 строка 31. После слова: «проходили» в рукописи № 1-в (л. 12) следует: Есть люди, которые называютъ другихъ людей своими, а эти свои люди — сильнѣе, здоровѣе и досужнѣе хозяевъ. Есть мущины, которые женщинъ называютъ своими, а женщины эти живутъ съ другими мущинами. В копии № 3, л. 11 об. (С. А. Толстой) пропущены все слова, стоящие между повторением «которые», так что получилось: «Есть люди, которые женщин называют» и т. д. Толстой написал на полях новую вставку, которая и пошла в печать.

Стр. 21, строка 21. Фраза: «Они скрянчили мне губу» пропущена в копии и отсутствовала в печати.

Стр. 21, строки 22—24. Слова: «они надели» кончая: «не бил задом» вписаны рукой М. Стаховича на полях рукописи № 4. Его же рукой ниже слово «ход» (у Толстого было: «хвалили мою ѣзду»).

Стр. 22, строка 29. Вместо слова: «Решили» в копии (М. Стаховича) и в печати ошибочно: «Генерал просил». Стахович принял букву «Р» за букву «Г» (с точкой), а «ѣшили» прочитал как «просил». Мы берем по автографу.

Стр. 23, строка 27. Слова: «его жестокость» были пропущены в копии и отсутствовали в печати.

Стр. 24, строки 39—40. В автографе написано: съ задомъ шире Х-ова, т. е. Х[олстомѣр]ова; С. А. Толстая не поняла

сокращения и после слова «шире» оставила свободное место, а М. Стахович поставил вопросительный знак. Толстой в 1885 г. вписал слово плечъ. Так как в новой редакции рассказ ведется от лица самого Холстомера, то оставляем эту позднейшую поправку.

Стр. 26, строка 3. Вместо: «плохих» в копии (и в печати) было ошибочно: «тихих».

Стр. 30, строка 32. Слово: «неуловимым» было пропущено в копии и отсутствовало в печати.

Стр. 32, строка 10. Вместо: «обрюзгшем» в копии (и в печати) было ошибочно «брюзглом».

Стр. 32, строка 22. Вместо: «замолчал» в копии (и в печати) было ошибочно «засмеялся».

Стр. 35, строка 30. Слова: «стал точить [о] брусок» пропущены в копии и отсутствовали в печати; в автографе — «стал точить брусок», мы вставляем «о».

Стр. 36, строки 10—11. Слова «стала склоняться шея потом» пропущены в копии и отсутствовали в печати.

Описание рукописей.

Рукописи «Холстомера» хранятся в Архиве Толстого во Всесоюзной Библиотеке имени В. И. Ленина и в рукописном отделении Государственного Толстовского музея в Москве. Состав их следующий:

№ 1. Первая редакция повести, написанная в 1863 г.

а) Автограф, 12 лл. писчей бумаги (сложенные в 1/4 л.), с пробитыми машинкой двумя круглыми отверстиями у сгиба (вверху и внизу). Текст на обеих сторонах.

Л. 1 начинается зачеркнутым текстом *(Начиная со слов:* «съ уходящаго Васьки», *кончая:* «Между тѣмъ», см. вар. № 1, стр. 477); после вычерка рукой Толстого написано заглавие «Хлыстомѣръ», «Глава I» и следует *начало повести:* «Все выше и выше поднималось небо» и т. д. Текст *кончается словами:* «до самаго дома», после чего зачеркнуто несколько страниц (см. вар. № 2, стр. 477)

б) Автограф, 2 лл. писчей бумаги 40. Текст на лл. 1, 1 об. и 2, с полями. *Начало:* «Къ Вестеру пріѣхали кумовья», *конец:* «сталъ разскавывать исторію своей жизни». Это — непосредственное продолжение текста предыдущего автографа.

в) Копия, сделанная неизвестной писарской рукой, с несколькими поправками рукой Толстого. 18 лл. писчей бумаги 4°. Текст на обеих сторонах; *начало:* «Когда я родился», *конец:* «приходили смотрѣть на меня». Л. 17 об. и л. 18 покрыты автографом, очень черновым; *начало:* «Жеребцовъ моихъ братьевъ», *конец:* «трудъ до конца моей жизни».

Автограф, с которого снята эта копия, не сохранился.

г) Автограф, 2 лл. писчей бумаги 4°. Текст на лл. 1, 1 об. и начало л. 2; *начинается словами:* «Жулдыба подходя къ дому», *конец:* «я тѣмъ буду счастливѣе» Перед текстом — знак (крест), обозначающий вставку.

Это — вставка к л. 18 предыдущей рукописи, где имеется соответствующий знак.

д) Автограф. 4 лл. писчей бумаги 4°. Текст на обеих сторонах, с полями; *начало:* «Много и горя», *конец:* «ему говорятъ не долго жить».

Во всей рукописи 38 листов. Хранится в АТБ.

№ 2. Дополнительные к рукописи № 1 автографы:

а) 2 лл. писчей бумаги in folio. Текст на обеих сторонах, с большими полями. *Начало:* «На варкѣ было грустно». *Конец:* «и все съ Х. кончилось». Пагинация карандашом: цыфры 8 и 9. На поле л. 1 рукой Толстого написано: «Одинъ матеріализмъ — тщеславіе, рады показать Серпуховскому. Она не беременна.

Тут же карандашом детской рукой:«Лёвъ Нико».На поле л. 2 карандашная пометка «д.с.п.» и соответственный отчерк в тексте после слова: «упавший».

Этот автограф относится тоже к 1863 г.

б) Обрывок полулиста писчей бумаги. Текст только на лицевой стороне. *Начало:* «Помню выѣхалъ я разъ» *конец:* «денегъ было мало въ кошелькѣ на столѣ». Пагинация карандашом: цыфра 4.

Относится тоже к 1863 г.

в) Сложенный пополам почтовый лист большого формата. *Начало:* «удивился. Все такъ ново стало».

Это — позднейшая (1885 г.) переработка конца повести.

Из перечисленных автографов первые два хранятся в АТБ, а третий в ГТМ.

№ 3. Копия, с многочисленными изменениями и вставками, сделанными рукой Толстого в 1885 году. 38 лл. писчей бумаги в 1/4 л., из которых лл. 1—32 и 36—37 написаны рукой С. А. Толстой, а лл. 33—35 — рукой М. А. Стаховича (племянника того М. А. Стаховича, памяти которого посвящена повесть). Лист 38 — автограф. На обложке рукой С. А. Толстой написано: «История лошади, переписанная отрывками по поправленному».

Это — отдельные куски, заново переписанные в следующей копии и потому изъятые из нее. Листы 1—8 и 14—30 относятся к 1863 г., остальные (синими чернилами, на более белой бумаге) — к 1885 г.

Хранится в АТБ.

№ 4. Полный текст новой редакции — копия с изменениями и вставками рукой Толстого, сделанными в 1885 году. 60 лл. писчей бумаги в 1/4 л. Пагинация — наверху чернилами, внизу — карандашом (1—60). На полях каждой страницы знак «Ч», связанный, повидимому с набором.

С этой рукописи набирался текст повести в издании 1885 г. Листы 1—31, 35, 42—43, 48—57 написаны рукой С. А. Толстой, остальные — рукой М. А. Стаховича. Листы 1—22 и 48—49 относятся к 1863 г., остальные (синими и лиловыми чернилами) — к 1885 г. Копия сделана частью с рукописей № 1 и № 2, частью с листов промежуточной копии (№ 3).

На л. 1 первоначальное заглавие (рукой С. А. Толстой): «Хлыстомер. (Опыт фантастического рода). 18...» В слове «Хлыстомер» буквы«лы» исправлены на «ол». Подзаголовок зачеркнут рукой Толстого и вместо него им же написано: «Посвящается памяти М. А. Стаховича1». Внизу его же рукой сделана сноска: «(1) Сюжетъ этотъ былъ задуманъ М. А. Стаховичемъ, авторомъ Ночного, и переданъ автору его братом А. А. Стаховичемъ». «Рукой С. А. Толстой после «и» вписано

«Наездники», вставлено второе «и» после слова «Наездники», и вычеркнуты слова «его братом». К цыфрам «18...» рукой С. А. Толстой приписано: «61 года».

На л. 19 на поле написано рукой Толстого распоряжение для типографии: «Вездѣ ночь вмѣсто вечеръ».

Под текстом подпись «Лев Толстой» рукой М. А. Стаховича.

Хранится в АТБ.

№ 5. Автографы, не вошедшие в текст повести и не переписанные в копии:

а) 1 л. писчей бумаги в 1/4 л., *начало:* «Тутъ все продали и я попалъ» (см. вариант № 17, вторая часть, стр. 483—484). Перед текстом стоит знак (крест) относящий этот автограф к л. 37 об. рукописи № 1 (*после слов:* «Все пошло въ разладъ»). Относится к 1863 г.

б) 2 лл. писчей бумаги 4°, с пробитыми машинкой двумя круглыми отверстиями на сгибе (вверху и внизу).На л. 1 конспект повести, а на л. 2 и 2 об. планы винокуренного завода, нарисованные рукой Толстого (см. в «Истории писания», стр. 658—659). Относится к 1863 г.

Хранится в АТБ.

Рукописные варианты повести «Холстомер» заимствованы из следующих рукописей.

Вариант № 1. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, а), который *начинается, словами* «съ уходящаго Васьки», продолжающими текст предыдущего листа (не сохранившегося). Так начиналась повесть в первой редакции. Всё, кончая *словами:«*Между тѣмъ», перечеркнуто; *над словами:* «всё выше и выше» написано: Глава I, а над этим заглавие: Хлыстомѣръ.

Варианты № 2 и № 2-а. Вариант № 2 находится в автографе 1863 г. (№ 1, а*), после слов:* «не проявилъ своихъ размышленій до самаго дома» (см. в главе IV печатного текста, стр. 12). Здесь же перечеркнуто. Вариант № 2а заменяет собой текст варианта № 2 *со слов:* «Что взялъ, старая дрянь» *кончая словами:* «около старого мерина». Вычеркнут здесь же.

Вариант № 3. Находится в автографе 1863 г. (№ 1,б), *после слов:* «новое и необыкновенное они узнали отъ него» (см. вV главе печатного текста, стр. 13). Вычеркнут здесь же.

Вариант № 4. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) *после слов:* «что меня называли собственностью человѣка» (см. в главе VI печатного текста, стр. 19). Вычеркнут в рукописи № 3, где по ошибке переписчика (С. А. Толстой) пропущено *со слов:* «Я понимаю» *кончая:* «моя лошадь».

Вариант № 5. Находится в копии 1863 г. (№ 1,в) *после слов:* «даже про землю, про людей и про лошадей» (см. в главе VI печатного текста, стр. 20). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 6. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) *после слов:* «но это оказалось несправедливыми (см. в главе VI печатного текста, стр. 20). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 7. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в). Изменено и часть вычеркнуто в рукописи № 3 (ср. в главе VI печатного текста фразу: «Человѣкъ говорить: «домъ мой», и никогда неживетъ въ немъ»), Переписчик (С. А. Толстая) ошибочно написала вместо слова «благосостоянию» слово: «благополучию».

Вариант № 8. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) *после слов:* «стоимъ въ лѣстницѣ живыхъ существъ выше, чѣмъ люди» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 9. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в) *после слов:* «глубокомысленнымъ мериномъ, которымъ я есмь» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 10. Находится в копии 1863 г. (№ 1, в). Частью изменено, частью вычеркнуто в рукописи № 3 (ср. в главе VI печатного текста абзац, *начало:* «Послѣдствій того»,... *конец:* «раньше запрягли», стр. 21).

Вариант № 11. Находится в копии 1863 г. (№ 1,в) после *слов:* «въ Чесменку и другіе хутора» (см. главу VI печатного текста, стр. 21). Изменено в рукописи № 3. вычеркнуто там же.

Вариант № 12. Находится в копии 1863 г. после *слов:* «у старушки, жившей у Николы Явленнаго» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 13. Находится в копии 1863 г. после *слов:* «я тѣмъ буду счастливѣе» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 4.

Вариант № 14. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после *слов:* «за 800 р. продалъ меня конюшій» (см. главу VIII печатного текста, стр. 23). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 15. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после *слов:* «прикладывая ухо, щелкалъ зубами» (см. главу VIII печатного текста, стр. 24). Изменено в рукописи № 3, вычеркнуто в рукописи № 4

Вариант № 16. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после *слов:* «такъ никого и не задавили» (см. главу VIII печатного текста, стр. 24). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 17. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, д) после *слов:* «летим каждый въ свою сторону» (см. главу VIII печатного текста, стр. 26). Первая фраза вычеркнута в рукописи № 3; остальное вычеркнуто и заменено другим текстом в рукописи № 3.

Вариант № 18. Находится в рукописи № 3 (автограф). Переписано и заменено другим текстом в той же рукописи (ср. в главе VIII печатного текста, абзац, *начало:* «— Счастливая жизнь моя» конецъ: «выѣхать въ кругъ»}.

Вариант № 19. Находится в автографе 1863 г. (№ 1, г). Вычеркнуто и заменено другим текстом в рукописи № 3 (ср. в главе IX печатного текста, стр. 28, со слов: «Гость похвалилъ» *кончая:* «какъ будто сконфузился, оборвалъ»).

Вариант № 20. Находится в рукописи № 3 (переделка предыдущего). Вновь переделано в той же рукописи (ср. печатный текст, указанный в предыдущем варианте).

Вариант № 21. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а) после *слов:* «и содержать самую дорогую» (см. главу X печатного текста, стр. 29). Вычеркнуто в рукописи № 4.

Вариант № 22. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 4 (ср. в главе X печатного текста, стр. 30, *со слов:* «Онъ былъ одѣтъ» *кончая:* «подошвахъ».).

Вариант № 23. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 4 (ср. в главе X, стр. 30, *со слов:* «и переносили» *кончая:* «завидовать»).

Вариант № 24. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 3, и в рукописи № 4 (ср. в главе X

печатного текста, стр. 31, *со слов:* «Онъ взялъ сигару» *кончая:* «своей красивой доброй улыбкой»). По ошибке переписчика (С. А. Толстой) фразы *со слов:* «Она знала его» *кончая:* «и его» пропущены.

Вариант № 25. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а) после *слов:* «продолжать начатый разговор» (см. главу X печатного текста, стр. 31). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 26. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Вычеркнуто и заменено новым текстом в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 32, *со слов:* «— Онъ прогорѣлъ» *кончая:* «не робѣя».).

Вариант № 27. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, а). Переделано в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 33, *со слов:* «Хозяину было скучно» *кончая:* «ты не могъ знать».).

Вариант № 28. Находится в автографе 1863 г. (№ 2, б) после *слов:* «Да вотъ не обѣгаетъ» (см. главу XI печатного текста, стр. 34). Вычеркнуто в рукописи № 3.

Вариант № 29. Находится в автографе 1863 г. (№ 2а, б). Переделано в рукописи № 3 (ср. в главе XI печатного текста, стр. 34 — 35, *со слов:* «Серпуховскій лежалъ нераздѣтый» *кончая:* «старости».).

Вариант № 30. Находится в автографе 1863 г. (№ 2а, б). Переделано в рукописи № 3, и заново — в автографе № 2, в (конец повести).

Много ли человеку земли нужно

I.

Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.

— Не променяю я, — говорит, — своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

Стала старшая сестра говорить:

— Сытость-то какая, — со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.

— А что ж, — говорит меньшая, — наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городу́ все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый, — глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на кралю какую. И пойдет всё прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом — хозяин на печи, что бабы балакают.

— Правда это, — говорит, — истинная. Как наш брат с измальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого чорта не боюсь!

Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.

А чорт за печкой сидел, всё слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и чорт не возьмет.

«Ладно, — думает, — поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».

II.

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней 120 десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как ни бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забежит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут, — за всё штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала, — хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, — думают, — достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дороже заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; сбирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбивает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни 20 десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало Пахому: «раскупят, — думает, — всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.

— Люди покупают, надо, — говорит, — и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, 15 десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал 15 десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть, — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

III.

Живет так Пахом, радуется. Всё бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, всё не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, всё не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «нельзя же и спускать, этак они всё вытравят. Надо поучить».

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом, — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то под ряд злодей все счистил. Обозлился Пахом: — «Ах, — думает, — вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, — думает, — как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улик нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался. «Вы, — говорит, — воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров». Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет пород на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти не зачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то всё теснота».

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились, — откуда, мол, Бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ

селиться идет. Рассказывает: «Поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по 10 десятин на душу. А земля такая, — говорит, — что посеяли ржи, так солома лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик, — говорит, — совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы».

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведенье всё заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому всё путем вызнать надо».

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст 400 прошел. Дошел до места. Всё так точно. Живут мужики просторно, по 10 десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!

Разузнал всё Пахом, вернулся к осени домой, стал всё распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

IV

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на 5 душ надельной земли 50 десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой, — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть, не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять, а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села: верст за 15 возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют. «То ли дело, — думает Пахом, — коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Всё бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снимал землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая землица есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить и не на чем сеять. А то купил на 3-й год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, — думает, — никому бы не кланялся, и греха бы не было».

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика 500 десятин, да разорился он и продает за дешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за 1500 руб., половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч 5 десятин. И стало всего 1000 рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец. «Только, — говорит, — стариков ублаготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на 100, да цыбик чаю, да попоил винцом, кто пьет. И по 20 коп. за десятину взял». Показывает купчую. «Земля, — говорит, — по речке, и степь вся ковыльная». Стал расспрашивать Пахом, как и что. «Земли, — говорит купец, — там не обойдешь и в год: всё башкирская. А народ несмышленый, как бараны. Можно почти даром взять». — «Ну, — думает Пахом, — что ж мне за мои 1000 руб. 500 десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за 1000 рублей чем завладаю!»

V.

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цыбик, подарков, вина, — всё, как купец сказал. Ехали, ехали, верст 500 отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Всё так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, всё лето празднуют. Народ совсем темный и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидали Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил.

Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

— Велят тебе сказать, — говорит переводчик, — что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

— Полюбилась мне, — говорит Пахом, — больше всего у вас земля. У нас, говорит, в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.

Передал переводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

«Велят, — говорит, — они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет»

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

VI.

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик: «Это старшина самый». Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю 5 фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

— Что ж, говорит, можно. Бери, где полюбится. Земли много.

«Как же я возьму, сколько хочу, — думает Пахом. — Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».

— Благодарим вас, — говорит, — на добром слове. Земли ведь у вас много; а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь всё-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе Бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.

— Правда твоя, — говорит старшина, — закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже землицы подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже».

Всё понял старшина.

— Это всё можно, — говорит. — У нас и писарь есть, и в город поедем, и все печати приложим.

— А цена какая будет? — говорит Пахом.

— Цена у нас одна: 1000 руб. за день.

Не понял Пахом.

— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?

— Мы этого, — говорит, — не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню 1000 рублей.

Удивился Пахом.

— Да ведь это, — говорит, — в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

— Вся твоя! — говорит. — Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

— А как же, — говорит Пахом, — отметить, где я пройду?

— А мы станем на место, где ты облюбуешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дернички клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, всё твое.

Обрадовался Пахом. Порешили наране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

VII.

Лег Пахом на пуховики и не спится ему, всё про землю думает. «Отхвачу, — думает, — Палестину большую. Верст 50 обойду в день-то. День-то нынче что год; в 50 верстах земли-то что́ будет. Какую похуже — продам или мужиков пущу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников принайму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец намеднишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «ты давно ли тут?» а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. — «Чего не приснится», — думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинает. «Надо, — думает, — будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

— Пора, — говорит, — на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

— Коли ехать, так ехать, — говорит, — пора.

VIII.

Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

— Вот, — говорит, — вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка — так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

— Вот, — говорит, — метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, всё твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять, — везде хорошо. Думает — всё одно: пойду на восход солнца. Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает — ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче. Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом не тихо, не скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шагу прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст 5 прошел. Согреваться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко, — уж время об завтраке.

«Одна упряжка прошла, — думает Пахом. — А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно и народ, как мураши, на нем чернеется и чуть блестит что-то.

«Ну, — думает Пахом, — в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, — думает, — отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загибать влево, да глядь — лощинка подошла сырая; жаль бросать. Думает, «лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лощинку, выкопал ямку за лощиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст 15 до них будет. «Ну, — думает Пахом, — длинны стороны взял, надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места всё те же верст 15. «Нет, — думает, — хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

IX.

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя, — не поспеешь дойти до заката. Солнце не ждет, всё спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не поспеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а всё прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — всё еще далеко; побежал рысью. Бросил за поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, — думает, — позарился я, всё дело погубил, не добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются. а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются Жутко стало Пахому: думает, «как бы не помереть с натуги».

Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, — думает, — пробежал, а теперь остановиться, — дураком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло; большое, красное, кровяное стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, — думает, — много, да приведет ли Бог на ней жить. Ох, погубил я себя, — думает, — не добегу».

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краюшком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, насилу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к

шихану, вдруг темно стало. Оглянулся, — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, — думает, — мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают всё башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажет, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.

— Ай, молодец! — закричал старшина. — Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Пощелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скребку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.

Рукописные варианты

[Варианты рассказа «Много ли человеку земли нужно».]

№ 1.

Жена слушала, слушала, заснула. Въ середи ночи закричала жена во снѣ и проснулась.

— Чего ты? говоритъ мужъ.

— Да что, Пахомушка, говоритъ: нехорошій я сонъ видѣла. Не ходи ты завтра землю обходить.

Засмѣялся Пахомъ.

Вона! говоритъ. Что же тебѣ привидѣлось?

— Охъ, не ходи, Пахомушка. Жутко мнѣ.

— Да что ты видѣла то?

И видѣлось мнѣ, что лежимъ мы съ тобой въ этой самой кибиткѣ и что слышу я, хохочетъ кто то у хозяина и что захотѣлось мнѣ посмотрѣть. И встала я, будто и пошла потихоньку къ той кибиткѣ. Подошла, подняла войлокъ и заглянула въ щелку. И вижу я, сидитъ этотъ самый старшина башкирскій, вотъ такъ за животъ ухватился обѣими руками, закатывается, хохочетъ. И гляжу я на него и это не онъ, а купецъ намеднишній, что къ намъ заѣзжалъ, и гляну я на купца, и опять не купецъ, а тотъ мужикъ, что къ намъ на старинѣ съ низу заходилъ. И гляжу я на мужика, и опять не онъ, а самъ дьяволъ съ рогами и съ копытами сидитъ, хохочетъ и на что-то глядитъ. Поглядѣла я, куда онъ глядитъ, а это ты лежишь кверху носомъ и бѣлый, какъ ручникъ. Испугалась я, закричала и проснулась. Не ходи ты завтра, Пахомушка, землю обходить. Не къ добру я сонъ видѣла и не къ добру на одно лицо три человѣка эти: и мужикъ съ низу, и купецъ, и старшина башкирскій. — Не ходи, батюшка.

— Посмѣялся Пахомъ. — Будетъ, будетъ толковать то. Вашихъ бабьихъ словъ не переслушаешь. Спи, еще рано.

Прилегъ и Пахомъ. Да такъ и не заснулъ до разсвѣта.

№ 2.

Подбѣжала Пахомова хозяйка съ работникомъ, хотѣла поднять его, глядь, а у него изо рта кровь течетъ и онъ мертвый лежитъ. Ахнула жена, оглянулась на старшину, а онъ сидитъ такъ точно, какъ она во снѣ его видѣла, сидитъ на корточкахъ, гогочетъ. И видитъ она явственно рога изъ за скуфейки торчать и на ногахъ копыта.

Всталъ старшина, поднялъ съ земли заступъ, кинулъ бабѣ. — На, закопай! Да сестрѣ похвались, какъ мужику земля на пользу пошла.

Поднялись всѣ башкирцы и уѣхали.

Осталась вдова Пахомова въ степи съ своимъ работникомъ.

———

Комментарии В. И. Срезневского[1]

«Много ли человеку земли нужно?»

История писания и печатания.

Мысль рассказа «Много ли человеку земли нужно» зародилась у Толстого гораздо раньше, чем он начал писать рассказ. Тема этого рассказа связана с одной стороны, можно сказать, совершенно неожиданно, с работами Толстого над изучением греческого языка, и в частности над чтением в подлиннике Геродота, с другой стороны с жизнью Толстого в Самарских степях, которая естественно вела к знакомству с нравами и обычаями башкир; таким образом и то и другое относит первый замысел рассказа к 1871 году. Тогда — зимой 1870—1871 гг. — Толстой был сильно увлечен изучением греческого языка: «с утра до ночи учусь по гречески», — писал он А. А. Фету;[2] «по ночам говорю во сне по гречески»;[3] он ничего не пишет, говорится в письме к нему же, только «учится». Толстой работает над греческим языком, как всегда работал над увлекающим его предметом, — страстно, до изнеможения, не думая о своем здоровьи, к тому же пошатнувшемся в это время, как он сам весною писал С. С. Урусову. С. А. Толстая, находя упорные занятия мужа греческим языком слишком вредными для его здоровья, так как она считала их главной причиной болезни, настояла в начале лета на поездке в Самару для лечения кумысом. Эта поездка, поправив состояние его здоровья, не прекратила занятия греческим языком и особенно погрузила его в чтение Геродота. Столкнувшись с местными жителями — башкирами, — Толстой увидел в них близкое сходство с скифами Геродота. «Читаю и Геродота, который с подробностью и большой верностью, описывает тех же самых галактофагов, скифов, среди которых я живу»,[4] — читаем в письме Толстого к А. А. Фету. И он чувствут себя, как читаем в

письме к С. А. Толстой — «приходящим в скифское состояние». Всё казалось ему там в Башкирии «ново и интересно»: «и башкирцы, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте *и* добродушию».[5] Эти башкиры с их питанием кумысом, кумысо-еды, галактофаги уносили его к временам Геродота.

Толстой ставил кульминационным пунктом своего рассказа развитие и своеобразное толкование обычая, описанного Геродотом; в нем он видел определенный ответ на вопрос, поставленный в заглавии. Суть обычая скифов Геродота, обычая известного и в других местах, заключается в передаче земли посредством дара или купли — продажи обегом ее или объездом на коне в течение определенного времени, с восхода до заката солнца, и так как человек никогда не в состоянии остановить своих желаний, то этот обег влечет за собою смерть.

В «Истории» Геродота (книга IV, глава 7*)* рассказывается так про обычай скифов: во время торжества в прославление плуга, ярма, секиры и чаши, по преданию упавших с неба, страж, оберегающий эти золотые предметы, если он заснет во время празднества, получает в подарок столько земли, сколько он может на коне объехать, потому что он и года не проживет после этого. От этого предания можно с уверенностью сказать залег сюжет будущей сказки о земле Толстого. Рассказ об обеге или объезде земли, для закрепления за собой, и следующая затем смерть домогающегося этого дара не ограничивается записью Геродота. Подобное предание в 1850-х годах было записано в Украине в Черниговской губернии и связано с болотом Гале в Сосницком уезде, заклятом и негодном для скота; здесь, по преданию, сговорился один человек с другим обежать болото с тем, чтоб оно ему досталось, и не добежав упал и умер на месте. Иные про то же или одноименное место рассказывают, что один батуринский житель просил себе земли у гетмана, и ему назначено было столько земли, сколько он без отдыха пробежит. Он пробежал, но, не достигнув цели упал около Галого, протягивая вдаль руку, и кладя ее на землю умер.[6] Возможно, что Толстой, если и не знал записи этого предания, может быть, знал какой-нибудь другой его вариант; во всяком

случае с преданием, рассказанным Геродотом, он несомненно был знаком (см. статью М. Альтмана «Л. Толстой и Геродот»).[7] В рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно» входят три момента сюжета о добывании земли: сон, обег и смерть перед самым концом пробега; в Батуринском предании нет момента предварительного сна; в предании, записанном Геродотом, есть все три момента сюжета, но сочетание их представлено в нем совершенно в ином изложении, чем у Толстого.

Старшая рукопись рассказа «Много ли человеку земли нужно?» находится в том же обрывке тетради, как и старшие записи рассказов «Кающийся грешник» и «Зерно с куриное яйцо», вслед за ними, и, как видно по почерку и чернилам, написана с ними почти одновременно, т. е. в мае или июне 1885 года. Редакций рассказа нужно считать три: две в первой рукописи и одна во второй; следующие рукописи дают лишь некоторые стилистические поправки. На заглавии Толстой остановился не сразу, только в третьей редакции на обложке рукописи указав предполагаемое заглавие (вписано, повидимому, В. Г. Чертковым) — «сказка о земле»; это заглавие впрочем тут же было оставлено и рассказу тогда же было дано то заглавие, которое за ним и осталось. В июне ли 1885 г. Толстой закончил писание своего рассказа или позже, нет никаких указаний. Известно только, что к печати рассказ был разрешен в начале апреля 1886 года, именно 5-го апреля была дозволена 4-я книжка «Русского богатства», в которой был напечатан впервые рассказ. «Посредник» получил разрешение в два приема: текст 2-го апреля, а обложка 9-го. Как книгоиздательству, преследуемому цензурой, «Посреднику» было дано разрешение с исключением одной фразы, почему-то сочтенной опасной (из 3-й главы: «Стали ему и красным петухом грозиться» (впрочем уже разрешенной во 2-м издании). Рассказ был напечатан «Посредником» в сборничке, названном «Три сказки», в который кроме него вошли два другие рассказа Толстого «Зерно с куриное яйцо» и «Как чертенок краюшку выкупал». На обложке сборничка рисунки, относящиеся к рассказу «Много ли человеку земли нужно», исполненные художником М. Е. Малышевым. Вскоре после «Русского

богатства» и «Посредника» рассказ вышел в издании С. А. Толстой в XII-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Произведения последних годов» (Москва, Типография А. И. Мамонтова). Фраза, недозволенная в издании «Посредника», в этом издании не подверглась запрещению.

Описание рукописей.

Текст рассказа сохранился в пяти рукописях: три — в Архиве, переданном В. Г. Чертковым в ГТМ в папке 11 №№ 10, 11 и 12, одна — в АТБ под шифром: V. 6. Там же корректура, под шифром: V. 1. 4. Рукопись ГЛМ под шифром 2457/26. Там же корректура под шифром 2457/2.

1) Автограф ГТМ, № 10. 4°, 11 лл. Описание автографа см. при рассказе «Кающийся грешник». Рассказ «Много ли человеку земли нужно» в этой рукописи без заглавия. *Начало:* «1. Пріѣхала старшая сестра къ меньшей сестрѣ въ гости».... Весь рассказ разделен на шесть глав. Мелкие подробности не разработаны. Пахом едет к башкирам с женой и работником, и накануне рокового дня страшный сон видит жена и рассказывает мужу. В рукописи много помарок, поправок, дополнений и перестановок текста. Это первый набросок, первая редакция.

2) Рукопись ГТМ, № 11 копия с предыдущей, рукою В. Г. Черткова, 4°, на 16 листах нелинованной писчей бумаги, с поправками и дополнениями Толстого. Это вторая редакция. Заглавие приписано рукою Толстого: «Много ли человѣку нужно». Рассказ разделен на 8 глав римскими цыфрами. *Начало:* «1. Пріѣхала изъ города старшая сестра»... Дополнения и поправки рассказа в основе не изменяют.

3) Рукопись АТБ V. 6. Копия рукою С. А. Толстой, с поправками Толстого, 4°, на 16 листах нелинованной писчей бумаги. Л. 1 — заглавие: «Много ли человеку нужно». Поправок много, но главным образом стилистического характера. Текст начинается с л. 3-го; на л. 1 и 2 — заглавие. *Начало:* «Пріѣхала изъ города старшая сестра къ меньшой въ деревню, въ гости»...

4) Рукопись ГТМ, № 12, F°, на 11 листах (л.1 — заглавие). Копия рукою Н. Л. Озмидова с поправками и дополнениями

Толстого и карандашными поправками Озмидова. Перед текстом в заглавие: «Много ли человѣку нужно» рукою Толстого после слова: «человѣку» вставлено: «земли». *Начало:* «Пріѣхала въ гости изъ города старшая сестра къ меньшой въ деревню»... Эта рукопись представляет копию с предыдущей. Здесь сделаны изменения: вместо слова «шишка» — везде — «шихан». Пахом едет к башкирцам без жены, с работником, страшный сон видит сам.

5) Рукопись ГЛМ на 11 л. писчей бумаги в линейку с многочисленными поправками Толстого карандашом и чернилами. На каждой странице пометки рукой В. Г. Черткова: «Ч», свидетельствующие о том, что рукопись находилась у него, это же видно из его собственноручных замечаний по поводу содержания рассказа. Рукопись представляет собою последнюю редакцию рассказа. Конец его сильно изменен стилистически путем зачеркивания и надписывания нового текста. В зачеркнутых автором местах фигурируют верховые башкирцы, которые должны наблюдать за обегом Пахома вемли. В результате поправок Толстого на рукописи, содержание ее почти совпадает с печатным текстом. Рукопись разделена также на 9 глав. Лишь 8-я гл. начинается *со слов:* Поднялся Пахомъ, разбудилъ работника въ тарантасѣ... по окончательному тексту гл. 7, стр. 75. Рукопись, повидимому — копия предыдущей.

6) Корректурные гранки АТБ V. 1. 4, 7 полос. Это — корректура из «Сочинений гр. Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов. М. 1886», стр. 483—498, с поправками рукою Толстого. Текст этого издания «Сочинений» кладется в основу настоящего издания, с проверкою по рукописям и корректуре.

7) Подписной корректурный лист, хранящийся в ГЛМ с надписью: «Исправив ошибки и нумерацию печатать гр. С. Толстая». Корректура изд. 1886 г., стр. 473—489; нумерация страниц исправлена карандашом рукой Толстого на 492—498. Других исправлений рукой Толстого нет.

notes

notes

1

Очевидно, *описка. Следует:* Марину.

2

Зачеркнуто поперечной чертой: (Молчаніе.) А что, дѣдушка, правда, что у каждаго человѣка анделъ на плечѣ сидитъ? У насъ старичокъ ночевалъ — сказывалъ.

Митричъ. А кто знаетъ? Надо быть такъ.

Анютка (вздыхаетъ). А что жъ онъ невидимъ?

Митричъ. Ну спи теперь. *(Зѣваетъ.)* И я пойду. *(Идет на печь.)*

3

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV — П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I — М. 1923; II — М. 1923; III — М. 1922; IV — М. 1923;

БИР. 1913 —«Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I — XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ — Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 — М. 1910, 2 — М. 1911;

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 — «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники:1 — М. 1924,2 — М. 1926, 3 — М. 1927, 4 — М. 1928.

4

Дело Колоскова и обстоятельства ознакомления с ним Толстого несколько раз пересказаны Н. В. Давыдовым, впервые в статье «Из воспоминаний о Л Н. Толстом», напечатанной в «Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом», книгоиздательство «Златоцвет», М. 1911, стр. 18—20. Здесь дело Колоскова ошибочно приурочивается к 1886 г. В другой статье — «Откуда Лев Николаевич почерпнул сюжет драмы «Власть тьмы» — «Толстовский ежегодник» 1912 г., М. 1912, стр. 48—50, «Власть тьмы» ошибочно приурочивается ко времени через год после разбирательства дела Колоскова, которое сам Давыдов правильно датирует здесь уже 1880-м годом. В третьей статье — «Лев Николаевич Толстой», напечатанной в книге Давыдова «Из прошлого», М. 1913, стр. 286—287, никаких дат нет, но также ошибочно сказано, что «Власть тьмы» была написана Толстым вскоре после его свидания в тюрьме с Ефремом Колосковым. В приложении к статье напечатаны копии обвинительного акта и приговора по делу Колосковых. В четвертый раз Н. В. Давыдов бегло о деле Колоскова по связи его с «Властью тьмы» говорит в статье «Письма Л. Н. Толстого к Н. В. Давыдову», напечатанной в сборнике «Толстой. Памятники творчества и жизни», 2, М. 1920, стр. 43. В первой и четвертой статье Давыдов говорит о том, что дело Колосковых было прочитано Толстым, во второй и третьей статьях сказано лишь, что Давыдов подробно ознакомил Толстого с обстоятельствами дела, причем во второй статье добавлено, что тогда же Толстой записал содержание дела.

Подлинное дело Тульского окружного суда о Колосковых (на 19 листах, начато 28 апреля 1880 г., окончено 2 апреля 1881 г.) хранится ныне в Центрархиве РСФСР за № 582.

5

Н. Ракшанин, «Беседа с графом Л. Н. Толстым (Впечатления)». — «Новости и биржевая газета» 1896 г., № 9 от 9 января. Беседа эта была вызвана появившейся в «Петербургской газете», 1896 г. № 2, от 3 января, заметкой «Идея Власти тьмы». В этой заметке сотрудник газеты в ироническом тоне сообщил сделанное ему основательницей бывшего Пушкинского театра в Москве А. А. Бренко сенсационное заявление, будто источником пьесы Толстого послужила ее собственная пьеса «Дотаевцы», которую она лет двенадцать назад читала Толстому, очень сочувственно ее принявшему. В беседе с Ракшаниным Толстой, не отрицая факта прослушанья им пьесы «Дотаевцы» из уст Бренко, опроверг ее домыслы ссылкой на подлинное дело, легшее в основу «Власти тьмы».

6

А. Стахович, «Клочки воспоминаний («Власть тьмы», драма Л. Н. Толстого)», ТЕ, 1912, стр. 27.

7

Д. Маковицкий, «Яснополянские записки. 1904—1910 годы». Редактировал Н. Н. Гусев. Выпуск второй. М. 1923, стр. 43.

8

«Дневник Софьи Андреевны Толстой 1860—1891», изд. Сабашниковых. М. 1928, стр. 131—134. В отрывке из своих воспоминаний «Моя жизнь», напечатанном в ТЕ, 1912, стр. 17, написание 1-го действия драмы С. А. Толстой датируется 20-м октября.

9

«Дневники С. А. Толстой», стр. 135.

10

Там же, стр. 135.

11

«Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге», Переписка, изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 83.

12

ТЕ, 1912, стр. 27—28. См. об этом и письмо Толстого к жене от начала ноября 1887 г. «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.», изд. 2, М. 1915, стр. 302.

13

Том 85 настоящего издания, стр. 410—411.

14

Там же, стр. 416.

15

Там же, стр. 422.

16

Цитируем заключение прокурора суда об освобождении Елены от обвинения, утвержденное судебной палатой, по подлинному делу Колосковых, л 7.

17

Там же, л. 7.

18

«Из прошлого», стр. 287.

19

«Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборник второй. Редакция В. Г. Черткова и Н. Н. Гусева, М. 1926, стр. 88. В Дневнике 1881 г. Толстой отмечает целый ряд своих встреч с проходившими через Ясную поляну отставными солдатами. Возможно, что именно в это время он встретился с солдатом, который послужил прототипом Митрича. Уже после написания драмы Толстой 13 января 1887 года писал жене из имения Олсуфьевых Никольского, где он гостил: «Нынче много ходил гулять — в караулке, в лесу, нашел солдата — Митрича живого» (ПЖ, стр. 305).

20

И. Тенеромо (И. Б. Фейнерман), свидетель весьма недостоверный, в своих воспоминаниях о Толстом также дает несколько указаний относительно прототипов «Власти тьмы». В заметке „Как создавалась «Власть тьмы»“, напечатанной в его книге «Живые речи Л. Н. Толстого», Одесса, 1908, стр. 151—156, Тенеромо передает рассказ крестьянина, которого направил к нему Толстой. Крестьянин заикающейся и заплетающейся речью якобы рассказал о том, что его сын Никифор, служивший на станции Козловка, сойдясь с кухаркой Мариной, которая после этого забеременела, отказывается на ней жениться. Девушка покушалась на самоубийство, но Никифор всё-таки упорствует. В тот же вечер, по словам Тенеромо, Толстой вместе с ним поехал в Козловку, чтобы усовестить парня. Дорогой Лев Николаевич с похвалой отзывался о крестьянине и об его манере говорить и вспомнил другую свою встречу с таким же богобоязненным и мягким стариком — крестьянином, работавшим золотарем в Туле и говорившим тоже заплетающейся речью, с добавками «тае, тае». Через месяц отец Никифора якобы вновь был у Толстого с известием, что свадьба сына с Мариной налаживается. Он привел с собой и свою жену старуху, которая восхитила Толстого своим языком, переполненным колоритными ругательствами и похожим на язык яснополянской крестьянки Надежды Зубастой, жены крестьянина Константина. Она была против женитьбы своего сына на Марине. Около того же времени (дело было весной или в начале лета 1886 г.) Давыдов, по словам якобы самого Толстого, рассказал ему о деле Колосковых. Всеми этими впечатлениями подсказаны были образы

Акима, Никиты, Матрены и Марины в драме, написанной через несколько месяцев после этого. Во второй редакции заметки, напечатанной под тем же заглавием в книге «Живые слова Л. Н. Толстого», М. 1912, стр. 239—241, факты переданы не совсем так как в первой редакции. Соблазнитель Марины

называется не Никифор, а Иван, о старике-золотаре, говорящем с прибавкой «тае», ничего не говорится, и «тае» усваивается отцу соблазнителя. Ничего не говорится и о приходе к Толстому матери Никифора — Ивана, и из изложения явствует, что не она послужила прототипомМатрены, а Надежда Зубастая. Толстой, оказывается, ездил в Козловку для увещевания соблазнителя Марины не один раз, а два — второй раз с Н. Н. Ге. Иначе во второй редакции заметки звучат и речи крестьян.

Уже эта противоречивость в изложении одних и тех же фактов не позволяет полагаться на сообщения Тенеромо, так же как и на его передачу мыслей Толстого о существе драматического произведения и о процессе работы над «Властью тьмы», приведенную Тенеромо еще в третьем варианте — заметке «О театре», напечатанной первоначально в его же книжке «Живые речи Л. Н. Толстого», Спб. 1909, стр. 39—41. Но и помимо этого, мы располагаем характеристикой упоминаемой Тенеромо Надежды Зябревой (по прозвищу Зубастой), данной самим Толстым в «Записках христианина» и в дневнике 1881 г. (см. т. 49 настоящего издания), совершенно несходной стой, какую дает Тенеромо, и не дающей никаких оснований видеть в этой крестьянке прототип Матрены.

В заметке «Старого литератора» (псевдоним П. А. Сергеенко) „Лев Толстой и «Власть тьмы»“, напечатанной в № 2 журнала «Рампа» за 1908 г., стр. 22—23, передаются сведения о прототипах «Власти тьмы», очевидно, основанные на заметке Тенеромо.

21

«Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», стр. 94.

22

Том 85 настоящего издания, стр. 421.

23

Кн. Д. Оболенский. «О «Власти тьмы» гр. Л. Н. Толстого». — «Русское слово», № 212 от 13 сентября 1908 г. В фельетоне Г. Н. «Московские впечатления заезжего петербуржца», напечатанном в № 18 «С.-Петербургских ведомостей» от 18 января 1887 г., сообщалось о том, что драма Толстого, первоначально представленная в московскую цензуру без имени автора, была запрещена для печати в виду её «скабрезности и отсутствия всякой литературности». Это сообщение было перепечатано со ссылкой на «С.-Петербургские ведомости» в № 4 «Недели» за тот же год.

24

«Ежегодник императорских театров» сезон 1895—1896 г. Спб., 1897, стр. 139.

25

«Воспоминания С. А. Толстой». ТЕ, 1912, стр. 18.

26

ПЖ, стр. 303.

27

А. А. Стахович в письме к Толстому от 4 января 1887 г. писал о своём чтении драмы у гр. Е. И. Шуваловой (АТБ).

28

А. С. Суворин в № 3898 газеты «Новое время» от 5 января 1887 г. поместил статью «По поводу драмы Л. Н. Толстого», в которой он, на основании знакомства с драмой по рукописи, дает ей очень высокую оценку.

29

ТЕ, 1913, стр. 42—43.

30

В связи с чтением драмы у А. А. Толстой Лев Николаевич писал ей в январе 1887 г.: «Узнал, что вы — несчастная — слушаете моё ужасное сочинение. Право, это не слова: я истинно считаю это сочинение вовсе не заслуживающим тех разговоров, которые о ней идут в вашем обществе. Надеюсь, что она (пьеса) будет полезна для тех. для «большого света», для которого я писал ее, но вам она совсем не нужна». ПТ, стр. 346.

31

ТЕ, 1912, стр. 43.

32

Там же, стр. 43.

33

Там же, стр. 44.

34

Об этом извещал Черткова Толстой в письме от 21 января 1887 г. (ГТМ—АЧ).

35

«См. «Правительственный вестник» 1887 г., № 46 от 1 марта. «Список изданий, вышедших в России с 1 по 8 февраля 1887 г.».

36

Там же, № 51 от 8 марта. «Список изданий, вышедших в России с 9 по 15 февраля 1887 г.».

37

Там же, № 56 от 16 марта. «Список изданий, вышедших в России с 16 по 21 февраля 1887 г.».

38

Там же, № 64 от 24 марта. «Список изданий, вышедших в России с 1 по 8 марта 1887 г.».

39

Там же, № 57 от 15 марта. «Список изданий, вышедших в России с 24 по 28 февраля 1887 г.».

Это издание в «Правительственном вестнике» не зарегистрировано.

41

«Правительственный вестник» 1887 г., №№ 82 от 19 апреля и 88 от 26 апреля. «Список изданий, вышедших в России с 16 по 23 марта и с 24 по 31 марта 1887 г.».

42

«Правительственный вестник» 1887 г., № 104 от 20 мая. «Список изданий, вышедших в России с 16 по 23 апреля 1886 г.».

43

Подчеркнуто Толстым.

44

ТЕ, 1913, стр. 49.

45

Цензурная история «Власти тьмы» изложена в статье Ф. Раскольникова «Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга (По неопубликованным архивным материалам)». — «Красная новь» 1928, № 11, стр. 135—139.

46

Письмо А. А. Стаховича хранится в АТБ и частично напечатано с ошибочной датой 11 ноября 1886 г. в приложении к статье «Клочки воспоминаний», ТЕ, 1912, стр. 39—44.

47

«К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки». Том I. Novum regnum. Гос. издат. М. — Пгр. 1923, стр. 687.

48

«Письма Победоносцева к Александру III»: — «Новая Москва» 1926, стр. 130—134. Курсивом напечатано — подчеркнутое Победоносцевым.

49

«К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, стр. 643.

50

Е. М. Феоктистов, «За кулисами политики и литературы», изд. «Прибой». Л. 1929, стр. 283.

51

«К. П. Победоносцев и его корреспонденты», т. I, стр. 687.

52

Сам Толстой в ответ на запрос актера Александринского театра П. М. Свободина от 5 марта 1887 г. сделал подробные указания, как нужно играть роль Акима.

(Письмо Толстого напечатано в заметке А. С. Полякова «К истории постановки «Власти тьмы». — «Бирюч петроградских государственных театров». Июнь — август, Пгр. 1919, стр. 149.) О репетициях «Власти тьмы» в Александринском театре в 1887 г. см. заметки в «Новом времени», 1887, №№ 3938, 3947, 3949, 3975, в «Еженедельном обозрении», 1887, № 168, и в «Театральном мирке», 1887, № 8.

53

«ТТ, 2, стр. 51.

54

«Красный архив» 1922, I, стр. 417.

55

«Московские церковные ведомости» 1887, № 18 от 3 мая.

56

Ф. Раскольников. Указ. статья, стр. 138.

57

См. В. Давыдов, «Из воспоминаний актера». — «Международный толстовский альманах», составленный П. Сергеенко. Издательство «Книга». М. 1909, стр. 42—47.

58

См. «Первая постановка «Власти тьмы» на любительской сцене в 1890 г. (Из воспоминаний А. В. Приселкова)». — «Ежегодник императорских театров», 1909, в. I, стр. 29 и след.

59

Около того же времени, в августе 1895 г., А. С. Суворин, бывший председателем литературно-артистического кружка, обратился непосредственно к Толстому с просьбой приспособить (видимо, цензурно) «Власть тьмы» к постановке на сцене. См. запись в дневнике С. И. Танеева от 3 августа 1895 г. «С. И. Танеев. Личность, творчество, документы его жизни». Гос. издат. М. 1925, стр. 61. Письмо Суворина в архиве Толстого не сохранилось. Ответ Толстого на это обращение нам неизвестен.

60

См. П. Гнедич, «Из старой записной книжки. «Власть тьмы» и цензура». — «Бирюч петроградских императорских театров», 1918, 4, стр. 62—64. Его же, «Книга жизни. Воспоминания 1855—1918», изд. «Прибой». Л. 1929, стр. 228—229. Ф. Раскольников. Указ. статья, стр. 138—139.

61

См. Е. М., «Власть тьмы» на сцене народного театра». — «Бирюч петроградских театров», 1918, 3, стр. 32—34. А. Поляков. Указ. заметка, стр. 150. Литературу о других постановках «Власти тьмы» в Петербурге, Москве и в провинции см. в книгах Ю. Битовта «Граф Л. Н. Толстой в литературе и искусстве». М. 1903, стр. 293—299, и С. Балухатого и О. Писемской «Справочник по Толстому», Гос. издат. М. — Л. 1928, стр. 110—112. В связи с постановкой пьесы в московском Малом театре к Толстому в Ясную поляну 4 ноября 1895 г. ездили за указаниями художник-декоратор К. Ф. Вальц и режиссер театра С. А. Черневский, а затем вскоре помощник Вальца. Об этом Толстой записывает в дневнике: «Были режиссер и декоратор» (запись 5 ноября) и «Был помощник Вальца» (запись 7 ноября). Как сообщает К. Ф. Вальц, Толстой «входил до мелочей во всё, касающееся постановки, обсуждая каждую ничтожную подробность». «Лев Николаевич, например, потребовал, — продолжает К. Ф. Вальц, — чтобы постановка была сделана не только вообще верно, но и этнографически верно, чтобы декорации дали не только деревню, но именно деревню Тульской губернии». Под руководством дочерей Толстого приехавшими были закуплены образцы одежды и предметов домашнего обихода крестьян Тульской губернии. См. «Литературное обозрение» 1895 г., № 47, стр. 1316—1318. В связи с этой же постановкой Толстой, видимо, на репетиции «Власти тьмы» в московском Малом театре (см. запись в дневнике от 7 декабря, после трехнедельного перерыва: „За это время был в театре на репетициях «Власти тьмы»“) беседовали с артистами, дав обстоятельное истолкование главных ролей пьесы и указав, как, по его мнению, их нужно играть. См. «Курьер торговли и промышленности» 1895 г., № 343, от 14 декабря.

62

Ф. Раскольников. Указ. статья, стр. 139.

63

См. Н. Н. Апостолов, «Лев Толстой и русское самодержавие». Гос. издат. М.—Л. 1930, стр. 88—90.

64

А. Поляков. Указ. заметка, стр. 150.

65

Явная описка: следует 1886.

1

[Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.]

2

[Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне это письмо и потом...]

3

Сверху приписано и не зачеркнуто: Бутенев

4

[Надеюсь, что я не нарушаю приказа.]

5

[вы всегда желанный гость.]

6

[Он околдован, положительно околдован.]

7

[Всё это отвратительно.]

8

[Душевная близость их уже не удовлетворяет.]

9

[Она меня просила, когда я смогу, принять ее.]

10

[Как бы он ни был виноват перед нею,]

11

[Если она могла очаровать до такой степени,]

12

[Это — считать без хозяина.]

13

[Но это выше моих сил.]

14

[ты совершеннолетний,]

15

[с глазу на глаз.]

16

[Это будет зависеть...]

17

[Здороваются за руку.]

18

[пусть господь бог их благословит.]

19

[щепетильным.]

20

[Это я посторонний.]

21

[свидание.]

22

[Это удивительно, как он его любит, совершенно как своего отца.]

23

[Тем лучше. Помнит ли он своего настоящего отца?]

24

[Что ни говори, поступок прекрасен...]

25

В подлиннике: Маша

26

В рукописи ошибочно: В двоеженстве.

27

Зачеркнуто: Он говорит о любви-дружбе. Ему ничего больше не нужно. Приходит полицейский с известием, что найден труп, и просит прийти смотреть.

28

В рукописи описка: Кар[енин]

29

Зач.: Общий ужас.

30

Содержание двух картин действия 5 (картины 9 и 10 по окончательной нумерации) внесено в текст конспекта Толстым позднее, но цифры последующих действий остались неисправленными. Цифры, стоящие после обозначения картин в скобках, были вписаны Толстым позднее и означают порядок картин. Последние четыре цифры (11, 12, 13, 14) исправленыиз цифр 9, 10, 11, 12, очевидно, после включения картин нового действия 5.

31

[это секрет полишинеля.]

32

[преходящее увлечение.]

33

Зачеркнуто: Мальцев.

34

[свидание]

35

Зачеркнуто: весь ужас сво

36

[тем больше оснований]

37

[Будем считать мои слова как бы несказанными,]

38

[Я уполномочена на это.]

39

Зачеркнуто: Он пропал. Те следы, которые мы имеем только через извощика, указывают на то, что он у цыган.

40

[переверну небо и землю]

41

Зачеркнуто: *И*в[ушку]

42

[Мне нужно тебе сказать без свидетелей.]

43

[Я только что от вас. Твоя жена меня послала.]

44

[Надеюсь, что я не нарушаю запрета.]

45

[вы всегда желанный гость.]

46

[Он околдован, положительно околдован.]

47

[Всё это отвратительно.]

48

[душевной близости им уже недостаточно, они хотят обладания.]

49

[очаровать до такой степени,]

50

[Это — рассчитывать без хозяина.]

51

[Но это выше моих сил.]

52

[с глазу на глаз.]

53

[Это будет зависеть...]

54

[Рукопожатие.]

55

Зачеркнуто: вместе готовил[ся]

56

Несколько ниже написано: (Очень всё скверно.) *Запись эта может означать и оценку Толстым написанного, и тему следующей картины.*

57

Зачеркнуто: и Афросимов

58

Зачеркнуто: ли, цыганоч[ка]

59

Зачеркнуто: А, она, зови. Вот опять пришла.

60

Зач.: ты ужасно

61

Зачеркнуто: Споем

62

[тем больше оснований]

63

[будем считать мои слова как бы несказанными,]

64

[Прошу вас верить, что я уполномочена.]

65

[Я бы хотел поговорить без свидетелей.]

66

[Я только что от вас. Твоя жена меня послала с этим письмом и затем...]

67

Зачеркнуто: Как пожалеть-то? Может я ее обуза.

68

Зачеркнуто:

Федя.

Да ты уже выпил?

Афросимов.

Выпил, не выпил, всё равно, только я по делу, не один. Ты знаешь кто со мной? ждет внизу. А, удивил. Ха-ха-ха!

69

[Послушай, дорогой.]

70

[приличие]

71

[ради детей.]

72

[скандал,]

73

[жить и жить давать другим.]

74

Зачеркнуто:

Афросимов.

А там к тебе Маша пришла.

Федя.

Какая Маша?

Афросимов.

Соколова, цыганка.

Федя.

Врешь?

Афросимов.

Да, да. «Ну что же, — говорит, — убегу из хора, ничего мне не нужно. Только Федор Васильевича люблю. И знать ничего не хочу».

75

Зачеркнуто: 30-летиий человек

76

Зач.: говорящий вдумчиво и приятно внушительно.

77

Сбоку основного текста приписано:

Она боится, что это значит полный разрыв. Я бы рада была, а она мучается. Положим, надо решительно узнать.

78

[просьба]

79

[При том, как это идет.]

80

[Я бы его поймала на слове.]

81

Зачеркнуто: Саша и Анна Павловна сидят за чаем в столовой.

82

Зачеркнуто: [Саша.] Что Лиза решила разорвать с ним — это ее дело...

83

Зачеркнуто: И теперь я так рада, что, наконец, она покончила. Разумеется, ей будет тяжело, но что же делать? Всё лучше отрезать больной член, чем мучаться всю жизнь. Теперь, слава богу.

84

Зачеркнуто: чего не ожидала. Поди, Саша, скажи ей.

Горничная. А еще извощик Турецкий приехал. Тоже велел барыне доложить.

Анна Павловна. Какой извощик?

Горничная. Он барина, Федора Васильевича вози[т], так за ним тоже барыня посылала.

85

Зач.: она хочет все-таки, как бы сказать, не то, что намекнуть, а сблизиться теперь...

86

Зачеркнуто: Она переживает.

Зач.: И сочувствие друзей нужно больше, чем когда-нибудь, а вы

такой давнишний друг детства.

Каренин. Да, я знаю. И мне очень жалко обоих. Как мы ни раз

личны по нашим вкусам, я не могу не любить Федю.

Анна Павловна. Да, есть-таки люди, которые никому ни на что не нужны, и все их любят. Но вы знаете, что

88

Зач.: Анна Павловна. Как же, нынче утром от него явился посланный, оказывается, был у цыган и прислал записку.

89

Зачеркнуто: послала ему письмо, в котором требует своей свободы, и он согласился.

90

Зач.: Весь вопрос в том, насколько любовь Лиз[аветы] Ал[ександровны] сильна к нему. Любовь, если она настоящая, нельзя вырвать из сердца.

91

Зач.: и наконец узнали, что он кутит с приятелями, с цыганами.

92

Зачеркнуто: только бы он вернулся.

93

Зач.: но где именно он?

Лиза. Я узнала всё от извощика, который видел его, и извощик этот тут. Он и свезет вас.

94

Зачеркнуто: [Лиза.] Он у Афр. Знаете?
[Каренин.] Знаю.

95

Зачеркнуто: Каренин *(садится в кресло и берет руку подошедшей жены и целует ее).* Знаешь, я, когда был [студентом], то у меня были мечты — вот эти самые, что <мы> я на балконе. Мама сидит и вяжет — да, вяжет...

96

В рукописи: Васи.

97

Зачеркнуто: А теперь раскаиваетесь?

Лиза.

Да.

98

Часть фразы после слова «опять», *видимо, по ошибке зачеркнута Толстым.*

99

См. Н. В. Давыдов, «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» — «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», книгоиздательство «Златоцвет», М. 1911, стр. 25—28; А. Ф. Кони, «Живой труп» в действительности» — «Ежегодник императорских театров» 1911, выпуск VI, стр. 13—23. См. также т. 54, стр. 443—445.

100

Письма Е. А. Симон к Толстому хранятся в ГМТ.

101

Статья «о безверии».

102

Так называл Толстой «Живой труп» в отличие от другой своей драмы — «И свет во тьме светит».

103

См. об этом же в книге П. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», изд. 2-е, М. 1903, стр. 77—78.

104

«И свет во тьме светит».

105

Толстой в декабре 1900 г. говорил П. А. Сергеенко о судебном процессе, ставшем сюжетом его драмы «Живой труп», как о «готовом, чисто мопассановском рассказе»: «Для какого-нибудь молодого писателя это настоящая находка» (П. Сергеенко, «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», изд. 2-е, М. 1903, стр. 77—78).

1

В рукописи описка: снегу.

2

Зачеркнуто: с молоду попал в ямщики и отвык от

3

Зач.: Действительно, в то самое время, как Вас[илий] Андр[еич] выходил из сеней, ветер как будто рванулся, усиливаясь, и погнал снег не только с крыши, но и с дороги. Сверху снегу не было, но было морозно и мело.

4

Зач.: каким он всегда бывал с первых рюмок.

5

Зачеркнуто: — Право возьми, — упрямо, как дувший ветер, повторяла хозяйка, перекутывая на другую сторону платок.

6

Зачеркнуто: <присев на корточках за санями закрываясь полою шубы

7

Зач.: Он надеялся, что папироска разгонит этот страх, но папироска не разгоралась.

8

Зачеркнуто: Я велел ехать. Тоже старался. И вдруг мысль о Никите привлекла его. Он стал вспоминать, как он нанял его, как он служил ему, выхаживал жеребенка, как он мальчишку его ласкал. «Мужик смирный! Кабы не я, не замерз бы.

9

Зач.: И ему стало жалко Никиту.

10

Зачеркнуто: Ему казалось, что пора бы ей спускаться в овраг, но она не спускалась. «Не завезла бы она его куда прочь от саней».

11

Зач.: Лошадь охотно шла по ветру.

12

Зачеркнуто: А новое было скорее приятно.

13

Зач.: чувствуя себя одинаково готовым к тому, заснуть и проснуться на том свете, или заснуть и проснуться еще на этом и опять кормить лошадей, возить воду, чистить навоз, и ездить на мельницу и в город, и отсылать деньги жене. Он

14

Зачеркнуто: Он слышал, что В[асилий] А[ндреич] отвязывал лошадь и влезал на нее, но когда сани покачнулись набок от ставшего на их край В[асилия] А[ндреича], его толконуло задком, засыпало снегом и расстроило его сиденье. Улегшись, снег обсыпал его, и задок саней отдалился от его спины и концом полоза его ударило в бок. Никита с трудом встал и почувствовал мучительный холод и хотел тотчас же опять лечь.

15

Зачеркнуто: Я-то жив, да и в шубах. А человек помирает. И ему вдруг жалко стало Никиту, вспоминая, как он не дал ему веретья. И ему так захотелось спасти, согреть Никиту, что он не думал ни

16

Зачеркнуто: и сам заснул

17

Е. И. Раевская, «Лев Николаевич Толстой среди голодающих» — «Летописи Государственного литературного музея», кн. 2, М. 1938, стр. 400.

18

Т. 52, стр. 137.

19

Т. 84, стр. 221.

20

Т. 52, стр. 141.

21

Т. 84, стр. 224.

22

Т. 52, стр. 157.

23

Т. 53, стр. 3.

24

T. 68.

25

Там же.

26

Там же.

27

Там же.

28

T. 68

29

«Воспоминания» Е. И. Раевской, стр. 191, запись от 11 марта 1895 г. — ГМТ.

30

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 66—67.

31

Т. 66, стр. 224.

32

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 293—294.

33

Т. 52, стр. 43.

34

Письмо к Н. С. Лескову от 4 июля 1891 г. — т. 66, стр. 12.

35

Т. 66, стр. 81.

36

Газета «Московские ведомости», перепечатав в 1892 году отрывок из этой статьи в переводе с английской публикации, назвала ее «Письма о голоде», очевидно приняв статью за цикл писем, посланных Толстым в иностранные газеты. Под этим произвольным названием статья перепечатывалась в последующих изданиях. В настоящем томе восстанавливается подлинное название статьи.

37

Статья «Голод или не голод?» была написана в 1898 году, когда в России снова разразился голод и Толстой, как и в 1891—1893 годах, принимал участие в помощи голодающим. Она чрезвычайно тесно связана тематически со статьями о голоде 1891—1893 годов, поэтому помещается в настоящем томе.

38

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

39

В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 67.

40

Несомненно, что в непосредственной связи с мыслями и переживаниями Толстого во время голода находится тот факт, что он принялся в 1894 году, после длительного перерыва, за обработку легенды о Петре Хлебнике.

41

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 231.

42

В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 216—217.

43

В. Н. Ламздорф, Дневник, изд. «Academia», М. — Л. 1934, стр. 261.

44

Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, М. — Л. 1936, стр. 465.

45

Т. 84, стр. 128.

46

С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому, М. — Л. 1936, стр. 468.

47

Т. 84, стр. 104.

48

Т. 53, стр. 69.

49

См. в наст. томе историю писания и печатания «Хозяина и работника».

50

Т. 53, стр. 317.

51

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 180.

52

См. наст. том, стр. 304.

53

Ярким доказательством этого служит творческая история романа «Воскресение». В конце романа Толстой приводит Нехлюдова, как и Брехунова, к нравственному «воскресению» и заявляет, что с этого момента началась у Нехлюдова иная, новая жизнь. Однако позднее, когда Толстой задумал продолжение «Воскресения» — о «крестьянской жизни» Нехлюдова, он так наметил в Дневнике 1904 года план этой своей работы: «...Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне робинзоновской общины» (т. 55, стр. 66).

54

Из письма Л. Н. Толстого В. Г. Черткову от 24 апреля 1890 г. — т. 87, стр. 24.

55

Т. 51, стр. 57.

56

T. 68.

57

Л. Н. Толстой, «Предисловие к сборнику «Цветник» — т. 26, стр. 308.

58

См. т. 30.

59

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 185.

60

Там же, т. 16, стр. 296.

1

Слово: полу *зачеркнуто, по ошибке.*

2

В подлиннике слово: край *по ошибке зачеркнуто.*

3

На другой строке написано и не зачеркнуто: двойню.

4

Переделано из: Раздвинулся.

5

На поле приписано: особо.

6

Ошибочно не зачеркнуто: увидалъ человѣкъ

7

На поле заметка: Разсказъ о смерти и о сиротахъ [?].

8

Дальше по ошибке написано: не.

9

В рукописи не зачеркнуто по ошибке: а

10

По ошибке повторено: показано людям.

11

В рукописи вырвано.

12

В рукописи по ошибке не зачеркнуто: тѣмъ

13

В рукописи оторвано.

14

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого в Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва).

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Рукописное отделение (Москва).

ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва).

ГТМ — Государственный Толстовский Музей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград).

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862 — 1910», изд. второе. М. 1915.

ТЕ, 1913 — Толстовский ежегодник 1913 г.

———

15

Из доклада П. К. Симоки в заседании Русского географического общества, Отделение этнографии, 28 апреля 1917 г. — «О Е. В. Барсове по случаю его смерти» (2стр.).

16

«Письма Толстого к жене». М. 1915, стр. 253.

17

И. Толстой, «Мои воспоминания», М. 1914, стр. 103—104.

1

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого в Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва).

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Рукописное отделение (Москва).

ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва).

ГТМ — Государственный Толстовский Музей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград).

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862 — 1910», изд. второе. М. 1915.

ТЕ, 1913 — Толстовский ежегодник 1913 г.

———

2

«Отечественные записки» 1864, т. 152.

3

Г. З. Кунцевич, «Три старца» Л. Н. Толстого и «Сказание о явлениях Августину» (Историко-литературный сборник, посвящ. Вс. И. Срезневскому), Л. 1924, стр. 201—296.

4

Бирюков, П. И. Л. Н. Толстой. Биография. Изд. 3, т. 2, стр. 122.

5

В. И. Срезневский «Язык и легенда в записях Л. Н. Толстого» (Ф. С. Ольденбург, к пятидесятилетию научно-общественной деятельности 1882—1932, Сборник статей, стр 476).

6

Толстовский ежегодник 1913 года. П. 1914. II. 25, 2 пр. т. 85, стр. 229.

7

См. «Русские сказки и песни в Сибири и др. материалы». Красноярск, 1902, под редакцией Потанина.

1

[— Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая...
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты?]

2

[— Это ценная вещь,]

3

[— Надо будет найти случай отдарить его,]

4

[— Вот случай. Подари ему часы,]

5

[— Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу.]

6

[— Превосходные, милый друг. Семену повезло.]

7

[— Какой ужас!]

8

[— На войне как на войне.]

9

[— Все это благодаря вам,]

10

[— У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ. Но всё хорошо, что хорошо кончается,]

11

[выскочка,]

12

[— Император?]

13

[— Его величество только что вернулись,]

14

[— Здесь кто-то есть,]

15

[— Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран.]

16

[— Вы говорите, Польша,

— О, да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения...]

17

Пункт 12 в подлиннике пропущен.

18

В подлиннике вместо 118 *ошибочно написано* 108, *далее вся нумерация продолжается, исходя от этой цифры.*

19

Зачеркнуто: Пор

20

Зачеркнуто: муталим

21

Зач.: 32-й год. Его жизнь во дворце ханов, дружба с Омар-ханом — охота.

22

Зач.: Услышит человека, который заповедует ему Хазават.

23

Зач.: Ослабление нравствен[ное]

24

Зачеркнуто: Добродушное заступничество за казнимых.

25

Зач.: Ам

26

Фраза не окончена.

27

Зач.: 41

28

Зач.: сражение.

29

Зач.: Убийство мюрида

30

Зач.: Набеги.

31

Зач.: наб[еги]

32

Пункт 12 в подлиннике пропущен.

33

Зачеркнуто: скос[или]

34

Зач.: медовые

35

Зач.: прелестные

36

Зач.: на ве[чернем]

37

Зач.: работы

38

Зач.: нежным

39

Зач.: запахом

40

Зач.: всегда набираю букеты

41

Зач.: возвращался домой

42

Зач.: репей

43

Зач.: Я захотел

44

Зач.: он

45

Зачеркнуто: уви[дел]

46

Зач.: уже не по полям, а по

47

Зач.: Поле б[ыло]

48

Зач.: пыль[ной]

49

Зач.: Вез[де]

50

Зач.: Нич[его]

51

Зач.: растень[ица]

52

Зач.: всё было распахнуто. Вдруг

53

Зач.: Вдруг с кр[аю]

54

Зач.: нев[ольно]

55

Зач.: живо[й]

56

Слово: человек *в подлиннике пропущено, в копии вставлено.*

57

Слово: уничтожил *в подлиннике пропущено*, *в копии вставлено.*

58

Зач.: На двух

59

Зач.: поду[мал]

60

Зач.: цветы

61

Зачеркнуто: с своими

62

Зач.: <лилов> окрашенными тычинками.

63

Зач.: руки чел <оторв>

64

Зач.: Кр[угом]

65

Зач.: и событие с человеко[м]

66

Зач.: как это было

67

Зач.: лево[го фланга]

68

Зач.: это часто бывает у без[детных]

69

Зач.: они как голубки жили

70

Зач.: он

71

Зач.: прекрасную

72

Зач.: стра <кот. и жила только для своего Ив. Матв.>

73

Зач.: прок[уренного]

74

Зач.: сухощавого

75

Зач.: не отк

76

Зач.: одного

77

Зачеркнуто: пошла было будить

78

Зач.: будить спавшего еще со вчерашней попойки

79

Зач.: к мужу

80

Зач.: но любопытство

81

Зач.: ру[кава]

82

Зач.: пошла

83

Зач.: оправляя

84

Зач.: Д[ругой] <не так, как надо>

85

Зач.: хорошей

86

Зач.: с погончиками офицер

87

Зач.: заломленной назад

88

Зач.: ста[тный]

89

Зач.: планк

90

Зач.: Он

91

Зач.: твердый

92

Зач.: отвер[нулся]

93

Зач.: отве[рнулась]

94

Зачеркнуто: «Кто это был такой?» подумала она.

95

Зач.: этот

96

Зач.: отв[етила]

97

Зач.: кот. по приказанию Главнокоманд. приехал в Чечню, чтобы узнать о своем семействе.

98

Зач.: продолжал что-то поправлять в ремешке

99

Зач.: по-чеченски на

100

Зач.: татар[ски]

101

Зач.: пристав

102

Зач.: Недавно он

103

Зач.: и моло[дец]

104

Зач.: выдать

105

Многоточие в подлиннике.

106

Зач.: и од[нажды]

107

Зач.: скажу. Он спит, он не совсем здоров

108

Зач.: отдам

109

Зач.: еще более

110

Зач.: назад в дом

111

Зач.: Но Ив. Матв. уже проснулся.

112

Зачеркнуто: Разве он тут?
— Тут, дожидаются верхом, то-то я тороплюсь.

113

Зач.: Удерет. А ведь удерет

114

Зач.: М. Д.

115

Зач.: сам

116

Зач.: с во[просом]

117

Зачеркнуто: но как умный дельный офицер

118

Зач.: и то, что

119

Зач.: ходил по

120

Зач.: как

121

Зач.: выставив

122

Зач.: красный

123

Зач.: огро[мным]

124

Зач.: на голове

125

Многоточие в подлиннике.

126

Зачеркнуто: девка

127

Зач.: улыбнулся детской радостной умиленной улыбкой

128

Зач.: стало

129

Зач.: своего пистолета серебряный галун

130

Зач.: сломан[ную]

131

Зач.: он б[ыл]

132

Зач.: И с лошади еще раз простился, улыбнулся вче[рашней] улыбкой.

133

Многоточие в подлиннике.

134

Ошибочно не зачеркнуто: Была пора...

135

Зачеркнуто: Марья Дмитриевна варила лычу

136

Зач.: собирался в поход

137

Зач.: одна

138

Зач.: на самом повороте.

139

Зач.: вышла

140

Зач.: Вы что?

141

Зач.: — Боится, да что же

142

Зач.: Где Иван Матвеевич?

143

Зачеркнуто: переводят

144

Зач.: [лучше] не переводят, но

145

Зач.: кут[ят]

146

Зач.: вы виде[ли]

147

Зач.: мертвую

148

Зачеркнуто: Припадок

149

Зач.: это кончилось

150

Зач.: выслушала

151

Зач.: В молодости

152

В копии: Магома *исправлено* на Гамзат-Бека

153

В копии: Магома *исправлено* на Гам[зат]

154

Зач.: Но в

155

Зачеркнуто: Наде[ли]

156

В копии: Гам[зата]

157

В копии: Гамзат-Бек[а]

158

В подлиннике сначала было многоточие с знаком вопроса, затем написано: NN. *В копии эти буквы Т. Л. Толстая пропустила, Толстой вписал:* Шамиль.

159

В копии NN *пропущено.*

160

Зач.: И Хаджи-Мурат бежал к Шамилю.

161

Зач.: он

162

Зач.: слышал, что Шамиль хочет убить его

163

Зач.: вер[нуть]

164

Зач.: у подошвы <в горах>

165

Зач.: к себе

166

Зачеркнуто: помолившись

167

Зач.: ру[ками]

168

Зач.: свист

169

В подлиннике против строк, *начинающихся словами:* и стал молиться *и кончающихся словами:* но услыхал чмоканье *написано и обведено кружком:* Сакля дом. Ходит ли жена за водой?

170

Зач.: яст[ребов]

171

Зач.: в синих штанах и желтых чувяках

172

Зач.: Он

173

Зач.: папахе

174

Зач.: Солнце уж зашло за горы

175

Зач.: лицо

176

Зач.: Ма[гома]

177

В подлиннике по ошибке не зачеркнуто: руками. *Далее зачеркнуто:* высоко дал[еко]

178

Зач.: От усилия

179

Зач.: поднял ка[мень]

180

Зачеркнуто: высе[лена] ра

181

Зач.: На другой же день после то[го]

182

Зач.: на бе[ду]

183

Зач.: был

184

Зач.: хромую

185

Против этой фразы на полях написано: Погода. Бури

186

Против этой фразы на полях написано: <Дере[вья].> Есть ли деревья в Нухе

187

Зач.: Ме<ар> Му <Нагимом>

188

Зач.: он не зна[л]

189

Зач.: две

190

Против слов: лицемеру, обманщику, не ценившему его *на полях написано:* Чем обидел Ш[амиль]

191

Многоточие в подлиннике.

192

Против слов: и отделиться от Шамиля *на полях написано:* Подн[ять] авар[цев] че[м]

193

Зачеркнуто: Софедина

194

Зач.: Иок

195

Против этих слов на полях написано: Как утверж[дают]

196

Зач.: Один у него б[ыл] отстрелен

197

Зач.: был плешивый и без оружия, в штатском платье казался <пр> ничтожн[ым] человеко[м]

198

Зач.: инт[ригами]

199

Зач.: мне говорить

200

В подлиннике: Шт[атский]

201

В подлиннике: Шт[атскому]

202

Против этих слов на полях написано: Как призывают

203

Над словами: рукав черкески *вписано:* и потом

204

Зачеркнуто: пере[понял]

205

Зач.: уложив

206

Зач.: прося пос[корее] принять

207

Против данного абзаца на полях написано и обведено кружком: Как лазутчиков принимают

208

В подлиннике ошибочно: Ведени

209

Зач.: Верну

210

Зач.: достал два золотых монета, дал по одно[му] старику и тавлинцу и опять

211

Зач.: согну[тые]

212

Зач.: Верну[ться?]

213

Зач.: ястребом и смеющимся на крик сестры

214

Зачеркнуто: а заклевали его

215

Зач.: Но

216

Зач.: Но <По пуст[ь]>

217

Зач.: осле[пил]

218

В подлиннике: велеть.

219

Зач.: велел

220

Зач.: вынул кинжал

221

Зач.: злодейское

222

Зач.: зац

223

Зач.: думал

224

Зач.: в го[ры]

225

Зач.: сказал

226

Зач.: — Давай бешмет

227

Зач.: кинул

228

Зач.: Софедин [как]

229

Зачеркнуто: Это нужно. И

230

Зач.: зало[жив]

231

Зач.: Есть

232

Зач.: едем

233

Зач.: приготовь

234

Зач.: свое

235

Зач.: пре[жним]

236

Против этих слов на полях написано: Были ли винтовки

237

Зач.: так

238

Зач.: уже

239

Зач.: пот[янул.]

240

Зачеркнуто: молоды[х]

241

Зач.: которого все поднимали на смех

242

Зач.: За де

243

После слова: нукеры *в подлиннике ошибочно не зачеркнуто:* к[оторые]

244

Зач.: казак

245

Зач.: неоднократн[ые]

246

Зач.: Урядник

247

Зач.: Урядник опять

248

Зачеркнуто: но не успел выстрелить, как уже

249

Зач.: два чеченца

250

Зач.: кот[орые] добивали

251

Зач.: и снимали сум[ки]

252

Зач.: и собир[ался]

253

Зач.: них

254

Зач.: Он

255

Зач.: ждала

256

Против этих слов на полях написано: какой лес

257

Против этих слов на полях написано: Куда и куда дорога

258

Зачеркнуто: больше некуда б[ыло] и так и

259

Зач.: отыскивая

260

Против этой фразы на полях написано и обведено кружком: Видны ли горы

261

Зач.: сам

262

Зач.: Но

263

Многоточие в подлиннике. Против этой фразы на полях написано и обведено кружком: Какие места куда выведут

264

Зач.: Смотр <Софеди>

265

Исправлено из: 20

266

Зач.: милиционерами

267

Зачеркнуто: и

268

Зач.: Остановись, а то убью, — закричал Х.-М.

269

Зач.: Пока <Уходи назад, а то убью!> <Среди них> <они стояли и не знали, что делать. Смущение это продолжалось недолго> <Оче> Сзади подъехал начальник и раздался крик и <та> всадники тронулись

— Стойте здесь! — крикнул Х.-М.

270

Зач.: поворачиваясь к

271

Зач.: — Слезай! — крикнул он. *Против этой фразы на полях написано и обведено кружком:* Как по татарски слезай

272

Зач.: выним[ая]

273

Зач.: левой рукой по брюху

274

Зач.: и упала

275

Зач.: лошадь

276

Зач.: ружье

277

Зач.: Товарищи его расстелили

278

Зач.: Очеви[дно]

279

Зач.: труп[ам]

280

Зачеркнуто: в Хаджи-Мурата

281

Зач.: по <одна>

282

Зач.: ранила

283

Зач.: громко закричали <зав[изжали]>

284

Зач.: и соста <но пропал еще не Х.-М., а он почувствовал удар пулею под сердце>

285

Зач.: не переставая <ра>стрелял

286

Зач.: пу[ля]

287

Зач.: оглянулся

288

Зач.: Псы

289

Зач.: и кинжал бросился стал <стр[ашен]>

290

Зач.: заткнул

291

Зачеркнуто: и подбежавшие стали рубить его

292

Зач.: Шам[иль]

293

Зач.: крикнул

294

Зач.: Х[аджи]-М[урат]

295

Зач.: на левом фланге кавк[азской] линии, там, где шла война с горцами.

296

Зач.: фельдфебель 2-й роты Куринского полка, вернувшись от ротного <у которого он застал попойку и карты (так что ротный командир, красивый, всегда веселый, молодой, бывший гвардейский офицер, вышел к нему только на минутку)>, передал приказ по полку: выступать завтра до зари 2-й роте за Шахгиринские ворота с топорами и харчами на день.

297

Зач.: стоя перед

298

Зач.: утреннюю

299

Зач: и люди стали на молитву, как подошел сам Петрович, фельдфебель, три раза раненный, с тремя нашивками и двумя Георгиями.

Далее на полях написано и обведено кружком: где жили солдаты.

300

Зач.: и люди получив

301

Зачеркнуто: и стали расх[одиться]

302

Зач.: люди стали расходиться

303

Зач: — Ладно, — сказал старый Панов

Солнце только что зашло за горы и тотчас стало совсем темно. <Погода была тихая <свежая> и теплая для зимы.> В солдатских домиках зажглись огни. Погода была тихая и теплая для зимы. Старый ефрейтор пьяница Панов шел вместе с своими двумя сожителями: Кондаковым, молодым солдатом, и Никитиным, барабанщиком той же роты.

<Панов> усатый морщинистый старик <шел> <закуривает трубку> вскидывая плечом накинутый на плечи, не в рукава, полушубок <и не переставая ворчал>, он пошел к дому.

Кондаков, молодой малый с узкими плечами в узком полушубке, почтительно слушал и одобрительно качал головой.

Против слов: Старик ефрейтор пьяница Панов шел *на полях написано и обведено кружком:* Как живут солдаты?

Против слов: и Никитиным, барабанщиком той же роты *на полях написано и обведено кружком:* Пароль и лозунг.

304

Зач.: и проводить время

305

Против слов: Рубим, рубим... его оттель *на полях написано и обведено кружком:* секреты,

306

Зач.: Тебе зубья выбьет

307

Зач.: говорят

308

Зач.: ж спотыкаешься? — крикнул

309

Зач.: зацепившего ноги

310

Зач.: — Темно, <да и> А сапоги с ног ползут.

311

Зач.: так, не стоп[т]ал ли

312

Зач.: ползут. Я тебе говорил: возьми головки у Сидорова.
— Хоть последние отдай. Ты эти отдай.

313

Зач.: мужик, ходить не умеешь

314

Зачеркнуто: 8-й роты

315

Зач.: — Ему что ж, если вышел в чистую, Тихонов-то? — Да у него двое.

316

Зач.: Отслужил[ся] хоть бы на старости лет.

317

Зач.: Ну, да там видно будет.

318

Зач.: — А ты вот что, Ванюха, — обратился он к Кондакову. Поди-ка к Захватовой (это была солдатка, торговавшая вином) <принеси манерку. На, вот. Скажи: она у меня бра[ла], за нею три чарки были, чтоб она при несла нынче, а то я с нее шапку сниму> Принеси полштоф. Коли не даст, голенищи отдай. — Что ж, ладно, — сказал К[ондаков]

Кондаков взял манерку и пошел к Захватовой, а Панов разделся, разулся и стал растирать подвертки, ожидая водку.

Барабанщик же взялся за сапоги, которые он чинил.

Когда Кондаков вернулся, Панов <нал[ил]> выпил всю водку и <стал п> велел рассказывать Кондакову, как он жил с отцом в Рязанской губернии и как его провожали. <И К[ондаков]> И слушая его, плакал.

319

Зач.: Очень скоро после их вы[хода]

320

Зач.: свист

321

Зач.: — Мирнòй, своя

322

Зач.: На, веди к дежурному, — обратился Панов.

323

Зачеркнуто: 2. Ночь была тихая с маленьким морозцом, чуть стрельчато подернувшим лужи, и темная, звездная.

324

Зач.: недалеко от Ар[гунского] ущ[елья]

325

Зач.: Было уже поз[дно]

326

Зач.: только что окончил

327

Зач.: были здоровы

328

Зач.: ночью подъезжал верхом к Хад.

329

Зач.: недалеко от Ар[гунского] ущ[елья]

330

Зач.: Было уже поз[дно]

331

Зач.: только что окончил

332

Зач.: рядом с ним сидел

333

Зач.: и дорогам

334

Зачеркнуто: прислал

335

Зач.: Надо б[ежать?] И со всех сторо[н]

336

Зач.: к сакле кунака, взявшегося проводить его

337

Выпущен текст на 21/4 страницах (см. варианты №№ 3 и 4), обведенный чертой с припиской сбоку на полях в трех местах: пр[опустить]

338

На полях: какой аул близко?

339

Зачеркнуто: воспитанник и преданный

340

Зач.: Письмо, которое передал Кильяс-хан Ахты-Беку, было написано Хаджи-Муратом в этом лесу, где он остановился с своими четырьмя мюридами, из которого вот одного Кильяс-хана послал в аул Наурь к своему

341

Зачеркнуто: взялся за стремя, чтобы

342

Зач.: крикнул малого. Отворил дверь, ввел гостя.

343

Зач.: вышедшему из-за угла, повел гостя в <сак[лю]> <дом,>

344

Зач.: в саклю

345

Зач.: гость скинул бурку, хозяин <раз> почтительно приветствуя его, снял с него

346

Зач.: Только <когда> <гость>

347

Зач.: достав письмо из кармана бешмета, подал Таймасхану. <Становилось.> В сакле было темно, и дальнозоркие маленькие глаза Таймасхана плохо видели; он подошел к маленькому оконцу, в котором <стояла> лежала шерсть и, скинув шерсть, стал читать. Прочтя письмо, — оно было короткое, — Таймасхан обернулся к гостю и взяв

348

Зач.: хозяину

349

Зач.: Приехал от Хаджи-Мурата, который теперь был в лесу, 5 верстах от аула.

350

Зач.: Приехавший был Кильяс-хан, воспитанник и преданный друг <и покорный> <ра[б]> Хаджи-Мурата. <Письмо, которое передал> Хаджи-Мурат был теперь в 5 верстах от аула в лесу и послал Кильяс-хана к Ахты-Бек <было написано Хаджи-Муратом в этом лесу, где он остановился с своими 4 мюридами, из которых вот одного Кильяс-Хана послал в аул Наурь, к своему>, к дяде своей второй жены Аджан, взятой в Чечне, с тем, чтобы узнать, может ли он принять его. Вопрос этот делал Хаджи-Мурат.

351

Зач.: Хаджи-Мурат.

352

Зач.: Он знал, что значило было явиться к Шамилю виноватым. Шамиль потребовал от него его имущества.

353

Зач.: сделал

354

Зачеркнуто: Хаджи-Мурата

355

Зач.: Сначала Хаджи-Мурат надеялся не покориться и поднять с собой Аварию и отложиться от Шамиля. Но <Шамиль был сил[ен]>, аварцы боялись Шамиля и не пошли за Хаджи-Муратом <он попробовал Бетла-Агач. На Бетла-Агаче была>

356

Зач.: Хаджи-Мурата

357

Зач.: бежал

358

Зач.: с четырьмя мюридами, поручив свою семью своему другу и брату Адаль Гирею. В этот день он

359

Зач.: разыскивавших его

360

Зач.: Ахты

361

Зач.: Хаджи-Мурата

362

Зач.: Как только Кильяс-хан произнес имя Хаджи-Мурата

363

Зач.: ру[ки]

364

Зач.: ввел

365

Зач.: попросил позволения

366

По ошибке не зачеркнуто: к жене, *далее зачеркнуто:* к сыну

367

Зач.: он

368

Зач.: суп

369

Зач.: за лошадью <седлать свою>

370

Зач.: стоявшую тут же позади сакли.

371

Зач.: остался дома готовить всё для гостя.

372

Зач.: Кильяс-хану, что

373

Зач.: тол[ько]

374

Зач.: Лошадь была готова. Он пошлет сына за Хаджи-Муратом, а сам останется дома, чтобы готовить прием для гостя и не возбудить подозрения, которое уже начало показываться у жителей, спрашивавших, кто приехал. <Таймас-ха[н]> Садо проводит до леса Кильяс-хана, приведет Хаджи-Мурата в дом к Ахты.

Уже совсем смерклось, когда Ахты услышал топот двух лошадей за оградой и вышел встречать знаменитого гостя.

375

Зачеркнуто: лесистые

376

Зач.: и на белые снеговые вершины еще <как белые облака на заре играли в>

377

Зач.: Мичик <Наур>

378

Зач.: как и все аулы, прилепившиеся к горе

379

Зач.: улице аула по

380

Зач.: незнакомый

381

Зач.: часто по молодецки позвякивавшей

382

Зач.: по высокой папахе, встретившийся

383

Зач.: поехавший ему навстречу тотчас

384

Зач.: тавлинца

385

Зач.: и не чеченца с дальней стороны, а кабардинца или тавлинца.

386

Зач.: останавливая лошадь

387

Зач.: останов

388

Зач.: Таймас-хан

389

Зач.: он проезжая

390

Зач.: Таймас-хан

391

Против этих слов на полях написано обведенное кружком: Везде, где Таймас-хан, писать Ахты-Бек

392

Зач.: и держа

393

Зач.: двумя

394

Зачеркнуто: был тавлинец и по выговору, и по убранству лошади, и оружию за поясом

395

Зач.: серебряной

396

Зач.: в зеленых шагреневых ножнах (натр[уска] пистолет)

397

Ошибочно не зачеркнуто слово: были

398

Зач.: молодой, черной

399

Зач.: спросил

400

Зач.: пошел на базар с ней вм

401

Зач.: он от кунака хозяина

402

Зач.: послала

403

Зач.: <нез[накомца]> него

404

Данная фраза ошибочно вставлена в подлиннике перед предыдущей фразой.

405

Зач.: Таймас-хан

406

Зач.: быстрым легким шагом

407

Зач.: к гостю. Девочка

408

Зач.: за ним

409

Зач.: поздоровался и прибавил

410

Зач.: кумыцки

411

Зач.: очевидно удив

412

Зач.: удивленно и почтительно

413

Зачеркнуто: опустив глаза, как будто выражая этим то, что

414

Зач.: я рад, что он

415

Зач.: один

416

Зач.: Х[аджи]-М[урат] Сулейм[ан] <Х[аджи]-М[урат]>

417

Зач.: Возьми лошадь коня

418

Зач.: легко слезая

419

Зач.: легко

420

Зач.: шел

421

Зач.: — Были здесь из Ведено конные? — спросил Хаджи-Мурат.

422

Зач.: недавно

423

Зач.: когда тот

424

Зачеркнуто: в Госо

425

Зач.: — Можешь пойти к русским лазутчиком?
— Я не могу, но найду человека. Когда нужно?
— Нынче ночью.
— Сейчас будут, — сказал он и вышел.

426

Зач.: пошли к русским

427

Зач.: ночью

428

Зач.: Сын

429

В подлиннике: он

430

Зач.: молитву

431

Зач.: с чайпиль[никами]

432

Зач.: Дочь <зашу> <за>

433

Зачеркнуто: середине

434

Зач.: была

435

Зач.: из кизяков

436

Зач.: крестьян Тульской губ.

437

Зач.: сухой

438

Зач.: ще[тинистыми]

439

Зач.: Солдаты стояли лицом к горе, когда горнисты и

440

Зач.: Петров, как всегда, подтягивал им, потом когда солдаты

441

Зач.: люди сели, поужинали щи и кашу с салом

442

Зачеркнуто: Зз...десь

443

Зач.: Солдаты разошлись

444

Зач.: оделись, взяли ружья и большим шагом

445

Зач.: когда уже стало совсем темно. Был легкий мороз

446

Зач.: вспоминал о доме

447

Зач.: Солдаты товарищи

448

Зач.: Он говорил совсем другое.

449

Зач.: — Что, Иван Фадеич, долго это так будет?
— Что долго?
— А вот будем ходить жечь, он в нас палить, мы в него?
— А пока замирится.
— И не скучно вам, Иван Фадеич?
— Чего?
— Как чего?

450

Зачеркнуто: Фельдфебель

451

Зач.: молодого солдата

452

Зач.: Дурак

453

Зач.: барабанщик

454

Зачеркнуто: резервного батальона

455

Зач.: замечательная

456

Зач.: и одна из самых изящных женщин того времени

457

Зач.: и мужиковатый шутник.

458

Зач.: особенно свободно державший себя. Ротный

459

[несчастлив в игре — счастлив в любви,]

460

Зач.: Чорт вас дери

461

Зач.: выкатывая глаза

462

[У тебя есть новости о Шамиле?]

463

Зачеркнуто: Oui, je ne peux pas vous le dire [Да, я не могу тебе этого сказать]

464

[Может быть.]

465

[Как? Ты не хочешь мне сказать, в чем дело? Посмотрим,]

466

Зач.: едете

467

Зач.: спросил

468

[— Ну, вы мне скажете, в чем дело.

— Но, моя милая...

— При чем тут «моя милая». Это был лазутчик, не правда ли?]

469

Зачеркнуто: L’est rendu [Он доставлен]

470

Зач.: и предложением

471

Зач.: решил перейти к русским

472

Зач.: вот он

473

Зач.: и завтра, 1-го января, он обещал приехать в Аргунское ущелье и передаться русским, а именно Воронцову, сыну главнокомандующего, сардаря.

474

В подлиннике ошибочно: II

475

Зачеркнуто: под буркой ничком на руки

476

Зач.: прибежал с горы от мечети и, почтительно держа стремя, принял знаменитого наиба. Но Хаджи-Мурат видел, что предписания Шамиля уже дошли до этого аула и что Саффедину трудно соблюсти обязанности гостеприимства и требования Имама. Саффедин принял лошадей, накормил.

477

Зач.: и употребил все меры

478

Зачеркнуто: тронул

479

Зач.: за руку, лежавшую на груди.

480

Зач.: Над горой вышел месяц.

481

Зач.: не совсем

482

Зач.: от месяца, стоявшего над самой горой.

483

Зач.: тронул добрую

484

Зач.: Саффедин

485

Зач.: тронул

486

Зач.: и выхватив пистолет

487

Зач.: ними

488

Зачеркнуто: люди

489

Зач.: оттуда треснули

490

Зач.: Аслан-Бек ехал за ним и вложил пистолет за пояс.

491

Зач.: своим грохотом метая слышать.

492

Зач.: всё-таки можно было разобрать как

493

Переделано из: В этом темном облетевшем лесу *Далее зачеркнуто:* остановились те четыре нукера

494

Зач.: по лугу лощиной. Проехав еще сто

495

Зач.: люди, сидевшие у огня

496

В подлиннике ошибочно: III

497

Зачеркнуто: Орловском

498

Зач.: загороженную дорогу, стал объезжать ее, подзывая к себе ротного.

499

Зач.: Ротный вскочил на него и по военному здороваясь

500

Зач.: Он тут, на поляне должен встретить

501

Зач.: переводчик. Впереди навстречу ехал верховой.

502

Зач.: остановился, а ротный, <но ротный командир> отводивший стрелков, очутился впереди.

503

Зач.: белом коне <гнедом кабардинце>

504

Зачеркнуто: Никитина

505

Зач.: с другими солдатами

506

Зач.: Но двое солдат, из которых один был Никитин, очевидно не

507

Зач.: Никитин

508

Зач.: и загородив дорогу

509

Зач.: упа[вшего] сшибленного с ног Никитина

510

Переделано из: понесли

511

Зач.: подъехав к Воронц[ову].

512

Зач.: Полторасов

513

Зач.: а только улыбается, кивая головой

514

Зач.: Полторасов

515

Зачеркнуто: прекрасной

516

Зач.: убрали

517

Зачеркнуто: хотелось самому отличиться и он всё сделал сам

518

[Гораздо лучше тебе остаться, это мое, а не твое дело.]

519

[Ты не можешь мне препятствовать посетить генеральшу.]

520

Зачеркнуто: Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и очевидно всё понял или, по крайней мере, понял то, что ему нужно было понять, то, что русские генералы и полковники — ничтожные, презренные люди.

521

Зачеркнуто: За это время невольного бездействия среди чуждых людей, после напряженной деятельности последних двенадцати лет, в душе Хаджи-Мурата произошел великий переворот. <За это время в Тифлисе приставленный к нему Л[орис]-М[еликов] потребовал от него рассказа о своей жизни. Х[аджи]-М[урат] в первый раз вспомнил всё>

522

Зач.: джигит

523

Зач.: и джигит, воен

524

Зач.: веселый горец знаме[нитый]

525

Зач.: Фатима из елисуйского ханства, кормилица хана Буцала

526

Зач.: Хаджи-[Мурата]

527

Зач.: и который рос с старшим

528

Зач.: Фатиму, мать Х[аджи]-М[урата].

529

Зач.: Молодые ханы были слабы и трусливы

530

Зач.: красивы и умны

531

Зач.: баловались

532

Зач.: Бухары

533

Зач.: Каб[ардинского] полка 13 и 14

534

Зач.: страшно поразили

535

Зач.: истинный магометанин не может быть ничьим рабом и, <не ведут войны с неверными> что все магометане равны. Он вспомнил оскорбление, перенесенное им в ханском дворце, и решил жить так

536

Зачеркнуто: В газавате

537

Далее в подлиннике две строки многоточия; *на полях помета:* О кавк[азских] гор[цах]. Выпуск II, стр. 10. Воспом. муталима.

538

Зач.: В 1830 году, когда Хаджи-Мурату было 18 лет <скоро после этого>

539

Зач.: первый объявивший священную войну против неверных

540

Зач.: Когда

541

Зач.: сражаться

542

Зач.: деревне

543

Зач.: ходил в набег на горцев

544

Зач.: своими

545

Зач.: слышно было

546

Зач.: поступил

547

Зачеркнуто: шею

548

Зач.: деньги

549

Зач.: тем более потому, что Гамзат, занявший место Кази-Муллы, был враг ему,

550

Зач.: подошел к Хунзаху. Паху-Бике послала сыновей

551

Отчеркнуто с надписью на полях: пр[опустить]: Встреча с Шамилем. Хаджи-Мурат поехал с Абунунцалом <и бежал> и видел убийство и бежал. Видел казнь Сурхан-Хана и убийство Паху-Бике. Заговор с братом и убил Гамзата. — Ист[ория] К[абардинского] П[олка], 35—37, 38.

Счастье его больше, управляет Аварией, богатеет, другая жена. Вызывают Ахмет-Хана.

552

Зач.: после

553

Зач.: отдаться Га[завату]

554

Зач.: Умма-хан

555

Зач.: слышал, сведя лошадей в конюшню

556

Зач.: <по> из палатки в которой

557

Зач.: Оказаться

558

Зачеркнуто: Хаджи-Мурат

559

Зач.: был ясный, солнечный день, рисовые ноля вокруг

560

Зач.: <В этом доме> Это было в Нухе вечером. Муэдзин уже пропел свои призывы к молитве, в лагере пробили зорю. Хаджи-Мурат сидел один на ковре в своей отдельной комнате и читал арабскую рукопись Джемал-Эдина о тарикате.

561

Зач.: потом он сел на ковер и взял

562

На полях: свобода и истина

563

Зач.: освобождение себя от них

564

Зач.: Шамиль выколет ему глаза или казнит его сына. И этот сын

565

Зач.: боялся его и хотел убить его

566

Зачеркнуто: убийство

567

Зач.: это его

568

Зач.: опять

569

Зач.: обещал служить русским

570

Зач.: пророку и Богу

571

Зач.: тем более, что он всю ее записал по просьбе приставленного к нему офицера Лорис-Меликова.

572

Зач.: <Делать> После <своей деятельной жизни> жизни полной трудов и опасностей, теперь Хаджи-Мурату делать было нечего. Он только молился и думал. <И думал всё больше о том>

Думал он, что он сделает теперь, предполагая и то, и другое, и третье, думал о том, что делается там, в горах, с его семьей, <с его матерью> <о том, что он сделает теперь, предполагая и то, и другое, и третье>, но более всего думал он о своей прошедшей жизни.

573

Зач.: и описание ее

574

Зачеркнуто: впечатление

575

Зач.: Воспоминания обо всем

576

Зач.: для него были

577

Зач.: поднял со

578

Зач.: сложной

579

Зач.: и любил как лучшее время своей жизни. Жизнь эта была бурная и сложная.

580

Зач.: ее, когда она с ним за спиной избитая <отцом> мужем за то, что она не хотела взяться кормить ханского сына, убежала ночью в горы к своему отцу и прожила там всё лето, работая на старика и не возвращаясь к мужу.

581

Зачеркнуто: своего ребенка

582

Зач.: взять ханского <отдать>

583

Зач.: Тогда Сулейман <Произошла ссора, и Сулейман ударил ее кинжалом. Она>

584

Зач.: 45 лет тому назад на Кавказе, — в мирном Кавказе, я хотел сказать, — царствовал князь Михаил Семенович Воронцов, а в немирном Шамиль и между ними шла война.

585

Ошибка. Следует: 1851 г.

586

[Прекрасные, милый друг,]

587

[Семену повезло.]

588

Далее копия письма Воронцова к Чернышеву, составляющего гл. XIV окончательной редакции.

589

Зачеркнуто: и там посылал лазутчиков и вызывал своих кунаков, поручая им

590

Зач.: Саффедин обещался, но, доехав до Ведено, где содержалась семья Хаджи-Мурата, увидал, что выкрасть семью невозможно — под такой строгой стражей она находилась, — вернулся назад и объявил Хаджи-Мурату, что он отказывается сделать это, несмотря на триста золотых, к[оторые] обещал за это Хаджи-Мурат.

— Эх, воли нет мне, — крикнул Хаджи-Мурат, вскакивая с ковра, на котором сидел, — я бы сделал. Так

591

Зачеркнуто: ножик

593

Зачеркнуто: только он был ложный имам

594

Зач.: и я

595

Отчеркнуто с надписью на полях: пр[опустить]: В этот самый день, <в то время> как мы с ханом прогнали Кази-Муллу, с другой стороны Хунзаха в перестрелке убили моего отца. Когда мы вечером въезжали в Хунзах с лошадьми, значками, пленными и телами, которые мы везли, у въезда я столкнулся с лошадью, на которой везли перекинутое тело, покрытое буркой. За ними шла моя мать и рвала на себе волосы.

Ханьша радовалась победе и послала значки в Тифлис к начальству

596

[«История 80-го пехотного Кабардинского полка».]

597

В подлиннике ошибочно: Адильгер.

598

Зачеркнуто: Так я второй раз изменил хазавату. Но Ахмет-Хан был зол на меня.

599

Зач.: Я переехал во дворец и жил как хан.

600

Зач.: Хазават

601

Зачеркнуто: во всем этом

602

Зач.: с ротой солдат

603

Зач.: Я сказал, что не поеду, тогда

604

Зач.: надели

605

Зач.: добил солдата

606

Зач.: внизу

607

Зач.: Я согласился служить Шамилю

608

Зач.: Мы бы

609

Зачеркнуто: Старший сын хан Омар-хан

610

Зач.: Кази-Мулла

611

Зачеркнуто: В 1830 году Хаджи-Мурат в первый раз убил человека. Было это вот как <Хаджи-Мурату было 24 года, когда он>

612

Зач.: на Кавказе

613

Зач.: в 1825 году

614

Зач.: войском

615

Зач.: <Хунзах> <это был> <и требовал> Аварией правила вдова Ахмета-Хана султанша. Кази-Мулла и послал послов объявить ханьше, что истинные мусульмане не должны покоряться неверным и дружить с ними, а что он пришел освободить везде. Если же они не хотят послушать его, то он побьет всех ее детей, молодых ханов.

616

Зач.: он, Кази-Мулла, слуга пророка, и аварцы должны присоединиться к нему и воевать с неверными.

617

Зач.: не пускать к себе мюридов и не пустить их.

618

Зач.: Того же, что он грозит ей, она не боится и завтра же вышлет против него свое войско. И на другой день началась битва.

619

Зач.: И началась <битва> перестрелка

620

Зач.: шло

621

Зач.: У аварцев были ранены две лошади и человек

622

Зач.: на стороне <Кази-Муллы> мюридов показалась кучка

623

Зач.: Аварцы стреляли

624

Зач.: послышались их визги, крики «Алла», выстрелы, и <толпа черная> толпа конных вскачь присту[пом] уж стала подниматься по дороге

625

Зач.: Аварцы стреляли сколько успевали, но падали и останавливались немногие, вся толпа поднималась выше и выше и вот-вот должна была столкнуться с конными аварцами <ждавшими> стоявшими на дороге. Хаджи-Мурат только слышал это потому, что он, вместе с братом Османом

626

Зач.: стоял под начальством

627

Зач.: стоял за горой

628

Зачеркнуто: у ручья с вын

629

Зач.: Из за шума воды им чуть слышно <Они стояли в засаде и ждали только этого. Вперед! — крикнул Омар>

630

Зач.: им

631

Зач.: Абунунцал у

Зач.: своего кабардинца. Хаджи-Мурат скакал подле него с вынутой из чехла винтовкой. Не проскакали они ста шагов, как им открылся <они наткнулись>

633

Зач.: в 50 шагах от них <него> показались мюриды

634

Зач.: Перед ними

635

Зач.: и, остановившись, стали стрелять. <Один против> Некоторые <другие> повертывали назад, некоторые <третьи> <двое> соскакивали вниз и останавливались, некоторые стояли и, вынув винтовки, держали их наготове, чтобы наверно убить того, кто подскачет <Хаджи-Мурат> Абунунцал стал <осаживать> останавливать расскакавшуюся лошадь, но не успел он остановить, как <просвистели> прожужжали и ударились в камень несколько пуль и лошадь Абунунцала

636

Зач.: с своими

637

Зач.: стоявших и не успели те опомниться, как зарубили их. Один из них

638

Зач.: рыжий

639

Зач.: с чалмой подлетел <подскакивал> к Абунунцалу с вынутой

640

Зач.: Не выстрелил в живот этого

641

Зач.: Шашкой, но удар не попал в него

642

Зачеркнуто: повернул лошадь и пустился

643

Зач.: Лошадь у мюрида была добрая, но у Хаджи-Мурата еще добрее

644

Зач.: и упал

645

Зач.: рыжий

646

Зач.: Абунунцал слева в это время соскочил и схватил его лошадь. Толпа мюридов скакала с той и другой горы и в ущельи в <воде> ручье всё смешалось.

647

Зач.: старое

648

Зач.: рыжими

649

Зач.: вместе с зевотой

650

Зач.: сказал

651

Зач.: перестал

652

Зач.: Хаджи-Мурат взял белую лошадь, поднял сильными руками теплое мягкое тело, перевалил через седло, привязал подпругой, взял ружье, шашку и поехал назад. <Тут> Сейчас же он встретил своих. Мюриды были прогнаны и убито больше ста человек. Убиты были аварцы. В числе убитых был и отец Хаджи-Мурата. В то время, как он вел лошадь с убитым мюридом, в другие ворота Хунзаха вводили лошадь с покрытым буркой телом <отца> Мухамеджана. Он был убит пулей в голову

653

Зач.: привел

654

Зач.: Он хотел поднять труп и слез с лошади

655

Зачеркнуто: жило <в> <лет> в начале

656

Зач.: Кавказ <нар> <горский> народ на Кавказе был свободен и не

657

Зач.: Были <но бы> в горах кавказцы еще жили

658

Зач.: не зна

659

Зач.: боялись

660

Начало то же, что первый абзац варианта № 18.

661

Зач.: тронул поводья

662

Зачеркнуто: грудь

663

Зач.: они ускакали.

664

Зач.: лезгины

665

Зач.: бросились за ним. *Ошибочно не зачеркнуто:* Хаджи-Мурат видел, что *Зач.:* <Абунунцал сел на другую лошадь> Хаджи-Мурат <По> хо

666

Зач.: раненого

667

Зачеркнуто: на Кавказе

668

Зач.: Кавказском

669

Зач.: мать трех сыновей

670

Зач.: стал

671

Зач.: держался

672

Зач.: у

673

Зач.: то в котором жила ханьша <аварская ханьша> в Хунзахе

674

Зач.: с своими сыновьями и старой свекровью

675

Зач.: старшему

676

Зачеркнуто: к ханьше

677

Зач.: своими

678

Зач.: Гаджи

679

Зач.: его сноха Рукса (вдова сына Рукат, Али-Кизы и два ее сына, а его)

680

Зач.: Осман и

681

Зач.: Работником настоящим был только молодой и сильный Хаджи-Мурат. Моло

682

Зач.: отмахивавшихся

683

Зач.: и кормила ребенка, а Хаджи-Мурат <и качала ребенка>

684

Зач.: на воз: один Хаджи-Мурат. <Было уж> Солнце уже выбралось из за соседней горы и жарко пекло в ущельи, где работал старик с внуками. Работы еще оставалось много, но подходило время второй молитвы.

685

Зач.: старик собирался везти воз, когда из ущелья снизу показался верховой ха<ньши>, звавший Хаджи-Мурата. <Старик уже тронул буйволов, арба заскрипела, но не отъехал он десяти шагов, как из ущелья показался нукер ханьши, махавший> Старик <плетью и кричавший> Нукер кричал что то и махал плетью. Старик остановился.

— Хаджи-Мурат здесь? — Селям алейкум:

— Алейкум селям.

— Хаджи-Мурат здесь?

— Здесь. Что надо?

— Ханьша зовет его.

— Что нового?

686

Зач.: пошел вниз с площадки своего поля к шумящему там ручью, чтобы омыться и совершить вторую молитву.

687

Зачеркнуто: достала ее ловящему ребенку

688

Зач.: До ручья в ущелье было вниз шагов сто. Хаджи-Мурат сбежал их.

689

Зач.: Ханьша велела сейчас ехать с сыном

690

Зач.: Собирают

691

Зач.: тогда

692

Зач.: на Кавказе

693

Зач.: двумя большими

694

Зачеркнуто: в те времена

695

Зач.: 4 сына, из кот[орых]

696

Зач.: Ханьша считала

697

Зач.: для эт[ого]

698

Зач.: от лезгина Сулеймана

699

Зач.: кормилицей от прежнего

700

Зач.: ханов

701

Зач.: собакам

702

Зач.: за сев

703

Зачеркнуто: пистолет

704

Зач.: Мальчик

705

Зач.: раз ранил

706

Зач.: сам чуть не был убит

707

Зач.: связали

708

Зач.: на площади, когда

709

Зач.: К деду приезжали ученые и святые люди

710

Зач.: Кибит

711

Зач.: жил в глуши

712

Зач.: Когда Хаджи-Мурату

713

Зач.: женитьба отвлекла его от

714

Зач.: женитьба. Он не любил Султанет <них жены>

715

Зач.: то его молодечество

716

Зачеркнуто: и что

717

Зач.: Раз осенью

718

Зач.: говорили о шариате, тарикате и марифате <входит в>

719

9

Зач.: <Скоро после> Но тут он полюбил Ханум. Ему было 20 лет. Он хотел развестись и жениться на ней. Он хотел уже увезти ее, как в это время к Хунзаху подступил Кази-Мулла. Хаджи-Мурат был в нерешительности.

10

Поутру к нему подошла под окно мать Ханум и сказала, что <он> стыдно ему спать, когда все идут. Он поехал. И убил мюрида, который завещал ему хазават.

11

<Вер[нувшись]> После войны он увез Ханум. Но Ханум потребовала от него службы хану. Он сблизился с ханами. Но <совесть> <желан> раскаяние в том, что он изменил хазавату, грызло его.

720

Зач.: ловят

721

Зач.: казнили

722

Зач.: Гамзат подступает к Хунзаху.

723

Зачеркнуто: Когда

724

Зач.: Хаджи-Мурата, из ханского дворца приезжал посол <ска[зать]> звать ее опять в кормилицы.

725

Зач.: которая накануне только родила своего четвертого сына

726

Зачеркнуто: выкормила одного

727

Зач.: <Нет> Ханьша любила ее. И точно не было во всем Дагестане такой другой красивой, сильной, умной и кроткой женщины, как Патимат, но Пати[мат]

728

Зач.: в дом

729

Зач.: просит его

730

Зач.: посол

731

Зач.: две коровы, лошадь и кусок красной шелковой ткани

732

Зач.: родился у аварской женщины мальчик

733

Зач.: бедная женщина

734

Зач.: и ее двух мальчиков

735

Зач.: обоих

736

Зач.: Хаджи-Мурат в первый раз

737

Зач. на

738

Зач.: в аул Гимры приехали к

739

Зач.: звать

740

Зач.: Ханьша Паху-Бике только что родила и желала взять

741

Зач.: сильная, красивая и кроткая

742

Зачеркнуто: сама

743

Зач.: сына

744

Зач.: не пойду

745

Зач.: согласился с посланным и

746

Зач.: не отдаст

747

Зач.: за спиной и на голове

748

Зач.: человек

749

Зач.: избавить

750

Над заглавием — рукою Толстого: Опять сначала

751

Зачеркнуто: хана

752

Зач.: оставить своего

753

Зач.: несмотря на то, что

754

Зач.: бросил Патимат и

755

Зач.: хозяин

756

Зач.: поно

757

Зач.: деду

758

Зач.: жившему

759

Зач.: брала с собой мальчика тонконогого

760

Зач.: круглую

761

Зач.: красавца

762

Зач.: в ужасное время

763

Зачеркнуто: отнимать у горцев их земли

764

Отчеркнуто с пометой: пр[опустить]

А в это время в горах появился имам <котор> Кази-Мулла, который проповедывал <освоб> то, что правоверный не только не может покоряться неверным, но не должен и дружить с ними. И горцы в Дагестане, там, где родился <и жил> Хаджи-Мурат и где жили его родители, были между двух огней. Если они дружили с русскими, мюриды, правоверные последователи Кази-Муллы разоряли их аулы и убивали их. Если же они дружили с Кази-Муллою, русские разоряли их аулы и убивали их.

Далее зачеркнуто: Так и случилось теперь. Мюриды Кази-Муллы спустились в мирные аулы и вместе с жителями этих аулов напали на русскую роту солдат.

765

Зач.: в горы

766

Зач.: сжечь их и истребить всех жителей, а из мирных аулов всех

767

Зач.: и торжественно, при большом собрании народа, наказать их. И вот на это то наказание 10-летним мальчиком попал Хаджи-Мурат и тут в первый раз видел русских.

768

Зач.: наказание

769

Зач.: окрестные

770

Зач.: <Войска> Войско

771

Зач.: шпагами

772

Зач.: <и били в них> в которые они

773

Зач.: Х[аджи]-М[урат] думал

774

Зачеркнуто: заступит

775

Зач.: Ибр

776

Зач.: <говор> пусть

777

Зач.: зная

778

Зач.: закованные, связанные

779

Зач.: все

780

Зач.: что то

781

Фраза не дописана, оставлено пустое место для текста приговора.

782

Зач.: ему подали

783

Зач.: и стоявший подле Муха[меда] Хана сосед <побе> схватился за кинжал; это же сделал и Хаджи-Мурат

784

Зачеркнуто: молодого человека, черноволосого красавца

785

Зач.: с отвращением

786

Зач.: На минуту барабан затих; присужденного

787

Зач.: тащили

788

Зач.: ввели в улицу

789

Зач.: И вдруг началось: вжиг. вжиг. Ударяли то с одной, то с другой стороны солдаты

790

Зач.: И он всякий раз вздрагивал и оглядывался, но молчал. «Вжиг, вжиг», — слышалось из-за барабанов, и белая спина стала красная и пестрая.

791

Зач.: Начальник

792

Зач.: сыпа[лись]

793

Зач.: вновь

794

Зач.: по тем же к

795

Зачеркнуто: спины сочила[сь]

796

Зач.: и доктор

797

Зач.: очевидно

798

Зач.: Черед был за другим

799

Зач.: Чернов <боро>

800

Зач.: снял с

801

Зач.: И тут вдруг случилось. Хаджи-Мурат следил

802

Зач.: <бросился> расставил

803

Зач.: из груди. Лезгин

804

Зач.: Хаджи-Мурат видел всё это

805

Зачеркнуто: надо

806

Под текстом рукою Толстого: Не годится

807

Исправлено из цифры 2 при перестановке параграфов.

808

Зач.: Гоцаль

809

Зач.: горного

810

Зач.: недалеко от Хунзаха и

811

Зач.: Х[аджи]-М[урат]

812

В подлиннике цифра 1 *по ошибке не переправлена на* 2.

813

Зач.: в 1812 году

814

Зач.: воевал

815

Зач.: и ушел из нее

816

Зач.: в котором было пролито много мусульманской и христианской крови.

817

Зач.: 3) Первый сын Аслан-Бека — Осман воспитался на коровьем молоке, а жена Аслан-Бека, красавица Патимат, кормила <ханского> третьего сына аварского хана Омара. Когда

3) Когда родился Хаджи-Мурат, аварский хан прислал к Аслан-Беку приказание отдать свою жену Патимат в кормилицы к рожденному в то же время ханскому сыну

818

Зач.: и выкормила его. И теперь, когда она родила Хаджи-Мурата в одно время с ханьшей, <хан и> ханьша пожелала отдать ей на выкормку и третьего сына

819

Зач.: с одним ребенком не мучилась так, как она мучилась с Хаджи-Муратом и н[и]

820

Зачеркнуто: ее добром, она не согласилась

821

Зач.: молчала

822

Зач.: и не отдавала своего ребенка

823

Зач.: знал и силу и упрямство своей жены и

824

Зач.: с повинной головой ехать к хану

825

Зач.: Хан прогневался за это на Аслан-Бека, а

826

Зач.: взяла другую

827

Ошибочно зачеркнуто: ее *и написано:* его

828

Зач.: реб[енок]

829

Зач.: 9) Отец любил старшего сына Османа, но не любил Хаджи-Мурата и <как только Хаджи-Мурат подрос, отдал его в большой аул Гоцатль к мулле в муталимы (ученики)> и не ласкал и не дарил его. Но зато дед Хаджи-Мурата, старый мулла святой жизни, любил Хаджи- Мурата и <дарил> <по> дарил ему и овчины, и сукно, и папаху, и кинжал на поясе.

830

Исправлено из цифры 10.

831

Зач.: И товарищи любили и боялись его. Когда они дрались, играючи. Раз ребята дрались, играючи на площади, и Хаджи-Мурат только

832

Параграф 9 повторяется в подлиннике.

833

Зач.: соседний

834

Зач.: И в ученьи Хаджи-Мурат был первым учеником

835

Зач.: 11) мальчик был ловок, силен и понятлив к ученью

836

Зач.: Горцы состоящие в

837

Параграф 17 *повторяется в подлиннике.*

838

Зачеркнуто: слышал, ведя лошадей в конюшню

839

Зач.: из палатки

840

Зач.: Осман хотел убить его на улице

841

Зач.: ма[тери]

842

В подлиннике ошибочно: до

843

КС — «Сборник сведений о кавказских горцах».

844

Зач.: Он

845

Зачеркнуто: отцом его матери

846

Зач.: как только Хаджи-Мурат подошел к сакле деда, он

847

Зач.: сторонке.

848

Зачеркнуто: легкими

849

Зач.: <Хаджи-Мурат не спал уж третью ночь. Он и действительно как зверь в клетке не переставая ходил прихрамывая из угла в угол по своей пятиаршинной комнате.>

С разрешения воинского начальника он завел из Нухи сношения с горцами, и два раза к нему приходили лазутчики. Известия, которые они приносили, были дурные: Шамиль грозил тем, что <убьет> жену, детей и мать Хаджи-Мурата и ослепит сына.

Вчера были лазутчики из гор, и нынче он ожидал новых с известиями о семье. Последнее известие было то, что Шамиль приказал их всех перевести из Гоцатля в Ведено. Но тут то, по пути, друзья Хаджи-Мурата обещали отбить их и вывести к русским. За это им было обещано <всё> половина всего того, чем владел Хаджи-Мурат. И вот этого то известия ждал Хаджи-Мурат.

Хаджи-Мурат ходил и думал. Он думал о том, что ожидает его семью, что <ожидает> сделает он, предполагая и другое, и главное думал о своей прошедшей жизни.

850

Зач.: вот наказание

851

Зачеркнуто: и вслед за ним

852

Зач.: борьбе

853

Зач.: у отца его матери

854

Зач.: И вот Хаджи-Мурат вспоминал эту поездку к деду, как будто это было вчера. Мать надела шелковую рубаху и бешмет, выбрила ему чисто голову и надела на него белую черкеску и перешитую из отцовской папаху.

855

Зач.: его мать в желтой шелковой рубахе

856

Зач.: пела сочиненную ею самой песню <о нем, Хаджи-Мурате> о том, как ее звали от Хаджи-Мурата кормить другого ханского сына — она выкормила первого, — и как она не отдала своего сына и не взяла дорогих подарков ханши, и как бил ее муж, а она все-таки не отдала сына.

Он помнил, как она несла его в гору и пела, и как он от радости взвизгивал в корзине, вскакивал и обхватывал ее крепкую шею ручонками и душил ее, и как она <отдирала> нежно палец за пальцем отдирала ему руки от своей шеи и закидывала назад длинную, загорелую, обнаженную из широкого рукава, сильную руку, захватывала его за затылок и прижимала к себе. <Отец Хаджи-Мурата не любил сначала Хаджи-Мурата, а любил его брата Османа.>

857

Зач.: в аул

858

Зачеркнуто: за то, что

859

Зач.: с матерью

860

Зач.: Сулейман потребовал от нее, чтобы она взяла себе в выкормки сына аварской ханьши, родившей в то же время

861

Зач.: и как только родила, послала за ней.

862

Зач.: так страстно полюбила своего черноглазого, что

863

Зач.: и тогда

864

Зач.: ударом

865

Зач.: И Сулейман

866

Зач.: <уда> бросились на рассвирепевшего Сулеймана

867

Зач.: выкормила сво

868

Зач.: звезда

869

Зач.: криать

870

Зач.: Из первого детства его.

871

Зачеркнуто: уж

872

Зач.: и как теперь изменил ему третий раз и

873

Зач.: Бросил братьев своих, воюющих за свою свободу, и перешел на сторону тех <собак> неверных, русских, которых он так презирал, как собак, и ненавидел. И как ни ласкали его в Тифлисе, как ни ненавидел он Шамиля, <он чуял,> <что знал,> <что он>, ему было мучительно тяжело среди русских и еще мучительнее бездействие, на которое он был обречен

874

Зач.: предал

875

Зач.: за эту измену

876

Зач.: <пер> бегая [по] комнате, задыхался, перебирая свои воспоминания, прислушиваясь и ожидая <сидел на ковре, сложив свои сильные ноги, и, опираясь локтями на колена, смотрел вниз и не столько думал, сколько представлял>

877

Зач.: в седле стоял под навесом и отцовский гнедой мерин, которого он водил поить

878

Зач.: которого в седле поместили под навесом <и отцовский гнедой мерин, которого он водил поить>

879

Зач.: Мать

880

Зач.: никогда не думал и не

881

Зачеркнуто: еще больше, и потому, когда ему надо было пожалеть себя, он шел к ней. Но отца

882

Зач.: для того, чтобы следующее

883

Журнал «Русская старина», *1881, № 3.*

884

Зач.: опустив

885

Зач.: Нураза-хана.

886

Зач.: Сафедина.

887

Зачеркнуто: И вот что он вспомнил.

888

Зач.: так и сделал. У него был друг и названный брат Али. Хаджи-Мурат вернулся в Хунзах и рассказал Али то, что он видел, и его решение служить хазавату и мстить неверным собакам русским, замучившим на его глазах восемь джигитов.

889

Зач.: не хотел

890

Зач.: к Кази-Мулле будет <то неприя то> очень тяжелым ударом отцу. Он мешкал, боялся. Но случилось так, что в это самое время отец уехал в Табасарань к кунаку и Хаджи-Мурат, оставшись один

891

Зач.: и чтобы

892

Зачеркнуто: Сулле-Саффедину

893

До сих пор текст редакции первой («Репей») 1896 г. Далее до слов Имя это всё сказало Марье Дмитриевне (стр. 385) — вставка 1901 г.

894

Зачеркнуто: сказала

895

Зач.: повторила

896

Зачеркнуто: Аварском

897

Зач.: и был меньшим сыном

898

Зач.: после сражения под Хунзахом, где первый Кази-Мулла был с русскими

899

Зач.: Еще тогда он решил <служить> отдаться хазавату — священной войне против неверных.

900

Зач.: молодость брала свое, и он

901

Зач.: быть мюридом. Будь им, освобождай правоверных от неверных собак и умри за это». И мюрид прочел молитву и умер. С тех пор

902

В подлиннике ошибочно не зачеркнуто: Но в это время глава мюридов

903

Зач.: А Гамзат был дурной человек, и ему не верили. Гамзат пробовал

904

Зачеркнуто: Улан

905

Зач.: приехал

906

Зач.: К ним подошли

907

Зач.: требуя

908

Зач.: во дворец

909

Зач.: владельцем

910

Зач.: Шпионы выдали Хаджи-Мурата.

911

Зач.: тогда

912

Зачеркнуто: Ахмет-хану

913

Зач.: Ахмет-хан

914

Зач.: Шамиль узнал про это и окружил

915

Зач.: и погиб бы, если бы

916

Зач.: ему

917

Зач.: стал наибом Шамиля и делал чудеса храбрости

918

Зач.: озаботившись

919

Зач.: смелости

920

Вставка 1901 г. кончается. Далее до слов: Нет, вы всё расскажите по порядку *(стр. 391) текст редакции первой («Репей»).*

921

Многоточие в подлиннике.

922

Текст редакции первой («Репей») кончается. Далее и до конца вставка 1901 г.

923

Слова: Иван Матвеевич *в подлиннике пропущены, в копии вписаны рукою Толстого.*

924

Зачеркнуто: на пол

925

Зач.: видимо

926

В подлиннике слово: что, *в копии Толстым оно зачеркнуто.*

927

Зачеркнуто: сейчас догадался

928

Так в подлиннике: Курганов *вместо:* Карганова.

929

Слово: того *в подлиннике пропущено*, *в копии вставлено.*

930

Зач.: Одно

931

Зач.: храбрость

932

Зач.: Наткнулись они должно на проезжающих

933

Зач.: уж

934

Зач.: боясь, что

935

Зач.: кукурузное

936

Зачеркнуто: подчалый белый

937

Так в подлиннике

938

Зач.: собрали

939

Зач.: только бы

940

Зач.: нухинцев

941

Зач.: личный враг Хаджи-Мурата за то, что он убил его братьев

942

Зач.: оттуда

943

Зач.: самым постыдным образом

944

Зач.: вместе

945

Зач.: Гаджи Ага, Карганов подбежали и расска

946

Зачеркнуто: ах

947

Зач.: Репей. Хазават.

948

Зач.: своим приятным пряным запахом

949

Зач.: есть

950

Зач.: медовые

951

Зач.: Я люблю эти полевые цветы с их тонкостью отделки и чуть заметным, но для каждого своим, нежным и здоровым запахом.

952

Зач.: стеблем кололся

953

Зач.: со всех сторон

954

Зач.: страшно

955

Зач.: я измял

956

Зач.: он

957

Зачеркнуто: и не <шел> подходил к

958

Зач.: эту красоту

959

Зач.: цветок

960

Зач.: Какая

961

Зач.: десятин в сто

962

Зач.: ни одного растения

963

Зач.: разнообразных

964

Зач.: и узнав

965

Так в подлиннике.

966

Зач.: отростков

967

Зач.: Я вспомнил, как трудно было отрывать цветок, и подумал, что перенес этот куст, если уже отдал этот отросток. На других двух

968

Зач.: на каждом по

969

Зач.: в ужасном виде, засыпаны пылью

970

Зач.: Но на одном стебле

971

Зач.: отростке

972

Зач.: еще держались

973

Зач.: тот, который поник, еще

974

Зач.: защищая из за грязи все таки

975

Зачеркнуто: а и один торжествует над человеком, уничтожившим всех его братий кругом его.

976

Зач.: мне вспомнилось одно давнишнее кавказское событие. Событие было вот какое.

977

Зач.: подробности о которой мне пришлось близко знать, вспомнилась и вся трагическая история смерти этого человека и захотелось рассказать ее.

978

Зач.: В одной из кавказских крепостей жил в 1852 году воинский начальник с женой Марьей Дмитриевной.

979

Зач.: человеку

980

Зач.: них

981

Зач.: как и все бездетные супруги, которые не разошлись, а живут вместе, жили и были самые нежные супруги. Для Ивана Матвеевича это было легко, потому что трудно было не любить

982

Зач.: прекрасную хозяйку и помощницу

983

Зач.: Это было в июне. Марья Дмитриевна давно уже встала и с денщиком хозяйничала. Начинало уже становиться жарко.

984

Многоточие в подлиннике.

985

Многоточие в подлиннике.

986

В подлиннике: о нем

987

Зачеркнуто: простой пре[лестыо]

988

Зач.: вышел однажды <надел свою толстую солдатскую шинель и>

989

Зач.: становилось

990

Зач.: и Марья Дмитриевна, окончив свои дела, только что хотела посылать денщика в канцелярию звать Ивана Матвеевича к чаю, когда к дому подъехали верхом какие то люди.

— Егоров, поди узнай, — крикнула Марья Дмитриевна, направляясь в спальню. — Кто это? Двое? с конвоем и татары, и казаки. Человек двадцать. Уж не в набег ли?

И любопытство так захватило ее, что она поспешно спустила засученные на ее белых полных руках рукава, и повернулась назад.

— Погоди, Егоров, — крикнула она, ощупывая руками шпильки в косе и косу. — Ну, ничего, сойдет. Погоди, Егоров, я сама.

И Марья Дмитриевна вышла своей молодецкой походкой на крылечко домика. У крыльца стояла целая партия. И казаки, и чеченцы. Впереди выделялось трое.

991

Зач.: У крылечка

992

Зач.: Офицер

993

Зач.: по черкесски

994

Зач.: в сапогах, на маленькой гнедой лошадке; другой мирной, переводчик, в надетой шерстью вверх и козырьком назад папахе, в засаленном бешмете и желтой черкеске. Третий на белой статной лошади в белой черкеске.

995

Зач.: серебряное

996

Зачеркнуто: с очень приятным серьезным лицом

997

Зач.: с большим серебряным кинжалом

998

Зач.: висел

999

Зач.: на высокой с белым же курпеем папахе, далеко заломленной назад тульей.

Этот человек больше всех обратил внимание Марьи Дмитриевны. На голове была папаха, обмотанная чалмою

1000

Зач.: скорченными

1001

Зач.: у него

1002

Зач.: довольно

1003

Зач.: приятный, нежный детский рот, довольно густые

1004

Зач.: странные, внимательные и строгие

1005

Зач.: Марью Дмитриевну, встретился с ней глазами, не опустил взгляда, так что она перевела глаза на офицера. Когда же она опять взглянула на него, он уже не смотрел на нее и, опустив голову, стал рассматривать свой кинжал. Не успела Марья Дмитриевна задать себе вопроса о том, кто бы это был такой, как и получила ответ. Офицер сказал ей, что это Хаджи-Мурат.

— Ну? не может быть! — вскрикнула Марья Дмитриевна, выпученными и странными и настороженными глазами глядя на горца в белой черкеске. — Он,

1006

В подлиннике ошибочно не зачеркнуто: чеченца

1007

Зач.: Хаджи-Мурат

1008

Зачеркнуто: своих белых пухлых рук

1009

Зач.: спуская рукава

1010

Зач.: вскрикивала она.

1011

Зач.: Марья Дмитриевна у офицера

1012

Зач.: то, что происходило между Марьей Дмитриевной и офицером

1013

В подлиннике отчеркнут текст с надписью на полях: п[ропустить] *от слов:* испуг и восторженное удивление Марьи Дмитриевны *до слов:* испрашивал разрешение как поступать? *(вариант № 42, стр. 382—387).*

1014

Зачеркнуто: тем более, что меня

1015

Зач.: Я боялся

1016

Зач.: сама

1017

Зач.: ей

1018

Зач.: Переводчик сел подле

1019

В подлиннике ошибочно: М[арье] Д[митриевне]

1020

Зач.: переводил

1021

Зач.: требовалось

1022

Зачеркнуто: в мечети

1023

Зач.: и его

1024

Зач.: и повели судить

1025

Зач.: храбрости

1026

Зач.: Схватил жену

1027

Зач.: Худ[ого]

1028

Далее тот же текст, *что в варианте № 42, начиная от слов:* Иван Матвеевич так же, как и все тогда *до слов:* на эти глаза, желтую кожу и рот *(стр. 387—394).*

1029

Зачеркнуто начало главы первой варианта №43, начиная: Я служил в одном *кончая:* были очень добры ко мне (*стр. 396*).

1030

Многоточие в подлиннике.

1031

Зач.: не по отношениям моим к ней, а

1032

Зач.: должно быть

1033

Зачеркнуто: любоваться временами ее простой, здоровой женской бессознательной прелестью и не

1034

Зач.: какого-то

1035

Зач.: было

1036

Зач.: Становилось уже жарко. Только что я стал подходить к домику с садиком

1037

Зач.: странно

1038

Зач.: с противуположной стороны выехали из-за угла и стуча по камням дороги подковами человек десять

1039

Зач.: По осанке, оружию и одежде видно было, что это начальники, остальные их конвой. Они проехали дом Ивана Матвеевича.

1040

Зач.: перебирая

1041

Зач.: каменистой

1042

Зач.: в одном из передовых я узнал по погонам офицера русской службы из горцев

1043

Зач.: Они встретились со мной шагов за десять проехав его, дом во[инского] Ивана Матвеевича.

— Где тут воинский начальник? — спросил меня один из них по русски офицер с нерусским армянским акцентом. Я сказал, что туда иду, и указал им. Они повернули и вместе со мной подъехали к крылечку. Долго я никак

1044

Зач.: что были за люди

1045

Зач.: этих людей, тот, который спросил меня

1046

Зачеркнуто: невысокий

1047

Зач.: особенно хорошо сидевший на высоком седле

1048

Зач.: тонко

1049

Зач.: спокойные

1050

Зач.: приехал

1051

Зач.: опять в лицо

1052

Зач.: Он поглядел

1053

Зач.: на знакомом мне по странным гортанным звукам чеченском языке. Только что я подумал, что не тот ли это знаменитый шамилевский наиб Хаджи-Мурат, который, как мы знали, вышел к русским и был в Тифлисе, как горский офицер подтвердил мою догадку.

— Скажи воинскому начальнику, что Хаджи-Мурат приехал и мне надо видеть его.

1054

Зачеркнуто: и покачал головой

1055

Зач.: без него

1056

Зач.: кроме того

1057

Зачеркнуто: и Хаджи-Мурат принял с учтивостью <но <с> очевидно нашел это> хотя как-то странно при этом улыбнулся.

1058

Зач.: и приятные, спокойные отношения установились между ними

1059

Зач.: стоял

1060

Зач.: босыми, только что вымытыми ногами

1061

Зач.: ожидая

1062

Зач.: В этот вечер

1063

Зач.: из которых одна у него была короче другой, так что он всегда хромал

1064

Зач.: другого

1065

Зач.: Марье Дмитриевне

1066

Зачеркнуто: весной

1067

Зач.: проповедывавптй священную войну против неверных

1068

Зач.: его друзей

1069

Зач.: на него наклеветал, что

1070

Зач.: по всему же видно было, чта это была правда, он очевидно хотел вести дело с теми и с другими. Но

1071

Зач.: связанного

1072

Зач.: Он рванулся и с солдатом, который его вел, слетел с кручи Солдат убился, а он

1073

Зач.: дойдя

1074

Зач.: ушел

1075

Зач.: стал его правой рукой

1076

Зач.: не мог

1077

Зач.: он умер, схватив

1078

Зач.: — Что же он с нею сделал? — спросила Марья Дмитриевна. — Подержал, пустил, — улыбаясь ответил он, — жалко стало.

1079

Зач.: теперь

1080

Зач.: хотел бы погубить его, да у него, у Шамиля, в руках его семья

1081

Зачеркнуто: жен много

1082

Зач.: глаза его

1083

В подлиннике ошибочно: IV

1084

Зач.: всегда

1085

Зач.: нукерами

1086

Зач.: глаза его загорелись

1087

Зач.: он

1088

Зач.: вплоть подо[шел]

1089

Зач.: кричал

1090

Зачеркнуто: Во время моей службы на Кавказе,

1091

Зач.: тогда некто

1092

Зач.: и я часто запросто бывал у них

1093

Зач.: заодно и

1094

Многоточие в подлиннике.

1095

Многоточие в подлиннике.

1096

Зач.: не мог не испытывать

1097

Зач.: того особенного

1098

Зач.: самой чистой

1099

Зач.: которая

1100

Зач.: усиливалась

1101

Зач.: Я начинал уже поправляться, пароксизмы повторялись уже через два и три дня, и я с грустью собирался ехать к полку, когда

1102

Зач.: необыкновенное

1103

Зач.: выходило

1104

Зач.: на противуположной

1105

Зачеркнуто: как всегда весело радостно поздоровался с ним и пошел по

1106

Зач.: подошел

1107

Зач.: углу, за которым был домик воинского начальника, только что я повернул за угол, как навстречу мне показалась

1108

Зач.: топот

1109

Зач.: Два ехали впереди и имели вид начальников, позади их, часто стуча копытами по дороге, ехали вооруженные. Первое чувство мое было страх: тогда

1110

Зач.: Но эти всадники ехали слишком смирно, притом в конвое были донские казаки. Это были мирные, но кто такие, я не мог догадаться.

1111

Зач.: ехавши впереди

1112

Зач.: Он был в черной черкеске, с галунами на хозырях и белом бешмете, оружие на нем было с серебряными хозырями.

1113

Зач.: неширокоплечий сухой человек в папахе

1114

Зач.: стянутую ремнем без набора, на котором спереди висел большой

1115

Зач.: через плечо висела

1116

Зач.: в ноговицах и красных чувяках. Лицо этого <его> человека <у него> было самое простое <строгое и> <необыкновенно важное и строгое> спокойное, небольшой нос,

1117

Зач.: довольно толстые

1118

Зачеркнуто: под небольшими усами. Если было что особенного в лице, так это было

1119

Зач.: очень широко расставленные глаза, красивые

1120

Зач.: и влажные

1121

Зач.: человек во всей силе, и ему

1122

Зач.: мне

1123

Зач.: проехав немного

1124

Зач.: он

1125

Зач.: Я взглянул на Хаджи-Мурата и не верил своим глазам

1126

Зач.: тоже взглянул на меня

1127

Зач.: подозвав ехавшего

1128

Зач.: корноухого

1129

Зач.: к нему

1130

Зач.: которыми отличается этот язык от всякого другого

1131

Зач.: и застал Марью Дмитриевну в кухне, где она, засучив рукава, размещала по формам

1132

Зач.: что вам, — спросила

1133

Зач.: руки, комки теста.

1134

Зач.: — Где Иван Матвеевич?
— Да что случилось, зачем вам?

1135

Зачеркнуто: спуская, однако, рукава своего платья

1136

Зач.: Всадники всё еще стояли, как я их оставил. Офицер поздоровался с Марьей Дмитриевной.

— Это Хаджи-Мурат? — спросила она.

— Он самый, — повторил офицер.

Хаджи-Мурат же, вероятно поняв, что говорили о нем, улыбающимися глазами посмотрел на миловидную русскую женщину и как то странно покачал головой.

1137

Зач.: в чем дело, он

1138

Зач.: Ему очевидно страшна была ответственность, которая налагалась на него от присутствия Хаджи-Мурата, но думать было нечего, но послал вестового принести себе шашку, по дороге надел ее

1139

Зач.: Я же пошел к себе

1140

Зач.: Хаджи-Мурата, не смотря на то, что в укреплении только и речи было что о нем и между офицерами и даже между солдатами.

1141

Зач.: нему

1142

Зачеркнуто: и только на третий день

1143

Зач.: через переводчика

1144

Зач.: и невозможности <для того, чтобы> следить за ним, если бы он жил на другой квартире

1145

Далее со слов: Она отдала ему две передние комнаты *кончая:* так кончился этот вечер *текст совпадает с вариантом № 44 (стр. 405—408).*

1146

Главе I предшествует пролог варианта № 43 (стр. 394).

1147

Зач.: комендант.

1148

Зачеркнуто: сейчас увижу

1149

Зач.: милая Марья Дмитриевна

1150

Зач.: и в конце

1151

Зач.: в горской одежде, человек в пятнадцать

1152

Зач.: чувство, испытанное мною при виде этих людей, был страх и готовность борьбы. Но

1153

Зач.: очевидно составляли конвой каких то двух людей, ехавших впереди. Один из этих двух людей был очевидно офицер из горцев. Лошадь под ним была крупная, золотистая, карабахская. Сам он был сухой

1154

Зач.: человек средних лет, одетый

1155

Зач.: Это был тип очень обыкновенный на Кавказе и скорее неприятный: ни русский, ни горец, а что-то среднее. Но зато другой, ехавший с ним рядом <с ним ехал Хаджи-Мурат человек в бе> на белой, небольшой и не сытой, но превосходной по ладам, с арабской головой, лошади, прòезд которой он, очевидно, сдерживал, невольно обращал и приковывал к себе внимание: он был одет в белую черкеску без всяких украшений, только впереди на ремне был большой золотом отделанный кинжал. Папаха его была обмотана какой-то белой тканью. Он сидел на высоком седле небрежно и неподвижно, сливаясь с движеньями лошади <на высоком седле> и <равнодушно смотрел> внимательно <глядел> и задумчиво глядел перед собой. <Лошадь под ним была>

1156

Зач.: Это был, очевидно, офицер из горцев

1157

Зач.: поравнявшись со мною у дома Ивана Матвеевича, офицер из горцев, по русски с армянским акцентом

1158

Зачеркнуто: русская бородка

1159

Зач.: Плечи его казались особенно широки в белой с черными хозырями черкеске, особенно в сравнении с тонкостью стана.

1160

Зач.: что вы с ума сошли?

1161

Зач.: Да не может быть

1162

Зач.: сюда, — всё спрашивала Марья Дмитриевна

— Да кто ж его знает!

— Ну, удружил. Иван Матвеевич в канцелярии. Идите, что ли, кликните его.

— У крыльца?

— Да стоит с конвоем.

1163

Зачеркнуто: Так

1164

Зач.: глу[пости]

1165

Зач.: Ну

1166

Зач.: И она взглядывала на него, говоря с офицерами, и это не понравилось мне, <и понимал что>

1167

Зач.: а только поморщился и крякнул, и выругав еще раз писаря, он

1168

З*ач.:* шапку

1169

Зач.: на что-то

1170

Зач.: вслед

1171

Зач.: Очевидно, Марья Дмитриевна пригласила приезжих в дом. Это не понравилось Ивану Матвеевичу, и он тут же распорядился очистить для приезжих квартиру у отставного каптенармуса Лебедева, и вошел в дом, я же пошел к себе.

1172

Зач.: его

1173

Зачеркнуто: подвигам его за 12 лет с тех лор, как он перешел к Шамилю, не было конца. Теперь он вдруг передался русским, обещая воевать против Шамиля.

1174

Зач.: не хотевших покориться ему и

1175

Зач.: Гамзата

1176

Зач.: на него был донос

1177

Зач.: его схватили

1178

Зач.: его

1179

Зач.: где должны были судить. В то время, как его вели по горной тропинке, он

1180

Зач.: когда

1181

Зач.: за веревку, которою были связаны руки

1182

Зач.: ведшим его

1183

Зач.: но его нашли

1184

Зач.: Потом, когда он выздоровел и узнал, что его враг Ахмет-Хан убил всех его братьев, он решил уйти

1185

Зачеркнуто: воевал с русскими. То, что он делал у Шамиля, мы все знали

1186

Зач.: белого

1187

Зач.: однако, не только увидать его, но

1188

Зач.: было выгнала

1189

Зач.: так

1190

Зач.: так что он подарил Ивану Матвеевичу свой золотом отделанный кинжал, как только Иван Матвеевич имел

1191

Зач.: его и еще

1192

Зач.: которую похвалила Марья Дмитриевна

1193

В подлиннике ошибочно не зачеркнуто: Марья Дмитриевна

1194

Зач.: большими

1195

Зачеркнуто: и разговорился с ним

1196

Зач.: только

1197

Зач.: про то

1198

Зач.: Мое

1199

Зач.: да и Ивана Матвеевича и

1200

Зач.: про себя было правда, то же, что он рассказывал

1201

Зач.: всегда играл двойную игру и старался быть с тем, с кем ему выгоднее, хотя он и ненавидел и презирал русских собак

1202

Зач.: Что ж ему не жалко жены? Если с нею Шамиль сделает что-нибудь дурное?

Он помолчал.

— Что жена.

1203

Зачеркнуто: Вот сын. Шамиль говорит, что вырвет ему глаза, если я не вернусь. Вот сын.

1204

Зач.: русский

1205

Зач.: наружности

1206

Зачеркнуто: ровно ходил по комнате

1207

Зач.: большим

1208

Зач.: надел на бритую черную голову папаху и, взявшись жилистою

1209

Зач.: как бы спрашивая и слушая, Марья Дмитриевна показала ему блюдо и сказала: «Нукер виноват... погреб тащить».

1210

Зач.: благодарю

1211

Зач.: Мегирек, всё равно, — и он

1212

Зач.: на нее

1213

Зач.: Она поняла, что он говорил, что ему всё равно, что одно, что ему нужно и больно — это его жена, которая в горах.

1214

Зач.: продолжал показывать на себя и на нее, и потом

1215

Зач.: и опустил голову <и легко, как кошка> <перек> <веко> вставив ногу в стремя, сел на высокое седло.

1216

Зачеркнуто: На этом они расстались в этот вечер, но между ними во взглядах и улыбках произошло нечто большее, чем простой дружеский разговор и воспоминание об этих взглядах и улыбках стало для Марьи Дмитриевны выше многих и многих других воспоминаний. Воспоминание это и для Хаджи-Мурата было одно из самых радостных его воспоминаний во время пребывания у русских; он почувствовал, что он полюбил. На другой день, когда они уезжали, и он опять в своей боевой черкеске, с пистолетом и шашкой, хромая, вышел на крыльцо и, пожимая руку, прощался с ней, Марья Дмитриевна с ласковой улыбкой подала ему корзиночку с абрикосами, он опять улыбнулся и, поспешно отвязав от своих часов сердоликовую печатку, подал ей. Марья Дмитриевна взяла и поклонилась ему.

— Бог даст, Бог даст, — сказала она. Он еще раз улыбнулся вчерашней улыбкой. Хаджи-Мурат тронул своего кабардинца, и <скры> вся их конница тронулась

1217

Зач.: долго

1218

Зач.: и до... июня Марья Дмитриевна не видела еще лица Хаджи-Мурата <мы долго> <слышно было>

1219

Зач.: его

1220

Зач.: Но прошло

1221

Зачеркнуто: Увидала она это лицо через месяц при следующих условиях. В крепости, где жила Марья Дмитриевна, совсем забыли про Хаджи-Мурата

1222

Зач.: Ивана Матвеевича и остался

1223

Зач.: кликнув денщика, пошла по улице

1224

Зач.: была уже ночь

1225

Зач.: белый город [*В предыдущем варианте у Толстого:* белые горы, *переписчица же ошибочно переписала:* белый город].

1226

Зач.: вдруг

1227

Зач.: Опять

1228

Зач.: подумала

1229

В подлиннике ошибочно: Они

1230

Зачеркнуто: Когда Иван Матвеевич вернулся, он застал Марью Дмитриевну в спальне

1231

Зач.: у окна.

1232

Зач.: Маша, где ты! пойдем же, Каменева надо уложить. Слышала радость. — Радость?

1233

Зачеркнуто: ты знаешь, он бежать хотел. Убил человек пятнадцать.

1234

Зач.: Положим, что он глупо сделал, что показал тебе. Да все таки печалиться тут не о чем.

1235

Зач.: не слушала мужа, разбранила его, а потом расплакалась. И он вдруг

1236

Зач.: печатку

1237

Зач.: Он добрый был

1238

Зач.: а я говорю добрый. И наверное знаю

1239

Зач.: очень, очень

1240

Далее тот же текст, что в варианте № 42 от слов: когда они уселись за чайный стол *до слов:* на эти глаза, желтую кожу и рот *(стр. 391—394).*

1241

Зач.: Хаджи-Мурат родился

1242

Зач.: в небогатом аварском семействе Гаджевых

1243

Зач.: сын

1244

Зачеркнуто: Дед Хаджи-Мурата <Дед его был уважаемый всеми человек, ученый и набожный старик, ходивший в Мекку и носивший чалму. Отец его был известный джигит храбрец>

1245

Зач.: только из за того, чтобы отличиться и получить награды

1246

Зач.: знание

1247

Зач.: истребление

1248

Зач.: Хаджи-Мурату было 12 лет, когда появился Кази-Мулла, и проповедь его не доходила до него. Тем более, что первое время своего детства и юности Хаджи-Мурат проводил в веселии и роскоши.

1249

Зач.: аварской ханшей

1250

Зач.: Уже после этого она родила сына, которого назвали Хаджи-Муратом. Ханша полюбила кормилицу и ее сыновей: старшие Осман и Хаджи-Мурат часто приходили во дворец и играли с молочными братьями — с молодыми ханами — Омар-Ханом и Буцал-Ханом. Молодые Гаджиевы — Осман и Хаджи-Мурат были как орлы смелы, ловки и сильны, особенно Хаджи-Мурат, и умны, и молодые ханы любили и ласкали их. Они вместе охотились

1251

Зач.: нагнувшись покорно слушая

1252

Зач.: сидели по сторонам приезжего

1253

Зач.: стороне

1254

Зачеркнуто: позвал

1255

Зач.: стал. *Ошибочно не зачеркнуто:* повторять

1256

Зач.: сущего

1257

Зач.: против

1258

Зач.: Когда Хаджи-Мурат пришел в аул, он вот что

1259

Зач.: старики

1260

Зач.: когда

1261

Зач.: легкими

1262

Зач.: Это были солдаты

1263

Зачеркнуто: В это же время отрочества Хаджи-Мурату было тринадцать лет, ему пришлось увидать то, что <на веки> всю жизнь его <приложи> дало направление всей его жизни.

1264

Зач.: В августе, на другой год после <его> своей женитьбы он с матерью и женою

1265

Зач.: взял лепешку и своими сильными ногами легко

1266

Зач.: Когда он пришел туда, он увидал огромную толпу горцев, которые стояли среди солдат.

С четырех сторон стояли в несколько рядов эти бритые люди.

1267

Зач.: Весь двор крепости был полон народа

1268

Зач.: огромная

1269

Зач.: народа

1270

Зач.: Перед горцами стояли ряды

1271

За.: солдат

1272

Зач.: и избить их

1273

Зачеркнуто: что эти нака[зывались]

1274

Зач.: наказыв[ают]

1275

Зач.: Роскошь, власть ханская, молодечество была

1276

Зач.: молодечество

1277

Зач.: Всё это веселило Хаджи-Мурата и льстило его тщеславию но

1278

Зач.: <совсем> жизнь <сторона>

1279

Зач.: незаметно для него самого, дававшая ему

1280

Зач.: характер

1281

Зач.: мальчика

1282

Зач.: по своему

1283

Зач.: муллу

1284

Зач.: ученого и

1285

Зач.: И потому Хаджи-Мурат обучался сначала дома арабской <для добы>

1286

Зач.: но в этой битве

1287

Зач.: на седле

1288

Зач.: тело отца с вися

1289

Многоточие в подлиннике.

1290

Зачеркнуто: очень

1291

Зач.: он

1292

Зач.: его

1293

Зач.: Вскоре по окончании учения, когда

1294

Зач.: случилась <горцы напали ночью на солдат, расположившихся в их ауле, и уже десятый месяц грабивших и позорящих и <со> перерезали более двадцати человек>

1295

Зач.: страшное

1296

Зач.: грабежами и

1297

Зач.: сговорились и ночью

1298

Зачеркнуто: его сын

1299

Зач.: человек

1300

Зач.: еще

1301

Зач.: десятерых

1302

Зач.: всех

1303

Зач.: для казни день в Цельмес, так же как и во

1304

Зач.: приехал вестник, вызывая народ для присутствования на казни <так же как и из Цельмеса>

1305

Зач.: двинулся толпами

1306

Зач.: назначенному

1307

Зач.: пошел

1308

Зач.: он

1309

Зач.: Это были бритые люди в белых куртках и черных суконных штанах, в сапогах и

1310

Зач.: Этих людей, солдат

1311

Зач.: Впереди рядов было несколько людей с висевшими на них пестрыми круглыми вещами <с пестрыми плечами>. Это были барабанщики. На одном же барабане, такой круглой вещи недалеко <на одной из таких круглых вещей в середине пустого места>

1312

Зач.: в середине

1313

Зач.: толстомордый

1314

Зач.: бешмете

1315

Зач.: черных штанах

1316

Зач.: этому начальнику — это был генерал

1317

Зач.: трубку

1318

Зач.: Толстый

1319

Зач.: страшно загремело что-то. Это ударили барабаны. Как только ударили барабаны, солдаты <люди>

1320

Зачеркнуто: свой

1321

Зач.: В[се]

1322

Зач.: посреди них

1323

Зач.: и с цепями на ногах <Хаджи-Мурат перечел их; их было десять>

1324

Далее отчеркнуто на полях с надписью: пр[опустить], *кончая словами:* аулы будут сожжены.

1325

Зач.: и всё так затихло, что можно было слышать, как кричали <орлы>.

1326

Зач.: его слуг

1327

Зач.: что-то

1328

Зач.: солдаты

1329

Зач.: подъехавшей

1330

Зач.: между тем, разобрав палки, <все солдаты по команде> стали улицей от начальника и до того ряда солдат, который задерживал зрителей. В это время два солдата кузнеца

1331

Зач.: их

1332

Зач.: <Когда они кончили, в одно и то же <время> мгновение> Начальнику опять подали трубку, <он> сделал <еще> какой-то знак трубкой и что-то сказал и опять загремела дробь барабанов.

Два <горца> солдата подошли к тому горцу, с которого сняты были кандалы и начали снимать с него бешмет. <Сняли с горца и бешмет> Когда цепи были сняты, горец сам скинул <солдат> с себя засаленный бешмет. <Когда они сняли бешмет, горец>

1333

Зачеркнуто: солдат

1334

Зач.: так же стряхнул с себя и штаны и остался голый

1335

Зач.: красивое

1336

Зач.: Когда его

1337

Зач.: обнаженного горца

1338

Зач.: черноглазый

1339

Зач.: против них

1340

Зач.: неестественно

1341

Зач.: еще раз

1342

Зач.: В глубине же души был очень не

1343

Зач.: и потому посещение Хаджи-Мурата было опасно

1344

Зач.: действительно был рад этому посещению

1345

Зач.: как родственник, хозяин дома и кунак, он не мог выдать Хаджи-Мурата.

1346

Зач.: Но вместе с тем <как подвластный Шамилю> он боялся <его гнева> и Шамиля и ответственности за свое гостеприимство <человеку, приговоренного> врагу Шамиля <к смерти> и потому желал теперь только одного, чтобы Хаджи-Мурат как можно скорее без столкновения с жителями убрался от него. Хаджи-Мурат же, как бы испытывая своего кунака и свое счастье, проводил ночь не в лесу с своими <нукерами> мюридами, где он был почти в безопасности, а в подвластном Шамилю ауле, где по всем вероятиям жители нападут на него, чтобы задержать его, потому что эта игра с жизнью и опасностью была приятна и привычна ему.

1347

Зач.: уже

1348

Зачеркнуто: точно так же

1349

Зач.: был его отец. Отец не любил Хаджи-Мурата. Но Хаджи-Мурат любил своего отца, любовался его силою, его ловкостью и, зная

1350

Зач.: отцом и может

1351

Зач.: отложил

1352

Зач.: Один раз когда

1353

Зач.: уже

1354

Зач.: текст варианта № 50 со слов: он один, без матери, на старом осле *кончая:* их всех собрали сюда, чтобы они (*стр. 427*).

1355

Зач.: в крепости

1356

Зач.: у крепости

1357

Зач.: Хаджи-Мурат знал, об этом говорили все в аулах, о том, как горцы, чтобы отомстить русским за все насилия, которые они делали над горцами, напали на одну роту солдат и побили их, и теперь понял из слов горцев, среди которых он протеснился, что теперь собирались наказывать тех, которые сделали это. Перед горцами зрителями стояли в несколько рядов русские солдаты.

1358

Зач.: всеми

1359

Зач.: солдат

1360

Зачеркнуто: Между ними ходили люди без ружей, с одними тонкими длинными кинжалами, — это были офицеры.

1361

Зач.: десятков

1362

Зач.: барабанами

1363

Зач.: повешенными

1364

Зач. : В самой середине сидел на

1365

Зач.: <перед вор[отами]> *Ошибочно не зачеркнуто:* на барабане

1366

Зач.: от ворот сидел

1367

Зач. : расстегнутый, в черных штанах и

1368

Зач.: Вокруг

1369

Зач.: и солдат. Это был генерал начальник

1370

Зач.: краснолицый, с запухшими глазами генерал

1371

Зач.: и одна сторона солдат расступилась и между солдат вывели десять <ворота крепости отворились>

1372

Зач.: люди и заговорили

1373

Зач.: слова

1374

Отчеркнуто с надписью на полях: пр[опустить]: Народ застонал, увидав ведомых на казнь, потому что все знали, что это были добровольные мученики джигиты. Русские объявили, что, если аулы не выдадут главных виновников, все аулы будут сожжены.

1375

Зач.: Когда пленники, подпоясанные ремнями без кинжалов, в цепях на ногах, остановились,

1376

Зач.: как думал Хаджи-Мурат

1377

Зач.: на чистое место с бумагой

1378

Зачеркнуто: сначала

1379

Зач.: Он читал: <По> «1824-го [года] 17 дня августа горцы селения..... предательски ночью напали на расположенную в их селении роту и изб[ив] умертвили 112 человек русских.....»

1380

Зач.: с брюхом и заплывшими глазами

1381

Зач.: одной стороны

1382

Зач.: из ворот

1383

Зач.: одного

1384

Зач.: <до другого> Хаджи-Мурат только мельком видел движенье солдат, он не спускал быстрых глаз с начальника и обнаженного человека; он видел связь между ними. Начальник что-то крикнул, и солдаты повели обнаженного человека за ружья, к которым он был привязан.

1385

Зач.: отделял

1386

Зач.: кузнец

1387

Зач.: как только

1388

Зач.: в одно и то же мгновение <время> поднялся стон в горском народе и начальнику с заплывшими глазами

1389

Зач.: Терпи, алла рассудит. Придет и их час, — проговорил дед, и все затихли и, вытянув головы и задержав дыхание, стали смотреть. <Но вот к одному из осужденных>

1390

Зач.: Солдаты хотели снять рубаху, но горец не дался им и

1391

Зач.: так! так!

1392

Зач.: Когда солдаты взяли его за руки, чтобы привязать их к ружью

1393

Зач.: эти

1394

Зач.: эти

1395

Зач.: тонкий стан его рванулся назад

1396

Зач.: кожа

1397

Зач.: белое

1398

Зач.: И началась казнь.

1399

Зачеркнуто: красавцу

1400

Зач.: и стали раздевать его

1401

Зач.: снести их

1402

Зач.: лезгин

1403

Зач. : размозжил ему голову

1404

Зач.: Солдаты схватили ружья и, взяв их на перевес, подошли к лезгину

1405

Зач.: Схватив ружье, он бросился на штык и

1406

Зач.: его за

1407

Зач.: и протяжно тонким голосом запел: «ляилаха-илла-ллах», но он не пропел этих <сво[их]> слов и двух раз как

1408

Зач.: несправедливости

1409

Зач.: и потом, когда <это раздраженье доведено до крайних пределов, проповедуют теорию о том, что с такими народами нельзя обращаться кротко, а надо устрашать их своими жестокостями> народы эти раздражены и сами начинают употреблять такие же насилия, как и те, которые употребляют над ними, говорят, а иногда и думают, что справедливость и кротость не приложимы в отношениях с такими народами, а что единственное средство общения с <такими> ними есть устрашение их самыми ужасными жестокостями.

1410

Зач.: им

1411

Зач.: ставили карантины и

1412

Зач.: горцев, не имеющих никакого понятия ни о чуме, ни о карантинах

1413

Зач.: полковник Эристов без всякого повода и надобности

1414

Зач.: ую Чечню

1415

Зач.: побили

1416

Зач.: так это было в сотнях и тысячах других безумных несправедливостей и жестокостей, которые совершались над горцами и считались полезными и даже законными.

1417

Зачеркнуто: начальник полка на Кавказе считал такой взгляд грубой ошибкой

1418

Зач.: советы

1419

Зач.: Так

1420

Зач.: вешавший горцев за бока на крюки

1421

Зач.: пугала привыкших к жестокости горцев

1422

Зач.: повешенный

1423

Зач.: чеченец

1424

Зач.: <обманы и> подлости

1425

Зач.: сплочал горцев между собой, и уже несколько раз появлялись вожаки, проповедующие религиозное учение, главной основой которого была борьба с гяурами и освобождение от них

1426

Зачеркнуто: Хаджи-Мурат родил[ся]

1427

Зач.: земле

1428

Зач.: аула

1429

Зач.: второго

1430

Зач.: наотрез отказалась. Абдулла объявил жене, что он убьет ее, если она не пойдет в кормилицы. Патимат повторила, что не пойдет. Между мужем и женой началась ссора.

1431

Зач.: бросился на жену с кинжалом

1432

Зач.: Абдуллы 3-ий

1433

Зач.: На шум прибежавший народ остановил Абдуллу

1434

Зач.: и как раненый зверь своими

1435

Зач.: готовясь умереть, но не отдать ребенка.

1436

Зач.: ему стали брить голову

1437

Зачеркнуто: на ее белом боку

1438

Зач.: и бойкий

1439

Зач.: и его собирались женить на девушке, которая не нравилась ему

1440

Зач.: однажды

1441

Зачеркнуто: один раз

1442

Зач.: он застал у деда двух незнакомых посетителей <у сакли деда стояли>

1443

Зач.: лошадей

1444

Зач.: особенно обратил внимание Хаджи-Мурата. Это

1445

Зач.: с необыкновенно широкой подпругой

1446

Зач.: настоящий кабардинец

1447

Зач.: <видно было> <мал.>

1448

Зач.: за

1449

Зач.: из тех мест, где люди

1450

Зач.: а воюют с ними

1451

Зач.: Читавший был

1452

Зач.: Он точно читал

1453

Зач.: сидел

1454

Зач.: тонких

1455

Зач.: джигит

1456

Зач.: упиравшийся

1457

Зач.: упиравшийся концом

1458

Зачеркнуто: Кроме гостей, в сакле сидело еще несколько молодых людей из Гоцатля.

1459

Зач.: Приезжий <Хаджи>

1460

Зач.: «Магометанин не может быть ни <магометанину потому> <говорит что>

1461

Зач.: говорил он, очевидно передавая речи своего учителя. Он говорит что

1462

Зач.: для мусульманина

1463

Зач.: или через деньги или посулы покорится неверным

1464

Зач.: говорит

1465

Зач.: говорит

1466

Зач.: Хаджи говорил всё это и еще многое, и говорил так значительно, и слова его так отвечали желаниям Хаджи-Мурата, скучавшего бесцветною, домашнею, рабочею жизнью, что он, жадно <слушая хаджи, мечтал <решил> о том, как он бежит в горы и станет мюридом> впивал в себя каждое его слово

В особенности же, еще больше чем речь хаджи, действовало на Хаджи-Мурата

1467

Зач.: в обтягивавших его ступни красных чувяках

1468

Зач.: другой раз выручил трех пленных, третий раз убил восемь человек и

1469

Зач.: Джигит смотрел перед собой

1470

Зачеркнуто: И вид этого человека более всего манил Хаджи-Мурата в горы, в боевую жизнь мюридов

1471

Зач.: с другими молодыми людьми

1472

Зач.: подать им лошадей и держать стремя. Когда хаджи сел на лошадь, он оглянул молодых людей, стоявших около него и

1473

Зач.: человек

1474

Зач.: Кто

1475

Зач.: Хамзом-Нура

1476

Зач.: у него

1477

Зач.: и что отец его и брат Осман продолжали дружить с ханами, признававшими над собой власть русских

1478

Зач.: состояло в том, что Хаджи-Мурату пришлось присутствовать при наказании русскими десяти лезгинов, обвинявшихся в том, что они напали на русских и

1479

Зачеркнуто: стоявших в их а[уле]

1480

Зач.: десятерых

1481

Зач.: с пешим народом, пришедший туда же

1482

Зач.: Их было столько, что нельзя было сосчитать. <Они>

1483

Зач.: через который шла дорога и

1484

Зач.: середине

1485

Зач.: на толстой голове с красными щеками

1486

З*ач.*: главный

1487

Зач.: русских

1488

Зач.: и в то же время

1489

Зач.: говор народа

1490

Зач.: низших начальников

1491

Зач.: которую держал в руке

1492

Зачеркнуто: разбиравшие

1493

Зач.: Когда солдаты расставились по местам, два из них

1494

Зач.: своим

1495

Зач.: выпуская через усы дым трубки

1496

Зач.: смотрел

1497

Зач.: скоро

1498

Зач.: и мокрая от крови

1499

Зач.: только руки выше локтя были белы и шея до того места, где она загорела.

Сначала горец молчал, но когда его поворотили назад, он стал стонать, и стон его, хотя и не громкий, не переставая, выделялся из за грохота барабанов.

1500

Зач.: Со вспухшей красной спины сочилась кровь на обе стороны и окрашивала палки, ударявшие по ней, по

1501

Зач.: тащить его и

1502

Зач.: спине

1503

Зачеркнуто: Наконец он

1504

Зач.: ничком

1505

Зач.: солдаты положили

1506

Зач.: горца

1507

Зач.: Страшный визг поднялся в толпе, как только затихли барабаны, и две женщины, как потом узнал Хаджи-Мурат, жена и мать убитого, окруженные толпой, кинулись к избитому.

Вслед за этим солдаты подошли

1508

Зач.: Так было со всеми десятью

1509

Зач.: этим

1510

Зач.: маленькой

1511

Зач.: угрожая ему штыками

1512

Зач.: он как будто только и

1513

Зач.: Когда Хаджи-Мурат вспоминал то, что видел, он весь дрожал от злобы <и бессильного желания мести> и желания заставить русских свиней <страдать так же, как они заставили страдать его единоверцев>

1514

Зач.: и намерение его

1515

Зач.: и вместе с ними воевать против поганых гяуров

1516

Зач.: исполнить это желание

1517

Зачеркнуто: не решался один бежать в горы, так как он

1518

Зач.: еще прежде говоривший с сыном муллы

1519

Зач.: о своем намерении, теперь уговорил его

1520

Зач.: и караул, выставленный ханом, для препятствования жителей Аварии переходить к мюридам.

1521

Зач.: вышли в десятом часу ночи на дорогу. Ночь была зимняя, темная, и пошел такой снег, что в десяти шагах ничего не было видно. Выждав в стороне

1522

Зач.: <они вышли> Когда они вышли на дорогу

1523

Зач.: снег выпал такой глубокий, что

1524

Зач.: к такому месту, где конные не могли преследовать его, так что, когда караульные проскакали за ним, он уже подбегал своими быстрыми ногами к той круче, с которой он соскочил и где конные уже не могли взять его. На

1525

Зач.: догнать и по

1526

Зачеркнуто: молодечество

1527

Зач.: сразу

1528

Зач.: и заставили его, Хаджи-Мурата

1529

Зач.: сам Кази-Мулла <был> подступил к Хунзаху и в сражения под самым аулом был убит в сражении с русскими. В этом же сражении и вслед за этим был убит

1530

Зач.: себе

1531

Зач.: Вслед за этим был убит и Кази-Мулла.

1532

Зач.: и ему нельзя было уходить к ним

1533

Зач.: Он был полон радости жизни и ему

1534

Зачеркнуто: что

1535

Зач.: К празднику Курбан-байрама он скакал на коне хана и обскакал всех лошадей и был так резв, что

1536

Зач.: и, обвешанный кинжалами, был введен в круг зрителей, приветствовавших его.

Это было веселое, беззаботное время, когда всё удавалось Хаджи-Мурату и казалось

1537

Зач.: попадал без

1538

Зач.: 10

1539

Зач.: сажен

1540

Зач.: Булач

1541

Зач.: с предложением покориться ему. В противном случае, угрожал нападением.

1542

Зач.: старшим

1543

Зач.: Омаром ехать

1544

Зач.: мюридов

1545

Так в подлиннике.

1546

Зач.: снарядила сына с

1547

Зачеркнуто: от Хамзата

1548

Зач.: еще

1549

Зач.: В последнее время слышно было, как жители одного аула за другим из близких к Хунзаху переходили на сторону Хамзата. И потому

1550

Зач.: этих бритых, жестоких, неверных свиней

1551

Зачеркнуто: мой

1552

Зач.: кривой

1553

Зач.: с молодыми

1554

Зач.: глядя на людей, проходивших из под горы в палатку с угощениями.

1555

Зач.: Хамзата

1556

Зач.: были приближенные мюриды Хамзата, стоял и самый заметный из них Шамиль, бывший любимый мюрид Кази-Муллы, уже тогда известный своей храбростью и силой. Здесь Хаджи-Мурат в первый раз увидал его. Шамиль был тогда

1557

Зачеркнуто: отрубленную

1558

Зач.: бежать

1559

Зач.: полковник русской службы

1560

Зач.: И большинство аварцев так и понимало его

1561

В подлиннике ошибочно не зачеркнуто: Когда

1562

Зач.: и рассказал ему, что случилось, дед

1563

Зачеркнуто: самые горячие

1564

Зач.: и ханши

1565

Зач.: против

1566

Зач.: она

1567

Зач.: 1-го сентября был магометанский

1568

Зач.: сидевших

1569

Зачеркнуто: Люди в бурках подбежали

1570

Зач.: Хамзата

1571

Зач.: он

1572

Зач.: После смерти Хамзата и с этого времени Хаджи-Мурат стал влиятельным лицом в Аварии.

1573

Зачеркнуто: IV (4). То, что видел Хаджи-Мурат, было одним из тех тысяч ужасных последствий соседства русских <с Кавказскими народами>

1574

Зач.: или

1575

Зач.: или

1576

Зач.: считались кавказцами

1577

Зач.: и бессовестных

1578

Зач.: и проповедывал

1579

Зач.: которая одна

1580

Зач.: И жестокость свою он доводил до невероятных пределов.

1581

Зач.: какое то нападение на

1582

Зачеркнуто: повешенный

1583

Зач.: горец после страшных мучений, в которых он должен был умереть

1584

Зач.: когда Ермолову донесли об этом. Это было в Тифлисе.

1585

Зач.: горца

1586

Зач.: и пошел со своими приближенными обедать и развлекаться веселыми военными разговорами

1587

Зач.: людьми

1588

Зач.: Так, тот же Ермолов прямо приказывал ссорить между собой ханов, то поддерживая одних, то поддерживая других и подсылая к ним людей, долженствующих раздражать их друг против друга.

Казнь, которую видел Хаджи-Мурат, была одной из таких считавшихся полезными жестокостей.

1589

Зач.: в это самое время, когда Хаджи-Мурат видел казнь

1590

Зач.: Такой образ действий, доводя горцев до крайних пределов раздражения, ненависти, желания мести, оправдывал в их глазах всю ту жестокость, с которой они, когда могли это делать, обращались с русскими.

1591

Зач.: из среды его наибов

1592

Зачеркнуто: со всей силой огромнейшего

1593

Зач.: казнил

1594

Зач.: всех

1595

Зач.: отвагой

1596

Зачеркнуто: из всех плоских крыш курился дым и стелился от тумана, поднимавшегося с лощины по всему аулу.

1597

Зач.: юным

1598

Зач.: сел молча, считая неприличным спрашивать странника.

1599

Зач.: кликнул в саклю ма[льчика]

1600

Зач.: тесть

1601

Зач.: лошадь

1602

Зач.: сел на

1603

Зач.: не

1604

Зач.: бежать к

1605

Зач.: а <рас>сказал ему, что намерен сделать набег на русскую крепость Воздвиженекое, находившуюся не более как в пятнадцати верстах от аула, и просил дать

1606

Зач.: и дорогую шашку

1607

Зач.: дать ему проводника до цепи русских

1608

Зачеркнуто: не веря, с своей стороны согласился

1609

Зач.: знал, что Хаджи-Мурат намерен бежать и что Шамиль дал предписание всем горцам задержать Хаджи-Мурата, желал только одного

1610

Зач.: <отделаться от> выпроводить из своего дома зятя, которого он не мог выдать теперь, как своего гостя

1611

Зач.: может

1612

Зач.: Толпа не

1613

Отчеркнуто с надписью: пр[опустить]:

Хаджи-Мурату постелили <ковер> бурку, он сел на нее, разделся, обмыл ноги. <Сафедин достал ему из переметных сумок другую черкеску, бешмет, папаху. Он надел всё это>

1614

Зачеркнуто: и рассказал

1615

Зач.: сын[у]

1616

Зач.: Аул

1617

Зач.: взма[хивая]

1618

Зач.: это время как Хаджи-Мурат под[ъезжал]

1619

Зач.: бывший одним из главных наибов Шамиля

1620

Следует: 1851

1621

Зачеркнуто: этим малым войском успел разорить

1622

Зач.: и безнаказанно уйти от преследующих его русских войск

1623

Зач.: дорогих вещей

1624

Зач.: Шамиля. Он напал

1625

Зач.: Шамиля

1626

Зач.: и заперся в ауле Цельмесе

1627

Зач.: согласился

1628

Зач.: Хаджи-Мурат хотел ехать к Шамилю, чтобы лично объясниться с ним, но друзья его объявили ему, что Шамиль хочет <решившегося> казнить его. Тогда Хаджи-Мурат решил бежать к русским.

1629

Зач.: проводника.

1630

Следует: 1851

1631

Зачеркнуто: без снега, свежий

1632

Зач.: плоскокрыших

1633

Зачеркнуто: Это б[ыло] в 1851 году.

1634

Зач.: и начале 50-х годов

1635

Зач.: своим молодечеством и даже военным искусством

1636

Зач.: управлявший всею Аварией и удивлявший всех своими смелыми набегами, не перестававший тревожить и побеждать русских.

1637

Зач.: 1851

1638

Зач.: Это было в 1851 году.

1639

В подлиннике слова: с гостем, *стоят после слова:* глаза

1640

Зачеркнуто: Садо принес

1641

Зач.: принесли

1642

Зач.: и Садо принес ковры, предлагая им успокоиться

1643

Зач.: уже было

1644

Зач.: и Садо предложил гостям успокоиться

1645

Зач.: быть

1646

Зач.: наказанным

1647

Зач.: запретившим

1648

Зач.: своим

1649

Зач.: требовавшим доставки его к себе живым или мертвым и даст награду.

1650

Зач.: давно

1651

Зач: его. Хаджи-Мурат точно так же знал про угрожавшую ему опасность, но он так привык.

1652

Зач.: игра жизнью были ему привычны. Опасность не была большая.

1653

Зач.: с сыном в Гоцатле

1654

Зач.: видел их

1655

Зач.: они там

1656

Зач.: Но

1657

Зач.: приказал держать их до тех пор, пока ты не приедешь к нему.

1658

Зачеркнуто: Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат

1659

Зач.: ездил

1660

Зач.: и как Мустафа об[ещал]

1661

Зач.: это

1662

Зач.: утвердительно

1663

Зач.: Воздвиженскую

1664

Зач.: улыбаясь беззубым ртом

1665

Зач.: улыбаясь

1666

Зач.: не спуская глаз смотре[л]

1667

Зач.: молодой человек, забритый три года тому назад и тотчас же поступивший на Кавказ в Куринский полк. Он был родом из Владимирской губернии.

1668

Зачеркнуто: Несмотря на то, что его уже два раза наказывали жестоко розгами за неповиновение, пьянство и попытку побега, был <особенно> любим всеми товарищами и особенно мрачным Пановым, бывшим его дядькой. Петр Никитин был <забрит> из помещичьих крестьян.

1669

Зач.: жена

1670

Зач.: Никитин

1671

Зач.: еще

1672

Зач.: теперь он раскаялся в своем добром поступке, и тоска съела его.

1673

Зач.: но тоска все хуже и хуже одолевала его. Два раза он думал бежать, даже выходил за крепость, но молился и проходило. Особенно тяжело было Петру, что солдаты товарищи, которые по его соображениям должны были испытывать то же, что и он, не только не понимали его и, когда он заговаривал о своей тоске, смеялись над ним, но, напротив, как будто были совсем довольны своей жизнью и гордились ею.

1674

Зач.: он был

1675

Зач.: даже не старался служить или чем нибудь улучшить свою жизнь, а не переставая тосковал.

1676

Зач.: землю и отчищая под собою сухие листья и ветки

1677

Зач.: отвечал

1678

Зач.: Тут, брат, не об жене думай, — а служи царю и отечеству, вот и всё.

1679

Зач.: что правда:

1680

Зач.: Тогда только был убит Слепцов <Сказывают> <Должно убили, — сказал Панов, — что ж кому что написано>

1681

Зачеркнуто: мужик, ходить не умеешь

1682

Зач.: прямее

1683

Зач.: Говорят, так на месте и положили, — сказал Кондицкий.

1684

Зач.: А я считаю, что хуже. Что мужик — последний человек, — сказал Панов.

1685

Зач.: еще, как живал прежде в мужиках

1686

Зач.: птички поют

1687

Зач.: видно

1688

Зач.: как будто

1689

Зач.: Вишь ты, как расписывает, — сказал он сердито.

1690

Зач.: Кондицкий, давай покурить <сказал Панов>

1691

Зач.: тихим голосом

1692

Зач.: Только что проговорил это Панов, как впереди их послышался свисток.

1693

Зачеркнуто: сухой

1694

Зач.: Бери ружья, готовься.

1695

Зач.: — Солдат стрелять не надо, — послышался голос в темноте.

— Кто идет, говори!

1696

Зач.: чеченец
— Стой не трогайся, — сказал Панов. — Это лазутчики.

1697

Зачеркнуто: <был так привлекателен> как и все солдаты, ничего не боялся или делал вид, что ничего не боится, и, кроме того, был так привлекателен и наружностью и мягким, в душу идущим голосом, что все бабы и девки любили его.

1698

Зачеркнуто: выехал, никем не тронутый

1699

Зач.: споры, крик

1700

Зачеркнуто: Весь обед разговор вертелся на

1701

Зач.: сидевший подле княгини очень рад был случаю разговориться и рассказать, что он знал про подвиги Хаджи-Мурата и те случаи, когда ему приходилось иметь с ним дело.

1702

Зач.: он ворвался в Темир-Хан-Шуру <в самую середину русских войск и как>

1703

Зач.: как шла легенда о его заколдованности. Воронцов с приятной улыбкой слушал рассказ храброго генерала.

1704

Зачеркнуто: пришли

1705

Зач.: на выручку, как

1706

Зач.: Тут я видел его самого

1707

Зач.: ранил его

1708

Зач.: налившие друг

1709

Зач.: вдруг замешательство, передавшееся почти всем присутствующим. Только сам Воронцов всё продолжал улыбаться, хотя почувствовалась ненатуральность в его улыбке.

1710

Зач.: в подтверждение того, что Хаджи-Мурата считали заколдованным, рассказал, как в 45 году, в сухарной экспедиции, Хаджи-Мурат наскочил на свежий батальон, обсыпавший пулями нападавших на них, остался жив и еще сумел с своими мюридами отбить наши орудия.

1711

Зач.: <назвал часть> <это дело> одно из дел Даргинской экспедиции.

1712

Зач.: <Что и было справедливо, потому что> А... про этот несчастный поход в Дарго.

1713

Зач.: люди, знавшие взгляд на это дело

1714

Зач.: многих <сотни>

1715

Зач.: генералов

1716

Зачеркнуто: так называемая сухарная экспедиция, состоявшая в том, что надо было выручить обоз с сухарями

1717

Зач.: эту ошибку

1718

Зач.: в присутствии Воронцова

1719

Зач.: поторопилась исправить дело, заговорив с генералом про

1720

Зач.: Утром на другой день Хаджи-Мурат был представлен

1721

Зач.: в приемной князя сидело дожидаясь

1722

Зач.: к наградам

1723

Зач.: за полгода следуемых

1724

Зач.: Он не был принят, и адъютант

1725

Зачеркнуто: Когда тело его, покрытое

1726

Зач.: любила ее

1727

Зач.: ее

1728

Зач.: потому мы были вхожи

1729

Зач.: Первое мое сражение было под Хунзахом.

1730

Пропущено слово, в следующей рукописи вставлено: 18

1731

Зачеркнуто: стал мюридом. Да это вам не нужно?

— Нет нужно. Как же это было?

— А вот так: прежде к деду моему тайно ездил из гор мюрид Кази-Мулла и проповедовал хазават. Я хотел тогда уйти в горы, но боялся и отца и братьев. Но вот когда я убил человека, я уже решил бежать в горы.

1732

Зач.: я думаю

1733

Зач.: когда я догнал его и он

1734

Зач.: в меня, а

1735

Зач.: упал на луку, но держался на седле

1736

Зач.: на земь; я смотрел на него: он лежал навзничь и сказал: «ляилаха-илла-ллах» и потом взглянул на меня.

1737

Зач.: я мюрид. Будь и ты мюридом

1738

Зач.: закрыл глаза и умер. <И точно он тут же>

1739

Зач.: как я убил мюрида <его>

1740

Зач.: И Хаджи-Мурат живо вспомнил тот вечер, когда привели в аул перекинутое через седло и покрытое буркой тело отца, — и как жалко и страшно было смотреть на висящие с одной стороны, бессильно висящие, бескровные кисти когда то могучих рук и с другой — ступни когда то сильных, резвых ног, качавшихся, как мешки, при каждом шаге лошади. — И я совсем оставил намерение перейти к мюридам. Осман и я, мы должны были отмстить убийцам отца. Кази-Мулла был отбит, русские покровительствовали ханам и года два

1741

Зач.: своем

1742

Зач.: Я жил с ними. Они

1743

Зач.: я любил их

1744

Зач.: и я жил, ни о чем не думая.

1745

Зач.: и думал, что

1746

Зачеркнуто: мать, как она <сидела> под коровой и отгоняла его

1747

Зач.: спрашивал внука

1748

Зач.: погляделся

1749

Зач.: и вкус

1750

Зач.: входила

1751

Зач.: очнувшись

1752

Зач.: тоща

1753

Зач.: а ее

1754

Зач.: простила

1755

Зач.: Булач хан меньшой

1756

Зач.: Хаджи-Мурата

1757

Зач.: упомянул это имя.

1758

Зач.: убил одного человека, и он мне передал хазават, этот человек был шейх.

1759

Зач.: не может быть

1760

Зачеркнуто: Только это был особенный человек.

1761

Зач.: дело было в том, что я был молод

1762

Зач.: в счастье и довольстве

1763

Зач.: к роскоши прибавлялась роскошь

1764

Зач.: Про то, что мусульманин не должен дружить с неверными.

1765

Зач.: Кроме того я видел в Тифлисе, как повесили двух лезгин: один был старик, хороший человек, за то, что они убили солдата. А убили они солдата за то, что солдаты стояли в их ауле и бесчестили их женщин.

1766

Зач.: Я не видел больше ничего и <Я был>

1767

Зачеркнуто: Но я и не думал бояться после того <тогда>, — сказал Хаджи-Мурат, — а вот случилось и со мною.

1768

Зач.: ученый

1769

Зач.: честолюбивый человек

1770

Зач.: не столько из <любви> преданности к нему

1771

Зач.: о том, когда и где кто

1772

Зач.: на другое утро

1773

Зач.: этот самый

1774

Зач.: и стал расспрашивать

1775

Зач.: деду

1776

Зачеркнуто: кармане своего

1777

Зач.: Воронцов

1778

Зач.: <25-й> <14 декабря> <восстание гвардии>

1779

Зач.: но

1780

Зач.: Воронцова

1781

Зач.: всегда

1782

Зач.: вошел в маленькую приемную

1783

Зач.: оглядев себя в блестящем

1784

Зач.: Чернышев

1785

Зач.: Николай Павлович

1786

Зачеркнуто: ночь

1787

Зач.: провел почти без сна

1788

Зач.: посещение

1789

Исправлено из: 11

1790

Зач.: когда

1791

Зач.: благословив детей

1792

Зач.: встретивши

1793

Зач.: показалось ему

1794

Зач.: устроить

1795

Зач.: тотчас же

1796

Зач.: ничего не понимая

1797

Зач.: холодное

1798

Зач.: с положенными

1799

Зачеркнуто: закрыв свои осовелые глаза и перебирая

1800

Зач.: подвергнуть смертной казни

1801

Зач.: распоряжение

1802

Зач.: в Чечне

1803

Зач.: требовал

1804

Зач.: считал

1805

Зач.: и еще вполне

1806

Зачеркнуто: <несчастных> святых мучеников

1807

Зач.: каждому

1808

Зач.: всему тому

1809

Зач.: уголка

1810

Зач.: возвращаясь <идя теперь на своих длинных ногах>

1811

Зач.: с которым он и жил вместе

1812

Зачеркнуто: XII (12) Действительно все мысли Хаджи-Мурата были заняты одним: как выручить семью из-под власти Шамиля.

1813

Зач.: Хаджи-Мурат

1814

Зач.: об этом

1815

Зач.: о том, чтобы выкрасть его семью и вывести ее к русским

1816

Зач.: сделать

1817

Зач.: Ведено

1818

Зач.: выкрасть

1819

Зач.: ставил ему <требовал>

1820

Зач.: погибелью всего его семейства

1821

Зач.: не сомневался

1822

Зач.: поэтому

1823

Зач.: бросив

1824

Зач.: очевидно

1825

Зач.: и выхватив кинжал хотел

1826

Зачеркнуто: бросился

1827

Зач.: Тоска его мучала страшная и погода была подходящая к его настроению. Дул упорный холодный ветер. Он молился нынче уже три раза.

1828

Зач.: выкрасть

1829

Зач.: здесь

1830

Зач.: и отделиться от

1831

Зач.: и захватить его. Это одно

1832

Зач.: Магома. Кроме того, еще нужно было, чтобы удалось всё. Другое было то, чтобы

1833

Зач.: Говорить с Сафедином-нукером нечего было, с остальными тем менее.

1834

Зач.: Сафедин

1835

Зач.: Сафедин

1836

Зач.: Сафедин

1837

Зач.: зарезать этих собак казаков, которые ездили за ними и караулили их.

1838

Зач.: Хаджи-Мурату тоже хотелось, но в душе его боролись разные страсти; прежде всего его мучала злоба, зависть к Шамилю, повелевавшему и вместе с тем не джигиту <отд[аться]>

1839

Зач.: но ценившего его

1840

Зачеркнуто: завладевшему им через

1841

Зач.: через зад[нее]

1842

Зач.: Дверь в соседнюю комнату была открыта, там Сафедин точил кинжал и пел.

1843

З*ач.:* сел

1844

Зач.: Он знал эту песню и слушая повторял слова.

1845

Зач.: такая: догоняет на быстрых крыльях и ловит острыми когтями свою добычу белый ястреб. Он ловит ее и тут же с кровью сырую клюет ее. На резвых ногах догоняет, крепкими когтями рвет пестрый барс красного зверя.

Оставляет за собой Терек и переправляется на левый берег с храбрыми гихинскими наездникам смелый Хамзат.

1846

Зач.: <Дослушав песню, Хаджи-Мурат хотел войти, когда Сафедин> Тут Сафедин остановился, и Хаджи-Мурат услыхал равномерный свист клинка кинжала по камню. Кто-то точил кинжал.

1847

Зач.: было темно, только

1848

Зач.: клал бело зеленые <белые по[лосы]>

1849

Ошибочно не зачеркнуто: Курбан, *далее зачеркнуто:* Сафедин, Балта спали.

1850

Зач.: на полу кончая точить кинжал <глядел, лежа, на хозяина>

1851

Зач.: продолжал свое занятие

1852

Зач.: Сафедин

1853

Зач.: снял бешмет, оставшись в одной желтой шелковой рубахе, и расстелил бешмет на столе. Бешмет стукнул о стол.

1854

Зач.: стопочку

1855

Зач.: — Эти зашью, а больше некуда, — сказал Сафедин

1856

Зачеркнуто: своими коротко-пальцевыми <длинно> руками

1857

Зач.: Весь бешмет был прошит золотыми от груди и ниже пояса. Золотых было вшито 600 штук. Завтра поедем в горы.

1858

Зач.: и себе и молодцам и возьми хлеба и баранины. Сафедин вздрогнул и злобно улыбнулся, оскаля зубы.

1859

Зач.: Гомчаго, остановив свое занятие, радостно кивнул головой. Свист железа о камень прекратился и радостный

1860

Зач.: Всё будет, завтра, сказал он и, быстро встав, пошел к стене, на которой висело их оружие.

— Когда седлать будем?

— Я скажу.

1861

Зач.: Новашинского

1862

Зач.: и под конец

1863

Зачеркнуто: у брата на

1864

Зач.: кроме

1865

Зач.: Перед вечером в воротах <Один>

1866

Зач.: послышались

1867

Зач.: почти плясовую

1868

Зач.: и показалась пехота и артиллерия

1869

Зач.: с тем, чтобы выйти навстречу тому

1870

Зачеркнуто: как фурия

1871

Зач.: и советовали

1872

Зач.: жидкой грязи

1873

Зач.: звуки

1874

Зач.: большого количества

1875

Зач.: кружил по кустам

1876

Зач.: и стал дожидаться

1877

Зач.: дожидаться утра и тогда пробиться там, где меньше народа и где скорее можно попасть на дорогу.

1878

Зачеркнуто: сели в <углубление> яму.

1879

Зач.: Тогда стрельба со стороны Карганова затихла.

1880

Зач.: впереди

1881

Зач.: Будет, Хаджи-Мурат, сдавайся, — закричал Карганов

1882

Зач.: никто не шел, и все

1883

Зач.: И тот, выхватив шашку, бросился в кусты

1884

Зач.: Хаджи-Мурат был уже три раза ранен — в ухо, которое ему отстрелили, в плечо и ногу.

1885

Зач.: подпорки <подсошки>

1886

Зач.: в Гаджи Агу, выдвинувшегося

1887

Зачеркнуто: <Но несмотря на> Мирные остановились и стали спешиваться. <И скоро по деревьям около Хаджи-Мурата> Стрельба продолжалась, и по телам лошадей <стали шлепать> и по сучьям шлепали пули и визжа пролетали пули. Хаджи-Мурат, спрятавшись за лошадь, заряжал и <бил с подсошек только тогда, когда он был уверен, что не промахнется> не переставая стрелял <редко> не промахиваясь.

1888

Зач.: кроме Сафедина стреляли редко <не целились и> выстрелы их не <ранили, но Хаджи-Мурат и Сафедин> были так метки

1889

Зач.: ему винтовку

1890

Зач.: Сафедин стрелял

1891

Зач.: спокойно стрелял

1892

Зач.: своего мюршида

1893

Зач.: и через лошадь целились старательно. И потому и представляли цель и по ним били. В первого попали в Сафедина в ухо. Он завязал себя платком.

1894

Зач.: потом пуля попала Хаджи-Мурату в руку ниже плеча <Хаджи-Мурата сначала ранило>

1895

Зач.: выхватил из кармана.

1896

Зач.: и поспешно заткнул себе дыру и

1897

Зач.: один из них

1898

Зач.: Хаджи-Мурату

1899

Зач.: выпуская свою пулю в того, кто предлагал ему сдаться. — Ну так пропадать вам, — закричал предлагавший сдаться. Но Сафедин уже целил в предлагавшего и убил его. Сафедин медленно, но не переставая стрелял и долго целился. Но скоро и Сафедин перестал стрелять. В то время, как он целил

1900

Зачеркнуто: чтобы они сдались, но

1901

Зач.: напасть

1902

Зач.: только крикнул своим двум, чтобы они взяли

1903

Зач.: патроны

1904

Зач.: один из двух

1905

Зач.: хозыри и подал их Хаджи-Мурату. Так продолжалось еще минут десять. Один из двух оставшихся, кроме Хаджи-Мурата.

1906

Зач.: руку

1907

Зач.: стоная сидел и перестал стрелять. Другой

1908

Зач.: но не успевал

1909

Зач.: перебегая от дерева к дереву.

1910

Зач.: Хаджи-Мурат еще заткнул себе рану в плече и в ноге и весь черный, в крови и пыли, то ложился за лошадь заряжая, то поднимался, наводил ружье и стрелял.

1911

З*ач.:* голову, оторвав ухо и часть щеки.

1912

Зач.: поднялась голова окровавленная

1913

Зач.: <и с кинжалом> Но остальные были так

1914

Зач.: <пробила грудь Хаджи-Мурата. Он> ударились в тело

1915

Зач.: Одна попала в золотой на груди, другая в живот и третья в <сере> шею.

1916

Зачеркнуто: спросил его

1917

Зач.: окружил их и решил дожидаться утра

1918

Зач.: услы[хал] шаги

1919

Зач.: решил пробираться через <милиционеров> них

1920

Зач.: садиться на лошадей

1921

Зач.: ударилась в сук

1922

Зач.: лошадей и людей. Хаджи-Мурат и его нукеры рассыпались по кустам и стали отстреливаться и с первых выстрелов ранили одного человека. На выстрелы Хаджи-Мурата и его нукеров защелкали десятки ружей, но все были так далеко и <выстрелы> стреляли из такой дали.

1923

Зач.: она

1924

Зачеркнуто: выбрались между тем в кусты

1925

Зач.: и сели в нее

1926

Зач.: Потом стрельба вдруг затихла, и Карганов, подъехав к кустам, громко закричал.

1927

Зач.: сдавайся, Хаджи-Мурат, отдайся на милость князя. А то погибнешь.

1928

Зач.: а ему было всё равно умереть

1929

Зач.: вдруг

1930

Зач.: страшная

1931

Зачеркнуто: из за лошади он

1932

Зач.: Но потом он перестал и это чувствовать.

1933

Зач.: Ахмет-Хан

1934

Зачеркнуто: случаем

1935

Зач.: кавказ

1936

В подлиннике сквозь *переправлено на:* скрозь

1937

Зачеркнуто: взглянул на свою памятную записку.

1938

Зач.: еще о поляке Росоловском, оскорбившем офицера

1939

Зач.: Павлович

1940

Зач.: дело

1941

Зачеркнуто: не только

1942

Отчеркнуто с надписью на полях: пр[опустить]

1943

Зач.: в особенности после своего знакомства с Хаджи-Муратом и дружбы с ним.

1944

Зачеркнуто: на Сайдан

1945

Зачеркнуто: знаменитый бегун, прыгун и стрелок и вместе с тем

1946

Написано поверх: 28

1947

Зачеркнуто: военный министр.

1948

Зач.: повез его вместе с

1949

Зач.: к государю Николаю Павловичу. Тщеславный, хитрый, как все ограниченные люди, и безнравственный, самоуверенный выскочка Чернышев, подлостью сделавший карьеру и захвативший имение

1950

Зач.: блестя[щее]

1951

Зач.: рядом обманов, лжи, подлостью

1952

Зач.: не мог не ненавидеть

1953

Зач.: в своем роде благородного

1954

Зач.: всегда радовался случаю уронить его во мнении государя. Распоряжение же о Хаджи-Мурате Воронцова

1955

Зач.: Как трудился для этого Чернышев был вполне убежден все те

1956

Зач.: Воронцов

1957

Зач.: как стар[ался]

1958

Зач.: Чернышев вышел на

1959

Зач.: саней запряженных

1960

Зач.: Миновав часовых, ординарца и флигель-адъютанта

1961

Зач.: в бобровой <он> шинели

1962

Зач.: и охорашивая свои

1963

Зач.: и усы

1964

Зач.: золотые

1965

Зачеркнуто: Он взял подмышку портфель и остановился у двери. Дверь отворилась и вслед за вышедшим из

1966

Зач.: У двери

1967

Зач.: вошел к государю

1968

Зач.: Император

1969

Зач.: Павлович

1970

Зач.: уже не наверху, а

1971

Зач.: в которой стояла его кровать с, — как он думал, — знаменитым, как наполеоновская шляпа, плащом. Сам он в мундире своего полка, он ехал на смотр, сидел за

1972

Зач.: которой всегда лежал его

1973

Зач.: его

1974

Зач.: заложенным бумагами

1975

Зач.: стеклянным и тупым взглядом

1976

Зач.: сидел за столом отки[нувшись]

1977

Зач.: И всегда тусклые глаза Николая

1978

Зач.: было обрюзгшее и глаза его и всегда тусклые

1979

Зач.: и под ними были синеватые подтеки. Грудь его, сливающаяся с брюхом, была перетянута и вместе с животом выпячивалась из под мундира. Всё лицо говорило об усталости. Он, как и всегда, встал и нынче со светом, вытерся льдом и сделал свою обычную прогулку вокруг дворца, но чувствовал себя вялым и усталым, так как заснул только в два часа ночи.

1980

Зач.: в 12-м часу ночи, вернувшись из маскарада, где

1981

Зач.: был

1982

Зачеркнуто: прохаживался под руку с женской маской. Он пошел не спать, а на свидание с двадцатилетней девушкой, дочерью шведки Копервейн, которая уже несколько раз в маскараде интриговала его и так пленила

1983

Зач.: гостями сторо[нившимися]

Зач.: что он назначил ей свидание

1985

Зач.: Она пришла и была еще милее без маски. Получив всё, что ей нужно было: обещание дать место ее матери и пенсию себе, она во втором часу через ту же заднюю

1986

Зач.: невинной

1987

Зач.: ушла от него

1988

Зач.: Николай Павлович

1989

Зач.: он уже более часа сидел

1990

Зач.: проведя

1991

Зач.: и слушал доклад

1992

Зач.: которому он велел выдавать пенсию госпоже Копервейн

1993

Зач.: на докладах которого он положил две резолюции. Теперь очередь была за военным министром. Длинное с взлизами над зачесанными височками и полукруглыми бакенбардами с длинным носом лицо.

1994

[похождения,]

1995

Зачеркнуто: физиче[ской]

1996

Зач.: было еще дело

1997

Зач.: и другие бумаги

1998

Зач.: и он передал их Чернышеву. На полях были резолюции

1999

Зач.: резолюциями

2000

Зач.: «Наредить строжайшее следствие»... значилось на первом. «Разместить в Белостокской губернии» <на втором, на третьем> На последней резолюции о студенте было написано:

2001

Зач.: Действительно он устал

2002

Зач.: он умел

2003

Зач.: поручаю

2004

Зач.: третье дело

2005

Зачеркнуто: осоловелыми

2006

Зач.: Павловича

2007

Зач.: неизменное и

2008

Зач.: и всегда

2009

Зач.: Так он решил вопрос о студенте, который должен был быть прогнан сквозь двенадцать тысяч. Так он решил еще нынче утром вопрос о двух миллионах <государственных крестьян, которых он присвоил себе> конфискованных, принадлежавших казненным и сосланным полякам, крестьян, приказав перечислить их из государственных в удельные, <не забыв при этом написать генерал-губернатору держать это дело в тайне, чтобы не дать повода всяким вралям ложно перетолковывать это благодетельное для крестьян распоряжение.>

2010

Зач.: более

2011

Зач.: Хаджи-Мурате и вообще о кавказской войне. О Хаджи-Мурате он решил, что выход Хаджи-Мурата означает только то, что его, Николая Павловича, план войны на Кавказе уже начинает приносить свои плоды.

2012

Зач.: <и полк он велел переименовать в Нежинский>

2013

Зач.: выказав

2014

Зач.: отдался русским очевидно

2015

Зач.: другой, чем теперь

2016

Зач.: он должен бы был забыть.

2017

Зачеркнуто: говорить, что план его состоял в медленном

Зач.: по крайней мере, что он не одобрил этот

2019

Зач.: подлость

2020

Зач.: наивно верил, что ему стоит только помолчать и подумать, и первая мысль, которая взбредет в его ограниченную и одурманенную голову, и будет священная истина, продиктованная ему самим Богом. Кроме того он, кажется, первый из русских царей выдумал для удобства самовластия и самодержавия прятаться, когда это нужно, за закон, который он сам же устанавливал, и, когда нужно нарушить

2021

Зач.: <В половине 10-го> Было 12 часов, когда два великолепных орловских рысака, запряженные в парные сани, остановились у большого

2022

Зач.: закутанный

2023

Зач.: и сняв шинель

2024

Зач.: он оправил

2025

Зач.: свои крашенные

2026

Зач.: и

2027

Зачеркнуто: <в приемную> <В предшествующей комнате он, поздоровавшись с флигель-адъютантом, спросил у флигель-адъютанта, кто у государя. У государя был министр внутренних дел. Чернышев присел к столу и

2028

Зач.: сидел

2029

Зач.: и узнав, что у него

2030

[Hy,]

2031

[Государь только что вернулся. Я доложу о вас,]

2032

Зач.: дверь

2033

Зач.: министр внутренних дел Чернышев, поздоровавшись с ним, встал и, сказав с ним несколько слов, вошел в комнату государя.

2034

Зач.: и

2035

Зач.: маленьких

2036

Зач.: под сводами, кабинете и спальней

2037

Отчеркнуто с надписью: пр[опустить]: — Дверь в спальню была открыта и виднелась железная кровать с тонким тюфяком и на ней старый плащ. Николай не позволял заменить старый плащ новым, говоря, что как у Наполеона была его шляпа, так у него плащ.

2038

Зач.: В кабинете же был большой, покрытый зеленым сукном, письменный стол, несколько кресел и небольшой <стол> шкап.

2039

Зач.: мундире с эполетами.

2040

Зач.: смотрел стеклянным, глупым и неподвижным перед собою

2041

Зач.: лицо его <Ник> <с ожиревшими щеками>

2042

Зач.: более обыкновенного

2043

Зач.: Николай в этот день встал усталый и вялый, как и обыкновенно, в 7 часов.

2044

Зачеркнуто: вчера

2045

Зач.: он

2046

Зач.: и главное неизвестностью

2047

Зач.: которая

2048

Зач.: и

2049

Зач.: Николая

2050

Зач.: и

2051

Зач.: Нынче

2052

Зач.: опять

2053

Зач.: как и многие тогда, отчасти

2054

Зач.: отчасти захотела

2055

Зач.: императора

2056

Зач.: и прелесть

2057

Зач.: как высшего счастья и почета

2058

Зач.: чего страстно желали и не достигали <что должно бы представлять высшее несчастье и позор> <и она достигла того>

2059

Зач.: нашел <русскую>, белокурую, белую шведку еще милее без маски, чем в маске.

2060

Зач.: от него

2061

Зач.: она ушла от него через ту же лестницу и маленькую дверь, по которой она вошла.

2062

Зач.: еще

2063

Зач.: 2

2064

Зач.: сделав свою прогулку.

2065

Зач.: После прогулки он по обыкновению пошел к императрице. Николай был вполне уверен, разделяя грубые понятия того дурного общества людей, среди которых он жил, что такие шалости, как нынешняя, не представляли ничего безнравственного и не могли мешать хорошей,

семейной жизни. Поздоровавшись с императрицей и с детьми, он позавтракал в кругу императрицы и ее приближенных и, пожаловавшись на головную боль, скоро ушел к себе. В это утро был доклад сначала министра двора, потом министра внутренних дел. Когда министр внутренних дел вышел, Николай <Николай чувствовал себя слабым после ночного похождения и> с грустью подумал о том, что он теперь уже не так переносит такие ночные похождения <такие увлечения>, как переносил их встарину, и ему жалко стало себя, своей убывающей силы. Когда министр внутренних дел ушел, Николай <Он> набрал воздуха, выпятил грудь, желая подбодриться, но это не помогло ему.>

2066

Зачеркнуто: дворцового

2067

Зач.: и <Гес> дочь Марии Николаевны и Екатерины Михайловны, которые подъехали к крыльцу,

2068

Зач.: делали всякие гадости, не давали ему покоя и заставили его одного так усиленно работать, что он преждевременно старится и теряет свои силы.

2069

«Ратудатели», *очевидно, производное от немецкого:* Der Rath geben — дать совет.

2070

Зач.: — те самые

2071

Зач.: все

2072

Зач.: — гнев

2073

Зач.: и увидал Николая, он

2074

Зач.: по выражению его лица

2075

Зач.: он

2076

Пропуск вследствие утраты листа.

2077

Зач.: Николай

2078

Зач.: всё

2079

Зач.: доклада

2080

Зач.: в лицо

2081

Зачеркнуто: ты знаешь

2082

Зач.: Знаю

2083

Зач.: вихор он

2084

Зач.: Несколько удовлетворил уже

2085

Зач.: свои потребности зла, Николай

2086

Зач.: на этом держится всё общественное устройство. Ему интересно было только то, что он не ворует. <Он был вполне уверен в этом, хотя только недавно перевел в удел огромные государственные имения>

2087

Зач.: Да, брат.

2088

Зач.: Мои дела все, — сказал Чернышев, вставая и уступая место Долгорукому.

Третье дело было размещенье войск. Казалось, это дело никак нельзя было отнести к своей личности, но и тут Николай нашел эту связь

— Напиши Врангелю, что я полагаюсь на него. Он знает меня и поймет.

Когда дело дошло до донесения Воронцова о Хаджи-Мурате, Николай тотчас отнес выход Хаджи-Мурата к своей государственной мудрости.

— Видишь, как верно я предложил, что если мы будем только

2089

Зачеркнуто: подробнее

2090

Зач.: их

2091

Зач.: они должны будут покориться

О, да, — сказал Чернышев, хотя очень хорошо знал, что план постепенного разорения аулов Чечни, истребление их продовольствия и

2092

Зач.: сказал Николай

2093

Зач.: сказал Николай

2094

Зач.: их

2095

Зач.: и что

2096

Зач.: напротив говорил, что надо одним ударом уничтожить Шамиля, так что тогда, по его повелению была сделана несчастная

2097

Зач.: самое

2098

Зач.: ему

2099

Зач.: забыть про то

2100

Зач.: противоположный план решительного удара, исполнение которого была Даргинская экспедиция.

2101

Зач.: забывал

2102

Зач.: иногда когда ему казалось это

2103

Зачеркнуто: самомнение

2104

Зач.: считал себя выше здравого смысла и уже

2105

Зач.: действительность и логика должны сообразоваться с его поступками и словами.

2106

Зач.: Путанице этой в его мыслях содействовало то, что он один не только делал, что хотел, но составлял законы, которым должны были подчиняться <ему> все люди и которым будто бы подчинялся он сам. И он был уверен, что поступает по закону, тогда как закон он устанавливал сам и тотчас же изменял его, когда ему это было нужно, в корень все законы божеские и человеческие, и когда нужно делать вид, что, жалея о совершающемся, он не может изменить исполнение закона <Закон <особ> он употреблял затем, чтобы, совершая величайшие жестокости по своей воле делать вид, что не может не совершать> <он совершает их закон> Так он например в то время, как сам распорядился повешением пяти декабристов и сам подробно расписал, что и как должны делать войска и барабаны, его любимый музыкальный инструмент, — когда подведут пятерых казнимых к виселице и что тогда, когда наденут им мешок и что когда их повесят, <он говорил, что> он в это время с императрицей в церкви молился о тех, которых вешали, <по его приказанию и расчету. Когда же противоречие было уж слишком ясно, тогда он говорил, что он получает совет свыше и потому не может не следовать ему.>

2107

Зач.: Так и он заснул что-то, напиши ему, что я желаю этого. О Хаджи-Мурате ничего не пиши. Правда, что старик слишком возится с этим разбойником, но это не важно. Главное напиши.

2108

Зач.: Подождать

2109

Зач.: Пускай следит [за] ним

2110

Зач.: набегами

2111

Зач.: После Чернышева

2112

Зач.: Когда окончился доклад

2113

Зач.: генерале аудиторе Каменском, смягчившем наказание и судившемуся <за> в виду его продолжительной службы, в к<оторой> было зачтено его пребывание в дворянском полку <По> — На гауптвахту, — коротко сказал Николай.

2114

Зач.: о законе огранич..... *Многоточие в подлиннике.*

2115

Зачеркнуто: Отпустив и Бибикова,

2116

Зач.: Заме

2117

Зач.: строго наказать реда[ктора]

2118

Зач.: отпустил Долгорукого <он>

2119

Зач.: мущин

2120

Зач.: В б

2121

Зач.: укра<шенною>

2122

Зач.: милост

2123

Зач.: он не

2124

Зачеркнуто: к которому

2125

Зач.: где

2126

Зач.: приб

2127

Зач.: кре[постей]

2128

Зач.: и

2129

Зач.: тр[ебование]

2130

Зач.: же[лание]

2131

Зач.: не

2132

Зач.: И он почувствовал знакомое чувство ненависти ко всему миру.

Когда Чернышев вошел в кабинет вместе с Долгоруким, он

2133

Зач.: понял, что Николай

2134

Зач.: И

2135

Зач.: и Долгорукий

2136

Ошибочно не зачеркнуто: их

2137

Зач.: Прежде чем докладывать про кавказские дела и про Воронцова, надо было доложить старшие по очереди дела. Таким

2138

Зачеркнуто: но всё это было скучно ему.

2139

Зачеркнуто: пять

2140

Зач.: четыре человека

2141

Зачеркнуто: До зари оставалось недолго. Оставшееся время употребили на то, чтобы, развязав вьюки, достать лучшую <переменяли рваную> одежду, почистить

2142

Зач.: седла

2143

Зач.: лошадей

2144

Зач.: помолившись Богу остальное время.

2145

Зачеркнуто: еще в тот маскарад

2146

Зач.: когда

2147

Зач.: его любопытство и похоть

2148

Зач.: в царя, не видав его

2149

Зач.: отдаться ему. И

2150

Зачеркнуто: Но ни вытирание льдом, ни прогулка не освежили его.

2151

Зач.: Николай

2152

Зач.: позавтракал с

2153

Зач.: И позавтракал с нею и ее приближенными. Он гордился своей нравственной жизнью, и ему и в голову не приходило

2154

Зач.: могли препятствовать

2155

Зач.: Он даже впоследствии устроил мать этой хорошенькой шведки в гардероб императрицы.

2156

Зач.: и их воспитателями

2157

Зач.: императрице

2158

Зач.: он

2159

Зач.: Принимал

2160

Зач.: в своем кабинете

2161

Зач.: он уже не

2162

Зач.: как в старину

2163

Зач.: он

2164

Зач.: но это не помогло: в голове

2165

Зач.: новое

2166

Зач.: получить на оставленные у него дела резолюции

2167

Зач.: о следствии над обличенными в воровстве провиантскими

2168

Зач.: Все эти дела лежали у него на столе уже с надписанными с грубыми орфографическими ошибками резолюциями

— Вот прочти, — сказал Николай, подвигая Чернышеву первое дело. На поле было написано: «сделать строжайшее следствие».

— Да, брат, видно в России один честный человек,

2169

Зачеркнуто: [на] который давал ему средство существования ему и его матери и малолетним сестрам

2170

Зач.: по мн

2171

Зач.: Николай выслушал и как будто задумался

2172

Зач.: Ваше Величество

2173

Зач.: всеми силами души, стараясь этой ненавистью (которая в его глазах была только государственной мудростью) покрыть все те погубленные им жизни человеческие, виновные только в том патриотизме, во имя которого он убивал и мучал их

2174

Зач.: ненависть и он

2175

Зач.: осоловелыми

2176

Зач.: об офицере в Корсуне, у которого бежал арестант. Он велел разжаловать его без выслуги в рядовые, соблюдая, как он думал, необходимый закон, но, чтобы выразить свое великодушие, он прибавил: «определить на Кавказ, может выслужить».

2177

Зачеркнуто: очевидно очень довольный своим этим сочинением, <все твои три дела, первое>

2178

Зач.: так что хохол его затрясся

2179

Зач.: потом, открыв свой портфель

2180

Зач.: новые дела

2181

Зач.: провиантских

2182

Зач.: провиантских

2183

Зач.: несколько оживившись,

2184

Зач.: На этом деле было надписано: «Разместить в Белостокской губернии». В резолюции на третьем деле интерес был перенесен на себя.

2185

Зач.: Хаджи-Мурат перешел к нам, по его мнению, только потому, что исполнялся составленный им, Николаем, план медленного движения вперед.

2186

Зачеркнуто: осуществилось

2187

Зач.: медленно

2188

Зач.: То, что план, составленный им перед назначением Воронцова в 1845 году, был совсем не этот, а что

2189

Зач.: совершенно противоположный

2190

Зач.: 26

2191

Зач.: 30 <31> <1-го>

2192

Зач.: доставил донесение

2193

Зач.: <1-го января 1852> бывшему тогда военным министром

2194

Зач.: На другой день Чернышев с этим донесением и другими докладами в обычный час приема приехал в Зимний дворец. Чернышев рядом обманов, лжей, подлостей приобретал свое высокое положение и в особенности огромное состояние.

2195

Зачеркнуто: это

2196

Зач.: знал ту шутку Растопчина

2197

Зач.: в Государственном

2198

Зач.: когда

2199

Зач.: огромных

2200

Зач.: графа

2201

Зач.: ему, Александру Чернышеву, сказавшего, что надо отдать <Растопчин, намекая на то, что Чернышев, заседая в суде декабристов, всем влиянием своим старался потопить Захара Чернышева, сказал в Государственном совете, что надо отдать имение Захара Чернышева Александру Чернышеву на основании того>

2202

Зач.: к удивлению всех

2203

Зач.: почему он

2204

Зач.: он подл и гадок и презираем всеми, и потому старался держаться на самой большой общественной высоте, которой мог достигнуть и которая скрывала его подлость и гадость. Для того же, чтобы держаться на этой высоте, надо было не допускать до нее других. Воронцов был опасный соперник, и потому надо было не давать другим подняться на нее, или удержаться на ней. Кроме того, Чернышев знал, что Воронцов особенно презирал его, и потому он

2205

Зач.: то, что он велик и лучше многих

2206

Зач.: Воронцов особенно

2207

Зач.: Чернышеву

2208

Зач.: государя

2209

Зач.: войск

2210

Зач.: и почти истребленного

2211

Зачеркнуто: думал о том, как бы

2212

Зач.: Кроме того

2213

Зач.: и вообще

2214

Зач.: <опасная мера в связи с обычным потворством и слабостью Воронцова ко всем горцам> принятая Воронцовым только по его обычному вредному для дела потворству

2215

Зач.: со стороны

2216

Зач.: что Воронцов

2217

Зач.: По

2218

Зач.: было бы выгоднее и безопаснее отвезти Хаджи-Мурата в центр России.

2219

Зач.: искр[енности]

2220

Зач.: а что оставлять его там было опасно

2221

Зач.: всю

2222

Зач.: Государь в

2223

Зач.: в это утро <1-го> 2-го января Николай был особенно не в духе и не принял предложения Чернышева и

2224

Зач.: Он в утро

2225

Зач.: Николай был особенно не в духе и не принял предложения Чернышева и

2226

Зач.: Он не принял бы <от кого бы то ни было и тем более в это утро> только потому, что оно исходило от презираемого им Чернышева.

2227

Зач.: не в духе

2228

Зач.: <Судьба> Вся жизнь Николая

2229

Зачеркнуто: ложью

2230

Зач.: челове[коубийством]

2231

Зач.: Когда он родился

2232

Зач.: требовала

2233

Зач.: с увелич[ением]

2234

Зач.: оставались таки[ми]

2235

Зач.: и дошли после 27 лет царствования Николая до той степени, при [которой] и жизнь эта была глубоко несчастная и жалкая, несмотря на тот внешний блеск и величие, которыми она была окружена. Николай упорно <играл роль, которая ему казалась величественной, бессовестно и нагло утверждая при всяком случае> и бессовестно лгал, при всяком случае повторяя то, что он

2236

Зач.: даже

2237

Зач.: <стр> <что>

2238

Зач.: не хочет покидать своей счастливой семейной жизни

2239

Зач.: страстно желал

2240

Зач.: искал ее и <его присяга Константину> все его отказы <жил>

2241

Зач.: утвержденному завещанию

2242

Зач.: и по отказу, к[оторый]

2243

Зач.: ложь, никого из

2244

Зач.: долженствующая

2245

Зач.: должна была выставить мнимое благородство

2246

Зач.: себя

2247

Зач.: 25

2248

Зачеркнуто: никакого отдыха

2249

Зач.: занятия

2250

Зач.: — привязанности

2251

Зач.: наследник

2252

Зач.: не только

2253

Зач.: науки

2254

Зач.: Это было

2255

Зач.: удивлялся

2256

Зач.: тупом

2257

Зач.: когда

2258

Зач.: Духовная деятельность?

2259

Зач.: <Почти тоже> Была одна наука военная. Но эта была изучена

2260

Зачеркнуто: ло[гического]

2261

Зач.: Так что он <был не>, смутно сознавая все те преступления, которые он бесполезно совершил и совершал, у него не было ни в чем утешения и потому

2262

Зач.: беспокойно

2263

Зач.: гулять

2264

Зач.: что то

2265

Зач.: поднимавшееся изнутри

2266

Зач.: ст[радающих]

2267

Зач.: в сознании его жило

2268

Зач.: «Ну и пускай», или «хорошо»

2269

Зач.: «скверно». «Копервейн»

2270

Зач.: «Нет, не хорошо, совсем не хорошо, не надо так»

2271

Зач.: Бенк[ендорф]

2272

Зач.: Жизнь Николая

2273

Зач.: страдавшей от злых шуток Екатерины II, своей ненавидимой, распутной свекрови <распутная, ненавидимая невесткой, свекровь шутила над ней, говоря, что>

2274

Зач.: со[гласится]

2275

Зач.: престол

2276

Зачеркнуто: Рождение

2277

Зач.: здоровый

2278

Зач.: и презирают

2279

Зач.: то, что он подл и гадок.

2280

Зач.: уважение, которым Воронцов пользовался у

2281

Зач.: тон

2282

Зач.: он особенно ненавидел Воронцова и

2283

Зач.: но никак не мог

2284

Зач.: ему

2285

Зач.: Для этого

2286

Зач.: мог вытти

2287

Зачеркнуто: и воспользуется при нападении на нас тем, что он видел

2288

Зач.: который мог изменить судьбу Хаджи-Мурата

2289

Зач.: <Николай> Государь не принял <его> предложения Чернышева, а напротив одобрил распоряжение Воронцова, написав на донесении: «хорошее начало» <а одобрил распоряжение Воронцова, так что Хаджи-Мурат остался на Кавказе.>

2290

Зач.: не

2291

Зач.: в Тифлисе

2292

Зач.: и судьба Хаджи-Мурата

2293

Зач.: а иногда прямо то, что чувствовал

2294

Зач.: говорил: «Не позволяю, не хочу». Или говорил: «Да, да» или: «Ну что ж, ну что ж, так и надо».

2295

Зач.: или <повторял он> какую нибудь фамилию актрисы или танцовщицы

2296

Зач.: несчастлив

2297

Зач.: тем законом

2298

Зач.: с своей

2299

Зачеркнуто: Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом, и такою ужасною мерзостью перед Богом было тогдашнее величие Николая.

2300

Зач.: и человекоубийством

2301

Зач.: Так что ложь и человекоубийство, с увеличением могущества Николая, не только не уменьшались, но даже не остановились на той степени, которой достигали, но постоянно увеличивались и увеличивались.

2302

Зач.: а это

2303

Зач.: и необразованный грубый

2304

Зач.: и потому не мог не желать, страстно желать царства

2305

Зач.: если и могла быть причиной смуты

2306

Зач.: его характера

2307

Зач.: которая делала его непоправимо, глубоко и одиноко несчастным.

2308

Зачеркнуто: Несмотря на всё то величие, которым он был окружен, Николай теперь после 27-летнего царствования был глубоко, непоправимо и одиноко несчастлив. Истинное счастье человека только в соответствии его жизни с тою волею, которая послала человека в жизнь, с волею Бога. Чем дальше расходится жизнь человека с волею Бога, законом жизни <от воли Бога, или закона жизни>, тем человек несчастливее.

2309

Зач.: того

2310

Зач.: Стараются ложью прикрыть свое отступление

2311

Зач.: Ложь служит показателем степени отступления человека от закона жизни.

<И потому, чем больше лжи в жизни человека, тем он несчастнее и тем больше, <болезненнее> живет в душе человека сложное сознание того, что есть в нем что-то, чего, как разлагающегося трупа, не надо касаться. Только вполне святые, не отступающие от воли Бога, могут быть совершенно свободны от лжи перед самими собою. В душе же простых есть всегда, хотя в самой малой степени, осадок нераспутанной, скрываемой от самого себя лжи. И чем больше этот осадок, тем человек несчастливей. Осадок этот был огромный в душе Николая.>

2312

Зач.: отступления

2313

Зачеркнуто: Человекоубийство вело к лжи. Ложь <же вела> к человекоубийству, человекоубийство для своего сокрытия требовало еще большей лжи. И ложь эта со всех сторон подсказывалась ему и признавалась за истину всеми окружающими его людьми.

2314

Зач.: Уверение его в том, что он не хочет царствовать, боясь тяжести власти, была другая еще более очевидная ложь.

2315

Зач.: который по своему браку на польке, по своему отказу и по акту, составленному Александром, не мог царствовать, было только играние роли и ложь, которая нужна была ему для выставления своего мнимого рыцарского благородства.

2316

Зач.: ограничить его власть

2317

Зачеркнуто: люди присягали ему, и до того часа, когда он лежал с отпуском грехов на голову, — были сплошным, неперестающим рядом преступлений.

2318

Зач.: Старшие сыновья ее, братья Николая

2319

Зач.: отняты у нее ее распутной свекровью. Теперь же у нее был опять сын, которого она уже решила не отдать великой блуднице, мужеубийце, незаконно занимающей место ее мужа. И это была большая радость, тем большая, что ребенок как

2320

Зачеркнуто: у матери

2321

Зач.: и после этого Марья Федоровна рожала только девочек. Николай был первый сын после 4-х дочерей, и это было большое счастье

2322

Зач.: для матери и потому

2323

Зач.: ребенком.

2324

Зач.: бе[лый]

2325

Зач.: сильный

2326

Зач.: подняла

2327

Зач.: не отняла этого ребенка от матери, как она сделала с первыми двумя.

2328

Зач.: прекрасный

2329

Зач.: Всё детство и отрочество Николая было такое же счастливое, как и детство. Убийство его отца когда

2330

Зач.: это убийство

2331

Зач.: играли

2332

Зач.: собирались

2333

Зач.: сказать им, что

2334

Зач.: сказала

2335

Зач.: отец их умер

2336

Зач.: и велела им обоим молиться вместе с нею

2337

Зач.: увидав

2338

Зач.: горе

2339

Зач.: бросился

2340

Зач.: значение

2341

Зачеркнуто: руку

2342

Зач.: Рождение Николая было радостью его матери, всё же детство его было его радостью. Он рос здоровый, сильный, беззаботный и свободный. В половине

2343

Зач.: всегда

2344

Зач.: взял ее

2345

Зач.: провел с нею, но, когда она ушла

2346

Зач.: он долго не мог заснуть, и знаменитый плащ, которым он покрывался, не дал ему успокоения.

2347

Зач.: он заснул только в 4 часа

2348

[Моя любовь к вам беспредельна... беспредельна,]

2349

Зачеркнуто: брата

2350

Зач.: Эти все были. <Он один>

2351

Зач.: Николай

2352

Зач.: вся эта

2353

[весь этот сброд.]

2354

Зач.: иными как

2355

Зачеркнуто: его отношение

2356

Зач.: упорно глядя на Чернышева. Чернышев знал, что Николай интересовался только тем, что относилось к нему лично, и что всякое дело было ему интересно только в той мере, в которой оно выставляло его, давало ему возможность играть роль величия

2357

Зач.: требованиям первого поставленного над ними генерала

2358

Зач.: и их народа

2359

Зач.: Да, он был великий злодей

2360

Зачеркнуто: зверем, которым он был

2361

Зач.: фарисей

2362

Зач.: который через других убил отца, за[бивавший]

2363

Зач.: зверя

2364

Зач.: то о своих высоких <любви к подданным, то о том>

2365

Зач.: Разве

2366

Зач.: утонченный

2367

Зачеркнуто: и с Евангелием

2368

Зач.: великий

2369

Зач.: Все они должны были быть такие

2370

Зач.: было деспотическое правление

2371

Зач.: были

2372

Зач.: эти деспоты. А для того, чтобы такие люди были, они должны были быть теми страшными злодеями, с так[ими] извращенными умами и закоченевшими сердцами, какими они были, чтобы они могли исполнять те ужасные дела, которые они призваны были совершать над людьми, находясь в этом положении. И такие люди были. И Николай был один из таких.

2373

Зач.: своею блестящею свитой

2374

Зач.: и удостоивал взглядом, кивком головы встретившихся ему дам и мущин.

2375

Зач.: ужасного

2376

Зач.: едва ли не

2377

Зач.: уничтожить рабство людей

2378

Зач.: а не подчиняться грубым поставленным над ними солдатам, требовавшим от них отречения от всего дорогого их сердцу и считавшегося самым святым и драгоценным.

2379

Зачеркнуто: крестьяне

2380

Зач.: Но как ни страшны были те физические страдания людей, причиной которых был этот один человек, страшнее, ужаснее всего было то огрубение нравов, то зачерствение сердец людских, то уменьшение любви, которое предсказывается в Евангелии и которое производил этот человек среди русского народа.

2381

Зач.: Он был, очевидно, виновник этого

2382

Зач.: не прикажи он, не засекли бы несчастного студента академии, не повесили бы Рылеева, Муравьева, Бестужева, не заперли бы в крепостях и не сослали бы на каторгу лучших людей России, не прогоняли бы сквозь строй, не ссылали бы на каторгу, не разоряли бы поляков, не засекали бы солдат. Если

2383

Зач.: Николая, как это было в деле несчастного студента

2384

Зач.: все-таки

2385

Зач.: был очевидно.

2386

Зач.: брат

2387

Зач.: Если и лучше был по душе, его

2388

Зач.: то не лучше он был по своим сумашедшим поступкам, приведшим его к плачевному концу. Конечно

2389

Зач.: хуже была

2390

Зачеркнуто: любившая только себя, свое глупое тщеславие и мерзкую старческую похоть.

2391

Зач.: и занятая

2392

Зач.: Не лучше был, конечно

2393

Зач.: Таковы

2394

Зач.: были

2395

Зач.: таков же был

2396

Зач.: ужасный развратник.

2397

Зач.: и злодей

2398

Зач.: таков был и едва ли не хуже всех был

2399

Зач.: великий восхваляемый Петр, который представлялся образцом для всех последующих царей.

2400

Зачеркнуто: вследствие той дисциплины, под влиянием которой он находится. Главное вследствие того, что

2401

Зач.: может быть добрым, нравственным человеком

2402

Зач.: казни

2403

Зач.: казни

2404

Зач.: офицер все таки легче может с делать это, чем солдат, он

2405

Зач.: в участии казни другого человека и не может быть нравственным человеком.

2406

Зач.: он безнравственнее, если принимает участие в ней

2407

Зач.: людей <казней>

2408

Зач.: самый безнравственный человек

2409

Зачеркнуто: кавказская

2410

Зач.: десятков

2411

Зач.: людей <солдат, которые нападали на>

2412

Зач.: уничтожали их средства пропитания

2413

Зач.: их жилища

2414

Зач.: управляющей 60 миллионами

2415

Зач.: ру[сских]

2416

Зач.: 56-летний

2417

Зач.: совсем

2418

Зач.: самоуверенный

2419

Зачеркнуто: Это было время, когда Николай смело и решительно подавлял всякое проявление просвещения: число студентов было ограничено, писать ни о чем нельзя было, за границу не пускали, и шпионы и агенты 3-го отделения доносили и ловили всех людей, желавших просвещаться.

2420

Зач.: а он считал глупостью

2421

Зач.: Всё же, что не сходилось с его властью и не нравилось ему, он считал глупостями и запрещал, как он запрещал носить усы или курить на улице. А для того, чтобы люди умели покоряться, нужны были

2422

Зачеркнуто: исполнил

2423

Зач.: сделал строгий выговор

2424

Подлинник — весь рукою С. А. Толстой.

2425

Т. 59, стр. 132—133.

2426

Т. 46, стр. 96.

2427

Т. 8, стр. 44.

2428

Т. 46, стр. 89—90.

2429

T. 62.

2430

Н. Н. Иванов, «У Л. Н. Толстого в 1886 г.» — «Лев Николаевич Толстой», Юбилейный сборник, М. 1928, стр. 199.

2431

«Русская мысль», 1913, 6, стр. 72.

2432

А. Л. Зиссерман, «Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский», т. I, стр. 198.

2433

В архиве В. В. Стасова записка не сохранилась.

2434

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 172.

2435

Там же, стр. 174.

2436

Там же.

2437

Там же, стр. 176.

2438

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 177.

2439

[преследует меня]

2440

Т. 84, № 698.

2441

Т. 84, № 699

2442

А. Л. Зиссерман, «Двадцать пять лет на Кавказе», т. I, стр. 340—342.

2443

«Международный альманах о Толстом», под ред. П. А. Сергеенко, 2-е изд., М. 1909, стр. 326.

2444

Ручная цветная панорама, вроде калейдоскопа.

2445

Дневник, запись от 21 марта 1898 г.

2446

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 226.

2447

В. И. Немирович-Данченко, «Из прошлого», М. 1938, стр. 273.

2448

Т. 54, стр. 90.

2449

Там же, стр. 94.

2450

Там же, стр. 94.

2451

Там же, стр. 97.

2452

«Русское богатство», 1912, XI, стр. 208.

2453

Т. 54, стр. 293.

2454

Там же, стр. 299.

2455

Т. 73, стр. 228.

2456

Н. Н. Ге-младший.

2457

П. А. Буланже, «Как Л. Н. Толстой писал «Хаджи-Мурата» — «Русская мысль», 1913, № 6, стр. 79—80

2458

5 августа 1902 г.

2459

Т. 54, стр. 308.

2460

Там же, стр. 309.

2461

А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», М. 1922, I, стр. 95.

2462

Т. 73, стр. 301.

2463

Т. 54, стр. 309—310.

2464

Выражение Толстого «расстряться» означает «запутаться», «застрять».

2465

Т. 54, стр. 134—135.

2466

Т. 54, стр. 310.

2467

Там же.

2468

Там же.

2469

«Дневники С. А. Толстой», III, стр. 200.

2470

Т. 54, стр. 310.

2471

Там же, стр. 311.

2472

«Сборник», вып. I, отд. IV, стр. 12.

2473

Там же, стр. 14.

2474

Там же, стр. 7.

2475

Там же, стр. 6.

2476

Т. 59, стр. 150.

2477

Зиссерман, «Двадцать пять лет на Кавказе», II, стр. 131.

2478

Т. 54, стр. 311—312.

2479

См. записку В. В. Стасову от 10 августа 1902 г. и письмо П. И. Бартеневу от 11 сентября 1902 г.

2480

T. 73.

2481

Т. 54, стр. 312.

2482

Там же, стр. 313.

2483

Т. 47, стр. 303.

2484

Т. 46, стр. 91.

2485

В. П. Федоров, «Лев Николаевич Толстой на военной службе» («Братская помощь», 1910, № 12).

2486

Т. 54, стр. 313.

2487

Т. 54, стр. 314.

2488

См. П. В. Долгоруков, «Петербургские очерки», М. 1934, стр. 212.

2489

«Современник», 1857, т. XI, отд. 1, стр. 231.

2490

Т. 54, стр. 315.

2491

T. 73.

2492

Там же.

2493

T. 73.

2494

Т. 54, стр. 316—317.

2495

Там же, стр. 317.

2496

Там же, стр. 139.

2497

Там же, стр. 136.

2498

T. 73.

2499

Т. 54, стр. 140.

2500

«Ежедневник» С. А. Толстой.

2501

«Дневники С. А. Толстой», III, стр. 204.

2502

T. 73.

2503

Т. 54, стр. 282.

2504

Т. 54, стр. 286.

2505

T. 88.

2506

T. 73.

2507

Т. 54, стр. 325—326.

2508

Там же, стр. 149.

2509

Т. 54, стр. 327.

2510

Там же, стр. 336.

2511

Там же, стр. 288.

2512

«Русская мысль», 1913, 6, стр. 80.

2513

«Русское слово», 1902, 14 декабря.

2514

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 294.

2515

Вероятно, здесь описка, о чем догадался Стасов, пославший Толстому выписки конца 1851 г. и начала (января) 1852 г. См. письмо В. В. Стасова Толстому от 29 декабря 1902 г. — «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 299.

2516

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 295—296.

2517

Т. 54, стр. 329.

2518

Там же, стр. 330.

2519

T. 74.

2520

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 299—301.

2521

Печатание записок было запрещено Александром II.

2522

[имея несвязанные руки,]

2523

[история интимной жизни.]

2524

Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой — «Толстовский музей», 1, СПб. 1911, стр. 378.

2525

«Ежедневник» С. А. Толстой от 7 февраля 1903 г.

2526

«Дневники С. А. Толстой», III, стр. 316.

2527

T. 74.

2528

T. 74.

2529

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 303.

2530

Там же, стр. 303.

2531

[в минуты досуга.] См. тт. 74 и 88.

2532

T. 74.

2533

Там же.

2534

Т. 54, стр. 173.

2535

T. 74.

2536

Т. 54, стр. 174.

2537

Там же, стр. 176.

2538

T. 74.

2539

Там же.

2540

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 306.

2541

Т. 54, стр. 177.

2542

Там же.

2543

Т. 54, стр. 177.

2544

T. 88.

2545

«Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М. 1911, стр. 93.

2546

T. 74.

2547

Т. 54, стр. 178.

2548

Там же.

2549

T. 88.

2550

Т. 54, стр. 181.

2551

«Дневники С. А. Толстой», III, стр. 22.

2552

Т. 54, стр. 182.

2553

T. 88.

2554

А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», I, стр. 117.

2555

Т. 54, стр. 190.

2556

«Лев Николаевич Толстой», Юбилейный сборник, М. — Л. 1928, стр. 376.

2557

Там же, стр. 384.

2558

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 316.

2559

Там же, стр. 312—313.

2560

Там же, стр. 314.

2561

Там же, стр. 318—319.

2562

Там же, стр. 323—324.

2563

Там же, стр. 315.

2564

T. 74.

2565

Там же.

2566

Т. 55, стр. 16.

2567

А. Ф. Кони, «На жизненном пути», т. I, стр. 3.

2568

T. 75.

2569

Т. 55, стр. 32.

2570

«Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка», стр. 345.

2571

С. Т. Семенов, «Воспоминания о Л. Н. Толстом», СПб. 1912, стр. 104.

2572

Сборник «Незабвенному В. В. Стасову», СПб. 1916, стр. 29.

2573

П. И. Бирюков, «Северные записки», 1913, август, стр. 123.

2574

«Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», М. 1911, стр. 103.

2575

Список «противозаконных мест», составленный Главным управлением по делам печати (ГТМ).

2576

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 15, стр. 183.

2577

Всеволод Иванов, «Встречи с Максимом Горьким», изд. «Молодая гвардия», М. 1947, стр. 79.

2578

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, М. 1932, стр. 211.

2579

Т. 59, стр. 132—133.

2580

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 15, стр. 183.

2581

Там же, стр. 184.

2582

Там же, т. 16, стр. 302.

2583

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 295.

2584

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 17, стр. 31.

2585

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 295.

2586

В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 293.

1

[Гордость семьи.]

2

[Предвидь конец,]

3

[Добрый малый,]

4

[Молодость должна перебеситься.]

5

[Умышленно, нарочно,]

6

Зачеркнуто: Вчера <уходя изъ дома я прочелъ въ газетахъ> мы получили извѣстіе въ судѣ.

7

Зач.: Что вы?

8

Зач.: Люблинъ

9

Зач.: Умеръ таки, подумалъ я. А жалко.

10

Зач.: былъ въ Петербургѣ, а съ пріѣзда въ Москву я давно ужъ не былъ у него. Я вспомнилъ его страдающее лицо и вопросительные глаза въ послѣдніе два посѣщенія его.

11

Зач.: <почти годъ> всю зиму. Вспоминалъ я его жену, дѣтей. Какъ то они будутъ? Кажется у него кромѣ службы ничего не было. Онъ тотчасъ же сталъ думать: Куда прежде куда послѣ ѣхать и когда побывать у вдовы.

12

Зачеркнуто: Я этой глупости не сдѣлаю. И занялся своими дѣлами. —

13

Зач.: нѣкоторымъ

14

Зач.: по службѣ

15

Зач.: Еще сколько шлемовъ объявимъ.

16

Зач.: товарищу

17

Зач.: сталъ

18

Зач.: и спасаетъ положеніе.

19

Зач.: Старичекъ потомъ

20

Зач.: и въ гробу

21

Зач.: я его зналъ, оправлялъ покровъ и

22

Зач.: (помню, онъ очень любилъ этого Герасима здорового, румянаго добродушнаго и во время болѣзни Герасимъ былъ всегда у него въ кабинетѣ.) Мертвецъ лежалъ не Иванъ Ильичъ, а мертвецъ.

23

Зач.: <на того, кто лежалъ въ гробу. И наконецъ пересталъ креститься и только смотрѣлъ на то, что лежало.> <Тутъ были и волоса его> Въ гробу лежалъ мертвецъ съ рѣдкими волосами такими же какъ были у Ивана И[льича] въ его мундирѣ с шитымъ лаврами воротникомъ и съ его руками

24

Зач.:всегда потныя

25

Зачеркнуто: Но это былъ не Иванъ Ильичъ, а мертвецъ. Как всегда, только что я сталъ задумываться, я оберегая себя отъ мыслей о таких пустякахъ какъ смерть.

26

Зач.: бакенбардисту

27

Зач.: карты

28

Зач.: бакенбардиста

29

Зач.: выражая потерю всякой надежды на винтъ нынче вечеромъ.

30

Зач.: вопросомъ

31

Зач.: въ оградѣ

32

Зач.: Но за три дня

33

Зачеркнуто: и смотрѣть и слышать

34

Зач.: это

35

Зач.: именно

36

Зач.: и передать ее послѣ себя тѣмъ кто можетъ понять ее.

37

Зачеркнуто.: помните

38

*Зач.: с*казал: «повѣрьте», когда

39

Зач.: денежное

40

Зач.: руку

41

Зач.: барина

42

Зач.: Записки эти ужасны. Я прочиталъ ихъ, не спалъ всю ночь я поѣхалъ на утро къ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ и сталъ распрашивать про ея мужа. Она мнѣ много разсказала, и отдала ихъ.

43

Цыфра 1 переделана из 2.

44

Зач.: <какая то крошечная частица простой> Отъ чего же

45

Зачеркнуто: отчего

46

Зач.: стало быть

47

Зач.: самому съ собой гов[орить]

48

Зачеркнуто: пѣть до

49

Зач.: легкимъ

50

Зач.: порядочнымъ

51

Зач.: заботы

52

Зач.: больше любить

53

Зачеркнуто: непріятн[о]

54

Зач.: прошлаго

55

Зач.: сентября

56

Зач.: <брата> зятя. *На полях против этих слов:.....?* beau frère

57

Зач.: одинъ на одинъ: Боже мой, какъ тяжело

58

[проказа, в переносном смысле: скупость, скряжничество.]

59

Зачеркнуто: чтобы испытать Jean

60

Зач.: Jean

61

Зач.: Jean

62

Зач.: на каменной терасѣ

63

Зач.: гордый

64

Зач.: добиться

65

Зач.: свою дѣятельность

66

Зач.: былъ почти безъ надежды

67

[Он поехал навестить моего бедного свекра. Он до старости не доживет. И Jean был всегда его любимец.]

68

Зачеркнуто: лѣстницу

69

Зач.: и поскол[ьзнулся]

70

Зач.: радости

71

Зачеркнуто: вполнѣ

72

Зач.: боли[тъ]

73

Зач.: Если и отправляло

74

Зач.: подстро[ивать]

75

Зач.: на все были формы, пріемы, законы.

76

Зачеркнуто: Совѣстно

77

Зач.: радъ

78

Зач.: играть

79

Зач.: до декабря мѣсяца

80

Зач.: и фав

81

Зач.: провин[ціальные]

82

Зачеркнуто: и не тайно.

83

Зач.: Съ этого дня завязалась дружба И. И. с И. П.

84

Зач.: новичекъ

85

Зач.: Онъ самъ румяный, улыбающійся съ блестящими молодыми глазами. И вотъ тотъ же И. И. — Нѣтъ, это не тотъ же, — это совсѣмъ другой. Другой и тотъ же лежитъ

86

Зач.: измученныя

87

Зачеркнуто: баба

88

Зач.: за ужиномъ

89

Зач.: ворчливости и скуки. Никакой возможности

90

Зач.: Онъ бился въ томъ хомутѣ женитьбы, въ который онъ попалъ.

91

Зач.: случился другой ухабъ. Будучи еще товарищемъ прокурора, и лучшимъ, и правя всегда должность прокурора, Иванъ Ильичъ ждалъ, что не обойдутъ при первомъ назначеніи въ прокуроры. Оказалось, что Гоппе, товарищъ прокурора, забѣжалъ какъ то впередъ въ Петербургъ, и его, младшаго, назначили, а Иванъ Ильичъ остался.

Нарушилась легкость, пріятность и приличіе служебной жизни. И Иванъ Ильичъ потерялся. Онъ даже пришелъ въ отчаяніе такое, что жена жалѣла и утѣшала его. Иванъ Ильичъ раздражился, сталъ дѣлать упреки и поссорился съ ближайшимъ начальствомъ. Къ нему стали холодны. Иванъ Ильичъ еще больше раздражился и сталъ хлопотать о переводѣ въ другое вѣдомство.

92

Зач.: загнанный въ послѣднее свое убѣжище,

93

Зач.: Надо было переѣзжать.

94

Зач.: Жена замучала его упреками.

95

Зачеркнуто: А онъ сидѣлъ безнадежно на одномъ мѣстѣ — товарища предсѣдателя.

Зач.: что положеніе его невозможно, и былъ близокъ къ отчаянію.

97

Зачеркнуто: больше для того, чтобы избавиться отъ этой тоски, чѣмъ для своего перевода, въ успѣхѣ котораго онъ уже отчаявался,

98

Зач.: Безъ мѣста съ пятью тысячами — погибель.

99

Зач.: журналистомъ и либераломъ,

100

Зач.: и говорившимъ, что въ наше время человѣкъ не можетъ быть счастливъ,

101

Зач.: онъ несправедливъ и что онъ напримѣръ чувствуетъ себя совершенно спокойнымъ и счастливымъ. —

102

Зачеркнуто: хоть сейчасъ

103

Зач.: религіозные вопросы не интересовали меня иначе, какъ внѣшнимъ образомъ.

104

Зач.: этихъ вопросовъ

105

Зач.: не рѣшать ихъ.

106

[приличие]

107

Зачеркнуто: никакого

108

[и я чувствую себя очень хорошо,]

109

Зач.: не было надежды.

110

Зач.: мысль о болѣзни. Но чѣмъ тяжелѣе ему было оставаться одному съ своими мыслями, тѣмъ больше онъ искалъ людей, легкихъ отношеній съ ними — разсѣянія.

111

Зач.: А боль въ боку все томила, все какъ будто прибавлялась, становилась постояннѣе; и сила, и аппетитъ все слабѣли.

112

Зач.: Но боялся обманывать,

113

Зач.: ему казалось, что все шло так же, къ лучшему, но когда онъ совѣтовался,

114

Зач.: Но не смотря на это, его тянуло къ докторамъ, и онъ часто совѣтовался. И тогда онъ подолгу смотрѣлся въ зеркало, запершись въ комнатѣ, и подолгу смотрѣлъ на обнаженное тѣло свое, соображая, похудѣлъ ли или нѣтъ. А не совѣтоваться онъ не могъ.

115

Зач.: И не смотря на то, что всякое посѣщеніе

116

Зачеркнуто: Такъ шло мѣсяцъ и два. Передъ новымъ годомъ пріѣхалъ въ ихъ городъ его шуринъ и остановился у нихъ. Иванъ Ильичъ былъ въ судѣ. Прасковья Ѳедоровна ѣздила за покупками. Войдя къ себѣ въ кабинетъ, онъ засталъ тамъ шурина, здороваго сангвиника. самого раскладывающаго чемоданъ. Онъ поднялъ голову на шаги Ивана Ильича, поглядѣлъ на него секунду молча.

117

Зачеркнуто: къ лошадкѣ,

118

Зач.: кустамъ, къ куричѣ,

119

Зач.: съ восторгомъ къ оперѣ,

120

Зачеркнуто: были несомнѣнная правда.

121

Зач.: и одну, и двѣ, и три ночи, и десять, и двадцать, и сорокъ ночей. И онъ лежалъ такъ ночи. Бродилъ днемъ и лежалъ ночью.

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV — П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I — М. 1923; II — М. 1923; III — М. 1922; IV — М. 1923;

БИР. 1913 —«Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I — XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ — Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 — М. 1910, 2 — М. 1911;

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 — «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники:1 — М. 1924,2 — М. 1926, 3 — М. 1927, 4 — М. 1928.

123

Л. Толстой, Полное собрание художественных произведений, т. XII, 1928, ГИЗ, М.—Л. стр. 231.

124

С. П. Спиро, «Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910)», М. 1911, стр. 35. — Источник указан мне Н. Н. Гусевым, которому я обязан рядом ценных сообщений по истории творчества Л. Н. Толстого.

125

Проф. Н. Ф. Голубов, «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Зола». Отд. отт. из газеты «Практический врач», Спб. 1909.

126

См. «Московский Некрополь», т. I. Спб.

127

Толстой писал А. А. Толстой (19?) января 1885 г.: «вчера узнал от Захарьина, доктора, что Урусов Леонид неизлечимо болен... Мы все так давно — с рождения приговорены к смерти богом, а когда нам это скажет доктор, это точно что-то новое».

128

Датировка предположительная и определяется пометкой адресата на письме: «Пол. 22 августа 1885 г.».

129

В черновиках Москва названа несколько раз. В окончательной редакции название отсутствует, но Иван Ильич перевозит на последнее место своего устройства все «из провинции».

130

«Реальная правда в изображении настолько велика, что не только врач, но и любой студент-медик 3-го курса поставит почти точный диагноз болезни... Прочитав рассказ Толстого, мы почти с уверенностью можем сказать, что Иван Ильич умер от рака в брюшной полости, где-то в области слепой кишки или правой почки. Причина болезни (ушиб), картина ее, течение, даже потребность лежать с высоко поднятой ногой — всё говорит за это... «Смерть Ивана Ильича» — гениально-художественное творение, правдиво изображающее болезнь и страдания и приводящее в восхищение врача-читателя». (Проф. Н. Ф. Голубов, «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Зола», стр. 15). Недавно в медицинской печати была сделана подробная характеристика истории болезни Ивана Ильича: «не может быть и двух мнений по поводу характера заболевания этого страдальца. Иван Ильич умер от рака — до того ясна картина болезни...». Все признаки прогрессирующей кахексии и связь между травмой и злокачественным новообразованием переданы Толстым с исключительной убедительностью: «каждый врач любой специальности должен внимательнейшим образом прочитать этот рассказ, сильнее которого нет в мировой литературе на эту тему, и перед ним раскроются те бездны ужаса и сомнений, которые переживают раковые больные». (*А. Т. Лидский*, «Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н. Толстого» — «Русская клиника», 1929, XI, 6, 8—9).

1

Зачеркнуто: и с маленькой бородавочкой на этой коже

2

Зач.: Но я вижу, что ей самой жалко расстаться со мной, хочется еще поласкать.

3

Зачеркнуто: почти всѣ

4

Зач.: о томъ, что все это, сахарница и Ѳока, что все это

5

Зачеркнуто: почему то

6

Зач.: противилось.

7

Зач.: Во время моего отсут

8

Зач.: гостиную.

9

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV — П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I — М. 1923; II — М. 1923; III — М. 1922; IV — М. 1923;

БИР. 1913 —«Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I — XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ — Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 — М. 1910, 2 — М. 1911;

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 — «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники:1 — М. 1924,2 — М. 1926, 3 — М. 1927, 4 — М. 1928.

10

Толстой пишет так это слово (по Гроту). Чтобы не печатать текст двойной орфографией, мы сохраняем везде «сумашедший».

1

[Вино, женщины и песня,]

2

[нарастая]

3

[система двух детей в семье]

4

[потому что это нелепо.]

5

Зачеркнуто: отставной морякъ, худой, черный

6

Зач.: пѣвица

7

Зач.: очень

8

Зач.: бывшій профессоръ химіи въ одномъ изъ военныхъ училищъ,

9

Зач.: изъ-подъ густыхъ бровей, съ твердо сложеннымъ ртомъ

10

Зач.: необыкновенно

11

Зачеркнуто: съ которыми и тотъ и другая легко заводили знакомство.

12

Зач.: а сѣдой господинъ залилъ себѣ ошибкой очень крѣпкаго чая, котораго нельзя было разбавить, и предложилъ мнѣ. Я выпилъ два стакана и почувствовалъ нервное опьянѣніе. Кажется, съ господиномъ было тоже.

13

Зач.: маленькій старичокъ съ рѣденькой бородкой, весь въ морщинахъ и съ крошечными глазками,

14

Зач.: прямо надѣтомъ на голову.

15

Зач.: Старикъ тотчасъ же хотѣлъ идти прочь, но вездѣ ему говорили, что занято, и онъ вернулся опять.— Что дѣлать, какъ нибудь усядемся. Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ.Когда пришелъ господинъ съ дамой, старичекъ сказалъ, что онъ бы не сѣлъ, да негдѣ.

16

Зач.: Господинъ съ хорошими вещами попробовалъ разспросить старика, куда, что, но старикъ коротко отвѣчалъ.

17

Зачеркнуто: Случилось, что какъ разъ мущина защищалъ жену, а женщина защищала мужа.

18

Зач.: брака нѣтъ настоящаго,

19

Зач.: Напротивъ. Не живутъ такъ, а всѣ, и разводные, женятся.— Да развѣ это бракъ? — сказалъ старикъ. И вдругъ оживился и разговорился. — Это видимость одна. Развѣ это бракъ? И прежде то, когда въ первый разъ женились, не было брака, а былъ одинъ обрядъ. Оттого и нѣтъ согласія между супругами.— Какой же вы разумѣете бракъ? — сказалъ господинъ съ хорошими вещами.— Бракъ передъ Богомъ, а не передъ людьми.— То есть какже это?— А такъ, чтобы бракъ былъ безъ плотской любви, человѣческій

20

Зач.: а по собачьи, прости Господи

21

Зач.: — Да такъ безъ любви. Безъ этой самой любви, про которую въ романсахъ описываютъ.

22

Зач.: Къ удивленію моему, и черный господинъ перевернулся и слушалъ.

23

Зачеркнуто: забыли люди, что отъ браку человѣческая душа родится. Кабы собачья душа рожалась, тогда бы и собачью сватьбу можно бы людямъ дѣлать, а то надо намъ какъ нибудь не по собачьи, а по людски.

24

Зач.: что любви собачьей не было, а по божьи любили, какъ Богъ велѣлъ.

25

Зач.: — Ну а ссоры были?— Ссоры? Были. Да какія же ссоры? Въ нашемъ быту тоже говорятъ, бить надо жену. Это глупость одна, неразуміе. Я ни разу но билъ. Скотину — и ту добромъ возьмешь, а кольми паче человѣка. Богъ миловалъ. А ссоры бывали. А рука моя на ней не была.— Ну какія же ссоры? Ну, разскажите самую большую вашу ссору.Старикъ подумалъ. — Нельзя, чтобъ не разойтись въ семьяхъ. Да вотъ изъ за сына было. Тоже отъ глупости. Ну, назвалъ ее дурой, правда. Тоже потомъ по ея же сдѣлалъ. Мягче, у нихъ сердце материнское.— Ну, и долго продолжалось?— Да какъ за чаемъ это у насъ зашло, подулся я вечеръ, ну а спать пошли, попрощался я съ ней и развязалъ грѣхи.— Нѣтъ, это ужъ когда вы старые были. А въ молодости ссоръ неужели не было? — сказалъ господинъ съ хорошими вещами.

26

Зачеркнуто: Кума у меня была, овдовѣла. Дѣла у нея были. Пошелъ къ ней, да замѣшкался. Чаекъ съ ней попили. Пришелъ домой, а она не въ себѣ. Попрекаетъ меня всѣмъ. И то нехорошо, и это нехорошо Что за чудо, думаю. Что ее укусило? Да и догадался. А у меня и въ умѣ не было. «Ахъ, — говорю — ты глупая. Да у меня и въ умѣ нѣтъ. И ходить къ ней не буду. Пущай къ тебѣ придетъ».

27

Зачеркнуто: — Да, разсудилъ, — рѣзкимъ голосомъ сказалъ черный, но такъ, что нельзя было понять, одобрительно или неодобрительно онъ говоритъ. Скорѣе похоже было, что неодобрительно.

28

Зачеркнуто: — Да, тому, у кого въ жилахъ не кровь, а вода — тогда такъ. А то разжечь себя сперва дали, чтобы половина сгорѣла, а потомъ устроиться удобно.

29

Зач.: — И будемъ страдать. Если мы точно любили по собачьи, такъ и будемъ страдать по собачьи, а по человѣчески нельзя, по человѣчески можно только тогда, когда есть любовь человѣческая. И тогда ужъ я отдамъ ее для ея счастья, а самъ не женюсь. А буду при ней жить ея счастьемъ. Да! Тогда можно. Вздоръ! Это не то. А я вамъ разскажу, какъ это есть и бываетъ... Да! — Онъ сѣлъ противъ насъ на мѣсто старика и сталъ разсказывать.— Да чтожъ! А! разскажу про однаго тоже моего пріятеля. Только подробно. Бываетъ вотъ какъ. Онъ женился

30

Зачеркнуто: — Отказался, потому что ему все равно было. Онъ не любилъ. Да съ, рыбамъ разойтись можно, а людямъ нельзя. Да съ. А вы не слыхали про дѣло Познышева?— Нѣтъ. — Того, что судили въ К. судѣ.— Нѣтъ.— Ну вотъ какъ у него, тогда какъ?— Въ чемъ же это дѣло было?— Дѣло было... — Онъ сѣлъ, оперся локтями на руки и, глядя пристально на меня, именно на меня, сталъ разсказывать. — Дѣло ужасное и поучительное. Дѣло было вотъ какъ. Познышевъ — человѣкъ какъ всѣ, университетскій, ученый химикъ, читалъ лекціи въ заведеньи высшемъ въ одномъ. Человѣкъ — ну какъ всѣ. И... Ну вотъ былъ Познышевъ человѣкъ какъ всѣ и воспитанъ какъ всѣ. Ну и же[нился]

31

Зач.: — Значитъ, онъ и не любилъ никогда своей жены, и собачьей любовью не любилъ. Кабы любилъ, онъ бы не отдалъ, не могъ отдать. Побѣдить эту собачью любовь ничѣмъ нельзя... А? — Онъ вскрикнулъ. — Только одной настоящей любовью. Какъ старикъ говорилъ. Тогда не разойдешься по добру — по здорову. Нельзя. А кто разошелся, тотъ и сначала сошелся — такъ даже и по вашему — скверно, даже ниже романсовъ.

32

Зач.: а убиваютъ другъ друга.

33

Зач.: Такъ людямъ не свойственно — нынче сойтись, а завтра разойтись. Если ужъ про людей говорить, какъ людямъ свойственно, то человѣку свойственно отдать все другому, а себѣ ничего не взять,

34

Зач.: животная (романсы).

35

Зачеркнуто: а умретъ или убьетъ.

36

Зач.: А если можетъ отдать, такъ не по разсудку, а потому, что есть выше чувство.

37

Зач.: ножомъ, кинжаломъ, выпустилъ кишки женѣ,

38

Зач.: — Да отчего же?— А оттого что не могъ иначе сдѣлать человѣкъ, когда онъ вышелъ. изъ состоянія рыбы, дошелъ до животнаго — любитъ, а не дошелъ до человѣка.

39

Зач.: — Вы не понимаете, а я понимаю, потому что моя фамилія Познышевъ, я самый и убилъ ее. — Онъ вскрикнулъ. — Да съ. Меня оправдали, а дѣло все осталось какъ было. И если человѣкъ любитъ, то убьетъ. Извините, не буду стѣснять васъ больше.И онъ ушелъ на свое мѣсто. Всѣ затихли, перевели разговоръ на другое. Дама съ господиномъ потомъ стали шептаться. Я сѣлъ на свое мѣсто рядомъ съ нимъ.

40

Зач.: купеческая дочка, богатая

41

Зач.: (собачья любовь)

42

Зачеркнуто: — Да что же, это не любовь, — сказала дама.Черный вздрогнулъ отъ досады, но даже и не оглянулся на даму, а все время обращался только къ господину съ хорошими вещами.— Не любовь? Каждому кажется, что его любовь — любовь, поэзія, а чужая — такъ себѣ, собачья. Такъ и имъ казалось. Я такъ описываю, а у него такъ въ душѣ такіе романсы распѣвались, не хуже другихъ. Только я то знаю, что подъ этими романсами было. Ну, такъ и жилъ, блаженствовалъ. Думаетъ:

43

Зачеркнуто: незамѣтныхъ, невидныхъ, невыразимыхъ страданій много.

44

Зачеркнуто: И вотъ тутъ въ голову засѣла эта забота: что между ними? Были, казалось ему, всѣ признаки — очень ужъ она проста и спокойна съ нимъ, не дорожитъ нисколько его присутствіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ или иначе, а все вмѣстѣ. Тоже развивалъ, что то читалъ. Тутъ — онъ мнѣ говорилъ — онъ мучался ужасно. Признаться не то что ей, себѣ страшно, потому что признаться

45

Зач.: Онъ некрасивъ былъ. Тутъ онъ мнѣ разсказывалъ, да, онъ мнѣ разсказывалъ, въ чемъ была ужасная вещь.

46

Зачеркнуто: только такой слѣпой, зажмуривающій глаза именно когда надо смотрѣть, могъ не видѣть этаго.

47

Зач.: но не признавался себѣ.

48

Зач.: Были еще такія обстоятельства, которыя вызвали его подозрѣніе. Прошло часа три, ей бы надо вернуться. Нѣту.

49

Зач.: Какъ рѣшить? Случайно или нѣтъ? Есть связь, нѣтъ?

50

Зач.: Онъ говорилъ мнѣ, что страдалъ такъ, какъ не вѣрилъ, чтобъ могъ страдать человѣкъ. Онъ страдалъ потому, что не позволялъ себѣ вѣрить. Еслибъ онъ повѣрилъ, онъ бы... Ну, да и тутъ съ нимъ разъ чуть не сдѣлалось страшное. Онъ самъ уѣхалъ въ городъ. Поѣхалъ, и вдругъ ему пришло въ голову, что онъ тамъ съ нею. Онъ только вошелъ въ городскую квартиру, сѣлъ, и вдругъ на него нашелъ ужасъ. Она съ нимъ. Она одна, ночь. Она пуститъ его къ себѣ. Ай! Ай! Она моя, и онъ возьметъ ее. Ай! Ай! животное заговорило. Я вскочилъ. Да, вскочилъ и побѣжалъ. Взялъ извощика: «Пошелъ на дачу прямо». Къ двумъ часамъ я пріѣхалъ. Прошелъ на цыпочкахъ черезъ садъ и, прежде чѣмъ войти въ комнату жены, пошелъ къ себѣ и взялъ ривольверъ, вышелъ, но потомъ вернулся и положилъ ривольверъ и взялъ кинжалъ со стѣны. И даже рѣшилъ, что надо кривизной кверху, чтобы снизу пороть животъ, кишки чтобъ вышли. Вотъ оно какъ у него выходило по здравому разсудку.Онъ вошелъ къ ней. Она была одна и спала. Она ахнула, увидавъ его. Въ первую минуту ему жалко было, что не пришлось дать ходу тому животному, но потомъ проснулось другое. Оно все одно — это только два конца его. Романсы и убійство. Да съ!Это было передъ отъѣздомъ съ дачи, и онъ переѣхалъ на зиму, ничего не узнавъ, любила ли она.— Да что же, была ли невѣрность? — спросила дама.Онъ вскрикнулъ.— А это я впослѣдствіи буду имѣть честь вамъ доложить, — сказалъ онъ ибыстро всталъ, пошелъ къ своей дѣвочкѣ и, вернувшись, продолжалъ:— Вотъ такъ то радостно они

51

Зачеркнуто: А коли ты дѣлала по здравому разсудку, такъ и я же сдѣлаю (У!) по тому же разсудку: брошу и уѣду. Куда? Только то, что ему приказывалъ разсудокъ, было такъ страшно, что онъ

52

В подлиннике: его.

53

Зач.: таже сладость, и послѣ мука, и тѣже примиренья.

54

Зачеркнуто: 2 года.

55

Зач.: — Вы такъ хорошо разсказываете, — сказалъ Господинъ съ хорошими вещами.— У! хорошо?— Да. Мнѣ, чтобы живѣй представить себѣ весь романъ, хотѣлось бы очеркъ ея характера.— Да, — подтвердила дама.— Ея характера? У! — Онъ помолчалъ. — Это была прелестная женщина, не одной внѣшностью. Нѣтъ, человѣкъ она была хорошій, мягкій, добрый, не пылкая, напротивъ, скорѣе холодная, но добрая, съ [*I неразобр.],* что она хотѣла быть всегда лучше въ смыслѣ доброты. И наивная и лживая до невозможности. Не всегда лживая, но когда нужно, она такъ лгала удивительно. А добрая, очень добрая, и жалкая (У!) жалкій звѣрокъ. Откуда ей было быть другой?

56

Зач.: Говорятъ, что женщины дурныя. Неправда, прекрасные звѣрки. Только неученые, прежде были ученые, а теперь неученые.— Чтожъ, женщины — не люди? — сказала дама.— Да и мущины такіе же звѣрки. И онъ, этотъ господинъ, былъ такой же звѣрь.

57

Зачеркнуто: Я тоже былъ у него. Онъ цѣлые дни проводилъ въ питомникѣ, прививалъ. И онъ былъ спокойнѣе.

Зач.: собачьей. Онъ тутъ

59

Зач.: мой сладкій кусокъ,

60

зач.: Но оказалась любовь къ грибамъ. Она пошла съ дѣвушкой

61

Зач.: схватилъ подсвѣчникъ, швырнулъ ей въ лицо

62

Зачеркнуто: а могъ только самъ помогать другимъ, что и дѣлалъ.

63

Зачеркнуто: очень простая: здоровый, широкоплечій, полногрудый, небольшой ростомъ, расширѣвшій съ годами (за 40) черноватый человѣкъ, русая съ просѣдью бородка, вьющіеся порѣдѣвшіе волосы, чувственный прекрасный ротъ и сильная, ловкая и нервная жилистая рука. Движенія его были точны и скромны, но быстры и ловки.

64

Зач.: Это былъ человѣкъ страстный и очень чувствительный, который, очевидно, былъ у себя въ твердой власти.

65

Зач.: — Она спитъ покойно, но только бы кто не взошелъ. Въ темнотѣ не увидятъ. Я сейчасъ вернусь.— Я посижу тутъ, — сказалъ я.Онъ скоро вернулся съ чайникомъ воды и расположился пить чай.

66

Зачеркнуто: И я началъ громить существующій порядокъ вещей.

67

Зачеркнуто: — Но скажите, — сказалъ онъ, — есть въ вашемъ чувствѣ къ ней чувственность?— Чувственность? — Я засмѣялся презрительно. — Тѣни нѣтъ, не можетъ быть. Я знаю, что я хочу быть ея мужемъ, но чувственность? Похожаго нѣтъ. Вотъ не думалъ, что вы такъ судить будете.

68

Зач.: насмѣшливо

69

Зач. — Въ томъ ужасъ, что эта любовь, эгоистическая, а потому чувственная, — не любовь, а злоба — ненависть. Вотъ что эта любовь.

70

Зач.: Ну, такъ я расскажу вамъ. Я давно, да кажется, 4 года не разсказывалъ никому, самъ себѣ не вспоминалъ и хотѣлъ все вспомнить, все снова пережить. Хотите, я вамъ скажу?

71

Зач.: Мнѣ теперь 43 года.

Зач.: что я удивительно возвышенный, прекрасный молодой человѣкъ, такой прекрасный и возвышенный, что я умилялся, глядя на самаго себя, мнѣ совѣстно было, что я такъ прекрасенъ. Прекрасенъ я себѣ представлялся ужъ тѣмъ, что я, если не богатый, то независимый человѣкъ, хорошо образованный, женюсь безъ малѣйшаго разсчета, по любви, на бѣдной дѣвушкѣ, прекрасенъ тѣмъ, что я не сгнилъ отъ разврата, не предавался безобразнымъ формамъ разврата, какъ большинство моихъ сверстниковъ, и считалъ моихъ любовницъ до 30 лѣтъ не сотнями, а только десятками, главное же — я былъ прекрасенъ тѣмъ, какъ подъ вліяніемъ «романсовъ» представлялъ себѣ свою любовь къ моей будущей женѣ. Я былъ твердо увѣренъ въ томъ, что никто никогда не могъ не только имѣть, но и вообразить такихъ чистыхъ и возвышенныхъ чувствъ, которыя я все время моей молодости лелѣялъ къ своей будущей женѣ.

73

Зачеркнуто: Вѣдь мы всѣ такъ воспитаны, такъ воспитаны.

74

Зач.: Я влюбился.

75

В подлиннике: волнами, *но это слово в копии рукой Толстого исправлено на:* волосами.

76

Зач.: все, все

77

Зач.: Я понялъ что то чудесное,

78

Зач.: Не я достоинъ. О томъ, что я достоинъ быть ея мужемъ, не было и мысли.

79

[секрет комедии,]

80

[новобрачной]

81

Зачеркнуто: и негодованія. Это не могло быть.

82

Зач.: Я не ревновалъ ее, но она ревновала безтолково и отношенія наши портились. Кромѣ того,

83

Взятые в квадратные скобки слова, отсутствующие в автографе, вписаны в копии рукой С. А. Толстой и при исправлении копии Толстым оставлены в неприкосновенности.

84

Взятые в квадратные скобки слова, отсутствующие в автографе, вписаны в копии рукой С. А. Толстой и при исправлении копии Толстым оставлены в неприкосновенности.

85

Зачеркнуто: и тутъ началось! Жена *моя*, моя жена была <очень красивой>, что называется хорошенькой дѣвушкой (она вышла замужъ 18 лѣтъ), но въ 30 лѣтъ, переставъ рожать, она была замѣчательно красива.

86

Зач.: Такъ шло все до переѣзда нашего на лѣто 4 года тому назадъ въ деревню.

87

Зачеркнуто: къ намъ мой пріятель

88

Зач.: богатый, бывшій кавалергардъ, страстный любитель музыки и хорошій аматеръ.

89

Зачеркнуто: телеграмма. Трухачевъ пріѣзжаетъ съ женой. Не знаю

90

Зачеркнуто: малѣйшихъ

91

Зач.: дрянному

92

Зачеркнуто: б...

93

В подлиннике: онъ

94

Зачеркнуто: Хорошій, да очень хорошій она была человѣкъ, какъ всѣ люди, а особенно дѣвушки.

95

Зач.: Она была такая и изъ такихъ прекрасная.

96

Зачеркнуто: и о томъ, что многаго я не могъ сдѣлать, какъ хотѣлъ, о несправедливостяхъ

97

Зач.: — Но развѣ нельзя этаго, такъ, чтобы не было несправедливости?— Нѣтъ, но я хочу оставить, хочу устроить такъ свою жизнь независимо.

98

Зач.: устроить жизнь такъ, чтобы она была прекрасна и чиста.

99

Зач.: вѣрила мнѣ, что я устрою ее такъ и

100

После этих слов на полях вписано и затем зачеркнуто:— Да и всѣ живутъ, — сказала дама. — Я не про васъ говорю, да вѣдь мы знаемъ, какъ живутъ, когда любви нѣтъ, — живутъ, потому что терпятъ, а ненавидятъ другъ друга.— Нѣтъ, помилуй Богъ. Намъ Богъ далъ, мы съ старухой мирно прожили и теперь живемъ.— Да вѣдь никто не скажетъ.— Отчего же, я скажу.— Ну, по правдѣ скажите, — улыбаясь сказала дама, — вѣдь были ссоры, было горе.— Ссоры? А вотъ какъ передъ Богомъ скажу. Въ 53 года одинъ разъ побранилъ за сына. Забаловался, я пригрозилъ. Ну, а материнское сердце мягче. Огорчилась она, это было.— Ну чтоже, и она по вашему сдѣлала?— А вотъ и нѣтъ, а я по ее сдѣлалъ.— Ну, да вѣдь бываютъ исключенія.— Нѣтъ, сударыня, если законъ помнятъ люди, такъ легко жить.— Ну а ревность? — улыбаясь сказала дама.— Ревность? — повторилъ старикъ, вздохнувъ.

101

Зачеркнуто: Одни этотъ законъ принимаютъ только для видимости, а въ дѣйствительности развратъ. Вѣнцы надѣваютъ хорошо какъ на десятую *(въ рукописи:* съ десятой), а то на сотую женщину, а она послѣ наверстываетъ. А другіе

102

Зач.: — Но отчего же любовь приведетъ къ убійству?— Должна неизбѣжно. Такъ.Назвали Познышева.— Познышевъ я. Я убилъ. И знаю, что нельзя не убить. И еслибъ опять сначала, я бы опять убилъ. И вы бы убили, коли вы не рыба. Да впрочемъ, вамъ, можетъ, непріятно говорить съ убійцей? — — Нѣтъ, извините меня, я не знаю какъ это, но у меня къ вамъ какое-то особенное чувство... Я замял[ся], но онъ понялъ по моему взгляду, что я полюбилъ его.— Да съ, они толкуютъ, я любилъ и убилъ. Теперь я не то бы сдѣлалъ. Да отчего же? — отвѣтилъ онъ себѣ. — Я разскажу вамъ. Хотите? О Боже мой, Боже мой! Когда, какъ я, пробилъ эту стѣну обману своимъпреступленіемъ, страданіемъ, изкалѣчился самъ, пробивая ее, то видишь всю эту ложь ясно, какъ есть, и ужасаешься на людей, какъ они не видятъ того гною, въ которомъ они живутъ и которымъ храбрятся. Вы молоды, вамъ понадобится.*Вместо этого на полях написан новый текст, также зачеркнутый:*— Да, что мнѣ измѣнила жена, такъ я знаю. Хотите — я вамъ разскажу, какъ это бываетъ.Я сказалъ, что если это не тяжело ему.— Нѣтъ, мнѣ нужно, нужно разсказывать, особенно какъ расшевелятъ это все, какъ теперь. Моя фамилія П[òзнышевъ].

103

Зачеркнуто: — Вы слышали, можетъ быть? — сказалъ онъ и сердито оглянулся на кондуктора.Въ Пензѣ я зналъ одного П[озднышева], — сказалъ я.— Нѣтъ, это другіе. Такъ вы не слыхали этой фамиліи?— Нѣтъ.— Ну такъ я разскажу вамъ, какъ меня обманула жена, измѣнила мнѣ, и что я испыталъ. Кто не испыталъ, тотъ не знаетъ. Вотъ какъ это, господа. А я знаю.

104

Зачеркнуто: какъ Венера милосская.

105

Зач.: видимо, былъ въ нервномъ возбужденіи.

106

Зач.: Такъ вотъ я и разскажу.

107

Переделано: 30 *из* 23.

108

Зачеркнуто: — Отчего разошлась? — спросила дама.— Да все отъ этаго самаго, — сказалъ старикъ. — Нѣту страха теперь. — А въ старину то какже было?— Да такъ и было.

109

Зачеркнуто: Это все равно, какъ сказать, у меня дядя гастрономъ, онъ не любитъ ѣсть, но любитъ готовить, нюхать.

110

Зачеркнуто: Я полюбилъ эту женщину и потому навязалъ ей себя. Я, считая ее совершенствомъ и любя, слѣдовательно желая ей добра, связалъ ее на вѣки съ собой, невинное существо съ изгвазданнымъ въ гноѣ развратникомъ. Это былъ первый признакъ моей любви. Второй признакъ былъ ужасенъ. И это признакъ любви, я думаю, всѣхъ мужей, за исключеніемъ 1 изъ милліона, признакъ этотъ состоялъ въ томъ, что

111

Зач.: доброта. Она уже была трону[та] этимъ нынѣшнимъ направленіемъ свободы женской и образованія и, разумеется, отъ этаго только казалась глупѣе, чѣмъ была отъ природы.

112

В подлинника: могутъ.

113

От слов: неужели она такая *кончая:* и два яда слились въ моемъ сердцѣ: — *текста автографа недостает. Недостающее печатаем по авторизованной копии.*

114

Зачеркнуто: — Но есть же между людьми то чувство, которое люди называютъ любовью и которое длится не мѣсяцы и недѣли, — сказала дама, — а всю жизнь, чувство, изъ за котораго люди жертвуютъ собой, дѣлаютъ преступленія. Есть это чувство или нѣтъ?— Нѣтъ, — смѣло отвѣчалъ онъ. — Есть другое чувство, во имя котораго люди жертвуютъ собой и дѣлаютъ преступленія, только это совсѣмъ не любовь, а злость, гордость. Преступленія? — повторилъ нервный господинъ и вдругъ поблѣднѣлъ. — Преступленія! Преступленія дѣлаются не по любви.— Вы вѣрно знаете?— Да, преступленья дѣлаются отъ гордости, злости, отъ животности.

115

Зачеркнуто: — Но есть же между людьми то чувство, которое люди называютъ любовью и которое длится не мѣсяцы и недѣли, — сказала дама, — а всю жизнь, чувство, изъ за котораго люди жертвуютъ собой, дѣлаютъ преступленія. Есть это чувство или нѣтъ?— Нѣтъ, — смѣло отвѣчалъ онъ. — Есть другое чувство, во имя котораго люди жертвуютъ собой и дѣлаютъ преступленія, только это совсѣмъ не любовь, а злость, гордость. Преступленія? — повторилъ нервный господинъ и вдругъ поблѣднѣлъ. — Преступленія! Преступленія дѣлаются не по любви.— Вы вѣрно знаете?— Да, преступленья дѣлаются отъ гордости, злости, отъ животности.

116

Зачеркнуто: А предоставьте дѣло одной любви, какъ вы говорите, то сейчасъ же человѣчество падетъ ниже собакъ. Куда до собакъ — собаки гораздо выше, — говорилъ онъ, разгараясь все болѣе и болѣе. Мало того, что люди падутъ ниже звѣрей, они перерѣжутъ другъ друга.

117

Зач.: — т. е. предпочтеніе однаго передъ всѣми, которое длится всю жизнь?— Есть, слава Богу, рѣдко, потому что если бы это было часто, то большинство людей перерѣзало бы другъ друга.

118

В подлиннике: Эленой

119

Зачеркнуто: Мущина имѣлъ бы такую увѣренность только тогда, когда бы онъ вѣрилъ, что его дѣятельность столь же несомнѣнна и значительна, какъ и ея дѣятельность. А гдѣ же такая дѣятельность? Есть только одна дѣятельность, равная этой, какъ сказано въ библіи, — работать хлѣбъ, но мы этого не дѣлаемъ. Любя своего мужа, каждая женщина сначала вѣритъ, что его дѣятельность столь же важная, какъ и ея, но по томъ, когда дѣло дойдетъ до дѣла, когда обѣ дѣятельности столкнутся и придется жертвовать одной изъ двухъ, да и притомъ еще установится враждебность, она сейчасъ же видитъ пустоту, случайность, произвольность, обходимость всякой мужской дѣятельности и начинаетъ презирать ее.

120

Зачеркнуто: ты отмстилъ, стрѣлялъ, какой вздоръ. И докторъ говоритъ.

Зач.: и всякій бредъ. Я не дождался ея смерти, хотя

122

[увеселительная прогулка.]

123

В рукописи большая часть XII главы и часть XIII, *где Позднышев говорит о безбрачии*, *как об идеале, к которому должны стремиться люди*, *отчеркнута*, *и отчеркнутое снабжено собственноручной пометкой Толстого:* отсюда все отчеркнутое въ заключеніе. *Пометка эта однако зачеркнута.*

124

Зачеркнуто: первое, было: высокая, черноглазая, черноволосая, съ длинными красивыми членами, круглымъ лицомъ, съ вздернутымъ носомъ, съ прекрасными чувственными губами, съ медленными граціозными движеніями. Такова она была снаружи. Внутри же это была очень грубая, добрая, лѣнивая, чувственная и безпомощная женщина.

125

Зач.: и съ своей кузиной.

126

Зач.: Николинька.

127

Зач.: Маня.

128

См. т. 7 настоящего издания.

129

«Из переписки Л. Н. Толстого». — «Вестник Европы», 1915, № 3, стр. 19.

130

Ср. выше, стр. 88.

131

«Из переписки Л. Н. Толстого». — «Вестник Европы», 1915, № 3, стр. 15. Толстой в этом письме отвечает на запрос, обращенный Русановым к В. Г. Черткову в письме к последнему от 27 февраля 1889 г.: «На-днях я прочитал в «Пантеоне литературы», что будто он (т. е. Толстой, *Н. Г.)* пишет повесть, посвященную анализу любви. Правда ли это?» (АЧ). В «Пантеоне литературы» (февральская книжка за 1889 г., стр. 22) в отделе «Современная летопись» была напечатана следующая заметка: «Гр. Л. Н. Толстой, по словам «Русского дела», работает в настоящее время над новою повестью. По размерам своим и отчасти по характеру новое произведение великого художника ближе всего, по слухам, подходит к повести «Смерть Ивана Ильича», разница только в том, что последняя была посвящена анализу смерти, а новая дает анализ чувства любви. Она уже почти кончена, но строгий к себе художник не желает ее скоро выпустить. Он хочет ее глубже продумать и заняться ее тщательной отделкой». Заметка эта — почти буквальная перепечатка сообщения, впервые напечатанного в № 51 «Русского дела» за 1888 г., от 17 декабря, стр. 10.

132

«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891 гг.» Издание М. и С. Сабашниковых М. 1928, стр. 160.

133

Ibid., стр. 142.

134

Однако в тексте ее читаем следующие слова Позднышева: «Ведь вы помните, что если женятся по домострою, как он говорил» (стр. 378). Это, видимо, бессознательная реминисценция 1-й и 2-й редакций повести, где фигурирует старик-пассажир.

135

Точнее — для введения в повесть мотива музыки и для связи повести с определенным музыкальным произведением — именно с сонатой Бетховена, посвященной Крейцеру.

136

Еще в 1876 г. летом в Ясной поляне гостил свойственник Толстого И. М. Нагорнов, талантливый скрипач, пользовавшийся большим успехом в Италии и во Франции. По словам С. Л. Толстого, он играл в Ясной поляне «Крейцерову сонату», и эта игра также произвела на Толстого большое впечатление. С. Л. Толстой далее высказывает предположение, не зародилась ли уже тогда у Толстого мысль написать повесть на эту тему и не был ли Нагорнов до известной степени прототипом Трухачевского (См. С. Л. Толстой. «Музыка в жизни Л. Н. Толстого». — «Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник. Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. Госуд. издат. М. 1929, стр. 30). Определеннее об этом говорит С. А. Толстая в своих неизданных записках «Моя жизнь». «Как то летом приехал к нам И. М. Нагорнов, брат мужа племянницы Вари, рожденной гр. Толстой. Этот Ипполит Нагорнов учился в парижской консерватории, был пошлого, смазливого типа, который Лев Николаевич воспроизвел в скрипаче «Крейцеровой сонаты». Человек он был добродушный, совсем необразованный и до того духовно бедный, что не знаешь, о чем с ним говорить. На иностранных языках он говорил прекрасно. Но когда он играл на скрипке, все приходили в восторг, начиная с Льва Николаевича. Лев Николаевич, занимавшийся тогда усердно музыкой, сам аккомпанировал Нагорнову на фортепьяно... Начиная с маленькой одиннадцатилетней моей Тани и кончая сестрой моей Таней, Варя Нагорнова, гувернантка — все были влюблены в Ипполита Нагорнова в дни его пребывания в Ясной поляне. Но влюбиться в Нагорнова, как человека, было невозможно. У меня было к нему какое-то брезгливое чувство; что-то в нем было нечистое, чувственное и грязное, как раз те свойства, которые я ненавижу... Какое странное впечатление произвела тогда на всех соната Крейцера! Еще тогда, вероятно, она вдохновила и Льва Николаевича». («Моя жизнь», т. III, стр. 464—466.)

137

П. И. Бирюков. «Биография Л. Н. Толстого», т. III. Госуд. издат, М. 1922, стр. 106—107. Тут же Бирюков утверждает, что своим назначением — быть прочитанной актером с эстрады — предопределилась и форма повести, от диалога переходящая в длинный монолог с незначительными репликами собеседника.

138

См. Комментарий к Дневникам Толстого 1888—1889 гг., том 50 настоящего издания.

139

[холодно]

т. е. «Крейцеровой сонаты».

141

В АТ хранится письмо, о котором говорит Толстой. Оно не подписано и, вероятно, судя по некоторым особенностям языка, написано чешкой. На нем дата — 15 февраля 1886 г. и место написания — лавра (видимо, Троице-Сергиева лавра). Воспроизводим большую часть письма, в которой идет речь о положении замужней женщины, не сохраняя особенностей его орфографии.«Мужчина — это натуральный, от природы данный покровитель женщины. Для этой обязанности он получил силу, здоровье, ровное настроение духа, ему природа предоставила трудиться и наслаждаться. Посмотрим, как человек-мужчина исполнил и исполняет эти обязанности. Каково было обращение и заботы мужчины около женщины в древности, это всем известно, но смешно и удивительно для меня, если настоящее положение женщин с малым исключением считается лучшим. Прежде мужчины пользовались ее физической силой и злоупотребляли ею, сегодня будто немножко смотрят за здоровьем матери, но тогда, когда оно уже разрушено. Мужчины не пренебрегают такими средствами, ловушками, лишь бы только стащить женщину с пьедестала чистоты в безнравственную лужу, и это делается с самыми красивейшими, здоровейшими девушками, и в некоторых случаях является ребенок, то все страшнейшие последствия поступка тяготеют на женщине (на слабой воле женщины опирается счастье мужчины). Если же несчастная из стыда или недостатка бросит ребенка, то, кроме душевных пыток, и закон ее страшно наказует. Где отец? Где Амор?Где человек? Где мужчина, как покровитель и помощник при воспитании ребенка? Наконец, дети незаконный бывают самый лучший и здоровейший.Теперь же женщина замужняя: обыкновенно девушка невинная достается в когти зверя, на всё готового для своих удовольствий, не щадившего здоровья женщины-матери, заставляющего эту мать работать и работать, будто этого нужно для ее здоровья и родов. Безумный! Матери беременной нужно движение, а не

работа. Если хозяин хочет получить от коровы или лошади здорового жеребца, то не заставляет ее работать, а ухаживает и ласкает и проч. Пока женщина не беременна, она старается свои качества души и тела обнаружить; у беременной ее все силы умственные и физические сосредоточиваются внутри для передачи их будущему ребенку. Поэтому кто заставляет женщину-мать напрягать ее силы физические или умственные или обращается с ней жестоко, эгоистически, без внимания, тот грешит страшно, непростительно в отношении человечества и будущего поколения. И если вы присмотрелись к жизни крестьян, жизни среднего сословия, то и согласитесь с этим, что там женщина мученица, что она работает сто раз больше мужа лентяя, что она этим мужем бывает избита накануне родов, что она должна родить через [год], а наиболее через два, где по закону природы она может и должна родить только раз на шесть — семь лет. Люди отбежали от природы, и она их наказала слепотой. Люди не делаются лучшими, а слабшими вообще. Любви научить нельзя, а ее произвести надо — в моцы человека сотворать людей, каких нужно.Человек, который от природы получил всё, что ему следовало: здоровье, умственные и нравственные качества, не будет никому и ничего завидовать и с самой тяжелой жизнью примирится и будет доволен, лишь бы только мог дышать свежим воздухом и тем самым чувствовать близость бога около себя. Воспитание играет тут только второстепенную роль. Сколько теперь намножилось ученых негодяев! Это вы лучше мне знаете. Неужели не стоит позаботиться об улучшении роду человеческого и что предки наши тисачами лет портили и терали, теперь, когда мы знаем, в чем счастье, а в чем несчастье, открыть эту тайну и построить новое здание на новых условиях. Все видим, что старое строение валится; социалисты и нихилисты берутся за новую постройку, но они грубо ошибаются: не католицизмом, не переворотом, соединенным с брутальной силой и пролитием крови, а многолетним умным и усердным трудом и жертвами с эгоизму и сыбаритызму можно постепенно восстановить потеранную правду, и любовь, и счастье. Это всё может иметь место только тогда, когда женщину перестанут оскорблять, когда

все стремления и заботы сосредоточатся около ней, когда женщина будет даваться мужчине только в награду за его благородные подвиги, за его сердечный труд около блага всего человечества. Женщина должна быть законом людей ограждена от насилия, от злоупотребления святых сил природы, от произвола дурного обращения. Итак, разумный учреждения — это первый шаг на этом пути. Для этого нужны миллионы. Мы не сеем, а хочем жать. Мы портим, ломаем, топтаем, а хочем, чтобы росло и развивалось».Можно думать, что поддержку себе в своих взглядах на воздержание в брачной жизни и импульс для энергичной защиты этих взглядов Толстой нашел в книге А. Стокгэм «Tokology, a book for every Woman», которая была прислана ему автором в середине ноября 1888 г. и о которой он писал Черткову 17 ноября того же года: «Третьего дня я получил из Америки книгу одной женщины-доктора (она писала мне) под заглавием «Tokology, a book for every Woman» Стокгэм; книгу вообще превосходную в отношении гигиеническом, но, главное, трактующую в одной главе о том самом предмете, о котором мы с вами переписывались, и решающую вопрос,разумеется, в том же смысле, как и мы» (АЧ). Толстой имеет здесь в виду главу XI этой книги, озаглавленную «Целомудрие в супружеских отношениях». Мысли, высказанные Толстым в «Крейцеровой сонате» и затем в «Послесловии» к ней по вопросу о целомудрии в брачной жизни настолько близки, иногда даже по форме, к мыслям на этот счет Стокгэм, что можно, кажется, говорить не только о случайном совпадении высказываний обоих авторов. (Главы повести, трактующие об этом предмете, написаны были вчерне после прочтения Толстым книги Стокгэм.) Осенью 1889 г. Стокгэм, приехав в Россию, побывала у Толстого в Ясной поляне. В 1891 г. «Токология» появилась в русскомпереводе С. Долгова с очень сочувственным предисловием Толстого. О возможном влиянии книги Стокгэм на Толстого в период писания им «Крейцеровой сонаты» см. также в заметке М. „«Комментарий к «Крейцеровой сонате»“, напечатанной в № 4 «Недели» за 1892 г., стр. 127—130.

142

«Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1861—1910 г.», изд. 2, М. 1915, стр. 339.

143

Ср. л. 5: «С одной стороны совершенно справедливо, что женщина угнетена, презрена, с другой стороны — что она властвует, точно так же, как евреи. Как они своей властью отплачивают за свое угнетенье, так и женщины».

144

Ср. рук. № 5, лл. 15 об. — 16: «Но наступила 3-я ссора, и я уже не ужасался, а понял, что так это будет всегда, что будет то, чего я никак не ожидал, что ссориться будем, и что дело только в том, как бы ссориться получше. И так мы всё время. Даже первое время хуже, чем после... Рассудок не поспевал подделать под желание язвить друг друга достаточных поводов».

145

Ср. рук. № 6, л. 47 об.: «Ядовитость этого чувства ужасна: стоило мне излить это чувство хоть раз на какого-нибудь человека, стоило раз заподозрить человека в замыслах на мою жену, и уже навеки этот человек будет для меня испорчен, точно серной кислотой облит».

146

Ср. рук. № 5, л. 20: «Он унижает меня и ее. И я отплачиваю ему. Или она переоделась, я отношу это к присутствию его, и является оскорбление от нее. Как она можеттак унижать меня, ставя меня в такое подлое положение — подозреванья, подкарауливанья. Главное дело в том, что все мущины — я помню чувство к моему лучшему другу — я знаю, как смотрят на женщин».

147

Ср. рук. № 5, л. 2: «Завидовать мне даже я не позволяю».

148

Ср. рук. № 5, л. 20 об.: «А еще мучало меня то, что она при других мущинах говорила то, что она, бывало, говорила мне, или то, чего, я знаю, она не думала, и я видел, что слова ее ничего не значат, что и слова ее, как и одежда, — это только средство заманить, понравиться».

149

«Исхитрилась» — позднее «Плоды просвещения».

150

«Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», М. — Л. 1930, стр. 126.

151

Н.Н. Страхов, вернувшись из Ясной поляны, где он гостил у Толстого, 4 июля 1889 г. писал В. В. Розанову: «Моя поездка была преблагополучная: насладился Толстым довольно, хоть и не досыта... Он теперь весь погрузился в писание повести о том, как муж убил неверную жену» (В. В. Розанов. «Литературные изгнанники», т. I, Спб. 1913, стр. 184).

152

Ср. рук. № 6, л. 44: «Как же им не испортиться, когда они, бедные, все попадают в руки и в воспитание мущин?.. Виновата же была, разумеется, не она, а весь мир, ее прошедшее и я. Она была такая же, как и все, и я вместе со всем миром сделал из нее то, что она стала. С молоду она была воспитана так, что все ее интересы сосредоточивались в ней, в ее внешности, в искусстве нравиться мущинам. Она с молоду была обучена только тому, чем можно было пленять, так что могла прельщать прекрасным выговором, и сверх того пенью и игре на фортепиано, которыми она могла прельщать мущин. Все знания — языки, литература, все таланты, рисованье, музыка (в которой она отличалась) были изучаемы только для этого».

153

Ср. рук. № 6, л. 42: «И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в крестьянском — кликуши. Вы заметьте, у девок нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Ясно отчего».

154

Ср. рук. № 9, л. 58—58 об.: «Надо сказать какие два существа была моя жена..., внутри же это была очень грубая, добрая, нежная, чувственная и беспомощная женщина».

155

См. ниже примечание к записи записной книжки от 28 июля 1889 г.

156

В рук. № 6, л. 47, идет речь о ревности.

157

Ср. рук. № 6, л. 46 об.: «Но я говорю о той сравнительно легкой, безосновательной ревности, которая неизбежно сопутствует всякому безнравственному супружеству. В период этой моей безосновательной ревности к ней я всю ее развенчал, опозорил в моем воображении... Я впадал в прорытую уже прежнюю колею грязных подозрений о ней..., воспитывал того страшного дьявола, который, когда явился повод, сорвался с цепи и пошел чертить».

158

Текст автографа в рук. № 6, лл. 49—53.

159

Ср. рук. № 9, л. 69: «Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. Правда, она уже не первой молодости — зуба нет одного сбоку, и есть пухлость некоторая», думал я за него, но что делать, надо пользоваться тем, что есть».

160

Эта запись развита в рук. № 9, лл. 69 об. — 70, в той части текста, где описываются переживания Позднышева во время его возвращения домой из уезда по железной дороге.

161

Эта запись в рукописях не находит себе соответствия.

162

О бреде умирающей впервые речь идет в рук. № 9, л. 75 об.

163

Ср. рук. № 6, л. 20 об.: «Я стал тем, что называется блудником. Быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию пьяницы. Пьяницу тянет выпить, ему вода неприятна даже. Как морфинист, пьяница, курильщик уже ненормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек — блудник. Как пьяницу можно узнать тотчас же по лицу, точно так же и блудника. Пьяница может воздерживаться, бороться, но уже никогда он не может свободно относиться к предлагаемым напиткам, точно так же и блудник: он может воздерживаться, бороться, но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уж никогда не будет. По тому, как человек взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника, и я стал блудником и остался таким».

т.е. Позднышев поехал в уезд и внезапно вернулся.

165

Ср. рук. № 9, л. 76: «Да, надо понять настоящее значение, что слова Евангелия Мф. V, 28, о том, что «всякий, кто смотрит на женщину с похотью, прелюбодействует», относятся не к одной посторонней, а преимущественно к своей жене».

166

Эта запись в рукописях не находит себе соответствия.

167

«Толстовский музей», т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского. Изд. о-ва Толстовского музея. Спб. 1914, стр. 391.

168

Ср. рук. № 10, л. 7: «Что же тут странного? По всем учениям церковным придет конец мира, по всем учениям научным неизбежно то же самое. Что странного? По учению нравственному неизбежно то же самое».

169

Автографического текста, развивающего эту запись, не сохранилось, но в копиях, в соответствии с этой записью, читается: «Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить». Эта фраза без изменения вошла в восьмую и девятую редакции повести.

170

Здесь речь идет о письмах Черткова от 27 и 28 октября. В них Чертков сообщал о своем впечатлении от повести, прочитанной им по черновой рукописи. В первом письме Чертков указывает на то, что рассуждения и мысли Позднышева о половом вопросе слишком вплетены в самое повествование его о том, как он убил жену, вследствие чего повествование теряет в живости и естественности, а рассуждения стесняются необходимостью не быть слишком подробными и обстоятельными, чтобы не противоречить характеру и состоянию рассказчика. Чертков рекомендовал сосредоточитьвсе рассуждения Позднышева о половой жизни в первой части повести, так чтобы они изредка прерывались вопросами, одобрениями или возражениями со стороны слушателя, во второй же части, по мнению Черткова, Позднышев, в подтверждение своих взглядов, должен был рассказать свою жизнь и то, как он убил жену, не вдаваясь ни в какие теоретические размышления о брачной жизни. Далее Чертков рекомендует в заключение в какой-либо форме дать более всестороннее освещение вопроса (АТ). Во втором письме Чертков рекомендует показать дальнейший духовный рост личности Позднышева и пробуждение в нем истинного христианина (АТ).В ответ на эти письма Толстой писал Черткову: «Ваши фантазии и критики, особенно в первом письме, все справедливы. Спасибо за них, я хочу воспользоваться ими. Я даже начал писать послесловие, ответ на вопрос: что думает сам автор о предмете рассказа. Я бы желал написать это. Как Бог даст» (АЧ).

171

Хранится в ГТМ (архив Т. А. Кузминской).

172

Об этом см. еще письмо Н. Н. Страхова к Толстому от 6 ноября 1889 г. («Толстовский музей», т. II, стр. 394—397) и А. Ф. Кони. «На жизненном пути», т. 2, Спб 1912, стр. 8.

173

«Толстовский музей», т. II, стр. 397. Страхов в своем письме, давая очень высокую общую оценку повести, сделал по поводу ее критические замечания, смысл которых сводится к следующему. Форма рассказа от лица героя очень связывает автора, а у слушателя являются вопросы — кто собеседник, почему рассказчик долго не приступает к делу, а ведет рассуждения об общих вопросах. Неясно далее, видит ли себя Позднышев в истинном свете и сломлен ли его эгоизм, или он остается до конца нераскаявшимся. Развязка происходит слишком быстро после того, как появляется музыкант. Поэтому герой кажется человеком не вполне нормальным и непомерноревнивым, тогда как он человек обыкновенный и к тому состоянию, которое привело его к убийству, пришел постепенно. Длинные рассуждения, предшествующие рассказу об убийстве, глубокие и важные сами по себе, теряют силу от ожидания, в котором находится слушатель. Их следовало бы распределить между отдельными эпизодами, которые однако не мог продолжительно рассказывать убийца, больше всего занятый последним эпизодом — убийством. Вместе с тем Страхов приходит в восхищение от богатства содержания повести, особенно от рассуждений о докторах, о музыке, о детях, об абсолютном половом воздержании. (Ibid., стр. 395.)

174

И. И. Горбунова.

175

[кривотолков]

176

В конце января Чертков сам приехал в Ясную поляну и помог М. Л. Толстой закончить нанесение поправок в этот экземпляр, который он и увез с собой. (См. описание рукописи № 15.)

177

Ю. О. Якубовский. «Л. Н. Толстой и его друзья. За 25 лет (1886—1910)». — «Толстовский ежегодник 1913 года». Спб. 1914, стр. 12.

178

«Толстовский музей», т. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой 1857—1903. Спб. 1911, стр. 56.

179

«Толстовский ежегодник 1913 года», стр. 13.

180

«Толстовский музей», т. II, стр. 390.

181

Т. А. Кузминской.

182

«Толстовский музей», т. II, стр. 391.

183

Ibid., стр. 392.

184

«Толстовский музей», т. II, стр. 393.

185

Намек на «Неделю», которая была изданием типа еженедельной газеты.

186

Е. М. Феоктистов — начальник главного управления по делам печати.

187

Гайдебуров намекает на чтение повести у Кузминских.

Вскоре однако Победоносцев ознакомился с «Крейцеровой сонатой» и свои соображения по поводу повести сообщил в следующем письме к Феоктистову от 6 февраля 1890 г.: «Что сказать вам, почтеннейший Евгений Михайлович? Прочел я первые две тетради: тошно становилось — мерзко до циничности показалось. Потом стал читать еще (сразу всё читать душа болит)» и мысль стала проясняться. Только в три приема прочел всё — и задумался...Да, надо сказать — ведь всё, что тут писано, — правда, как в зеркале, хотя я написал бы то же самое совсем иначе, а так, как у него написано, хоть и зеркало, но с пузырем — и от этого кривит. Правда, говорит автор от лица человека больного, раздраженного, проникнутого ненавистью к тому, от чего он пострадал, но все чувствуют, что идея принадлежит автору. И бросается в глаза сплошь почти отрицание. Положительного идеала автор почти не выставляет, хотя изредка показывает его проблесками.Вначале купец поминает о таинстве, но лицо этого купца двоится, ибо он представлен циником кунавинского разгула. Правда, сам Познышев в одном месте говорит: иное дело если смотреть на брак как на таинство, да кто нынче так смотрит? Правда, в конце видим что-то похожее на раскаяние, как будто Познышев хочет сказать: *я* виноват. (И подлинно в сущности *он* виноват во всем, хотя всё больше свалено на несчастную жену, которая, может быть, только нежничала с Трухачевским, и от мужа зависело только пожалеть ее и во время остановить — не свирепым укором, а лаской.) Итак, независимо от правды фактической, явная фальшь в концепции автора относительно идеи.Всё это так... «E pur si muove!» [А всё-таки она вертится!)] И всё-таки правда, правда в этом негодовании, с которым автор относится к обществу и его быту, узаконяющему разврат в браке.Произведение могучее. И когда я спрашиваю себя, следует ли запретить его во имя *нравственности,* я не в силах ответить *да.* Оболживит меня общий голос людей, дорожащих

идеалом, которые, прочтя вещь негласно, скажут: а ведь это правда. Запретить во имя *приличия* — будет некоторое лицемерие. Притом запрещение, как вы знаете, не достигает цели в наше время. Невозможно же никоим способом карать за сообщение и чтение повести гр. Толстого.Знаю, что это чтение никого не исправит, что во многих читателях оно достигнет противоположной цели, усугубив еще ту двойственность — негодование на похоть и казнь — с продолжением похоти и зла, раздутого идеала с мерзкою действительностью в жизни. И не разделяю мнение тех, кои готовы возвесть эту повесть на степень какого-то евангелия идеальной нравственности. Тем не менее думаю, что нельзя *удержатъ это зеркало под спудом.*Но думаю, что необходимо, во имя самых основных требований приличия общественного, потребовать некоторых изменений в тексте. Нельзя забыть, что эта вещь будет в руках у всех — у юношей и девиц, и будет громко читаться.*Публичного ее чтения ни в коем случае допустить нельзя.* Есть слова и фразы положительно невозможные в печати. Я отметил их на поле словом: *нельзя.* Таковы, напр., фразы о *предохранительном клапане.* И к чему это? Неужели этим дорожит автор?Затем — не согласится ли Толстой (или Кузминский — неужели он не поймет?) совсем выпустить XI главу о медовом месяце? Тут есть и фразы скверные и совсем отчаянные рассуждения о продолжении рода человеческого и о воздержании от деторождения. Это нехорошо и фальшиво. Притом невольно думается, что эти рассуждения сходятся с гнусною практикой многих сектантов — и шекеров, и федосьевцев, и скопцов, коих вероучение, быв идеализировано (а ведь к идеализации все способы — даже самый разврат), сводится к тем же рассуждениям. Между тем известно, что в действительности с этой идеализацией уживается и таится под нею самый скотский разврат. Увы! как гр. Толстой, подобно всем сектантам, забывает слово св. писания: «всяк человек есть ложь». И потому истинную правду и истинный идеал человек должен искать не в своем чувстве и сознании, а вне себя и над собою...Наконец, мне представляется неприличным выписывать в эпиграфе словесный текст Евангелия. Пусть бы обозначил хоть правильно

цитату: Ев. Мат., V, 28, XIX. А настоящим, не ложным и не надутым эпиграфом к повести была бы пословица: *нечего на зеркало пенять*, *когда рожа крива».* (ИРЛ, архив Е. М. Феоктистова, Сообщено нам Ю. Г. Оксманом.)

189

«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», стр. 168 и 171; «Дневники С. А. Толстой, 1891—1897», часть вторая, М. 1929, стр. 1—2.

190

«Дневники С. А. Толстой», часть вторая, стр. 13.

191

«Крейцерова соната» с «Послесловием» к ней в тринадцатой части была напечатана в конце тома и потому ее легко было изъять оттуда.

192

«Дневники С. А. Толстой», часть вторая, стр. 44 и 48.

193

«Дневники С. А. Толстой», часть вторая, стр. 17.

194

Об этом свидании С. А. Толстая подробно рассказывает по второй части своих «Дневников», стр. 23—35. О нем заранее не был осведомлен Победоносцев, который в письме к Александру III от 1 ноября 1891 г. выражает по этому поводу свое сожаление, говоря, что если бы он знал о намерении Александра III дать Софье Андреевне аудиенцию, он стал бы умолять его не делать этого. В письме далее идет речь о широком распространении тринадцатого тома и о пагубном влиянии на умы сочинений Толстого вообще. (См. «Письма Победоносцева к Александру III», т. II, изд. «Новая Москва». М. 1926, стр. 251—254.)

195

«Толстовский музей», т. II, стр. 427.

196

См. письмо Толстого к С. А. Толстой от 11 мая 1891 г. («Письма гр. Л. Н. Толстого к жене», стр. 354) и запись в дневнике С. А. Толстой от 15 мая 1891 г. «Дневники С. А. Толстой», часть вторая, стр. 41.

197

Р. Кантор. «Толстой и цензура». — «Вестник литературы», 1920, № 11 (23), стр. 10—11.

198

Несколько ранее часть экземпляров этого тома вышла без «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия».

199

«Дневники С. А. Толстой», часть вторая, стр. 57.

200

В двенадцатом издании сочинений Толстого, М. 1911, верные чтения частично С. А. Толстой восстановлены. Такие восстановленные чтения ниже отмечаем звездочкой.

201

В двенадцатом издании: «а у нас нет».

202

В двенадцатом издании: «легче».

203

В двенадцатом издании здесь после слова «больше», стр. 67, строка 22, пропущено: «колебаться».

204

В двенадцатом издании слово «доктор» напечатано после «ее доктор».

205

В двенадцатом издании после слова «не лечить» слово «сифилис» пропущено.

206

Относим этот пропуск к числу ошибок, а не сознательных отступлений в целях избежать употребления слова «сифилис», так как далее всё же это слово переписано. В оригинале перед этим пропущенным переписчицей местом и после него текст зачеркнут, и этим, видимо, объясняется недосмотр переписчицы.

207

В двенадцатом издании: «и бабы».

208

В двенадцатом издании: «что они могли выскочить у меня».

209

В двенадцатом издании «а так не ложусь».

210

В двенадцатом издании: «Ничего, ничего нет подобного».

211

Эта замена сделана в корректуре.

212

В двенадцатом издании: «На место раны было что-то наложено».

213

В них было исправлено лишь несколько второстепенных опечаток.

Этого нельзя однако сделать в отношении двух первых и двух последних глав, так как, как указано при описании рукописей, автографические тексты в их последней редакции, относящиеся к этим главам, частично утрачены или еще не обнаружены.

215

Звездочкой отмечены исправления, вошедшие в текст «Крейцеровой сонаты», напечатанный в двенадцатом издании сочинений Толстого, М. 1911.

216

Здесь и в дальнейшем словом «лист» обозначаем любого размера бумажную единицу в две страницы.

217

В двенадцатом издании — «дня».

218

Это исправление сделано впервые в тексте третьего издания тринадцатой части, М. 1891, стр. 295.

219

Во втором издании тринадцатой части (М. 1891, стр. 299) исправлено: «достигли бы цели после многих тысяч лет».

220

Во втором издании тринадцатой части, стр. 309, исправлено: «самое».

221

Во всех последующих изданиях С. А. Толстой — до двенадцатого — напечатано: «У меня ж было свое: пьянство, служба, охота, карты».

222

Это исправление сделано впервые в тексте второго издания тринадцатой части, стр. 322.

223

Это исправление сделано впервые там же, стр. 325.

224

Это добавление впервые сделано в тексте второго издания тринадцатой части, стр. 333.

225

Здесь слова: «что то», очевидно, опечатка.

226

В АТ хранится вставка к этой рукописи, написанная рукой Толстого на 1 листе.

227

В подлиннике: были ужасны.

228

См. «Einige Handschriften in der Sammlung von Dr. Stelan Zweig in Salzburg». «Philobiblon». Zeitschrift für Bucherliebbaber, 1930, Heft 7, стр. 286.

229

[дарования,]

230

Исправлений вовсе нет в главах I, II, VII и VIII.

231

Она опубликована в сборнике «Толстой и о Толстом». Новые материалы. Редак-ция Н. Н. Гусева, М. 1924, стр. 9—12. Не перепечатываем ее в настоящем издании в виду того, что текст ее мало чем отличается от текста восьмой (литографированной) редакции повести, приводимого в отделе вариантов этой редакции (см. стр.314—316).

1

[— Лиза, взгляни направо, это он,]

2

[— Где, где? Он не так уж красив.]

3

[По усмотрению.]

4

[странников,]

5

[— Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу.]

6

[— Что он сказал? Он не отвечает.]

7

[— Он сказал, что он слуга божий.]

8

[— Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь?]

9

[— Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем;]

10

[вам, старичок,]

11

Зачеркнуто: Но гордость смущала его.

12

Зачеркнуто: но он гордился тем, что он пожертво[вал]

13

Исправлено из: идите, идите,

14

Зачеркнуто: одна старушка помещица

15

П. И. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого», т. III, М. 1922, стр. 135.

16

П. Буланже, «Отец Сергий». Примечания к «Посмертным художественным произведениям» Л. Н. Толстого под редакцией В. Черткова, т. II, М. 1911, стр. 233—236.

17

Весьма показательно, что на переписку рукописи «Дьявола» (по размерам не меньшую, чем «Отец Сергий») Черткову потребовалось всего две недели (он приступил к ней в начале февраля 1890 г. и уже выслал ее Толстому 20 февраля).

18

См. т. 51, стр. 23—25.

19

Имеется в виду «Царство божие внутри вас».

20

В Записной книжке № 2 под 4 августа: «К отцу Сергию. Она говорит какую-то нелепость — кто она. И он верит, потому что она красота. Она ушла, он не видит подвига в себе, а только стыд, что он поддался. После она идет в монастырь» (т. 51, стр.143)

21

Аналогичная запись в Записной книжке № 2 под 10 августа 1890 г. (т. 51, стр. 144).

22

Зачеркнуто: бороды его.

23

В Записной книжке № 2 под 18 августа 1890 г.: «К отцу Сергию. Адвокат хлюпает носом от холода» (т. 51, стр. 145).

24

Л. Н. Толстой, «Посмертные художественные произведения», под редакцией В. Г. Черткова, т. II, издание «Свободного слова», В. и А. Чертковых, Berlin, J. Ladyschnikow Verlag g. m. b. H., 1912, стр. 7—60.

25

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 323.

26

См. наст. том, стр. 11.

27

Т. 51, стр. 16.

28

Там же, стр. 125.

29

См. наст. том, стр. 44.

30

«М. Горький. Материалы и исследования», т. II, Издательство Академии наук, 1936, стр. 216.

31

Возможно, как указывает В. И. Срезневский в комментариях к тексту пьесы в издании 1917 г., что заглавие это стоит в связи с заглавием эскиза Н. Блинова «Свет и во тьме светит», написанного в ответ на драму Толстого «Власть тьмы». Но возможно и то, что оба заглавия возникли самостоятельно на основе одного источника.

32

Т. 50, стр. 37.

33

Т. 51, стр. 28.

34

См. наст. том, стр. 155—156.

35

См. там же, стр. 183.

36

Т. 51, стр. 17.

37

См. наст. том, стр. 47.

38

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 297.

39

См. наст. том, стр. 248.

40

См. наст. том, стр. 244.

41

См. наст. том, стр. 252.

42

Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, 1936, стр. 508.

43

См. наст. том, стр. 195.

44

См. наст. том, стр. 250.

45

См. наст. том, стр. 89, 93—95.

46

М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 284.

47

М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 295—296.

1

[еще.]

2

[моя милая,]

3

В подлиннике: воображающую,

4

Зачеркнуто: гражданских деятелей, борцов за принципы и всякую штуку. А кто учился для того, что интересовался наукой, так и разумел себя, и те, что учились

5

Зач.: и не совестно было

6

Зачеркнуто: страшно. Но если вы думаете, что после того, что я видел, я решил, что полковник дурной человек, или что не надо делать того, что он делал, то вы ошибаетесь, напротив, я винил себя за то, что я слаб, и надеялся, что я сумею выработать себе такую твердость, как у полковника.

7

Одно из первоначальных заглавий «После бала».

8

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, М. 1950, стр. 28.

9

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 33.

10

Т. 72, стр. 408.

11

Т. 54, стр. 35.

12

Н. Н. Гусев, «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», М.—Л. 1936, стр. 613.

13

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 296.

14

T. 73.

15

Т. 54, стр. 306.

16

В. Г. Короленко, «Воспоминания о писателях», изд. «Мир». 1934, стр. 162.

17

Письма Горького о Толстом. Публикация К. П. Пятницкого в «Красной газете», вечерний выпуск, 1928, № 257.

18

T. 73.

19

Т. 25, стр. 394—395.

20

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 323.

21

Там же.

22

Там же.

23

Там же, стр. 294.

24

Записи П. А. Сергеенко — «Литературное наследство», № 37/38. М. 1939, стр. 548.

25

«Театр и искусство», 1911, № 20.

26

Сборник «Ленин о литературе», М. 1941, стр. 250—251.

27

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 324.

28

См. наст. том, стр. 521.

29

Там же, стр. 521—522.

30

Там же, стр. 524.

31

См. наст. том, стр. 521.

32

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30.

33

В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 30—31.

34

См. наст. том, стр. 172.

35

Там же, стр. 157—158.

36

См. в настоящем томе варианты статьи «Рабство нашего времени», стр. 495—496.

37

Гл. VII статьи «Рабство нашего времени».

38

См. наст. том, стр. 174.

39

Там же, стр. 174—175.

40

Там же, стр. 180.

41

См. наст. том, стр. 183.

42

Там же, стр. 184.

43

В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 183.

44

Там же, т. 17, стр. 30.

45

«О переписи в Москве», т. 25, стр. 180.

46

Т. 36, стр. 230.

47

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

48

См. наст. том, стр. 210.

49

См. наст. том, стр. 177.

50

Запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 3 февраля 1898 г., т. 53.

51

См. наст. том, стр. 201.

52

См. наст. том, стр. 205.

53

Там же, стр. 240.

54

См. наст. том, стр. 240.

55

Там же, стр. 241.

56

Там же, 244.

57

См. наст. том, стр. 212.

58

Там же, стр. 213—214.

59

См. наст. том, стр. 278.

60

Там же, стр. 330.

61

В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 295.

62

Там же.

63

Там же.

64

Там же.

65

Там же, т. 34, стр. 384.

66

М. Горький, В. И. Ленин — в сб. «Ленин о литературе», М. 1941, стр. 268.

1

[— Я очень рад был бы отпустить эту бедную девочку, но вы понимаете — долг.]

2

[— Это очень мило с ее стороны,]

3

[— Пригласите его. Он может проповедывать в соборе.]

4

[Он становился всё более и более агрессивным,]

5

В рукописи Толстой по рассеянности написал: Ник[олаевъ]

6

Зачеркнуто: отставного станового

7

Соображения в пользу такой датировки см. в комментариях к Дневнику и Записным книжкам 1888—1889 гг., т. 50 настоящего издания.

8

См. т. 26 настоящего издания.

9

См. т. 33 настоящего издания, стр. 254—256, 375.

10

[трезвая, умеренная]

11

Все рукописи, написанные на пишущей машинке, в огромном большинстве случаев написаны на одной стороне листа. В дальнейшем, когда нет особой оговорки, «написано на пишущей машинке» означает, что написано на одной стороне листа.

12

К какому времени относится написание этого плана, трудно сказать с уверенностью, так как неизвестно, когда заготовлена была обложка для рукописи: она может датироваться и временем более ранним, чем 1904 год, время окончательного сформирования данной рукописи. Возможно, что дата обложки — 1902 год, которым она первоначально помечена. В таком случае загадочные инициалы «П. Ф.» и написание «Дмитрий Ж.», не находящие себе объяснения в известных нам черновых и исправленных текстах «Фальшивого купона», — сокращенное обозначение персонажей или не введенных вовсе в повесть или названных впоследствии иными именами.

13

В дальнейшем, когда это не оговорено, имеются в виду главы первой части повести.

14

Так, рукопись ГТМ, описанная под № 2, не могла быть привлечена издателями: она принадлежала Н. Л. Оболенскому и поступила в ГТМ лишь в 1912 г., когда оба издания были уже напечатаны.

1

Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники» и передан автору А. А. Стаховичем.

2

[с инкрустацией].

3

[принесите еще ящик, там два.]

4

Зачеркнуто: еще разъ

5

Зачеркнуто: вниманье

6

Зач.: дышанье

7

Над словом: слезы *надписано слово:* грусть.

8

Зачеркнуто: свѣтъ.

9

Зачеркнуто: страшно

10

Зач.: этой <животной> <людской> слабости

11

Зачеркнуто: раскаяніе в том, что сдѣлали со мной другіе,

12

Зач.: бѣжалъ въ 2 мин.

13

Зач.: А что твой пѣгашка бѣжитъ. ѣдетъ В. Ну, пусти, пусти. <Онъ> Я обѣжалъ. Ген[ералъ] разсердился. Нужно продать, сказалъ кон[юшій] и продалъ меня за 800 р. тогда на ассигнаціи. Купилъ его Гусарской офицеръ, у котораго былъ старый кучеръ изъ дворовыхъ. Кучеръ былъ пьяница, офицеръ былъ охотникъ.

14

Зач.: слѣдующій

15

Первоначально было: моего скитанья.

16

Зачеркнуто: гусара была

17

Зач.: въ него влюблены

18

Зач.: не вырветъ глаза.

19

Зач.: его

20

Зач.: сърый <Лебедь>, Горностай

21

Зачеркнуто: Вязопуръ

22

Зач.: Лебедь Горностай

23

Зач.: звонку

24

Поправка М. А. Стаховича.

25

Поправка М. А. Стаховича.

26

Зач.: эти минуты

27

Поправка М. А. Стаховича.

28

Зач.: обѣжитъ
Поправка М. А. Стаховича

29

Зач.: X.

30

Зач.: Лебедемъ Горностаемъ

31

Поправка М. А. Стаховича.

32

Зач.: на кругахъ взглядывалъ Х. пришелъ

33

Зач.: Я объѣхалъ и пришелъ на двѣ лошади впередъ

34

Зач.: и этимъ погубилъ меня. Князю не повезло. Онъ выигралъ вышелъ въ кабріолетъ, съ мѣшкомъ серебра. Пойдемъ еще. Пошли. Стали играть, все проигралъ. Х. цѣлый день не ѣлъ. На другой день любовница

уѣхала съ другимъ. Князь поскакалъ на Хлыстомѣрѣ и не догналъ. Все пошло въ разладъ. Его опоили, пріѣхавъ домой.

35

Зачеркнуто: Он лежитъ. — Вытащить его.

36

Зач.: Эта, — презрительно и грустно сказалъ гость. — Это лучшая лошадь въ Россіи. Это Хлыстомѣръ. Мой Хлыстомѣръ.

37

Зачеркнуто: <люди и> четы

38

Зач.: <дѣло въ томъ, что люди, про которыхъ я разсказываю> тѣ два человѣка, онъ и она, которые сидѣли

39

Зач.: добръ от счастья

40

Зач.: мужа

41

Зач.: жены

42

Зач.: пальто

43

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва);

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва);

Б, I; Б, II; Б, III; Б, IV — П. И. Бирюков, «Лев Николаевич Толстой. Биография», Государственное издательство: I — М. 1923; II — М. 1923; III — М. 1922; IV — М. 1923;

БИР. 1913 —«Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого» тт. I — XX. Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова, изд. Сытина. М. 1913;

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина (Москва);

ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва);

ГТМ — Государственный толстовский музей (Москва);

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград);

ЛПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград);

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910» Изд. 2 М. 1915;

ПС — «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым» изд. Общества толстовского музея. СПБ 1914;

ПТ — «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой». изд. Общества толстовского музея. СПБ 1911;

ПТС 1; ПТС 2 «Письма Л. Н. Толстого, собранные и редактированные П. А. Сергеенко» изд. «Книга» 1 — М. 1910, 2 — М. 1911;

ПТСО — «Новый сборник писем Л. Н. Толстого, собранных П. А. Сергеенко, под ред. А. Е. Грузинского, изд. «ОКТО». М. 1912;

ТЕ, 1911, 1912, 1913 — «Толстовский ежегодник» 1911 г., 1912 г., 1913 г.;

ТТ 1; ТТ 2; ТТ 3; ТТ 4 — «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сборники:1 — М. 1924,2 — М. 1926, 3 — М. 1927, 4 — М. 1928.

1

В комментариях приняты следующие условные сокращения:

АТБ — Архив Толстого в Всесоюзной библиотеке имени В. И. Ленина (Москва).

АЧ — Архив В. Г. Черткова (Москва).

БЛ — Всесоюзная библиотека имени В. И. Ленина. Рукописное отделение (Москва).

ГЛМ — Государственный Литературный музей (Москва).

ГТМ — Государственный Толстовский Музей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Ленинград).

ПЖ — «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862 — 1910», изд. второе. М. 1915.

ТЕ, 1913 — Толстовский ежегодник 1913 г.

———

2

Письмо к А. А. Фету в декабре 1870 г.

3

Письмо к А. А. Фету в январе 1871 г.

4

Письмо к Фету 17 июля 1871 г.

5

Письмо к С. А. Толстой 23 июня 1871 г.

6

Базилевич, Местечко Александровка Черниговской губ. Сосницкого уезда. Этнографический сборник, вып. I, Спб. 1853.

7

«Slavia. R. 7, S. 2. Praha. 1928.